

Франсуа Рене де ШАТОБРИАН
Замогильные записки

Франсуа Рене де
ШАТОБРИАН

— . —
Замогильные
записки



Франсуа Рене де ШАТОБРИАН
Замогильные записки

Франсуа Рене
де ШАТОБРИАН

Замогильные
записки



ПАМЯТНИКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

François René de Chateaubriand

Mémoires d'outre-tombe



Ф.-Р. де ШАТОБРИАН
Портрет работы Ашиля Девериа (1831)

Франсуа Рене де ШАТОБРИАН



Замогильные записки

*Перевод с французского
Ольги Гринберг и Веры Мильчиной*

Москва
Издательство
имени Сабашниковых

ББК 84(4 Фр.)
III 288

Вступительная статья и примечания

В. А. МИЛЬЧИНОЙ

Перевод с французского *О. Э. ГРИНБЕРГ* (книга первая — семнадцатая)
и *В. А. МИЛЬЧИНОЙ* (книга восемнадцатая — сорок четвертая)

Разработка оформления серии

С. СЕМЕНОВА

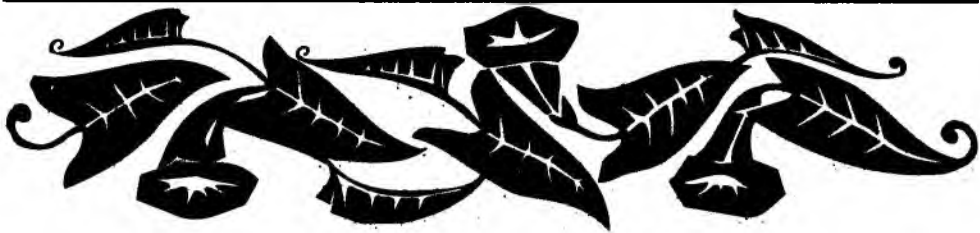
Оформление *П. БОРОДИНА* и *А. ПОЛЯКОВОЙ*

Издание подготовлено и осуществлено
при поддержке Министерства иностранных дел Франции
и французского посольства в Москве

III 4804010100-09 Без объявл.
Б94(03)-1995

ISBN 5-8242-0036-x

- © В. А. Мильчина. Вступительная статья,
примечания, 1995
- © О. Э. Гринберг, В. А. Мильчина.
Перевод, 1995
- © Издательство имени Сабашниковых, 1995



ЭПОПЕЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

По традиции вступительная статья к произведению автора, жившего давно и заслужившего репутацию классика, должна содержать рассказ о его жизненном и творческом пути. В данном случае, однако, традицию придется нарушить, ибо в «Замогильных записках» Франсуа Рене де Шатобриана (1768—1848) сам описал читателю свою долгую и богатую событиями жизнь. Повторять его незачем (задача это неблагодарная, да и просто невозможная), поправить же в тех случаях, где фантазия сочинителя исказила факты, нужно, но замечания такого рода читатель этой книги найдет не в предисловии, а в примечаниях.

Когда-то имя Шатобриана было в России известно так хорошо, что иначе как «прославленный» его в русских журналах и газетах не именовали. Им восхищались Жуковский и Батюшков, его переводили в молодые годы будущий декабрист Николай Тургенев и будущий историк Михаил Погодин, о его писательской позиции («первый из современных французских писателей, учитель всего пишущего поколения») с уважением отзывался в 1836 году А. С. Пушкин. Нынешние же русскоязычные читатели знают Шатобриана больше по перечислениям имен французских романтиков, где он неизбежно соседствует с немногим более известной широкой публике госпожой де Сталь, да по упоминанию в четвертой главе «Евгения Онегина»: «...нравоучительный роман, // В котором автор знает более // Природу, чем Шатобриан»¹.

¹ Отдельных изданий Шатобриана на русском языке после 1917 г. не выходило. В сборниках разных авторов опубликованы его повести «Рене» и «История последнего из Абенсрагов» (Французская новелла XIX века. М.; Л., 1959. Т. 1) и «Атала» (Французская романтическая повесть. Л., 1982), фрагменты трактата «Гений христианства» и книги «Опыт об английской литературе» (Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982).

А между тем Шатобриан — писатель, чьи произведения с первого десятилетия XIX века до нашего времени непременно включаются во французские школьные хрестоматии; он — государственный деятель, который поднимал свой голос против Наполеона, давал советы Людовику XVIII, отказывал в сотрудничестве (несмотря на настоятельные просьбы) другому французскому королю — Луи Филиппу и выполнял тайные поручения матери изгнанного наследника престола — герцогини Беррийской. Повесть Шатобриана «Рене» определила развитие целой ветви французского «исповедального» романа XIX века — от «Адольфа» (1816) Бенжамена Констана до «Доминика» (1863) Эжена Фромантена, повесть «Атала» поразила всех европейских читателей и читательниц экзотическими картинами американской природы, а трактат «Гений христианства» помог реабилитации католицизма, существенно скомпрометированного в сознании французов трудами философов-просветителей и событиями революции.

Личность Шатобриана вызывала у современников самые разноречивые суждения: от безоговорочно восторженных до непримиримо враждебных. Так, один из читателей газеты «Мод», некто Кастанье, писал Шатобриану в 1834 году: «Честь вам, Шатобриан! всякий француз, имеющий сердце, рукоплещет вашей преданности, прославляет вашу деликатность и льет слезы при одной мысли о вашем деятельном бескорыстии.. <...> Шатобриан! я ничто, но вы уже давно мое божество»² — и предлагал писателю, оставшемуся без средств к существованию, собрать для него деньги по подписке; с другой стороны, поэт Альфред де Виньи примерно в то же время (3 сентября 1836 года) записывал в дневнике: «Он <Шатобриан> постоянно притворяется гонимым и льстит журналистам. <...> Политическое, литературное и религиозное лицемерие, лжегениальный вид — вот и все, чем богат этот человек, никогда в жизни не сумевший ничего изобрести»³. Равнодушных читателей у Шатобриана не было.

Шатобриан написал немало: первое прижизненное собрание его сочинений занимает 31 том, причем вошло туда далеко не все; такие произведения, как «Опыт об английской литературе» (обзор истории и словесности Англии), «Веронский конгресс» (рассказ о знаменитом совещании европейских монархов в 1822 году) и «Жизнь Рансе» (книга о знаменитом настоятеле Траппистского монастыря) вышли уже после появления этого собрания, соответственно в 1836, 1838 и 1844 годах⁴.

В собрание сочинений не вошло и самое, пожалуй, живое и современное из произведений Шатобриана, художественные открытия которого французская литерату-

² Цит. по: Durry M.-J. La vieillesse de Chateaubriand. P., 1933. Т. 1. P. 187.

³ Ibid. P. 164.

⁴ Все эти книги сразу по выходе нашли внимательных и доброжелательных читателей в России: на «Опыт об английской литературе» отозвался рецензией, ставшей одним из последних его сочинений, Пушкин; «Веронский конгресс» читал митрополит Филарет «и удостоверился, что Шатобриан добросовестный, государственный человек и что Лудвиг XVIII был к нему неблагодарен» (письмо А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу от 9 апреля 1843 г.; РО ИРЛИ, ф. 309, № 950, л. 222), о «Жизни Рансе» с восхищением отзывался Вяземский: «Что за калейдоскоп! Но и тут мелькают цвета и блески небесной радуги» (письмо к А. И. Тургеневу от 3(15) августа 1844 г.— РО ИРЛИ, ф. 309, № 950, л. 294).

ра продолжает осваивать едва ли не по сей день, — «Замогильные записки». Если в XIX веке историк Токвиль сравнивал их автора с классиками — Гомером и Тацитом, то в XX веке писатель Жюльен Грак в связи с «Замогильными записками» вспоминает авангардиста Рембо и говорит о Шатобриане от лица своего поколения: «Мы обязаны ему почти всем»⁵.

Чем же так замечательны «Замогильные записки» — по жанру обычная автобиография? Своеобычность их коренится уже в истории создания и публикации.

Сам Шатобриан датирует рождение у него замысла автобиографической книги 1803 годом, более или менее серьезно он взялся за воспоминания в начале 1810-х годов (писать их ему было тем легче, что он использовал личные впечатления во всех своих сочинениях — от экзотических повестей до публицистических статей⁶), в начале же 1830-х годов, когда книга постепенно начала принимать тот облик, в котором в конце концов пришла к читателю, Шатобриан принял решение не публиковать «Записки» при жизни. Таким образом он выразил свое недоверие современникам и через их головы обратился к потомкам, предал себя их суду. Это уклонение от литературного контакта с современниками объяснялось, среди прочего, и мотивами вполне прозаическими: книгу, где даны характеристики многих здравствовавших в 1830—1840-е годы государственных деятелей, — характеристики трезвые, проницательные и потому весьма часто нелюбезные — было небезопасно предавать широкой огласке⁷. Не случайно дипломат Марселлюс, несмотря на свою симпатию к Шатобриану, в книге 1859 года упрекал покойного писателя, который, по его мнению, «сделался неуязвим, скрывшись в могиле, и направил свои стрелы в людей, до сих пор сражающихся с превратностями жизни и неспособных ни защитить себя, ни ответить обидчику»⁸.

У «замогильности» записок были, однако, помимо практических и сугубо эстетические причины: отделяя себя от современников, Шатобриан хотел подчеркнуть, что книга его — взгляд на прошедшую жизнь с высоты грядущего; эта точка зрения давала автору право не просто излагать по порядку мелкие подробности земного бытия, но рисовать грандиозные картины и строить философические гипотезы о будущем человечества.

⁵ См.: Tocqueville A. de. Oeuvres et correspondance inédites. P., 1861. Т. 2. P. 29. (письмо к Г. де Бомону от 1 апреля 1835 г.); Gracq J. Préférences. P., 1961. P. 159.

⁶ Автобиографичность творчества Шатобриана была общепризнанной еще при его жизни; критик Жюль Жанен, раздосадованный невозможностью проникнуть в тайну скрываемых от публики «Записок», всерьез обсуждал вопрос о возможности составить автобиографию Шатобриана из фрагментов его произведений.

⁷ Что касается узкого круга посвященных, то он был знаком с очень многими главами книги Шатобриана, ибо в салоне его приятельницы госпожи Рекамье с февраля 1834 г. почти до самой смерти писателя регулярно устраивались их чтения вслух для избранных друзей дома. Эти сеансы и послужили источником единственной прижизненной публикации шести небольших фрагментов книги под названием «Записки господина де Шатобриана, или Сборник статей, им посвященных, с присовокуплением оригинальных фрагментов» (Lectures des Mémoires de M. de Chateaubriand... P., 1834), где отрывки из неопубликованной книги чередуются со статьями о ней, принадлежащими перу различных французских литераторов.

⁸ Marcellus, comte de. Chateaubriand et son temps. P., 1859. P. 2.

Эта добровольность «замогильной» позиции Шатобриана-мемуариста ясно ощущалась в XIX веке и даже вызывала полемические отклики; к наиболее интересным из них относится автобиографическая книга русского поэта, в середине 1830-х годов бежавшего из России на Запад, принявшего во Франции католичество и сделавшегося монахом-редемптористом, Владимира Сергеевича Печерина (1807—1885). У воспоминаний Печерина нет авторского названия, но одна из глав, написанная сразу после того, как выяснилась невозможность (по цензурным причинам) напечатать его мемуары в России, носит название «Замогильные записки» и имеет, на наш взгляд, резко выраженный антишатобриановский характер (хотя имя Шатобриана в тексте не упоминается): «Итак, благодаря цензуре мои записки принимают высокий эстетический характер. Они пишутся в истинно артистическом духе, то есть совершенно бескорыстно, без малейшей надежды на возмездие в здешней жизни. Никто их не прочтет, никто не похвалит и не осудит. <...> Я теперь адресую свои записки прямо на имя потомства; хотя, правду сказать, письма по этому адресу не всегда доходят,— вероятно, по небрежности почты, особенно в России»⁹,— писал Печерин в начале фрагмента «Замогильные записки». Очевидно, что Печерину, к которому не раз применялась и современниками, и им самим метафора «заживо погребенного», эта вынужденная «замогильность» глубоко неприятна; его мечта — напечататься на родине при жизни, обратиться к современникам и объяснить им свои поступки, поэтому он иронизирует над «высоким эстетическим характером» посмертных мемуаров — то есть именно над той позицией, которую сознательно и добровольно избрал для себя на склоне лет Шатобриан.

Французский же писатель этой позицией так дорожил, что не только неустанно напоминал будущему читателю: «Я не слышу тебя, я сплю в той земле, которую ты попираешь ногами» (наст. изд., с. 362), но даже «реализовал» метафору: заблаговременно (в 1836 году) приобрел участок земли над морем, на скалистом острове близ родного города Сен-Мало, и завещал похоронить себя на этой скале. Таким образом, он обзавелся вдобавок к «замогильным» запискам и самой могилой, откуда они должны будут звучать (как язвительно заметил в своем сатирическом журнале «Осы» в январе 1841 года журналист А. Карр, «господин де Шатобриан, который с некоторых пор не может написать ни строчки, не упомянув о своей смерти и своей гробнице, сделался, кажется, плакучей ивой, клонящейся над собственной могилой»).

Однако, покупая могилу, Шатобриан не знал, что судьба уготовила его книге нелегкое испытание еще до публикации. В полном соответствии с эстетикой «Замогильных записок», где с величественными перифразами соседствуют иронические, почти бурлескные «снижающие» реплики (иногда эти столь разные интонации уживаются в пределах одной фразы), жизнь внесла свои снижающие коррективы и в историю возвышенной замогильной книги. Дело в том, что, порвав с правительством узурпатора Луи Филиппа и отказавшись в 1830 году от звания пэра, а значит, и от причитавшейся

⁹ Русское общество 30-х годов XIX века. М., 1989. С. 168.

ему как паре пенсии, Шатобриан, никогда не имевший состояния, принужден был до смерти зарабатывать на жизнь литературным трудом. «Тот, кто, поторговавшись с самим собою, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властью, почестями и богатством, предпочел им честную бедность. Уклонившись от палаты пэров, где долго раздавался красноречивый его голос, Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестью»¹⁰. Эти слова Пушкина, сказанные в 1836 году в связи с публикацией шатобриановского «Опыта об английской литературе», вполне могут быть отнесены и к «Замогильным запискам». «Ради куска хлеба» Шатобриан вынужден был в марте 1836 года продать право на их издание (по-прежнему посмертное) издателю Деллуа и его компаньону А. Сала, а те в связи с этой сделкой основали целое акционерное общество, которое должно было в ожидании грядущей публикации (и предшествующего ей ухода Шатобриана из жизни) выплачивать писателю ренту, на которую они с женой могли бы существовать. Документы были подписаны весной 1836 года; Шатобриан должен был получать четыре года по 12 тысяч франков, а затем пожизненную ренту в 25 тысяч франков (в случае его смерти рента должна была перейти к его жене), а также одновременно 156 тысяч франков — сумма, которой едва могло хватить на уплату долгов. Ради денег Шатобриан отказался от своего первоначального намерения, согласно которому «Записки» должны были увидеть свет не сразу после смерти автора, а спустя еще пятьдесят лет.

Получать ежегодные дивиденды со своей «замогильной» исповеди — занятие уже достаточно трагикомическое («Положение мое хуже римского невольника,— говорил, по свидетельству А. И. Тургенева, Шатобриан,— только тело его принадлежало господину; я поработил и ум свой»¹¹). Однако допечатные злоключения «Записок» на том не кончились: в 1844 году акционерное общество, нуждаясь в деньгах, продало право газетной публикации (которая могла бы состояться еще до выхода отдельного издания) Эмилю де Жирардену, редактору рассчитанной на вполне массовые вкусы и выходящей огромным тиражом газеты «Пресс». Шатобриану пришлось смириться с мыслью, что история его грез и разочарований, триумфов и поражений будет тиражирована в форме «фельетонов», то есть с продолжением, на страницах не слишком взыскательной газеты. Сначала оскорбленный писатель думал даже в пике газетчикам выпустить отдельное издание немедленно, но предпочел все-таки не изменять столь дорогому ему принципу «замогильности». Он ограничился тем, что составил завещание, согласно которому окончательным вариантом следовало считать рукопись, хранящуюся у его нотариуса, которую он просматривал и правил, имея в виду грозящую ей газетную публикацию в 1845—1847 годах (отсюда пометы, открывающие некоторые части книги: «Просмотрено 28 июля 1846 года», «Просмотрено в феврале 1845 года» и проч.). Воля его была соблюдена лишь весьма приблизительно: и в публикации на страницах «Пресс» (21 октября 1848—5 июля 1849 года), и в отдельном издании в 12 томах (январь 1849 — октябрь 1850 года) текст Шатобриана во многих случаях сглажен,

¹⁰ Пушкин А. С. Собр. соч. В 10-ти т. Л., 1978. Т. 7. С. 342.

¹¹ Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899. Т. 4. С. 30.

лишен столь характерной для автора «Замогильных записок» стилистической экстравагантности; кроме того, в двух первых публикациях было ликвидировано деление на части и «книги», отчего произведение превратилось в бесформенную, бесконечную цепь ничем не организованных глав.

Это, безусловно, не способствовало успеху «Замогильных записок». Да и момент для публикации, как можно понять по названным датам, был не самый удачный. Случайность, но случайность знаменательная: Шатобриан, всегда настаивавший на созвучности событий его жизни событиям в жизни страны и мира, умер 4 июля 1848 года, вскоре после очередной французской революции, прошедшей 22—24 февраля 1848 года. Писателя, всегда относившегося к режиму Луи Филиппа более чем скептически, падение Июльской монархии порадовало (нарушив молчание, которое он в последние месяцы жизни хранил почти постоянно, умирающий произнес: «Прекрасно!»), однако на судьбу его последней книги революция повлияла не слишком благоприятно: если раньше ее выхода ожидала с нетерпением едва ли не вся читающая Франция, то теперь, когда французская жизнь «переворотилась», даже заинтересованным читателям мемуары Шатобриана показались старомодными, неуклюжими, а автор их — самовлюбленным эгоистом.

«Я читаю «Замогильные записки» и раздражаюсь при виде этого великого позерства, — писала Жорж Санд, вообще-то вполне расположенная к Шатобриану. — <...> Когда он выказывает скромность, я угадываю за нею гордыню, и так во всем. Не знаю, любил ли он когда-либо что-либо или кого-либо — настолько пуста его манерная душа. Это вечное стремление показать контраст своей нищеты и своего богатства, своей безвестности и своей славы кажется мне ребяческим и, осмелюсь сказать, просто глупым»¹². Сходное разочарование изъяснял младший друг Шатобриана, сын его возлюбленной Дельфины де Кюстин, писатель Астольф де Кюстин: «От скуки и чтобы его оставили в покое, он <Шатобриан> нарисовал себя таким, каким в самом деле был, если верить его знакомым, отчего стал выглядеть еще более бессердечным» (письмо к госпоже де Курбонн от 18 августа 1849 года¹³).

Претензии Жорж Санд или Кюстина — претензии морального толка. (Жорж Санд прямо упрекает «Замогильные записки» в отсутствии «доброй старой морали, которая так хороша в конце басни или волшебной сказки»). Не менее распространены были и упреки иного рода, касавшиеся фактической недостоверности книги; первыми недовольство выказали сами «герои»: так, «Окситанка», девушка, которую Шатобриан встречал в пиренейской деревушке и чьи любовные домогательства вынужден был, по его словам, благородно отвергнуть, стала ко времени публикации книги почтенной матерью семейства и, глубоко оскорбленная, не могла постигнуть, зачем великий

¹² Цит по: Sainte-Beuve Ch. Chateaubriand et son groupe littéraire sous l'Empire. P., 1861. Т. 2. P. 436.

¹³ Custine A. de. Souvenirs et portraits. Monaco, 1956. P. 249.

писатель возвел на нее, бывшую просто-напросто восторженной поклонницей его таланта, такую напраслину. Наконец, имелись и претензии эстетического плана, которые, например, сформулировал Сент-Бев, утверждавший, что из-за «постоянных перебивок и пестроты» мемуары Шатобриана делаются похожи на гофмановские «Записки кота Мурра»¹⁴.

Сколько ни разнородны эти упреки, причина их появления одна и та же — непонимание замысла, «плана» грандиозного здания «Замогильных записок» (архитектурная метафора здесь уместна, ибо к ней охотно прибегал, характеризуя свою книгу, сам Шатобриан; см., напр., наст. изд., с. 371).

Шатобриан говорит о себе много «нескромных» слов потому, что пишет не просто о жизни частного лица (своей собственной), но о месте человека в потоке времени; Шатобриан отступает от исторической достоверности некоторых деталей потому, что в предверии подступающей старости и смерти хочет пересоздать свою жизнь так, чтобы она стала произведением искусства — единственным, что, по его убеждению, имеет шанс уцелеть в борьбе с забвением¹⁵; Шатобриан щедро пользуется временными и пространственными «перебивками», постоянно переносит читателя из одной эпохи в другую, переходит от одной интонации к другой потому, что он пишет не заурядную автобиографию, строящуюся на линейном изложении событий — от рождения героя-автора до его старости, но книгу о времени и истории.

О нарушении Шатобрианом временной последовательности следует поговорить подробнее.

Прежде всего, он постоянно странствует во времени; в рассказе присутствуют как минимум три временных пласта: момент, о котором он вспоминает и рассказывает; момент, когда он вспоминает и записывает то, что вспомнил; момент, когда он перечитывает уже написанное и вносит позднейшие коррективы; кроме того, не исключено и появление в тексте реминисценций из других периодов жизни автора, пришедших ему в голову по ассоциации с главной темой данного фрагмента. Столь же разнородны и пространственные пласты: едва ли не всякий пейзаж вызывает у Шатобриана — по ассоциации — воспоминания о других виденных им краях, едва ли не всякое географическое название влечет за собою вереницу других (переправляясь на другой берег Дуная, Шатобриан припоминает все реки, через которые ему доводилось переправляться).

Но собственная биография далеко не единственный источник, из которого черпает Шатобриан. К его услугам — культурно-историческая память всего человечества, и он щедро пользуется ею. Описывая свое вынужденное пребывание в доме парижского префекта, Шатобриан не преминет упомянуть о том, что происходило здесь три

¹⁴ См: Sainte-Beuve Ch. Op. cit. T. 2. P. 435.

¹⁵ Далеко не все мемуаристы выказывают такое почтение к мемуарному жанру. «Я делал историю, и у меня не было времени ее описывать», — замечает в своем «Политическом завещании» современник Шатобриана Меттерних. Для него, политика, писание мемуаров — занятие второго сорта. Шатобриан был убежден в обратном.

столетия назад и оттенить свое повествование старинной цитатой; изображая Рим в 1828 году, даст лаконичный, «быстрый», но чрезвычайно выразительный перечень всех французских и английских путевых заметок, посвященных Риму, начиная с XVI века и кончая первой четвертью века XIX; рассказывая о жизни французского короля Карла X в Праге, вспомнит датского астронома Тихо Браге — ибо тому также случалось жить в Праге. Так постоянно пульсирует шатобриановское повествование, то расширяясь до масштабов истории человечества, то сужаясь до пределов одной частной судьбы. Сам писатель сказал об этом так: «Память моя беспрестанно противопоставляет мои странствия моим странствиям, горы горам, реки рекам, леса лесам, и жизнь моя разрушает мою жизнь».

Но пестрота «Замогильных записок» не исчерпывается и всем многообразием временных и пространственных планов. Шатобриан сочетает в своей книге интимнейшие признания (к ним, например, относятся все эпизоды, связанные с созданной его воображением красавицей, которую он нарек Сильфидой) и поэтичнейшие картины (по словам Сент-Бева, «Шатобриан осмеливался изобретать такие смелые метафоры, каких до сих пор не знал французский язык»¹⁶) с документальными вставками. Вместе с рассказом об играх своего детства и грезах своей юности он включает в книгу свои речи в Палате пэров, публицистические статьи, напечатанные когда-то на страницах «Журналь де Деба», деловую переписку, политические предсказания и диагнозы (некоторые из них, между прочим, оказались очень точны: например, Шатобриан не раз писал, что Орлеанская династия, глава которой захватил трон обманом, не удержится на престоле, — так в конечном счете и произошло) и даже двухсотстраничную биографию Наполеона (которая, к сожалению, из-за ограниченности объема не вошла в настоящее издание)¹⁷.

Интересно, что до 1830-х годов документальный материал почти вовсе не входил в записки Шатобриана; поначалу писатель рассказывал только историю своей души и своих мечтаний, и лишь затем с этой историей органично переплелась другая — история эпохи. По словам Жюль Жанена, Шатобриан, «намереваясь написать только мемуары, создал историю XIX века — не больше и не меньше»¹⁸, — создал, разумеется, не случайно, а совершенно сознательно. Тот же аспект «Записок» блестяще охарактеризовал друг Шатобриана философ Балланш, писавший в 1834 году: «Запискам господина де Шатобриана суждено стать великолепной эпопеей нашего времени. Как же могут записки быть эпопеей? Все дело в том, что это записки господина де

¹⁶ Lectures des Mémoires... P. 113.

¹⁷ Это своеобразие книги было подмечено уже издателем ее фрагментов в 1834 году: говорят, пишет он, что «Записки» — «не записки в узком смысле слова, но многоцветное сочинение вроде «Опытов» Монтегя, где автор спускается с поэтических высот к непринужденной болтовне, перемежает философические рассуждения с письмами, путевыми заметками и проч., и проч.» (Lectures des Mémoires... P. 1).

¹⁸ Lectures des Mémoires... P. 97.

Шатобриана, в том, что переходные эпохи могут рождать индивидуальные эпопеи, при условии, что в индивидуальной жизни найдут свое высшее выражение люди, идеи и вещи»¹⁹. Жизнь Шатобриана была именно такова.

Важно и другое: как в развитии мира, так и в ходе собственной жизни Шатобриана прежде всего волнует одно — изменение, ветшание, движение к гибели (замечено, что в «Замогильных записках» чрезвычайно часты отрицательные конструкции: рассказывая о ком-то или о чем-то, существовавшем некогда, Шатобриан непременно отмечает, что сейчас эти люди или явления уже не существуют; отличает автора «Записок» и пристрастие к словам с неопределенным, отрицательным смыслом: пустота, одиночество, безмолвие и проч.). Многочисленные исторические реминисценции, переплетаясь с реминисценциями личными, биографическими, призваны показать, что стареет, меняется не только человек, — стареет и весь мир; очень многое в нем безвозвратно уходит в прошлое.

В этом, между прочим, еще одно из многочисленных проявлений «замогильности» шатобриановского текста: автор потому так много говорит о беге времени, что смотрит на мир глазами старика, стоящего одной ногой в могиле, и именно в этом тоне ведет рассказ. Особенно наглядно это видно при сравнении некоторых эпизодов «Записок» с более ранними книгами Шатобриана, где эти события его жизни уже нашли отражение; таково описание ночи в американском лесу, зрелище Ниагарского водопада и некоторые другие фрагменты. Датская исследовательница М. Гревлюнд провела детальное сравнение этих повторяющихся сцен и убедительно показала, что Шатобриан во всех случаях последовательно правит текст в одном и том же направлении: если в молодые годы его интересовала прежде всего экзотика описаний, яркость картин и необычность эпитетов (именно этим он пленил читателей и шокировал критиков в начале своей литературной карьеры), то теперь и на нерукотворную природу, и на рукотворные создания человека он глядит «из могилы» и потому приглушает оттенки, обращает внимание прежде всего на бренность, изменчивость всего сущего. Как ехидно заметил в 1842 году Кюстин, Шатобриан «в своем возвышенном эгоизме почитает старость несправедливостью; ему кажется, что Господь Бог должен был сделать для него исключение. <...> Силы, которые у него еще остались, он тратит на оплакивание тех, которых потерял»²⁰.

«Замогильность» рождает новое видение природы. В повести «Атала» Шатобриан изображал природу ради достижения некоторых живописных эффектов, в трактате «Гений христианства» — ради утверждения могущества Господня; в «Замогильных записках» задача меняется; теперь для писателя главное — показать неразрывную связь природы с человеческой историей и культурой, с человеческой психикой и памятью. Если Шатобриан смотрит на Женевское озеро, то видит не просто небо и облака, но дом Байрона на другом берегу, а это упоминание влечет за собою имена Вольтера и Руссо. Если Шатобриан слышит, как стучит дождь по стеклу его дома в Риме, то переносится

¹⁹ Ibid. P. 218.

²⁰ Custine A. de. Op. cit. P. 220.

мыслями в Париж, в Аббей-о-Буа, где живет госпожа Рекамье, и римский дождь вызывает в его памяти эпизоды повседневной жизни его подруги.

Казалось бы, все эти воспоминания и напоминания призваны лишний раз убеждать автора и читателей в бренности всего земного. Однако французский исследователь Андре Вьяль не случайно назвал «Замогильные записки» эпопеей человеческого сознания, сражающегося со временем и со смертью²¹. Сколько бы ни настаивал Шатобриан на конечности собственной жизни и на непостоянстве всего, что существует в мире, очевидно, что он убежден и в другом: мир этот, постоянно меняясь и обновляясь, будет существовать вечно (не случайно одна из самых знаменитых, пророческих глав «Замогильных записок» носит название «Будущее мира»). Надо заметить, между прочим, что благодаря этой убежденности политическое мышление Шатобриана отличалось завидной разумностью: он не был абсолютным сторонником той или иной формы государственного устройства, ибо полагал, что всякая из них может быть хороша и полезна, если сообразуется с потребностями общества и эпохи; поэтому, хотя защитники «старого порядка» могли видеть — и видели — в нем союзника²², непредвзятые читатели не могли отрицать ни его демократических симпатий, ни его приверженности конституционному правлению и свободе печати (во всем этом он угадывал знамение времени).

Одним из способов уцелеть, не уйти бесследно представлялась Шатобриану причастность к сотворению истории. Не случайно он всегда напоминал, как много он совершил на политическом поприще; граф де Марселлюс, служивший под началом Шатобриана в бытность того послом в Лондоне, вспоминает, как разгневался однажды писатель на непрошеного поклонника, утверждавшего, что литературные достижения господина посла куда выше политических. Именно страстным нежеланием исчезнуть окончательно, надеждой остаться в истории благодаря деятельному участию в ней, а вовсе не вульгарным тщеславием объясняются все те на первый взгляд весьма нескромные фразы (выразительно название одной из глав, где Шатобриан рассказывает о себе как дипломате и политике, — «Похвальба»), которые так раздражали некоторых читателей «Замогильных записок» и некоторых их исследователей.

В борьбе со временем Шатобриан делает ставку на две силы: первая — уже упомянутая причастность к историческим деяниям, вторая — творческая мощь воображения. Не менее настойчиво, чем о своих политических и государственных свершениях, Шатобриан твердит о своей приверженности грезам, мечтаниям. И это тоже понятно: воображение помогает ему создавать ту атмосферу, где он вечно молод и где старость отступает, забывается: когда шестидесятилетний Шатобриан в альпийском трактире призывает Сильфиду, к нему, несмотря на седины, возвращаются юные годы. Конечно, рано или поздно Шатобриан всегда вспоминает, что воображение способно

²¹ См.: Vial A. Chateaubriand et le temps perdu. P., 1971. P. 79—80.

²² Характерен отзыв П. А. Вяземского: «Напал я в Бейруте на замогильного Шатобриана в листках La Presse, и он иногда завирается, но у меня сердце лежит к нему. <...> Шатобриан мыслит и чувствует, как благородный человек, как дворянин, а — воля ваша — это не безделица в век бунтующих холопов» (Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Спб., 1878. Т. 9. С. 238, 283).

побороть старость лишь в книге, на бумаге: всякое возвышенное мечтание непременно оканчивается в «Замогильных записках» «снижающей» бытовой деталью, возвращающей и автора, и читателя на землю: «В дверь стучат. Это не ты <Сильфида>. Это проводник. Лошади поданы, надо ехать» (наст. изд., с. 481). Однако трагизм и величие шатобриановских мемуаров именно в этом вечном противостоянии всесильного, но одновременно и иллюзорного бессмертия, достигаемого с помощью фантазии и искусства, и конечности человеческой жизни, непреложной, но как бы и ничтожной на фоне бесконечной истории человеческой культуры.

Шатобриан вошел в литературу, произведя в ней стилистическую революцию; ощущение его первых читателей хорошо передает позднейший отзыв Эдгара Кине: «В первый раз читал я Шатобриана на каменной скамейке, на одном из дворов Лионской коллегии. <...> Страницы, читанные мною тогда, были «Атала» и «Рене»: они произвели на меня действие сверхъестественного видения. Я почувствовал некоторый род ужаса перед сим идеальным миром, в первый раз для меня вскрывшимся. Довольно читывал я книг, трогательных до слез; но то особенное впечатление, которое называется поэзией, предощущал только в мечтаниях. <...> Франция, на каменной скамейке своей классической литературы, должна была испытать что-нибудь подобное, при первом появлении творений Шатобриана»²³.

Точно так же, как отличались повести «Атала» и «Рене» от привычной литературной продукции своего времени, отличаются записки Шатобриана от многочисленных мемуаров, писавшихся во Франции и в XVIII, и в XIX веках. Отличаются не только образным строем и «планом», но и самим языком. Они написаны отнюдь не тем нейтральным стилем, каким обычно писали свои воспоминания удалившиеся от дел государственные мужи и бывшие светские львицы. Один из биографов позднего Шатобриана сопоставляет два фрагмента: портреты испанского короля Фердинанда VII, нарисованные либеральным министром Мартиньяком и Шатобрианом. Первый говорит, что Фердинанд «принимал малое участие в делах общественных и не скрывал равнодушного бездействия своего», второй восклицает: «Он <Фердинанд>, воскресший мертвец, был не в силах, восседая в собственном гробе, протянуть иссохшие руки навстречу будущему»²⁴.

Дело, впрочем, не только и не столько в красоте или грандиозности шатобриановских образов и стилистических оборотов. Дело в том, что в «Замогильных записках» все — от общей конструкции до мельчайших элементов, таких, как звучные иностранные имена собственные или повторяющиеся «ключевые» слова со значением неопределенности (желания, химеры, грезы, призраки, воспоминания и проч.), — тщательно продумано и пущено в ход, чтобы как можно более полно воплотить один сюжет — сюжет о человеке, претерпевающем бег физического и исторического времени и преодолевающим его с помощью творческого воображения, человеке, потрясенном и заворо-

²³ Lectures des Mémoires... P. 159—160. Русский перевод цит. по изд.: Надеждин Н. И. Здравый смысл и барон Брамбеус // Телескоп, 1834. Ч. 21, № 19. С. 161. Коллегия — коллеж.

²⁴ Цит. по: Duryy M.-J. Op. cit. T. 1. P. 250.

женном историй. Именно под пером такого человека могла, например, родиться фраза: «Мы засыпаем под грохот рушащихся монархий и просыпаемся, когда остатки их выметают из-под нашей двери» (наст. изд., с. 353) — образец шатобриановской «исторической метафоры».

Отношение Шатобриана к времени и истории проявляется и в неоднородности языковой ткани его записок, где со словами нейтральными соседствуют архаизмы и неологизмы, «технические» термины и слова, изобретенные самим писателем (по мере возможности переводчики старались дать представление об этой неоднородности). Пестрота шатобриановского языка (подчас довольно неожиданная) — аналог пестроты и изменчивости истории.

Книгу Шатобриана можно читать как грандиозную историческую хронику, описывающую один из самых бурных периодов в истории Франции (Революция, Империя, Реставрация, Сто дней, вторая Реставрация, Июльская монархия); в умении передать сущность явления или человека с помощью одной крохотной детали или навсегда впечатывающегося в память определения с Шатобрианом мало кто способен тягаться. Чего стоит, например, рассказ о том, как при вступлении во французскую столицу русской армии 31 марта 1814 года вчерашние рьяные бонапартисты вывешивали белые флаги во славу Бурбонов и явились в дом Шатобриана, «дабы разжиться в нашей бельевой незапятнанным белым знаменем» (наст. изд., с. 271). Впрочем, добавляет Шатобриан, его супруга «держалась твердо и отстояла свои запасы» (запасы простынь). Или знаменитое определение двух величайших предателей: «Внезапно дверь открылась и в комнату безмолвно вошли порок об руку со злодеянием — господин де Талейран об руку с господином Фуше; адское видение медленно проплыло мимо меня и скрылось в кабинете короля» (наст. изд., с. 312). Или описание Венского конгресса, где европейские монархи решали судьбу французской монархии: «Члены конгресса отправились обедать, заложив скипетром Святого Людовика страницу своих протоколов» (наст. изд., с. 294). Или эпизод из жизни маршала Сульта, который, слушая пустяковые подробности о быте короля Людовика XVIII, приговаривает: «Это войдет в историю!» («Его Величеству приносили домашние туфли». — «Это войдет в историю!») — «В постные дни король выпивал перед завтраком три сырых яйца». — «Это войдет в историю!»), а назавтра изменяет этому самому королю и принимает сторону бежавшего с Эльбы Наполеона (наст. изд., с. 275). Или реплики «осколка» XVIII века, старой аристократки госпожи де Куален; в ответ на известие о смерти нескольких королев она замечает: «Начался падеж венценосного скота» (наст. изд., с. 225), а на фразу о том, «что люди умирают, только если опускают руки, а если быть начеку и ни на секунду не упускать противника из виду, то не умрешь», отвечает: «Я верю, но боюсь зазеваться» — и испускает дух (наст. изд., с. 226).

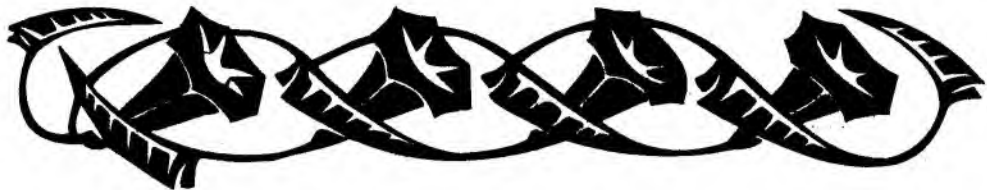
Как историк своего времени Шатобриан незаменим, потому что своеобразен. Но все-таки главная заслуга автора «Замогильных записок» не просто в ценности его исторических свидетельств. Главное — в том, что автобиографическая книга Шатобриана показывает, как работает индивидуальная человеческая память, находящаяся в по-

стоянном взаимодействии с памятью всей человеческой культуры, как индивидуальное сознание осваивает и творчески преобразует не только впечатления сиюминутного бытия, но и все прошлое мировой истории.

Новейший исследователь подчеркивает, что в своем «замогильном» рассказе Шатобриан как бы путешествует по царству мертвых (наподобие Одиссея или Энея); недаром в главах о революционном Париже деятели Революции сравниваются с душами на берегу Леты²⁵. Шатобриан «умерщвляет» себя, чтобы оживить прошлое. Это сознательное воскрешение того, что писатель XX века Марсель Пруст назвал «утраченным временем», — главный вклад Шатобриана в мировую словесность.

В. А. Мильчина

²⁵ Berchet J.-Cl. Préface // Chateaubriand. Mémoires d'outre-tombe. P., 1989. T. 1. P. 796—797.



Замогильные записки

ПРЕДИСЛОВИЕ

Просмотрено 28 июля 1846 года

Париж, 14 апреля 1846 года

*Sicut nubes... quasi naves... velut umbra*¹

Иов

Поскольку мне не дано заранее знать час моей кончины, поскольку в мои лета каждый дарованный человеку день есть милость, или, вернее, кара, мне необходимо объясниться.

4 сентября мне исполнится семьдесят восемь лет: пришла пора покинуть этот мир, который покидает меня и с которым я расстанусь без сожаления.

«Записки», открывающиеся этим предисловием, поделены на части, соответствующие основным вехам моей жизни.

Увы, нужда, которая вечно держала меня за глотку, принудила меня продать мои «Записки». Никто не в силах постичь, сколько я выстрадал оттого, что решился заложить собственную могилу; но, чтобы не нарушить своих клятв и не отклониться от избранного пути, я обязан был принести эту — последнюю — жертву. Я, быть может, по малодушию, привязался к этим «Запискам» и вижу в них наперсника, с которым мне больно расставаться; я намеревался завещать их госпоже де Шатобриан и предоставить ей либо обнародовать их, либо уничтожить — сегодня мне, как никогда, мила эта вторая возможность.

Ах! если бы перед смертью мне удалось найти богача, который поверил бы в меня, выкупил акции Общества * и, не в пример этому Обществу, не стал бы торопиться издавать мое сочинение сразу после того, как по мне отзвонит колокол! Одни акционеры мои друзья, другие — любезные люди, которые желали оказать мне услугу, но, что ни говори, каждый из них может продать акции или уступить их людям, мне не знакомым и находящимся в стесненных обстоятельствах; они, естественно, будут видеть в моем долголетьи если не

¹ Как облако... как легкие ладьи... как тень (Иов, 30, 15). Здесь и далее цифры отсылают к подстрочным примечаниям, а звездочки — к примечаниям затекстовым.

досадную помеху, то источник убытков. Меж тем, будь я хозяином этих «Записок», я оставил бы их в рукописи, а если бы захотел выпустить их в свет, то отложил бы печатание на пятьдесят лет.

Эти «Записки» создавались в разное время и в разных краях. Отсюда — необходимость вступлений, где я описываю места, которые были у меня перед глазами, чувства, которые волновали меня в момент, когда я вновь принимался за свой рассказ. Таким образом, изменчивые формы моей жизни переплелись меж собой: в пору благоденствия мне случалось вспоминать о временах нищеты, в дни горестей — описывать часы счастья. Юность моя смешалась с моей старостью, степенная опытность окрасила печалью беспечную веселость, лучи моего солнца от его восхода до его заката, скрещиваясь и сливаясь, сообщили моим рассказам некую беспорядочность или, если угодно, неизъяснимое единство; колыбель моя уподобилась могиле, могила уподобилась колыбели: страдания мои приносят мне радость, радости причиняют мне боль, и, заканчивая чтение этих «Записок», я уже не могу понять, кто их автор — темноволосый юноша или убеленный сединами старец.

Не знаю, придется ли по душе читателю эта смесь, изменить которую я не в силах; она — плод непостоянства моей судьбы: часто жизненные бури не оставляли мне другого письменного стола, кроме обломков моего крушения.

Меня уговаривали опубликовать отрывки из моих «Записок» еще при жизни, но я предпочитаю говорить из гроба; тогда повествованию моему будут вторить голоса, в которых слышится нечто священное, ибо они звучат из могилы. Если я довольно выстрадал в этом мире, чтобы вкусить блаженство в мире ином, луч света, сияющего в Елисейских полях, озарит последние картины моей жизни своей благодатью: жизнь не балует меня; быть может, смерть будет добрее?

Эти «Записки» — мое любимое детище; святой Бонавентура испросил у неба дозволения продолжать сочинять после смерти; я не надеюсь на такую милость, но хотел бы восстать из гроба в час призраков хотя бы для того, чтобы вычитать гранки. Впрочем, когда я войду в семью тугоухих обитателей могил и Вечность наглухо заткнет мне уши, ничей голос уже не потревожит мой прах.

Если какая-либо часть работы увлекла меня больше других, так это та, что касается моей юности, самого потаенного уголка моей жизни. Тут мне пришлось воскрешать мир, ведомый лишь мне одному; странствуя среди общества, исчезнувшего с лица земли, я всюду встречал лишь воспоминания и безмолвие; из тех, кого я знал, многие ли живы сегодня?

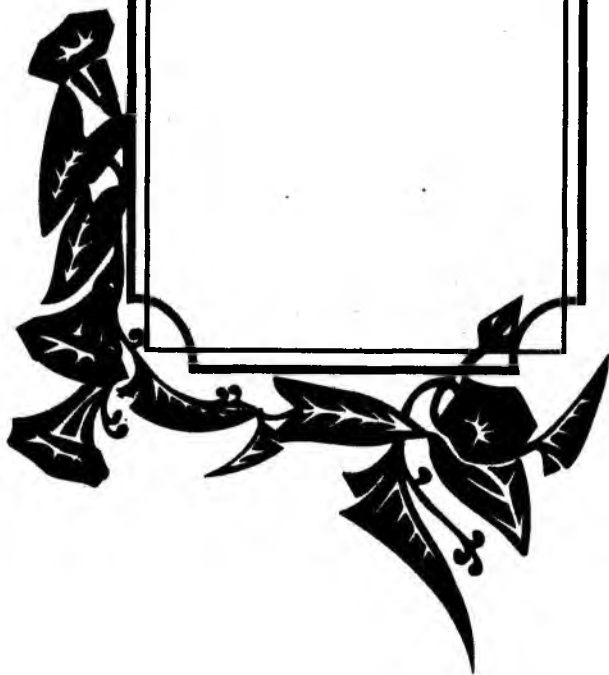
25 августа 1828 года мэр Сен-Мало по поручению жителей города обратился ко мне с просьбой помочь в строительстве морского дока. Я поспешил согласиться и в награду за хлопоты попросил уступить мне несколько футов земли на острове Гран-Бе для моей будущей могилы. Решить этот вопрос оказалось непросто из-за сопротивления военных инженеров*. Наконец 27

ПРЕДИСЛОВИЕ

октября 1831 года я получил письмо от мэра, господина Овиуса. В нем говорилось: «Жители Сен-Мало с сыновней почтительностью будут охранять выбранное вами место на берегу моря, в нескольких шагах от дома, где вы родились... Однако грустная мысль омрачает наши приготовления. Ах! пусть склеп подольше пустует! Впрочем, все проходит, но честь и слава живут в веках». Я признателен господину Овиусу за эти прекрасные речи; только одно слово здесь лишнее: *слава*.

Итак, прах мой будет покоиться на берегу моря, которое я так любил. Если я умру за пределами Франции, пусть останки мои будут перевезены во Францию не тотчас, а через пятьдесят лет после моей смерти. Я не желаю, чтобы тело мое подвергали кощунственной процедуре вскрытия; не желаю, чтобы в моем остывшем мозгу и угасшем сердце искали разгадку моего существования. Смерть нимало не проясняет тайны жизни. Труп, мчащийся на почтовых, вселяет в меня ужас; легкие белые кости перевезти несложно: им будет проще проделать этот — последний — путь, чем скитаться по белу свету под бременем моих горестей.

ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ







КНИГА ПЕРВАЯ

1.

Волчья долина, близ Ольнэ, 4 октября 1811 года

Прошло четыре года с той поры, как я возвратился из путешествия в Святую землю и купил близ деревушки Ольнэ, по соседству с Со и Шатнэ, садовничий домик, затерянный среди лесистых холмов. На неровном участке песчаной почвы рос дикий сад, кончавшийся овражком и каштановой рощей. Мне показалось, что этот малый клочок земли может стать прибежищем для моих долгих надежд; *spatio brevi spem longam reseces*¹. Деревья, которые я посадил, тянутся вверх, но пока они еще совсем маленькие, и, когда я встаю между ними и солнцем, моя тень закрывает их. В один прекрасный день они возвратят мне эту тень, лелея мою старость, как я лелеял их молодость. Я постарался выбрать породы, произрастающие в тех широтах, где я скитался; они напоминают мне о моих странствиях и дают моему сердцу пищу для новых иллюзий.

Если Бурбоны когда-нибудь вернутся к власти, в награду за мою верность я попрошу у них ровно столько денег, сколько нужно, чтобы присоединить к моей вотчине опушку окружающего ее леса: я вознамерился удлинить дорожку для прогулок на несколько арпанов*; хотя вся моя жизнь была жизнью странствующего рыцаря, меня влечет монашеское затворничество: с тех пор как я поселился в этой глуши, я и грех раз не выходил за границы моих владений. Когда мои сосны, ели, лиственницы, кедры станут тем, чем обещают, Волчья долина превратится в настоящий монастырь. Как выглядел холм, на склоне которого в 1807 году предстояло поселиться автору «Гения христианства», 20 февраля 1694 года, когда в Шатнэ родился Вольтер?

¹ Долгой надежды нить // Кратким сроком урежь (Гораций. Оды, I, XI, 6—7; пер. С. Шервинского).

Этот уголок мне по душе; он заменил мне отчие поля; я заплатил за него плодом моих мечтаний и бессонных ночей; бескрайняя пустыня, где родилась «Атала», дала мне возможность купить маленькую «пустынь» близ Ольне; чтобы обрести этот приют, мне не пришлось, как американскому поселенцу, грабить флоридского индейца. Я испытываю к своим деревьям нежную привязанность: я посвятил им элегии, сонеты, оды. За каждым из них я ухаживал собственными руками: обирал червей, точивших его корни, снимал гусениц, прилепившихся к его листу; они для меня — словно дети, и у каждого свое имя; это моя семья, другой у меня нет, я хотел бы умереть среди них.

Здесь я написал «Мучеников», «Абенсерагов», «Путешествие» и «Моисея»; чем заниматься мне теперь осенними вечерами? Сегодня — 4 октября 1811 года, день моего ангела * и годовщина моего въезда в Иерусалим; это побуждает меня приняться за историю моей жизни. Человек, который лишь затем дает сегодня Франции власть над миром, чтобы поправить ее свободу, этот человек, чей гений восхищает меня, а деспотизм возмущает, принес меня в жертву своей тирании и обрек на одиночество; но если настоящее он может раздавить, то бороться с прошлым он бессилён, и во всем, что происходило до его прихода к власти, я сохраняю свободу.

Большая часть моих чувств покоится на дне моей души либо высказана в моих сочинениях устами вымышленных героев. Ныне, все еще скорбя о моих химерах, хотя и не преследуя их более, я хочу подняться вверх по течению моих лучших лет: эти «Записки» станут храмом смерти, воздвигнутым при свете моей памяти.

У отца моего от рождения был мрачнейший в мире характер, который испытания, выпавшие на его долю в юные годы, лишь ожесточили. Нрав его оказал влияние на мои мысли; в детстве он пугал меня, в юности удручал: моя будущность зависела от его воли.

Я природный дворянин. Кажется, случайность моего происхождения пошла мне на пользу; я сохранил непоколебимую любовь к свободе, отличающую в первую голову аристократию, дни которой сочтены. В жизни аристократии есть три возраста: пора превосходства, пора привилегий, пора чванства; вступив в пору привилегий, она приходит в упадок, дожив до поры чванства, угасает.

⟨Происхождение имени Шатобриан и судьба разных ветвей рода⟩ ●

В наши дни многие перегибают палку; люди спешат громогласно объявить о своей принадлежности к холопской породе, о том, какая великая честь быть сыном человека, прикрепленного к земле. Так ли уж много гордости в этих философических похвальбах? Не значит ли это принимать сторону сильного?

● Здесь и далее петитом в угловых скобках дано краткое содержание опущенных в переводе глав и фрагментов.



Ф.-Р. де ШАТОБРИАН

Портрет работы Дельфины де Кюстин (1804)

Я проник на родину под чужим именем: хранимый покровом двойной безвестности — швейцарца Лассана и моей собственной, — я ступил на французскую землю одновременно с новым веком. (...) С публикацией «Атала» началась моя слава в этом мире: я перестал жить сам по себе и вступил на общественное поприще. (...) Вся эта шумиха сделала мое вступление в литературу еще более громким. Я вошел в моду. Это вскружило мне голову: услады самолюбия были мне вновь и пьянили меня. Я полюбил славу, как женщину, как первую любовь.

Могут ли нынешние маркизы, графы, бароны, не имеющие ни привилегий, ни земель, в большинстве своем умирающие с голоду, без конца ссорящиеся и не желающие признавать друг друга, оспаривающие знатность соседа и не имеющие прав даже на собственное имя либо носящие его условно *, — могут ли они внушить кому-нибудь страх? Впрочем, да простит мне читатель эти рассуждения, до которых мне пришлось опуститься, чтобы дать представление о главной страсти моего отца, страсти, которая послужила завязкой в драме моей юности. Что до меня, я не кичусь прежним обществом и не сетую на новое. Раньше я был шевалье или виконт де Шатобриан, теперь я Франсуа де Шатобриан; я предпочитаю имя титулу.

Мой отец охотно уподобился бы средневековому вотчиннику и звал Бога *Вышним дворянином*, а Никодима (евангельского Никодима) * *святым дворянином*. Теперь нам предстоит проследить путь от Кристофа, владетельного сеньора Геранды, прямого потомка баронов де Шатобриан, до моего родителя и до меня, Франсуа, безвассального и безденежного сеньора Волчьей долины.

Генеалогическое древо Шатобрианов разделяется на три ветви; первые две угасли, а третья, ветвь господ де Бофор, продолженная боковой линией (герандские Шатобрианы), обеднела — неизбежное следствие местного закона: по бретонскому обычаю в дворянских семьях старший сын получал две трети имущества, а младшие делили между собой оставшуюся треть родительского наследства. Это хилое достояние дробилось тем стремительнее, что младшие наследники обзаводились семьями, а поскольку их дети также делили имущество отцов на две трети и треть, эти младшие дети младших детей скоро доходили до раздела голубя, кролика, болота с дикими утками и гончего пса, оставаясь при этом владетельными сеньорами голубятни, лягушачьего пруда и кроличьего садка. В старых дворянских семьях было много детей; судьбу младших сыновей можно проследить на протяжении двух-трех поколений, затем они исчезают, постепенно превращаясь в крестьян, либо растворяясь среди рабочего люда, и никто не знает, что с ними случилось.

Главой нашего рода в начале восемнадцатого столетия был Алексис де Шатобриан, сеньор Геранды, сын Мишеля, каковой Мишель имел брата Амори. Мишель был сыном упомянутого Кристофа, чье происхождение от господ де Бофор и баронов де Шатобриан было удостоверено указом, приведенным нами выше *. Алексис де ла Геранд был вдов; горький пьяница, он только и делал, что пил и путался со своими служанками, а самыми ценными семейными бумагами закрывал горшки с маслом.

В одно время с главой рода жил его кузен Франсуа, сын Амори, младшего брата Мишеля. Франсуа, родившийся 19 февраля 1683 года, владел маленькими поместьями Туш и Вильнев. 27 августа 1713 года он женился на Петронилле Клод Ламур, владелице Ланжегю, и у них родилось четверо сыновей: Франсуа Анри, Рене (мой отец), Пьер, сеньор дю Плесси, и Жозеф, сеньор дю

Парк. Мой дед Франсуа умер 28 марта 1729 года; бабушка моя — я ее хорошо помню — и на склоне лет смотрела на мир с улыбкой. После смерти мужа она жила в Вильнев, неподалеку от Динана. Состояние моей бабушки не превышало пяти тысяч ливров ренты, из которых старшему сыну досталось две трети, 3332 ливра, а трем младшим 1668 ливров ренты, причем и из этой суммы старшему из этих троих причиталась большая часть.

В довершение несчастья нрав сыновей помешал осуществиться бабушкиным планам: старший, Франсуа Анри, получивший великолепное наследство — поместье Вильнев, отказался жениться и сделался священником; но вместо того, чтобы добиваться доходного места, которое он с его именем непременно получил бы, и помочь братьям, он из гордости и легкомыслия ни о чем не просил. Он заживо похоронил себя в глуши и был приходским священником вначале в Сен-Лонеке, а потом в Мердриньяке, принадлежащем к епархии Сен-Мало. Он страстно любил поэзию и сам сочинил немало стихов: я их читал. Жизнерадостный нрав этого дворянского Рабле, служение музам, которому предавался этот христианский пастырь, возбуждали любопытство. Он роздал бедным все, что имел, и умер в долгах.

Самый младший брат моего отца, Жозеф, отправился в Париж и жил, не выходя из собственной библиотеки: ему ежегодно посылали 416 ливров, его долю младшего. Он прожил жизнь незаметно, среди книг, занимаясь историческими разысканиями. Весь свой недолгий век он каждый год первого января писал матери — ничем другим он о себе не напоминал. Странная судьба! Из двух моих дядей один был эрудитом, другой — поэтом; мой старший брат слагал недурные стихи, одна из моих сестер, госпожа де Фарси, обладала подлинным поэтическим даром, другой, графине Люсиль, канониссе, принадлежат несколько восхитительных страниц, которые могли бы ее прославить; немало бумаги измарал и я. Брат мой погиб на эшафоте, две сестры покинули юдоль скорби, испытав муки тюремного заключения; оба моих дяди умерли, не оставив денег даже на собственные похороны; мне литература принесла радость и горе, и я не теряю надежды, с Божьей помощью, умереть в доме призрения.

Бабушка моя, истощившая все средства, чтобы вывести в люди старшего и младшего сыновей, ничем не могла помочь двум средним, моему отцу Рене и моему дяде Пьеру. Представители этого рода, который, согласно своему девизу, «сеял золото» *, смотрели из окон своей усадьбы на богатые монастыри, которые основали их предки и в которых упокоился их прах. Как владельцы одного из девяти баронских поместий Шатобрианы возглавляли бретонские штаты; они скрепляли своею подписью договоры монархов и служили поручителями Криссону, но с огромным трудом добились для продолжателя славного рода чина младшего лейтенанта.

У обедневшей бретонской знати оставалось одно прибежище —

королевский флот: туда хотели определить моего отца, но прежде нужно было отправиться в Брест, жить там, платить учителям, купить обмундирование, оружие, книги, измерительные приборы — где взять денег на все это? Королевскую грамоту о направлении юноши во флот из-за отсутствия покровителя раздобыть не удалось: владелица Вильнева с горя занемогла.

И тут отец мой впервые в жизни проявил решительность, какую я за ним знал. Ему было около пятнадцати лет: понимая тревоги матери, он подошел к ее постели и сказал: «Я не хочу быть для вас обузой». Мать залилась слезами (мой отец двадцать раз пересказывал нам эту сцену). «Рене,— спросила она,— что ты собираешься делать? Возделывай свое поле».— «Оно не может нас прокормить; позвольте мне уехать».— «Ну что ж,— отвечала мать,— будь по-твоему, и да поможет тебе Бог». Рыдая, она обняла сына. В тот же вечер мой отец покинул материнский кров и отправился в Динан, где получил от нашей родственницы рекомендательное письмо к одному жителю Сен-Мало. Юный искатель приключений нанялся на военную шхуну, отплывавшую через несколько дней.

Маленькая республика Сен-Мало в те времена одна отстаивала на море честь французского флага. Шхуна присоединилась к флотилии, которую кардинал де Флери послал на помощь Станиславу, осажденному русскими в Данциге *. Сойдя на берег, мой отец принял участие в памятном сражении 29 мая 1734 года, где полторы тысячи французов под предводительством храброго бретонца де Бреана, графа де Плело, выступили против сорока тысяч москвитян под командованием Миниха. Де Бреан, дипломат, воин и поэт, погиб, а мой отец был дважды ранен. Он возвратился во Францию и снова нанялся на корабль. Судно потерпело крушение у берегов Испании, в Галисии на отца напали разбойники и обобрали его до нитки; он морем добрался до Байонны и вновь объявился в отчем доме. Храбрость и любовь к порядку снискали ему уважение. Он переселился на Антильские острова; в колониях он разбогател и заложил новые основы благосостояния нашей семьи.

Бабушка вверила попечению Рене другого своего сына — Пьера, господина де Шатобриана дю Плесси, чей сын, Арман де Шатобриан, был расстрелян по приказу Бонапарта в Страстную пятницу 1810 года *. Это был один из последних французских дворян, отдавших жизнь за монархию ². Мой отец взял на себя заботу о брате, хотя постоянные лишения привили ему суровость, которую он сохранил до конца дней; *non ignara mali* ³ не всегда идет человеку на пользу; несчастье учит не только мягкости, но и жесткости.

Господин де Шатобриан был высокий, сухощавый мужчина с орлиным носом, тонкими бледными губами, глубоко посаженными маленькими глазами цвета морской волны, то есть сине-зелеными, как у львов и древних варваров.

² Это было написано в 1811 году (Женева, 1831).

³ Горе я знаю (лат.; Вергилий. Энеида, I, 630; пер. С. Ошерова).

Я ни у кого больше не встречал такого взгляда: когда в нем кипела ярость, казалось, что сверкающая зеница вот-вот вылетит и сразит вас, как пуля.

Отец мой был одержим одной-единственной страстью, страстью к своему имени. Его обычным состоянием была глубокая печаль, усугублявшаяся с годами, и молчание, нарушаемое лишь в приступе гнева. Скупой, ибо он жил надеждой вернуть своему имени исконный блеск, надменный с другими дворянами на заседаниях Бретонских штатов *, суровый со своими вассалами в Комбурге, немногословный, деспотичный и грозный с домашними, он всем своим видом внушал страх. Если бы он был моложе и дождался Революции, он сыграл бы важную роль или погиб от рук восставшей черни. Несомненно, он был человеком одаренным: я уверен, что, занимая высокий пост в военном или гражданском ведомстве, он непременно покрыл бы себя славой.

По возвращении из Америки он решил жениться. Родился он 23 сентября 1718 года, а в тридцать пять лет, 3 июля 1753 года, обвенчался с Аполиной Жанной Сюзанной де Беде, рожденной 7 апреля 1726 года, дочерью господина Анжа Аннибаля, графа де Беде, владельца Ла Буэтарде. Молодые поселились в Сен-Мало, в семи или восьми лье от которого оба они родились, так что могли видеть из окон своего дома небеса, под которыми появились на свет. Моя бабушка по материнской линии, Мари Анна де Равенель де Буатейель, владелица поместья Беде, родилась в Ренне 16 октября 1698 года и воспитывалась в Сен-Сире, когда еще жива была госпожа де Ментенон: усвоенные там уроки она передала своим дочерям.

Мать моя, обладавшая незаурядным умом и богатым воображением, выросла на чтении Фенелона, Расина, госпожи де Севинье и на историях из жизни двора Людовика XIV; она знала наизусть всего «Кира» *. Аполлина де Беде была нехороша собой — смуглая, маленькая, с крупными чертами лица; ее изысканные манеры и живой нрав составляли полную противоположность строгости и невозмутимости отца. Она так же любила общество, как он — одиночество, в ней было столько же резвости и бойкости, сколько в нем чопорности и сухости; невозможно назвать ни одного ее пристрастия, которое не расходилось бы со склонностями супруга. Необходимость подавлять свое естество поселила в ее душе меланхолию, изгнавшую веселье и беззаботность. Принужденная молчать, когда ей хотелось говорить, она утешалась, предаваясь своего рода шумной печали, и ее вздохи были единственным, что нарушало тихую печаль отца. Что же до набожности, то тут матушка была суций ангел.

2. *Рождение моих братьев и сестер. — Я появляюсь на свет*

Волчья долина, 31 декабря 1811 года

Своего первенца матушка произвела на свет в Сен-Мало; его нарекли Жоффруа, как почти всех старших сыновей у нас в роду; он умер в младенчест-

ве. Вслед за ним родились еще один мальчик и две девочки — никто из них не прожил и года.

Все четверо скончались от кровоизлияния в мозг. Наконец, моя мать родила третьего мальчика *, которого назвали Жан-Батистом: это он впоследствии женился на внучке господина де Мальзерб. После Жан-Батиста родились четыре девочки: Мари Анна, Бенинь, Жюли и Люсиль, все редкостной красоты; из них лишь две старшие пережили бури Революции. Красота, серьезный пустяк, долговечнее всех прочих пустяков. Я — последний, десятый ребенок. Весьма вероятно, что четыре мои сестры обязаны своим появлением на свет желанию моего отца упрочить свой род рождением второго сына; я противился, жизнь не прельщала меня.

⟨Отрывок из записи о крещении Шатобриана⟩

В своих прежних сочинениях я допускал ошибку: я родился не 4 октября, а 4 сентября; меня зовут Франсуа Рене, а не Франсуа Огюст⁴ *.

Дом, в котором в те времена жили мои родители, стоит на узкой мрачной улочке Сен-Мало, носящей название Еврейской: нынче там находится постоянный двор. Из комнаты, где моя мать разрешилась от бремени, виден пустынный участок городской стены, а за ним — необозримое море, которое плещет, разбиваясь о рифы. Моим крестным отцом, как видно из записи в приходской книге, стал мой брат, а крестной матерью — графиня де Плуэр, дочь маршала де Контада. Я родился едва живым. Рокот волн, поднятых шквалом ветра, возвещавшим осеннее равноденствие, заглушал мои крики: мне часто рассказывали эти грустные подробности; они навсегда запечатлелись в моей памяти. Не было дня, чтобы, размышляя о том, чем я был, я не увидел внутренним взором скалу, на которой родился, комнату, где мать обрекла меня на жизнь, бурю, во всем своим баюкавшую мой первый сон, несчастного брата, давшего мне имя, которое я весь век влачил в горести. Казалось, волею небес над колыбелью моей явился прообраз моей судьбы.

*3. Планкуэ.— Обет.— Комбург.— План отца касательно моего воспитания.— Тетушка Вильнев.— Люсиль.— Барышни Куппар.—
Я — плохой ученик.*

Волчья долина, январь 1812 года

Едва покинув материнское лоно, я узнал, что такое изгнание: меня сослали в Планкуэ, живописную деревушку, расположенную между Динаном, Сен-

⁴ За двадцать дней до меня, 15 августа 1768 года, на другом острове, в другом конце Франции, родился человек, положивший конец старому обществу, — Бонапарт *.

Мало и Ламбелем. Единственный брат моей матери, граф де Беде, построил близ этой деревушки замок *Моншуа*. Владения моей бабушки с материнской стороны простирались до городка Корсель, Curiosolites из «Записок» Цезаря. Бабушка, рано овдовевшая, жила вместе с сестрой, мадемуазель де Буатейель, в деревушке за мостом, которую именовали Аббатством из-за расположенного там бенедиктинского аббатства, посвященного Назаретской Божьей матери.

У кормилицы моей не оказалось молока; нашлась другая сердобольная крестьянка, которая вскормила меня. Она избрала Назаретскую Божью мать моей заступницей и дала обет, что в ее честь я до семи лет буду носить белый и синий цвета. Не успел я прожить и нескольких часов, как гнет времени уже запечателся на моем челе. Зачем мне не дали умереть? Господу угодно было во исполнение желаний существа невинного и безвестного сохранить жизнь, обреченную на суетную славу.

Обеты нынче не в моде, и все же как трогательно заступничество Божьей матери, которая, снисходя к мольбам бретонской крестьянки, служит посредницей между дитятей и небесами и предстательствует за него вместе с матерью земной.

Через три года меня привезли обратно в Сен-Мало; прошло семь лет с тех пор, как отец приобрел имение Комбург. Он хотел откупить владения, принадлежавшие некогда его предкам; поскольку речь не могла идти ни об усадьбе Бофор, доставшейся семейству Гуайон, ни о баронском поместье Шатобрианов, отошедшем к дому де Конде, он обратил взор на Комбург, или, как писал Фруассар, *Комбур*: несколько ветвей моего рода владели им благодаря бракам с девицами из рода Коэткан. Комбург расположен на подступах к Бретани со стороны Нормандии и Англии: Жюнкен, епископ Дольский, построил его в 1016 году; главная башня возведена в 1100 году. Маршал де Дюрас, получивший Комбург в приданое за женой, Макловией де Коэткан, чья мать была урожденная де Шатобриан, продал его моему отцу. Маркиз дю Алле, офицер конных гренадеров королевской гвардии, известный своей решительно не знающей границ отвагой, — последний отпрыск ветви Коэткан-Шатобриан: у господина дю Алле есть брат. Тот же самый маршал де Дюрас как наш свойственник представил впоследствии меня и моего брата Людовику XVI.

Меня прочили в королевский флот: отец мой, как все бретонцы, питал неприязнь к придворной жизни. Местная аристократия укрепляла в нем это чувство.

Когда я вновь оказался в Сен-Мало, мой отец находился в Комбурге, брат в Сен-Бриенском коллеже; четыре мои сестры жили с матерью.

Любовь моей матери безраздельно принадлежала старшему сыну; конечно, она заботилась и о других детях, но отдавала слепое предпочтение молодому графу де Комбургу. Правда, как мальчик, вдобавок самый младший в семье и *шевалье* (так меня называли), я имел кое-какие преимущества перед сестрами, но в конечном счете я вырос на чужих руках. Вдобавок матушка, исполненная

ума и добродетели, делила свое время между светскими хлопотами и религиозными обязанностями. Ее близкой подругой была моя крестная, графиня де Плуэр; зналась она также с родней Мопертюи и аббата Трюбле. Она любила политику, шум, свет: ибо жители Сен-Мало, подобно савским монахам в долине Кедрона, занимались политикой; она приняла горячее участие в деле Ла Шалоте *. Ее вечное брюзжание, взбалмошность, прижимистость поначалу мешали нам оценить ее дивные достоинства. Она любила порядок, но в воспитании детей никакого порядка не соблюдала; она была щедра, но выглядела скупой; она имела нежную душу, но без конца ворчала: отец внушал домашним ужас, мать была их бичом.

Характеры родителей определили мои первые привязанности. Я полюбил женщину, которая ходила за мной, превосходное создание, которое все называли тетушка Вильнев — я вывожу это имя с теплым чувством и со слезами на глазах. Тетушка Вильнев заправляла хозяйством, она носила меня на руках, втихомолку пичкала чем ни попадя, утирала мне слезы, целовала меня, ставила в угол, снова брала на руки и постоянно бормотала: «Вот кто не будет гордецом! вот у кого доброе сердце! вот кто никогда не станет гнушаться бедными! Кушай, малыш!» — и потчевала меня вином и сахаром.

Мою детскую привязанность к тетушке Вильнев вскоре вытеснила дружба более достойная.

Люсиль, четвертая из моих сестер, была двумя годами старше меня. Младшая, она росла без призора и ходила в обносках сестер. Вообразите себе худенькую девочку, слишком высокую для своих лет, неуклюжую, робкую, запинаящуюся в разговоре и отстающую в учебе, в платье не по росту, в жестком пикейном корсете, вонзающемся в кожу, и негнущемся стоячем воротничке, обшитом коричневым бархатом, с зачесанными назад волосами, в черной шляпке — и перед вами предстанет несчастное создание, поразившее мой взор, когда я вернулся под отчий кров. При виде тщедушной Люсиль никто бы не подумал, что придет время, когда она будет блистать красотой и талантами.

Ее отдали в мое распоряжение как игрушку; я нимало не злоупотреблял своей властью; вместо того чтобы помыкать ею, я сделался ее защитником. Каждое утро нас обоих отводили к сестрам Куппар, двум старым, одетым в черное горбуньям, — они учили детей читать. Люсиль читала из рук вон плохо, я и того хуже. Ее бранили; я царапал обидчиц: горбуньи сердились и жаловались матери. Очень скоро я прослыл бездельником, строптивцем, лентяем, наконец, ослом. Родители не спорили: отец говорил, что все шевалье де Шатобрианы только и делали, что гоняли зайцев, пьянствовали да скандалили. Мать вздыхала и ругала меня за порванную курточку. Как ни мал я был, слова отца возмущали меня, а когда мать завершала свои укоризны похвалой моему брату, которого называла Катонем, героем, у меня возникало желание совершить все зло, какого от меня ждали.

Увенчанный «матросским» париком господин Депре, учивший меня писать, был так же недоволен мной, как и родители; он без конца заставлял меня переписывать, по прописи собственного образца, два стиха, которые я возненавидел, но вовсе не за то, что в них есть грамматическая ошибка *:

Теперь с тобой, мой ум, хочу я говорить.
Твои изъяны я, увы, не в силах скрыть⁵.

Свои внушения он подкреплял подзатыльниками, называя меня голова садовничья; может, он хотел сказать: садовая? Не знаю, что такое садовничья голова, но, наверное, что-то ужасное.

〈Описание скал в Сен-Мало〉

4. 〈...〉 *Разрешение от обета, данного моей кормилицей*

〈Образ жизни бабушки Шатобриана в Планкуэ〉

В Сен-Мало дети играют на берегу моря между замком и Королевским фортом; там я и вырос, дружа с волнами и ветрами. Одной из первых моих радостей стала борьба с бурями, игра с волнами, которые то отступали от меня, то бежали за мной на берег. Другим развлечением было строить из прибрежного песка бацци, которые товарищи мои называли *печками*. Позже я часто видел, как замки, построенные на века, рушились быстрее, чем мои песочные дворцы.

Поскольку судьба моя была раз и навсегда решена, в детстве мне не слишком докучали занятиями. Приблизительные понятия о рисунке, английском языке, гидрографии и математике казались более чем достаточными для образования мальчугана, готовящегося к суровой жизни моряка.

Я рос неучем; мы уже не жили в доме, где я появился на свет: матушка занимала особняк на площади Сен-Венсан, почти напротив ворот, за которыми начинается Коса *. Моими закадычными друзьями были уличные мальчишки: они вечно толпились во дворе и на лестницах нашего дома. Я ничем не отличался от них; я говорил их языком; у меня были такие же манеры и повадки, такой же расхристанный и неопрятный вид; рубашки на мне вечно были рваные, на чулках красовались огромные дыры; я носил старые, стоптаные башмаки, которые при каждом шаге сваливались с ног; я часто терял шапку, а порой и пальто. Лицо у меня было чумазое, исцарапанное, в садинах, руки грязные. Физиономия моя имела такой странный вид, что нередко мать даже в приступе ярости не могла удержаться от смеха и восклицала: «Какой уродец!»

⁵ Буало. Послание, IX, 1—2; пер. М.Гринберга.

Меж тем я любил и посейчас люблю чистоту, даже изысканность. Ночами я пытался штопать свои лохмотья; добрая тетушка Вильнев и Люсиль помогали мне привести в порядок платье, чтобы избавить меня от наказания и упреков; но их заплатки делали мой наряд еще нелепее. Особенно я горевал, когда появлялся оборванцем среди детей, щеголявших своими обновами.

〈Развлечения обитателей Сен-Мало〉

Нынче все уже забыли, что такое религиозные и семейные праздники, когда кажется, будто вся родина и ее Бог ликуют; Рождество, Новый год, Богоявление, Пасха, Троица, Иванов день — в эти дни я расцветал. Быть может, на мои чувства и воспитание повлияла моя родная скала. В 1015 году жители Сен-Мало дали обет отправиться в Шартр и построить своими руками и на свои средства колокольню Шартрского собора: разве я не трудился, как они, своими руками, чтобы восстановить поверженный шпиг старой христианской базилики? «Никогда не было под солнцем,— пишет отец Монуар,— земли, которая была бы более пылко и самоотверженно предана истинной вере, нежели Бретань. За последние тринадцать столетий нечестие ни единого раза не осквернило язык, служивший христианской проповеди, и не родился еще тот, кто увидел бы в Бретани бретонца, исповедующего какую-либо веру, кроме католической».

В дни праздников меня вместе с сестрами водили на моление в разные храмы города, в часовню Святого Аарона, в монастырь Победы; слух мой поражали нежные женские голоса из невидимого хора: их стройные песнопения сливались с рокотом волн. Когда зимним днем наступало время причастия и собор заполняла толпа, когда множество коленопреклоненных старых матросов, молодых женщин и детей, держа в руках тоненькие свечки, читали свои часословы, когда священник благословлял прихожан, повторявших *Tantum ergo* *, и под шквалами рождественского ветра витражи храма звенели, а своды, слышавшие мужественные голоса Жака Картье и Дюге-Труэна, дрожали, я испытывал необычайный прилив религиозного чувства. Тетушке Вильнев не было нужды напоминать мне, чтобы я молитвенно сложил руки, обращаясь к Богу и называя его всеми именами, которым научила меня мать; я видел, как распахиваются небеса и ангелы несут к нему наш ладан и наши молитвы; я склонял голову: ее еще не коснулось бремя горестей, под гнетом которых хочется навсегда преклонить чело пред алтарем.

Один моряк, выйдя из церкви после торжественного богослужения, вновь отправлялся в море, готовый сражаться с бурями, другой тем временем возвращался из плавания, и путеводной звездой ему служил освещенный купол церкви: таким образом, религия и опасности постоянно окружали меня и в уме моем одно навсегда связалось с другим. С самого рождения я слышал разговоры о смерти. Вечерами по улицам ходил человек с колокольчиком, уведомляя христиан, чтобы они молились за одного из своих новопреставленных

братьев. Почти каждый год на моих глазах гибли корабли, и, когда я играл на песчаных отмелях, море выбрасывало мне под ноги трупы чужестранцев, погибших вдали от родины. Госпожа де Шатобриан говорила мне, как святая Моника своему сыну *: «Nihil longe est a Deo» — «Для Бога нет ничего далекого». Мое воспитание было вверено Провидению: оно не поскупилось на уроки.

Вверенный попечению Богородицы, я знал и любил мою заступницу, почитая ее своим ангелом-хранителем: дешевый образок, который купила мне добрая тетушка Вильнев, был прикреплен четырьмя кнопками над изголовьем моей кровати. Мне следовало бы жить во времена, когда к Марии обращались так: «Кроткая владычица неба и земли, мать милосердия, источник всякого блага, носившая в своем драгоценном чреве Иисуса Христа, прекрасная и кротчайшая владычица, вас благодарю и к вам взываю».

Первое, что я выучил наизусть, было песнопение, сложенное матросами; начиналось оно такими словами:

Смилуйся, Святая Дева,
Надо мной простри покров;
Защити меня от гнева
Яростных морских валов.
Даже в смертную годину
Буду я тебя молить
И блаженную кончину
Буду у тебя просить ⁶.

Позже я слышал, как поют этот гимн во время кораблекрушения. Я по сей день повторяю эти бездарные вирши с таким же наслаждением, как стихи Гомера; мадонна в аляповатом венце и синем шелковом платье с серебряной бахромой внушает мне больше благочестия, чем мадонна Рафаэля.

Если бы эта мирная «Звезда морей» * могла усмирить бури моей жизни! но мне с самого детства суждена была жизнь, полная тревог; жребий мой уподобил меня арабской пальме: едва стебелек мой пробился сквозь скалу, как на него обрушился ветер.

⟨Товарищ детских игр Шатобриана Жериль; их времяпрепровождение⟩

6. Письмо господина Пакье.— Дьепп.— Перемены в моем воспитании.— Весна в Бретани.— Исторический лес.— Пелагические равнины.— Закат луны над морем.

*Дьепп, сентябрь 1812 года **

4 сентября 1812 года я получил письмо от префекта полиции господина Пакье:

⁶ Пер. М. Гринберга.

«Господин префект полиции просит господина де Шатобриана взять на себя труд явиться к нему в кабинет либо сегодня около четырех часов пополудни, либо завтра в девять утра».

Префект полиции желал известить меня, что мне надлежит покинуть Париж. Я нашел прибежище в Дьеппе — поначалу он носил название Бертивия, а позже был переименован в Дьепп; новому названию уже более четырехсот лет, и происходит оно от английского слова deer — глубокий. В 1788 году я стоял здесь со вторым батальоном своего полка: поселиться в этом городе с кирпичными домами и лавками, торгующими слоновой костью, в этом городе с чистыми и светлыми улицами означало для меня вернуться в дни молодости. На прогулках путь мой пролегал мимо развалин замка Арк, от которого осталась груда обломков. В Дьеппе до сих пор помнят, что здесь родился Дюкен. Если я оставался дома, то любовался морем; сидя за столом, я видел то самое море, что было свидетелем моего рождения и что омывает берега Великобритании, где я так долго жил в изгнании: взгляд мой скользил по волнам, которые принесли меня в Америку, возвратили в Европу и проводили к берегам Африки и Азии. Привет тебе, о море, колыбель моя и портрет! Я хочу рассказать тебе продолжение моей истории: если я скажу неправду, твои волны, сопутствующие мне всю жизнь, разоблачат обман перед лицом грядущих поколений.

Матушка не оставляла надежду дать мне классическое образование. Быть может, ремесло моряка «придется ему не по душе», говорила она; на всякий случай она почитала за благо приуготовить меня к другому поприщу. Как женщина набожная, она мечтала о духовной карьере для сына. Поэтому она предложила подыскать коллеж, где меня выучили бы математике, черчению, военному ремеслу и английскому языку; о латыни и греческом она не упоминала, чтобы не отпугнуть отца, но она собиралась учить меня и этим двум языкам, поначалу тайно, затем, когда я сделаю успехи, открыто. Отец одобрил ее намерение: было решено отдать меня в дольский коллеж. Город Доль был выбран потому, что он находится на пути из Сен-Мало в Комбург.

Очень холодной зимой, которая предшествовала моему заточению в коллеж, в нашем доме случился пожар; меня спасла старшая сестра: она вынесла меня из огня. Господин де Шатобриан призвал супругу к себе в замок: весной мы пустились в путь.

Весна в Бретани более мягкая, чем в окрестностях Парижа, и наступает недели на три раньше. Пять птиц, возвещающих ее: ласточка, иволга, кукушка, перепелка и соловей — прилетают вместе с морским ветерком, гуляющим над заливами армориканского полуострова. Луга пестрят маргаритками, анютиными глазками, жонкилами, нарциссами, гиацинтами, лютиками, анемонами, какие цветут на пустошах вокруг церкви Сан Джованни ин Латерани и Святого Иерусалимского Креста в Риме. Поляны украшены высокими султанами

папоротника; поля дрока и утесника сверкают, словно усеянные золотистыми бабочками. Изгороди, близ которых всегда полно земляники, малины и фиалок, увиты боярышником, жимолостью, ежевикой, чьи бурные побеги гнутся под тяжестью листьев и плодов. Все кишит пчелами и птицами; дети на каждом шагу натываются на соты и гнезда. В укромных уголках растут, словно в Греции, дикие мирт и олеандр; зреют фиги, словно в Провансе; яблони, усыпанные карминными цветами, напоминают пышные букеты деревенских невест.

В XII столетии там, где нынче стоят города Фужер, Ренн, Бешрель, Динан, Сен-Мало и Доль, рос Брешелианский лес *. Там франки сражались с жителями Доммонеи *. Вас рассказывает, что там жил дикий человек, бил Берантонский источник и хранилась золотая чаша. Исторический документ XV столетия «Нравы и обычаи Бресильенского леса» подтверждает свидетельство, содержащееся в «Романе о Ру» *: лес этот, гласят «Нравы и обычаи», обширен и просторен, «есть там четыре замка, великое множество живописных прудов, превосходные охотничьи угодья, где не водятся ни ядовитые гады, ни мошара, две сотни высоких деревьев и столько же источников, среди коих источник Белантон, близ которого совершил свои первые подвиги рыцарь Понтюс».

Край этот и поныне сохранил свой первозданный облик: изрезанный лесистыми рвами, он издали кажется густой дубравой и напоминает Англию: прежде здесь жили феи, а я, как вы увидите, повстречал здесь свою сильфиду. По узким лощинам текут маленькие речушки. На их диких берегах растут деревца, пускающие остроконечные молодые побеги. Вдоль моря стоят маяки, наблюдательные вышки, дольмены, романские постройки, развалины средневековых замков, колокольни эпохи Возрождения: у подножия всех этих построек плещут морские волны. Плиний говорит о Бретани: *полуостров, глядящий в океан*.

Между морем и сушей расстилаются пелагические * равнины, зыбкая граница двух стихий: полевой жаворонок летает здесь рядом с жаворонком морским; плуг бороздит землю, а в двух шагах от него лодка бороздит воду. Мореход заимствует слова у пастуха, пастух изъясняется языком морехода: матрос говорит о *барашках волн*, пастырь — о *волнах овечьей шерсти*. Разноцветные песчаные отмели, усеянные ракушками, фукусы *, бахрома серебристой пены тянутся вдоль золотистой или зеленой кромки пшеничных полей. Не помню, на каком из островов Средиземного моря я видел барельеф с изображением nereid, украшающих гирляндами подол платья Цереры.

Но самое дивное в Бретани — это луна, восходящая над землей, а на рассвете погружающаяся в море.

Волею Бога луна — владычица бездны; как и солнце, она порой прячется за облаками, источает пары, струит лучи и наделяет предметы тенью, но,

в отличие от солнца, она покидает землю не одна; ее сопровождает свита звезд. В моих родных краях, уходя с небосклона, она все глубже погружается в молчание, сообщая его морю; вскоре она наполовину скрывается за горизонтом, забывается сном, клонит голову и исчезает в мягкой перине волн. Светила из королевской свиты, прежде чем уйти в воду след за своей повелительницей, приостанавливаются, медля на гребне волн. Луна заходит только после того, как морской ветерок развеет отражение созвездий в зеркальной глади,— так задувают факелы после торжественной церемонии.

〈Первый приезд Шатобриана в Комбург〉

КНИГА ВТОРАЯ

Просмотрено в июне 1846 года

1. *Дольский коллеж.— Математика и языки.— Особенность моей памяти*

Дюпп, сентябрь 1812 года

В Доле я не был чужаком; мой отец как потомок и представитель рода Гийома де Шатобриана, господина де Бофора, пожертвовавшего в 1529 году собору первую скамью для духовенства, был тамошним *каноником*. Епископом Дольским был господин де Эрсе, друг нашей семьи, которого, несмотря на весьма умеренные политические взгляды, расстреляли вместе с его братом, аббатом де Эрсе, на киберонском Поле мучеников *; оба стояли на коленях, держа в руках распятие. По прибытии в коллеж я был препоручен заботам господина аббата Лепренса, преподавателя риторики и великого знатока геометрии: это был человек образованный, с приятным лицом, любящий изящные искусства, недурно рисующий портреты. Он взялся обучить меня математике по учебнику Безу; аббат Эго, наставник третьего класса, стал учить меня латыни; математикой я занимался у себя в комнате, латынью — в общей зале.

Такой сын, как я, не сразу привык к клетке, именуемой коллежем, и не вдруг научился соразмерять свой полет со звоном колокольчика. Не в пример детям из состоятельных семейств, я не скоро нашел себе друзей, ибо кому охота связываться с бедняком, у которого нет даже карманных денег; не искал я и покровителей, ибо ненавижу угодничество. В играх я не стремился верховодить, но не хотел, чтобы мною помыкали: я не годился ни в тираны, ни в рабы; таков я и поныне.

Однако случилось так, что я довольно быстро снискал уважение товарищей; пользовался я влиянием и позже, в полку: хотя я был всего лишь младшим лейтенантом, старые офицеры вечерами приходили ко мне, им больше нрави-

лось собираться у меня, чем в кафе. Не знаю, в чем тут дело, быть может, в том, что я легко понимаю мысли и перенимаю нравы других людей. Бегать и прыгать я любил не меньше, чем читать и писать. Мне по сей день доставляет одинаковое удовольствие болтать о вещах самых обыденных и рассуждать о материях самых возвышенных. Я не слишком ценю ум, он мне почти неприятен, хотя меня не назовешь глупцом. Меня не отвращает ни один порок, кроме глумления и самодовольства, которые мне трудно не презирать; мне всегда кажется, что другие в чем-то выше меня, и если я по случайности чувствую свое превосходство, то неизменно испытываю неловкость.

Достоинства, которые не сумело пробудить мое начальное образование, расцвели в коллеже. Я отличался усидчивостью и необычайной памятью. Я быстро сделал успехи в математике, где выказал ясность мышления, удивлявшую аббата Лепренса. В то же время я проявлял явную склонность к языкам. Начатки латыни — предмет мучений всех школьников — давались мне без малейшего труда; я ждал уроков с нетерпением, они позволяли мне отдохнуть от цифр и геометрических фигур. Меньше чем через год я оказался на пятом месте среди учеников коллежа. Странное дело: моя латинская фраза так естественно превращалась в пентаметр, что аббат Эго прозвал меня Элегиком — прозвище, едва не закрепившееся за мной среди товарищей.

Что касается моей памяти, то вот два штриха. Я выучил наизусть таблицы логарифмов: видя число в геометрической прогрессии, я вспоминал показатель его степени, и наоборот.

После вечерней молитвы в часовне директор коллежа читал нам из Библии. Потом он вызывал кого-либо из учеников, чтобы тот пересказал прочитанное. Наигравшись вдоволь, мы являлись в часовню усталые, полусонные; каждый старался забиться в самый темный угол, чтобы его не заметили и, следовательно, не спросили. Самым надежным убежищем считалась исповедальня, и мы боролись за место в ней. Однажды вечером мне повезло, я забрался в этот укромный уголок и полагал себя в полной безопасности; к несчастью, директор заметил мою хитрость и решил проучить всех нас разом. Он долго, медленно читал вторую часть проповеди; все задремало. Сам не пойму, по какой случайности я не заснул в своей исповедальне. Директор, видевший только носки моих башмаков, думал, что я, как и все остальные, клую носом, и неожиданно обратился ко мне, приказав повторить все, что он читал.

Вторая часть проповеди содержала перечисление деяний, оскорбительных для Господа. Я не только пересказал суть проповеди, но повторил все разделы в том же порядке, в каком они были названы, почти слово в слово воспроизведя несколько страниц мистической прозы, непостижимой для ребенка. По часовне пронесся восторженный гул: директор подозвал меня, потрепал по щеке и в награду разрешил завтра поспать подольше. Из скромности я тут же убежал от восхищенных товарищей и вдоволь наслаждался пожалованной мне милостью.

Эта память на слова сохранилась у меня не вполне, уступив место другому, более редкому виду памяти, о котором мне, быть может, еще представится случай рассказать.

Одно досадно: хорошая память часто является свойством людей глупых; памятьливы, как правило, неповоротливые умы, которые, перегрузив себя заученной премудростью, делаются еще тяжелее на подъем. И тем не менее, что были бы мы без памяти? Мы забывали бы наших друзей, наших возлюбленных, наши радости, наши деяния; гений не мог бы собрать воедино свои идеи; самое любящее сердце утратило бы нежность, утратив воспоминания; наше существование свелось бы к череде мгновений, уплывающих от нас без возврата; мы лишились бы прошлого. Горе нам! наша жизнь столь бесцельна, что является всего лишь отголоском нашей памяти.

⟨Первые каникулы в Комбурге⟩

3. ⟨...⟩ *Театр.— Замужество двух моих сестер.— Возвращение в коллеж.—
Переворот в моих мыслях.*

Дьеп, октябрь 1812 года

⟨Господин де Ла Моранде, бедный дворянин, служащий управляющим в Комбурге, отвозит Шатобриана в Сен-Мало, чтобы мальчик посмотрел на военный лагерь⟩

Мой брат был в Сен-Мало, когда господин де Ла Моранде привез меня туда. Как-то вечером он сказал мне: «Я поведу тебя в театр; не забудь шляпу». Я теряю голову: за шляпой, лежащей на чердаке, я бегу в погреб. В Сен-Мало недавно прибыла труппа бродячих артистов. Я уже видел марионеток; я думал, что в театре тоже показывают кукол, но гораздо более красивых, чем уличные.

С бьющимся сердцем я вхожу в деревянный дом на пустынной улице. Не без некоторого страха иду темными коридорами. Открывается маленькая дверца, и вот мы с братом в полупустой ложе.

Занавес поднялся, пьеса началась: давали «Отца семейства» *. Я увидел, как двое мужчин беседуют, прогуливаясь по подмосткам, а все на них смотрят. Я принял их за кукловодов, которые разговаривают перед хижиной матушки Жигонь *, пока собирается публика: я удивился только, что они так громко обсуждают свои дела и что в зале так тихо. Изумление мое возросло, когда на сцене появились другие персонажи, принялись воздевать руки горе, стенать и наконец все, как по команде, зарыдали. Занавес упал, а я так ничего и не понял. В антракте брат спустился в фойе. Я остался в ложе среди чужих людей, страдая от собственной робости; дорого бы я дал, чтобы снова очутиться в коллеже. Таково было мое первое впечатление от искусства Софокла и Мольера.

Третий год моего пребывания в коллеже ознаменовался замужеством двух моих старших сестер: Мари Анна вышла за графа де Мариньи, а Бенинь — за графа де Кебриака. Они переселились к своим мужьям в Фужер: предвестие близкой разлуки, ждавшей всех членов нашей семьи. Мои сестры венчались в Комбургской часовне в один и тот же день и час перед одним и тем же алтарем. Они плакали, матушка тоже плакала; меня удивила эта скорбь: сегодня я ее понимаю. Присутствуя при крещении или бракосочетании, я никогда не могу сдержать горькой улыбки и не ощутить стеснения в груди. Самое большое несчастье после нашего собственного появления на свет — это дать жизнь другому человеческому существу.

В этом же году перемены произошли не только в моей семье, но и в моей душе. В руки мне случайно попали две совершенно различные книги: полный Гораций и «Живые исповеди». Переворот, произведенный в моих мыслях двумя этими книгами, трудно вообразить: вокруг меня воздвигся странный мир. С одной стороны, я провидел тайны, непостижимые для моих лет, существование, отличное от моего, радости, не похожие на детские забавы, загадочное очарование, отличающее представительниц того пола, что прежде исчерпывался для меня матерью и сестрами; с другой стороны, звенящие цепями и изрыгающие пламя призраки грозили мне вечными муками за один-единственный сокрытый грех. Я потерял сон; ночами мне казалось, будто сквозь занавеси ко мне тянутся то белые, то черные руки: я вбил себе в голову, что темные руки прокляты Господом, и эта мысль усугубила мой страх перед тенями ада. Тщетно искал я на небесах и на земле разгадку этой двойной тайны. Страдая телом и духом, я сражался с бурями преждевременной страсти и ужасами суеверий оружием моей невинности.

Тогда-то меня и обожгли искорки того огня, вместе с которым передается жизнь. Я разбирал четвертую книгу «Энеиды» и читал «Телемака» *: неожиданно я открыл в Дидоне и Евхарис красоты, приведшие меня в восхищение; я постиг гармонию этих дивных стихов и этой древней прозы. Однажды я стал переводить с листа «*Aeneadam genitrix, hominum divûmque voluptas*» ⁷ Лукреция с такой живостью, что господин Эго отобрал у меня поэму и приказал вернуться к изучению греческих корней. Я украл томик Тибулла; когда я дошел до *Quam juvat immites ventos audire cubantem* ⁸, мне показалось, что в этих исполненных меланхолического сладострастия строках раскрыты глубины моей собственной души. Я не расставался с томами Массийона, содержащими проповеди о грешнице и о блудном сыне. Мне разрешали их листать, ибо никому и в голову не приходило, что именно я в них выискивал. Я воровал

⁷ Рода Энеева мать, людей и бессмертных услада (о благая Венера!) (лат.; Лукреций. О природе вещей, I, 1, пер. Ф. Петровского).

⁸ Как там отрадню лежать и, внемля неистовой буре, // (Дремно хозяйку свою в тесных объятьях сжимать) (лат.; Тибулл. Элегии, I, 1, 45; пер. Л. Остроумова).

свечные огарки в часовне, чтобы читать по ночам эти соблазнительные описания душевного смятения. Я засыпал, бормоча бессвязные фразы, в которые старался вложить нежность, гармонию и изящество писателя, лучше всего воссоздавшего в прозе благозвучие расиновского стиха.

Если впоследствии мне удалось довольно правдиво изобразить муку сердца, терзаемого любовью и раскаянием, то единственно благодаря случаю, который разом отдал меня во власть двух враждующих сил. Опустошения, которые произвела в моем воображении одна книга, уравновесил страх, который внушила мне другая, а страх притупили соблазнительные мысли, порожденные откровенными картинами.

4. *Случай с сорокой.*— *Третьи каникулы в Комбурге.*— *Знахарь.*—
Возвращение в коллеж

Дьепп, конец октября 1812 года

О несчастье говорят: беда никогда не приходит одна; то же можно сказать и о страстях: они приходят вместе, как музы или фурии. Вместе со склонностью, которая начинала меня мучить, во мне родилась честь — восторг души, хранящий сердце от порчи среди всеобщей распущенности, своего рода возрождающее начало, сопутствующее началу испепеляющему, как неиссякаемый источник чудес, которых любовь требует от юности, и жертв, к которым она обязывает.

В хорошую погоду воспитанники коллежа совершали по четвергам и воскресеньям долгие прогулки. Мы часто поднимались на вершину горы Мон-Доль, где находятся галло-римские развалины: с высоты этого одинокого холма взору открывается море и болота, где по ночам порхают блуждающие огни, чей колдовской свет горит сегодня в наших лампах. Другим конечным пунктом прогулок были луга, окружающие семинарию эдистов — конгрегации, основанной Эдом, братом историка Мезере.

Однажды майским днем аббат Эго, дежурный классный наставник, повел нас в эту семинарию: нам дозволялось резвиться вволю, но строго-настрого запрещалось лазить по деревьям. Оставив нас на заросшей травой дороге, преподаватель удалился, чтобы погрузиться в чтение требника.

Дорогу окаймляли вязы; на вершущке самого высокого из них поблескивало сорочье гнездо: мы в полном восхищении глазеем на птицу, сидящую на яйцах, и стораем от желания поймать эту великолепную добычу. Но кто попытает счастья? Запрет такой строгий, преподаватель так близко, дерево такое высокое! Все с надеждой смотрят на меня; я лазаю по деревьям, как кошка. Я не могу решиться, но в конце концов верх одерживает тщеславие: я сбрасываю

курточку, обнимаю вяз и начинаю взбираться наверх. Ствол гладкий, без сучьев, ближе к середине он разветвляется надвое; гнездо находится на одной из вершин.

Товарищи мои, сгрудившись под деревом, восторженно следят за моими стараниями, глядя то на меня, то в ту сторону, откуда может прийти наставник, пританцовывая от радости в надежде заполучить яйца, умирая от страха в ожидании наказания. Я добираюсь до гнезда; сойка улетает; я хватаю яйца, прячу их за пазуху и спускаюсь вниз. К несчастью, соскользнув между двумя сросшимися стволами, я попадаю прямо в развилку. Поскольку дерево без сучьев, у меня ни справа, ни слева нет опоры, чтобы приподняться и выбраться из развилки; застряв, я повисаю в пятидесяти футах над землей.

Вдруг раздается крик: «Наставник идет!» — и мои друзья, как это всегда бывает в подобных случаях, бросаются врассыпную. Только один Ле Гобьен попытался мне помочь, но ему скоро пришлось отказаться от своего благородного намерения. Единственное, что мне оставалось — это, повиснув на руках на одном из стволов, попытаться обхватить ногами дерево ниже разветвления. С риском для жизни я выполнил этот трюк. Во время всех этих акробатических упражнений я ухитрился сберечь свое сокровище; лучше бы я бросил его, как не раз поступал впоследствии. Съезжая вниз по стволу, я ободрал руки, расцарапал ноги и грудь и раздавил яйца: это меня и погубило. Учитель не видел меня на вязе; мне удалось утаить ссадины, но я весь был перепачкан золотистым желтком, и скрыть это было невозможно. «Ну что ж, сударь, — сказал аббат, — вас ждет порка».

Если бы этот человек объявил мне, что он заменит это наказание смертной казнью, я был бы счастлив. Я рос дикарем, и сама мысль о позоре была для меня нестерпима; во всякую пору моей жизни я согласился бы на любую пытку, лишь бы не краснеть от стыда перед живым существом. В сердце моем вскипело негодование: с недетской решимостью я сказал аббату, что никогда не позволю ни ему, ни кому-либо другому поднять на меня руку. Этот ответ возмутил его; он назвал меня дерзким мальчишкой и пообещал проучить. «Посмотрим», — возразил я и стал играть в мяч с хладнокровием, которое привело его в замешательство.

Мы вернулись в коллеж; наставник вызвал меня к себе и приказал подчиниться. Возбуждение мое сменилось потоком слез. Я напоминал аббату Эго, что он преподавал мне латынь, что я его ученик, его создание, его дитя; не хочет же он, говорил я, обесчестить своего выученика и довести меня до того, что я не смогу показаться на глаза товарищам; он может посадить меня в карцер, на хлеб и воду, лишить перемен, дать мне в наказание дополнительную работу; я буду благодарен ему за милосердие и стану любить его еще больше. Я валялся у него в ногах, молитвенно складывал руки, упрашивал ради Христа пощадить меня; он остался глух к моим мольбам. Я вскочил и в сердцах так сильно пнул

его ногой, что он вскрикнул. Хромая, он бежит к двери, запирает ее на два оборота и возвращается ко мне. Я укрываюсь за его постелью; он дотягивается до меня и бьет линейкой. Я закутываюсь в одеяло и издаю воинственный клич:

Macte animo, generose puer!⁹

Услышав, как я блистаю школярской эрудицией, мой противник не мог сдержать улыбки; он заговорил о прекращении боевых действий; мы заключили перемирие; было решено положиться на суд директора. Директор не мог признать меня правым, но все же согласился избавить от ненавистного наказания. Когда превосходный пастырь произнес оправдательный приговор, я поцеловал рукав его сутаны в таком порыве любви и признательности, что он, забывшись, благословил меня. Так завершился мой первый бой в защиту чести, которая стала кумиром моей жизни и которой я столько раз приносил в жертву покой, радости и состояние.

Мне шел двенадцатый год; снова настали каникулы; на этот раз они были безрадостными; вместе со мной в Комбург приехал аббат Лепренс. Меня никуда не отпускали одного; мы с ним подолгу бродили по окрестностям. Он умирал от чахотки; он был тих и печален; я чувствовал себя немногим веселее. Мы часами ходили сам друг, не произнося ни слова. Однажды мы заблудились в лесу; господин Лепренс обернулся ко мне и спросил: «По какой дороге идти?» Я без колебаний ответил: «Солнце заходит; сейчас оно светит в окно толстой башни — пойдем туда». Вечером господин Лепренс рассказал об этом отцу; наблюдательность обличала во мне будущего путешественника. В лесах Америки я не раз вспоминал на закате комбургские леса: мои воспоминания перекликаются одно с другим.

Аббат Лепренс хотел, чтобы я занимался верховой ездой, но отец мой исходил из того, что морской офицер должен уметь управлять только кораблем. Пришлось мне тайком ездить либо на одной из двух толстых упряжных кобыл, либо на большом пегом коне. Не в пример Тюреннову скакуну, мой Пегий не принадлежал к той породе боевых коней, каких римляне называли *desultorios equos*¹⁰ и обучали спасать хозяина; это был своенравный Пегас, который цокал копытами, идя рысью, и покусывал меня за ноги, когда я заставлял его прыгать через рвы. Несмотря на свою кочевую жизнь, я никогда особенно не интересовался лошадьми; впрочем, как это ни странно при моем воспитании, я держусь в седле изящно, хотя, быть может, и не слишком прочно.

Лихорадка, привезенная мною с дольских болот, разлучила меня с господином Лепренсом. Через деревню проходил продавец целебного бальзама; отец мой презирал докторов, но почитал шарлатанов: он послал за знахарем,

⁹ Дерзай, благородный отрок, (так идут к звездам) (лат.; Стаций. Сильвы, V, 297; стрфка восходит к Вергилию: Энеида, IX, 641).

¹⁰ Обученный конь (лат.).

который заверил, что поставит меня на ноги за сутки. Назавтра он явился в зеленом кафтане, обшитом золотыми галунами, в скверном пудреном парике, широких манжетах из грязного муслина, в перстнях с фальшивыми бриллиантами, в потертых коротких штанах из черного атласа, шелковых чулках сомнительной белизны и башмаках с огромными пряжками.

† Он раздвигает полог моей постели, щупает пульс, велит высунуть язык, бормочет с итальянским акцентом несколько слов о необходимости прочистить желудок и дает мне проглотить маленький леденец. Мой отец одобрил его действия, ибо полагал, что всякая болезнь — следствие несварения желудка, и видел в слабительных средствах панацеею от всех бед.

Через полчаса после того, как я проглотил леденец, у меня началась страшная рвота; об этом доложили господину де Шатобриану, который готов был вышвырнуть незадачливого лекаря в окно башни. Знахарь в ужасе сбросил кафтан, засучил рукава рубашки и принялся жестикулировать самым странным образом. При каждом движении парик его мотался из стороны в сторону, он стонал вместе со мной, а потом спрашивал: «Чего? господино Лавандье?» Этот господин Лавандье был деревенский аптекарь, которого призвали на помощь. Корчась от боли, я, однако, не знал, от чего скорее умру: от снадобья, которым накормил меня этот человек, или от смеха, который он у меня вызывал.

Действие чрезмерной дозы рвотного было остановлено, и я поправился. Мы всю жизнь бродим вокруг своей могилы; все наши болезни — ветерок, исподволь приближающий нас к гавани. Первым покойником, какого я видел, был каноник из Сен-Мало; он лежал в постели с лицом, искаженным предсмертной судорогой. Смерть прекрасна, она нам друг, но мы не узнаем ее, оттого что она является нам в маске, которая наводит на нас ужас.

В конце осени я вернулся в коллеж.

⟨Учеба и развлечения в коллеже; первое причастие; Шатобриан возвращается в Комбург, затем поступает в Реннский коллеж и два года учится там; он отправляется в Брест держать экзамен на гардемарина, но, передумав, возвращается в Комбург к родителям⟩

КНИГА ТРЕТЬЯ

1. Прогулка.— Видение Комбурга

Монбуассье, июль 1817 года

Предыдущую главу моих воспоминаний открывала помета «Волчья долина, январь 1814 года» — перед этой главой я вывожу: «Монбуассье, июль 1817 года»; между записями прошло три с половиной года. Слышали ли вы грохот падения Империи? Нет: ничто не возмутило покоя этих мест. Меж тем

Империя пала *; огромная развалина рухнула в мою жизнь, как обрушивались обломки романских построек в воды неведомого ручья. Но для того, кто не считается с событиями, они мало что значат: несколько лет, проскользнувших между пальцев Всевышнего, покончат со всем этим шумом и растворят его в безбрежном молчании.

Предыдущая книга была написана на закате тирании Бонапарта и в свете последних вспышек его славы — эту книгу я начинаю в царствие Людовика XVIII. Я видел королей вблизи, и мои политические иллюзии рассеялись, как сладкие грезы, рассказ о которых я продолжаю. Прежде всего поговорим о том, что побуждает меня вновь взяться за перо: человеческое сердце — игральное всего, что ни есть в мире, и невозможно предвидеть, какой пустяк принесет ему радость, а какой — горе. Монтень заметил *: «Чтобы возбудить нашу душу, не требуется никаких причин: беспричинные и беспредметные образы безраздельно владеют ею и ее возбуждают».

Я пишу эти строки в Монбуассье, на границе провинций Бос и Перш. Здешний замок, принадлежавший госпоже графине де Кольбер-Монбуассье, был продан и разрушен во время Революции: уцелели только два разделенных решеткой флигеля, где прежде жил привратник. Парк, превратившийся теперь в английский, сохранил, однако, следы былой французской регулярности: прямые аллеи, молодая поросль в обрамлении грабов придают ему серьезность; вид его ласкает взор, как зрелище руин.

Вчера вечером я прогуливался в одиночестве; небо было больше похоже на осеннее; то и дело налетали порывы холодного ветра. Выйдя на просеку, я остановился, чтобы взглянуть на солнце: оно садилось в облака над Аллюиской башней, откуда Габриэль, ее обитательница, двести лет тому, как и я, смотрела на заходящее солнце. Что случилось с Генрихом и с Габриэль? То же, что станет со мною, когда «Записки» эти увидят свет.

Меня оторвало от размышлений щебетанье певчего дрозда, усевшегося на самой высокой ветке березы *. При этих волшебных звуках у меня перед глазами сразу встал отчий дом; я забыл катастрофы, свидетелем которых недавно был, и, тотчас перенесаясь в прошлое, увидел родные края, где часто слушал пение дрозда. Оно и тогда навевало на меня такую же печаль, как сегодня; но та печаль рождалась из смутного желания счастья, живущего в душе человека неискушенного, нынешняя же моя печаль происходит от того, что я изучил мир и знаю ему цену. В комбургских лесах пенье птиц рассказывало мне о блаженстве, которое я надеялся испытать; те же самые звуки в парке Монбуассье напомнили мне о днях, растраченных в погоне за этим недостижимым блаженством. Мне уже нечего ждать от жизни; я шагал быстрее других и обошел жизнь кругом. Часы бегут и торопят меня: я не могу даже поручиться, что успею закончить мои записки. Где только я не трудился над ними! где-то я их завершу? Долго ли мне еще гулять по лесным опушкам? Воспользуемся же теми

немногими мгновениями, которые есть еще у меня в запасе: поспешим описать мою юность, пока я еще могу до нее дотянуться: навсегда покидая заколдованный берег, мореплаватель заполняет бортовой журнал, пока земля, которая медленно удаляется, еще не скрылась из глаз.

⟨Учеба в Динанском коллеже⟩

Просмотрено в декабре 1846 года

3. *Жизнь в Комбурге. — Дни и вечера*

Монбуассье, июль 1817 года

По возвращении из Бреста я поселился в Комбурге вместе с отцом, матерью и сестрой. Кроме нас, четверых хозяев, в замке жила немногочисленная прислуга: кухарка, горничная, два лакея да кучер; охотничья собака и две старые кобылы занимали угол конюшни. Эта дюжина живых существ терялась в усадьбе, где без труда разместилась бы сотня рыцарей со своими дамами, конюшными, чаелядинцами, боевыми конями и сворой гончих не хуже, чем у короля Дагобера *.

Целый год порог замка не переступала чужая нога — только изредка маркиз де Монлуэ или граф де Гуайон-Бофор, направляясь на заседания Бретонского парламента, просили у нас приюта. Они приезжали зимой, верхами, с притороченными к седлу пистолетами, с охотничьим ножом на боку, в сопровождении верхового слуги, везущего в огромном мешке судейскую мантию.

Отец мой, неукоснительно соблюдавший приличия, даже в дождь и ветер выходил на крыльцо с непокрытой головой встречать гостей. Помещики рассказывали нам о своих междоусобицах, семейных делах и судебных тяжбах. Вечером их провожали в Северную башню, в покои королевы *Кристины*, — парадную спальню, занятую кроватью, имеющей семь футов в длину и столько же в ширину, с двойным пологом из зеленого газа и малинового шелка, с четырьмя позолоченными Амурами по углам. Наутро, когда я спускался в большую залу и глядел в окно на затопленные или подернутые ледком равнины, я видел только две или три одинокие фигуры на дороге, ведущей к пруду: то были наши гости, скакавшие в сторону Ренна.

Гости наши не блистали особыми познаниями, однако благодаря им наш кругозор расширялся на несколько лье. Когда они уезжали, мы оставались в тесном семейном кругу; по будням мы видались только друг с другом, а по воскресеньям — с деревенскими буржуа и соседними помещиками.

В погожие воскресные дни матушка, Люсиль и я направлялись по Малой аллее, вдоль поля, в приходскую церковь; если же лил дождь, мы шли по

отвратительной комбургской улице. Нам было далеко до аббата де Мароля, обладателя легкой повозки, запряженной четверкой белых лошадей, захваченной у турок в Венгрии *. Отец посещал приходскую церковь только раз в году — на Пасху; все остальное время он слушал мессу в часовне замка. Сидя на главной скамье, мы вдыхали ладан и творили молитвы перед черной мраморной гробницей Рене де Роган, примыкающей к алтарю; вот что такое человеческая благодарность: несколько крупиц ладана перед гробом!

Воскресные развлечения прекращались с заходом солнца, да и они выпадали нам на долю лишь от случая к случаю. В ненастье ворота нашей крепости месяцами не впускали ни одного пришельца. Как ни унылы были вересковые пустоши, окружавшие Комбург, сам замок наводил еще большее уныние: вступая под его своды, человек испытывал то же чувство, что и при входе в Гренобльский картезианский монастырь. Я посетил его в 1805 году; он расположен в пустынной местности, которая по мере приближения к нему становится еще пустыннее; я думал, что в монастыре все будет иначе, но в стенах обители меня встретили сады еще более безлюдные, чем леса. Наконец посреди монастыря мне предстало уединенное старое кладбище, где похоронены иноки, — святилище, откуда вечное безмолвие, божество этих мест, правило окрестными горами и лесами.

Мрачное спокойствие Комбургского замка усугублял несловоохотливый и угрюмый нрав моего отца. Вместо того чтобы приблизить к себе семью и челядь, он расселил всех по разным концам здания. Его собственная спальня находилась в маленькой восточной башенке, а рабочий кабинет — в западной. Убранство этого кабинета составляли три черных кожаных стула и заваленный бумагами и дворянскими грамотами стол. Над камином висело генеалогическое древо рода Шатобрианов, а над окном — всевозможное оружие от пистолета до мушкетона. Матушкины покои располагались над большой залой между двух башенок; пол в них был выложен паркетом, стены украшены венецианскими зеркалами. К покоям матери примыкала спальня сестры. Каморка горничной была далеко, в большой башне. Что до меня, то я ютился в своего рода уединенной келье, на самом верху лестничной башенки, ведшей из внутреннего двора в разные крылья замка. У входа в башенку в сводчатом подвале обитал слуга отца вместе с другим слугой, а кухарка квартировала в толстой западной башне.

Отец зимой и летом вставал в четыре утра: спустившись во внутренний двор, он подходил к дверям лестничной башенки и будил своего слугу. В пять ему подавали маленькую чашечку кофе; затем он до полудня работал у себя в кабинете. Мать и сестра завтракали каждая у себя в спальне в восемь утра. У меня не было твердого распорядка дня — я вставал и завтракал, когда хотел; считалось, что до полудня я занимаюсь; большую часть времени я бездельничал.

В половине двенадцатого звонок сзывал всех к обеду, который подавали в полдень. Большая зала служила разом столовой и гостиной: мы обедали и ужинали в восточном ее конце, а затем переходили в другой, западный конец и устраивались перед огромным камином. Большая зала была обшита деревом, на светло-серых стенах висели старинные портреты — история Франции в лицах от Франциска I до Людовика XIV; среди них выделялись изображения Конде и Тюренна; над камином красовалась картина, изображавшая смерть Гектора от руки Ахилла у стен Трои.

После обеда мы не расходились до двух часов. Затем, если стояло лето, отец шел ловить рыбу, обходил огороды, прогуливался, стараясь, однако, не переступить границ своей вотчины; если же дело происходило осенью или зимой, он отправлялся на охоту, а мать, затворившись в часовне, посвящала послеполуденное время молитвам. Часовня эта была мрачной молельней, которую украшали превосходные картины великих мастеров, неизвестными путями попавшие в феодальный замок, затерянный в бретонской глуши. Я до сих пор храню гравюру на меди «Святое семейство» Альбани — вот все, что у меня осталось от Комбурга.

Пока отца не было дома, а мать молилась, Люсиль запиралась у себя, я же удалялся в свою келью либо бродил по окрестностям.

В восемь вечера колокол сзывал всех на ужин. После ужина в погожие дни все выходили на крыльцо. Отец, взяв ружье, стрелял в сов, вылетающих из бойниц с наступлением ночи. Мать, Люсиль и я смотрели на небо, на леса, на заходящее солнце и первые звезды. В десять часов все возвращались в дом и ложились спать.

Осенними и зимними вечерами все было иначе. Когда ужин кончался и четверо сотрапезников переходили от стола к камину, матушка, кряхтя, устраивалась на обитом переливчатым сиамским шелком диване; перед нею ставили круглый столик со свечой. Мы с Люсиль садились у камелька: слуги убирали со стола и исчезали. Тут отец начинал прогуливаться взад-вперед по зале и ходил так до самой ночи. Он носил халат из белого ратина, вернее, своего рода пальто, какого я ни у кого никогда не видел. Лысоватую голову его венчал большой белый колпак, стоявший торчком. Зала была просторная, и, когда он отдалялся от очага, в тусклом свете единственной свечи его совсем не было видно; мы слышали только его шаги во мраке; потом он медленно возвращался к свету и постепенно выступал из тьмы, как призрак, в беленой одежде, белом колпаке, с длинным бледным лицом. Пока он был в другом конце залы, мы с Люсиль успевали тихо обменяться несколькими словами; когда он приближался, мы замолкали. Не останавливаясь, он спрашивал: «О чем это вы говорили?» — и шел дальше. Охваченные ужасом, мы ничего не отвечали; и весь вечер тишину нарушал лишь мерный шум отцовых шагов, вздохи матери да вой ветра.

Наконец башенные часы били десять: отец замирал на месте, словно та же пружина, что привела в действие молоточек часов, остановила его шаги. Он вынимал свои карманные часы, заводил их, брал тяжелый серебряный канделябр с большой свечой, на минутку заглядывал в западную башенку, затем возвращался и, по-прежнему с канделябром в руке, шел в свою спальню, примыкавшую к восточной башенке. Он проходил мимо нас с Люсиль: мы целовали его и желали ему спокойной ночи. Он молча подставлял свою сухую впалую щеку и скрывался в башне, двери которой с шумом захлопывались.

Страхнув колдовские чары, мать и мы с сестрой, цепеневшие в присутствии отца, возвращались к обычной жизни. Первым следствием разрушения чар становилась наша говорливость. Чем более гнетущим было молчание, тем охотнее спешили мы наверстать упущенное.

Когда поток слов иссякал, я звал горничную и провожал мать и сестру в их покои. Они просили меня заглянуть под кровати, в камин, за двери, обойти соседние лестницы, проходы и коридоры и лишь после этого отпускали спать. Они помнили всех воров и привидения, которые, по преданию, водились в Комбурге. Слуги рассказывали, что некий граф де Комбург с деревянной ногой, умерший триста лет назад, иногда бродит по замку, и они встречали его в лестничной башенке; порой, говорили они, его деревянная нога разгуливает одна в сопровождении черного кота.

4. *Моя башня*

Монбуассье, август 1817 года

Разговоры о призраках занимали мою матушку и сестру во все время отхода ко сну: обе ложились в постель, умирая от страха; я взбирался на свою вышку; кухарка удалялась в толстую башню, а слуги спускались в подземелье.

Окно моей башенки выходило во внутренний двор; днем мне открывался вид на противоположную куртину, где сквозь камни пробивался листовик, а в одном месте росла дикая слива. Несколько стрижей, которые летом с криками влетали в щели между камнями, были единственными моими товарищами. В безлунные ночи я видел в окне только маленький клочок неба, на котором светились несколько звезд. Если же на небосклоне показывалась луна, лучи ее перед заходом дотягивались сквозь ромбовидные окна до моей кровати. Совы, перелетая с башни на башню, то и дело заслоняли от меня луну, и тени их крыльев рисовали на моих занавесях движущиеся узоры. Живя на отшибе, у входа на галереи, я жадно ловил все ночные шорохи. Иногда ветер словно бежал легкими шагами; порой у него вырывались стоны; внезапно дверь моя сильно сотрясалась, из подземелья доносился вой, немного погодя шум затихал, но вскоре повторялся снова. В четыре часа утра голос хозяина замка,

из-под вековых сводов призывавший слугу к себе, казался голосом последнего ночного призрака. Этот голос заменял мне нежные звуки музыки, которыми отец Монтеня будил своего сына.

Упорство, с каким граф де Шатобриан заставлял ребенка спать одного в высокой башне, могло иметь печальные последствия, но мне оно принесло пользу. Суровое обращение воспитало во мне храбрость взрослого мужчины, не лишив меня живого воображения, которое хотят отнять у нынешней молодежи. Меня не убеждали, что привидений не существует, — меня принудили их не бояться. Когда отец с иронической улыбкой спрашивал: «Неужто господину шевалье страшно?» — я был готов лечь спать рядом с покойниками. Когда добрейшая матушка говорила мне: «Дитя мое, на все воля Божия: вам нечего бояться злых духов, покуда вы чтите Господа» — это успокаивало меня больше, чем все философские доводы. Я одержал над своими страхами победу столь решительную, что ночные ветры, домовничающие в моей необитаемой башне, сделались всего-навсего игрушкой моей фантазии и крыльями моих грез. Мое разыгравшееся воображение, повсюду искавшее пищи и нигде не находившее ее вдоволь, готово было поглотить небо и землю. Пришел черед описать это состояние духа. Возвратившись к своей молодости, я пытаюсь изобразить себя таким, каким был тогда и каким, несмотря на перенесенные муки, уже не являюсь, о чем, быть может, и сожалею.

5. Переход от детства к зрелости

Не успел я вернуться из Бреста в Комбург, как в существовании моем произошел переворот: ребенок исчез и место его занял мужчина со своими короткими радостями и долгими горестями.

Поначалу в ожидании подлинных страстей все во мне обращалось в страсти. Когда после безмолвного обеда, где я не смел раскрыть рта ни для того, чтобы сказать слово, ни для того, чтобы проглотить кусок, мне удавалось ускользнуть, восторгу моему не было предела: если бы я сразу бросился вниз по ступеням, то непременно сломал бы шею. Стоило мне добраться до Зеленого двора или до леса, как я принимался бегать, прыгать, скакать, дурачиться, тешиться, и это длилось до тех пор, покуда я не падал без сил, с бьющимся сердцем, упоенный забавами и свободой.

Отец брал меня с собой на охоту. Любовь к охоте, завладевшая всем моим существом, доходила до исступления; перед глазами у меня по сей день стоит поле, где я убил моего первого зайца. Осенью мне часто случалось по четыре-пять часов простаивать по пояс в воде, подстерегая на берегу пруда диких уток; я и поныне не могу равнодушно смотреть, как собака делает стойку. Впрочем, к моему первому пылкому увлечению охотой примешивалась любовь

к независимости: прыгать через рвы, вдоль и поперек искаживать поля, болота, вересковые заросли, бродить с ружьем вдали от людей, ощущая себя сильным и одиноким, — тут я был в своей стихии. Иной раз я забирался так далеко, что уже не держался на ногах и лесникам приходилось нести меня домой на носилках из веток.

Однако скоро радости, доставляемые охотой, наскучили мне; меня снедала жажда счастья, которой я не мог ни умерить, ни понять; в уме моем и в моей душе воздвиглись два пустых храма; никто еще не знал, на какой алтарь будут здесь приносить жертвы, какому богу поклоняться. Я рос бок о бок со своей сестрой Люсиль; наша жизнь и наша дружба были нераздельны.

6. Люсиль

Люсиль была девушка статная, редкой красоты, но чересчур серьезная. Бледное лицо ее обрамляли длинные черные волосы; она часто смотрела на небо или озираала все вокруг взглядом, полным то печали, то огня. Все в ней — походка, голос, улыбка, облик — было исполнено мечтательности и страдания.

Мы с Люсиль ничем не могли помочь друг другу. Когда мы говорили о мире, то только о том, который носили в себе и который весьма мало походил на мир, нас окружающий. Она видела во мне своего защитника, я видел в ней свою подругу. Ее одолевали приступы мрачных мыслей, которые мне нелегко было рассеять: в семнадцать лет она оплакивала ушедшую молодость; она хотела заживо похоронить себя в монастыре. Все тревожило, огорчало, ранило ее: она месяцами терзалась невысказанной мыслью, несбыточной мечтой. Я часто заставлял ее грезящей наяву — она сидела, уронив голову на руки, неподвижная, окаменевшая; казалось, бодрствовало в ней одно лишь сердце; жизнь ее не проявлялась вовне; даже грудь не вздымалась. Позой своей и печальной красотой она походила на Ангела смерти. Я пытался ее утешить, но мгновение спустя неизъяснимое отчаяние охватывало меня.

Люсиль любила в предвечерний час читать в одиночестве какую-либо благочестивую книгу: ей пришлось по сердцу перекресток двух проселочных дорог, где стоял каменный крест, а рядом острроверхий стиль тополя устремлялся в небо, словно кисть живописца. Моя набожная матушка, полная восхищения, говорила, что дочь напоминает ей одну из первых христианок, молящуюся в древней лавре.

Благодаря этому сосредоточению душевных сил сестра моя впадала в необычное состояние: ночью она видела пророческие сны, днем, казалось, читала в книге будущего. На площадке лестницы в главной башне висели стенные часы, боем своим нарушавшие ночную тишь; если Люсиль не спалось, она приходила и садилась на ступеньку перед этими часами; она ставила лампу на

пол и не сводила глаз с циферблата. Когда в полночь грозное слияние стрелок возвещало час смуты и преступлений, Люсиль слышала звуки, открывавшие ей чью-то далекую кончину. За несколько дней до 10 августа * она, вместе с другими моими сестрами жившая в Париже неподалеку от Кармелитского монастыря, бросила взгляд в зеркало и вскрикнула. «Я видела, как входит смерть», — объяснила она. Среди вересковых зарослей Каледонии * Люсиль стала бы небесным созданием Вальтер Скотта, наделенным двойным зрением; среди армориканских вересковых пустошей она была всего лишь отшельницей, чей удел — красота, гений и несчастье.

⟨ По совету Люсиль Шатобриан начинает писать стихи о природе; стихотворения в прозе самой Люсиль ⟩

9. *Последние строки, написанные в Волчьей долине. — Тайна моей жизни*

Волчья долина, ноябрь 1817 года

Возвратившись из Монбуассье, я пишу эти строки — последние в этом уединенном уголке; я вынужден покинуть его, хотя питомцы мои превратились в прекрасных юношей, чьи стройные ряды служат своему родителю укрытием и наградой *. Я больше не увижу магнолию, чьи цветы напомнили бы мне о флоридской красавице, не увижу иерусалимскую сосну и ливанский кедр, посаженные в память Иеронима, не увижу гренадский лавр, греческий платан, армориканский дуб, у подножия которых я живописал Бланку, воспевал Цимодоцею, сотворял Велледу *. Эти деревья, гамадриады моего сада, рождались и росли вместе с моими грезами. Они перейдут в другие руки; будет ли новый хозяин любить их так же сильно? Быть может, они зачахнут, быть может, он срубит их: я обречен лишиться всех земных сокровищ. Прощаясь с лесами Ольнэ, я буду описывать, как некогда прощался с лесами Комбурга; вся моя жизнь — сплошные прощания.

Пробудив во мне любовь к поэзии, Люсиль подлила масла в огонь. Чувства мои вспыхнули с новой силой; ум мой стало посещать суетное желание славы; на мгновение я поверил в то, что наделен талантом, но вскоре, вернувшись к справедливому неверию в себя, стал сомневаться в этом таланте, как сомневаюсь и по сию пору. Я начал смотреть на сочинительство как на дьявольское искушение; я рассердился на Люсиль за то, что она породила во мне пагубную склонность: я бросил писать и стал оплакивать свою грядущую славу, как оплакивают славу минувшую.

Вернувшись к бывлой праздности, я острее ощутил, чего недостает моей весне: я сам был для себя загадкой. Я не мог без смущения поднять глаз на женщину; я краснел, если она ко мне обращалась. Робость моя, и без того

чрезмерная, в женском обществе становилась столь неодолимой, что я пошел бы на любую пытку, лишь бы не оставаться с женщиной наедине; но стоило ей уйти, как я начинал призывать ее всеми силами души. В памяти моей вставали картины из Вергилия, Тибулла и Массийона; но образы матери и сестры, сообщая другим женщинам свою чистоту, уплотняли покровы, которые природа старалась приподнять; сыновняя и братская любовь заслоняли любовь менее бескорыстную. Будь в моем распоряжении самые красивые рабыни серала, я не знал бы, чего от них требовать: случай просветил меня.

Один из соседей приехал погостить к нам в Комбург с красавицей женой. Что-то стряслось в деревне; все бросились к окну большой залы, чтобы поглядеть. Я подбежал первым, гостя подросла следом за мной, я хотел уступить ей место и шагнул назад, но ненароком столкнулся с ней и оказался зажат между нею и окном. Я едва не лишился чувств.

С этого момента я стал смутно предощущать, что любить и быть любимым неизвестным мне образом — высшее блаженство. Поступи я, как поступают другие мужчины, я скоро узнал бы радости и горести страсти, семя которой носил в себе, но в моей душе всякое чувство приобретало характер необыкновенный. Пылкое воображение, робость, одиночество привели к тому, что я не стал искать женского общества, но, напротив, замкнулся в себе; не имея реального предмета страсти, я силой своих смутных желаний вызвал призрак, с которым с тех пор никогда не разлучался. Не знаю, найдется ли в человеческой истории другой пример такого рода.

10. Призрак любви

Итак, я придумал себе женщину — в ней было понемногу от всех женщин, каких мне случалось видеть: стан, волосы и улыбку я взял у заезжей гостьи, которая прижала меня к груди; глаза — у одной из деревенских девушек, свежесть — у другой. Портреты знатных дам времен Франциска I, Генриха IV и Людовика XIV, украшавшие гостиную, подарили мне остальные черты; я похитил прелести даже у мадонн, виденных мною в церкви.

Моя чаровница незримо сопровождала меня повсюду; я беседовал с ней, словно с живым существом; она менялась сообразно моей прихоти: Афродита без покровов, Диана в одеждах из лазури и росы, Талия в смеющейся маске, Геба с чашей юности, часто она оборачивалась феей, подчинявшей моей власти всю природу. Я без устали трудился над своим творением; я отбирал у моей красавицы одну прелесть и заменял ее другой. Так же часто менял я ее убор; я черпал из всех стран, из всех веков, из всех искусств, из всех религий. Потом, завершив свой шедевр, я вновь разбирал его на составные части; моя единственная женщина превращалась в толпу женщин, и я боготворил по отдельности те прелести, которым прежде поклонялся целокупно.

Я любил свое творение больше, чем Пигмалион свою статую, но чем мог я пленить свою Галатею? Не находя в себе необходимых достоинств, я щедро измышлял их. Я скакал верхом, как Кастор и Поллукс, играл на лире, как Аполлон, владел оружием лучше Марса: воображая себя героем романа или великим мужем древности, я громоздил вымысел на вымысел! Тени девушки Морвена *, султанши Багдада и Гренады, владелицы старых замков; купальни, благовония, пляски, услады Азии — по мановению волшебной палочки все покорялось мне.

Вот идет юная королева, убранная алмазами и цветами (это тоже моя сальфида); она ждет меня в полночь, под сенью апельсиновых деревьев, в галереях дворца, омываемого морскими волнами, на благоуханном берегу Неаполя или Мессины, под небом любви, пронизанным светом Эндимионова светила; она идет ко мне, статуя Праксителя, среди недвижных изваяний, бледных картин и фресок, безмолвно белеющих в лунных лучах: тихий шорох ее торопливых шагов по мраморной мозаике сливается с рокотом волн. Ревнивый король подстерегает нас. Я падаю к ногам властительницы Эннских равнин *; волосы ее развеваются по ветру и шелковыми волнами струятся по моему челу, когда она склоняет ко мне свою шестнадцатилетнюю головку и касается рукою моей трепещущей от почтения и сладострастия груди.

Когда, возвращаясь от мечты к действительности, я вновь чувствовал себя бедным маленьким бретонцем, незаметным, бесславным, невзрачным, бесталанным, неприглядным, осужденным влачить дни в безвестности, не смеющим надеяться на любовь какой бы то ни было женщины, мною овладевало отчаяние: я не решался поднять глаза на вечно сопутствовавший мне сияющий образ.

11. Два года в бреду.— Занятия и химеры

В этом бреду я прожил целых два года, изощрив способности своей души до чрезвычайной степени. Прежде я говорил мало, теперь вообще перестал говорить; прежде от случая к случаю садился за книги, теперь совсем забросил учебники; я еще сильнее полюбил одиночество. Я выказывал все признаки пылкой страсти: глаза мои запали, я худел, потерял сон, был рассеян, печален, вспыльчив, нелюдим. Я проводил дни дико, странно, бессмысленно и тем не менее упоительно.

К северу от замка простирались ланды, усеянные священными камнями друидов; на закате я приходил и садился на один из них. Позлащенные кроны деревьев, великолепие земли, вечерняя звезда, мерцающая сквозь розовые облака, возвращали меня к моим грезам: я хотел бы наслаждаться этим зрелищем вместе с идеальным созданием, предметом моих желаний. Я мысленно следил за дневным светилом; я вверял его попечению свою красавицу, чтобы

весь мир поклонился ее лучезарному блеску. Вечерний ветер, рвавший паутину с травы, вересковый жаворонок, садившийся на камень, призывали меня к действительности: я возвращался в замок со стесненным сердцем и удрученным видом.

В ненастные летние дни я поднимался на толстую западную башню. Раскаты грома над кровлей замка, потоки дождя, с ревом обрушивавшиеся на островерхие крыши, молнии, пронзавшие тучу и обжигавшие электрическим разрядом медные флюгеры, возбуждали мой энтузиазм: подобно Исмению на крепостных стенах Иерусалима, я призывал бурю; я надеялся, что она принесет мне Армиду *.

Если же небо было ясным, я направлял свои стопы к Большой аллее, за которой простирались луга, разделенные живой изгородью. Я устроил себе гнездышко в ветвях одной из ив: там, отрезанный от неба и земли, в окружении славок, я часами блаженствовал подле своей нимфы. Образ ее был для меня неотделим от весенних ночей, напоенных свежестью росы, вздохами соловья и шепотом ветра.

Бывало и так, что я шел безлюдной дорогой, речным берегом, омываемым волной и усеянным цветами; я впитывал шорохи, нарушавшие тишину пустынных мест, внимал каждому дереву; мне казалось, будто я слышу, как поет лунный свет в лесах: я хотел излить свою радость, но слова умирали у меня на устах. Моя богиня чудилась мне в переливах далекого голоса, в дрожании струн арфы, в мягком звуке рожка и певучей мелодии гармоники. Не стану перечислять всех прекрасных путешествий, которые я совершал с цветком моей любви; не стану рассказывать, как рука об руку мы посещали знаменитые развалины Венеции, Рима, Афин, Иерусалима, Мемфиса, Карфагена; как пересекали моря, как наслаждались счастьем под пальмами Отаити, в благоуханных рощах Амбуана и Тидора *, как поднимались на вершину Гималаев, где просыпается заря, как спускались по священным рекам, несущим свои полные воды мимо пагод с золотыми шарами, как спали на берегах Ганга, меж тем как бенгалец, взобравшись на мачту бамбукового челна, пел свою индийскую баркаролу.

Я забывал и землю и небо; менее всего волновало меня небо, но если я уже не обращал к нему свои мольбы, оно слышало голос моей тайной боли, ибо я страдал, а страдания вызывают к Богу.

12. Мои осенние радости

Чем пасмурнее становилась погода, тем созвучнее была она моему настроению: зима, затрудняя сообщение, отсекает сельских жителей от мира; чем дальше от людей, тем безопаснее.

Осенние картины исполнены нравственного смысла: листья падают, словно наши годы, цветы вянут, словно наши дни, тучи бегут, словно наши иллюзии, свет угасает, словно наш разум, солнце остывает, словно наша любовь, реки цепенеют, словно наша жизнь — осенняя природа связана тайными нитями с человеческой судьбой.

Я с неизъяснимой радостью ждал возвращения ненастной поры, когда улетают на юг лебеди и вяхири, когда вороны собираются на лугу возле пруда, а с наступлением ночи садятся на самые высокие дубы Большой аллеи. Если вечером на перепутье лесов поднимался голубоватый пар, если ветер распевал свои жалобные песни и сказания, шевеля увядший мох, я мог безраздельно предаваться своим природным склонностям. Встречал ли я пахаря у кромки поля? я останавливался, чтобы взглянуть на этого человека, который взрос под сенью колосьев и которого, когда придет срок, скосят вместе с ними: вспахивая лемехом плуга ту землю, что станет его могилой, он смещивал свой горячий пот с ледяным осенним дождем: борозда, оставленная им, являла собою памятник, которому суждено пережить своего создателя. А что же моя потусторонняя прелестница? Силой своего волшебства она переносила меня на берега Нила и показывала, как засыпает египетскую пирамиду тот же песок, который засыплет однажды армориканскую борозду, проведенную среди зарослей вереска: я радовался, что мое идеальное блаженство неподвластно законам человеческого бытия.

Вечерами я пускался в одинокое плавание по пруду; лодка моя скользила среди камышей и широких листьев кувшинок. Над прудом, готовясь покинуть наши края, собирались ласточки. Я жадно ловил их щебет: я слушал их внимательнее, чем слушал в детстве Тавернье рассказы путешественников. Ласточки резвились на воде в лучах заходящего солнца, гонялись за насекомыми, дружно взмывали в небо, словно желая испытать свои крылья, вновь опускались на воду, потом садились на камыш, почти не гнувшийся под ними, и наполняли его заросли своим неясным гомоном.

13. Заклинание

Спускалась ночь; волновались веретена и мечи камышей; замолкал пернатый караван коростелей, уток-мандаринок, зимородков, болотных куликов; плескало волною озеро, в лесах и болотах вступала в свои права осень: я вытаскивал свое суденышко на сушу и возвращался в замок. Было десять часов. Войдя к себе в комнату, я тут же распахивал окно и, устремив взгляд в небо, начинал свои заклинания. Я возносился вместе с моей чаровницей в заоблачные выси: закутавшись в ее кудри и развевающиеся одежды, я по воле ураганов качал верхушки деревьев, колебал гребни гор или вихрем кружился

над морями. Погружаясь в пространство, нисходя с трона Божьего к вратам бездны, я силою моей любви правил мирами. Чем большими опасностями грозила мне разгулявшаяся стихия, тем острее становилось пьянящее блаженство. В порывах северного ветра я слышал лишь стоны сладострастия; шелест дождя приглашал меня уснуть на груди женщины. Слова, которые я обращал к этой женщине, разбудили бы чувственность старухи и согрели надгробный мрамор. Неискушенная и всеведущая, девственница и любовница, Ева невинная и Ева падшая, ведунья, вселявшая в меня безумие, она была средоточием тайны и страсти: я возводил ее на алтарь и поклонялся ей. Я гордился тем, что любим, и гордость эта лишь усиливала мое чувство. Шла ли она — я падал ниц, чтобы стлаться под ее ногами или целовать ее следы. Я терял голову от ее улыбки; я трепетал при звуке ее голоса; я томился желанием, едва дотронувшись до предмета, которого коснулась она. Воздух, выдохнутый из ее влажных уст, проникал в меня до мозга костей, тек в моих жилах вместе с кровью. Единственный ее взгляд мог бы заставить меня мчаться на край света; в какой пустыне я не согласился бы жить рядом с нею! Она обратила бы львиное логово во дворец, и миллионы столетий не смогли бы истощить сжигающий меня огонь.

Сила моего воображения превращала эту Фрину, сжимавшую меня в своих объятиях, в олицетворение славы и, главное, чести; добродетель, приносящая самые благородные жертвы, гений, порождающий самую редкостную мысль, едва ли дадут представление о моем счастье. Мое чудесное создание дарило мне все упоения чувств и все наслаждения души разом. Под бременем этих нег, утопая в этих усадках, я переставал отличать существенность от вымысла; я был человеком и не был им; я становился облаком, ветром, шорохом; я обращался в чистый дух, эфирное создание, воспевающее высшее блаженство. Я хотел отринуть свою природу, дабы слиться с желанной девой, раствориться в ней, ближе припасть к красоте, стать страстью своей и чужой, любовью и предметом любви.

Внезапно, сраженный безумием, я бросался на постель; я катался от боли; я орошал свое ложе горючими слезами, которых никто не видел, жалкими слезами, проливающимися ради химеры.

14. *Искушение*

Вскоре, не в силах оставаться долее в своей башне, я спускался по темной лестнице, украдкой, как убийца, отворял дверь на крыльцо и отправлялся в лес.

Я брел куда глаза глядят, размахивая руками, открывая объятия ветрам, которые ускользали от меня, как и тень, за которой я гнался; прислонившись

к стволу бука, я смотрел, как спугнутые мною вороны перелетают на другое дерево, как ползет над голыми ветвями луна; я мечтал остаться навсегда в этом мертвом мире, подобном тусклому склепу. Я не чувствовал ни холода, ни ночной сырости; даже ледяное дыхание зари не могло бы оборвать нить моих размышлений, если бы в этот час не раздавался звон деревенского колокола.

В бретонских деревнях по покойникам обычно звонят на рассвете. Этот звон, состоящий из трех повторяющихся нот, складывается в бесхитростную заунывную мелодию, жалобную и простонародную. Ничто не было так созвучно моей больной, израненной душе, как возвращение к горестям жизни под звон колокола, возвещающий их конец. Я представлял себе, как пастух испускает последний вздох в затерянной среди полей хижине, как затем его несут на такое же заброшенное кладбище. Для чего жил он на этой земле? Для чего появился на свет я сам? Коль скоро мне рано или поздно суждено уйти, не лучше ли отправиться в дорогу утром, по холодку, и прийти до срока, чем изнемогать в конце пути, перенося тягость дня и зной*? Краска желания бросалась мне в лицо; мысль о том, что меня не будет, сжимала мне сердце нежданной радостью. В пору юношеских заблуждений я часто мечтал не пережить своего счастья: первые успехи приносили такое блаженство, что после этого оставалось только алкать собственного исчезновения.

Все крепче и крепче привязываясь к моему призраку, не имея возможности усладиться тем, чего не существовало, я был похож на калеку, который мечтает о негах, для него недостижимых, и тешит себя грезой, тем более сладостной, чем горше его мучения. Кроме того, я предчувствовал, что жребий мой будет жалок; изобретая все новые и новые поводы для страданий, я что ни день впадал в отчаяние: я то считал себя ничтожеством, не способным возвыситься над толпой, то отыскивал в себе достоинства, которых никто никогда не оценит. Внутренний голос подсказывал мне, что в свете я не найду ничего из того, что ищу.

Все умножало горечь моих разочарований: Люсиль была несчастна; мать не умела меня утешить; отец давал познать тернии жизни. Его угрюмость год от году росла; с годами деревенело не только его тело, но и душа; он постоянно выслеживал меня и нещадно бранил. Возвращаясь с моих одиноких прогулок и видя его на крыльце, я чувствовал, что мне легче умереть, чем вернуться в замок. Однако промедление лишь оттягивало пытку: обязанный явиться к ужину, я смущенно садился на краешек стула, с мокрым от дождя лицом и всклокоченными волосами. Под взглядом отца я прирастал к месту, и пот выступал у меня на лбу: я лишался последнего проблеска разума.

Теперь мне придется собраться с силами, чтобы признаться в своей слабости. Человек, покушающийся на собственную жизнь, выказывает не душевную мощь, но природный изъян.

У меня было старое охотничье ружье, часто дававшее осечку. Я зарядил его

тремя пулями и отправился в дальний конец Большой аллеи. Я взвел курок, наставил дуло себе в рот, упер приклад в землю; я спустил курок несколько раз: выстрела не было; появление сторожа поколебало мою решимость. Невольный и безотчетный фаталист, я решил, что мой час еще не пробил, и отложил исполнение своего плана до другого раза. Если бы я застрелился, все, чем я был, умерло бы со мною; никто не узнал бы причин, приведших меня к катастрофе; я пополнил бы толпу безымянных неудачников; никто не смог бы отыскать меня по следам моих горестей, как находят раненого по следам крови.

Те, в чьей душе эти строки поселят смятение и соблазн последовать моему безрассудному примеру, те, кто из любви к моим химерам проникнутся сочувствием к моей особе, должны вспомнить, что они слышат всего лишь голос покойника. Читатель, которого я никогда не увижу, знай: ничто не вечно; от меня осталось лишь то, что я есмь в руках Бога живого, моего судии.

15. *Болезнь. — Я боюсь и отказываюсь пойти по духовной части. —
План путешествия в Индию*

Плодом этой бурной жизни явилась болезнь: она положила конец моим мучениям — источнику первых свиданий с музой и первых порывов страсти. Эти изнуравшие мою душу страсти, страсти еще смутные, походили на морские ураганы, которые налетают со всех сторон разом: неопытный кормчий, я не знал, каким галсом идти и как справиться с этими непонятными ветрами. Грудь мою раздуло, я метался в горячке; послали в Базуш, городок в пяти-шести лье от Комбурга, за замечательным доктором по имени Шефтель, чей сын был замешан в дело маркиза де ла Руэри¹¹. Он внимательно осмотрел меня, прописал лекарства и заявил, что паче всего мне нужно изменить образ жизни.

Шесть недель жизнь моя была в опасности. Однажды утром мать присела на край моей постели и сказала: «Пора решаться; ваш брат может добиться для вас бенефиция *; но прежде чем поступить в семинарию, вам надо как следует подумать о своем будущем, ибо, как я ни желаю определить вас по духовной части, я скорее предпочту видеть вас светским человеком, нежели опозорившим себя священником».

Из того, что вы только что прочли, видно, кстати ли пришлось предложение моей набожной матушки. Накануне решающих событий моей жизни я всегда сразу понимал, чего мне следует избегать; мною двигало чувство чести.

¹¹ На своем жизненном пути я то и дело встречаю героев моих «Записок»: вдова сына доктора Шефтеля недавно поселилась в богадельне Марии Терезы; это еще один свидетель моей правдивости (Париж, 1834).

Аббат? это просто смешно. Епископ? священный сан внушал мне уважение, и я почтительно склонял голову перед алтарем. Стань я епископом, тщился бы я обрести добродетели или довольствовался бы сокрытием своих пороков? Я чувствовал себя чересчур слабым для первого исхода, чересчур прямодушным для второго. Те, кто считает меня лицемером и честолюбцем, плохо меня знают: я никогда не преуспею в свете именно оттого, что мне не хватает одной страсти — честолюбия, и одного порока — лицемерия. Честолюбие пробуждается в моей душе, лишь если страдает моя гордость; я мог бы пожелать стать министром или королем, чтобы посмеяться над своими врагами, но назавтра выбросил бы министерский портфель и корону в окно.

Итак, я сказал матери, что не чувствую призвания к духовной карьере. Я вторично изменил свои планы: сначала я отказался стать моряком, теперь не желал быть священником. Оставалось военное поприще; оно было мне по душе: но как смириться с утратой независимости и железной европейской дисциплиной? Мне засела в голову нелепая идея: я заявил, что либо поеду в Канаду корчевать леса, либо завербуюсь в армию индийских принцев.

Благодаря одному из тех противоречий, что свойственны всем смертным, мой отец, впрочем человек весьма здравомыслящий, никогда особенно не поражался авантюрным планам. Он пожурил матушку за мои увертки, но согласился отпустить меня в Индию. Я отправился в Сен-Мало: там как раз снаряжали корабль в Пондишери.

16. Проездом в родном городе.— Воспоминание о тетушке Вильнев и невзгодах моего детства.— Меня призывают в Комбург.— Последняя встреча с отцом.— Я вступаю в службу. <...>

Прошло два месяца: я очутился один на родном острове; тетушка Вильнев недавно умерла. Оплакивая ее возле опустевшей бедной кровати, где она испустила дух, я заметил плетеную колясочку, в которой я впервые поднялся на ноги, чтобы затем сделать свои первые шаги по нашему унылому земному шару. Я представлял себе, как моя старая нянька со своего смертного одра глядит на эту корзинку на колесах; при виде этого первого памятника моей жизни, стоящего против последнего памятника моей второй матери, при мысли о том, что добрая тетушка Вильнев, покидая этот мир, молила небеса даровать счастье своему выкормышу — предмету столь постоянной, столь бескорыстной, столь чистой привязанности, — сердце мое разрывалось от нежности, сожалений и признательности.

Я не нашел в Сен-Мало никаких других следов моего прошлого: тщетно искал я в порту корабли, подле чьих швартовов я некогда играл; одни уплыли, другие пошли на дрова. Кажется, я совсем недавно лежал в колыбели, а выхо-

дит, прошла уже целая вечность. Никто не помнил меня в краю, где прошло мое детство; я принужден был объяснять при встречах, кто я, единственно потому, что голова моя поднялась на несколько лишних линий * от земли, к которой она очень скоро склонится снова. Как быстро и как часто меняются наше бытие и наши мечты! Старые друзья уходят, на смену им приходят новые; связи наши изменяются; время, когда у нас не было ничего из того, что есть теперь, всегда рано или поздно сменяется временем, когда у нас не остается ничего из того, что было прежде. Человек не живет одной и той же жизнью; у него их несколько, он переходит из одной в другую,— такова его жалкая участь.

В одиночестве бродил я по отмели, где некогда играл с товарищами, по отмели, помнившей мои песчаные замки: *samos ubi Troja fuit* ¹². Я ходил по взморью, покинутому морем. Песчаный берег в час отлива являл мне образ опустевшей души, покинутой иллюзиями. Восемьсот лет тому мой земляк Абельяр * смотрел, как и я, на эти волны, вспоминая свою Элоизу; он, как и я, видел бегущие *ad horizontis undas* ¹³ корабли; слух его, как и мой, баюкал однозвучный рокот волн. Погруженный в мрачные фантазии — порождение комбургских лесов,— я подставлял грудь водяным валам. Прогулки мои заканчивались на мысе Лавард: сидя на его оконечности, я с горечью вспоминал, как ребенком прятался в этих скалах по праздникам; там я глотал слезы, пока товарищи мои ликовали. Нынче я не чувствовал себя ни более любимым, ни более счастливым, чем тогда. Вскоре мне предстояло покинуть родину, чтобы разметать свои дни в чужих краях. Эти размышления надрывали мне душу, и я с трудом сдерживал желание броситься в пучину. Внезапно я получаю письмо, призывающее меня обратно в Комбург: я приезжаю, ужинаю в кругу семьи; отец не говорит мне ни слова, мать вздыхает, Люсиль выглядит подавленной; в десять часов все расходится. Я спрашиваю сестру; она ничего не знает. Назавтра в восемь утра за мной приходят. Я спускаюсь: отец уже ждет меня в кабинете.

«Господин шевадьё,— сказал он,— вам придется отказаться от ваших безумных планов. Брат добился для вас места младшего лейтенанта в Наваррском полку. Вы отправитесь в Ренн, оттуда в Камбре. Вот сто луидоров; берегите их. Я стар и болен; мне недолго осталось жить. Ведите себя, как подобает человеку благородного происхождения, и никогда не бесчестите ваше имя».

Он обнял меня. Его суровое морщинистое лицо прижалось к моей щеке, и я почувствовал, что он взволнован: то было последнее отцовское объятие.

〈Прощание с Комбургом; три приезда Шатобриана в Комбург в последующие годы его жизни〉

¹² Поля, где Троя стояла (лат.; Вергилий. Энеида, III, 11; пер. С. Ошерова).

¹³ По волнам, до самого моря (лат.).

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Просмотрено в школе 1846 года

1. Берлин.— Потсдам.— Фридрих

Берлин, март 1821 года

От Комбурга до Берлина так же далеко, как от юного мечтателя до старого посла. На одной из предшествующих страниц сказано: «Где только я не трудился над моими записками, где-то я их завершу?»

В последний раз я брался за них четыре года назад. За это время случилось много разных событий: во мне открылся новый человек — политический деятель; я очень мало им дорожу. Я защищал свободу французов, ибо она — залог долговечности законной монархии. С помощью газеты «Консерватёр» я привел к власти господина де Виллеля; я стал свидетелем смерти герцога Беррийского и почтил его память. Дабы всем угодить, я уехал; я согласился стать послом в Берлине.

Вчера я побывал в Потсдаме *, празднично убранной казарме, где сегодня нет солдат: я исследовал жизнь лже-Юлиана в его лже-Афинах. В Сан-Суси мне показали стол, где великий германский монарх перелагал заурядными французскими стихами заповеди энциклопедистов; комнату Вольтера, украшенную деревянными обезьянками и попугаями, мельницу, которую забавы ради оставил законному владельцу тот, кто опустошал целые провинции, могилу коня Цезаря и левреток Дианы, Любушки, Лани, Гордячки и Мирной *. Венценосный нечестивец осквернял даже святыню могил, возводя мавзолеи своим собакам; он завещал похоронить себя рядом с ними, желая не столько выказать презрение к людям, сколько бросить вызов небытию.

Меня проводили в новый дворец — он уже рушится. В старом потсдамском замке бережно хранят пятна от табака, грязные, с разодранной обивкой кресла, словом, все следы неопрятности государя-отступника. Здесь увековечены разом неряшливость циника, наглость безбожника, тирания деспота и слава солдата.

Одна-единственная вещь привлекла мое внимание: стрелка стальных часов, показывающая мгновение, когда Фридрих испустил дух; неподвижность ее обманула меня: меж тем время не замедлило свой бег: человек не останавливает время — это время останавливает человека. При чем неважно, какую роль играли мы при жизни: создали мы учения прославленные или безвестные, были богаты или нищи, переживали радости или горести — это не может ни удлинить, ни укоротить отмеренный нам срок. По золотому циферблату бежит стрелка или по деревянному, велик этот циферблат или мал, помещается он

в печатке перстня или в розетке храма, час длится все те же шестьдесят минут.

В склепе протестантской церкви, прямо под кафедрой расстриженного схизматика, я увидел гробницу венценосного софиста *. Гробница эта из бронзы; когда по ней стучат, она звенит. Жандарм, который спит на этом бронзовом ложе, не проснулся бы даже от грома собственной славы: разбудить его может только грубный глас, зовущий на последний бой, пред очи Бога воинств.

Мне было так необходимо сменить впечатления, что я решил скрасить их посещением Мраморного дворца *. Построивший его король почтил меня несколькими словами, когда я, в ту пору бедный офицер, проезжал мимо его войска. Этот король, во всяком случае, был не чужд обычных людских слабостей; человек заурядный, он посвятил свою жизнь наслаждениям. Волнует ли сегодня два скелета различие, существовавшее между ними в прежние времена, когда один был Фридрихом Великим, а другой Фридрихом Вильгельмом? Нынче и Сан-Суси и Мраморный дворец — бесхозьяные развалины.

В конечном счете, хотя величие современных событий умалило события прошлого, хотя сражения под Росбахом, Лейтеном, Лигницею, Торгау и проч. * — не более чем потасовки рядом с битвами при Маренго, Аустерлице, Иене и на берегу Москвы-реки, Фридрих меньше других страдает от сравнения с гигантом, томящимся на Святой Елене. Прусский король и Вольтер странным образом связаны меж собою; память потомков объединит их навеки: один основал свое правление на философии, с помощью которой другой подрывал устои общества *.

Вечера в Берлине долгие. Я живу в особняке, принадлежащем герцогине де Дино. С наступлением ночи мои секретари расходятся. Когда при дворе нет празднества по случаю бракосочетания великого князя Николая с великой княгиней ¹⁴, я остаюсь дома. Сидя в одиночестве возле унылого вида печи, я слышу только окрик часового у Бранденбургских ворот да хруст снега под ногами человека, заменяющего своим свистом бой часов. Чем мне заняться? Чтением? у меня почти нет книг; а что если продолжить мои «Записки?»

Мы с вами расстались на пути из Комбурга в Ренн, где жил один мой родственник. Он обрадовал меня: у его знакомой дамы, отправляющейся в Париж, как раз есть в карете свободное место, и он ручается, что уговорит эту даму взять меня с собой. Я согласился, проклиная любезность родича. Он обо всем договорился и вскорости представил меня моей спутнице, хозяйке

¹⁴ Нынче они император и императрица российские (Париж, 1832).

модной лавки, беспечной и разбитной; увидев меня, она рассмеялась. В полночь подали лошадей, и мы тронулись в путь.

И вот я ночью в почтовой карете наедине с женщиной. Как мне, который в жизни не взглянул на женщину, не покраснев, спуститься с заоблачных высей, где я парил в мечтах, на эту страшную землю? Я не знал, где я и что со мной: я забился в угол кареты из страха коснуться платья госпожи Розы. Когда она обращалась ко мне, я был не в силах ответить и бормотал нечто невнятное. Ей пришлось самой расплачиваться с фореитором, самой обо всем заботиться, ибо от меня не было никакого проку. На рассвете она с еще большим изумлением взглянула на болвана, навязавшегося на ее голову.

Как только пейзаж начал меняться и я перестал узнавать платье и говор бретонских крестьян, я впал в уныние, что лишь увеличило презрение госпожи Розы. Я заметил, какое чувство вызываю, и этот первый опыт светской жизни произвел на меня впечатление, которое и по сю пору не вполне изгладилось из моей души. От рождения я диковат, но не стыдлив; я был скромнен сообразно своим летам, но застенчивым я не был. Когда я заметил, что достоинства мои вызывают смех, дикость моя обратилась в неодолимую робость. Я не мог произнести ни слова: я чувствовал, что должен что-то скрывать, и это что-то — добродетель, а не порок; я решил, что скроюсь сам, дабы сберечь душевную чистоту.

Мы приближались к Парижу. На Сен-Сирском спуске я был поражен шириной дорог и ухоженностью посадок. Вскоре мы доехали до Версаля: оранжерея с ее мраморными лестницами восхитила меня. Военные успехи в Америке вернули замкам Людовика XIV былую славу; воцарившаяся здесь королева * блистала молодостью и красотой; трон, столь близкий к падению, казался прочным, как никогда. И мне, безвестному путнику, суждено было уцелеть, чтобы увидеть леса Трианона такими же пустынными, как те, среди которых я вырос.

Наконец мы въехали в Париж. Все лица казались мне глумливыми: как перигорский дворянин, я полагал, что на меня смотрят, чтобы посмеяться надо мной *. Госпожа Роза отправилась на улицу Май, в Европейскую гостиницу, и поспешила отделаться от глупого попутчика. Не успел я выйти из кареты, как она сказала привратнику: «Этому господину нужна комната». «К вашим услугам», — сухо добавила она, обращаясь ко мне, и сделала реверанс. Больше я никогда не видел госпожу Розу.

〈Жизнь сестры Шатобриана, по мужу госпожи де Фарси, в Париже; служба Шатобриана в Наваррском полку, расквартированном в Камбре; смерть отца Шатобриана; взяв отпуск в полку, Шатобриан вновь едет в Париж, где брат надеется помочь его придворной карьере; представленный в Версале королю Людовику XVI, Шатобриан участвует в королевской охоте; знакомство с философом Делилем де Салем〉

12. Литераторы.— Портреты

Париж, июнь 1821 года

За два года, отделяющие время, когда я поселился в Париже, от открытия Генеральных штатов *, круг моих знакомств расширился. Я знал наизусть элегии шевалье де Парни и помню их поныне. Я написал ему, прося дозволения увидеть поэта, которого с наслаждением читаю; он прислал учтивый ответ: я отправился к нему на улицу Клеры.

Передо мной предстал человек еще нестарый, прекрасно воспитанный, высокий, сухощавый, с лицом, изрытым оспой. Он отдал мне визит; я представил его сестрам. Он недолюбливал общество и вскоре был из него изгнан по соображениям политическим: в пору нашего знакомства он принадлежал к сторонникам старого порядка. Я никогда не встречал сочинителя, более похожего на свои творения: он был поэт и креол, все, что ему требовалось, — это южное небо, источник, пальма и женщина. Он бежал шума, хотел пройти по жизни незаметно, всем жертвовал в угоду своей лени, и, если бы услады его не задевали порой струны его лиры, он так бы и жил в безвестности:

Пусть наша жизнь течет, как прежде, в тайне,
Сокрыта у Эроса под крылом,—
Как ручеек, что не спеша струится
По ложу ровному среди цветов:
Укрытья ищет он в сени кустов.
А на равнину выбежать боится ¹⁵.

Именно это неумение отказаться от празднолюбия превратило шевалье де Парни из ярого аристократа в ничтожного революционера, нападающего на гонимую религию *, клеймящего гибнущих священников, покупающего свой покой любой ценой и заставляющего музу, которая воспевала Элеонору *, говорить языком тех мест, куда Камиль Демулен ходил торговать себе любовниц.

Автор «Истории итальянской литературы» *, который вслед за Шамфором втерся в ряды революционеров, доводился нам родственником, ибо все бретонцы друг другу родня. Женгене прославился в свете благодаря не лишенной изящества поэмке «Исповедь Зюльме», доставившей ему жалкое место в ведомстве господина де Неккера, после чего не замедлил состряпать поэму на вступление своего благодетеля в должность контролера финансов. Кто-то — не помню, кто именно, — оспаривал у Женгене предмет его гордости, «Исповедь Зюльме»; но эта пьеса в самом деле принадлежит его перу.

Реннский поэт хорошо разбирался в музыке и сочинял романсы. Примазавшись к какой-нибудь знаменитости, он на наших глазах превращался из

¹⁵ Парни. Эротические стихотворения, II, 12 («Примирение»); пер. М. Гринберга.

смирненника в спесивца. Перед созывом Генеральных Штатов он по поручению Шамфора кропал газетные статейки и речи для клубов: он стал чванлив. Накануне первого праздника Федерации * он говорил: «Какое прекрасное торжество! Чтобы ярче его осветить, хорошо бы спалить с каждой стороны алтаря по аристократу». Не его первого осенила эта идея: задолго до него участник Лиги * Луи Дорлеан написал в своем «Пире графа Аретского», что «недурно бы в Иванову ночь вместо охапки хвороста подбросить в костер протестантских пасторов, а Генриха IV утопить в бочке, как котенка».

Женгене знал загодя об убийствах, замышляемых революционерами *. Госпожа Женгене предупредила моих сестер и жену о том, что в Кармелитском монастыре вот-вот начнется резня: она приютила их в тупике Ферру, невдалеке от места, где вскоре пролилась кровь.

После Террора Женгене стал едва ли не первым человеком во Франции по части народного просвещения; тогда-то он и стал распевать в «Синем циферблате» «Дерево свободы» на мотив: «Я посадил его, взлелеял» *. Его сочли достаточно одуревшим от философии и отправили послом к одному из тех монархов, которых в эту пору лишали короны *. В донесении из Турина он сообщал господину де Талейрану, что «победил предрассудок», — настоял, чтобы его жену принимали при дворе в платье до колен. Переходя от посредственности к напыщенности, от напыщенности к глупости и от глупости к смехотворности, он окончил свои дни почтенным литературным критиком и, что самое лучшее, автором независимых статей в «Декад»; природа возвратила его на место, с которого общество его так некстати отозвало. Знания его поверхностны, проза тяжела, стихи правильны и порой приятны.

У Женгене был друг — поэт Лебрен. Женгене покровительствовал Лебрену, как человек даровитый, знающий свет, покровительствует простодушному гению; Лебрен, в свою очередь, освещал лучами своей славы величие Женгене. Что могло быть потешнее, чем эти два приятеля, из нежного расположения оказывающие друг другу услуги, какие могут оказать люди, одаренные талантами в различных сферах.

Лебрен был просто-напросто фальшивый господин де л'Эмпирей *; пыл его на поверку оказывался холодным, страсти — ледяными. Парнасом служила ему комната в мансарде на улице Монмартр, где всего и было что книги, сваленные как попало на полу, брезентовая походная кровать, занавешенная двумя грязными полотенцами, болтающимися на ржавом металлическом карнизе, да разбитый кувшин для воды подле продавленного соломенного кресла. Не то чтобы Лебрен нищенствовал, но он был скуп и водился с женщинами дурного поведения.

На античном ужине у господина де Водрея * он изображал Пиндара. В его лирических стихах встречаются строфы энергические, как в оде кораблю «Мститель», и изящные, как в оде «Окрестностям Парижа». Элегии его идут от

ума, редко от души; оригинальность его надуманная, а не природная; его создания — плоды кропотливого труда; он изо всех сил тщится извратить смысл слов и соединить их самым противоестественным образом. Истинное призвание Лебрена заключалось в сочинении стихов сатирических; его послание о «хорошей и дурной шутке» пользовалось заслуженной известностью. Иные из его эпиграмм можно поставить в один ряд с эпиграммами Жан-Батиста Руссо; мишенью, вдохновлявшей его более других, был Лагарп. Надо отдать Леброну справедливость и в другом: он сохранил независимость суждений и оставил написанные кровью сердца стихи против гонителя наших свобод*.

Но самым желчным из литераторов, которых я узнал в ту пору в Париже, был, бесспорно, Шамфор; страдавший тем же недугом, что породил якобинцев, он не мог простить человечеству своего незаконного происхождения. Он обманывал доверие семейств, его принимавших; циничность своего языка он выдавал за непристойность придворных нравов. Он несомненно обладал остроумием и талантом, но остроумие и талант такого рода не остаются в памяти потомков. Когда он понял, что революция не помогла ему преуспеть, он обратил руку, которую поднимал на общество, против самого себя*. Гордыня раскрыла ему глаза, и он разглядел в красном колпаке не что иное, как новую корону, а в санюлетах — новую знать со своими сановниками: Маратом и Робеспьером. Разгневанный тем, что от неравенства не свободна даже юдоль скорбей и слез, осужденный быть парией даже в обществе палачей, он хотел убить себя, дабы уйти из мира, которым правят преступники; попытка не удалась: смерть смеется над теми, кто призывает ее и путает с небытием.

С аббатом Делилем я познакомился лишь в 1798 году в Лондоне; я не видел ни Рюльера, чью жизнь одушевляла сначала госпожа д'Эгмон, а потом память о ней, ни Палиссо, ни Бомарше, ни Мармонтеля. Никогда не встречался я и с Шенье, который не раз нападал на меня и которому я никогда не отвечал, — впоследствии я занял его место в Институте*, и это принесло мне немало тревог.

Когда я перечитываю сочинения большинства писателей XVIII века, я не в силах постичь, отчего они в свое время наделали столько шума и чем снискали мое восхищение. Ушел ли язык вперед или пошел вспять, продвинулись ли мы по пути цивилизации или отступили назад к варварству, ясно одно: в авторах, бывших отрадой моей юности, мне видится теперь нечто банальное, отжившее, серое, мертвенное, холодное. Даже у самых великих писателей вольтеровской эпохи я встречаю скудость чувств, мысли и стили.

Кого мне винить в своем разочаровании? Боюсь, что первый виновник — я сам; новатор от рождения, я, быть может, передал новым поколениям болезнь, которой был поражен. В ужасе кричу я своим чадам: «Не забывайте французский язык!» — но все без толку. Они отвечают мне, как отвечал Пантагрюэлю

лимузинец, шедший «из синклита альмаматеринской достославной академии города, номинируемого Лютецией» *.

Эта манера грецизировать и латинизировать наш язык, как видите, не нова: Рабле избавил нас от нее, но она вновь появилась у Ронсара; на нее обрушился Буало. В наши дни она ожила благодаря науке; наши революционеры, от природы великие греки, вдолбили в головы наших торговцев и крестьян гектары, гектолитры, километры, миллиметры, декаграммы: политика принялась *ронсардизировать* *.

〈Семейство Мальзерб, внука которого стала женой Жан-Батиста Шатобриана〉

КНИГА ПЯТАЯ

〈Начало революционных волнений в Бретани; мать Шатобриана делает еще одну попытку определить его по духовной части; в начале лета 1789 года Шатобриан возвращается в Париж〉

8. Год 1789. 〈...〉 Взятие Бастилии

Париж, ноябрь 1821 года

〈Начало революции в Париже〉

14 июля, день взятия Бастилии. Это наступление на крепость, обороняемую несколькими инвалидами да боязливым комендантом, происходило на моих глазах: если бы ворота не отперли, народ никогда не ворвался бы в нее. Раздались всего два или три пушечных залпа, причем стреляли не инвалиды, а гвардейцы, успевшие взобраться на башни. Толпа выволокла из убежища коменданта Делоне и, вдоволь поизгалявшись над ним, прикончила его на ступеньках ратуши; купеческому старшине Флесселю размозжили голову выстрелом из пистолета: вот зрелище, столь восхищавшее жестокосердых глупцов. Убийства эти сопровождалась оргиями, как во время волнений в Риме при Отоне и Вителлии. *Покорители Бастилии*, счастливые пьяницы, кабацкие герои, разезжали в фиакрах; проститутки и *санкюлоты*, дорвавшиеся до власти, составляли их свиту. Прохожие с боязливым почтением снимали шляпу перед этими триумфаторами, иные из которых падали с ног от усталости, не в силах снести свалившийся на них почет. Напыщенные ничтожества во всех уголках земли получали ключи от Бастилии, которых было изготовлено великое множество. Сколько раз упускал я свое счастье! Запишись я, зритель, в ряды победителей, мне нынче платили бы пенсион.

На вскрытие трупа Бастилии сбежались знатоки. Под навесами открылись временные кафе; у их владельцев не было отбоя от посетителей, как на Сен-Жерменской ярмарке или Лоншанском гулянии; множество карет разез-

жали взад-вперед или останавливались у подножия башен, откуда уже сбрасывали вниз камни, так что пыль стояла столбом. Нарядные дамы, молодые щеголи, стоя на разных этажах, смешивались с полуголыми рабочими, разрушавшими стены под приветственные возгласы толпы. Здесь можно было встретить самых известных ораторов, самых знаменитых литераторов, самых выдающихся художников, самых прославленных актеров и актрис, самых модных танцовщиц, самых именитых иностранцев, придворную знать и европейских послов: здесь кончала свои дни старая Франция и начинала свою жизнь новая.

О всяком событии, как оно ни жалко и ни отвратительно само по себе, негоже судить сгоряча, если оно влечет за собой серьезные последствия и определяет эпоху: во взятии Бастилии подобало увидеть (хотя в ту пору никто этого не увидел) не порыв народа к освобождению, но само освобождение, результат этого порыва.

Все восхищались деянием, которое следовало осудить, несчастным случаем, и никто не понял, что взятие Бастилии, это кровавое празднество, открывает новую эру, в которой целому народу суждено переменить нравы, идеи, политическую власть и даже человеческую природу. Животная ярость обращала все в развалины, но под нею таился дух, закладывавший среди руин основание нового здания.

Впрочем, народ, неверно оценивший величие события, свершившегося в мире материальном, верно оценил событие, происшедшее в мире моральном; Бастилия была в его глазах трофеем, знаменовавшим победу над рабством: народу казалось, что она высится при входе в Париж, напротив шестнадцати столбов Монфокона *, как виселица для его свобод ¹⁶. Сравнивая с землей оплот государства, народ надеялся сбросить военное ярмо и принял негласное обязательство заменить армию, которую он распустил: всем известно, какие чудеса сотворил народ, ставший солдатом.

⟨Дальнейшее развитие революции летом — осенью 1789 года⟩

12. Мирабо

Париж, ноябрь 1821 года

Вовлеченный благодаря беспорядочному образу жизни и превратностям судьбы в самые значительные события и сталкивавшийся на своем пути с матерьями преступниками, грабителями и авантюристами, Мирабо, трибун аристо-

¹⁶ Пятьдесят два года спустя во Франции возводят пятнадцать новых бастилий, дабы задуть свободу, во имя которой сровняли с землей первую Бастилию *.

кратии, депутат демократии, совмещал в себе черты Гракха и Дон Жуана, Катилины и Гусмана де Альфараче *, кардинала де Ришелье и кардинала де Реца, распутника эпохи регентства и дикаря эпохи Революции; кроме того, в нем было нечто и от *Мирабо*, изгнанного флорентийского рода, не забывавшего те дворцы-крепости и тех великих мятежников, что прославлены в поэме Данте; род этот обосновался во Франции, и республиканский дух средневековой Италии, объединившись с феодальным духом нашего средневековья, породил плеяду людей незаурядных.

Уродство Мирабо, наложившееся на свойственную его роду красоту, уподобило его могучему герою «Страшного суда» Микеланджело, соотечественника Арригетти *. Глубокие оспины на лице оратора напоминали следы ожогов. Казалось, природа вылепила его голову для трона или для виселицы, вытянула его руки, чтобы душить народы или похищать женщин. Когда он встряхивал гривой, глядя на толпу, он останавливал ее; когда он поднимал лапу и показывал когти, чернь бежала в ярости. Я видел его на трибуне во время одного из заседаний, среди ужасающего разброда: мрачный, безобразный, недвижимый, он был похож на бесстрастный, бесформенно клубящийся хаос Мильтона.

Мирабо пошел в отца и дядю *, которые, как Сен-Симон, мимоходом набрасывали бессмертные страницы. Ему поставляли тексты для речей *: он брал из них только то, что мог усвоить его ум. Ему не удавалось с блеском произнести речь, вовсе ему не принадлежащую; он расцветчивал ее своими, наудачу выбранными словами и тем выдавал себя. Он черпал энергию из своих пороков; пороки эти происходили не от бесчувственности, они обличали глубокие, пылкие, бурные страсти. Цинизм нравов уничтожает нравственное чувство и возвращает общество к своего рода варварству; варвары от цивилизации, такие же разрушители, как и готы, отличаются от последних тем, что вовсе не способны к созиданию: готы были исполинами, детьми дикой природы; современные варвары — чудовищные выродки, создания природы извращенной.

Я дважды встречал Мирабо на званых обедах, один раз у племянницы Вольтера маркизы де Виллет, другой раз в Пале-Руаяле, когда там принимали депутатов оппозиции, с которыми познакомил меня Шапелье: Шапелье отправился на эшафот в одной повозке с моим братом и господином де Мальзербом.

Мирабо был словоохотлив; особенно много говорил он о себе. Этот сын львов, сам лев с головой химеры, этот человек, доверяющий только фактам, был в своих речах и фантазиях сам роман, сама поэзия, само одушевление; в нем был виден любовник Софи *, возвышенный в чувствах и способный к самопожертвованию. «Я нашел ее, эту дивную женщину, — говорил он, — я узнал ее душу, эту душу, которую природа сотворила в миг вдохновения».

Мирабо очаровал меня рассказами о любви, стремлением к уединению, о котором он не переставал твердить, ведя бесплодные споры. Он пробуждал во мне участие еще одной чертой: у него, как и у меня, был суровый отец, который, как и мой, свято веровал в неограниченность отцовской власти.

Высокий гость пространно говорил о внешней политике и почти ничего не сказал о внутренней, хотя занимала его именно эта последняя; однако он обронил несколько исполненных глубокого презрения слов о людях, считающих себя выше других по причине безразличия, каковое они выказывают к несчастьям и преступлениям. Мирабо родился великодушным, он любил друзей, легко прощал обиды. Несмотря на свою безнравственность, он не смог пойти против совести; он был развратен лишь в частной жизни, его прямой и твердый ум не провозглашал убийство вершиной духовности; он нимало не восхищался резней и побоищами.

Однако от избытка скромности Мирабо не страдал; он был кичлив сверх всякой меры: хотя он и записался в торговцы сукном, дабы стать депутатом от третьего сословия (ибо почтенное дворянство в своем безрассудстве отвергло его), он был заморожен своим происхождением; отец называл его «дикой птицей, свившей гнездо меж четырех башенок». Он не мог забыть, что бывал при дворе, разезжал в каретах и охотился с королем. Он требовал, чтобы его величали графом; дорожил своим гербом и одел лакеев в ливреи как раз тогда, когда все перестали это делать. По всякому поводу и без повода он цитировал своего родственника адмирала де Колиньи. Когда «Монитор» назвал его Рике *, он вспыхнул. «Известно ли вам,— сказал он журналистам,— что вы с вашим Рике на три дня сбили с толку всю Европу?» Он любил повторять всем известную наглую шутку: «В другой семье мой братец виконт считался бы человеком остроумным и шалопаем, в нашем семействе он слывет дураком и человеком почтенным» *. Биографы приписывают эти слова самому виконту, смиренно сознававшему свое место среди прочих членов семьи.

В глубине души Мирабо всегда оставался монархистом; ему принадлежат прекрасные слова: «Я хотел излечить французов от монархических суеверий и научить их монархической религии». В одном из писем, которое должно было попасть на глаза Людовику XVI, он писал: «Я не хотел бы увидеть, что трудился ради одного лишь разрушения». Однако именно это и произошло: дабы покарать нас за то, что мы не нашли достойного применения нашим талантам, небо заставляет нас раскаиваться в наших победах.

Мирабо будоражил общественное мнение с помощью двух рычагов: с одной стороны, он опирался на массы, защитником которых сделался, презирая их; с другой стороны, хотя он и предал свое сословие, он сохранял его расположение в силу принадлежности к дворянской касте и общности интересов с нею. Такое никогда не случилось бы с плебеем, стань он поборником привилегированных классов; он утратил бы поддержку своей партии, не приобретя союзников среди аристократии, по природе своей неблагодарной

и недоступной для всех, кто не принадлежит к ней по рождению. Впрочем, аристократия не может сделать человека дворянином, ибо благородное происхождение — плод многовековой истории.

Мирабо оставил немало последователей. Они полагали, что, освободившись от нравственных обязательств, немедленно станут государственными мужами. Подражатели эти сделали просто-напросто мелкими негодяями: под маской злодея и похитителя прячется ничтожный мошенник, грешник на поверку оказывается греховодником, преступник — буяном.

Слишком рано для себя, слишком поздно для двора Мирабо продан дворю *, и тот купил его. Ради пенсiona и посольства он поставил на карту свою репутацию. В жизни Кромвеля был момент, когда он был готов променять свою будущность на титул и орден Подвязки. Несмотря на свою спесь, Мирабо ценил себя не так высоко. Теперь, когда изобилие звонкой монеты и мест подняло цену на умы, не найдется фигляра, который не располагал бы сотнями тысяч франков и не занимал бы высших постов в государстве. Могила освободила Мирабо от клятв и укрыла от опасностей, которых он вряд ли смог бы избежать: жизнь показала бы, что он не способен на добрые дела, смерть пришла, когда он творил дела злые.

Когда после обеда в Пале-Руаяле мы расходились по домам, разговор зашел о врагах Мирабо; я шагал рядом с ним, не говоря ни слова. Он взглянул на меня в упор глазами, в которых светились гордыня, порок и гений, положил руку мне на плечо и сказал: «Они никогда не простят мне моего превосходства!» Я до сих пор чувствую тяжесть этой руки, словно Сатана отметил меня своим огненным когтем.

Когда Мирабо смотрел на юного молчуна, предугадывал ли он мою будущность? думал ли, что станет однажды героем моих воспоминаний? Волею судеб я сделался историком великих людей: они прошли предо мной, но я не цеплялся за их мантии, чтобы вместе с ними втереться в память потомков.

С Мирабо уже произошло превращение, происходящее со всеми, кому суждено избежать забвения: низвергнутый из Пантеона в сточную канаву и вновь вознесенный из сточной канавы в Пантеон *, он поднялся во весь рост стараниями эпохи, служащей ему сегодня пьедесталом. Сегодня в умах живет не реальный Мирабо, но Мирабо идеализированный, такой, каким изображают его художники, желая сделать символом или мифом ушедшей эпохи: так он становится более театральным, но более правдоподобным. Среди стольких репутаций, стольких актеров, стольких событий, стольких развалин уцелело только три человека, воплощающие три великие революционные эпохи: Мирабо представляет за аристократию, Робеспьер — за демократию, Бонапарт — за деспотизм; на долю монархии никого не осталось: Франция дорого заплатила за три знаменитости, несовместные с добродетелью.

⟨Заседания Учредительного собрания⟩

14. Общество.— Вид Парижа

Париж, декабрь 1821 года

Когда до Революции я читал в книгах о смутах в истории разных народов, я не понимал, как можно было жить в те времена; я удивлялся, что Монтень так бодро сочинял в замке, вокруг которого не мог прогуляться, не рискуя попасть в плен к сторонникам Лиги или протестантам.

Революция показала мне возможность такого существования. В критические минуты люди ощущают прилив жизненных сил. В обществе, которое распадается и складывается заново, борьба двух гениев, столкновение прошлого с будущим, смешение прежних и новых нравов создают зыбкую картину, которая не дает скучать ни минуты. На свободе страсти и характеры проявляются с такой силой, какой не знает город с упорядоченной жизнью. Нарушение законов, забвение обязанностей, обычаев и приличий, даже опасности делают эту сумятицу еще увлекательнее. Род человеческий разгуливает по улицам, устроив себе каникулы и избавившись от педагогов; на мгновение он возвращается к природному состоянию и вновь начинает ощущать необходимость общественной узды, лишь попав под ярмо новых тиранов, рожденных вольностью.

Общество 1789 и 1790 годов более всего похоже на архитектуру времен Людовика XII и Франциска I, где греческие ордера смешивались с готическим стилем, а если быть еще точнее — на груды обломков всех веков, которые после Террора громоздились как попало в монастыре Малых августинцев *: разница лишь в том, что осколки, о которых я веду речь, были живыми и беспрестанно меняли свой облик. Во всех концах Парижа происходили литературные собрания, создавались политические общества, ставились спектакли; будущие знаменитости бродили в толпе никому не ведомые, как души, еще не узревшие свет, на берегу Леты *. Я видел маршала Гувьона Сен-Сира * на подмостках театра Марэ в «Преступной матери» Бомарше. Люди спешили из клуба фельянов в клуб якобинцев *, с бала и из игорного дома в Пале-Руаяль, с трибуны Национального собрания на трибуну под открытым небом. На улицах не было проходу от народных депутаций, кавалерийских пикетов и пехотных патрулей. Рядом с человеком во французском фраке, в пудреном парике, со шпагой на боку и шляпой под мышкой, в узких башмаках и шелковых чулках, шел человек с коротко остриженными волосами без пудры, в английском фраке и американском галстуке. В театрах актеры объявляли со сцены новости; партер пел патриотические куплеты. Злободневные пьесы привлекали толпы народа: на сцену выходил аббат, из зала ему кричали: «Длиннополюй! Длиннополюй!» Аббат отвечал: «Господа, да здравствует нация!» Послушав, как чернь горланит: «На фонарь аристократов!» — французы бежали в Оперу Буфф слу-

шать Мандини и его жену, Виганони и Роведино; поглазев на казнь Фавраса, шли любоваться игрой госпожи Дюгазон, госпожи Сент-Обен, Карлины, малышки Оливье, мадемуазель Конта, Моле, Флери, делавшего первые шаги Тальма.

Бульвар Тампль, Итальянский бульвар, называемый в обиходе Кобленцем *, аллеи сада Тюильри были наводнены нарядными женщинами: там блистали три дочери Гретри, бело-розовые, как и их убор: вскоре все три умерли. «Она уснула навсегда, — сказал Гретри о старшей дочери, — сидя у меня на коленях, такая же красивая, как при жизни». Множество карет бороздило перекрестки, где гоготали санюлоты, а у дверей какого-нибудь клуба красавица госпожа де Бюффон ожидала в фаэтоне герцога Орлеанского.

Изысканность и вкус аристократического общества еще сохранялись в особняке Ларошфуко, на вечерах у госпожи де Пуа, госпожи д'Энен, госпожи де Симиан, госпожи де Водрей, в гостиных некоторых крупных чиновников судебного ведомства, оставшихся открытыми. Салоны господина Неккера, господина графа де Монморена и некоторых других министров, где царили госпожа де Сталь, герцогиня д'Эгийон, госпожа де Бомон и госпожа де Серийи, являли собой полное собрание знаменитостей новой Франции и полную свободу новых нравов. Башмачник в мундире офицера национальной гвардии на коленях снимал мерку с вашей ноги; монах, по пятницам облачавшийся в черную или белую рясу, в воскресенье надевал круглую шляпу и сюртук; бритый капуцин читал в кабачке газету; в кругу шальных женщин появлялась суровая монахиня — тетушка или сестра, изгнанная из монастыря. Толпа посещала эти открытые миру монастыри, как путешественники проходят в Гренаде по опустевшим залам Альгамбры или останавливаются в Тибуре под колоннами храма Сивиллы.

В остальном же — много поединков и любовных приключений, тюремных романов и политических дружб, тайных свиданий среди развалин, под ясным небом, в поэтическом спокойствии природы; дальние прогулки, безмолвные, уединенные, перемежающиеся вечными клятвами и нескончаемыми ласками, меж тем как вдали грохочет уходящий мир, глухо шумит рушащееся общество, угрожая смутить своим падением тех, кто вкушает блаженство под сенью истории. Теряя друг друга из виду на сутки, люди не были уверены, что встретятся вновь. Одни устремлялись по революционному пути, другие готовились к гражданской войне, третьи уезжали на берега Огайо, вооружившись планами замков, которые они выстроят в краю дикарей; четвертые вступали в армию принцев — все это с легким сердцем, зачастую без гроша в кармане; роялисты утверждали, что все кончится на днях постановлением парламента, патриоты, столь же легкомысленные в своих надеждах, провозглашали, что вместе с царством свободы наступит царство мира и счастья. На улицах распевали:

Свечу в Аррасе мы нашли
И факел из Прованса взяли.
Всю Францию они зажгли,
Но света очень мало дали.
Так как же нам спастись от чада?
Немедля их подрезать надо ¹⁷.

Вот какого мнения были французы о Робеспьере и Мирабо! «Любой земной власти,— говорил Л'Этуаль,— легче зарыть солнце в землю либо засадить его в яму, чем заткнуть рот французскому народу».

Над этими разрушительными празднествами высился дворец Тюильри — гигантская тюрьма, полная осужденных. Приговоренные к смерти также развлекались играми в ожидании *повозки, стрижки, красной рубашки*, которую палач повесил сушиться, а за окнами сверкали ослепительными огнями парадные покои королевы.

Тысячи брошюр и газет плодились не по дням, а по часам; сатиры и поэмы, песенки из «Деяний апостолов» отвечали «Другу народа» * или «Умеренному» — газете монархического клуба, которую издавал Фонтан; Малле дю Пан, отвечавший за политический раздел в «Меркюр», расходился во взглядах с Лагарпом и Шамфором, ведавшими литературной частью той же газеты *. Шансенец, маркиз де Бонне, Ривароль, Мирабо младший (Гольбейн шпаги, возглавивший на Рейне эскадрон гусар Смерти), Оноре Мирабо старший, обедая вместе, забавы ради рисовали карикатуры и составляли «Маленький альманах великих людей» *, после чего Оноре отправлялся в Национальное собрание призвать к введению военного положения или аресту имуществ духовенства. Заявив, что покинет Национальное собрание только под натиском штыков, он отправлялся к госпоже Жэ и проводил у нее ночь. *Эгалите* вызывал дьявола в карьерах Монружа и возвращался в сад Монсо возглавить оргии, где распорядителем выступал Лакло. Будущий цареубийца * ни в чем не уступал своим предкам: насквозь продажный, устав от разгула, он делал ставку на утоление честолюбия. Постаревший Лозен ужинал в своем маленьком домике у заставы дю Мэн с танцовщицами из Оперы, которых наперебой ласкали господа де Ноай, де Диллон, де Шуазель, де Нарбонн, де Талейран и еще несколько тогдашних щеголей — мумии двоих или троих из них дожили до наших дней.

Большинство придворных, в конце царствования Людовика XV и во времена правления Людовика XVI известных своей безнравственностью, встали под трехцветные знамена: почти все они сражались в Америке и запятнали свои орденские ленты республиканскими цветами. Революция привечала их, пока не набрала силу; они даже сделались первыми генералами ее армий. Герцог де Лозен, романтический возлюбленный княгини Чарторижской, дамс-

¹⁷ Пер. М. Гринберга.

кий угодник с большой дороги, ловелас, который, выражаясь благородным и целомудренным языком двора, *имел одну, потом имел другую*, — герцог де Лозен стал герцогом де Бироном, командующим войсками Конвента в Вандее: какая низость! Барон де Безанваль, лживый и циничный обличитель развращенного света, последняя спица в колеснице впавшей в детство старой монархии, этот грузный барон, опозоривший себя в день взятия Бастилии, спасенный господином Неккером и Мирабо единственно за его швейцарское происхождение *: какое убожество! Что за люди — и в какую эпоху! Когда Революция вошла в силу, она с презрением отвергла ветреных предателей трона; прежде ей нужны были их пороки, теперь потребовались их головы: она не гнушалась никакой кровью, даже кровью госпожи Дюбарри.

15. Что делал я в это шумное время. — Мои одинокие дни. — Мадемуазель Моне. — Мы с господином де Мальзербом вырабатываем план моего путешествия в Америку. — Бонапарт и я, безвестные младшие лейтенанты. — Маркиз де Ла Руэри. — Я отплываю из Сен-Мало. — Последние мысли при расставании с родиной

Париж, декабрь 1821 года

⟨Политические события 1790 года⟩

В моем полку, стоявшем в Руане, дисциплина сохранялась довольно долго. Он подавил народные волнения, начавшиеся из-за казни актера Бордые, последней жертвы королевского суда; проживи Бордые еще сутки, он из преступника превратился бы в героя. В конце концов среди солдат наваррского полка вспыхнуло восстание. Маркиз де Мортемар эмигрировал; офицеры последовали за ним. Я не принимал и не отвергал новых мнений; не расположенный ни осуждать их, ни служить им, я не захотел ни эмигрировать, ни оставаться в военной службе: я подал в отставку.

Свободный от всех обязательств, я вел довольно жаркие споры, с одной стороны, с братом и с президентом де Розамбо, с другой — с Женгене, Лагарпом и Шамфором. Со времен моей юности все пеняли мне на то, что я не примыкаю ни к какой партии. Вдобавок из поднятых тогда вопросов для меня важны были только общие идеи о свободе и достоинстве человека; мне было скучно переходить в политике на личности; подлинная моя жизнь разворачивалась в более высоких сферах.

Улицы Парижа, день и ночь запруженные народом, не располагали к прогулкам. Дабы вернуться в пустыню, я стал искать прибежища в театре: забившись в угол ложи, я под аккомпанемент стихов Расина, музыки Саккини или танцев оперных красавиц уносился мыслями вдале. Не меньше двадцати

раз кряду я бесстрашно слушал в Итальянской опере «Синюю бороду» и «Потерянный башмачок» *, терпя скуку ради того, чтобы от нее избавиться, словно сыч в стенной нише; монархия рушилась, но я не слышал ни треска вековых сводов, ни водевильного мяуканья, ни громового голоса Мирабо на трибуне, ни голоса Колена, певшего на театре своей Бабетте:

Пусть ветер, дождь и снег шумят над нашим краем:
Как ночь ни длинна, ее мы скоротаем ¹⁸.

Начальник копей господин Моне и его юная дочь, посланцы госпожи Женгене, несколько раз нарушали мое дикарское уединение: мадемуазель Моне садилась в первом ряду ложи; я, полудовольный-полурассерженный, устраивался позади нее. Не знаю, нравилась ли она мне, любил ли я ее, но я страшно ее боялся. Когда она уходила, я огорчился и одновременно радовался, что больше не увижу ее. Все же иногда я делал над собой усилие и заходил к ней, чтобы сопровождать ее на прогулке: она опиралась на мою руку, и я, пожалуй, слегка сжимал ее локоть.

Мной овладела мысль отправиться в Соединенные Штаты: мне нужно было придумать полезную цель для моего путешествия; я вызвался открыть (как я уже говорил в этих «Записках» и некоторых других своих сочинениях) северо-западный проход *. План этот носил отпечаток моей повтической натуры. Никому не было до меня дела; как и Бонапарт, я был в ту пору бедным, никому не ведомым младшим лейтенантом; оба мы начинали в одно время и в одинаковой безвестности: я завоевывал свою славу в уединении, он бился за свою среди людей. Поскольку я так и не полюбил ни одну земную женщину, сильфида моя все еще владела в те дни моим воображением. Я блаженствовал, совершая вместе с ней фантастические путешествия по дубравам Нового Света. Прошло немного времени, и на лоне чужой природы, под сенью флоридских лесов цветок моей любви, безымянный призрак армориканских лесов получил имя Атала.

Господин де Мальзерб вскружил мне голову разговорами об этом путешествии. По утрам я приходил к нему: уткнувшись носом в географические карты, мы сравнивали различные изображения арктического небосвода, прикидывали расстояние от Берингова пролива до Гудзонова залива, читали рассказы английских, голландских, французских, русских, шведских, датских мореплавателей и путешественников; справлялись о сухопутных дорогах, ведущих к берегу полярного моря, обсуждали предстоящие трудности, необходимые меры предосторожности против сурового климата, нападения хищников и недостатка съестных припасов. Этот замечательный человек говорил: «Будь я помоложе, я поехал бы с вами, чтобы не видеть преступлений, подлостей и безумств, которые здесь творятся. Но в мои лета надо умирать дома.

¹⁸ Пер. М. Гринберга.

Непреренно пишите мне с каждым кораблем, сообщайте о ваших успехах и открытиях: я буду докладывать о них министрам. Какая жалость, что вы не знаете ботаники!» Под действием этих бесед я принимался листать Турнефора, Дюамеля, Бернара де Жюссье, Грю, Жакена, словарь Руссо *, справочники по ботанике; я бежал в Королевский сад и уже мнил себя новым Линнеем.

Наконец, в январе 1791 года я понял, что настало время всерьез взяться за исполнение задуманного. Хаос усугублялся: достаточно было носить аристократическое имя, чтобы подвергнуться гонениям; чем более честные и умеренные взгляды вы исповедовали, тем больше подозрений и преследований навлекали на себя. Итак, я двинулся в путь: оставив брата и сестер в Париже, я отправился в Бретань.

В Фужере я встретил маркиза де Ла Руэри: я попросил у него письмо к генералу Вашингтону. *Полковник Арман* (как называли маркиза в Америке) отличился в Войне за независимость *. Во Франции он прославился благодаря роялистскому заговору, обреченному на столь трогательные жертвы семейство Дезий *. Он погиб, готовя этот заговор, тело его выкопали из земли и опознали на погибель тем, кто давал ему приют и был ему другом. Соперник Лафайета и де Лозена, предшественник Ларошжаклена, маркиз де Ла Руэри был остроумнее их: он дрался на дуэли чаще, чем первый, он похищал актрис из Оперы, как второй, он стал бы товарищем по оружию третьему. Он прочесывал бретонские леса в компании американского майора и обезьяны, сидевшей на крупе его коня. Реннские студенты-правоведы любили его за смелость поступков и свободу мыслей: он был одним из двенадцати бретонских дворян, заключенных в Бастилию *. Он обладал изящным станом и манерами, располагавшей наружностью, приветливым лицом и походил на портреты молодых сеньоров — сторонников Лиги.

Я выбрал для отплытия Сен-Мало, чтобы проститься с матушкой. В третьей книге моих «Записок» я уже рассказывал, как проезжал через Комбург и какие чувства теснились в моей груди. Я провел в Сен-Мало два месяца, занимаясь приготовлениями к путешествию: некогда я так же готовился к отъезду в Индию.

Я условился с капитаном по имени Дежарден: он должен был переправить в Балтимор аббата Наго, настоятеля семинарии Святого Сульпиция и нескольких семинаристов. Четыре года назад я больше порадовался бы таким спутникам: из правоверного христианина, каковым я был тогда, я успел превратиться в вольнодумца, то есть вольноглупца. Эту перемену в моих религиозных воззрениях произвели философские книги. Я искренно верил, что религиозный дух односторонен, что, как бы высоко он ни воспарял, есть истины, ему недоступные. Эта глупая гордыня вводила меня в заблуждение: в недостатке, отягощающем философию, я обвинял религию: недалекий ум мнит, что все видит, коль скоро смотрит во все глаза; высший ум готов закрыть глаза, ибо все видит внутренним оком. Наконец была еще одна вещь, которая меня удручала: беспричинное отчаяние, жившее в глубине моего сердца.

Благодаря письму моего брата я помню дату моего отъезда: он написал матери из Парижа о смерти Мирабо *. Через три дня после получения этого письма я взошел на корабль, где уже находился мой багаж. Подняли якорь — торжественный миг в жизни моряков. Когда лоцман провел нас через фарватер и покинул судно, солнце уже садилось. Погода стояла хмурая, дул влажный, теплый ветер, и волны тяжело бились о рифы в нескольких кабельтовых от борта.

Взор мой был прикован к Сен-Мало; там на берегу плакала моя мать. Я видел купола и колокольни церквей; там молился вместе с Люсиль, стены, валы, форты, башни, отмели, где прошло мое детство; я оставлял раздираемую распрями родину в пору, когда она потеряла человека, которого никто не мог заменить. Я уплывал, равно не уверенный в судьбах моей страны и в моей собственной судьбе: кто погибнет раньше — Франция или я? Увижу ли я когда-нибудь родной берег и своих близких?

Штиль и ночь остановили нас при выходе из гавани; город и маяки зажгли огни: эти огоньки, мерцающие под отчим кровом, казалось, слали мне улыбку и прощальный привет, освещая мою дорогу среди скал, черных волн и сумрака ночи.

Я увозил с собой только молодость и иллюзии; я покидал мир, чей прах попирал и чьи звезды сосчитал, чтобы отправиться в мир, чьи земли и небо были мне неведомы. Что ждало меня, если бы я достиг цели своего путешествия? Я затерялся бы на гиперборейских берегах, и, весьма вероятно, годы смут, с таким грохотом раздавившие столько поколений, опустились бы на мою голову без шума; может статься, общество изменило бы свое лицо без моего участия. Я, верно, никогда бы не почувствовал пагубной склонности к писательству; имя мое осталось бы безвестным или заслужило одно из тех тихих признаний, которые не достигают славы, не вызывают зависти, но даруют счастье. Кто знает, пересек ли бы я в этом случае вторично Атлантический океан, не предпочел ли бы я обосноваться в открытой и изученной мною глуши и жить там, как завоеватель на завоеванных землях.

Но нет! мне суждено было возвратиться на родину, чтобы испытать новые невзгоды, чтобы стать совсем другим человеком. Этому морю, в лоне которого я родился, суждено было сделаться колыбелью моей второй жизни; оно несло меня в мое первое путешествие, лелея, словно кормилица, наперсница моих первых горестей и радостей.

Безветрие продолжалось; отлив вынес нас в открытое море, береговые огни постепенно померкли. Измученный размышлениями, смутными сожалениями и еще более смутными надеждами, я спустился в каюту; я лег на подвесную койку, которая покачивалась под плеск волны, гладившей борт корабля. Поднялся ветер; матросы отдали паруса, они надулись, и, когда наутро я поднялся на верхнюю палубу, французский берег уже скрылся из виду.

Так переменялась моя судьба: «Снова в море!» Again to sea! * (Байрон.)

КНИГА ШЕСТАЯ

Просмотрено в декабре 1846 года

1. Пролог

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Через тридцать один год после моего отплытия к берегам Америки в чине младшего лейтенанта я отплыл в Лондон с паспортом, составленным в следующих выражениях: «Пропуск,— гласил этот документ,— его милости виконта де Шатобриана, пэра Франции, королевского посла при дворе Его величества короля Великобритании, и проч. и проч.». Никакого описания примет; предполагалось, что особу столь высокого ранга повсеместно знают в лицо. Пароход, нанятый для одного меня, доставляет меня из Кале в Дувр. Когда 5 апреля * 1822 года я ступаю на английскую землю, меня приветствует пушечный залп. Комендант форта присылает ко мне офицера, дабы выставить у моих дверей почетный караул. Хозяин и прислуга гостиницы «Shipwright-Inn»¹⁹, где я остановился, вышли мне навстречу с непокрытыми головами и застыли руки по швам. Супруга мэра от имени самых красивых дам города пригласила меня на вечер. Господин Биллинг, служащий моего посольства, уже ждал меня. Обед из исполинских рыб и гигантских оковалков говядины восстановил силы господина посла, который вовсе не был голоден и нимало не устал. Народ, собравшийся под моими окнами, встретил меня криками *huzza*²⁰! Давешний офицер вернулся и, несмотря на мои протесты, выставил подле моих апартаментов часовых. Назавтра, раздав кучу денег, принадлежащих моему повелителю королю, я отправляюсь в Лондон под пушечные выстрелы; я еду в легкой карете, запряженной четверкой прекрасных рысаков, которыми правят два элегантных жокея. Мои люди едут следом в других каретах; вестовые в моих ливреях сопровождают кортеж. Мы минуем Кентербери, привлекая взгляды Джона Булля и седоков встречных экипажей. В Блэк-Хите, где прежде в зарослях вереска прятались воры, теперь выросла деревня. Вскоре моим глазам предстает гигантский колпак дыма, покрывающий центр Лондона.

Погрузившись в пучину угольных паров, как в одну из пастей Гаргара, проехав через весь город, улицы которого я узнавал, я подъехал к зданию посольства на Портленд-Плейс. Поверенный в делах господин граф Жорж де Караман, секретари посольства господин виконт де Марселяус, господин барон Э. Деказ, господин де Буркене, а также посольские служащие встречают

¹⁹ Гостиница кораблестроителей (англ.).

²⁰ Ура (англ.).

меня с благородной учтивостью. Все привратники, консьержи, слуги, посыльные ожидают на тротуаре перед воротами. Мне подадут визитные карточки английских министров и иноземных послов, уже извещенных о моем приезде.

17 мая *благословенного* года 1793 от Рождества Христова я, смиренный и безвестный странник, прибывший с острова Джерси, высадился в Саутгэмптоне с тем, чтобы направить свои стопы в этот самый город Лондон. Супруге мэра не было до меня никакого дела; мэр же, Уильям Смит, выдал мне 18-го числа подорожную в Лондон, к которой был приложен Alien-bill ²¹. Описание моих примет по-английски звучало так: «Франсуа де Шатобриан, французский офицер эмигрантской армии (french officer in the emigrant army), пяти футов четырех дюймов роста (five feet four inches high), худощавый (thin shape), с каштановыми волосами и бакенбардами (brown hair and fits)». Я скромно разделил с несколькими матросами самый дешевый экипаж; я менял лошадей в самых жалких тавернах; бедный, больной, никому не ведомый, я въехал в славный и великолепный град, где царил господин Питт; мне предстояло поселиться на крытом дранкой чердаке, который за шесть шиллингов в месяц снял для меня один бретонский родственник в конце маленькой улочки, выходящей на Тоттенхэм-Курт-Роуд.

Ах! пусть в довольстве и почете,
Но вы теперь не так живете,
Как в те счастливые года!²²

Нынче, однако, Лондон сулит мне безвестность иного рода. Моя политическая деятельность отодвинула в тень мою литературную славу; во всех трех королевствах нет ни одного глупца, который не предпочел бы посланца Людовика XVIII автору «Гения христианства». Посмотрим, как повернется дело после моей смерти или после того, как я перестану замещать господина герцога Деказа при дворе Георга IV,— преемственность столь же странная, сколь и все остальные события моей жизни*.

Очутившись в Лондоне в качестве французского посла, я паче всего полюбил, оставив карету на углу какого-нибудь сквера, пешком обходить улочки, где некогда гулял, бедные простонародные предместья, где находят себе пристанище горемыки, объединенные общими страданиями, заходить в безвестные приюты, которые я часто посещал с товарищами по несчастью, не зная, будет ли у меня завтра кусок хлеба,— это я-то, кому в 1822 году подают на обед три или четыре перемены блюд. Во всех этих жалких нищих лачугах, двери которых в прежние времена были мне открыты, я вижу только незнакомые лица. Мне уже не попадают на глаза мои соотечественники, которых легко узнать по жестам, походке, фасону и ветхости платья; я больше не

²¹ Здесь: паспорт для иностранца (англ.).

²² Вольтер. Послание к Филиде; пер. М. Гринберга.

встречаю мучеников-священников, носящих маленькие воротнички, большие треугольные шляпы, длинные потертые черные рединготы,— им кланялись некогда прохожие-англичане. За время моего отсутствия в Лондоне проложили широкие улицы, возвели дворцы, построили мосты, насадили бульвары; за Портленд-Плейс, на месте лугов, где паслись стада коров, теперь разбит Риджентс-парк. Кладбище, видневшееся из слухового оконца одного из чердаков, где я жил, исчезло — его заслонила садовая беседка. Когда я отправляюсь к лорду Ливерпулю, я с трудом узнаю место, где стоял эшафот Карла I*; чем ближе подступают к статуе Карла II новые здания, тем безвозвратнее стираются из памяти выдающиеся события прошлого.

Как недостает мне, вкушающему нынешнее жалкое великолепие, этого мира терзаний и слез, этой поры, когда горести мои сливались с горестями целого поселения обездоленных! Значит, верно, что все проходит, что даже невзгодам, как и благоденствию, приходит конец? Что случилось с моими братьями по изгнанию? Одни умерли, что до других, то каждый пошел своей дорогой: как и я, они провожают в последний путь родных и близких; они более несчастны на родной земле, чем были на чужой. Разве на этой чужой земле мы не имели своих сборищ, своих развлечений, своих праздников и — прежде всего — разве мы не были молоды? Матери семейств, девушки, начавшие жизнь в нищете, отдавали плод недельного тяжкого труда, чтобы взвеселить себя танцами, какие танцуют в их родном краю. Знакомства завязывались во время вечерних бесед после трудового дня, на дерне Хэмстеда и Примроз-Хилла. Мы своими руками украшали старые лачуги и превращали их в часовни, где молились 21 января и в день смерти королевы, с волнением слушая надгробную речь нашего соседа — кюре-изгнанника. Мы гуляли по берегу Темзы, то глядя, как входят в доки корабли, груженные всеми богатствами мира, то любуясь сельскими домишками Ричмонда,— мы, такие бедные, мы, лишенные отчего крова: это было подлинное блаженство!

Прежде в Англии, когда я возвращался домой, меня встречал друг, который называл меня на «ты», который, дрожа от холода, открывал мне дверь нашего чердака, освещаемого вместо лампы лунным светом, опускался на убогое ложе, стоявшее рядом с моим, и укрывался своим худым одеялом,— теперь, в 1822 году, меня встречают две шеренги лакеев, за ними ожидают пять или шесть почтительных секретарей. Осыпаемый градом титулов: Монсеньор, Милорд, Ваша светлость, господин посол,— я вступаю в гостиную, обитую золотом и шелком.

— Умоляю вас, господа, оставьте меня! Довольно этих «милордов»! Что вы от меня хотите? Идите веселиться в канцелярию, не обращайтесь на меня внимания. Вы думаете, я принимаю всерьез весь этот маскарад? Вы считаете меня глупцом, который полагает, что, переменяя платье, изменяет и природу?

Вы сообщаете мне, что скоро прибудет маркиз Лондондерри, что обо мне справлялся герцог Веллингтон, что за мной присылал господин Каннинг; леди Джерси ждет меня к обеду вместе с господином Брумом; леди Гвидир зовет в Оперу и надеется увидеть меня в своей ложе в десять вечера; леди Мэнсфилд просит почтить своим присутствием ночное празднество в Элмекской зале *.

Помилуйте! куда мне деваться? кто освободит меня? кто избавит от этих преследований? Где вы, золотые дни моей нищеты и одиночества! Где вы, товарищи по изгнанию? Ко мне, старые друзья, делившие со мной походную кровать и соломенный тюфяк, пойдем в палисадник дрянного деревенского кабачка, сядем на деревянную скамью, выпьем по чашке скверного чая, вспомним наши безумные надежды и неблагоприятную родину, поговорим о наших горестях, поищем средство помочь друг другу, поддержать кого-нибудь из родных, еще более нуждающегося, чем мы сами.

Вот что я испытывал, вот о чем думал в первые дни своего лондонского посольства. От грусти, которая одолевает меня дома, я излечиваюсь лишь в Кенсингтонском парке, где упиваюсь грустью менее гнетущей. Парк этот нисколько не меняется, в чем я лишним раз убедился в 1843 году; только деревья поднимаются все выше; парк так же безлюден, и птицы спокойно вьют в нем гнезда. Некогда по его аллеям гуляла прекраснейшая из француженок, госпожа Рекамье, в сопровождении толпы поклонников; теперь же парк этот вышел из моды. Я любил смотреть с пустынных кенсингтонских лужаек, как лошади мчат через Гайд-парк коляски светских щеголей, среди которых ехало в 1822 году и мое пустое тильбюри, меж тем как в бытность свою бедным эмигрантом я брел пешком по аллее, где читал свой требник изгнанный из отечества исповедник.

Здесь, в Кенсингтонском парке, я обдумывал «Исторический опыт»; здесь перечитывал дневник моих заморских странствий и почерпнул оттуда историю любви *Атала*; здесь же, в этом парке, куда я возвращался после блужданий по бескрайним полям, под низким, белесым и словно источающим полярный свет небом, набросал я карандашом первые страницы, посвященные страстям *Рене*. По ночам урожай моих дневных мечтаний пополнял рукописи «Исторического опыта» и «Натчезов». Я работал над обоими сочинениями разом, хотя мне часто не хватало денег на бумагу, а листы ее, за неимением ниток, я скреплял деревянными щепками, отломанными от чердачных балок.

Эти места, где меня впервые посетило вдохновение, имеют надо мною непреходящую власть; они озаряют настоящее мягким отсветом воспоминаний: я чувствую желание вновь взяться за перо. Сколько времени уходит зря в посольствах! Здесь, как и в Берлине, я имею досуг продолжать свои «Записки» — здание, которое я возвожу на обломках и развалинах. Мои лондонские секретари врываются по утрам на пикники, а по вечерам на балы; в добрый час! Слуги — Питер, Валентин, Льюис — в свой черед отправляются в кабачок, а служанки — Роза, Пегги, Мария — на прогулку по городу; превосходно!

Мне вручают ключ от входной двери: господин посол остается сторожить собственный дом; если постучат, он откроет. Все ушли; я один: займусь делом.

Двадцать два года назад, как я уже сказал, я набрасывал в Лондоне «Натчезов» и «Атала»; в своих «Записках» я как раз дошел до своих американских странствий: одно к одному. Минуем мысленно эти двадцать два года, и в самом деле миновавшие в моей жизни, и отправимся в леса Нового Света; рассказ о моем посольстве с Божьей помощью последует в свое время; если мне удастся задержаться здесь на несколько месяцев, у меня достанет времени, чтобы добраться от Ниагарского водопада до армии принцев в Германии и от армии принцев до предоставившей мне убежище Англии. Посол французского короля расскажет историю французского эмигранта в том самом месте, где он жил изгнанником.

2. Путь через океан

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Предыдущая книга заканчивается моим отплытием из Сен-Мало. Вскоре мы прошли Ламанш, и сильное волнение на западе возвестило, что мы в Атлантике.

Людям, которые никогда не путешествовали на корабле, трудно представить себе чувства человека, который плывет в открытом море и видит со всех сторон лишь мрачный лик бездны. Отсутствие земли сообщает опасной жизни моряка независимость; человеческие привязанности остаются на берегу; в пути от покинутого мира к миру искомому у людей не остается иной любви и иной родины, кроме стихии, несущей их на своих волнах: ни обязанностей, ни визитов, ни газет, ни политики. Даже язык моряков — не обычный язык: это язык, на котором изъясняются океан и небо, штиль и буря. Вы живете в мире воды среди существ, ни платьем, ни вкусами, ни манерами, ни лицом не похожих на жителей материка: их отличает суровость морского волка и легкость птицы; заботы общества не отражаются на их челе; пересекающие его морщины похожи на складки спущенного паруса; их, как и волны, прокладывают не столько годы, сколько северный ветер.

Кожа у моряков просоленная, красная, дубленая; она подобна поверхности рифа, о которую бьется волна.

Матросы обожают свой корабль; расставаясь с ним, они плачут от горя, встречаясь — от нежности. Они не могут жить с семьей; сколько бы они ни клялись, что останутся на берегу, им не излечиться от страсти к морю, как юноше не вырваться из объятий пылкой и неверной любовницы.

В доках Лондона и Плимута нередко можно встретить sailors²³,

²³ Моряки, матросы (англ.).

родившихся на корабле: с самого детства и до старости они не ступали на берег; зрители мира, от них далекого, они видели землю лишь с борта своей плавучей колыбели! В этой жизни, протекающей на крошечном клочке пространства, под облаками и над безднами, все оживает для моряка: он питает привязанность к якорю, парусу, мачте, пушке, и каждый из этих предметов имеет в его глазах свою историю.

Парус порвался у берегов Лабрадора; мастер поставил на нем вот эту заплату.

Якорь спас корабль, когда другие якоря не могли его удержать, и он лег в дрейф среди коралловых рифов у Сандвичевых островов.

Мачта сломалась от ветра у мыса Доброй Надежды; она была из цельного бревна; теперь она состоит из двух колен и сделалась гораздо крепче.

Пушку — одну-единственную — не сняли с лафета во время сражения в Чесапикском заливе.

Самые интересные новости для моряка — корабельные: только что бросили лаг; корабль плывет со скоростью десять узлов.

Поддень, небо ясное, измерили угол склонения солнца: мы находимся на такой-то широте.

Определено местонахождение судна: мы прошли столько-то миль.

Стрелка отклонилась на столько-то градусов: мы плывем на север.

Песок в склянках сыплется медленно: будет дождь.

В кильватере показались буревестники: жди ненастья.

На юге видны летающие рыбы: скоро распогодится.

На западе в тучах наметился просвет: завтра ветер будет дуть с той стороны, где синее эта прогалина.

Вода изменила цвет; в ней плавают бревна и водоросли; кругом множество чаек и уток; какая-то пташка села на реи: надо повернуть в открытое море, ибо земля близка, а ночью причаливать трудно.

В клетке заперт общий любимец — «священный» петух, которому суждено жить дольше других: он знаменит тем, что пел во время боя, словно на ферме, среди кур. В трюме живет кот: зеленоватая полосатая шкурка, облезлый хвост, усы торчком: он крепко стоит на лапах, не боясь ни килевой, ни бортовой качки; он дважды совершил кругосветное плавание и во время крушения спасся на бочке. Юнги угощают петуха кусочком бисквита, намоченным в вине, а коту дозволено, буде ему того захочется, спать на шубе помощника капитана.

Старый моряк похож на старого пахаря. Правда, труды их различны: матрос вел кочевую жизнь, пахарь никогда не покидал своего поля, но оба они ищут путь по звездам, один — борозда моря и океаны, другой — борозда пашню. Одному предсказывают судьбу жаворонок, малиновка, соловей, другому — буревестник, кулик, зимородок. Вечером один укрывается в каюте,

другой — в хижине, и оба спокойно спят в хрупких жилищах, сотрясаемых бурей.

If the wind tempestuous is blowing,
 Still no danger they descry;
 The guiltless heart its boon bestowing,
 Soothes them with its Lullaby.

«Они не боятся бури; невинное сердце, проливая свой бальзам, баюкает их: баю-бай, спи, дитя, баю-бай, спи, дитя, и т. д.»

Матрос не ведает, где достигнет его смерть, у каких берегов он расстанется с жизнью: быть может, когда ветер примет его последний вздох, тело его привяжут к двум веслам и отправят в последнее странствие по волнам; быть может, его похоронят на маленьком пустынном островке, затерянном в океане, и он будет спать в чужой земле, как спал на своей подвесной койке в кубрике.

Корабль сам по себе — зрелище, достойное внимания: отзвываясь на малейший поворот штурвала, этот гиппогриф, или крылатый конь, слушается руки кормчего, как скакун — руки всадника. Изыщество мачт и снастей, ловкость матросов, порхающих по реям, способность корабля принимать разные облики, смотря по тому, кренится ли он под порывами южного ветра, бежит ли прямо, подгоняемый попутным северным ветром,— все делает эту мудрую машину чудом человеческого гения. Порой пенистые валы бьются о борт, порой морская гладь покорно расступается перед носом корабля. Флаги, огни, паруса довершают красоту этого дворца Нептуна: нижние паруса, развернутые во всю ширь, закручиваются в большие цилиндры, верхние, перевязанные посередине, походят на перси сирены. Оживленный могучим дуновением, корабль с шумом взрезает морские пажити своим килем, словно лемехом плуга.

На океанской дороге, вдоль которой нет ни деревьев, ни городов, ни сел, ни башен, ни колоколен, ни могил,— на этой дороге без верстовых столбов и межевых камней, окаймленной лишь волнами, где вместо перекладных — ветер, вместо факелов — небесные светила, самое прекрасное приключение, помимо поиска неведомых земель и морей,— это встреча двух кораблей. Моряки глядят в подзорную трубу, замечают на горизонте судно и устремляются ему навстречу. Команда и пассажиры высыпают на палубу. Суда сближаются, поднимают флаги, наполовину убирают паруса, разворачиваются друг к другу лагом. В полной тишине два капитана перекликаются в рупор: «Название корабля? Из какого порта? Имя капитана? Откуда он родом? Сколько дней в пути? Широта и долгота? Прощайте, полный вперед!» Матросы отпускают рифы; парус раздувается. Команды и пассажиры обоих кораблей молча смотрят друг другу вслед: одни направляются к берегам Азии, другие — к берегам Европы; и тех и других рано или поздно ждет смерть.

Время уносит и разлучает путников на суше еще быстрее, чем ветер уносит и разлучает их в океане; люди издали подают друг другу условный знак: «Прощайте, полный вперед!» Все встретится в одном порту, имя которому Вечность.

А вдруг на борту встречного корабля плыли Кук или Лаперуз?

〈Продолжение плавания. Азорские острова; остановка на островах Грасиоза и Сен-Пьер〉

6. Берега Виргинии.— Закат.— Опасность.— Я ступаю на американский берег.— Балтимор <...〉

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Погрузив на борт съестные припасы и заменив якорь, потерянный подле Грасиозы, мы покинули Сен-Пьер. Держа курс на юг, мы достигли 38-го градуса широты. Неподалеку от берегов Мэриленда и Виргинии нас остановил штиль. Над нами простиралось уже не туманное северное небо, но небеса, прекраснейшие в свете; берега не было видно, но до нас доносился запах сосновых лесов. Зори, рассветы и закаты, сумерки и ночи были восхитительны. Я не мог налюбоваться Венерой, чьи лучи, казалось, окутывали меня, как некогда волосы моей сильфиды.

Однажды вечером я сидел в каюте капитана и читал; раздался звон колокола, сзывающего на вечернюю молитву: я решил присоединить свой голос к молениям своих спутников. Офицеры вместе с пассажирами собрались на корме; священник с книгой в руке стоял немного впереди, подле штурвала; матросы толпились на верхней палубе; все мы стояли лицом к носу корабля. Паруса были убраны.

Солнечный шар, готовый погрузиться в волны, виднелся между снастями посреди бескрайних просторов: из-за качки казалось, что лучезарное светило мечется по небосклону. Когда я описывал это зрелище в «Гении христианства», религиозные чувства мои были достойны живописуемой сцены, но в ту пору, когда все это происходило, во мне, увы, еще жил ветхий человек: не Бог во всем величии его творений являлся мне в волнах. Я видел незнакомку и ее чудесную улыбку; небо, казалось мне, обязано своими красотами ее дыханию; я отдал бы вечность за один ее ласковый взгляд. Я воображал себе, что она с трепетом ожидает меня и надобно лишь приподнять завесу вселенной, скрывающую ее от моих взоров. О! отчего я не властен сорвать покров и прижать идеальную красавицу к сердцу, дабы изнемочь на ее груди от любви — источника моего вдохновения, отчаяния и жизни! Пока я предавался этим порывам, столь свойственным *следопыту*, каковым мне предстояло сделаться, произошел несчастный случай, который едва не положил конец моим замыслам и грезам.

Нас мучила жара; из-за мертвого штиля матросы убрали паруса, и корабль, отягощенный мачтами, терзала бортовая качка; солнце жгло меня, палуба то и дело уходила из-под ног, и мне захотелось искупаться; хотя шлюпки за бортом не было, я ступил на бушприт и бросился в море. Поначалу все шло чудесно и несколько пассажиров последовали моему примеру. Я плыл, не глядя на корабль, но когда наконец обернулся, увидел, что течение отнесло его уже далеко. Встревоженные матросы бросили другим пловцам трос. В кильватере показались акулы, в них стреляли, чтобы отогнать подальше. Волны не давали мне приблизиться к кораблю, и я выбивался из сил. Подо мной была пучина; акулы могли в любой миг откусить мне руку или ногу. Боцман пытался спустить на воду шлюпку, но для этого требовалось установить тали, что не так-то просто.

К моему огромному счастью, поднялся еле заметный ветерок; корабль, сделавшийся более послушным, подплыл ко мне; я сумел ухватиться за канат, но и мои товарищи по безрассудству также уцепились за него; когда нас стали поднимать на борт, я оказался в самом низу, и все, кто был выше, давили на меня своим весом. Выгаскивали нас постепенно, по одному, и это заняло немало времени. Бортовая качка продолжалась; когда судно накренилось в нашу сторону, мы на шесть-семь футов погружались в воду, когда в противоположную — взмывали на такую же высоту в воздух, словно рыбы на крючке: уйдя под воду в последний раз, я ощутил, что вот-вот лишусь чувств: еще немного — и я отпустил бы трос. Меня вытащили на борт полумертвого: если бы я утонул — какое это было бы облегчение и для меня, и для других!

Через два дня после этого происшествия вдали показалась земля. Когда капитан сообщил об этом, сердце мое забилося сильнее: Америка! Ее очертания были едва обозначены кленами, подступившими к самой воде. Впоследствии пальмы в устье Нила так же возвестили мне приближение к берегам Египта. На борт нашего судна поднялся лоцман; мы вошли в Чесапикский залив. Чтобы пополнить запасы продовольствия, на берег в тот же вечер отрядили шлюпку. Я присоединился к матросам и вскоре ступил на американскую землю.

Несколько мгновений я стоял как вкопанный, оглядываясь кругом. Этот континент, не известный, должно быть, в древние времена и долго остававшийся неизвестным в новое время; первоначальная судьба этого материка в состоянии дикости и его новая судьба после прибытия Христофора Колумба; зыбкость королевской власти в Европе, причина которой — этот новый мир; гибель старого общества в юной Америке; республика неведомого типа, возвещающая преобразование человеческого духа; участие моего отечества в этих событиях; эти моря и берега, отчасти обязанные своей независимостью французскому флагу и французской крови; великий человек, рождающийся среди раздоров и пустынь; Вашингтон, живущий в богатом городе, выросшем на том самом месте, где некогда Вильгельм Пенн приобрел клин леса; Соединенные

Штаты, возвращающие Франции революцию, которую та поддержала своим оружием; наконец, моя собственная судьба, моя девственная муза, которую я вверяю новой страсти, открытия, которые я надеюсь совершить на этих просторах, раскинувшихся позади узкой полоски чужой цивилизации: вот что волновало мой ум.

Мы отправились на поиски человеческого жилья. Бальзамические тополя и виргинские кедры, пересмешники и птица кардинал возвещали своим обликом и тенью, щебетом и опереньем, что мы находимся в незнакомых широтах. Полчаса спустя мы подошли к дому, похожему и на английскую ферму, и на креольскую хижину. Стада европейских коров паслись на выгонах, обнесенных изгородями, по которым прыгали полосатые белки. Чернокожие пилили дрова, белокожие трудились на табачных плантациях. Негритянка лет тринадцати-четырнадцати, почти нагая и красивая удивительной красотой, впустила нас за ограду; она была подобна юной Ночи. Мы купили маисовых лепешек, кур, яиц, молока и с бутылками и корзинами возвратились на судно. Я подарил маленькой африканке свой шелковый платок: так уж случилось, что первым человеческим существом, встреченным мною на земле свободы, стала рабыня.

Мы снялись с якоря и взяли курс на Балтимор: по мере приближения к порту водное пространство суживалось: морская гладь была неподвижна; казалось, мы поднимаемся по медленной реке, окаймленной улицами. Представший перед нами Балтимор стоял словно на берегу озера. За городом виднелся лесистый холм, у подножия которого строительство еще только начиналось. Мы пришвартовались к пристани. Я переночевал на корабле и сошел на землю лишь утром. Взяв свой багаж, я отправился на постоялый двор; семинаристы поселились в приготовленном для них доме, откуда им предстояло разъехаться по всей Америке.

⟨Судьба спутника Шатобриана по морскому путешествию англичанина Френсиса Туллока⟩

7. Филадельфия.— Генерал Вашингтон

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Балтимор, как и все прочие метрополии Соединенных Штатов, тридцать лет назад не был так велик, как ныне: это был маленький католический городок, чистый, оживленный, нравами и обществом очень близкий к европейскому. Я заплатил капитану за проезд и угостил его прощальным обедом. Я заказал место в stage-coach²⁴, трижды в неделю отправлявшемся в Пенсильванию. В четыре утра я сел в него — и вот я уже качу по просторам Нового Света.

²⁴ Почтовая карета, дилижанс (англ.).

Мы ехали по дороге, не столько проложенной, сколько проведенной по равнине: деревья и фермы встречались очень редко; климат напоминал французский, ласточки кружились над водой, как в Комбурге.

Ближе к Филадельфии нам стали попадаться крестьяне, идущие на рынок, кареты и наемные экипажи. Филадельфия показалась мне красивым городом; широкие прямые улицы, нередко обсаженные деревьями, пересекали его с севера на юг и с востока на запад. Делавер течет параллельно улице, проходящей по его западному берегу. В Европе такая река считалась бы крупной: в Америке на нее никто не обращает внимания; берега ее низки и не слишком живописны.

Во время моего путешествия (1791) Филадельфия еще не простиралась до Скулкилла *; берега этого притока были поделены на участки, и лишь кое-где строились дома.

Вид Филадельфии скучен. Вообще протестантским городам Соединенных Штатов решительно недостает замечательных архитектурных сооружений: Реформация молода и не платит дани воображению, поэтому она редко возводит те купола, те воздушные нефы, те двойные башни, которыми древняя католическая религия увенчала Европу. Ни одно строение в Филадельфии, Нью-Йорке, Бостоне не возвышается над общей массой стен и крыш: это однообразие печалит взор.

Поначалу я поселился на постоялом дворе, а затем перебрался в пансион, где жили колонисты из Сан-Доминго и французы, которые покинули родину по причинам, отличным от моих. Земля свободы давала приют тем, кто бежал свободы: ничто так неопровержимо не доказывает благородства американских установлений, как добровольное бегство сторонников абсолютной монархии в царство неограниченной демократии.

Человек вроде меня, который прибыл в Соединенные Штаты, исполненный преклонения перед народами древности и, подобно Катону, искавший всюду первозданную суровость римских нравов, не мог не испытать разочарования, встречая повсюду роскошные экипажи, слыша легкомысленные речи, наблюдая неравенство состояний, бесчестность, царящую в банках и игорных домах, шум бальных и театральных зал. В Филадельфии я чувствовал себя словно в Ливерпуле или Бристоле. Жители города мне нравились: бледные квакерши в серых платьях и одинаковых шляпках казались красавицами.

В ту пору я относился к республикам с большим восхищением, хотя и полагал, что в современном мире они существовать не могут: я понимал свободу на манер древних, почитавших ее дочерью нравов в нарождающемся обществе, но свобода — дочь просвещения и многовековой цивилизации, возможность которой доказала парламентская республика, была мне неведома; дай ей Бог долгую жизнь! Нынче, чтобы быть свободным, человеку уже необязательно возделывать свой клочок земли, бранить науки и искусства, иметь нестриженные ногти и грязную бороду.

Когда я прибыл в Филадельфию, генерал Вашингтон был в отлучке *; мне пришлось прождать его с неделю. Он промчался мимо меня в карете, запряженной четверкой резвых лошадей. В те времена я воображал себе Вашингтона не иначе как Цинциннатом; Цинциннат в карете не слишком отвечал моим представлениям о республике 296 года по римскому летоисчислению. Диктатор Вашингтон виделся мне крестьянином, самолично погоняющим быков палкой и идущим за своим плугом. Однако, когда я явился к нему с рекомендательным письмом, он и вправду встретил меня с простотой, достойной древнего римлянина.

Дворец президента Соединенных Штатов представлял собою небольшой дом, ничем не отличающийся от соседних домов; у дверей ни охраны, ни даже слуг. Я постучал; вышла молоденькая служанка. Я спросил ее, дома ли генерал; она отвечала, что дома. Я сказал, что хотел бы передать ему письмо. Служанка спросила мое имя, трудное для английского слуха; не сумев запомнить его, она мягко пригласила: «Walk in, sir. Входите, сударь» — и пошла впереди меня по узкому коридору — непременно принадлежности английских домов: она проводила меня в приемную и попросила подождать.

Я не испытывал волнения: ни величие души, ни величина состояния не завораживают меня; я восхищаюсь первым, но оно не подавляет меня; вторая же внушает мне не столько почтение, сколько жалость: человеческому лику не дано смутить меня.

Через несколько минут вошел генерал: высокого роста, наружности не столько благородной, сколько спокойной и холодной, он походил на свои портреты. Я молча протянул ему письмо; он сломал печать, пробежал глазами послание и, дойдя до конца, воскликнул: «Полковник Арман!» Именно так называл он маркиза де Ла Руэри, и именно так маркиз подписал письмо.

Мы сели. Я кое-как изъяснил цель своего приезда. Он отвечал односложно то по-английски, то по-французски и слушал меня с некоторым удивлением; я заметил это и сказал с легкой досадой: «Во всяком случае, открыть северо-западный пролив легче, чем основать нацию, как это сделали вы». — «Well, well, young man!» Ладно, ладно, молодой человек!» — воскликнул он, протягивая мне руку. Он пригласил меня на завтра отобедать у него, и мы расстались.

Я не преминул воспользоваться приглашением. За столом нас было пятеро или шестеро. Разговор шел о Французской революции. Генерал показал нам ключ от Бастилии. Эти ключи, как я уже говорил, были не что иное, как игрушки, которые в те времена раздавали направо и налево. Тремя годами позже отправители слесарных изделий могли бы послать президенту Соединенных Штатов засов от камеры монарха, даровавшего свободу Франции и Америке. Если бы Вашингтон знал, как низко пали *покорители Бастилии*, он меньше дорожил бы своей реликвией. Не в кровавых оргиях таились серьезность и могущество Революции. В 1685 году, после отмены Нантского эдикта,

чернь из Сент-Антуанского предместья разрушала протестантский храм в Шарантоне с таким же рвением, с каким разоряла в 1793 году церковь Сен-Дени.

В десять вечера я простился с Вашингтоном; больше я никогда не видел его; он на следующий день уехал, а я продолжил свое путешествие.

Такова была моя встреча с солдатом-гражданином, освободителем целого мира. Вашингтон сошел в могилу прежде, чем я снискал хоть малейшее признание; я промелькнул перед ним ничтожной тенью; он явился мне в блеске своей славы, я ему — во мраке своей безвестности; имя мое, должно быть, тотчас изгладилось из его памяти: однако какое счастье, что взгляд его упал на меня! Мысль об этом согревала весь остаток моих дней: взгляд великого человека наделен благодетельной силою.

8. Сравнение Вашингтона и Бонапарта

Со смерти Бонапарта не прошло и года. Я же только что постучался в двери Вашингтона, и сравнение между основателем Соединенных Штатов и французским императором естественно возникает в моем уме; тем более что сейчас, когда я набрасываю эти строки, самого Вашингтона также нет в живых. Эрсилья, певец и воин, прерывает рассказ о странствиях по Чили, дабы поведать о смерти Дидоны; я же останавливаюсь в начале моего пути по Пенсильвании, чтобы сравнить Вашингтона с Бонапартом. Я мог бы отложить это сравнение до тех пор, когда буду описывать свою встречу с Наполеоном, но если я сойду в могилу прежде, чем дойду в своей хронике до 1814 года, то никто никогда не узнает, что я думаю о двух посланцах Провидения. Я вспоминаю Кастельно; как и я, он был послом в Англии, как и я, работал в Лондоне над своими записками. В самом конце книги VII он говорит сыну: «Я расскажу об этом событии в книге VIII», но восьмой книги записок Кастельно не существует: это лишний раз доказывает, что не следует ничего откладывать на потом.

Вашингтон, не в пример Бонапарту, не принадлежит к породе титанов. О нем не рассказывают удивительных легенд; ему не нужны широкие подмости; он не вступает в схватку с самыми искусными полководцами и самыми могущественными монархами своего времени, не мчитя из Мемфиса в Вену, из Кадиса в Москву: вместе с горсткой граждан он держит оборону на ничем не знаменитой земле, в узком кругу семейных очагов. Он не одерживает побед, напоминающих об Арбеллах и Фарсале*; он не ниспровергает одни троны, чтобы на их обломках воздвигнуть другие; он не приказывает передать королям, толпящимся у его дверей:

Пускай не мешкают: Аттила ждать устал*.

Деяния Вашингтона окружены молчанием; он действует не спеша; он, кажется, тревожится за грядущую свободу и боится повредить ей. Этот новый герой держит в руках не собственную судьбу, но судьбу своего народа; он не позволяет себе играть тем, что ему не принадлежит; но каким светом засияет со временем это глубокое смирение! Взгляните на леса, где сверкала шпага Вашингтона: что вы там видите? Могилы? Нет, целый мир! Трофей, оставленный Вашингтоном на поле брани, — Соединенные Штаты.

Бонапарт нимало не похож на степенного американца: грохот его сражений слышен во всех уголках нашей старой земли; его волнует только собственная слава; его заботит только собственная участь. Кажется, он знает наперед, что ему отпущен короткий срок, что поток, низвергающийся с такой высоты, быстро иссякает; он спешит насладиться своей славой, как быстротечной юностью, и не умеряет своих порывов. По примеру греческих богов он хочет в четыре шага оказаться на другом конце света. Он возникает на берегах всех морей и рек; он спешит вписать свое имя в летопись всех народов; он раздает короны своим родным и своим солдатам; он торопится воздвигнуть памятники, издать законы, одержать победы. Склонившись над земным шаром, он одной рукой ниспровергает королей, другой разит исполина революции; но, подавляя анархию, он душит свободу и в конце концов на своем последнем поле брани теряет свободу сам.

Каждый получает по заслугам: Вашингтон возвышает нацию до независимости и, удалившись на покой, умирает в своей постели, оплакиваемый соотечественниками и почитаемый народами.

Бонапарт отнимает у нации независимость: низвергнутый император, он отправляется в изгнание на далекий остров, и уstraшенная земля почитает сам океан недостаточно надежным тюремщиком. Он умирает; новость эта, запечатленная на воротах дворца, перед которым глашатаи завоевателя столько раз возвещали о смерти других людей, не останавливает и не удивляет прохожих: о чем им скорбеть?

Республика Вашингтона живет; империя Наполеона рухнула. Вашингтон и Бонапарт вышли из ложа демократии: оба дети свободы, но первый остался ей верен, второй же ее предал.

Вашингтон выражал нужды, мысли, познания, взгляды своей эпохи; он содействовал, а не препятствовал развитию умов; он желал того, чего должен был желать, того, к чему он был призван: отсюда последовательность и цельность его творения. Этот человек, который ничем не изумляет, ибо в нем нет ничего необычного, слил свою жизнь с жизнью родной страны: лавры его — достояние цивилизации; здание его славы подобно одному из тех святилищ, где бьет полноводный и неиссякаемый источник.

Бонапарт мог принести общему делу не меньше пользы: он правил самой умной, самой храброй, самой блистательной нацией на земле. Какое место

занимал бы он ныне, если бы с отвагой соединял великодушие, если бы, прибавив к своим достоинствам добродетели Вашингтона, назвал свободу единственной наследницей своей славы.

Но этот исполин не желал признавать, что его судьба связана с судьбами его соотечественников; гений его был выпестован новой эпохой, честолюбие же принадлежало древности; он не заметил, что царский венец не стоит его чудесных свершений, что это готическое украшение ему не к лицу. Он то устремлялся в будущее, то отступал в прошлое, и, смотря по тому, плыл ли он по течению времени или против него, он то увлекал своею дивной силой волны за собою, то разрезал их. Люди были в его глазах лишь средством властвовать; его счастье никоим образом не зависело от счастья других людей: он обещал освободить их — он надел на них оковы; он отгородился от них — они от него отделились. Египетские цари воздвигали свои погребальные пирамиды не среди цветущих садов, но среди безводных песков; эти гигантские надгробия возвышаются в пустыне, подобные вечности: такой же памятник воздвигнул Бонапарт своей славе.

КНИГА СЕДЬМАЯ

〈Путь из Филадельфии в Нью-Йорк〉

*2. Северная река.— Песнь пассажирки.— Олбани.— Господин Свифт.—
Отъезд в обществе проводника-голландца к Ниагарскому водопаду.—
Господин Виоле*

Лондон, апрель—сентябрь 1822 года

В Нью-Йорке я сел на пакетбот, плывущий в Олбани, город в верхнем течении Северной реки *. На борту собралось много народу. В первый день, ближе к вечеру, нам подали фрукты и молоко; женщины сидели на верхней палубе на скамьях, мужчины — на полу у их ног. Вскоре все затихли: красота природы не располагает к беседе. Вдруг кто-то воскликнул: «Вот место, где взяли в плен Эсгилла» *. Все стали просить квакершу из Филадельфии спеть балладу, известную под названием «Эсгилл». Корабль вошел в ущелье; голос пассажирки то терялся среди волн, то набирал силу, когда мы плыли вдоль самого берега. Судьба молодого воина, любовника, поэта и храбреца, которого Вашингтон удостоил сочувствия, а несчастная королева — заступничества, прибавляла этой романтической сцене очарования. Мой покойный друг господин де Фонтан обронил смелые слова об Эсгилле в ту самую пору, когда Бонапарт вознамерился занять трон, принадлежавший Марии Антуанетте *.

Американские офицеры, казалось, были растроганы песней пенсильванки: воспоминание о былых невзгодах отечества помогло им лучше оценить нынешнее благоденствие. Они с волнением озирали берега, еще недавно наводненные войсками и гудевшие от грохота орудий, а ныне погруженные в глубокий покой, эти позлащенные последними лучами угасающего дня, оживленные щебетом птицы-кардинала, воркованием вяхиря, пением пересмешника берега, обитатели которых, облокотившись на увитые бигнониями изгороди, провожали глазами наш пакетбот.

Прибыв в Олбани, я отправился на поиски господина Свифта, к которому у меня было письмо. Этот господин Свифт торговал пушнину у индейских племен, живших на территории, которую Англия уступила Соединенным Штатам, — ведь цивилизованные державы, как республики, так и монархии, бесцеремонно делят между собой американские земли, им не принадлежащие. Выслушав меня, господин Свифт высказал весьма здравые соображения. Он сказал, что невозможно пуститься в столь серьезное странствие так сразу, в полном одиночестве, без помощи, без поддержки, без рекомендательных писем к английским, американским и испанским постам, которые встретятся на моем пути; если мне даже повезет, добавил он, и я благополучно миную эти глухие места, я окажусь среди льдов и умру от голода и холода; он посоветовал мне для начала обжиться в здешних краях, изучить сиу, ирокезский, эскимосский, свести знакомство со *следопытами* и агентами компании Гудзонова залива. Лишь завершив все эти приготовления, я сумею, через четыре или пять лет, приступить при поддержке французского правительства к выполнению своей опасной миссии.

Положа руку на сердце, я не мог не признать, что советы господина Свифта разумны, но они противоречили моим планам. Будь моя воля, я отправился бы прямо на полюс, как отправляются из Парижа в Понтуаз. Я скрыл от господина Свифта свою досаду: я попросил его раздобыть мне проводника и лошадей, чтобы добраться до Ниагарского водопада и Питтсбурга: оттуда я намеревался спуститься вниз по течению Огайо и собрать сведения, могущие пригодиться мне в дальнейшем. Я не отказался от своих первоначальных планов.

Господин Свифт нанял для меня голландца, говорящего на нескольких индейских наречиях. Я купил двух лошадей и покинул Олбани.

Нынче все земли между этим городом и Ниагарским водопадом заселены и распаханы; здесь прорыт Нью-Йоркский канал; но в те времена край этот был по большей части пустынным.

Когда, переправившись через Могаук, я въехал в девственные леса, независимость, можно сказать, ударила мне в голову: я бегал от дерева к дереву, из стороны в сторону, твердя себе: «Здесь нет ни дорог, ни городов, ни монархии, ни республики, ни президентов, ни королей, ни людей». И, чтобы проверить,

восстановлен ли я в своих исконных правах, я резвился вволю, приводя в бешенство проводника, который в глубине души считал меня сумасшедшим.

Увы! в гордыне своей я воображал себя единственным смертным в этом лесу — и вдруг уткнулся носом в шалаш. Тут изумленным очам моим предстали первые в моей жизни дикари. Их было человек двадцать: все, мужчины и женщины, были размалеваны, как шаманы, все были полуголые, с изрезанными ушами, с вороньими перьями на голове и кольцами в носу. Маленький француз, напудренный и завитой, в яблочно-зеленом фраке, дрогетовой куртке, муслиновом жабо и манжетах пинакал на крошечной скрипочке, а ирокезы плясали «Мадлон Фрике» *. Господин Виоле (так звали француза) служил у дикарей учителем танцев. За уроки ему платили бобровыми шкурами и медвежьими окороками. Во время Войны за независимость он был поваренком при штабе генерала Рошамбо. Когда наша армия отплыла на родину, он остался в Нью-Йорке и решил преподавать американцам изящные искусства. Поле его деятельности расширилось сообразно с успехами, и новый Орфей отправился просвещать дикие орды Нового Света. Рассказывая мне об индейцах, он без конца повторял: «Господа дикари и госпожи дикарицы». Он гордился способными учениками: в самом деле, таких прыжков мне никогда не доводилось видеть. Зажав скрипочку между подбородком и грудью, господин Виоле настраивал волшебный инструмент; затем он кричал ирокезам: «По местам!» — и все племя принималось скакать, словно шайка чертей.

Не правда ли, этот бал, устроенный для ирокезов бывшим поваренком генерала Рошамбо, — удручающее вступление в жизнь дикарей для верного последователя Руссо? Мне было очень смешно, но я чувствовал себя глубоко оскорбленным.

〈Знакомство с индейцами〉

5. *Ирокез.— Сахем племени онондога.— Велли и франки.— Прием гостя.— Древние греки.— Монкальм и Вольф*

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Назавтра я собирался нанести визит сахему * племени онондога; я прибыл в его селение в десять утра. Меня сразу окружили молодые дикари, которые что-то пытались растолковать мне на своем языке, вставляя английские фразы и французские слова; они очень шумели и радовались — так же вели себя первые турки, которых я впоследствии увидел в Короне, ступив на греческую землю. Эти индейские племена, живущие между землями, которые недавно распахали белые, владеют лошадьми и стадами; хижины их полны утвари, купленной, с одной стороны, в Квебеке, Монреале, Ниагаре, Детройте *, а с другой — на рынках Соединенных Штатов.

Странствуя по Северной Америке, можно встретить у диких племен, не затронутых цивилизацией, разнообразные формы правления, известные народам цивилизованным. Ирокезам, казалось, суждено было самой природой подчинить себе прочие индейские племена, но явились чужеземцы и стали истощать их силы и угнетать их дух. Бесстрашные ирокезы нимало не удивились огнестрельному оружию, когда его впервые применили против них; они стойко переносили свист пули и грохот пушек, словно слышали их всю жизнь; можно было подумать, что они придают им не больше значения, чем буре. Как только они смогли раздобыть себе мушкеты, они научились стрелять более метко, чем европейцы. Они не отказались от палицы, ножа для снятия скальпов, лука и стрел, но прибавили к ним карабин, пистолет, кинжал и топор; однако боевой их дух так силен, что и всего этого оружия им, кажется, мало. Увешанные смертоносными изобретениями Европы и Америки, с украшенной перьями головой, с изрезанными ушами, разноцветными полосами на лице и кровавой татуировкой на руках, эти герои Нового Света так же страшны для зрителей, как и для противников, с которыми они бьются за каждую пядь своей земли.

Сахем племени онондога был старым ирокезом в самом строгом смысле этого слова; он хранил традиции древних пустынь.

Англичане в своих описаниях неизменно называют индейского сахема *the old gentleman*. Так вот, *старый господин* совершенно наг; в ноздри его продето перо или рыба кость, на голове, обритой и круглой, как головка сыра, иногда красуется обшитая галуном треугольная шляпа, долженствующая внушать почтение европейцам. Разве уступаю я в правдивости историку Велли? * Вождь франков Хильперик умащал себе волосы прогорклым жиром, *infundens acido somat butygo* *, зеленил щеки, носил пеструю куртку и плащ из звериных шкур; Велли рисует его властителем, обожающим роскошь во всем, вплоть до мебели и выезда, сладострастным вплоть до распутства, почти не верящим в Бога и глумящимся над его служителями.

Сахем племени онондога принял меня радушно и усадил на циновку. Он говорил по-английски и понимал по-французски; мой проводник знал ирокезский: беседовать было легко. Среди прочего старик сказал мне, что, хотя его народ от века воевал с моим, ирокезы всегда уважали французов. Он пожаловался на американцев: он считал их несправедливыми и жадными и сожалел, что при разделе земель, принадлежавших индейцам, владения его племени не отошли к англичанам.

Женщины подали нам еду. Гостеприимство — единственная добродетель дикарей, уцелевшая среди пороков европейской цивилизации; известно, каким было это гостеприимство в прежние времена: очаг был в ту пору так же священен, как алтарь.

Если какое-либо племя, изгнанное из своих лесов, или какой-либо человек приходил просить приюта, им надлежало исполнить так называемый танец

просителя; хозяйский ребенок приближался к порогу и говорил: «Вот чужак!» — а глава рода отвечал: «Дитя, введи человека в хижину!» Чужак вступал в дом под защитой ребенка и садился в пепел у очага. Женщины заводили песнь утешения: «Чужак нашел мать и жену; солнце будет всходить и заходить для него, как прежде».

Эти обычаи словно заимствованы у греков: Фемистокл в доме Адмета встает на колени перед очагом и обнимает юного сына хозяина * (быть может, очаг бедной женщины, который я попираю в Мегаре,— тот самый, под которым захоронена урна с прахом Фокиона), а Улисс в доме Алкиноя оплакивает Арету:

Дочь Рексенора, подобного силой бессмертным, Арета,
Ныне к коленам твоим, и к царю, и к пирующим с вами
Я прибегаю, плачевный скиталец²⁵.

Сказав эти слова, герой подходит к очагу и садится в пепел. Я простился со старым сахемом. Он присутствовал при взятии Квебека *. Среди воспоминаний о постыдных годах правления Людовика XV мысль о канадской войне утешает нас, подобно странице нашей древней истории, обретаемой в лондонском Тауэре *.

Монкальм, в одиночку оборонявший Канаду против сил, постоянно получавших подкрепление и вчетверо превосходивших его численностью, успешно сражается целых два года; он побеждает лорда Лаудона и генерала Эберкромби. В конце концов удача изменяет ему; его ранят у стен Квебека, и два дня спустя он испускает последний вздох; гренадеры хоронят его в воронке, оставленной пушечным ядром,— могила, достойная славы нашего оружия! Его благородный противник Вольф погиб здесь же. Он заплатил своей жизнью за жизнь Монкальма и за честь испустить дух на французских знаменах.

⟨Путь вдоль озера Онондога с проводником⟩

7. *Индийское семейство.— Ночь в лесах.— Отъезд индейцев.— Дикари с Ниагарского водопада.— Капитан Гордон.— Иерусалим*

Мы приближались к Ниагаре. Нам оставалось всего восемь-девять лье, когда мы заметили в дубовой роще костер — его разожгли несколько дикарей, остановившихся на берегу ручья, в том месте, где собирались разбить бивак и мы. Мы воспользовались их приготовлениями: вычистив лошадей, совершив вечерний туалет, мы подошли к индейцам. Скрестив ноги по-турецки, мы вместе с ними уселись подле костра и стали жарить маисовые лепешки.

²⁵ Гомер. Одиссея, VII, 146—148; пер. В. А. Жуковского.

Семейство состояло из двух женщин, двух грудных детей и трех воинов. Завязался общий разговор, в котором я участвовал, произнося отдельные слова и усиленно помогая себе жестами; затем все уснуло тут же, у костра. Я один бодрствовал; я присел в сторонке, у ручья, на какой-то длинный корень.

Из-за верхушек деревьев показалась луна; благоуханный ветерок, сопровождавший эту явившуюся к нам с востока королеву ночи, казался ее свежим дыханием. Одинокое светило медленно поднималось по небосклону: оно то двигалось вперед беспрепятственно, то скрывалось за кучками облаков, подобных заснеженным вершинам горной цепи. Если бы не падение листа, не дуновение внезапно налетевшего ветерка, не стоны лесной совы, кругом стояла бы полная тишина, царил бы полный покой; лишь вдали раздавался глухой рев Ниагарского водопада, и отзвуки его, прокатившись по просторам, затихали где-то вдали, за безлюдными лесами. В такие-то ночи явилась мне неведомая муза; я усвоил иные из ее речей, при свете звезд я занес их в свою книгу, как записал бы заурядный музыкант ноты, продиктованные ему каким-нибудь великим мастером гармонии*.

Назавтра индейцы вооружились, индианки собрали пожитки. Я подарил радушным туземцам немного пороху и киновари. Мы простились, коснувшись руками лба и груди. Воины испустили дорожный клич и двинулись вперед; женщины шли следом, неся на спине завернутых в шкуры малых детей, которые вертели головами, оглядываясь на нас. Я провожал глазами эту вереницу до тех пор, пока она не скрылась в лесу.

Дикари, живущие подле Ниагарского водопада с английской стороны, обязаны охранять границу британской территории. Эта диковинная жандармерия, вооруженная луками и стрелами, преградила нам путь. Мне пришлось послать голландца в форт Ниагару за разрешением на вход в британские владения. У меня сжалось сердце, ибо я вспомнил, что прежде Франции повиновались как Верхняя, так и Нижняя Канада. Мой проводник возвратился с пропуском: я храню его по сю пору; на нем стоит подпись: капитан Гордон. Не удивительно ли, что я прочел то же самое английское имя на двери моей кельи в Иерусалиме? «Тринадцать паломников оставили свои имена на внутренней стороне двери: первого звали Шарль Ломбар, он прибыл в Иерусалим в 1669 году; последнего — Джон Гордон, он побывал здесь в 1804 году» («Путешествие из Парижа в Иерусалим» *).

8. Ниагарский водопад.— Гремучая змея.— Я падаю в пропасть

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Я провел два дня в индейском селении, откуда написал еще одно письмо господину де Мальзербу. Индейские женщины занимались различными рабо-

тами; младенцы их лежали в плетеных колыбелях, подвешенных к ветвям толстого пурпурного бука. На траве блестела роса, из леса веяло благоуханием; местный хлопчатник, раскрывающий свои коробочки, походил на белые розы. Ветерок едва заметно колыхал слои воздуха; матери время от времени подходили взглянуть, спят ли дети и не разбудили ли их птицы. От селения до водопада было три или четыре лье: нам, моему проводнику и мне, понадобилось столько же часов, чтобы туда добраться. Столб пара, видный за шесть миль, указывал место низвержения воды. Сердце мое билось от радости, смешанной с ужасом, когда я входил в лес, скрывавший от моих глаз одно из самых величественных зрелищ, дарованных человеку природой.

Мы спешили. Ведя лошадей в поводу, мы пробрались через густые вересковые заросли и вышли на берег реки Ниагары, семьюстами-восемьюстами шагами выше водопада. Я продолжал идти вперед, но проводник схватил меня за руку; он остановил меня у самой воды, мчавшейся, как стрела. Она не бурлила, она катилась к обрыву цельной массой; рев низвергающейся воды лишь оттенял ее молчание перед падением. Священное писание часто сравнивает народ с большими водами; здесь взору моему предстал народ умирающий, который, лишившись голоса и жизненных сил, устремлялся в бездну вечности.

Проводник по-прежнему удерживал меня за руку, ибо поток, можно сказать, притягивал меня к себе и вызывал безотчетное желание броситься в воду. Я смотрел то вверх по течению, на берег, то вниз по течению, на остров, возле которого вода, разделившись на два рукава, внезапно исчезала, словно растворяясь в небе.

Проведя четверть часа в замешательстве и немом восхищении, я отправился к водопаду. В «Опыте о революциях» и «Атала» я описал его. Ныне к водопаду ведут широкие дороги; на американском и на английском берегах открыты гостиницы, построены мельницы и фабрики.

Невозможно передать мысли, обуревавшие меня при виде столь возвышенного хаоса. В начале моих дней вокруг меня простиралась пустыня, и мне пришлось выдумать героев, дабы скрасить мое одиночество; я исторг из собственного естества людей, которых носил в себе, но не находил рядом. Так я поселил Атала и Рене * — воплощенную печаль — на берегах Ниагарского водопада. Что водопад, вечно низвергающий свои воды пред безучастным ликом земли и неба, если рядом нет человека с его призыванием и горестями? Созерцать эти пустынные воды и горы, когда не с кем поговорить об этом величественном зрелище! Реки, скалы, леса, водопады — и все это мне одному! Дайте душе подругу, тогда и пестрый убор холмов, и свежее дыхание волны — все преисполнит ее восторга; дневной путь, сладостный вечерний отдых, плавание по водам, сон на мшистой земле — все исторгнет из сердца глубочайшую нежность. Я поселил Велледу на армориканских берегах, Цимодоцею — под афинскими портиками, Бланку — в залах Альгамбры. Александр везде,

где ступала его нога, строил города; я же везде, где влачил свои дни, оставляя грезы. Я видел альпийские водопады с их сернами и пиренейские водопады с их дикими козами; я не поднимался к верховьям Нила и не видел его стремнин; я не стану говорить о лазурных лентах Терни и Тиволи *, дивных цепях развалин, вдохновлявших поэта:

Et praecipit Anio ac Tiburni lucus.

Быстрый Анио ток, и Тибурна рощи ²⁶.

Ниагара затмевает все. Я созерцал водопад, который открыли старому свету не ничтожные путешественники вроде меня, но миссионеры, которые, ища одиночества во имя Бога, падали ниц при виде чуда природы и, принимая мучения, славил Божий мир. Наши священники приветствовали прекрасные земли Америки и освятили их своей кровью; наши солдаты сражались врукопашную на развалинах Фив и воевали в Андалусии: гений Франции создается совокупным могуществом наших воинов и наших алтарей.

Я стоял, намотав поводья моей лошади на руку; в кустах зашуршала гремучая змея. Испуганная лошадь стала на дыбы и шаркнулась в сторону водопада. Я не успел выдернуть руку; лошадь, пугаясь все сильнее, поволокла меня за собой. Ее передние ноги уже оторвались от земли; лишь напряжение крестца удерживало ее от падения в пропасть. Меня ждала верная смерть, но тут животное в страхе перед новой опасностью отпрянуло назад. Распростись я с жизнью в канадских лесах, с чем предстала бы моя душа перед высшим судьей: с жертвами, благими делами, добродетелями отцов Жога и Лаллемана или с пустыми мечтами да ничтожными химерами?

Мои бедствия на Ниагаре этим не кончились: дикари сплели из лиан лестницу, чтобы спускаться к воде, но она порвалась. Желая взглянуть на водопад снизу вверх, я, не слушая увещаний проводника, стал спускаться по склону скалы. Несмотря на рев бурлившей подо мной воды, я не потерял голову и спустился почти до самого низа. Когда до конца осталось футов сорок, я очутился на голом отвесном склоне, где не за что ухватиться; я повис над обрывом, уцепившись рукой за последний корень и чувствуя, как пальцы мои разжимаются под тяжестью моего тела; немного найдется людей, переживших такие минуты. Рука моя устала, я отпустил лиану и полетел вниз. Мне неслыханно повезло: я упал на каменный выступ и не только не разбился, но даже почти не поранился; я лежал в полшаге от пропасти, но не свалился в нее; однако, когда меня начали пробирать холод и сырость, я заметил, что отделался не так дешево: моя левая рука была сломана выше локтя. Проводник, смотревший на меня сверху и видевший мое бедственное положение, побежал

²⁶ Гораций. Оды, I, 7, 13; пер. Г. Церетели.

за дикарями. Они подняли меня на руках по тропе выдры и отнесли в селение. Перелом у меня был простой: для выздоровления достало двух планок да хорошей повязки.

(Жизнь в индейской хижине; четырнадцатилетняя индианка Мила; отступление об истории Канады)

11. *Бывшие французские владения в Америке.— Сожаления.— Страсть к прошедшему.— Письмо Френсиса Конингхэма*

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Говоря о Канаде и Луизиане, рассматривая старые карты и видя обширные земли, принадлежавшие некогда французам, я не мог взять в толк, как правительство моей страны могло бросить на произвол судьбы эти колонии, которые сегодня наверняка сделались бы для нас неисчерпаемым источником богатства.

От Акадии и Канады до Луизианы *, от устья реки Святого Лаврентия до устья Миссисипи территория *Новой Франции* окружала ту, где располагалась конфедерация тринадцати первых штатов: одиннадцать других, вместе с округом Колумбия, землями Мичигана, Северо-Запада, Миссури, Орегона и Арканзаса, отданные англичанами и испанцами, нашими преемниками в Канаде и Луизиане, Соединенным Штатам, принадлежали или могли бы принадлежать нам. Жители территории, ограниченной на северо-востоке Атлантическим океаном, на севере Полярным морем, на северо-западе Тихим океаном и русскими владениями, на юге мексиканским заливом — а это более двух третей Северной Америки, — признали бы французские законы.

Боюсь, как бы Реставрация не погубила себя идеями, противоположными тем, какие я излагаю здесь *; страсть к прошлому, страсть, с которой я неустанно борюсь, была бы простительна, если бы обращалась против меня одного, лишая меня монаршей милости; но она угрожает безопасности трона.

В политике невозможно стоять на месте; приходится идти вперед вместе с человеческим разумом. Отдадим должное величию времени; оглянемся с почтением на минувшие столетия, освященные памятью о наших отцах и их останках, однако к прошлому нет возврата; мы ушли далеко вперед, и, попытайся мы вернуть эти времена, они бы рассеялись, как дым. Рассказывают, что около 1450 года капитул собора Богоматери в Ахене решил открыть гробницу Карла Великого. Император сидел на золотом стуле и держал в костлявых руках Евангелие, написанное золотыми буквами; перед ним лежали скипетр и золотой щит; рядом — *Веселая подружка* в золотых ножнах. На нем была императорская мантия. Голову, которая благодаря золотой цепи держалась прямо, окутывал закрывающий то, что некогда было лицом, саван и венчала корона. Стоило, однако, дотронуться до призрака — и он рассыпался в прах.

У нас имелись обширные заморские владения: они давали приют излишкам нашего населения, покупателей нашим торговцам, пищу нашему флоту. Сегодня нам нет места в новом мире, где род человеческий начинает новую жизнь: несколько миллионов людей в Африке, Азии, Океании, на островах Южного моря, на обоих американских континентах выражают свои мысли на английском, португальском, испанском языках, а мы, лишившись завоеваний нашей отваги и нашего гения, слышим язык Кольбера и Людовика XIV разве что в нескольких местечках Луизианы и Канады, да и те нам не принадлежат: французский язык живет там лишь как свидетельство превратностей нашей судьбы и ошибочности нашей политики.

И кто же этот государь, владеющий нынче канадскими лесами вместо короля Франции? Тот, по чьему повелению было некогда написано следующее письмо: «Виндзорский замок, 4 июня 1822 года

Господин Виконт,

По Высочайшему повелению я приглашаю Ваше сиятельство отобедать и отдохнуть в королевском замке. Король ждет вас в четверг 6-го числа сего месяца.

Ваш покорнейший и смиреннейший слуга

Френсис Кoningхэм».

Мне на роду написано не знать покоя по вине монархов. Я прерываю свой рассказ, вновь пересекаю Атлантический океан, залечиваю руку, сломанную над Ниагарой, сбрасываю медвежью шкуру и вновь облачаюсь в расшитое золотом платье; я спешу из вигвама ирокеза в замок Его Величества короля Британии, монарха Соединенного королевства и властителя обеих Индий; я покидаю моих хозяев с изрезанными ушами и маленькую дикарку с жемчужиной, в душе желая леди Кoningхэм оказаться такой же прелестной, как индианка Мила, и такой же юной, как нарождающаяся весна, как те предмайские дни, которые наши галльские поэты звали Аврилеей.

КНИГА ВОСЬМАЯ

〈Описание канадских озер; Шатобриан с группой торговцев отправляется вниз по течению Огайо〉

2. Течение Огайо

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Покинув канадские озера, мы приехали в Питтсбург, стоящий на слиянии рек Кентукки и Огайо *, места здесь необычайно живописные. Меж тем

дивный этот край зовется Кентукки, что означает «кровавая река». Всему виной красота этих мест; более двух столетий индейцы чироки боролись за долину Кентукки с ирокезами.

Сделаются ли поколения европейцев, обосновавшиеся на ее берегах, добродетельнее и свободнее, чем поколения истребленных туземцев? Не станут ли хозяева подгонять бичом рабов в этих пустынях, где человек искони сохранял независимость? Не придут ли на смену гостеприимно открытой хижине и высокому тюльпанному дереву, в ветвях которого птица выкармливает птенцов, тюрьмы и виселицы? Не разгорятся ли из-за плодородной почвы новые войны? Прекратит ли Кентукки быть *кровавой землей* и сделаются ли памятники искусства лучшим украшением берегов Огайо, нежели памятники природы?

Миновав Уобаш, большую Кипарисовую рощу, Крылатую реку, или Камберленд, Чероки, или Теннесси, и Желтые Мели, добираясь до косы, часто затопляемой во время половодий; здесь, на широте $36^{\circ}51'$, Огайо впадает в Миссисипи *. Обе реки, противостоя друг другу с равной силой, замедляют свое течение; на протяжении нескольких миль они катят свои дремотные воды по одному руслу, не смешивая их, словно два великих народа, имеющих разные корни, но ставших единой расой, словно два знаменитых соперника, уснувших рядом после битвы; словно супруги, принадлежащие к враждующим родам и оттого поначалу не желающие соединить свои судьбы на брачном ложе.

Я тоже, подобно могучим речным потокам, разливал неширокое течение моей жизни то по одну, то по другую сторону горы; я был прихотлив в своих излучках, но никому не причинял зла, предпочитая бедные лощины богатым равнинам и чаще любясь цветком, чем дворцом. Кстати сказать, я был в таком восторге от перемены мест, что почти забыл о полюсе. Компания торговцев, едущая от криков * во Флориду, взяла меня с собой.

Мы направлялись в края, известные в ту пору под общим названием Флориды, — нынче здесь простираются штаты Алабама, Джорджия, Южная Каролина и Теннесси. Мы следовали теми тропами, на месте которых проложен нынче тракт, ведущий из Натчеза через Джексон и Флоренс в Нэшвилл, а оттуда через Ноксвилл и Сейлем — в Виргинию: в эти края, чьи озера и ландшафты исследовал неутомимый Бартрам, в ту пору редко забредали путешественники. Плантаторы Джорджии и приморской Флориды приезжали к крикам и покупали у них лошадей и полудикий скот, водящийся в саваннах, орошаемых теми *источниками*, на берегах которых отдыхали мои Атала и Шактас. Плантаторы эти добирались до самого Огайо.

Нас подгонял свежий ветер. Река, разбухшая благодаря сотне притоков, терялась то в открывавшихся перед нами озерах, то в лесах. Посреди озер виднелись острова *. Мы взяли курс на один из самых больших: мы пристали к нему в восемь утра.

Я пересек луг, усеянный крестовником с желтыми цветами, мальвами с розовыми верхушками и обелариями с пурпурными султанами.

Взгляд мой поразили развалины индейской постройки. Контраст этих развалин с юной природой, этот след человеческих деяний в пустыне приводил в содрогание. Какой народ населял этот остров? Как он назывался, к какой принадлежал расе, когда исчез с лица земли? Жил ли он на свете в те времена, когда мир, укрывавший его, оставался неведом трем другим континентам? Быть может, этот безмолвный народ был современником иных великих наций, в свою очередь погрузившихся в безмолвие ²⁷.

Песчаные холмы, развалины и курганы поросли розовыми маками, качающимися на бледно-зеленых стебельках. Если прикоснуться к цветку или стеблю, пальцы еще долго будут хранить их запах. Аромат, который остается, когда цветок уже увял, — образ воспоминания о жизни, протекшей в одиночестве.

Я наблюдал за кувшинкой: чувствуя приближение ночи, она готовилась спрятать свою белую головку в воду; *дерево грусти* ждало окончания дня, чтобы отверзть свой цветок; в час, когда добродетельная жена засыпает, дева любви встает.

Пирамидальный ослинник, высотой семь или восемь футов, с длинными зубчатыми листьями темно-зеленого цвета, имеет иной нрав и иную судьбу: его желтый цветок начинает распускаться вечером, в час, когда на горизонте восходит Венера; он раскрывается при свете звезд; он встречает зарю во всем блеске цветения; к середине утра он увядает, в полдень опадает. Ему отпущено всего несколько часов, но жизнь его проходит под ясным небом, овеваемая дыханием Венеры и Авроры; что же с того, что он недолговечен?

Ручей был убран голляндами дионей; вокруг гудели мириады поденок. В воздухе порхали колибри и бабочки, чей переливчатый наряд спорил своим блеском с пестротой цветника. Во время моих прогулок и наблюдений я часто поражался собственной суетности. Как? Революция, уже давшая мне ощутить свой гнет и изгнавшая меня в леса, не вдохновляет меня на мысли более серьезные? Как! Отечество мое переживает тяжкие испытания, а я живописую растения, стрекоз и цветы? Человеческая личность — мерило ничтожности крупных событий. Сколько людей эти события оставили равнодушными? Сколько других о них даже не узнают? На земном шаре живет сто десять или сто двадцать миллионов человек; каждую секунду кто-нибудь умирает: таким образом, за каждую минуту нашего существования, наших улыбок, наших радостей шестьдесят человек испускают дух, шестьдесят семей стенают и плачут. Жизнь — беспрестанный мор. Эта цепь траура и похорон, опутывающая нас, не разбивается, но лишь удлиняется; мы сами составляем одно из ее

²⁷ Развалины Митла и Паленк в Мексике доказывают сегодня, что Новый Свет может поспорить в древности со Старым (Париж, 1834).

звеньев. И после этого мы смеем толковать о значительности наших катастроф — тех самых, о которых три с половиной четверти жителей земного шара никогда не услышат! смеем гнаться за славой, которой не суждено удалиться от нашей могилы больше чем на несколько лье! смеем погружаться в океан блаженства, каждая минута которого отмечена вереницей новых и новых гробов!

Не было ночи такой, ни дня не бывало, ни утра,
 Чтобы не слышался плач младенческий, смешанный с воплем,
 Сопровождающим смерть и мрачный обряд погребальный ²⁸.

3. *Источник молодости.— Мускогульги и семинолы.— Наш лагерь*

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Дикари Флориды рассказывают, будто есть на свете озеро, посреди которого живут на острове самые красивые женщины в мире. Мускогульги несколько раз пытались завоевать их; но когда челноки подплывают к этому земному раю, он отступает — точь-в-точь как те химеры, что ускользают от наших желаний.

Имелся в этом краю и источник молодости: кому угодно начать жизнь сначала?

Я был близок к тому, чтобы поверить в эти вымыслы. В самый неожиданный момент мы увидели, как из бухты вышла флотилия весельных и парусных лодок. Они причалили к нашему острову. На них находились два семейства криков, одно семинольское, другое мускогульгское, а также несколько индейцев чероки и *паленые* *. Я был поражен изяществом этих дикарей, нимало не походивших на канадских.

Семинолы и мускогульги довольно высоки ростом, а их матери, жены и дочери, наоборот, самые крошечные из всех, кого я видел в Америке.

Индианки, которые вышли на берег около нас, были не так малы ростом: в их жилах кровь чероки смешалась с кастильской кровью. Две из них походили на креолок из Сан-Доминго или Иль-де-Франса, но были желтокожи и хрупки, как женщины с берегов Ганга. Эти две жительницы Флориды, приходившиеся друг другу двоюродными сестрами — их отцы были братьями, — послужили мне моделями: одна — для Атала, а другая — для Селюты *; впрочем, они превосходили нарисованные мною портреты, ибо их отличала та правда разнообразной и изменчивой природы, та своеобразность, рожденная расой и климатом, которые я передать не сумел. Было нечто неизъяснимое

²⁸ Лукреций. О природе вещей, II, 578; пер. Ф. Петровского.

в этом овале лица, в этой матовой коже, словно подернутой легкой апельсиновой дымкой, в этих черных, как смоль, пушистых волосах, в этих удлинненных глазах, полуприкрытых атласными веками, которые поднимались так неспешно, наконец, в двойной обольстительности индианки и испанки.

Появление дикарей изменило наши планы; торговые агенты начали расспрашивать индейцев насчет лошадей: решено было раскинуть лагерь близ табуна.

По равнине, где мы расположились, бродили быки, коровы, лошади, бизоны, буйволы, журавли, индюки, пеликаны: птицы расцвечивали зеленое поле саванны белыми, черными, розовыми пятнами.

Наших торговцев и охотников снедали бесчисленные страсти: не те страсти, что связаны с чинами, воспитанием, предрассудками, но страсти природные, глубокие, безоглядные, идущие прямо к цели, страсти, свидетели которых — дерево, рухнувшее посреди дремучего леса, неведомая лощина, безымянная река. Чаще всего любовь бросала испанцев в объятия крикских женщин: главную роль в этих романах играли *паленые*. Особенным успехом пользовалась одна история — история о том, как *раскрашенная девка* (куртизанка) соблазнила и разорила некоего виноторговца. Семинолы распевали эту историю, переложенную стихами и получившую название «Табамика», когда держали путь через леса²⁹. В свой черед колонисты похищали индейских женщин, но вскоре бросали их в Пенсаколе, где их неминуемо ждала смерть: их несчастьям суждено было пополнить «Романсеро», сделавшись достойными соперниками жалобам Химены*.

4. Две индианки*.— Развалины на берегу Огайо

Земля — чудесная мать; мы выходим из ее лона; пока мы малы, она кормит нас грудью, полной млека и меда; когда мы вступаем в пору юности и зрелости, она щедро дарит нам свои чистые воды, зерна и плоды; она повсюду оделяет нас тенью, влагой, пищей и постелью; когда мы умираем, она вновь отверзает нам свое чрево, накидывает на наши останки покров из трав и цветов, подспудно приобщая нас к своей стихии, дабы впоследствии вновь произвести на свет в какой-нибудь изящной форме. Вот о чем я думал, пробуждаясь и бросая взгляд на свод небес, нависший над моим ложем.

Мужчины проводили целые дни на охоте; я оставался с женщинами и детьми. Я был неразлучен с моими лесными нимфами: одной надменной, другой — печальной. Я не понимал ни слова из того, что они говорили, они также не понимали меня; но я носил им воду для питья, собирал хворост для

²⁹ Я привел ее в моих «Путешествиях»* (Женева, 1832).

костра, искал мох для постели. Они ходили в коротких юбочках, корсетах, индейских плащах и любили пышные рукава с разрезами на испанский лад. Голые ноги свои они украшали ромбовидными кружевами из бересты. Они вплетали в волосы букеты цветов или волокна тростника, увешивали себя цепочками и ожерельями из стеклянных бусин. В ушах у красавиц адели багряные зерна; говорящий красавец попугай — птица Армиды — либо помещался у них на плече, словно изумрудная застежка, либо сидел на руке, как ястреб у знатных дам десятого столетия. Чтобы придать упругость груди и рукам, они натирались апойей или американской чуфой. В Бенгалии баядеры жуют бетель, на Востоке египетские танцовщицы сосут смолу с острова Хиос; индианки из Флориды перетирали своими лазурно-белыми зубками капельки *ликидамбара* и корни *либаниса*, источающие аромат дягиля, цитрона и ванили. Они купались в собственном благоухании, как апельсиновые деревья и цветы купаются в фимиаме, источаемом их лепестками и чашечками. Мне нравилось украшать их головки; они повиновались с легким испугом: колдуньи думали, что я чародействую. Одна из них, надменная, часто молилась; кажется, она была наполовину христианкой. Другая пела бархатным голосом, тревожно вскрикивая в конце каждого куплета. Иногда они о чем-то оживленно спорили, мне чудились в их речах нотки ревности, но тут печальная принималась плакать, и обе вновь замолкали.

Я был слаб и, чтобы ободрить себя, искал проявлений слабости в других. Камоэнс любил в Индии черную рабыню берберку — так отчего же мне не принести дань восхищения двум юным желтокожим султаншам? Разве Камоэнс не обращал *Endechas*, или стансы, к *Barbara escrava*?³⁰ Разве он не говорил ей:

A quella captiva,
Que me tem captivo,
Porque nella vivo,
Já não quer que viva.
Eu nunca vi rosa
Em suaves mólhos
Que para meus olhos
Fosse mais Formosa.

Pretidaõ de amor,
Taõ doce a figura,
Que a neve lhe jura
Que trocára a cõr.
Léda mansidaõ,
Que o siso acompanha:
Bem parece estranha,
Mas Barbara não.

³⁰ Рабыне-берберке (*порт.*).

«Эта пленница, которая взяла меня в полон, ибо я живу ею, не щадит моей жизни. Никогда роза в сладостном букете не пленяла с такою силой мой взор. . . . Ее черные волосы внушают любовь; лицо так нежно, что снег готов поменяться с ним цветом; веселость ее исполнена сдержанности; она чужестранка, но не из племени варваров».

Однажды мы отправились ловить рыбу. Солнце клонилось к закату. На переднем плане росли сассафрасы, тюльпанные деревья, катальпы и дубы, ветви которых поросли клубами белого мха. За ними высилось красивейшее из деревьев — папайя, подобная стилоу из чеканного серебра, увенчанному коринфской урной. На заднем плане громоздились бальзамический тополь, магнолия и ликидамбар.

Солнце садилось за этой завесой: луч, проскользнувший сквозь кроны высокого дерева, сверкал в оправе темной листвы, словно карбункул; свет, струящийся между стволами и ветвями, рисовал на дерне удлиняющиеся колонны и переменчивые арабески теней. Внизу росли кусты сирени и азалии, вились лианы, увенчанные гигантскими шапками цветов; наверху сияли облака: одни были недвижны, как горные отроги или старинные башни, другие плыли, словно розовая дымка или мотки шелка. Постоянно меняя свою форму, облака эти обращались то в зияющие пасти печей, то в кучу раскаленных углей, то в текущую рекой лаву: все сверкало, лучилось, искрилось, все было золотого, великолепия, свет.

После морейского восстания 1770 года * некоторые греческие семьи укрылись во Флориде: климат здесь похож на ионийский, который, кажется, смягчается вместе с людскими страстями: в Смирне вечерами природа засыпает, словно утомленная любовными утехами куртизанка.

Справа от нас находились развалины крупных укреплений, высившихся некогда на берегу Огайо; слева — бывший лагерь дикарей; наш остров прозрачным отражением мерцал и двоился перед нами в волнах. На востоке среди дальних холмов покоилась луна; на западе небосвод сливался с алмазно-сапфировым морем, в котором, казалось, растворялось наполовину погружившееся в воду солнце. Твари земные бодрствовали; земля, преклоняясь перед небом, курила ему фимиам, и амбра, исходящая из ее лона, ниспадала на нее росой, как молитва нисходит обратно к молящему.

Покинутый моими подругами, я отдыхал на лесной опушке, сидя в полумраке, под густой, глянцевой от солнца листвой. Светящиеся мошки мерцали среди траурно-темных кустов и исчезали, попав в полосу лунного сияния. Было слышно, как набегают и отступают волны, как резвятся золотые рыбки, как кричит порою нырок. Я неотрывно смотрел на воду, постепенно мною овладела дремота, знакомая людям, чья жизнь проходит в скитаньях: я утратил все

воспоминания, я чувствовал, как живу и произрастаю вместе с природой, охваченный неким порывом пантеизма. Я прислонился спиной к стволу магнолии и заснул; я плыл, вкушая покой и слыша невнятный голос надěžды.

Выйдя на берег этой Леты, я обнаружил подле себя двух женщин; одалиски вернулись: они не захотели меня будить и тихо сидели рядом; притворялись ли они спящими или и вправду забылись сном, но головы их склонились мне на плечи.

Легкий ветерок налетел на рошу и осыпал нас лепестками магнолии. Тогда младшая из семинок запела: тому, кто не уверен в себе, не стоит подвергать себя подобному испытанию! Кто может знать, что такое страсть, проникающая в сердце мужчины вместе с музыкой? Этому голосу ответил другой, грубый и ревнивый: *паленый* звал двух кузин домой; они вздрогнули, вскочили: светало.

Та же сцена повторилась, когда я очутился на берегах Греции: не хватало только Аспазии; поднявшись с зарей к колоннам Парфенона, я увидел Киферон, гору Гимет, коринфский Акрополь, могилы, развалины, омытые золотистым, прозрачным, играющим светом; морская гладь отражала его, а зефиры с Саламина и Делоса разносили повсюду, словно благоуханье.

В молчании мы причалили к берегу. В полдень лагерь снялся с места: следовало осмотреть лошадей, которых крики хотели продать, а торговцы купить. По обычаю все, даже женщины и дети, были приглашены в свидетели сделок. Племенные кони всех возрастов и мастей, жеребята и кобылы вместе с быками, коровами, телками бегали и скакали вокруг нас. В этой кутерьме я потерял из виду криков. Особенно много лошадей и людей толпилось на лесной опушке. Внезапно я замечаю вдалеке двух моих индианок; сильные руки сажают их на крупы двух неоседланных арабских кобыл, одну позади *паленого*, другую позади семинола. О Сид! отчего у меня не было твоей быстрой Бабьеки *, чтобы догнать их! Кобылицы пускаются галопом, огромный табун устремляется за ними. Лошади лягаются, встают на дыбы, скачут, напуганные рогами буйволов и быков, их копыта бьются одно об другое, хвосты и гривы, обогранные кровью, развеваются по воздуху. Ненасытные насекомые роятся вокруг этой дикой кавалерии. Мои индианки исчезают, словно дочь Цереры, похищенная владыкой Аида.

Так все в моей жизни кончается неудачей, так от всего, что столь быстро миновало, на мою долю остаются лишь воспоминания: я возьму с собой в Елисейские поля столько теней, сколько никогда еще не приводил туда ни один человек. Все дело в моем характере: я не умею пользоваться благосклонностью фортуны; я не стремлюсь ни к чему из того, что влечет других людей. Я не верю ни во что, кроме религии. Будь я пастырем или королем, я не знал бы, что делать со скипетром или посохом. Меня равно утомляли бы слава и гений, труд и досуг, благоденствие и невзгоды. Все мне в доuku: я из последних сил влачу дни, отягощенные тоской, и бреду по жизни, зевая.

5. Кто были мускогульгские барышни.— Арест короля в Варенне.— Я прерываю свое путешествие, дабы возвратиться в Европу

Ронсар описывает нам Марию Стюарт после смерти Франциска II, накануне отъезда в Шотландию:

В одежды эти днесь облачены вы,
 Навеки покидая край счастливый,
 Чей скипетр вам досель принадлежал.
 Влажнит вам грудь прозрачных слез кристалл,
 И вы, скорбя душою все сильнее,
 Неспешно шествуете по аллее
 В саду дворца, что назван в честь ключа,
 Который меж дерев бежит, журча ³¹.

Походил ли я на Марию Стюарт, гуляющую по паркам Фонтенбло, когда, лишившись подруг, гулял по саванне? Во всяком случае, можно сказать наверняка, что если не я сам, то дух мой скорбел, как говорит тот же Ронсар, древний поэт новой школы, *под длинным и свободным покрывалом* *.

Когда дьявол унес мускогульгских барышень, проводник рассказал мне, что *паленый*, кавалер одной из двух индианок, приревновал ее ко мне и вместе с семинолом, братом второй девушки, решил похитить у меня *Атала* и *Селюту*. Проводники, не церемонясь, именовали их *раскрашенными девками*, оскорбляя тем мое самолюбие. Я чувствовал себя особенно униженным оттого, что соперник мой был тощий, уродливый черный москит, имеющий все признаки насекомых, определяемых энтомологами Далай-Ламы как твари, у коих плоть внутри, а кости снаружи. В горе я стал острее чувствовать свое одиночество. Меня не обрадовало даже появление моей Сильфиды, которая, подобно Юлии, простившей Сен-Пре его парижских индианок, поспешила утешить неверного возлюбленного *. Я тотчас же покинул пустыню, где впоследствии поселил моих забывшихся сном ночных подруг. Не знаю, возвратил ли я им жизнь, которую они мне даровали: как бы там ни было, во искупление я сделал одну из них невинной девой, а другую — добродетельной супругой.

Мы снова перевалили через Голубые горы и приблизились к распаханым европейцами землям подле Чилликоте *. Я не узнал ровным счетом ничего, относящегося до главной цели моего путешествия, но зато погрузился в мир поэзии:

Как пчелка с цветника, набрав немало груза,
 Теперь к себе домой моя вернулась муза ³² *.

³¹ Ронсар. Элегии, I, XXV; пер. М. Гринберга.

³² Пер. М. Гринберга.

На берегу ручья стоял американский дом, разом и мыза и мельница. Я вошел, попросил приюта и пищи и встретил радушный прием.

Хозяйка проводила меня по лестнице в комнату, расположенную прямо над гидравлической машиной. Маленькое окошко, увитое плющом и кобеями с лиловыми колокольчиками, выходило на неширокий ручей, который одиноко тек, окаймленный с двух сторон густыми зарослями ив, ольхи и каролинских тополей. Замшелое колесо вращалось под их сенью, низвергая воду длинными лентами. Окунь и форели резвились в пенящемся потоке, трясгузки перелетали с берега на берег, а какие-то другие птицы, похожие на зимородков, махали своими синими крыльями над самой водой.

Славно было бы очутиться здесь вместе с печальной индианкой, будь она мне верна; я предавался бы грезам, сидя у ее ног, положив голову к ней на колени, слушая, как шумит водопад, как крутится колесо, как вращается мельничный жернов, как сыплется сквозь сито зерно, как равномерно взлетает и падает мельничный кулачок, и вдыхая речную прохладу и запах свежесобранного ячменя.

Наступила ночь. Я спустился вниз, к хозяевам. Комнату освещал только очаг, где пылали сухие листья маиса да шелуха конских бобов. Ружья мельника, лежавшие на подставке, поблескивали в отсветах пламени. Я сел на табуретку в углу подле камина; рядом резвилась белка, вспрыгивавшая то на спину толстого пса, то на прялку. На коленях у меня устроился котенок, следивший за ее игрой. Мельничиха водрузила на огонь большой котел — пламя обняло его черное дно, словно корона из золотых лучей. Пока бататы, варившиеся мне на ужин, выкипали под моим надзором, я от нечего делать склонился к валявшейся у меня под ногами английской газете и в свете очага заметил напечатанное крупными буквами заглавие: «Flight of the King». (Бегство короля) *. Это был рассказ о бегстве Людовика XVI и об аресте несчастного монарха в Варенне. Газета сообщала также о росте эмиграции и объединении армейских офицеров под знаменем французских принцев.

В мыслях моих произошел молниеносный переворот. Ринальд в садах Армиды узрел свою слабость в зеркале чести *; я не герой Тассо, но под сенью американского вертограда я увидел свой образ в том же зеркале. Под соломенной крышей мельницы, затерянной в неведомых лесах, я вдруг явственно различил бряцание оружия и столичный шум. Я немедленно прервал путешествие и сказал себе: «Вернись во Францию».

Таким образом, то, что я счел своим долгом, разрушило мои первоначальные намерения и повлекло за собой первый из неожиданных поворотов моего жизненного пути. Бурбоны так же мало нуждались в услугах мелкого бретонского дворянина, когда он явился из-за моря принести им дань своей безвестной преданности, как и позднее, когда он вышел из безвестности. Если бы я употребил газету, которая круто изменила мою судьбу, на то, чтобы раскурить

трубку, и продолжил свой путь, никто во Франции не заметил бы моего отсутствия; жизнь моя в ту пору не привлекала ничьих взоров и была ничуть не веселее дыма моей индейской трубки. На театр мира меня бросило не что иное, как распря между мной и моей совестью. Я мог поступить, как хочу, ибо был единственным свидетелем спора; но больше всего я боялся уронить себя в глазах именно этого свидетеля.

Отчего память моя наделяет сегодня уединенные берега Эри и Онтарио очарованием, какого начисто лишено для меня воспоминание о блистательном Босфоре? Оттого, что в пору моего путешествия в Соединенные Штаты я был полон иллюзий; смута во Франции началась как раз тогда, когда началась моя жизнь; и у меня, и у моего отечества все еще было впереди. Эти дни дороги мне, оттого что напоминают о чистоте наслаждений, вкушаемых в лоне семьи, и утех юности.

Пятнадцать лет спустя, когда я вернулся из путешествия на Восток, республика, переполнившись обломками и слезами, вышла из берегов и вылилась в деспотизм. Я уже не убаюкивал себя несбыточными мечтами; воспоминания мои, вдохновляемые отныне обществом и страстями, утратили простодушие. Оба мои паломничества — на Запад и на Восток — не принесли мне удачи; я не открыл пути к полюсу, не снискал желанной славы на берегах Ниагары: не обрел я ее и среди афинских развалин.

Уехав в Америку путешественником, вернувшись в Европу солдатом, я не довел до конца ни то, ни другое предприятие: злой гений отнял у меня и посох и шпагу и вложил мне в руки перо. Пятнадцать лет спустя, оказавшись в Спарте и созерцая ночное небо, я вспоминал страны, где мне уже приходилось спать мирным и тревожным сном: тем звездам, что сияют над отечеством Елены и Менелая, я уже посылал свой привет из лесов Германии, из вересковых зарослей Англии, с полей Италии, с корабля, плывущего в открытом море, из канадских пущ. Но что толку изливать душу светилам, неподвижным свидетелям моей скитальческой судьбы? Наступит день, когда им уже не придется утомлять себя, следя за мною: равнодушный к собственной участи, я не стану более просить светила о снисхождении, не стану умолять их возвратить мне те частицы жизни, что оставляет странник на своем пути.

Если бы я вновь очутился сегодня в Соединенных Штатах, я не узнал бы их: там, где раньше были леса, я увидел бы возделанные поля; там, где я пробирался по тропинке сквозь чащу, мне предстала бы проезжая дорога; там, где жили начезы и стояла хижина Селюты, вырос город, где живет около пяти тысяч жителей; Шактас сегодня мог бы стать депутатом конгресса. Недавно я получил брошюру, изданную индейцами чероки: защитники дикарей прислали ее мне — *защитнику свободы печати* *.

У мускогульгов, семиолов, чикасасов есть свои Афины, свой Марафон, свой Карфаген, свой Мемфис, своя Спарта, своя Флоренция; у них имеются

графство Колумбия и графство Маренго: каждая страна дала хотя бы по одному славному имени этим пустыням, где я встретил отца Обри * и никому еще не ведомую Атала. Кентукки гордится своим Версалем; округ под названием Бурбон именуется своею столицей Парижем.

Все изгнанники, все угнетенные, удалившиеся в Америку, принесли с собою память о родине.

...falsi Simoentis ad undam
Libabat cineri Andromache ⁹³.

В своем лоне, под покровительством свободы Соединенные Штаты хранят память о многих знаменитых местах древней и современной Европы: Адриан приказал построить в саду своего загородного поместья сооружения, повторяющие достопримечательности его империи.

Тридцать три широкие дороги расходятся из Вашингтона в разные стороны, как некогда шли от Капитолия римские дороги; они тянутся, разветвляясь, до самой границы Соединенных Штатов и образуют сеть длиною 25 747 миль. На многих из них имеются почтовые станции. Теперь, чтобы добраться до штата Огайо или до Ниагары, нанимают дилижанс, как нанимали в мои времена проводника либо толмача из индейцев. Есть и другие транспортные средства: все озера и реки соединены каналами; вдоль сухопутных дорог можно плыть на гребных и парусных кораблях, или на грузо-пассажирских судах, или на пароходах. Там, где повсюду растут гигантские леса, а под ними почти вровень с поверхностью земли имеются богатейшие залежи угля, горючего вдоволь.

С 1790 по 1820 год население Соединенных Штатов каждое десятилетие увеличивалось на 35 процентов. Ожидается, что к 1830 году оно составит 12 875 тысяч душ. Продолжая удваиваться каждые 25 лет, оно к 1855 году вырастет до 25 750 тысяч душ, а еще через 25 лет, в 1880 году, превысит 50 миллионов *.

Это могучее племя превращает пустоши в цветущие сады. Канадские озера, еще недавно не знавшие, что такое парус, походят сегодня на доки, где фрегаты, корветы, катера, лодки встречаются с индейскими пирогами и каноэ, подобно тому, как большие корабли и галеры соседствуют с пинками, баркасами и кайками на константинопольском рейде.

Миссисипи, Миссури, Огайо забыли о покое: по ним плавают трехмачтовые суда; более двухсот пароходов снуют вдоль их берегов.

Этой гигантской навигации внутри страны с лихвой хватило бы для ее процветания, но Соединенные Штаты не отказываются и от дальних

⁹³ ...〈печальный обряд приношений и тризны надгробий〉 Там, где ложный течет Симоент в городом в роще, Правит, взывая к теням, Андромаха над Гектора прахом (Вергилий. Энеида, II, 301—303; пер. С. Ошерова).

экспедиций. Их корабли бороздят все моря, участвуют в самых различных предприятиях, и звездный западный флаг достигает восточных берегов, искони знавших только рабство.

Чтобы довершить эту захватывающую картину, надо вообразить себе такие города, как Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Чарльстон, Саванна, Новый Орлеан, светящиеся огнями в ночи, запруженные лошадьми и экипажами, изобилующие роскошными кафе, музеями, библиотеками, танцевальными и театральными залами, щедрыми на все наслаждения роскоши.

Однако не следует искать в Соединенных Штатах того, что отличает человека от других тварей, того, что сообщает ему бессмертие и украшает его жизнь: вопреки стараниям множества преподавателей, трудящихся в бесчисленных учебных заведениях, словесность новой республике неведома *. Американцы заменили умственной деятельностью практической; не вменяйте им в вину их равнодушие к искусствам: не до того им было. Зброшенные по различным причинам на пустынную почву, они занялись сельским хозяйством и торговлей; прежде чем начать размышлять, следует научиться жить; прежде чем сажать деревья, надо их срубить, дабы вспахать землю. Правда, первые поселенцы, раздражаемые религиозными распрями, несли в глубь лесов страсть к спорам; но прежде им приходилось покорять пустыню с топором за плечами, а в перерывах между работой партой им мог служить только вяз, который они обтесывали. Американцы не прошли через все те ступени развития, через которые прошли другие народы; их детство и юность остались в Европе; они не помнят простодушных колыбельных песен; семейственные радости вечно омрачала им тоска по неведомой родине, разлуку с которой они не переставали оплакивать, памятуя о ее очаровании, известном им по рассказам.

На новом континенте нет ни классической, ни романтической литературы, нет и литературы индейской: для классической литературы американцам недостает образцов, для романтической — средневековья, что же до литературы индейской, то американцы презирают дикарей и ненавидят леса, как тюрьму, которой чудом избежали.

Таким образом, в Америке нет литературы как таковой, литературы в собственном смысле слова; там имеется литература прикладная, служащая различным нуждам общества: это литература для рабочих, торговцев, моряков, земледельцев. Американцам даются только механика да точные науки, потому что у точных наук есть материальная сторона: Франклин и Фултон заставили молнию и пар служить людям. Честь открытия, без которого впредь не сможет обойтись в своих морских экспедициях ни один континент, принадлежит Америке.

Поэзия и воображение, удел горстки бездельников, рассматриваются в Соединенных Штатах как ребячество, простительное лишь в начале и в конце жизни: у американцев не было детства; до старости им еще далеко.

Отсюда следует, что люди, занятые серьезными разысканиями, не могли не принадлежать к деловым кругам, ибо желали разбираться в делах, и не могли не принять деятельного участия в революции. Но бросается в глаза одна грустная вещь — быстрое вырождение таланта от эпохи первых американских смут до наших недавних событий; а ведь люди тогдашние и нынешние — почти современники. Президенты американской республики по складу характера религиозны, просты, возвышенны, спокойны — ничего подобного не сыщем мы в кровавых обвалах нашей республики и империи. Одиночество, в котором оказались американцы, повлияло на их натуру; они добыли свою свободу молча.

Прощальная речь Вашингтона к народу Соединенных Штатов * достойна самых суровых героев античности.

«Политика нашего государства, — говорит генерал, — доказывает, насколько принципы, которые я только что перечислил, руководили мной, когда я исполнял возложенные на меня обязанности. Во всяком случае, совесть говорит мне, что я выполнил свой долг. Вновь возвращаясь ко времени моего правления, я вижу, что намерения мои всегда были чисты, однако я слишком глубоко чувствую свои недостатки, чтобы не подозревать, что я совершил немало ошибок. Каковы бы они ни были, я неустанно молю Всевышнего отвести или ослабить зло, которое они могут за собой повлечь. Поэтому я ухожу в надежде, что страна моя всегда будет питать ко мне снисхождение и что, памятуя о сорока пяти годах, которые я ревностно и честно служил ей, сограждане предадут забвению мои мелкие проступки, как предадут они вскорости земле, где я обрету вечное успокоение, мое тело».

В своем Монтичеллском поместье Джефферсон, отец двоих детей, писал после смерти одного из них:

«Я пережил утрату поистине неизмеримую. Другие теряют то, что имели в избытке; я же оплакиваю половину того, что было для меня насущным. Остаток дней моих держится теперь на тонкой нити человеческой жизни. Быть может, мне суждено увидеть, как порвется и эта последняя отцовская привязанность!»

Философия редко бывает трогательна, но здесь она такова в высшей степени. И это не пустая тоска человека, проводящего дни в бездействии: Джефферсон умер на восемьдесят четвертом году своей жизни и на пятьдесят четвертом году свободной жизни своей страны. Прах его покоится под камнем, на котором высечена короткая эпитафия: «Томас Джефферсон, автор “Декларации независимости”».

Перикл и Демосфен произносили надгробные речи молодым грекам, павшим за народ, который вскоре исчез с лица земли вслед за ними: Брэкенридж в 1817 году восславил молодых американцев, проливших кровь за народ, которому суждена долгая жизнь.

В Соединенных Штатах имеется и целая галерея портретов знаменитых

американцев — четыре тома ин-октаво, и, что самое удивительное, — книга, содержащая биографии более ста индейских вождей. Логан, вождь племени из Виргинии, сказал лорду Данмору такие слова: «Прошлой весной полковник Красп без всякого повода убил всех родичей Логана: на земле не осталось ни единого живого существа, в чьих жилах текла бы хоть капля моей крови. Я желал мести. Я стал мстить. Я убил много людей. Кто теперь оплатит смерть Логана? Никто».

Не любя природу, американцы, однако, занялись естествознанием. Таунсенд, начав свой путь в Филадельфии, исходил пешком земли от Атлантического до Тихого океана, занося в дневник многочисленные наблюдения. Томас Сэй, путешествовавший по Флориде и Скалистым горам, написал труд по американской энтомологии. Недурные описания можно отыскать у Вильсона, ткача, сделавшегося сочинителем.

Если говорить о литературе как таковой, то она, при всей ее посредственности, представлена несколькими романистами и поэтами, заслуживающими упоминания. Сын квакера Браун — автор романа «Виланд», каковой «Виланд» — источник и образец романов новой школы. В противоположность своим соотечественникам Браун, по его собственным словам, «больше любил бродить по лесам, нежели молотить зерно». Герой романа — пуританин, которому Всевышний приказал убить жену: «Я привел тебя сюда, — говорит он ей, — чтобы выполнить наказ Господа: ты должна умереть». И он схватил ее за руки. Она несколько раз пронзительно вскрикнула и попыталась вырваться: «Виланд, разве я не жена тебе? Неужели ты хочешь меня убить? О нет! Пощади! Пощади!» — Пока голос не изменил ей, она кричала, молила о пощаде и звала на помощь». Виланд душил жену и испытывает неизъяснимое наслаждение при виде мертвого тела. Это еще ужаснее, чем наши новейшие вымыслы. Браун испытал влияние «Калеба Вильямса» *, а в «Виланде» подражал еще и прославленной сцене из «Отелло».

Ныне американские романисты: Купер, Вашингтон Ирвинг — вынуждены искать критиков и читателей в Европе. Язык крупных английских писателей в Америке *креолизировался, провинциализировался, варваризировался*, но не приобрел среди девственной природы новой мощи; пришлось составлять словари американских выражений.

Что же до американских поэтов, то их язык не лишен приятности, однако творения их более или менее заурядны. Впрочем, «Ода вечернему ветерку», «Восход солнца над горой», «Поток» * и еще несколько стихотворений заслуживают внимания. Халлек воспел умирающего Бодариса, а Джордж Хилл бродил по развалинам Греции. «Вот и ты, — обращается он к Афинам, — одинокая царица, свергнутая с трона!.. Парфенон, царь храмов, на твоих глазах время похищало из древних святилищ и жрецов и богов!»

Мне, путешественнику, побывавшему на берегах Эллады и Атлантиды, отрадно слышать, как голос независимой земли, не знавшей античности, печалится о свободе, утраченной Старым Светом.

6. *Опасности, грозящие Соединенным Штатам*

Но сохранит ли Америка свое государственное устройство? Не произойдет ли среди штатов раскол? Не вступит ли депутат из Виргинии, отстаивающий античную свободу, которая допускает рабство — наследие язычества, в спор с депутатом из Массачусетса, защитником свободы современной, исключаяющей рабство, — той свободы, какой мы обязаны христианству?

Не рознятся ли северные и южные штаты по духу и интересам? Не захотят ли западные штаты, лежащие слишком далеко от Атлантического океана, установить у себя другой государственный строй, нежели восточные? Достаточно ли крепки узы федерации, чтобы сплотить все штаты и удержать их вместе? С другой стороны, если усилить президентскую власть, не приведет ли это к деспотизму, подкрепляемому военной силой и наделяющему диктатора особыми полномочиями?

Соединенные Штаты возникли и развивались благодаря своей оторванности от других стран: сомнительно, чтобы они могли жить и процветать в Европе. Среди нас существует федеральная Швейцария — отчего? оттого, что она мала, бедна, затеряна в горах, оттого, что она поставляет гвардейцев королям и пейзажи путешественникам.

Вдали от Старого Света население Соединенных Штатов пока еще не простилось с одиночеством: свою свободу оно обрело в пустынях; однако понемногу жизнь его начинает меняться.

Существование демократических режимов в Мексике, Колумбии, Перу, Чили, Буэнос-Айресе при всей их шаткости представляет опасность для Соединенных Штатов. Пока их окружали одни лишь колонии заатлантического королевства, серьезное военное столкновение было невозможно; иное дело нынче; не возникнет ли вскоре соперничество между соседними державами? Если обе стороны возьмутся за оружие, если в детей Вашингтона вселится военный дух, тот, кто проявит себя великим полководцем, сможет взойти на престол: славе по вкусу царский венец.

Я уже говорил, что интересы северных, южных и западных штатов расходятся; это общеизвестно; союз их может распасться — что тогда? Их принудят к повиновению с помощью оружия? Какая искра раздора, зароненная в лоно общества! Отколовшиеся штаты отстают свою независимость? Какая почва для распрей между этими самостоятельными штатами! Обретя независимость, эти заморские республики превратились бы просто-напросто

в беззащитные клочки земли, не имеющие никакого веса в мире, либо постепенно подпали бы под власть одной из них. (Я оставляю в стороне серьезный вопрос о союзах с другими государствами и иностранных вторжениях.) Кентукки, населенный людьми более грубыми, смелыми и воинственными, вероятно, стал бы штатом-победителем. Если бы этот штат поглотил остальные, власть одного правителя немедленно возвысилась бы над порушенной всеобщей властью.

Я говорил об опасности войны, я должен напомнить и об опасностях долгого мира. После завоевания независимости Соединенные Штаты все время, за исключением нескольких месяцев, наслаждались полнейшим покоем: в то время, как сотни сражений потрясали Европу, американцы мирно возделывали свои поля. Отсюда многочисленность населения и богатств со всеми неудобствами, вытекающими из такого избытка богатств и населения.

Если войну навязывают народу небранелюбивому, способен ли он выстоять? Способен ли пожертвовать благосостоянием и привычками? Как отказаться от милых сердцу обычаев, от уюта, от неги, рождаемой достатком? Китай и Индия, дремлющие под своим кисейным пологом, постоянно влачили чужеземное иго. Нравам свободного общества пристал мир, сдерживаемый войною, и война, сдобренная миром. Рано или поздно американцы расстанутся с оливковым венком: оливы не растут на их берегах.

Над ними начинается забирать власть корыстолюбие; стремление к наживе становится национальным пороком. Банки различных штатов вступают в соперничество, и общее благосостояние оказывается под угрозой из-за отдельных банкротов. Пока свободная страна добывает золото, республика творит чудеса в промышленности, но, когда запасы золота истощаются, она утрачивает любовь к независимости, ибо любовь эта не зиждется на нравственном чувстве, но проистекает из жажды наживы и страсти к предпринимательству.

Вдобавок трудно превратить в *отечество* совокупность штатов, которые не имеют ни общей религии, ни общих интересов и, произойдя в разное время из разных источников, живут на несхожей земле и под несхожим солнцем. Что общего между французом из Луизианы, испанцем из Флориды, германцем из Нью-Йорка, англичанином из Новой Англии, Виргинии, Каролины, Джорджии, пусть все они и считаются американцами? Один — легкомысленный дуэлянт; другой — надменный ленивец и католик; третий — лютеранин, пахарь, не имеющий рабов; четвертый — плантатор англиканского вероисповедания, владелец множества негров; пятый — пуританин и торговец; сколько потребуется столетий, чтобы привести их всех к единообразию?

В Америке вот-вот появится хризогенная ³⁴ аристократия с ее любовью к отличиям и страстью к титулам*. Обычно считается, что в Соединенных

³⁴ Богатая (неологизм Шатобриана от греч. *хризо* — золото). *Прим. переводчика.*

Штатах все равны: это совершенно неверно. Существуют кружки, члены которых презирают друг друга и друг с другом не знают; хозяева иных салонов превосходят чванством спесивых германских князей в шестнадцатом колене. Эти знатные плебеи стремятся к кастовости, идя вспять по пути просвещения, сделавшего их равными и свободными. Находятся среди них такие, которые говорят только о своих предках, гордых баронах, наверняка бывших незаконнорожденными сподвижниками Вильгельма Завоевателя, незаконнорожденного сына герцога Нормандского. Предмет гордости этих людей — гербы рыцарей Старого Света, украшенные змеями, ящерицами и попугаями Света Нового. Стоит младшему сыну гасконского дворянина, направившему свои стопы к республиканским берегам, назваться маркизом, и почтение спутников, плывущих с ним на одном пароходе, ему обеспечено, пусть даже все его имущество состоит из плаща и зонтика.

Огромная разница состояний — еще более серьезная угроза духу равенства. Среди американцев есть такие, которые имеют один или два миллиона дохода; значит, янки из высшего общества уже не могут жить, как Франклин: истинный *джентльмен*, наскучив своим молодым отечеством, приезжает в Европу за стариной; подобно англичанам — чудакам и меланхоликам — он *путешествует* по Италии, ночуя на постоялых дворах. Эти праздношатающиеся бездельники из Каролины или Виргинии покупают развалины аббатства во Франции и разбивают в Мелене английские парки с американскими деревьями. Неаполь поставляет Нью-Йорку певцов и парфюмеров, Париж — моды и комедиантов, Лондон — грумов и боксеров: экзотические радости, от которых жизнь в Соединенных Штатах не становится веселее. Развлечения ради там бросаются в Ниагарский водопад под рукоплескания пятидесяти тысяч плантаторов, полудикарей, которых может рассмешить разве что смерть.

Но самое удивительное заключается в том, что одновременно с выплескивающимся наружу неравенством состояний и появлением аристократии внешнее стремление к равенству принуждает промышленников и землевладельцев скрывать роскошь, прятать богатства из страха быть убитым соседями. Американцы не признают исполнительной власти; они запросто изгоняют тех, кого сами выбрали, и заменяют их новыми выборными. Это нимало не нарушает порядка; смесь над демократическими теориями и законами, американцы чтут демократию на практике. Духа семейственности почти не существует: родители требуют, чтобы всякий ребенок, способный работать, летал, подобно оперившемуся птенцу, на собственных крыльях. Из этих поколений, которые раннее сиротство учит самостоятельности, и эмигрантов, приезжающих из Европы, образуются кочевые сообщества, которые распахивают земли, роют каналы и, нигде не оседая, всюду насаждают дух предпринимательства; они закладывают дома в пустыне, где мимолетный владелец пробудет всего несколько дней.

В городах царит холодный, жестокий эгоизм; пиастры и доллары, банков-

ские билеты и серебро, повышение и понижение курса акций — вот и все темы для беседы; кажется, будто ты попал на биржу или к прилавку большого магазина. Газеты неимоверной толщины заполнены деловыми сообщениями либо грубыми сплетнями. Не подпали ли невольно американцы под власть климата, где растительная природа, кажется, ограбила всю прочую природу, вобрав в себя все живые соки,— власть, существование которой многие выдающиеся умы хотя и оспаривают, но все же окончательно не сбрасывают со счетов? Следовало бы выяснить, не истощила ли цивилизованная свобода до времени силы американцев, как истощил силы русских цивилизованный деспотизм?

В общем и целом Соединенные Штаты производят впечатление не метрополии, а колонии; у них вовсе нет прошлого, нравы же их рождены законами. Эти граждане Нового Света заняли свое место среди народов мира в пору, когда политические идеи были на подъеме: понятно, почему они преобразуются с необычайной быстротой. Прочное общество им, кажется, не суждено, ибо, с одной стороны, отдельные личности здесь чрезвычайно подвержены скуке, с другой же стороны, никто не склонен к оседлости и всеми владеет страсть к перемене мест, а ведь в стране, где все жители беспрестанно кочуют, ни у кого не бывает надежного домашнего очага. Американцы бороздят океаны и исповедуют передовые взгляды, столь же новые, что и их страна: похоже, Колумб завещал им не столько создавать новые миры, сколько открывать их.

7. Возвращение в Европу <...>

Вернувшись, как я уже сказал, из пустыни в Филадельфию и наспех записав по дороге то, что рассказал я вам сейчас *, как говорит лафонтеновский старик, я не нашел переводных векселей, на которые рассчитывал; так начались денежные затруднения, преследовавшие меня всю жизнь. Богатство и я невзлюбили друг друга с первого взгляда. Геродот пишет, что некоторые индийские муравьи собирают горы золота; Афиней утверждает, что солнце дало Геркулесу золотой корабль, чтобы он смог добраться до острова Эрифия, владения Гесперид; хоть я и муравей, я не имею чести принадлежать к большой индийской семье; хоть я и мореплаватель, я всегда плавал по волнам не иначе как в сосновых челнах. На таком судне я и прибыл из Америки обратно в Европу. Капитан позволил мне плыть в кредит. 10 сентября 1791 года вместе с несколькими моими соотечественниками, по разным причинам возвращавшимися во Францию, я взшел на корабль. Он плыл в Гавр.

<Плавание через Атлантику; корабль едва не садится на мель в Ламанше, но в конце концов благополучно прибывает в Гавр>

2 января 1792 года я вновь ступил на родную землю, которой суждено было вскоре опять уйти у меня из-под ног. Я привез с собою не эскимосов из полярных широт, но двух дикарей неведомого племени: их звали Шактас и Агала *.

КНИГА ДЕВЯТАЯ

Просмотрено в декабре 1846 года

1. *Я встречаюсь в Сен-Мало с матушкой.— Революция идет вперед.—
Моя женитьба*

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

〈Первые впечатления от революционной Франции: сожженные замки и разоренные поместья〉

Матушка и вся родня встретили меня ласково, но сокрушались оттого, что я вернулся не ко времени. Мой дядя, граф де Беде, намеревался вместе с женой и дочерьми уехать на остров Джерси *. Мне необходимо было раздобыть денег, дабы присоединиться к армии принцев. Путешествие в Америку поглотило часть моего состояния; с отменой феодальных прав моя доля младшего сына стала совсем ничтожной; вступление в Мальтийский орден * также не сулило мне выгод, ибо имущество духовенства перешло в руки народа. Это стечение обстоятельств повлекло за собой самое важное событие в моей жизни; чтобы дать мне возможность пойти на смерть ради дела, мне безразличного, меня женили.

Жил в Сен-Мало на покое господин де Лавинь, кавалер ордена Святого Людовика, бывший комендант Лорьяна. Когда граф д'Артуа посетил Бретань и оказался в Сен-Мало, он гостил в его доме: очарованный радушным хозяином, принц обещал ему сделать все, что тот ни попросит.

У господина де Лавинья было два сына: один женился на мадемуазель де ла Пласельер. Две дочери, родившиеся от этого брака, рано лишились родителей и остались круглыми сиротами. Старшая вышла замуж за графа дю Плесси-Парско, капитана корабля, сына и внука адмиралов, который ныне сам стал контр-адмиралом, кавалером ордена Почетного легиона и командующим гардемаринами в Бресте; младшей, жившей у деда, было семнадцать лет, когда я возвратился из Америки в Сен-Мало. Она была белокожа, хрупка, тонка и очень хороша собой; светлые, вьющиеся от природы волосы она, как маленькая, носила распущенными. Состояние ее оценивали в пятьсот или шестьсот тысяч франков.

Сестры мои вбили себе в голову женить меня на мадемуазель де Лавинь,

которая очень привязалась к Люсиль. Переговоры велись без моего ведома. Я видел мадемуазель де Лавинь раза три или четыре, не более; я издали узнавал ее по розовой шубке, белому платью и светлым развевающимся волосам, когда приходил на берег предаться ласкам моей давней возлюбленной, морской волны. Я не чувствовал в себе никаких качеств, подобающих мужу. Все мои иллюзии были живы, ничто в моей душе не угасло: путешествие лишь прибавило мне сил. Меня тревожила муза. Люсиль любила мадемуазель де Лавинь и надеялась, что брак этот даст мне независимое состояние. «Ну что ж!» — сказал я. Человек общественный во мне неколебим, частный же человек покладист и, дабы избежать минутных неприятностей, готов закабалить себя на весь век.

Согласие деда, дяди по отцовской линии и других ближайших родственников было получено без труда; оставалось уговорить дядю по материнской линии, господина де Вовера, великого демократа, воспротивившегося свадьбе своей племянницы с таким аристократом, как я, который не был им вовсе. Решили было обойтись без его благословения, однако моя благочестивая матушка потребовала, чтобы нас венчал священник, *не давший присяги* *, а такое венчанье могло произойти только тайно. Проведав об этом, господин де Вовер натравил на нас судейских, обвиняя меня в похищении невесты и нарушении закона, а также ссылаясь на то, что дед невесты, господин де Лавинь, будто бы впал в детство. Мадемуазель де Лавинь, ставшая госпожой де Шатобриан, не успела сказать мне двух слов, как именем правосудия ее разлучили со мной и в ожидании приговора суда поместили в монастырь Виктории, что в Сен-Мало.

На самом деле ни похищения, ни нарушения закона, ни интриги, ни любви тут не было и в помине; от романа этот брак взял только дурную сторону — правдоподобие. Дело слушалось в суде *, и союз был признан законным. Поскольку главы обоих семейств дали согласие на брак, господину де Воверу пришлось смириться. Конституционный священник за приличную мзду признал первое венчанье действительным, и госпожа де Шатобриан покинула монастырь, где рядом с ней все эти дни неотлучно была Люсиль.

Мне предстояло познакомиться со своей женой, и знакомство это принесло мне все, чего я мог желать. Не знаю, может ли найтись ум более тонкий, чем у моей жены: она угадывает мысль, еще только зарождающуюся в мозгу собеседника, она угадывает слово, еще не слетевшее с его уст; обмануть ее невозможно. Одаренная своеобразным и просвещенным умом, острая на язык в письмах и блистательная в беседе, госпожа де Шатобриан восхищается мною, хотя не прочла ни строчки из того, что я написал; она боится обнаружить в моих сочинениях мысли, не совпадающие с ее собственными, или убедиться, что публика не ценит меня по заслугам. Судья она пристрастный, но сведущий и справедливый.

Недостатки госпожи де Шатобриан, если таковые имеются, происходят от избытка ее достоинств; мои недостатки, которые у меня, несомненно, имеются, происходят от нехватки таковых. Легко быть покорным, терпеливым, любезным, безмятежным, когда ты ничем не дорожишь, когда все наводит на тебя скуку, когда и несчастье и счастье ты встречаешь обиженным и обидным: «Ну и что?»

Госпожа де Шатобриан лучше меня, хотя характер у нее не такой легкий. Могу ли я сказать, что мне не в чем себя упрекнуть по отношению к ней? Испытывал ли я к своей супруге все те чувства, каких она заслуживала и на какие имела право? Пеняла ли она мне когда-нибудь на это? Какое счастье получила она в награду за беззаветную любовь? На нее обрушились все мои несчастья; она узнала на собственном опыте, что такое тюрьмы при Терроре, преследования при Империи, невзгоды при Реставрации, и все эти горести не были скрашены радостями материнства. Лишенная детей, которых могла бы иметь в другом браке и которых безумно любила бы; не будучи окружена почетом и признательностью, которые утешают мать семейства, когда лучшие годы уже позади, она подошла к порогу старости бесплодная и одинокая. Честь носить мое имя не возмещает ей ущерба, причиненного долгими разлуками, ибо она равнодушна к словесности. Боясь и трепеща за одного меня, она от вечных тревог потеряла сон и не успевает подумать о своем здоровье: я ее постоянный недуг и причина новых болезней. Разве можно сравнить мелкие огорчения, которые причинила она мне, с заботами, которые принес ей я? Разве можно сопоставить мои достоинства, каковы бы они ни были, с ее добродетелями, которые помогают ей уголять голод бедняка, которые позволили ей, преодолев все препоны, открыть богадельню Марии Терезы *? Что значит мои труды рядом с созданиями этой подвижницы? Когда оба мы предстанем перед Богом, осужден буду я.

В конечном счете, если взглянуть на мою натуру со всеми ее несовершенствами, можно ли сказать, что брак повредил мне? Вероятно, будь я холост, я имел бы больше досуга и покоя; вероятно, иные кружки и кое-кто из сильных мира сего стали бы ко мне благосклоннее, но если госпожа де Шатобриан и возражала мне когда-либо, обсуждая вопросы политические, она никогда не останавливала меня, ибо в этих вопросах, как и в делах чести, я повинуюсь лишь собственному чувству. Написал бы я больше произведений и стали бы они лучше, сохрани я независимость? Не могло ли случиться так, что, найдя себе жену за пределами Франции — об этом читатели вскоре узнают, — я перестал бы писать и отказался от родины? А если бы я не женился вовсе, не отдала ли бы меня моя слабость во власть какого-нибудь недостойного создания? Не растратил ли бы я понапрасну свою жизнь и не запятнал ли бы ее, подобно лорду Байрону? А после, когда наступила бы старость и безумства остались бы позади, я был бы обречен на пустоту и сожаления: старый, никому

не нужный холостяк, обольщающийся иллюзиями либо утративший их, дряхлая птица, твердящая каждому встречному и поперечному свою старую песню. Дай я полную волю своим желаниям, это не добавило бы ни одной струны моей лире, ни одного волнующего звука моему голосу. Необходимость сдерживать свои чувства, таить свои мысли, быть может, придала мощь моим звукам, разожгла в моих произведениях внутренний жар, скрытое пламя, которое дуновение свободной любви погасило бы. Нерасторжимые узы принесли мне — пусть поначалу ценой некоторой горечи — отраду, какую я вкушаю сегодня. От бедствий моего существования остались нынче только раны неизлечимые. Итак, супруга, чья любовь была столь же трогательна, сколь глубока и искренна, заслужила мою нежную и вечную признательность. Она сделала мою жизнь серьезнее, благороднее, достойнее, и если я не всегда был верен своему долгу перед нею, то дань своего уважения я приносил ей неизменно.

<Знакомство с парижскими литераторами: аббатом Бартеlemi, Сент-Анжем и проч. >

Просмотрено в декабре 1846 года

3. *Перемена в облике Парижа. — Клуб кордельеров. <...>*

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

В 1792 году Париж выглядел уже совсем не так, как в 1789 и 1790 годах; то была уже не рождающаяся Революция, то был народ, упоенно рвущийся навстречу своей судьбе, невзирая на пропасти, не разбирая дороги. Толпа перестала быть шумной, любопытствующей, суетливой — она стала грозной. На улицах попадались только испуганные да свирепые лица; одни люди жались к домам, чтобы проскользнуть незамеченными, другие бродили в поисках добычи: встречные либо боязливо опускали глаза и отворачивались от вас, либо впивались в вас взглядом, пытаясь разгадать ваши секреты и прочесть ваши мысли.

От разнообразия костюмов не осталось и следа; старый мир не хотел обнаруживать себя; все носили одинаковые куртки — платье нового мира, в котором будущим осужденным очень скоро предстояло отправиться на эшафот. Вольности, провозглашенные, дабы возвратить Франции молодость, свободы 1789 года, эти немислимые и безнравственные свободы, воцаряющиеся, когда порядок уже начал рушиться, но анархия еще не наступила, постепенно упразднились по воле народа: чувствовалось, что нарождается плебейская тирания — тирания плодovitая и полная надежд, но гораздо более страшная, чем дряхлый деспотизм древней королевской власти: ибо народ, ставший государем, вездесущ, и если он превращается в тирана, то вездесущ и этот тиран — всемирный Тиберий со всемирной властью.

С парижанами смешались пришлые головорезы с юга; авангард марсельцев, привлеченный Дантоном в ожидании событий 10 августа и сентябрьской резни, было легко узнать по лохмотьям, смуглым лицам, по виду подлому и преступному, но преступному по-особенному: *in vultu vitium* — порок в лице.

В Законодательном собрании я не находил знакомых лиц: Мирабо и первые кумиры наших смут либо уже умерли, либо лишились белой славы.

〈Ход Революции в 1791—1792 гг.; описание различных политических клубов〉

Ораторы, объединившиеся, чтобы разрушать, не могли договориться ни о том, каких избирать вождей, ни о том, какие употреблять средства; они объявляли друг друга негодьями, бардашами, мошенниками, ворами, убийцами под какофонию свистков и завывания своих дьявольских приспешников. Сравнения брались из арсенала палачей, черпались из выгребных ям, сточных и отхожих мест либо подслушивались в притонах разврата. Жесты делали образы осязаемыми; с собачьим цинизмом риторы называли все своими именами, непристойно и нечестиво щеголяя проклятиями и богохульствами. Разрушение и созидание, смерть и рождение — вот единственное, что можно было разобрать в диких криках, от которых звенело в ушах. Болтунов, вещающих тонким или громовым голосом, прерывали не только противники: черные собки из монастырей без монахов и с колоколен без колоколов весело вторгались в залу через разбитые окна, уповая на добычу; речи смолкали. Поначалу пернатых призывали к порядку беспомощным звяканьем колокольчика; но, поскольку они не прекращали кричать, в них стреляли из ружей; раненые птицы падали, трепеща, посреди Пандемониума *, служба мрачным предзнаменованием. На поверженных колоннах, на колченогих скамьях, на искореженных креслах, на обломках статуй святых, валяющихся у стен, сидели, закинув на плечо пики или скрестив на груди голые руки, пыльные, потные, пьяные зрители в рваных якобинских куртках.

Самые отвратительные уроды получали слово чаще всего. Душевные и телесные недуги сыграли в наших смутах большую роль: болезненное самолюбие породило пылких революционеров.

〈Марат и его друзья〉

4. Дантон.— Камиль Демулен.— Фабр д'Эглантин

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

На собраниях в клубе кордельеров, где я два или три раза побывал, владычествовал и председательствовал Дантон, гуни со статью гота, курносый, с раздувающимися ноздрями и рябыми скулами, помесь жандарма

с прокурором, в чертах которого жестокость сочеталась с похотливостью *. В стенах своей церкви, словно под сводами веков, Дантон вместе с тремя фуриями мужского пола: Камилем Демуленом, Маратом и Фабром д'Эглантин — готовил сентябрьские убийства. Бийо де Варенн предложил запалить тюрьмы и сжечь всех, кто там находится; другой член Конвента ратовал за то, чтобы утопить всех заключенных; Марат высказался за всеобщую резню. Дантона молили сжалиться над жертвами. «Плевать мне на заключенных», — отвечал он. В циркулярном письме Коммуны он призывал свободных людей повторить в провинции гнусность, совершенную в Кармелитском монастыре и в Аббатстве *.

Обратимся к истории: как Сикст Пятый сравнил самоотверженность Жака Клемана, посвятившего себя спасению рода человеческого, с таинством воплощения, так Марата сравнивали со Спасителем; как Карл IX написал наместникам провинций, чтобы они продолжили Варфоломеевскую ночь, так Дантон требовал от патриотов продолжения сентябрьской резни. Якобинцы занимались плагиатом; даже отдавая Людовика XVI на заклание, они не были оригинальны: так же поступили англичане с Карлом I. Поскольку в преступлениях оказались замешаны огромные толпы, иные люди весьма некстати вообразили, будто на этих преступлениях, являющихся не более чем отвратительными карикатурами на Революцию, зиждется ее величие: видя страдания прекрасной природы, пристрастные и педантичные умы восхищались лишь ее судорогами.

Дантон, более прямодушный, нежели англичане, говорил: «Мы не станем судить короля, мы убьем его». Он говорил также: «Эти священники, эти дворяне ни в чем не повинны, но они должны умереть, ибо им нет места в нашей жизни; они тормозят ход событий, они — помеха грядущему». Слова эти кажутся устрашающе глубокими, но размаха гения в них нет: ведь из них следует, что невинность — пустяк и что мораль можно отсечь от политики без ущерба для последней, а это неверно.

Дантон не верил в принципы, которые защищал; он рядился в революционные одежды лишь ради того, чтобы преуспеть. «Приходите *горланить* вместе с нами, — советовал он одному юноше, — когда разбогатеете, вы сможете делать все, что захотите». Он сознался, что не продался двору лишь оттого, что за него недорого давали: бесстыдство ума, который знает себе цену, и корыстолюбия, которое вопиет о себе *во всю глотку*.

Уступая во всем, даже в уродстве, Мирабо, чьим подручным он был, Дантон превосходил Робеспьера уже тем, что не присваивал преступлениям свое имя. Он сохранял религиозное чувство: «Не для того мы боролись с суевериями, — говорил он, — чтобы воцарилось безбожие». Его страсти могли быть употреблены во благо уже по одному тому, что являлись страстями. Судя

поступки людей, должно принимать в расчет их нрав. Преступники, наделенные, подобно Дантону, пылким воображением, кажутся, именно в силу неумеренности их речей и распущенности их нравов, более порочными, нежели преступники хладнокровные, меж тем как на самом деле они порочны в меньшей степени. Это замечание верно и по отношению к народу: в массе своей народ — страстный поэт, автор и исполнитель пьесы, которую он играет по своей или чужой воле. Его бесчинства — следствие не столько врожденной жестокости, сколько исступления толпы, охмелевшей от зрелищ, в особенности же зрелищ трагических; недаром в гнусностях, совершаемых народом, всегда есть нечто чрезмерное — словно толпу волнует, достаточно ли внушительно она выглядит и достаточно ли сильное впечатление производит.

Дантон попал в капкан, который сам поставил. Сколько бы он ни швырял хлебные шарики в лицо судьям, как бы смело и благородно ни держался, сколько бы ни сбивал суд с толку, ни нагонял страха на Конвент, ни рассуждал логически о злодеяниях, приведших его врагов к власти, сколько бы ни восклицал в порыве запоздалого раскаяния: «Это я приказал учредить ваш подлый трибунал *: да простят мне Бог и люди!» — фраза, к которой не раз прибегали и другие, — все было напрасно. Обличать подлость трибунала следовало прежде, чем тебя самого предали суду.

Дантону ничего не оставалось, кроме как отнестись к собственной смерти так же равнодушно, как относился он к смерти своих жертв, кроме как держать голову выше, чем занесенный над нею нож гильотины: так он и поступил. С подмостков Террора, где ноги его увязали в сгустках пролитой накануне крови, он, окинув толпу взором презрительным и властным, сказал палачу: «Покажи мою голову народу; она того стоит». Голова Дантона осталась в руках палача, меж тем как безглавая тень воссоединилась с окровавленными тенями своих жертв: еще одно проявление равенства.

Дьякон и иподьякон Дантона, Камиль Демулен и Фабр д'Эглантин, кончили жизнь так же, как и священник их прихода.

Эпоха, когда палачам выплачивали пенсию, когда в бутоньерке якобинской куртки вместо цветка красовалась то маленькая золотая гильотина, то кусочек сердца казненного, эпоха, когда люди орали: «Да здравствует ад!», когда с восторгом справляли кровавые оргии, давая волю острой шпаге и неистовой злобе, когда пили за небытие и нагишом исполняли пляску смерти, чтобы не было нужды раздеваться, когда настанет черед присоединиться к усопшим, — эта эпоха должна была рано или поздно увенчаться последним пиром, последней буффонадой боли. Демулен предстал перед судом Фукье-Тенвиля. «Сколько тебе лет?» — спросил председатель. «Столько же, сколько было санкюлоту Христу», — отвечал паяц Камиль. Одержимые идеей мести, эти душители христиан беспрестанно твердили имя Христа.

Было бы несправедливо забывать, что Камиль Демулен посмел выступить

против Робеспьера и этим отважным поступком искупил свои заблуждения. Он дал сигнал реакции против Террора. Юная, прелестная, полная сил жена, пробудив в нем любовь, вместе с нею пробудила добродетель и жертвенность. Негодование вложило в уста трибуна, известного своей бесстрашной и вольной иронией, слова, исполненные красноречия; он обрушил мощные удары на эшафот, возведенный его собственными стараниями. В полном согласии со своими речами, он выслушал приговор без всякого смирения; в повозке он подражал с палачом и прибыл к последней черте полурастерзанным.

Фабр д'Эглантин, автор пьесы, которая переживет своего автора *, проявил, в противоположность Демулену, неслыханную слабость. Жан Розо, парижский палач времен Лиги, приговоренный к повешению за пособничество убийцам президента Бриссона, не мог решиться сунуть голову в петлю. Похоже, что, убивая других, человек не научается умирать сам.

Споры в клубе кордельеров убедили меня в том, что все в обществе стремительно переменяется. В 1789 и 1790 годах я видел, как Учредительное собрание начало сживать со свету королевскую власть; я еще застал неостывший труп старой монархии, отданный в 1792 году на растерзание законодательным потрошителям; они раздирали и расчленили его в низких залах своих клубов, как алебардники разрубили на части и сожгли тело Генриха Меченого в подвалах замка в Блуа.

Я назвал имена Дантона, Марата, Камиля Демулена, Фабра д'Эглантина, Робеспьера — ни один из них не уцелел. Я мимоходом столкнулся с ними на пути из нарождающегося американского общества к умирающему европейскому, из лесов Нового Света в пустыню изгнания: не провел я и нескольких месяцев на чужбине, как смерть уже унесла этих своих поборников. С тех пор прошло столько лет, что ныне мне чудится, будто в юности я спускался в преисподнюю и храню смутное воспоминание о злых духах, которые бродили там по берегу Коцита; это — еще один сон среди бесчисленных грез моей жизни, достойных занять место в моих Замогильных анналах.

5. Мнение господина де Мальзерб об эмиграции

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

*

Я был счастлив вновь встретиться с господином де Мальзербом и обсудить с ним мои заветные планы. Я открыл ему, что задумал второе путешествие, которое должно продлиться девять лет, но прежде мне необходимо ненадолго съездить в Германию; вот что я придумал: я спешно присоединяюсь к армии принцев, так же спешно возвращаюсь назад, дабы истребить Революцию; затратив на все это два-три месяца, я на всех парусах снова устремляюсь в Новый Свет, избавившись от революции, но обзаведясь женою.

Меж тем я не очень-то верил в то, что так ревностно защищал; я предчувствовал, что эмиграция — вздор и безумство. «Притесняли меня со всех сторон, — говорит Монтень, — гибеллин считал меня гвельфом, гвельф — гибеллином» *. Моя неприязнь к абсолютной монархии не оставляла никаких иллюзий касательно действий, которые я собирался предпринять: я терзался сомнениями и, уже решившись принести себя в жертву делу чести, хотел все же узнать, какого мнения об эмиграции придерживается господин де Мальзерб. Я застал его во власти великого гнева: преступления, совершавшиеся на его глазах, истощили политическую терпимость друга Руссо *; он твердо знал, чью сторону принять: жертв или палачей. Всякий порядок, утверждал он, лучше, чем тот, который установили творцы революции, что же до моей судьбы, то он почитал, что я, как всякий мужчина, носящий шпагу, не вправе уклониться от помощи братьям бесправным и томящегося в руках врагов короля. Он одобрял мое возвращение из Америки и уговаривал моего брата отправиться в путь вместе со мною.

Я пересказал ему обычные соображения касательно союза с иноземцами, интересов отечества и проч., и проч. Отвечая мне, он не ограничился общими рассуждениями и привел мне такие примеры, на которые мне нечего было возразить. Он вспомнил гвельфов и гибеллинов, опирающихся на войска императора либо папы; английских баронов, восстающих против Иоанна Безземельного. Наконец, дойдя до наших дней, он указал мне на американскую республику, просящую помощи у французов. «Итак, — продолжал господин де Мальзерб, — люди, наиболее преданные свободе и философии, республиканцы и протестанты, никогда не считали для себя зазорным прибегать к чужой помощи, если она могла принести победу их взглядам. Обрел бы Новый Свет независимость без нашего золота, наших кораблей и солдат? А разве сам я не принимал в 1776 году Франклина, желавшего возобновить те переговоры, которые начал Сайлас Дин *, — ужели Франклин был предателем? Ужели свобода Америки заслуживает меньшего почтения оттого, что за нее боролся Лафайет и сражались французские гренадеры? Всякое правительство, которое, вместо того чтобы охранять основные законы общества, преступает законы справедливости и начала правосудия, отменяет само себя и возвращает человека к природному состоянию. А раз так, то нет ничего предосудительного в том, чтобы защищаться кто как может и прибегать к тем средствам свергнуть тиранию и восстановить права всех и каждого, какие покажутся наиболее надежными».

Принципы естественного права, изложенные самыми крупными мыслителями, развитые таким человеком, как господин де Мальзерб, и подкрепленные многочисленными историческими примерами, поразили, но не убедили меня: на деле мною двигала только юношеская забота о своей чести. К примерам господина де Мальзерба я могу добавить примеры недавние: в 1823 году во время войны в Испании французская республиканская партия приняла

сторону кортесов и не постыдилась обратить оружие против своей родины *; конституционные правительства Польши и Италии просили в 1830 и 1831 годах помощи у Франции, а португальские хартисты отвоевали свою родину с помощью иноземных денег и солдат *. У нас есть две меры и два веса: то, что нравится нам в одной идее, одной системе, одной цели, одном человеке, то отвращает нас от другой идеи, другой системы, другой цели, другого человека.

⟨Шатобриан и его брат добывают фальшивые паспорта и готовятся к отъезду за границу вместе со слугою брата Луи Пуллоном по прозвищу Сен-Луи⟩

7. *Мы с братом отправляемся в путь.— Происшествие с Сен-Луи.— Мы пересекаем границу*

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

15 июля в шесть утра мы сели в дилижанс: наши места были подле возницы; слуга, якобы нам незнакомый, вместе с другими путешественниками устроился внутри кареты. Сен-Луи был сомнамбулой; ночью в Париже он вставал и с открытыми глазами пускался на поиски хозяина, продолжая при этом крепко спать. Не просыпаясь, он раздевал моего брата, укладывал его в постель, на все, что ему говорили, отвечал: «Знаю, знаю» — и пробуждался, только когда в лицо ему брызгали холодной водой; это был великан лет сорока, ростом около шести футов и столь же уродливый, сколь и высокий. Бедняга, всю жизнь служивший у моего брата, питал к нему величайшее почтение; он был весьма сконфужен, когда за ужином ему пришлось сесть с нами за один стол. Спутники наши, большие патриоты, толковавшие о том, что аристократов следует вешать на фонарях, усугубляли его страх. Мысль о том, что, прежде чем достигь армии принцев, нам предстоит пробираться сквозь австрийскую армию, окончательно помutilа его разум. Он много выпил и занял свое место в дилижансе; мы возвратились на свое переднее сиденье.

Среди ночи мы услышали, как путешественники, высунувшись в окошко, кричат: «Стой, кучер, стой!» Дилижанс останавливается, дверца открывается, и раздаются женские и мужские голоса: «Выходите, гражданин, выходите! Нечего, нечего, вылезай, свинья! Это разбойник! Ступай, ступай!» Мы тоже вышли. Мы увидели, как Сен-Луи пинками вышвыривают из кареты, он встает, обводит вокруг открытыми невидящими глазами и, как был, без шляпы, пускается со всех ног сторону Парижа. Мы не могли за него вступить, ибо выдали бы себя; пришлось бросить его на произвол судьбы. Его схватили в первой же деревне, и он заявил, что он слуга господина графа де Шатобриана и живет в Париже на улице Бонди. Конная полиция передавала его из отряда в отряд и наконец доставила к президенту де Розамбо; показания этого несчастного послужили доказательством нашего отъезда в эмиграцию и привели моего брата и его жену на эшафот.

Наутро за завтраком наши спутники раз двадцать пересказали всю историю: «У этого человека не все дома; он грезил наяву; он говорил странные вещи; вероятно, это убийца, скрывающийся от правосудия». Благовоспитанные гражданки краснели, обмахиваясь зелеными бумажными веерами *à la Конституция*. По рассказам попутчиков мы без труда поняли, что виной всему сомнамбулизм, страх и хмель.

Приехав в Лилль, мы стали искать человека, который переправил бы нас за границу. У эмигрантов были свои агенты спасения, сделавшиеся в конце концов агентами погубления *. Монархическая партия еще не утратила могущества, еще ничего не было решено; люди слабые и трусливые оставались в службе, ожидая, чем кончится дело.

Мы покинули Лилль до закрытия ворот; подождав до вечера в домике на окраине, мы продолжили путь только в десять вечера, когда совсем стемнело; ни у меня, ни у брата не было никакого багажа, только тоненькая тросточка в руке: не прошло и года с тех пор, как я точно так же шел следом за проводником-голландцем по американским лесам.

Путь наш лежал через поля по едва заметным тропинкам. Кругом бродили французские и австрийские дозоры; мы могли попасть в руки и тех и других либо оказаться под прицелом часового. Иногда мы видели вдалеке отдельных всадников, неподвижных, с оружием в руках; слышали стук копыт в овраге; приложив ухо к земле, различали мерный шаг пехотинцев. Временами мы бежали бегом, временами шли медленно, на цыпочках; наконец, часа через три мы добрались до развилки в лесу, где пели несколько припоздавших соловьев. Горстка улан, прятавшихся за деревьями, бросилась к нам с саблями наголо. Мы закричали: «Мы офицеры, желающие вступить в войско принцев!» Мы потребовали, чтобы нас проводили в Турне, заявляя, что можем доказать наше происхождение. Командир поста отдал приказ, и под охраной его всадников мы отправились вперед.

Когда рассвело, уланы заметили под нашими рединготами мундиры национальной гвардии и стали бранить цвета, которые Франция вскоре навязала покоренной Европе.

В Турнези, исконном королевстве франков, в первые годы своего правления жил Хлодвиг; вместе со своими ратниками он покинул Турне и отправился покорять галлов. «Оружие забирало себе все права», — говорит Тацит *. В этом городе, откуда в 486 году выступил первый король первой династии *, дабы основать свою долговечную монархию, я оказался впервые в 1792 году, когда направлялся в чужие земли, где собирали свою армию принцы третьей династии *, а вторично в 1814 году, когда последний король французов * покидал владения первого короля франков: *omnia migrant* ³⁵.

⟨В Турне братья Шатобрианы получают дозволение отправиться в Брюссель⟩

³⁵ Все происходит (лат.; Лукреций. О природе вещей, V, 830).

8. Брюссель.— Обед у барона де Бретей.— Ривароль.— Отъезд в армию принцев.— Дорога.— Встреча с прусской армией.— Я приезжаю в Трир

Брюссель был штаб-квартирой эмигрантской знати: самые элегантные парижские дамы и самые щеголеватые кавалеры, желающие ходить не иначе как в адъютантах, в ожидании победы коротали время в развлечениях. Обряженные в красивые, с иголки мундиры, они ничем не погрешали против требований своего легкомыслия. Значительные суммы, которых достало бы на несколько лет, они спускали в несколько дней: к чему экономить, ведь мы со дня на день вернемся в Париж... Не в пример старинному рыцарству эти блистательные кавалеры приготавливали себя к славе посредством побед любовных. Они свысока смотрели на нас, мелких провинциальных дворян или бедных офицеров, ставших солдатами, шагающих пешком, с ранцем за плечами. Эти Гераклы, прявшие пряжу у ног своих Омфал, послали нам веретена, которые мы им вернули, довольствуясь своими шпагами*.

В Брюсселе меня ждал мой скудный багаж, с помощью разных уловок поспешивший туда раньше меня: он состоял из мундира Наваррского полка, небольшого запаса белья и моей драгоценной писанины, с которой я не мог расстаться.

Нас с братом пригласил к обеду барон де Бретей; у него я встретил баронессу де Монморанси, в ту пору юную и прекрасную, а ныне стоящую на пороге смерти; гонимых епископов в муаровых сутанах с золотыми крестами; юных чиновников, сделавшихся венгерскими полковниками, и Ривароля, которого я увидел в первый и последний раз в жизни. Я не знал его имени; меня поразили речи этого человека, который разглагольствовал без умолку, предоставляя окружающим слушать его как оракула. Остроумие Ривароля шло во вред его таланту, умение говорить — умению писать. По поводу революций он сказал: «Первый удар обрушивается на Бога, второй достается всего лишь безжизненному мрамору». Я вновь надел жалкий мундир младшего лейтенанта пехоты, после обеда мне необходимо было продолжить свой путь, и ранец мой ждал меня за дверями. Лицо мое еще оставалось загорелым и обветренным, темные волосы не были завиты. Мой вид и мое безмолвие смущали Ривароля; барон де Бретей, заметив его тревожное любопытство, поспешил ему на помощь. «Откуда прибыл ваш брат?» — спросил он у моего брата. «С Ниагары», — отвечал я. — «С водопада!» — вскричал Ривароль. Я промолчал. Он осторожно продолжил: «И вы направляетесь...» — «Туда, где сражаются», — отрезал я. Все встали из-за стола.

Я ненавидел самовлюбленных эмигрантов вроде этих; мне не терпелось встретить ровню, таких же эмигрантов, как я, с шестьюстами ливрами годового дохода. Вероятно, мы были глупы, но мы хотя бы обнажали клинки и искали победы не ради себя.

Брат мой остался в Брюсселе при бароне де Монбуасье, взявшем его к себе в адъютанты. Я отправился в Кобленц один.

〈Путь в Кобленц〉

Между Кобленцем и Триром я повстречал прусскую армию. Двигаясь вдоль колонны и добравшись до гвардейцев, я увидел орудия и понял, что они готовы к бою. Король и герцог Брауншвейгский занимали центр каре, составленного из старых гренадеров Фридриха. Мой белый мундир привлек внимание короля; он послал за мной; сняв шляпу, король и герцог Брауншвейгский приветствовали в моем лице старую французскую армию. Они спросили мое имя, название моего полка, осведомились о месте, где я собираюсь присоединиться к армии принцев. Такой прием со стороны воителей растрогал меня; я взволнованно отвечал, что был в Америке, но, узнав о несчастье, постигшем моего короля, возвратился на родину, дабы пролить за него кровь. Офицеры и генералы, окружавшие Фридриха Вильгельма, одобрительно закивали, а прусский монарх сказал: «Сударь, я узнаю чувства французского дворянина». Он вновь снял шляпу и стоял с непокрытой головой до тех пор, пока я не скрылся за спинами гренадеров. Теперь эмигрантов бранят; их именуют *тиграми, раздиравшими лоно своей матери*; в эпоху, о которой я говорю, люди подражали примеру предков и дорожили честью не меньше, чем родиной. В 1792 году верность присяге еще почиталась долгом; нынче это такая редкость, что слывет добродетелью.

Странная сцена, которая многократно повторялась с моими предшественниками, едва не заставила меня повернуть назад. Меня не хотели пропускать в Трир, где стояла армия принцев. Выяснилось, что я принадлежу к тем людям, которые крепки задним умом; мне следовало взяться за оружие тремя годами раньше; я явился, когда победа уже у нас в руках. Я никому не нужен; тех, кто машет кулаками после драки, и без того слишком много. Всякий день ряды армии пополняются перешедшими на ее сторону эскадронами; даже артиллерия валит валом, и если так пойдет и дальше, то скоро будет непонятно, что делать с этими толпами.

Величайшее заблуждение политических партий!

Я встретил кузена Армана де Шатобриана; он взял меня под свое покровительство, собрал бретонцев и выступил в мою защиту. Меня призвали; я объяснился; я сказал, что приехал из Америки, чтобы иметь честь служить бок о бок с товарищами; что кампания вот-вот начнется, но еще не началась, так что я не опоздал к первому бою; что, более того, если я неугоден, я уеду, но прежде хочу узнать причину незаслуженного оскорбления. Дело уладилось: поскольку я был добрым малым, эмигрантское войско приняло меня в свои ряды, и у меня не стало отбоя от доброжелателей.

9. <...> Римский амфитеатр.— «Атала». — Рубашки Генриха IV

<Состав армии принцев>

Мы пробыли в Трире два дня. После безымянных развалин на берегу Огайо для меня было счастьем увидеть развалины романских построек, посетить этот столь часто подвергавшийся разграблениям город, о котором Сальвиан говорит: «Беглецы из Трира, вы спрашиваете у императоров, где театр и цирк: отчего не спрашиваете вы, где город, где народ? — *Theatra igitur quaeritis, circum a principibus postulatis? cui, quaeso, statui, cui populo, cui civitati?*» *

Беглецы из Франции, где был народ, ради которого мы хотели восстановить детище Людовика Святого? *

Положив подле себя ружье, я усаживался среди развалин, вынимал из ранца дневник моего путешествия в Америку, раскладывал на траве вокруг себя отдельные страницы, перечитывал и исправлял описание леса, отрывок из «Атала», готовясь таким образом среди обломков римского амфитеатра к завоеванию Франции. Потом я прижимал к себе сокровище, которое, вкупе с моими рубашками, плащом, жестяной флягой, оплетенной бутылью и маленьким томиком Гомера, весило так много, что заставляло меня харкать кровью. Я пытался запихнуть «Атала» вместе с ненужными мне патронами в патрон-таш; товарищи смеялись надо мной и вырывали листы, которые с обеих сторон торчали из-под кожаной крышки. На помощь мне пришло Провидение; однажды я ночевал на сеновале, а проснувшись утром, обнаружил, что у меня пропали из ранца все рубашки; писанину воры не тронули. Я возблагодарил Господа; эта незадача, сохранив мою славу, спасла мне жизнь, ибо шестьдесят фунтов, которые я таскал за плечами, довели бы меня до чахотки. «Сколько у меня рубашек?» — спрашивал Генрих IV у своего слуги. «Дюжина, Ваше Величество, да и те рваные». — «А носовых платков восемь, верно?» — «Теперь уже только пять». Беарнец * выиграл битву при Иври без рубашек; я тоже остался без рубашек, но это не помогло мне вернуть трон его потомкам.

10. Солдатская жизнь.— Прощание с прежней французской армией

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Мы получили приказ выступить в направлении Тионвиля. В день мы проходили пять-шесть лье. Погода стояла отвратительная, мы шагали под дождем по колено в грязи, распевая: «О Ричард! о король мой!» или: «Бедный Жак!» * Добравшись до стоянки и не имея ни обоза, ни провианта, мы вместе с ослами, которые следовали за нашими колоннами, как за арабским караваном,

ном, отправлялись на соседние фермы и в близлежащие деревни, надеясь разжиться провизией. Мы исправно платили за съестное; я, однако, был наказан внеочередным назначением в караул за то, что по недомыслию сорвал в саду какого-то замка две груши. «Высокая колокольня, глубокая река и знатный господин — дурные соседи», — гласит пословица.

Мы ставили палатки кое-как и беспрестанно колотили по крыше, чтобы брезент натянулся и не протекал. В каждой палатке размещалось по десять солдат; стряпней занимались все по очереди; один шел за мясом, другой за хлебом, третий за дровами, четвертый за соломой. Я замечательно варил суп: все очень хвалили его, особенно когда я добавлял в похлебку молоко и капусту, как делают в Бретани. У ирокезов я научился не обращать внимания на дым и прекрасно чувствовал себя подле костра из зеленых мокрых веток. Солдатская жизнь оказалась весьма занимательной; я словно вновь очутился среди индейцев. Когда мы поглощали котелочное хлебово *, товарищи просили меня рассказать о моих странствиях: взамен они потчевали меня небылицами собственного сочинения; все мы ввали напропалую, как врет капрал новобранцу, угощающему его ужином.

Утомляло меня одно — стирка; стирать мне приходилось часто, ибо воры любезно оставили мне только рубашку, одолженную кузеном Арманом, да ту, которая была на мне. Когда я намыливал штаны, платки и рубашку, наклонившись над ручьем, у меня начинала кружиться голова; от резких движений нестерпимо болела грудь. Мне приходилось садиться на землю в зарослях хвоща и кресс-салата, и в разгар военных действий я занимался тем, что смотрел, как мирно бежит речная вода. У Лопе де Веги пастушка стирает повязку, закрывающую глаза Амуру; эта пастушка пришла бы мне весьма кстати: я доверил бы ей лубяную чалму, которую получил в дар от моих индианок.

Обыкновенно войско состоит из солдат примерно одних лет, одного роста, одних возможностей. Совсем иной была наша армия — смешение зрелых мужей, стариков, мальчишек, оставивших свои голубятни, хор, в котором звучали нормандские, бретонские, пикардские, овернские, гасконские, провансальские, лангедокские говоры. Отец служил рядом с сыновьями, тесть подле зятя, дядя — бок о бок с племянником, брат с братом, кузен с кузенком. В этой компании рекрутов, при всей ее смехотворности, было нечто почтенное и трогательное, ибо людьми двигали убеждения; она являла зрелище старой монархии и давала представление об уходящем мире. Я видел стариков дворян, с суровыми лицами, с сединой в волосах, в рваном платье, с ранцем за плечами, с ружьем за спиной, которые брели, опираясь на палку, поддерживаемые под руку кем-нибудь из сыновей; я видел господина де Буаю, отца моего товарища, убитого во время Реннских штатов * на моих глазах, — он одиноко и печально брел босиком по грязи, неся свои башмаки на острие штыка, чтобы не износить

их; я видел раненых юношей, лежащих под деревом, и священника в епитрахили поверх сюртука, стоящего на коленях у них в изголовье и препоручающего их святому Людовику, чьих наследников они хотели защитить. Все это бедное войско, не получая от принцев ни единого су, вело войну за собственный счет, меж тем как декреты довершали наше разорение и бросали наших жен и матерей в тюрьму.

Старцы былых времен не были столь несчастны и одиноки, как нынешние: они теряли друзей, но жизнь вокруг них не менялась; чужие для молодежи, они не были чужими для общества. Теперь задержавшийся на этом свете видел смерть не только людей, но и идей: убеждения, нравы, вкусы, радости, горести, чувства — все, что его окружает, ему совершенно незнакомо. Он из другого теста, он не похож на племя, являющееся свидетелем его заката.

И все же, французы XIX столетия, научитесь уважать эту старую Францию, которая ничем не хуже вас. Вы тоже постареете, и вас, как и нас, обвинят в том, что вы держитесь за отжившие идеи. Те, кого вы победили, — ваши отцы; не отрекайтесь же от них: в ваших жилах течет их кровь. Если бы они не хранили благородную верность старинным нравам, вы не почерпнули бы в этой воссанной с молоком матери верности ту силу, что прославила вас в эпоху, когда верх взяли нравы новые; добродетели сегодняшней Франции — не что иное, как добродетели Франции вчерашней, изменившие свой облик.

〈Осада Тионвиля; битва при Бувине〉

15. 〈...〉 *Наступление на Тионвиль*

Осажденные, не предполагая, что наши войска подступят с этой стороны, и не предвидя такого оскорбления, оставили южные стены незащищенными; впрочем, нам все равно досталось на орехи: гарнизон выставил двойную батарею, которая пробила наш бруствер и вывела из строя два орудия. Небо польхало; нас окутывали облака дыма. Мне случилось стать маленьким Александром *: изнуренный усталостью, я крепко заснул почти под колесами лафета, который охранял. Осколком снаряда, разорвавшегося в шести дюймах от земли, меня ранило в правое бедро. Внезапно проснувшись, но не чувствуя боли, я понял, что ранен, только когда увидел кровь. Я перевязал ногу платком. В бою на равнине две пули пробили мой ранец. Атала, как преданная дочь, заслонила своего родителя от вражеского свинца: ей оставалось выдержать огонь аббата Морелле *.

В четыре часа пополуночи войска князя фон Вальдека прекратили пальбу; мы решили, что город сдался; ничего подобного: ворота не открылись, и нам пришлось подумать об отступлении. После тяжелого трехдневного перехода мы возвратились на свои позиции.

Князь фон Вальдек приблизился к городскому рву и попытался перебраться через него, надеясь, что неожиданная атака вынудит Тионвиль к сдаче: мы все еще думали, что город раздирают распри, и ободрялись мыслью о том, что местные роялисты откроют принцам ворота. Австрийцы вели стрельбу, покинув укрытия, и потеряли много людей; князю фон Вальдеку оторвало руку. В то время как под стенами Тионвиля люди теряли капли крови, в парижских тюрьмах кровь лилась ручьями; моей жене и сестрам грозила гораздо большая опасность, чем мне *.

16. Снятие осады.— Вступление в Верден. <...>

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Мы сняли осаду Тионвиля и двинулись к Вердену, 2 сентября сдавшемуся союзникам *. Лонгви, родина Франца фон Мерси, пал 23 августа. Весь путь Фридриха Вильгельма был украшен гирляндами и венками.

Среди мирных професей я заметил прусского орла, венчающего укрепления, возведенные Вобаном: впрочем, ему не суждено было долго там оставаться; что касается цветов, то им предстояло вскоре увянуть вместе с теми невинными созданиями, которые их собрали. Одним из самых кровавых преступлений Террора стала казнь верденских девушек *.

«Четырнадцать юных верденочек небывалой чистоты,— пишет Риуфф,— похожие на непорочных дев, убранных для народного праздника, взошли на эшафот. Все они пали жатвой палача на заре жизни. *Дамский круг* после их смерти казался куртиной, на которой бурей побило все цветы. Это варварство повергло нас в такое отчаяние, какого я никогда не видел».

Верден знаменит мученицами. По словам Григория Турского, Деотерия, дабы избавить свою дочь от преследований Геодеберга, посадила ее в тележку, запряженную двумя невзнузданными волами, и пустила в Маас *. Подстрекателем убийства верденских девушек был рифмоплет-цареубийца Понс из Вердена, ненавистник родного города *. Уму непостижимо, сколько пособников Террора вышло из числа сочинителей, подвизавшихся в «Альманахе муз» *: болезненное тщеславие посредственностей породило столько же революционеров, сколько их породило уязвленное самолюбие калек и уродов: бунтуют убогие душой и телом. Понс оттачивал свои тупые остроты кинжалом. По видимости, из уважения к греческим традициям поэт потчевал богов лишь кровью непорочных дев: по его предложению Конвент запретил судить беременных женщин. Кроме того, Понс отменил смертный приговор госпоже де Боншан, вдове прославленного вандейского генерала. Увы! все мы, роялисты, воссоединившиеся с принцами, узнали превратности Вандеи, не вкусив ее славы.

<Отступление из Вердена; Шатобриан заболел оспой>

КНИГА ДЕСЯТАЯ

〈Вместе с армией Шатобриан добирается до Намюра, а затем до Брюсселя, где видится с братом, который по совету Мальзербера собирается вернуться во Францию〉

3. 〈...〉 *Исчезновение родных и друзей.— Горечь старения.— Я отправляюсь в Англию.* 〈...〉

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

〈Шатобриан добирается до принадлежащего Англии острова Джерси и проводит несколько месяцев в доме дяди с материнской стороны «между жизнью и смертью» — в горячке〉

Покровителем французских беженцев на Джерси был господин де Буйон: он отговорил меня от намерения ехать в Бретань, ибо я был слишком слаб, чтобы жить в пещерах и лесах *; он посоветовал мне перебраться в Англию и там попытаться найти постоянную службу. Дяде моему, весьма стесненному в средствах, становилось все труднее прокормить свое большое семейство; ему пришлось послать сына в Лондон искать счастья. Чтобы не быть обузой господину де Беде, я решил освободить его от своего присутствия.

Тридцать луидоров, посланных мне матушкой из Сен-Мало с контрабандистами, позволили мне привести свой план в исполнение, и я заказал себе место на пакетботе до Саутгемптона. Прощание с дядей глубоко растрогало меня; он ходил за мной с отеческой любовью; с ним были связаны немногие счастливые мгновения моего детства; он помнил все, что я любил; лицом он отчасти походил на мою матушку. Я покинул эту превосходную женщину, которую мне не суждено было увидеть вновь, я покинул сестру Жюли и брата, покинул, как потом выяснилось, навсегда; теперь мне предстояло покинуть дядю: никогда более не пришлось мне любоваться его сияющим лицом. Все эти утраты постигли меня в несколько месяцев, ибо смерть близких наступает для нас не тогда, когда они умирают, а тогда, когда мы навсегда расстанемся с ними.

Если бы мы могли сказать времени: «Погоди!» — мы остановили бы его в час усад; но коль скоро это невозможно, не будем мешкать, поспешим покинуть эту землю, прежде чем уйдут от нас друзья, прежде чем уйдут годы, по слову поэта, единственно достойные жизни: *vita dignior aetas*³⁶. То, что чарует в пору любви, то в пору сиротства вызывает боль и сожаления. Вы уже не ждете наступления радостных весенних месяцев; пожалуй, вы их даже побаиваетесь: птицы, цветы, погожий апрельский вечер, дивная ночь, начавшаяся с первым соловьем, кончившаяся с первой ласточкой, — все, что пробуждает жажду счастья, потребность в нем, несет вам смерть. Вы еще чувствуете чары,

³⁶ Возраст, более всего достойный жизни (*лат.*; Вергилий. Энеида, IX, 212).

но они уже не про вас: молодежь, которая вкушает наслаждения рядом с вами, пренебрежительно глядя на вас, вызывает в вас зависть и заставляет еще глубже ощутить ваше одиночество. Чистота и прелесть природы, напоминая вам о былых негах, усугубляют мерзость ваших невзгод. Отныне вы — не более чем изъян, разрушающий гармонию этой пленительной природы своим присутствием, своими речами и даже чувствами, которые вы осмеливаетесь выразить. Вы можете любить, но любить вас уже невозможно. Вешние воды всегда молоды, но вам они молодости не вернут, и зрелище всего, что возрождается, всего, что обрело счастье, пробуждает в вас не что иное, как мучительное воспоминание о прежних уладах.

〈Шатобриан отплывает в Саутгемптон и добирается до Лондона〉

5. *Пельтье. — Литературные труды. — Дружба с Энганом. —
Наши проделки. — Ночь в Вестминстерском соборе*

Пельтье, сочинитель *Domine salvum fac Regem*³⁷ и главный редактор «Деяний апостолов»*, продолжал в Лондоне свое парижское предприятие. Нельзя сказать, чтобы он был отягощен пороками, однако его точил червь мелких, но неисправимых недостатков: безбожник, повеса, зарабатывающий кучу денег и тут же их проматывающий, одновременно слуга законной монархии и посол негритянского короля Кристофа* при дворе Георга III, он отписывал дипломатические депеши господину графу де Лимонаду*, получал жалованье сахаром и тратил его на шампанское. Этот духовный брат господина Виоле, игравшего революционные песни на крошечной скрипочке, явился ко мне и как бретонец бретонцу предложил свои услуги. Я рассказал ему о замысле своего «Опыта»*; он весьма одобрил меня. «Это будет превосходно!» — воскликнул он и сосватал мне комнату у своего типографа Бейли, который станет печатать книгу по мере ее написания. Книготорговец Дебофф займется ее продажей; сам Пельтье громогласно возвестит о новинке в своей газете «Амбигю»*, а там можно будет проникнуть в лондонский «Французский курьер», редактором которого вскоре станет господин Монлозье. Пельтье не знал сомнений: он уверял, что выхлопочет мне крест Святого Людовика за осаду Тионвиля. Мой Жиль Блас*, высокий, худой, блажной, с напудренными волосами и большой залысиной, вечно орущий и гогочущий, заламывает свою круглую шляпу, берет меня под руку и ведет к печатнику Бейли, где за гинею в месяц запросто снимает мне комнату.

Будущее передо мной открывалось блестящее, но как до него дожить? Пельтье раздобыл мне переводы с латыни и с английского; днем я корпел над

³⁷ Боже, спаси короля! (лат.)*

этими переводами, ночью — над «Историческим опытом», в который включил часть моих путешествий и моих мечтаний. Бейли снабжал меня книгами, но я не мог пройти мимо старых томиков, разложенных на лотках, и безрассудно тратил на них свои шиллинги.

Я сдружился с Энганом, которого впервые увидел на пакетботе, везшем меня на Джерси. Ученый и литератор, он втайне сочинял романы, отрывки из которых мне читал. Он поселился поблизости от Бейли, в конце улицы, ведущей к Холборну *. Каждое утро в десять мы вместе завтракали, беседуя о политике, а чаще всего — о моих трудах. Я рассказывал ему, насколько выросло за ночь возводимое мною здание «Опыта»; затем я возвращался к своей дневной работе — переводам. Мы вновь встречались в маленьком кабачке за обедом, стоившим нам по шиллингу с каждого; оттуда мы шли в поля. Нередко нам случалось гулять и поодиночке, ибо оба мы любили предаваться грезам.

В этом случае я направлял стопы в Кенсингтон или в Вестминстер. Кенсингтонский парк нравился мне; я бродил по его пустынной части, меж тем как часть, прилегающая к Гайд-Парку, наполнялась множеством нарядных людей. Несходство моей бедности с чужим богатством, моего одиночества с многолюдством толпы радовало меня. Я издали провожал молодых англичанок взглядом, пребывая во власти того смутного влечения, какое испытывал к моей сальфиде в ту пору, когда, наделив ее всеми прелестями, рожденными моей безумной фантазией, едва решался поднять глаза на свое творение. Я полагал себя на пороге смерти, и это добавляло таинственности миру, который я готовился покинуть. Остановился ли хоть раз чей-либо взгляд на чужестранце, сидящем у подножия сосны? Почувствовала ли какая-нибудь красавица незримое присутствие Рене?

В Вестминстерском аббатстве я проводил время иначе: в этом лабиринте могил я размышлял о той могиле, что вот-вот разверзнется у меня под ногами. Памятнику такого безвестного человека, как я, не суждено было встать в ряд этих прославленных надгробий! Затем я подходил к гробницам монархов: Кромвеля здесь уже не было *, не было и Карла I. Прах предателя, Робера д'Артуа *, покоился под плитами, которые я попирал своей верноподданнической стопой. Людовика XVI постигла участь Карла I: во Франции топор всякий день рубил головы, и моих родных уже подстерегала могильная тьма.

Пение церковного хора и болтовня чужеземцев прерывали мои размышления. Я не мог бывать здесь слишком часто, ибо мне приходилось подавать сторожам тех, кого уже не было в живых, шиллинг, на который я жил сам. Но если я не заходил в аббатство, то кружил подле него вместе с воронами или, замерев, любовался колокольнями — разновеликими близнецами, которые заходящее солнце обаграло своими кровавыми лучами на фоне небосвода, обитого черным дымом, поднимавшимся над Сити.

Но однажды случилось так, что, желая рассмотреть на закате солнца

внутреннее убранство собора, я забылся, преисполненный восторга, который вселила в душу эта вдохновенная и причудливая архитектура. Подавленный «мрачной огромностью христианских церквей» (Монтень) *, я медленно бродил по собору и не заметил, как смеркся день: двери заперли. Я пытался найти выход; я звал *usher*³⁸, колотил по *gates*³⁹, но никто не услышал этого шума, растекшегося и растаявшего в тишине; пришлось смириться с мыслью ночлежничать в обществе покойников.

Поколебавшись в выборе места, я остановился подле мавзолея лорда Чатема, под амвоном двухэтажной часовни Рыцарей и Генриха VII. Близ этой лестницы и зарешеченных приделов, напротив мраморной смерти с косой, в стенной нише стоял саркофаг; его-то я и избрал своим обиталищем. Складки савана, тоже мраморного, укрыли меня: по примеру Карла V я загодя готовился к собственному погребению *.

Ложе мое было как нельзя лучше приспособлено для того, чтобы увидеть мир в истинном свете. Какое скопище великих людей томится под этими сводами! Что от них осталось? Горести так же суетны, как и радости; несчастная Джейн Грей ничем не отличается от счастливой Эликс Солсбери *; только скелет ее не столь ужасен, ибо лишен головы; остов ее похорошел благодаря казни, отнявшей то, что составляло прежде ее красоту. Король, выигравший сражение при Креси *, уже не устроит в этой траурной зале рыцарских турниров, а Генрих VIII не возобновит игр, затевавшихся в лагере при Драд'Ор *. Бэкон, Ньютон, Мильтон зарыты так же глубоко, ушли так же безвозвратно, как и их менее знаменитые современники. Я, изгнанник, скиталец, бедняк, согласился бы я не быть мелкой сошкой, заброшенной и несчастной, ради того, чтобы сделаться одним из этих прославленных, могущественных, пресыщенных удовольствиями покойников? О! разве в этом дело! Если с нашего берега мы плохо различаем вещи божественные, не будем удивляться: время — завеса, скрывающая от нас Господа, как веко скрывает наш зрачок от света.

Съжившись под своим мраморным покрывалом, я постепенно перешел от общих соображений к впечатлениям более свежим. Тревога моя была не лишена приятности и напоминала то чувство, какое я испытывал зимой в Комбурге, когда слушал в своей башне вой ветра: дуновение и тьма сродни друг другу.

Мало-помалу привыкнув к темноте, я смог разглядеть надгробия. Я смотрел на выступы гробницы Святого Дионисия Английского, откуда в виде готических консолей спускались, казалось, прошедшие события и минувшие годы: сооружение в целом напоминало высеченный из единой глыбы памятник окаменевшим столетиям.

Башенные часы пробили десять, затем одиннадцать раз; молоточек,

³⁸ Сторож (англ.).

³⁹ Ворота (англ.).

который поднимался и вновь ударял по колоколу, был единственным, кроме меня, живым существом в этих пределах. С улицы доносился порой шум проезжающей кареты, крик watchman⁴⁰ и ничего более; эти далекие голоса земли мнились мне прилетевшими из иного мира. Туман с Темзы и угольная пыль просочились в собор и сгустили сумрак.

Наконец в том углу, где тьма была наименее густой, она начала редеть; я пристально смотрел, как свет становится все ярче; откуда он шел: не от сыновей ли Эдуарда IV, убитых их дядей?

«Дети спали,—
говорит великий английский трагик,—
обняв друг друга
Невинными и белыми руками.
Их губы, как четыре красных розы
На летней ветке, целовались нежно»⁴¹.

Господь не дозволил этим печальным и пленительным душам явиться мне; вместо них показался легкий призрак девы, едва достигшей отроческого возраста; она несла свечу, укрывая ее свернутым в трубочку листом бумаги: то была маленькая звонарка. Я услышал звук поцелуя, и колокол прозвонил рассвет. Звонарка страшно испугалась, когда я вышел в дверь вслед за нею. Я поведал ей свое приключение; она сказала, что приходила заменить захворавшего отца; о поцелуе мы не говорили.

6. *Нужда.— Нежданная помощь.— Каморка с видом на кладбище. <...>*

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Я позабавил Энгана рассказом о моем приключении, и мы порешили затвориться в Вестминстерском аббатстве вдвоем, однако невзгоды наши призывали нас в царство мертвых менее поэтическим образом.

Средства мои таяли: Бейли и Дебофф, заручившись векселем, подлежащим оплате в том случае, если книга не будет продана, отважились начать печатать «Опыт»; этим их великодушие исчерпывалось, что вполне естественно; их отвага и без того удивительна. Переводы кончились; Пельтье, прожигателю жизни, долгие заботы были в тягость. Он с радостью отдал бы мне то, что имел, если бы с еще большей радостью не прокутил эти деньги сам; но бегать в поисках работы для ближнего, творить доброе дело, требующее терпения, было выше его сил. Казна Энгана также истощилась; у нас оставалось всего

⁴⁰ Ночной сторож (англ.).

⁴¹ Шекспир. Ричард III, д. IV, явл. 3; пер. А. Радловой.

шестьдесят франков на двоих. Мы стали меньше есть, как на корабле, когда плавание затягивается. Вместо шиллинга мы тратили теперь на обед вполонину меньше. Утром за чаем мы стали есть в два раза меньше хлеба и обходились без масла. Это воздержание изнуряло моего друга. Ум его затуманился; казалось, он внимательно к чему-то прислушивается; когда к нему обращались, он вместо ответа раздражался смехом или слезами. Энган верил в магнетизм и помешался на Сведенборговой галиматье *. Утром он говорил мне, что ночью слышал шум; он сердился, если я не верил его фантазиям. Я тревожился за него, и это заглушало мои собственные страдания.

Между тем страдал я сильно: скудная пища вкупе с работой повредила моим слабым легким; мне стало трудно ходить, и все же я проводил дни и часть вечера вне дома, чтобы никто не заметил моих горестей. Когда у нас остался последний шиллинг, мы с другом решили побережь его, а завтракать только для виду. Мы договорились, что купим хлебец за два су; утром нам, как обычно, подадут горячую воду и чайник, но чай мы туда сыпать не станем, хлеб есть не будем, а выпьем горячей воды с несколькими крупицами сахара, уцелевшими на дне сахарницы.

Так прошло четыре дня. Голод снесал меня; я горел; сон бежал меня; я сосал мокрые тряпки, жевал траву и бумагу. Когда я проходил мимо булочных, мучения мои делались нестерпимы. Однажды суровым зимним вечером я два часа простоял столбом перед лавкой, где продавались сушеные фрукты и копченое мясо, пожирая глазами витрину; я готов был проглотить не только съестное, но и коробки, корзины, пакеты.

На пятый день утром, падая с ног от истощения, я плетусь к Энгану; я стучу, дверь заперта; я зову, Энган отвечает не сразу; наконец он поднимается и открывает мне. Хохоча с безумным видом, в рединготе, застегнутом на все пуговицы, он сел за стол. «Завтрак сейчас подадут», — сказал он странным голосом. Мне показалось, что на рубашке его выступили пятна крови; я торопливо расстегиваю его редингот: он нанес себе перочинным ножом удар в левую часть груди; нож вошел в тело на два дюйма. Я позвал на помощь. Служанка кинулась за хирургом. Рана была опасная.

Это новое несчастье заставило меня решиться. Энган, советник бретонского парламента, отказался получать содержание, которое английское правительство назначило крупным французским чиновникам, так же, как я отказывался получать шиллинг в день — вспомоществование для эмигрантов *: я написал господину де Барантену и описал ему состояние моего друга. Примчались родные Энгана и увезли его в деревню. В это же время мой дядя де Бедо переправил мне сорок экю — трогательное пожертвование моей многострадальной семьи; мне показалось, будто я получил все золото Перу: лепта французских пленников насытила француза-изгнанника.

Нужда мешала мне писать. Поскольку я перестал поставлять рукопись,

печатание было приостановлено. Когда я простился с Энганом, мне сделалось не по средствам отдавать за квартиру гинею в месяц; я заплатил за прожитое и съехал. Помимо неимущих эмигрантов, которые поначалу покровительствовали мне, в Лондоне были и другие эмигранты, нуждающиеся гораздо сильнее. Есть разные степени не только у богатства, но и у бедности: немалое расстояние отделяет человека, которого зимой греет собачья шкура, от человека, который дрожит от холода в рваных обносках. Друзья приискали мне комнату, более подходящую моему тающему состоянию (благоденствие мимолетно); они поселили меня в окрестностях Мэри-Ле-Бон-Стрит, в garret ⁴², слуховое окно которого выходило на кладбище: всякую ночь трещотка watchman возвещала мне, что похищен очередной труп. Утешением мне была весть, что Энган вне опасности.

〈Общение Шатобриана с его кузеном де Ла Буэтарде и другими бедными эмигрантами〉

*7. Праздничное.— Моим сорока эю приходит конец.—
Снова нужда.— Табльдот.— Епископы.— Обед в «Лондон-Таверн».—
Рукопись Кэмдена*

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Тем, кто читает эту часть моих «Записок», неведомо, что я дважды прерывал их: один раз, чтобы дать парадный обед герцогу Йоркскому, брату английского короля; другой раз, 8 июля, чтобы отпраздновать годовщину возвращения короля Франции в Париж. Торжество это обошлось мне в сорок тысяч франков*. Пэры Британской империи и их супруги, послы, знатные чужестранцы заполнили мои великолепно убранные покои. Столы украшал сверкающий лондонский хрусталь и золоченый севрский фарфор. Они ломались от самых изысканных яств, вина и цветов. Портленд-Плейс была запружена роскошными каретами. Коллине и музыканты из Элмекской залы пленяли щеголеватых меланхолических денди и мечтательных грациозных леди, танцующих в глубокой задумчивости. Оппозиция и министерское большинство заключили перемирие: леди Каннинг беседовала с лордом Лондондерри, леди Джерси — с герцогом Веллингтоном. Monsieur ⁴³, который поздравил меня в 1822 году с моими торжествами, не знал в 1793 году, что будущий министр живет неподалеку от него и в ожидании высокого поста голодает близ кладбища, расплачиваясь за свою верность. Сегодня я радуюсь, что пережил кораблекрушение, что повидал войну, что разделял страдания низших со-

⁴² Чердак (англ.).

⁴³ Непереводимый придворный титул, обозначающий старшего из братьев короля; у Шатобриана здесь и далее — граф д'Артуа, будущий Карл X.

словий общества, равно как и тому, что в пору благоденствия стал жертвой несправедливости и клеветы. Уроки эти пошли мне на пользу: без несчастий, придающих ей серьезность, жизнь — детская забава.

Я был человеком с сорока экю *; однако поскольку уровень жизни еще не установился и продовольствие не упало в цене, кошелек мой неотвратимо пустел. Я не мог рассчитывать на новую помощь родных, страдавших в Бретани от двойного зла — *шуанства* и Террора. Мне оставались лишь два исхода: богадельня или Темза.

Слуги эмигрантов, которых хозяева не могли больше кормить, стали рестораторами, чтобы кормить своих хозяев. Одному Богу ведомо, как сытно кормили за этими столами! Одному Богу ведомо, какие там велись политические дебаты! Все победы республики представлялись поражениями, и стоило кому-либо усомниться в незамедлительной реставрации, его тут же объявляли якобинцем. Два ветхих епископа, стоящих одной ногой в могиле, гуляли весной в Сент-Джеймском парке: «Как вы полагаете, Ваше преосвященство, — спрашивал один, — будем мы во Франции к июню?» — «Что ж, Ваше преосвященство, — отвечал по зрелом размышлении второй, — не вижу в этом ничего невозможного».

Богач Пельтье выкопал, вернее, выудил меня из моей норы. Он прочитал в одной ярмутской газете, что некое общество антикваров собирается заняться историей графства Суффолк и ему требуется француз, способный разобрать французские рукописи двенадцатого века * из собрания Кэмдена. Возглавлял все это предприятие *parson*, или пастор, городка Бекклз; к нему и следовало обратиться. «Вот вам занятие, — сказал мне Пельтье, — поезжайте, будете разбирать эти старые бумажки и продолжать посылать к Бейли рукопись «Опыта»; я заставлю этого презренного труса возобновить печатание; когда закончите работу, вы вернетесь в Лондон с двумястами гинеями, а там — будь что будет!»

Я пытался было пробормотать какие-то возражения. «Кой черт! — воскликнул мой благодетель, — вы собираетесь сидеть в этом *дворце*, где я уже дрожу от холода? Если бы Ривароль, Шансенец, Мирабо-бочка и я должны были бы дуть на пальцы, чтобы согреть их, далеко бы мы ушли с «Деяниями апостолов»! Вы знаете, что эта история с Энганом наделала страшно много шума? Вы что же, решили оба умереть с голоду? Ах! ах! уф! ах! ах!..» Пельтье корчился от смеха. Ему только что удалось продать сто экземпляров своей газеты представителям колоний; он получил за это деньги, и в кармане у него позвякивали гиней. Он силой потащил меня вместе с апоплектиком Ла Буэтарде и еще двумя эмигрантами в рубище, попавшимися ему под руку, обедать в «Лондон-Таверн». Он заказал портвейн, ростбиф и плумпудинг и накормил нас до отвала. «Что это, господин граф, — спрашивал он моего кузена, — вас так перекосило?» Ла Буэтарде, полuosкорбленный, полупольщенный, как мог,

объяснил, в чем дело: когда он пел: «O Bella Venere!»⁴⁴ — его вдруг скрутило. Бедный паралитик с таким дохлым, таким оцепеневшим, таким забитым видом мямлил насчет Bella Venere, что Пельтье откинулся назад в припадке безумного хохота и едва не опрокинул стол, лягнув его обеими ногами сразу.

По размышлении совет, который дал мне мой соотечественник, истинный герой другого моего соотечественника, Лесажа, показался мне не столь уж дурным. Три дня я наводил справки, а затем, обрядившись в платье, которое сшил мне портной, приисканный Пельтье, отправился в Беккыз, имея при себе небольшую сумму денег, данную взаймы Дебоффом в обмен на обещание снова взяться за «Опыт». Я изменил свое имя, которое не мог выговорить ни один англичанин, на имя Комбург, которое носил мой брат и которое напоминало мне о горестях и радостях ранней юности. Остановившись в гостинице, я вручил местному пастору письмо Дебоффа, пользовавшегося среди английских книгопродавцев большим уважением, каковое письмо рекомендовало меня как первоклассного ученого. Приняли меня прекрасно, я познакомился со всеми *джентльменами*, проживавшими в округе, и встретил двух соотечественников — офицеров королевского флота, дававших по соседству уроки французского языка.

8. *Мои занятия в провинции.— Смерть брата.— Несчастья моих родных.— Две Франции <...>*

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года.

Я вновь окреп; верховые прогулки, которые я теперь совершал, возвратили мне здоровье. Ближе узнав Англию, я убедился, что она уныла, но прелестна: повсюду одни и те же нравы, одни и те же виды. Господина де Комбурга приглашали на все праздники, на все увеселительные прогулки. Первой благой переменой в своей судьбе я обязан образованию. Прав был Цицерон, рекомендуя в пору жизненных невзгод литературные штудии. Дамы с восторгом принимали француза, с которым можно поговорить по-французски.

Несчастья моих родных, о которых я узнал из газет и которые открыли мое настоящее имя (ибо я не мог утаить своей скорби), усугубили участие во мне общества. Газетные листки возвестили о смерти господина де Мальзерба, его дочери, супруги господина президента де Розамбо, его внуки, госпожи графини де Шатобриан, и мужа его внуки, господина графа де Шатобриана, моего брата, — их казнили вместе, в один день и час, на одном эшафоте. Господин де Мальзерб был предметом восхищения и почтения англичан; мое родство с защитником Людовика XVI сделало моих хозяев еще доброхотнее.

Мой дядя де Беде сообщил мне о преследованиях, которым подверглись остальные мои родственники. Мою несравненную матушку вместе с другими

⁴⁴ Прекрасная Венера (*ит.*).

жертвами бросили в повозку и привезли из Бретани в парижскую тюрьму, где ей предстояло разделить судьбу сына, которого она так любила. Моя жена и моя сестра Люсиль ждали приговора в реннской тюрьме; их хотели заточить в замок Комбург, ставший казенной крепостью; преступление этих двух невинных молодых женщин заключалось в том, что я отправился в эмиграцию. Что были наши печали на чужбине сравнительно с горем французов, оставшихся на родине? Как же горько было, однако, узнать, томясь в изгнании, что само это изгнание послужило поводом для преследования твоих близких!

Два года тому обручальное кольцо моей невестки было подобрано в сточной канаве на улице Кассетт; мне принесли его; оно треснуло: два ободка были разомкнуты и висели, зацепившись друг за друга; имена можно было прочесть совершенно отчетливо. Как нашлось это кольцо? Где и когда оно потерялось? Быть может, жертву, томившуюся в тюрьме Люксембургского дворца, везли на казнь по улице Кассетт? Быть может, она уронила кольцо по пути на эшафот? А может, его сорвали с ее пальца после казни? Я пришел в сильное волнение при виде этого символа, трещиной и надписью напоминавшего о страшной участи, постигшей бедных супругов. Нечто таинственное и роковое угадывалось в этом кольце, которое невестка моя, казалось, послала мне с того света в память о ней и о моем брате. Я отдал кольцо их сыну: только бы оно не принесло ему несчастья!

〈Переписка Шатобриана с господином де Контансенем, обнаружившим в 1835 году текст приговора, вынесенного брату Шатобриана〉

Этот смертный приговор замечательно доказывает, с какой легкостью творились убийства: одни имена написаны с ошибками, другие вымараны. Эти внешние изъяны, которых достало бы, чтобы лишить силы самое пустяковое постановление, не останавливали палачей; для них важен был только час казни: *в пять часов ровно*. Вот подлинный документ, я переписываю его слово в слово:

«Исполнителю судебных приговоров
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ

Надлежит исполнителю судебных приговоров отправиться в дом правосудия в Консьержери, дабы привести в исполнение приговор, осуждающий Муссе, д'Эспремения, Шапелье, Туре, Элля, Ламуаньона Мальзерба, жену Лепеллетье Розамбо, Шато Бриана и его жену (имя вымарано, прочесть невозможно), вдову Дюшатле, жену Граммона, бывшего герцога, жену Рошешюара (Рошешуара) и Пармантье, — итого 14 — на смертную казнь. Казнь состоится сегодня, в пять часов ровно, на площади Революции сего города.

Общественный обвинитель А. К. Фужье.

Принято трибуналом 3 флореаля II года Французской республики. Две повозки».

9 термидора спасло жизнь моей матери; но о ней забыли, и она оставалась в Консьержери *. Комиссар Конвента обнаружил ее: «Что ты тут делаешь, гражданка? — спросил он. — Кто ты? Почему ты до сих пор здесь?» Матушка отвечала, что, потеряв сына, не заботится о том, что происходит, и что ей безразлично, где умереть: в тюрьме или на воле. «Но, может быть, у тебя есть другие дети?» — возразил комиссар. Мать назвала мою жену и сестер, томящихся в реннской тюрьме. Последовал приказ выпустить их; заставили выйти на свободу и матушку.

Историки Революции забыли рядом с изображением того, что творилось внутри Франции, поместить изображение того, что творилось за ее пределами, показать сонм изгнанников, берущихся за разные ремесла и претерпевающих разные муки в зависимости от климата и нравов приютивших их народов.

За пределами Франции все происходило с отдельными личностями: взлеты и падения, скрытые от мира печали, безмолвные и бескорыстные жертвы, и, однако, при всей разноликости эмигрантов, среди которых были люди всех сословий, всех возрастов, обоих полов, они сохраняли одну незыблемую идею; старая Франция скиталась по свету со своими предрассудками и своими слугами, как некогда Божья церковь бродила по земле со своими добродетелями и своими мучениками.

Внутри Франции все происходило с обществом в целом: Барер призывал к убийствам и завоеваниям, гражданским войнам и войнам с другими странами, происходили грандиозные сражения в Вандее и на берегах Рейна, троны рушились при приближении нашей армии, наш флот тонул в волнах, народ вышвыривал монархов из их гробниц в Сен-Дени и бросал прах мертвых королей в лицо королям живым, дабы ослепить их; новая Франция, славная своими новыми свободами, гордая даже своими преступлениями, прочно стояла на своей земле, продолжая при этом расширять свои границы с помощью двойного оружия — топора палача и шпаги солдата.

⟨Письма выздоровевшего Энгана⟩

9. Шарлотта

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

В четырех лье от Бекклза в маленьком городке под названием Бангей жил англиканский пастор преподобный господин Айвз, великий знаток греческих древностей и математики. У него была еще нестарая жена, красавица и умница, и единственная дочь пятнадцати лет. Меня представили Айвзам, и в их

доме я встретил самый радушный прием. Мы пили на манер старых англичан и после ухода дам просиживали за столом еще часа два. Господин Айвз, побывавший в Америке, любил рассказывать о своих путешествиях, слушать рассказы о моих, беседовать о Ньютоне и Гомере. Дочь пастора, в угоду ему постигавшая науки, была превосходной музыкантшей и пела не хуже госпожи Паста. Она вновь присоединялась к нам за чаем и разгоняла сон старого священника, подававшего нам весьма заразительный пример. Облокотившись о пианино, затаив дыхание, я слушал мисс Айвз.

Закончив музицировать, young lady⁴⁵ расспрашивала меня о Франции, о литературе; она просила начертать ей план занятий; больше всего ей хотелось изучить итальянских авторов, и она ждала от меня пояснений касательно «Божественной комедии» и «Иерусалима». Робкое очарование душевной привязанности постепенно забирало надо мною власть: некогда я наряжал индианок, но я не осмелился бы поднять перчатку мисс Айвз; переводя некоторые отрывки из Тассо, я сгорал от смущения. С Данте, гением более целомудренным и мужественным, мне было проще.

Мы с Шарлоттой Айвз подходили друг другу по летам. В связи, возникающие посредине жизненного пути, вкрадывается некая *меланхолия*; если вы узнали любовь в зрелом возрасте, большая часть ваших воспоминаний чужда вашей избраннице; дни, проведенные в другом кругу, тягостны для памяти и словно бы отсечены от нашего существования. Если влюбленных разделяют годы, сложности множатся: старший начал жить прежде, чем младший появился на свет; младшему суждено, в свою очередь, рано или поздно остаться одному; первый познал одиночество по эту сторону колыбели, второго одиночество ждет по ту сторону могилы; для первого пустыней было прошлое, для второго пустыней станет будущее. Трудно любить, даже когда есть все условия для счастья: юность, красота, досуг, согласие сердец, вкусов, нравов, манер и лет.

Упав с лошади, я принужден был прожить в доме господина Айвза несколько времени. Была зима; грезы начинали отступать перед существенностью. Мисс Айвз стала более сдержанной; она больше не приносила мне цветов; она не желала петь.

Если бы мне сказали, что остаток моих дней я проведу, неизвестный никем, в лоне этого удаленного от света семейства, я умер бы от радости: любви недостает лишь прочности, дабы обернуться Эдемом до грехопадения и бесконечной Осанной разом. Сделайте красоту непреходящей, молодость долговечной, сердце не ведающим усталости, и вы обретете райское блаженство. Любовь — верховная нега, отчего и сопутствует ей тщетная мечта пребывать таковой вечно; ей потребны одни лишь нерушимые клятвы; за отсутствием

⁴⁵ Юная леди (англ.).

радостей она старается увековечить свои горести; обратившись в падшего ангела, она продолжает говорить языком, каким говорила в обиталище непорочности; ее надежда — никогда не кончаться; повинувшись своей двойственной земной природе и двойственной же земной иллюзии, она стремится продолжить свою жизнь в бессмертных мыслях и сменяющихся поколениях.

Я с грустью видел, что приближается миг, когда мне придется покинуть гостеприимный кров господина Айвза. Обед накануне моего отъезда прошел безрадостно. Глава семьи, к моему большому удивлению, удалился сразу после десерта и увел с собою дочь, оставив меня сам-друг с госпожой Айвз. Она была в чрезвычайном замешательстве. Я ожидал упреков в привязанности, которую она могла заметить, но о которой я никогда не говорил. Она взглядывала на меня, опускала глаза, краснела; сама она, пленительная в своем смущении, могла бы пробудить к себе чувство сколь угодно пылкое. Наконец, с трудом справляясь с волнением, мешавшим ей говорить, она произнесла по-английски: «Сударь, вы видели мое стеснение: не знаю, нравится ли вам Шарлотта, но мать обмануть невозможно; моя дочь несомненно питает к вам привязанность. Мы посоветовались с господином Айвзом: вы подходите нам во всех отношениях; мы думаем, что с вами наша дочь будет счастлива. У вас больше нет отечества; вы потеряли родных; имущество ваше продано: стоит ли вам стремиться во Францию? После нашей смерти состояние наше отойдет Шарлотте, а пока живите с нами».

Из всех испытаний, выпавших мне на долю, это было самым сокрушительным и суровым. Я бросился к ногам госпожи Айвз, я осыпал ее руки поцелуями и оросил слезами. Она думала, что я плачу от счастья, и зарыдала от радости. Она протянула руку, чтобы дернуть за шнурок звонка; она хотела позвать мужа и дочь. «Остановитесь! — воскликнул я. — Я женат!» Она лишилась чувств.

Я вышел и, не заходя в свою комнату, пешком отправился в Бекклз. Оттуда я на почтовых уехал в Лондон, написав госпоже Айвз письмо, копии которого, к сожалению, не сохранил.

В груди моей живет самое сладостное, самое нежное, самое теплое воспоминание об этом событии. Семья господина Айвза — единственная, которая желала мне добра и приняла меня с подлинной сердечностью прежде, чем я прославился. Бедный, безвестный изгнанник, не обольститель, не красавец, я мог обрести уверенность в завтрашнем дне, отечество, прелестную супругу, способную излечить меня от одиночества, мать, красотой почти не уступающую дочери и могущую заменить мою старую матушку, просвещенного отца, сочинителя и любителя словесности, достойного занять место родного отца, отнятого у меня небом; чем отплатил я за все это? Мне отдали предпочтение, не питая никаких иллюзий; значит, я был любим. С той поры я лишь единожды в жизни встретил привязанность, которая была достаточно возвышенна, чтобы

внушить мне такое же доверие *. Что касается участия, которое мне случилось встречать впоследствии, я никогда не знал наверняка, не внешние ли причины, не шум ли славы, не интересы ли партий, не блеск ли литературной или политической известности были причиной этой предупредительности.

Впрочем, женитьба на Шарlotte Айвз изменила бы мою земную участь: похоронив себя в одном из британских графств, я сделался бы *джентльменом-охотником*, из-под моего пера не вышло бы ни строки; более того, я забыл бы родной язык, ибо начинал уже писать и думать по-английски. Много ли потеряло бы мое отечество с моим исчезновением? Если бы я мог забыть о том, что стало мне утешением, я сказал бы, что, останься я в Англии, на мою долю выпало бы вместо многих тревожных дней множество дней покойных. Империя, Реставрация, распри и междуусобицы, терзающие Францию, — до всего этого мне не было бы никакого дела. Мне не было бы нужды каждое утро исправлять ошибки, сражаться с заблуждениями. Верно ли, что я наделен подлинным талантом и что талант этот стоил того, чтобы принести ему в жертву мою жизнь? Переживут ли меня мои сочинения? Если переживут, найдется ли в преобразившемся и занятом совсем иными вещами мире публика, которая пожелает меня слушать? Не окажусь ли я обломком былых времен, непонятным новым поколениям? Не покажутся ли презрительному потомству мои мысли, чувства, даже мой стиль отжившими и скучными? Сможет ли моя тень сказать, как сказала Данте тень Вергилия: «Poeta fui e cantai — Я был поэт и верил песнопенью»⁴⁶.

10. Возвращение в Лондон

Возвращение в Лондон не принесло мне покоя: я бежал своей судьбы, словно злоумышленник памяти о своем преступлении. Как, верно, тягостно было семейству, столь достойному моего почтения, уважения, признательности, услышать подобный отказ из уст незнакомца, которого оно приветило, приняло в свой семейный круг с патриархальной простотой, доверчивостью и безоглядностью! Я представлял себе огорчение Шарлотты, справедливые упреки, которыми могли осыпать и безусловно осыпали меня в доме Айвзов: ведь, как бы там ни было, я имел слабость поддаться влечению, зная, что не имею на то никакого права. Неужели я, сам не отдавая себе отчета в предосудительности своего поведения, предпринял робкую попытку обольстить девушку? Впрочем, как бы я ни поступил, остановился бы, дабы сохранить звание порядочного человека, или пренебрег препонами, дабы вкусить наслаждение, заведомо обреченное на позор моим же собственным поведением, я в любом случае обрек

⁴⁶ Данте. Ад, 1, 73; пер. М. Лозинского.

бы предмет своих домогательств на муки, будь то угрызения совести либо терзания боли.

Эти горькие размышления рождали в моей душе другие чувства, исполненные не меньшей горечи: я проклинал свою женитьбу, которая, как мнилось моему заблудшему, помутившемуся уму, изменила мою участь и лишила меня счастья. Я не задумывался о том, что моя страждущая натура и романтические представления о свободе сделали бы союз с мисс Айвз столь же тягостным для меня, сколь и узы менее стеснительные.

Лишь один образ, незамутненный и пленительный, хотя и навевающий глубокую печаль, жил в моем сердце,— образ Шарлотты; в конце концов лишь он один примирял меня с судьбой. Мне сотню раз хотелось вернуться в Бангей, но не переступить порога оскорбленного мною семейства, а, спрятавшись у обочины дороги, подстеречь Шарлотту, войти вслед за нею в храм, где ждал нас если и не общий алтарь, то общий Бог, и с соизволения небес сообщить этой женщине неизъяснимый жар моей мольбы, произнеся, пусть в мыслях, слова свадебного благословения, которые я мог бы услышать из уст пастора в этом храме:

«Господи, соедини умы супругов и наполни их сердца искреннею дружбой. Обрати благосклонный взор на твою слугу. Сделай так, чтобы ярмо ее стало ярмом любви и мира, чтобы чрево ее стало плодоносно; Господи, сделай так, чтобы супруги эти узрели детей своих до третьего и четвертого колена и дожили до счастливой старости».

Я не знал, на что решиться, я писал Шарлотте длинные письма и рвал их. Несколько ничего не значащих записок, которые я получил от нее, сделались моим талисманом; в мыслях моих Шарлотта всегда была рядом со мной: грациозная, нежная, она, подобно сильфиде, сопровождала меня, очищая мои помыслы. Все мои способности были посвящены ей: она была средоточием, куда стремился мой дух, как стремится кровь к сердцу; она отвращала меня от всего, ибо я постоянно сравнивал все с нею и она неизменно оказывалась выше. Страсть неподдельная и несчастная — отравленная закваска, которая таится на дне души и может испортить даже хлеб ангелов.

Места, где я побывал вместе с Шарлоттой, часы, проведенные с нею, слова, которыми мы обменялись, запечатлелись в моей памяти: я видел улыбку суженой, я почтительно касался ее темных волос, я прижимал ее прекрасные руки к своей груди, так же как и цепочку из лилий, которую с радостью носил бы на шее. Как бы далеко ни заносила меня судьба, белорукая Шарлотта неотступно следовала за мной. Я чувствовал ее присутствие, как ощущают ночью запах невидимых в темноте цветов.

После отъезда Энгана я стал еще более одинок, чем прежде, и был волен не разлучаться с образом Шарлотты. На расстоянии тридцати миль от Лондона нет ни одной вересковой пустоши, дороги, церкви, которую бы я не посетил.

Меня влекли безлюдные уголки, заросшие бурьяном дворы, ров, ошетилившийся чертополохом; я любил заброшенные места: люди обходили их стороной, а между тем где-то рядом уже ступал по здешней земле Байрон *. Подперев голову рукой, я смотрел на запустелую природу; когда это тягостное зрелище чересчур удручало меня, на помощь мне спешило воспоминание о Шарлотте; я был словно паломник, который, придя в уединенные окрестности горы Синай, услышал пение соловья.

В Лондоне поведение мое всех удивило. Я ни на кого не глядел, никому не отвечал, не понимал, о чем со мной говорят: мои старые товарищи подозревали, что мною овладело безумие.

11. Удивительная встреча

Что произошло в Бангее после моего отъезда? Что случилось с этой семьей, которой я принес радость и горе?

Не забывайте, что нынче я посол при дворе Георга IV и описываю то, что случилось со мною в Лондоне 1795 года, в Лондоне 1822 года.

Дела заставили меня на неделю прервать свое повествование, но сегодня я вновь берусь за перо. В один из недавних дней вскоре после полудня мой слуга доложил мне, что перед моим домом остановилась карета и какая-то дама-англичанка просит принять ее. Поскольку на своем общественном поприще я взял себе за право никому не отказывать, я сказал: «Проси».

Я сидел у себя в кабинете, лакей объявил леди Салтон *; я увидел даму в трауре; ее сопровождали два красивых мальчика, также в трауре: одному было лет шестнадцать, другому — лет четырнадцать. Я сделал шаг навстречу иностранке; она так волновалась, что едва держалась на ногах. Дрогнувшим голосом она спросила: «Mylord, do you remember me? — Узнаете ли вы меня?» Да, я узнал мисс Айвз! Годы, пронесшиеся над ее головой, не тронули ее весны. Я взял ее за руку, усадил и сел рядом. Я не мог говорить; в глазах у меня стояли слезы; сквозь эти слезы я молча глядел на нее; по тому, что я чувствовал, я понимал, как глубоко любил ее. Наконец я овладел собою и, в свою очередь, спросил: «А вы, сударыня, узнаете ли вы меня?» Она подняла глаза и вместо ответа бросила на меня взгляд и радостный и грустный, подобно давнему воспоминанию. Я не отпускал ее руки. Шарлотта сказала: «Я ношу траур по матушке *. Отец умер несколько лет назад. Вот мои дети». При последних словах она отняла руку и откинулась в кресле, прижав платок к глазам.

Помолчав, она продолжила: «Милорд, я говорю сейчас с вами на языке, которому вы учили меня в Бангее. Я робею: простите меня. Мои дети — сыновья адмирала Салтона, за которого я вышла через три года после того, как

вы покинули Англию *. Но сегодня я слишком взволнована, чтобы вдаваться в подробности. Позвольте мне прийти еще раз». Подавая ей руку, чтобы проводить ее до кареты, я спросил, где она живет. Шарлотту била дрожь, и я прижал ее руку к своему сердцу.

Назавтра я отправился к леди Салтон; она была одна. И тут мы принялись наперебой спрашивать друг у друга. «А помните?» — и за этими вопросами вставала целая жизнь. При каждом «А помните?» мы вглядывались друг в друга; мы искали на наших лицах следы времени, которые неумолимо отмеряют расстояние от исходной точки и указывают длину пройденного пути. Я спросил Шарлотту: «Как ваша матушка сообщила вам, что...» Шарлотта зарделась и живо перебила меня: «Я приехала в Лондон, чтобы просить вас принять участие в детях адмирала Салтона: старший хотел бы поехать в Бомбей. Господин Каннинг, назначенный генерал-губернатором обеих Индий *, ваш друг; он мог бы взять моего сына с собой. Я буду весьма признательна, я бы так хотела быть обязанной вам счастьем своего первенца». Она сделала ударение на последних словах.

— Ах, сударыня! — воскликнул я, — о чем вы говорите? Какая превратность судьбы! Вы радушно принимали за семейным столом бедного изгнанника, вы не были глухи к его страданиям, вы, верно, надеялись возвысить его до почетного звания, о котором он не мог и мечтать, — и вот сегодня вы в своем отечестве просите его покровительства. Я пойду к господину Каннингу, я сделаю все, что в моих силах, чтобы сын ваш, как ни тяжело мне произносить это слово, так вот, чтобы сын ваш поехал в Индию. Но скажите мне, сударыня, что вы думаете касательно моего нового положения? Каким кажуся я вам сегодня? Вы говорите мне «милорд» — мне тяжело слышать это слово.

— По-моему, вы нимало не изменились, даже не постарели, — возразила Шарлотта. — Когда мы дома говорили о вас в ваше отсутствие, я всегда называла вас милордом; мне казалось, что вы заслуживаете этого звания: разве не были вы для меня как бы мужем, *my lord and master*, моим господином и повелителем?

Когда моя прелестная собеседница произносила эти слова, в ней было что-то от мильтоновской Евы: она не вышла из лона другой женщины; красота ее носила печать создавшей ее божественной десницы.

Я бросился к господину Каннингу и лорду Лондондерри; из-за одного несчастного места они стали чиниться, как делают это и во Франции, но пообещали помочь, как обещают и при французском дворе. Я дал леди Салтон отчет в своих хлопотах. Я приходил к ней трижды: при моем четвертом посещении она объявила, что возвращается в Бангей. Последнее свидание было мучительно. Шарлотта вновь заговорила о нашей прошлой сокровенной жизни,

о читанных вместе книгах, о прогулках, музыке, прежних цветах, былых надеждах. «Когда я вас узнала, никто не слышал вашего имени,— сказала она,— а нынче оно у всех на устах. Известно ли вам, что я храню одно ваше сочинение и несколько писем? Вот они». И она вручила мне пакет. «Не обижайтесь, что я не хочу ничего оставить на память о вас»,— и она заплакала. «Farewell! Farewell!»⁴⁷— сказала она,— не забудьте о моем сыне. Больше мы не увидимся, ведь вы же не приедете ко мне в Бангей».— «Я приеду,— воскликнул я,— я привезу вам бумагу о назначении вашего сына на должность». Она недоверчиво покачала головой и вышла.

Вернувшись в посольство, я заперся у себя в кабинете и вскрыл пакет. В нем не было ничего, кроме пустяковых записок да плана учебных занятий с заметками об английских и итальянских поэтах. Я надеялся найти там письмо от Шарлотты, но его не было; правда, я заметил на полях рукописи несколько помет по-английски, по-французски и по-латыни, но, сделанные старыми чернилами и молодым почерком, они были оставлены давно.

Вот история моих отношений с мисс Айвз. Я заканчиваю рассказ, и мне чудится, будто на том же острове, где я однажды потерял ее, я теряю ее вновь. Но между тем, что я питаю к ней ныне, и тем, что я испытывал в часы, о которых вспоминаю с нежностью, пролегла вся пропасть невинности: леди Салтон отделяют от мисс Айвз страсти. Сегодня простосердечная женщина уже не возбудила бы во мне чистых желаний любви почти сказочной и сладостной своим неведением. В ту пору я писал о смутных печалях, теперь жизнь моя определилась. Что ж! если бы сжал в объятиях ту, что встретила меня девою, но стала супругой и матерью, то сделал бы это с яростью, в надежде заклеить, отравить и задушить эти двадцать семь лет, обещанных мне, но отданных другому.

Чувство, воскрешенное мною на этих страницах, следует считать первым чувством такого рода, пробудившимся в моем сердце; однако оно мало подошло моей бурной натуре; она погубила бы его; очень скоро оно помешало бы мне вкушать священные улады. Именно в ту пору озлобленного несчастьями, возвратившегося из заморских краев и пустившегося в одинокое странствие путника охватили безумные мысли, составившие тайну Рене, именно в ту пору я стал самым мятущимся существом из всех, когда-либо живших на земле. Как бы там ни было, целомудренный образ Шарлотты, озарив глубины моей души лучами подлинного света, рассеял на время стаю призраков: моя колдунья, словно злой гений, канула в бездну; она выжидала, пока этот образ потускнеет, и лишь затем появилась вновь.

⁴⁷ Прощайте! Прощайте! (англ.)

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

Просмотрено в декабре 1846 года

1. Изъян моего характера

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Я никогда не порывал окончательно отношений с Дебоффом, издателем «Опыта о революциях», и мне следовало бы как можно скорее восстановить их, чтобы получить средства на жизнь. Но отчего стряслось со мной последнее несчастье? Дабы понять это, надо вникнуть в мой характер.

Я решительно не способен преодолеть сдержанность и внутреннюю замкнутость, мешающие мне говорить о том, что касается меня самого. Никто не может утверждать, не солгав, что я поделился с ним теми чувствами, какими большая часть людей делится в порыве отчаяния, восторга или тщеславия. Заветное имя, более или менее серьезное признание никогда или почти никогда не срываются с моих уст. Я никогда не обсуждаю со случайными знакомыми свои интересы, намерения, труды, мысли, привязанности, радости и горести, ибо убежден, что людям отменно скучно слушать рассказы о чужих делах. Я искренен и правдив, но мне недостает открытости сердца: душа моя стремится сберечь свою тайну; я никогда не говорю все до конца, и полностью жизнь моя высказалась только в этих записках. Если я начинаю рассказ, мысль о его длине вдруг ужасает меня; сказав три слова, я ощущаю, что не могу выносить звук собственного голоса, и умолкаю. Поскольку я не верю ни во что, кроме религии, я всего опасюсь: недоброхотство и злоречие — две отличительные черты французского духа; наградой за откровенность служат у нас насмешки и клевета.

Но что принесла мне моя сдержанность? Только репутацию человека совершенно вздорного, не соответствующую действительности и рожденную моей непроницаемостью. Даже мои друзья заблуждаются, когда, желая лучше познакомиться со мной окружающих, из самых добрых побуждений приукрашивают мой образ. Все посредственности, околачивающиеся в приемных знати, в конторах, редакциях и кафе, предполагали во мне честолюбие, которого я начисто лишен. Холодный и сухой в обыденной жизни, я отнюдь не склонен к восторгам и чувствительности: быстро и четко постигнув суть деяний и характеров, я сбрасываю их с пьедестала. Воображение мое, далекое от того, чтобы побуждать меня идеализировать положительные истины, умаляет самые высокие события, спускает меня с небес на землю; прежде всего я замечаю низменную и смешную сторону вещей; великих гениев и великих деяний для меня почти не существует. Имея дело с бахвалами, объявляющими себя высшими умами,

я учтив, льстив, восторжен, но в душе презираю их и, смеясь, надеваю на все эти лица, которым сам же воскурял фимиам, маски Калло. В политике пылкость моих убеждений неизменно ограничивалась пределами речи или брошюры. В жизни внутренней и теоретической я человек мечты; в жизни внешней и практической — человек действительности. Дерзновенный и рассудительный, страстный и педантичный, я самый большой мечтатель и самый большой скептик, существо самое пламенное и самое ледяное, странный гермафродит, плод смешения крови моего отца и моей матери, столь несхожих друг с другом.

Портреты мои совершенно на меня не похожи, чему виной моя немногословность. Толпа чересчур легкомысленна, чересчур невнимательна, чтобы дать себе труд взглянуть в человека, о котором ей мало что известно, и видеть людей такими, какие они есть. Когда я попытался ненароком опровергнуть кое-какие из ложных суждений на мой счет в моих предисловиях, мне не поверили. Поскольку в конечном счете мне все безразлично, я не настаивал; фраза «как вам угодно» неизменно избавляет меня от скучных стараний кого-либо в чем-либо убеждать или пытаться восстановить истину. Я прячусь в недра своей души, как заяц в глубь норы: там я предаюсь созерцанию дрожащего листа или клонящейся былинки.

Я не считаю свою осмотрительность, столь же неодолимую, сколь и невольную, заслугой; она вовсе не притворна, хотя и кажется таковой; натурам более счастливым, более обходительным, более легким, более простодушным, более речистым, более сообщительным, чем моя, подобная осмотрительность чужда. Часто она вредила мне в чувствах и делах, ибо я терпеть не могу объяснений, заверений в дружбе и выяснения отношений, сетований и слез, пустословия и упреков, мелочных счетов и безудержных восхвалений.

В случае с семейством Айвз мое упорное молчание оказалось пагубным. Мать Шарлотты двадцать раз расспрашивала меня о моих родных и вызывала на откровенность. Не предвидя, куда заведет меня скрытность, я, по обыкновению, ограничивался ответами краткими и расплывчатыми. Не будь у меня этой скверной черты, недоразумение скоро разъяснилось бы и я не выглядел бы человеком, желающим обмануть самое великодушное гостеприимство; конечно, в решительный миг я сказал правду, но это не искупает моей вины: зло, которое я причинил, не перестало быть злом.

Сожаления и угрызения совести не помешали мне вернуться к работе над «Опытном». Я был даже рад продолжить свой труд, ибо мне пришло в голову, что если я приобрету известность, семейство Айвз будет не так горько раскаиваться в участии, которое оно во мне приняло. Шарлотта, с которой слава могла бы меня примирить, направляла мое перо. Ее образ стоял передо мной, когда я писал. Отрывая глаза от бумаги, я видел перед собою обожаемые черты, словно модель и вправду была рядом. Жители острова Цейлон увидели

однажды утром, как дневное светило взошло с необычайной торжественностью, шар его раскрылся и оттуда вышло сияющее существо, сказавшее цейлонцам: «Отныне я буду царить над вами». Шарлотта, явившаяся в луче света, царила надо мной.

Оставим воспоминания; они отживают свой век и умирают, как и надежды. Жизнь моя переменится, она пройдет под другими небесами, в других юдолях. Первая любовь моей юности, ты убегаешь, и чары твои рассеиваются! Конечно, я увиделся с Шарлоттой, но через сколько лет? Тихий свет прошедшего, бледная роза сумерек, расцветшая на краю ночного неба через много часов после заката.

2. «Исторический опыт о революциях». — Его воздействие. <...>

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Люди (и я первый) представляют себе жизнь как гору: на нее взбираются с одной стороны и спускаются с другой; столь же справедливо сравнить ее с ледником на голой вершине, откуда нет возврата. Если согласиться с этим сравнением, получится, что путник все время поднимается, а до спуска дело не доходит; сверху он лучше видит пройденный путь, тропинки, которые он не выбирал и которые вели его по пологому склону; с сожалением и болью смотрит он на точку, где сбился с дороги. Для меня первым шагом, отвратившим меня от мирной жизни, явилась именно публикация «Исторического опыта». Я закончил первую часть задуманного труда; я поставил точку, пребывая во власти мысли о смерти (я снова заболел) и развеявшейся мечты: «In somnis venit imago conjugis»⁴⁸. Напечатанный у Бейли, «Опыт» вышел у Дебоффа в 1797 году. Эта дата знаменует поворот в моей жизни. Есть мгновения, когда судьба наша, уступая ли обществу, повинуюсь ли природе, начиная ли лепить из нас то, чем мы призваны быть, внезапно сворачивает с прежнего пути, словно река, которая вдруг делает излучину.

«Опыт» подвел итоги моего существования как поэта, моралиста, публициста и политика. Я, понятно, надеялся — по крайней мере, настолько, насколько я вообще способен надеяться, — на большой успех книги: мы, авторы, мелкие чудеса чудесной эпохи, мним, что можем поддерживать духовные связи с будущими поколениями; но, боюсь, не зная толком, где будут жить потомки, мы допускаем ошибку в адресе. Когда мы уснем вечным сном, смерть так заморозит наши письма и песнопения, что они, не в пример *замерзшим словам*, описанным Рабле*, никогда не растают.

«Опыт» должен был стать своего рода исторической энциклопедией.

⁴⁸ Но однажды во сне явился ей призрак супруга (лат.; Вергилий. Энеида, I, 353; пер. С. Ошерова).

Единственный изданный том представляет собою довольно обширное исследование; продолжение осталось в рукописи; затем предполагалось поместить рядом с изысканиями и пояснениями летописца эпос и лирику — «Натчезов» и проч. Я сам с трудом постигаю нынче, как мне удавалось находить время для столь серьезных штудий среди деятельного, бродячего, полного стольких превратностей существования. Объяснение этой плодовитости — моя страсть к труду: в юности я часто просиживал за столом по двенадцать — пятнадцать часов кряду; я десятки раз переписывал одну страницу. Годы не уменьшили моего прилежания: я и поныне собственноручно веду всю дипломатическую переписку, не прекращая при этом своих литературных занятий.

«Опыт» наделал шуму в эмиграции: он расходился с чувствами моих товарищей по несчастью; моя независимость в суждениях по многим общественным вопросам чаще всего ранила людей, живших подле меня. Мне довелось быть предводителем различных армий, чьи солдаты не были моими единомышленниками: я вел старых роялистов на завоевание общественных свобод, прежде всего свободы печати, которую они ненавидели; во имя той же свободы я сплотил либералов под знаменем Бурбонов, которых они терпеть не могли. Случилось так, что эмигрантскому общественному мнению пришлось приветить меня: поскольку английские журналы отзывались обо мне с похвалой, все *правоверные* сочли себя польщенными.

〈Английское и эмигрантское светское общество; успех в нем Шатобриана〉

3. 〈...〉 *Вандейский крестьянин*

〈Дружба с Фонтаном, «последним поэтом классической школы»〉

Господин дю Тей, лондонский поверенный в делах господина графа д'Артуа, поспешил отыскать Фонтана: тот попросил отвести его к представителю принцев. Этого последнего мы застали в окружении всех тех защитников трона и алтаря, что слонялись по Пикадилли, всех тех шпионов и проходимцев, что под разными именами и в разных обличьих ускользнули из Парижа, а также своры бельгийских, германских, ирландских искателей приключений, торгующих контрреволюцией. В углу сидел человек лет тридцати-тридцати двух — никто не обращал на него внимания, сам же он не сводил глаз с гравюры, изображающей смерть генерала Вольфа. Пораженный его видом, я спросил, кто это; один из моих соседей ответил: «Никто — вандейский крестьянин, который привез письмо от своих вождей».

Этот *никто* видел, как погибли Кателино, первый генерал Вандеи, такой же крестьянин, как он; Боншан, современный Баярд; Лескюр, чья властяница не спасала от пуль; д'Эльбе, расстрелянный в кресле, ибо раны не позволяли ему встретить смерть стоя; Ларошжаклен, чьему трупу патриоты приказали устро-

ить *проверку*, дабы победоносный Конвент мог быть совершенно убежден в его смерти; этот *никто* двести раз ходил в атаку, занимая и отбивая города, деревни и редуты; участвовал в семистах стычках и семнадцати боях, сражался с трехсоттысячной регулярной армией, шестьюстами или семьюстами тысячами рекрутов и национальных гвардейцев; он помог захватить пятьсот пушек и сто пятьдесят тысяч ружей, испытал на себе действие *адских колонн* — поджигателей, предводительствуемых членами Конвента, побывал в океане огня, трижды захлестывавшего вандейские леса; наконец, он видел, как погибли триста тысяч богатырей, его братьев по плугу, и как превратились в выжженную пустыню сто квадратных лье плодородных земель.

Две Франции столкнулись на этой земле, выровненной ими. Все те, в чьих жилах текла кровь рыцарей-крестоносцев, а в душе жила память о крестовых походах, вступили в бой с теми, в чьих жилах текла новая кровь, а в душе жили надежды на революционную Францию. Победитель почувствовал величие побежденного. Тюро, вождь республиканцев, говорил, что «вандейцы займут в истории почетное место среди народов-воителей». Другой генерал писал Мерлену из Тионвиля: «Войско, которое разбило таких французов, может льстить себя надеждой одолеть все другие народы». Легионы Проба в своей песне отзывались так же о наших предках. Бонапарт назвал сражения в Вандее «борьбой гигантов».

В сутолоке приемной я был единственным, кто с восхищением и почтением смотрел на представителя этих старинных *Жаков*, которые, хотя и свергли иго своих сеньоров, отражали при Карле V иноземное вторжение: мне казалось, будто я вижу дитя тех коммун времен Карла VII, которые вместе с мелким провинциальным дворянством пядь за пядью, борозду за бороздой отвоевывали у врага землю Франции *. На лице его было написано равнодушие дикаря; глаза смотрели неприветливо и сурово, словно секли железным прутом; губы были сжаты, и нижняя чуть подрагивала; волосы ниспадали, словно застывшие, но готовые ожить змеи; по опущенным, нервно подрагивающим рукам, запястья которых были покрыты шрамами, этого человека можно было принять за пильщика. Лицо его обличало простонародную деревенскую натуру, поднявшуюся волею нравственных обстоятельств на защиту интересов и идей, этой натуре чуждых; врожденная вассальная верность, простодушная христианская набожность смешивались в нем с грубой плебейской свободой и привычкой уважать себя и не прощать обид. Чувство независимости казалось в нем всего лишь сознанием силы своих рук и неустрашимости сердца. Он был не разговорчивее льва; он чесался, как лев, зевал, как лев, поворачивался с боку на бок, как скупающий лев, и, вероятно, мечтал о крови и лесах: дух его был духом смерти.

Из каких людей состояли тогда все политические партии! Куда до них нынешнему поколению?! Но республиканцы отстаивали свои убеждения, убеж-

дения своей среды, меж тем как убеждения роялистов зиждидлись на верности власти, находящейся за пределами Франции. Вандейцы слали гонцов к эмигрантам; гиганты шли за вождями к пигмеям. Сельский посланец, которого я созерцал, схватил Революцию за глотку и крикнул: «Входите, она не сделает вам никакого зла, она не двинется с места, я держу ее». Никто не пришел: тогда Жак Простак отпустил Революцию, а Шаррет переломил свою шпагу.

⟨Загородные прогулки с Фонтаном; он уезжает во Францию и с дороги шлет Шатобриану письмо с уверениями в том, что автору «Натчевов» суждено великое будущее⟩

Это первое, исполненное участия письмо моего первого друга, который с тех пор шел рядом со мной по жизни еще двадцать три года, служит мне горестным напоминанием о той пустыне, которая все дальше и дальше растилается вокруг меня. Фонтана уже нет на свете; глубокая печаль, рожденная трагической гибелью сына, до времени свела его в могилу.

Почти все люди, о которых я говорю в моих «Записках», ушли из жизни, и книга моя — книга записи умерших. Пройдет еще несколько лет, и некому будет вписать в скорбный перечень мое имя.

Но если мне суждено остаться одному, если никто из близких не переживет меня и не сможет проводить в последний путь, что ж — я лучше, чем любой другой, сумею обойтись без проводника: я изучил подступы, я исследовал местность, где пролегает дорога, я пожелал увидеть то, что случается в последний миг. Часто на краю могилы, куда опускали гроб, я слышал скрип веревок; затем раздавался стук первого кома земли, упавшего на гроб: с каждым новым комом звук становился глуше; заполняя могилу, земля постепенно обволакивала гроб вечным безмолвием.

Фонтан! Вы написали мне: «Пусть музы наши навсегда останутся подругами»; призывы ваши не пропали втуне.

4. Смерть матушки. — Возвращение в лоно религии

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Alloquar? audiero nunquam tua verba loquentem?
Nunquam ego te, vita frater amabilior,
Aspiciam posthac? at, certe, semper amabo!

Если к тебе обращусь, твоих не услышу рассказов,
Брат мой, кого я сильней собственной жизни любил,
Видеть не буду тебя, но любить по-прежнему буду⁴⁹.

⁴⁹ Катулл, 65, 9—11; пер. С. Шервинского.

Только что я простился с другом, теперь мне предстоит проститься с матерью: наш удел — вечно твердить слова, которые Катулл обращает к брату. В нашей юдоли слез, как и в аду, слышна некая вечная мольба, составляющая сущность, сердцевину человеческих жалоб; она звучит без конца и не затихает, даже если смолкнут все земные горести.

Письмо от Жюли, которое я получил вслед за письмом Фонтана, подтвердило мое грустное замечание о том, что вокруг меня расстилается пустыня. Фонтан призывал меня «трудиться», «стать знаменитым»; сестра убеждала «бросить сочинительство»: один предлагал мне славу, другая — забвение. Я уже говорил об образе мыслей госпожи де Фарси; она возненавидела литературу, ибо рассматривала ее как одно из подстерегающих ее самое искушений.

«Сен-Серван, 1 июля 1798 года.

Друг мой, мы потеряли лучшую из матерей; с прискорбием сообщаю тебе о постигшем нас горе. Пока мы живы, мы будем неустанно молиться за тебя. Если бы ты знал, сколько слез пролила наша почтенная матушка из-за твоих заблуждений, сколь огорчительны они для всех, кем руководит не только вера, но и разум; если бы ты знал это, то, быть может, прозрел и бросил сочинительство, а если бы небо, тронутое нашими мольбами, позволило нам соединиться, ты обрел бы среди нас все счастье, какое можно обрести на земле; ты подарил бы счастье и нам, ибо для нас его нет, пока тебя нет с нами и пока мы тревожимся за твою судьбу».

Ах! зачем я не послушался сестру! Зачем продолжал писать? Что изменилось бы в истории и духе моего века без моих сочинений?

Итак, я свел в могилу мать; итак, я омрачил ее предсмертный час! Чем был я занят в Лондоне, когда она испускала последний вздох вдали от своего младшего сына, молясь за него? Быть может, я прогуливался утром по холодку, а в этот миг на материнском челе выступил смертный пот и не было рядом моей руки, чтобы отереть его!

Я хранил глубокую привязанность к госпоже де Шатобриан. Детство и юность мои неотделимы от воспоминаний о матери; все, что я знал, я знал от нее. Мысль о том, что я отравил последние дни женщины, носившей меня во чреве, приводила меня в отчаяние: я с отвращением бросил в огонь свои экземпляры «Опыта» — орудие моего преступления; если бы можно было уничтожить эту книгу, я сделал бы это без колебаний. Я оправился от сердечной смуты лишь тогда, когда мне пришла в голову мысль искупить «Опыт» произведением религиозным: таково происхождение «Гения христианства».

«Матушка моя, — писал я в первом предисловии к этому сочинению, — в семьдесят два года оказалась в тюремной камере, где пережила гибель своих детей, а вскоре и сама умерла в нищете, на убогом ложе, куда привели ее

несчастья. Мысль о моих заблуждениях омрачила конец ее жизни; умирая, она поручила одной из моих сестер возвратить меня к религии моих предков. Сестра передала мне последнюю волю матери. Когда письмо нашло меня за морем, самой сестры уже не было в живых; она также умерла, ибо тюрьма истощила ее силы*. Эти два голоса, воззавшие из могил, эта смерть — посланница другой смерти, потрясли меня. Я стал христианином. Признаюсь, не сверхъестественное откровение тому причиной: обращение мое свершилось в сердце: я заплакал и уверовал».

Я преувеличивал свою вину; «Опыт» был не святотатственной книгой, но книгой боли и сомнений. Сквозь мрак этого сочинения пробивается луч христианского света, сиявшего над моей колыбелью. Не так уж трудно оказалось вернуться от скептицизма «Опыта» к уверенности «Гения христианства».

5. «Гений христианства» <...>

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Когда, получив грустную весть о смерти госпожи де Шатобриан, я решил круто изменить жизненную стезю, воображению моему тотчас предстало название «Гений христианства», вдохновившее меня; я принялся за работу; я трудился с пылом сына, возводящего мавзолей матери. Камни для постройки были давно собраны и обтесаны благодаря моим предшествующим штудиям. Я знал сочинения Отцов Церкви лучше, чем знают их в наши дни; я изучил их ради того, чтобы с ними бороться, но, вступив на этот предосудительный путь, окончил его не победителем, а побежденным.

Что касается до истории в собственном смысле слова, я особо занимался ею, работая над «Опытном о революциях». Изучение рукописей из собрания Кэмдена приобщило меня к нравам и установлениям средних веков. Наконец, моя устрашающая рукопись о натчезах в две тысячи девяносто три страницы ин-фолио содержала все описания природы, какие могли мне понадобиться для «Гения христианства»; я мог сколько угодно черпать из этого источника, как я это уже делал, трудясь над «Опытном».

Я написал первую часть «Гения христианства». Господа Дюло, ставшие издателями эмигрировавшего французского духовенства, взяли на себя публикацию. Первые листы первого тома были напечатаны.

Труд, начатый при таких обстоятельствах в Лондоне в 1799 году, был завершен только в Париже в 1802 году: я рассказал об этом в различных предисловиях к «Гению христианства». Все время, что я сочинял, меня трепала лихорадка: никому не дано постичь, что значит одновременно вынашивать в своем мозгу, в своей крови, в своей душе такие создания, как «Атала» и «Рене», и, в муках рождая этих пламенных близнецов,

обдумывать следующие части «Гения христианства». К тому же меня сопровождало и распаяло воспоминание о Шарлотте, и в довершение всего мое восторженное воображение возбуждала впервые вспыхнувшая жажда славы. Жажда эта зиждилась на сыновней любви; я хотел, чтобы книга моя наделала шуму, который достиг бы обиталища матушки, и ангелы передали ей мой священный испуительный дар.

Поскольку одни занятия влекут за собой другие, я не мог целиком отдаться французским штудиям и обойти вниманием литературу и людей той страны, где жил; я углубился в эти новые разыскания. Дни и ночи я читал, писал, брал у многомудрого священника аббата Капелана уроки древнееврейского языка, трудился в библиотеках и советовался с образованными людьми, бродил по полям и лугам в обществе моих неотступных мечтаний, принимал и отдавал визиты. Если можно говорить о попятном воздействии грядущих событий на прошедшее, я мог бы предсказать бурную и шумную известность моей книги по кипению моего ума и трепету моей музы.

〈Публичное чтение набросков «Гения» в Лондоне; восхищенное письмо известного вольнодумца шевалье де Панà автору〉

Неоконченное издание «Гения христианства», предпринятое в Лондоне, несколько отличалось порядком изложения от издания, увидевшего свет во Франции. Консульская цензура, вскоре ставшая императорской, как выяснилось, ревностно пеклась о репутации монархов: королевская особа, ее честь, ее добродетель были ей дороги наперед. Полиция Фуше уже видела, как спускается с неба белый голубь со священным сосудом, символ чистоты помыслов Бонапарта и безгрешности революции. Правовверные христиане из лионских республиканских процессий * вынудили меня изъять главу «Короли атеисты» * и разбросать ее параграфы по всей книге.

〈Смерть дяди Шатобриана, господина де Беле〉

КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ

〈Заметки об английской словесности〉

*6. Возвращение эмигрантов во Францию.— Прусский посланник выдает мне фальшивый паспорт на имя Лассаня, жителя швейцарского города Невшатель.— Смерть лорда Лондондерри *.— Конец моей карьеры солдата и путешественника.— Я высаживаюсь в Кале*

Лондон, апрель — сентябрь 1822 года

Я начинал обращать взоры к родной земле. Свершилась великая революция. Бонапарт, ставший первым консулом, посредством деспотизма начал

восстанавливать порядок; многие изгнанники возвращались; высший свет особенно спешил в надежде спасти остатки своих богатств: верноподданство гибло с головы, меж тем как сердце его еще билось в груди нескольких полураздетых провинциальных дворян. Госпожа Линдсей уехала; она писала господам де Ламуаньон, чтобы они тоже возвращались; она убеждала госпожу д'Агессо, сестру господ де Ламуаньон, также пересечь Ламанш. Фонтан звал меня в Париж, чтобы окончить там печатание «Гения христианства». Я не забыл родину, но не чувствовал ни малейшего желания туда возвращаться; меня удерживали боги более могущественные, чем лары отчего дома; во Франции у меня не осталось ни имущества, ни пристанища; отечество сделалось для меня каменным лоном, сосцом без молока: меня не ждали там ни мать, ни брат, ни сестра Жюли. Люсиль была еще жива, но она вышла замуж за господина де Ко и носила другое имя; с моей молодой *вдовой* * меня связывал только союз, продлившийся несколько месяцев, несчастья да восьмилетняя разлука.

Не знаю, достало ли бы у меня сил уехать, если бы я был предоставлен самому себе; но маленькое общество мое распадалось на глазах: госпожа д'Агессо приглашала меня отправиться в Париж вместе с нею: я согласился. Прусский посланник раздобыл мне паспорт на имя Лассаня, жителя Невшателя *; господа Дюло прекратили печатание «Гения христианства» и отдали мне напечатанные листы. Я взял с собою наброски «Атала» и «Рене», спрятал остаток рукописи «Натчезов» в сундук, который отдал на хранение моим лондонским хозяевам *, после чего вместе с госпожой д'Агессо отправился в Дувр: госпожа Линдсей ждала нас в Кале.

Итак, в 1800 году я покинул Англию; в ту эпоху сердце мое было занято вовсе не тем, чем занято оно нынче, в 1822 году, когда я пишу эти строки. Из краев, где я жил в изгнании, я не увозил ничего, кроме сожалений да мечтаний; ныне ум мой занят честолюбивыми планами, политикой, придворными почестями — материями, столь чуждыми моей природе.

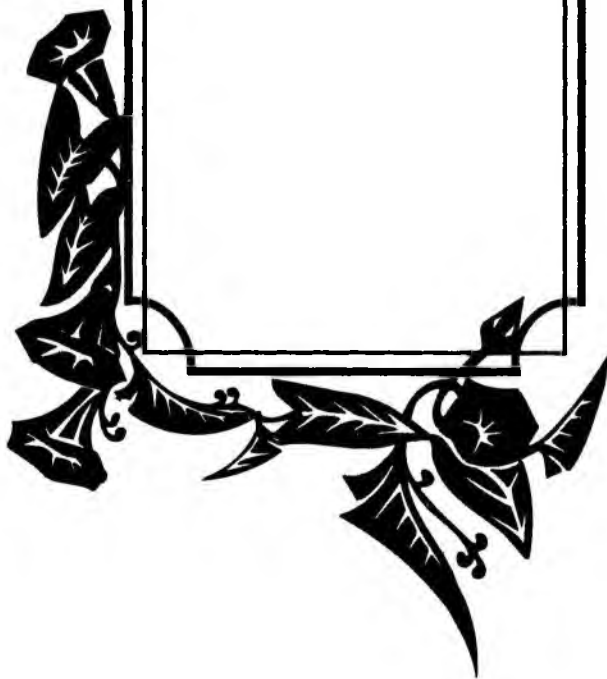
Сколько событий теснится в моем нынешнем существовании! Ступайте, люди, ступайте, мой черед еще настанет. Перед вашими глазами прошла только треть моей жизни; страдания тяготели уже над моей безмятежной весной, ныне же я вхожу в зрелый возраст, и скоро семя Рене взойдет, наполнив мое повествование горечью куда более мучительной! О чем только не придется мне говорить, рассказывая о моем отечестве, о революциях, чей облик в общих чертах я уже набросал, об Империи и об исполине, чье падение я видел; о Реставрации, для которой я так много сделал, — сегодня, в 1822 году, она стяжала себе славу, и все же я не могу смотреть на нее иначе как сквозь некую траурную пелену.

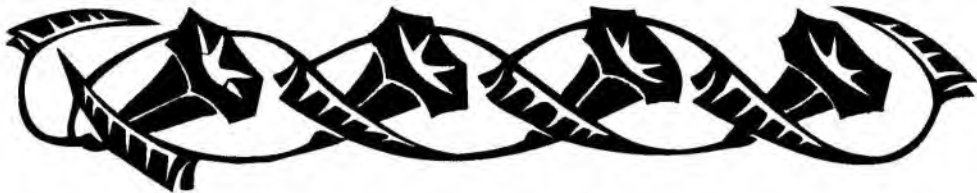
Я завершаю эту двенадцатую книгу, дойдя в своем повествовании до весны 1800 года. Деятельность моя на первом поприще исчерпана; передо мной

открывается *поприще писателя*; из человека частного мне предстоит превратиться в человека общественного; я покидаю нетронутый, уединенный приют и выхожу на грязный и шумный перекресток; в грезы мои ворвется яркий свет, царство теней озарится лучами солнца. С умилением смотрю я на книги, где заключены мои незапамятные дни; мне кажется, будто я говорю последнее прости отчому дому; я расстаюсь с заветными мыслями и несбыточными мечтами моей юности, словно с сестрами, словно с возлюбленными, которых я оставляю у домашнего очага и никогда более не увижу. Путь из Дувра в Кале занял у нас четыре часа. Я про-ник на родину под чужим именем: хранимый по-кровом двойной безвестности — швей-царца Лассаня и моей собствен-ной,— я ступил на француз-скую землю одновре-менно с новым веком*.



ЧАСТЬ
ВТОРАЯ





КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ

Просмотрено в декабре 1846 года

1. Жизнь в Дьеппе.— Два общества

*Дьепп, 1836**

Вы знаете, что, работая над этими «Записками», я не раз перебирался с места на место, что я часто описывал края, куда меня забросила судьба, и говорил о чувствах, которые они у меня вызывают, дополняя историю моей жизни историей моих мыслей и моих кочевий.

Вы видите, где я живу теперь. Прогуливаясь сегодня утром позади дьеппского замка, среди скал, я заметил мост, переброшенный через ров: сюда вел потайной ход, которым госпожа де Лонгвиль ускользнула от Анны Австрийской; сев украдкой на корабль в Гавре и высадившись в Роттердаме, она отправилась в Стене, к маршалу де Тюренну*. Слава великого полководца оказалась запятнана; хуже того: насмешливая изгнанница не слишком благосклонно обходилась с изменником.

Госпожа де Лонгвиль, равно привечаемая в салоне Рамбуэ, при Версальском дворе и в парижском муниципалитете*, воспылала страстью к автору «Максим»* и по мере сил хранила ему верность. Этот последний живет в памяти потомков не столько благодаря своим *мыслям*, сколько благодаря дружбе госпожи де Лафайет и госпожи де Севинье, стихам Лафонтена* и любви госпожи де Лонгвиль: вот что такое привязанности знаменитых людей.

Принцесса де Конде* перед смертью сказала госпоже де Бриенн: «Дорогая подруга, расскажите той жалкой сумасбродке, что находится в Стене, в каком состоянии вы меня видите: пусть она учится умирать». Прекрасные слова; но принцесса забыла, что сама она была любима Генрихом IV и, когда муж увез ее в Брюссель, она хотела бежать к беарнцу — «ускользнуть ночью через окно и затем проскакать тридцать или сорок лье на лошади»; в те времена ей было семнадцать лет и она тоже была *жалкой сумасбродкой*.

Спустившись с утеса, я вышел на парижскую дорогу; на выезде из Дьеппа она резко идет в гору. Справа, на крутом берегу высится стена кладбища; подле этой стены установлен шкив канатного завода. Два канатчика, дружно пятясь и переступая с ноги на ногу, пели вполголоса. Я прислушался: они как раз дошли до «Старого капрала» * — красивой лжи в стихах, которая довела нас до нынешнего плачевного состояния:

Кто там так громко рыдает?
А! я ее узнаю...

Канатчики повторяли припев:

В ногу, ребята! Раз! Два!
Грудью подайся!
Не хнычь, равняйся!..
Раз! Два! Раз! Два! ¹ —

таким мужественным и патетическим тоном, что у меня слезы навернулись на глаза. Идя в ногу и мотая свою пеньку, они, казалось, держали в руках нить жизни старого капрала. Мне не передать словами, как удивительно высказалась слава Беранже в этом нении двух матросов, горевавших на пустынном берегу моря о смерти солдата.

Утес напомнил мне монаршее величие, дорога — плебейскую популярность: я мысленно сравнил людей на двух полюсах общества; я спросил себя, к какой из двух эпох хотел бы принадлежать. Когда настоящее исчезнет вслед за прошлым, что скорее привлечет к себе взгляды потомков?

И все же, если бы факты затмевали все прочее, если бы на весах истории имена не перевешивали событий, как велика оказалась бы разница между моей эпохой и эпохой, протекшей от смерти Генриха IV до смерти Мазарини! Что такое волнения 1648 года в сравнении с нашей Революцией, пожравшей старый мир и тем самым, быть может, обречшей себя на смерть, так что после нее на земле не останется ни старого, ни нового общества? Разве мне не пришлось рисовать в моих «Записках» картины, исполненные несравненно большего значения, нежели сцены, пересказанные герцогом де Ларошфуко? * Возьмем хотя бы Дьепп: что такое беспечная и сладострастная богиня соблазненного и мятежного Парижа рядом с госпожой герцогиней Беррийской? Пушечные залпы, возвещавшие присутствие августейшей вдовы *, умолкли; порох и дым больше не льстят той, о ком напоминают стоны волн.

Две дочери Бурбонов, Анна Женестьева и Мария Каролина *, теперь далеко; канут в Лету два матроса, распевавшие песню плебейского поэта; покинул Дьепп и я: в здешних краях обитало некогда иное «я», «я» безвозврат-

¹ Пер. В. Курочкина.



Ф.-Р. де ШАТОБРИАН
Портрет работы Жироде (1809)

Жироде закончил мой портрет. Он написал меня мрачным, каким я тогда и был, но вложил в полотно весь свой гений. Господин Денон получил шедевр для салона; как образцовый царедворец он поспешил повесить его в укромном уголке. Бонапарт, пройдя по всей выставке и оглядев все картины, осведомился: «А где портрет Шатобриана?» Он знал, что портрет здесь: пришлось извлечь преступника из тайника. Бонапарт, чье великодушие уже иссякло, сказал, взглянув на мое изображение: «У него вид заговорщика, который лезет в мой дом через дымоход».

но ушедших дней моей юности; «я» это отжило, ибо дни наши умирают раньше нас. Вы видели меня в Дьеппе младшим лейтенантом Наваррского полка, обучающим новобранцев на прибрежной гальке; вы узрели меня здесь вторично, изгнанником при Бонапарте; вы опять встретите меня здесь во время июльских событий *. А покамест здесь, в Дьеппе, я вновь берусь за перо, чтобы продолжить свою Исповедь.

Дабы не сбиться с пути, бросим взгляд на состояние моих «Записок».

2. На чем я остановился в своих «Записках»

Со мной случилось то, что случается со всяким человеком, затеявшим крупное предприятие: первым делом я отметил флажками крайние точки, затем, возводя там и сям строительные леса, занялся остовом из камня и цемента; готические соборы строились веками. Если небо продлит мне бытие, я успею закончить памятник разным годам моей жизни; архитектор останется прежний, изменится только его возраст. Какая, впрочем, мука — сознавать, что твоя духовная сущность, пребывающая неизменной, заключена в изношенную телесную оболочку. Блаженный Августин, чувствуя, как глина, из которой он слеплен, разрушается, просил Господа: «Будь хранилищем моей души», а людям говорил: «Когда вы прочтете эту книгу и узнаете меня, помолитесь за упокой моей души».

Между событиями, открывающими эту часть «Записок», и теми, что занимают меня сейчас, прошло тридцать шесть лет. Как неравнодушно продолжить повествование, предмет которого был некогда полон для меня страсти и огня, когда тех, кто предстанет передо мной, уже нет в живых, когда требуется разбудить изваяния, застывшие в недрах Вечности, спуститься в погребальный склеп, дабы разыгрывать там жизнь. И не являюсь ли я сам живым покойником? Разве взгляды мои не переменились? Разве я вижу вещи в том же свете? Разве события моей частной жизни, которые так волновали меня, вкупе с величайшими событиями жизни общественной, которые свершались рядом со мной, не утратили важность в глазах света, равно как и в моих собственных глазах? Тот, чей земной путь долог, чувствует, как дни его остывают; завтрашний день уже не вызывает в нем такого участия, как день вчерашний. Когда я роюсь в своей памяти, иные имена и даже люди ускользают от меня, хотя некогда они, быть может, заставляли сильнее биться мое сердце: суетность человека забывчивого и забытого! Чтобы грезы и страсти воскресли, мало сказать им: «Воскресните!»; доступ в царство теней дарует только золотая ветвь *, а чтобы ее сломить, нужна юная рука.

3. 1800 год.— Взгляд на Францию.— Я приезжаю в Париж

Дьетт, 1836

Ни одного посланца из отечественных ларов и пенатов *

Рабле

Безвыездно просидев восемь лет в Великобритании, я видел только английскую жизнь, столь отличную, особенно в эту пору, от жизни остальной Европы. Весной 1800 года, когда пакетбот вез меня из Дувра в Кале, взор мой, обгоняя корабль, стремился к берегу. Я был потрясен бедностью здешних мест: в порту виднелось всего две или три мачты; мужчины в карманьолах * и бумажных колпаках шли нам навстречу по дамбе: победители возвещали о себе стуком сабо. Когда мы причалили к молу, жандармы и таможенники спрыгнули на палубу, осмотрели наш багаж и паспорта: во Франции люди всегда подозрительны; первое, с чем мы встречаемся и в делах, и в забавах,— это треуголка или штык.

Госпожа Линдсей ждала нас на постоялом дворе: наавтра все мы — госпожа Линдсей, госпожа д'Агессо, ее молоденькая родственница и я — отправились в Париж. По дороге мы почти не видели мужчин; до черноты загорелые, босоногие женщины с непокрытой или повязанной платком головой обрабатывали поля: они походили на рабынь. Меня, пожалуй, более всего поразили независимость и мужество края, где женщины орудовали мотыгой, пока мужчины орудовали мушкетом. Деревни были как после пожара: нищие и полуразвалившиеся; всюду грязь, пыль, навоз, мусор.

Справа и слева от дороги виднелись разрушенные замки; от них не осталось ничего, кроме торчащих из земли обломков, среди которых играли дети. Можно было разглядеть выщербленные стены ограды, заброшенные церкви, откуда изгнали покойников, колокольни без колоколов, кладбища без крестов, святых без голов, изуродованных градом камней. На стенах были нацарапаны устаревшие уже республиканские лозунги: «Свобода, равенство, братство или смерть». В некоторых местах слово «смерть» было замазано, но черные или красные буквы все равно проступали из-под слоя известки. Нация, стоявшая на грани распада, начинала, как некогда средневековые народы, выходявшие из мрака варварства и разрушения, строить новый мир.

Ближе к столице, между Экуаном и Парижем, уцелели вязы; эти прекрасные проезжие аллеи, неведомые английской земле, поразили меня. Франция предстала мне столь же новой, как некогда леса Америки. Собор Сен-Дени * стоял без крыши, с выбитыми стеклами; его позеленевшие нефы заливал дождь; могил в нем не осталось; с тех пор мне довелось провожать туда кости Людовика XVI, казачьи полки, гроб герцога Беррийского и катафалк Людовика XVIII.

Госпожу Линдсей встречал Огюст де Ламуаньон: его изящный экипаж выделялся среди попадавшихся мне с самого Кале неповоротливых повозок и грязных, обшарпанных дилижансов, которые клячи тянули за собой на веревках. Госпожа Линдсей жила в предместье Терн. Меня высадили по дороге, и я добрался до ее дома полями. Я пробыл у нее сутки; она свела меня с высоким толстяком — господином Лазалем, занимавшимся делами эмигрантов. Кроме того, госпожа Линдсей известила о моем приезде господина де Фонтана; через два дня он приехал за мной и нашел меня в комнатухе, которую моя покровительница сняла для меня на постоялом дворе, рядом со своим домом.

Было воскресенье: около трех часов пополудни мы пешком вошли в Париж через заставу Звезды. Сегодня невозможно себе представить, какое впечатление производили бесчинства Революции на европейские умы, в особенности на тех людей, которые отсутствовали во Франции во времена Террора: мне положительно казалось, что я спускаюсь в преисподнюю. Правда, Революция начиналась на моих глазах, но самые страшные преступления в ту пору еще не свершились, а о последующих событиях я знал только по рассказам мирных и педантичных англичан.

Шагая по парижским улицам под чужим именем и пребывая в уверенности, что подвергаю опасности моего друга Фонтана, я весьма удивился, когда, подходя к Елисейским полям, услышал звуки скрипки, рожка, кларнета и барабана. Я заметил *кабачки*, где плясали мужчины и женщины; дальше меж двух каштановых роц глазам моим предстал дворец Тюильри. Что до площади Людовика XV *, она была голой; вид у нее был заброшенный, меланхолический и запустелый, как у древнего амфитеатра; проходя по ней, люди убыстряли шаг; мне странно было, что я не слышу стонов; я боялся ступить в лужу крови, хотя кровь давно высохла; я не мог оторвать глаз от той точки небесного свода, к которой устремлялось оружие казни; мне мнилось, будто я вижу брата и его жену в рубище, под ножом кровавой машины, на этой площади, где сложил голову Людовик XVI. На улицах царило веселье, но церковные башни молчали; мне казалось, что нынче день великой скорби, Страстная пятница.

Господин де Фонтан жил на улице Сент-Оноре, подле церкви Святого Роха. Он привел меня к себе, представил своей жене, после чего проводил к своему другу господину Жуберу, где я нашел временное пристанище: меня приняли как путешественника, о котором много слышали.

Назавтра я явился в полицию, где сдал свой иностранный паспорт на имя Лассаня и получил взамен разрешение остаться в Париже, которое требовалось возобновлять каждый месяц *. Через несколько дней я снял антресоль на Лилльской улице, со стороны улицы Святых Отцов.

Я привез с собой рукопись «Гения христианства» и первые листы этого произведения, отпечатанные в Лондоне. Меня направили к господину Минье-

ре, достойному человеку, который согласился продолжить печатание и заплатить мне вперед некоторую сумму, на которую я бы мог существовать. Вопреки заверениям господина Лемьера и господина де Сэ, ни одна душа не слыхала о моем «Опыте о революциях» *. Я откопал старого философа Делиля де Сая, который только что издал свою «Записку в защиту Бога», и отправился к Женгене. Тот жил на улице Гренель-Сен-Жермен, возле дома добряка Лафонтена. При входе в каморку консьержа уцелела надпись: «Здесь гордятся званием гражданина и зовут друг друга на «ты». Закрой, пожалуйста, за собой дверь». Я поднялся наверх: господин Женгене, который едва признал меня, заговорил со мной с высоты величия того, чем он был и чем стал *. Я смиренно удалился и с тех пор не пытался возобновить столь неравные знакомства.

В глубине души я не переставал с тоской вспоминать Англию; я так долго жил в этой стране, что перенял ее привычки; я не мог притерпеться к грязи наших домов, лестниц, столов, к нашей неопрятности, шумливости, развязности, к нескромности нашей болтовни: в манерах, вкусах и, до некоторой степени, в мыслях я был англичанином, ибо если правда, что лорд Байрон в своем «Чайльд Гарольде» вдохновлялся порою «Рене», то правда и то, что восьмилетнее пребывание в Великобритании, которому предшествовало странствие по Америке, долгая необходимость разговаривать, писать и даже думать по-английски не могли не повлиять на образ и даже на выражение моих мыслей. Но понемногу я начал находить вкус во французской общительности, этом прелестном, легком и быстром обмене мнениями, этом отсутствии всякого чванства и всяких предрассудков, этом невнимании к богатству и именам, этом врожденном равнодушии к титулам и чинам, этом равенстве умов, которое делает французское общество неподражаемым и искупает наши недостатки: стоит провести среди нас несколько месяцев, и вы почувствуете, что не можете жить нигде, кроме Парижа.

〈Прогулки Шатобриана по Парижу〉

5. Перемены в обществе

Париж, 1837

Революция разделилась на три части, между которыми нет ничего общего: Республика, Империя, Реставрация; кажется, будто между этими тремя разными мирами, безвозвратно ушедшими один за другим, пролегают столетия. Каждый из этих трех миров имел твердое основание: Республика зиждилась на равенстве, Империя — на силе, Реставрация — на свободе. Республиканская эпоха — самая своеобразная, она оставила самый большой след, ибо была единственной в своем роде: никто никогда не видел и более не увидит физический порядок, рожденный нравственным беспорядком, единство, со-

зданное правлением толпы, эшафот, заменивший закон и действующий во имя человечества.

В 1801 году я присутствовал при втором преображении общества. Путаница была невообразимая: благодаря условленной перемене костюма многие люди стали играть совершенно новые для себя роли, всякий вешал себе на шею кличку или прозвище, подобно тому как венецианцы на карнавале держат в руке маленькую маску, дабы предупредить, что они маскированы. Один выдавал себя за итальянца или испанца, другой — за пруссака или голландца: я представлялся швейцарцем. Мать становилась теткой собственного сына, отец — дядей собственной дочери; владелец поместья притворялся его управляющим. Это движение напоминало мне движение 1789 года, обратившееся вспять: тогда монахи и священники покидали монастыри и новое общество захлестывало старое: это новое общество, пришедшее на смену старому, устарело в свой черед.

Однако постепенно все приходило в порядок; люди покидали улицы и кафе, чтобы возвратиться домой; воссоединялись с уцелевшими родственниками; собирали остатки своего разоренного имущества — так после битвы играют сбор и подсчитывают потери. Те из церквей, что уцелели, открывались вновь; мне выпал счастливый жребий трубить трубами * пред храмом. Отступающие республиканские поколения резко отличались от наступающих имперских. Генералы из рекрутов, бедные, неотесанные, с суровыми лицами, вынесшие из всех своих кампаний только раны да лохмотья, встречались со сверкающими золотым шитьем офицерами консульской армии. Вернувшись на родину, эмигрант спокойно беседовал с убийцами своих близких. Все привратники, большие сторонники покойного господина де Робеспьера, тосковали по зрелищам на площади Людовика XV, где отрубали голову женщинам, у которых, говорил мне консьерж дома на Лилльской улице, *шея была белая, как цыплячье мясо*. Участники сентябрьской резни, изменив имя и квартал, торговали печеными яблоками на перекрестках, но им часто приходилось срочно сниматься с места, потому что народ, опознав их, опрокидывал лотки и грозил им смертью. Разбогатевшие революционеры, остепенившись, покупали роскошные особняки в Сен-Жерменском предместье. Почувяв возможность стать баронами и графами, якобинцы принимались толковать исключительно об ужасах 1793 года, о необходимости покарать пролетариев и обуздать бесчинства черни. Взяв Брутов и Сцевола в свою полицейскую службу, Бонапарт готовился разукрасить их лентами, замарать титулами, принудить их изменить своим мнениям и предать позору свои преступления. Среди всего этого возрастало сильное поколение, зачатое в крови и растущее, чтобы не проливать ничьей крови, кроме крови чужеземцев: день ото дня совершалось превращение сторонников республики в сторонников империи, поклонников тирании всех в поборников деспотизма одного человека.

6. Год 1801.— «Меркюр» — «Атала»

Париж, 1837

Продолжая вычеркивать, дописывать, заменять листы в «Гении христианства», я принужден был взяться за несколько других работ. Господин де Фонтан выпускал в ту пору «Меркюр де Франс»: он предложил мне писать для этой газеты. Журнальные бои были небезопасны: путь в политику пролегал только через литературу, а полиция Бонапарта понимала все с полуслова. Было одно диковинное обстоятельство, которое мешало мне спать, тем самым удлиняя мой день и давая мне больше времени для трудов. Я купил двух горлиц; они все время ворковали: тщетно я запираю их на ночь в мой дорожный сундучок: там они ворковали еще громче. Как-то, не в силах уснуть, я вздумал написать для «Меркюр» письмо к госпоже де Сталь *. Эта прихоть неожиданно вывела меня из безвестности; то, чего не смогли сделать два толстых тома о Революциях, сделали несколько газетных страниц. Черты мои начали постепенно выступать из тени.

Первый успех, казалось, предвещал последующие победы. Я просматривал корректурные оттиски «Атала» (эпизода, входящего, как и «Рене», в «Гений христианства»), как вдруг заметил, что нескольких листов недостает. Меня объял страх: я подумал, что роман мой украден — опасение, разумеется, совершенно необоснованное, ибо никому бы не пришло в голову меня грабить. Как бы там ни было, я решил издать «Атала» отдельной книгой и объявил о своем намерении в письме, адресованном в «Журнал де Деба» и в «Пюблисист».

Прежде чем отважиться сделать свое творение достоянием публики, я показал его господину де Фонтану: отрывки из него он уже читал в рукописи, когда жил в Лондоне. Дойдя до речи отца Обри у смертного одра Атала, он вдруг сурово произнес: «Это не то; это скверно; это надо переделать!» Я ушел от него в отчаянии; я не чувствовал себя в силах написать лучше. Я хотел бросить все в огонь; разложив перед собой бумаги, я с восьми до одиннадцати вечера просидел у себя на антресолях, уронив голову на руки. Я был сердит на Фонтана, сердит на самого себя; я настолько разуверился в себе, что даже не брался за перо. Около полуночи я услышал голоса моих горлиц, далекие и еще более жалостные оттого, что я держал бедных птиц взаперти; ко мне вернулось вдохновение; одним духом я набросал всю речь миссионера без единой вставки, без единой помарки, в том виде, в каком она существует по сей день. Утром я с бьющимся сердцем отнес ее Фонтану; он воскликнул: «Это то, что нужно! то, что нужно! Я же говорил, что вы можете сделать лучше!»

С публикацией «Атала» началась моя слава в этом мире: я перестал жить сам по себе и вступил на общественное поприще. После стольких военных

успехов литературный успех казался чудом; от него отвыкли. Довершала дело необычность книги. Среди литературы эпохи Империи, на фоне классической школы, этой молодящейся старухи, одним своим видом навевавшей тоску, «Атала» была чем-то невиданным. Никто не знал, к чему ее причислить: к *уродствам* или к *красотам*, видеть ли в ней Горгону или Венеру? Академики вели ученые споры о ее поле и природе в том же духе, в каком делали доклады о «Гении христианства». Старый век отверг ее, новый принял.

Атала сделалась такой популярной, что вместе с маркизой де Бренвилье пополнила коллекцию восковых фигур Курция. Стены придорожных постоялых дворов были увешаны красными, зелеными и голубыми гравюрами, изображающими Шактаса, отца Обри и дочь Симагана. На набережных кукольницы показывали восковые фигурки моих героев, как представляют на ярмарке Богоматерь и святых. На бульваре в одном из театров я увидел мою дикарку в ореоле петушиных перьев: она толковала ничуть ей не уступающему дикарю о *душе уединения* так, что меня от смущения прошиб пот. В театре Варьете представляли пьесу, где молодая девушка и юноша по выходе из пансиона уплывают в родной городок, чтобы там обвенчаться; поскольку, сойдя на берег, они не говорят ни о чем, кроме крокодилов, аистов и лесов, родители решают, что они сошли с ума. Пародии, карикатуры, насмешки сыпались на меня градом. Аббат Морелле, дабы меня смутить, посадил свою служанку к себе на колени, но, не в пример Шактасу, не смог удержать в руках ступни юной девы *: позволь Шактас с улицы Анжу нарисовать себя в этой позе, я простил бы ему критические стрелы.

Вся эта шумиха сделала мое вступление в литературу еще более громким. Я вошел в моду. Это вскружило мне голову: услады самолюбия были мне внове и пьянили меня. Я полюбил славу, как женщину, как первую любовь. Впрочем, я был труслив и страх мой равнялся моей страсти: как всякий новобранец, я боялся боя. Моя природная дикость, вечные сомнения в собственном таланте не позволяли мне среди моих триумфов заноситься чересчур высоко. Я бежал собственного блеска; я прохаживался в отдалении, пытаясь погасить ореол, сиявший вокруг моего чела. Вечером, надвинув шляпу на глаза, чтобы никто не узнал великого человека, я отправлялся в маленькое кафе, чтобы украдкой прочесть хвалебную статью о себе в какой-нибудь безвестной газетенке. Прогуливаясь сам-друг со своей славой, я забирался все дальше и доходил до пожарного насоса в Шайо, идя той самой дорогой, по которой некогда с такими мучениями направлялся ко двору; освоиться с новыми привилегиями мне было ничуть не легче. Когда моя превосходительная особа обедала за тридцать су в Латинском квартале, она давилась от смущения, ибо ей казалось, что все на нее смотрят. Я размышлял о своем величии, я говорил себе: «И ты, необыкновенный человек, ешь здесь, как простой смертный!» На Елисейских полях было одно кафе, которое я любил за то, что в зале висела клетка

с соловьями; хозяйка заведения госпожа Руссо знала меня в лицо, но понятия не имела, кто я такой. Около десяти вечера мне подавали чашку кофе, и под пение пяти или шести Филомел я разыскивал в «Петит Афиш» * свою «Атала». Увы! Бедная госпожа Руссо вскоре умерла; компании соловьев и индианки, певшей «Сладкая горечь любви, без которой мне жизнь не мила!» — был отмерен короткий срок.

Успех не мог ни продлить обольщений моего глупого тщеславия, ни помутить мой разум, но меня подстерегали опасности иного рода; опасности эти возросли с появлением «Гения христианства» и с моей отставкой после смерти герцога Энгиевского *. Помимо молодых женщин из тех, что плачут над страницами романов, вокруг меня стала собираться толпа ревностных христианок и прочих благородных и восторженных натур, чья грудь вздымается при мысли о подвигах. Опаснее всего были невинные отроковицы; не зная, ни чего они хотят вообще, ни чего они хотят от вас, они с соблазнительной легкостью помещают ваш образ в мир вымыслов, лент и цветов. Жан-Жак Руссо рассказывает о признаниях, которые ему довелось выслушать после выхода в свет «Новой Элоизы», и о победах, которые он мог без труда одержать *: не знаю, простиралась ли моя власть так же далеко, но знаю, что я был положительно завален ворохом надушенных записок; если бы сегодня сочинительницы этих писем не были бабушками, я затруднился бы рассказать, не оскорбляя приличий, о том, как оспаривали они друг у друга слово, начертанное моею рукой, как подбирали надписанный мною конверт и как прятали его, заливаясь краской, опустив голову и занавесившись длинными волосами. Если все это не испортило меня, значит, у меня здоровая натура.

Из неподдельной ли учтивости или из слабодушного любопытства я порой считал себя обязанным лично поблагодарить незнакомых дам, которые ставили свое имя под лестными посланиями: однажды на пятом этаже я встретил восхитительное создание, жившее под крылом матери; больше я там не появлялся. В обитой шелком гостиной меня ожидала полячка: смесь одалиски и Валькирии, она походила на белый подснежник или на прелестный вереск, служащий заменой другим чадам Флоры, когда их время еще не пришло или уже ушло: в этом хоре женщин, молодых и старых, красивых и некрасивых, обрела воплощение моя давняя сиффида. Двойное воздействие — на мое тщеславие и на мои чувства — было тем опаснее, что до этой поры, если не считать одной серьезной привязанности, я не был ни обласкан, ни отмечен толпой. И все-таки должен сказать: даже если бы я мог без труда злоупотребить мимолетным заблуждением, мысль о сладострастном порыве, который возбужден целомудренной силой религии, возмущала мою щепетильность: быть любимым благодаря «Гению христианства», быть любимым за «Соборование», за «День всех усопших» *! Ни за что не согласился бы я покрыть себя таким позором и уподобиться Тартюфу.

Я знавал одного врача из Прованса, доктора Вигару; дожив до восьмидесяти лет, когда всякое удовольствие укорачивает жизнь, он, по его словам, «ничуть не жалел о потраченном таким образом времени; не заботясь о том, взаимно ли получаемое им наслаждение, он шел навстречу смерти, которую надеялся принять столь же охотно». Тем не менее, находясь при бедняге в его смертный час, я видел его слезы; он не смог скрыть от меня свою скорбь; слишком поздно: седые волосы были слишком редки, чтобы укрыть и осушить заплаканное лицо. Истинно несчастен, покидая землю, лишь безбожник: для человека неверующего существование ужасно тем, что напоминает о небытии; не родившись на свет, люди не испытывали бы страха перед расставанием с ним; жизнь атеиста — ужасная молния, светом своим озаряющая бездну.

Господи, всемогущий и милосердый! не для того даровал Ты нам жизнь, чтобы мы страдали от недостойных горестей и вкушали жалкие радости! Разочарование, которое нас беспрестанно постигает, — залог того, что предназначение наше гораздо возвышеннее. Как бы мы ни заблуждались, но, если душа наша хранила серьезность, если, даже уступая нашим слабостям, мы не забывали о Тебе, значит, в час, когда тебе в доброте Твоей будет угодно дать нам избавление, мы перенесемся в тот предел, где привязанности вечны!

7. Год 1801.— Госпожа де Бомон: ее общество

Париж, 1837

〈Фонтан знакомит Шатобриана с сестрой Бонапарта госпожой Баччоки и его братом Люсьеном; хлопоты об исключении Шатобриана из списка эмигрантов〉

Особой, которая заняла самое большое место в моей жизни после возвращения из эмиграции, стала госпожа графиня де Бомон. Часть года она жила в замке Пасси, близ Вильнева-на-Ионне, где проводил лето господин Жубер. Вернувшись в Париж, госпожа де Бомон пожелала со мной познакомиться.

По воле Провидения, которому угодно было превратить мою жизнь в длинную цепь сожалений, первая особа, которая приветила меня в начале моей деятельности на общественном поприще, первой же сошла в могилу. Госпожа де Бомон открывает траурную процессию женщин, ушедших из жизни прежде меня. Самые далекие мои воспоминания зиждутся на прахе и продолжают двигаться от гроба к гробу; как индийский пандит *, я читаю заупокойные молитвы, покуда не завянут цветы на моих четках.

Госпожа де Бомон была дочерью Армана Марка де Сент-Эрема, графа де Монморена — посла Франции в Мадриде, коменданта Бретани, члена собрания нотаблей в 1787 году и министра иностранных дел при Людовике XVI, очень его любившем: он погиб на эшафоте, а за ним — большая часть его семьи.

Госпожа де Бомон, очень похоже изображенная госпожой Лебрэн, была скорее дурна, нежели хороша собой. Раскосые глаза на бледном и осунувшемся лице блестели бы, пожалуй, чересчур ярко, если бы чрезвычайная нежность не пригашала ее взор, сообщая ему томность, подобно тому как луч света смягчается, пройдя сквозь зеркало вод. Нрав ее отличала некая прямота и нетерпеливость,— плод сильных чувств и сведавшего ее душевного недуга. Наделенная возвышенным сердцем и безграничным мужеством, она была рождена для света, но по прихоти несчастья и по доброй воле удалилась от него; однако когда дружеский голос призывал эту одинокую душу покинуть уединение, она приходила и произносила несколько слов, внушенных небом. Необычайная слабость здоровья замедляла речь госпожи де Бомон, и медлительность эта была трогательна; я познакомился с этой тяжело больной женщиной на закате ее дней; смерть уже коснулась ее своим крылом, и я посвятил себя ее горестям. Я нанял квартиру на улице Сент-Оноре, в особняке д'Этамп, неподалеку от улицы Нев-де-Люксембург, где госпожа де Бомон занимала квартиру, выходящую на сады министерства правосудия. Каждый вечер я бывал у нее вместе с нашими общими друзьями господином Жубером, господином де Фонтаном, господином де Бональдом, господином Моле, господином Пакье, господином Шендоле — людьми, известными в литературных и деловых кругах.

Всем, кто знал господина Жубера, человека прихотливого и своеобразного, будет его вечно недоставать. Он имел удивительную власть над умами и сердцами; стоило ему единожды завладеть вашим вниманием, как образ его начинал сопровождать вас с непреложностью навязчивой идеи, от которой невозможно избавиться. Паче всего он желал выглядеть невозмутимым, но при этом никто не был в такой степени подвержен тревогам: он старался сдерживать свои душевные порывы, каковые почитал вредными для здоровья, но друзья неизменно нарушали его покой, и предосторожности, принятые для борьбы с недугами, оказывались напрасными, ибо он не мог остаться безразличным к радостям и горестям близких: этот эгоист только и делал, что пекся о других. Чтобы восстановить свои силы, он полагал необходимым подолгу сидеть с закрытыми глазами, не произнося ни слова. Бог знает, что за грохот и суета творились у него в душе в те часы, которые он проводил в предписанных им самому себе молчании и покое. Господин Жубер то и дело менял себе диету и режим; один день он пил исключительно молоко, другой — ел исключительно мясо, иной раз трясся по самым разбитым дорогам, иной раз медленно и осторожно разъезжал по самым ровным аллеям. Читая, он вырывал из книг не понравившиеся ему страницы, благодаря чему стал владельцем библиотеки по своему вкусу, состоящей из похудевших произведений, заключенных в чересчур просторные переплеты.

Глубокий метафизик, он так тщательно отшлифовывал свои философские

высказывания, что они становились живописью или поэзией; Платон с сердцем Лафонтена, он составил себе представление о совершенстве, и представление это не позволяло ему довести до конца ни одного предприятия. В рукописях, найденных после его смерти *, он говорит: «Я словно Эолова арфа, издающая несколько прекрасных звуков, но не исполняющая никакой мелодии». Госпожа Викторина де Шатне утверждала, что он «похож на душу, которая по случайности встретила тело и с грехом пополам уживается с ним»,— определение прелестное и верное.

Мы смеялись над противниками господина де Фонтана, желавшими представить его глубоким и скрытым политиком: на самом деле он был просто-напросто поэт, вспыльчивый, прямой до ожесточения, в споре способный на любую крайность, так же не умеющий скрывать собственное мнение, как и принимать чужое. Он не разделял литературные взгляды своего друга Жубера: тот во всем и во всех находил нечто доброе; Фонтан, напротив, восставал против иных учений и терпеть не мог иных авторов. Он был заклятым врагом тех принципов, на которых зиждется современное сочинительство: являть очам читателя поступок во плоти, злодея на месте преступления или виселицу с ее веревкой казалось ему чудовищным; он считал, что предмет нужно изображать не иначе как под поэтическим покровом, словно сквозь сверкающий кристалл. Страдание, вырождающееся в зрелище на потребу привыкшей ко всему публики, достойно, полагаю он, только зевак из цирка или с Гревской площади; сам он признавал трагическое чувство, только если оно облагорожено восхищением и приобщено чарами искусства к *жалости прелестной* *. Я возражал, приводя ему в пример греческие вазы: на этих вазах можно видеть тело Гектора, привязанное к колеснице Ахилла, а маленькая фигурка, летящая в воздухе, представляет собой тень Патрокла, утешенную мезью сына Фетиды. «Ну что, Жубер,— воскликнул на это Фонтан,— как вам нравятся такие облака? Хорошенький способ изображать душу придумали греки!» Жубер счел себя задетым и, доказав Фонтану, что тот сам себе противоречит, принялся осыпать его упреками за снисхождение ко мне. Эти споры, часто весьма комичные, длились бесконечно: когда я жил на площади Людовика XV в аттике особняка госпожи де Куален, как-то вечером в половине двенадцатого по моим восьмидесяти четырем ступенькам взбежал, стуча тростью об пол, разъяренный Фонтан; он жаждал довершить прерванный спор: речь шла о Пикаре, которого он в ту пору ставил гораздо выше Мольера; он ни за что не согласился бы напечатать ни одного слова из тех, что произносил: Фонтан говорящий и Фонтан с пером в руке были два разных человека.

Именно господин де Фонтан, мне приятно это повторить, поощрил мои первые опыты; именно он известил публику о готовящемся выходе в свет «Гения христианства»; именно его муза, изумленная и преданная, направляла мою музу на новой стезе, куда та вступила; Фонтан научил меня так освещать вещи,

чтобы скрывать их уродство, посоветовал вкладывать в уста романтических персонажей классический язык. В прежние времена были люди, выступавшие хранителями вкуса, подобно драконам, сторожившим золотые яблоки в саду Гесперид; они позволяли юным войти, только если те могли тронуть плоды, не повредив им.

Писания моего друга увлекают своим течением: ум блаженствует, пребывая в том счастливом согласии с миром, когда все чарует и ничто не ранит. Господин де Фонтан беспрестанно переписывал свои творения; никто не был убежден более этого старого мастера в правоте пословицы: «Спешу медленно». Что сказал бы он сегодня, когда, возьмем мы сферу нравственную или физическую, люди из всех сил стремятся сократить свой путь и почитают всякое продвижение недостаточно быстрым. Господин де Фонтан предпочитал плыть по воле сладостной умеренности. Вспомните, что я сказал о нем, когда рассказывал о нашей встрече в Лондоне; я вынужден повторить здесь сожаления, высказанные мною тогда: мы только и делаем, что оплакиваем несчастья, которые предчувствуем, либо те, которые вспоминаем.

Господин де Бональд обладал умом тонким и проницательным; его находчивость окружающие приняли за гений; свою метафизическую политику он измыслил в армии Конде, в Шварцвальде, подобно профессорам из Иены и Геттингена, которые вскоре возглавили отряды своих учеников и сложили головы за свободу Германии *. Новатор, хоть и служивший при Людовике XVI в мушкетерах *, он почитал древних детьми в политике и литературе и утверждал, первым прибегнув к самодовольному современному языку, что *ректор университета пока еще не способен это понять* *.

Шендолле, чьи знания и талант были не природными, но благоприобретенными, отличался столь мрачным нравом, что заслужил прозвище Ворон: он похищал образы из моих сочинений. Мы заключили соглашение: я предоставил ему мои небеса, туманы, тучи: он обязался не трогать мои ветры, волны, леса.

Я рассказываю сейчас о моих литературных друзьях; что же до друзей политических, не знаю, стану ли я говорить о них: взгляды и мнения развели нас, и между нами пролегла пропасть!

В собраниях на улице Нев-дю-Люксембург участвовали госпожа Окар и госпожа де Вентимиль. Госпожа де Вентимиль, дама былых времен, каких нынче почти не встретишь, вращалась в свете и докладывала нам о том, что там происходит: я спрашивал ее, *строит ли еще по-прежнему города* *. Описания мелких склок, остроумные, но не обидные, помогали нам лучше оценить безопасность нашего существования. Госпожу де Вентимиль, воспетую вместе с ее сестрою господином де Лагарпом, отличали осмотрительные речи, сдержанный нрав, умная опытность — наследство госпожи де Шеврез, госпожи де Лонгвиль, госпожи де Лавальер, госпожи де Ментенон, госпожи Жоффрен и госпо-

жи дю Деффан. В обществе, приятность которого проистекала от многообразия умов и от сочетания несхожих достоинств, она занимала достойное место.

В госпожу Окар был страстно влюблен брат госпожи де Бомон, грезивший о даме своего сердца даже всходя на эшафот, подобно тому как Обиак шел на казнь, целуя бархатную синюю манжету — все, что осталось у него от милостей Маргариты де Валуа. Никогда и нигде уже не соберутся под одной крышей столько выдающихся особ, которые, принадлежа к разным сословиям и имея разную судьбу, умели бы беседовать и о самых обыденных, и о самых возвышенных предметах: простота их речей являлась плодом не скудости, но отбора. Быть может, то было последнее общество, в котором воскрес французский дух прежних времен. Среди новых французов уже не встретишь этой учтивости, рожденной воспитанием, но за долгие годы сделавшей свойством характера. Что случилось с этим обществом? Какой же прок строить планы и собирать друзей, если впереди нас ждет вечный траур! Госпожи де Бомон уже нет, Жубера уже нет, Шендолле уже нет, госпожи де Вентимиль уже нет. Некогда, в пору, когда созревает виноград, я навещал в Вильневе господина Жубера; я гулял с ним по берегам Ионны; он собирал маслята на вырубках, а я безвременники в лугах. Мы беседовали обо всем на свете, в том числе о госпоже де Бомон, ушедшей навсегда: мы вспоминали наши былые надежды. Вечером мы возвращались в Вильнев — город, окруженный дряхлыми стенами времен Филиппа Августа и полуразрушенными башнями, над которыми поднимался дым от очагов, разложенных виноградарями. Жубер показывал мне вдали на холме песчаную тропинку, ведущую через лес в замок Пасси, куда он во время Террора ходил навещать больную соседку.

После смерти моего дорогого хозяина я четыре или пять раз проезжал через Санскую область. С дороги я видел холмы, но Жубер уже не гулял по ним; я узнавал деревья, поля, виноградники, камни, на которых мы обыкновенно отдыхали. Минуя Вильнев, я бросал взгляд на безлюдную улицу и заколоченный дом моего друга. В последний раз я побывал в тех краях по пути в Рим: ах! если бы Жубер по-прежнему жил в родных пенатах, я взял бы его с собою на могилу госпожи де Бомон! Но Богу было угодно открыть господину Жуберу врата Рима небесного, еще более подходящего для его души — души платонической, но принявшей христианство. Мне уже не встретить его здесь, на земле: «Я пойду к нему, а он не возвратится ко мне» *.

8. Год 1801.— Лето в Савиньи

Париж, 1837

Когда успех «Атала» побудил меня вернуться к «Гению христианства», два тома которого были уже напечатаны, госпожа де Бомон предложила мне

комнату в деревенском доме, который она только что сняла в Савиньи. Полгода я провел в этом уединенном уголке вместе с господином Жубером и другими нашими друзьями.

Дом стоял при въезде в деревню со стороны Парижа, у старой дороги, которую в округе называют «дорогой Генриха IV»; за домом высился покрытый виноградниками холм, перед ним раскинулся парк Савиньи, окаймленный на горизонте лесной грядой и пересекаемый речушкой Орж. Слева до самых прудов Жювизи простиралась равнина Вири. Вечерами мы бродили по окрестным долинам, отыскивая новые маршруты.

Утром мы вместе завтракали; после завтрака я удалялся в свою комнату и принимался за работу; госпожа де Бомон любезно переписывала для меня цитаты. Эта благородная женщина дала мне приют, когда я в нем нуждался: не обрети я дарованного ею покоя, я, быть может, никогда не завершил бы произведение, которое мне мешало закончить мои бедствия.

Я никогда не забуду вечера, проведенные в этом приюте дружбы, особенно некоторые из них: после прогулки мы собирались все вместе в той части сада, где из травы бил родник: госпожа Жубер, госпожа де Бомон и я сидели на скамье; сын госпожи Жубер играл на траве у наших ног: этого ребенка уже нет в живых. Господин Жубер прогуливался в отдалении по песчаной аллее; два сторожевых пса и кошка резвились подле нас, а под крышей ворковали голуби. Какое блаженство для человека, который провел восемь лет на чужбине, в полном одиночестве, превравшемся лишь на несколько дней, что пролетели так быстро! Обычно в эти вечера друзья просили меня рассказать о моих странствиях; никогда не удавалось мне лучше описать безлюдные просторы Нового Света. Ночью через распахнутые окна нашей сельской гостиной госпожа де Бомон учила меня различать созвездия, прибавляя, что однажды я вспомню ее уроки; с тех пор как я потерял ее, я не раз бывал в Риме близ ее могилы и всегда искал на небосводе звезды, имена которых назвала мне она; я видел, как они сверкают над сабинскими горами, как бороздят длинными лучами воды Тибра. Лес Савиньи, над которым я увидел их впервые, и римская кампанья, над которой я увидел их вновь, переменчивость моей судьбы, памятный знак, оставленный мне женщиной на небесах,— все это разбивало мне сердце. Каким чудом соглашается человек делать все то, что он делает на земле,— соглашается, зная, что обречен на смерть?

Однажды вечером мы увидели, как кто-то украдкой влез в наш приют через одно окно и вылез через другое: это был господин Лабори; он спасался от когтей Бонапарта *. Затем нас посетила одна из тех неприкаянных душ, что совершенно не похожи на прочие,— тех душ, что мимоходом прибавляют свой неведомый недуг к заурядным страданиям рода человеческого: то была моя сестра Люсиль.

По приезде во Францию я письмом уведомил родных о моем возвращении. Госпожа графиня де Мариньи, моя старшая сестра, первой отправилась повидать меня, ошиблась улицей и отыскала пять господ Лассаней, последний из которых, холодный сапожник, вылез на ее зов из своего подвала. Затем приехала госпожа де Шатобриан: она была прелестна и исполнена достоинств, способных дать мне счастье, которое я и обрел с тех пор, как мы зажили вместе. Наконец, настал черед госпожи графини де Ко, Люсиль. Господин Жубер и госпожа де Бомон прониклись к ней страстной привязанностью и нежной жалостью. Между ними завязалась переписка, которую прервала лишь смерть обеих женщин, клонившихся друг к другу, как два цветка одного вида, готовые увянуть. 30 сентября 1802 года *, остановившись в Версале, Люсиль прислала мне записку следующего содержания: «Я пишу тебе, чтобы просить тебя поблагодарить от моего имени госпожу де Бомон за приглашение приехать в Савиньи. Надеюсь доставить себе эту радость недели через две, если это удобно госпоже де Бомон». Как и собиралась, госпожа де Ко приехала в Савиньи.

Я рассказывал вам, что в юности, когда сестра моя была канониссой в Аржантьере и готовилась стать канониссой в Ремиремоне, она зажглась страстью к господину де Мальфилатру, советнику Бретонского парламента, и страсть эта, гаясь в ее груди, усугубляла ее природную меланхолию. Во время Революции Люсиль вышла замуж за господина графа де Ко и через год и три месяца после свадьбы потеряла его. Смерть госпожи графини де Фарси, нежно любимой сестры, увеличила скорбь госпожи де Ко. Она сдружилась с госпожой де Шатобриан, моей женой, и взяла над нею власть, которую было нелегко снести, ибо Люсиль сделалась вспыльчива, деспотична, безрассудна; госпожа де Шатобриан терпела ее прихоти и украдкой оказывала ей услуги, которые более богатая подруга оказывает подруге обидчивой и менее удачливой.

Гений Люсиль и глубина ее чувств довели ее почти до того же безумия, какое настигло Ж.-Ж. Руссо *: она просила госпожу де Бомон, господина Жубера, меня писать ей на чужой адрес; она внимательно рассматривала печати, пытаясь понять, не сломаны ли они; она постоянно меняла жилища, не задерживаясь подолгу ни у сестер, ни у моей жены; сестрам она не доверяла, а госпожа де Шатобриан, преданная ей так, что и вообразить невозможно, в конце концов стала тяготиться столь безжалостной привязанностью.

Еще один роковой удар постиг Люсиль: господин де Шендолле, живший близ Вира, приехал в Фужер повидать ее; вскоре пошли разговоры о свадьбе, но дело кончилось ничем *. Моя сестра лишилась разом всего, и гнет собственного одиночества оказался ей не по силам. Печальным признаком промелькнула она в радостной тиши Савиньи; столько сердец приняли ее с радостью! Они были бы счастливы вернуть ее к сладостной действительности! Но сердце

Люсиль могло биться только в атмосфере, созданной для нее одной; там, где дышали другие, она задыхалась. Она жадно поглощала дни в том особом мире, куда небу было угодно поместить ее. Зачем Господь создал существо, жившее единственно для того, чтобы страдать? Какие таинственные узы связуют страдальца с вечным законом?

Сестра моя нимало не переменилась; но несчастья напечатлели на ее облике свой след: голова ее была слегка опущена, словно под гнетом времени. Она напоминала мне родителей; эти первые воспоминания о семье, вызванные из могилы, окружали меня, словно злые духи, слетевшиеся ночью к погребальному костру, чтобы погреться у его затухающего огня. Когда я смотрел на Люсиль, в ее потерянном взгляде передо мной вставало мое детство.

Страждущее видение быстро растаяло: казалось, эта обремененная жизнью женщина пришла за другой страдальцей, чтобы увести с собой.

〈1802 год; знакомство с актером Тальма〉

*10. Годы 1802 и 1803.— «Гений христианства».— Предвещения неудачи.—
Причина конечного успеха*

Тем временем я заканчивал «Гений христианства»; Люсьену захотелось взглянуть в корректурные листы: я дал ему несколько оттисков; он сделал на полях довольно заурадные пометы.

Хотя успех моей большой книги был таким же шумным, как успех маленькой «Атала», он был менее бесспорным: в этом серьезном сочинении я боролся с принципами старой литературы и философии, прибегнув уже не к роману, но к рассуждениям и фактам. Вольтеровская империя издала воинственный клич и схватилась за оружие. Госпожа де Сталь ошиблась относительно будущего моих религиозных штудий: когда ей принесли неразрезанный экземпляр моего сочинения, она полистала его, наткнулась на главу «О девственности» * и сказала господину Адриану де Монморанси, случившемуся рядом: «Ах, Боже мой! Бедняга Шатобриан! Какой провал!» Аббат де Буллонь познакомился с несколькими частями моего труда прежде, чем они были отпечатаны; книгопродавцу, пришедшему к нему за советом, он отвечал: «Если хотите разориться, напечатайте это». Прошло немного времени, и тот же аббат де Буллонь превознес мою книгу до небес.

Поистине, все, казалось, предвещало неудачу: разве мог я, не имеющий имени и не окруженный льстецами, притязать на то, чтобы разрушить влияние Вольтера, воздвигнувшего огромное здание, довершенное энциклопедистами и упроченное всеми европейскими знаменитостями? Как! Дидро, д'Аламберы, Дюкло, Дюпюи, Гельвеции, Кондорсе уже более не властители дум? Как! мир должен вернуться к «Золотой легенде» *, отринуть шедевры науки и разума?

Мог ли я выиграть дело, которое не сумели защитить ни грозный Рим, ни могущественное духовенство, — дело, тщательно отстаиваемое архиепископом парижским Кристофом де Бомоном, опиравшимся на приговоры суда, силу армии и имя Короля? Не было ли столь же смехотворно, сколь и безрассудно со стороны человека никому не ведомого противопоставлять себя философскому течению, которое оказалось настолько сокрушительным, что произвело Революцию? Любопытно было взглянуть на пигмея, который, «слабенькие ручки напрягая» *, стремится задушить передовую мысль века, остановить развитие цивилизации и заставить род человеческий пойти вспять! Благодарение Богу, подобных безумцев можно уничтожить одним словом, поэтому господин Женгене, хуля «Гений христианства» в «Декаде» *, утверждал, что критика опоздала, ибо суесловие мое уже забыто. Он говорил это через пять или шесть месяцев после публикации сочинения, которое не сумела уничтожить вся Французская Академия, ополчившаяся на него по случаю присуждения премии за десятилетие *.

Я выпустил «Гений христианства» в пору, когда храмы наши были разрушены. Верующие сочли себя спасенными: в то время люди нуждались в вере, алкали религиозных утешений, которых долгие годы были лишены. Сколько сверхъестественной силы приходилось просить у неба после стольких бедствий! Сколько осиротевших семейств жаждали найти в лоне Создателя детей, которых потеряли! Сколько разбитых сердец, сколько обездоленных душ призывали десницу Божию, дабы она исцелила их! Все спешили в Божий храм, как бегут в дом врача, когда кто-то тяжело болен. Жертвы наших смут (и какие разные жертвы!) спасались у алтаря: потерпевшие кораблекрушение в надежде на избавление цепляются за скалу.

В ту пору Бонапарт, желая утвердить свою мощь на незыблемой твердыне, заключил соглашение с Римским двором *; поначалу он отнюдь не препятствовал публикации произведения, споспешествовавшего его намерениям; ему требовалось одолеть людей, его окружавших, и открытых врагов церкви; итак, общественное мнение, сложившееся под влиянием «Гения христианства», пришлось ему как нельзя кстати. Позже он раскаялся в своем заблуждении: возвращение к религиозным идеям повлекло за собой возвращение к идеям законной монархии.

Один отрывок из «Гения христианства», поначалу наделавший меньше шума, чем «Атала», содержал изображение характера, который обрел в современной литературе долгую жизнь; впрочем, если бы «Рене» не был написан, я бы не стал его писать; если бы я мог его уничтожить, я бы его уничтожил. У Рене очень скоро объявилась куча родственников в прозе и в стихах: вокруг только и слышались пени да стоны, только и шла речь что о ветрах и бурях да потаенных скорбях, ведомых тучам и ночи. Нынче не сыщешь лентяя школяра, который не мечтал бы стать несчастнейшим из людей; не сыщешь шестнадца-

тилетнего юнца, который не пресытился бы жизнью и не воображал бы себя страдальцем, терзаемым собственным гением; который в пучинах своей мысли не предавался бы *смутности страстей* *, не бил себя по бледному смятенному челу и не удивлял глупцов горем, которому ни они, ни даже он сам не могли приискать имени.

В «Рене» я показал болезнь моего века; но со стороны романистов было безумием представлять беспредметную скорбь всеобщей. Всеобщие чувства, на которых зиждется человеческая жизнь: материнская и отцовская нежность, сыновняя привязанность, дружба, любовь — неистощимы; иное дело — особая манера чувствовать, своеобычие ума и нрава; они поддаются развернутому и неоднократному изображению только в больших многофигурных композициях. Потасенные уголки сердца человеческого — узкое поле деятельности; тот, кто первым собрал с него урожай, ничего не оставил своим последователям. Болезнь не есть природное состояние души: ее невозможно воспроизвести, описать ее так, как описывают художники страсти общечеловеческие, бесконечно преобразая их и умелой рукой изменяя их форму.

Как бы там ни было, литература окрасилась в тона моих религиозных картин, подобно тому, как деловые бумаги усвоили стиль моих государственных сочинений: «Монархия согласно хартии» положила начало нашей представительной форме правления, а моя статья в «Консерватер» о *выгодах моральных и выгодах материальных* * подарила политике эти два словосочетания.

Писатели оказали мне честь, принявшись подражать манере «Атала» и «Рене», а духовенство черпало красноречие в моих рассказах о миссиях и благодеяниях христианства. Строки, где я показываю, что, изгнав из лесов языческие божества, наша религия распространилась по миру и вернула природе ее уединение; фрагменты, где я говорю о влиянии нашей религии на нашу манеру видеть и живописать, где я рассматриваю изменения, произошедшие в поэзии и ораторском искусстве; главы, которые я посвящаю разысканиям касательно чувств, неизвестных драматическим характерам древности, содержат зерно новой критики. Я сказал, что персонажи Расина являются и в то же время не являются греками; это персонажи христианские: вот чего никто не понял *.

Если бы влияние «Гения христианства» объяснялось только реакцией на учения, породившие, по мнению многих, революционные несчастья, влияние это прекратилось бы с концом революции, и сегодня, когда я пишу эти строки, моя книга уже не волновала бы умы. Однако воздействие «Гения христианства» не ограничилось минутным воскрешением религии, которую все считали покоящейся в могиле: он свершил превращение более долговечное. Новым в книге был не только слог, но и доктрина; не только форма, но и содержание: отныне, выбирая между верой и неверием, юные умы перестали почитать

исходной точкой атеизм и материализм; идея Бога и бессмертия души вновь обрела власть над людьми: отсюда многочисленные изменения в цепи связанных друг с другом идей. Французы уже не цепенеют в суеверном страхе перед религией, они больше не хотят пребывать, как прежде, мумией небытия, замотанной в философические пелены; они позволили себе исследовать всякую доктрину, даже самую нелепую — *вплоть до христианства*.

Кроме верующих, возвращавшихся на голос Пастыря, появились, благодаря свободе совести, и верующие а priori. Возьмите за основу Бога, и Слово не заставит себя ждать: от Отца неизбежно рождается Сын *.

⟨Полемика Шатобриана с пантеистами и другими «сектантами»⟩

Толчок, данный «Гением христианства» умам, избавил их от рутины XVIII века и навсегда излечил от слепого следования его преданиям: люди начали заново, а вернее говоря, впервые изучать истоки христианства; перечитывая Святых отцов (если предположить, что они их когда-то читали), французы поразились, встретив столько любопытных сведений, столько философической мудрости, столько многообразных красот стиля, столько идей, более или менее решительно способствовавших переходу от древнего общества к современному: то была единственная и памятная эра в истории человечества, когда небо сообщалось с землей через души гениев.

Рядом с рущащимся миром язычества восстал некогда другой мир, как бы смотрящий извне на эти величественные картины, бедный, сторонний, одинокий, вмешивающийся в житейские дела, лишь когда в его уроках или помощи нуждаются. Как чудесно было лицезреть этих первых епископов, почти сплошь причисленных к лику святых и мучеников, этих простых священников, которые пекутся о реликвиях и кладбищах, этих монахов и отшельников в обителях и пещерах, которые проповедуют мир, целомудрие, милосердие, когда кругом царят война, разврат, варварство; посещают римских тиранов и татарских или готских вождей, дабы упредить несправедливость одних и жестокость других, останавливают войска деревянным крестом и миротворным словом, остаются слабейшими из смертных и при этом защищают человечество от Аттилы, существуют между двумя мирами, дабы связать их, дабы облегчить последние минуты умирающего общества и поддержать первые шаги общества, находящегося в колыбели.

11. *«Гений христианства», продолжение. — Недостатки книги*

Истины, развитые в «Гении христианства», не могли не способствовать перемене образа мыслей, царящих в обществе. Этому сочинению обязаны сегодняшние французы любовью к средневековым постройкам: это я призвал

юный век восхищаться старыми храмами. Если люди злоупотребляли моим мнением, если неправда, что наши старинные соборы приближаются по красоте к Парфенону, если ложь, что церкви сообщают в своих каменных летописях неведомые доселе факты, если верх сумасбродства — утверждать, будто эти гранитные мемуары открывают нам вещи, ускользнувшие от ученых бенедиктинцев *, если можно умереть со скуки от бесконечных разговоров о готике, то я тут ни при чем. Впрочем, я знаю, чего недостает «Гению христианства» в части, касающейся искусств; часть эта неполна, ибо в 1800 году я не знал искусств: я еще не побывал ни в Италии, ни в Греции, ни в Египте. Сходным образом я не извлек довольно пользы из житий святых и древних легенд; меж тем они изобилуют чудесными историями: человек со вкусом может собрать там богатую жатву. Это поле чудес средневекового воображения плодотворнее «Метаморфоз» Овидия и волшебных сказок. Кроме того, в моей книге встречаются суждения ограниченные и неверные, к примеру, оценка Данте, которому я отдал должное много позже *.

Я основательно дополнил «Гений христианства» в «Исторических исследованиях» — том из моих трудов, о котором меньше всего говорили и который больше всего грабили *.

(Влияние «Гения христианства» на литературу)

КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Просмотрено в декабре 1846 года

(Путешествие Шатобриана на юг Франции в 1802 году)

4. Годы 1802 и 1803.— Встреча с Бонапартом

Париж, 1838

Покуда мы, люди заурядные, жили и умирали, мир семимильными шагами двигался вперед; избранник века утверждался во главе рода человеческого. Посреди грозных бурь, предвещавших всемирные потрясения, я высадился в Кале, дабы простым солдатом принять участие в общем движении. Шел первый год века, когда я прибыл в лагерь, где Бонапарт трубил сбор судеб: вскоре он стал пожизненным первым консулом.

В 1802 году, после принятия законодательным корпусом Конкордата *, Люсьен, тогдашний министр внутренних дел, устроил празднество в честь своего брата; я получил приглашение на церемонию как человек, воссоединивший силы христиан и вновь поведший их в атаку. Когда появился Наполеон,

я стоял на галерее: он приятно поразил меня; прежде я видел его лишь издали. Он улыбался ослепительно и ласково; глаза его, прекрасно посаженные и изящно обрамленные бровями, бросали дивные взгляды, в которых еще не сквозило никакого лукавства, не было ничего театрального и деланного. «Гений христианства», который тогда как раз был у всех на устах, произвел впечатление на Наполеона. Этого жаднокровного политика одушевляло чудесное воображение: он не стал бы тем, чем стал, если бы его не вдохновляла муза; разум его воплощал идеи поэта. Natura людей, созданных для великих подвигов, всегда двойственна, ибо они должны быть способны и на вдохновенную мысль, и на решительный поступок: одна половина рождает замысел, другая приводит его в исполнение.

Каким-то образом Бонапарт заметил и узнал меня. Когда он направился ко мне, никто не мог понять, кого он ищет; все расступались, каждый надеялся, что консул идет к нему; эта непонятливость, казалось, раздражала властелина. Я отступил и встал позади соседей; внезапно Бонапарт возвысил голос и произнес: «Господин де Шатобриан!» Толпа тотчас отхлынула, чтобы затем сомкнуться вокруг нас кольцом: я остался в одиночестве. Бонапарт заговорил со мной, не чинясь: без любезностей, без праздных вопросов, без предисловий, он сразу повел речь о Египте и арабах, как если бы я входил в число его приближенных и он всего лишь продолжал начатую беседу. «Меня всегда поражало, — сказал он, — что шейхи падают на колени среди пустыни, лицом к Востоку и утыкаются лбом в песок. Что это за неведомая святыня на Востоке, которой они поклоняются?»

Бонапарт на мгновение замолчал и без перехода заговорил о другом: «Христианство? Идеологи, кажется, предлагают видеть в нем просто-напросто астрономическую систему*? Пусть даже это оказалось бы правдой, разве я поверю, что христианство ничтожно? Если христианство есть аллегория движения сфер, геометрия светил, то, как бы ни старались вольнодумцы, они против воли оставляют «гадине» * еще довольно величия».

Неистовый Бонапарт удалился. Я уподобился Иову: в ночи «дух прошел надо мною; дыбом стали волосы на мне. Он стал — но я не распознал вида его — только облик был пред глазами моими, тихое веяние — и я слышу голос»*.

Жизнь моя была не более чем цепью видений; ад и небо постоянно разверзались у меня под ногами и над головой, не давая мне времени измерить их мрак и свет. По одному-единственному разу встретался я на границе двух веков с человеком старого мира — Вашингтоном, и человеком нового мира — Наполеоном. И с тем и с другим разговор мой был краток; оба возвратили меня к уединенному существованию, один — добродушным пожеланием, другой — преступлением.

Я заметил, что, удаляясь, Бонапарт бросал на меня взгляды более пристальные, нежели во время нашей беседы. Я также провожал его глазами:

Chi è quel grande, che non par che curi
L'incendio?

Кто это, рослый, хмуро так лежит,
Презрев пожар, палящий отовсюду²?

5. Год 1803.— Я получаю назначение на должность первого секретаря
посольства в Риме

Париж, 1837

После этой встречи Бонапарт решил послать меня в Рим; он с одного взгляда уразумел, где и как я могу быть ему полезен. Его не тревожило, что я никогда не занимался делами, что я ничего не смыслю в практической дипломатии; он считал, что есть умы, которым все ясно и которым нет нужды учиться. Это был великий открыватель людей; но он желал поставить все их таланты себе на службу, да еще и с условием, чтобы об этих талантах шло поменьше толков; ревнивый к чужой славе, он рассматривал ее как покушение на свою собственную славу: в мироздании оставалось место только для Наполеона.

Фонтан и госпожа Баччоки говорили мне, что консул удовлетворен беседой со мной: во время этой беседы я не раскрыл рта; таким образом, удовлетворен Бонапарт был самим собой. Они убеждали меня не упускать случая. Мысль сделаться влиятельным лицом никогда не приходила мне в голову; я отказался наотрез. Тогда они обратились к авторитету, которому мне было трудно прекословить.

Аббат Эмри, настоятель семинарии Святого Сульпиция, стал именем духовенства заклинять меня занять ради блага религии пост первого секретаря нашего посольства в Риме — в послы Бонапарт прочил своего дядю, кардинала Феша*. Аббат дал мне понять, что, поскольку кардинал не блещет умом, я быстро стану хозяином положения. С аббатом Эмри меня свел случай: я, как вы помните, прибыл в Соединенные Штаты вместе с аббатом Наго и несколькими семинаристами. Воспоминание о моей безвестности, о моей юности, о моей скитальческой жизни, отголоски которой сказались на моем участии в жизни общественной, — все это волновало мое воображение и сердце. Природа, сословие и Революция сделали аббата Эмри, пользовавшегося уважением Бонапарта, человеком хитрым; впрочем, эта тройная хитрость лишь

² Данте. Ад., XIV, 46; пер. М. Лозинского.

увеличивала его достоинства; честолюбивый лишь в добрых делах, он пекся единственно о благе и процветании семинарии. Бесполезно было неволить осмотрительного в словах и поступках аббата Эмри: вы могли располагать его жизнью, но о том, чтобы сломить его волю, не могло быть и речи; он стоял одной ногой в могиле, ждущей нас всех, — в этом заключалась его сила.

Первая попытка аббата провалилась; он предпринял новое наступление и своей настойчивостью победил меня. Я согласился занять пост, который ему поручили мне предложить, хотя ни в коей мере не был убежден в правильности своего решения: на вторых ролях я не стою ровно ничего. Может статься, я бы все-таки пошел на попятный, если бы мысль о госпоже де Бомон не положила конец моим колебаниям. Дочь господина де Монморена умирала: итальянский климат, говорили мне, благотворен; если бы я поехал в Рим, она решилась бы пересечь Альпы *: я принес себя в жертву в надежде спасти ее. Госпожа де Шатобриан приготовилась последовать за мной; господин Жубер собирался сопровождать госпожу де Бомон, и она отбыла в Мон-Дор, чтобы затем доверить свое выздоровление на берегу Тибра.

Пост министра иностранных дел занимал господин де Талейран; он выправил мне назначение. Я обедал у него: он остался в моей памяти таким, каким предстал мне впервые. Впрочем, его прекрасные манеры нисколько не походили на манеры его подлого окружения; его мошенничество было преисполнено непостижимой важности; в этом осином гнезде развращенность нравов слыла гением, легкомыслие — мудростью. Революция чересчур скромничала; она недооценивала свое преимущество: быть выше или быть ниже преступлений — отнюдь не одно и то же.

Я познакомился со священниками из свиты кардинала; мне запомнился веселый аббат де Бонви; в бытность свою полковым священником в армии принцев он участвовал в отступлении из Вердена; был главным викарием господина де Клермон-Тоннера, епископа Шалонского, который тронулся в путь вслед за нами, чтобы добиться от папского престола пенсии под предлогом того, что и он зовется *Кьярамонте* *. Закончив сборы, я двинулся в путь: мне надлежало прибыть в Рим раньше Наполеонова дядюшки.

⟨Путь из Парижа в Рим через Альпы⟩

7. Из Мон-Сени в Рим.— Милан и Рим

Париж, 1838

Я начал свои странствия в направлении, обратном направлению других путешественников: старые леса Америки открылись моему взору прежде, нежели старые города Европы. В эти города я попал в пору, когда они

молодели и умирали разом под действием новой революции. Милан был занят нашими войсками *; они довершали разрушение замка, помнившего средневековые войны.

Французские части расположились на постой среди равнин Ломбардии. Охраняемые редкими часовыми, эти пришельцы из Галлии, в армейских фуражках, с похожими на серпы кривыми тесаками поверх мундира казались расторопными веселыми жнецами. Они ворочали камни, катили пушки, нагружали повозки, сооружали навесы и шалаши из веток. Кони скакали, гарцевали, вставали на дыбы в толпе, словно собаки, ластящиеся к хозяину. Посреди этой вооруженной ярмарки итальянки торговали фруктами с лотков: наши солдаты дарили им свои трубки и огнива, говоря те слова, какие говорили своим возлюбленным древние варвары, их предки: «Я, Фотрад, сын Эуперга, из племени франков, дарю тебе, Эльжина, возлюбленная моя супруга, за твою красоту (in honore pulchritudinis tuae) мое жилище в квартале Пиний».

Мы люди особенные: поначалу противники находят нас несколько развязными, чересчур веселыми, слишком беспокойными; но не успеем мы уйти, как о нас уже сожалеют. Живой, остроумный, сообразительный, французский солдат помогает хозяевам, у которых квартирует; он носит воду из колодца, как Моисей для дочерей Мадиямского священника *, вместе с пастухами водит овец на водопой, рубит дрова, разжигает огонь, следит, чтобы не убежала похлебка, носит на руках хозяйского ребенка или баюкает его в колыбели. Жизнерадостный и деятельный нрав французского солдата одушевляет все кругом: домочадцы привыкают смотреть на него, как на нового члена семьи. Но, стоит раздаться барабанному бою, как постоялец хватается своей мушкет, оставляет хозяйских дочерей в слезах и покидает гостеприимный кров, о котором не вспомнит, покуда не попадет в дом Инвалидов.

Когда я проезжал через Милан, великий народ как раз проснулся и приоткрыл глаза. Италия начинала пробуждаться от сна и вспоминать о своем гении как о божественной грезе; помогая возродиться и нам, она приобщала нашу убогую мелочность к величию заальпийской природы, этой Авсонии *, вскормленной шедеврами искусства и возвышенной памятью о славном прошлом своего отечества. Явилась Австрия; вновь и вновь одела она итальянцев свинцовым покровом, вновь вогнала их в гроб. Рим обратился в развалины, Венеция погрузилась в море. Венеция испустила дух, озарив небо последней улыбкой; чаровница скрылась в волнах, словно светило, обреченное никогда более не появиться на небосводе.

Комендантом Милана был генерал Мюрат. Я вез ему письмо от госпожи Бачочки. Я провел день с адъютантами: они были не так бедны, как мои товарищи под Тионвилем. В армии возрождались французская учтивость; воины стремились доказать, что ничто не переменялось со времен Лотрека.

23 июня господин Мельци дал парадный обед по случаю крестин

у генерала Мюрата. Господин Мельци знал моего брата; вице-президент Цизальпинской республики обладал прекрасными манерами; дом его не уступал княжескому, причем казалось, что хозяин родился князем: он встретил меня с холодной учтивостью; я отвечал ему тем же.

Я прибыл к месту моего назначения 27 июня под вечер, за два дня до Петрова дня: апостол ждал меня в Риме, подобно тому как позже мой бедный святой патрон встретил меня в Иерусалиме. Мой путь в Рим пролегал через Флоренцию, Сьену и Радикофани. Первым делом я поспешил отдать визит господину Како, преемником которого должен был стать кардинал Феш, меж тем как мне предстояло занять место господина Арто.

28 июня я с утра до вечера бродил по Риму: я впервые увидел Колизей, Пантеон, колонну Траяна и замок Святого Ангела. Вечером господин Арто повез меня на бал в один дом близ площади Святого Петра. Гости пронеслись в вихре вальса мимо распахнутых окон, за которыми сверкали снопы искр, опоясывавшие микеланджеловский купол; потешные огни, вспыхивавшие над мавзолеем Адриана, расцветали над могилой Тассо в Сан-Онуфριο: кругом в римской кампанье * царил тишина, мрак и запустение.

Назавтра я посетил службу в соборе Святого Петра. Пий VII, бледный, грустный, благочестивый, был подлинным первосвященником скорбей. Два дня спустя я был представлен Его Святейшеству: он усадил меня рядом с собой. Один из томов «Гения христианства», предупредительно раскрытый, лежал на столе *. Кардинал Консальви, мягкий, но непреклонный, умевший давать тихий и учтивый отпор, служил воплощением древней римской политики, от которой его деятельность отличали меньшая истовость и большая терпимость — дань нашему веку.

Оказавшись в Ватикане, я подожду созерцал эти лестницы, по которым можно подняться верхом на муле, эти поднимающиеся вверх, выходящие одна над другой, украшенные шедеврами галереи, по которым папы былых времен проходили во всем своем великолелии, эти лоджии, расписанные столькими бессмертными художниками, восхищавшие стольких знаменитых людей: Петрарку, Тассо, Ариосто, Монтеня, Мильтона, Монтескье, всемогущих или низвергнутых королей и королев, наконец, племя паломников, пришедших со всех концов земли; нынче вся эта красота застыла в неподвижности и молчании; покинутый амфитеатр, окружающий опустевшую стену, недосыгаем для солнечных лучей.

Мне советовали совершить прогулку в лунном свете: с вершины Тринитадди-Монте подернутые дымкой далекие городские постройки казались набросками художника, сделанными с борта корабля. Ночное светило, этот шар, слывущий полноправным миром, катило свои бледные пустыни над пустынным Римом; оно освещало улицы, где не слышны шаги прохожих, безлюдные дворы, площади, сады, освещало монастыри, где навсегда затихли голоса иноков, обитатели немые и нежилые, словно портики Колизея.

Что происходило здесь в этот же день и час восемнадцать столетий назад?

Какие люди вступали под сень этих обелисков, некогда отбрасывавших тень на пески Египта? Уже нет не только древней Италии — исчезла Италия средневековая. И все же вечный город еще хранит следы этих двух Италий: если Рим нового времени являет нашему взору собор Святого Петра и его шедевры, Рим древний противопоставляет ему свой Пантеон и свои руины; если один призывает с Капитолия своих консулов, то другой приводит из Ватикана своих пап. Тибр течет меж двух славных городов, равно повергнутых во прах: Рим языческий глубоко и безвозвратно погружается в свои могилы, а Рим христианский медленно, но верно опускается в свои катакомбы.

8. Дворец кардинала Феша.— Мои занятия

Кардинал Феш снял недалеко от Тибра дворец Ланчелотти: позже, в 1827 году *, я видел там княгиню Ланчелотти. Мне отвели верхний этаж дворца: не успел я войти, как на меня набросилось столько блох, что панталоны мои из белых стали черными. Мы с аббатом де Бонви приказали как можно чище вымыть наше жилище. Мне казалось, будто я вернулся в конуру на Нью-Роуд: это воспоминание из времен моей бедности не было мне противно. Обосновавшись в своем дипломатическом кабинете, я начал выдавать паспорта и исправлять прочие важные обязанности. Почерк мой служил помехой моим талантам, и кардинал Феш, видя мою подпись, пожимал плечами *. Поскольку делать мне в моем поднебесье было в общем-то нечего, я смотрел вверх крыш на соседний дом: прачки делали мне знаки; будущая певица, упражняя свой голос, донимала меня своим вечным сольфеджио; хорошо, если случались какие-нибудь похороны и разгоняли мою скуку! Как-то раз, глянув из своего высокого окна в пропасть улицы, я увидел, как хоронят молодую мать: ее несли в открытом гробу, между двух рядов паломников в белом; дитя, умершее вместе с нею, покоилось у нее в ногах среди цветов.

Невольно я допустил серьезную оплошность: ничтоже сумняшеся я счел своим долгом нанести визиты именитым гражданам; в простоте душевной я отправился засвидетельствовать свое почтение отрекшемуся от престола королю Сардинии *. Этот из ряда вон выходящий поступок породил ужасные пересуды; все дипломаты поджали губы. «Ему конец! ему конец!» — твердили папские слуги и посольские чины с радостью, какую у этих доброхотов всегда вызывают чужие невзгоды. Не было глупца-чиновника, который бы не смотрел на меня свысока. Все с нетерпением ждали моего падения, хотя я был никто и никем не принимался в расчет: неважно, главное, что кто-то падал, а это всегда приятно. В простоте своей я не подозревал о своем преступлении и, как и позже, гроша ломаного бы не дал ни за какое место. Все кругом всегда толковали о моем великолепном почтении к королям, я же почитал королей

только в несчастье. О моих непоправимых безумствах стало известно в Париже; по счастью, я имел дело с Бонапартом: то, что должно было меня погубить, сделалось моим спасением.

Впрочем, хотя на первый взгляд можно было счесть, что место первого секретаря посольства, возглавляемого князем церкви, дядей Наполеона,— неплохое начало, я с таким же успехом мог бы служить письмоводителем в префектуре. Я нашел бы себе применение, приняв участие в зреющих распрях, но меня не посвящали ни в одну тайну. Я полностью погрузился в канцелярскую работу, но зачем тратить время на занятия, с которыми прекрасно справится любой конторский служащий?

Возвращаясь после дальних прогулок по берегам Тибра, я неизменно сталкивался с одним и тем же: мелкими придирками кардинала, дворянским фанфаронством епископа Шалонского да немислимым лганьем будущего епископа Марокканского. Аббат Гийон, пользуясь сходством своего имени с другим, звучащим почти как же, утверждал, что именно он, чудом спасшись от резни в Кармелитском монастыре, дал отпущение грехов госпоже де Ламбаль в тюрьме Ла Форс *. Он хвастливо именовал себя сочинителем речи Робеспьера, обращенной к Верховному Существо. Однажды я побился об заклад, что заставлю его рассказать о том, как он был в России: впрямую он этого не признал, но вскользь заметил, что провел несколько месяцев в Санкт-Петербурге.

Господин де Ла Мезонфор, умный человек, вынужденный скрываться от властей, попросил моей помощи *, а господин Бертен-старший, владелец «Деба», вскорости оказал мне дружескую поддержку в скорбных обстоятельствах. Изгнанный на остров Эльба человеком, который, вернувшись в свой черед с острова Эльба, вынудил его бежать в Гент *, господин Бертен добился в 1803 году от республиканца господина Брио, моего знакомого, позволения провести остаток ссылки в Италии. Мы вместе любовались римскими развалинами и вместе пережили смерть госпожи де Бомон: две эти вещи связали наши судьбы. Критик, исполненный вкуса, он, как и его брат, давал мне прекрасные литературные советы. На трибуне он блистал бы истинным красноречием. Убежденный легитимист, прошедший испытание тюрьмой Тампль и ссылкой на Эльбу, он, по сути, и теперь не изменил своим принципам *. Я останусь верен товарищу трудных дней; все политические взгляды на земле не стоят одного часа искренней дружбы: довольно того, что я сохраняю постоянство взглядов, как сохраняю привязанность к своим воспоминаниям.

В середине моего пребывания в Риме сюда приехала принцесса Боргезе: мне было поручено передать ей парижские башмаки. Меня представили принцессе; я присутствовал при ее туалете: красивый новый башмачок, который она обула, недолго попирает нашу старую землю *.

Наконец случилось несчастье, захватившее меня всецело: это источник, который никогда не иссякает.

КНИГА ПЯТНАДЦАТАЯ

Просмотрено 22 февраля 1845 года

1. Год 1803. <...>

Париж, 1838

Когда я уехал из Франции, мы обольщались относительно здоровья госпожи де Бомон: она много плакала, и завещание ее доказало, что она считала себя обреченной *. Однако друзья ее не делились друг с другом своими опасениями и пытались успокоить себя; они верили в чудодейственную силу вод, в целительное италийское солнце; они расстались с больной и двинулись вперед разными путями: встреча была назначена в Риме.

<Отрывки из записей госпожи де Бомон; письма к ней Люсиль>

2. Приезд госпожи де Бомон в Рим. <...>

Письмо господина Балланша, датированное 30 фрюктидора *, извещало меня о том, что госпожа де Бомон прибыла из Мон-Дора в Лион и направляется в Италию. Он сообщал, что я напрасно тревожусь и что больная поправляется. В Милане госпожа де Бомон встретила с господином Бертенном, приехавшим туда по делам: он любезно взял на себя заботы о бедной путешественнице и привез ее во Флоренцию, где уже ждал ее я. Увидев ее, я ужаснулся; сил у нее доставало лишь на улыбку. Отдохнув несколько дней, мы двинулись в Рим; мы ехали шагом, дабы избежать тряски. Госпожа де Бомон всюду встречала предупредительность и внимание: всякий спешил принять участие в этой милой женщине, такой одинокой и недужной, потерявшей всех своих родных. Даже служанки на постоянных дворах прониклись к ней нежным сочувствием.

Нетрудно догадаться, что творилось у меня в душе: всякому случалось провожать друзей в могилу, но они были немые, и едва теплящаяся надежда не обостряла сердечной муки. Я не обращал внимания на прекрасную страну, по которой мы ехали; я выбрал дорогу через Перуджу: что мне была Италия? Климат ее, как он ни мягок, казался мне чересчур суровым; в легчайшем дуновении ветерка я видел бурю.

В Терни госпожа де Бомон захотела поехать к водопаду; она с трудом встала, оперлась на мою руку, но тут же вновь опустилась в кресло. «Придется этой воде падать без нас», — произнесла она. Я снял для нее уединенный

домик близ площади Испании, под горой Пинчо; при доме был садик с апельсиновыми деревьями, посаженными шпалерами, и дворик, где росло фиговое дерево. Я поселил там умирающую. Мне стоило большого труда отыскать эту обитель, ибо римляне с опаской относятся к легочным болезням, считая их заразными.

В эту эпоху возрождения общественного порядка люди ценили все, напоминающее о старой монархии: папа римский прислал справиться о здоровье дочери господина де Монморена; кардинал Консальви и члены священной коллегии последовали примеру Его Святейшества; сам кардинал Феш до последнего дня госпожи де Бомон оказывал ей почтение, какого я не ожидал и какое заставило меня забыть жалкие раздоры, омрачавшие начало моего пребывания в Риме.

〈Письма Люсиль к Шатобриану〉

4. Смерть госпожи де Бомон

Париж, 1838

Состояние здоровья госпожи де Бомон улучшилось было под влиянием римского воздуха, но ненадолго: правда, признаки близкой смерти исчезли, но, похоже, последний миг всегда медлит, чтобы обмануть нас. Я два или три раза пробовал покатаить больную в коляске; я силился развлечь ее, показывая ей пейзажи и небо: ничто не занимало ее. Однажды я повез ее в Колизей; стоял один из тех октябрьских дней, что бывают только в Риме. Она нашла в себе силы выйти из коляски и села на камень против одного из алтарей, расположенных вокруг здания. Подняв глаза, она медленно обвела взором эти портики, так давно лишившиеся жизни и видевшие так много смертей; залитые светом развалины поросли ежевикой и водосбором, которые осень окрасила в шафранные цвета. Затем умирающая женщина перевела взгляд на ступени амфитеатра и скользнула по ним вниз, до самой арены; увидев алтарный крест, она сказала: «Пойдемте, мне холодно». Я проводил ее домой; она слегла и уже не вставала.

Я завязал переписку с графом де Ла Люзерном и с каждой почтой отправлял ему из Рима подробный отчет о здоровье его свояченицы. Когда Людовик XVI отправил его посланником в Лондон, он взял с собой моего брата: в том же посольстве состоял и Андре Шенье*.

Доктора, которых я вновь созвал после неудачной прогулки, заявили, что спасти госпожу де Бомон может только чудо. Сама она твердила, что не доживет до 2 ноября, дня всех усопших; потом она вспомнила, что кто-то из ее родных, не помню, кто именно, умер 4 ноября. Я уверял ее, что у нее большое

воображение, что она сама убедится, сколь беспочвенны ее страхи; чтобы утешить меня, она отвечала: «О да! я проживу дольше!» Заметив слезы, которые я пытался скрыть, она протянула мне руку со словами: «Вы сущее дитя; разве это для вас неожиданность?»

Накануне смерти, 3 ноября, она казалась более спокойной. Она обсуждала со мной распоряжения относительно своего состояния и сказала о своем завещании, что «все кончено, но все предстоит сделать, ей нужно хотя бы два часа, чтобы этим заняться». Вечером врач сказал мне, что считает своим долгом предупредить больную о необходимости причаститься и собороваться; у меня недоставало сил согласиться; меня снедал страх сократить посредством приготовлений к смерти те недолгие земные мгновения, что были отмерены госпоже де Бомон. Я накричал на врача, а затем стал умолять его подождать хотя бы до завтра.

Я провел ужасную ночь: тайна жгла мне грудь. Больная не позволила мне остаться в ее спальне. Я сидел в соседней комнате, вздрагивая от каждого шороха: когда дверь приоткрывалась, я видел слабый свет гаснущего ночника.

В пятницу 4 ноября я вошел к госпоже де Бомон вместе с врачом. Она заметила мое смущение и сказала: «Что с вами? Ведь ночь прошла хорошо». Тогда врач намеренно громко сказал, что хотел бы поговорить со мной в соседней комнате. Я вышел: возвращаясь, я не знал, на каком я свете. Госпожа де Бомон спросила, чего хотел от меня доктор. Я со слезами опустился на край ее постели. Она мгновение помолчала, взглянула на меня и сказала твердым голосом, словно желая влить в меня силы: «Я не думала, что это придет так скоро: значит, пора прощаться. Пошлите за аббатом де Бонви».

Аббат де Бонви, испросив на то дозволения, поспешил к госпоже де Бомон. Она поведала ему, что в душе всегда была глубоко набожна, но неслыханные несчастья, обрушившиеся на ее голову во время Революции, на какое-то время поколебали ее веру в справедливость Провидения; она добавила, что готова признать свои заблуждения и положиться на милосердие Господне; она надеется, сказала она, что страдания, перенесенные ею в этом мире, зачтутся ей в мире ином. Затем она знаком попросила меня удалиться и осталась наедине со своим исповедником.

Через час он вышел, утирая глаза платком и повторяя, что никогда не слышал более прекрасных речей и не видел подобного героизма. Послали за кюре, чтобы соборовать ее. Я вернулся к госпоже де Бомон. Увидев меня, она спросила: «Ну как? Вы довольны мною?» Она стала с нежностью говорить о том, что изволила называть «моей добротой» к ней: ах! если бы в этот миг я мог купить хотя бы один лишний день ее жизни, я с радостью отдал бы за это весь остаток своих собственных дней! Тем друзьям госпожи де Бомон, что не присутствовали при этой сцене, было легче; им пришлось плакать лишь

единожды: я же стоял у этого одра страданий, где человек слышит, как бьет его последний час, и каждая улыбка больной возвращала мне жизнь и вновь отнимала ее, сходя с лица умирающей. Горькая мысль потрясла меня: я понял, что госпожа де Бомон лишь в последние мгновения ощутила, сколь глубоко я привязан к ней: она не уставала удивляться этому и, казалось, умерла в отчаянии и восторге. Ей думалось, что она мне в тягость, и хотелось уйти, дабы вернуть мне свободу.

В одиннадцать пришел кюре: комната наполнилась толпой равнодушных и любопытных зевак, которые в Риме всегда увязываются за священником. Госпожа де Бомон приняла торжественное великолепие обряда без малейшего страха. Мы преклонили колена, и больная разом причастилась и соборовалась. Когда все удалились, она велела мне сесть на край ее постели и полчаса говорила со мной о моих делах и намерениях, выказав самые высокие помыслы и самую трогательную дружбу; особенно уговаривала она меня не разлучаться с госпожой де Шатобриан и господином Жубером: но долго ли оставалось жить господину Жуберу?

Она попросила меня растворить окно: ей не хватало воздуха. Луч солнца осветил ее ложе и, казалось, порадовал ее. Тогда она напомнила мне о нашем заветном желании удалиться в деревню и заплакала.

Между двумя и тремя часами пополудни госпожа де Бомон попросила госпожу Сен-Жермен, старую испанку, которая служила ей с преданностью, достойной столь доброй хозяйки, перестелить постель: доктор воспротивился этому, боясь, как бы суета не ускорила кончину больной. Тогда госпожа де Бомон сказала мне, что чувствует приближение агонии. Она вдруг сбросила одеяло, взяла мою руку и сильно сжала ее; взгляд ее затуманился. Свободной рукой она делала знаки кому-то, кого видела у изножья постели; затем, поднеся руку к груди, она произнесла: «Вот здесь!» Объятый тоской, я спросил, узнает ли она меня: на ее лице мелькнуло подобие улыбки; она слегка кивнула головой: речь ее была уже не от мира сего. Судороги продлились всего несколько мгновений. Мы трое: я, врач и сиделка — поддерживали ее: моя рука лежала у нее на сердце, и я чувствовал, как оно учащенно колотится меж хрупких ребер, словно часы, чей маятник спешит размотать готовую порваться цепь. Внезапно, исполненный ужаса и страха, я почувствовал, как оно останавливается! Мы опустили женщину, обретшую покой, на подушки; голова ее свесилась набок. Несколько завитков растрепавшихся волос упали ей на лоб; глаза были закрыты; наступила вечная ночь. Доктор поднес к губам умершей зеркальце и лампу: дыхание жизни не затуманило зеркала и не поколебало пламени. Все было кончено.

〈Похороны госпожи де Бомон〉

6. Год 1803. <...>

Париж, 1838

Если измерять превратности частной жизни мерками жизни общественной, эти бедствия едва ли достойны даже беглого упоминания в моих Записках. Кто не терял друга? кто не присутствовал при его кончине? чья память не хранит подобной скорбной сцены? Рассуждение верное, и все же никто не может удержаться от пересказа собственных злоключений: уплывая на корабле, моряк оставляет на суше семью, о которой все время думает и твердит товарищам. Всякий человек заключает в себе особый мир, чуждый общим законам и судьбам веков. Впрочем, ошибочно полагать, будто революции, великие несчастья, знаменитые стихийные бедствия — единственная летопись нашей природы: каждый из нас поодиночке созидает цепь всеобщей истории, и из этих-то отдельных жизней и складывается мир человеческий, как он предстает пред очами Господа.

<Соболезнующие письма друзей Шатобриана>

7. Годы 1803 и 1804.— Первая мысль о моих «Записках». — Бонапарт назначает меня французским посланником в Вале. — Отъезд из Рима

Париж, 1838

Я решился оставить деловое поприще, омрачившее мою жизнь не только скучными занятиями и пошлыми политическими дразгами, но и личным несчастьем. Тот не знает, что такое безутешное горе, кто не бродил в одиночестве по местам, где еще недавно жила особа, украшавшая его существование: вы ищите ее и не находите; она говорит с вами, улыбается вам, неотступно следует за вами; все, что она надевала, все, чего касалась, вызывает в памяти ее образ; вас отделяет от нее только прозрачная завеса, но завеса эта так тяжела, что вы не в силах приподнять ее. Воспоминание о первом друге, которого вы потеряли, тягостно, ибо, если жизнь ваша продолжилась, вас несомненно постигли и другие утраты: все эти последующие смерти связываются в вашем уме с самой первой смертью, так что вы оплакиваете в одном лице всех, кого потеряли на жизненном пути.

Занимаясь устройством своих дел, затрудненным удаленностью от Франции, я жил одиноко, окруженный римскими развалинами. Когда я впервые вышел пройтись, все показалось мне переменившимся; я не узнавал ни деревьев, ни строений, ни неба; я блуждал среди полей, вдоль аркад и акведуков, как некогда под лесными сводами Нового Света. А затем возвращался

в Вечный город, прибавивший к своим бесчисленным мертвецам еще одну угасшую жизнь. Я так много бродил по пустынным берегам Тибра, что они навсегда запечатлелись у меня в памяти, и я довольно верно воспроизвел их в моем письме к господину де Фонтану *. «Если чужестранца постигло горе,— писал я,— если он смешал прах любимого существа с прахом стольких прославленных особ, как сладостно будет ему переходить от мавзолея Цецилии Метеллы к могиле несчастной женщины!»

Именно в Риме мне впервые явилась мысль начать «Записки о моей жизни»; сохранилось несколько отрывочных строк из них; вот что мне удалось разобрать: «Исходив землю из края в край, проведя прекраснейшие годы юности вдали от родины и испытав почти все бедствия, какие может испытать человек, не исключая даже голода, я вернулся в Париж в 1800 году».

В одном из писем к господину Жуберу я так излагал свой план: «Единственная моя отрада — выкроить несколько часов на занятие единственным произведением, которое может хоть отчасти облегчить мое бремя; это — «Записки о моей жизни». Туда войдет и Рим; только таким образом смогу я отныне говорить о Риме. Будьте покойны: вы не встретите здесь признаний, тягостных для моих друзей; если я чего-либо добьюсь в будущем, я расскажу о своих друзьях с восхищением и почтением. Обращаясь к потомкам, я не стану распространяться и о своих слабостях; я скажу о себе лишь то, что приличествует моему человеческому достоинству и, смею сказать, возвышенному сердцу. Нужно являть миру лишь то, что прекрасно; поверять из своей жизни лишь то, что может вдохнуть в нам подобных чувства великодушные и благородные, — не значит лгать Господу. Откровенно говоря, скрывать мне нечего: я не крал ленту и не сваливал вину на служанку, я не бросал на улице умирающего друга, не бесчестил приютившую меня женщину, не отдавал собственных детей в приют *; но у меня были свои слабости, мне случалось падать духом; достаточно одного горького вздоха, чтобы намекнуть миру об этих заурядных невзгодах, долженствующих остаться под покровом. К чему обществу изображение ран, от которых страждут все? Тот, кто хочет показать несовершенство человеческой природы, не имеет недостатка в примерах».

Набрасывая этот план, я оставлял в стороне свою семью, детство, юность, странствия и изгнание: меж тем именно эти рассказы доставляли мне самое большое наслаждение.

Я был словно счастливый раб: свыкшись с цепью, он уже не знает, что делать на свободе, как быть, если оковы его разбиты. Стоило мне приняться за работу, как передо мной вставало лицо, от которого я не мог оторвать глаз: только религии, степенностью своей внушавшей мне размышления высшего порядка, было под силу овладеть моим вниманием.

Однако, обдумывая свои «Записки», я понял, отчего древние так пеклись о судьбе своего имени: быть может, в воспоминаниях о протекшей жизни,

которые человек оставляет, покидая мир, есть некая трогательная существенность. Быть может, великим людям древности идея бессмертия рода человеческого заменяла идею бессмертия души, пребывшего для них загадкой. Если слава относится только до нас самих, грош ей цена, и все же следует признать, что способность гения даровать всему, что он любил, вечную жизнь — прекрасная привилегия.

Я взялся за толкование некоторых книг Библии и начал с Книги Бытие. В стихе: «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» * — я отметил поразительную иронию Создателя: «Вот, Адам стал как один из нас и проч. Как бы он не простер руки своей и не взял также от дерева жизни». Отчего? Оттого, что он отведал плод познания и стал отличать добро от зла; теперь его гнетут несчастья, следовательно, ему незачем «жить вечно»: как велико милосердие Господа, дарующего смерть.

Я начал сочинять молитвы: одни врачевали «душевные скорби», другие укрепляли дух, «зрящий благоденствие злодеев»: я стремился возвратить сосредоточенность и покой моим блуждающим мыслям.

Поскольку Господь не захотел прервать на этом мою жизнь, храня ее для грядущих испытаний, поднявшиеся бури улеглись. Кардинал-посол неожиданно переменился ко мне; я имел с ним откровенный разговор и заявил о своем намерении просить отставки. Он воспротивился этому; он утверждал, что сейчас отставка моя показалась бы опалой, что я обрадовал бы ею своих врагов, прогневил первого консула и лишил бы себя возможности жить покойно в тех краях, куда я хочу удалиться. Он предложил мне съездить недели на две, а то и на месяц, в Неаполь.

В это же самое время Россия прошупывала почву на предмет приглашения меня наставником к великому князю *: но если мне было суждено посвятить остаток жизни наследнику престола, то ждать этого от меня мог только Генрих V.

Покуда я метался между множеством возможностей, я получил известие, что первый консул назначил меня посланником в Вале *. Поначалу, выведенный из себя доносами, он разгневался, но, успокоившись, понял, что я из породы тех людей, которые хороши только тогда, когда они сами себе голова, и что меня не следует никому подчинять, иначе от меня не будет проку. Вакансий не было; он учредил должность, подходящую для моей любящей одиночество, жаждущей независимости натуры; он послал меня в Альпы, он вверил мне католическую республику, по которой струят свои воды бесчисленные потоки: у себя под ногами мне предстояло увидеть Рону и наших солдат — Рону, стремящуюся вниз, к Франции, солдат, поднимающихся вверх, к Италии, а впереди моему взору открывался бы опасный Симплонский перевал. Консул готов был предоставить мне вдоволь свободного времени для путешествий по Италии, а госпожа Баччоки передала мне через Фонтана, что, как только освободится должность посла в крупном государстве, я получу ее. Итак,

нежданно и неволью я одержал первую победу на дипломатическом поприще: поистине во главе государства стоял высокий ум, не желавший, чтобы кабинетные интриги терзали другой ум, в котором он чувствовал слишком сильную потребность выйти из-под чужой власти.

Замечание это тем более верно, что кардинал Феш, которому я воздаю в этих записках должное, на что он, быть может, не рассчитывал, отправил две сердитые депеши в Париж едва ли не в те же самые дни, когда, в связи со смертью госпожи де Бомон, обхождение его сделалось более любезным. Когда он был искретен: когда беседовал со мною и предлагал мне съездить в Неаполь или когда сочинял эти дипломатические послания? То и другое происходило одновременно, но первое противоречило второму. Мне ничего не стоило бы привести господина кардинала в согласие с самим собой, уничтожив следы донесений, имевших касательство до меня; в бытность свою министром иностранных дел я мог изъять досужие вымыслы посла из министерского архива — поступил же так господин де Талейран со своими письмами к императору. Но я не счел себя вправе употребить свою власть в собственных интересах. Если бы кому-нибудь вздумалось искать эти документы, их нашли бы на прежнем месте *. Скажут, что такой образ действий — глупость; что ж! я не прекословлю; однако, чтобы не ставить себе в заслугу добродетель, каковой я не обладаю, замечу, что уважение мое к переписке моих хулителей происходит не столько от великодушия, сколько от презрения. В архивах берлинского посольства я видел оскорбительные письма господина маркиза де Бонне касательно моей особы: я не собираюсь щадить себя и обнаруживать их.

Господин кардинал Феш был так же злоречив по отношению к бедному аббату Гийону (епископу Марокканскому): он произвел его в «русского шпиона». Бонапарт считал господина Лене «английским шпионом» *: виной тому были сплетни, к которым, на горе, приучили этого великого человека полицейские донесения. Так ли уж, однако, безгрешен был сам господин Феш? Высоко ли ценила его собственная семья? Кардинал де Клермон-Тоннер был в Риме в одно время со мной, в 1803 году; чего он только не писал о дядюшке Наполеона! Я храню эти письма.

Впрочем, кому важны эти ссоры, уже сорок лет похороненные под спудом истлевших бумаг? Из всех действующих лиц этой эпохи уцелел один-единственный — Бонапарт. Все мы мертвы уже сейчас, хотя и числим себя живыми: можно ли разобрать род насекомого в тусклом свете, который оно иной раз испускает, ползя по стене?

Позже, в бытность свою послом при папе Льве XII, я вновь встретился с господином кардиналом Фешем: он засвидетельствовал мне свое почтение, я также постарался выказать ему предупредительность и уважение. Впрочем, естественно, что меня судили сурово — и поделом. Все это в далеком прошлом: у меня нет даже желания узнавать по почерку тех, кто в 1803 году служили или прислуживали господину кардиналу Фешу.

Я уехал в Неаполь: там начался год без госпожи де Бомон; год разлуки, первый в столь длинном ряду! Я ни разу не был в Неаполе с тех пор, хотя в 1827 году * проезжал мимо и собирался заехать туда вместе с госпожой де Шатобриан. Апельсиновые деревья были усыпаны плодами, мирты — цветами. Байя, Елисейские поля и море переполняли душу восторгом, который мне не с кем было разделить. Неаполитанский залив я описал в «Мучениках». Я поднялся на Везувий и спустился в его кратер. Я обкрадывал самого себя: я разыгрывал сцену из «Рене» *.

В Помпеях мне показали скелет в цепях и обрывки латинских слов, нацарапанных солдатами на стенах. Я возвратился в Рим. Канова открыл мне двери своей мастерской; он работал над статуей нимфы. Прочие мраморные изваяния для надгробия, которое я заказал, были уже готовы и выглядели весьма выразительно. В церкви Святого Людовика я сотворил молитву над прахом, погребенным в Риме, а 21 января 1804 года, в другой несчастный день *, уехал в Париж.

Какая поразительная суетность: с тех пор прошло 35 лет. Не ободрял ли я себя в те далекие и горестные дни мыслью, что разорванные смертью узы станут моей последней привязанностью? И как же скоро я пусть не забыл то, чем дорожил, но нашел ему замену! Так следует человек от утраты к утрате. Покуда он молод и катит свою жизнь впереди себя, ему еще можно отыскать оправдание, но когда он впрягается в нее и с трудом тащит ее за собой, прощенья ему нет. Природа наша так скудна, склонности так непостоянны, что нам недостает новых слов для выражения нового чувства, и мы изъясняем его в тех словах, к каким уже прибегали прежде, когда в сердце нашем жило другое чувство. Существуют, однако, слова, которые должно произносить только единожды: повторение оскверняет их. Друзья, которых мы предали и забыли, упрекают нас за то, что мы нашли себе новое общество; один день служит укором другому: жизнь наша — постоянный стыд, ибо она — постоянная ошибка.

КНИГА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Просмотрено 22 февраля 1845 года

1. Год 1804.— Республика Вале.— Посещение дворца Тюильри.— Особняк Монморенов.— Я слышу сообщение глашатаев о смерти герцога Энгиенского.— Я ухожу в отставку

Париж, 1838

Поскольку я не собирался задерживаться в Париже, я остановился во «Французской гостинице» на улице Бон, где ко мне присоединилась госпожа

де Шатобриан, намеревавшаяся отправиться вместе со мною в Вале. Мое прежнее общество, уже наполовину распавшееся, утратило связующую его нить.

Бонапарт шел к императорскому венцу; гений его рос вместе с событиями: он мог, словно расширяющийся в объеме порох, взорвать весь мир; исполину, никак не могущему добраться до вершины власти, некуда было девать силу; он действовал на ощупь и, казалось, искал свою дорогу; когда я приехал в Париж, он возился с Пишегрю и Моро: из мелкой зависти он согласился увидеть в них соперников; Моро, Пишегрю и Жорж Кадудаль *, враг куда более грозный, были арестованы.

Эта сеть интриг, неотрывная от любого делового поприща, была мне не по нраву, и меня радовала возможность бежать в горы.

⟨Письмо из Сиона, в котором тамошний городской совет изъявляет радость по поводу назначения Шатобриана посланником в республику Вале⟩

За два дня до 20 марта * я собрался пойти в Тюильри проститься с Бонапартом; я не видел его с того дня, когда он говорил со мной на балу у Люсьена. Галерея, где он принимал посетителей, была полна народу; его сопровождали Мюрат и флигель-адъютант; он шел почти не останавливаясь. Когда он подошел ближе, я поразился происшедшей в нем перемене: помертвевшие щеки ввалились, очи горели диким огнем, лицо побледнело и помрачнело, вид сделался угрюм и страшен. Меня уже не влекло к нему так, как прежде; не желая стоять у него на пути, я сделал движение, чтобы уйти. Он бросил на меня взгляд, словно припоминая, сделал ко мне несколько шагов, затем повернулся и удалился. Быть может, он увидел во мне предупреждение? Его адъютант приметил меня; когда я скрылся в толпе, он стал искать меня глазами за спинами заслонявших меня людей и попытался вновь увлечь консула в мою сторону. Эта игра продолжалась почти четверть часа: я все время удалялся, Наполеон, сам того не подозревая, все время шел за мною следом. Я так и не смог уразуметь, что двигало адъютантом. То ли он не узнал меня и вид мой показался ему подозрительным? то ли, напротив, узнал и хотел, чтобы Бонапарт поговорил со мной? Как бы там ни было, Наполеон ушел в другую залу. Побывав в Тюильри, я удалился с чувством выполненного долга. Я всегда с великой радостью покидал любой дворец, из чего явствует, что мне там не место.

Возвратившись во «Французскую гостиницу», я сказал друзьям: «Верно, стряслось нечто особенное, чего мы не знаем, ибо Бонапарт, если только он не болен, не мог так сильно перемениться». Господин Бурьен оценил мою необычайную догадливость, он только перепутал даты *; вот его слова: «Вернувшись от первого консула, господин де Шатобриан объявил своим друзьям, что заметил, как сильно изменился первый консул и какой зловеющий огонь горит в его глазах».

Да, я заметил это: зло дается высшему уму не без боли, ибо это чужеродный плод, который ему не пристало вынашивать.

Два дня спустя, 20 марта, печальное и дорогое сердцу воспоминание подняло меня спозаранку. Господин де Монморен некогда выстроил себе дом на бульваре Инвалидов, в том месте, где его пересекает улица Плюме. В саду этого дома, проданного во время Революции, госпожа де Бомон, тогда еще совсем девочка, посадила кипарис и не раз, когда нам случалось проходить мимо, показывала мне его: с этим кипарисом, происхождение и историю которого знал я один, я и собирался проститься. Он существует и поныне, но чахнет и едва достает до окна, под которым холила и лелеяла его рука женщины, ушедшей навсегда. Я отличаю это бедное деревце от трех или четырех деревьев той же породы; кажется, оно тоже знает меня и радуется, когда я прихожу; меланхолические порывы ветерка склоняют ко мне его пожелтевшую голову, и оно что-то шепчет в окно опустевшей комнаты: таинственная связь меж нами порвется лишь со смертью одного из нас.

Отдав благоговейную дань памяти, я спустился по бульвару и пересек площадь Инвалидов, затем по мосту Людовика XVI прошел в сад Тюильри и вышел из него возле флигеля Марсана туда, где нынче проходит улица Риволи. В начале двенадцатого до меня донеслись голоса: мужчина и женщина выкрикивали официальное сообщение; услышав его, прохожие останавливались как вкопанные. «Особая военная комиссия, созванная в Венсенне,— кричали глашатаи,— приговорила к смертной казни Луи Антуана Анри де Бурбона, родившегося 2 августа 1772 года в Шантийи».

Этот крик поразил меня как гром среди ясного неба; он изменил мою жизнь так же, как изменил жизнь Наполеона. Вернувшись домой, я сказал госпоже де Шатобриан: «Герцог Энгиенский расстрелян». Я сел за стол и начал писать прошение об отставке. Госпожа де Шатобриан этому нимало не воспротивилась и с большим мужеством смотрела, как я пишу. Она прекрасно сознавала грозившую мне опасность: шло следствие по делу генерала Моро и Жоржа Кадудала; лев лизнул крови; было не время злить его.

Тем временем к нам пришел господин Клозель де Куссерг; он также слышал сообщение о приговоре. Он застал меня с пером в руке: письмо мое, откуда он уговорил меня изъять, из жалости к госпоже де Шатобриан, фразы, исполненные гнева, было отправлено на имя министра иностранных дел. Выражения, в каких я его составил, значения не имели; мнение мое и преступление заключались в самом факте моей отставки: Бонапарт это отлично понял *. Госпожа Баччоки рассердилась, узнав о том, что она назвала «моим отступничеством»; она послала за мной и осыпала меня самыми горячими упреками. Господин де Фонтан, позже защищавший меня со всем бесстрашием дружбы, в первое мгновение едва не потерял рассудок от страха *: он уже видел меня расстрелянным, а вместе со мной и всех, кто со мною знался. Несколько дней мои друзья провели в страхе, ожидая, что меня вот-вот схватит

полиция; они то и дело навещали меня, всякий раз я приближался к каморке привратника с великим трепетом. На следующий день после моей отставки меня навестил господин Пакье; он обнял меня и сказал, что гордится моей дружбой. Сам он довольно долго с достохвальной скромностью держался в тени, не гонясь за должностями и не стремясь к власти *.

Тем не менее эти порывы участия, которые побуждают нас одобрять благородный поступок, скоро иссякли. Из почтения к религии я согласился на место за пределами Франции, место, которое пожаловал мне могущественный гений, победитель анархии, вождь, верный народу, *консул Республики*, а не король, узурпировавший *монархию*; при этом я был одинок в своем чувстве, ибо последователен в своем поведении; я удалился, когда условия, под которыми я мог подписаться, изменились; но, лишь только герой превратился в убийцу, все кинулись обивать его пороги *. Через полгода после 20 марта весь высший свет, казалось, пришел к единому мнению, если не считать злых шуток, которыми аристократы обменивались в узком кругу. Люди *падшие* утверждали, что их *принудили, принуждали* же, по слухам, лишь тех, кто носит славное имя, либо пользуется славной репутацией, так что всякий, желающий доказать свою именитость и известность, молил о том, чтобы его *принудили*.

Те, кто паче всего мною восхищались, отделились; я был для них живым укором: люди осторожные усматривают неосторожность в поведении тех, кто повинуется велениям чести. Бывают времена, когда возвышенность души воистину оборачивается изъяном; никто ее не понимает; ее считают ограниченностью ума, предрассудком, дурной привычкой, блажью, придурью, мешающей верно судить о вещах, глупостью, быть может достойною уважения, но выдающей тупоумие раба. Разве много мудрости в том, чтобы не видеть ничего вокруг, оставаться чуждым ходу времени, развитию идей, перемене нравов, прогрессу общества? Разве не прискорбное заблуждение — придавать событиям значение, какого они не имеют? Замкнувшись в ваших узких принципах, вы с вашим недалеким умом и столь же недалекими суждениями уподобляетесь человеку, который, живя на задворках, видит только крохотный садик и не подозревает ни о том, что происходит на улице, ни о том, какой шум там раздастся. Вот до чего доводит вас толика независимости: вы становитесь предметом жалости для людей посредственных, великие же люди — те, что снисходят до вас со своих высот и устремляют на вас «глаза гордые» *, *oculos sublimes* — с милосердным пренебрежением прощают вас, ибо знают, что *вам их не понять*. Вследствие всего сказанного я смиренно отдался литературной деятельности — так бедный Пиндар начинает первую Олимпийскую песнь с утверждения, что *самое лучшее на свете — это вода*, оставляя вино блаженным.

Дружба вдохнула отвагу в господина де Фонтана; доброта госпожи Бачочки стала преградой между гневом ее брата и моим решением; господин де Талейран по безразличию или по расчету задержал мое прошение об отставке и доложил о нем лишь через несколько дней, дав Бонапарту время на

размышление. Услышав единственное открытое порицание из уст честного человека, не побоявшегося выступить против властителя, он произнес только одно: «Ладно». Позже он сказал своей сестре: «Сильно вы испугались за вашего друга». Много лет спустя в беседе с господином де Фонтаном он признался, что моя отставка — одна из вещей, поразивших его сильнее всего. Господин де Талейран приказал отправить мне официальное письмо; в нем он учтиво попенял мне на то, что я лишил его ведомство моих талантов и услуг. Я возместил расходы на обустройство, и на том дело, по видимости, и закончилось. Но, посмеив покинуть Бонапарта, я поставил себя с ним на одну доску, и он восстал против меня всем своим злодейством, как я восстал против него всей своей преданностью. До самого своего падения он держал над моей головой меч; несколько раз, движимый естественным порывом, он призывал меня и пытался утопить в своих роковых благодеяниях; порой меня тянуло к нему восхищение, которое он мне внушал, мысль о том, что благодаря ему я присутствую не просто при смене династии, но при обновлении общества; однако во многих отношениях природы наши были противоположными, и это давало себя знать; если он с великой охотой приказал бы меня расстрелять, то я тоже не слишком угрызился бы, лишив его жизни.

Смерть созидает или развенчивает великого человека; она останавливает его на той ступени, до которой он успел спуститься или подняться: удел покойника — удача или провал; в первом случае рассуждают о том, кем он был, во втором — гадают, кем он мог стать.

Если бы я выполнял долг, лелея далеко идущие честолюбивые планы, я бы просчитался. Карл X только в Праге узнал о том, как я поступил в 1804 году: он освободился от монархии. «Шатобриан, — спросил он меня в Градчанском замке, — вы служили Бонапарту?» — «Да, Ваше Величество». — «Вы ушли в отставку после смерти герцога Энгиенского?» — «Да, Ваше Величество». Несчастье учит или возвращает память. Я рассказывал вам, как однажды в Лондоне мы с господином Фонтаном укрылись от проливного дождя в той же аллее, что и господин герцог де Бурбон: во Франции он и его доблестный отец, столь учтиво благодарившие всякого, кто сочинял речи на смерть герцога Энгиенского, не вспомнили обо мне ни словом: вероятно, они не знали о моем поступке; впрочем, я никогда им о нем не рассказывал.

2. Смерть герцога Энгиенского

Шантийи, ноябрь 1838 года

В октябре меня, как перелетных птиц, одолевает беспокойство, и я с радостью отправился бы в чужие края, если бы не утратил силу крыльев и легкость

дней: плывущие по небу облака пробуждают во мне желание бежать. Дабы обмануть этот инстинкт, я поспешил в Шантийи. Я ступил на луг, которым старые сторожа бредут к лесной опушке. Несколько ворон, перелетая с ветки на ветку через заросли дрока, лесной молодняк и прогалины, привели меня к Коммельским прудам. Смерть унесла друзей, которые некогда сопровождали меня в замок королевы Бланки *; в этих безлюдных местах остался лишь унылый горизонт, за которым на мгновение промелькнуло мое прошлое. Во времена «Рене» я отыскал бы в речушке Тев тайны жизни: речушка эта прячется среди хвоща и мха; ее не видно за тростником; она исчезает в прудах, которые питает своей юностью, беспрестанно умирающей, беспрестанно обновляющейся: я как зачарованный смотрел в эти воды, когда носил в своей душе пустыню, населенную призраками: они улыбались мне сквозь свою меланхолию, а я убирал их цветами.

Возвращаясь вдоль едва заметных изгородей, я попал под дождь; пришлось спрятаться под бук: последние листья его опадали, как мои годы; верхушка обнажилась, как моя голова; на стволе стоял красный кружок — ему, как и мне, предстояло пасть. На постоянный двор я вернулся с ворохом осенних растений и в безрадостном расположении духа; здесь, в виду развалин Шантийи *, я расскажу вам о смерти герцога Энгиенского.

Смерть эта в первое мгновение сквала ужасом все сердца; люди решили, что возвращается царствие Робеспьера. Парижане думали, что вновь наступил один из тех дней, которые не повторяются, — день казни Людовика XVI. Близкие, друзья, родные Бонапарта пришли в отчаяние. За границей дипломатический язык немедля заглушил взрыв народного негодования, но от этого потрясение ничуть не уменьшилось. Пуля прошла навывлет через все изгнанное семейство Бурбонов: Людовик XVIII возвратил королю Испании орден Золотого Руна, ибо им недавно был награжден Бонапарт; сопроводительное письмо делает честь королевской душе:

«Милостивый государь и дорогой кузен, не может быть ничего общего между мной и чудовищным преступником, которого дерзость и удача возвели на престол, варварски запятанный невинной кровью одного из Бурбонов — кровью герцога Энгиенского. Христианские чувства могут побудить меня простить убийце, но тиран моего народа навсегда останется моим врагом. Пути Господни неисповедимы, и мне, быть может, суждено окончить дни в изгнании; никогда, однако, ни современники мои, ни потомки не смогут сказать, что во времена бедствий я выказал себя недостойным трона моих предков».

Не должно забывать и другого имени, связанного с именем герцога Энгиенского: Густав Адольф, свергнутый и изгнанный монарх, был единственным из царствующих в ту пору королей, кто посмел возвысить голос в защиту юного французского принца. Он послал из Карлсруэ к Бонапарту адъютанта с пись-

мом; письмо опоздало; последнего Конде уже не было в живых. Густав Адольф отослал прусскому королю орден Черного Орла, подобно тому как Людовик XVIII возвратил орден Золотого Руна королю испанскому. Густав заявил наследнику великого Фридриха, что «законы рыцарства не позволяют ему быть братом по оружию убийце герцога Энгиенского». (Среди наград Бонапарта был и Черный Орел.) Есть какая-то горькая насмешка в этом почти безрассудном напоминании о рыцарских чувствах, не сохранившихся нигде, кроме сердца несчастного короля, скорбящего об убитом друге: благородное товарищество по несчастью живет непонятое, одинокое, в мире, неизвестном людьми!

Увы! мы повидали столько всяких деспотов, что в характерах наших, сломленных чередой горестей и притеснений, уже не осталось сил долго скорбеть о смерти молодого Конде: слезы постепенно иссякли; страх вылился в единодушные поздравления первого консула с избавлением от опасностей; теперь люди рыдали от признательности к тирану, ради их спасения отдавшему на закланье святую жертву. Нерон под диктовку Сенеки написал Сенату послание, восхваляющее убийство Агриппины *; сенаторы в упоении осыпали благодарностями великодушного сына, ради блага народа не убоявшегося подвергнуть себя душераздирающему испытанию и свершить матереубийство! Светское общество скоро вернулось к своим развлечениям; оно испугалось своего траура: жертвы, уцелевшие после Террора, плясали, силились казаться счастливыми и, страшась обвинений в злопамятности, веселились так, как веселятся приговоренные по дороге на эшафот.

Нельзя сказать, что герцога Энгиенского арестовали ни с того ни с сего и без всяких приуготовлений; Бонапарт выяснил, сколько в Европе Бурбонов *. Он призвал на совет господина де Галейрана и господина Фуше, и те сообщили, что герцог Ангулемский и Людовик XVIII находятся в Варшаве, граф д'Артуа и герцог Беррийский вместе с принцами де Конде и де Бурбонном — в Лондоне. Наследник рода Конде жил в Этенхейме, в Баденском герцогстве. Случилось так, что его вознамерились втянуть в интриги господина Тейлор и Дрейк, английские шпионы. 16 июня 1803 года герцог де Бурбон написал своему внуку * письмо из Лондона, где предостерег его от возможного ареста; письмо это сохранилось. Бонапарт призвал к себе своих соратников-консулов: для начала он осыпал упреками господина Реаля за то, что тот скрыл от него козни противников. Он терпеливо выслушал возражения: резче всех высказался Камбасерес. Бонапарт поблагодарил его и поступил по-своему. Я сам прочел об этом в «Воспоминаниях» Камбасереса, каковые один из его племянников, господин де Камбасерес, пэр Франции, любезно предоставил в мое распоряжение, за что я ему весьма признателен. Брошенная бомба не возвращается; она летит туда, куда посылает ее гений, и падает. Чтобы исполнить приказание Бонапарта, потребовалось вступить на территорию Германии, и французский отряд незамедлительно вступил на нее. Герцог

Энгиенский был арестован в Эттенхейме. При нем, вместо ожидаемого генерала Дюмурье, находился только маркиз де Тюмери да несколько безвестных эмигрантов: из одного этого можно было вывести, что произошла ошибка. Герцога Энгиенского отвезли в Страсбург. О начале венсеннской катастрофы мы знаем от самого принца: сохранился короткий дневник *, который он вел по дороге из Эттенхейма в Страсбург: герой трагедии выходит на авансцену и произносит пролог.

ДНЕВНИК ГЕРЦОГА ЭНГИЕНСКОГО

«В четверг 15 марта в пять часов (пополуночи) мой дом в Эттенхейме окружили эскадрон драгун и жандармские пикеты; всего около двухсот человек, два генерала, драгунский полковник, полковник Шарло из Страсбургской жандармерии. В половине шестого выломали двери, меня увозят на Мельницу, что близ Черепичного Завода. Бумаги мои изъяты, опечатаны. Довезен в телеге между двумя рядами стрелков до Рейна. Посажен на корабль курсом на Риснау. Сошел на землю и пешком добрался до Пфортсхейма. Обедал на постоялом дворе. Сел в коляску с полковником Шарло, сержантом жандармерии, одним жандармом на козлах и Грюнштейном. Около половины шестого прибыл в Страсбург к полковнику Шарло. Через полчаса доставлен в фиакре в крепость. <...> Воскресенье, 18-е, за мной пришли в половине первого ночи. Дали ровно столько времени, сколько нужно, чтобы одеться. Я обнимаю моих несчастных спутников, моих слуг. Ухожу один с двумя жандармскими офицерами и двумя жандармами. Полковник Шарло объявил мне, что мы идем к дивизионному генералу, получившему приказ из Парижа. Вместо этого на площади перед церковью меня сажают в карету, запряженную шестеркой почтовых лошадей. Лейтенант Петерман поместился рядом со мной, сержант Блитерсдорф уселся на козлах, два жандарма — в карете, один — на запятках».

Здесь потерпевший кораблекрушение, готовый погрузиться в волны, прерывает свой бортовой журнал.

Добравшись около четырех часов пополудни до одной из столичных застав, карета вместо того, чтобы въехать в Париж, повернула на внешний бульвар и остановилась перед воротами Венсеннского замка. Принца, вышедшего из кареты во внутреннем дворе, препроводили в одну из комнат крепости и там заперли; он лег спать. Чем ближе принц подъезжал к Парижу, тем старательнее Бонапарт разыгрывал спокойствие. 18 марта, в Вербное воскресенье, он уехал в Мальмезон. Госпожа Бонапарт, которая, как и вся ее семья, знала об аресте принца, заговорила об этом деле с супругом. Тот отвечал: «Ты ничего не смыслишь в политике». Полковник Савари стал частым гостем в покоях Бонапарта. Отчего? Оттого, что он видел слезы первого консула в Маренго. Выдающиеся личности должны опасаться своих слез, которые отдают их во власть личностей заурядных. Слезы — одна из тех слабостей, которые могут сделать свидетеля господином великого человека.

Утверждают, что первый консул распорядился заготовить все приказы касательно узника Венсеннского замка. Один из этих приказов гласил, что, если суд приговорит герцога Энгийенского к смерти, приговор надлежит привести в исполнение немедленно. Я доверяю этой версии, хотя и не могу ничего утверждать наверняка, ибо приказы эти не сохранились. Госпожа де Ремюза, которая вечером 20 марта играла в Мальмезоне в шахматы с первым консулом, слышала, как он прошептал несколько стихов о милосердии Августа *; она решила, что Бонапарт одумался и принц спасен. Но нет; судьба произнесла свой приговор. Когда Савари вновь появился в Мальмезоне, госпожа Бонапарт угадала, что несчастье свершилось. Первый консул заперся у себя и несколько часов провел в полном одиночестве. А потом дохнул ветер, и всему пришел конец.

СОСТАВ ВОЕННОЙ КОМИССИИ

Приказ Бонапарта от 29 вантоза XII года * постановил, что военная комиссия в составе семи членов, назначенных генерал-губернатором Парижа (Мюратом), соберется в Венсенне, чтобы рассмотреть дело «бывшего герцога Энгийенского, обвиняемого в применении оружия против Республики, и проч.». (Перечисление судей)

ДОПРОС, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ КАПИТАНОМ-ДОКЛАДЧИКОМ

Капитан д'Отанкур, командир эскадрона Жакен, два пеших жандарма из того же полка, Лерва и Тарсис, а также гражданин Нуаро, лейтенант того же полка, отправляются в комнату герцога Энгийенского; они будят его: всего через четыре часа ему предстоит уснуть вновь. Капитан-докладчик с помощью Молена, командира 18 полка, секретаря суда, выбранного упомянутым докладчиком, допрашивает принца.

Спрошено, как его имя, фамилия, возраст и место рождения.

Отвечено, что зовут его Луи Антуан Анри де Бурбон, герцог Энгийенский, а родился он 2 августа 1772 года в Шантийи.

Спрошено, где он жил после того, как покинул Францию.

Отвечено, что, последовав за родней, вступил в армию Конде, когда она была сформирована, а прежде состоял в армии Бурбонов и с нею участвовал в кампании 1792 года в Брананте.

Спрошено, бывал ли в Англии и не выплачивает ли ему эта держава содержание.

Отвечено, что никогда там не был, однако ж Англия посылает ему содержание и в нем — единственный источник его доходов.

Спрошено, в каком чине служил он в армии Конде.

Отвечено: до 1796 года — командир передового отряда, а прежде — волонтер в штаб-квартире своего деда, после же 1796 года постоянно в чине командира передового отряда.

Спрошено, знаком ли с генералом Пишегрю, имел ли с ним сношения.

Отвечено: не припомню, чтобы я его видел. Сношений с ним не имел никогда. Знаю, что он хотел меня видеть. Рад, что не знаком с ним, если правда, что он хотел воспользоваться такими гнусными средствами, как о том говорят.

Спрошено, знает ли бывшего генерала Дюмурье и имеет ли с ним сношения?

Отвечено: не более чем генерала Пишегрю.

О чем составлен настоящий протокол, каковой подписан герцогом Энгиенским, командиром эскадрона Жакеном, лейтенантом Нуаро, двумя жандармами и капитаном-докладчиком.

Прежде чем подписать этот протокол, герцог Энгиенский сказал: «Я настоятельно прошу аудиенции у первого консула. Мое имя, звание, мой образ мыслей и нынешнее бедственное мое положение вселяют в меня надежду, что он не откажет в моей просьбе».

ЗАСЕДАНИЕ И ПРИГОВОР ВОЕННОЙ КОМИССИИ

21 марта в два часа пополудни герцога Энгиенского ввели в залу, где заседала комиссия, и он повторил то, что сказал на допросе. Он настаивал на своих словах и добавил, что готов сражаться и желал бы принять участие в новой войне Франции против Англии. «На вопрос, желает ли еще что-либо сказать в свою защиту, отвечал, что более ему сказать нечего.

Председательствующий приказывает увести обвиняемого; члены комиссии совещаются при закрытых дверях, председатель выслушивает их мнения, начиная с младшего по чину; сам он высказывается последним; все единодушно признают герцога Энгиенского виновным по статье... закона о... которая гласит... и посему приговаривают его к смертной казни. Настоящий приговор надежит прочесть осужденному, после чего привести в исполнение безотлагательно в присутствии различных подразделений гарнизона.

Приговор вынесен в Венсенне, указанного дня, месяца и года. Бумаги заполнены, приговор скреплен подписями и обжалованию не подлежит».

Могила была *вырыта, заполнена и скреплена*; сверху легли десять лет забвения, всеобщего согласия и беззвучной славы; она зарастала травой под грохот орудийного салюта, возвещавшего победы, под иллюминации, озарявшие помазание на царство, свадьбу наследницы Цезарей и рождение римского короля *. Лишь редкие печальники бродили по лесу, осмеливаясь украдкой бросить взгляд на дно скорбного рва, да несколько узников созерцали его с вершины башни, где томились. Наступила Реставрация: земля на могиле дрогнула, а вместе с нею дрогнули и умы; всякий счел своим долгом объяснить. Свое мнение обнародовал господин Дюпен-старший; взял слово председатель военной комиссии господин Юен; в спор вступил господин герцог де

Ровиго, выдвинувший обвинения против господина де Талейрана; у господина де Талейрана отыскался защитник, и наконец сам Наполеон возвысил свой громкий голос с утеса Святой Елены *.

Надо привести и исследовать эти документы, дабы выяснились истинная роль и истинное место каждого в этой драме. Сейчас ночь, и мы находимся в Шантийи; была ночь, когда герцог Энгийенский находился в Венсенне.

〈Рассмотрение названных документов, касающихся расстрела герцога Энгийенского〉

7. Вина каждого

Изучив все факты, я пришел к следующему выводу: единственным, кто желал смерти герцога Энгийенского, был Бонапарт; никто не ставил ему эту смерть условием для возведения на престол. Разговоры об этом якобы поставленном условии — ухищрение политиков, любящих отыскивать во всем тайные пружины. Однако весьма вероятно, что иные люди с нечистой совестью не без удовольствия наблюдали, как первый консул навсегда порывает с Бурбонами. Суд в Венсенне — порождение корсиканского темперамента, приступ холодной ярости, трусливая ненависть к потомкам Людовика XIV, чей грозный призрак преследовал Бонапарта.

Мюрат может упрекнуть себя лишь в том, что передал комиссии общие указания и не имел силы устраниваться: во время суда его не было в Венсенне.

Герцог де Ровиго приводил приговор в исполнение; вероятно, он получил тайный приказ: на это намекает генерал Юлен. Кто решился бы «безотлагательно» предать смерти герцога Энгийенского, не имея на то высочайших полномочий?

Что же до господина де Талейрана, священника и дворянина *, он выступил вдохновителем убийства; он был не в ладах с законной династией. Опираясь на то, что сказал Наполеон на Святой Елене, и то, что, вероятно, излагал в своих письмах епископ Отенский, можно было бы доказать, что вина господина де Талейрана велика; однако не следует выходить за рамки достоверности. Трудно отрицать, что господин де Талейран подвиг Бонапарта на роковой арест, вопреки советам Камбасереса. Но так же трудно допустить, что он предвидел результат своих действий. Как мог он помыслить, что первый консул сознательно предпочтет самую предосудительную меру самой выгодной роли великодушного избавителя? Легкомыслие, нрав, воспитание, привычки министра отвращали его от насилия. Распутство усыпляло его волю; он был слишком подл, чтобы стать закоренелым преступником. Если он позволил себе дать роковой совет, то, разумеется, оттого, что недооценил возможных последствий, точно так же, как во время Реставрации, занимая место подле Фуше, не понял, что тем самым губит себя. Князя Беневентского не смущала проблема добра и зла, ибо он не отличал одного от другого: он был лишен нравственного чувства и потому вечно ошибался в своих предвидениях.

Военная комиссия вынесла приговор с болью и раскаянием.

Такова, скажем мы по добросовестном, непредвзятом, строгом рассмотрении, вина каждого. Моя судьба так тесно связана с этой катастрофой, что я был обязан попытаться рассеять окутывающий ее мрак и прояснить некоторые ее подробности. Если бы Бонапарт не убил герцога Энгиенского, если бы он все больше и больше приближал меня к себе (а такие намерения у него имелись), что бы отсюда воспоследовало? Литературная деятельность моя закончилась бы; вступив на политическое поприще, где я, как показала испанская война, кое-чего стою, я сделался бы богат и могуществен. Франция выиграла бы от моего объединения с императором; я бы от этого проиграл. Может статься, мне удалось бы утвердить великого человека в некоторых идеях, имеющих касательство к свободе и умеренности; однако жизнь моя, попав в число тех, которые зовут счастливыми, лишилась бы того, что составляет ее неповторимость и является предметом моей гордости, — лишилась бедности, борений и независимости. (Вина Наполеона; его суждения о герцоге Энгиенском на Святой Елене)

9. *О том, что следует из всего сказанного. — Распри, порожденные смертью герцога Энгиенского*

Из жизни Бонапарта следует извлечь суровый урок. Два равно дурных поступка начали и довершили его падение: смерть герцога Энгиенского; война в Испании. Напрасно надеялся он, что слава вытеснит его злодеяния из памяти людской, они перевесили и погубили его. Подвело его именно то, в чем он видел свою силу, глубину, неуязвимость, когда попираал законы нравственности, пренебрегая и гнушаясь своей подлинной силой, то есть великим умением насаждать порядок и справедливость. Пока он нападал только на анархию да на иноземных врагов Франции, он одерживал победы, но стоило ему вступить на путь нечестия, как он лишился всей своей мощи: отрезанный Далилой волос — не что иное, как утрата добродетели. Всякое преступление несет в себе корень бездарности и семя зла: будем же творить добро, дабы обрести счастье; будем справедливыми, дабы обрести талант.

В доказательство этой истины прошу отметить, что со смертью принца начался раскол, который вкупе с военными поражениями погубил виновника Венсенской трагедии. По случаю ареста герцога Энгиенского российское правительство направило протест против вторжения французских солдат на территорию Империи: уязвленный Бонапарт ответил в «Монитёре» грозной статьей с напоминанием о смерти Павла I. В Санкт-Петербурге отслужили панихиду по молодому Конде. На кенотафе вырезали надпись: «Герцогу Энгиенскому quem devoravit bellua corsica»³. Позже могущественные против-

³ Которого сожрал корсиканский хищник (лат.).

ники по видимости примирились, однако раны, которые нанесла политика и разбередили оскорбления, не затянулись: Наполеон счел себя отомщенным лишь тогда, когда занял Москву; Александр успокоился лишь тогда, когда вошел в Париж.

Ненависть берлинского кабинета министров исходила из того же источника: я говорил о благородном письме господина де Лафоре, где он рассказывает господину де Талейрану о том, какое действие произвело убийство герцога Энгийенского на потсдамский двор *. Госпожа де Сталь была в Пруссии *, когда пришла весть из Венсенна: «Я жила в Берлине,— пишет она,— на берегу Шпрее; покои мои были в первом этаже. Однажды меня разбудили в восемь утра и доложили, что принц Людвиг Фердинанд прискакал верхом под мое окно и хочет говорить со мной. «Известно ли вам,— спросил он,— что герцог Энгийенский был похищен на Баденской территории, предан военному суду и через сутки после прибытия в Париж расстрелян?» — «Какой вздор,— отвечала я,— разве вы не понимаете, что слух этот распустили враги Франции? Право, как ни сильна моя ненависть к Бонапарту, я не считаю его способным на такое злодеяние». — «Коль скоро вы сомневаетесь в том, что я говорю,— отвечал мне принц Людвиг,— я пришлю вам «Монитёр», чтобы вы сами прочли приговор». — С этими словами он ускакал; на лице его было написано: месть или смерть. Четверть часа спустя я уже держала в руках «Монитёр» от 21 марта (30 плювиоза *), где был обнародован смертный приговор, вынесенный военной комиссией, заседавшей в Венсенне, некоему *Луи Энгийенскому!* Именно так именovali французы потомка героев, овесявших свою родину славой! Даже если отречься от всех сословных предрассудков, которые неизбежно возродились бы с возвращением к монархическому правлению, можно ли так подло предавать память о сражениях при Лансе и Рокруа? * Сам одержавший столько побед, Бонапарт не умеет чтить чужие подвиги; он не признает ни прошлого, ни будущего; для его властолюбивой и надменной души нет ничего святого; он уважает только ту силу, что существует сегодня. Принц Людвиг начал письмо ко мне такими словами: «Некто Людвиг Прусский желает узнать у госпожи де Сталь и проч.» — Он чувствовал, какое оскорбление нанесено королевской крови, которая текла и в его жилах, памяти о героях, к числу которых мечтал принадлежать и он. Как после столь ужасного поступка хотя бы один европейский король мог заключить союз с этим человеком? Необходимость, скажут мне? Есть святилище души, куда не должно быть доступа необходимости: в противном случае чем была бы добродетель на земле? Либеральной забавой, подобающей лишь мирному досугу людей частных».

Этот гнев, за который принц поплатился жизнью *, еще не угас, когда началась прусская кампания 1806 года. В своем манифесте от 9 октября Фридрих Вильгельм говорит: «Германцы не отомстили за смерть герцога

Энгиенского, но память об этом злодеянии никогда не изгладится из их сердец».

Эти исторические подробности, мало кем замеченные, достойны внимания, ибо в них можно отыскать причины распрей, не объяснимых никакими другими обстоятельствами, и одновременно увидеть, какими путями ведет Провидение человека от проступка к каре.

10. *Статья в «Меркюр»* *. — *Перемена в жизни Бонапарта*

Я счастлив уже тем, что никогда в жизни не поддавался страху, не подражал толпе, не терял себя! Удовлетворение, которое я испытываю сегодня от того, как поступил тогда, служит мне порукой, что совесть — не пустой звук. Более довольный собою, нежели все эти властители и народы, павшие в ноги победоносному солдату, я с простительной гордостью перечитываю страницу, которая остается моим единственным достоянием и которой я обязан одному себе. Я писал эти строки в 1807 году, еще не придя в себя после убийства, о котором я только что поведал; из-за них был закрыт «Меркюр», и свобода моя вновь оказалась под угрозой.

«Когда гнусную тишину нарушает только лязг цепей да голос доносчика; когда все трепещет перед тираном и благосклонность его так же опасна, как и немилость, на сцену выходит историк, чье предназначение — мстить за народы. Нерон еще благоденствует, но в империи уже родился Тацит; никому не ведомый, он растет близ праха Германика, и неподкупное Провидение уже вверило безвестному ребенку славу владыки мира*. Роль историка прекрасна, хотя зачастую и опасна; но есть алтари, которые требуют жертв, даже когда люди покинули их: таков алтарь чести. Если храм пуст, это не означает, что Бог умер. Тот не герой, кто сражается, чуя близость победы; отважен тот, кто действует, зная, что обрекает себя на несчастье и смерть. В конечном счете что значат невзгоды, если имя наше дойдет до потомков, и через две тысячи лет после нашей смерти при звуке его сильнее забьется чье-то благородное сердце?»

Смерть герцога Энгиенского, подчинив поведение Бонапарта иному закону, подорвала его здравомыслие: ему пришлось усвоить, дабы пользоваться ими как щитом, максимы, которые он не мог применить в полной мере, ибо его слава и гений постоянно им противоречили. Он стал подозрителен; он сделался страшен; люди потеряли веру в него и в его звезду; ему пришлось терпеть, если не искать, общество людей, с которыми он в ином случае никогда не стал бы знать и которые из-за его деяния сочли себя равными ему: их позор пал и на него. Он не смел ни в чем упрекнуть их, ибо утратил право осуждать, принадлежащее добродетели. Достоинства его остались прежними, но благие

намерения переменились и уже не служили поддержкой этим великим достоинствам; первородный грех точил его изнутри. Господь приказал своим ангелам разрушить гармонию этого мира, изменить его законы, наклонить его ось. «Ангелы,— говорит Мильтон,—

с великим
Трудом <...> центральный этот шар
Столкнули вкось.
Солнцу было велено свой бег
От равноденственной стези сместить
. <ветры>
Гнетут леса, морей вздымают глуть ⁴.

<Прощание с Шантийи, местом рождения герцога Энгиенского>

КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ

<Год 1804; Шатобриан нанимает этаж в особняке маркизы де Куален>

2. Госпожа де Куален

Госпожа де Куален была женщина в высшей степени величественная. Ей было под восемьдесят, надменные властные глаза ее светились умом и иронией. Госпожа де Куален не получила никакого образования и тем гордилась; она прожила свой век, не подозревая, что это век Вольтера; о своей эпохе она в лучшем случае могла сказать, что это время речистых буржуа. Не то чтобы она когда-либо говорила о своем происхождении; она была выше этой смехотворной слабости: ей прекрасно удавалось иметь дело с *маленькими людьми* и не унижать при этом своего дворянского достоинства; но, как бы там ни было, предок ее был первым маркизом Франции. Ведя свой род от Дрогона де Неля, убитого в Палестине в 1096 году, от Рауля де Неля, коннетабля, произведенного в рыцари Людовиком IX; от Жана II де Неля, регента Франции времен последнего крестового похода Людовика Святого, госпожа де Куален объясняла свое происхождение глупой прихотью судьбы, за которую она не в ответе; она родилась придворной дамой, как другие, более удачливые, рождаются уличными девками, и отличалась от этих других, как отличаются арабские кобылицы от извозчицких кляч: она ничего не могла с этим поделать, и ей приходилось терпеливо сносить недуг, которым небу было угодно ее поразить.

Была ли госпожа де Куален в связи с Людовиком XV? Она никогда мне в этом не признавалась: она не отрицала, что он очень любил ее,

⁴ Мильтон. Потерянный рай, кн. X; пер. Арк. Штейнберга.

но утверждала, что обходилась с царственным поклонником донельзя сурово. «Он был у моих ног,— говоривала она,— он глядел на меня своими дивными глазами, говорил сладкие речи. Однажды он хотел подарить мне фарфоровый туалетный столик с прибором, такой, как у госпожи де Помпадур.— «Ах, Ваше Величество,— воскликнула я,— верно, это для того, чтобы я под ним пряталась!» По странной случайности я увидел этот туалетный столик у маркизы Конингхэм в Лондоне; то был подарок Георга IV, которым она похвасталась мне с забавным простодушием.

Покои госпожи де Куален выходили на колоннаду, сообщающуюся с колоннадой Королевской кладовой. Два морских пейзажа Верне, которые Людовик *Возлюбленный* * подарил благородной хозяйке дома, висели на стене, обитой старым зеленоватым атласом. До двух часов пополудни госпожа де Куален возлежала на подушках в большой кровати с зеленым же шелковым пологом. Из-под съехавшего набок ночного чепца выбивались седые пряди. Брильянтовые подвески в старинной оправе спускались на плечи капота, усыпанного табаком, как у щеголих Фронды. Вокруг на одеяле были разбросаны *адреса* писем, отрезанные от самих писем, на каковых *адресах* госпожа де Куален вкривь и вкось записывала свои мысли: она никогда не покупала бумаги, полагаясь в этом отношении на почту. Порой из-под одеяла высовывала нос маленькая собачка по кличке Лили, лаяла на меня минут пять-шесть и ворча возвращалась под крыло хозяйки. Так обошлось время с предметом юношеской страсти Людовика XV.

Госпожа де Шатору и две ее сестры * приходились кузинами госпоже де Куален, которая, однако, в отличие от благочестивой грешницы госпожи де Майи, никогда бы не произнесла в ответ на грубую брань, услышанную в церкви Святого Роха из уст незнакомого мужчины: «Друг мой, раз вы меня знаете, молитесь за меня».

Госпожа де Куален, скупая, как многие люди острого ума, рассовывала свои деньги по шкафам. Она жила в постоянной тревоге за свои сбережения, которые были ей дороже жизни. Слуги облегчали ее муки. Когда она погружалась в запутанные расчеты, она напоминала мне скупца Гермократа, который, диктуя свое завещание, назначил своим наследником себя самого. Иной раз ей случалось приглашать к обеду гостей: однако она ругательски ругала кофе, утверждая, что никто его не любит и что пьют его единственно, чтобы продлить трапезу.

Госпожа де Шатобриан отправилась вместе с госпожой де Куален и маркизом де Нелем в Виши; маркиз ехал впереди и заказывал превосходные обеды. Госпожа де Куален приезжала следом и просила подать полфунта вишен и ничего более. При отъезде ей предъявляли огромные счета: начинался скандал. Она и слышать не желала ни о чем, кроме вишен; хозяин требовал денег, ибо на постоялом дворе такой обычай: ели не ели, а раз обед заказан, надо платить.

Госпожа де Куален сотворила себе иллюминизм по своему вкусу.

Легковерная и недоверчивая разом, она по недостатку веры смеялась над религией, а по суеверности боялась ее. Она свела знакомство с госпожой де Крюденер; иллюминизм скрытной француженки был весьма условным; это не понравилось истовой российской духовидице, которая, в свою очередь, не понравилась госпоже де Куален. Госпожа де Крюденер с чувством спросила ее: «Сударыня, кто ваш внутренний духовник?» — «Сударыня,— возразила госпожа де Куален,— я не знаю своего внутреннего духовника; я знаю только, что духовник мой находится внутри своей исповедальни». На том две дамы расстались навсегда.

Госпожа де Куален хвалилась, что ввела при дворе новшество: моду на распущенные волосы — ввела вопреки благочестивой королеве Марии Лещинской, противившейся этому опасному нововведению. Она уверяла, что в прежние времена благовоспитанной особе никогда бы и в голову не пришло платить своему врачу. Она негодовала против обилия женского белья: «Это обличает выскочку,— говорила она.— У нас, придворных дам, было только по две сорочки; когда они изнашивались, мы надевали новые; мы носили шелковые платья и не походили на гризеток, как эти нынешние барышни».

Госпожа Сюар, жившая на улице Руаяль, через несколько дворов от площади Людовика XV, держала петуха, который своим громким пением досаждал госпоже де Куален. Она написала госпоже Сюар: «Сударыня, прикажите свернуть шею вашему петуху». Госпожа Сюар отослала гонца назад со следующей запиской: «Сударыня, имею честь ответить вам, что я не собираюсь сворачивать шею своему петуху». Тем дело и кончилось. Госпожа де Куален сказала госпоже де Шатобриан: «Ах, душа моя, в какое время мы живем! Ведь это же дочь Панкука *, жена того академика, знаете?»

Господин Энен, бывший чиновник министерства иностранных дел, скучный, как протокол, кропал толстые романы. Однажды он читал госпоже де Куален одно описание: покинутая любовница в слезах грустно сидит с удочкой и ловит лосося. Госпожа де Куален, терявшая терпение и не любившая лосося, перебила автора и сказала ему с серьезным видом, делавшим ее ужасно смешной: «Господин Энен, вы не могли бы подкинуть этой даме какую-нибудь другую рыбку?»

Истории, которые рассказывала госпожа де Куален, невозможно пересказать, потому что они были ни о чем; вся прелесть заключалась в жестах, манерах, наружности рассказчицы: она никогда не смеялась. Особенно удавался ей спор *суфругов Жакмино*. Когда госпожа Жакмино восклицала: «Но, *господин Жакмино!*» — само звучание этого имени вызывало в слушателях безумный смех. А госпожа де Куален тем временем невозмутимо брала понюшку табаку.

Узнав из газет о смерти нескольких королей, она сняла очки, высморкалась и сказала: «Начался падеж венценосного скота».

У ее смертного одра велись разговоры о том, что люди умирают только если опускают руки, а если быть начеку и ни на секунду не упускать противника из виду, то не умрешь. «Я верю,— отвечала она,— но боюсь зазеваться». И испустила дух.

Наутро я спустился к ней; в ее покоях я застал господина и госпожу д'Аваре, ее сестру и зятя; они сидели перед камином за небольшим столиком и считали луидоры, высыпая их из мешочка, найденного за деревянной обшивкой стены. Бедная покойница лежала тут же рядом на своей постели, за полузадернутым пологом; она уже не слышала звона пересчитываемого сестринными руками золота, который непременно разбудил бы ее, не спи она вечным сном.

Среди мыслей, записанных усопшей на полях книг и адресах писем, попадались совершенно замечательные. Госпожа де Куален, пережившая гибель Людовика XVI и дожившая до Бонапарта, показала мне, каков был двор Людовика XV, точно так же, как госпожа д'Удето, переступившая порог XIX века, дала мне возможность увидеть, каково было общество философов *.

〈Путешествие Шатобриана в Виши, в Овернь и на Монблан в 1805 году; смерть Люсиль〉

КНИГА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

〈Путешествие Шатобриана на Восток, описанное затем в книге «Путешествие из Парижа в Иерусалим»; Шатобриан сопоставляет фрагменты своей книги с подлинным дневником своего слуги Жюльена; возвращение во Францию через Испанию〉

Просмотрено в июне 1847 года

5. *Годы 1807, 1808, 1809 и 1810.— Статья в июньском номере «Меркюр» за 1807 год.— Я покупаю Волчью долину и поселяюсь там*

Париж, 1839

〈Болезнь госпожи де Шатобриан во время восточных странствий мужа〉

Полный надежды, я принес под кровлю своего дома горсть колосьев; отдых мой был недолог.

Случилось так, что я сделался единственным владельцем журнала «Меркюр». В конце июня 1807 года господин Александр де Лаборд выпустил в свет свое путешествие по Испании; в июле я поместил в «Меркюр» статью, отрывки из которой я цитировал, рассказывая о смерти герцога Энгийенского: «Когда гнусную тишину...» * Успехи Бонапарта не только не убедили меня в его правоте, но, напротив, восстановили меня против него; чувства мои и перенесенные мною испытания придали мне сил. Недаром лицо мое было обожжено

солнцем; не для того я отдавал себя во власть гнева небесного, чтобы трепетать с омраченным челом перед злобою человеческой. Если Наполеон покончил с королями, это не значило, что он покончил со мной. Статья моя, явившаяся в самую пору его удач и чудес, всколыхнула Францию: она ходила по рукам в бесчисленных списках; многие подписчики «Меркюр» вырезали ее и переплели отдельно; ее читали в гостиных, передавали из дома в дом. Только человек, живший в то время, может представить себе, какое действие произвел голос, нарушивший всеобщее молчание. Благородные чувства, похороненные на дне многих душ, пробудились. Наполеон пришел в ярость: обида зависит не столько от тяжести оскорбления, сколько от почтения обиженного к самому себе. Как! презирать даже его славу; вторично бросить вызов тому, у чьих ног простерся весь мир! «Шатобриан полагает, что я глупец и не понимаю его! я прикажу зарубить его саблех на ступенях Тюильри». Он отдал приказ закрыть «Меркюр» * и арестовать меня. Достояние мое погибло, особа же чудом уцелела; Бонапарт был занят целым миром, он забыл обо мне, но я не мог чувствовать себя в безопасности.

Я оказался в плачевном положении: действовал я, как велели долг и честь, но это не избавило меня от забот о себе и ответственности перед женой, которой я принес немало горя. Мужество ее было велико, но это не облегчало ее страданий, и бури, одна за другой обрушивавшиеся на мою голову, омрачали ее жизнь. Она столько выстрадала из-за меня во время Революции; естественно, ей хотелось покоя. Вдобавок у госпожи де Шатобриан Наполеон вызывал безграничное восхищение; она нимало не обольщалась относительно законной династии и неустанно предупреждала меня о том, что сулит мне возвращение Бурбонов.

Первая книга моих «Записок» начата в Волчьей долине 4 октября 1811 года: я описал в ней тот уединенный уголок, который в эту пору купил, дабы укрыться от мира. Покинув нашу квартиру в доме госпожи де Куален, мы на время перебрались на улицу Сен-Пьер в гостиницу Лавалетт, названную по имени хозяев.

Господин де Лавалетт, коренастый, в сизом сюртуке, опирающийся на трость с золотым набалдашником, стал моим поверенным в делах, если считать, что у меня имелись дела. Некогда он носил звание королевского мундшенка и пропивал больше, чем я проедал.

К концу ноября, видя, что ремонтные работы в моем домишке не движутся, я вздумал переселиться туда и приглядывать за всем лично. До Волчьей долины мы добрались под вечер. Мы следовали не обычным путем и въехали в сад через нижние ворота. Дожди размывали землю в аллеях, и лошади встали; коляска опрокинулась. Гипсовый бюст Гомера, стоявший рядом с госпожой де Шатобриан, упал на землю, и у него отлетела голова: дурное предзнаменование для «Мучеников», которых я в то время писал.

Дом, полный смеющихся, поющих, стучащих молотками работников, топился стружкой и освещался огарками свечей; он походил на лесной скит, куда забрели паломники. Радуюсь, что в доме нашлись две пригодные для жилья комнаты и что в одной из них для нас накрыли стол, мы поужинали. Наутро, проснувшись от стука молотков и песен строителей, я встретил восход солнца более беззаботно, чем владыка Тюильри.

Я был на седьмом небе; хоть я и не госпожа де Севинье *, я обувал сабо и шел по грязи сажать деревья, прогуливался по аллеям, снова и снова заглядывал во все укромные уголки, прятался под сенью всех кустов, воображая, чем станет мой парк в будущем, ибо тогда у меня еще было будущее. Пытаясь сегодня отыскать в памяти скрывшийся из глаз горизонт, я вижу его не таким, как прежде; иные горизонты открываются моему взору. Мысли мои путаются; нынешние мои иллюзии, быть может, столь же прекрасны, сколь и прежние, но их уже не назовешь иллюзиями молодости; то, что я видел в полуденном великолепии, предстает мне в закатном свете.— Если бы, однако, грезы перестали преследовать меня! Баярд, когда его понуждали сдать некую крепость, отвечал: «Прежде я сложу мост из ваших мертвых тел, а уж потом пройду по нему со своим гарнизоном». Боюсь, как бы мне не пришлось отступать по останкам моих химер.

Мои деревья были еще маленькими, и осенние ветры не ревели в их ветвях, зато весенний ветерок приносил с соседних лугов аромат цветов и изливал его на мою долину.

Я сделал несколько пристроек к своей хижине; я украсил ее кирпичную стену портиком — его поддерживали две черные мраморные колонны и две беломраморные кариатиды: в память об Афинах. Собирался я также выстроить сбоку башню, а пока сделал ложные зубцы * на стене, отделяющей мои владения от дороги; таким образом, я первым отдал дань той страсти к средневековью, которая нынче лишает рассудка всех французов. Волчья долина — единственное мое достояние, об утрате которого я сожалею; видно, мне на роду написано остаться ни с чем. Простившись с Волчьей долиной, я основал богадельню Марии Терезы и в конце концов также был принужден ее покинуть. Теперь судьбе не удастся привязать меня ни к какому, даже самому крошечному клочку земли; отныне у меня не будет иного сада, кроме тех носящих столь прекрасные имена улиц, которые окружают Дом инвалидов и по которым я прогуливаюсь в обществе моих одноруких и одноногих собратьев. Неподалеку высится кипарис госпожи де Бомон *; среди этих просторов некогда опиралась на мою руку высокая и стройная герцогиня Шатийонская. Теперь я подставляю руку одному лишь времени: как это тяжело!

Я с наслаждением работал над «Записками»; продвигались вперед и «Мученики»; я уже прочел несколько книг этой поэмы господину де Фонтану. Я расположился в кругу своих воспоминаний, как в большой библиотеке:

я справлялся то с одним из них, то с другим, а затем со вздохом закрывал свою летопись, убеждаясь, что солнечные лучи разрушают ее тайну. Пролетите свет на дни вашей жизни — и они перестанут быть тем, чем были.

В июле 1808 года я захворал и принужден был возвратиться в Париж. Доктора плохо лечили меня, и болезнь сделалась опасной. При Гиппократе в преисподней недоставало мертвецов, гласит эпитаграмма: благодаря нашим современным Гиппократам в покойниках недостатка нет.

Быть может, то был единственный миг, когда на пороге смерти у меня возникло желание жить. Когда я падал с ног от слабости, а это случалось часто, я говорил госпоже де Шатобриан: «Будьте покойны, я выкарабкаюсь». Я лишился чувств, но горел внутренним нетерпением, ибо нечто, известное одному лишь Господу, привязывало меня к жизни. Кроме всего прочего, я страстно желал закончить то, что почитал и почитаю до сего дня самым правильным своим сочинением. Болезнь была платой за тяготы, перенесенные мною во время путешествия на Восток.

Жироде закончил мой портрет. Он написал меня мрачным, каким я тогда и был, но вложил в полотно весь свой гений. Господин Денон получил шедевр для салона; как образцовый царедворец он поспешил повесить его в укромном уголке. Бонапарт, пройдя по всей выставке и оглядев все картины, осведомился: «А где портрет Шатобриана?» Он знал, что портрет здесь: пришлось извлечь преступника из тайника. Бонапарт, чье великодушие уже иссякло, сказал, взглянув на мое изображение: «У него вид заговорщика, который лезет в дом через дымоход».

〈Визит кузена Шатобриана Моро в Волчью долину〉

6. «Мученики»

Весной 1809 года вышли в свет «Мученики». Я трудился над ними на совесть: советовался со сведушими и обладающими хорошим вкусом критиками, господами де Фонтаном, Бертенем, Буассонадом, Мальте-Брюном и слушался их доводов. Сотни и сотни раз я писал, зачеркивал и переписывал одну и ту же страницу. Из всех моих сочинений это написано самым правильным языком.

Я не ошибся относительно плана: сегодня, когда мысли мои сделались банальными, никто не отрицает, что борьба двух религий, одной умирающей, другой нарождающейся *, предлагает музам один из богатейших, плодотворнейших и драматичнейших сюжетов. Я полагал, что могу питать некоторые не вовсе безрассудные надежды, но я забывал об успехе первой моей книги: в этой стране никому не следует рассчитывать на два успеха кряду: один вредит

другому. Если вы наделены некоторым талантом в прозе, остерегайтесь проявлять его в стихах; если вы отличились в литературе, не вмешивайтесь в политику: вот французский ум и вот его ничтожество. Честолюбцы и завистники, встревоженные и разозленные удачным дебютом, объединив усилия, набрасываются на вторую публикацию прославившегося автора, дабы взять блистательный реванш:

Все, пальцы начернив, клянутся отомстить ⁵.

Настал час расплаты за глупые восторги, которых я не по заслугам сподобился по выходе «Гения христианства»; мне пришлось возвращать то, что я украл. Увы! стоило ли моим противникам так стараться, чтобы отнять у меня то, что сам я почитал мне не принадлежащим! Если бы я освободил христианский Рим, я потребовал бы только венец, каким награждают воинов-освободителей, — гирлянду цветов, сорванных в Вечном городе.

Суд тщеславия произнес свой приговор устами господина Оффманна, упокой, Господи, его душу *! «Журналь де Деба» уже не был независимым, владельцы его, более не властные в своих действиях, получили от цензуры указание осудить меня. Впрочем, господин Оффманн пощадил битву франков и еще несколько отрывков; но если Цимодоцея показалась ему милой, то кощунственное сближение христианских истин с мифологическими вымыслами осердило этого ревностного католика. Велледа не могла выручить меня. Мне вменили в вину, что я превратил германскую друидессу в галльскую, словно я хотел почерпнуть из Тацита что-либо, кроме благозвучного имени *! И вот уже христиане Франции, которым я оказал такие большие услуги, восстановив их алтари, ополчаются на меня по вещему слову господина Оффманна! Их ввело в заблуждение название «Мученики»: они ожидали прочесть мартиролог, и тигр, разорвавший всего-навсего дщерь Гомерову, показался им святотатством.

Подлинное мученичество папы Пия VII, которого Бонапарт привез в Париж пленником *, не оскорбляло их, зато мои вымыслы, по их мнению недостаточно христианские, привели их в негодование. Труд расправиться с ужасными богохульствами автора «Гения христианства» взял на себя господин епископ Шартрский. Увы! с тех пор он, верно, уже догадался, что рвение его достойно лучшего применения.

Господин епископ Шартрский — брат моего чудесного друга господина де Клозеля, человека весьма набожного, но не вознесшегося до таких высот добродетели, как его брат-критик.

Я счел, что обязан ответить противникам, как сделал некогда в отношении «Гения христианства» *. Пример Монтестье, защищавшего «Дух законов»,

⁵ Пер. М. Гринберга.

вдохновлял меня. Я был не прав. Какие бы глубокие истины ни изрекали авторы, подвергшиеся нападкам, ответом им служат лишь улыбки беспристрастных умов да насмешки толпы. Положение их невыгодно: французам оборона не по нраву. Когда я доказывал критикам, что, клеймя тот или иной фрагмент, они обрушиваются не на что иное, как на прекрасный обломок античности, они, пойманные с поличным, изворачивались и винули «Мучеников» в том, что книга эта — не более чем *подражание*. Если я оправдывал одновременное присутствие в поэме двух религий ссылками на авторитет Отцов Церкви, мне возражали, что в эпоху, когда происходит действие «Мучеников», среди язычников уже не было великих умов.

Я чистосердечно думал, что сочинение мое провалилось; яростные нападки поколебали мою уверенность в себе. Немногочисленные друзья утешали меня, уверяя, что гонения несправедливы, что публика рано или поздно изменит свой приговор; особенно тверд был господин де Фонтан; я не Расин, но он мог стать Буало * и без устали твердил мне: «Они одумаются». Убежденность его была так велика, что вдохновила его на прелестные стансы *:

По городам скитаясь, Тасс, и проч.—

он не побоялся скомпрометировать свой вкус и репутацию.

«Мученики» и в самом деле воспряли; они удостоились чести быть изданными четыре раза кряду; они даже снискали особую милость литераторов, оценивших наконец сочинение, свидетельствующее о серьезных штудиях, о работе над стилем, о великом почтении к языку и вкусу.

Критика по существу дела быстро прекратилась. Упрекать меня в смешении мирского и священного потому лишь, что я описал две религии, которые существовали одновременно и из которых каждая имела свои обряды, алтари, священников, церемонии, значило требовать от меня, чтобы я отказался от истории. За кого умирали мученики? За Иисуса Христа. Кому их приносили в жертву? Богам империи. Значит, религий было две.

Философический вопрос о том, верили ли при Диоклетиане римляне и греки в богов Гомера и претерпела ли официальная религия какие-либо изменения, не касался меня как *поэта*; как *историк* я многое мог бы об этом сказать.

Нынче все это не имеет значения. Вопреки моим первоначальным страхам, забвение не постигло «Мучеников», и моей заботой стало лишь заново выверять их текст *.

Изъян «Мучеников» происходит оттого, что я прибегнул к *непосредственному* чудесному *, причем по вине неизжитых классических предрассудков употребил его некстати. Испугавшись собственных новаций, я посчитал невозможным обойтись без *ада* и *небес*. Меж тем для ведения действия достало бы добрых и злых ангелов; не было нужды прибегать к тем движущим силам, что давно известны словесности. Если франков и их битвы *, Велледы, Иеронима, Августина, Евдора, Цимодоцеи, описания Неаполя и Греции недостаточно для

оправдания «Мучеников», то никакой ад и никакое небо не спасут их. Господин де Фонтан паче всего любил следующий отрывок:

«Цимодоцея села перед окном своей темницы и, уронив на руки голову в мученическом венце, выдохнула мелодичные строки:

«Легкие корабли Авсонии, разрежьте покойное и сверкающее море; рабы Нептуна, подставьте парус нежному дыханию ветров; налегайте на проворные весла. Перенесите меня под защиту моего супруга и моего отца, на благословенные берега Памиса.

Летите, птицы Ливии, грациозно выгибающие свои гибкие шеи, летите на вершину Итома и скажите, что скоро дочь Гомерова вновь узрит мессенийские лавры!

Когда же вновь предстанут предо мною ложе из слоновой кости, дневной свет, столь дорогой смертным, луга, пестрящие цветами, которые орошает чистый ручей, которые овеивает своим дыханием невинность!»

«Гений христианства» останется главным моим созданием, ибо он произвел или ускорил переворот и открыл новую эру в литературе. С «Мучениками» все обстоит иначе: они появились, когда революция уже совершилась; они послужили всего только лишним доказательством моих идей; стиль мой не был нов; и более того, исключая эпизод с Велледой и страницы, посвященные нравам франков, поэма моя носит отпечаток своих знакомств *: классическое в ней преобладает над романтическим.

Наконец, обстоятельства, способствовавшие успеху «Гения христианства», более не существовали: правительство не только не благоволило ко мне, но, напротив, было настроено недоброжелательно. «Мученики» усугубили гонения: прозрачные намеки в портрете Галерия и в описании Диоклетианова двора не ускользнули от имперской полиции; тем более что английский переводчик, который не имел нужды соблюдать предосторожности и решительно не тревожился о том, что компрометирует меня, в своем предисловии обратил на эти намеки особенное внимание читателей *.

⟨Кузен Шатобриана Арман, состоящий на службе у Бурбонов, попадает в руки наполеоновской полиции, и его приговаривают к смерти; несмотря на попытку Шатобриана просить о помиловании, 31 марта 1809 г. приговор приводят в исполнение⟩

8. Годы 1811, 1812, 1813, 1814.— Выход в свет «Путешествия из Парижа в Иерусалим». ⟨...⟩ — Смерть Шенье.— Меня избирают членом Института.— История с моей речью

1811 год стал одной из самых замечательных вех моей литературной карьеры. Я издал «Путешествие из Парижа в Иерусалим», занял место господина де Шенье в Институте * и начал писать «Записки», которые оканчиваю ныне.

«Путешествие», в отличие от «Мучеников», имело успех громкий и всеобщий.

⟨Благодарственное письмо, полученное Шатобрианом от кардинала де Боссе⟩

Господин де Шенье умер 10 января 1811 года. Друзья мои возымели роковое намерение уговорить меня занять его место в Институте. Они полагали, что мне, навлекшему на себя ненависть главы государства и подозрения полиции, необходимо заручиться поддержкой сословия, пребывающего в расцвете славы и могущества.

Мысль о должности, пусть даже не в правительственной службе, внушала мне неодолимое отвращение; я слишком хорошо помнил свою первую попытку. Необходимость наследовать Шенье страшила меня *; сказав все, что я думаю о нем, я неминуемо поставил бы себя под удар; я не смог бы умолчать о цареубийстве — а ведь Камбасерес * был правой рукой императора; я намеревался поднять голос в защиту свободы и против тирании; я хотел напомнить об ужасах 1793 года, оплакать свергнутую королевскую династию, помянуть словом сочувствия тех французов, на которых верность королю навлекла гонения. Друзья уверяли меня, что я заблуждаюсь; что если я посвящу главе государства несколько хвалебных слов, обязательных в любой академической речи, — слов, которых Бонапарт, на мой взгляд, был отчасти достоин, — то он простит мне все истины, которые я осмелюсь высказать, и я буду иметь честь и счастье отстоять свои убеждения и рассеять страхи госпожи де Шатобриан. Друзья так упорствовали, что я в конце концов сдался, но объявил им, что они ошибаются, Бонапарт же ошибки не допустит и не обманется избитыми фразами о его сыне, его супруге и его славе, более того, на фоне этих фраз мои упреки прозвучат еще резче, вызвав в памяти императора и мою отставку после гибели герцога Энгийского, и мою статью, приведшую к закрытию «Меркюр», иначе говоря, я не только не обеспечу себе покоя, но, напротив, обреку себя на новые гонения. Вскоре друзьям пришлось признать мою правоту: впрочем, они не могли предвидеть, сколь дерзкой будет моя речь.

По обычаю, я стал наносить визиты членам Академии. Госпожа де Вентимиль отправилась со мной к аббату Морелле. Он дремал в кресле у камина; на полу валялось мое «Путешествие», выпавшее у него из рук. Слуга, объявивший о моем приходе, разбудил академика; он поднял голову и воскликнул: «Слишком длинно, слишком длинно!» Я со смехом ответил, что и сам это вижу, и посулил сделать в новом издании сокращения. Он был так добр, что пообещал голосовать за меня, несмотря на «Аталу». Когда несколько лет спустя вышла в свет «Монархия согласно Хартии», он никак не мог поверить, что автором подобного политического сочинения может быть певец «дочери Флориды». Разве, однако, Гроций не написал трагедию «Адам и Ева», а Монтескье — «Книдский храм» *? Впрочем, я не Гроций и не Монтескье.

Подошел срок выборов; за меня проголосовало значительное большинство академиков *. Я немедленно принялся сочинять свою речь; я переписывал ее раз двадцать, но не мог прийти к согласию с самим собой: пока я думал о необходимости публичного чтения речи, я находил ее слишком смелой, но затем меня захлестывал гнев, и тогда написанное представлялось мне чересчур вялым. Я не знал, как остаться в рамках академического похвального слова. Если бы, несмотря на всю мою неприязнь к императору как человеку, я захотел выразить все восхищение, которое питал к нему как к государственному деятелю, я сказал бы в финале гораздо больше. Примером мне служил Мильтон, на которого я ссылаюсь в начале речи; во «Второй защите английского народа» * он воздает пышную хвалу Кромвелю: «Ты затмил не только деяния всех наших королей, но и подвиги всех героев наших преданий. Никогда не забывай о драгоценном залоге, который вручила тебе родная земля; свобода, которую она прежде чаяла обрести стараниями своих даровитейших и добродетельнейших сынов, теперь в твоей власти; родина льстит себя надеждой получить эту свободу именно из твоих рук. Почитай же те пылкие надежды, которые мы питаем; почитай печали твоего смятенного отечества; чтти взоры и раны твоих отважных соратников, которые храбро бились за свободу под твоими знаменами; чтти тени тех, кто отдали жизнь на поле брани; наконец, чтти самого себя, не потерпи, чтобы свобода, ради которой ты прошел через столько испытаний, пала от твоей или чьей бы то ни было руки. Ты не можешь быть истинно свободен, пока не свободны все мы. Так устроен мир: тот, кто ущемляет чужую свободу, первым теряет свою собственную и становится рабом».

Джонсон, желая упрекнуть республиканца Мильтона в измене самому себе, привел лишь славословия Протектору; прекрасные слова, которые я только что перевел, показывают, что служило противовесом этим похвалам. Попреки Джонсона канули в Лету, защита Мильтона осталась в памяти потомства: все, связанное с распрями политических партий и скоропреходящими страстями, недолговечно, как и они сами.

Когда речь моя была готова, я предстал перед назначенной по этому случаю комиссией: все члены ее, исключая двух-трех человек, отвергли мое сочинение. Нужно было видеть ужас гордых республиканцев, потрясенных независимостью моих убеждений; они содрогались от гнева и страха при одном упоминании свободы. Господин Дарю доставил мою речь в Сен-Клу *. Бонапарт объявил, что, будь она произнесена, он закрыл бы Институт, а меня бросил навечно в каменный мешок.

Я получил от господина Дарю записку:

«Сен-Клу, 28 апреля 1811 года

Имею честь известить господина де Шатобриана, что, отыскав время и возможность прибыть в Сен-Клу, он получит назад рукопись, которую ему

угодно было мне доверить. Пользуюсь случаем вновь заверить его в глубоком уважении, с которым честь имею быть.

«Дарю».

Я отправился в Сен-Клу. Господин Дарю возвратил мне рукопись, кое-где разорванную, исчерканную *ab irato*⁶ карандашом Бонапарта: повсюду виднелись следы львиных когтей, и я не без мучительного удовлетворения ощутил, как они вонзаются мне в грудь. Господин Дарю не скрыл от меня, что Наполеон в ярости, но заверил, что если я перепишу всю речь, кроме финала, откуда следует исключить всего несколько слов, выступление мое будет встречено весьма благосклонно. В замке с моей рукописи сняли копию, выбросив несколько абзацев и вставив несколько новых. В таком виде она спустя некоторое время была отпечатана в провинции.

Речь эта — одно из лучших доказательств независимости моих убеждений и постоянства моих принципов. Господин Сьюар, человек свободный и неподкупный, говорил, что если бы речь моя была прочитана в Академии, стены рухнули бы от грома аплодисментов. В самом деле, трудно даже вообразить, какое действие произвело бы пылкое славословие свободе, прозвучи оно среди всеобщего раболепства Империи. Я хранил исчерканную рукопись как реликвию; к несчастью, совсем недавно, когда я покидал богадельню Марии Терезы, ее сожгли в числе многих других бумаг. Тем не менее читатели этих «Записок» смогут познакомиться с речью; один из моих собратьев-литераторов был так любезен, что снял с нее копию; вот она:

«Когда Мильтон издал «Потерянный рай», ни один подданный трех королевств Великобритании не поднял голоса в защиту сочинения, которое, несмотря на многочисленные погрешности, принадлежит к прекраснейшим творениям человеческого духа. Английский Гомер умер в безвестности, и современники его предоставили потомкам заботиться о бессмертной славе певца Эдема. Быть может, это одна из тех жестоких несправедливостей, примеры которых нетрудно отыскать в истории литературы едва ли не каждого столетия? Нет, господа; едва покончив с гражданскими войнами, англичане не решились прославлять человека, который в годину бедствий высказывал убеждения чересчур пылкие. Чем же, говорили они, почтим мы память гражданина, который отдал жизнь ради спасения отечества, если будем воздавать почести праху того, кто может рассчитывать самое большее на наше великодушное снисхождение? Потомство оценит Мильтона по заслугам, мы же обязаны преподавать урок сыновьям; молчанием нашим мы обязаны внушить им, что талант, которому сопутствуют страсти,— роковой дар и что лучше обречь себя на безвестность, нежели прославиться, причиняя горе отечеству.

⁶ В гневе (*лат.*).

Последую ли я, господа, этому достопамятному примеру или же стану говорить вам о жизни и сочинениях господина Шенье? Дабы примирить ваши обычаи и мои убеждения, мне, пожалуй, придется избрать средний путь, избегнув и абсолютного молчания, и подробного исследования. Но, что бы я ни сказал, слова мои не будут отравлены злобой. Если откровенностью я постараюсь не отстать от моего земляка Дюкло *, то, как я надеюсь вам доказать, не уступаю ему и в благожелательности.

Было бы, без сомнения, любопытно узнать, что может сказать человек моих убеждений и взглядов, находящийся в моем положении, о том человеке, чье место я нынче готовлюсь занять. Было бы поучительно рассмотреть воздействие революции на словесность, показать, как пагубно могут повлиять на талант теории, увлекающие его по неверному пути, который, по видимости, ведет к славе, но приводит к одному забвению. Если Мильтон, несмотря на свои политические заблуждения, оставил сочинения, приводящие в восхищение потомков, то лишь оттого, что, хотя и не раскаявшись в своих ошибках, удалился от общества, чуждавшего его, дабы отыскать в религии лекарство от своих горестей и источник своей славы. Разлученный с солнечным светом *, он, создав новую землю и новое светило, покинул, можно сказать, тот мир, где не видел ничего, кроме несчастий и преступлений; в его Эдеме наши прародители исполнены той первобытной невинности, того священного блаженства, что царили в шатрах Иакова и Рахили; в аду же мучаются страстями и раскаянием те люди, чье исступление он разделял.

К несчастью, сочинения господина Шенье, несмотря на блистающие в них искры замечательного таланта, не отличаются ни древней простотой, ни благородным величием, присущими Мильтону. Ум этого автора был в высшей степени классический. Никто лучше него не знал основ древней и новой литературы: театр, красноречие, история, критика, сатира — он пробовал себя во всех областях, но все его сочинения носят на себе печать тех гибельных дней, когда они явились на свет. Продиктованные по большей части политическими пристрастиями, они снискали одобрение мятежников. Смогу ли я отделить в трудах моего предшественника то, что ушло в прошлое вместе с нашими раздорами, от того, что, возможно, составит в веках нашу славу? Интересы общества смешались здесь с интересами литературы. Я не в силах забыть первые и думать только о вторых; поэтому, господа, я принужден либо молчать, либо говорить, не обходя вопросы политические.

Есть люди, которые желали бы представить литературу областью отвлеченной, независимой от забот человеческих. Они скажут мне: «К чему хранить молчание? Рассмотрите сочинения господина Шенье с точки зрения сугубо литературной». Иначе говоря, господа, по их мнению, мне следует, злоупотребив вашим и моим собственным терпением, повторить те общие места, которые написаны повсюду и известны вам лучше, чем мне. Другое время,

другие нравы: предки наши, наслаждавшиеся долгой чередой мирных лет, могли пускаться в рассуждения чисто академические, свидетельствовавшие не столько о таланте говорящих, сколько об их благоденствии. Но мы, несчастные обломки великого кораблекрушения, мы лишены возможности вкушать столь невозмутимый покой. Идеи наши приняли новое направление, умы пошли по иному пути. Академика в нас сменил человек; отбросив в сторону все, что было в словесности ничтожного, мы взираем на нее сквозь призму наших могущественных воспоминаний, вооруженные опытностью, которую доставили нам несчастья. Как! неужели после революции, заставившей нас прожить в несколько лет несколько столетий, мы запретим писателю размышлять о возвышенном? Неужели мы откажем ему в праве смотреть на жизнь с серьезной стороны? Неужели занятия его сведутся к пустым грамматическим придиркам, к исследованию правил вкуса и вынесению мелочных литературных приговоров? Неужели он будет стариться, так и не избавившись от младенческих пелен? Неужели на склоне лет чело его не избородят морщины — свидетельства долгих трудов, важных мыслей, а нередко и тяжелых испытаний, прибавляющих мужчине величия? Какие же неотложные заботы убелят его голову сединой? Жалкие тревоги самолюбия и ребяческие забавы ума.

Без сомнения, господа, подобная участь была бы на редкость незавидна! Что до меня, то я не способен так умалить себя и, находясь в здравом уме и расцвете сил, впасть в детство. Я не способен заключить себя в тот узкий круг, каким ныне хотели бы ограничить писателя. Так неужели же вы полагаете, господа, что, пожелай я произнести похвальное слово тому литератору и придворному, что председательствует на сегодняшнем собрании *, я удовольствовался бы комплиментами по поводу унаследованного им от матери легкого и острого французского ума, какого уже не встретишь в наши дни? Разумеется, нет: я непременно представил бы во всем блеске то прекрасное имя, которое он носит. Я вспомнил бы герцога де Буфлера, вынудившего австрийцев прекратить блокаду Генуи. Я рассказал бы о его отце-маршале, правителе, который защищал от врагов Франции стены Лилля и этой доблестной обороной утешил в несчастье престарелого короля *. Это о нем, соратнике Тюренна, госпожа де Ментенон сказала: «Сердце в нем умерло последним». Наконец, я помянул бы и Луи де Буфлера по прозвищу Силач, который являл в бою мощь и отвагу Геракла. Я показал бы, что у начала и конца этого рода стоят сила и изящество, рыцарь и трубадур. Французов считают потомками Гектора: я скорее поверил бы, что они происходят от Ахилла, ибо, подобно этому герою, владеют и лирой и шпагой.

Неужели вы полагаете, господа, что, пожелай я говорить с вами о знаменитом стихотворце, в столь блистательных стихах воспевшем природу *, я ограничился бы признанием восхитительной гибкости таланта, сумевшего с равным мастерством передать на нашем языке и правильные красоты

Вергилия, и причудливые красоты Мильтона? Нет: я напомнил бы вам о том, что стихотворец этот не пожелал покинуть своих обездоленных соотечественников и последовал за ними к чужим берегам *, слагая песни об их горестях; его прославленная лира несла утешение толпе изгнанников, в число которых входил и я. Воистину ни возраст, ни недуги, ни таланты, ни слава не избавили поэта от преследований на родной земле. Его заставляли купить покой ценою стихов, недостойных его музыки, но она смогла воспеть лишь грозное бессмертие преступлений и врачующее бессмертие добродетели: «Бессмертие, порока страх и щит невинности бескровной!» *

Наконец, пожелай я, господа, говорить с вами о друге, милом моему сердцу *, об одном из тех друзей, что, по словам Цицерона, услаждают дни благополучия и скрашивают дни невзгод, я восславил бы тонкость и чистоту его вкуса, силу и гармонию его стихов, не уступающих великим образцам, но отличающихся притом истинной самобытностью. Я восславил бы этого человека, одаренного замечательным талантом и никогда не ведавшего зависти, человека, неизменно радующегося чужим успехам, человека, который вот уже десять лет принимает все мои удачи с той простодушной и глубокой радостью, что ведома лишь великодушным и преданным друзьям. Но я не умолчал бы и о деяниях моего друга на политическом поприще. Я рассказал бы о том, как, возглавляя одно из главных государственных учреждений, он произносит речи, являющие собою шедевры благопристойности, меры и достоинства. Я рассказал бы о том, как он пожертвовал сладостным служением музам и отдался деятельности, которая, без сомнения, приносила бы мало радости, если бы не имела целью воспитание юношей, способных в один прекрасный день последовать славному примеру отцов, избежав их ошибок.

Итак, говоря о даровитых людях, собравшихся в этих стенах, я непременно рассмотрел бы их свершения с точки зрения нравственности и общественной пользы. Одного из вас * отличают острый, чуткий и мудрый ум, столь редкая ныне общежительность, а главное, достойное величайшего уважения постоянство и умеренность взглядов. Другой *, убежденный сединами, со всем пылом молодости возвысил свой голос в защиту несчастных. Третий *, тонкий историк и любезный поэт, дорог нам еще и памятью о сыне и отце, изувеченных в боях за отечество. Четвертый *, возвращающий слух глухим и дар речи немым, оживляет у нас в памяти чудеса, запечатленные в Евангелии, служению которому он посвятил свои дни. А разве нет среди нас, господа, свидетелей вашей прежней славы, которые могут поведать достойному наследнику канцлера д'Агессо * о том, какими овациями встречалось некогда в стенах этого собрания имя его деда? Переходя к любимцам муз, я обращаю взор на почтенного автора «Эдипа» *, который живет в уединении, словно Софокл, забывающий в Колоне о той славе, что ждет его в Афинах. А как достойны нашей любви другие питомцы Мельпомены *, тронувшие наши сердца рас-

сказами о несчастьях отцов! Все французы заново содрогнулись в предчувствии смерти Генриха IV. Муза трагедии вступилась за честь доблестных рыцарей, подло преданных историей и благородно отомщенных одним из нынешних Еврипидов.

Обращаясь к наследникам Анакреонта, я стал бы говорить о том любезном сочинителе *, который, подобно теосскому старцу, на восьмом десятке по-прежнему слагает любовные песни, как в пятнадцать лет. Вместе с вами, господа, я пересек бы бурный океан, охранявшийся некогда великаном Адамастором * и смирившийся ныне перед лицом милой Элеоноры и прелестной Виргинии *, дабы убедиться, что слава ваша гремит и там. *Tibi rideant aequora* ⁷.

Увы! сколь многие таланты обречены были в наши дни на странствия и изгнание! Разве поэзия не воспела в гармонических стихах искусство Нептуна * — гибельное искусство, унесшее ее к далеким берегам? А французское красноречие, вставшее на защиту государства и алтаря,— разве не удалилось оно нынче в те края, где родилось, в отечество святого Амвросия? * Отчего я не в силах изобразить перед вами всех членов этого собрания на одном полотне, написанном без единой капли лести? Ибо, если правда, что даже самые достойные литераторы бывают не свободны от зависти, правда и другое: сословие литераторов отличают возвышенные чувства, бескорыстные добродетели, ненависть к угнетению, преданность дружбе и верность в несчастье. Вот, господа, каким образом должно, я полагаю, осветить все стороны предмета, о котором я взялся говорить; вот каким образом должно возратить словесности серьезность, избрав ее предметом высокие нравственные, философские и исторические материи. Эта-то независимость моего ума и велит мне умолчать о сочинениях, которые я не смогу исследовать, никого не задев и не оскорбив. Коснись я трагедии «Карл IX» *, разве смог бы я не вступить за кардинала Лотарингского и не оспорить этот странный урок, преподанный королям? В пьесах о Гае Гракхе, Каласе, Генрихе VIII, Фенелоне я также обнаружил бы немало отступлений от истории, свершенных во имя тех же доктрин. Если бы я открыл сатиры, я нашел бы в них насмешки над людьми, составляющими цвет этого собрания; впрочем, стиль их чист, изящен и легок, они принадлежат к лучшим образцам вольтеровской школы, и я с тем большим удовольствием хвалю их, что сам послужил их автору мишенью *. Но оставим произведения, могущие подать повод к суровым упрекам; я не стану тревожить память вашего собрата, поклонниками и друзьями которого остаются до сих пор многие из вас; та религия, что казалась ему столь презренной, когда он читал сочинения ее защитников, дарует его душе покой, какого я ему искренне желаю. Однако и здесь, господа, меня, к несчастью, подстерегает опасность. Ибо, отдавая

⁷ <Тебе> улыбаются волны морские (лат.; Лукреций. О природе вещей, I, 8; пер. Ф. Петровского).

господину Шенье ту дань уважения, которую мы обязаны отдавать умершим, я боюсь погреть прах гораздо более славный *. Если же невеликодушные толкователи попрекнут меня этим невольным страхом, я найду защиту в сени искупительных алтарей *, которые могущественный монарх возводит в память о низвергнутых династиях. О! насколько счастливее был бы господин Шенье, если бы на нем не лежала вина за те общественные бедствия, жертвой которых стал в конце концов и он сам! Подобно мне, в мрачную годину он лишился нежно любимого брата *. Что сказали бы наши несчастные братья, если бы Господь в один и тот же день призвал их на суд? Если бы они встретились в свой смертный час, то, перед тем как лишиться жизни, без сомнения, взмолились бы к нам: «Прекратите братоубийственные войны, вспомните о любви и мире; смерть не щадит ни одной партии, и мы расплачиваемся за ваши гибельные распри юностью и жизнью». Вот о чем молили бы нас оба брата.

Если бы мой предшественник мог услышать мои слова, которые нынче утешают лишь его тень, дань уважения, принесенная мною его брату, тронула бы его сердце, великодушное от природы; это-то великодушие и внушило ему страсть к нововведениям бесспорно соблазнительным, ибо они сулили нам всем возможность сделаться новыми Фабрициями. Но надежды не сбылись, и вскоре нрав господина Шенье ожесточился, талант его извратился. Разве, променяв пиитическое уединение на политические дразни, мог он предаваться чувствам, составляющим прелесть жизни? Как счастлив был бы он, если бы никогда не видел иного неба, кроме неба Греции, под которым родился! никогда не созерцал иных руин, кроме руин Спарты и Афин! Быть может, мы встретились бы с ним в прекрасном отечестве его матери * и поклялись в вечной дружбе на берегах Пермесса, а если уж ему было суждено возвратиться на родину отца, отчего не последовал он за мной в пустыню, куда забросили меня наши бури? Тишина лесов успокоила бы его смятенную душу, а хижины дикарей, возможно, примирили бы ее с королевскими дворцами. Напрасные мечты! Господин Шенье остался во власти наших тревог и страданий. Пораженный в цветущем возрасте смертельной болезнью, он медленно клонился к могиле на ваших глазах, господа, и покинул вас навсегда

. Мне ничего не известно о его последних минутах.

Что до смут и тревог, они были ведомы всем нам: никто не сокроется от взоров истории. Кто может похвастать безупречной репутацией в храме безумия, где никому не дозволено сполна владеть собственным разумом? Будем же снисходительны к ближним, простим то, чего не можем одобрить. Такова слабость человеческая, что таланту, гению, а подчас и добродетели случается презреть веления долга. Господин Шенье боготворил свободу; кто может поставить ему это в вину? Даже рыцари, восстань они ныне из могил, чтили бы законы нашего просвещенного века. Тогда на наших глазах воздвигнулся бы

славный союз чести и свободы — так в царствование Валуа дивные готические зубцы венчали здания, выстроенные по греческим образцам. Разве свобода — не величайшее из благ и не первейшая потребность человека? Она воспламеняет гений, возвышает сердце, она необходима другу муз, как воздух. Изящные искусства могут терпеть некоторое принуждение, ибо говорят на особом языке, не внятном толпе, но словесность, изъясняющаяся на языке всеобщем, в неволе чахнет и умирает. Как начертать страницы, достойные потомков, если благородные чувства, величественные и глубокие мысли пребывают под запретом? Свобода искони так дружна с науками и словесностью, что, когда народы гонят ее, находит защиту у писателей и ученых; именно мы, господа, обязаны написать ее историю, отомстить ее врагам и завещать грядущим векам любовь к ней. Дабы не быть понятым превратно, подчеркну, что я веду речь лишь о свободе, рожденной порядком и рождающей законы, а не о той, что является дочерью разврата и матерью рабства. Ошибка сочинителя «Карла IX» заключалась не в том, что он курил фимиам первой из этих богинь, но в том, что он полагал, будто сообщаемые ею права несовместны с правлением монархическим. Для иных народов источник независимости — законы, француз же черпает ее в своих убеждениях. Для него свобода — не столько принцип, сколько чувство, он гражданин по зову души и подданный по доброй воле. Задумайся об этом писатель, которого вы оплакиваете, любовь его не позабыла бы о различиях между свободой созидательной и свободой разрушительной.

Господа, я выполнил долг, предписанный мне академическими традициями. Приближаясь к концу своей речи, я с грустью думаю о том, что незадолго до смерти господин Шенье готовился опубликовать суждение о моих трудах *, а ныне я выступаю судьей своего судьи. Говорю это со всей искренностью: мне милее жить в покойном уединении, подставляя грудь стрелам противника, нежели напоминать своим появлением в этих стенах о краткодневности человеческой жизни и коварстве смерти, которая разрушает все наши планы и надежды, похищает нас неожиданно и иной раз вкладывает наше имя в уста людей, чьи чувства и убеждения совершенно противоположны нашим. Эта трибуна — своего рода поле брани, на котором таланты являютя, чтобы блеснуть и умереть. Сколько гениев видела она на своем веку! Корнель, Расин, Буало, Лабрюйер, Боссюэ, Фенелон, Вольтер, Бюффон, Монтескье... Кого, господа, не охватил бы страх при мысли, что ему предстоит стать звеном этой славной цепи? Груз бессмертных имен гнетет меня, но если мне недостает таланта, чтобы по праву считаться законным наследником, моими верительными грамотами, надеюсь, послужат мои чувства.

Когда наступит мой смертный час, оратор, которому надобно будет произнести речь над моей могилой, сможет обойтись по всей строгости с моими сочинениями, но ему придется признать, что я страстно любил родину, что я претерпел бы тысячу бедствий, лишь бы из глаз моих соотечественников не

пролилось по моей вине ни единой слезинки, что я без колебаний отдал бы всю кровь за эти благородные чувства, сообщающие жизни цену, а смерти достоинство.

Но какое время выбрал я, господа, чтобы толковать вам о трауре и похоронах! Разве не окружают нас сплошные празднества? Еще недавно я, одинокий странник, грезил над развалинами погибших империй: и вот уже новая империя воздвигается на моих глазах. Еще недавно я созерцал могилы, где покоятся целые нации, и вот уже взгляд мой падает на колыбель, скрывающую в себе будущее мира. Отовсюду несутся приветственные крики солдат. Цезарь восходит на Капитолий, народы восхищаются чудесами: возведенными памятниками, расцветшими городами, просторами родины, омываемой ныне далеким морем, которое бороздили корабли Сципиона, и другим, еще более далеким, которого не довелось увидеть Германику *.

Что делать мирным питомцам муз, пока триумфатор движется вперед в окружении своих легионов? Идти впереди его колесницы, дабы смешать оливковую ветвь мира с пальмовыми ветвями победы, дабы представить победителю священное воинство, дабы вплести в рассказы о воинских подвигах трогательные слова, подобные тем, что заставили Эмилия Павла оплакивать несчастья Персея *.

А вы, наследница Цезарей *, выйдите из дворца с младенцем-сыном на руках, и пусть милосердие в вас сопутствует величию, пусть царственная нежность королевы и матери напоминает победителям о сострадании и заглушает грохот орудий».

В возвращенной мне рукописи все начало речи, посвященное убеждениям Мильтона, было *вычеркнуто* рукой Бонапарта. На тех строках, в которых я протестовал против насильственного отъединения литературы от политики, также виднелось карандашное *клеймо*. Похвалы аббату Делию, напоминавшие об эмиграции, о верности поэта многострадальному королевскому роду и обездоленным братьям по изгнанию, были заключены в *скобки*; возле похвалы господину де Фонтану был поставлен *крестик*. Почти все, что я сказал о господине Шенье, о его и моем братьях, об искупительных алтарях в Сен-Дени, было *заштриховано*. Фрагмент, начинающийся словами: «Господин Шенье боготворил свободу», был *перечеркнут двумя вертикальными линиями*. До сих пор не могу понять, отчего имперские чиновники, публикуя мою речь, довольно верно воспроизвели это место. Я ничего не выдумываю и не прибавляю; чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в издание, выпущенное тайком *. Слова, обличающие тиранию, которые идут сразу за этим рассуждением о свободе и продолжают его, полностью выброшены оттуда. Финал оставлен без изменений: однако честь наших побед приписана не Франции, как у меня, а Наполеону.

Меня предупредили, что академиком мне не быть, и возвратили назад мою

речь, но тем дело не кончилось. От меня потребовали новый вариант. Я отвечал, что дорожку написанным, и переделывать речь отказался. Незнакомые мне особы, исполненные прелести, великодушия и отваги, хлопотали за меня. Госпожа Линдсей, некогда привезшая меня в своей карете из Кале в Париж, переговорила с госпожой Гэ, та обратилась к госпоже Реньо де Сен-Жанд'Анжели; им удалось дойти до герцога де Ровиго и умолить его обращаться со мною снисходительно. Прекрасные женщины той поры покровительствовали несчастным перед лицом власть имущих.

Волнения не утихли и в 1812 году, когда разразился скандал с премиями за десятилетие *. Бонапарт, ненавидевший меня, запросил тем не менее Академию, отчего в списке награжденных нет «Гения христианства». Академики объяснились; многие мои коллеги дали о моем сочинении весьма недоброжелательные отзывы. Я мог бы сказать им то, что один греческий поэт сказал птице: «Дщерь Аттики, вскормленная медом, ты, поющая так прекрасно, набрасываешься на цикаду, такую же хорошую певунью, и несешь ее на съедение своим птенцам. Вы обе крылаты, обе обитаете в здешних краях, обе славите приход весны, отчего же ты не отпустишь ее на свободу? Несправедливо, чтобы певунья погибла в клюве своей сестры» *.

9. Премии за десятилетие. — «Опыт о революциях». — «Натчезы»

Странная вещь: в отношении ко мне Бонапарта злоба постоянно чередовалась с благоволением; только что он угрожал мне — и вдруг удивляется, отчего Институт не наградил меня. Более того, он объявляет Фонтану, что, раз Институт не считает меня достойным занять место среди соискателей, он сам наградит меня, назначив главным управляющим всеми библиотеками Франции, — с жалованьем, равным жалованью посла в одной из великих держав. Бонапарт все еще не оставил мысли употребить меня в делах дипломатических: по причине, известной ему одному, он желал, чтобы я по-прежнему был приписан к министерству иностранных дел. И все же, несмотря на столь щедрые посулы императора, очень скоро префект его полиции предложил мне покинуть Париж, и я отправился продолжать работу над своими «Записками» в Дьепп *.

Бонапарт опускается до роли школяра-задиры; он откапывает «Опыт о революциях» и с наслаждением следит за перепалкой, которую вызывает моя книга *. Некий господин Дамаз де Рэмон вступился за меня: я отправился на улицу Вивьен поблагодарить его. На камине среди безделушек стоял череп; некоторое время спустя этот очаровательный юноша был убит на дуэли и перешел в мир иной, куда, казалось, звала его эта зловещая физиономия. В ту пору стрелялись постоянно: один из полицейских осведомителей, которым было поручено схватить Жоржа, получил от него пулю в лоб.

Чтобы положить конец злонамеренным нападкам моего могущественного противника, я обратился к господину Поммерею — я уже рассказывал о нем, когда описывал свой первый приезд в Париж; он сделался главным управляющим типографиями и книжными лавками; я попросил у него разрешения переиздать «Опыт» целиком. Мою переписку с господином Поммерелем можно прочесть в предисловии к «Опыту о революциях» в издании 1826 года, во втором томе полного собрания моих сочинений *. Правительство империи имело все основания запретить мне переиздавать «Опыт» *целиком*: книга эта не из тех, что приходится ко двору в правление деспота и узурпатора; в ней слишком говорится о свободе и о законной монархии. Полиция притворялась беспристрастной, позволяя печатать кое-какие статьи в мою защиту, но, словно в насмешку, запрещала мне сделать одну-единственную вещь, способную меня оправдать. Когда на престол возвратился Людовик XVIII, враги мои снова вспомнили об «Опыте»; если при Империи в этой книге искали доказательства моей политической неблагонадежности, то при Реставрации надеялись с ее помощью уличить меня в неблагонадежности религиозной. В примечаниях к последнему изданию «Опыта о революциях» я столь обстоятельно покаялся во всех своих заблуждениях, что ныне меня уже не в чем упрекнуть. Дело за потомками: они воздадут должное и *книге* и *комментарию*, если, конечно, подобное старье еще будет их занимать. Смею надеяться, что они оценят «Опыт» так же, как оценил его убоженный сединами автор, — ведь с возрастом мы приближаемся к будущему и делаемся справедливыми, как оно. *Книга и примечания* показывают, каким я был в начале моего пути и каким стал в его конце.

Вдобавок это сочинение, которое я разобрал со всей строгостью, представляет собою *компендиум* моего существования как поэта, моралиста и будущего политического деятеля. Пыл мой безмерен, смелость воззрений безгранична. Нельзя не признать, что на всех своих разнообразных поприщах я никогда не руководствовался предрассудками, никогда не доверялся слепо никакой партии, никогда не действовал из корысти и всегда поступал по своему усмотрению.

В «Опыте» я выказываю полную независимость религиозных и политических убеждений; я подвергаю исследованию все без изъятия; будучи *республиканцем*, я служу монархии; будучи *философом*, чту религию. Это не противоречия, но неизбежные следствия зыбкости человеческих теорий и прочности опыта. Ум мой, от природы не верящий никому, включая меня самого, от природы презирающий все, роскошь и нищету, подданных и королей, все же инстинктивно прислушивался к голосу разума, приказывавшего уважать то, что всеми почитается прекрасным: религию, справедливость, человечность, равенство, свободу, славу. То, чего нынешняя молодежь ждет от будущего, что кажется ей отличительными чертами грядущего общества, построенного вовсе не по тем

законам, на каких основано общество обветшавшее, все это ясно предсказано в «Опыте». Я на тридцать лет опередил нынешних пророков неведомого мира. Поступки мои принадлежали прошлому, мысли — будущему; первые были продиктованы чувством долга, последние — голосом природы.

В «Опыте» нет проповеди безбожия; это книга сомнения и скорби. Я уже говорил об этом ⁸.

Впрочем, я обязан был изобразить мои заблуждения более опасными, чем они были на самом деле, и искупить сумасбродные идеи, рассеянные в моих сочинениях, идеями благонамеренными. Боюсь, что в начале своего творческого пути я причинил зло молодежи; я виноват перед нею и должен по крайней мере теперь преподавать ей иные уроки. Да будет ей ведомо, что смятение души можно побороть; нравственная красота, красота божественная, не идущая ни в какое сравнение с земными грезами, существует, и я видел ее; чтобы познать ее и хранить ей верность, потребна лишь толика отваги.

Дабы завершить рассказ о своей литературной карьере, я должен упомянуть о сочинении, с которого она началась,— оно оставалось в рукописи, покада я не вклянул его в собрание своих сочинений.

В предисловии к «Натчезам» я рассказал, каким образом стараниями любезного господина де Тюизи рукопись была обнаружена в Англии *.

Сочинение, откуда были извлечены «Атала», «Рене» и некоторые описания, включенные в «Гений христианства», не вовсе бездарно. Самый первый вариант был написан подряд, без деления на главы; путевые заметки, естественная история, драматическая интрига — все шло вперемешку; но существовал и другой вариант, разделенный на книги. В нем я не только упорядочил расположение материала, но и переменял литературный род, превратив роман в эпопею *.

Юноша, грозящий одни на другие идеи, выдумки, изыскания, впечатления от прочитанного, не может не создать произведения хаотического; однако молодость автора сообщает этому хаосу живительную силу.

Судьба подарила мне возможность, какой, пожалуй, не имел ни один сочинитель: тридцать лет спустя я перечел свою рукопись, к этому времени уже начисто забытую.

Мне грозила серьезная опасность. Обновляя свою картину, я рисковал приглушить ее краски; более уверенная, но менее свободная рука могла, убрав некоторые неправильности, лишить книгу юношеского пыла: следовало сохранить независимость и, так сказать, порыв, которых было исполнено мое сочинение; следовало сберечь пену на удилах молодого скакуна. Иные из страниц «Натчезов» я сегодня осмелился бы написать, лишь трепеща от страха, иные не стал бы писать вовсе, в частности письмо Рене из второго тома *.

⁸ В одиннадцатой книге этих «Записок».

Оно — образец моей ранней манеры и содержит в себе всего «Рене»: не знаю, что более безумное могли сказать все те Рене, что пришли мне на смену.

«Натчезы» открываются обращением к пустыне и ночному светилу, высшим божествам моей юности:

«Под сенью американских лесов воспую я пустынные песни, какие еще не доносились до слуха смертных; я поведаю о ваших несчастьях, о Натчезы! о народ Луизианы, от которого не осталось ничего, кроме воспоминаний! Разве горести безвестного жителя лесов имеют меньше прав на наше сострадание, чем бедствия прочих людей? Разве королевские усыпальницы в наших храмах трогают сердце больше, чем могила индейца под высоким дубом в его родном краю?»

А ты, светоч размышлений, царица ночи, сделайся моей музой! Веди меня через неведомые просторы Нового Света и пролей свет на восхитительные тайны этих пустынь!»

Две стороны моей натуры смешались в этом странном сочинении, особенно в его первоначальном варианте. Здесь есть политические отступления и романтическая интрига, но сквозь рассказ постоянно пробивается песнь, исходящая из некоего неведомого источника.

ОКОНЧАНИЕ МОЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КАРЬЕРЫ

Империи оставалось жизни два года — с 1812 по 1814 год; это время, о котором я уже кое-что сказал прежде, я употребил на разыскания по истории Франции и на отделку некоторых частей этих «Записок»; однако я не издал ни страницы. Деятельность моя на поприще поэзии и учености решительно прекратилась после выхода из печати трех моих главных книг — «Гения христианства», «Мучеников» и «Путешествия». Политические сочинения я стал писать лишь в эпоху Реставрации, тогда же началась всерьез и моя политическая деятельность. Итак, здесь кончается рассказ о моей литературной карьере, которой я отдал четырнадцать лет — с 1800 по 1814 год; увлекаемый течением времени, я забыл о ней и только в нынешнем 1831 году вспомнил о том, что оставил в прошлом.

Роль сочинителя далась мне, как вы могли убедиться, так же нелегко, как роль *путешественника* и *солдата*; здесь также было потрачено немало сил, выдержано немало сражений и пролито немало крови; на моем пути встречались не одни музы Кастальского ключа, что же до моей политической карьеры, то она была еще более бурной.

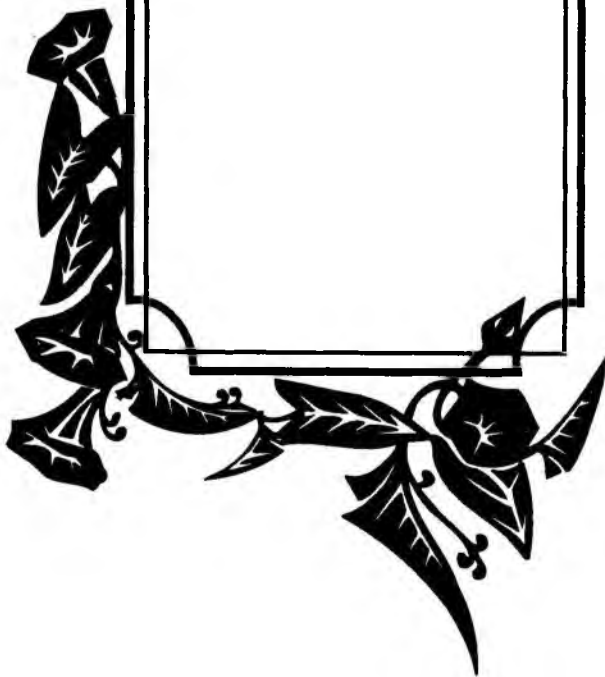
Быть может, и от моих садов Академа * останутся памятные обломки. С «Гения христианства» началась религиозная революция, имевшая целью побороть философический дух восемнадцатого столетия. Одновременно я готовил ту революцию, что грозит нашему языку, ибо не бывает обновления идей

без обновления стиля. Создадут ли те, кто придут мне на смену, новые, доселе неизвестные формы искусства? Смогут ли потомки, оттолкнувшись от наших свершений, сделать шаг вперед, как двинулись вперед мы, оттолкнувшись от свершений наших предков? Или же существуют пределы, которые невозможно перейти, не нарушив самой природы вещей? Не об этих ли пределах напоминает разобщенность и дряхлость современных языков, а равно и суетность нынешнего поколения? Языки развиваются вместе с цивилизацией лишь до тех пор, пока не достигнут совершенства; в пору своего расцвета они некоторое время пребывают неизменными, а затем начинается падение без всякой надежды на новый взлет.

Ныне я приступаю к рассказу о начале своей политической карьеры; страницы эти, написанные в разные годы, уже готовы, и это придает мне чуть более уверенности. Вновь взявшись за работу, я страшился, как бы древний сын Урана * не превратил золотую лопатку каменщика, возводившего стены Трои *, в лопатку свинцовую. Все же мне кажется, что память моя, хранилище воспоминаний, не слишком часто подводит меня: разве веет от моих рассказов холодом старости? разве так уж велика разница между прахом, в который я попытался вдохнуть жизнь, и живыми людьми, которых я вывел перед вами, повествуя о своей ранней молодости? Годы мои служат мне секретарями; когда одному из них приходит черед умереть, он передает перо своему младшему брату, а я продолжаю диктовать: все они члены одной семьи и пишут похожим почерком.



ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ





⟨Книги девятнадцатая — двадцать первая представляют собою развернутое жизнеописание Наполеона; его включение в «Замогильные записки» Шатобриан мотивирует так: «Я начинаю разговор о моей политической карьере, но прежде мне следует рассказать о тех исторических событиях, о которых я умолчал ранее, ибо вел речь лишь о моих собственных трудах и приключениях, а эти события — дело рук Наполеона. Поэтому поговорим о нем; посмотрим, какое обширное здание возводилось в действительной жизни, независимой от моих грез»⟩

КНИГА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

9. Заметки, превратившиеся впоследствии в брошюру «О Бонапарте и Бурбонах». — Я переселяюсь на улицу Риволи. — Великолепная французская кампания 1814 года

Во второй книге этих «Записок» сказано (речь идет о том времени, когда я возвратился из Дьеппа, где жил в изгнании): «Мне позволили вновь поселиться в моей Долине. Земля дрожит под пятой иноземных солдат: подобно древним римлянам, я пишу под грохот нашествия варваров. Днем я покрываю бумагу фразами столь же тревожными, что и события этого дня; ночью, когда эхо пушечных залпов затихает в пустынных лесах, я вновь окидываю взором мирные годы, покоящиеся в могиле, и возвращаюсь к воспоминаниям моего безмятежного детства».

Эти тревожные фразы, которые я записывал днем, представляли собою заметки, касающиеся тогдашних событий; соединенные под одной обложкой, они составили мою брошюру «О Бонапарте и Бурбонах». Я безмерно высоко

ставил гений Наполеона и отвагу наших солдат, поэтому мысль о том, что Францию спасет нашествие чужеземцев, даже не приходила мне в голову: я полагал, что нашествие это, напомнив Франции об опасности, которой подвергает ее честолюбие Наполеона, поднимет мое отечество на борьбу, и спасение Франции станет делом рук самих французов. Руководствуясь этим убеждением, я и писал мои заметки; я хотел, чтобы наши политические собрания, в случае если бы мы остановили продвижение союзных войск и решились избавиться от великого властителя, сделавшегося губителем своей страны, знали, в чем искать спасения; прибежищем казалась мне власть, которой повиновались в течение восьми столетий наши предки, видоизмененная в соответствии с духом нынешнего времени: если гроза застает нас возле старого дома, мы укрываемся под его крышей, пусть даже он наполовину развалился.

Зимой 1813—1814 года я нанял квартиру на улице Риволи, напротив решетки Тюильрийского сада, близ которой я узнал о смерти герцога Энгиенского. В ту пору здесь виднелись лишь своды, выстроенные правительством, да несколько отдельно стоящих домов, боковые стены которых покрывало каменное кружево штрабов *.

Лишь бедствия, обрушившиеся на Францию, удерживали меня от сближения с Наполеоном, который, едва начав действовать, неизменно вызывал мое восхищение: то был самый возвышенный гений деятельности, какой когда-либо существовал; первая, итальянская, и последняя, французская, кампании Наполеона (исключая Ватерлоо) -- прекраснейшие его свершения; в первой из них он уподобился Конде, во второй -- Тюренну, в первой выказал себя великим полководцем, во второй -- великим человеком; однако окончились эти кампании по-разному: первая подарила ему империю, вторая -- отняла. Как ни шатко, как ни зыбко сделалось его положение в последние часы пребывания у власти, вырвать у него бразды правления было не легче, чем вырвать зубы у льва, — для этого потребовались совместные усилия всей Европы. Имя Наполеона звучало еще столь грозно, что, переходя Рейн, вражеские армии трепетали от ужаса; солдаты то и дело оглядывались назад, дабы удостовериться, что им есть куда отступать; даже овладев Парижем, они все еще не избавились от страха. Александр, вступив во Францию, бросал взгляды в сторону России, завидовал тем, кто имеет возможность вернуться домой, а в письмах к матери делился тревогами и сожалениями.

Наполеон разбивает русских при Сен-Дизье, пруссаков и русских при Бриенне, словно желая почтить память своего ученичества *. Он наносит поражение силезским войскам при Монмирайе и Шампобере, обращает в бегство половину огромной армии под Монтро. Он вездесущ, он дает врагам отпор повсюду, он бьется с колоннами, окружающими его со всех сторон. Союзники предлагают перемирие; Бонапарт рвет в клочья предварительные



Ф.-Р. де ШАТОБРИАН
Портрет работы Поля Луи де Лавалья (1828)

Я спустился с трибуны, вышел из зала и направился в гардеробную, где снял одеяние пэра, отстегнул шапку, обнажил голову, отцепил от шляпы с плюмажем белую кокарду, поцеловал ее и положил эту реликвию в левый кармашек наглухо застегнутого черного редингота, в который снова облачился. Слуга мой унес ветوشь, оставшуюся от бывшего пэра, и, отряхнув со своих ног прах этого дворца измен, я покинул его навсегда. <...> Продав одному еврею шитье, темляки, бахрому, витые шнуры и эпoletы, я выручил семьсот франков — чистую прибыль от всей моей ослепительной карьеры.

условия мирного договора и восклицает: «Я ближе к Вене, чем австрийский император к Парижу!»

Россия, Австрия, Пруссия и Англия, ища взаимной поддержки, заключили в Шомоне новый договор о союзе; однако в глубине души главы всех четырех держав, встревоженные сопротивлением Бонапарта, подумывали об отступлении. В Лионе под боком у австрийцев формировалась новая армия; на юге маршал Султ сдерживал англичан; на Шатильонском конгрессе *, распушенном лишь 15 марта, все еще шли переговоры. Бонапарт выгнал Блюхера с Краонских высот. 27 февраля в Бар-сюр-Об армия союзников одержала победу лишь благодаря численному перевесу. Бонапарт, получив пополнение, вновь, хотя и ненадолго, отбил у союзников Труа. Из Краонна он бросился в Реймс. «Нынче ночью, — сказал он, — я заеду за своим тестем * в Труа».

20 марта разгорелся бой близ Арси-сюр-Об. Артиллерия вела непрерывный огонь; один снаряд упал прямо перед расположением гвардейского каре; гвардейцы слегка попятнулись: Бонапарт бросился к снаряду, фитиль которого еще дымился; он пришпорил коня, тот нагнул голову к снаряду, и в этот миг смертоносное пламя вспыхнуло, даже не задев императора.

Назавтра предстояло продолжить сражение, однако Бонапарт по воле вдохновения, сослужившего ему на сей раз плохую службу, отступил, дабы напасть на союзные войска с тыла и захватить склады пограничных гарнизонов. Чужестранцы готовились отойти к Рейну, когда Александр, движимый одним из тех богодухновенных порывов, что изменяют судьбу мира, принял решение двинуться вперед по оставшейся открытой парижской дороге ¹. Наполеон полагал, что увлек за собою основную часть армии противника, на самом же деле за ним последовали лишь десять тысяч кавалеристов, скрывших подлинное направление движения пруссаков и московитов. Наполеон разгромил эти десять тысяч в Сен-Дизье и Витри и тут только заметил, что за мнимым авангардом нет армии, союзники же тем временем наступали на столицу, где им противостояли всего лишь двенадцать тысяч рекрутов с маршалами Мармоном и Мортье во главе.

Наполеон бросился в Фонтенбло: там, где недавно мучилась его святая жертва *, императора ждало отмщение и воздаяние. Так уж устроена история: неправедный путь рано или поздно оказывается путем гибельным.

10. Я отдаю в печать мою брошюру. — Записки госпожи де Шатобриан

Все умы кипели: желание любой ценой окончить жестокие войны, которые вот уже двадцать лет терзали Францию, пресыщенную несчастьями и славой,

¹ Я слышал от генерала Поццо, что именно он убедил Александра перейти в наступление.

возобладало в народе даже над национальной гордостью. Каждый искал свою роль в грядущей развязке. Ежевечерне мои друзья собирались у госпожи де Шатобриан, чтобы обменяться новостями и обсудить происшедшие за день события. Вместе с господином де Фонтаном, господином де Клозелем и господином Жубером являлась толпа тех мимолетних знакомцев, с которыми события сводят нас затем, чтобы вскоре разлучить. Герцогиня де Леви, невозмутимая красавица и преданный друг, с которой мы еще встретимся в Генте, была неразлучна с госпожой де Шатобриан. Я часто виделся с герцогиней де Дюрас, также жившей в эту пору в Париже, и с маркизой де Монкальм, сестрой герцога де Ришелье.

Хотя бои шли уже совсем близко от Парижа, я по-прежнему был уверен, что союзники не войдут в столицу и что конец нашим страхам положит восстание всей нации. Благодаря этой навязчивой идее я не так болезненно переносил присутствие чужеземных войск; вдобавок, видя те бедствия, которыми чревато для нас вторжение соседей, я не мог не думать о тех бедствиях, которые принесли им мы.

Я то и дело возвращался к своей брошюре; я считал ее лекарством, которое нужно будет пустить в ход, если страну охватит анархия. Сегодня мы сочиняем иначе — вольготно расположившись в своих кабинетах и опасаясь самое большее нападков газетчиков, а в ту пору я запирался на ночь в своей спальне, прятал рукопись под подушку, а на ночной столик клал пару заряженных пистолетов: эти две музы охраняли мой сон. Сочинение мое существовало в двух вариантах: в виде брошюры, как оно впоследствии и вышло в свет, и в виде нескольких речей, кое в чем от брошюры отличных; я полагал, что если Франция поднимется на борьбу, мы соберемся в Ратуше, и подготовил на этот случай два выступления.

Во время нашей совместной жизни госпожа де Шатобриан несколько раз принималась вести записки *: я нахожу в них такой рассказ:

«Господин де Шатобриан работал над брошюрой «О Бонапарте и Бурбонах». Попади она в руки полиции, автору наверняка грозила бы смертная казнь. Тем не менее он вел себя с невероятным легкомыслием. Часто, уходя из дома, он забывал рукопись на столе; самое большее, на что он был способен, это спрятать ее под подушку, да и то в присутствии слуги, — а ведь этого юношу, впрочем весьма порядочного, могли подкупить. Что до меня, то я умирала от страха: поэтому стоило господину де Шатобриану ступить за порог, как я бросалась к рукописи и прятала ее у себя на груди. Однажды, идя по саду Тюильри, я вдруг заметила, что рукописи при мне нет; я твердо знала, что, уходя из дома, взяла ее с собой, и поняла, что потеряла ее по дороге. Взору моему представились злополучное сочинение в руках жандармов и господин де Шатобриан в тюрьме; я упала без чувств посреди сада: добрые люди помогли мне подняться и отвели домой, благо жили мы неподалеку. Какую муку

испытывала я, когда, поднимаясь по лестнице, разрывалась между горестным предчувствием, готовым стать уверенностью, и слабой надеждой, что я забыла брошюру дома! Перед дверью спальни мужа я снова едва не лишилась чувств; наконец я вхожу: на столе пусто; подхожу к постели, шарю под подушкой — пусто; приподнимаю подушку — и вижу свернутую в трубочку рукопись! До сих пор при одном воспоминании об этом у меня колотится сердце. В жизни своей я не испытывала подобной радости. Скажу как на духу: я не радовалась бы так сильно, даже если бы меня помиловали у подножия эшафота: ведь я узнала, что от опасности избавлено существо, чьей жизнью я дорожу сильнее, чем моей собственной».

Как безутешен был бы я, если бы хоть на мгновение причинил боль госпоже де Шатобриан!

Тем не менее мне пришлось посвятить в свою тайну типографа *: он согласился рискнуть; когда гром орудий приближался к Парижу, он забирал у меня гранки, а когда удалялся, возвращал их назад: так две недели я разыгрывал свою жизнь в орлянку.

⟨Продолжение описаний боевых действий в окрестностях Парижа; интриги Талейрана⟩

12. *Прокламация генералиссимуса князя фон Шварценберга.*
— Речь Александра.— *Капитуляция Парижа*

Меж тем ввиду приближения союзников граф Александр де Лаборд и господин Тургон, высшие чины национальной гвардии, были посланы к генералиссимусу князю фон Шварценбергу, который в русской кампании сражался на стороне Наполеона *. Вечером 30 марта парижанам стала известна прокламация генералиссимуса. Она гласила: «Вот уже двадцать лет Европа утопает в крови и слезах: попытки положить конец этим бесчисленным несчастьям не имели успеха, ибо правительство, угнетающее вас, по самой своей природе чуждо миру. Парижане, положение вашего отечества вам известно: союзники обязуются сохранить ваш город в целостности и сохранности. Вот чувства, с которыми к вам обращается вооруженная Европа, собравшаяся у стен вашей столицы».

Какое великолепное признание величия Франции: «К вам обращается вооруженная Европа, собравшаяся у стен вашей столицы»!

Мы, не уважавшие никого, выслушивали слова уважения от народов, чьи города разоряли до тех пор, пока сила не покинула нас. Они почитали нас священной нацией, земли наши казались им полями Элиды *, куда богами заповедан путь чужеземным воинам. Если бы парижане все-таки сочли должным оказать прогивнику сопротивление хотя бы в течение суток, к чему у них имелись все средства, дела могли повернуться иначе, однако никто, кроме

охмелевших от стрельбы и почестей солдат, не желал больше жить под властью Бонапарта, и, стремясь избавиться от его господства, парижане поспешили открыть ворота неприятелю.

Париж сдался 31 марта: акт о капитуляции подписали от имени маршалов Мортье и Мармона полковники Дени и Фабье; акт о гражданской капитуляции был подписан от имени мэров Парижа *. Муниципалитет послал в русский генеральный штаб депутацию для обсуждения некоторых статей договора: мой собрат по изгнанию Кристиан де Ламуаньон был в числе этих посланцев. Александр сказал им:

«Ваш император, некогда мой союзник, вторгся в самое сердце моей страны и принес ей страдания, которые не скоро изгладятся из памяти моих подданных; я пришел к вам, движимый законным желанием постоять за свою державу. Я далек от мысли о мести. Я справедлив и знаю, что в случившемся виноваты не французы. Французы мои друзья, и я хочу доказать им, что намереваюсь ответить на зло добром. Мой единственный враг — Наполеон. Я обещаю Парижу особое покровительство; я беру под защиту и охрану все общественные заведения; там разместятся только отборные части; я не стану распускать вашу национальную гвардию, куда входит цвет ваших граждан. Ваше будущее — в ваших руках; вы нуждаетесь в правительстве, которое даровало бы покой и вам и Европе. Высказывайте ваши желания: вы найдете во мне помощника, готового споспешествовать любым вашим начинаниям».

Обещания эти были выполнены от слова до слова: честь победителей была союзникам всего дороже. Что должен был почувствовать Александр при виде куполов и башен города, куда чужеземцы до сих пор вступали лишь для того, чтобы восхищаться нами, чтобы наслаждаться сокровищами нашей цивилизации и нашего ума; неприступного города, который в течение двенадцати столетий был храним его великими уроженцами; столицы славы, которую, казалось, по-прежнему защищали тень Людовика XIV и жизнь Бонапарта!

13. Вступление союзников в Париж

Господь отверз уста, и народы услышали его глас, изредка нарушающий молчание вечности. Тогда на глазах нынешнего поколения произошло то, чему Париж был свидетелем лишь однажды — 25 декабря 496 года, когда в Реймсе свершилось крещение Хлодвига и ворота Лютеции открылись франкам *; 30 марта 1814 года, спустя двадцать один год после кровавого крещения Людовика XVI, старый молот, столетия остававшийся недвижимым, вновь ударил в набат древней монархии, и при звуках этого второго удара в Париж вошли татары. За тысячу триста восемнадцать лет, отделяющие одно событие от другого, враг, бывало, угрожал нашей столице, но внутри ему удавалось

проникнуть, лишь если его призывали туда наши собственные войска. Норманны осадили город *парижев* *; *париши* спустили на них своих ястребов; Эд, дитя Парижа и будущий король, гех *futurus*, как называет его Аббон, обратил северных пиратов в бегство; в 1814 году *парижане* спустили своих орлов: союзники вошли в Лувр.

Бонапарт вероломно напал на своего восторженного поклонника Александра, на коленях молившего его о мире *; Бонапарт приказал разграбить Москву; он вынудил русских сжечь ее; Бонапарт разорил Берлин, унизил прусского короля и оскорбил королеву *: какой же мести нам следовало ожидать? Скоро узнаете.

Во Флориде я видел остатки неведомых сооружений, разоренных некогда завоевателями, от которых не осталось и следа, и был готов к тому, что скоро на моих глазах орды кавказцев расположатся лагерем во дворе Лувра. Когда я думаю об этих событиях, которые, говоря словами Монтеня *, являются «плохим доказательством нашей ценности и наших способностей», язык мой прилипает к гортани: *Adhaeret lingua mea faucibus meis* ².

Союзные войска вошли в Париж 31 марта 1814 года, в полдень, всего через десять дней после годовщины смерти герцога Энгинского, расстрелянного 21 марта 1804 года. Стоило ли совершать столь памятное злодеяние ради царства, которому был отмерен столь недолгий срок? Русский император и прусский король возглавляли свои войска. Я видел, как они проехали по бульварам. Потрясенный и раздавленный, словно меня лишили имени француза и заменили его номером сибирского каторжника, я чувствовал, как вместе с отчаянием зреет в моей душе гнев против человека, который в погоне за славой довел нас до такого позора.

Впрочем, история не знает ничего подобного этому первому вторжению чужеземцев в Париж: повсюду царил порядок, покой и умеренность; двери лавок скоро отворились; русские гвардейцы шести футов росту шествовали по улицам в окружении парижских сорванцов, которые передразнивали чужестранцев, словно марионетки или маски на карнавале. Победителей можно было принять за побежденных: робея собственных успехов, они держались гак, будто просили прощения. Центр Парижа, за исключением особняков, отведенных чужеземным королям и принцам, занимала одна лишь национальная гвардия. 31 марта 1814 года бесчисленные войска противника овладели Францией; Бурбоны возвратились на французский престол, и несколько месяцев спустя те же самые войска, не сделав ни единого выстрела, не пролив ни единой капли крови, пересекли нашу границу в обратном направлении. Древние пределы Франции раздвигаются, в ее владение переходят часть антверпенских судов и содержимого тамошних складов; получают разрешение вер-

² Язык мой прилипнул к гортани моей (лат; Пс., 22 <21>, 16).

нуться на родину триста тысяч французов, томящихся в неприятельском плену. После двадцати пяти лет, проведенных в сражениях, гул орудий внезапно стихает по всей Европе; Александр покидает Францию, оставив нам шедевры искусств и свободу, запечатленную в Хартии *, свободу, которой мы обязаны его просвещенному влиянию. Государь, могущественный вдвойне, самодержец силою меча и силою религии, он один из всех европейских монархов понял, что Франция достигла того уровня цивилизации, при котором стране потребна свободная конституция.

Движимые весьма естественной неприязнью к чужеземцам, мы не делали различий между вторжениями 1814 и 1815 годов, хотя они решительно ни в чем не схожи.

Александр считал себя не более чем орудием Провидения и был склонен приуменьшать свою роль. Когда госпожа де Сталь, желая польстить ему, сказала, что подданные его, живя под властью такого монарха, счастливы, даже не имея конституции, Александр, как известно, ответил: «Я всего лишь счастливая случайность» *.

Некий юноша, встреченный Александром на улицах Парижа, выразил ему свое восхищение той любезностью, с какой император выслушивает самых безвестных граждан; Александр отвечал: «Разве не в этом призвание монархов?» Он отказался поселиться во дворце Тюильри, ибо помнил, как охотно занимал Бонапарт дворцы Вены, Берлина и Москвы.

Взглянув на статую Наполеона, венчающую колонну на Вандомской площади, он сказал: «Если бы я забрался так высоко, у меня бы, пожалуй, закружилась голова».

Когда он осматривал Тюильрийский дворец, ему показали залу Мира. «Какая нужда была в ней Бонапарту?» — спросил он со смехом.

В день въезда в Париж Людовика XVIII Александр смотрел на процессию из окна, как простой смертный, стараясь остаться незамеченным.

Иной раз он выказывал манеры не только изысканные, но и чувствительные. При посещении лечебницы для умалишенных он спросил у одной из служительниц, много ли здесь «страдалиц, потерявших разум от любви» *. «До сих пор, — отвечала женщина, — было много, но боюсь, что после появления в Париже Вашего Величества число их сильно возрастет».

Один из приближенных Наполеона сказал царю: «Мы уже давно ожидали и страстно желали прибытия Вашего Величества». «Я рад был бы явиться раньше, — отвечал Александр, — меня задержала отвага французов». Известно доподлинно, что, переходя через Рейн, он сожалел об оставленной им мирной жизни в кругу семьи.

В Доме инвалидов он повстречал искалеченных солдат — тех самых, что разбили его армию при Аустерлице; они хмуро молчали, лишь стук деревяшек, заменявших им ноги, разносился по пустынным дворам и оголенному храму;

растроганный этим гласом отваги, Александр приказал прислать в подарок инвалидам дюжину русских пушек.

Ему предложили изменить название Аустерлицкого моста. «Нет,— отвечал он,— довольно того, что я прошел по этому мосту вместе с моей армией».

Александр был покоен и печален; он прогуливался по Парижу верхом или пешком, запросто, без свиты. С видом человека, изумленного собственным триумфом, он окидывал толпу взглядом едва ли не растроганным, как бы признавая ее превосходство: можно было подумать, что перед нами варвар, робеющий, словно римлянин среди афинян. Быть может, однако, он вспоминал в эти минуты, что стоящие перед ним французы побывали в его сожженной столице, а ныне его солдаты в свой черед овладели Парижем, где еще можно было бы разыскать погасшие факелы из числа тех, что истребили, но освободили Москву. Как, должно быть, поразила его благочестивый ум эта переменчивость судьбы, эта общность бедствий, постигающих царей и народы.

14. Бонапарт в Фонтенбло.— Регентский совет в Блуа

Что же делал тем временем полководец, выигравший Бородинское сражение? Узнав о решении Александра, он приказал майору артиллерии Майяру де Лескуру взорвать Гренельский пороховой погреб: Ростопчин поджег Москву, однако прежде он дождался, чтобы жители столицы покинули ее. Наполеон возвратился в Фонтенбло, а затем двинулся в Виллежюиф; оттуда он обозрел Париж, охраняемый чужеземными солдатами; завоевателя вспомнились дни, когда его гренадеры несли караул на подступах к Берлину, Москве и Вене.

События меркнут перед другими событиями, приходящими им на смену: какой жалкой кажется нам ныне скорбь Генриха IV, возвращающегося в Фонтенбло из Виллежюифа, где он узнал о смерти Габриэли! Возвратился в Фонтенбло и Бонапарт; одиночество императора было нарушено лишь воспоминанием о его августейшей жертве *: пленник мира только что покинул замок, предоставив его пленнику войны, ибо «несчастье не медлит» *.

Регентский совет удалился в Блуа. Бонапарт приказал императрице с римским королем покинуть Париж, ибо, сказал он, скорее они окажутся на дне Сены, нежели будут с триумфом отправлены в Вену; однако Жозефу он повелел остаться в столице. Бегство брата привело его в ярость, и он возложил на бывшего короля Испании вину за все происходящее *. Суматоха отступления собрала в Блуа министров Наполеона, его братьев, жену с сыном и членов регентского совета: повсюду виднелись обозы, сундуки, экипажи; даже королевские кареты оказались здесь и по размокшей от распутицы земле провинции Бос потащились в Шамбор, единственный клочок французской земли, оставленный во владение наследнику Людовика XIV *. Некоторые министры

и в Блуа не чувствовали себя в безопасности и не успокоились до тех пор, пока не добрались до Бретани; иное дело — Камбасерес, сновавший в портсезе по крутым улочкам Блуа. Ходили самые разные слухи; поговаривали о двух лагерях и о всеобщей рекрутской повинности. В течение нескольких дней никто в Блуа не знал, что происходит в Париже; туман рассеялся лишь после прибытия ломовика, на чьем пропуске стояла подпись *Сажена*. Вскоре на постоялом дворе «Галера» поселился русский генерал Шувалов: тотчас к нему толпами повалили за пропусками вельможи, жаждавшие бежать куда глаза глядят. Впрочем, прежде чем покинуть Блуа, каждый из них не преминул прихватить из кассы регентского совета деньги на дорожные расходы и остаток жалованья: в одной руке они сжимали пропуска, в другой деньги, да при этом не забывали уверить временное правительство в своей благонадежности — одним словом, головы не теряли. Императрица-мать и ее брат, кардинал Феш, отбыли в Рим. Князь Эстергази, посланец Франца II, приехал за Марией Луизой и ее сыном. Жозеф и Жером скрылись в Швейцарии; их попытки уговорить императрицу последовать за ними успехом не увенчались. Мария Луиза поспешила вернуться к отцу: весьма мало привязанная к Бонапарту, она была рада избавиться от двойной тирании супруга и владыки и скоро утешилась. Год спустя Бонапарт обратил Бурбонов в столь же беспорядочное бегство, но они не имели за плечами четырнадцати лет неслыханного преуспевания и, поскольку конец их долгим злключениям пришел совсем недавно, не успели еще привыкнуть к благоденствию на троне.

15. *Моя брошюра «О Бонапарте и Бурбонах» выходит в свет*

Однако Наполеон еще не был свергнут; за него стояли сорок тысяч лучших солдат земли; он мог отступить за Луару; на юге бурлили французские войска, возвратившиеся из Испании; военное сословие было подобно вулкану, готовому вот-вот извергнуть горящую лаву; даже чужеземные владыки полагали в те дни, что править Францией должен либо Наполеон, либо его сын: два дня Александр медлил. Господин де Талейран, как я уже сказал, склонялся в глубине души к коронованию римского короля, ибо опасался Бурбонов*; если в ту пору регентство Марии Луизы и вызывало у него некоторые сомнения, то лишь оттого, что Наполеон был еще жив, а существование столь беспокойного, непредсказуемого, предприимчивого и еще полного сил человека отнимало у князя Беневентского уверенность в полноте власти³.

Именно в эти тревожные дни, желая поколебать неустойчивое равновесие, я выпустил в свет свою брошюру «О Бонапарте и Бурбонах»; результат

³ Читайте ниже главу «Сто дней в Генте», а также портрет господина де Талейрана в конце этих «Записок» (Париж, 1839).

известен. Я очертя голову ввязался в бой за возрождающуюся свободу против еще не сломленной тирании, чьи силы отчаяние лишь утроило. Я выступил за законную монархию, подкрепляя слова фактами. Я рассказал французам о древнем королевском роде, исчислил членов этого рода, обрисовал их характеры: с тем же успехом я мог перечислять детей китайского императора: завладев настоящим, Республика и Империя оттеснили Бурбонов в прошлое. Людовик XVIII объявил, как я уже не раз говорил, что моя брошюра принесла ему больше пользы, чем стотысячная армия; он мог бы добавить, что она засвидетельствовала само его право на престол. Вторично я оказал ему эту услугу, когда удачно завершил войну в Испании.

Едва вступив на политическое поприще, я завоевал любовь толпы, но одновременно утратил почтение власти имущих. Все, кто раболепно прислуживали Бонапарту, возненавидели меня; но и те, кто мечтал отдать Францию в кабалу, смотрели на меня косо. Среди монархов поначалу мою сторону принял только сам Бонапарт. В Фонтенбло герцог де Бассано показал ему мою брошюру; он просмотрел ее и разобрал с полным беспристрастием: «Это верно, это неверно. Мне не в чем упрекнуть Шатобриана; он был против меня и в пору моего всевластия, но каковы подлецы такой-то и такой-то!» — и он назвал их имена.

Что же до меня, то я всегда, даже нападая на Бонапарта как нельзя более резко, восхищался им безгранично и неподдельно.

Потомки не так справедливы в своих оценках, как принято считать: время бессильно против страстей, увлечений и заблуждений. Если потомки безоговорочно восхищаются кем-нибудь, их возмущает, что современники их кумира смотрели на него иначе. Меж тем это вполне естественно: пороки великого человека уже никому не опасны; слабости его умерли вместе с ним; истории принадлежит лишь его бессмертная слава, но причиненное им зло не становится от этого менее реальным, оно являлось злом по своей сути и природе, а главное, потому, что от него страдали люди.

Нынче в ходу восхваления Бонапартовых побед *: жертвы умерли, проклятий, криков боли и отчаяния уже не слышно, взорам не предстает более зрелище истощенной Франции, землю которой пашут женщины, отцов не бросают более в тюрьму как аманатов сыновей, деревенских жителей не карают как бунтовщиков, на стенах домов не вывешивают списки рекрутов, и обыватели не толпятся перед этими бесконечными смертными приговорами, с ужасом отыскивая в них имена своих сыновей, братьев, друзей и соседей. Никто уже не помнит, как удручали всех французов триумфы Бонапарта, не помнит, с каким восторгом ловила публика любой направленный против него намек, прозвучавший со сцены по недосмотру цензоров, не помнит, как устали народ, двор, генералы, министры и приближенные Наполеона от его гнета и его завоеваний, от сражений — всегда победоносных, но никогда не стиха-

ющих, от необходимости каждое утро, не зная устали, отстаивать свое право на жизнь и благоденствие.

О неподдельности наших мучений свидетельствует уже сам исход царствования Бонапарта: если бы французы были ему столь фанатично преданы, разве отвернулись бы они от него дважды так быстро, так решительно, не сделав даже попытки оставить его у кормила власти? Если Франция обязана Бонапарту всем — славой, свободой, порядком, благополучием, промышленностью, торговлей, мануфактурами, памятниками, литературой, изящными искусствами; если до него, сама по себе, нация не была ни на что способна; если Революция не могла похвастать ни гением, ни отвагой и не сумела ни защитить французские земли, ни прибавить к ним новые, значит, французы выказали себя народом весьма неблагодарным и трусливым, предав Наполеона в руки его врагов или, по крайней мере, не воспротивившись пленению своего благодетеля?

Упрек этот, который нам могли бы бросить, брошен, однако, не был, а почему? Потому что очевидно: когда настал час падения Наполеона, французы не только не встали на его защиту, но, напротив, добровольно отдали его врагу; охваченные горьким разочарованием, мы видели в нем лишь виновника наших бед, нашего гонителя. Не союзники победили нас: мы сами, выбрав из двух зол меньшее, отказались проливать нашу кровь, ибо проливали мы ее уже не за свободу.

Республиканское правление, конечно, изобиловало жестокостями, но в ту пору все мы надеялись, что ему скоро настанет конец, что рано или поздно мы вновь обретем наши права, сохранив при этом те земли, которые республиканская армия, защищая отечество, завоевала в Альпах и на берегах Рейна. Все свои победы эта армия одерживала во имя нашей родины, во имя Франции; побеждала, торжествовала именно Франция; все свершалось руками наших солдат, и праздничные или похоронные процессии устраивались в их честь; генералы (а среди них были люди незаурядные) занимали в сознании общества место почетное, но скромное: таковы были Марсо, Моро, Ош, Жубер; двоим последним на роду было написано занять место Бонапарта, который, однако, познав славу, внезапно расстроил намерения генерала Оша и удостоил своей зависти этого миролюбивого полководца, внезапно скончавшегося после побед при Альтенкирхене, Неувиде и Клейнистере.

При Империи мы исчезли; о нас никто и не вспоминал, все принадлежало Бонапарту: «Я приказал, я победил, я сказал; мои орлы, моя корона, моя кровь, моя семья, мои подданные».

Что же произошло в эти две эпохи, вместе и похожие и противоположные? Республику мы не покинули в беде; она губила нас, но не лишала чести; мы не опускались до того, чтобы становиться собственностью одного-единственного человека; благодаря нашим усилиям враги не сумели занять республиканскую

Францию; русские, разбитые по ту сторону гор, обессилев, отступили к Цюриху *.

Что же до Бонапарта, то он, несмотря на все его огромные завоевания, проиграл, и не оттого, что его разбили, но оттого, что французам надоело ему повиноваться. Какой урок! вечное напоминание о том, что все, оскорбляющее достоинство человека, несет с собою гибель.

Независимые мыслители, к какой бы партии они ни принадлежали и какие бы взгляды ни исповедовали, вели в пору публикации моей брошюры схожие речи. Лафайет, Камиль Жордан, Дюсис, Лемерсье, Ланжюине, госпожа де Сталь, Шенье, Бенжамен Констан, Лебрен думали и писали примерно то же, что и я. Ланжюине говорил: «Мы избрали своим повелителем человека, принадлежащего к племени, откуда римляне не желали брать даже рабов» *.

〈Шатобриан приводит сходные отзывы о Наполеоне, принадлежащие М.-Ж. Шенье, Б. Констану, госпоже де Сталь, Беранже и Байрону〉

Когда лучшие умы эпохи, несмотря на всю свою разность, сходятся в оценках, невозможно подозревать их в лицемерии, подтасовке фактов или сговоре. Как! неужели если кто-то, подобно Наполеону, поставит свои прихоти на место законов, станет преследовать всякого независимого гражданина, находить радость в чужом бесчестии и смущать чужой покой, надругается над честными нравами и общественными свободами,— неужели в этом случае великодушных людей, противящихся этим гнусностям, назовут клеветниками и богохульниками! Кто же примет сторону слабого против сильного, если мужеству будет грозить не только нынешняя подлость, но и скотства * грядущих веков.

Это славное меньшинство, составленное частью из питомцев муз, постепенно выросло в большинство нации: к концу правления Наполеона вся Франция ненавидела имперский деспотизм. Вот тяжкая вина Бонапарта: так нестерпим был его гнет, что в душах французов ослабло отвращение к чужеземному нашествию, и нашествие это, о котором мы ныне вспоминаем с таким прискорбием, показалось неким освобождением: так считали даже республиканцы, чье мнение выразил мой несчастный и отважный друг Каррель. «Возвращение Бурбонов,— сказал в свою очередь Карно,— привело в восторг всех французов; Бурбонов приветствовали с неизъяснимой радостью, и старые республиканцы от души разделяли всеобщее торжество. Республиканцы да и вообще все сословия претерпели от Наполеона столько мук, что в целой стране не нашлось ни единого человека, который пожалел бы о нем».

Всем этим отзывам недостает лишь авторитетного подтверждения: его дал нам сам Бонапарт. Прощаясь во дворе замка Фонтенбло со своими солдатами, он во всеуслышание признал, что Франция отвергла его. «Франция,— сказал он,— избрала иной путь». Неожиданное и памятное признание, которое весит и значит очень много.

Терпение Господа безгранично, но рано или поздно он вершит свой справедливый суд: пока небеса хранят мнимое молчание, порядочный человек обязан поднимать голос против абсолютной власти, сдерживая ее деспотизм. Франция не отречется от тех благородных душ, что восстали против рабства в пору, когда раболепствовали все, когда льстивых угодников ждало столько милостей, а людей порядочных — столько гонений. Воздадим же должное людям, подобным Лафайету, госпоже де Сталь, Бенжамену Констану, Камиллю Жордану, Дюсису, Лемерсье, Ланжюине, Шенье, которые одни в толпе народов и королей, пресмыкавшихся перед владыкой, не склонили выю, одни осмелились презреть победителя и воспротивиться тирану!

⟨Постановление Сената о низвержении Бонапарта; интриги Талейрана; отречение Бонапарта и его отъезд на остров Эльбу⟩

21. Людовик XVIII в Компьене.— Его въезд в Париж.— Старая гвардия.— Неправимая ошибка.— Сент-Уэнская декларация.— Парижский договор.— Хартия.— Уход союзников

В то время как Бонапарт, известный всему миру, покидал Францию, провожаемый проклятиями, Людовик XVIII, всеми забытый, выезжал из Лондона под сенью корон и белых знамен. Наполеон, высадившись на Эльбе, ощутил прилив сил. Людовик XVIII, высадившись в Кале, рисковал столкнуться там с Лувелем *; его встретил генерал Мэзон, которому шестнадцать лет спустя пришлось провожать Карла X в Шербур. Карл X, словно стремясь заранее приуготовить генерала к выполнению этой миссии, вручил ему в пору своего правления маршальский жезл — так рыцарь, прежде чем сразиться с человеком низшего сословия, предварительно посвящал его в рыцари.

Я опасался последствий, к которым могло привести появление Людовика XVIII. Я поспешил ему навстречу в замок, где Жанна д'Арк попала в руки англичан и где мне показали книгу, задетую одним из ядер, пущенных против Бонапарта. Что подумают люди при виде царственного калеки, пришедшего на смену всаднику, который мог бы сказать, подобно Аттиле: «Там, где ступил мой конь, не растет больше трава»? Не имея к тому ни призвания, ни желания, я взялся (такой мне выпал жребий) за выполнение нелегкой задачи — мне предстояло описать «прибытие в Компьень», предстояло изобразить потомка Святого Людовика в идеальном свете искусства. Я писал *:

«Карете короля предшествовали генералы и маршалы Франции, выехавшие навстречу Его Величеству. Криков «Да здравствует король!» уже не было слышно, раздавался лишь смутный шум растроганных и радостных голосов. Король был в голубом сюртуке, украшенном лишь орденом и эполетами;

широкие гетры из красного бархата, окаймленные золотой лентой, обтягивали его ноги. Видя, как он, в этих старомодных гетрах, сидит в кресле, держа трость между колен, мы могли думать, что перед нами — пятидесятилетний Людовик XIV...
 Маршалы Макдональд, Ней, Монсе, Серюрье, Брюн, князь Невшательский, все генералы и вообще все присутствующие также удостоились самых сердечных приветствий короля. Таково могущество законной власти во Франции, таково чудодейственное звучание одного имени короля. Человек возвращается из изгнания один, без свиты, без охраны, без денег, ему нечем одарить народ, почти нечего ему посулить. Он выходит из кареты, опираясь на руку молодой женщины, он предстает перед военачальниками, которые никогда его не видели, перед гренадерами, которые едва помнят его имя. Кто этот человек? Король. И вот уже все преклоняют перед ним колена».

Я писал все это, памятуя о стоящей передо мною цели, и если с командирами дело обстояло так, как я и говорил, то касательно солдат я алгал. У меня до сих пор перед глазами сцена, свидетелем которой я стал 3 мая, когда Людовик XVIII, достигнув Парижа, отправился в Собор Парижской Богоматери: короля желали уберечь от лицемерия чужеземных войск; вдоль дороги от Нового моста до собора, на набережной Орфевр выстроились пехотинцы старой гвардии. Не думаю, чтобы когда-либо человеческие лица имели выражение столь грозное и страшное. Эти израненные гренадеры, покорители Европы, пропахшие порохом, тысячу раз слышавшие свист ядер, пролетавших над самой их головой, лишились своего предводителя и вынуждены были приветствовать дряхлого, немощного короля, жертву не войны, но времени, в столице Наполеоновой империи, наводненной русскими, австрийцами и пруссаками. Одни, морща лоб, надвигали на глаза громадные медвежьи шапки, словно не желали ничего видеть; другие сжимали зубы, еле сдерживая яростное презрение, третьи топорщили усы, оскалившись, словно тигры. Когда они брали на караул, их иступленные движения вселяли ужас. Никогда еще, без сомнения, люди не подвергались подобным испытаниям и не претерпевали такой муки. Если бы в этот миг их призвали к отпущению, они бились бы до последней капли крови.

В начале цепи гарцевал на коне юный гусар, и сабля гневно плясала в его руке. Он был бледен, глаза его, казалось, готовы были выскочить из орбит, он тяжело дышал и лязгал зубами, подавляя рвущийся из груди крик. Вдруг он завидел русского офицера: брошенный им взгляд не поддается описанию. Когда карета Людовика XVIII приблизилась к нему, он пришпорил коня и явно боролся с искушением броситься на короля.

В начале эпохи Реставрации власти допустили непростительную ошибку: им следовало распустить солдат по домам, оставив пенсии, почести и звания лишь маршалам, генералам, военным губернаторам и офицерам; солдаты

постепенно вступали бы во вновь созданную армию, как вступили затем в королевскую гвардию; тогда законной монархии не противостояли бы солдаты империи, сплоченные, объединенные в те же полки и носящие те же звания, что и во дни побед, беспрестанно вспоминаящие в разговорах старое время, таящие в душе сожаления и неприязнь к новому владыке.

Жалкое возрождение «красной» королевской гвардии *, где солдаты старой монархии оказались перемешаны с солдатами новой империи, довершило зло: полагать, что ветераны, отличившиеся в тысяче сражений, спокойно смиряются с тем, что юнцы, быть может, и не трусливые, но по большей части ни разу не нюхавшие пороха, носят незаслуженно высокие военные звания, значило выказать полное непонимание человеческой природы.

В Компьене Людовика XVIII посетил Александр. Людовик XVIII оскорбил его своим высокомерием; результатом этого свидания явилась Сент-Уэнская декларация от 2 мая. Король заявил в ней, что намерен дать своему народу конституцию, гарантирующую *двухпалатное представительное правление, введение налогов лишь с согласия нации, общественные и частные свободы, свободу печати и вероисповеданий, неприкосновенность священного права собственности, неприкосновенность проданных национальных имуществ, ответственность министров, несменяемость судей и независимость правосудия, право всякого француза занимать любую должность* и проч., и проч.

Эта декларация не противоречила убеждениям Людовика XVIII, однако не принадлежала ни ему, ни его советникам; просто-напросто заговорило само время: в 1792 году ход его был остановлен и оно сложило крылья, теперь же оно возобновило свой полет или бег. Злоупотребления Террора, деспотизм Бонапарта повернули идеи вспять, но стоило исчезнуть преградам, воздвигнувшимся на их пути, как они вернулись в то русло, какое было им назначено, и принялись прокладывать дорогу вперед. Французы продолжили свое развитие с того места, на котором оно было прервано; то, что произошло, стало считаться небывшим; род человеческий, возвратясь к началу Революции, вычеркнул из своей истории четыре десятка лет *, но что такое четыре десятка лет в жизни общества? Лишь только обрывки порванной цепи времен сомкнулись, пробел этот начисто изгладился из памяти людской.

30 мая 1814 года был заключен Парижский договор между союзными державами и Францией. Было постановлено, что по истечении двух месяцев все страны, участвовавшие в войне, отправят своих полномочных посланников в Вену, дабы принять окончательные решения на всеобщем конгрессе.

4 июня Людовик XVIII принял участие в совместном заседании Законодательного корпуса и части Сената. Он произнес речь, исполненную великодушия; ныне эти скучные штрихи далекого прошлого устарели и важны лишь историку.

Для немалой части нации Хартия имела тот недостаток, что была

пожалована: это совершенно бесполезное слово вновь развязало жаркие споры о том, кому принадлежит власть — королю или народу. Кроме того, уподобившись Карлу II, который выкинул Кромвеля из истории, Людовик XVIII отсчитывал свои благодеяния от начала своего царствования, как если бы Бонапарта никогда не существовало на свете: это оскорбило европейских монархов, находившихся в ту пору в Париже, ибо все они некогда признали Наполеона. Ответшавший язык и притязания древней монархии нимало не приумножили законности ее власти; то были всего лишь ребяческие анахронизмы. Всеми же прочими чертами Хартия, сменившая деспотическое правление и давшая всем нам равную свободу, прельщала порядочных людей. Тем не менее роялисты, которым Хартия даровала множество выгод, ибо позволила покинуть деревни либо жалкие городские пристанища и, расставшись с незаметными должностями, на которых они прозябали при Империи, исполнить высокое общественное предназначение, приняли благодеяние скрепя сердце; либералы же, охотно мирившиеся с тиранией Бонапарта, увидели в Хартии не что иное, как узаконение рабства. Мы возвратились во времена Вавилонской башни, но нынче люди уже не возводят совместными усилиями один всеобщий памятник: каждый строит собственную башню по своему росту, насколько хватает сил. Вообще, если Хартия показалась несовершенной, то лишь оттого, что революция еще не окончилась; идеалы равенства и демократии жили в умах и противостояли устройству монархическому.

Союзные монархи не замедлили покинуть Париж: Александр накануне отъезда устроил молебен на площади Согласия *. Алтарь возвели на том месте, где погиб Людовик XVI. Службу отправляли семь православных священников; чужеземные войска прошли строем ввиду алтаря. Был исполнен *Te Deum* ⁴ на мотив одного из прекраснейших православных песнопений. Солдаты и монархи преклонили колено для благословения. Мысли французов обращались к 1793 и 1794 годам, когда быки отказывались идти по пропахшим кровью мостовым. Чья десница привела на праздник искупления эти разноплеменные толпы, этих потомков древних варваров, татар, обитателей шатров из овечьих шкур, раскинутых близ Великой китайской стены? Немошным поколениям, которые придут нам на смену, не доведется увидеть подобных зрелищ.

22. Первый год эпохи Реставрации

В первый год эпохи Реставрации я стал свидетелем третьего преобразования общества; некогда я видел, как старинная монархия превратилась в монар-

⁴ Тебя, Боже <хвалим> (лат.) *.

хию конституционную, а та — в республику; я видел, как республику сменила военная деспотия; теперь на моих глазах Франция отрекалась от военного деспотизма и возвращалась к свободной монархии; новые идеи и новые поколения воссоединялись с древними принципами и людьми старых правил. Маршалы империи сделались маршалами Франции; с мундирами наполеоновской гвардии смешались мундиры личной охраны короля и «красных» королевских гвардейцев, сшитые точно по старинным образцам; командир личной охраны короля старый герцог д'Авре, в пудреном парике, с трясущейся головой, прогуливался, опираясь на черную трость, в обществе хромого маршала Виктора, изувеченного под знаменем Бонапарта; герцог де Муши, сроду не подходивший к пушке, шествовал к обедне бок о бок с израненным маршалом Удино; замок Тюильри, имевший при Наполеоне такой опрятный и военный вид, наполнился вместо запаха пороха ароматами изысканных яств: господа камер-юнкеры, мундкохи, мундшенки * и гардеробмейстеры возвратили апартаментам домашний вид. На улицах появились дряхлые эмигранты, чьи манеры и одеяния давным-давно вышли из моды, — люди, без сомнения, почтенные, но так же чуждые современной толпе, как республиканские полководцы солдатам Наполеона. Дамы, блиставшие при дворе императора, покровительствовали матронам из Сен-Жерменского предместья и посвящали их в тайны дворца *. Прибывали депутации из Бордо с повязками на рукавах, являлись вандейские капитаны в шляпах à la Ларошжаклен. Все эти несхожие особы сохраняли свои чувства и мысли, привычки и повадки. Свобода, составлявшая сущность этой эпохи, позволяла уживаться вещам, на первый взгляд совершенно несовместимым; но не всякий умел узнать эту свободу в одеждах древней монархии и имперского деспотизма. К тому же почти никто не знал толком конституционного языка; роялисты допускали грубейшие ошибки, рассуждая о Хартии; сторонники Империи разбирались в ней и того меньше; члены Конвента, успевшие при Наполеоне стать графами, баронами и сенаторами, а при Людовике XVIII — пэрами, то припоминали полузабытый республиканский диалект, то прибегали к изученному ими до тонкостей языку абсолютизма. Генерал-лейтенанты почли за честь караулить зайцев на королевской службе. Адьютанты последнего военного диктатора принялись толковать о нерушимой свободе народов, а цареубийцы — отстаивать святость наследственного права на престол.

Метаморфозы эти были бы отвратительны, не объясняясь они в большой мере гибкостью французского ума. Афинский народ сам управлял своим государством; ораторы на площади разжигали его страсти; властительную толпу составляли скульпторы, художники, ремесленники, зрители речей и слушатели деяний, как говорит Фукидид *. Но когда указ, плох он или хорош, был принят, кто выступал из этой неразумной и неискусенной толпы, дабы привести его в исполнение? Сократ, Фокион, Перикл, Алкивиад.

23. *Роялисты ли повинны в Реставрации?*

Роялисты ли повинны в *Реставрации*, как считается ныне? никоим образом: не станем же мы утверждать, что горстка легитимистов, размахивающих платочками и прицепивших к шляпам ленты, взятые у жен, реставрировала, против воли безутешного тридцатимиллионного народа, ненавистную королевскую власть? Да, подавляющее большинство французов радовалось, но большинство это составляли отнюдь не *легитимисты* в узком значении слова, то есть отнюдь не убежденные поборники старой монархии. В толпу эту входили люди самых несхожих взглядов; все они, радуясь избавлению от тирана и питая к нему ненависть, винули в своих несчастьях Наполеона: этим и объясняется успех моей брошюры. Много ли можно было насчитать истинных аристократов, открыто исповедовавших верность королю? Господа Матье и Адриен де Монморанси, вырвавшиеся из темницы господина де Полиньяки *, господин Алексис де Ноай, господин Состен де Ларошфуко. Разве могли эти семь или восемь человек, неизвестных народу, повести за собою целую нацию?

Госпожа де Монкальм прислала мне 1200 франков, дабы я роздал их чистокровным легитимистам: за отсутствием достойных претендентов я вернул ей всю сумму сполна. К шее статуи, венчавшей Вандомскую колонну, привязали позорную веревку; роялистов, желавших посягнуть на славу и дернуть за веревку, отыскалось так мало, что пришлось государственным чиновникам, позабыв свой бонапартизм, сбросить с помощью затяжной петли изваяние своего повелителя: колосса силой заставили склонить голову, и он упал к ногам европейских монархов, столько раз влачившихся перед ним во прахе *. С восторгом приветствовали *Реставрацию* не кто иные, как служители Республики и Империи. О неблагодарности, с какой люди, вознесенные наверх революцией, обошлись с тем, о ком они сегодня вспоминают с притворным сожалением и восторгом, нельзя думать без гадливости.

Сторонники Империи и поборники либерализма, вы держали бразды правления в своих руках, но преклонили колена пред потомками Генриха IV! Неудивительно, что роялисты были счастливы вновь обрести своих монархов и узнать, что царствованию того, в ком они видели узурпатора, пришел конец; удивительно, что вы, ставленники этого узурпатора, по части пылких восторгов оставили далеко позади самих роялистов. Магистры и сановники с охотой принесли присягу законной монархии, все гражданские чиновники, все судейские выстраивались в очередь, торопясь поклоняться в ненависти к изгнанной династии и любви к древнему роду, который они столько раз проклинали. Кто сочинял наводнившие Францию воззвания, оскорблявшие Наполеона и обвинявшие его во всех смертных грехах? Роялисты? Ничуть: министры, генералы, чиновники, избранные Бонапартом и покровительствуемые им. Где замышлялась *Реставрация*? в кругу роялистов? Ничуть: у епископа Отенского, в обще-

стве господина де Коленкура. Кто задавал балы для *подлых чужеземцев*? роялисты? Ничуть: императрица Жозефина в Мальмезоне. Чему клялись в верности задушевнейшие друзья Наполеона, например Бертье? законной монархии. Кто проводил дни напролет в покоях самодержца Александра, этого грубого татарина? члены разных классов Института, философы-филантропы, теофилантропы и прочие, ученые, литераторы; все они возвращались от царя очарованные, благодетельствованные комплиментами и табакерками. Что же до нас, незадачливых легитимистов, мы не были вхожи никуда; нас никто не ставил ни в грош. Иной раз на улице нам советовали разойтись по домам и лечь спать; иной раз нас просили не кричать чересчур громко: «Да здравствует король!» — поскольку этот труд взяли на себя другие. Власти предержавшие отнюдь не стремились видеть всех французов легитимистами, они заявили, что никого не принуждают менять занятия и речи, что епископ Отенский может так же спокойно не служить обедню при монархии, как не слушал ее при Империи. Я не видел, чтобы какая-нибудь аристократка, какая-нибудь новая Жанна д'Арк с соколом на плече или копьем в руке провозглашала право законного монарха на престол, зато супруга, которой Бонапарт снабдил господина де Талейрана *, разезжала в карете по городу, на все лады расхваливая благочестивое семейство Бурбонов. Видя простыни, свешивающиеся из окон императорских угодников, простодушные казаки верили, что в сердце раскаявшихся бонапартистов расцвело столько же лилий, сколько белых тряпок болтается у них на окнах. Во Франции зараза распространяется с чудесной быстротой, и, если бы кто-то крикнул: «Долой меня!» — соседи не замедлили бы поступить точно так же. Да что там, сторонники империи явились к нам, сторонникам Бурбонов, дабы разжиться в нашей бельевой незапятнанным белым знаменем, — я сам был тому свидетелем. Но госпожа де Шатобриан держалась твердо и отстояла свои запасы.

⟨Первое министерство эпохи Реставрации; Шатобриан выпускает брошюру «Политические размышления» с изложением своих конституционных взглядов, чем навлекает на себя подозрения короля и получает назначение послом в Швецию⟩

26. Остров Эльба

Бонапарт отказался ступить на борт французского корабля; выше всего он ценил в эту пору английский флот, ибо англичане одерживали на море победу за победой; он забыл о своей ненависти, о том, как клеветал на коварный Альбион и осыпал его оскорблениями; он считал достойным своего восхищения только победителей, и к месту первого изгнания его доставил «Undaunted»⁵;

⁵ Бесстрашный (англ.).

с тревогой ожидал он, какой ему окажут прием: уступит ли французский гарнизон свою территорию *? Из итальянцев, населяющих остров, одни желали призвать англичан, другие — вообще избавиться от любой власти; на одном мысу развевался трехцветный флаг, на другом, неподалеку, — белый *. Тем не менее все устроилось. Выяснив, что Бонапарт везет с собою миллионы, островитяне великодушно согласились принять *августейшего пленника*. Гражданским и церковным властям пришлось поддержать это решение. Джузеппе Филиппо Арриги, главный викарий, обратился к прихожанам с посланием. «Божественному Провидению, — гласил его набожный наказ, — было угодно сделать нас подданными Наполеона Великого. Для острова Эльба дать пристанище помазаннику Божьему — беспримерная честь. Мы повелеваем возблагодарить Господа торжественным исполнением *Te Deum*, и проч.».

Император написал генералу Далему, командующему французским гарнизоном, письмо с просьбой довести до сведения жителей Эльбы, что он *избрал* их остров местом своего пребывания по причине мягкости нравов и климата. Он сошел на землю в Порто-Феррайо, приветствуемый залпами английского фрегата и береговых батарей. Оттуда в сопровождении прихожан он направился в церковь, где был исполнен *Te Deum*. Церемонией распоряжался церковный сторож, маленький человечек с необъятным животом. Из церкви Наполеона отвели в мэрию, где ему уже приготовили жилье. Под радостное пиликанье грех скрипок и двух басов вынесли новое знамя императора — на белом фоне красная полоса с тремя золотыми пчелами. Трон, наспех воздвигнутый в бальной зале, был разукрашен позолоченной бумагой и алым тряпьем. Прирожденный комедиант, пленник был доволен всем этим балаганом: Наполеон тешился церковными ритуалами, как тешился некогда старинными придворными забавами в своих тюильрийских покоях, откуда разнообразия ради отправлялся время от времени убивать людей. Он обзавелся свитой: состояла она из четырех камергеров, трех адъютантов и двух гоффурьеров *. Он объявил, что будет принимать дам дважды в неделю, в восемь вечера. Он дал бал. Он отнял у артиллеристов отведенное им строение и устроил там свою резиденцию. Вся жизнь Бонапарт черпал силу из двух источников, породивших его, — демократии и королевской власти; могущество ему давали народные массы, высоту положения — гений, поэтому он без труда переходил с площади в тронный зал, менял общество королей и королев, которые толпились вокруг него в Эрфурте, на общество булочников и торговцев маслом, которые танцевали в его порто-феррайском сарае. С монархами он держался как простолюдин, с простолюдинами — как монарх. В пять утра, в шелковых чулках и башмаках с пряжками, он отдавал на Эльбе приказания каменщикам.

Обосновавшись в своих новых владениях, богатых железом со времен Вергилия, описавшего *insula inexhaustis Chalybum generosa metallis* ⁶, Бонапарт

⁶ Край, где халибский металл в нескучеющих дебрях родится (*лат.*; Вергилий. Энеида, X, 174; пер. С. Ошерова).

не забыл нанесенных ему оскорблений; он не отказался от мысли разорвать свой саван, но ему было на руку притворяться мертвым и лишь изредка мелькать призраком подле собственного надгробия. Вот отчего для отвода глаз он поспешил углубиться в железные и магнитные рудники; императора можно было принять за отставного горного инспектора бывшей империи. Он сожалел о том, что некогда пустил доход от рудника *Иллюа* на содержание ордена Почетного легиона; теперь он счел, что 500 000 франков нужнее гренадерам, чем политые кровью нагрудные кресты. «О чем я только думал? — говорил он. — Впрочем, несколько других моих указов не уступают в глупости этому». Он заключил торговый договор с Ливорно и намеревался заключить еще один с Генуей. Пока суд да дело, он проложил пять или шесть туазов новой дороги и, подобно Дидоне, очертившей пределы Карфагена *, определил место, где вырастут новые города. Философ, разочаровавшийся в мирской славе, он заявил, что отныне избирает для себя жизнь английского мирового судьи: и все же, когда с вершины небольшого холма близ Порто-Феррайо он увидел море, со всех сторон бившееся о скалы, у него вырвалось: «Черт подери! Надо признать, остров мой невелик». Все его владения можно было объехать в несколько часов; он пожелал присоединить к ним каменный островок под названием *Пьяноза*. «В Европе, — сказал завоеватель со смехом, — решат, что я снова взялся за старое». Союзники в насмешку оставили ему четыре сотни солдат; их ему хватило с лихвой, чтобы призвать под свои знамена всю французскую армию.

Присутствие Наполеона вблизи берегов Италии, видевшей его первые шаги к славе и хранившей память о нем, было источником всеобщего возбуждения. По соседству правил Мюрат; друзья тайно или явно посещали Наполеона в изгнании; побывали у него мать и сестра, принцесса Полина; вскоре ожидали прибытия Марии-Луизы с сыном. Женщина с ребенком * и в самом деле приехала; под покровом самой глубокой тайны она была отправлена на уединенную виллу в самом отдаленном уголке острова: на земле Оиггии Калипсо говорила Одиссею о своей любви, а он, не слушая, измышлял способы одолеть соперников. Передохнув день, северный лебедь и его дитя вновь пустились в плавание, и вскоре их белый ялик достиг Байских миртов.

Будь мы менее доверчивы, мы скорее распознали бы приближение катастрофы. Слишком близок был Бонапарт к своей колыбели и к покоренным им землям; чтобы живо похоронить его, требовался остров более отдаленный, затерянный среди морских просторов. Непостижимо, как могли союзники надеяться, что сумеют преподать Наполеону науку изгнания на брегах Эльбы: неужели они не понимали, что ввиду Апеннин, вдыхая пороховую гарь Монтенотто, Арколе и Маренго *, вблизи Венеции, Рима и Неаполя, трех прекрасных своих пленников, он не устоит перед могучим соблазном? Неужели они забыли, что он смутил покой многих стран и оставил повсюду поклонников

и должников, готовых стать его сообщниками. Немилость судьбы и жажда мести разжигали его честолюбие, ущемленное, но несломленное: когда князь тьмы завидел на краю сотворенной вселенной человека и мир, он поклялся погубить их.

Несколько недель страшный пленник сдерживал свой порыв. В гигантском историческом *фараоне*, который метал этот гений, ставкой была фортуна или царство. Вокруг кишели люди, подобные Фуше или Гусману де Альфараче *. Великий актер издавна отдал мелодраму на откуп своей полиции, а себе оставил роль в высокой трагедии: его забавляли заурядные жертвы, исчезавшие в люках его сцены.

За первый год эпохи Реставрации бонапартисты, по мере того, как росли их надежды и становилось все более очевидным безволие Бурбонов, переходили от простых пожеланий к действиям. Когда интрига созрела за пределами Франции, она проникла и внутрь страны: заговор стал явью. С легкой руки господина Феррана господин де Лавалетт вел переписку: курьеры, состоявшие на службе у монархии, доставляли адресатам депеши, служащие делу Империи. Никто и не думал скрываться: карикатуристы изображали орлов, влетающих в окна королевского дворца, и индюков, выходящих из его дверей; «Желтый» или «Зеленый» карлики * толковали о том, что в Канне нынче развелось множество уток *. Предупреждения раздавались со всех сторон, но никто не принимал их всерьез. Швейцарское правительство понапрасну тревожилось, извещая французского короля о происках Жозефа Бонапарта, обосновавшегося в кантоне Во. Некая женщина, приехавшая с Эльбы, рассказывала самым подробным образом обо всем, что происходит в Порто-Феррайо: полиция бросила ее в тюрьму. Все свято верили, что Наполеон не посмеет ничего предпринять до окончания конгресса, да и вообще взоры его обращены на Италию. А иные, еще более дальновидные, страстно желали, чтобы маленький капрал, людоед, пленник, высадившись на французском берегу: тут-то и выдался бы случай покончить с ним навсегда! Господин Поццо ди Борго уверял участников Венского конгресса, что преступника вздернут на первом же дереве. Располагая некоторыми документами, можно было бы неопровержимо доказать, что уже в 1814 году созрел военный заговор, готовившийся параллельно с заговором политическим, который князь де Талейран, по наущению Фуше, вел к успешному завершению в Вене. Друзья Наполеона писали ему, что, если он не поторопится с возвращением, его место в Тюильри займет герцог Орлеанский: они воображают, будто это откровение ускорило высадку императора. Не сомневаюсь, что подобные интриги затевались, но не сомневаюсь я и в том, что истинной причиной, подвигнувшей Бонапарта к бегству с Эльбы, была природа его гения.

Тем временем подняли восстание Друэ д'Эрлон и Лефевр-Денуэт *. Несколькими днями раньше я обедал у маршала Сульта *, назначенного 3 декаб-

ря 1814 года военным министром; некий глупец рассказывал за столом о жизни Людовика XVIII в Хартвелле *; маршал слушал и после каждой фразы приговаривал: «Это войдет в историю!» — «Его Величеству приносили домашние туфли». — «Это войдет в историю!» — «В постные дни король выпивал перед завтраком три сырых яйца». — «Это войдет в историю!» Ответы Сульта поразили меня. Когда правительство не имеет твердой опоры, всякий не слишком щепетильный человек становится, смотря по предприимчивости характера, на четверть, наполовину либо на три четверти заговорщиком; он не властен в своей судьбе; обстоятельства породили больше предателей, чем убеждения.

КНИГА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

1. Начало Ста дней. — Возвращение с Эльбы

Внезапно телеграф известил храбрецов и маловеров о высадке героя: Monsieur бросился в Лион вместе с герцогом Орлеанским и маршалом Макдональдом и вскоре возвратился. Маршал Султ, разоблаченный в Палате депутатов, 11 марта был заменен герцогом де Фельтром. Военным министром Людовика XVIII, вступившим в борьбу с Бонапартом в 1815 году, стал тот самый генерал, который был последним военным министром императора в 1814 году.

Шаг, предпринятый Наполеоном, был неслыханно дерзким. С политической точки зрения его следует рассматривать как непростительное преступление и грубейшую ошибку Наполеона. Император знал, что ни монархи, еще не покинувшие Вену *, ни Европа, еще остающаяся под ружьем, не потерпят его восстановления на престоле: здравый смысл должен был подсказать ему, что даже в случае победы успех его будет кратковремен: своему желанию вновь явиться на сцене он принес в жертву покой народа, не жалевшего для него ни крови, ни денег; он отдал на растерзание отечество, которому был обязан всем своим прошлым и всем своим будущим. Его фантастический замысел был проникнут яростным эгоизмом, страшным отсутствием благодарности и великодушия по отношению к Франции.

Все это верно, если судить с точки зрения практической, слушаясь не разума, а нутра, но существа, подобные Наполеону, руководствуются иными соображениями; эти прославленные создания идут особой дорогой: кометы описывают кривые, не поддающиеся вычислению; они ни с чем не связаны, на первый взгляд ни к чему не пригодны; если им встречается планета, они губят ее и исчезают в небесной бездне; законы их существования ведомы одному лишь Господу. Необыкновенные личности делают честь человеческому уму, но не определяют правил его бытия.

Итак, Бонапарта подтолкнули к решительным действиям не столько ложные сообщения друзей, сколько настояния его собственного гения: он начал крестовый поход за свою веру в самого себя. Великому человеку недостаточно родиться, надобно еще и умереть. Разве остров Эльба — достойная могила для Наполеона? Мог ли он согласиться единодержавно править одной-единственной башней, как Тиберий на Капри, или одной-единственной огородной грядкой, как Диоклетиан в Салоне *? Разве стоило ему медлить, дожидаясь, чтобы память о нем сделалась уже не так свежа, чтобы старые солдаты ушли на покой, а общество зажило по новым законам?

Что ж! он дерзнул сразиться с целым миром: поначалу ему, должно быть, показалось, что он не ошибся в расчетах.

В ночь с 25 на 26 февраля, после бала, царицей которого была принцесса Боргезе, ему удается бежать; удача, его старинная подруга и сообщница, сопутствует ему; он пересекает море, кишущее нашими кораблями, встречает два судна: семидесятичетырехпушечный фрегат и военный бриг «Зефир», который подходит к его кораблю; капитан осведомляется о пути следования встречного судна, и Бонапарт сам отвечает на вопросы; море и волны отдают ему честь, и он продолжает свой путь. Верхняя палуба его маленького суденышка под названием «Непостоянный» служит ему прогулочной площадкой и рабочим кабинетом; здесь, открытый всем ветрам, он диктует три обращения к армии и Франции; их записывают тут же, на шатком столе; флагман сопровождают несколько фелук под белым звездным флагом — на них плывут дерзкие сподвижники беглеца. Первого марта в три часа утра он достигает французского берега в заливе Жуан, между Канном и Антибом: он сходит на сушу, гуляет по взморью, рвет фиалки и располагается на ночлег посреди оливковой плантации. Изумленные местные жители разбегаются. Он минует Антиб, через горы, окружающие Грас, направляется к Серанону, проходит Баррем, Динь и Гап. В Систероне двадцати человек достало бы, чтобы его захватить, но никто и не пытался это сделать. Он беспрепятственно продвигается по земле, населенной теми самыми людьми, что всего несколько месяцев назад готовы были растерзать его. Солдаты, раз оказавшись втянуты в пустоту, окружающую этот громадный призрак, не могут сопротивляться притягательной силе его орлов. Завороженные противники ищут его и не находят, он прячется в тени своей славы, как лев в пустыне Сахара прячется под лучами солнца, дабы ослепленные охотники не заметили его. Кровавые тени сражений при Арколе, Маренго, Аустерлице, Иене, Фридланде, Эйлау, Москве, Лютцене, Бауцене огненным вихрем вьются вокруг него, в сопровождении миллионов мертвецов. На подступах к очередному городу из глубины этой огненной тучи раздается голос трубы, взмывает вверх трехцветная хоругвь — и ворота открываются. Когда во главе четырехсот тысяч пехотинцев и сотни тысяч кавалеристов Наполеон перешел Неман и двинулся покорять палаты москов-

ских царей, он не потрясал воображения так сильно, как в пору, когда, бежав из ссылки, швырнул оковы в лицо королям, в одиночестве проделал путь из Канна в Париж и спокойно расположился на ночлег в Тюильрийском дворце.

2. *Оцепенение монархического правительства <...> — Королевское заседание. — Прошение Правоведческой школы, поданное палате депутатов*

Чудом был побег одиночки, но не меньшим чудом, следствием первого, стало оцепенение, сковавшее королевскую власть; сердце государства остановилось, члены отнялись, и вся Франция застыла в неподвижности. В течение двадцати дней Бонапарт делал переход за переходом, орлы его летели от колокольни к колокольне *, и за все это время всесильное правительство, имеющее в своем распоряжении и деньги и людей, не нашло ни времени, ни возможности взорвать на дороге в двести лье один-единственный мост, срубить одно-единственное дерево и тем замедлить хоть на час движение человека, которому народ не оказывал сопротивления, но не оказывал и поддержки.

Эта беспомощность правительства тем более прискорбна, что в Париже умы кипели; несмотря на отступничество маршала Нея *, парижане были готовы на все.

⟨Шатобриан цитирует статью Б. Констана и приказ Сульта, направленные против Наполеона⟩

16 марта Людовик XVIII посетил заседание палаты депутатов; решалась судьба Франции и всего мира. Когда Его Величество вошел, депутаты и зрители на трибунах обнажили головы и встали; приветственные возгласы потрясли стены зала. Людовик XVIII медленно приблизился к трону, принцы, маршалы и командиры гвардии выстроились по обеим сторонам. Крики смолкли, все стихло; в эту минуту присутствующие, казалось, различали вдалеке шаги Наполеона. Его Величество, усевшись, обвел глазами собрание и твердым голосом произнес следующую речь:

«Господа,

В эти тревожные минуты, когда враг проник на территорию моего королевства и угрожает его свободе, я пришел к вам, дабы сделать еще прочнее те узы, что, связуя вас со мною, составляют силу государства; обращаясь к вам, я хочу открыть свои чувства и желания всей Франции.

Я возвратился на родину, я примирил ее с иностранными державами, которые, не сомневайтесь, останутся верными договору, вернувшему нас к мирной жизни; я ревновал о счастье своего народа; ежедневно я получал и получаю по сию пору трогательнейшие доказательства его любви; мне шестьдесят лет — могу ли я достойнее закончить свою жизнь, чем пожертвовав ею во имя своих соотечественников?

Итак, я боюсь не за себя, но за Францию: тот, кто желает разжечь в ее пределах гражданскую войну, отдает ее на растерзание чужестранцам; он желает вновь обречь свою родину на существование под его железной пятой, наконец, он желает уничтожить ту конституционную хартию, которую даровал вам я, хартию, долженствующую прославить меня в глазах потомков, хартию, которой дорожат все французы и которую я клянусь чтить: сплотимся же вокруг нее».

Король еще не кончил говорить, когда купол здания внезапно закрыло облако и в зале стемнело; все устремили взгляды вверх, пытаясь отыскать причину затмения. Когда король-законодатель кончил говорить, крики: «Да здравствует король!» — раздались вновь, на сей раз вперемешку с рыданиями. «Все члены собрания, — справедливо заметил «Монитор», — возбужденные величественными речами короля, стоя протягивали руки к трону. Из всех уст вырывались одни и те же слова: «Да здравствует король! Умрем за короля! С королем навеки!» — исполненные жара, снедающего сердца всех французов».

В самом деле, зрелище было трогательное: старый, немощный король, этот патриарх монархов, который даровал Франции, истребившей его родных и на двадцать три года изгнавшей его из своих пределов, мир и свободу, забыв все оскорбления и невзгоды, явился к посланцам своей нации, дабы заверить их, что теперь, когда он возвратился на родину, смерть за народ кажется ему самым достойным финалом его жизни! Принцы поклялись в верности хартии; последними эти запоздалые клятвы принесли принц де Конде с отцом герцога Энгийенского. Члены этого героического рода, которому суждено было скоро угаснуть, этого рода патрициев-воинов, надевавшихся, что свобода защитит его от более молодого, сильного и жестокого воина-плебей, вызывали в памяти множество воспоминаний и пробуждали бесконечную печаль.

Сделавшись известной, речь Людовика XVIII вызвала невообразимый восторг. Большинство парижан были в ту пору убежденными роялистами и остались такими в течение ста дней. Особенно горячо ратовали за Бурбонов дамы.

Ныне молодежь поклоняется Бонапарту, потому что ей унижительна та роль, которую играет Франция в Европе по вине нынешнего правительства; в 1814 году молодежь приветствовала Реставрацию, потому что видела в ней средство покончить с деспотизмом и возвеличить свободу. В то время в число волонтеров, готовых сражаться за королевскую власть, входили господин Одилон Барро, большинство учащихся Медицинской школы и Правоведческая школа в полном составе; 13 марта будущие правоведа прислали в палату депутатов следующее прошение:

«Господа,

Король и отечество могут располагать нами; Правоведческая школа в полном составе готова выступить в поход. Мы не оставим ни нашего монарха, ни нашу конституцию. Мы просим у вас оружия — так велит нам французская честь. Любовь наша к Людовику XVIII — порука нашей беспредельной преданности. Мы не желаем жить под ярмом, нам потребна свобода. Мы получили ее, ее хотят у нас отнять: мы будем биться за нее до последней капли крови. Да здравствует король! Да здравствует конституция!»

Письмо это, написанное языком энергическим, естественным и прямым, исполнено юношеского великодушия и любви к свободе. Те, кто нынче пытаются уверить нас, будто французы приняли Реставрацию с отвращением и мукой, — либо честолюбцы, для которых отечество — всего лишь ставка в игре, либо юноши, не испытавшие на себе Бонапартова гнета, либо старые луны, революционеры, обратившиеся в имперскую веру, которые наравне со всеми прочими рукоплескали возвращению Бурбонов, а теперь, по своему обыкновению, оскорбляют поверженную власть и с радостью берутся за свои любимые дела — убийства, сыск и угодничанье.

3. План защиты Парижа

Речь короля вселила в мое сердце надежду. Мы держали совет у председателя палаты депутатов, господина Лене. Я познакомился там с господином де Лафайетом: прежде я видел его лишь издали; то было очень давно, во времена Законодательного собрания. Предложения высказывались самые разнообразные и, как это нередко случается в минуту опасности, никуда не годные: одни утверждали, что королю следует покинуть Париж и отправиться в Гавр; другие намеревались увезти его в Вандею; кто-то лепетал фразы, лишённые смысла, кто-то утверждал, что нужно обождать и посмотреть, что будет: меж тем относительно того, что будет, никаких сомнений не оставалось. Я высказал иную точку зрения, и — странная вещь! — господин де Лафайет поддержал меня, поддержал горячо⁷. Господин Лене и маршал Мармон также согласились со мною. Вот что я сказал:

«Король должен сдержать слово и остаться в столице. Национальная гвардия за нас. Укрепим Венсеннский замок. У нас есть оружие и деньги, а раз у нас есть деньги, жадные и слабые духом будут на нашей стороне. Если король покинет Париж, его займет Бонапарт, а завладев Парижем, Бонапарт

⁷ В своих посмертно опубликованных записках, содержащих множество драгоценных подробностей, господин де Лафайет подтверждает это удивительное совпадение наших мнений в пору возвращения Бонапарта *. Господин де Лафайет искренне любил честь и свободу (Париж, 1840).

станет хозяином Франции. Армия перешла на сторону противника не полностью; некоторые полки, многие генералы и офицеры еще не нарушили присягу; будем тверды, и они не изменят. Королевской семье следует покинуть столицу; нам нужен только король. Пусть граф д'Артуа отправится в Гавр, герцог Беррийский — в Лилль, герцог де Бурбон в Вандею, герцог Орлеанский — в Мец; госпожа герцогиня и господин герцог Ангулемские уже отбыли на юг. Держа оборону в разных местах, мы помешаем Бонапарту сосредоточить свои силы. Превратим Париж в неприступную крепость. Национальные гвардейцы соседних департаментов уже идут нам на помощь. Благодаря всем этим мерам наш старый монарх, хранимый завещанием Людовика XVI и Хартией, спокойно пребудет на своем троне в Тюильри; дипломатический корпус обоснуется там же; обе палаты будут заседать во флигелях замка; придворный королевский штат разместится на площади Карусель и в саду Тюильри. Мы расставим пушки на набережных и в долине реки: пусть Бонапарт попробует одолеть нас, пусть атакует одну за другой наши баррикады, пусть обстреливает Париж, если хочет и если имеет мортиры, пусть сделается ненавистным всем жителям города — а там посмотрим! Достаточно нам продержаться три дня — и победа будет за нами. Король, обороняющийся в своем дворце, воспламенит все сердца. В конце концов, даже если королю суждено погибнуть, пусть гибель эта будет достойной его сана; пусть последним подвигом Наполеона станет убийство старца. Пожертвовав жизнью, Людовик XVIII выиграет свое единственное сражение и добудет роду человеческому свободу».

Таково было мое мнение: никто не имеет права утверждать, что все потеряно, ничего не предприняв. Можно ли вообразить нечто более прекрасное, чем престарелый потомок Святого Людовика, вместе со своим народом молниеносно поражающий человека, которого столько лет не могли одолеть все короли Европы?

Это решение, на первый взгляд безрассудное, было, по существу, весьма разумным и не сулило ни малейшей опасности. Я был и во всякое время буду убежден, что, зная Бонапарт о готовности парижан к сопротивлению и о присутствии в столице короля, он не посмел бы пойти на приступ. У него не было ни артиллерии, ни продовольствия, ни денег, войско его состояло из людей случайных, нетвердых в своем решении, изумленных внезапной переменой кокарды и скороспелой присягой, данной на обочине большой дороги: они быстро разбежались бы. Несколько часов промедления погубили бы Наполеона; стоило лишь проявить немного мужества. Больше того, можно было рассчитывать даже на поддержку части армии; два швейцарских полка остались верны королю; разве по приказу маршала Гувьона Сен-Сира орлеанский гарнизон не надел вновь белую кокарду через два дня после вступления Бонапарта в Париж? От Марселя до Бордо войска поголовно подчинялись королю в течение всего марта: в Бордо солдаты колебались, но не изменили бы

герцогине Ангулемской, если бы знали, что король в Париже, а Париж держит оборону. Провинция последовала бы примеру столицы. Десятый пехотный полк под командованием герцога Ангулемского сражался безупречно; Массена не знал, чью сторону принять; в Лилле гарнизон вял горячему призыву маршала Мортье. Если все это происходило несмотря на бегство короля, насколько больше сохранилось бы у него верных слуг, останься он в Тюильри?

Если бы мой план был принят, чужестранцы не вторглись бы вновь во Францию; нашим принцам не пришлось бы входить в свою страну с войсками противника; законная монархия спасла бы себя сама. Единственное, чего можно было бы опасаться в случае успеха, — это излишней уверенности королевской власти в собственных силах и, следовательно, ущемления прав народа.

Отчего я родился в эпоху, во мне не нуждающуюся? Отчего наперекор своему инстинкту оставался роялистом в эпоху, когда жалкое племя придворных не могло ни услышать, ни понять меня? Отчего принужден был иметь дело с толпой посредственностей, принимавших меня за безумца, когда я толковал им о мужестве, за революционера, когда я толковал о свободе?

Какая уж тут оборона! Король не трусил, план мой, в котором он усмотрел некое величие на манер Людовика XIV, пришелся ему по душе, но у остальных физиономии вытянулись. Они уже упаковывали королевские брильянты (приобретенные некогда на собственные средства монархов), оставляя меж тем в казне тридцать три миллиона экю наличными и сорок два миллиона в ценных бумагах. Эти семьдесят миллионов были собраны податными инспекторами; не лучше ли было бы вернуть их народу, чем дарить тирану?

По лестницам флигеля Флоры * тек вверх и вниз нескончаемый людской поток; подданные спрашивали, как поступить, — ответа не было. Они обращались к командирам гвардии, адресовались к капелланам, певчим, духовникам — никакого толка. Пустая болтовня, пустые прожекты, пустой обмен слухами. Я видел юношей, которые плакали от досады, не в силах добиться приказов и оружия; я видел женщин, которые лишались чувств от гнева и презрения *. Пробриться к королю было невозможно — не позволял этикет.

Великой мерой, измышленной против Бонапарта, явился приказ *гнать* врага *; обезноживший Людовик XVIII *гонит* завоевателя, покорившего полмира! Старинное выражение, вспомнутое в этом случае, превосходно свидетельствует об умонаправлении тогдашних государственных деятелей. *Гнать* врага в 1815 году! *Гнать!* и кого же? волка? предводителя разбойников? вероломного сеньора? Нет: Наполеона, который не единожды *гнал* королей, захватывал их в плен и навеки метил их плечи своим несмываемым клеймом!

Присмотревшись к этому приказу повнимательнее, можно было постичь политическую истину, оставшуюся в ту пору незамеченной: законная монархия, проведшая двадцать три года вдали от своего народа, пребывала на том

же месте и в том же положении, в каком застигла ее революция, народ же успел уйти далеко вперед и в пространстве, и во времени. Отсюда невозможность взаимопонимания и единения; религия, идеи, интересы, язык, земля и небо — все разделяло народ и короля; они одолели разные участки пути — меж ними пролегла четверть века, стоящая нескольких столетий.

Но если приказ *знать* врага звучал странно из-за своего старинного языка, то много ли удачнее действовал Бонапарт, говоривший языком новых времен? Что бы ни утверждало официальное заявление, которое власти принуждены были поместить в «Монитере», из бумаг господина д'Отрива, описанных господином д'Арго, явствует, что Наполеона с большим трудом удалось удержать от расстрела герцога Ангулемского: императору не нравилось, что принц оказывает ему сопротивление *. А между тем, покидая Фонтенбло, император наказал солдатам *хранить верность* монарху, избранному Францией. Разве, намереваясь вновь поднять руку на французского принца, Наполеон не покушался разом и на возрожденную власть Бурбонов, и на народные свободы? Как! неужели ему недоставало крови герцога Энгиенского? Никто не тронул семейство Бонапартов: королеве Гортензии Людовик XVIII даровал титул герцогини де Сен-Ле; Каролина по-прежнему правила Неаполитанским королевством, проданным стараниями господина де Талейрана лишь на Венском конгрессе *.

То было унылое время всеобщего лицемерия: каждый прикрывался своими убеждениями в надежде пережить нынешний день и поменять взгляды, лишь только переменятся обстоятельства; искренними были одни юноши — по молодости лет. Бонапарт торжественно заявляет, что отказывается от короны; он уезжает, а девять месяцев спустя возвращается. Бенжамен Констан страстно обличает тирана, а назавтра переходит на его сторону. Позже, в другой части моих «Записок», я расскажу о том, кто внушил ему этот благородный порыв, которому он изменил из-за непостоянства своей природы *. Маршал Султ поднимает войска на борьбу с их прежним главнокомандующим; через несколько дней он хохочет в голос над своей прокламацией вместе с Наполеоном; воцарившимся в Тюильри, и в чине генерал-майора сражается на стороне императора при Ватерлоо; маршал Ней целует руки королю, клянется привезти ему Бонапарта в железной клетке и переходит на сторону бывшего императора вместе со всеми подчиненными ему войсками. Увы! а король Франции?.. Он объявляет, что смерть за народ послужит самым достойным финалом его шестидесятилетней жизни... и эмигрирует в Гент! Видя это отсутствие правды в чувствах, это расхождение между словами и делами, начинаешь презирать весь род человеческий.

Прежде 20 марта Людовик XVIII клялся, что умрет на французской земле; сдержи он свое слово, законная монархия царствовала бы во Франции еще столетие; сама природа, казалось, препятствовала старому королю спастись бегством, сковывая его спасительной немощью, но Провидение судило иначе

и не позволило творцу Хартии выполнить обещанное. На помощь Провидению пришел Бонапарт; этот адский Христос взял за руку нового паралитика и сказал ему: «Встань, возьми постель твою и иди. Surge, tolle lectum tuum» *.

4. Бегство короля.— Мы с госпожой де Шатобриан уезжаем.— Дорожные затруднения.— Герцог Орлеанский и принц де Конде.— Турне, Брюссель.— Воспоминания.— Герцог де Ришелье.— Король, остановившийся в Генте, призывает меня к себе

Было очевидно, что обитатели дворца намерены удариться в бега: боясь, как бы их не стали удерживать, они не уведомили о своем отъезде даже людей вроде меня, которых расстреляли бы через час после вступления Наполеона в Париж. Я встретил на Елисейских полях герцога де Ришелье. «Нас обманывают,— сказал он,— я стою в карауле здесь, ибо не желаю дожидаться появления императора в обезлюдевшем дворце».

Вечером 19 марта госпожа де Шатобриан отправила одного из слуг на площадь Карузель, приказав ему не возвращаться, пока он не узнает наверное об отъезде короля. В полночь слуга не вернулся, и я отправился спать. Не успел я лечь, как появился господин Клозель де Куссерг. Он сообщил нам, что Его Величество отбыл из Парижа и направляется в Лиаль. Господина Клозеля де Куссерга послал ко мне с этой вестью канцлер *; понимая, какой опасности я подвергаюсь, он выдал мне государственную тайну и вдобавок прислал двенадцать тысяч франков в счет моего будущего жалования посланника. Я упорно не желал покидать Париж, не удостоверившись окончательно в том, что король уехал. Посланный на разведку слуга возвратился: он видел вереницу придворных карет. Госпожа де Шатобриан втокнула меня в свою карету, и 20 марта в 4 часа утра мы двинулись в путь. Я был вне себя от ярости и плохо понимал, что я делаю и куда направляюсь.

Мы выехали из города через заставу Сен-Мартен. На заре я увидел ворон, которые, проведя ночь в ветвях придорожных вязов, мирно слетали на поля, намереваясь позавтракать и нимало не заботясь ни о Людовике XVIII, ни о Наполеоне: им не было нужды покидать родину, а крылья позволяли им перенестись куда угодно, не страдая от скверной дороги. Старые комбургские друзья! мы больше походили друг на друга в ту пору, когда лакомились тутовыми ягодами среди бретонских скал!

Дорога была вся в рытвинах, лил дождь, госпожа де Шатобриан жестоко страдала и поминутно смотрела на заднее окошко, нет ли за нами погони. Мы заночевали в Амьене, где родился дю Канж, а вечером следующего дня — в Аррасе, родном городе Робеспьера: здесь меня узнали. Утром 22 марта, в ответ на просьбу дать лошадей, почтмейстер сказал, что они оставлены для

генерала, который спешит в Лилль с вестью о *триумфальном вступлении в Париж его величества императора*; госпожа де Шатобриан умирала от страха — не за себя, а за меня. Я сам пошел на станцию и, заплатив побольше, уладил дело.

23 марта в два часа ночи мы подъехали к лилльской заставе и обнаружили, что ворота заперты и страже велено никого не впускать. Нам не смогли или не пожелали сказать, в городе ли король. Посулив кучеру несколько луидоров, я велел ему обогнуть городские стены и отвезти нас в Турне; однажды ночью, в 1792 году, я проделал этот путь пешком вместе с братом. В Турне я выяснил наверное, что Людовик XVIII находится в Лилле вместе с маршалом Мортье и готовится к обороне. Желая получить разрешение на въезд в город, я послал нарочного к господину де Блакасу. Гонец привез мне дозволение коменданта, но ни единой строки от господина де Блакаса. Оставив госпожу де Шатобриан в Турне, я уже собирался отправиться в Лилль, когда увидел карету принца де Конде. От принца мы узнали, что король уже уехал и что маршал Мортье проводил его до границы. Выходило, что письмо мое попало в Лилль, когда короля там уже не было.

Вслед за принцем де Конде в Турне объявился герцог Орлеанский. С виду весьма недовольный, в душе он был очень рад, что вышел сухим из воды; слова его и поступки отличала обычная для него двусмысленность. Что до старого принца де Конде, эмиграция была его богом Ларом. Он ничуть не боялся господина де Бонапарта; если угодно, он мог драться, если угодно, мог и уехать; мысли его немного путались; он не знал толком, остановится ли он в Рокруа, чтобы дать бой *, или отправится обедать в «Большом олене». Он снялся с места за несколько часов до нас, поручив мне сообщить его домочадцам, которых он обогнал, что на здешнем постоялом дворе подают прекрасный кофе. Он не знал, что я подал в отставку из-за гибели его внука; он не слишком твердо помнил, был ли у него внук; он чувствовал только одно: имя его овеяно славой, и славой этой он, возможно, обязан кому-то из рода Конде — но кому именно, вспомнить уже не мог.

Помните ли вы, как я впервые оказался в Турне вместе с братом, впервые направляясь в изгнание? Помните ли вы о человеке, обратившемся в осла, о девушке, у которой из ушей росли хлебные колосья, о стаях ворон, сеявших повсюду огонь *? В 1815 году мы сами уподобились стае ворон, но огня мы не сеяли. Увы! моего несчастного брата уже не было со мной. Прошло двадцать три года; отжили свой век Республика и Империя: а сколько переворотов в моей судьбе! Время не пощадило и меня. А вы, нынешние юноши, расскажите двадцать три года спустя над моей могилой, что случилось с вашими сегодняшними привязанностями и обольщениями.

В Турне приборами два брата Бертена: господин Бертен де Во вскоре возвратился в Париж; другой Бертен, Бертен-старший, был мне другом. Из моих «Записок» вы знаете, что нас связывало *.

Из Турне мы двинулись в Брюссель: я не нашел там ни барона де Бретея, ни Ривароля, ни молодых адъютантов — все они умерли или, что немногим лучше, состарились. О парикмахере, давшем мне приют, ни слуху ни духу. Я променял мушкет на перо; из солдата я превратился в бумагомарателя. Я пытался отыскать Людовика XVIII; он был в Генте, куда доставили его господи де Блакас и де Дюрас: вначале они намеревались переправить его в Англию. Согласись король на этот проект, ему уже никогда не удалось бы возвратить себе французскую корону.

В поисках пристанища я зашел в одну из гостиниц и разглядел в глубине темной комнаты герцога де Ришелье: он курил, полулежа на софе. Он отозвался о принцах с нескрываемой ненавистью и объявил, что не желает больше слышать об этих людях и уезжает в Россию *. Госпожа герцогиня де Дюрас тоже прибыла в Брюссель; она имела несчастье потерять здесь племянницу *.

Столица Брабанта мне отвратительна; я всегда попадал в нее не иначе как по пути в изгнание; она неизменно приносила несчастье либо мне, либо моим друзьям.

Король призвал меня в Гент. Королевские волонтеры и крохотная армия герцога Беррийского были распущены; они трогательно простились друг с другом в Бетюне, посреди распутицы и разгрома. Двести человек из придворного королевского штата остались в Бельгии и разместились в Алсте; в их число входили и мои племянники Луи и Кристиан де Шатобрианы.

5. *СТО ДНЕЙ В ГЕНТЕ: Король и его совет.— Я становлюсь министром внутренних дел par interim* ⁸.— *Господин де Лалли-Толендаль.— Госпожа герцогиня де Дюрас <...>*

〈Шатобриан ищет жилье в Генте〉

Король, превосходно устроившись на новом месте со всею своею челядью и охраной, созвал совет. Все владения этого великого монарха ограничивались одним-единственным домом на территории Нидерландского королевства, причем стоял этот дом в городе, который, хоть и является родиной Карла V, был еще недавно столицей департамента в империи Бонапарта: за этими именами скрыто немало событий, между ними пролегло немало столетий.

Поскольку аббат де Монтеस्कью был в Лондоне, Людовик XVIII временно назначил меня министром внутренних дел. Переписка с департаментами не слишком затрудняла меня; я с легкостью отписывал послания префектам, супрефектам, мэрам и помощникам мэров наших добрых городов, расположенных внутри наших границ; я не занимался починкой дорог и не укреплял

⁸ Временно (лат.).

колоколен; бюджет мой не позволял разбогатеть; я не располагал тайными фондами, но грешил непростительным злоупотреблением — *совмещением* двух должностей: ведь я до сих пор числился полномочным посланником Его Величества при шведском короле, который, подобно его земляку Генриху IV, царствовал если не по праву рождения, то по праву завоевания *. Совет наш заседал в кабинете короля, вокруг стола, покрытого зеленым сукном. Господин де Лалли-Толендаль, который, сколько я помню, занимал пост министра просвещения, произносил речи еще более пышные и обширные, чем его собственные формы: он ссылался на своих прославленных предков — королей Ирландии — и смешивал в одну кучу суды над своим отцом *, Карлом I и Людовиком XVI. По вечерам он забывал о слезах, поте и словах, излитых на заседании совета, в обществе прекрасной дамы *, которую привело в Гент исключительно преклонение перед его гением; он добросовестно пытался излечить ее от этой пагубной страсти, но красноречие его пересиливало добродетель и жало вонзалось еще глубже.

Госпожа герцогиня де Дюрас разделила с супругом тяготы изгнания. Не мне сетовать на судьбу, ибо она позволила мне провести три месяца в обществе этой замечательной женщины, с которой мы беседовали обо всем, что может привлечь внимание людей прямодушных и искренних, объединенных общими вкусами, идеями, убеждениями и чувствами. Госпожа де Дюрас мечтала пробудить мое честолюбие: она одна сразу поняла, чего я стою в политике; ее неизменно приводили в отчаяние слепцы и завистники, препятствовавшие моему сближению с королем, но еще сильнее огорчал ее мой характер, служивший помехой моей карьере; она бранила меня, она мечтала излечить меня от беззаботности, прямоты, простодушия и научить повадкам царедворца, которые сама терпеть не могла. Ничто, быть может, не внушает такой благодарной привязанности, как дружеское покровительство существа выдающегося, которое использует свое влияние в обществе, дабы выдать ваши недостатки за достоинства, несовершенства за чары. Милостями мужчины вы обязаны его добродетелям, милостями женщины — вашим собственным; вот почему первые отвратительны, а вторые — сладостны.

С тех пор как я имел несчастье потерять это великодушное создание, это благородное сердце, этот ум, в котором сила мысли госпожи де Сталь соединялась с очарованием таланта госпожи де Лафайет, я не перестаю корить себя за превратности моего характера, огорчавшие иной раз моих преданных друзей. Как важно уметь обуздывать себя! Как важно помнить, что самое глубокое чувство нередко не мешает нам отравлять жизнь того существа, за которое мы охотно умерли бы. Как искупить свою вину, если друзья уже в могиле? Разве могут наши бесцельные сожаления и пустое раскаяние смягчить причиненную некогда боль? Улыбка при жизни доставила бы нашим друзьям гораздо больше радости, чем все наши слезы после их смерти *.

Прелестная Клара (госпожа герцогиня де Розан) жила в Генте вместе с матерью. Мы распевали с нею дурацкие куплеты на мотив *тифольской песни*. Я держал на коленях немало очаровательных девочек, которые нынче уже стали молодыми бабушками. Побывайте на свадьбе шестнадцатилетней барышни и возвратитесь через шестнадцать лет — вы найдете, что она ничуть не состарилась. «О сударыня, вы совсем не изменились!» Разумеется: только говорите вы это ее дочери, и вот уже эту дочь на ваших глазах ведут к алтарю. Однако для вас, печального очевидца двух свадебных церемоний, шестнадцать лет не проходят даром: этот свадебный подарок приближает срок вашего собственного венчания с худощавой дамой в белом.

〈Описание эмигрантской жизни в Генте〉

6. ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА О СТА ДНЯХ В ГЕНТЕ: «Гентский монитёр». — *Мой доклад королю: впечатление, произведенное им в Париже.* — Подделка

В Генте начал выходить «Монитёр»: мой доклад королю от 12 мая, напечатанный в этой газете, доказывает, что взгляды мои касательно свободы печати и чужеземного господства не менялись. Я и сегодня могу привести выдержки из этого доклада; они нимало не противоречат моей жизни:

«Ваше Величество, вы готовились довершить создание установлений, вами же задуманных... Вы назначили срок для введения наследственного пэрства; в намерения ваши входило придать большее единство министерству; сделать министров, в согласии с Хартией, членами обеих Палат; предложить закон, позволяющий избирать в Палату депутатов людей моложе сорока лет, дабы желающие могли посвятить всю свою жизнь политике. Оставалось принять закон, устанавливающий наказания для злонамеренных журналистов, а затем дать печати полную свободу, ибо свобода эта неотделима от представительного правления.

.

Ваше Величество, я пользуюсь случаем торжественно заверить вас: все ваши министры, все члены вашего совета свято блюдут основания мудрой свободы; вы вселяете в их сердца любовь к законам, порядку и справедливости, без которых не может быть счастлив ни один народ. Ваше Величество, да позволено будет сказать, что мы готовы отдать за вас всю нашу кровь до последней капли, готовы следовать за вами на край света, готовы разделить с вами все испытания, которые Всемогущему Господу будет угодно послать, ибо мы свято верим, что вы не нарушите конституцию, которую даровали своему народу, верим, что ваша королевская душа живет одним страстным желанием — возвратить французам свободу. Если бы дело обстояло иначе,

Ваше Величество, мы все равно отдали бы жизнь за вашу священную особу, но тогда мы были бы только вашими солдатами, а не советниками и министрами.

Ваше Величество, в этот миг мы разделяем вашу королевскую печаль: каждый из ваших советников и министров отдал бы жизнь, лишь бы помешать чужеземцам вторгнуться в пределы Франции. Ваше Величество, вы француз, мы тоже французы! Нам дорога честь родины, мы гордимся славой нашего оружия, восхищаемся отвагой наших солдат и желали бы сражаться бок о бок с ними и пролить кровь на поле брани, дабы напомнить им об их долге и разделить с ними законное торжество. Мы с глубочайшей скорбью видим, что на отечество наше готовы обрушиться величайшие несчастья».

Таким образом, в своем гентском докладе я предложил дополнить Хартию тем, чего ей недоставало, и выразил свое отчаяние в связи с грозившим Франции чужеземным нашествием: а между тем я был всего лишь изгнанником, и исполнение моих желаний отнюдь не приблизило бы мое возвращение домой. Я писал свой доклад во владениях союзных монархов, в окружении королей и эмигрантов, ненавидящих свободу печати, под топот солдат, уходящих покорять мое отечество, писал, находясь, можно сказать, в плену: эти обстоятельства, пожалуй, придадут больший вес выраженным мною чувствам.

Дойдя до Парижа, доклад мой вызвал большой шум; он был перепечатан господином Ленорманом-младшим, который рисковал жизнью, отважившись на этот поступок, и которому я с огромнейшим трудом исхлопотал никчемное звание королевского печатника. Бонапарт или его приближенные повели себя недостойным императора образом: с моим докладом обошлись так же, как с «Записками» Клери *, — обнародовали вырванные из разных мест куски, да и те исказили; выходило, будто я предлагаю Людовику XVIII суицидальные глупости, вроде восстановления феодальных прав, десятины и возвращения государственных имуществ *; разумеется, подлинный текст, напечатанный в «Гентском монитёре», номер и дата которого ни для кого не были секретом, опровергал все наветы, но противники мои не гнушались даже столь недолговечной ложью. Бесчестный памфлет был подписан псевдонимом, под которым скрылся военный довольно высокого звания: после Ста дней его разжаловали, и он приписал это своему обождению со мной; он подослал ко мне друзей с просьбой вступить за достойного человека, рискующего остаться без средств к существованию: я написал к военному министру и выхлопотал этому офицеру пенсию *. Он умер: жена его по сю пору привязана к госпоже де Шатобриан и полна признательности, которой я вовсе не заслужил. Иные поступки вызывают чересчур пылкие похвалы; на подобное великодушие способны особы самые заурядные. Обзавестись репутацией благодетельного человека можно очень недорогой ценой: велик не тот, кто прощает, но тот, кто не нуждается в прощении.

Не знаю, из чего Бонапарт на Святой Елене вывел, что в Генте я «оказал королю важные услуги»: пожалуй, он оценил мою роль чересчур высоко, но, как бы там ни было, из слов его явствует, что он признавал меня недюжинным политиком.

〈Жизнь в Генте〉

8. ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА О СТА ДНЯХ В ГЕНТЕ: Не-
привычное оживление в Генте.— Герцог Веллингтон.— Monsieur.—
Людовик XVIII

Нагрянувшие в Гент толпы чужеземцев ненадолго нарушили покой, царивший издавна в этом городе. На площадях и бульварах маршировали бельгийские и английские рекруты; канониры, поставщики, драгуны принимали артиллерийские обозы; быки и кони бились в воздухе, куда их, обвязанных подругами, спускали на землю; в город прибывали маркитантки с узлами, детьми и ружьями, доставшимися им от супругов; все эти толпы, сами не зная, отчего и зачем, спешили на великое и гибельное свидание, назначенное им Бонапартом. Политики, размахивая руками, беседовали на берегах канала, близ неподвижно застывших рыбаков, эмигранты сновали от короля к Monsieur и от Monsieur к королю. Канцлер Франции господин Дамбре, в зеленом камзоле и круглой шляпе, со старинным романом под мышкой шествовал на заседание Королевского совета вносить поправки в Хартию, герцог де Леви являлся при дворе в стоптанных домашних туфлях огромного размера, ибо, отважно сражаясь, этот новый Ахилл был ранен в пятку. Он блистал острым умом, свидетельство чему — сборник его мыслей.

Время от времени герцог Веллингтон устраивал войскам смотр. Людовик XVIII каждый день после обеда выезжал в запряженной шестерней карете и катался по улицам Гента, как дельвал и в Париже; при нем находились камер-юнкер и охрана. Если ему случалось встретить герцога Веллингтона, он легонько кивал ему с покровительственным видом.

Людовик XVIII никогда не забывал о своем наследственном превосходстве; он везде был королем, как Господь везде Господь, в яслях или в храме, на золотом алтаре или на алтаре из глины. Невзгоды не заставили его пойти ни на одну, даже самую крохотную уступку; чем сильнее унижала его судьба, тем выше он поднимал голову; царским венцом служило ему его имя; казалось, он говорил: «Вы можете убить меня, но вам не под силу убить столетия, стоящие за мной». Его не смущало то, что герб Бурбонов больше не украшает дверей Лувра — ведь герб этот по-прежнему оставался славен во всем мире. Разве посылал кто-нибудь комиссаров в разные концы земли, дабы истребить его? Разве забыли о нем Пондишери в Индии, Лима и Мехико в Америке, разве не

хранят его Восток — Антиохия, Иерусалим, Сен-Жан д'Акр, Каир, Константинополь, Родос и Морея — и Запад — городские стены Рима, потолки дворцов Казерты и Эскориала, регенсбургские и вестминстерские своды, гербовые щиты всех королей? Разве не венчает он даже стрелку компаса, знаменуя близкое торжество лилий во всех уголках земного шара *?

Убежденность в величии, древности, благородстве и достоинстве своего рода сообщала Людовику XVIII истинное могущество. Трудно было отрицать его главенство: даже генералы Бонапарта признавались, что этот немощный старец внушал им большую робость, чем страшный владыка, предводительствовавший в сотне сражений. Когда в Париже Людовик XVIII удостоивал монархов-победителей чести отобедать за его столом, ему и в голову не приходило пропустить вперед себя королей, чьи солдаты разбили лагерь во дворе Лувра; он обращался с ними как с вассалами, которые просто-напросто выполнили свой долг, предоставив своему сюзерену людей под ружьем. В Европе есть только одна королевская династия — французская, судьба всех остальных неразрывно связана с ее судьбой. Все монархии — однодневки по сравнению с родом Гуго Капета, почти все — его младшие ветви. Наши древние правители были старейшими королями мира: свержение Капетов открывает эру изгнания королей.

Чем менее уместно было это высокомерие потомка Святого Людовика (погубившее его наследников) в политическом отношении, тем сильнее льстило оно национальной гордости: французы с наслаждением следили за тем, как монархи, которые, проиграв войну, подчинялись одному-единственному человеку, выиграв ее, подчиняются древности рода.

Неколебимая вера Людовика XVIII в свое происхождение — вот та сила, что возвратила ему скипетр; именно она дважды венчала его голову короной, хотя Европа вовсе не для этого тратила человеческие жизни и деньги. Изгнанник без армии выиграл все сражения, в которых не принимал участия. Людовик XVIII являл собою воплощение суверенной власти; с его смертью она исчезла с лица земли.

⟨Гентские знакомства и круг общения Шатобриана⟩

*10. Флигель Марсана * в Генте.— Господин Гайяр, придворный королевский советник.— Тайный визит госпожи баронессы де Витроль.— Собственноручная записка графа д'Артуа.— Фуше*

В Генте был свой флигель Марсана. Ежедневно сюда доставлялись из Франции вести, рожденные корыстью или фантазией.

Наши ряды пополнил господин Гайяр, бывший ораторианец *, королевский советник, закадычный друг Фуше; его признали и свели с господином Капелем.

Когда я бывал у графа д'Артуа, что случалось нечасто, его приближенные, перемежая свою речь вздохами и уснащая ее намеками, толковали мне о человеке, который (надо отдать ему должное) ведет себя превосходно, который препятствует всем начинаниям императора, защищает Сен-Жерменское предместье и проч., и проч., и проч. Верный маршал Сульт также пользовался чрезвычайной любовью графа д'Артуа и слыл самым честным человеком во всей Франции после Фуше.

Однажды у ворот моего постоянного двора остановилась карета, из которой вышла госпожа баронесса де Витроль: она приехала по поручению герцога Отрантского. Уехала она, увозя с собою записку, написанную рукою Monsieur, в которой принц клялся спасителю господина де Витроля * в вечной признательности. Большого Фуше и не требовалось: обладая такой запиской, он мог не тревожиться за свою будущность в случае новой реставрации. С этой поры в Генте только и было разговоров, что о великих услугах, оказанных монархии превосходным господином Фуше из Нанта, и о невозможности возвратиться во Францию иначе, как стараниями этого праведника: вся сложность заключалась в том, чтобы вселить столь же страстную любовь к новому Искупителю монархии в сердце короля.

После Ста дней госпожа де Кюстин упростила меня отобедать у нее в обществе Фуше. Прежде я виделся с ним лишь однажды — пять лет назад, когда хлопотал за своего несчастного кузена Армана. Бывший министр знал, что я не раз — в Руа, Гонесе, Арнувиле — возражал против его назначения и, считая меня особой влиятельной, решил пойти на мировую. Смерть Людовика XVI — невиннейший из поступков, лежащих на совести Фуше; царубийство — далеко не худшее его деяние *. Болтливый, как и все революционеры, он так и сыпал общими фразами о *судьбе, необходимости и природе вещей*; эти философические бессмыслицы, трактующие о прогрессе и развитии общества, он чередовал с циническими максимами, славящими сильного и унижающими слабого, не упуская случая сделать бесстыдные признания насчет того, что победитель всегда прав, а голова, падающая с плеч, ничего не стоит, что благоденствующие не виновны ни в чем, а страдающие — во всем, и отзываясь о самых ужасных бедствиях с деланной легкостью и равнодушием гения, стоящего много выше подобных глупостей. Ни разу, о чем бы ни шла речь, не высказал он ни значительной мысли, ни тонкого наблюдения. Я пожал плечами и вышел, наскучив зрелищем порока.

Господин Фуше так и не простил мне сухого обхождения и равнодушия к его персоне. Он думал, что тесак роковой машины, которым он размахивал на моих глазах, ослепит меня, словно неопалимая купина; он воображал, что я приму за колосса того головореза, что сказал о лионской земле *: «Я разворочу эти поля; на развалинах этого гордого и мятежного города вырастут хижины, где охотно поселятся друзья равенства... Нам достанет деятельного

мужества вырыть заговорщикам обширную могилу... Пусть их окровавленные трупы, брошенные в Рону, вселят в обитателей обоих ее берегов вплоть до самого устья ощущение ужаса и веру во всемогущество народа... Мы отпразднуем победу при Тулоне: нынче вечером мы испечем двести пятьдесят мятежников».

Все эти отвратительные хлопушки не внушали мне ни малейшего почтения; я не считал, что господин *Найтский* * стал умнее и благороднее оттого, что растворил республиканские преступления в имперской грязи и, превратившись из санюлота в герцога, спрятал веревку с фонарного стола под ленточкой Почетного легиона. Якобинцы ненавидят людей, ни во что не ставящих их зверства и презирающих совершенные ими убийства; от этого страдает их гордость, подобная гордости непризнанных сочинителей.

11. НА ВЕНСКОМ КОНГРЕССЕ: Хлопоты посланца Фуше господина де Сен-Леона.— Предложения касательно герцога Орлеанского.— Господин де Талейран.— Недовольство Александра Людовиком XVIII.— Разные претенденты.— Доклад Ла Бернардьера.— Неожиданное предложение Александра: конгресс не принимает его благодаря лорду Кланкарти.— Господин де Талейран меняет курс: его депеша Людовику XVIII.— Декларация союзников, опубликованная франкфуртской официальной газетой с сокращениями.— Господин де Талейран желает, чтобы король возвратился во Францию с юго-востока.— Интриги князя Беневентского в Вене.— Его письмо ко мне

В то самое время, когда посланец Фуше господин Гайяр прибыл в Гент к брату Людовика XVI, его базельские агенты переговаривались с князем Меттернихом о короновании Наполеона II, а господин де Сен-Леон, доверенное лицо этого же самого Фуше, прибыл в Вену, дабы разведать насчет видов на корону господина герцога Орлеанского. Друзья Фуше столько же могли рассчитывать на него, сколько и его недруги: по возвращении законной династии на престол он не взял на себя труда вычеркнуть из списка изгнанников своего давнишнего собрата господина Тибодо *; не уступал герцогу Отрантскому и господин де Талейран, также решавший судьбу изгнанников, чьи имена находились в этом списке, исключительно по своему произволу. Даром, что ли, Сен-Жерменское предместье так верило господину Фуше?

Господин де Сен-Леон привез в Вену три записки, одна из которых была адресована господину де Талейрану: герцог Отрантский предлагал послу Людовика XVIII порадеть, при первом же удобном случае, сыну Филиппа Эгалите и возвести его на трон. Какая честность! Счастливы тот, кто имеет дело со столь порядочными людьми! А ведь мы любовались этими Картушами, льстили им, благословляли их, ездили к ним на поклон и звали их «ваша

светлость»! Вот исток нынешнего состояния страны. К тому же вслед за господином де Сен-Леоном идет господин де Монтрон.

Герцог Орлеанский не участвовал в заговоре, он лишь дал на него согласие; он позволил друзьям-революционерам плести интриги: милая компания! В этом темном лесу полномочный посол короля Франции внимал предложениям Фуше.

Рассказывая об аресте господина де Талейрана у заставы Анфер *, я уже упомянул, что князь Беневентский всей душой ратовал за регентство Марии-Луизы: обстоятельства вынудили его примириться с возможным возвращением Бурбонов, но ему по-прежнему было не по себе: он боялся, что в царствование наследников Людовика Святого женатый священник будет выглядеть не слишком привлекательно. Поэтому мысль заменить старшую ветвь младшей пришла ему по вкусу, тем более что с Пале-Руаялем * его связывали давние узы.

Избрав этот путь, он, не открываясь, впрочем, до конца, намекнул о проекте Фуше Александру. Царь охладел к Людовику XVIII: французский король слишком высокомерно подчеркивал в Париже превосходство своего рода; оскорбил он русского императора и отказом женить герцога Беррийского на его сестре *; великую княжну отвергли по трем причинам: она исповедовала православную веру, принадлежала к роду недостаточно древнему, вдобавок среди предков ее встречались душевнобольные; прямо этих причин никто не называл, но они подразумевались и были трижды обидны для Александра. Наконец, царя восстанавливал против короля-изгнанника и предполагаемый союз между Англией, Францией и Австрией. Вообще создавалось впечатление, будто все кругом только и знают, что делить наследство Людовика XIV: Бенжамен Констан отстаивал права госпожи Мюрат на Неаполитанский престол; шведский король Бернадот издали поглядывал на Версаль, по всей вероятности оттого, что родился в По.

Ла Бернардьер, начальник отдела в министерстве иностранных дел, перешел в распоряжение господина де Коленкура и немедленно состряпал донесение *о претензиях и жалобах, предъявляемых Францией законной монархии*. Не успел Ла Бернардьер выкинуть этот фортель, как господин де Талейран поспешил сообщить донесение Александру: памфлет Ла Бернардьера потряс раздражительного и непостоянного самодержца. Внезапно, ко всеобщему удивлению, он осведомился на одном из заседаний конгресса, не следует ли обдумать выгоды, которые могли бы проистечь для Франции и Европы из пребывания на французском престоле господина герцога Орлеанского. Пожалуй, это одна из самых удивительных историй того необыкновенного времени, удивительнее же всего, быть может, что о ней мало кто знает ⁹. Предложение русских было

⁹ В недавно вышедшей брошюре, именуемой «Письма чужестранца» и написанной, по всей видимости, опытным и хорошо осведомленным дипломатом, упомянуто это странное предложение, сделанное русским императором в Вене (Париж, 1840 год).

отвергнуто благодаря лорду Кланкарти: его милость заявил, что не уполномочен рассматривать столь важный вопрос. «Что же касается до собственного моего мнения,— сказал он,— я полагаю, что возвести на трон господина герцога Орлеанского означало бы заменить военную узурпацию узурпацией семейственной, более опасной для монархов, чем любая другая». Члены конгресса отправились обедать, заложив скипетром Святого Людовика стражицу своих протоколов.

Поскольку царь потерпел неудачу, господин де Талейран резко изменил курс: предвидя огласку, он донес Людовику XVIII (в депеше, которую я видел своими глазами: на ней стоял номер 25 или 27) о поразительном заседании конгресса¹⁰; он счел себя обязанным известить Его Величество о столь беспримерном обстоятельстве,— писал он,— ибо новость эта не замедлит достичь слуха короля: на редкость простодушное признание для господина де Талейрана.

На конгрессе обсуждался проект декларации союзников, имеющей целью заявить, что их единственный враг — Наполеон, что они не намерены навязывать Франции ни форму правления, ни монарха, оставляя право выбора за французами. Это последнее заявление не вошло в декларацию, но на него весьма прозрачно намекнула франкфуртская официальная газета. Англия всегда ведет дипломатические переговоры на либеральном языке, дабы угодить парламенту.

Очевидно, что при второй реставрации, как и при первой, союзники менее всего были озабочены восстановлением законной монархии: все решил случай. Какое дело было близоруким самодержцам до гибели старейшей из европейских монархий? Разве это помешало бы им давать балы и содержать гвардию? Нынче монархи так прочно сидят на троне, сжимая в одной руке земной шар, а в другой меч!

Господин де Талейран, чье благополучие зависело от исхода венских переговоров, опасался, как бы англичане, немало к нему охладевшие, не начали военные действия раньше других держав и не получили решающего голоса: поэтому он желал склонить короля возвратиться в Париж через юго-восточные провинции, находящиеся под контролем австрийцев. Герцог Веллингтон имел четкий приказ не вступать в бой первым; сражение при Ватерлоо произошло по воле Наполеона: судьбу не обманешь.

Эти любопытнейшие подробности истории мало кому известны; столь же неопределенны понятия о венских соглашениях касательно Франции: долгое время их жестокость приписывали исключительно коварству победителей—

¹⁰ Говорят, что в 1830 году господин де Талейран изъял из личного королевского архива свою переписку с Людовиком XVIII, так же как изъял он из архивов Бонапарта все написанное им, господином де Талейраном, касательно смерти герцога Энгиенского и испанских дел *. (Париж, 1840 год).

союзников, поклявшихся погубить нас; увы, всему виной рука француза: когда господин де Талейран не интриговал против родины, он продавал ее.

Пруссия желала заполучить Саксонию, которой рано или поздно суждено было стать ее добычей; Франции следовало бы поддержать это желание, ибо если бы Саксония получила в утешение районы, примыкающие к Рейну, то Ландау и прочие наши территории, вклинившиеся в чужие владения, остались бы при нас; Кобленц и другие крепости перешли бы в собственность небольшой дружественной державы, отделявшей нас от Пруссии; тени Фридриха Великого не удалось бы завладеть ключами от Франции. Запросив с Саксонии три миллиона, господин де Талейран воспротивился проектам берлинского кабинета; но, дабы получить у Александра согласие на существование старой Саксонии, наш посол вынужден был оставить царю Польшу, хотя другие державы предпочитали, чтобы Польша обрела некоторую самостоятельность и хоть немного сковывала действия царя на севере. Неаполитанские Бурбоны, подобно дрезденскому монарху *, откупились, заплатив немалые деньги. Господин де Талейран утверждал, что имеет право на вознаграждение за утраченное княжество Беневентское: предав хозяина, он торговал ливреей. Неужели в пору, когда Франция теряла так много, господин де Талейран не мог потерять какую-нибудь малость? Тем более что Беневентское княжество и не принадлежало обер-камергеру: в соответствии со вновь вошедшими в силу старинными соглашениями оно отошло к Папской области.

Пока в Вене заключались эти дипломатические сделки, мы влачили свои дни в Генте. Здесь я получил от господина де Талейрана следующее послание:

«Вена, 4 мая.

С великой радостью узнал я, сударь, что вы находитесь в Генте, ибо в нынешних обстоятельствах король нуждается в людях сильных и независимых.

Вы, бесспорно, уже размышляли о том, что полезно опровергнуть энергическими сочинениями новую доктрину, проповедуемую нынче официальной французской печатью.

Было бы очень кстати, если бы кто-то объявил печатно, что декларация союзников от 31 марта, отрешение от власти, отречение и договор от 11 апреля, явившийся его следствием, — не что иное, как предварительные, необходимые и достаточные условия договора от 30 мая *; иначе говоря, что без этих предварительных мер договор не был бы заключен. Очевидно, что всякий, кто нарушает вышеуказанные условия или способствует их нарушению, подрывает мир, дарованный этим договором, и, следовательно, вместе со своими сообщниками объявляет войну Европе.

Как внутри Франции, так и вне ее пределов рассмотрение этих вопросов в должном свете принесло бы немало добра; главное, вести разговор умно — посему возьмите это на себя.

Примите, сударь, уверения в моей искренней привязанности и глубоком уважении.

Талейран.

Надеюсь, что буду иметь честь увидеться с вами в конце месяца».

Наш представитель на Венском конгрессе остался верен своей ненависти к вырвавшемуся из царства теней величавому призраку; он боялся, как бы тот не хлестнул его крылом. Вообще же это письмо показывает, на что был способен господин де Талейран, когда писал самостоятельно: он снисходительно подсказывает мне тему, оставляя вариации на мое усмотрение. Как будто Наполеона можно было остановить дипломатической болтовней насчет отрешения от власти, отречения и договоров от 11 апреля и 30 мая! Я был весьма признателен за указания, данные мне как *сильному человеку*, но не последовал им: посол *in petto*¹¹, я в эту пору отошел от иностранных дел; меня больше занимали дела внутренние — недаром же я был министром *par interim*¹².

Что же тем временем происходило в Париже?

12. СТО ДНЕЙ В ПАРИЖЕ: Действие, произведенное на Францию жизнью при законной монархии.— Изумление Бонапарта.— Он вынужден капитулировать перед идеями, которые почитал уничтоженными.— Его новая система.— Три великих игрока.— Химеры либералов.— Клубы и федераты.— Ловкий трюк: Дополнительный акт вместо республики.— Созыв палаты представителей.— Бесплезное Майское поле

Я знакомлю вас с изнанкой событий, о которой история умалчивает; ее интересует только лицевая сторона. Преимущество мемуаров в том, что они показывают обе стороны ткани: в этом отношении они дают более полное понятие о роде человеческом, чередуя, подобно Шекспиру, низкие сцены с высокими. В мире повсюду хижина стоит рядом с дворцом, один человек плачет, когда другой смеется, старьевщик взваливает на плечи корзину, когда король теряет корону: какое дело было рабу, участвовавшему в битве при Арбеллах*, до поражения Дария?

Гент был не более чем гардеробной театра; главное представление давалось в Париже. В ту пору Европа еще могла похвастать прославленными историческими личностями. В 1800 году я начал свой путь одновременно с Александром и Наполеоном; отчего же я не выступал на этой великой сцене вместе с двумя замечательными актерами, моими современниками? Отчего

¹¹ В душе (*ит.*).

¹² Временный (*лат.*).

прозябал в Генте? Оттого, что все в руке Божьей. От гентских *малых Ста дней* перейдем к *великим Ста дням* парижским.

Я уже исчислил вам обстоятельства, понуждавшие Бонапарта оставаться на Эльбе, и обстоятельства первейшие, а точнее, требования природы, заставлявшие его покинуть место ссылки. Однако дорога из Канны в Париж истребила всю мощь прежнего Бонапарта: в столице счастье ему изменило.

Как ни мало продлилось царствование законного монарха, оно сделало невозможным возврат к правлению узурпатора. Деспотизм порабощает массы и дает некоторую свободу отдельным личностям; анархия раскрепощает массы и закабаляет личности. Поэтому, являясь на смену анархии, деспотизм притворяется свободой; сменяя же свободу, он предстает в истинном своем обличье: по сравнению с Директорией Бонапарт казался освободителем, по сравнению с Хартией предстал угнетателем. Он так ясно понимал это, что счел себя обязанным пойти дальше Людовика XVIII и вспомнить об истоках суверенитета нации. Он, по-хозяйски помыкавший народом, был вынужден вновь сделаться его трибуном, искать расположения черни, впадать в революционное детство, выдавливать из своих уст древние речи во славу свободы, кривившие его губы гримасой и переполнявшие сердце гневом.

Судьба Наполеона, как и его могущество, неотвратимо клонилась к закату, и в эти Сто дней узнать его было невозможно. Гений Наполеона был гением победы и порядка, но не поражения и свободы: а между тем победа предала его, а порядок поддерживался помимо его воли. С изумлением говорил он: «Подумать только, во что превратили Бурбоны Францию за несколько месяцев! Мне потребуются годы, чтобы возвратить ей прежний облик!» Завоеватель видел не плоды *законной монархии*, но *плоды Хартии*; он оставил Францию безгласной и униженной; теперь она подняла голову и обрела дар речи: в простоте своего беспредельного ума он принимал свободу за беспорядок.

Все же Бонапарту приходится капитулировать перед идеями, которые он не в силах одолеть мгновенно. За неимением подлинной популярности он платит по сорок су рабочим, которые под вечер являются на площадь Карузель горланить: «Да здравствует император!»; в народе это называлось *сходить на торги*. Воззвания правительства сулят прежде всего полное забвение прошлого и отпущение всех грехов; личности объявляются свободными, нация свободной, пресса свободной; обнаруживается, что император печется исключительно о покое, независимости и счастье народа, что вся организация империи изменена и вот-вот наступит золотой век. Дабы привести практику в соответствие с теорией, Францию делят на семь крупных областей, каждая со своим полицейским начальством; семеро лейтенантов получают такие же права, какими обладали наместники при Консульстве и Империи; известно, какую роль сыграли эти защитники личной свободы в Лионе, Бордо, Милане, Флоренции, Лиссабоне, Гамбурге, Амстердаме. Ступенькой

выше размещаются на этой иерархической лестнице, все больше и больше *благоприятствующей свободе*, чрезвычайные комиссары, подобные представителям народа при Конвенте.

Полиция, управляемая Фуше, торжественно оповещает весь свет о том, что отныне единственной ее целью станет насаждение философии, а единственным движителем ее действий — правила добродетели.

Специальным декретом Бонапарт возрождает национальную гвардию королевства, одно название которой прежде лишало его покоя. Он понимает, что вынужден вновь свести деспотизм и демагогию, враждовавших в эпоху Империи: плодом этого союза должна стать красующаяся на Майском поле * свобода в красном колпаке и тюрбане, с саблей мамелюка за поясом и революционной секирой в руке, свобода, окруженная многотысячными толпами призраков — тенями тех страдальцев, что погибли на эшафотах, под палящим солнцем Испании или в заснеженных русских степях. Алча победы, мамелюки становятся якобинцами; одержав ее, якобинцы превращаются в мамелюков: на случай опасности хороша Спарта, на случай триумфа — Константинополь.

Бонапарт охотно забрал бы всю власть себе одному, но это было невозможно; нашлись люди, готовые оспорить его первенство: во-первых, честные республиканцы, освободившиеся от цепей деспотизма и законов монархии и желавшие сохранить независимость, которой, быть может, вообще не существует в природе; во-вторых, бешеные монтаньяры, бывшие при Империи всего лишь шпионами на жалованье у деспота, а нынче решившиеся наконец вернуть себе те безграничные права, которые пятнадцать лет назад уступили своему хозяину.

Однако ни республиканцы, ни революционеры, ни прислужники Бонапарта не были достаточно сильны, чтобы править самостоятельно, одолев всех соперников. Снаружи им грозило нашествие, извне — общественное мнение; они поняли, что, не объединив усилий, непременно проиграют; перед лицом опасности они на время забыли свои распри: одни призвали на помощь свои теории и химеры, другие — свои зверства и пороки. Все участники этого сговора имели тайный умысел; все надеялись остаться с барышом, когда события примут нормальный оборот, все стремились заранее обеспечить свое главенство после победы. В этой чудовищной схватке три колоссальных игрока: свобода, анархия, деспотизм — по очереди держали банк, жульничая и стараясь выиграть партию, безнадежную для всех троих.

Озабоченные этой мыслью, они не обращали внимания на немногих заблудших овец, уповавших на революционные меры: меж тем в предместьях объявились федераты *, в Бретани, Анжу, Лионна и Бургундии они приносили суровые клятвы; там и сям слышалось пение «Марсельезы» и «Карманьоль»; в Париже действовал клуб, сообщавшийся с клубами провинциальными; поговаривали о возрождении «Газеты патриотов» *. Кому, однако, могли внушить

доверие воскресшие тени 1793 года? Разве неизвестно было, что понимают они под свободой, равенством и правами человека? Разве с той поры, когда они творили свои чудовищные деяния, они сделали нравственное, умнее, правдивее? Разве из того, что они запятнали себя всеми возможными пороками, следовало, что они способны явить миру все возможные добродетели? От преступления отречься труднее, чем от трона; чело, венчанное некогда отвратительной короной, вечно хранит ее неизгладимый след.

Мысль разжаловать гениального честолюбца из императоров в генералиссимусы или президенты республики была чистой химерой: в красных колпаках, украшавших его бюсты во время Ста дней, Бонапарт, должно быть, видел лишь прообраз монаршьего венца, — он забыл, что странствующим по миру атлетам не дано дважды побеждать на одном и том же ристалище.

Тем не менее неисправимые либералы надеялись на успех: люди увлекающиеся, вроде Бенжамена Констана, люди глупые, вроде господина Симонда-Сисмонди, намеревались отдать портфель министра внутренних дел принцу де Канино, портфель военного министра генералу графу Карно, портфель министра юстиции графу Мерлену. По видимости разбитый, Бонапарт не противился демократическому движению, которое, в конечном счете, поставляло рекрутов в его армию. Он позволял нападать на себя в памфлетах, карикатуры твердили ему: «Остров Эльба», как некогда попугаи кричали Людовику XI: «Перонна» *. Обращаясь запанибрата с беглецом, спасшимся из тюрьмы, ему толковали о свободе и равенстве; он с сокрушенным видом выслушивал эти рацеи. И вдруг, разорвав узы, которые, как мнилось окружающим, сковывали его, он собственной властью утверждает конституцию — не плебейскую, но аристократическую конституцию, именуемую *Дополнительным актом*.

Благодаря этому ловкому трюку он подставляет на место вождельной республики старое имперское правление, чуть подновив его феодальный порядок. *Дополнительный акт* ссорит Бонапарта с республиканцами и вызывает неудовольствие у представителей всех прочих партий. В Париже царит разврат, в провинциях анархия; военные и гражданские власти враждуют; тут толпа грозит спалить замки и зарезать священников, там поднимает белое знамя и кричит: «Да здравствует король!» Под этим напором Бонапарт отступает; он лишает своих чрезвычайных комиссаров права назначать мэров для коммун и передает это право народу. Устрашенный числом противников *Дополнительного акта*, он слагает с себя полномочия диктатора и, согласно этому самому акту, еще, впрочем, не утвержденному нацией, созывает палату представителей. Он ходит по острию ножа и, едва избежав одной опасности, сталкивается с другой: каким образом ему, монарху на час, учредить наследственное пэрство, отвергаемое духом равенства? Как справиться с двумя палатами? Станут ли они безмолвно повиноваться ему? Как увязать их деятельность с задуманным собранием на Майском поле, теперь уже лишившимся смысла,

ибо *Дополнительный акт* вошел в силу прежде всякого голосования? А вдруг тридцать тысяч выборщиков, приглашенных на Майское поле, сочтут, что могут предстательствовать за всю нацию?

Это собрание на Майском поле, столь пышно расписанное заранее и состоявшееся 1 июня, оказалось на деле обыкновенным военным парадом, увенчавшимся раздачей знамен перед никем не уважаемым алтарем. В окружении своих братьев, высших должностных лиц, маршалов, гражданских и судейских чиновников, Наполеон провозглашает суверенитет народа, нисколько в него не веря. Граждане вообразили, что в этот торжественный день примут конституцию собственного сочинения; мирные буржуа ожидали, что в этот день Наполеон отречется от престола в пользу сына, — об этом отречении агенты Фуше торговались в Базеле с князем Меттернихом, — а на проверку все свелось к смехотворной политической подачке. Впрочем, законная монархия могла счесть принятие *Дополнительного акта* лестным для себя: не считая нескольких расхождений, прежде всего отсутствия статьи об отмене конфискаций, этот документ повторял Хартию.

〈Заботы и огорчения Бонапарта. Он готовится к войне с союзниками, но не решается вооружить народ. «Момент был подходящий: короли, сулившие своим подданным конституционное правление, вероломно нарушили обещания. Но с той поры, как Наполеон вкусил власти, свобода сделалась ему ненавистна; он предпочел проиграть, опираясь на своих солдат, нежели выиграть, опираясь на свой народ»〉

15. *Что поделявали мы в Генте. — Господин де Блакас*

Что же до нас, эмигрантов, мы проводили время в родном городе Карла V наподобие тамошних кумушек, которые сидят дома перед умело поставленным зеркальцем и глазят на проходящих по улице солдат. О Людовике XVIII никто и не вспоминал; лишь изредка он получал записку от князя де Талейрана, который уже собирался домой из Вены, или несколько строк от членов дипломатического корпуса, состоявших при герцоге Веллингтоне — господина Поццо ди Борго, господина де Венсана и проч., и проч. Да и кому мы были нужны! Человек, далекий от политики, никогда бы не поверил, что калека, укравшийся на берегу реки Лис, вновь очутится на французском троне после того, как в смертельной схватке сойдутся тысячи солдат, не видящих в нем ни короля, ни полководца, не думающих о нем, не знающих ни его имени, ни его судьбы. Два городка стоят на карте рядом: Гент и Ватерлоо; никогда еще один из них не казался столь безвестным, а другой — столь прославленным: законная монархия напоминала старую, разбитую карету, пылящуюся в сарае.

Мы знали, что войска Бонапарта приближаются; весь наш гарнизон состоял из двух небольших рот под командой герцога Беррийского, принца,

который не мог пролить свою кровь за нас, ибо обстоятельства призывали его в другое место *. Достаточно было тысячи французских кавалеристов, чтобы в несколько часов захватить нас всех. Гентские укрепления были разрушены; остатки крепостной стены противник мог без труда взять приступом, тем более что местные жители смотрели на нас косо. Повторились сцены, виденные мною в Тюильри: для Его Величества втайне начали готовить карету; наняли лошадей. Мы, верные министры, поплелись бы следом, уповая на милость Господню. Граф д'Артуа отбыл в Брюссель, дабы находиться ближе к театру военных действий.

Господин де Блакас загрустил и встревожился, а я, простака, тешил его тоску. В Вене к нему не благоволили; господин де Талейран его презирал; роялисты возлагали на него вину за возвращение Наполеона. Поэтому, какой бы оборот ни приняли дела, ему не приходилось ждать ничего хорошего; он не мог рассчитывать ни на почетное изгнание в Англию, ни на высокий пост во Франции: я был его единственной опорой. Мы часто встречались на Конной площади: он трусил там в полном одиночестве; я составлял ему компанию и делил его печали *. Этот человек, за которого я заступался в Генте и в Англии, а затем во Франции по окончании Ста дней, человек, которого я помянул добрым словом даже в предисловии к «Монархии согласно Хартии»,— человек этот всегда вредил мне; это бы еще полбеды; хуже другое: он губил монархию. Я не раскаиваюсь в бывшей глупости, но обязан исправить в этих «Записках» заблуждения, жертвой которых стали мой ум и доброе сердце.

16. Битва при Ватерлоо

18 июня 1815 года около полудня я вышел из Гента через Брюссельскую заставу; мне хотелось прогуляться в одиночестве. У меня были с собою «Комментарии» Цезаря, и я медленно шел по дороге, погрузившись в чтение. Я отошел от города уже почти на целое лье, когда до слуха моего вдруг долетел глухой рокот: я остановился и взглянул на небо, затянутое тучами, раздумывая, как поступить,— продолжить ли прогулку или до дождя вернуться в Гент. Я прислушался, но не услышал ничего, кроме крика кулика в камышах и боя часов на деревенской колокольне. Я пошел дальше: не успел я сделать и тридцати шагов, как шум возобновился; то отрывистый, то продолжительный, он повторялся через неравные промежутки времени; звук шел издали, и иной раз я почти ничего не слышал и различал лишь легкое колебание воздуха над бескрайней равниной. Звуки эти, более отрывистые, дробные и резкие, чем при грозе, навели меня на мысль о том, что вдали идет бой. Я стоял на краю поля, засаженного хмелем, рядом с высоким тополем. Я пересек дорогу и, прислонившись к стволу дерева, стал смотреть в сторону Брюсселя. Поднялся южный

ветер, и я явственно слышал артиллерийские выстрелы. Это крупное сражение, тогда еще безмянное, в шум которого я вслушивался, прислонившись к тополю, сражение, неизвестный смертный час которого пробили только что часы на деревенской колокольне, было сражением при Ватерлоо!

В безмолвном одиночестве слушал я приговор судьбы и волновался сильнее, чем если бы находился на поле боя: опасность, стрельба, единоборство со смертью не оставили бы мне времени на размышления; но я пребывал в одиночестве среди гентских полей, словно моему попечению были поручены здешние стада, и мозг мой сверлили вопросы: «Что это за сражение? Положит ли оно конец войне? Участвует ли в нем сам Наполеон? Разыгрывают ли здесь судьбу мира, как разыгрывали когда-то одежды Христа *? Кто победит и что принесет эта победа народам: свободу или рабство? И чья кровь летит там? Не прерывает ли каждый выстрел, который я слышу, жизнь французского воина? Неужели снова, как при Креси, Пуатье и Азенкуре *, заклятые враги Франции празднуют победу? Если они одолеют, что станет с нашей славой? Если одолеет Наполеон, что станет с нашей свободой? Хотя победа Наполеона осудила бы меня на вечное изгнание, в тот миг любовь к отечеству возобладала в моей душе над прочими чувствами; я желал успеха угнетателю Франции, ибо он мог спасти нашу честь и избавить нас от чужеземного владычества.

А если победит Веллингтон? Тогда законная монархия возвратится в Париж позади солдат в красных мундирах, подкрашенных французской кровью! Король отправится венчаться на царство, а за ним потянется череда санитарных повозок, набитых искалеченными французскими гренадерами! Что за правление сулят Франции столь зловещие предзнаменования?.. Вот лишь малая часть мучивших меня тревог. От каждого пушечного выстрела я содрогался, сердце мое колотилось вдвое сильнее. Всего несколько лье отделяли меня от места, где свершалось грандиозное событие, но я не видел его; я не мог коснуться великого надгробного памятника, с каждой минутой поднимавшегося все выше на равнине близ Ватерлоо,— так в Булаке, на берегу Нила, я тщетно простираю руки в сторону пирамид *.

Дорога была пуста; несколько женщин, трудившихся в поле, мирно пололи овощи, словно не слыша того рокота, который ловил я. Но вот вдали показался гонец: я бросился из-под дерева на дорогу, остановил всадника и засыпал его вопросами. Он состоял при герцоге Беррийском и скакал из Алста. Он сказал: «Вчера (17 июня) Бонапарт после кровавого боя занял Брюссель. Сегодня (18 июня) сражение должно было возобновиться. По-видимому, союзники будут окончательно разбиты; уже дан приказ об отступлении». Он двинулся дальше.

Я что было сил поспешил за ним: меня обогнала почтовая карета, в которой спасался бегством торговец с семейством; он подтвердил рассказ курьера.

17. *Смятение в Генте.— Как шло сражение при Ватерлоо*

Добравшись до Гента, я убедился, что здесь царит полное смятение: все ворота в город были уже закрыты, полуотворенными остались лишь проделанные в них маленькие дверцы; у ворот несли караул скверно вооруженные буржуа и солдаты-тыловики. Я отправился к королю.

Граф д'Артуа только что прибыл кружным путем из Брюсселя: его спугнул ложный слух о том, что Бонапарт вот-вот войдет в город и что поражение в первом бою не сулит никаких надежд на победу во втором. Рассказывали, что пруссаки не вышли на передовые позиции, и англичане были смяты.

В результате на повестке дня стояло только одно: «Спасайся, кто может!»; те, кому было что спасать, уехали; я же так и не сумел обзавестись имуществом и потому был легок на подъем; мне хотелось отправить прежде себя госпожу де Шатобриан, ярую бонапартистку, не терпящую, однако, артиллерийской стрельбы,— но она не согласилась меня покинуть.

Вечером Его Величество созвал совет: нас снова познакомили с донесениями графа д'Артуа и слухами, исходящими не то от начальника гарнизона, не то от барона Экштейна. В фургон с королевскими брильянтами уже впрягли лошадей; что до меня, то для моих сокровищ фургон не требовался. Я уложил в ветхий портфель министра внутренних дел черный шелковый платок, которым повязываю голову на ночь, и, вооружившись этим важным политическим документом, предоставил себя в распоряжение законного монарха. Когда я отправлялся в изгнание впервые, я был богаче: в ту пору у меня имелся вещевого мешок, служивший подушкой мне и пеленками *Атала*, но в 1815 году *Атала* сделалась длинноногой нескладной четырнадцатилетней девицей, которая в одиночестве гуляла по свету, пользуясь, к чести своего родителя, немалым успехом.

19 июня в час ночи нарочный привез королю письмо от господина Поццо, пролившее свет на истинное положение дел. Бонапарт не занял Брюсселя; он бесповоротно проиграл битву при Ватерлоо.

<Ход битвы при Ватерлоо; возвращение Бонапарта в Париж и его отречение в пользу сына; зловещие предзнаменования при начале второй Реставрации: «Бонапарт возвратился во главе четырехсот французов, Людовик XVIII возвращался позади четырехсот тысяч чужестранцев; он поднялся из кровавого месива Ватерлоо и двинулся в Сен-Дени, ставшее его усыпальницей»>

19. Отъезд из Гента.— Прибытие в Монс.— Я упускаю первую возможность сделать карьеру на политическом поприще.— Господин де Талейран в Монсе.— Объяснение с королем.— Я имею глупость сочувствовать господину де Талейрану

В то время как Бонапарт вместе с павшей империей направлялся в Мальмезон, мы вместе с возрождающейся монархией покидали Гент. Поццо, пони-

мавший, что в высших сферах никому нет дела до законной монархии, поспешил написать Людовику XVIII письмо, где советовал королю поторопиться, если он не хочет найти свое место занятым: этому письму 1815 года Людовик XVIII обязан короной.

В Монсе я упустил первую возможность преуспеть на политическом поприще: я сам был своим главным неприятелем и постоянно вставал себе поперек дороги. На сей раз дурную службу сослужили не мои недостатки, а мои *достоинства*.

Господин де Талейран, гордый удачным завершением переговоров, принесших ему немалое богатство, полагал, что оказал законной монархии важные услуги, и вел себя по-хозяйски. Удивленный строптивостью короля, который не послушался его советов и возвращается в Париж не тем путем, какой предписал он, господин де Талейран, министр был еще более неприятно поражен, обнаружив короля в обществе господина де Блакаса. Господин де Талейран почитал господина де Блакаса бичом монархии; но не это было истинной причиной его ненависти: господин де Блакас был любимцем короля, следовательно, господин де Талейран видел в нем соперника; боялся он и графа д'Артуа: недаром он вышел из себя, когда тот две недели назад предложил фавориту свой особняк на берегу Лиса. Просить об удалении господина де Блакаса было бы вполне естественно; требовать этого значило слишком откровенно напомнить о Бонапарте.

Господин де Талейран въехал в Монс около шести часов вечера в обществе аббата Луи: господин де Рисе, господин де Жокур и несколько других сотрапезников устремились к нему навстречу. С видом непризнанного монарха, чего прежде за ним не водилось, он объявил, что пока не желает видеть Людовика XVIII; тем, кто уговаривал его пойти к королю, он самодовольно отвечивал: «Мне спешить некуда; я займусь этим завтра». Я побывал у него; он заискивал передо мною, рассыпаясь в любезностях, какие у него обычно были наготове для ничтожных честолюбцев и докучливых глупцов. Он взял меня под локоть, оперся о мою руку во время беседы: предполагалось, что от этих знаков высшего расположения я потеряю голову, но я проявил черную неблагодарность: я даже не понял, что мне оказывают великую честь. Я направлялся к королю и посоветовал господину де Талейрану последовать моему примеру.

Людовик XVIII был в грустях: надлежало расстаться с господином де Блакасом; любимец короля не мог возвратиться во Францию; общественное мнение решительно не благоприятствовало ему; что до меня, то, хотя в Париже я сам немало претерпел от фаворита, в Генте я ни разу ни в чем не упрекнул его. Король был мне благодарен за это; расчувствовавшись, он обласкал меня. Ему уже пересказали слова господина де Талейрана. «Он хвастает,— сказал мне король,— что вторично возвратил мне корону, и грозит, что вновь от-

правится в Германию: как вы об этом думаете, господин де Шатобриан?» Я ответил: «Эти сведения неверны; господин де Талейран просто устал. Если Вашему Величеству угодно, я вернусь к министру». Королю это, кажется, очень понравилось; он терпеть не мог всякие дразги; покой он ценил превыше всего, не исключая и сердечных привязанностей.

Господин де Талейран, надменный, как никогда, внимал льстивым речам своих приближенных. Я стал убеждать его, что в столь тревожную пору он не вправе покинуть короля. Поццо поддержал меня: не чувствуя к господину де Талейрану ни малейшей приязни, он все же предпочитал, чтобы министром иностранных дел оставался покамест его старый знакомец, а вдобавок полагал, что господин де Талейран пользуется расположением царя. Мне не удалось уговорить господина де Талейрана; его льстецы теснили меня; даже господин Мунье полагал, что господину де Талейрану следует отойти от дел. Известный своим злоречием аббат Луи сказал мне, трижды потрянув челюстью: «На месте князя я не пробыл бы в Монсе и четверти часа». Я отвечал: «Господин аббат, и вы и я, мы можем уйти куда глаза глядят, никто и не заметит нашего отсутствия, но князь де Талейран — это дело другое». Я продолжал настаивать и сказал князю: «Известно ли вам, что король скоро тронется в путь?» Господин де Талейран, казалось, удивился, а затем произнес высокомерные слова, которым некогда ответил Меченый доброжелателям, упреждавшим его о планах Генриха III: «Он не посмеет!»

Я возвратился к королю и нашел его в обществе господина де Блакаса. Я уверил короля, что министр его нездоров, но завтра наверняка будет иметь честь предстать перед Его Величеством. «Как ему будет угодно, — отвечал Людовик XVIII, — я уезжаю в три часа, — и прибавил ласково: — Мне придется расстаться с господином де Блакасом; место свободно, господин де Шатобриан».

Моя придворная карьера была обеспечена. Любой дальновидный политик на моем месте выбросил бы из головы господина де Талейрана, велел запрягать лошадей и поскакал за королем, а то и впереди него; я имел глупость остаться на постоялом дворе.

Господин де Талейран, не в силах вообразить, что король может уехать, лег спать; в три часа его будят, чтобы сообщить, что король вот-вот покинет Монс; он не верит своим ушам; «Обман! Предательство!» — восклицает он. Ему подают одеться, и вот, впервые в своей жизни, он выходит на улицу в три часа ночи. Опираясь на руку господина де Рисе, он подходит к гостинице, где жил король; первая пара лошадей уже за воротами. Кучеру делают знак остановиться; король осведомляется, в чем дело; ему кричат: «Ваше Величество, к вам господин де Талейран». — «Он спит», — отвечает Людовик XVIII. — «Он здесь, Ваше Величество». — «Ну что ж», — говорит король. Лошади пятятся назад, слуги отворяют дверцу кареты, король выходит

и, едва передвигая ноги, возвращается в свои покои; хромой министр плетется за ним. Господин де Талейран гневно требует объяснений; Его Величество, выслушав упреки, отвечает: «Князь Беневентский, вы нас покидаете? Воды пойдут вам на пользу *; известите нас о вашем здоровье». Покинув остолбеневшего князя, король садится в карету и уезжает.

Господин де Талейран чуть не лопнул от злости; хладнокровие Людовика XVIII вывело его из себя: он, Талейран, всегда так гордившийся своим самообладанием, разбит на собственной территории, брошен здесь, на монской площади, как последнее ничтожество: было от чего потерять покой! Молча проводив взглядом удаляющуюся карету, он схватил герцога де Леви за пуговицу и вскричал: «Вы только посмотрите, господин герцог, вы только посмотрите, как со мной обходятся! Я возвратил королю корону (далась ему эта корона!), а меня гонят прочь, и мне придется снова влачить дни в изгнании».

Господин де Леви рассеянно выслушал его, поднялся на носки и сказал: «Князь, я уезжаю, должен же быть при короле хоть один человек древнего рода».

Господин де Леви вскочил в наемную двуколку, где сидел канцлер Франции; устроившись на паях в *колымаге* времен Меровингов, два вельможи бросились вдогонку за своим повелителем из рода Капетингов *.

Я попросил господина де Дюраса сделать все возможное для примирения и известить меня о результатах. «Как! — удивился господин де Дюрас. — Вы остаетесь здесь, несмотря на то, что сказал король?» Со своей стороны господин де Блакас, покидая Монс, поблагодарил меня за сочувствие к его особе.

Господина де Талейрана я нашел в затруднении: он сожалел, что не последовал моему совету и, ведя себя, как строптивый поручик, не захотел вечером повидать короля; он боялся утратить политическое могущество: ведь если готовящиеся сделки будут заключены без него, он не сможет нагреть на них руки. Я сказал ему, что, несмотря на различие наших убеждений, по-прежнему остаюсь верен ему как посол министру иностранных дел; к тому же у меня есть друзья, приближенные к королю, и я надеюсь вскоре получить от них благоприятные известия. Господин де Талейран был сама нежность, он клонил голову к моему плечу; в этот миг он, конечно, почитал меня человеком выдающимся.

Господин де Дюрас не замедлил прислать мне записку; в ней он сообщал мне из Камбре, что дело улажено и господин де Талейран вот-вот получит приказ тронуться в путь; на сей раз князь не преминул исполнить предписание *.

Какой демон толкал меня под руку? Я не последовал за королем, когда тот предложил или, вернее, пожаловал мне пост министра двора, и обидел его своим упрямством; я расшибался в лепешку ради господина де Талейрана,

который был мне едва знаком и не внушал ни уважения, ни восхищения, ради господина де Талейрана, который замышлял интриги, мне безразличные, и проводил жизнь в погоне за деньгами, мне ненавистной!

Именно из Монса, где он попал в столь затруднительное положение, князь Беневентский отправил господина Дюпере в Неаполь за миллионами, вырученными в Вене. Господин де Блакас в то же самое время двигался в том же самом направлении, увозя с собою звание французского посла в Неаполе и миллионы, которыми его щедро наградил в Монсе гентский изгнанник.

Я поддерживал добрые отношения с господином де Блакасом — предметом всеобщей ненависти; я хранил верность господину де Талейрану, несмотря на все его капризы, и тем заслужил его дружбу; Людовик XVIII недвусмысленно предложил мне место при своей особе, а я предпочел благорасположению короля общество человека бесчестного; справедливость требовала, чтобы я поплатился за свою тупость и, желая услужить всем, был всеми покинут. Когда я возвратился во Францию, мне нечем было заплатить за дорогу, меж тем как на людей, бывших в опале, милости сыпались как из рога изобилия: я сам виноват. Подвизаться в роли бедного рыцаря, когда все кругом закованы в золотую броню, — дело весьма почтенное, но при этом не следует допускать грубых оплошностей: останься я при короле, Талейрану и Фуше почти наверняка не удалось бы сойтись в министерстве; Реставрация началась бы правлением нравственным и достойным, Франция пошла бы совсем иным путем. Я был так мало озабочен своей собственной участью, что не осознал важности событий, свершающихся в стране: большинство людей грешат тем, что ценят себя слишком высоко, я же, напротив, ценю себя слишком низко; я, как обычно, презрел собственное благополучие; мне следовало понять, что на мгновение судьба Франции перепелась с моею скромной судьбой: история знает немало подобных случайностей.

20. Путь из Монса в Гонес.— Мы с графом де Бенью противимся назначению Фуше министром; мои доводы.— Герцог Веллингтон берет верх.— Арнувиль.— Сен-Дени.— Последний разговор с королем

Покинув наконец Монс, я достиг Като-Камбрези; господин де Талейран прибыл туда вслед за мной: можно было подумать, что мы собрались заново подписать мирный договор 1559 года между Генрихом II Французским и Филиппом II Испанским*.

В Камбре случилось так, что по вине маркиза де Ла Сюза, квартирмейстера, ведавшего домами времен Фенелона, квартиры, предназначавшиеся госпоже де Леви и нам с госпожой де Шатобриан, оказались заняты: мы бродили по празднично освещенным улицам среди толпы местных жителей,

кричавших: «Да здравствует король!» Один студент, узнав меня, отвел нас в дом своей матери.

Тем временем начали подавать голос сторонники различных французских монархий; они прибывали в Камбре не для того, чтобы заключить союз против Венецианской республики, а для того, чтобы сообща объявить войну новым конституциям; они спешили сложить к ногам короля свою потрепанную верность трону и ненависть к Хартии — дань, которой, как они полагали, ждет от них Monsieur; немногие рассудительные простаки вроде меня выглядели едва ли не якобинцами.

23 июня была обнародована Камбрезийская декларация *. Король сказал в ней: «Я желаю удалить от себя лишь тех особ, чья репутация огорчает Францию и страшит Европу». Что ж, ведь во флигеле Марсана имя Фуше поминалось с благодарностью! Король посмеивался над новым увлечением своего брата: «Эта страсть не внушена небом».

Я уже говорил в этих «Записках», что, проезжая во время Ста дней через Камбре, тщетно пытался отыскать дом, где квартировал в бытность свою офицером Наваррского полка, и кафе, куда ходил с Ламартиньером: все это исчезло вместе с моей юностью.

Вечером следующего дня мы остановились в Руа: хозяйка постоялого двора приняла госпожу де Шатобриан за супругу дофина, и мою жену торжественно внесли в залу, где уже был накрыт стол на тридцать персон; в зале этой, освещенной сальными и восковыми свечами, было жарко натоплено и невыносимо душно. Хозяйка не хотела брать с нас деньги и твердила: «Никогда себе не прощу, что меня не казнили за наших королей». Последняя искорка огня, пылавшего в сердце французов от века.

Столичные власти выслали нам навстречу генерала Ламога, шурина господина де Лабори; он сообщил, что нечего и думать въехать в Париж без трехцветной кокарды. Господин де Лафайет и другие комиссары, впрочем весьма дурно принимаемые союзниками, таскались по штабам, выклянчивая у чужестранцев какого-нибудь повелителя для Франции: они во всем полагались на казаков и были согласны на любого короля, лишь бы в жилах его не текла кровь Святого Людовика и Людовика XIV.

В Руа король созвал совет: господин де Талейран впряг в свою карету двух кляч и отправился к Его Величеству. Постоялый двор министра и дом короля выходили на одну и ту же площадь; экипаж занял ее всю целиком. Министр низшел со своей колесницы с запиской, которую прочел нам: обсуждая меры, которые следует принять по прибытии, он обронил несколько слов о необходимости раздавать должности всем желающим без изъятия; он намекал, что в число таковых можно великодушно включить и судей Людовика XVI. Его Величество покраснел и, стукнув кулаками по подлокотникам своего кресла, вскричал: «Никогда!» Никогда, продлившееся ровно сутки.

В Санлисе мы зашли к канонику: служанка встретила нас в штывы, что же до самого каноника, без сомнения имевшего мало общего с покровителем города святым Риэлем, то он на нас и не взглянул. Прислужнице своей он приказал купить нам провизии на наши собственные деньги; тем его благодеяния и ограничились: «Гений христианства» не помог. А ведь Санлису надлежало порадовать нас добрыми предзнаменованиями: в этом городе в 1576 году Генрих IV ускользнул от тюремщиков. «Мне жаль лишь двух вещей, оставленных в Париже,— воскликнул, пускаясь в бегство, земляк Монтеня,— мессы и жены» *.

Из Санлиса мы двинулись на родину Филиппа-Августа — иначе говоря, в Гонес. На подступах к городу мы повстречали двух путников: то были маршал Макдональд и мой верный друг Ид де Невиль. Они остановили нашу карету и справились о местонахождении господина де Талейрана; они не скрывали, что ищут его, дабы передать королю ультиматум: Его Величеству нечего и думать о въезде в столицу до тех пор, пока Фуше не станет министром. Хотя я и помнил о гневном восклицании Людовика XVIII в Руа, меня охватила тревога. Я переспросил маршала: «Неужели мы в самом деле сможем вернуться, лишь выполнив это жестокое требование?» — «По правде говоря, господин виконт,— отвечал маршал,— я в этом не убежден».

Король пробыл в Гонесе два часа. Оставив госпожу де Шатобриан в карете посреди дороги, я бросился в мэрию на очередной совет. Там обсуждалась мера, от которой зависела судьба монархии. Завязался спор: я утверждал, что Людовику XVIII ни в коем случае не следует включать в состав министерства господина Фуше; меня поддержал один лишь господин Бенью. Король выслушал меня: я видел, что он охотно сдержал бы слово, данное в Руа, но у него не было сил противиться наставлениям Monsieur и требованиям герцога Веллингтона.

В одной из глав «Монархии согласно Хартии» я кратко изложил сообщения, которыми руководствовался в Гонесе. Я говорил с жаром; устная речь обладает могуществом, не доступным речи письменной; что же до брошюры, то в ней я писал: «Всюду, где действия правительства подлежат свободному обсуждению, человек, могущий навлечь на себя упреки определенного свойства, не вправе стоять у кормила власти. Подобный министр рискует услышать по своему адресу речи либо слова, которые вынудят его подать в отставку сразу после заседания палаты. Это обстоятельство — следствие свободы, лежащей в основе представительного правления,— не было понято в ту пору, когда, несмотря на более чем обоснованное отвращение монарха, люди, обольщенные славою знаменитого лица, ввели его в состав министерства. Возвышение этого лица должно было привести либо к уничтожению Хартии, либо к падению кабинета при начале сессии. Возможно ли представить себе министра, о котором я говорю, на заседании палаты депутатов, где обсуждается трагедия 21

января *, — всякую минуту его мог бы призвать к ответу какой-нибудь депутат из Лиона, всякую минуту он мог бы услышать ужасное: «Ты — тот человек!» *. К услугам людей такого сорта можно в открытую прибегать лишь на глазах немых стражей Баязетова сераля или немых политиков Бонапартова законодательного корпуса». «Что станется с таким министром, — говорил я, — если один из депутатов, поднявшись на трибуну с «Монитёром» в руках, прочтет отчет Конвента от 9 августа 1795 года, если он потребует изгнания Фуше, ссылаясь на этот отчет, *«изгоняющий»* вышеуказанного Фуше как (цитирую дословно) *«вора и убийцу, чьи отвратительные преступления сулят позор и бесчестье любому собранию, числящему его среди своих членов»?*

Вот о чем все забыли!

В конце концов, пусть даже кто-либо имел несчастье полагать, будто подобный человек может быть чем-то полезен; в этом случае следовало прибегнуть к его тройной опытности тайно; но совершать насилие над мнением монарха и общества, не таясь облекать властью человека, которого Бонапарт только что назвал подлецом, — не значило ли это предать свободу и добродетель? Стоит ли корона такой жертвы? Отныне мы не вправе были удалить кого бы то ни было: кого можно изгнать, оставив Фуше?

Партии действовали, не задумываясь о принятой ими форме правления; все толковали о конституции, свободе, равенстве и правах народа, но никто в них не нуждался; модная болтовня: все машинально осведомлялись о Хартии, в глубине души надеясь, что скоро от нее не останется и следа. Либералы и роялисты предпочитали абсолютную монархию, исправляемую нравами: таков склад ума и образ жизни французов. Материальные интересы стояли на первом месте: никто не желал отказаться от пресловутых завоеваний Революции; каждый тяготился собственной жизнью и умышлял обременить ею соседа; зло, уверяли нас, сделалось составною частью общественной жизни; отныне ему суждено сопутствовать любой форме правления и исполнять общество живой силой.

Мною владела одна навязчивая идея — я мечтал о Хартии, основывающейся на религии и морали, и этого не могли простить мне сторонники некоторых партий: на вкус роялистов я чересчур сильно любил свободу, на вкус революционеров — чересчур сильно презирал преступления. Если бы я, рискуя своей репутацией, не преподавал французам начала конституционного правления, ультрароялисты и якобинцы тотчас же запрятали бы Хартию в карман фрака, расшитого лилиями, или республиканской карманьолы *.

Господин де Талейран не любил господина Фуше; господин Фуше ненавидел и, что самое странное, презирал господина де Талейрана: честь, которую нелегко заслужить. Господин де Талейран, поначалу избегавший общества господина Фуше, вскоре почувствовал, что ему не миновать этого соседства, и сам приложил руку к успешному завершению дела; он не понял, что при

наличии Хартии его присутствие на посту министра ничуть не более уместно, чем назначение на этот пост лионского палача Фуше, не говоря уже об их воссоединении в министерстве.

Мои предсказания сбылись очень скоро: назначение герцога Отрантского министром не только не принесло никакой пользы, но, напротив, обернулось большим позором; одной мысли о грядущей сессии палаты было достаточно, чтобы министры, слишком слабо защищенные от парламентской откровенности, расстались со своими портфелями *.

Сопrotивление мое не возымело действия: как всякий слабохарактерный человек, король закрыл заседание, не приняв никакого решения; ордонанс был подписан позже, в замке Арнувиль.

Здесь совета по всей форме уже не собирали; обсуждение проходило в узком кругу царедворцев, посвященных в тайну. Господин де Талейран, опередив нас, сговорился со своими друзьями. Прибыл герцог Веллингтон: он ехал в коляске, и перья на его шляпе развевались по воздуху; в ознаменование победы при Ватерлоо он намеревался дважды осчастливить Францию, даровав ей господина де Талейрана и господина Фуше. Когда ему возражали, что герцог Отрантский — цареубийца и потому не слишком подходит на роль министра, он отвечал: «Это *пустяки!*» Ирландец, исповедующий протестантскую веру, английский полководец, чуждый нашим нравам и нашей истории, политик, не видевший во французском 1793 годе ничего, кроме повторения английского 1649 года, вершил нашими судьбами! Как низко мы пали по вине Бонапартова честолюбия!

Я бродил по саду, откуда девяностолетний генеральный контролер Машо отбыл в свое последнее путешествие, конечным пунктом которого была тюрьма Маделонет *: в ту пору смерть никого не обходила стороной. На совет меня не позвали: невзгоды уже не сближали более монарха с подданным; король готовился вернуться в свой дворец, я — в свое уединение. Стоит королям взойти на престол, как их настигает одиночество. Мне редко случалось проходить тихими и пустынными залами Тюильри, ведущими к апартаментам короля, не погружаясь в тягостные раздумья: мне пристали иные пустыни — бесконечные и безлюдные пространства, где так ясно чувствуешь ничтожность вселенной перед лицом Господа — единственного, кто воистину жив.

Есть в Арнувиле было нечего; если бы не офицер по имени Дюбур, подобно нам ретировавшийся из Гента, нам пришлось бы голодно. Господин Дюбур отправился на промысел ¹³ и вскоре возвратился к нам, в дом сбежавшего мэра, с половинкой барана. Будь у служанки мэра оружие, эта героиня из Бове, даже не имея за собою войска, встретила бы нас подобно своей соотечественнице Жанне Ашетт.

¹³ Мы вновь встретимся с моим другом господином Дюбуром в рассказе об июльских днях.

Мы двинулись в Сен-Дени; по обеим сторонам дороги разбили бивак пруссаки и англичане; вдали виднелись башни аббатства: в основании его покоятся сокровища Дагобера, в подземельях его многие поколения французов погребали своих королей и вельмож; четыре месяца спустя мы перенесли туда останки Людовика XVI, дабы они заменили прах многих других жертв. В 1800 году, впервые в моей жизни возвращаясь из изгнания, я ехал этой же равниной Сен-Дени, в ту пору на ней стояли лагерем только солдаты Наполеона; тогда на поле, где некогда сражался коннетабль де Монморанси, еще не ступала нога чужестранца *.

Нас приютил некий булочник. Около девяти вечера я пошел засвидетельствовать свое почтение королю. Его Величество устроился на ночлег в здании аббатства: стоило огромного труда запретить малолетним воспитанникам Школы Почетного легиона * кричать: «Да здравствует Наполеон!» Вначале я вошел в церковь: стена, смежная с монастырем, наполовину разрушилась; древний храм освещала одна-единственная лампада. Я вознес молитву у входа в подземелье, куда на моих глазах опустили прах Людовика XVI; сердце мое, полное тревоги за будущее, наполнилось глубокой, благочестивой печалью, какой я, пожалуй, не испытывал никогда в жизни. Перед покоями короля никого не было; я сел в углу и стал ждать. Внезапно дверь отворилась и в комнату безмолвно вошла порок об руку со злодеянием, — господин де Талейран об руку с господином Фуше; адское видение медленно проплыло мимо меня и скрылось в кабинете короля. Фуше спешил поклониться своему повелителю, что будет служить ему верой и правдой; верноподданный цареубийца, преклонив колена, жал рукой, приблизившей смерть Людовика XVI, руку брата короля-мученика; клятву скреплял епископ-расстрига.

Назавтра в Сен-Дени прибыл весь цвет Сен-Жерменского предместья: верующие и безбожники, герои и преступники, роялисты и революционеры, чужеземцы и французы — все без исключения тревожились об участи Фуше; все кричали в один голос: «Без Фуше король не будет знать покоя, без Фуше Франция погибнет; он уже столько сделал для спасения отечества, он один в силах довершить начатое». Из всех аристократок горячее всех отстаивала достоинства Фуше старшая герцогиня де Дюрас; ей вторил балли де Крюссоль, один из немногих оставшихся в живых мальтийских рыцарей *; он уверял, что еще не лишился жизни исключительно по милости господина Фуше. Бонапарт нагнал на людей робкого десятка такого страха, что они приняли лионского убийцу за Тита *. Завсегдатаи салонов Сен-Жерменского предместья более трех месяцев величали меня нечестивцем за то, что я не одобрял назначения любезных им министров. Эти несчастные раболепствовали перед *высочками*; хвастаясь древностью своего рода, ненавистью к революционерам, неколебимостью своих принципов и своей нерушимой верностью, они обожали Фуше!

Фуше понял, что его пребывание на посту министра несовместимо с конституционной монархией: не в силах ужиться с законным правлением, он попытался вернуть политическую жизнь в привычное для него русло. Он сеял лживые слухи, он пугал короля выдуманными опасностями, надеясь вынудить его признать две палаты, созданные Бонапартом, и принять поспешно завершённую по такому случаю декларацию прав; поговаривали даже о необходимости удалить Monsieur и его сыновей: предел мечтаний заключался в том, чтобы оставить короля в полном одиночестве.

Нас по-прежнему морочили: напрасно национальная гвардия выходила за городские стены, желая изъять свою преданность; нас уверяли, что гвардия настроена враждебно. Дабы народ, сохранивший во время Ста дней верность монархии, не мог увидеть короля, мятежники приказали закрыть заставы; по их словам, чернь грозила зарезать Людовика XVIII. Всеобщее ослепление было поистине невероятным: французская армия отступила на берег Луары, стопятидесяти тысячная армия союзников окружала столицу, а нам все толковали о том, что король недостаточно силен, чтобы войти в город — в город, где не было ни единого солдата, где остались одни буржуа, вполне способные сдержать горстку федератов, вздумай даже те выступить. К несчастью, цепь роковых совпадений привела к тому, что король явился народу как предводитель англичан и пруссаков; он думал, что имеет дело с освободителями, а кругом были враги; казалось, будто его сопровождает почетная свита, на самом же деле то были жандармы, разлучавшие его с подданными: король пересек Париж в обществе иностранцев, и памяти об этом суждено было послужить однажды предлогом для изгнания его рода.

Временное правительство, образовавшееся после отречения Бонапарта *, было распущено посредством некоего обвинительного акта против королевской власти: на этом камне надеялись воздвигнуть рано или поздно новую революцию.

Во время первой Реставрации я выступал за сохранение трехцветной кокарды: она сияла во всем блеске своей славы, о белой кокарде все давно забыли; сохранить цвета, узаконенные столькими победами, вовсе не значило принять сторону грядущей революции. Не воскрешать белую кокарду было бы разумно, но отказаться от нее теперь, когда с ней свыклись даже наполеоновские гренадеры, было бы низко; подлости никогда не остаются безнаказанными; бесчестие губительно: от пощечины еще никто не умирал, и все-таки она смертоносна.

Перед отъездом из Сен-Дени король принял меня и у нас состоялась следующая беседа:

— Итак? — воскликнул Людовик XVIII.

— Итак, Ваше Величество, вы согласны назначить министром герцога Отрантского?

— Меня вынудили: от моего брата до бальи де Крюссоля (а он вне подозрений) все твердили, что иного пути нет; а вы как думаете?

— Ваше величество, дело сделано: позвольте мне промолчать.

— Нет, нет, говорите: вы ведь знаете, что я сопротивлялся с самого Гента.

— Ваше величество, я не вправе послушаться; надеюсь, вы простите своего верного слугу: я полагаю, что с монархией покончено.

Король ничего не ответил; я уже начинал раскаиваться в своей дерзости, когда он заговорил вновь:

— Что ж, господин де Шатобриан, я того же мнения.

На этом кончается мой рассказ о *Ста дней*.

КНИГА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

⟨Бонапарт, оставленный всеми своими соратниками, укрывается в замке Мальмезон. «Когда, перебирая воспоминания, я сравниваю Вашингтона в его маленьком домике в Филадельфии с Бонапартом в его дворцах, я думаю, что Вашингтон в своих виргинских угодьях не знал тех мук раскаяния, какие постигли свергнутого Бонапарта в мальмезонском парке. В жизни первого ничего не изменилось; он легко возвратился к существованию скромному, ибо нужды его никогда не отличались от нужд освобожденных им хлебопашцев; в жизни второго все пошло прахом». Отъезд Бонапарта из Мальмезона; он просит убежища на английском судне; его увозят на Святую Елену⟩

5. Взгляд на Бонапарта

В тот миг, когда Бонапарт покидает Европу, когда он расстается с жизнью и устремляется к смерти, нам подобает вынести суждение об этом двуликом человеке, изобразить Наполеона истинного и ложного: целое слагается здесь из были и небыли, тесно переплетенных одна с другой.

Вспомните, прошу вас, что говорил я об этом человеке, когда рассказывал о гибели герцога Энгиенского, когда изображал его действия до, во время и после русской кампании, когда излагал содержание моей брошюры «О Бонапарте и Бурбонах». Некоторый свет на характер Наполеона проливает и сравнение его с Вашингтоном в ⟨шестой⟩ книге моих «Записок».

Из всего уже сказанного очевидно, что Бонапарт был поэтом действия, великим военным гением, человеком неутомимого ума, опытным и здравомыслящим администратором, трудолюбивым и мудрым законодателем. Вот отчего он пленяет воображение поэтов и покоряет умы людей положительных. Однако ни один государственный муж не вправе счесть его безупречным политиком. Это суждение, вырвавшееся у многих его поклонников, и станет, по-видимому, окончательным приговором Наполеону в грядущих веках; оно поможет объяснить противоречие между чудесными деяниями императора и их ничтожными результатами. На Святой Елене он сам строго осудил себя за два предприятия: войну в Испании и войну в России; ему стоило бы покаяться и в других

прегрешениях. Самые горячие его поклонники не станут, пожалуй, утверждать, что у него не было причин для раскаяния.

Вспомним:

Убив герцога Энгийенского, Бонапарт проявил не только отвратительную жестокость, но и крайнюю неосторожность: он навеки запятнал себя. Что бы ни говорили легкомысленные апологисты, смерть эта, как мы видели, стала той искрой, из которой разгорелось впоследствии пламя вражды между Александром и Наполеоном, а равно между Пруссией и Францией.

В Испании Наполеон действовал решительно неверно: полуостров принадлежал ему, что сулило немалую выгоду; однако император превратил Испанию в плац для обучения английских солдат и ускорил собственную гибель, разжегши народное восстание *.

Пленение папы и присоединение Папской области к Франции были просто-напросто капризом тирана, отнявшим у императора славу спасителя религии.

Бонапарт не удовольствовался женитьбой на принцессе императорского рода, хотя на этом ему следовало остановиться: Россия и Англия молили его о мире.

Он не возвратил независимости Польше, хотя возрождение этого государства могло спасти Европу.

Он напал на Россию, несмотря на возражения своих полководцев и советников.

Поддавшись безумному порыву, он двинул войска через русскую границу и миновал Смоленск; было совершенно очевидно, что дальше идти не следует, что нужно окончить первую северную кампанию здесь и дожидаться второй, которая (он сам это чувствовал) предаст царскую империю в его власть.

Он не сумел ни рассчитать время, ни предугадать действие климата, в отличие от русских, которые умели и считать и предугадывать. Я уже рассказывал прежде о *континентальной блокаде* * и *Рейнской конфедерации* *; первая была предприятием грандиозным, но сомнительным по результатам, вторая — созданием значительным, но испорченным при исполнении духом военщины и алчной системой налогообложения. Наполеон получил в наследство старинную французскую монархию такой, какой сделали ее столетия и непрерывная цепь великих людей, такой, какой она стала благодаря величию Людовика XIV и дипломатии Людовика XV, такой, какой сделала ее республика, расширившая ее пределы. Он воссел на этом великолепном пьедестале, простер руки, покорил народы и собрал их вокруг себя; однако он лишился Европы с такою же быстротою, с какой завладел ею; он дважды отдал Париж союзникам, несмотря на все чудеса своего военного гения. Весь мир лежал у его ног, и что из этого вышло? — император лишился свободы, семья его очутилась в изгнании, Франция утратила все его завоевания и часть своих исконных земель.

Все эти факты принадлежат истории, и никто не вправе их опровергнуть. В чем причина ошибок, так скоро приведших к роковой развязке? В несовершенстве Бонапарта как политика.

Союзников своих он связывал лишь тем, что уступал им территории, границы которых вскоре изменял; во всех его действиях сквозило желание забрать назад только что дарованное,— желание, обличавшее в нем утеснителя; на завоеванных землях, за исключением Италии, он не проводил никаких реформ. Ему следовало понять, что, сделав шаг вперед, необходимо на мгновение остановиться и воссоздать в новой форме то, что было разрушено,— он же неумолимо рвался дальше и дальше среди руин: он летел так стремительно, что едва успевал вдохнуть воздух тех краев, которыми проходил. Если бы, заключив нечто вроде Вестфальского договора *, он упорядочил и обеспечил существование германских государств, Пруссии и Польши, при первом своем отступлении он имел бы дело с дружественными народами, у которых нашел бы поддержку и защиту. Однако поэтическое здание его побед, лишенное основания и парящее в воздухе одною лишь силою его гения, рухнуло, когда гений оставил его. Македонец созидал империи на бегу, Бонапарт на бегу разрушал их; его единственной целью было стать единовластным господином земного шара, о средствах же сохранить захваченное он не помышлял.

Бонапарта желали представить существом безупречным, образцом чувствительности, деликатности, нравственности и справедливости, писателем, равным Цезарю и Фукидиду, оратором и историком, не уступающим Демосфену и Тациту. Меж тем речи, произнесенные Наполеоном, фразы, брошенные им в лагере или на совете, содержат в себе очень мало пророческого: предсказанные в них катастрофы не сбылись, зато сам Исайя-воин очень скоро исчез с лица земного, а когда грозные речи, обрушивающиеся на Ниневию *, бьют мимо цели и остаются без последствий, они кажутся не величественными, а смешными. Шестнадцать лет подряд Бонапарт воистину играл роль Судьбы, но Судьба нема, и Бонапарту также следовало бы не размыкать уст. Бонапарту было далеко до Цезаря; он не блистал ученостью, образование получил посредственное; наполовину чужестранец, он не имел понятия об основных правилах нашего языка: впрочем, какое значение имеют грамматические ошибки того, кто диктовал свою волю целому миру? Его бюллетени написаны красноречивым языком побед. Иногда, захмелев от удач, он строчил их на армейском барабане; великую скорбь нарушал зловещий смех. Я внимательно прочел все написанное Бонапартом, от первых детских сочинений, романов, брошюр, адресованных Бутгафуоко *, «Ужина в Бокере» * и частных писем Жозефине до пяти томов его речей, приказов и бюллетеней, а также его неопубликованных донесений, испорченных редакторским пером чиновников господина де Талейрана. Я кое-что смыслю в литературе: лишь в дрянной рукописи, оставленной на Эльбе, я нашел мысли, достойные великого островитянина:

«Обыденные радости так же противны моему сердцу, как и заурядное страдание».

«Не я даровал себе жизнь, не мне и отнимать ее у себя, пока она сама от меня не откажется».

«Злой гений явился мне и предсказал мою гибель: предсказание сбылось под Лейпцигом» *.

«Я заклил ужасный дух новизны, бродивший по свету».

Во всем этом, бесспорно, натура Бонапарта выразилась сполна.

Бюллетени, речи, приветствия, прокламации Бонапарта написаны энергическим языком, однако язык этот не был его исключительным достоянием; он был порождением эпохи и революционного духа, который постепенно покидал Бонапарта, ибо Бонапарт действовал ему наперекор. Дантон говорил: «Металл плавится; если вы не будете следить за печью, вы погибнете в пламени». Сент-Жюст говорил: «*Держайте!*» В этом слове — вся мудрость нашей революции; те, кто совершают революции лишь наполовину, просто-напросто роют себе могилу.

Поднимается ли Бонапарт в своих бюллетенях выше этих гордых речей?

Что же до многочисленных томов, опубликованных под названием «Записки о Святой Елене», «Наполеон в изгнании» и проч., и проч., и проч., то в книгах этих, записанных со слов Бонапарта или даже под его диктовку, попадаются прекрасные описания военных действий, пронизательные суждения о некоторых лицах, но в конечном счете Наполеона волновал лишь он сам: он восхваляет себя, оправдывает свое прошлое, прибегает к избитым истинам, ставит читателя перед свершившимся фактом, вкладывает себе в уста речи, пришедшие много позже: трудно понять, что принадлежит Наполеону, а что — его секретарям в этих компиляциях, где «за» чередуется с «против», где одно и то же мнение сначала горячо приветствуется, а затем встречается в штыки. Возможно, каждому из своих помощников он изображал себя в ином свете, дабы будущие читатели могли выбрать Наполеона по своему вкусу и вообразить его на свой манер. Он диктовал свою историю такой, какой хотел бы ее видеть; он был подобен автору, сочиняющему критику на собственное творение. Следовательно, нет ничего более бессмысленного, чем восхищаться этими разномастными собраниями, столь мало похожими на «Записки» Цезаря * — сочинение краткое, рожденное великим умом и отделанное выдающимся писателем; а ведь и этим лаконическим комментариям, если верить Азинию Поллиону, не хватало правды и точности. «Памятная книжка, веденная на Святой Елене» * хороша, хотя восторги сочинителя отдают прекраснодоушием и наивностью.

При жизни Наполеона особенную ненависть навлекла на него страсть принижать все и вся: заняв город, он разом упразднил монархию и восстанавливал в правах двух-трех комедиантов, пародируя всемогущего Господа,

пекущегося и об огромном мире, и о крохотном муравье. Ему мало было разрушить империю, он еще и оскорблял женщину *; ему нравилось попирать достоинство тех, над кем он одержал победу; в особенности же стремился он смешать с грязью и побольнее ранить тех, кто осмеливался оказать ему сопротивление. Надменность его равнялась его удачливости; он полагал, что чем сильнее унижит других, тем выше поднимется сам. Ревнуя к успехам своих генералов, он бранил их за свои собственные ошибки, ибо себя считал непогрешимым. Хулитель чужих достоинств, он сурово упрекал помощников за каждый неверный шаг. Он ни за что не произнес бы тех слов, какие сказал Людовик XIV маршалу де Вильруа после поражения при Рамийи *: «Господин маршал, в нашем возрасте людям редко сопутствует удача». Наполеону неведомо было это трогательное великодушие. Век Людовика XIV был созданием Людовика Великого: Бонапарт создал свой век.

История императора, искаженная лживыми преданиями, сделается еще более лживой по вине состояния, в каком пребывало общество при Империи. Если история революции пишется в пору, когда печать свободна, она раскрывает подноготную событий, ибо каждый рассказывает о том, что видел: мы хорошо знаем эпоху Кромвеля, потому что каждый открыто говорил Протектору, что он думает о его деяниях и его личности. Во Франции истина иной раз являлась на свет даже при республике, несмотря на неумолимую цензуру палачей; ни одна партия не задерживалась у власти надолго, и противники, свалившие ее, открывали миру то, что таили их предшественники: от эшафота до эшафота, от одной отрубленной головы до другой люди были свободны. Но когда власть захватил Бонапарт, когда его прислужники надолго заткнули рот мысли и французы перестали слышать что-либо, кроме голоса деспота, восхваляющего самого себя и не позволяющего говорить ни о чем другом, истина покинула нас.

Так называемые подлинные документы той эпохи недостоверны; в то время ничто, ни книги, ни газеты, не публиковалось без разрешения властителя; Бонапарт просматривал статьи для «Монитёра», префекты его слали из разных концов страны донесения, поздравления и славословия, соответствующие письменным указаниям парижских властей и условленным мнениям, которые были решительно противоположны действительному мнению общества. Попробуйте написать историю на основании подобных документов! Ссылаясь в своих беспристрастных штудиях на подлинные свидетельства, вы будете подтверждать ложь ложью.

Если же кто-то усомнится в том, что обман царил повсюду, если люди, не жившие при Империи, будут упорно продолжать верить тому, о чем прочтут в печатных источниках, или даже тому, что им удастся разыскать в министерских архивах, достаточно будет привести неопровержимое свидетельство — мнение *Консервативного* Сената, декрет которого гласил *: «Ввиду того что

свобода печати постоянно ущемлялась произволом имперской полиции и что император *всегда прибегал к прессе для того, чтобы наводнять Францию и Европу вымышленными сведениями и лживыми суждениями*, ввиду того что акты и отчеты, рассматривавшиеся Сенатом, публиковались в *искаженной форме*, и проч.». Что можно возразить на такое заявление?

Жизнь Бонапарта — бесспорная истина, которую взялась описывать ложь.

6. Характер Бонапарта

Характер Наполеона извратили чудовищная гордыня и беспрестанное притворство. К чему было ему преувеличивать свое могущество в пору, когда он повелевал миром и сам Бог войны даровал ему свою колесницу, которую двигал *дух животных*? *

В жилах его текла итальянская кровь; понять его натуру было непросто: великих людей на земле так мало, что, к несчастью, им не с кого брать пример, кроме как с самих себя. Разом модель и портрет, подлинное лицо и изображающий его актер, Наполеон играл самого себя; он не чувствовал бы себя героем, не облачившись в одежды героя. Странная эта слабость сообщает удивительной правде его жизни нечто живое и двусмысленное; опасаясь принять царя царей за Росцию либо Росция за царя царей.

Черты характера Наполеона были представлены в газетах, брошюрах, стихах и даже песнях, также проникнутых имперским духом, в столь ложном свете, что узнать их решительно невозможно. Все поступки, приписанные Бонапарту в трогательных анекдотах про *пленников, мертвецов и солдат*, — сущий вздор, опровержением которому служат его истинные деяния.

«Бабушка» * моего прославленного друга Беранже — просто-напросто превосходная выдумка: добродушия в Бонапарте не было ни капли. Воплощенное владычество, он держался сухо; сдержанность эта обуздывала его пламенное воображение; он был человеком не слова, а дела и не мог стерпеть в окружающем мире ни малейшего проявления независимости: муха, пролетевшая мимо без его приказа, казалась ему мятежницей.

Мало было лгать, лаская его слух, следовало радовать и его взор: на одной гравюре Бонапарт обнажает голову перед ранеными австрийцами, на другой останавливается, чтобы расспросить какого-то *служивого*, на третьей посещает чумной барак в Яффе, куда на самом деле даже не заглядывал, на четвертой в пургу одолевает на резвом скакуне перевал Сен-Бернар, где на самом деле стояла в ту пору прекраснейшая в мире погода.

Разве не желают нынче представить императора римлянином первых веков республики, проповедником свободы, гражданином, насаждавшим рабство исключительно из любви к добродетели противоположной? Вспомним два

эпизода из жизни великого защитника равенства: он приказал разорвать брак своего брата Жерома с мадемуазель Патерсон, ибо брату Наполеона пристало брать в жены лишь девицу королевского рода; позже, вернувшись с Эльбы, он снабдил демократическую конституцию пэрством, а королевскую власть — *Дополнительным актом*.

Не стану спорить: Бонапарт, наследник республиканских триумфов, насаждал повсюду принципы независимости; победы его ослабляли узы, связующие королей и народы, освобождали эти народы из-под власти древних нравов и старых идей, и в этом отношении Бонапарт внес свою лепту в освобождение общества; но с тем, что он сознательно, по доброй воле стремился дать нациям политическую и общественную свободу, с тем, что он подчинил Европу, и в особенности Францию, своей деспотической воле только ради того, чтобы одарить их либеральнейшей конституцией, с тем, что он лишь перерядился в тирана, а в глубине души всегда оставался трибуном, — со всем этим я никак не могу согласиться.

Подобно представителям королевского рода, Бонапарт желал и добивался только власти, однако он вступил на историческую арену в 1793 году, и потому его борьба за власть была сопряжена с борьбой за свободу. Революция вскормила Наполеона, но очень скоро он возненавидел свою приемную мать; всю жизнь он без устали сражался с нею *. Впрочем, император прекрасно отличал зло от добра, если только зло это не исходило от самого императора, — ведь он не был вовсе лишен нравственного чувства. Софисты, трубящие о любви Бонапарта к свободе, доказывают только одно: и разумом можно злоупотреблять; он нынче готов на все. Ведь нынче решено и подписано, что Террор был царством гуманности. В самом деле, разве не в эту пору, когда убивали всех без разбору, было выдвинуто требование об отмене смертной казни? Разве испокон веков просветители, как их теперь *называют*, не отдавали людей на закланье, и разве не доказывает это, как теперь *утверждают*, что Робеспьер продолжал дело Иисуса Христа?

Император вмещивался во все; ум его не знал отдыха; мысли его находились, можно сказать, в постоянном возбуждении. Бурная его натура не позволяла ему действовать естественно и последовательно; он двигался вперед рывками, скачками, он набрасывался на мир и сотрясал его; а когда мир заставлял себя ждать, он рвал с миром; непостижимый человек, он ухитрялся унижать презрением величайшие свои подвиги и поднимать на недостижимую высоту подлейшие свои преступления. Существо неполное и как бы незавершенное, Наполеон обладал терпеливым характером и необузданной волей; гений его не был всеобъемлющ и походил на то небо, под которым рок судил ему умереть, — небо, где редкие звезды затеряны среди огромных пустых пространств.

Многие задаются вопросом, каким чудом Бонапарт, столь приверженный аристократии и столь враждебный народу, смог добиться огромной популяр-

ности — ведь этот утеснитель до сих пор популярен в народе, поклонявшемся независимости и равенству; вот разгадка этой загадки.

Каждодневный опыт заставляет признать, что французы инстинктивно льнут к власти; они вовсе не любят свободу; их единственный кумир — равенство. Меж тем равенство связано тайными узами с деспотизмом. Понятно, что Наполеон был мил французам: как воины, они льнут к власти, как демократы — обожают подводить всех под один уровень. Взойдя на трон, он усадил народ рядом с собою; король из престолярства, он заставлял королей и дворян униженно толпиться перед дверью его покоев; он уравнивал все сословия, не низведя знатных до черни, но возвысив чернь до знати; первое ублажило бы завистливую толпу, второе потешило его собственную гордыню. Тщеславию французов льстило также превосходство над всей Европой, обретенное благодаря Бонапарту; немало способствовал популярности императора и печальный финал его жизни. Чем больше узнавали французы о муках, которые Наполеон претерпел на Святой Елене, тем больше смягчались их сердца; воспоминания о тиране постепенно изглаживались из нашей памяти, уступая место образу полководца, сначала побеждавшего наших врагов, а затем, когда они, впрочем по его вине, ступили на нашу землю, защищавшего нас от них; мы воображаем, что, будь он жив сегодня, он избавил бы нас от теперешнего позора: невзгоды возвратили ему известность, несчастья умножили его славу.

Важно и другое: чудесные победы наполеоновской армии покорили воображение молодежи, научив ее преклонению перед грубой силой. Неслыханный успех Бонапарта вселил в каждого дерзкого честолюбца надежду подняться до тех же высот.

А между тем этот человек, чей каток проехал по Франции, уравнивая в правах всех французов к вящей их радости, смертельно ненавидел равенство и, как никто другой, способствовал явлению аристократии из недр демократии.

Я не могу согласиться с оскорбительными для Бонапарта лживыми восторгами людей, желающих оправдать все его деяния; я не могу заставить свой разум замолчать, не могу восхищаться тем, что вызывает у меня отвращение или жалость.

Если мне удалось передать то, что я чувствую, мой портрет запечатлеет одного из величайших исторических деятелей, но я отказываюсь рисовать то фантастическое создание, чей образ соткан из выдумок, — выдумки эти родились на моих глазах, и вначале никто не воспринимал их всерьез, но с течением времени глупая и самодовольная доверчивость людская возвела их в ранг истин. Я не желаю выставять себя посмешищем, обмирая от восторга. Я стремлюсь изображать своих героев по совести, не отнимая у них того, что они имеют, но и не награждая их тем, чего они лишены. Если бы успех был

равнозначен невинности, если бы он был в силах развратить и поработить не только современников, но и потомков, если бы грядущие поколения, оставаясь рабами, подобно поколениям ушедшим, оправдывали всякого триумфатора, что случилось бы со справедливостью, какой смысл имело бы самоотвержение? Если добро и зло относительны, деяния человеческие ускользают от нравственного суда.

В столь затруднительное положение ставит беспристрастного писателя человек, осененный блистательной славой; автор в меру сил старается не принимать репутацию героя на веру, стремясь обнажить истину, но слава немедленно застилает картину радужным туманом.

7. Верно ли, что, отняв у нас силу, Бонапарт умножил нашу славу?

Дабы не признавать, что по вине Бонапарта территория Франции и ее могущество уменьшились, нынешняя молодежь утверждает, что, если силы наши его стараниями ослабли, слава лишь окрепла. «Разве молва о нас не гремит во всех уголках земли, — говорят они, — разве неправда, что на всех широтах французов знают и боятся, на них равняются, перед ними заискивают?»

Но разве обязаны мы были непременно выбрать что-то одно: бессмертие либо могущество? Александр Македонский прославил греческую нацию; это не помешало ему основать в Азии четыре империи; язык и цивилизация эллинов распространились от Нила до Вавилона и от Вавилона до Инда. После смерти Александра царство его не только не ослабло, но, напротив, укрепилось. Бонапарт прославил нас во всех широтах, под его командованием французы так властно швырнули к своим ногам всю Европу, что Франция до сих пор живет былыми победами и Триумфальная арка на площади Звезды по сей день внушает уважение, однако в пору наших удач арка эта была свидетельством, ныне же она не более чем летопись. Впрочем, разве дело в одном Бонапарте? Разве Дюмурье со своими рекрутами не преподавал чужеземцам первые уроки, разве Журдан не разбил австрийцев при Флерюсе, Пишгерю не завоевал Бельгию и Голландию, Ош не перешел через Рейн, Массена не выиграл сражение под Дюрихом, а Моро — бой близ Гогенлиндена? — разве все эти блистательные подвиги не приуготовили последующих побед? Бонапарт воссоединил эти разрозненные успехи; он продолжил дело своих предшественников, довершил начатое ими: но разве удалась бы последние чудеса, не будь первых? Бонапарт превосходил все и вся, лишь когда разум его повиновался поэтическому вдохновению.

Триумф нашего сюзерена стоил нам каких-нибудь две или три сотни тысяч человек в год; мы заплатили за него тремя миллионами наших солдат, не больше; сограждане наши отдали ему всего-навсего пятнадцать лет, прожитых

в страданиях и неволе, — кому есть дело до подобных пустяков? Ведь поколения, пришедшие после, осенят блеск славы! А те, кто погибли... — что ж! тем хуже для них! Бедствия, пережитые при республике, послужили спасению Франции, несчастья, перенесенные нами при Империи, принесли пользу несравненно большую — благодаря им Бонапарт стал богом, и этого довольно.

Но мне этого не довольно, и я не паду так низко, чтобы забыть ради Бонапарта всех моих соотечественников; не он породил Францию, а Франция — его. Властитель может быть сколь угодно талантлив и могуществен, но я никогда не соглашусь повиноваться ему, если одним словом он может лишить меня независимости, домашнего очага, друзей; если я не добавляю: денег и чести, то лишь оттого, что деньги, по моему разумению, недостойны того, чтобы за них бороться, на честь же тирания посягнуть не в силах; честь — душа мучеников; нет цепи, которой можно было бы сковать ее, она проходит сквозь стены тюрьмы и уносит с собою все существо пленника.

Вот чего истинный философ никогда не простит Бонапарту: он приучил общество к безвольному подчинению и развратил его нравственность; по его вине люди так исподличались, что невозможно сказать, когда в сердцах вновь проснутся великодушные порывы. Наше бессилие в отечестве и за его пределами, наш нынешний упадок — следствие наполеоновского ига: у нас отняли все, кроме привычки к ярму. Бонапарт погубил даже наше будущее; я ничуть не удивляюсь, если в своей ничтожности и беспомощности мы отгородимся от всей Европы вместо того, чтобы пойти ей навстречу, если, борясь с выдуманными опасностями, якобы грозящими нам извне, будем храбры только в родных пределах, если проникнемся подлой осмотрительностью, чуждой нашему духу и нашей четырнадцативековой истории. Деспотизм, завещанный Наполеоном, обнесет нас крепостными стенами *.

Нынче модно встречать разговоры о свободе сардоническим смехом и видеть в ней, равно как и в чести, не более чем ветхий предрассудок. Я человек не модный и полагаю, что без свободы жизнь невозможна; она одна сообщает смысл нашему существованию; пусть даже я останусь ее последним защитником, я все равно не прекращу отстаивать ее права. Нападать на Бонапарта во имя возврата к прошлому, низвергать его с помощью отживших идей — значит готовить ему новые триумфы. Поборить Бонапарта возможно, только взяв в союзники силу, превосходящую его величием, — свободу: он виноват перед нею, а следовательно, и перед родом человеческим.

8. Бесплезность вышеизложенных истин

Пустые слова! я лучше, чем кто бы то ни было, сознаю их бесплезность. Нынче всякое критическое замечание, каким бы сдержанным оно ни было,

почитаются оскорблением святыни; тому, кто, в отличие от искренних и пылких поклонников Наполеона, не способен кадить всем его несовершенствам, следует набраться мужества, дабы снести вопли черни и не побояться навлечь на себя обвинения в ограниченности ума и неспособности почувствовать величие Наполеонова гения. Мир принадлежит Бонапарту; то, чего не успел захватить сам деспот, покорила его слава; при жизни он выпустил мир из рук, но после смерти вновь завладел им. Говорите что хотите — никто не станет вас слушать. Тени Приамова сына древние вложили в уста следующие строки: «Не суди о Гекторе по его скромной могиле: Илиада, Гомер, обращенные в бегство ахейцы,— вот мое надгробие: я погребен под этими великими деяниями» *.

Ныне Бонапарт уже не реальное лицо, но персонаж легенды, плод поэтических выдумок, солдатских преданий и народных сказок; это Карл Великий и Александр, какими изображали их средневековые эпопеи. Этот фантастический герой затмит всех прочих и пребудет единственно реальным. Бонапарт — плоть от плоти абсолютной власти; он правил нами деспотически — ныне столь же деспотически повелевает нами память о нем. Деспотическая власть памяти даже сильнее: когда Наполеон был на троне, ему иной раз случалось потерпеть поражение, нынче же все покорно склоняют голову под ярмо мертвеца. Он встал на пути у грядущих поколений: какой военачальник сумеет теперь прославиться? разве мыслимо превзойти его на поле брани? Может ли у нас родиться свободное правительство, если он развратил сердца, отбив у них всякую тягу к свободе? Никакой законной власти не удастся более изгнать из людских умов призрак узурпатора: солдат и горожанин, республиканец и монархист, богач и бедняк — все, живут ли они во дворце или в хижине, украшают свои жилища бюстами и портретами Наполеона; бывшие побежденные сходятся в этом с бывшими победителями: в Италии шагу нельзя ступить, чтобы не натолкнуться на его тень, в Германии он встречает тебя повсюду, ибо юношей, воевавших против него, нет уже в живых. Так бывает всегда: столетия садятся перед портретом великого человека и долгими непрерывными трудами завершают его. На сей раз человечеству не угодно было ждать: быть может, оно слишком поторопилось предать картинку тиснению.

Может ли, однако, заблуждаться целый народ? Не скрывается ли за ложью истина? Настало время поставить рядом с негодным изображением идола отделанный рисунок.

Бонапарт велик не своими словами, речами и писаниями, не любовью к свободе, о которой он всегда очень мало заботился и которую даже и не думал отстаивать; он велик тем, что создал стройное государство, свод законов, принятый во многих странах, судебные палаты, школы, мощную, действенную и умную систему управления, от которой мы не отказались и поныне; он велик тем, что возродил, просветил и благоустроил Италию; он велик тем, что вывел Францию из состояния хаоса и вернул ее к порядку, тем, что восстановил

алтари, усмирил бешеных демагогов, надменных ученых, анархических литераторов, нечестивых вольтерьянцев, уличных говорунов, убийц, подвизавшихся в тюрьмах и на площадях, оборванцев, горланивших на трибуне, в клубах и у подножия эшафота, и заставил их всех служить себе; он велик тем, что укротил своевольную чернь, тем, что обязал солдат, бывших ему ровней, и полководцев, бывших ему командирами или соперниками, подчиниться его воле и забыть прежнюю бесцеремонность; более же всего он велик тем, что сам создал себя, что сумел исключительно властью своего гения принудить к послушанию тридцать шесть миллионов подданных в эпоху, когда все иллюзии, окружавшие некогда трон, рассеялись; он велик тем, что победил всех воевавших против него королей, разбил все армии, независимо от их храбрости и опытности, велик тем, что прославил свое имя и среди диких, и среди цивилизованных народов, тем, что превзошел всех завоевателей, каких знало человечество прежде, тем, что десять лет подряд творил чудеса, ныне с трудом поддающиеся объяснению.

Прославленный воитель, поправший все законы победы, покинул наш мир; горстка людей, еще способных понять благородные чувства, может почтить славу, не страшась ее, но и не забывая о том, что слава эта таит в себе опасности, о которых они предупреждали еще много лет назад, и не имея нужды видеть в губителе независимости отцу свободы: незачем приписывать Наполеону достоинства, которыми он не обладал, — природа и без того одарила его достаточно щедро.

Итак, днесь время больше не властно над ним, история его завершилась и началась эпопея — станем же свидетелями его смерти: покинем Европу, последуем за ним в те края, где свершился его апофеоз! Кольхание волн там, где корабли спустят паруса, укажет нам место его исчезновения. «У края земного круга, — говорит Тацит, — когда солнце встает из моря, слышится шум расступающейся перед ним пучины», *sonum insuper immergentis audiri* *.

<Описание острова Святой Елены; Бонапарт пересекает Атлантику; его жизнь в Лонгвуде; болезнь и смерть Бонапарта; его похороны>

14. Мои последние сношения с Бонапартом

Поскольку я пишу историю моей собственной жизни даже тогда, когда рассказываю о жизни других людей, великих либо безвестных, я вынужден по мере необходимости примешивать к повествованию о событиях и людях свою персону. Вспомнил ли хоть однажды обо мне изгнанник, ожидавший в своей тюрьме посреди океана осуществления приговора Господня? Да.

Наполеон не простил своим тюремщикам-королям, но мне он простил: я тоже сын морей, я тоже родился среди скал. Я льщу себя надеждой, что понял Наполеона лучше, чем те, кто чаще видели его и ближе знали.

На Святой Елене Наполеон сменил гнев на милость и больше не держал на меня зла; в свою очередь, и я стал судить его более справедливо; в статье, опубликованной в «Консерватёр» *, я писал:

«Народы называли Бонапарта бичом Божиим, но бич Божий несет на себе отпечаток того великого и вечного владыки, кто в гневе насыляет его на землю: «Ossa arida... dabo vobis spiritum et vivetis — Кости сухие!.. И вложу в вас дух мой, и оживете» *. Родившийся на острове и ожидающий смерти также на острове, равно удаленном от трех континентов, затерянный среди морских просторов, словно Гений Бурь, пророчески изображенный Камоэнсом, Бонапарт не может шевельнуться на своей скале, не поколебав земного шара; всякий шаг, сделанный новым Адамастором в южном полушарии, доносится до слуха жителей полушария северного. Если бы Наполеону удалось обмануть бдительность тюремщиков и скрыться в Соединенных Штатах, одного взгляда, брошенного через океан, достало бы, чтобы смутить покой жителей Старого Света; одно его присутствие на американском берегу привело бы Европу по другую сторону Атлантики в состояние боевой готовности».

Бонапарт прочел эту статью на Святой Елене; рука, которую он почитал рукой врага, пролила целительный бальзам на его раны; он сказал господину де Монтолону:

«Если бы в 1814 и 1815 годах король не опирался на людей слабохарактерных, не умевших противиться суровым обстоятельствам, либо на предателей, готовых ради спасения королевского престола отдать отечество в кабалу Священного союза, если бы у кормила власти встали герцог де Ришелье, мечтавший освободить отечество от чужеземных штыков, и Шатобриан, сделавший в Генте много полезного, Франция вышла бы из тяжелых испытаний могущественной и грозной. Природа наделила Шатобриана священным даром: свидетельство тому — его сочинения. Слог его — не слог Расина, но слог пророка. Если когда-либо он возьмет в руки бразды правления, он, возможно, отклонится от верного пути: эта гибельная судьба постигла многих его предшественников! Но одно бесспорно: гению его пристало все, что исполнено величия и национального духа; он никогда не пошел бы на те подлости, до которых опустились тогдашние властители» ¹⁴.

Вот каковы были мои последние сношения с Бонапартом. Не стану скрывать, слова его «польстили сердцу, слабому в гордыне» *. От множества мелких людишек, которым я оказал крупные услуги, мне не довелось слышать таких благосклонных суждений, какие произнес гигант, которого я осмелился хулить.

⟨Святая Елена после смерти Бонапарта; перенесение праха императора в Париж; посещение Шатобрианом в 1838 г. Канна, где Бонапарт высадился после бегства с Эльбы⟩

¹⁴ «Записки, служащие к написанию Истории Франции при Наполеоне», сочинение г-на де Монтолона. Т. 4. С. 243.

КНИГА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

1. Изменившийся мир

Париж, 1839

Перевести взор от Бонапарта и Империи к тому, что последовало далее,— значит променять существенность на небытие, пасть с вершины горы в бездонную пропасть. Разве после изгнания Наполеона жизнь не прекратила течение свое? Разве пристало мне рассказывать о чем-либо ином? Какой герой, кроме него, достоин нашего внимания? О ком и о чем вести речь, если не о нем? Лишь Данте позволено было воссоединиться в загробном мире с великими поэтами. Как назвать Людовика XVIII преемником императора? Я краснею при мысли, что мне придется затянуть рассказ о тысяче ничтожных тварей (к коим принадлежу и я сам), подозрительных и темных личностей, доживающих свои дни на земле после заката великого светила.

Даже бонапартисты в ту пору оцепенели. Члены их свела судорога; душа покинула новый мир, лишь только Бонапарта не стало; все предметы погрузились во тьму, когда зашло солнце, чьи лучи сообщали им объемность и цвет. В начале этих «Записок» я говорил только о себе; одиночество же сулит повествователю некоторое преимущество; затем мне довелось стать свидетелем чудесных событий, и чудеса эти служили опорой моему рассказу, отныне же мне не придется больше говорить ни о покорении Египта, ни о сражениях при Маренго, Аустерлице и Иене, ни об отступлении из России, ни о завоевании Франции, ни о взятии Парижа, ни о возвращении с Эльбы, ни о битве при Ватерлоо, ни о погребении на Святой Елене; о чем же? о ничтожных персонажах, портреты которых смог бы нарисовать один лишь Мольер, владевший искусством серьезной комедии.

Прежде чем вынести приговор нашему времени, я сурово допросил свою совесть; я спрашивал себя, не из корысти ли я причисляю себя к нынешним ничтожествам, не для того ли я это делаю, чтобы получить право осуждать своих современников, храня в душе уверенность, что уж мое-то имя останется в истории, когда все прочие забудутся. Нет: я уверен, что мы исчезнем из памяти потомков все вместе: во-первых, потому, что лишены жизненных сил, во-вторых, потому, что век, когда нам довелось сделать первые или последние шаги, не способен вдохнуть в нас силы. Поколения искалеченные, ослабевшие, кичливые, изверившиеся, обреченные на милое их сердцу небытие, не властны даровать бессмертие; они бессильны прославить кого бы то ни было; даже прильнув ухом к самым их устам, вы все равно ничего не услышите: сердце мертвых молчаливо.

Впрочем, вот что поразительно: мирок, к описанию которого я приступаю,

стоит гораздо выше того, что пришел ему на смену в 1830 году; сравнительно с теми букашками, которые народились в эту пору, мы были гигантами.

У Реставрации было по крайней мере одно важное преимущество: она положила конец эпохе, когда чувством собственного достоинства обладал во Франции один-единственный человек; в отсутствие этого человека французы вспомнили, что достоинство есть и у каждого из них. Если свобода сменила деспотизм, если мы утратили привычку к раболепству, если перестали попира́ть права человеческого естества, то всем этим мы обязаны Реставрации. Вот отчего, когда пробил последний час личности, я ввязался в драку за обновление рода и сражался за это в меру своих сил.

Итак, к делу! опустимся скрепя сердце до рассказа обо мне и моих коллегах. Вам уже известны грезы моей жизни, теперь вы узнаете ее существенность: если я наскучу вам и низко паду в ваших глазах, не осуждайте меня, читатель, вспомните, о каких материях я веду речь.

2. Годы 1815 и 1816.—〈...〉 Мои речи

〈Шатобриан становится пэром Франции; его выступления в палате пэров: речи о несменяемости судей, о пенсиях для священнослужителей, об освобождении греков от турецкого ига и др.〉

В собрании, перед которым мне приходилось выступать, три четверти моих слов оборачивались против меня. Можно увлечь за собой народную палату, аристократическая же палата глуха. Лишенный слушателей, я был заперт в четырех стенах вместе со стариками, иссохшими останками древней монархии, революции и Империи,— всякая речь, хоть немного отклонявшаяся от общеизвестных банальностей, казалась им безумием. Однажды первый ряд кресел, стоявших перед самой трибуной, заняли почтенные пэры, все как на подбор глухие; приставив к уху слуховой рожок, каждый из них клонил голову к трибуне. Разумеется, я очень скоро их усыпил. Один из старцев уронил рожок; сосед, разбуженный стуком, любезно попытался поднять упавший рожок и упал сам. Самое ужасное, что меня разобрал смех, хотя в тот миг я весьма патетически рассуждал о каких-то высоких материях.

〈О речах других пэров〉

3. «Монархия согласно Хартии»

Труды мои не ограничивались выступлениями в Палате — делом, столь для меня непривычным. Меня страшили теории, бывшие в ходу у многих моих соотечественников, и незнакомство французов с основами представительного правления; вот отчего я написал и опубликовал «Монархию согласно Хар-

тии» *. Брошюра эта — одно из главных моих свершений на политическом поприще: она доставила мне место в ряду именитых публицистов; она помогла французам уяснить природу нашего государственного устройства. Английские газеты превознесли это сочинение до небес; во Франции сильнее всех был поражен аббат Морелле — он никак не мог свыкнуться с переменами в моем слоге и с догматической точностью формулировок.

«Монархия согласно Хартии» — катехизис конституционного правления: это источник, из которого почерпнуты почти все проекты, выдаваемые ныне за совершенную новость. Так, тезис о короле, который *царствует, но не управляет* *, исчерпывающе обоснован в главах IV, V, VI, VII о королевской прерогативе.

Если первая часть «Монархии согласно Хартии» посвящена принципам конституционного правления, то во второй я рассматриваю политику трех кабинетов, правивших Францией с 1814 по 1816 год; в этой второй части содержатся пророчества, с тех пор в полной мере сбывшиеся, и излагаются доктрины, дотоле хранившиеся в тайне. В главе XXVI второй части сказано: «Есть люди, убежденные, что революция, подобная нашей, может завершиться лишь сменой династии; другие, более умеренные, ограничиваются мечтой об изменении в порядке престолонаследия».

Когда я заканчивал брошюру, был обнародован ордонанс от 5 сентября 1816 года *; то был удар по горстке роялистов, собравшихся вместе, дабы восстановить законную монархию. Я поспешил добавить к брошюре постскриптум *, приведший в ярость герцога де Ришелье и любимца Людовика XVIII господина де Деказа.

Когда постскриптум был готов, я бросился к господину Ленорману, моему книгопродавцу: у него я застал алыгвасилов с полицейским комиссаром во главе; они потрудились на славу — арестовали гранки и наложили печати. Не мне, выступавшему против Бонапарта, было бояться господина Деказа *: я воспротивился аресту и заявил, что меня, свободного француза и пэра Франции, можно принудить к подчинению только силой; таковая имелась в наличии, и мне пришлось сдаться. 18 сентября я посетил господина Луи Марта Менье и его коллегу, королевских нотариусов; я подал в их контору протест и потребовал приобщить к бумагам мое заявление касательно ареста моей книги; я желал отстоять права французских граждан. Господин Бод в 1830 году последовал моему примеру.

Затем я вступил в весьма продолжительную переписку с господином канцлером, господином министром полиции и господином прокурором Белларом, которая завершилась 9 ноября — в день, когда канцлер известил меня, что суд первой инстанции вынес решение в мою пользу, после чего я получил арестованную рукопись назад. В одном из писем господин канцлер сообщил мне об отчаянии, в которое привел его неодобрительный отзыв короля о моей

брошюре. Высочайшего неодобрения удостоились главы, где я утверждал, что конституционному государству не нужен министр полиции.

4. Людовик XVIII

Рассказывая о жизни в Генте, я показал, чего стоил Людовик XVIII как потомок Гуго Капета; в брошюре «Король умер: да здравствует король!» я исчислил несомнительные достоинства этого монарха. Но человек сложен: отчего так мало верных портретов? оттого, что в разные эпохи жизни модель выглядит по-разному; минуло десять лет — и вот портрет уже утратил сходство.

Людовик XVIII был не слишком прозорлив; он восхищался или возмущался исключительно по произволу своего настроения. Боюсь, что в религии «христианнейший король», сын своего века, видел лишь эликсир для составления монархического приворотного зелья. Вольнодумное воображение, унаследованное им от деда *, могло бы внушить некоторое сомнение в успехе его предприятий; впрочем, он знал себе цену и, если ему случалось на чем-либо настаивать, всегда посмеивался над собою, хотя и не без хвастовства. Однажды я заговорил с ним о необходимости подыскать другую жену герцогу де Бурбону, дабы не дать угаснуть роду Конде: король весьма горячо поддержал мою идею, несмотря на то, что угасание рода Конде очень мало его тревожило, но кстати заговорил и о графе д'Артуа: «Брат мой может жениться еще раз, но на порядок престолонаследия это не повлияет: его потомство лишь продолжит младшую ветвь, а мое положило бы начало старшей: я не желаю обделять герцога Ангулемского» *. И он приосанился с видом гордым и веселым; меж тем я и в мыслях не имел оспаривать превосходство короля в чем бы то ни было.

Эгоистичный и лишенный предрассудков, Людовик XVIII превыше всего ставил собственное спокойствие: он поддерживал своих министров до тех пор, пока большинство палаты было за них; он смещал их, как только положение их становилось шатким и могло грозить ему каким-либо беспокойством; он не колеблясь отступал, пусть даже для победы необходимо было сделать единственный шаг вперед. Его величие заключалось в терпении; не он шел навстречу событиям — события торопились навстречу ему.

Не будучи жестоким, король не отличался и мягкосердечием; трагические происшествия не удивляли и не трогали его: когда герцог Беррийский попросил у короля прощения за то, что умирает и тем нарушает королевский сон *, Людовик XVIII коротко ответил: «Я уже выспался». Однако, наталкиваясь на сопротивление, этот невозмутимый человек впадал в бешенство; этот холодный, бесчувственный монарх имел привязанности, напоминающие страсть: так, его особенным расположением пользовались поочередно граф д'Аваре, господин

де Блакас, господин Деказ, госпожа де Бальби, госпожа де Кэла; к несчастью, у них осталось слишком много писем короля.

Людовик XVIII явился нам в ореоле древних традиций: подобно королям ушедших эпох, он окружал себя фаворитами. В том ли дело, что в сердце одиноких монархов образуется пустота, которую они спешат заполнить привязанностью к первому попавшемуся существу? В том ли, что они ищут близкие себе, родственные натуры? В том ли, что небеса посылают монархам, уставшим от почестей, друга-утешителя? Или же в том, что их влечет к себе раб, преданный душой и телом, от которого можно ничего не скрывать, раб, привычный и послушный, как одежда или игрушка, верный, как навязчивая идея, подчиняющая себе все чувства, мысли и капризы того, кто попал во власть ее неодолимого чар? Чем ниже общественное положение фаворита и чем ближе его сношения с королем, тем труднее дать ему отставку, ибо он знает тайны, раскрытие которых покрыло бы его повелителя позором: этот любимчик черпает двойное могущество в собственной подлости и в слабостях господина.

Если фаворитом оказывается по воле случая великий человек, вроде неотвязного Ришелье или незаменимого Мазарини, народы, ненавидя их, извлекают пользу из их славы и могущества: они просто-напросто меняют жалкого короля, взошедшего на престол по закону, на славного короля, достойного носить корону по справедливости.

5. *Господин Деказ*

Вечером того самого дня, когда господин Деказ был назначен министром, на набережную Малаке стали съезжаться кареты: вся знать Сен-Жерменского предместья спешила в салон выскочки, дабы засвидетельствовать ему свое почтение. Как француз ни старайся, он всегда останется царедворцем и будет угодничать перед всяким, кто имеет власть.

Очень скоро у нового фаворита объявилось множество сторонников, наговоривших в его честь невообразимое число глупостей. В демократическом обществе для того, чтобы жить припеваючи, достаточно болтать о свободе, объявлять во всеуслышание, что вы прозреваете будущее человечества и прогресс общества, да вдобавок украсить грудь парой-тройкой орденов; в обществе аристократическом, чтобы прослыть гением, достаточно играть в вист и с важным, глубокомысленным видом изрекать общие слова и припасенные заранее остроуты.

Земляк Мюрата, но Мюрата тех времен, когда он еще не стал королем, господин Деказ достался нам в наследство от матери Наполеона *. Он держался непринужденно и предупредительно, никогда не вел себя вызывающе,

он желал мне добра, а я неведомо почему не обращал на него внимания: отсюда пошли все мои невзгоды. Мне следовало знать, что пренебрегать фаворитом опасно. Король осыпал его милостями и наградами *, а впоследствии женил на девице из очень хорошего рода, дочери господина де Сент-Олера. Впрочем, господин Деказ служил монархии на совесть: это он разыскал маршала Нея, когда тот скрывался в Овернских горах *.

Верный традициям трона, Людовик XVIII говорил о господине Деказе: «Я подниму его на такую высоту, что ему будут завидовать самые знатные господа». Слова эти, заимствованные у другого короля *, были самым настоящим анахронизмом: чтобы возвысить другого, надо быть уверенным, что не падешь сам, а что представляли собою монархи в ту пору, когда Людовик XVIII взшел на престол? Обогащать человека они еще могли, но возвеличить — никогда; им оставалось только одно — быть банкирами своих фаворитов.

Госпожа Пренсто, сестра господина Деказа, была женщина любезная, скромная и добрая; король был не прочь в один прекрасный день приударить за нею. Господина Деказа-отца я видел однажды в тронном зале; он был в парадном платье, при шпаге, со шляпой под мышкой и, несмотря на все это, не имел никакого успеха.

Смерть герцога Беррийского довершила разлад между фаворитом и обществом и ускорила его падение. Я сказал, что он «поскользнулся на крови» *, — это вовсе не означает, упаси Боже! что он виновен в убийстве; он просто пал в кровавую лужу, образовавшуюся после Лувелева удара.

б. Меня исключают из числа министров без портфеля.— Я продаю библиотеку и Волчью долину

Я противился аресту «Монархии согласно Хартии», дабы просветить обманутую королевскую власть и отстаивать свободу мысли и печати; я всей душой предался нашим установлениям и хранил им верность.

Брошюру свою я отстоял, но публикация ее навлекла на меня новые невзгоды. Не успел я вступить на политическое поприще, как на меня обрушился град ударов; весь израненный, я задыхался, мне было дурно.

Очень скоро ордонанс, скрепленный подписью Ришелье, исключил меня из числа министров без портфеля и лишил полученного в Генте звания, дотоле считавшегося пожизненным; заодно у меня отняли и причитающуюся министру без портфеля пенсию *: рука, пригревшая Фуше, покарала меня.

Я трижды имел честь быть ограбленным во славу законной монархии: первый раз, когда последовал за потомками Святого Людовика в изгнание, второй, когда вступился своими сочинениями за принципы *пожалованной* монар-

хии; в третий, когда промолчал и не высказался в пользу рокового закона, обсуждавшегося в час военного триумфа, которым Франция обязана моим стараниям *: испанская кампания возвратила солдатам доверие к белому знамени, и, останься я долее у власти, я вновь раздвинул бы наши границы до берегов Рейна.

Я не корыстолюбив и бестрепетно снес потерю министерского жалованья: теперь я ходил по улицам пешком, а если день выдавался дождливый, то, отправляясь в палату пэров, нанимал фиакр. В этом простонародном экипаже, провожаемый сновавшей вокруг чернью, я возвратился в сословие пролетариев, к которому и принадлежу: мой фиакр вознес меня превыше королевской колесницы.

Мне пришлось продать мою библиотеку: господин Мерлен выставил ее на аукционе в зале Сильвестра, на улице Добрых ребят. Себе я оставил только малецкий томик Гомера: поля его хранят наброски переводов с греческого и заметки, написанные моей рукой. Очень скоро мне пришлось резать по-живому: я попросил у господина министра внутренних дел дозволения разыграть в лотерею мой дом в деревне; билеты, числом девяносто и ценою по тысяче франков каждый, продавались в конторе нотариуса господина Дени. Роялисты не пожелали принять участие в лотерее; три билета купила вдовствующая герцогиня Орлеанская, четвертый приобрел под чужим именем мой друг господин Лене, министр внутренних дел, поставивший свою подпись под ордонансом от 5 сентября и давший свое согласие на мое исклучение из числа министров. Покупателям возвратили деньги, однако господин Лене отказался забрать свою тысячу франков и попросил нотариуса раздать ее бедным.

Некоторое время спустя мое имение было продано с молотка на площади Шатле, там, где распродают обычно мебель несостоятельных должников. Мне тяжело далось расставание с Волчьей долиной: я привязался к деревьям, посаженным и вытянувшимся, можно сказать, на моей памяти. Первоначальная цена равнялась 50 000 франкам; господин виконт де Монморанси был единственным, кто осмелился предложить на сто франков больше: «Долина» досталась ему. Он прожил несколько лет в моем уединенном уголке, но я никому не приношу счастья: этого добродетельного мужа уже нет в живых.

<Выступления Шатобриана в палате пэров в 1817—1818 годах; собрания роялистов в доме господина Пье; основание Шатобрианом, Бональдом и Ламенне роялистской газеты «Консерватёр»; статья Шатобриана в номере от 5 декабря 1818 года, посвященная сопоставлению «нравственного» интереса с интересом «материальным» и возвеличивающая долг в противовес корысти; убийство герцога Беррийского; брошюра Шатобриана о его жизни и смерти; рождение сына погибшего герцога, герцога Бордоского; благодаря посредничеству Шатобриана Виллель, будущий глава кабинета, получает пост министра без портфеля, а его неразлучный друг Корбьер — пост министра просвещения; Шатобриана назначают послом в Берлине, куда он и уезжает>

КНИГА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

〈Светская и придворная жизнь в Берлине〉

2. 〈...〉 *Исторический очерк прусского двора и прусского общества*

〈Берлинские знакомства Шатобриана〉

При Фридрихе II, курфюрсте Бранденбургском по прозвищу Железный Зуб, при Иоахиме II, которого отравил еврей Липпольд, при курфюрсте Иоганне Сигизмунде, присоединившем к своим владениям герцогство Прусское, при Георге Вильгельме Нерешительном, который, отдавая врагу свои крепости и позволяя Густаву Адольфу любезничать со своими придворными дамами, говорил: «Что поделаешь? У них пушки»; при Великом курфюрсте, который вступил во владение страной, где не росла трава, ибо вся земля была покрыта пеплом, и принял татарских послов, при которых переводчиком состоял человек с деревянным носом и отрезанными ушами; при его сыне, первом короле Пруссии, который оттого, что жена однажды слишком резко разбудила его, испугался, заболел и умер, — при всех этих монархах, если судить по мемуарам, частная жизнь составлялась из одних и тех же повторяющихся эпизодов.

Фридрих-Вильгельм I, отец великого Фридриха, человек суровый и чудаковатый, был воспитан беженкой госпожой де Рокуль: молодая женщина, которую он полюбил, не сумела смягчить его нрав; гостиная его пропахла табачным дымом. Он назначил шута Гундлинга президентом Королевской берлинской академии; он заточил своего сына в крепость Кюстрин и на глазах у юного принца отрубил голову Кватту: вот частная жизнь того времени. Фридрих Великий, взойдя на престол, влюбился в итальянскую танцовщицу Барбарини — то была единственная женщина, с которой он имел дело: женившись на принцессе Елизавете Брауншвейгской, он в первую брачную ночь удовольствовался игрой на флейте под окном супруги. Фридрих любил музыку и обожал стихи. Интриги и эпиграммы двух поэтов, Фридриха и Вольтера, смущали покой госпожи де Помпадур, аббата де Берни и Людовика XV. Графиня Байрейтская принимала во всем этом участие с любовью истинно поэтической. Литературные собрания в покоях короля, собаки на нечистых креслах, концерты перед статуей Антиноя *, парадные обеды, бесконечные философствования, свобода печати вперемешку с палочными ударами, омары и паштет из угрей, уморившие великого старца *, жаждавшего жить, — вот чем была заполнена частная жизнь в ту эпоху словесности и сражений. И все же Фридрих сообщил Пруссии новую жизнь, создал противовес Австрии и переменил все политические связи и интересы Германии.

При его преемниках наступает пора Мраморного дворца, госпожи Риц и ее сына, графа Александра де ла Марша, пора баронессы Штольценберг, любовницы маркграфа Шведа, а прежде комедиантки, принца Генриха с его подозрительными друзьями * и соперницы госпожи де Риц девицы Фосс, пора маскарадной интриги между юным французом и супругой одного прусского генерала *, наконец, пора госпожи Ф., о чьих похождениях можно прочесть в «Тайной истории Берлинского двора»; кто знает эти имена? кто вспомнит наши? Нынче в столице Пруссии разве что восьмидесятилетние старцы еще не забыли это сошедшее со сцены поколение.

⟨Общение с Вильгельмом фон Гумбольдтом и Адальбертом фон Шамиссо; светская жизнь в Берлине⟩

5. Мои первые депеши.— Господин де Бонне

Около 13 января я послал министру иностранных дел свою первую депешу. Я легко свыкся со своими новыми обязанностями: отчего бы и нет? Разве Данте, Ариосто и Мильтон преуспели в политике меньше, чем в поэзии? Конечно, я не Данте, не Ариосто и не Мильтон, однако, прочтя «Веронский конгресс» *, Европа и Франция могли убедиться, на что я способен.

Мой предшественник в Берлине отзывался обо мне в 1816 году точно так же, как отзывался о господине де Ламете в стихах, которые накропал в начале революции *: тому, кто столь любезен, не стоит хранить свои донесения; не стоит также, не имея таланта дипломата, изъясняться с непосредственностью приказчика. Времена нынче таковы, что ветер может перемениться; того и гляди, человек, которого вы столь гневно клеймили, займет ваше место и, поскольку первейшая обязанность посла — знакомство с архивами посольства, немедленно наткнется на ваши донесения, где ему достается по первое число. Впрочем, что тут говорить! высокие умы, трудившиеся ради торжества правого дела, были слишком заняты, чтобы входить в такие подробности.

⟨Отрывки из донесений господина де Бонне⟩

15 октября 1816 года господин де Бонне сообщал: «Точно таким же образом обстоит дело с мерами, принятыми господином герцогом 4 и 20 сентября *: обе нашли в Европе единодушное одобрение. Удивительно лишь одно: чистейшие и достойнейшие роялисты продолжают восторгаться господином де Шатобрианом, несмотря на то, что он опубликовал книгу, где доказывает, что отныне, согласно Хартии, король Франции обладает лишь нравственным авторитетом, собственной же воли у него нет и влияние его ничтожно. Если бы подобные идеи высказал кто-либо иной, те же роялисты не без оснований сочли бы этого человека якобинцем».

Так меня поставили на место. Впрочем, это хороший урок; такие уроки укрощают нашу гордыню, показывая, что станет с нами, когда нас не станет.

Читая депеши господина де Бонне и некоторых других послов, душой принадлежавших дореволюционной эпохе, я понял, что они не столько обсуждали дипломатические дела, сколько пересказывали анекдоты о светских людях и придворных: депеши их напоминают либо льстивый дневник Данжо, либо сатирический дневник Таллемана. Неудивительно, что занимательные письма моих коллег приходились более по душе Людовику XVIII и Карлу X, нежели мои серьезные послания. И я, подобно моим предшественникам, мог бы посмеиваться и язвить, однако время, когда скандальные происшествия и мелочные интриги были неразрывно связаны с делами, прошло. Какую пользу принес бы я своему отечеству, нарисовав портрет господина Гарденберга, красивого старца, седого как лунь, глухого как тетерев, самовольно отправлявшегося в Рим, находившего во всем забаву, верившего во всевозможные химеры и под конец жизни предавшегося магнетизму под эгидой доктора Корефа? — я не раз встречал его на прогулке в уединенных уголоках; он трусил верхом в компании дьявола, медицины и муз.

Это презрение к легкомысленным корреспонденциям продиктовало мне следующие слова в письме к господину Пакье за № 13 от 13 февраля 1821 года:

«Я нарушил обычай и не стал описывать вам, господин барон, приемы, балы, театральные представления и проч.; я не стал докучать вам быстрыми зарисовками и бесполезными эпиграммами; я попытался отделить дипломатию от сплетен. Эпоха обыденного настанет вновь, когда придет конец царству необычайного; пока же описывать следует лишь то, чему суждена жизнь, а нападать лишь на то, что сулит нам опасность».

(Берлинский парк; знакомство с герцогиней Кумберлендской и переписка с нею; ее письма к Шатобриану; депеши Шатобриана из Берлина; начало работы над «Запиской» по истории Германии; Шатобриан приезжает в Париж, узнает здесь об отставке Виллеля и из солидарности со своими единомышленниками-роялистами также подает в отставку; вскоре Виллель возвращается в правительство, на этот раз в качестве министра финансов, а Шатобриан получает назначение послом в Лондон)

КНИГА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

〈Депеши Шатобриана из Лондона; английские государственные деятели〉

2. 〈...〉 Заседание парламента

〈Беседа Шатобриана с Георгом IV〉

В Англии каждый изъясняется, как может; адвокатской говорильни здесь нет и в помине; у всякого оратора свой тон и своя манера. Всякого выслушивают со вниманием; пускай речь дается оратору с трудом, пускай он заикается, спотыкается, ищет слова — это никого не смущает; достаточно ему выговорить несколько здравых фраз, и аудитория находит, что он произнес *a fine speech*¹⁵. Эти люди остаются такими, какими создала их природа, и в конце концов располагают к себе; они прогоняют скуку. Впрочем, на трибуну поднимается лишь горстка лордов и членов палаты общин. У нас все иначе: мы всегда чувствуем себя героями дня, мы с важным видом болтаем и размахиваем руками, как марионетки. Переход от скрытной и молчаливой берлинской монархии к публичной и шумной монархии лондонской принес мне много пользы: контраст двух столь различных народов наводит на поучительные размышления.

3. Английское общество

Прибытие короля, открытие парламентской сессии, начало празднеств смешали обязанности, дела и удовольствия: министров можно было отыскать только при дворе, на балу или в парламенте. В день рождения Его Величества я был приглашен на обед к лорду Лондондерри; обедал я и на галере лорд-мэра, поднимавшейся вверх по реке до Ричмонда: мне больше по душе миниатюрный Буцентавр из венецианского арсенала, овеянный памятью о дожах и носящий вергилианское имя *. Некогда я, голодный, полураздетый изгнанник, забавы ради, как новый Сципион *, швырял камни в те воды, которые рассекала нынче широкая, начиненная роскошью посудина лорд-мэра.

Случалось мне обедать на востоке города у лондонского господина Ротшильда, младшего брата Соломона *; впрочем, где мне не случалось обедать? Ростбифы там были величественны, как Тауэр, рыбы — такой длины, что не видать хвоста, дамы, на которых я только там и обратил внимание, пели, как Авигея *. Я смаковал токай неподалеку от тех мест, где захлеб пил воду, умирая от голода; полулежа в своей уютной карете на шелковых подушках, я проезжал мимо Вестминстера, в котором провел взаперти целую ночь и вок-

¹⁵ Прекрасная речь (англ.).

руг которого прогуливался, весь забрызганный грязью, в обществе Энгана и Фонтана. Особняк, который я нанял за 30 000 франков, располагался как раз напротив того чердака, где жил мой кузен Ла Буэтарде,— там, облачившись в красный халат, он перебирал гитарные струны, устроившись на убогом наемном ложе, которое перекочевало затем в мою каморку.

Прошли те времена, когда мы плясали под звуки, которые извлекал из своей скрипки советник бретонского парламента; теперь я наслаждался игрой оркестра под управлением Коллине в Эмекской зале, где устраивались публичные балы, покровительствуемые самими знатными вест-эндскими дамами. То было место встречи старых и молодых денди. Среди старых блистал победитель сражения при Ватерлоо, чья слава служила приманкой для дам, танцевавших кадрили; молодых возглавлял лорд Клэмуильям, приходившийся, по слухам, сыном герцогу де Ришелье. Он проделывал поразительные вещи: отправлялся верхом в Ричмонд и возвращался в Эмекскую залу, по дороге дважды свалившись с коня. У него была восхитительная манера произносить слова, приводившая на память Алкивиада *. В лондонском свете мода на слова, обороты и интонации меняется едва ли не с каждой новой сессией парламента, поэтому порядочный человек, еще полгода назад пребывавший в уверенности, что он знает английский язык, внезапно с удивлением обнаруживает, что не знает его вовсе. В 1822 году щеголю полагалось иметь вид несчастный и болезненный; непременными атрибутами его почитались: некоторая небрежность в одежде, длинные ногти, неухоженная бородка, выросшая как бы сама собой, по забывчивости скорбящего мученика; прядь волос, развевающаяся по ветру, проникновенный, возвышенный, блуждающий и обреченный взгляд, губы, кривящиеся от презрения к роду человеческому, байроническое сердце, томящееся скукой, исполненное отвращения к миру и ищущее разгадки бытия.

Нынче все переменилось: денди должен держаться победительно, неприступно и дерзко; должен тщательно следить за своим туалетом, носить усы или бородку, подстриженную ровным полукругом, словно «мельничный жернов» * королевы Елизаветы или сверкающий солнечный шар: щеголя гордым и независимым нравом, он не снимает шляпы, разваливается на диванах, протягивает длинные ноги чуть не в лицо дамам, которые обступают его, обмирая от восхищения; если ему случается ехать верхом, он не расстается с тростью, которую держит прямо, как свечку, и не обращает ни малейшего внимания на коня, очутившегося под ним как бы по недоразумению. Ему необходимо пребывать в совершенном здравии и иметь пять или шесть упоительных привязанностей. Иные денди-радикалы, опережающие свое время, курят трубку.

Впрочем, и эти детали наверняка изменились за то время, которое ушло у меня на их описание. Говорят, что денди самого последнего образца обязан

не знать, жив он или мертв, существует ли окружающий мир, есть ли на свете женщины и следует ли здороваться с ближними. Забавно сравнить нынешних денди с модниками времени Генриха III. «Красавчики эти, — говорит сочинитель «Острова гермафродитов» *, — щеголяют в бархатных чепчиках и на женский манер выпускают из-под них свои длинные, завитые-перезавитые кудри, а крахмальные «мельничные жернова» у них в полфута шириной — ни дать ни взять блюдо с головой Иоанна Крестителя».

Шествуя в покои Генриха III, они «так сильно вихляют всем телом, головой и ногами, что, кажется, вот-вот шлепнутся на землю... Этакую походку почитают они наипрекраснейшей».

Все англичане безумны по натуре или по повадке.

Лорд Клэмуильям быстро вышел из моды: я снова встретил его в Вероне; он стал английским послом в Берлине, но, когда он прибыл туда, меня там уже не было. Недолгое время мы шли одной дорогой, впрочем, с разной скоростью.

В Лондоне ничто не приносило такой удачи, как дерзость, доказательство чему — судьба Д'Орсе, брата герцогини де Гиш: он скакал галопом по Гайд-парку, презирал любые препятствия, играл, бесцеремонно окликал на «ты» знаменитых денди; наградой ему был неопикуемый успех, и, чтобы довершить свой триумф, он похитил целое семейство: отца, мать и детей. *

Модные леди оставляли меня равнодушными; впрочем, одна из них, леди Гвидир, была прелестна: тоном и обхождением она походила на француженку. В ту пору еще блистала красотой леди Джерси. У нее я встречался с представителями оппозиции. Леди Конингхем также принадлежала к оппозиции, и сам король питал тайную склонность к своим прежним друзьям. Среди дам, опекавших Элмекскую залу, не последнее место занимала супруга русского посла.

У графини Ливен * случались довольно смешные столкновения с госпожой д'Осмон и Георгом IV. Славясь решительным нравом и, по слухам, находясь в большой милости при дворе, она очень скоро сделалась весьма модной дамой. Ее считали остроумной, ибо предполагали, что супруг ее таковым не является; это неверно: господин Ливен был много умнее своей жены. Госпожа Ливен — женщина с длинным неприятным лицом, заурядная, скучная, недалекая, не знающая иных тем для разговора, кроме пошлых политических сплетен; впрочем, она совершенно невежественна и прячет скудость мыслей под обилием слов. Попав в общество людей выдающихся, она умолкает; свою ничтожность и бесталанность она облекает видом скучающего снисхождения, словно у нее есть право скучать; низвергнутая ходом времени, но по привычке вмешивающаяся в чужие дела, непрременная участница всевозможных конгрессов явилась из Вероны в Париж, дабы с разрешения почтенных петербургских политиков познакомить французов с ветхими ребячествами стародавней дипломатии. Она ведет обширную частную переписку и, кажется, знает толк

в неудачных браках. Наши новички ринулись в ее гостиную, дабы обучиться тайнам большого света: они поверяют госпоже Ливен свои секреты, и ее стараниями секреты эти немедленно превращаются в смутные слухи. Министры и те, кто мечтают стать ими, гордятся покровительством дамы, имевшей честь видеть господина Меттерниха в те часы, когда великий человек, отдыхая от бремени власти, рукодельничал. В Париже с госпожой Ливен приключилась смешная история. Важный доктринер * пал к ногам Омфалы: «Любовь, ты погубила Троию».

День в Лондоне было принято проводить следующим образом: в шесть утра следовало отправиться за город на прогулку и там позавтракать; затем вернуться в Лондон для второго завтрака, затем — переодеться для прогулки по Бонд-стрит или Гайд-парку, затем снова переодеться для обеда, начинающегося в полвосьмого, еще раз переодеться для поездки в оперу и, наконец, в полночь переодеться в последний раз — для вечера или раута. Сказочное житье! по мне, уж лучше галеры. Высшим шиком считалось, придя на бал в частный дом и не сумев проникнуть в тесную гостиную, застрять на лестнице и там, в толпе, столкнуться носом к носу с герцогом Сомерсетом — блаженство, которое однажды выпало мне на долю. Новое поколение англичан гораздо более легкомысленно, чем мы; при виде show ¹⁶ они теряют голову: если бы парижский палач явился в Лондон, поглазеть на него сбежалась бы вся Англия. Разве не приходили английские леди в восторг от маршала Сульта *, а равно и от Блюхера, которому целовали усы? Наш маршал не Антипатр, не Антигон, не Селевк, не Антиох, не Птолемей, не полководец-царь из тех, что сражались под началом Александра, он образцовый солдат, который проиграл в Испании немало сражений, но награбил немало добра: капуцины¹ платили ему за свою жизнь шедеврами живописи. Впрочем, в марте 1814 года он опубликовал гневную прокламацию против Бонапарта, что не помешало ему несколько дней спустя встретить императора с распростертыми объятиями: затем он причастился в церкви Святого Фомы Аквинского. В Лондоне за шиллинг демонстрируют пару его старых сапог.

Слава быстро достигает берегов Темзы и так же быстро покидает их. В 1822 году весь этот большой город предавался воспоминаниям о Бонапарте: от издевательств над *Ником* * англичане перешли к идиотическому преклонению перед ним. Книжные лавки кишели мемуарами Бонапарта; бюст его стоял на всех каминах, гравюры с его изображением красовались в витринах всех книжных лавок; колоссальная статуя, изваянная Кановой, венчала лестницу в особняке герцога Веллингтона. Неужели нельзя было отыскать иное святилище для скованного Марса? В подобном обожествлении больше тщеславия привратника, нежели гордости воителя. Генерал, вы вовсе не победили Напо-

¹⁶ Зрелище (англ.).

леона при Ватерлоо, вы всего лишь погнули последнее кольцо в цепи жизни, которая разбилась не по вашей вине.

⟨Депеши Шатобриана из Лондона; портреты английских министров; самоубийство английского министра иностранных дел лорда Лондондерри; приготовления к Веронскому конгрессу для обсуждения обстановки в Испании.⟩

«После Венского и Аахенского конгрессов европейские монархи шагу не могли ступить без конгрессов: на них они развлекались и перекраивали земной шар».

Шатобриан просит министра иностранных дел Монморанси послать его на Веронский конгресс, поскольку у него есть важные соображения касательно Испании; получив уклончивый ответ, он обращается с тою же просьбою к Виллелю, тогда министру финансов; тот, не ладящий с Монморанси, обещает свою поддержку и 27 августа 1822 года присылает в Лондон извещение о том, что Шатобриан назначен одним из трех полномочных представителей Франции на Веронском конгрессе⟩

*11. Конец старой Англии.— Шарлотта.— Размышления.—
Я покидаю Лондон*

Где бы я ни был, бури преследуют меня. Вместе с лордом Лондондерри испустила дух старая Англия, до сих пор противившаяся наступлению нового века. На смену покойному министру пришел господин Каннинг, из честолюбия изъяснявшийся на трибуне языком пропагандиста. Затем настала пора герцога Веллингтона, консерватора-разрушителя: когда общество обречено, рука, призванная строить, принимается ломать. Лорд Грей, О'Коннел, все эти творцы руин, поочередно приложили руку к крушению старых установлений. Парламентская реформа, освобождение Ирландии — все эти новшества, сами по себе замечательные, в беспокойную эпоху сделались источниками распада. Страх довершил беду: не будь англичане так напуганы грозным будущим, они могли бы более или менее успешно противостоять ему.

Стоило ли англичанам ободрять наши последние смуты? Ничто не угрожало им, и они могли спокойно заниматься своими внутренними неурядицами. Стоило ли Сент-Джеймскому кабинету бояться отделения Ирландии? Ирландия — не что иное, как шлюпка, идущая на буксире за английским кораблем: перережьте веревку, и шлюпка, оставшись в одиночестве, затеряется в волнах. Сам лорд Ливерпуль питал мрачные предчувствия. Однажды я обедал у него: встав из-за стола, мы беседовали у окна с видом на Темзу; ниже по течению в тумане и дыму высилась громада города. Я выразил хозяину дома свое восхищение прочностью английской монархии, зиждущейся на равновесии свободы и власти. Почтенный лорд простер руку в сторону города и произнес: «Что может быть прочного в этих огромных городах? Достаточно одного крупного бунта в Лондоне, и все погибнет».

Сейчас мне кажется, будто подходит к концу мое путешествие по Англии, подобное тому, какое я совершил некогда по развалинам Афин, Иерусалима,

Мемфиса и Карфагена. Обозревая историю Альбиона, вспоминая знаменитостей, которых родила английская земля, и видя, как все они один за другим уходят в небытие, я испытываю горестное смятение. Что случилось с теми блестящими и бурными эпохами, когда на земле жили Шекспир и Мильтон, Генрих VIII и Елизавета, Кромвель и Вильгельм, Питт и Берк? Все это в прошлом; гении и ничтожества, ненависть и любовь, роскошь и нищета, угнетатели и угнетенные, палачи и жертвы, короли и народы — все спит в тишине, все покоится во прахе. Как же жалка наша участь, если такая судьба постигает самых ярких представителей рода человеческого, и дух их, призрак старых времен, бродит среди потомков, лишенный собственного бытия и не ведающий, жил ли он когда-либо!

Сколько раз в течение какой-нибудь сотни лет Англию разрушали! Сколько революций довелось ей пережить, пока не настала пора самой великой и глубокой революции, действие которой продлится и в будущем! Я видел прославленный британский парламент в пору его расцвета: что станет с ним? Я видел Англию в пору, когда в ней царили старинные нравы и старинное благоденствие: одинокие церквушки с колоколенками, сельские кладбища Грея, узкие песчаные тропы, луга, где пасутся коровы, вересковые заросли, где полно овец, парки, замки, города, редкие леса, редкие птицы и морской ветер — вот что такое старая Англия. Как сильно отличалась она от Андалузии, где среди алоэ и пальм, в навевающих негу развалинах мавританского дворца, я повстречал древних христиан и юную любовь *.

Quid dignum memorare tuis, Hispania, terris
Vox humana valet?

Как достойно воспеть твою, Испания, землю,
Слову певца? ¹⁷

Как сильно отличалась Англия от римской кампаньи, чьи чары непреодолимо влекут меня к себе; как непохожи были ее волны на те, что омывают утес, где Платон беседовал с учениками, — Сунион, где я слышал песню кузнечика, который напрасно молил Минерву возвратить ему очаг посвященного ей храма; но и такая, окруженная кораблями, покрытая стадами и поклоняющаяся своим знаменитостям, Англия оставалась прелестной и грозной.

Ныне над лугами стелется черный дым заводов и фабрик, тропы обратились в железнодорожные колеи, по которым вместо Мильтона и Шекспира скитаются паровые котлы. Рассадники наук, Оксфорд и Кембридж, пустеют: их безлюдные коллежи и готические часовни производят удручающее впечатление; в их монастырях рядом со средневековыми надгробьями покоятся в безвестности мраморные анналы древних народов Греции — руины под сенью руин.

¹⁷ Клавдиан. Похвала Серене; пер. М. Гаспарова.

Этим памятникам, обреченным на забвение, я посвящал свои дни, переживая вновь возвратившуюся ко мне весну; я вторично прощался с юностью на тех же берегах, где некогда расстался с нею: внезапно, подобная светилу, которое наперекор бегу времени поднялось среди ночи и рассеяло мрачную тьму, передо мной явилась Шарлотта. Если я еще не слишком утомил вас, отыщите в моих «Записках» рассказ о впечатлении, произведенном на меня внезапной встречей с этой женщиной в 1822 году *. В те давние времена, когда она отличала меня, я еще не был знаком с многочисленными англичанками, окружившими меня годы спустя, когда я стал славен и могуществен: их почести оказались так же мимолетны, как мое благоденствие. Сегодня, когда целых шестнадцать лет отделяют меня от той поры, когда я был послом в Лондоне, когда я пережил столько новых утрат, взоры мои вновь обращаются к дочери страны, где появились на свет Дездемона и Джульетта: отныне память моя, хранящая ее образ, ведет отсчет от того дня, когда ее неожиданное явление оживило прошедшее в моем сердце. Подобно новому Эпимениду, очнувшемуся от долгого сна, я впиваюсь взглядом в маяк, сияющий тем более ярко, что все прочие огни давно погасли — все, за исключением одного-единственного, чей свет не погаснет и после моей смерти.

Мой рассказ о Шарлотте еще не окончен: с частью своего семейства она посетила меня во Франции в 1823 году, когда я был министром. В ту пору внимание мое всецело поглотила война, призванная решить участь французской монархии, и таково необъяснимое ничтожество человеческой природы, что голосу моему, вероятно, чего-то недоставало: во всяком случае, перед отъездом в Англию Шарлотта написала мне письмо, полное обиды за мой холодный прием. Я не осмелился ни ответить ей, ни отослать назад те наброски, которые она вручила мне и которые я пообещал возвратить с продолжением. Если бы она в самом деле имела серьезные основания обижаться, я бросил бы в огонь свой рассказ о первом моем пребывании на другом берегу Ла-Манша.

Мне не раз приходила в голову мысль отправиться в Англию и выяснить правду, но разве я, не находящий сил даже для того, чтобы посетить родные скалы, среди которых я завещал похоронить себя, могу вернуться туда? Нынче я боюсь сильных ощущений: отняв у меня юные годы, время уподобило меня солдатам, оставившим конечности на полях сражений; кровь, бегущая по моим жилам более коротким путем, так стремительно омывает мое старое сердце, что это средоточие радостей и печалей трепещет, словно вот-вот разорвется. Желание сжечь страницы, посвященные Шарлотте, хотя я повествую о ней с религиозной почтительностью, перемешивается в моей груди с желанием уничтожить все мои «Записки» целиком: если бы они принадлежали мне или я мог их выкупить, я не устоял бы перед искушением. Мною владеет столь сильное отвращение ко всему на свете, столь сильное презрение к настоящему и ближайшему будущему, столь твердое убеждение, что отныне в течение

нескольких веков публику будут составлять одни ничтожества, что я краснею от стыда, тратя последние годы жизни на рассказ об ушедшем, на изображение исчезнувшего мира, чье имя и язык никто более не сможет понять.

Исполнение желаний обманывает человека так же горько, как и разочарование: идя против своей натуры, я пожелал отправиться в Верону на конгресс; воспользовавшись пристрастностью господина де Виллеля, я вынудил его навязать свою волю господину де Монморанси. И что же! истинная склонность моего сердца влекла меня совсем не к тому, чего я добился; без сомнения, я был бы раздосадован, если бы мне пришлось остаться в Англии, но вскоре желание повидать госпожу Саттон и совершить путешествие по Соединенному Королевству возобладало бы над напускным тщеславием, вовсе ко мне не идущим. Господу было угодно рассудить иначе, и я отправился в Верону; отсюда перемены в моей жизни: портфель министра, война в Испании, мой триумф и мое падение, за которым вскоре последовало и падение монархии.

Один из престелных мальчуганов, за которых Шарлотта просила меня в 1822 году, недавно навестил меня в Париже: ныне он зовется капитаном Саттоном, у него очаровательная молодая жена; он рассказал мне, что матушка его тяжело больна и провела последнюю зиму в Лондоне.

8 сентября 1822 года я сел на корабль в Дувре, в том самом порту, откуда двадцать два года назад отплыл господин Лассань, житель Невшателя. С того первого отплытия до сегодняшнего дня, когда я пишу эти строки, прошло тридцать девять лет. Вглядываясь и вслушиваясь в прожитую жизнь, мы, кажется, ищем на морской глади след исчезнувшего за горизонтом корабля или слышим звон колокола, доносящийся со старой, скрывшейся из глаз колокольни.

КНИГА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

⟨Война в Испании; командующий французским экспедиционным корпусом герцог Ангулемский приписывает честь спасения испанской монархии себе одному, хотя инициатором войны был министр иностранных дел Шатобриан; 6 июня 1824 года возглавляющий министерство Виллель внезапно извещает Шатобриана об отставке короткой запиской, «которую порядочный человек постыдился бы отослать выгнанному из дома негодяю лакею»; Шатобриан переходит в оппозицию.⟩

2. *Оппозиция берет мою сторону*

Мое падение наделало шуму: даже те, кого оно вполне устроило, порицали форму, в какой мне было отказано. Позже я узнал, что господин де Виллель колебался; дело решил господин де Корбьер: «Если он вернется в совет, я немедленно выйду оттуда». Выйти, естественно, предоставили мне. Я не

в обиде на господина де Корбьера: я раздражал его, он устроил так, чтобы меня прогнали,— и правильно сделал.

Вскоре после моей отставки на страницах «Журналь де Деба» были напечатаны слова, делающие честь господам Бертенам:

«Во второй раз на долю господина де Шатобриана выпадает почетная отставка.

В 1816 году он был лишен поста министра без портфеля за то, что в своем бессмертном сочинении «Монархия согласно Хартии» подверг критике знаменитый ордонанс от 5 сентября, узаконивший роспуск «Бесподобной палаты» 1815 года. Господин де Виллель и господин де Корбьер были в ту пору простыми депутатами, возглавлявшими роялистскую оппозицию, и именно своим выступлением в их защиту господин де Шатобриан навлек на себя министерский гнев.

Ныне, в 1824 году, господин де Шатобриан снова лишился министерского звания, и изгнали его господин де Виллель и господин де Корбьер, ставшие министрами. Странная вещь! в 1816 году он был наказан за то, что поднял голос, в 1824 году — за то, что промолчал; его преступление состоит в том, что при обсуждении закона о рентах он хранил молчание *. Не всякая немилость — несчастье; общественное мнение, этот верховный судья, подскажет нам, к какому роду следует отнести отставку господина де Шатобриана; оно разъяснит нам также, кому принес больше вреда вчерашний ордонанс — победителю или побежденному.

Кто мог бы подумать в начале сессии, что мы погубим таким образом все хорошее, чего достигли благодаря испанской кампании? В чем нуждались мы в этом году? Только в законе о семилетнем сроке * (но законе полном, без изъятий) и в бюджете. Положение наше в Испании, на Востоке и в Америке, продолжай мы действовать осторожно и негромко, полностью разъяснилось бы; нас ожидало прекраснейшее будущее, но министры захотели сорвать плод незрелым; он не желал падать, и они решили дополнить поспешность насилием.

Гнев и зависть — дурные советчики; тому, кто правит государством, негоже доверяться страстям и бросать свой корабль из стороны в сторону.

Р. S. Сегодня вечером закон о семилетнем сроке утвержден палатой депутатов. Можно сказать, что доктрины господина де Шатобриана торжествуют, несмотря на его отставку. И война в Испании, и этот закон, которым господин де Шатобриан давно желал дополнить наши установления, навсегда останутся неразрывно связанными с его именем. Мы живо сожалеем, что в субботу господин де Корбьер не дал слова тому, кто в это время еще был его прославленным коллегой. Палата пэров услышала бы, по крайней мере, лебединую песнь.

Что же до нас, мы с большим сожалением вступаем вновь на путь борьбы,

с которым надеялись навсегда распротиться благодаря согласию всех роялистов; однако честь, политическая верность, благо Франции велят нам, не колеблясь, поступить так, как мы поступаем».

То был первый шаг. Господина де Виллеля поначалу это не слишком встревожило; он не сознавал могущества общественного мнения. Чтобы свалить его, потребовались годы, но в конце концов он пал.

〈Шатобриан сообщает послам Франции в разных странах о своей отставке; смерть Людовика XVIII; коронавание Карла X в Реймсе и размышления Шатобриана по этому поводу, записанные по свежим следам, 26 мая 1825 года: процедура коронации навсегда скомпрометирована коронаванием Наполеона, ибо первенство здесь, как и везде, остается за ним: «Ныне фигура Наполеона довлеет всему. Она вырастает за событиями и идеями: листки жалкой эпохи, до которой мы дожили, съезживаются под взглядами императорских орлов»; брошюра Шатобриана «Король умер: да здравствует король!» с описанием коронации: «Не то чтобы я хоть сколько-нибудь верил в эту церемонию; но, поскольку законная монархия ни в ком не находила поддержки, следовало употребить все возможные средства, чтобы ей эту поддержку оказать»〉

7. *Мои бывшие противники объединяются вокруг меня.—
Перемены в составе моих читателей*

Париж отпраздновал последнее свое торжество; пора снисхождения, примирения, милостей миновала: мы остались наедине с печальной истиной.

Когда в 1820 году цензура прекратила существование «Консерватёр» *, я никак не думал, что семь лет спустя продолжу прежние споры в иной форме и на иных страницах. Люди, сражавшиеся бок о бок со мною в «Консерватёр», требовали, как и я, свободы думать и писать; как и я, они находились в оппозиции и опале; они именовали себя моими друзьями. Придя в 1820 году к власти, более моими, чем своими собственными трудами, они немедленно воспротивились свободе печати: из гонимых они сделали гонителями; они перестали быть и зваться моими друзьями, они принялись утверждать, что начиная с 6 июня 1824 года, дня моей отставки, пресса заразилась вольнодумством; у них короткая память: если бы они перечли свои собственные статьи, написанные против другого министерства и за свободу печати, если бы вспомнили собственные свои убеждения прежних лет, им пришлось бы признать, что, по крайней мере в 1818 и 1819 годах, вольнодумство сеял не кто иной, как они сами.

Напротив, прежние мои противники сблизились со мною. Я больше преуспел в примирении сторонников независимости с законной королевской властью, чем в примирении слуг трона и алтаря с Хартией. Состав моих читателей переменился. Раньше я предупреждал правительство об опасностях, которыми чревата народная стихия; теперь я был вынужден предупреждать его об опасностях, которыми чревата абсолютная власть. Привыкнув уважать публи-

ку, я не выдавал в свет ни единой строки, которую бы не отделал так тщательно, как только мог: иные из этих статей дались мне едва ли не тяжелее, чем самые крупные мои сочинения. Я трудился не покладая рук. Честь и интересы отечества вновь призвали меня к оружию. Я дожид до тех лет, когда люди нуждаются в отдыхе; но если судить о возрасте по все крепнувшей ненависти, которую внушали мне угнетение и подлость, я мог бы счесть, что ко мне возвратилась молодость.

Я собрал вокруг себя писателей-единомышленников, дабы сражаться сообща. Среди них были пэры, депутаты, чиновники, начинающие сочинители. Завсегдатаями моего дома сделались господя Монталиве, Сальванди, Дювержье де Оран и многие другие — они кое-чему научились у меня и теперь выдают за новейшие теории представительной монархии те положения, о которых впервые услышали от меня и которые можно отыскать во всех моих сочинениях. Господин де Монталиве нынче министр внутренних дел и любимец Филиппа; тем, кто любит следить за извилистыми путями человеческой судьбы, будет небезынтересно прочесть следующую записку:

Господин виконт,

Честь имею послать вам список ошибок, замеченных мною в списке приговоров Королевского суда, вам сообщенном. Я сам выверил его вторично и надеюсь, что могу ручаться за точность.

Благоволите, господин виконт, принять уверение в глубоком уважении, которое питает к вам преданный ваш сподвижник и горячий поклонник

Монталиве».

Все это не помешало моему преданному сподвижнику и горячему поклоннику господину графу де Монталиве, в свое время пламенному защитнику свободы печати, заключить меня как пособника этой свободы в темницу господина Жиске *.

Я писал свои полемические статьи пять лет и наконец одержал победу; краткий их пересказ позволит понять, на что способны идеи в борьбе с фактами и даже с властью. Я получил отставку 6 июня 1824 года; 21 июня я выступил на поле брани и оставался в строю до 18 декабря 1826 года; когда я начинал, я был наг, бос и одинок, но я победил. Приводя здесь выдержки из своих статей, я пишу историю отечества.

*8. Выдержки из моих полемических статей, написанных после отставки **

«Мы с честью и славой вели войну с опасным противником, имея в тылу свободную печать; впервые народы могли наблюдать это благородное зрелище в государстве монархическом. Мы скоро раскаялись в нашем великодушии.

Мы не опасались газетчиков, когда они могли помешать лишь победам наших солдат и полководцев; но стоило журналистам заговорить о чиновниках и министрах, им немедленно заткнули рот.

Если те, кто стоят у кормила власти, пребывают, судя по всему, в полном неведении касательно способности французов к серьезным свершениям, то столь же несведущи они в изящных прикрасах, неотъемлемых от жизни цивилизованных наций.

Законная монархия обходится с художниками так щедро, как не обходилось правительство узурпатора, но как распределяет оно свои благодеяния? Кажется, будто раздатчики вспомоществований, природой и склонностями обреченные на забвение, ненавидят людей славных; собственная их стезя столь темна, что близ них бледнеет и чужая слава; можно подумать, что они осыпают золотом искусство и свободу нарочно для того, чтобы задушить и погубить их.

Добро бы еще то прокрустово ложе, на которое нынче пытаются уложить Францию, было устроено с тою тщательностью, с какой отделаны шедевры, радующие вооруженных лупой ценителей,— виртуозность эта могла бы вызвать хотя бы минутный интерес; но нет — перед нами поделка ничтожная и топорная».

«Мы уже сказали, что политика нынешнего правительства оскорбляет чувства французской нации; попробуем доказать, что она противоречит также и духу наших установлений.

Конституционная монархия чтит общественные свободы; она видит в них опору монарха, народа и законов.

У нас под представительным правлением разумеют нечто совсем иное. Составляется компания (или даже — конкуренции ради — две соперничающие компании) для подкупа газет. На неподкупных редакторов без зазрения совести подают в суд; их надеются опорочить с помощью скандальных процессов и обвинительных заключений. Так как порядочным людям эта возня претит, для защиты роялистского министерства нанимают пасквилянтов, некогда поливавших грязью королевское семейство. Дело находится всем, кто служил в старой полиции и толпился под дверью императорских покоев; так у наших соседей капитаны вербуют матросов в кабаках и притонах. Каторжники, именуемые свободными литераторами, подвизаются в пяти-шести купленных с потрохами газетах; их-то писания и именуются на языке министров *общественным мнением*.

Монархия была без труда восстановлена во Франции потому, что за ней стоит вся наша история, потому, что корона венчает представителей рода, являющегося почти ровесником нации, рода, которому нация обязана цивилизацией и просвещением, свободами и бессмертием; однако время лишило нашу

монархию всех прикрас. Пора вымыслов в политике прошла; ныне правительству, зиждущемуся на поклонении, обожании и тайне, не удержаться у власти: каждый знает свои права; свершается лишь то, что внятно разуму; все, вплоть до милостей, последней иллюзии абсолютных монархий, взвешивается и оценивается рассудком.

Нет сомнений: нации вступают в новую эру; будет ли она счастливой? Это ведомо одному Провидению. Что же до нас, наш удел — готовиться к будущим событиям. Не стоит думать, будто в нашей власти двинуться вспять: наше единственное спасение — в Хартии.

Наша конституционная монархия родилась не из писанных законов, хотя в ее основе печатный текст Хартии; подобно старинной монархии наших отцов, она — дитя времени и истории.

Отчего свободе не воцариться в здании, возведенном деспотизмом и носящем на себе его печать? Победа, до сих пор еще, можно сказать, не забывшая трехцветного знамени, укрылась в палатке герцога Ангулемского; законная монархия обитает в Лувре, хотя орлы еще не покинули его» *.

Вот очень краткий — хотя он мог бы быть и еще короче — образец моих полемических брошюр и статей в «Журналь де Деба»: вы найдете здесь все принципы, которые провозглашаются сегодня.

(Шатобриан отвергает пенсию министра без портфеля, которой его лишили при отставке и которую ему решил вновь пожаловать Виллель; он принимает участие в работе комитета в поддержку восставших греков; издатель Лавока начинает выпуск полного собрания сочинений Шатобриана; Шатобриан отправляется в Лозанну вместе с женой для поправки ее здоровья)

12. Продолжение моей газетной полемики

Я вновь взялся за перо. Всякий день у меня случались стычки с министерской челядью, всякий день я вел бой на переднем краю, далеко не всегда имея дело с честным противником. В первые два столетия от основания Рима всадников, которые дурно исполняли свой долг оттого, что были чересчур дородны либо недостаточно храбры, приговаривали к кровопусканию: исполнение этого приговора я брал на себя.

«Мир вокруг нас меняется *, — писал я, — новые народы выступают на сцену истории; древние народы возрождаются среди руин; удивительные открытия предвещают близкую революцию в мирных и военных ремеслах: религия, политика, нравы — все становится иным. Замечаем ли мы это движение? Идем ли вперед вместе с обществом? Меняемся ли вместе с эпохой? Готовимся ли сохранить свое верховенство в цивилизации преобразившейся или преобразяющейся? Нет: люди, стоящие во главе нашего государства, так же чужды европейскому порядку вещей, как если бы они принадлежали к недавно

открытым племенам Центральной Африки. Что же их волнует? Биржа! да и ее они знают скверно. Неужели мы обречены нести на себе груз безвестности и наказание за то, что некогда несли груз славы?»

Сделка, касающаяся Сан-Доминго *, дала мне повод напомнить о некоторых прочно забытых статьях нашего общественного права.

Рассуждая о высоких материях и предсказывая преобразование мира, я возражал противникам, которые говорили мне: «Как! Неужто мы *однажды сделаемся республиканцами?* *Вздор! Кому нынче нужна республика?* * и проч. и проч.»

«Принять сторону монархии, — отвечал я, — велит мне разум. Конституционную монархию я почитаю наилучшим из возможных способов правления для нынешнего общества.

Ошибается, однако, тот, кто, желая свести все к личностям, полагает, что я безмерно боюсь республиканского строя.

Разве со мной станут обходиться хуже, чем обходились при монархии? Я дважды или трижды лишился всего во имя монархов либо по их приказу и претерпел от них ничуть не меньше жестокостей, нежели от императора, который был готов сделать для меня все, что угодно, стоило мне только пожелать! Рабство мне ненавистно; природная независимость делает меня поклонником свободы, каковую я предпочитаю видеть сопряженной с монархическим правлением, но полагаю возможной и при правлении народном. У кого меньше оснований бояться будущего, чем у меня? Моего богатства не в силах отнять ни одна революция: у меня нет ни должности, ни чина, ни состояния, но всякое правительство, достаточно умное, чтобы не презирать общественное мнение, будет вынуждено считаться со мной. Народные же правительства сильны прежде всего талантами отдельных политиков и ценят личные достоинства каждого гражданина. Я всегда буду уверен в уважительном отношении ко мне общества, ибо никогда не совершу ничего такого, что лишило бы меня этого уважения; возможно, враги оценят меня более справедливо, чем так называемые друзья.

В конечном счете я не боюсь республики и не питаю неприязни к республиканской свободе: я не король; никто не собирается венчать меня на царство; не о себе я пекусь.

При другом министерстве * и по поводу его действий я сказал: «Однажды утром мы выйдем в окно и увидим, как монархия уходит от нас».

Сегодня я говорю нынешним министрам: «Если вы будете действовать так, как действуете сейчас, революция, которая рано или поздно разразится, *сведется к воскрешению Хартии, где не потребуются изменить ничего, кроме нескольких слов*».

Я подчеркнул последние слова, чтобы обратить внимание читателей на это поразительное предсказание. Даже сегодня, когда мудрецы пустились во все тяжкие и никто не лезет за словом в карман, эти республиканские идеи,

высказанные роялистом в эпоху Реставрации, звучат смело. В том, что касается будущего, так называемые прогрессисты не изобрели ровным счетом ничего нового.

13. Письмо генерала Себастиани

Мои последние статьи воодушевили всех, вплоть до господина де Лафайета, который в знак одобрения прислал мне листок лавра. Убеждения мои, к великому изумлению тех, кто не умел этого предвидеть, оказали действие на самых разных людей, от книгопродавцев, приславших ко мне депутацию, до членов палаты, поначалу крайне чуждых моим взглядам. Доказательством может служить приведенное ниже письмо, в котором удивительнее всего подпись *. Достойны внимания лишь общий смысл этого письма и перемены, случившиеся со взглядами и положением автора и адресата; другое дело — сравнение меня с Боссюэ и Монтескье; такие комплименты наш брат сочинитель слышит сплошь и рядом, и значат они ровно столько же, сколько уподобление того или иного министра Сюлли либо Кольберу.

«Господин виконт,

Позвольте мне примкнуть к хору голосов, выражающих вам искреннее восхищение: я слишком давно испытываю это чувство, чтобы удержаться от желания поделиться им с вами.

Величие Боссюэ соединяется в вас с глубиной Монтескье: вы унаследовали их перо и их гений. Статьи ваши содержат важные уроки, необходимые любому государственному деятелю.

Вы ведете небывалую войну, и подвиги ваши приводят на память могущественного полководца, прославленного во всем мире. Да будут ваши победы более долговечны, чем его: от них зависят судьбы родины и человечества.

Все, кто, подобно мне, исповедуют принципы конституционной монархии, горды тем, что нашли в вас великодушного глашатая своих убеждений.

Примите, господин виконт, новые уверения в моем глубоком почтении.

Орас Себастиани.

Воскресенье, 30 октября».

Так в миг триумфа склоняли передо мною голову друзья, враги и соперники. Все трусы и честолюбцы, полагавшие, что со мною покончено, увидели, что из вихря схватки я выхожу осиянный светом победы; то была моя вторая война в Испании; я торжествовал над всеми партиями внутри страны, как восторжествовал над внешними врагами Франции. Тогда я обезоружил господина фон Меттерниха и господина Каннинга своими донесениями; теперь мне пришлось рискнуть собственной своей персоной.

⟨Благодаря выступлениям Шатобриана правительству не удастся принять закон о преследовании прессы; в связи с этим происходят манифестации, в которых Шатобриан усматривает дурной знак для монархии; Виллель, глава министерства, ведет себя все более деспотично и вызывает в народе и парламентской оппозиции все большую ненависть; в связи с намерением короля присутствовать на параде Национальной гвардии в апреле 1827 года Шатобриан пишет ему письмо, предупреждая о том, что если кабинет министров не уйдет в отставку, парад может окончиться народными волнениями; Виллеля встречают на параде криками: «Долой!», в ответ он предлагает распустить парижскую национальную гвардию, и король утверждает это решение своим ордонансом; всеобщее негодование приводит к падению министерства Виллеля 2 декабря 1827 года; при формировании нового министерства король прочит Шатобриана на пост министра флота; сам Шатобриан, мечтающий стереть нанесенное ему оскорбление, согласен лишь на пост министра иностранных дел, которого его некогда незаслуженно лишили, но это место уже занято, и Шатобриана с его согласия назначают послом в Рим)⟩

17. Рассмотрение одного упрека

Прежде чем переменить тему, я прошу позволения возвратиться назад и снять с моей души тяжкий груз. Мне нелегко дался подробный рассказ о моей многолетней расправе с господином де Виллелем. Меня обвиняли в том, что я способствовал крушению законной монархии; мне следует рассмотреть этот упрек и решить, насколько он справедлив.

События, свершившиеся в тот период, когда я был министром, безразличны для судеб Франции: добро, которое я, возможно, принес, зло, которое причинили мне, отразились на участи всех французов. По странному и необъяснимому совпадению, по одному из тех тайных законов, которые переплетают иной раз великие судьбы с судьбами заурядными, Бурбоны благоденствовали, пока снисходили до меня и прислушивались к моим советам, что, впрочем, ничуть не означает, будто я вслед за поэтом вижу в своем красноречии «подавание короне» *. Лишь только кому-то потребовалось сломать тростник, произраставший у подножия трона, царский венец дрогнул, а вскоре пал с коронованной главы: часто, сорвав травинку, мы обрушиваем целое здание.

Пусть каждый объясняет как хочет эти бесспорные факты; если они сообщают моей политической карьере относительную ценность, какой она сама по себе вовсе не обладает, то это отнюдь не преисполняет меня гордостью; я не испытываю мстительной радости оттого, что случай вписал мое кратковременное имя в летопись веков. Какой бы пестрой чередой ни сменялись события в моей богатой приключениями жизни, куда бы ни забрасывала меня судьба и с кем бы ни сталкивала, вдалеке всегда мязчил грозный и печальный финал.

...Juga caepta moveri
Silvarum, visaeque canes ululare per umbram ¹⁸.

¹⁸ Вздвигнув, на склонах леса закачались, земля загудела, // Псов завыванье из тьмы донеслось (*лат.*; Вергилий, Энеида, VI, 256—257; пер. С. Ошерова).

Меня уверяют, что если над головой моей сгустились тучи, то виноват в этом только я сам: дабы отомстить за то, что казалось мне оскорблением, я внес повсюду разлад, и разлад этот в конце концов привел к крушению монархии. Посмотрим, правда ли это.

Господин де Виллель заявил, что не может управлять страной ни со мной, ни без меня. В первом он ошибался, во втором был прав, ибо в тот час, когда он произнес эти слова, люди самых различных убеждений поддерживали меня.

Господин председатель совета никогда толком не понимал меня. Я был искренне привязан к нему; я помог ему впервые войти в состав министерства, что доказывают благодарственная записка господина герцога де Ришелье и другие приведенные мною письма. В бытность мою полномочным послом в Берлине я подал в отставку тотчас, как узнал об отставке господина де Виллеля. Когда он вторично сделался министром, его убедили, что я претендую на его место. У меня этого и в мыслях не было. Я не принадлежу к породе дерзких храбрецов, глухих к голосу долга и разума. По правде говоря, я вовсе не честолюбив; я свободен от этой страсти, ибо мною владеет страсть совсем иного рода. Мне случалось попросить господина де Виллеля представить королю какое-нибудь важное донесение, ибо мне было приятнее побывать в готической часовне на улице Святого Юлиана Нищebroда, чем слоняться по дворцовым коридорам; сумеет господин де Виллель постичь мое ребяческое чистосердечие и высокомерное презрение к власти, он вполне успокоился бы насчет моих честолюбивых помыслов.

В жизни положительной ничто не радовало меня, кроме, пожалуй, поста министра иностранных дел. Мысль о том, что отечество будет обязано мне внешней независимостью и внутренней свободой, не могла оставить меня равнодушным. Я не только не стремился свалить господина де Виллеля, но, напротив, сказал королю: «Государь, господин де Виллель — просвещеннейший председатель совета; Вашему Величеству следует навечно закрепить за ним этот пост».

Вот чего господин де Виллель не заметил: ум мой мог стремиться к власти, но он подчинялся моему характеру; повиновение манило меня, ибо освобождало от необходимости изъяснять волю. Главный мой недостаток — в том, что я томлюсь скукой, питаю отвращение ко всему на свете, вечно пребываю в сомнениях. Если бы мне повстречался монарх, который, постигнув мой характер, силой принудил меня к труду, я, быть может, принес бы какую-нибудь пользу, но по воле небес человек, который хочет, и человек, который может, редко являются на свет одновременно. В конце концов, существует ли сегодня в мире такая вещь, ради которой стоит вылезать из постели? Мы засыпаем под грохот рушащихся монархий и просыпаемся, когда остатки их выметают из-под нашей двери.

Вдобавок, с тех пор, как господин де Виллель расстался со мной,

политическая жизнь пошла вкривь и вкось: ультрароялизм, которому председатель совета в мудрости своей поначалу пытался противостоять, покорил его. Спротивление, которое господин де Виллель встречал внутри страны и за ее пределами, привело его в состояние крайней раздражительности: отсюда гонения на прессу, роспуск парижской национальной гвардии и прочие меры. Подобало ли мне спокойно ожидать гибели монархии, дабы снискать славу двуличного стража умеренности? Я искренне полагал, что выполняю свой долг, сражаясь во главе оппозиции, и, сознавая серьезность опасности, грозящей с одной стороны, не заметил опасности, грозящей с другой. Когда правительство господина де Виллеля пало, со мной советовались относительно состава нового кабинета. Если бы в него вошли, как предлагал я, господин Казимир Перье, генерал Себастиани и господин Руайе-Коллар, дела еще могли бы пойти на лад. Я не захотел принять портфель морского министра и уступил его своему другу господину Иду де Невиллю; дважды отклонял я и портфель министра просвещения; я ни за что не вернулся бы в министерство на вторых ролях. Я отправился в Рим искать среди развалин мое второе я, ибо в душе моей живут два разных человека, не поддерживающих сношений между собой.

Сознаюсь, злопамятливость моя противна святым заветам добродетели, но поруюю в чистоте моих намерений служить вся моя жизнь.

В бытность свою офицером Наваррского полка я покинул американские леса, дабы встать на сторону законных правителей, изгнанных на чужбину, дабы сражаться за них наперекор собственному рассудку, не по убеждению, а по велению солдатского долга. Восемь лет провел я на чужбине, гонимый нищетой и бедствиями.

Заплатив эту нелегкую дань, я возвратился во Францию в 1800 году. Бонапарт искал сближения со мною и определил меня на службу; узнав о гибели герцога Энгийенского, я вновь пожертвовал своим благополучием ради Бурбонов. Мои слова о гробнице госпожи Аделаиды и госпожи Виктории * в Триесте вновь разожгли ярость покорителя империй; он пригрозил, что прикажет зарубить меня саблями на ступенях Тюильрийского дворца. Брошюра «О Бонапарте и Бурбонах» принесла Людовику XVIII, по его собственному признанию, столько же пользы, сколько сто тысяч солдат.

Благодаря моей тогдашней популярности я смог разъяснить настроенным против конституции французам смысл легитимных установлений. Во время Ста дней я вновь последовал за королем в изгнание. Наконец, начатая мною война в Испании помогла усмирить заговорщиков, объединить людей разных убеждений под одним знаменем и возвратить нашему оружию его прежнюю славу. Прочие мои планы известны: я желал расширить наши границы, завоевать для потомков Святого Людовика новые земли в новом мире.

Столь продолжительная верность одним и тем же чувствам заслуживает,

кажется, некоторого уважения. Кроме того, мне, не умеющему равнодушно сносить оскорбления, невозможно было забыть, на что я способен, навсегда вычеркнуть из памяти, что мне принадлежит честь возрождения религии, что я — автор «Гения христианства».

Обида моя, разумеется, становилась еще горше при мысли, что из-за жалкой склоки отечество наше навсегда простится со славой. Если бы мне сказали: «Планы ваши осуществляются — но без вашего участия», — я все забыл бы ради блага Франции. К несчастью, я не верил, что другие станут воплощать мои идеи; время показало, что я был прав.

Возможно, я заблуждался, но мне казалось, что господин граф де Виллель не понимает общества, которым управляет: я убежден, что важные достоинства этого ловкого министра оказались не ко времени в эпоху Реставрации; он пришел к власти слишком рано. В обществе, где на первом месте — финансовые операции, коммерческие ассоциации, развитие промышленности, строительство каналов, паромов, железных дорог и широких шоссе, в материальном обществе, ищущем лишь покоя, стремящемся лишь к комфорту, желающем, чтобы завтрашний день повторял сегодняшний, — в таком обществе господин де Виллель был бы королем. Господин де Виллель вознамерился овладеть эпохой, которая не могла ему принадлежать; что же до эпохи, которая ему принадлежит, честь мешает ему вступить во владение ею. При Реставрации все душевные силы были напряжены; все партии мечтали о вещах реальных либо химерических; все, наступая либо отступая, сталкивались в суматохе; никто не желал стоять на месте, ничей мятежный ум не мог смириться с тем, что конституционная монархия — последнее слово республиканского либо монархического строя. Люди незаурядные затевали революции либо войны, и земля уходила из-под ног. Господин де Виллель знал обо всем этом; он видел, как растут у нации крылья, способные возвратить ее, вновь сделавшуюся великой и легкой на подъем, родной стихии, стихии воздуха и пространства. Господин де Виллель желал удержать эту нацию на земле, запретить ей воспарять — и не имел для этого сил. Что же до меня, то я хотел напомнить французам о славе, устремить их ввысь, попытаться приохотить к существованию с помощью грез: им это по нраву.

Мне следовало выказывать больше покорности, униженности и христианского смирения. К несчастью, человек слаб: я не могу похвастать евангельской добродетелью; если меня ударят по одной щеке, другую я подставлять не стану.

Конечно, знай я заранее, чем все это кончится, я воздержался бы от многих поступков; депутаты, голосовавшие за фразу об отказе от поддержки *, изменили бы свое решение, если бы предвидели, к чему приведет это голосование. Никто всерьез не желал трагической развязки, кроме нескольких человек. Началось все с обычного бунта; в революцию его превратила сама законная власть: в нужный момент ей недоставало ума, осторожности и решительности,

которые еще могли бы ее спасти. В конце концов, в мире просто-напросто сделалась одной монархией меньше; пала эта монархия — падут и другие; мой долг лишь в том, чтобы хранить ей верность: этому долгу я никогда не изменю.

Верой и правдой служа монархии в пору ее первых невзгод, я остался предан ей и в ее последних несчастьях: все страждущие всегда отыщут во мне сочувственника. Я отказался от всего — от должностей, пенсий и почестей и, дабы никому не быть обязанным, заложил собственный гроб. Суровые и непреклонные судьбы, честные и неподкупные роялисты, сдабривающие свои богатства присягой, как сдабриваете вы мясо солью, чтобы оно дольше хранило свой вкус *, имейте хоть немного снисхождения ко мне в память о моих бывших неудачах; нынче я искупаю их по-своему, не по-вашему. Неужели вы думаете, что под старость, когда человек, трудившийся не покладая рук, должен отдыхать от трудов, ему легко вновь начать зарабатывать на хлеб насущный? А ведь я мог избрать и более легкий путь: с 1 по 6 августа 1830 года я не раз бывал во дворце по приглашению Филиппа, о чем еще расскажу; я сам, по доброй воле, отверг его щедрые предложения.

Если бы позже я раскаялся в своем благородстве, в моих силах было поправить дело. Господин Бенжамен Констан, в ту пору столь могущественный, писал мне 20 сентября: «Я охотнее поговорил бы с вами в этом письме о вас, чем обо мне: такой разговор принес бы гораздо больше пользы. Я хотел бы напомнить вам о той потере, какую понесла вся Франция в связи с вашей отставкой — ведь вы оказывали столь благородное и зиждательное влияние на судьбы отечества! Однако разговор на столь личную тему прозвучал бы нескромно, и с огорчением, которое разделяют со мною все французы, я вынужден чтить вашу щепетильность».

Полагая, что я еще не до конца исполнил свой долг, я встал на защиту вдовы и сироты *; я узнал, что такое суд и тюрьма — чаша, миновавшая меня при Бонапарте. Мои верительные грамоты — отставка после гибели герцога Энгиенского и голос, поднятый в защиту ограбленного сироты; моя опора — расстрелянный принц и принц-изгнанник; мои дряхлые руки переплелись с их немощными руками: есть ли у вас, роялисты, такая верная свита?

Но чем крепче связывал я свою жизнь узами преданности и чести, тем чаще поступался свободой действий ради независимости мысли; мысль эта вернулась в свою стихию. Нынче, отойдя от дел, я знаю цену правительствам. Стоит ли верить грядущим королям? Стоит ли верить нынешним народам? Мудрый и безутешный человек нашей беспринципной эпохи черпает жалкое успокоение лишь в политическом атеизме. Сколько бы молодые поколения ни тешили себя надеждами, от цели их отделяют долгие годы; человечество идет ко всеобщему равенству, но не убыстряет хода по нашему желанию; время — род вечности, приспособленный к вещам бранным; народы и их горести ему безразличны.

Из всего сказанного следует, что, если бы правительство прислушалось к моим не раз повторенным советам, если бы политики не предпочли удовлетворение своих мелочных амбиций благу Франции, если бы власти лучше оценивали способности подданных, если бы министры иностранных держав видели, подобно Александру, спасение французской монархии в либеральных установлениях и не взращивали в сердце наших государей недоверие к основам Хартии, законный монарх до сих пор занимал бы свой трон. Ах! что прошло, то прошло! сколько ни оглядывайся назад, сколько ни возвращайся вспять, того, что было, не отыскать: люди, идеи, обстоятельства — все рассеялось, как дым.

КНИГА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ *

Париж, 1839

1. Госпожа Рекамье

Итак, мне предстояло отправиться послом в Рим, в Италию — страну моей мечты. Прежде чем продолжить свое повествование, мне необходимо рассказать о женщине, с которой я уже не расстанусь до конца этих «Записок». Я писал ей из Рима в Париж: читатель должен узнать, к кому обращены мои письма, как и когда я познакомился с госпожой Рекамье.

Жизнь сводила ее с более или менее прославленными выходцами из самых разных сословий, подвизавшимися на сцене света; все поклонялись ей. Ее идеальная красота сплелась с материальным ходом нашей истории: это спокойный свет, льющийся на бурный пейзаж.

Возвратимся же еще раз к ушедшим временам; попытаемся нарисовать портрет в лучах заката моей жизни, покуда подступающая ночь еще не затмила небо.

Письмо, которое я опубликовал в «Меркюр» в 1800 году, вскоре после возвращения во Францию, поразило госпожу де Сталь. Я не был еще исключен из списка эмигрантов; «Атала» помогла мне выйти из безвестности. Госпожа Баччоки (Элиза Бонапарт) по просьбе господина де Фонтана добилась моего исключения из числа эмигрантов. Госпожа де Сталь также хлопотала за меня, и я отправился к ней, дабы высказать свою благодарность. Не помню уже, кто представил меня госпоже Рекамье, жившей в ту пору в собственном доме на улице Монблан, — сама сочинительница «Коринны» *, ее подруга, или Кристиан де Ламуаньон. Недавно покинувший леса и простившийся с безвестностью, я был еще совсем дикарем и едва осмелился взглянуть на женщину, окруженную толпой поклонников.

Прошло около месяца; однажды утром я сидел у госпожи де Сталь;

принимая меня, она совершала утренний туалет с помощью мадемуазель Олив и вела беседу, играя маленькой зеленой веточкой. Внезапно вошла госпожа Рекамье в белом платье и опустилась на софу, обтянутую голубым шелком. Госпожа де Сталь, стоя перед зеркалом, с увлечением продолжала свою речь; я отвечал невпопад: взор мой был прикован к госпоже Рекамье. Никогда я не мог вообразить ничего подобного и был неловок больше обычного: восхищение мое сменилось злостью на самого себя. Госпожа Рекамье вышла; в следующий раз я увидел ее только двенадцать лет спустя.

Двенадцать лет! что за враждебная сила кромсает и транжирит наши дни, расточает их, словно в насмешку, на равнодушные сношения, именуемые привязанностями, на жалкие триумфы, именуемые блаженством! А после, когда лучшая часть жизни растрачена попусту, сила эта, словно еще не насмеявшись вдоволь, возвращает нас к началу пути. Возвращает — но каким? пребывающим во власти посторонних мыслей и докучных призраков, обманутых надежд и несовершенных чувств, — наследства мира, не давшего вам ни капли счастья. Эти мысли и призраки, надежды и чувства встают меж вами и блаженством, которое вы бы еще могли вкусить. Вы поворачиваете назад, горько сожалея в сердце своем об ошибках молодости, столь непростительных на взгляд целомудренной старости. Вот что за чувства владели мною после того, как я побывал в Риме и Сирии, пережил падение Империи, простился с неизвестностью и познал славу. А что делала в это время госпожа Рекамье? как текла ее жизнь?

Большая часть блистательного, но вместе и уединенного существования той, о ком я веду речь, прошла вдали от меня: поэтому мне придется прибегать к свидетельствам посторонним, но заслуживающим полного доверия. Прежде всего, госпожа Рекамье сама рассказала мне о том, что видела, и сообщила мне драгоценные письма. Кроме того, она вела записки, куда мне дозволено было заглянуть, хотя цитировать их она позволила только в очень редких случаях. Наконец, я обильно черпал сведения из писем госпожи де Сталь, опубликованных и неопубликованных воспоминаний Бенжамена Констана, из заметки, которую посвятил нашей общей приятельнице господин Балланш, из зарисовок герцогини д'Абрантес и госпожи де Жанлис; я свел воедино свидетельства всех этих славных авторов, добавив кое-что от себя лишь в тех случаях, когда требовалось заполнить недостающее звено в цепи событий.

Монтень сказал, что люди вечно заглядываются на будущее *; я создан иначе: я заглядываюсь на прошлое. Там все для меня — наслаждение, но более всего блаженствую я, обращаясь мыслями к первым годам жизни любимого существа: я как бы продлеваю драгоценное для меня бытие; чувство, владеющее мною сейчас, распространяется и на те дни, что прошли без меня и воскрешаются моим воображением; то, что было, животворится тем, что стало: молодость созидается вновь.

〈Детство и юность Жюльетты Рекамье; в нее влюбляется Люсьен Бонапарт, брат Наполеона; дружба госпожи Рекамье с госпожой де Сталь; госпожа Рекамье вдохновляет Моро на заговор против Наполеона; по желанию Моро она присутствует на процессе, где судят заговорщиков; жизнь госпожи Рекамье в замке Коппе — имении госпожи де Сталь; в Жюльетту влюбляется принц Август Прусский; за преданность госпоже де Сталь Наполеон предписывает ей покинуть Париж; ее жизнь в Шалоне-на-Марне и Лионе; поездка госпожи Рекамье в Рим и восторженное письмо к ней великого скульптора Кановы〉

14. Рыбак из Альбано

В Лионе госпожа Рекамье помогала испанским пленникам; в Альбано ее сочувствия вынуждена была искать другая жертва той власти, что изгнала жительницу Парижа из родных пределов: некий рыбак, обвиненный в сговоре с папской властью *, был арестован и приговорен к смерти. Жители Альбано умоляли чужестранку, поселившуюся в их городке, вступить за несчастного. Ее провели в темницу; она увидела пленника и, потрясенная его отчаянием, заплакала. Несчастный молил прийти ему на помощь, защитить его, спасти: мольбы эти раздирали сердце госпожи Рекамье, ибо она не могла вырвать юношу из рук смерти. Уже стемнело, а казнить его должны были на рассвете следующего дня.

Нимало не рассчитывая на успех, госпожа Рекамье, однако же, не колеблясь начала действовать. Ей подали экипаж, и она тронулась в путь, оставив надежду в сердце приговоренного, но не питая ее сама. Миновав кишашую разбойниками равнину, она прибыла в Рим, но не застала начальника полиции на месте. Два часа она ждала его во дворце Фиано; а тем временем минуты чужой жизни истекали. Лишь только господин де Норвинс появился во дворце, она тотчас объяснила ему цель своего визита. Он отвечал, что не вправе отсрочить исполнение приговора.

С сокрушенным сердцем госпожа Рекамье отправилась назад: пленник испустил дух, когда она подъезжала к Альбано. Местные жители ожидали француженку на обочине дороги: завидев экипаж, они бросились к ней. Священник, присутствовавший при казни, пересказал госпоже Рекамье последние слова несчастного юноши: он благодарил *даму*, которую не переставал искать глазами до самой последней минуты; он просил молиться за него, ибо для христианина испытания не кончаются и за гробом. Священник проводил госпожу Рекамье в церковь; толпа красивых альбанских крестьянок следовала за ними. Рыбака расстреляли в тот час, когда лучи поднимавшегося из-за горизонта солнца осветили лишившуюся хозяина лодку, на которой юноша прежде бороздил море, и берега, вдоль которых пролегал его путь.

Дабы проникнуться отвращением к завоевателям, следовало узнать правду о причиненных ими бедствиях; следовало видеть, с каким равнодушием прислужники тирана даже в том уголке земли, куда не ступала его нога,

приносили ему в жертву жизнь невиннейших созданий. Чем мешал Бонапарту бедный рыбарь из Папской области? Без сомнения, император не ведал о существовании этого бедняка; поглощенный своей борьбой с королями, он не знал даже имени своей престонародной жертвы.

Мир помнит лишь о победах Наполеона; он забыл о слезах, которыми полито основание его триумфальных колонн. Что же до меня, то я уверен, что эти невидимые страдания, эти несчастья смиренных бедняков — тайная причина, по которой Провидение низвергает владыку с его трона. Чаша весов, на которой скапливаются отдельные несправедливости, перетягивает другую — ту, на которой покоится удача властителя. Есть молчаливая кровь и кровь, которая вопиет: земля молча пьет кровь, пролитую на поле брани, но, когда льется кровь мирных жителей, земля испускает стон. Бог слышит его и отмщает. Бонапарт убил рыбака из Альбано; несколько месяцев спустя он отправился в изгнание к рыбакам с острова Эльба, а после умер среди рыбаков с острова Святая Елена.

Случалось ли госпоже Рекамье вспоминать меня на берегах Тибра и Анио? Я посетил прежде нее эти печальные пустыни, там осталась могила, которую почтили своими слезами друзья Жюльетты. Дочь господина де Монморена (госпожа де Бомон) умерла в 1803 году; после ее смерти госпожа де Сталь и господин Неккер написали мне соболезнующие письма; письма эти уже известны моим читателям. Таким образом, в Риме, еще не зная толком госпожи Рекамье, я получал письма из Коппе; вот первое предвестие нашей судьбы. Позже госпожа Рекамье призналась мне, что мое письмо 1803 года к господину де Фонтану * служило ей путеводителем в 1814 году и что она часто перечитывала в нем одно место:

«Пусть тот, чья жизнь лишилась последних привязанностей, поселяется в Риме. Здесь он найдет землю, которая даст пищу его уму и покорит его сердце, здесь его ждут прогулки, которые всякий раз будут открывать его душе нечто новое. Камень, на который он наступит, расскажет ему об ушедших столетиях, пыль, поднятая ветром, унесет с собою прах какого-нибудь великого человека. Если его постигло горе, если он смешал прах любимого существа с прахом стольких прославленных особ, как сладостно будет ему переходить от гробницы Сципионов к последнему пристанищу верного друга! А если он христианин — о! как сможет он тогда расстаться с этой землей, ставшей ему отечеством, с этой землей, видевшей рождение новой империи, которая в колыбели была исполнена большей святости, чем ее предшественница, а в зрелости достигла большего могущества; с этой землей — обителищем отца всех христиан, землей, где друзья наши спят в катакомбах вместе с мучениками, так что кажется, будто они ближе всех к небесам и первыми восстанут из праха?»

Но в 1814 году госпожа Рекамье видела во мне всего лишь заурядного

цичероне, равно принадлежащего всем путешественникам; позже, в 1823 году, счастье улыбнулось мне, я перестал быть для нее посторонним человеком, и мы смогли вместе предаваться воспоминаниям о римских руинах.

15. *Госпожа Рекамье в Неаполе*

В Неаполе, куда госпожа Рекамье отправилась осенью, уединение ее было нарушено. Не успела она остановиться на постоялом дворе, как увидела посланца короля Иоахима. Готовый предать руку, вверившую ему скипетр вместо хлыста, Мюрат намеревался присоединиться к коалиции. Бонапарт вонзил шпагу посреди Европы, подобно тому как галлы вонзали свой меч посреди *маллуса* *: шпагу императора окружали королевства, которые он раздал своим родичам. Каролине досталось королевство Неаполитанское. Госпожа Мюрат не так сильно напоминала изящную древнюю камею, как принцесса Боргезе, но внешность ее была своеобразнее, а ум живее, чем у Полины. Твердость характера обличала в ней сестру Наполеона. Природа создала ее не только женщиной, но и королевой, и она носила диадему по праву.

Каролина приняла госпожу Рекамье с любезностью тем более трогательной, что гнет тирании обнаруживал себя даже в Портичи. Впрочем, перемена власти пошла на пользу городу, где похоронен Вергилий и родился Тассо, городу, где жили Гораций и Тит Ливий, Боккаччо и Саннадзаро, где увидели свет Дуранте и Чимароза. На улицах вновь установился порядок: лаццарони больше не жонглировали головами жертв, казненных для потехи адмирала Нельсона и леди Гамильтон *. Раскопки в Помпее расширились, новая дорога поднялась на гору Паузилиппо, вдоль которой я проезжал в 1803 году, направляясь в Литернум, ставший усыпальницей Сципиона. Новые короли, представители военной династии, воскресили жизнь в странах, где прежде медленно влеклись к смерти осколки старинных родов. Казалось, будто Роберт Гвискар, Гильом Железная Рука, Рожер и Танкред вернулись на землю, перестав, впрочем, быть рыцарями.

Госпожа Рекамье в феврале 1814 года жила в Неаполе: а где в это время был я? в моей *Волчьей долине*; там начал я сочинять историю моей жизни. Я вспоминал забавы моего детства, а за окнами гремели выстрелы чужеземных солдат. Женщина, чьему имени суждено было завершить эти «Записки», бродила над морем близ Байи. Предчувствовал ли я то счастье, которым одарят меня однажды эти берега, когда живописал в «Мучениках» партенопейские соблазны:

«Каждое утро, лишь только занималась заря, я направлялся к портику. Солнце вставало на моих глазах, оно озаряло нежнейшими лучами цепь

Салернских гор, синюю водную гладь, усеянную белыми парусами рыбацких лодок, острова Капрею, Энарию и Прохиту, Мизенский мыс и Байю со всеми ее искушениями.

Цветы и фрукты, влажные от росы, не так сладостны и свежи, как окрестности Неаполя при их пробуждении. Дойдя до портика, я всякий раз удивлялся, видя море, ибо волны здесь журчали тихо, словно крохотный ручеек; вне себя от восхищения, прислонялся я к колонне и, без мыслей, без желаний, без планов, проводил целые часы на одном месте, вдыхая дивный воздух. Чары этого края пленяли меня так властно, что мне казалось, будто божественный этот аромат преобразует все мое существо и, подобно чистому духу, я возношусь к небесам... Ждать или искать прекрасную деву, видеть, как она шлет нам улыбку из челна, о борт которого бьются волны, бороздить с нею осыпанную цветами водную гладь, следовать за чаровницей в глубь миртовой рощи и в те блаженные края, куда Вергилий поместил Элизиум,— вот чем были заняты наши дни...

Быть может, в иных местах климат рождает сладострастие и усыпляет добродетель; не оттого ли остроумное предание гласит, что Партенопей построена на могиле сирены? Мягкая зелень полей, теплый воздух, округлые очертания гор, плавные изгибы рек и долин — все в Неаполе обольщает чувства, все нежит их и ничто не оскорбляет...

Дабы скрыться от палящих лучей юного солнца, мы удалялись в ту часть дворца, что выстроена под морем. Возлегли на постели из слоновой кости, мы слушали журчание волн над нашими головами; если в этом укромном уголке нас заставала буря, рабы зажигали лампы, наполненные драгоценнейшими арабскими благовониями. Тогда входили к нам юные неаполитанки и вносили в вазы из Нолы пестумские розы; там, снаружи, ревели волны, а здесь девы пели нам песни и радовали наши взоры неспешными танцами, навевавшими воспоминания о Греции: так обретали плоть видения поэта: казалось, nereиды играют в нештуновом гроте».

Возможно, читатель, тебе надоели мои цитаты и рассказы; подумай, однако: ты, может статья, не читал моих сочинений, к тому же я не слышу тебя, я сплю в той земле, которую ты попираешь ногами; если ты недоволен мной, вымести свой гнев на этой земле — ты оскорбишь только мои кости. Подумай и о другом: сочинения мои — основа той жизни, страницы которой я разворачиваю перед тобой. О! отчего за моими неаполитанскими описаниями не стояло невыдуманное блаженство! Отчего дочь Роны * не сделала явью мои сладостные вымыслы! Но увы! если я и был Августином, Иеронимом, Евдором, то был ими в одиночестве: Италия приютила меня раньше, чем подругу Коринны. О, как счастлив был бы я расстелить перед нею всю мою жизнь, словно ковер из цветов! Но жизнь моя сурова и ее превратности больно ранят. Да позволено будет мне хотя бы на закате своих дней возвратить той, которую

все любили и которая не заслужила ни от кого ни единого упрека, волшебную нежность, какой она наполнила мою жизнь!

(Жизнеописание Мюрата; возвращение госпожи Рекамье во Францию; в нее влюбляется Бенжамен Констан; его переход на сторону Бонапарта во время Ста дней)

21. *Госпожа де Крюденер. — Герцог Веллингтон*

Во время Ста дней госпожа Рекамье оставалась во Франции, куда вернулась по приглашению королевы Гортензии; неаполитанская королева со своей стороны звала ее в Италию. Сто дней истекли. В Париж вновь вступили союзники, а вместе с ними прибыла госпожа де Крюденер. Она забросила романы и ударилась в мистицизм; в ту пору она оказывала большое влияние на русского императора.

Госпожа де Крюденер занимала особняк в предместье Сент-Оноре. Дом стоял в саду, тянувшемся до Елисейских полей. Александр *инкогнито* входил в садовую калитку; беседы на политические и религиозные темы оканчивались пылкими молитвами. Госпожа де Крюденер пригласила меня на одно из этих небесных волхвований: я неисправимый мечтатель, но я ненавижу глупость, терпеть не могу туманность и презираю фиглярство; у всех свои слабости. Действо утомило меня; чем сильнее я желал сотворить молитву, тем яснее ощущал в своем сердце полнейшее безразличие. Я не находил, что поведать Богу, и меня так и подмывало рассмеяться. Госпожа де Крюденер была мне милее, когда, утопая в цветах и еще пребывая на нашей грешной земле, сочиняла «Валерию» *. Мне, правда, казалось, что мой старый друг господин Мишо, странным образом оказавшийся причастным к этой идиллии, мало походит на пастушка. Сделавшись серафимом, госпожа де Крюденер пожелала окружить себя ангелами, доказательством чего служит прелестная записка, адресованная Бенжаменом Констаном госпоже Рекамье:

«Четверг.

В некотором замешательстве исполняю я поручение, данное мне госпожой де Крюденер. Она умоляет вас выглядеть в ее доме не столь прекрасной. Она утверждает, что красота ваша всех ослепляет, что вы смущаете умы и рассеиваете внимание. Не в вашей власти вовсе лишиться себя очарования, но, по крайней мере, не подчеркивайте его. Я мог бы, воспользовавшись случаем, много добавить к сказанному о вас, но не смею. Остроумием волен блистать тот, кто рассказывает о красоте чарующей, но не тот, кто ведет речь о красоте, поражающей насмерть. Я скоро увижу вас; вы назначили мне прийти в пять, но возвратитесь не раньше шести, и я не успею сказать вам ни слова. Впрочем, я постараюсь и в этот раз держаться любезно».

Герцог Веллингтон также тщился привлечь внимание Жюльетты. В записке, которую мне было позволено списать, интересна только подпись:

«Париж, 13 января сего года.

Признаюсь, сударыня, я не слишком сожалею о том, что дела мешают мне побывать у вас после обеда, ибо всякий раз ухожу от вас, еще сильнее плененный вашей красотой и еще менее склонный посвящать свое время *политике!!!*

Если вы будете дома, я навещу вас завтра, по возвращении от аббата Сикара, невзирая на действие, которое оказывают на меня эти опасные визиты.

Ваш покорнейший слуга
Веллингтон».

Войдя в гостиную госпожи Рекамье после Ватерлоо, герцог Веллингтон воскликнул: «Я разбил его в пух и прах!» Если он и мог когда-либо рассчитывать покорить сердце француженки, эта победа обрекла его на неминуемое поражение.

22. *Моя новая встреча с госпожой Рекамье. — Смерть госпожи де Сталь*

Я вновь встретился с госпожой Рекамье в горестную пору — слава Франции, госпожа де Сталь, угасала. Сочинительница «Дельфины» возвратилась в Париж после Ста дней тяжело больной; я бывал у нее дома, виделся с нею у госпожи де Дюрас. Ей становилось все хуже и хуже, она слегла. Однажды утром я пришел к ней на улицу Руаяль; ставни были полуприкрыты, кровать стояла в глубине комнаты, почти у самой стены; полог был приподнят над изголовьем. Госпожа де Сталь полусидела в подушках. Я приблизился и, когда глаза мои свыклись с полумраком, разглядел больную. На щеках ее играл нездоровый румянец. Ее прекрасные глаза сверкнули мне из темноты, и она сказала: «Здравствуйте, my dear Francis¹⁹. Мне очень больно, но это не мешает мне вас любить». Она протянула мне руку для поцелуя. Я коснулся ее губами. Подняв голову, я увидел по левую сторону постели какую-то длинную бледным лицом и впалыми щеками; он угасал; я видел его в первый и последний раз. Молча поклонившись, он прошел мимо меня и удалился неслышно, как тень. Мгновение помедлив у дверей, туманный дух скользнул назад, дабы проститься с госпожой де Сталь. Два призрака безмолвно глядели друг на

¹⁹ Мой дорогой Френсис (англ.).

друга: у того, что стоял, в лице не было ни кровинки; у той, что сидела, кровь, готовая уже заledenеть в жилах, прилиwała к щекам; я не мог видеть эту картину без содрогания.

Несколько дней спустя госпожа де Сталь переехала на улицу Нев-де-Матюрен. Она пригласила меня к обеду, я пришел, она не появилась в гостиной и даже не смогла выйти к обеду; однако она не подозревала, что смерть так близка. Мы сели за стол. Моей соседкой оказалась госпожа Рекамье *. Я не видел ее двенадцать лет, да и теперь взглянул на нее лишь мельком. Я не смотрел в ее сторону, она в мою, мы не сказали друг другу ни слова. К концу обеда она робко обратилась ко мне, посетовав на болезнь госпожи де Сталь; я слегка повернул голову и поднял глаза. Я боюсь осквернить своими старческими устами то чувство, которое память моя хранит во всей его молодости, чувство, сила которого возрастает по мере того, как жизнь моя близится к концу. Я раздвигаю завесу своих преклонных лет, дабы узреть небесное видение, дабы услышать звучащую из бездны гармонию счастья.

Госпожа де Сталь умерла. Последняя ее записка к госпоже де Дюрас написана крупными корявыми буквами, какими пишут дети. В записке этой нашлось место и для нежного привета *Френсису*. Уход таланта потрясает сильнее, чем исчезновение индивида: скорбь охватывает все общество без изъятия, все как один переживают потерю.

С госпожой де Сталь исчезла значительная часть моей эпохи: смерть высшего ума — невосполнимая утрата для века. На меня же ее смерть произвела особенное впечатление, к которому примешалось некое мистическое чувство: именно у этой прославленной женщины я познакомился с госпожой Рекамье, и именно госпожа де Сталь соединила после долгой разлуки двух скитальцев, сделавшихся почти чужими друг другу: тризна по ней навеки запечатлела в их сердцах ее образ и научила их нерушимой верности.

Я стал навещать госпожу Рекамье на улице Басс-дю-Рампар, а затем на улице Анжу. Когда встречаешь суженую, кажется, что ты никогда не расставался с нею: по Пифагору, жизнь не что иное, как припоминание. Кому не случилось оживать в памяти мелочи, лишнные смысла для посторонних? При доме на улице Анжу был сад, в саду — беседка под липами; когда я ожидал в ней госпожу Рекамье, сквозь листья лип пробивался луч луны: и вот мне по сей день мнится, что луч этот в моей власти и, если я вернусь на прежнее место, луна будет светить мне, как прежде. Меж тем солнечный свет, озарявший на моих глазах не одно чело, начисто изгладился из моей памяти.

23. *Аббеи-о-Буа*

В ту пору мне пришлось продать *Вольчью долину*, и госпожа Рекамье наняла ее вместе с господином де Монморанси *.

Однако положение госпожи Рекамье становилось все более и более стесненным, и вскоре она переселилась в Аббей-о-Буа *.

Герцогиня д'Абрантес так описывает это место *:

«Аббей-о-Буа со всеми своими службами, с прекрасным садом, с просторными монастырскими залами, где беззаботно играли звонкоголосые девочки и девушки всех возрастов, Аббей-о-Буа славилось прежде только как святой дом, в котором семья может без боязни оставить дитя, средоточие своих надежд, причем славилось лишь среди матерей, которых склонности влекли по ту сторону монастырских стен. Стоило сестре Марии закрыть за вами маленькую, увенчанную аттиком дверь, отделяющую обитель от мира, стоило вам ступить на просторный двор, взору вашему открывалась земля не просто ничья, но земля чужая.

Нынче все переменялось: название Аббей-о-Буа широко известно, слава его распространилась во всех сословиях. Женщина, впервые приказывающая своему кучеру: «В Аббей-о-Буа!» — может быть уверена, что он знает дорогу и не собьется с пути.....

В чем же причина столь неоспоримой и столь стремительно возникшей славы? Видите два небольших окошка на самом верху, под крышей, над широкими окнами парадной лестницы? Это окошки одной из самых маленьких комнаток аббатства. Но в этой-то маленькой комнатке и родилась слава *Аббей-о-Буа*, отсюда и пошла она гулять по всему свету. Да и как могло быть иначе, если людям всех сословий было известно, что в комнатке этой обитает женщина, лишившаяся по воле судеб всех радостей жизни, но умеющая отыскать слова утешения для всех страждущих, знающая заклинания, которые прогоняют любую боль, и спешащая на помощь ко всем обездоленным.

Что сделал Кудер, когда узнал, что ему грозит смерть на эшафоте? ²⁰ «Ступай к госпоже Рекамье,— сказал он своему брату, навещавшему его в темнице,— скажи ей, что я невиновен перед Богом... она поймет...» — и Кудер остался жив. Милосердная госпожа Рекамье взяла себе в помощники человека, наделенного в равной мере талантом и добротой: господин Балланш хлопотал вместе с нею, и сообща они отняли жертву у палача.

Исследователю человеческого духа это показалось бы почти чудом: женщина, снискавшая европейскую, если не мировую славу, нашла покойное убежище в этой маленькой келье. Обычно свет скоро забывает людей, переставших приглашать гостей к своему пиршественному столу; иначе случилось с той, что и прежде, в пору своего благоденствия, внимательнее вслушивалась в жалобы, нежели в крики радости. Маленькая комнатка на четвертом этаже Аббей-о-Буа всегда была открыта не только для друзей госпожи Рекамье; те же самые чужестранцы, что прежде искали, как милости, приглашений в изящный

²⁰ Он был замешан в заговоре Борй *.

особняк в квартале Шоссе-д'Антен, теперь почитали за такую же честь получить дозволение подняться по лестнице Аббей-о-Буа, словно какая-нибудь фея, коснувшись ступеней волшебной палочкой, сделала подъем не столь крутым. В Аббей взорам гостей предстало зрелище едва ли не более удивительное, чем любая из парижских достопримечательностей; мирная и едва ли не дружеская беседа людей самых разных убеждений, которые, собравшись в комнате шириной десять и длиной двадцать футов, забыли о своих распрях. Виконт де Шатобриан рассказывал Бенжамену Констану о чудесных диковинах Америки. Матье де Монморанси со свойственной ему одному общежительностью, с той рыцарственной вежливостью, что отличает всех носящих это имя, слушал шведскую королеву госпожу Бернадот, и лицо его выражало такую же почтительность, как если бы перед ним была сестра Аделаиды Савойской, дочери Умбера Белорукого, вышедшей после смерти своего первого супруга за одного из Монморанси. Потомок древних феодалов не позволял себе ни единого резкого слова по адресу людей либерального века.

Герцогиня из Сен-Жерменского предместья приветливо беседовала с сидящей рядом с нею на диване герцогиней времен Империи; в этой бесподобной келье никто не бывал лишним. Я впервые навестила госпожу Рекамье в Аббей, возвратившись в Париж после долгого отсутствия. Мне нужно было попросить ее об одной услуге, и я не сомневалась, что она мне поможет. От общих друзей я знала, как велико ее мужество, но самой мне мужество изменило, когда я увидела, что в каморке под крышей жизнь ее течет так же мирно и покойно, как в позолоченных гостиных на улице Монблан.

«Что же это! — говорила я сама себе, — повсюду одни страдания!»

И я взглянула на нее со слезами на глазах — она не могла не понять моего взгляда. Увы! воспоминания мои пронзали толщу лет и переносили меня в прошлое! Эта женщина, которую молва величала прекраснейшим цветком в венце эпохи, уже десять лет сносила удары судьбы; страдания ближних, которые она переживала вдвойне, убивали ее!..

Когда, движимая давними воспоминаниями и неодолимой потребностью, я переехала в Аббей-о-Буа, та, подле которой я стремилась поселиться, уже не жила в крохотной комнатке на четвертом этаже: госпожа Рекамье сменила эту келью на более просторное жилище в том же доме. Именно там я увидела ее вновь. Смерть похитила многих из тех сражавшихся на политическом поприще бойцов, что прежде окружали госпожу Рекамье, и в живых из ее друзей оставался едва ли не один господин де Шатобриан. Но и для него пробил час обманутых надежд и королевской неблагодарности. Он поступил мудро: простился с мнимыми атрибутами счастья и оставил неверное могущество трибуна ради другой, более прочной власти.

Я уже говорила, что в гостиной Аббей-о-Буа занимаются не одной литературой, и все страждущие с надеждой взирают на этот дом. Вот уже несколько

месяцев я веду разыскания касательно семейства императора и нашла несколько документов, которые, как мне кажется, представляют несомненный интерес.

Королеве Испании * было необходимо во что бы то ни стало вернуться во Францию. Она написала письмо госпоже Рекамье, моля похлопотать о том, чтобы просьба о ее приезде в Париж была встречена благосклонно. Господин де Шатобриан был в ту пору министром, и королева Испании, зная его прямодушие, не сомневалась в успехе своего предприятия. Меж тем выполнить просьбу оказалось нелегко, ибо тогдашний закон обрекал гонениям всех, даже самых добродетельных членов несчастного семейства. Однако господин де Шатобриан носил в сердце то великодушное сострадание к несчастью, которое позже продиктовало ему трогательные строки:

В подобострастии меня не упрекнешь,
 Но если гибнет царь, его мне жалко все ж.
 Хоть ненавистна мне кичливость фараона,
 Я б сострадал ему, лишись теперь он трона,—
 Вчерашний властелин, возвышенный своим
 Несчастьем тягостным, он будет мною чтим²¹ *.

Господин де Шатобриан вошел в положение несчастной женщины; он спросил себя, обязывает ли министерский долг опасаться этого слабого создания, и, ответив отрицательно, написал госпоже Рекамье, что госпожа Жозеф Бонапарт может возвратиться во Францию, осведомившись притом о ее местонахождении, дабы отправить ей через господина Дюрана де Марей, в ту пору нашего посла в Брюсселе, позволение приехать в Париж под именем графини де Вильнев. О том же он известил господина де Фогеля.

Я с тем большим удовольствием рассказала об этом случае, что он делает честь и просительнице, и удовлетворившему просьбу министру: ее благородная доверчивость достойна его благородного милосердия».

Поступок мой не заслуживает тех чрезмерных похвал, которых удостоила его госпожа д'Абрантес, однако, поскольку рассказ ее об Аббей-о-Буа нуждается в дополнениях, я расскажу о том, что она забыла или опустила.

Капитан Роже, подобно Кудеру, был приговорен к смерти. Пытаясь спасти его, госпожа Рекамье попросила меня о помощи. За этого соратника Карона хлопотал также Бенжамен Констан, вручивший брату приговоренного следующее письмо к госпоже Рекамье:

«Непростительно с моей стороны, сударыня, снова докучать вам, но не моя вина, что у нас так часто приговаривают к смертной казни. Письмо это вручит вам брат несчастного Роже, осужденного на смерть вместе с Кароном. Дело тут

²¹ Пер. М. Гринберга.

самое отвратительное и самое известное *. Лишь только господин де Шатобриан услышит это имя, он все поймет. Он имеет счастье быть украшением нынешнего министерства, и притом единственным из министров, кто еще не пролил крови. Не стану продолжать: остальное доскажет ваше сердце. Прискорбно, что мне вечно случается писать вам по столь печальным поводам, но вы простите мне, я знаю, и прибавите еще одного несчастного ко всем тем бесчисленным страдальцам, которые обязаны вам своим спасением.

С бесконечной нежностью и уважением

Б. Констан.

Париж, 1 марта 1823 года».

Выйдя на свободу, капитан Роже поспешил засвидетельствовать признательность своим спасителям. Я, по обыкновению, проводил вечер у госпожи Рекамье: внезапно на пороге появляется этот офицер. С южным акцентом он говорит: «Без вашего заступничества голова моя скатилась бы на эшафот». Мы пришли в изумление, ибо давно забыли о своем благодеянии; он же, покраснев, как рак, возмущенно твердил: «Неужели вы не помните?.. Неужели вы не помните?..» Напрасно пытались мы оправдаться, принося тысячу извинений за нашу забывчивость: он удалился, гневно брядая шпорами, разъяренный так сильно, как будто мы не спасли его, а погубили.

В ту же самую пору Тальма попросил госпожу Рекамье свести его со мной; ему требовался совет относительно нескольких стихов из «Отелло» Дюсиса, которые ему запретили произнести со сцены в первоизданном виде. Отложив в сторону донесения послов, я бросился к госпоже Рекамье и провел целый вечер с Росцием наших дней за переделкой злополучных стихов: он предлагал мне вариант, я ему — другой, мы рифмовали кто во что горазд; уединяясь то у окна, то в уголке, мы так и сяк расставляли слова в полустышиях. Мы спорили до хрипоты о смысле и благозвучии строк. Забавное, должно быть, зрелище представляли мы оба: я, министр Людовика XVIII, и он, Тальма, король сцены, — когда, позабыв, кто мы такие, пославав к черту цензуру и всех сильных мира сего, состязались в остроумии. Но если Ришелье, натравив Густава Адольфа на Германию *, мог ставить на театре трагедии собственного сочинения, отчего я, скромный министр, не мог, отправив нашу армию защищать в Мадриде независимость Франции, заняться чужими трагедиями?

Герцогиня д'Абрантес, которую я проводил в последний путь в церкви квартала Шайо, описала *гостиную* госпожи Рекамье; мне осталось рассказать о *спальне*. Две маленькие комнатки разделял темный коридор. Я утверждал, что в этой прихожей мягкое освещение. Книжный шкаф, арфа, пианино, портрет госпожи де Сталь и вид Коппе в лунном свете — вот все украшения этого святилища; на окнах стояли горшки с цветами. Когда под вечер, взобравшись на четвертый этаж и с трудом переводя дух, я входил в келью и бросал взгляд

в окно, душу мою переполнял восторг: внизу расстилался монастырский сад — зеленая клумба, посреди которой кружили монахини и пансионерки. Верхушка акации заглядывала в окно. Острые шпильки колоколен устремлялись к небу, а на горизонте виднелись севрские холмы. Заходящее солнце золотило пейзаж и освещало комнату. Госпожа Рекамье сидела за пианино; колокола вызванивали «Angelus» *, и голос их, «подобный плачу над умершим днем», il gioigno pianger che si muore *, смешивался с последними тактами мольбы к ночи из «Ромео и Джульетты» Штейбельта *. Птицы засыпали на поднятых оконных жалюзи, сквозь шум и суматоху большого города я прозревал где-то вдали тишину и уединение.

Даруя мне эти мирные часы, Господь вознаграждал меня за все пережитые мною часы волнений; я провидел грядущий покой — средоточие моих верований и упований. Снаружи меня одолевали тревожные политические новости или отвратительная неблагодарность сильных мира сего, а здесь, в этом убежище, ко мне возвращалась безмятежность души — казалось, будто после скитаний по раскаленной пустыне я попадал в прохладную лесную сень. Я обретал покой подле женщины, которая дышала покоем, но не равнодушием, ибо знала глубокие привязанности. Увы! люди, которых я встречал у госпожи Рекамье, Матье де Монморанси, Камиль Жордан, Бенжамен Констан, герцог де Лаваль, последовали за Энганом, Жубером, Фонтаном — ушедшими членами ушедшего общества. На их место встали новые, молодые друзья — юная поросль древнего, но бессмертного леса. Я прошу их, прошу господина Ампера, который прочтет эти строки, когда меня не станет, я молю их всех сохранить обо мне хотя бы смутное воспоминание: я верю им нить моей жизни, которая вот-вот соскользнет с веретена Лахезис. Лишь мой неразлучный спутник господин Балланш присутствовал и при начале, и при конце моего жизненного странствия; на его глазах возникали и прекращались по воле времени мои привязанности, на моих глазах Рона уносила вдаль его увлечения: реки всегда подмывают свои берега.

Несчастья моих друзей не единожды отягощали меня, и я никогда не уклонялся от священной ноши: ныне мне воздается за это сторицей; глубокое чувство помогает мне сносить невзгоды, тем более тяжкие, что число их постоянно растет. Чем ближе подхожу я к могиле, тем явственнее ощущаю, что все, чем я дорожил в жизни, воплотилось в госпоже Рекамье, что к ней всегда тянулась моя душа. Воспоминания разных лет, грезы и явь смешались, переплелись, перепутались, и эта смесь очарования и тихой грусти приняла зримый облик госпожи Рекамье. Она — владычица моих чувств, что же до счастья, покоя и благоденствия, они волею небес ожидают меня там, куда призывает меня долг *.

Я следовал за госпожой Рекамье по тем тропам, которых эта странница едва касалась своею легкою стопой; вскоре мне предстоит опередить ее в ином

странствии. Прогуливаясь по этим «Запискам», осматривая храм, который я спешу окончить, она набредет на часовню, ей посвященную; возможно, эта усыпальница придется ей по нраву: в ней запечатлен ее образ.

КНИГА ТРИДЦАТАЯ

〈Шатобриан, назначенный послом в Риме, направляется в Италию; его путевой дневник; письма госпоже Рекамье из Рима с изображением тамошней жизни; римские кардиналы и дипломаты〉

6. Художники старые и новые

В 1822 году, в бытность мою французским послом в Англии, я влекся к местам и людям, виданным мною в Лондоне в 1793 году; в 1828 году, став французским послом при папском дворе, я поспешил обойти дворцы и руины, которые видел в Риме в 1803 году, и справиться о людях, которых знал в ту пору; дворцов и руин я нашел предостаточно, людей — совсем мало.

Во дворце Ланчелотти, который прежде нанимал кардинал Феш, нынче живут его истинные владельцы — князь Ланчелотти и его супруга, дочь князя Массимо. Дом на площади Испании, где жила госпожа де Бомон, сломали. Что же до самой госпожи де Бомон, она покоится в своем последнем приюте, и я вместе с папой Львом XII прочел молитву на ее могиле.

Не было уже на свете и Кановы. Я дважды посетил его мастерскую в 1803 году; он принял меня со стеклой в руке. С самым простодушным и приветливым видом он показал мне огромную статую Бонапарта, а также Геракла, убивающего Лика: он жаждал доказать, что способен выразить в камне силу, но даже и в этих творениях резец его отказывался исследовать анатомию; нимфа против воли творца сохраняла пышные формы, а из-под старческих морщин проступали черты Гебы. Мне довелось знать лучшего скульптора моего времени; подобно Гужону *, он погиб, сорвавшись с лесов; смерть без устали вершит свою вечную Варфоломеевскую ночь и разит нас своими стрелами.

Но до сих пор жив, к великой моей радости, добряк Боге, старейший из французских художников, работающих в Риме. Дважды пытался он покинуть возлюбленные просторы; он доезжал до Генуи, но там мужество изменяло ему, и он возвращался на свою названную родину. Я со всей возможной щедростью принял в посольстве и его самого, и его сына, которого он лелеет с материнской нежностью. Как прежде, мы совершаем совместные прогулки; лишь неспешность движений выдает его старость; с каким-то умилением я притворяюсь юношей и замедляю шаг, чтобы не обогнать спутника. Обоим нам недолго осталось смотреть на бегущие вдаль воды Тибра.

В эпоху расцвета изобразительного искусства великие художники вели совсем не ту жизнь, что нынче: они трудились над своими шедеврами, паря под сводами Ватикана, под потолком собора Святого Петра и виллы Фарнезины. Рафаэль выходил на улицу в обществе учеников, в сопровождении кардиналов и князей, словно древнеримский сенатор в окружении клиентов. Карл Пятый трижды позировал Тициану, подал ему упавшую кисть, а на прогулке оставлял за ним место по правую руку от себя; Франциск I бодрствовал у смертного одра Леонардо да Винчи. Тициан в расцвете своей славы прибыл в Рим и был принят там исполином Буонарроти: в девяносто девять лет Тициан, живя в Венеции, все еще крепко держал в руке свою столетнюю кисть, равной которой не родило ни одно столетие.

Восьмидесятилетний Микеланджело умер в Риме, завершив работу над куполом собора Святого Петра, и тело его было тайно выкопано из земли по приказу великого герцога Тосканского. Роскошными похоронами своего великого художника Флоренция искупила забвение, которому предала она прах своего великого поэта, Данте.

Веласкес дважды посетил Италию, и дважды Италия стоя приветствовала его: предшественник Мурильо отправился домой, увозя с собою яблоки авзонийских гесперид, которые Испания приняла из его рук,— его стараниями отечество получило двенадцать полотен, принадлежащих двенадцати знаменитейшим живописцам того времени.

Прославленные эти художники вели жизнь, полную празднеств и приключений; они защищали города и замки, возводили церкви, дворцы и городские стены, наносили и получали мощные удары шпагой, соблазняли женщин, укрывались в монастырях, получали отпущение грехов у пап и находили убежище у князей. Рассказывая об одной из оргий, Бенвенуто Челлини называет среди гостей Микеланджело и Джулио Романо.

Нынче все переменялось: художники живут в Риме бедно и уединенно. Впрочем, в этой жизни есть, быть может, своя поэзия, не уступающая прежней. Сообщество немецких художников задалось целью вернуть живопись ко временам Перуджино, дабы вновь усвоить ей христианский дух. Эти юные неофиты из братства Святого Луки * утверждают, что Рафаэль под конец жизни сделался язычником и погубил свой талант. Предположим даже, что это правда; станем же все такими язычниками, каковы Рафаэлевы девы, и пусть талант наш ослабевает и гибнет, если плодом этой слабости явится «Преображение»! Заблуждения новой религиозной школы почтенны, но от этого они не перестают быть заблуждениями; адепты новой школы полагают, что напряженность и неуклюжесть фигур на старинных полотнах суть доказательства одухотворенности живописца; меж тем персонажи средневековых мастеров дышат верой вовсе не оттого, что фигуры их угловаты и неподвижны, словно сфинксы, но оттого, что создатели их, подобно всем своим современникам,

истово верили а Бога. Религиозного духа исполнена здесь не живопись, но мысль живописца; не случайно испанские полотна всегда *набожны* по форме, хотя начиная с эпохи Возрождения им вовсе не чужды изящество и живость. В чем тут дело? В том, что *испанцы — христиане*.

Я навещаю художников порознь: начинающий скульптор живет где-нибудь в пещере, осененной зелеными дубами виллы Медичи *, и завершает там работу над мраморным изображением мальчика, поящего змею из раковины. Живописцу пристанищем служит полуразрушенный дом в пустынной местности; я застаю его в одиночестве: стоя у окна, он рисует вид римской кампани. «Разбойница» господина Шнеца превратилась в мать, молящую мадонну о спасении ее сына. Леопольд Робер покинул Неаполь и был недавно проездом в Риме; он увез с собою холсты, на которых как живые запечатлены здешние волшебные края.

Герен, подобно больной голубке, уединился в верхнем этаже одного из флигелей виллы Медичи. Спрятав голову под крыло, он вслушивается в шум ветра над Тибром; проснувшись поутру, он рисует пером смерть Приама.

Орас Верне пытается переменить манеру; добьется ли он успеха? Змея на шее, вызывающий наряд, сигара, бесчисленные маски и виньетки — все это слишком отдает бивуаком.

Кому известно имя моего друга господина Кека, обосновавшегося на вилле Юлия III, созданной трудами Микеланджело, Виньолы и Тадеуша Цуккари *? А между тем он весьма недурно изобразил в своем гроте — законном приюте живописцев — смерть Вителлия. Запущенные клумбы вокруг виллы часто посещает хитрый зверек, с которым господин Кек ведет борьбу, — это лис, праправнук прародителя Гупиля-Ренара, что доводится племянником Волку Изенгрину *.

Пинелли, придя в себя после одной попойки и не успев еще начать другую, посулил мне показать двенадцать сцен с танцами, переодеваниями и воровскими трюками. Жаль, что он морит голодом своего пса, лежащего у дверей.

Торвальдсен и Камуччини — первейшие бедняки во всем Риме.

Изредка все эти художники, живущие в разных уголках города, собираются вместе и отправляются пешком в Субьяко. По дороге они останавливаются возле трактира в Тиволи и малюют на его стенах гротески. Быть может, однажды в рисунке углем, набросанном поверх творения Рафаэля, потомки узнают руку нового Микеланджело.

Я хотел бы родиться живописцем: уединение, независимость, солнце, освещающее руины и шедевры, — все это мне по душе. Потребности мои невелики: мне достало бы куска хлеба и кружки воды из Аква Феличе *. Моя незадачливая жизнь то и дело цеплялась за придорожные кусты; насколько счастливее вольная жизнь птицы, которая, распевая, вьет в этих кустах гнездо!

Получив приданое за женой, Никола Пуссен купил дом на Монте Пинччо; напротив жил Клод Желе, известный под именем Клода Лоррена.

Оба моих соотечественника умерли на коленях царицы мира *. Если Пуссен писал римскую кампанью даже на тех полотнах, действие которых происходит в совсем иных краях, то у Лоррена римское небо венчает даже изображение кораблей и закатов на море.

Отчего я не родился современником тех избранных творцов прошедших столетий, что так близки мне по духу! Впрочем, мне пришлось бы воскресать слишком часто. Пуссен и Клод Лоррен взошли на Капитолий *; на его вершине бывали и короли, но они не стояли живописцев. Де Бросс повстречал в Риме английского претендента *, я сам видел здесь в 1803 году отрекшегося от престола короля Сардинии *, а ныне, в 1828 году, вижу брата Наполеона, короля Вестфалии *. Оскудельный Рим дает приют низвергнутым властителям; в его руинах укрываются несчастные таланты и гонимая слава.

7. Римское общество в старое время

Если бы четверть века назад я изобразил не только римскую кампанью, но и римское общество, нынче мне пришлось бы достоверности ради нанести на полотно много новых мазков. Срок жизни одного поколения — тридцать три года (возраст Христа, ибо Христос — основа всего); всякое новое поколение в нашем западном мире обладает собственным обликом. Рама картины остается неизменной, но персонажи то и дело меняются. В 1536 году в этом городе вместе с кардиналом дю Белле побывал Рабле; служа дворецким Его Преосвященству, он *разделявал и подносил*.

Рабле, преобразивший себя в *Жана Зубодробителя*, придерживался иного мнения, нежели Монтень, который в бытность свою в Риме совсем не слышал колоколов, ибо *звонят здесь меньше, чем в любой французской деревне* *; Рабле, напротив, постоянно слышал колокольный звон на острове Звонком (в Риме) и *уже подумал было, что это додонские бубенцы*.

Монтень, прибывший в Рим спустя сорок четыре года после Рабле, обнаружил на берегу Тибра сады и огороды; он сообщает, что 16 марта тут уже цветут розы и поспели артишоки. Церкви показались ему голыми, он не нашел в них ни статуй святых, ни фресок и счел их менее красивыми и нарядными, нежели французские храмы. Монтень привык к *мрачным обширностям наших готических соборов*; он несколько раз упоминает собор Святого Петра, но не описывает его; он либо притворялся нечувствительным и равнодушным к изящным искусствам, либо в самом деле был таковым. Глазам Монтеня предстало столько шедевров, но память не подсказала ему ни одного имени; он не вспомнил ни о Рафаэле, ни о Микеланджело, со смерти которого не прошло еще и шестнадцати лет.

Впрочем, в те времена никто еще не задумывался всерьез о сущности изобразительного искусства и о философическом влиянии гениев, двигавших его вперед либо ему покровительствовавших. Время творит с людьми то же, что пространство — с памятниками; и те и другие можно оценить как следует лишь на расстоянии, со специально выбранной точки; станьте слишком близко или слишком далеко — и вы ничего не увидите.

Автор «Опытов» искал в Риме лишь Рим древний: «Детища Рима-ублюдка, лепящиеся нынче к здешним лачугам, способны, разумеется, привести в восхищение людей нашего века, мне же приводят они на память воробьиные и вороньи гнезда под кровлей французских храмов, недавно разрушенных гугенотами».

Каков же был в представлении Монтеня древний Рим, если собор Святого Петра казался ему воробьиным гнездом, прилепившимся к стенам Колизея?

Новоявленный римский гражданин, пожалованный в это звание буллой 1581 года от Рождества Христова, сообщает, что римлянки, в отличие от французенок, не носят масок; они блистают жемчугами и прочими драгоценностями, но *пояс завязывают совсем свободно, словно все они на сносях*. Мужчины ходят в черном, и, «будь он герцог, граф или маркиз, *вид у римлянина подлый*».

Не удивительно ли: Святой Иероним также говорит, что у всех римлянок походка беременных: «*solutis genibus fractus incessus — неровным шагом, на полусогнутых ногах?*»

Почти каждый день, выходя из Ангельских ворот, я вижу на берегу Тибра домишко с закопченной французской вывеской, на которой нарисован медведь: по приезде в Рим Мишель, сеньор де Монтень, поселился здесь, неподалеку от больницы, служившей пристанищем бедному безумцу *, человеку, *проникнутому чистойшей древней поэзией*, которого Монтень посетил в феррарском узилище, ощутив притом *скорее горечь, нежели сострадание*.

Наступило XVII столетие, и одним из достопамятных его событий стало посещение в 1638 году католического Рима величайшим протестантским поэтом и глубочайшим мыслителем той эпохи *. Опершись о крест, держа в руках оба Завета, видя за собою греховные поколения, изгнанные из рая, а перед собою поколения, чьи грехи искупил тот, кто молился в Гефсиманском саду, столица Папской области вопрошала молодого еретика: «Чего домогаешься ты от твоей старой матери?»

Римлянка Леонора вскружила голову Мильтону *. Заметил ли кто-нибудь, что та же Леонора упомянута в «Записках» госпожи де Моттвиль, в описании концертов у кардинала Мазарини?

Аббат Арно побывал в Риме после Мильтона. Этот аббат, прежде носивший шпагу, поведал нам историю, любопытную именем одного из ее участников и живым воспроизведением нравов куртизанок. *Герой сего преданья*, герцог де Гиз, правнук Меченого, отправился искать счастья в Неаполь и в 1647 году

оказался проездом в Риме: здесь он свел знакомство с некоей Ниной Баркаролой. Мэзон-Бланш, секретарь господина Деэ, французского посла в Константинополе, вознамерился отбить красавицу у герцога де Гиза. Он дорого поплатился за свою дерзость: Нину подменили отвратительной старухой (дело происходило ночью, в комнате без света). «Если одна сторона ответила веселым смехом, другая была, как нетрудно догадаться, сильно смущена,— говорит Арно.— С превеликим трудом вырвавшись из объятий своей богини, Адонис не одетым пустился наутек».

Кардинал де Рец умолчал о римских нравах. Мне больше по душе *мальши* Куланж с его впечатлениями 1656 и 1689 годов: он славит *виноградники* и *сады*, одни названия которых пьянят душу.

Прогуливаясь в направлении *Порта Пиа*, я встречаю почти всех героев Куланжа; героев? Нет! их внуков и внучек.

Госпожа де Севинье получает стихи Куланжа и отвечает ему из замка Роше, затерянного в глубине моей бедной Бретани, в десяти лье от Комбурга: «Как печален мой адрес сравнительно с вашим, любезный кузен! Такой отшельнице, как я, пристал этот адрес, но тому, чья путеводная звезда блуждает без усталости, пристало выводить на письмо слово Рим. Вы правы: хотя избаловать судьба вас не успела, она частенько жаловала вас!!!» *

В первый раз Куланж приехал в Рим в 1656 году, во второй — в 1689-м; между двумя путешествиями прошло тридцать три года; что до меня, со времени моего первого приезда в Рим я постарел всего на двадцать пять лет; я был здесь в 1803 году, а сейчас на дворе год 1828-й. Будь я знаком с госпожой де Севинье, я научил бы ее стареть без печали.

Спон, Миссон, Дюмон, Аддисон последовали за Куланжем. Спон и его спутник Уэллер помогали мне отыскивать дорогу среди афинских развалин.

Читая Дюмона, с любопытством узнаешь, где находились в 1690 году шедевры, до сего дня приводящие нас в восхищение: боги Нила и Тибра, Антиной, Клеопатра, Лаокоон и предполагаемый торс Геракла помещались в Бельведере. Ватиканский сад, по словам Дюмона, украшали *бронзовые павлины с гробницы Сципиона Африканского*.

Аддисон путешествовал на манер scholar²²; впечатления его сводятся к цитатам из античных авторов, одобренным английскими воспоминаниями: проезжая через Париж, он преподнес Буало свои латинские стихи.

Вслед за сочинителем «Катона» * в Рим прибыл отец Лаба *: забавный человек был этот парижский доминиканец. Миссионер, проповедовавший христианство на Антильских островах, флибустьер, даровитый математик и архитектор, отважный артиллерист, наводящий пушку не хуже гренадера, ученый историк, поведавший жителям Дьеппа об их древних африканских

²² Школяр, студент (англ.).

владениях, он обладал язвительным умом и свободолюбивым характером. Я не знаю другого путешественника, который высказал бы более точные и ясные суждения о папском правлении. Лаба бродит по улицам, принимает участие в религиозных процессиях, повсюду сует свой нос и почти над всем насмехается.

Доминиканец говорит, что кадисские капудины снабдили его постельным бельем, которое вот уже десять лет новехонькое, и что ему доводилось видеть святого Иосифа, одетого на испанский манер: со шпагой на боку и шляпой под мышкой, в пудреном парике и очках на носу. В Риме он отправляется к мессе. «Никогда,— вспоминает он,— не видел я столько увечных музыкантов и не слышал столь благозвучных песнопений. Знатоки утверждают, что эта музыка не имеет себе равных. Я соглашаюсь, дабы показать, что знаю в этом толк, но если бы я не имел чести прислуживать священнику, я сбежал бы с церемонии, длившейся, как мне показалось, не три часа, а все шесть».

Чем ближе к нашим дням, тем сильнее римские нравы походят на нынешние.

Во времена Де Бросса * римлянки носили парики; обычай этот весьма древний: Проперций спрашивал у своей «жизни», отчего она так любит украшать свои волосы:

Quid juvat ornato procedere, vita, capillo? ²³

Галльские женщины, наши прародительницы, поставляли волосы Северинам, Писциям, Фаустинам, Сабинам. Велледа говорит Евдору о своей прическе: «Это моя диадема, я сберегла ее для тебя». Волосы не были самым великим завоеванием римлян, но оказались завоеванием самым долговечным: в женских гробницах часто находят прекрасно сохранившиеся парики; мойры не властны над этим украшением, но где то чело, которое они венчали? Благоуханные пряди, разжигавшие непостояннейшую из страстей, пережили не одну империю; смерть, разбивающая любые цепи, не смогла порвать эту тончайшую нить.

Нынче итальянки щеголяют прическами из собственных волос, очаровательно кокетливыми у женщин из народа.

Судья-путешественник де Бросс писал свои портреты и картины в манере Вольтера, с которым у него вышла комическая распря из-за клочка земли *. Де Бросс не один раз вел беседу с принцессой Боргезе, сидя на краешке ее постели. В 1803 году я видел во дворце Боргезе другую принцессу — Полину Бонапарт, которая, подобно своему брату, опочила, одержав множество побед! Рафаэль, будь она его современницей, изобразил бы ее в виде одного из тех амуров, что опираются на спины львов, украшающих стены виллы Фарнезина,

²³ Жизнь моя, что за нужда выступать, разукрасив прическу? (лат.; Проперций, I, 2, 1; пер. Л. Остроумова).

и сходное томление погубило бы художника и его модель. Сколько цветов увяли уже в тех степях, где бродили мои герои *: святой Иероним и святой Августин, Евдор и Цимодоцея!

Англичане на площади Испании, какими их нарисовал де Бросс, очень похожи на тех, которых мы видим сегодня,— они держатся друг за друга, галдят, взирают сверху вниз на простых смертных, а после отправляются в свои рыжие лондонские трущобы, даже не взглянув на Колизей. Де Бросс удостоился чести быть представленным Якову III *:

«Старшему из сыновей претендента около двадцати лет, младшему пятнадцать. От людей, близко с ними знакомых, я слышал, что старший куда лучше младшего и больше любим домашними; у него доброе сердце и отважный нрав; он с трудом переносит свое положение и если не сможет рано или поздно переменить свою судьбу, то не от недостатка храбрости. Мне рассказали, что когда испанцы вели войну за Неаполитанское королевство, принц, тогда еще отрок, отправился в плавание, чтобы принять участие в осаде Гаэты; он стоял на палубе, и шляпа его свалилась в воду. Ее хотели подобрать. «Не стоит,— отвечал принц,— рано или поздно мне придется отправиться за ней самому».

Де Бросс утверждает, что если принц Уэльский что-либо предпримет, его ждет неудача, и объясняет, почему. Выказав немалую удаль, Карл Эдуард, носивший имя графа Альбани, вернулся в Рим; отец его умер; сам он женился на принцессе Штольберг-Гедерн и обосновался в Тоскане. Не знаю, правда ли это, но, по словам Юма, в 1753 и 1761 годах он тайно посетил Лондон, присутствовал на коронации Георга III и сказал человеку, узнавшему его: «Меньше всего я завидую тому, из-за которого поднят весь этот шум».

Брак претендента не был счастливым *; графиня Альбани бросила его и поселилась в Риме: там с нею познакомился другой путешественник, Бонштеттен; на склоне лет бернский дворянин рассказывал мне в Женеве, что хранит письма юной графини Альбани.

Альфьери впервые увидел жену претендента во Флоренции, и она навеки завладела его сердцем. «Прошло двенадцать лет,— говорит он,— но и сейчас, когда, достигнув жалкого возраста, лишено иллюзий, я пишу весь этот вздор, я чувствую, что, хотя каждый день отнимает у нее еще одну частицу брэнной красоты — единственного очарования, над которым она не властна, я с каждым днем люблю ее все сильнее. Рядом с нею сердце мое делается возвышеннее, великодушнее и нежнее, но мало этого; осмелюсь сказать, что и с ее сердцем благодаря моей поддержке и ободрению свершается то же самое».

Мне случилось видеть госпожу Альбани во Флоренции; время произвело на нее действие, противоположное обычному; как правило, с возрастом на лице существа, принадлежащего к древнему роду, проступает печать этого благородного происхождения: графиня Альбани, полная женщина с невыразитель-

ным лицом, имела вид самый заурядный. Она походила на состарившуюся матрону с полотна Рубенса. Мне досадно, что сердце это, лишившись *поддержки и одобрения* Альфьери, вынуждено было искать иной помощи *. Напомню здесь отрывок из моего письма к господину де Фонтану о Риме:

«Знаете ли вы, что графа Альфьери я видел единственный раз в жизни, и угадаете ли, как именно? В гробу: мне сказали, что он почти не изменился, выражение его лица было благородным и серьезным, смерть, без сомнения, лишь прибавила ему суровости; гроб был чуть короток, голову покойника опустили на грудь, отчего облик его стал грозен».

Нет ничего печальнее, чем перечитывать под старость строки, написанные в юности: то, что тогда было настоящим, теперь ушло в прошлое.

В 1803 году в Риме мне случилось видеть мельком последнего из Стюартов — семидесятидевятилетнего Генриха IX, кардинала Йоркского. Он имел слабость принять от Георга III пенсию: вдова Карла I тщетно молила Кромвеля об этой милости. Так, навсегда утратив трон, род Стюартов угасал еще сто девятнадцать лет. Трижды изгнанники-претенденты передавали по наследству призрак короны: они были умны и отважны; чего же им недоставало? милости Господней.

Впрочем, вид Рима утешил Стюартов; среди этих бесконечных руин их собственная судьба предстала лишь мелким происшествием, обломком тонкой колонны посреди гигантской свалки. Покидая мир, Стюарты имели и другое утешение: на их глазах рушилась старая Европа, вслед за ними карающий рок обратил во прах других королей, в их числе Людовика XVI, предок которого отказал в убежище потомку Карла I *; а Карл X умер в изгнании в том же возрасте, что и кардинал Йоркский! а его сын и внук блуждают по земле, не имея пристанища!

Путевые записки Лаланда, посетившего Италию в 1765—1766 годах, до сих пор остаются одним из самых лучших и точных описаний римского искусства и римских древностей. «Я люблю читать историков и поэтов, — говорит он, — но вполне насладиться их творениями можно, лишь ступив на ту землю, по которой они ходили, лишь взойдя на те холмы, которые они живописали, лишь увидев течение рек, которые они воспевали». Сказано не так уж плохо для астронома, питавшегося акридами.

Дюкло *, почти столь же тощему, что и Лаланд, принадлежит следующее тонкое наблюдение: «Театральные пьесы разных народов дают достаточно ясное представление об их нравах. Слуга Арлекин, главный герой итальянских комедий, всегда голоден — такая уж у итальянцев жизнь. Слуги в наших комедиях, как правило, пьяницы, чему виной беспутство, но не нищета».

Выспренные восторги Дюпати * ничуть не лучше сухих отчетов Дюкло и Лаланда, однако ему удалось живо передать впечатление, производимое Римом; книга его, светящая отраженным светом, свидетельствует, что

красноречие описательного стиля родилось под влиянием Руссо, вдохнувшего в слово *spiraculum vitae* ²⁴. Дюпати близок к той новой школе, которая вскоре заменила вольтеровскую правдивость, ясность и естественность чувствительностью, темнотой и манерностью. Тем не менее за жеманными словечками Дюпати скрываются здравые суждения: он почитает причиной долготерпения римского народа преклонные лета его многочисленных правителей. «Для римлянина, — говорит он, — папа — это царь, стоящий на пороге смерти».

На вилле Боргезе Дюпати ждет наступления ночи: «Последний солнечный луч угасает на челе одной из Венер». Лучше не сказали бы и нынешние поэты. Он прощается с Тиволи: «Прощай, долина! Я чужестранец, я не житель твоей прекрасной Италии. Я никогда не увижу больше здешних краев, но, быть может, мои дети, пусть не все, но некоторые, однажды попадут сюда: предстань перед ними такой же прелестной, какой предстала ты перед их отцом». *Некоторые* из детей эрудита и поэта посетили Рим и могли увидеть, как последний солнечный луч угасает на челе «Праматери Венеры» Дюпати *.

Не успел Дюпати покинуть итальянскую землю, как на нее ступил Гёте. Приходилось ли президенту Бордоского парламента слышать когда-либо имя Гёте? А между тем это имя до сих пор помнят на итальянской земле, начисто забывшей имя Дюпати. Не то чтобы я горячо любил мощный гений немецкого поэта; невед материи оставляет меня равнодушным; Шиллера я воспринимаю сердцем, Гёте — умом. Попав в Рим, Гёте пришел в восхищение от Юпитера, и восхищение это выразилось в прекрасных словах *, — таково мнение превосходных критиков, и я с ним не спорю, однако сам я предпочитаю олимпийскому богу Бога, распятого на кресте. Тщетно пытаюсь я распознать в человеке, прогуливающемся по берегу Тибра, сочинителя «Вертера»; я узнаю его только в одной фразе: «Нынешняя моя жизнь подобна юношеской грезе; мы увидим, суждено ли ей сбыться, или она, подобно многим другим, окажется лишь пустым мечтанием».

Когда наполеоновский орел разжал когти, Рим возвратился под власть своих мирных пастырей: тогда у ветхих стен столицы цезарей явился Байрон; мрачное его воображение набросило на бесчисленные римские руины траурный плащ. Рим! У тебя было имя, но он дал тебе другое, и это новое имя останется за тобою навеки: он назвал тебя «*Ниобой нацией*, лишившейся детей и венцов, разучившейся плакать, держащей в руках пустую урну, в которой некогда хранился прах, давно рассеянный по ветру» *.

Пережив эту последнюю поэтическую бурю, Байрон скончался. Я мог бы увидеть Байрона в Женеве, но не увидел его; я мог бы увидеть Гёте в Веймаре, но не увидел его; зато я видел, как угасла госпожа де Сталь, которая, не желая

²⁴ дыхание жизни (лат.; Бытие, 2, 7).

пережить свою молодость, поспешила взойти на Капитолий вместе с Коринной *: эти бессмертные имена, эти славные тени слиты с именами и тенями вечного города ²⁵.

8. Нынешние римские нравы

Так на протяжении веков сменялись в Италии нравы и люди; но самым решительным образом преобразился Рим после того, как дважды побывал под властью французов.

Римская республика, созданная стараниями Директории, с ее двумя консулами и ее ликторами (дрянными *fasciini* ²⁶, выбранными из рядов черни), была бесконечно смешна, однако она внесла удачное новшество в гражданское законодательство: при этой *римской* республике были впервые учреждены префектуры — идея, использованная впоследствии Бонапартом.

Мы стали править Римом по законам, еще не существовавшим; сделав Рим главным городом департамента Тибр, мы установили в нем образцовый порядок. У нас римляне заимствовали налоговую систему. Закрытие монастырей, произведенная по приказу Пия VI продажа церковных имуществ ослабили веру в незыблемость религиозных святынь. Знаменитый *индекс* *, до сих пор производящий некоторое впечатление по сю сторону Альп, в Риме не значит ровно ничего: за несколько монет вы получаете разрешение с чистой совестью прочесть запрещенное сочинение. *Индекс* — один из осколков древней эпохи, дошедших до эпохи нынешней. Разве в римской и афинской республиках достоинство *царя* и имена знатнейших царедворцев не пользовались всеобщим уважением? Одни лишь французы в припадках бессмысленной ярости глумятся над могилами предков и собственной историей, опрокидывают кресты, разоряют храмы, сводя счеты с духовенством 1000 или 1100 года от Рождества Христова. Нет большего ребячества и большей глупости, чем эти запоздалые оскорбления: ничто так ясно не доказывает, что мы не способны решительно ни на что серьезное, что истинные основания свободы для нас за семью печатями. Нам следует не презирать прошлое, но, взяв пример со всех народов мира, чтить его как убеленного сединами старца, который повествует у домашнего очага обо всем, что ему довелось увидеть: что в этом плохого? Рассказы его, мысли, речи, манеры и одежды поучительны и забавны; однако он немощен и дрожащие его руки совсем ослабли. Неужели мы убоимся этого современника наших отцов — ведь он давно покоился бы

²⁵ Советую моим читателям познакомиться с двумя статьями господина Ж.-Ж. Ампера под названием «Рим в разные эпохи», напечатанными в «Ревю де Де Монд» 1 и 15 июля 1835 года. Эти любопытные свидетельства дополняют картину, которую я смог лишь набросать (Париж, 1837).

²⁶ Носильщики (*ит.*).

подле них в могиле, если бы мог умереть; он силен лишь былым могуществом тех, кто обратился во прах.

Французы ушли из Рима, но оставили ему в наследство свои принципы: так бывает всегда, когда завоеватели, будь то греки в Азии при Александре или французы в Европе при Наполеоне, превосходят цивилизованностью тот народ, на чью землю они ступили. Отнимая сыновей у матерей, принуждая итальянскую знать покидать дворцы и братья за оружие, Бонапарт ускорил преобразование национального характера.

Что же до римского общества, то в дни концертов и балов его не отличишь от парижского. Прекрасные дамы: Альтьери, Палестрина, Цагарола, Дель Драго, Ланте, Лодзано — украсили бы салоны Сен-Жерменского предместья: впрочем, у некоторых из них немного испуганный вид — должно быть, из-за здешнего климата. Очаровательная Фальконьери, например, всегда устраивается поближе к двери, готовая, если кто-то бросит на нее взгляд, немедленно спастись бегством и укрыться на Монте Марио *: ей принадлежит вилла Меллини; роман, действие которого разворачивалось бы в этом заброшенном доме на берегу моря, под сенью кипарисов, имел бы свою прелесть.

Но как бы ни изменялись от века к веку нравы и люди, все в Италии исполнено природного величия, недоступного нам, жалким варварам. В Риме до сих пор еще живы люди, в чьих жилах течет римская кровь, люди, помнящие о том, что предки их владели миром. Чужестранцы, ютящиеся в новеньких домишках у Народной заставы или во дворцах, которые они поделили на каморки, проткнув крышу бесчисленными печными трубами, напоминают крыс, рыскающих у подножия творений Аполлодора и Микеланджело или прогрызающих дыры в пирамидах.

Нынче знатные римляне, разоренные революцией, затворяются в своих дворцах, тратят деньги с оглядкой и сами управляют хозяйством. Тот, кому выпадает счастье (весьма редкое) быть принятым у них вечером, проходит анфиладу пустых, без мебели, полуосвещенных комнат, где в полутьме белеют, подобно привидениям или восставшим из гроба мертвецам, античные статуи. Наконец оборванец слуга отворяет гостью дверь в некий гинекей: вокруг стола сидят три-четыре старые или молодые дурно одетые женщины; склонившись над рукоделием при свете лампы, они перебрасываются словами с отцом, братом или мужем, полулежащим подаль в изорванных креслах. Поначалу вид этого семейства, охраняемого великолепными статуями, кажется вам неким шабашем, но затем вы обнаруживаете в нем нечто прекрасное, благородное и царственное. Чичисбев в Риме больше нет, но есть аббаты-носчики, обремененные шальями или грелками; то тут, то там по-прежнему встречаются дамы, чей дом так же трудно вообразить без друга-кардинала, как без дивана.

Папам нынче уже невозможно вступать в любовные связи и раздавать земли и должности, подобно тому, как королям невозможно открыто содержать

фавориток. Как же проводят время знатные римские дамы теперь, когда жизнь их не заполнена ни политикой, ни трагическими любовными похождениями? Было бы любопытно проникнуть в суть этих новых нравов; если я останусь в Риме, то займусь этим.

9. Местности и пейзажи

Я побывал в Тиволи 10 декабря 1803 года; в рассказе об этой поездке *, напечатанном в ту пору, я писал: «Здесь край располагает к задумчивости и мечтательности; я обращаюсь мыслями к прошедшей жизни, я сношу груз настоящего, я пытаюсь прозреть будущее; где я окажусь, что буду делать и кем стану *через двадцать лет?*»

Двадцать лет! этот срок казался мне равным целому столетию; я был уверен, что сойду в могилу гораздо раньше, чем он истечет. Но испустил дух не я, а властелин мира, а с ним исчезла с лица земли и его империя!

Почти все путешественники старого и нового времени писали о римской кампании как об *ужасной и голой* равнине. Сам Монтень, не страдавший от недостатка воображения, говорит: «По левую руку вдали видны Апеннины, а перед ними — вид неприятный, поверхность вздыбленная, изрытая глубокими трещинами... местность голая, без деревьев, бесплодный кусок земли».

Протестант Мильтон смотрел на римскую кампанию взором сухим и бесстрастным, как его вера. Лаланд и президент де Бросс были так же слепы.

Только в «Путешествии по местам действия последних шести книг «Энеиды» господина Бонштеттена, опубликованном в Женеве в 1804 году, спустя год после выхода моего письма к господину де Фонтану (оно увидело свет на страницах «Меркюр» в конце 1803 года), можно отыскать несколько правдивых слов об этой прекрасной пустынной местности, хотя и здесь не обошлось без упреков: «Какое наслаждение читать Вергилия под небом Энея и, так сказать, пред очами гомеровских богов! — говорит господин Бонштеттен. — Как пустынен этот уединенный край, где видишь только море, разоренные леса, поля, бескрайние луга и ни одного человека! На всем этом огромном пространстве я не заметил ни единого дома, кроме того, что стоит неподалеку на вершине холма. Я подошел ближе; дверь была выломана, я поднялся по лестнице, вошел в помещение, бывшее некогда спальней: в нем свила гнездо хищная птица...

Некоторое время я провел у окна этого пустого дома. У ног моих простиралось побережье, такое богатое и великолепное во время Плиния, а теперь покинутое землешапками».

С тех пор как вышло в свет мое описание римской кампании, отношение к ней переменилось и хула уступила место преклонению. Английские и французские путешественники, следовавшие по моим стопам, обмирали от восторга

в течение всего пути от Сторты * до Рима. Господин де Турнон в своих «Статистических очерках» * разделяет то восхищение, которое я имел счастье высказать первым. «Чем дальше продвигаетесь вы в глубь римской кампании,— говорит он,— тем яснее предстает перед вами суровая красота ее грандиозных очертаний, ее плавных рельефов в прекрасном обрамлении гор. Ее однообразное величие потрясает и возвышает мысль».

Не стану останавливаться на книге господина Симона *, который, рассказывая о Риме, как нарочно поставил все с ног на голову. Я был в Женеве, когда он скоропостижно скончался; едва успев скосить сено и порадоваться первым зернам, этот земледелец разделил судьбу скошенной травы и сжатых колосьев.

До нас дошли некоторые письма великих пейзажистов; ни Пуссен, ни Клод Лоррен не говорят ни слова о римской кампании. Но если перо их молчит, кисть говорит за него: агро гомано ²⁷— тайный источник красот, откуда они черпали, скрывая этот источник от посторонних глаз из некоей скупости и осторожности гения, не желающего отдавать святыню на поругание черни. Поразительная вещь: итальянское солнце лучше всего запечатлели на своих полотнах французские живописцы.

Я перечел мое письмо к господину де Фонтану из Рима, написанное двадцать пять лет назад, и, должен признаться, не нашел в нем ни одной неточности: я не сумел бы ни убавить, ни прибавить ни единого слова. Одна иностранная компания предложила этой зимой (в 1829 году) распахать римскую кампанию: ах, господа, увольте нас от ваших коттеджей и английских садов на Яникулуме! * Если когда-либо они обезобразят залежь, которую не смог одолеть плуг Цинцинната, залежь, которая поросла травой, овеваемой дыханием веков, ноги моей не будет в Риме. Ступайте прочь с вашими могучими машинами; здесь земля родит и будет родить одни лишь могилы. Кардиналы не захотели слушать расчетливых грабителей, которые, спустав останки Тускулума * с замками аристократов, решили пожить на этих руинах: они пустили бы мрамор с гробницы Эмилия Павла на известку, как пустили на сточные желоба свинцовые гроба наших предков. Их преосвященства дорожат прошлым; кроме того, к великому смущению экономистов, доказано, что пастбища римской кампании приносят собственникам пять процентов в год, а если посеять здесь пшеницу, доход не превысит полутора процентов. Земледельцы предпочитают *pastorizia* ²⁸, а не *maggesi* ²⁹ не из лени, а из соображений практических. Гектар здешней земли приносит почти такой же доход, как гектар земли в наших лучших департаментах: чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть сочинение его преосвященства Николаи *.

²⁷ Окрестности Рима (*ит.*).

²⁸ Пастушество (*ит.*).

²⁹ Земледелие (*ит.*).

〈Письма Шатобриана госпоже Рекамье с описанием римских будней; «Записка» Шатобриана о восточных делах с аргументами в пользу необходимости поддержать Россию в ее борьбе против Турции; письма из Рима историку литературы Вильмену, историку Тьерри; донесение графу де Ла Ферроне о беседе с папой римским〉

16. Госпоже Рекамье

«Рим, вторник, 13 января 1829 года.

Вчера в восемь вечера я написал вам письмо, которое доставит вам господин де Вивье, а утром, проснувшись, снова сел за письмо — в полдень я отправлю его с обычной почтой. Вы знаете бедных дам из монастыря Сен-Дени; все забросили их ради знатных дам из монастыря Трините-дю-Мон *; ничего не имея против последних, мы с госпожой де Ш. приняли сторону слабейших. Дамы из Сен-Дени еще месяц назад пожелали устроить праздник в честь *господина посла и его супруги*: он состоялся вчера в полдень. Вообразите себе церковь, превращенную в зрительный зал; ризницу, ставшую сценой, и дюжину девочек от восьми до четырнадцати лет, представляющих на этой сцене «Маккавеев» *. Актрисы сами соорудили себе шлемы и плащи. Они декламировали французские стихи с итальянским пылом и забавнейшим в мире итальянским акцентом; в самых патетических местах они топали ножками; в труппу входила племянница Пия VII, дочка Торвальдсена и еще одна дочка — художника Шовена. Они были чудо как хороши в своих бумажных костюмах. Девочка, игравшая первосвященника, надела длинную черную бороду, которая ей страшно нравилась, но колола ее нежную кожу, и тринадцатилетняя актриса постоянно поправляла ее беленькой ручкой. В зрительном зале сидели мы с госпожой де Ш., несколько матерей, монахини, госпожа Сальваж, два-три аббата и еще десятка два пансионеров в белых платьях и под покрывалами. Мы велели доставить из посольства печенье и мороженое. В антрактах наш слух услаждала игра на пианино. Вообразите себе, какие надежды и радости предшествовали этому празднеству в монастыре и какие он оставит воспоминания! Под конец три монахини спели в церкви «*Vivat in aeternum*»³⁰.

Ей же

«Рим, 15 января 1829 года.

И вновь я пишу вам! Нынче ночью у нас лил дождь и дул ветер, как во Франции: я воображал себе, как хлещут струи дождя по вашему маленькому окошку, я мысленно перенесся в вашу комнатку, увидел вашу арфу, ваше

³⁰ Да живет вечно (лат.).

пианино, ваших птичек, услышал, как вы играете мою любимую пьесу или ту, другую, из Шекспира *: а ведь я в Риме, так далеко от вас! Между нами — четыре сотни лье и Альпы!

Я получил письмо от той остроумной дамы *, что иногда навещала меня в министерстве; судите сами, как она любезна: она помешана на турках; Магомет, утверждает она, — великий человек, намного опередивший свой народ!

Жизнь в Риме должна была бы научить меня презирать политику. Здесь не удержались ни свобода, ни тирания; руины римской республики перемешались с руинами Тибериевой империи; и те и другие пали во прах! Не доказывает ли капуцин, походя сметающий этот прах своей сутаной, что все на свете — лишь суета сует? Однако помимо воли я постоянно обращаюсь мыслью к судьбам моей бедной родины. Я желал бы для нее веры, славы и свободы; зачем я не в силах украсить ее этим тройственным венцом?»

Ей же

«Рим, четверг, 5 февраля 1829 года.

«Горре Вергата — монастырская земля, расположенная в одном лье от могилы Нерона, по левую руку от дороги, если ехать из Рима, в прекраснейшем и пустынейшем краю: там, совсем неглубоко, под поросшей травой и чертополохом земель, покоятся бесчисленные обломки древних памятников. Позавчера, во вторник, окончив письмо к вам, я начал раскопки. Со мной не было никого, кроме Иасента и Висконти, — он командует работами. Погода стояла великолепная. Дюжина людей, вооруженных крюками и лопатами и выкапывающих из-под земли гробницы и обломки дворцов либо домов в совершенно пустынной местности, являла собою зрелище, достойное вас. Я желал лишь одного — чтобы вы перенеслись сюда. Я охотно согласился бы жить вместе с вами в палатке среди этих руин.

Я тоже взялся за лопату и раскопал осколки мраморных изваяний: судя по всему, у меня есть надежда обнаружить что-то стоящее и окупить все, что я потратил, принимая участие в этой могильной лотерее; в моем распоряжении уже имеется кусок греческого мрамора такой величины, что его достанет на бюст Пуссена *. Эти раскопки сделаются целью моих прогулок; каждый день я буду стремить шаги к этим обломкам. Какому столетию, каким людям принадлежали они? Быть может, мы, сами того не ведая, тревожим славнейший в мире прах. Быть может, нам удастся обнаружить надпись, которая прольет свет на какое-либо историческое событие, рассеет какое-либо заблуждение, установит какую-либо истину. А после, когда мы с дюжиной полуобнаженных крестьян покинем эти места, здесь снова воцарятся забвение и тишина. Можете ли вы вообразить себе, какие страсти кипели некогда в этой пустыне, какие

здесь разыгрывались драмы? Здесь жили господа и рабы, счастливицы и неудачники, красавицы, кружившие головы мужчинам, и честолюбцы, мечтавшие о министерских портфелях. Теперь здесь нет никого, кроме птиц и меня, да и то ненадолго; вскоре мы улетим отсюда. Скажите, стоит ли после этого мне, армориканскому варвару, странствовавшему среди дикарей, населяющих материк, неизвестный римлянам, и посланцу тех священников, которых римляне кидали на съедение львам, быть министром мелкого галльского царька? Когда я призывал Леонида в Лакедемонне, он не ответил мне *: шум моих шагов в Торре Вергата не пробудит ни единой живой души. А когда я в свой черед сойду в могилу, я не услышу даже звука вашего голоса. Значит, мне нужно поскорее вернуться к вам и покончить со всеми земными химерами. Нет ничего лучше отставки, нет ничего неподдельнее, чем привязанность, подобная вашей.

КНИГА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

⟨Продолжение писем к госпоже Рекамье: смерть папы Льва XII и его похороны; выборы нового папы; экскурс в историю папства; письма Шатобриана к госпоже Рекамье и его донесения графу Порталису о кардиналах — кандидатах на пост папы; интриги Шатобриана в пользу кандидата, благожелательного к Франции; победа Шатобриана: папой выбран один из «его» кандидатов — кардинал Кастильони (Пий VIII), хотя государственным секретарем стал кардинал Альбани, сочувствующий Австрии⟩

7. Праздник в честь великой княгини Елены на вилле Медичи

Я давал балы и устраивал приемы в Лондоне и Париже и, хотя рожден в иной пустыне, не так уж плохо справлялся со своей ролью в этих новых краях; но я даже не подозревал, что такое празднества в Риме: в них есть нечто античное, сближающее наслаждения со смертью. Вилла Медичи, где сами сады уже являют собою драгоценное украшение и где я принимал сегодня утром * великую княгиню Елену, обрамлена великолепной рамой: с одной стороны вилла Боргезе и дом Рафаэля, с другой вилла на Монте Марио и холмистые берега Тибра; внизу — весь Рим, подобный заброшенному орлиному гнезду. Между купами деревьев бродили среди потомков Паул и Корнелий первые красавицы Неаполя, Флоренции и Милана; принцесса Елена казалась их повелительницей. Борей, внезапно налетевший с горы, набросился на пиршественный шатер и умчался, унося обрывки ткани и гирлянд, — так же точно расправилось время со здешним краем. Все члены посольства пришли в отчаяние, что же до меня, то я ощущал некую ироническую веселость, видя, как ветер небесный похищает мою кратковременную позолоту и мимолетные радости. Шатер очень скоро привели в порядок. Поначалу предполагалось устроить завтрак на террасе, но теперь стол накрыли внутри роскошного

дворца; голоса валторн и гобоев, разносимые борею, чем-то напоминали мне шорохи американских лесов. Гости, резвящиеся на ветру, развевающиеся вуали и кудри женщин, sartarella, не боящаяся бури, поэтесса, обращающая свои импровизации к облакам *, воздушный шар с вензелем северной принцессы, улетающий в небо,— все это сообщало празднику, в котором, казалось, смешались привычные мне бури, новый облик.

Как гордился бы подобным торжеством человек, не проживший на свете такую уйму лет, как я, и еще чувствительный к обольщениям света и бури! Я с трудом заставляю себя вспоминать о своем преклонном возрасте, когда вечерами по галереям моего дома среди цветов, огней и музыки порхают дщери весны: они кажутся мне стаей лебедей, летящих в теплые страны. Какие разочарования ждут их впереди? Одни стремятся к тому, что уже любят, другие — к тому, чего еще не полюбили. В конце пути их ждет гробница, каких здесь так много, один из тех древних саркофагов, в которых здешние жители держат воду; прах их смешается с прахом многих других легкомысленных и прелестных созданий. Эти волны красоты, брильянтов, цветов и перьев плещутся под музыку Россини, исполняемую всеми оркестрами разом и постепенно затихающую вдали. Не та ли это мелодия, что слышалась мне во вздохе флоридского ветерка или в стенаниях, полнивших храм Эрехтеи в Афинах? Или это жалоба далеких аквилонов, баюкавших меня на волнах океана? А может, под маской одной из этих блистательных итальянок скрывается моя сифида? Нет: моя дриада неразлучна с луговыми ивами, она осталась на опушке комбургского леса — там, где явилась мне впервые. Светские забавы, настигшие меня в конце жизненного пути, чужды мне, и все же в этой феерии есть что-то пьянящее, и она кружит мне голову: я вновь обретаю трезвость и холодность ума, лишь побывав на пустынной площади перед собором Святого Петра или в безлюдном Колизее. Тогда мелкие земные картины отступают, и глазам моим открываются зрелища, родственные лишь былым печалям моей юности.

⟨Письма Шатобриана к госпоже Рекамье; его донесения графу Порталису⟩

11. Похвальба

Друг великого Л'Опиталья, канцлер Оливье, изъясняясь на языке XVI столетия, презиравшего церемонии, сравнивает французов с мартышками, которые взбираются на верхушку дерева и, усевшись там, являют всему миру то, что следовало бы скрывать. История Франции с 1789 года до наших дней доказывает справедливость этого сравнения; впрочем, всякий человек, одолевая жизненный путь, уподобляется обезьяне канцлера; рано или поздно все без стыда выставляют напоказ свои увечья. Так и я, познакомив читателей со

своими депешами, чувствую желание похвастаться: глядя на великих людей, которые нынче кишат повсюду, понимаешь, что в наши дни только лицемер не объявляет сам себя бессмертным.

Читали ли вы хранящуюся в архиве министерства иностранных дел дипломатическую переписку, посвященную важнейшим событиям прошедших эпох? — Нет.

Так, может быть, вы читали переписку опубликованную? может быть, вам известны подробности переговоров дю Белле, д'Осса, Дюперрона и президента Жаннена, может быть, вы заглядывали в «Государственные мемуары» Вильруа, «Королевские сбережения» Сюлли, в мемуары кардинала Ришелье и письма Мазарини, в документы, касающиеся Вестфальского договора и Мюнстерского мира? Может быть, вам знакомы донесения Барийона об английских делах и переписка по поводу испанского наследства, может быть, от вашего внимания не ускользнуло имя госпожи дез Юрсен, может быть, вам попадался на глаза «семейный договор» * господина де Шуазеля, может быть, вам не чужды имена Хименеса, Оливареса и Помбаля, вы знаете о борьбе Гуго Гроция за свободу морей *, читали его письма обоим Оксеншернам, помните о переговорах первого министра Витта с Петером Гроцием, вторым сыном Гуго, наконец, может быть, взгляд ваш привлекало собрание дипломатических соглашений? — Нет.

Выходит, вы никогда не читали всех этих бесчисленных разглагольствований? В таком случае прочтите их, а затем перейдите к моим депешам из Пруссии, Англии и Рима (не будем касаться столь досадившей вам войны в Испании, хотя она — главная моя заслуга на государственном поприще), сравните их со всеми прочими депешами, которые я только что перечислил, и, положе руку на сердце, скажите, какие из них больше утомили вас; скажите, сильно ли отличается моя работа от работы моих предшественников, скажите, уступаю ли я стародавним министрам и покойным послам в умении вникать в мелочи *существенности*?

Прежде всего вы увидите, что ничто не ускользает от моего внимания: я не упускаю из виду ни Решид-пашу, ни господина де Блакаса *; я ревностно отстаиваю свои посольские права и привилегии, я держусь хитро и двулично (а это важнейшее достоинство!), и хитрость моя так велика, что я не отвечаю на письмо господину Фунхалю, чье положение ненадежно, но из коварной вежливости наношу ему визит, чтобы ублагодарить его, не оставив, однако, в его руках ни единой полученной от меня строчки. В разговорах с кардиналами Бернетти и Альбани, двумя государственными секретарями, у меня не вырывается ни одного неосторожного слова; я не гнушаюсь и мелочами: я навожу порядок в бумагах французов, живущих в Риме, и заложенные мною основы сохраняются по сю пору. Орлиным взором я прозреваю противозаконность договора, заключенного в Трините-дю-Мон между Папской областью и посла-

ми Лавалем и Блакасом — договора, который ни одна из сторон не имела права заключать *. Затем я воспаряю в сферы высшей дипломатии и, не имея, впрочем, никаких указаний от министра иностранных дел, беру на себя смелость дать отвод одному из кардиналов, чтобы не увидеть на папском престоле ставленника Австрии. Я добываю тайные протоколы конклава: никому другому послу это не удалось бы; день за днем я шлю на родину списки кардиналов с результатами голосования. Я не забываю и о родственниках Бонапарта; я не оставляю надежды умелым обхождением добиться от кардинала Феша отказа от звания лионского архиепископа. Стоит какому-либо *карбонарию* начать готовить новый заговор, я немедленно узнаю об этом и определяю, насколько правдивы слухи о готовящемся бунте; стоит какому-либо аббату начать плести интриги, я немедленно узнаю об этом и разрушаю планы тех, кто желал поссорить кардиналов с французским послом. Наконец, я выясняю, что кардинал Латиль доверил главному исповеднику некую важную тайну. Довольны ли вы? Согласны ли, что перед вами — человек, знающий свое дело? В таком случае я сознаюсь вам, что эта дипломатическая поденщина не стоила мне никакого труда, что я разделялся с нею, как любой самый заурядный посол; так простак крестьянин в Нижней Нормандии шьет штаны, паяя овец: моими овцами были мои грезы.

Важно и другое: сравните мои официальные письма с донесениями моих предшественников, и вы убедитесь, что я уделяю общим вопросам столько же внимания, сколько и частным, что дух моей эпохи увлекает меня в высшие сферы человеческого ума. Это наиболее очевидно в депеше, адресованной господину Порталису, где я рассматриваю состояние Италии и выказываю презрение кабинетам, принимающим ход истории за череду мелких и крупных заговоров. «Записка о восточной войне» также содержит политические истины, которые не назовешь заурядными. Я был принят двумя папами и беседовал с ними не о кабинетных интригах; я втянул их в разговор о религии, о свободе, о грядущих судьбах мира. Тем же предметам была посвящена и моя речь перед конклавом. Я дерзнул посоветовать этим старцам идти вперед и сделать религию движителем общества.

Читатель, дождись окончания моей похвальбы — ведь я, подобно философу Платону, кружу около своей идеи, прежде чем дойти до цели. Я стал похож на старого Сидрака — годы путь мой удлиняют *. Я продолжаю — и кончу еще не скоро. Нынче многие писатели презирают свой литературный дар и готовы поступиться им ради дара политического, несравненно более лестного. Благодарение Богу, мною владеют совсем иные чувства, я придаю очень мало значения политике, хотя бы потому, что это — игра, в которой мне везло. Преуспевающему политику добродетели только в тягость. Я самонадеянно признаю за собою практическую сметку, но прекрасно помню о том, что добиться полного успеха не позволяю себе я сам. Дело тут не в моей музе, но

в моем равнодушии ко всему на свете. С таким пороком преуспеть в жизни действительно невозможно.

Равнодушие, не стану спорить, пристало государственному мужу, но лишь государственному мужу, лишенному совести. Он безучастно взирает на любые происшествия, не отличает обиду от похвалы, презирает нравственность, справедливость и сострадание, наконец, извлекает выгоду даже из революций. Ведь эти мудрецы убеждены, что всякое событие, счастливое или несчастное, обязательно приносить пользу; они наживаются на тронах, на гробах, на клятвах, на оскорблениях; расценки устанавливают новоявленные Мьонне, коллекционирующие унижения и катастрофы: что до меня, я не силен в этой нумизматике. К несчастью, я беззаботен вдвойне; собственная моя судьба волнует меня ничуть не больше окружающего мира. Павел Пустынник презирал мир, оттого что верил в Бога; я презираю общество, оттого что не верю в политику. Это неверие помогло бы мне добиться великих побед в жизни деятельной, пекись я больше о своей глупой персоне и умей разом и унижать, и ублажать ее. Сколько бы я ни старался, я все равно остаюсь честным простофилей, неумудшим дурачком, не умеющим ни подличать, ни наживаться.

Д'Андийи, говоря о себе, дал точное описание одной стороны моего характера: «Я никогда не строил честолюбивых планов,— для этого я был слишком честолюбив; Господь вселил в меня тягу к великим свершениям во имя славы государства и счастья народов, и я не умел стеснить себя узкими рамками личной корысти. Я мог бы служить лишь королю, который правит сам и не стремится ни к чему, кроме бессмертной славы». Следовательно, королям моего времени я служить не мог.

Теперь, когда я явил вам укромнейшие уголки своей души и обнажил ее потаенные достоинства, когда я исчислил вам все редкостные совершенства своих депеш, уподобившись одному из собратьев по Институту, который беспрестанно восславляет собственную персону и приучает окружающих восхищаться им, теперь я открою вам, чего ради затеял всю эту похвальбу: я желал показать, на что способны литераторы, вступившие в государственную службу, и защитить их от нападок дипломатов, финансистов и чиновников.

Все эти деятели считают себя на голову выше людей, каждый из которых, даже самый ничтожный, стоит гораздо больше них; пристало ли всеведущим господам-практикам болтать такой вздор? Вы толкуете о фактах, согласитесь же с фактами: большинство великих писателей древности, средних веков, современной Англии были великими государственными мужами, если только снисходили до политики. «Я не стал объяснять им,— замечает Альфьери, повествуя о своем отказе от должности посла,— что для меня их дипломатия и депеши значат гораздо меньше, чем написанные мною или даже кем-то другим трагедии; ведь людей такого рода образумить невозможно: они не могут и не должны переменить веру».

Кто из французов был лучшим литератором, чем Л'Опиталь, преемник Горация, или ловкий посол д'Осса, или Ришелье, этот человек острого ума, которому мало было решать *спорные вопросы*, сочинять *записки и истории* и который только и делал, что изобретал сюжеты для пьесы, кропал стишки в компании Мальвиля и Буаробера и в муках рождал Академию и «Большую пастораль» *? Разве он стал великим министром оттого, что был скверным писателем? Впрочем, дело ведь не в большем или меньшем таланте, дело в страсти марать бумагу; меж тем сам господин де л'Эмпирей * не выказал больше пыла и щедрости, борясь за место на Парнасе, чем кардинал, истративший на постановку своей *трагикомедии* «Мирам» двести тысяч экю! Если бы можно было знать наверняка, что всякий посредственный поэт, занявшись политикой, станет превосходным государственным деятелем, из этого следовало бы, что всякий превосходный поэт станет государственным деятелем средней руки: но разве талант стихотворца убил талант политика в Солоне, элегическом поэте, не уступающем Симониду; в Перикле, который изменял музам, дабы покорять афинян великолепными речами, в Фукидиде и Демосфене, которые подняли на такую недостижимую высоту славу писателя и оратора, хотя и отдавали свои силы воинскому ремеслу и публичному красноречию? Разве литературный дар уничтожил гений Ксенофонта, который, обдумывая «Киропедию», участвовал в «Отступлении десяти тысяч», разве помешал он двум Сципионам * — другу Лелия и покровителю Теренция, или Цицерону, царю словесности и отцу отечества, наконец Цезарю, автору сочинений по грамматике, астрономии, религии, литературе, сопернику Архилоха в сатире, Софокла в трагедии, Демосфена в красноречии, создателю «Записок», равных которым не написать ни одному историку? †

Впрочем, сколько ни приводи примеров, в нашей стране дар сочинителя, безусловно превосходящий все прочие таланты, ибо он не исключает ни одного из них, всегда будет препятствовать политическому успеху: в самом деле, какая польза в высоком уме? он ни на что не годен. Французские глупцы, особая и сугубо национальная порода людей, ни в грош не ставят французских Гроциев, Фридрихов, Бэконов, Томасов Моров, Спенсеров, Фолклендов, Кларендонов, Болингброков, Берков и Каннинггов.

В нашем тщеславии мы никогда не согласимся признать даже за гениальнейшим человеком разносторонней одаренности и способности справляться с делами заурядными так же хорошо, как справляется с ними человек самого заурядного ума. Стоит вам хоть на самую малость выйти за пределы банальности, как тысяча глупцов поднимают шум. «Вы витаєте в облаках!» — кричат они, гордые тем, что сами влачат свои дни на земле и не жалеют иной доли. Тайное сознание собственного несовершенства принуждает этих бедных завистников восставать против таланта; они снисходительно напоминают Вергилию, Расину и Ламартину, что их удел — стихи. Но каков ваш удел, господа

гордецы? — забвение: оно караулит вас в двадцати шагах от дома, между тем как названных поэтов двадцать стихотворных строк их сочинения прославят навеки.

〈Французы в Риме при Директории и Империи; прогулки Шатобриана по Риму; судьба его племянника Кристиана, ставшего иезуитом в Риме; отъезд Шатобриана из Рима в Париж в мае 1829 г.〉

КНИГА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

1. 〈...〉 Пиренеи.— Приключение

Париж, август и сентябрь 1830 года, улица Анфер

〈Политическая обстановка во Франции: слабость либерального министерства Полиньяка; Шатобриан едет на воды в местечко Котре, в Пиренеях, и там сочиняет стихи об этом крае〉

Я не смог докончить оду: мой заунывный барабан бил отбой, сзывая мечтания прошедших ночей, однако в ряды отступающих постоянно врываются мечтания нынешней минуты, чей сияющий вид никак не вязался с трусливой миной их старых товарищей.

И вот, предаваясь стихотворству, я увидел сидящую на берегу горного потока молодую женщину; она поднялась и пошла мне навстречу; из разговоров местных жителей она знала о моем приезде. Незнакомка оказалась таинственной Окситанкой *, с которой мы уже два года переписывались, ни разу не видевши друг друга; тайна раскрылась: *Patuit Dea* ³¹.

Исполненный почтительности, я навещал у ручья свою наяду. Однажды, когда я собрался уходить, она пожелала проводить меня; мне пришлось на руках донести ее к ней домой. Никогда еще мне не было так стыдно: я полагал, что человек моего возраста, внушивший столь страстную привязанность юной особе, попросту смешон, и чем более лестной для меня могла выглядеть эта прихоть, тем большее унижение я испытывал, справедливо видя в ней издевку. От стыда я готов был сбежать к медведям, водившимся по соседству. Я чувствовал совсем не то, что Монтень, сказавший: «Любовь возвратила бы мне зоркость, трезвость, любезность, заставила бы печься о собственной наружности...» * Бедняга Мишель, ты толкуешь о превосходных вещах, но увь: людям нашего возраста любовь всего этого отнюдь не возвращает. Нам остается только одно: по доброй воле отойти в сторону. Итак, вместо того, чтобы предаться занятиям *здравым и мудрым*, дабы *стать достойным любви*, я постарался стереть из памяти мимолетный образ моей Клемансы Изор; горный ветерок скоро развеял причуду прекрасного создания; остроумная, решительная и пре-

³¹ Поступь выдала им богиню (*лат.*; Вергилий. Энеида, I, 405; пер. С. Ошерова).

лестная шестнадцатилетняя чужестранка была благодарна мне за то, что я оценил себя по справедливости: нынче она уже замужем.

2. *Министерство Полиньяка.— Мое отчаяние.— Я возвращаюсь в Париж*

Слухи о падении министерства * дошли до наших пихтовых лесов. Сведущие люди поговаривали даже о том, что новое правительство возглавил князь де Полиньяк *, но я нисколько в это не верил. Наконец прибыли газеты: я открыл их и с изумлением прочел официальное сообщение, подтверждающее эти слухи. С тех пор как я живу на свете, фортуна не раз преподносила мне сюрпризы, но такого жестокого разочарования мне еще не доводилось испытать. Судьба в очередной раз смела с лица земли все взлелеянные мною химеры; но на этот раз вместе с моими иллюзиями она погубила монархию. Я тяжело перенес этот страшный удар; отчаяние мое было велико, ибо я тотчас принял решение: мне следует покинуть свой пост. Я получил множество писем; во всех мне предлагали подать в отставку. Даже едва знакомые мне люди почтили меня своими наставлениями.

Меня неприятно поразила эта угодливая забота о моем добром имени. Благодарение Богу, в вопросах чести я никогда не имел нужды в советчиках; жизнь моя была цепью самопожертвований, совершенных по собственной воле; когда дело идет о долге, я не трачу времени на раздумья. Отставка губельна для меня — ведь все мое богатство всегда состоит из одних долгов, которые я никогда не успеваю заплатить, ибо очень скоро лишаюсь очередного места; так что в отставке мне всякий раз приходится жить на доходы от моих книг. Иные из любезных гордецов, письменно и устно толковавших мне о чести и свободе, отказались от звания государственного советника, однако они владели солидным состоянием либо оставили за собою мелкие должности, дававшие средства к существованию. Они поступили как протестанты, которые, отбрасывая иные из католических догматов, хранят верность остальным, столь же неправдоподобным. Ни последовательности, ни искренности: конечно, они лишались по доброй воле двенадцати или пятнадцати тысяч ливров ренты, но дома их ждало богатое имение или, по крайней мере, предусмотрительно припасенный кусок хлеба. Что же до меня, то со мной не церемонились и с превеликой охотой поступались от моего имени всем, что у меня еще оставалось: «Вперед, Жорж Данден, смелее; черт подери, дружок, не позорьтесь, разоблачайтесь! Вышвырните в окошко двести тысяч ливров ренты, должность по вашему вкусу, должность почетную и высокую, проститесь с римским царством изящных искусств и со счастливой возможностью получить долгожданную награду за неустанные и нелегкие труды. Нам так угодно. Только такой ценой вы сохраните наше уважение. Мы скинули кафтан

и остались в теплом фланелевом жилете, а вы сбросьте бархатный плащ и ступайте нагишом. Наш девиз — абсолютное равенство, равноправие алтаря и жертвы».

Причем — странная вещь! — люди, со столь великодушным пылом выталакивавшие меня взашей, люди, изъявлявшие мне свою волю, не были ни моими подлинными друзьями, ни моими соратниками по политической борьбе. Меня обрекали на заклятие во имя либерализма — доктрины, поклонники которой беспрестанно нападали на меня; я обязан был поставить на карту судьбу законной монархии ради того, чтобы заслужить похвалу горстки трусливых недругов, которым недоставало мужества умереть с голоду.

Я готовился к долгой посольской карьере; празднества, которые я устроил, разорили меня, я еще не заплатил за первое свое жилище. Но более всего удручала меня необходимость расстаться с городом, где я надеялся провести остаток жизни, наслаждаясь счастьем.

Сам я никогда никому не докучал советами в духе Катона, следование которым ввергает в нищету не того, кто их дает, а того, кто их получает; я убежден, что подобные советы бесполезны, если расходятся с внутренним голосом человека. Я же, как уже было сказано, с первой минуты знал, как мне поступить: мне ничего не стоило принять решение, но мучительно было его выполнить. Когда в Лурде вместо того, чтобы повернуть на юг, в Италию, я двинулся в сторону По, глаза мои наполнились слезами. Я не стыжусь сознаться в этом: ведь, как бы там ни было, я принял вызов, посланный мне судьбою, и сразился с ней. Возвращаться не хотелось, и я тянул время. Медленно разматывал я нить той дороги, по которой так бодро мчался еще несколько недель тому назад.

Князь де Полиньяк боялся моей отставки. Он понимал, что мой уход отнимет у него голоса депутатов-роялистов и поставит под вопрос судьбу его правительства. Ему присоветовали послать в Пиренеи гонца с письмом от короля, где мне предписывалось немедленно выехать в Рим, дабы принять неаполитанских короля и королеву, направлявшихся в Мадрид в связи с бракосочетанием их дочери — невесты испанского короля *. Получи я этот приказ, я попал бы в весьма затруднительное положение. Быть может, я счел бы своим долгом выполнить его и лишь затем подать в отставку. Но как обернулось бы дело, если бы я оказался в Риме? Возможно, я задержался бы там; роковые дни застали бы меня на Капитолии. Возможно также, что моя нерешительность сохранила бы господину де Полиньяку те несколько голосов в палате депутатов, которых ему недоставало. В этом случае адрес не был бы принят *, и авторы ордонансов, послуживших ответом на него, не стали бы, возможно, прибегать к этому роковому средству: *Dis aliter visum* ³².

³² Иначе боги судили (*лат.*; Вергилий. Энеида, II, 428; пер. С. Ошерова).

3. Свидание с господином де Полиньяком.— Я уйду в отставку

Госпожа де Шатобриан ждала меня в Париже; она уже покорилась судьбе. Ей, как любой женщине, жизнь в Риме в звании супруги посла кружила голову, однако в решающую минуту моя жена всегда без колебаний одобряла все, что я делал для сохранения своего покоя и доброго имени: этого у нее не отнимешь. Она любит почести, титулы и богатство, она ненавидит бедность и убогость домашнего очага; она презирает все эти припадки щепетильности, все эти чудеса преданности и жертвенности, полагая их решительно никому не нужною дурью; из ее уст никогда не вырвался бы крик: «Да здравствует король во что бы то ни стало!»; но когда дело идет обо мне, все меняется, и она, не дрогнув, смиряется с новой немилостью, проклиная ее.

Всегда выходило так, что я голодаю, не сплю ночей, возношу молитвы ради благополучия тех, кто, спеша напялить власяницу на меня, не торопятся надеть ее сами. Я служил священным ослом *, влачащим скудные мощи свободы; мощи, которым эти люди поклонялись, стараясь держаться от них подальше.

〈Обмен письмами между Шатобрианом и Полиньяком; Шатобриан просит аудиенции у короля, чтобы объяснить мотивы своей просьбы об отставке; Полиньяк приглашает его в министерский дворец〉

Князь де Полиньяк принял меня в столь хорошо мне известном просторном кабинете. Он поспешно поднялся мне навстречу, пожал мне руку с сердечностью, которую я хотел бы считать искренней, затем положил руку мне на плечо, и мы принялись прогуливаться по кабинету. Он сказал, что не принимает моей отставки, что король также не принимает ее, что мне необходимо вернуться в Рим. Последнюю фразу он повторил несколько раз, надрывая мне сердце. «Отчего,— говорил он,— вы не хотите иметь дела со мной, как прежде с Ла Ферронне и Порталисом? Разве я вам не друг? В Риме вы получите все, что пожелаете; во Франции ваше слово будет значить больше моего; мне необходимы ваши советы. Ваша отставка может привести к новому расколу. Неужели вы хотите повредить правительству? Вы сильно прогневите короля, если не перемените своего намерения. Умоляю вас, дорогой виконт, не делайте этой глупости».

Я отвечал, что не считаю свое намерение глупостью, что нахожусь в здравом рассудке, что правительство Полиньяка крайне непопулярно, что предъявляемые к нему претензии, возможно, несправедливы, но это не делает их менее реальными; вся Франция убеждена, сказал я, что новый кабинет ущемит общественные свободы, и мне, защитнику этих свобод, невозможно оставаться на стороне тех, кого считают их врагами. Речь эта далась мне нелегко, поскольку, строго говоря, мне покамест не в чем было упрекнуть новых министров; я мог осуждать лишь их предполагаемые действия, на что они были вправе ответить, что ни о чем подобном и не помышляют. Господин де

Полиньяк поклялся мне, что любит Хартию не меньше меня, но любил он ее на свой лад. К несчастью, опозоренной девушке мало толку от нежности того, кто лишил ее чести.

Битый час мы твердили каждый свое. В конце концов господин де Полиньяк сказал, что если я заберу назад свое прошение об отставке, король охотно примет меня и выслушает все мои претензии к новому кабинету, если же я буду упорствовать в своем решении, Его Величество не даст мне аудиенции, ибо разговор со мной будет ему неприятен.

Я отвечал: «В таком случае, князь, прошение мое остается у вас. Я никогда в жизни не отказывался от своих слов, и, если Королю не угодно принять своего верного подданного, не буду настаивать». С этими словами я откланялся. Я попросил князя назначить на мое место герцога де Лавалья, если место это все еще мило его сердцу, и лестно отрекомендовал ему членов моей дипломатической миссии. Затем по бульвару Инвалидов я пешком направился в свою Богадельню * — ведь я как раз и был бедным калекой. Прощаясь с господином де Полиньяком, я заметил, что к нему вновь возвратилась невозмутимая беззаботность, обращавшая его в бессловесного соглашателя, созданного для того, чтобы погубить империю.

⟨Прощальное письмо Шатобриана папе римскому⟩

Несколько дней я продолжал умерщвлять себя в моей Утике; я написал письма, долженствующие разрушить здание, которое я воздвигал с такою любовью. Когда умирает человек, сильнее всего трогают душу всякие мелочи, домашние, семейные подробности; сходным образом, когда умирает мечта, большее всего ранят всякие пустяки, губящие ее. Я обольщал себя надеждой провести остаток дней среди римских руин. Подобно Данте, я решил не возвращаться в родные края. Эти завещательные распоряжения, так много значившие для меня, скорее всего не тронут читателей моих «Записок». Старая птица падает с ветки, где свила гнездо; она прощается с жизнью и встречает смерть. Влекомая течением, она просто-напросто меняет одну реку на другую.

4. Лыстецы-газетчики

Когда ласточкам приходит время улетать, одна снимается с места первой, чтобы возвестить о скором появлении остальных: я был первой ласточкой, предвосхитившей исход законной монархии. Радовался ли я похвалам, которыми осыпали меня газетчики? ни в малейшей степени. Иные из моих друзей, рассчитывая утешить меня, уверяли, что я вот-вот стану первым министром, что мой смелый и решительный ход принесет богатые плоды; они приписывали мне честолюбивые планы, от которых я был далек, как никогда. Не понимаю, как

может человек, знающий меня хотя бы неделю, не заметить, что я начисто лишен такой — впрочем, вполне законной — страсти, как честолюбие, побуждающее людей сражаться на политическом поприще до последнего. Я всегда мечтал уйти на покой: должность посла в Риме была мне мила тем, что не сулила никакого продвижения и давала приют в тупике.

Наконец, в глубине души я опасался, что зашел слишком далеко в сочувствии оппозиции: теперь я поневоле должен был возглавить и сплотить ее; меня это пугало, и страх лишь усиливал сожаления об утраченном мною покойном убежище.

Как бы там ни было, деревянному идолу, сошедшему с алтаря, щедро курили фимиам. Господин де Ламаргин, новое и яркое украшение французской поэзии, обратился ко мне в связи с предстоящими выборами его в Академию; в конце его письма стояло:

«Господин де Ла Ну, недавно побывавший в наших краях и посетивший меня, рассказал мне о ваших неустанных и бескорыстных трудах на благо Франции. Каждая из ваших добровольных отставок, свидетельствующих о незаурядном мужестве, приумножит почтение к вашему имени и славу вашего отечества».

За этим великодушным посланием автора «Поэтических размышлений» * последовало письмо господина де Лакретеля:

«Что за время они нашли, чтобы оскорблять вас, человека самоотверженного, столько же щедрого на благородные деяния, сколько и на благородные сочинения! Я всегда считал вашу отставку и образование нового министерства вещами взаимосвязанными. Мы уже привыкли ожидать от вас жертвенных подвигов, как прежде привыкли ждать от Бонапарта побед; однако у него было гораздо больше соратников, нежели у вас — подражателей».

Лишь два весьма образованных человека и даровитых сочинителя, близкие к барону де Дамасу, господин Абель Ремюза и господин Сен-Мартен, имели в ту пору слабость выступить против меня. Я прекрасно понимаю, что люди, презирающие чины, вызывают раздражение: разве можно терпеть подобную наглость?

Сам господин Гизо снизошел до посещения моего жилища *; он счел возможным преодолеть то громадное расстояние, какое пролегает между нами от рождения; первые же слова его обличали величайшее почтение к самому себе: «Ну вот, сударь, теперь совсем другое дело!» Шел 1829 год, и я был нужен господину Гизо ввиду предстоящих выборов; я послал письмо избирателям в Лизье; господин Гизо набрал необходимое число голосов; господин де Брой поблагодарил меня в следующих выражениях:

«Позвольте мне, сударь, выразить вам признательность за письмо, которое вы имели любезность мне прислать. Я использовал его по назначению и убежден, что оно, как и все, исходящее от вас, принесет плоды, и плоды благотворные. Я бесконечно обязан вам, ибо ни в одном предприятии я не принимаю такого участия и ни одному делу так горячо не желаю успеха».

В июльские дни господин Гизо был уже депутатом, таким образом, я в какой-то мере причастен к его политическому возвышению: иной раз небесам случается внять мольбам малых сих.

⟨Состав министерства Полиньяка; экспедиция французского флота к берегам Алжира⟩

7. *Открытие сессии 1830 года.— Адрес.— Роспуск палаты*

Сессия 1830 года открылась 2 марта. В тронной речи король сказал: «Если вследствие преступных происков перед моим правительством воздвигнутся препятствия, которые я не могу и не хочу предвидеть, я найду силы преодолеть их». Карл X произнес эту фразу тоном человека, который, держась обычно робко и мягко, внезапно впадает в ярость и распаляется еще сильнее от звуков собственного голоса: чем больше силы было в словах, тем больше слабости — в стоявших за ними решениях.

Ответный адрес был сочинен господином Этьенном и господином Гизо. В нем говорилось: «Государь, Хартия освящает вторжение в чужую страну, если оно не противоречит интересам общества. Естественный ход общественной жизни будет нарушен, если намерения вашего правительства не получают полной поддержки среди народа. Государь, как честные и преданные вам люди, мы не можем не сказать вам, что *эта поддержка отсутствует*».

Адрес был принят двумястами двадцатью одним голосом против ста восьмидесяти одного. Господин де Лоржериль предложил убрать фразу об *отказе от поддержки*. За эту поправку проголосовало всего двадцать восемь человек. Если бы двести двадцать один депутат могли предвидеть, к чему приведут их действия, адрес был бы отвергнут подавляющим большинством голосов. Отчего Провидение не приподнимает иногда завесы, скрывающей будущее?! Оно, правда, вселяет в душу избранных предчувствие грядущих событий, однако предчувствие это слишком смутно и не указывает верного пути; предсказатели боятся обмануться; впрочем, даже тем пророчествам, что в конце концов сбываются, никто не верит. Воля Господня вечно пребудет неисповедимой; если он дозволяет великие несчастья, то лишь оттого, что лелеет великие замыслы; замыслы эти — часть общего плана, который столь обширен, что взор наш и пытливый ум наших скоропреходящих поколений бессильны охватить его.

В ответ на адрес король заявил, что не изменит своего решения, иначе говоря, что он не расстанется с господином де Полиньяком. Было решено распустить палату; место господина де Шаброля и господина Курвуазье, ушедших в отставку, заняли господин де Перонне и господин де Шантелоз; пост министра торговли получил господин Капелль. Кругом имелось по меньшей мере десятка два людей, способных стать министрами; можно было

возвратить господина де Виллеля, можно было прибегнуть к господину Казимиру Перье и генералу Себастиани. Я уже рекомендовал этих двоих королю, когда после падения господина де Виллеля аббат Фрессину предложил мне пост министра просвещения. Но нет: способных людей король и его приближенные боялись как огня. Движимые неумеренной любовью к посредственностям, они как нарочно отыскивали ничтожнейших людишек, какие существовали в ту пору, и, к стыду Франции, вознамерились сделать их главными людьми в государстве. Они откопали господина Гернона де Ранвиля, оказавшегося, впрочем, самым храбрым из всей безвестной компании *; дофину пришлось умолять господина де Шантелоза спасти монархию.

Согласно ордонансу о роспуске палаты, выборы в округах следовало провести 23 июня 1830 года, а в департаментах — 3 июля; ровно двадцать семь дней отделяют эту дату от той, когда был подписан смертный приговор старшей ветви Бурбонов.

Все партии находились в сильном возбуждении и склонялись к крайним мерам: ультрароялисты хотели наделить короля диктаторскими полномочиями, республиканцы мечтали о республике, возглавляемой директорией или конвентом. Они начали выпускать свою газету, именуемую «Трибюн», которая вскоре превзошла «Насьональ» *. В большинстве своем французы еще оставались сторонниками законной монархии, но требовали уступок и ослабления власти двора; в душе каждого проснулись честолюбивые страсти, и каждый мечтал сделаться министром; в грозу насекомые плодятся с удвоенной быстротой.

Те, кто желали принудить Карла X стать конституционным монархом, полагали свое требование справедливым. Они были убеждены, что корни королевской власти глубоки; они забыли о слабости человека; монархия выдержала бы давление, монарху это оказалось не по силам: нас погубило не установление, а человек.

8. Новая палата.— Я уезжаю в Дьепп.— Ордонансы 25 июля.— Я возвращаюсь в Париж.— Дорожные размышления.— Письмо госпоже Рекамье

Вновь избранные депутаты прибыли в Париж: двести два из двухсот двадцати одного были переизбраны; оппозиция насчитывала двести семьдесят голосов; сторонники правительства — сто сорок пять: король проиграл. Обычно в подобных случаях кабинет уходит в отставку: Карл X настоял на своем, и это предрешило государственный переворот.

Я отправился в Дьепп 26 июля, на заре того самого дня, когда были обнародованы ордонансы. Я радостно предвкушал свидание с морем и не ведал, что за мной по пятам идет страшная гроза. Я поужинал и переночевал в Руане, оставаясь в полном неведении и сожалея лишь о том, что мне не

удастся посетить Сент-Уанский собор и в память о Рафаэле и Риме преклонить колена перед прекрасной Девой из музея *. Назавтра, 27 июля, около полудня я был уже в Дьеппе. Я остановился в гостинице, в номере, который нанял для меня господин граф де Буасси, мой бывший секретарь посольства. Я переделался и пошел навестить госпожу Рекамье. Окна ее комнаты выходили на песчаный берег моря. Я провел у госпожи Рекамье несколько часов; мы беседовали, глядя на волны. Внезапно на пороге возник Иасент с письмом, которое получил господин де Буасси; в нем с великим восторгом сообщалось о появлении ордонансов. Миг спустя в комнату вошел мой старый друг Балланш; он только что прибыл в дилижансе и привез газеты. Я развернул «Монитёр» и, не веря своим глазам, прочел официальные сообщения. Еще одно правительство в здравом уме и твердой памяти решило спрыгнуть с башни собора Парижской Богоматери! Я велел Иасенту найти лошадей; мне было необходимо вернуться в Париж. Около семи вечера я сел в экипаж, оставив друзей в большой тревоге. Конечно, толки о возможном перевороте ходили уже около месяца, но звучали так нелепо, что никто не придавал им значения. Карл X обольщался королевскими иллюзиями: взорам монархов всегда представляется некий мираж, искажающий предметы и рисующий на небе химерические пейзажи.

«Монитёр» я захватил с собой. 28 июля, на рассвете, я перечел ордонансы и еще раз обдумал их. Доклад королю, служивший вступлением, поразил меня двумя обстоятельствами: с одной стороны, замечания об изъянах прессы были справедливы, но, с другой, обличали полнейшее незнакомство их автора * с современным состоянием общества. Конечно, начиная с 1814 года министры, каких бы взглядов они ни придерживались, постоянно подвергались нападкам газетчиков; конечно, пресса стремится подчинить себе верховную власть, принудить короля и палаты к послушанию; конечно, на закате эпохи Реставрации журналисты, преследуя собственные цели и забыв о благополучии и чести Франции, бранили алжирскую войну *, рассуждали о причинах, средствах, возможностях и основаниях ее успеха, выбалтывали военные тайны, просвещали противника на счет нашего вооружения и готовности наших войск, подсчитывали живую силу и корабли и даже сообщали место высадки нашего флота. Разве увидели бы Ришелье и Бонапарт Европу у своих ног, если бы результаты их тайных переговоров или пункты следования их армий разглашались заранее?

Все сказанное — правда, и правда безрадостная, но как же быть? Пресса — новая стихия, невиданная прежде сила, пришедшая в мир недавно; это — слово, ставшее молнией, это социальное электричество. Разве в вашей власти уничтожить ее? Чем сильнее будете вы притеснять ее, тем скорее произойдет взрыв. Следовательно, вам необходимо примириться с прессой, как примирились вы с паровой машиной. Нужно научиться извлекать пользу из прессы,

постепенно обезвреживая ее,— для этого придется мало-помалу приручать ее и тем ослаблять ее могущество либо постепенно приспособлять ваши нравы и законы к новым основаниям общества. В иных случаях пресса бессильна: вспомните хотя бы историю той самой алжирской экспедиции, в противодействии которой вы обвиняете газетчиков; свобода печати не помешала вам взять Алжир, как самый яростный обстрел свободной печати не помешал мне в 1823 году вести войну в Испании.

Но с чем решительно невозможно согласиться, так это со звучащей в каждой строке министерского доклада бесстыдной убежденностью в том, что **ВОЛЯ КОРОЛЯ ПРЕВЫШЕ ЛЮБОГО ЗАКОНА**. К чему же в таком случае принимать конституции? к чему обманывать народ мнимыми гарантиями, если монарх может самолично изменить образ правления? Причем авторы отчета так уверены в своей правоте, что даже не дают себе труда сослаться на статью 14 *, относительно которой я еще много лет назад предсказал, что она позволит *отнять у нас Хартию*; они вспоминают о ней, но как бы походя, вовсе не испытывая нужды прибегнуть к этому законному основанию.

Первый ордонанс упраздняет почти полностью свободу печати; это — квинтэссенция всего, что вынашивалось в течение полутора десятка лет в недрах тайной полиции.

Второй ордонанс вносит изменения в закон о выборах *. Таким образом, кладется конец двум главным свободам: свободе печати и свободе выборов; причем причиной тому не злая воля законодательного органа, преступная, но все же остающаяся в рамках законности, а ордонансы, как во времена королевского произвола. Пять человек, отнюдь не лишенных здравого смысла, с беспримерным легкомыслием бросились в бездну, увлекая за собою своего повелителя, монархию, Францию и Европу *. Я не знал, что происходит в Париже. Я надеялся, что действия правительства вызовут сопротивление и народ, не свергая короля, вынудит его, однако, дать отставку нынешнему кабинету и отменить ордонансы. В том же случае, решил я, если ордонансы останутся в силе, я не подчинюсь им и буду в речах и статьях осуждать эти антиконституционные меры.

Хотя члены дипломатического корпуса не были впрямую причастны к принятию ордонансов, они одобрили их и поддержали; абсолютистская Европа ненавидела нашу Хартию. Когда весть об ордонансах достигла Берлина и Вены, где в течение суток успех министерства не вызывал сомнений, господин Ансильон воскликнул, что Европа спасена, а господин фон Меттерних выказал беспредельную радость. Вскоре этот последний узнал, как обстоят дела на самом деле, и радость его сменилась столь же беспредельным отчаянием: он заявил, что ошибался, что общественное мнение полностью поддерживает либералов и что он начинает свыкаться с мыслью об австрийской конституции.

Назначение государственных советников, последовавшее за опубликованием июльских ордонансов, пролило некоторый свет на историю их появления.

В число этих придворных, которые, очевидно, способствовали речами либо делами написанию ордонансов, входили убежденные противники представительного правления. Кто именно сочинил роковые документы? Приближенные монарха, действовавшие с его соизволения, или помощники господина де Полиньяка? Был ли то плод творчества самих министров или с ними вместе трудились несколько неисправимых антиконституционалистов? Были ли эти июльские приговоры, по слову которых законную монархию удавили на Мосту Вздохов *, начертаны каким-нибудь тайным Советом Десяти * под свинцовыми крышами тюремного замка? Или их идея принадлежала одному господину де Полиньяку? Быть может, история так никогда и не даст ответа на эти вопросы.

В Жизоре я узнал о парижском восстании и услышал грозные речи; они доказывали, до какой степени серьезно относится французский народ к Хартти. В Понтуазе я узнал вести еще более свежие, но смутные и противоречивые. В Эрбле лошадей на почте не оказалось. Я прождал около часа. Мне посоветовали миновать Сен-Дени, где выстроены баррикады. В Курбевау кучер почел за лучшее снять куртку, на пуговицах которой красовались геральдические лилии. Утром, когда он ехал по Елисейским полям, его карету обстреляли. Он сказал, что по этой улице меня не повезет, и повернул к заставе Трокадеро, правее заставы Звезды. От этой заставы открывается вид на Париж. Я заметил развевающееся на ветру трехцветное знамя и понял, что в городе начался не бунт, а революция. В душе моей родилось предчувствие, что мне предстоит сыграть новую роль: я спешил в Париж, дабы защищать общественные свободы, меж тем в защите, кажется, нуждалась королевская власть. Там и сям над домами поднимались светлые облачка дыма. До меня донеслись несколько пушечных выстрелов; ружейная пальба смешивалась с гулом набата. С высоты пустынной площадки, на которой Наполеон желал возвести дворец для римского короля *, я словно воочию увидел крушение старого Лувра. Место, где я находился, навяло философические утешения, какие всегда вызывает вид руин в душе человека, чья жизнь — сплошные руины.

Экипаж мой спустился с холма, переехал по Иенскому мосту на противоположный берег Сены и двинулся дальше по мощеной улице, идущей вдоль Марсова поля. Кругом не было ни души. Перед воротами Военной школы я натолкнулся на пикет кавалеристов: вид они имели невеселый; казалось, о них все забыли. На бульваре Инвалидов и Монпарнасском бульваре несколько случайных прохожих с изумлением взирали на почтовую карету, едущую по городу, словно в мирное время. Бульвар Анфер был перегорожен срубленными вязами.

Соседи были рады мне: им казалось, что мое присутствие предохранит квартал от разрушений. Госпожу де Шатобриан мое возвращение и успокоило и встревожило.

Утром 29 июля я написал в Дьепп госпоже Рекамье:

«Четверг, 29 июля 1830 года. Утро.

Пишу вам, не зная, дойдет ли до вас это письмо, поскольку почтовая связь нарушена.

Я въехал в Париж под грохот пушечной и ружейной пальбы и гул набата. Нынче утром набат по-прежнему гремит, но выстрелов не слышно; судя по всему, восставшие собираются с силами и не сложат оружия до тех пор, пока ордонансы не будут отменены. Вот ближайшее следствие (не говоря об окончательной развязке) того клятвопреступления, которое совершили министры и в котором народ — на первый взгляд небезосновательно — обвиняет короля.

Национальные гвардейцы, студенты Политехнической школы — все замешаны в волнениях. Я еще ни с кем не виделся. Вы можете вообразить, в каком состоянии нашел я госпожу де Ш... Те, кто, подобно ей, пережили 10 августа и 2 сентября *, на всю жизнь запомнили, что такое террор. Один из полков, пятый пехотный, уже перешел на сторону защитников Хартии. Без сомнения, вина господина де Полиньяка очень велика; его бездарность не может служить извинением; при отсутствии государственного ума честолюбие преступно. По слухам, двор находится в Сен-Клу и готов к отъезду.

Не стану говорить вам о себе; положение мое тягостное, но ясное. Я не могу предать ни короля, ни Хартию, ни законную монархию, ни свободу. Следовательно, мне нечего говорить и нечего делать; остается только ждать и оплакивать свое отечество. Бог знает, что вот-вот начнется в провинциях; уже ходят слухи о восстании в Руане. Со своей стороны, Конгрегация * вооружит вандейских шуанов. От какой малости зависит судьба империй! Один ордонанс вкупе с шестью министрами, лишенными либо таланта, либо добродетели, способен превратить страну из покойной и цветущей в несчастную и раздираемую смутами».

К письму моему были добавлены два постскриптума:
«Полдень.

Стрельба возобновилась. Судя по всему, восставшие атакуют Лувр, куда отступили королевские войска. Наш квартал также готовится взяться за оружие. Идут толки об образовании временного правительства, возглавляемого генералом Жераром, герцогом де Шуазелем и господином де Лафайетом.

Весьма вероятно, что я не смогу отправить это письмо, ибо объявлено, что Париж на осадном положении. Королевскими войсками командует маршал Мармон. Говорят, что он убит, но я этому не верю. Постарайтесь не тревожиться сверх меры. Да хранит вас Господь! Мы еще свидимся!

Пятница.

Это письмо было написано вчера; отправить его я не смог. Все кончено: народ победил; король делает уступку за уступкой, но дело, боюсь, этим не

ограничится. Утром я написал Его Величеству. План жизни моей на ближайшее время мне ясен; я с радостью пожертвую собой. Мы поговорим об этом, когда вы возвратитесь в Париж. Я сам отнесу это письмо на почту и заодно погляжу, что творится в городе».

КНИГА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

〈События 26 и 27 июля; военные действия 28 июля: утром этого дня король по настоянию господина де Полиньяка объявляет Париж на осадном положении; события 29 июля: народ занимает Тюильри〉

6. 29 июля.— *Господин Бод, господин де Шуазель, господин де Семонвиль, господин де Витроль, господин Лафбит и господин Тьер*

Герцог де Мортемар прибыл в Сен-Клу в среду 28 июля, в десять вечера, дабы возглавить швейцарскую гвардию: король принял его лишь на следующий день. 29 июля в одиннадцать утра герцог попытался убедить Карла X отменить ордонансы *, но король сказал: «Я не хочу отправиться в телеге на эшафот, как мой брат; я не отступаю ни на шаг». Несколько минут спустя ему пришлось отступить на целое королевство.

Прибыли министры; у короля в это время находились господа Семонвиль, д'Аргу, Витроль. Господин де Семонвиль рассказывает, что он имел длительную беседу с королем, и ему удалось поколебать решимость монарха, лишь тронув его сердце исчислением опасностей, грозящих госпоже супруге дофина. Он сказал королю: «Завтра в полдень у нас не будет уже ни короля, ни дофина, ни герцога Бордоского». На что король ответил: «Добавьте мне хотя бы еще часок». Я не верю ни единому слову из этого рассказа. Бахвальство — наш национальный порок: послушать любого француза, так он самый главный человек в любом деле. После господина де Семонвиля король принял министров; ордонансы были отменены, министерство распущено, новым председателем совета стал господин де Мортемар.

Меж тем в столице республиканцы наконец отыскали себе пристанище. Господин Бод (тот самый, что воевал с комиссаром полиции в редакции «Тан» *), рыская по городу, обнаружил, что Ратушу занимают только двое: господин Дюбур и господин Циммер. Он тотчас назвал посланцем *временного правительства*, которое вот-вот прибудет в свою резиденцию. Он призвал к себе чиновников из префектуры и приказал им приняться за работу, как при господине де Шаброле. Там, где государство уподобляется машине, свято место пусто не бывает: без промедления отыскиваются охотники до любой должности: тот стал секретарем, этот — командиром дивизии; тот взял на себя отчетность, этот принялся раздавать посты и поделил их между

своими друзьями; нашлись и такие предусмотрительные люди, которые принесли в ратушу кровати, чтобы не уходить отсюда даже ночью — а вдруг подвернется более выгодное местечко. Господин Дюбур, именуемый отныне генералом, и господин Циммер объявили себя начальниками *военного департамента временного правительства*. Господин Бод, носитель гражданской власти в этом никому не известном правительстве, взял на себя постановления и воззвания. Между тем на улицах появились афиши, извещающие о создании другого республиканского правительства, в состав которого вошли господа де Лафайет, Жерар и Шуазель. Последнее имя не имеет ничего общего с двумя предыдущими, поэтому упоминание его вызвало протест господина де Шуазеля. Этот старый либерал, бледный, как смерть, но не уходящий из жизни, эмигрант, потерпевший кораблекрушение в Кале, по возвращении во Францию нашел на месте отчего дома пепелище и удовольствовался ложей в опере.

В три часа дня новое известие довершило сумятицу. Депутаты, находящиеся в Париже, получили повестку, предписывающую им собраться в Ратуше для обсуждения ближайших действий. Мэрам надлежало возвратиться в мэрии, а помощников своих прислать в Ратушу, дабы составить *совещательную комиссию*. Повестка эта была подписана: *Ж. Бод, от имени временного правительства*, и полковник *Циммер, по поручению генерала Дюбура*. Эта дерзость трех человек, выступающих от имени правительства, которое существует только на бумаге, в афишках, ими же расклеенных на стенах домов, доказывает, что французы созданы для свершения революций: они, несомненно, прирожденные вожди, призванные вести за собою остальные народы. Какое несчастье, что, избавив нас от подобной анархии, Бонапарт похитил у нас свободу!

Депутаты собрались у господина Лаффита. Господин де Лафайет, вспомнив 1789 год, заявил, что берет на себя также командование национальной гвардией. Заявление его было встречено рукоплесканиями, после чего он отправился в Ратушу. Депутаты создали муниципальную комиссию, в которую вошли пятеро: господа Казимир Перье, Лаффит, де Лобо, де Шонен и Одри де Пюираво. Господин Одилон Барро был избран секретарем этой комиссии, которая вслед за господином де Лафайетом обосновалась в Ратуше. Все они заседали вперемешку с временным правительством господина Дюбура. Господин Моген, отправленный к членам *комиссии* в качестве гонца, остался трудиться вместе с ними. Друг Вашингтона приказал снять черное знамя, водруженное на вершину Ратуши стараниями господина Дюбура.

В половине девятого вечера господин де Семонвиль, господин д'Аргу и господин де Витроль отбыли из Сен-Клу. Едва узнав об отмене ордонансов, отставке прежних министров и назначении господина де Мортемара председателем совета, они бросились в Париж и предстали перед муниципальной комиссией в качестве посланцев короля. Господин Моген осведомился у пэра — хранителя печати, имеет ли тот письменные полномочия; господин де

Семонвиль отвечал, что *не подумал об этом*. Засим услужливые посланцы сочли свою миссию исчерпанной.

Господин Лаффит, поставленный в известность о том, что произошло в Сен-Клу, подписал пропуск на имя господина де Мортемара, присовокупив, что собравшиеся в его доме депутаты будут ждать новопожалованного председателя совета до часа ночи. Благородный герцог не приехал, и депутаты разошлись.

Господин Лаффит, оставшись наедине с господином Тьером, занялся герцогом Орлеанским и составлением необходимых прокламаций. Революция во Франции длится уже пять десятков лет, и за это время люди практического ума научились с легкостью переустраивать правительства, а люди теоретического ума привыкли перелицовывать хартии и сколачивать рычаги и сходни, с помощью которых правительства взлетают в воздух или скатываются в воду.

7. *Я пишу королю в Сен-Клу: его устный ответ.— Аристократы.—
Разграбление миссии на улице Анфер*

Вернувшись в Париж, я не сидел сложа руки; 29 июля план мой был уже готов: я хотел действовать, но действовать, имея письменный приказ короля, уполномочивающий меня вести переговоры с новыми властями; всюду совать свой нос, ничего не делая,— такое поведение не по мне. Я рассудил совершенно правильно; свидетельство тому — постыдная неудача господ д'Аргу, Семонвиля и Витроля.

Итак, я написал Карлу X. Господин де Живре вызвался доставить мое письмо в Сен-Клу. Я просил короля сообщить мне свою волю. Господин де Живре вернулся с пустыми руками. Он отдал мое письмо герцогу де Дюрасу, герцог передал его королю, а тот ответил, что назначил господина де Мортемара своим первым министром и я могу обо всем условиться с ним. Но где найти благородного герцога? Я тщетно проискал его весь вечер 29 июля.

Поскольку Карл X не пожелал иметь со мною дела, я решил прибегнуть к помощи палаты пэров; она могла выступить в качестве верховного арбитра и вынести свое суждение по поводу спорных вопросов. Если пэры полагали, что в Париже им грозит опасность, они вольны были перенести заседания в любое другое место, даже в Сен-Клу, и там произнести свой приговор. Они имели шансы одержать победу; такие шансы всегда имеют те, кого не покидает мужество. В конце концов даже поражение пэров по-своему способствовало бы торжеству законности. Однако мог ли я быть уверен, что найду среди пэров хотя бы два десятка человек, способных пожертвовать своим благополучием? А среди этих двух десятков отыскалось ли бы хоть четверо, мыслящих сходно со мною об общественных свободах?

Аристократические собрания правят со славою, если облечены верховной властью и могущественны как по закону, так и на деле; однако при смешанных

правительствах они утрачивают свое значение, а в периоды больших смут являют жалкое бессилие... Не в силах совладать с королем, они не могут противостоять деспотизму; не в силах совладать с народом, они не могут предотвратить анархию. В смутные времена перед ними лишь два пути: измена или рабство. Спасла ли палата лордов Карла I? Спасла ли она Ричарда Кромвеля, которому принесла присягу? Спасла ли она Якова II? Спасет ли она сегодня Ганноверскую династию? * Спасет ли сама себя? Эти так называемые аристократические противовесы лишь портят весы; рано или поздно их выкинут вон. Древняя и состоятельная аристократия, поднаторевшая в государственных делах, может сохранить ускользающую власть одним-единственным способом: перейдя с Капитолия на Форум и возглавив новое движение, если, конечно, она не чувствует в себе достаточно сил, чтобы отважиться на гражданскую войну.

В ожидании возвращения господина де Живре я занялся обороной нашего квартала. Жители предместья Монруж и работники тамошних каменоломен тянулись в Париж через заставу Анфер. Каменоломни эти похожи на те монмартрские каменоломни, что так сильно напугали мадемуазель де Морне, когда она бежала из Парижа в Варфоломеевскую ночь *. Проходя по нашей улице мимо здания, принадлежащего миссионерской общине, они ворвались туда; два десятка священников вынуждены были спастись бегством; притон фанатиков подвергся философическому грабежу; их постели и книги запылали в костре, разожженном прямо посреди улицы. Об этом пустяке никто не помнит. Разве кому-то есть дело до святош и их утрат? Я приютил у себя семь или восемь беженцев; они несколько дней прятались в моем доме. С помощью соседа, господина Араго, я раздобыл им паспорта, и они отправились проповедовать слово Божие в других широтах. «Бегство святых не раз спасало народы, *Utilis populis fuga sanctorum*».

8. Палата депутатов.— Господин де Мортемар

〈Граф де Сюсси по поручению герцога де Мортемара сообщает депутатам новые ордонансы〉

Ордонансов было пять: первый отменял те, что были приняты 25 июля, второй предписывал обеим палатам начать заседания 3 августа, третий назначал господина де Мортемара министром иностранных дел и председателем совета, четвертый и пятый называли имена нового военного министра и нового министра финансов: должности эти предназначались генералу Жерару и господину Казимиру Перье. Когда я наконец увиделся с господином де Мортемаром у пэра — хранителя печати, он уверил меня, что вынужден был остаться у господина де Семонвиля, потому что из Сен-Клу он возвращался пешком, ему пришлось пойти в обход, он проник в Булонский лес через пролом в ограде и натер себе ногу. Достойно сожаления, что, прежде чем оглашать волю

короля, господин де Мортемар не попытался увидаться с влиятельными людьми и склонить их на сторону законной монархии. Когда же новые ордонансы прозвучали внезапно среди неподготовленных депутатов, никто не осмелился высказать свое суждение. Единственным ответом явились страшные слова Бенжамена Констан: «Мы заранее знаем, что скажут нам пэры: они согласятся с отменой прежних ордонансов и на том успокоятся. Что до меня, я не буду решать судьбу королевской династии, я скажу о другом: король отделается слишком легко, если, расстреляв свой народ, скажет просто-напросто: *«Я все это отменяю»*».

Окончил ли бы Констан, не желавший *решать судьбу королевской династии*, свое выступление теми же словами, если бы прежде к нему обратились с речью, исполненной уважения к его талантам и вполне обоснованным амбициям? Мне искренне жаль храброго и честного господина де Мортемара, когда я думаю, что законный монарх, возможно, остался бы на престоле, если бы полномочный посланник короля разыскал в Париже хотя бы двух депутатов и, пройдя пешком три лье, не стер себе пятку. Господину де Мортемару не суждено было привести в исполнение ордонансы своего старого повелителя — другой ордонанс отправил его в Санкт-Петербург, где ему предстояло возглавить нашу миссию. Ах! зачем я отказался принять из рук Луи-Филиппа портфель министра иностранных дел или вновь отправиться послом на берега Тибра, в любезную моему сердцу столицу Италии? Но увы! как смог бы я поднять глаза на *мою любезную*? Мне постоянно мнилось бы, что она меня стыдится.

9. *Парижские улицы. — Генерал Дюбур. — Траурная церемония у колоннады Лувра. — Молодежь несет меня на руках в палату пэров*

Утром 30 июля я получил от пэра — хранителя печати записку с приглашением в Люксембургский дворец на собрание пэров; прежде чем отправиться туда, я решил взглянуть, что творится в городе. Я спустился по улице Анфер на площадь Сен-Мишель и пошел дальше по улице Дофина. Возле выдербленных пулями баррикад еще не утихло волнение. Я сравнивал то, что предстало моим глазам, с грандиозными событиями 1789 года, и мне казалось, что кругом царят тишина и покой: налицо было преобразование нравов.

На Новом мосту в руках у статуи Генриха IV развевалось, как некогда флажок Лиги, трехцветное знамя. Простолюдины говорили, глядя на бронзового короля: «Ты бы не натворил такой глупости, старина». На Школьной набережной было многолюдно; вдали я заметил верхового генерала в сопровождении двух адъютантов, тоже верхами. Я двинулся в ту сторону. Пробираясь сквозь толпу, я разглядывал генерала: опоясанный трехцветной перевязью, в шляпе, надетой набекрень и сдвинутой на затылок, он, в свою очередь, тоже заметил меня и воскликнул: «Смотри-ка, виконт!» И тут я с изумлением узнал

в генерале полковника или капитана Дюбура, моего товарища по гентскому изгнанию, который во время нашего возвращения в Париж открывал ворота, встречных городов именем Людовика XVIII и накормил нас половиной барана в арнувильском притоне. Газеты расписали этого офицера как сурового седоусого республиканца, не пожелавшего служить под началом императора-тирана и вынужденного от бедности купить у старьевщика потертый мундир времен Ларевейера-Лепо. В ответ на его оклик я, в свою очередь, вскричал: «Как! это вы...» Не спешиваясь, он поверх конской шеи протянул мне руку; я пожал ее. Вокруг нас собралась толпа. «Мой дорогой,— громко обратился ко мне военачальник временного правительства, указывая рукою на Лувр,— их было там двенадцать сотен: мы дали им хорошенького пинка под зад; ну и стреканули они! ну и стреканули!» Адъютанты генерала Дюбура разразились грубым хохотом, к которому дружно присоединился весь окружавший нас сброд, после чего генерал прищпорил свою клячу и она взвилась, как бешеная, а вслед за нею — два других Росинанта, чьи ноги так скользили по мостовой, что казалось, будто они вот-вот рухнут и сбросят своих седоков.

Так горделиво унесет от меня Диомед из Ратуши, впрочем человек отважный и неглупый. Я знал легковых людей, принимавших всерьез все героические легенды 1830 года: они краснели от пересказа этой сцены, ибо она разрушала толику их иллюзий. Я и сам сгорал от стыда, обнаруживая комическую сторону величайших революций и простодушие народа, так легко дающегося в обман.

Господин Луи Блан в первом томе своей превосходной «Истории десяти лет», опубликованной уже после того, как я закончил приведенный выше эпизод, подтверждает мой рассказ: «Человек среднего роста, с энергичным лицом, одетый в генеральский мундир, пересекал Рынок Невинноубиенных в сопровождении множества вооруженных людей. Свой мундир, купленный у старьевщика, этот человек получил от господина Эвариста Дюмулена, редактора «Конститусьонель», а эполеты — от актера Перле, вхожего за кулисы Комической оперы. «Что это за генерал?» — спрашивали со всех сторон. «Это генерал Дюбур», — отвечала свита всадника, и народ, никогда прежде не слышавший этого имени, кричал: «Да здравствует генерал Дюбур!»³³

³³ 9 января нынешнего, 1841 года я получил от господина Дюбура письмо; в нем говорится: «Как часто мечтал я увидеться с вами после нашей встречи на набережной Лувра! Как часто мечтал излить вам душу, измученную страданиями! Какое несчастье страстно любить свою страну, свою честь, свое счастье и свою славу, живя в наше время! (...) Разве я был не прав в 1830 году, когда не пожелал подчиниться тому, что тогда творилось? Я ясно видел омерзительное будущее, уготованное Франции; я объяснял, что мошенничество политиков не сулит нам ничего хорошего: никто не хотел меня слушать».

В том же 1841 году я получил от господина Дюбура еще одно письмо, датированное 5 июля; в нем я нашел черновик записки, которую господин Дюбур адресовал в 1828 году господам Мартиньяку и де Ко, предлагая им ввести меня в совет министров. Следовательно, все, что я сказал о господине Дюбуре, — чистая правда (Париж, 1841).

В нескольких шагах меня ждало иное зрелище: перед колоннадой Лувра была вырыта могила, в нее опускали тела убитых, а священник в стихаре и епитрахили молился за упокой их душ. Я снял шляпу и осенил себя крестным знамением. Толпа с молчаливым почтением наблюдала за церемонией, обязанной своим величием исключительно религии. Воспоминания и размышления нахлынули на меня с такой силой, что я застыл, не в силах двинуться с места. Внезапно я почувствовал, что толпа напирает на меня; раздался крик: «Да здравствует защитник свободы печати!» Меня выдала седина. Какие-то молодые люди немедленно подняли меня на воздух и закричали: «Куда вы идете? мы вас донесем!» Я не знал, что ответить; я благодарил, я отбивался, я умолял опустить меня на землю. До начала собрания в палате пэров еще оставалось время. Юноши продолжали кричать: «Куда вы идете? куда вы идете?» Я сказал наугад: «Да хотя бы в Пале-Руаяль», и они немедленно понесли меня туда с криками: «Да здравствует Хартия! Да здравствует свобода печати! Да здравствует Шатобриан!» В Фонтанном дворе мы повстречали книгопродавца господина Барба; он услышал крики и вышел из дому, чтобы обнять меня.

Мы прибыли в Пале-Руаяль; меня впихнули в кафе на деревянной галерее. Я умирал от жары. Я молил отпустить мою славную особу на волю; не тут-то было: молодежь не желала расставаться со мной. В толпе выделялся мужчина в куртке с засученными рукавами, с перепачканными руками, угрюмым лицом и горящими глазами, какие мне не раз случалось видеть в начале революции: он все время пытался пробиться ко мне поближе, а молодежь отталкивала его. Я так и не узнал, как его звали и что ему было от меня нужно.

Наконец мне пришлось сознаться, что меня ждут в палате пэров. Мы вышли из кафе; толпа опять зашумела. Во дворе Лувра голоса разделились; одни кричали: «В Тюильри! В Тюильри!», другие: «Да здравствует первый консул!», желая, кажется, назначить меня преемником Бонапарта-республиканца. Иасент, сопровождавший меня, получал свою долю рукопожатий и объятий. Мы пересекли мост Искусств и пошли по улице Сены. Любопытные выбегали на улицу, чтобы поглядеть на нас, приникали к окнам. Мне все эти почести были не в радость: от излишнего рвения моих носильщиков у меня страшно болели руки. Вдруг один из молодых людей, поддерживавших меня сзади, просунул голову между моих ног и посадил меня к себе на плечи. Ответом были новые возгласы; молодежь кричала зрителям, толпившимся на улице и высовывавшимся из окон: «Шляпы долой! Да здравствует Хартия!» — а я отвечал: «Да, господа! Да здравствует Хартия, но да здравствует также и король!» Этими моими словами не повторяли, но и не возражали против них! И тем не менее мы проиграли! Все еще могло уладиться, но для этого с народом должны были бы говорить лишь люди популярные: во время революций имя значит больше целой армии.

Я так настойчиво просил моих юных друзей о пощаде, что они наконец

опустили меня на землю. На улице Сены один торговец мебелью, сосед моего издателя господина Ленормана, предложил молодежи кресло, чтобы дальше нести меня в нем, но я отказался и с почетным эскортом прибыл к воротам Люксембургского дворца. Там мои великодушные провожатые расстались со мной и удалились с прежними криками: «Да здравствует Хартия! Да здравствует Шатобриан!» — Я был тронут чувствами этих великодушных юношей: я кричал им: «Да здравствует король!» — и был так же спокоен, как если бы находился у себя дома; они знали мои убеждения и сами доставили меня в палату пэров, где, как им было известно, я намеревался выступить в защиту своего короля, а между тем дело происходило 30 июля, и за спиной у нас осталась могила, где хоронили граждан, убитых пулями Карла X!

10. *Собрание пэров*

За стенами Люксембургского дворца шумел народ, а внутри царил тишина. Тишина эта была еще заметнее в темной галерее, ведущей во владения господина де Семонвиля. Мое появление смутило собравшихся там пэров (их было человек двадцать пять — тридцать): я помешал этим нежным душам трепетать от ужаса и предаваться отчаянию. Тут только я наконец увидел господина де Мортемара. Я сказал ему, что, во исполнение воли короля, готов обсудить с ним свои планы. В ответ он, как я уже говорил, рассказал мне о стертой при возвращении из Сен-Клу пятке и покинул меня. Он сообщил нам содержание ордонансов, которое члены палаты депутатов уже знали от господина де Сюсси. Господин де Брой заявил, что только что объехал Париж, что мы находимся на вулкане, что буржуа более не в силах сдерживать рабочих и что при первом же упоминании Карла X нам всем перережут глотки, а Люксембургский дворец разрушат, как прежде разрушили Бастилию. «Верно! Верно!» — глухо шептали осторожные пэры, качая головами. Господин де Караман, возведенный в герцогское достоинство, очевидно, за то, что служил лакеем у господина фон Меттерниха *, горячо убеждал нас, что согласиться с новыми ордонансами невозможно. «Отчего же, сударь?» — спросил я его, и этот хладнокровный вопрос погасил его пыл.

Появились пятеро посланцев от палаты депутатов. Господин генерал Себастиани начал своей излюбленной фразой: «Господа, дело очень серьезное!» Затем он восславил великую скромность господина герцога де Мортемара, рассказал об опасностях, грозящих Парижу, произнес несколько лестных слов по адресу герцога Орлеанского и пришел к заключению, что одобрить ордонансы невозможно. Противоположного мнения были только я и господин Ид де Невиль. Я взял слово: «Господин герцог де Брой сказал нам, господа, что он прошел по парижским улицам и встретил повсюду одну враждебность; я тоже побывал на улицах, три тысячи юношей принесли меня на руках к воротам

этого дворца; вы могли слышать их крики: разве эти молодые люди, оказавшие такую честь одному из ваших братьев, требуют вашей крови? Они кричали: «Да здравствует Хартия!» — я отвечал: «Да здравствует король!» — и они спокойно выслушивали меня, а затем доставили к вам целым и невредимым. Отчего же вы так боитесь общественного мнения? Что до меня, то я утверждаю: ничто еще не потеряно, и мы можем одобрить ордонансы». Вопрос не в том, грозит нам опасность или нет, вопрос в том, чтобы не нарушить присягу, принесенную нами королю, которому мы обязаны нашими званиями, а иные из нас — и состоянием. Отменив ордонансы и назначив новых министров, Его Величество исполнил все, что повелевал ему долг; исполним же свой долг и мы. Как? впервые в нашей жизни настал день, когда мы обязаны ринуться в бой, а мы уклонимся от сражения? Явим Франции образец честности и порядочности; не дадим ей пасть жертвой анархических козней, которые лишат ее покоя, истинных выгод и свободы; лучший способ победить опасность — взглянуть ей в лицо».

Ответом мне было молчание; пэры поспешили прервать заседание. Их манило клятвopеcтyплeниe; каждый, охваченный неодолимым страхом, пекся о своей презренной жизни, как будто время не должно было назавтра сорвать с нас наши старые шкуры, за которые ни один ростовщик, знающий свое дело, не дал бы и обола.

11. Республиканцы.— Орлеанисты.— Господин Тьер отправляется в Нейи.— Новое собрание пэров у господина де Семонвиля: посланная мне повестка приходит слишком поздно

Постепенно стало ясно, что борьба идет между тремя партиями. Защитники древней монархии были сильнее прочих в юридическом отношении, они опирались на всех, кому дорог порядок; однако в нравственном отношении позиция их была наиболее уязвима: они колебались, они не решились высказаться: по уверткам придворных было видно, что они готовы согласиться даже на узурпацию, лишь бы не дать восторжествовать республике.

Что до республиканцев, то их воззвание гласило: «Франция свободна. До тех пор, пока французы не выразят свою волю посредством новых выборов, временное правительство сохранит за собою лишь совещательный голос. Долой королей! Вот наши требования: Исполнительная власть в руках временного президента. Прямые или многоступенчатые выборы депутатов всеми гражданами. Свобода вероисповедания».

Требования эти вобрали в себя все справедливое, что было в республиканских воззрениях; новое собрание депутатов призвано было решить, следует ли выполнять наказ: «Долой королей!»; всякий обосновал бы свое мнение, и, какое бы правительство ни выбрал этот конгресс всей нации, оно было бы законным.

Другое республиканское воззвание, появившееся в тот же день, 30 июля, венчали крупные буквы: «Долой Бурбонов!.. Иначе — прощай величие, покой, общественное благополучие и свобода».

Наконец, к народу обратились господа члены муниципальной комиссии, составляющие временное правительство; они требовали, чтобы «никакие прокламации не объявляли никого главою государства до тех пор, пока не будет окончательно определен государственный строй; пусть временное правительство остается у власти до тех пор, пока не обнаружится воля большинства французов; всякие же другие действия надлежит считать несвоевременными и преступными».

Это обращение, исходящее от членов комиссии, избранной немалым числом граждан из различных районов Парижа, подписали господин Шевалье (председатель), а также господа Трела, Тест, Лепелетье, Гинар, Энгре, Кошуа-Лемер и другие.

Члены этого народного собрания предлагали без голосования отдать пост президента республики господину де Лафайету; они опирались на те принципы, которые провозгласила в 1815 году, перед роспуском, палата представителей. Многие типографы отказались печатать прокламации такого рода, поскольку их запретил герцог де Брой. Республика сбрасывала с трона Карла X и слушалась приказаний господина де Броя, человека без характера.

Я уже сказал, что в ночь с 29 на 30 июля господин Лаффит вместе с господами Тьером и Минье приняли все меры, дабы привлечь внимание публики к господину герцогу Орлеанскому. 30 июля увидели свет плоды этого тайного сговора — прокламации и обращения, предупреждавшие: «Только не республика!» Далее народу напоминали о подвигах в сражениях при Жеммапе и Вальми *, а также уверяли, что господин герцог Орлеанский происходит не из рода Капетов, а из рода Валуа *.

Господин Лаффит не терял времени даром: тем же утром его посланец господин Тьер вместе с господином Шеффером поскакал в Нейи *, однако Его Королевского Величества они там не застали. Последовала великая словесная баталия между мадемуазель Орлеанской и господином Тьером: в конце концов они сошлись на том, что господину герцогу Орлеанскому будет послано письмо, уговаривающее его принять сторону революции. Господин Тьер сам черкнул герцогу записку, а госпожа Аделаида обещала, не дожидаясь своих родных, отправиться в Париж. Орлеанизм делал большие успехи, и уже вечером того же дня среди депутатов пошли разговоры о том, чтобы наделить господина герцога Орлеанского правами королевского наместника.

Господин де Сюсси меж тем явился с новыми ордонансами в Ратушу и был принят там еще хуже, чем в палате депутатов. Заручившись распиской господина де Лафайета, он возвратился к господину де Мортемару, который воскликнул: «Вы спасли мне больше, чем жизнь: вы спасли мне честь!»

Муниципальная комиссия издала прокламацию, в которой объявляла, что *с преступлениями его (Карла X) царствования покончено и что народ получит правительство, которое будет обязано ему (народу) своим происхождением*: двусмысленная фраза, которую можно трактовать как угодно. Господин Лаффит и господин Перье не подписали этот документ. Господин де Лафайет, которого наконец-то начала немного беспокоить возможность возвышения орлеанской ветви, послал господина Одилона Барро в палату депутатов объявить, что народ, творец Июльской революции, не намерен свести ее к простой смене царствующих особ и требует в плату за пролитую кровь хотя бы некоторого расширения свобод. Депутаты собрались было подписать воззвание, приглашающее Его Королевское Высочество герцога Орлеанского в столицу, но после переговоров с Ратушей план этот отменили. Тем не менее по жребию определили депутатию из двенадцати человек, которым предстояло отправиться в замок Нейи и предложить его владельцу тот самый пост королевского наместника, который члены палаты побоялись упомянуть в воззвании.

Вечером господин пэр — хранитель печати собрал у себя остальных пэров; случайно или намеренно, но мне приглашение послали слишком поздно. Я надеялся поспеть к назначенному сроку; мне отворили ворота со стороны Обсерватории, я быстро пересек Люксембургский сад и вошел во дворец: он был пуст. Я пошел обратно по дорожке между клумбами, не сводя глаз с луны. Я с сожалением вспоминал о морях и горах, где она являлась мне, о деревьях в лесной чаще, за верхушками которых она молча пряталась, повторяя, казалось, изречение Эпикура: «Скрывай свою жизнь».

12. Сен-Клу. — Эпизод: господин дофин и маршал Рагузский

29 июля вечером, как я уже говорил, войска отступили к Сен-Клу. Буржуа Шайо и Пасси атаковали их, убили капитана карабинеров и двух офицеров, ранили дюжину солдат. Капитан гвардии Ламот пал, сраженный пулей мальчишки, которого решил пощадить. Этот капитан подал в отставку в тот самый день, когда были опубликованы ордонансы, но 27 июля, увидев первые вооруженные стычки, вернулся в свой полк, дабы разделить с товарищами опасность. Никогда еще, к вящей славе Франции, не происходило на ее земле столь прекрасных сражений между свободой и честью.

Дети, бесстрашные, ибо лишены сознания опасности, сыграли в течение трех июльских дней роль, достойную сожаления: защищенные своей слабостью, они в упор расстреливали офицеров, считавших сопротивление бесчестным. Современная техника вкладывает смертоносное оружие в самые немощные руки. Хилые уродливые обезьянки, скороспелые вольнодумцы, жестокие и развращенные, эти юные герои революции совершали убийства с видом

простодушным и невинным. Остережемся поощрять зло необдуманно похва-
лами. Дети спартанцев охотились на илотов.

Господин дофин встретил солдат в Булонском лесу, а затем возвратился
в Сен-Клу.

Замок Сен-Клу охраняли четыре роты королевских гвардейцев. На помощь
к ним прибыл батальон воспитанников Сен-Сирской военной школы: в отличие
от своих соперников из Политехнической школы, они остались верны королю.
Измученные трехдневными боями войска повергли в изумление сытых и рас-
франченных титулованных придворных, которые остолбенело взирали на ране-
ных, обессилевших бойцов. Никто и не подумал приостановить телеграфное
сообщение; по дорогам беспрепятственно разъезжали курьеры и путешествен-
ники в мальпостях и дилижансах, и реявшее над ними трехцветное знамя
производило возмущение во встречных деревнях. Мятежники уже начали
вербовать себе сторонников, суля им деньги и женщин. Там и сям появлялись
воззвания коммуны города Парижа. Король и двор никак не хотели поверить,
что им грозит опасность. Дабы выказать презрение к горстке взбунтовавшихся
буржуа и доказать, что никакой революции не происходит, они бездействова-
ли: на все воля Божия.

Поздним вечером 30 июля, приблизительно в тот самый час, когда послан-
цы депутатов отправились в Нейи, адъютант маршала Мармона сообщил
войскам об отмене ордонансов. Солдаты ответили возгласами: «Да здравствует
король!» — и снова предались бивуачному веселью, однако адъютант не
доложил о своем прибытии дофину, и тот, будучи великим любителем дисцип-
лины, пришел в ярость. Король сказал маршалу: «Дофин недоволен; объяс-
нитесь с ним».

Не найдя дофина в его покоях, маршал решил подождать его в бильярд-
ной вместе с герцогом де Гишем и герцогом де Вентадуром, адъютантами
принца. Вскоре дофин вернулся: увидев маршала, он побагровел и, шагая, по
обыкновению, очень широко, направился в свою гостиную, бросив маршалу:
«Войдите!» Дверь затворилась; послышался сильный шум, голоса звучали все
громче и громче; встревоженный герцог де Вентадур приоткрыл дверь: маршал
вышел первым, дофин следовал за ним по пятам. С криком: «Вы дважды
предатель! Отдайте шпагу! Отдайте шпагу!» — дофин бросился на маршала
и стал отнимать у него шпагу. Адъютант маршала, господин Деларю, хотел
разнять их, но господин де Монгаскон удержал его; тем временем дофин
пытаясь сломать шпагу маршала, порезал себе руку и стал звать на помощь
гвардейцев: «Ко мне! Арестуйте его!» Гвардейцы не замедлили явиться, и, если
бы маршал не отстранился, штыки их вонзились бы ему прямо в лицо. Затем
герцога Рагузского препроводили в его покои, где ему надлежало оставаться
под домашним арестом.

Король с грехом пополам замял это происшествие, тем более неприглядное

что большого сочувствия не вызывал ни один из его участников. Заколов Сен-Поля, маршала Лиги, сын Меченого доказал, что в его жилах течет гордая кровь Гизов, но что проку было господину дофину, гораздо более могущественному, чем лотарингский принц, протыкать шпагой маршала Мармона? Впрочем, немногим больший интерес представило бы и убийство господина дофина маршалом. Нынче даже Цезарь, потомок Венеры *, и Брут, наследник Юния, пояись они на парижских улицах, не произвели бы ровно никакого впечатления. У нас нет ничего великого, ибо нет ничего высокого.

Вот на что тратили обитатели Сен-Клу последние часы существования монархии: эта бледная, окровавленная и обезображенная монархия напоминала умирающего властителя, описанного д'Юрфе: «Глубоко запавшие глаза, в которых застыла тоска; отвисшая нижняя челюсть, туго обтянутая пожелтевшей кожей; борода всклокоченная, взгляд остановившийся, дыхание прерывистое. Уста его отверзались ныне не для человеческих речей, но лишь для прорицаний».

13. *Нейи.* — *Господин герцог Орлеанский.* — *Поместье Ле Рэнси.* —
Герцог направляется в Париж

Всю свою жизнь герцог Орлеанский чувствовал к трону то влечение, какое всякая высокородная душа питает к власти *. Склонность эта принимает разные обличья в зависимости от характера: у людей пылких и честолюбивых она безоглядна, неприкрыта, откровенна; у людей изнеженных и раболепных — осмотрительна, потаенна, стыдлива и подла; первых она может толкнуть на любые преступления, вторых — на любые низости. Господин герцог Орлеанский принадлежал ко второму разряду честолюбцев. Вспомните биографию этого государя, и вы увидите, что никогда и ни в чем он не шел до конца, всегда оставляя себе лазейку для бегства. Во время Реставрации он льстил двору и покровительствовал либералам; Нейи служило прибежищем недовольным и недовольствам. Здесь вздыхали, пожимали друг другу руки, возводя очи горе, но не произносили ни одного решительного слова, которое могло бы прогневить власти предержавшие. Если умирал член оппозиции, владелец Нейи посылал на похороны свою карету, однако карета эта была пуста; ливрее открыт доступ во все дома и ко всем могилам. Если, зная, что я в опале, господин герцог Орлеанский встречал меня в Тюильри, он старательно приветствовал всех, находящихся от него по правую руку, лишь бы не заметить меня, оставшегося слева. Такие вещи бросаются в глаза и идут на пользу.

Знал ли господин герцог Орлеанский заранее об июльских ордонансах? Сообщило ли ему о них лицо, вхожее к господину Уврару? Какого он был о них

мнения? Чего боялся и на что надеялся? Был ли у него четкий план? Действовал ли господин Лаффит по его указке или самостоятельно? Судя по тому, что известно о характере Луи Филиппа, можно предположить, что он не принял никакого решения и что политическая робость вкупе с природной лживостью заставили его ожидать дальнейшего развития событий, как паук ожидает муху, которая рано или поздно попадется в его сети. Он предоставил эпохе готовить заговор, сам же был заговорщиком лишь в мечтах, которых, должно быть, побаивался.

Два пути открывались господину герцогу Орлеанскому: один, наиболее достойный, заключался в том, чтобы отправиться в Сен-Клу и стать посредником между Карлом X и народом, спасая корону первого и свободу второго; другой — в том, чтобы с трехцветным знаменем наперевес броситься на баррикады и возглавить переустройство мира. Филипп мог выбирать между репутацией порядочного человека и славой человека великого: он предпочел украсть у короля корону, а у народа свободу. Воспользовавшись смятением и горем, царящими во время пожара, мошенник потихоньку утаскивает из горящего дворца все самое драгоценное, не обращая внимания на крики ребенка, чья колыбель объята пламенем.

При виде богатой добычи у целой своры псов разгорелись глаза: тут-то и всплыла на поверхность вся гниль прошлых правлений, все скупщики краденного, все полураздавленные поганые жабы, которые не подымают, сколько бы их ни топтали, и живут, вечно пресмыкаясь. Меж тем именно этих людей расхваливают нынче на все лады, особенно восхищаясь их сметливостью! Иначе думал Мильтон, в одном из писем которого есть возвышенные строки: «Если существует человек, в чью душу Господь вложил страстную любовь к нравственной красоте, то человек этот — я. Необоримая сила влечет меня ко всякому, кто презирает лицемерное уважение черни, ко всякому, кто чувствами, словами и поступками чтит заветы вековой мудрости. Ни на небесах, ни на земле не найдется никого, кто помешал бы мне взирать на людей, являющих собою образец порядочности и добродетели, с нежностью и уважением».

Придворные Карла X никогда не отличались прозорливостью, и им было невдомек, что происходит и с кем они имеют дело; можно было вызвать господина герцога Орлеанского в Сен-Клу, и тогда, пойманный врасплох, он, возможно, подчинился бы королю; можно было захватить его в Нейи в тот самый день, когда стали известны ордонансы: ни то, ни другое сделано не было.

Во вторник, 27 марта, в три часа ночи Луи Филипп, получивший от госпожи де Бонди известия о последних событиях, покинул Нейи и укрылся в убежище, местонахождение которого было известно только его родным. Он равно опасался и народного гнева, и капитана гвардии с приказом об аресте. Поэтому он отправился в Ле Рэнси, чтобы в тамошнем уединении слушать отдаленную пушечную канонаду, доносящуюся из Лувра, подобно тому как я,

прислонясь к дереву, слушал канонаду, доносившуюся с полей Ватерлоо. Впрочем, чувства, волновавшие грудь герцога, вероятно, вовсе не походили на те, что тревожили меня среди гентских полей.

Я уже сказал, что утром 30 июля господин Тьер не застал герцога Орлеанского в Нейи; однако госпожа герцогиня Орлеанская послала к Его Королевскому Высочеству гонца; эту миссию она возложила на господина графа Анатоля де Монтестью. В Ле Рэнси господину де Монтестью стоило неимоверных усилий убедить Луи Филиппа возвратиться в Нейи и принять там посланцев палаты депутатов.

Наконец, вняв уговорам доверенного лица герцогини Орлеанской, Луи Филипп сел в карету. Господин де Монтестью поскакал впереди; он было помчался во весь опор, но, оглянувшись назад, увидел, как карета Его Королевского Высочества останавливается, разворачивается и направляется обратно в Ле Рэнси. Господин де Монтестью поспешно догоняет будущего властелина Франции, стремящегося, подобно тем прославленным христианам, что некогда бежали от нелегких, хотя и почетных епископских обязанностей, укрыться в пустыне, и умоляет его не изменять принятого решения: к несчастью, в конце концов верный слуга добился своего.

Вечером 30 июля двенадцать членов палаты депутатов, избранных для того, чтобы предложить герцогу Орлеанскому титул королевского наместника, обратились к нему с письмом. Луи Филипп получил их послание в Нейи, у ворот парка, прочел его при свете факелов и немедленно двинулся в Париж в сопровождении господ де Бертуа, Эмеса и Удара. В петлице у него красовалась трехцветная кокарда: старая корона ждала его в королевской кладовой.

14. Посланцы палаты депутатов предлагают господину герцогу Орлеанскому титул королевского наместника.— Он соглашается.— Старания республиканцев

Прибыв в Пале-Руаяль, господин герцог Орлеанский обратился с приветствием к господину де Лафайету.

Двенадцать депутатов, посланцев палаты, явились в Пале-Руаяль. Они осведомились у герцога, согласен ли он стать королевским наместником; в ответ они услышали сбивчивые речи: «Я прибыл, дабы разделить с вами грядущие вам опасности... Мне нужно подумать. Я должен посоветоваться. Сен-Клу настроено вовсе не враждебно, присутствие короля налагает на меня обязательство». Таков был ответ Луи Филиппа. Как он и рассчитывал, его заставили взять эти слова назад, и через полчаса он возвратился к депутатам с прокламацией, в которой объявлял себя королевским наместником; заканчивалась она следующим заявлением: «Отныне Хартия станет истиной».

В палате депутатов эта прокламация была воспринята с революционным

энтузиазмом пятидесятилетней давности; под руководством господина Гизо была составлена ответная прокламация. Депутаты вернулись в Пале-Руаяль; герцог расчувствовался и подтвердил свое согласие, что, впрочем, не помешало ему посетовать на прискорбные обстоятельства, вынуждающие его стать королевским наместником.

Потрясенные республиканцы пытались защититься от наносимых им ударов, однако истинный их вождь, генерал Лафайет, мало чем мог им помочь. Он упивался дружными славословиями, доносившимися до его слуха со всех сторон; он вдыхал воздух революции; мысль, что он вершит судьбами Франции, что, стоит ему топнуть ногой, и из земли возрастет либо республика, либо монархия, кружила ему голову; он наслаждался неустойчивым равновесием, которое по душе людям, боящимся определенности, ибо внутренний голос подсказывает им, что, когда все решится окончательно, они уже никому не будут нужны.

Прочие республиканские вожди по разным причинам уже утратили к этому времени свою популярность: им пришлось отступить, ибо их приверженность террору напомнила французам о 1793 годе. С другой стороны, восстановление национальной гвардии лишило участников июльских боев желания и оснований драться. Господин де Лафайет не заметил, что, предаваясь грезам о республике, он вложил оружие в руки трех миллионов жандармов, не желающих ее победы.

Как бы там ни было, юным республиканцам стало стыдно, что их так скоро оставили в дураках, и они попытались оказать хоть какое-то сопротивление. На прокламации и афиши герцога Орлеанского они ответили собственными прокламациями и афишами. В них говорилось, что депутаты, которые были выбраны при аристократическом правлении и пали так низко, что умоляли герцога стать королевским наместником, не могут представлять за весь народ. Луи Филиппу доказывали, что он — сын Луи Филиппа Жозефа, сына Луи Филиппа, сына Людовика, сына Филиппа II, регента, каковой был сыном Филиппа I, каковой приходился братом Людовику XIV, из чего следует, что Луи Филипп Орлеанский — *Бурбон* и *Капет*, а вовсе не *Валуа*. Господин Лафит тем не менее продолжал считать его потомком Карла IX и Генриха III *, уточняя: «О подробностях справиться у Тьера».

Позже завсегдагатаи ресторации Луантье * постановили, что нация беретса за оружие, дабы силой защищать свои права. Центральный комитет двенадцатого округа заявил, что никто не спросил у народа его мнения о наилучшем государственном устройстве, что палата депутатов и палата пэров, получившие полномочия от Карла X, утратили с его падением свое могущество и, следовательно, не имеют права представлять за всю нацию, что двенадцатый округ не признает власти наместника, что бразды правления должны оставаться в руках временного правительства, возглавляемого Лафайетом, до тех пор, пока не будет принята всесторонне обсужденная Конституция.

Утром 30 июля молодежь уже совсем было решила провозгласить республику. Нашлись смельчаки, объявившие, что зарежут членов муниципальной комиссии, если те отдадут власть. Не грозила ли подобная опасность и палате пэров? Ее отвага вызывала ненависть. Отвага палаты пэров! Безусловно, то было последнее оскорбление и последняя несправедливость общественного мнения, которого пэры могли ожидать.

Был составлен план: два десятка самых бесстрашных юношей устраивают засаду в улочке, выходящей на Железную набережную, по которой пролегает путь Луи Филиппа из Пале-Руаяля в Ратушу, и стреляют в него. Пыльких юношей остановили, объяснив им: «Вы убьете разом Лаффита, Пажоля и Бенжамена Констана». Наконец, существовал и еще один план: похитить герцога Орлеанского и посадить его на корабль в Шербуре: забавная вышла бы картина, если бы Карл X и Филипп добрались до одного и того же порта и отправились в изгнание на борту одного и того же судна, первый волею буржуа, второй — волею республиканцев!

15. *Господин герцог Орлеанский направляется в Ратушу*

Возжелав, чтобы его новое звание утвердили трибуны из Ратуши, герцог Орлеанский спустился во двор Пале-Руаяля в окружении восьмидесяти девяти депутатов в фуражках и шляпах, во фраках и рединготах. Кандидат королевских кровей оседлал белого коня; следом два савояра несли в портшезе Бенжамена Констана. Господа Мешен и Вьенне, потные и запыленные, сутились между белым конем будущего монарха и тележкой подагрика-депутата, то и дело осаживая носильщиков, не соблюдавших положенную дистанцию. Возглавлял шествие полупьяный барабанщик. Роль ликторов исполняли четыре судебных пристава. Самые ретивые депутаты ревели: «Да здравствует герцог Орлеанский!» Близ Пале-Руаяля крики эти встречали кое-какую поддержку, но чем ближе к Ратуше, тем молчаливее становилась толпа: если кто и открывал рот, то лишь для того, чтобы поднять наместника на смех. Триумфатору Филиппу было явно не по себе, он то и дело искал глазами господина Лаффита, который подбадривал его дружескими речами. Новоявленный наместник посылал дружеские улыбки генералу Жерару, кивал господину Вьенне и господину Мешену; объезжая толпу и протягивая руку направо и налево, он, разукрасив шляпу целым локтем трехцветной ленты, выкланчивал у встречных рукопожатия, а у народа корону. Так бродячая монархия добралась до Гревской площади, где была встречена криками: «Да здравствует республика!»

Когда выборная королевская движимость проникла внутрь Ратуши, до слуха соискателя донесся ропот куда более угрожающий; на нескольких верхних слуг, выкрикнувших его имя, посыпались тумачи. Герцог вошел

в Тронный зал; здесь собрались люди, прошедшие три революционных дня с оружием в руках; среди них были и раненые; своды зала потряс единодушный клич: «Долой Бурбонов! Да здравствует Лафайет!» Герцог, по видимости, смутился. Господин Вьенне, заменив господина Лаффита, прочел вслух заявление депутатов; оно было выслушано в глубоком молчании. Герцог Орлеанский в нескольких словах высказал свое согласие с прочитанным. Тогда господин Дюбур сказал ему сурово: «Вы взяли на себя большие обязательства. Если вы нарушите их, мы вам это напомним». На что будущий король взволнованно ответил: «Сударь, я порядочный человек!» Господин де Лафайет, видя, что собрание колеблется, вдруг надумал отречься от поста президента: он вручил герцогу Орлеанскому трехцветное знамя, вышел на балкон Ратуши и на глазах потрясенной толпы расцеловался с герцогом, который тем временем размахивал национальным флагом. Республиканский поцелуй Лафайета дал Франции короля. Странный итог жизни для *героя Старого и Нового Света!* *

И вот уже — топ-топ! — носилки Бенжамена Констана и белый конь Луи Филиппа, полуошиканные, полупрославленные, плетутся с Гревской политической фабрики * назад во Дворец торгашей *. «В тот самый день, — говорит господин Луи Блан о 31 июля, — неподалеку от Ратуши на борт корабля, на мачте которого реял черный флаг, грузили трупы. Народ, толпившийся на берегу Сены, молча смотрел, как их укладывают штабелями и прикрывают соломой».

Рассказывая о том, как штаты, созданные Лигой, измышляли себе короля *, Пальма-Кайе восклицает: «Вообразите себе, прошу вас, какой могли бы дать ответ мэтр Матье Делоне, господин Бюше, кюре из церкви Святого Бенуа и прочие людишки того же пошиба, когда бы узнали, что в их власти посадить на французский престол любого короля, какого им заблагорассудится!.. Истинные французы испокон веков презирали этот способ избирать королей, делающий их господами и слугами разом».

16. Республиканцы в Пале-Руаяле

Филипп еще не испил чашу испытаний до дна; еще не одну руку предстояло ему пожать, не одно объятие снести, не один воздушный поцелуй послать прохожим, не один низкий поклон отвесить и не единожды в угоду толпе пропеть «Марсельезу» с балкона Тюильрийского дворца.

Утром 31 июля многие республиканцы собрались в редакции «Насьональ»: узнав о назначении герцога Орлеанского королевским наместником, они пожалели выяснить, каковы взгляды этого принца, намеревающегося стать французским монархом против воли народа. Господин Тьер провел республиканцев

в Пале-Руаяль; в депутацию входили господа Бастид, Тома, Жубер, Кавеньяк, Марше, Дегузе, Гинар. Вначале герцог наговорил им множество красивых слов о свободе. «Пока вы еще не король,— отвечал ему Бастид,— выслушайте правду; скоро подле вас останутся одни льстецы». «Ваш отец,— добавил Кавеньяк,— цареубийца, как и мой; это кладет на вас особый отпечаток». Обмен любезностями касательно цареубийства завершился репликой Филиппа, заметившего — впрочем, вполне справедливо,— что есть вещи, о которых следует помнить, чтобы их не повторять.

В беседу вступили новоприбывшие республиканцы, не поспевшие утром в редакцию «Насьональ». Господин Трела сказал Филиппу: «Все решает народ; ваша власть — временная; народ должен высказать свою волю: спросите вы его мнения или нет?»

Дабы прекратить эти опасные речи, господин Тьер похлопывает по плечу господина Тома со словами: «Не правда ли, монсеньор, из него выйдет отличный полковник?» — «Совершенно верно», — отвечает Луи Филипп. «Что он такое говорит? — возмущаются республиканцы. — Неужели он принимает нас за стадо продажных тварей?» Со всех сторон раздаются растерянные и сбивчивые возгласы: «Это какое-то вавилонское столпотворение! И этого человека называют королем-гражданином! Республика? Так правьте с помощью республиканцев!» Господин же Тьер восклицает: «Хорошенькую встречу я устроил!»

Затем в Пале-Руаяле появился новый гость: гражданин де Лафайет едва не задохнулся в объятиях своего короля. Все друзья дома млели от восторга.

Люди в куртках стояли в почетном карауле, люди в фуражках отдыхали в гостиных, люди в блузах пировали за одним столом с принцами и принцессами; королевский совет заседал в зале, где стояли только стулья и ни одного кресла; слово предоставляли всем желающим; Луи Филипп, сидя между господином де Лафайетом и господином Лаффигом и обнимая их обоих за плечи, лучился равенством и счастьем.

Я хотел бы с большей серьезностью живописать все эти сцены, приведшие к великой революции, или, говоря точнее, ускорившие великое преобразование мира; но я был их очевидцем; депутаты же, принимавшие в них непосредственное участие, не могли избавиться от некоторого смущения, рассказывая мне о том, как 31 июля они смастерили для Франции... короля.

Гугеноту Генриху IV предъявляли требования, не умалявшие его величия и законные, если речь идет о королевском престоле*; ему напоминали, что «святой Людовик был причтен к лику святых не в Женеве, а в Риме, что если король не исповедует католической веры, он не вправе первенствовать среди христианских королей, что негоже королю молиться иначе, чем молится его народ, что король, не являющийся католиком, не может быть коронован в Реймсе и похоронен в аббатстве Сен-Дени».

Чего требовали от Филиппа перед последним туром голосования? Большого патриотизма.

Нынче, когда революция уже свершилась, напоминания о том, с чего она началась, кажутся многим людям оскорбительными; люди эти дорожат своим новым положением и видят клеветника во всяком, кто отказывает истокам в степенности финала.

Когда голубка помазала Хлодвига на царство, когда длинноволосых франкских королей возносили вверх на щитах *, когда измлада добродетельный Святой Людовик при короновании смиренно поклялся употреблять власть не иначе как во славу Божию и для блага своего народа, когда Генрих IV, вступив в Париж, направил свои стопы в собор Парижской Богоматери и пал ниц пред алтарем, подле которого показался либо привиделся толпе прекрасный отрок, принятый всеми за королевского ангела-хранителя, — тогда, не спорю, королевский венец был священен; хоругвь покоилась в небесном ковчеге. Но с тех пор, как посреди площади, на глазах толпы, под барабанный бой монарх с остриженными волосами и связанными за спиной руками склонил голову на плаху *, с тех пор, как другой монарх на другой площади под бой того же барабана принялся выклянчивать у черни голоса на случай своего избрания, кто может питать хоть какие-нибудь иллюзии относительно королевской власти? Кто может верить, что короли, воссевшие на этом истерзанном и опозоренном престоле, хранят власть над миром? Какой уважающий себя человек согласится испить ту чашу стыда и отвращения, какую Филипп опорожнил залпом, даже не поморщившись? Европейские монархии продолжали бы жить, если бы не погибла их мать — французская монархия, дочь святого мученика и великого политика; однако бесценные семена были развеяны по ветру: отныне нива вечно пребудет бесплодной.

КНИГА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1. <...> *Дипломатический корпус*

<Король покидает Сен-Клу и направляется в Рамбуйе; герцогиня Ангулемская прибывает в Трианон; поведение европейских послов, которые прежде подталкивали Карла X к принятию ордонансов, а теперь изменили ему и признали новое правительство>

Я давно уже питаю убеждение, что дипломатические корпуса, появление которых относится к эпохам, когда господствовало иное право, нежели ныне, ничем не связаны с новым обществом: сегодня представительное правление, новшества, облегчившие сообщение между странами, позволяют министрам обсуждать государственные дела непосредственно либо через консульских

служащих, число которых следовало бы увеличить, прибавив им жалованья: ведь в наши дни Европа — континент промышленный. Титулованные шпионы с непомерными притязаниями, вмешивающиеся в любое дело, дабы вернуть себе ускользающее значение, способны лишь вносить смуту в сердца и умы министров той страны, где они аккредитованы, и оболыщать иллюзиями своих покровителей.

2. Рамбуйе

〈Король прибывает в Рамбуйе, бросив армию на произвол судьбы. Солдаты постепенно разбегаются〉

Дофин повстречал дезертиров; гренадеры, выстроившись в боевом порядке, приветствовали принца, а затем продолжили свой путь. Поразительное смешение предательства с благопристойностью! Никто из участвовавших в этой трехдневной революции не действовал по велению страсти; все поступали так, как, по их мнению, следовало поступить, дабы защитить свои права либо исполнить свой долг; отвоевав права и выполнив долг, бойцы не испытывали ни любви, ни ненависти; одни боялись, как бы борьба за права не завела их слишком далеко, другие — как бы верность долгу не оказалась чрезмерной. Быть может, то был единственный случай в истории человечества, как прошлой, так и будущей, когда народ остановился на полпути, хотя победа была уже близка, а солдаты, защищавшие короля до тех пор, пока он, хотя бы на словах, изъявлял желание сражаться, возвратили ему знамена прежде, чем покинуть его. Ордонансы освободили народ от верности присяге; отступление на поле боя освободило гренадеров от верности боевому стягу.

3. Открытие сессии 3 августа.— Письмо Карла X господину герцогу Орлеанскому

Убедившись, что Карл X бездействует, а республиканцы отступают, новоизбранный монарх перешел в наступление. Жители провинций, всегда с рабской, бараньей покорностью подражающие парижанам, при получении всякого нового телеграфного известия и при виде всякого увенчанного трехцветным знаменем дилижанса принимались кричать то «Да здравствует Филипп!», то «Да здравствует революция!»

3 августа, в день открытия сессии, депутаты и пэры явились на совместное заседание; отправился туда и я, ибо положение по-прежнему оставалось неопределенным. В палате был разыгран следующий акт мелодрамы: трон пустовал, а антикороль сидел рядышком. Можно было подумать, что это канцлер открывает по доверенности заседание английского парламента в отсутствие монарха.

Филипп поведал нам о грозящей ему роковой необходимости ради нашего спасения принять титул королевского наместника, о пересмотре статьи 14 Хартии и о том, что он, Филипп, носит в сердце свободу и осчастливит нас этой свободой, а Европу — миром. Подобными конституционными разглагольствованиями нас морочат вот уже полвека. Все, однако, обратились в слух, когда принц сделал следующее заявление:

«Господа пэры и господа депутаты, как только обе палаты приступят к работе, я доведу до вашего сведения отречение от престола, подписанное Его Величеством Карлом X. Тот же документ удостоверяет, что Луи Антуан Французский, Дофин, также отказывается от своих прав. Текст отречения был передан мне вчера, 2 августа, в 11 часов вечера. Нынче я отдам его в архив палаты пэров и прикажу опубликовать в «Монитёре».

Жалкая и трусливая недомолвка — герцог Орлеанский даже не упомянул здесь имени Генриха V, в пользу которого отреклись оба короля. Если бы в эту пору возможно было опросить каждого француза в отдельности, вероятно, большинство подало бы голос за Генриха V; даже часть республиканцев согласилась бы признать его королем, стань его воспитателем Лафайет. Если бы два старых короля отправились доживать свой век в Риме, носитель же законной власти не покинул Франции, мы избежали бы всех тех сложностей, что сопутствуют узурпации и навлекают на узурпатора подозрения всех партий. Возведение на престол представителя младшей ветви Бурбонов было не просто опасно, оно было политически абсурдно: новая Франция живет республиканскими убеждениями, ей вовсе не нужен король, во всяком случае король из древней династии. Пройдет несколько лет, и мы увидим, что станется с нашими свободами и чем обернется обещанный нам мир. Если судить по поступкам нового избранника и по тому, что известно о его характере, можно предположить, что ради короны монарх этот сочтет себя обязанным притеснять соотечественников и пресмыкаться перед чужестранцами³⁴.

Подлинная вина Луи Филиппа не в том, что он согласился взойти на престол (честолюбивый поступок, каких в истории совершались тысячи и который противоречит лишь определенному политическому устройству); настоящее его преступление в том, что он изменил своему долгу опекуна, что он ограбил ребенка и сироту — грех, многожды проклятый в Писании: ведь *нравственное правосудие* (как его ни называй — роком или провидением, — я убежден, что оно неизбежно настаивает злоумышленника) всегда карало тех, кто преступал *нравственный закон*.

Филиппу, его правлению, всему этому невозможному и сотканному из противоречий порядку вещей рано или поздно придет конец; отсрочка здесь —

³⁴ Сильно я ошибся? (Париж, 1840.) *

лишь дело случая, результат столкновения внутренних и внешних интересов, бездействия и развращенности индивидуумов, легкомыслия, равнодушия и бесхарактерности; сколько бы ни продлилось нынешнее царствование, Орлеанской ветви не удастся пустить глубокие корни.

Карл X, поняв, как далеко зашла революция и не чувствуя себя в силах остановить ее, ибо ни возраст его, ни нрав к тому не располагали, счел необходимым ради спасения своей династии отречься вместе с сыном от престола, о чем Филипп и поведал депутатам. Еще 1 августа старый король письменно изъявил свое согласие на открытие сессии и, рассчитывая на искреннюю привязанность кузена Орлеанского, назвал его своим наместником. 2 августа он пошел еще дальше, ибо теперь желал лишь одного — покинуть Францию, и просил назначить комиссаров, которые проводили бы его до Шербура. Военачальники из королевской свиты поначалу отвергли этих провожатых. За Бонапартом также следовали комиссары, в первый раз русские, во второй — французские, но он об этом не просил.

Вот текст письма Карла X:

«Рамбуйе, 2 августа 1830 года.

Кузен, беды, обрушившиеся на мой народ и могущие грозить ему в будущем, так глубоко печалят меня, что я попытался отыскать способ их предотвратить. Поэтому я решился отречься от престола в пользу моего внука герцога Бордоского.

Дофин, разделяющий мои чувства, также отрекается от своих прав в пользу племянника.

Итак, вам, как наместнику, предстоит провозгласить Генриха V королем. Впрочем, форму правления до совершеннолетия нового короля вы определите сами. Я всего лишь посвящаю вас в свои намерения — это способ избежать новых бедствий.

Оповестите о содержании моего письма дипломатический корпус и как можно скорее сообщите мне прокламацию, объявляющую моего внука королем под именем Генриха V...

Вновь заверяю вас, кузен, что остаюсь любящим вас кузеном.

Карл».

Если бы господин герцог Орлеанский знал, что такое волнение или раскаяние, разве не должна была поразить его в самое сердце эта подпись: «Любящий вас кузен»? В Рамбуйе были так уверены в благополучном исходе дела, что уже собирали юного принца в дорогу: самые ревностные сторонники ордонансов уже изготовили трехцветную кокарду, призванную служить ему защитой. Вообразите, что произошло бы, если бы госпожа герцогиня Беррийская, не мешкая, тронулась в путь вместе с сыном и предстала перед депутатами в ту самую минуту, когда господин герцог Орлеанский взошел на трибуну;

конечно, никто не мог поручиться за успех; матери и сыну грозила немалая опасность, но, случись даже самое худшее, дитя попало бы на небо и не влачило жалкое существование на чужбине.

Мои советы, пожелания, вопли не возымели никакого действия; напрасно требовал я свидания с Марией Каролиной; когда Баярд готовился покинуть отчий дом, мать его, как говорит Верный Слуга *, «слезно скорбела». «Вышла добрая женщина из ворот замка и, призвав к себе сына, сказала ему таковые слова: «Пьер, друг мой, будьте добры и учтивы безо всякой гордыни; *услужайте смиренно всякому люду, ни словом, ни делом не преступайте клятвы, помогайте бедным вдовам и сиротам, и Господь наградит вас...*» И вынула добрая женщина из рукава маленький кошелек, где всего-то и было что шесть золотых экю да одно серебряное, и подала его сыну».

Рыцарь без страха и упрека, путившийся в дорогу с шестью золотыми экю в маленьком кошельке, стал отважнейшим и славнейшим из полководцев. Генриха, в чьем кошельке не нашлось бы, пожалуй, и шести экю, ждали совсем другие битвы; ему предстояло сражаться с несчастьем, а этого врага трудно побороть. Восславим матерей, преподающих сыновьям уроки нежности и доброты! Будьте благословенны вы, матушка,— ведь вам обязан я тем, что душа моя исполнилась покорства, а имя удостоилось почета.

Виноват: я предался воспоминаниям, но, быть может, тиранство моей памяти, примешивая прошлое к настоящему, хоть отчасти сглаживает его ничтожество.

К Карлу X были посланы господин де Шонен, господин Одилон Барро и маршал Мэзон. Караульные преградили им дорогу, и они повернули назад. Толпа возвратила их в Рамбуйе.

4. Народ направляется в Рамбуйе.— Бегство короля.— Размышления

2 августа к вечеру распространились слухи о том, что Карл X отказывается покинуть Рамбуйе до тех пор, пока внука его не признают королем. Утром 3 августа на Елисейских полях собралась толпа, громко требовавшая: «В Рамбуйе! В Рамбуйе! Ни один Бурбон не уйдет!» В толпе попадались и богатые люди, но они в решающий миг позволили *черни* тронуться в путь; возглавляла шествие генерал Пажоль, взявший в начальники штаба полковника Жакмино. Комиссары, возвращавшиеся в Париж, встретили авангард этой колонны, повернули обратно и на сей раз были допущены в замок. Король расспросил их о силах восставших, а затем пожелал поговорить с глазу на глаз с Мэзоном, обязанным ему состоянием и маршальским жезлом; «Мэзон,— спросил он,— заклинаю вас вашей честью, скажите мне, правду ли говорят комиссары?» Маршал отвечал: «Они сказали только половину правды!»

3 августа в Рамбуйе оставалось три с половиной тысячи пехотинцев и две тысячи кавалеристов, объединенных в четыре полка легкой кавалерии, по двадцать эскадронов каждый. Военная свита, королевская гвардия и проч. насчитывали одну тысячу триста кавалеристов и пехотинцев; всего в Рамбуйе находилось восемь тысяч восемьсот человек и семь батарей из сорока двух орудий, готовых к бою. В десять вечера по сигналу трубы весь лагерь снялся с места и направился в сторону Ментенона; Карл X и его семейство двигались посередине этой мрачной процессии, в неверном свете луны, наполовину скрытой тучами.

Перед кем же они отступали? Перед почти безоружной толпой, прибывавшей в омнибусах, фиакрах и колясках из Версаля и Сен-Клу. Силой поставленный во главе этой оравы, состоявшей самое большее из пятнадцати тысяч человек, включая подоспевших руанцев, генерал Пажоль готовился проститься с жизнью. Половина его войска даже близко не подошла к замку. Горстка пылких, отважных и великодушных юношей, оказавшихся среди этого сброда, принесла бы себя в жертву, остальные же скорее всего обратились бы в бегство. Если бы на равнине близ Рамбуйе, в чистом поле, пехота и артиллерия встретили восставших огнем, они наверняка выиграли бы сражение. Между народом, одержавшим победу в Париже, и королем, одержавшим победу в Рамбуйе, могли бы начаться переговоры.

Как! неужели среди столько офицеров не сыскалось ни одного решительного человека, который взял бы на себя командование от имени Генриха V? Ведь, что ни говори, Карл X и дофин уже не были королями!

Возможно, защитники короля хотели обойтись без сражения? Отчего же в таком случае они не отступили в Шартр или, еще лучше, в Тур, где, не опасаясь атаки парижан, могли бы заручиться поддержкой легитимистски настроенных провинций? До тех пор пока Карл X оставался во Франции, армия в большинстве своем хранила ему верность. Булонский и Люневильский гарнизоны снялись с места и шли ему на помощь. Мой племянник, граф Луи, вел свой полк, 4-й егерский, в Рамбуйе: солдаты разошлись лишь после того, как узнали о бегстве короля. Господину де Шатобриану пришлось провожать монарха в Шербур верхом на пони. Если бы Карл X, переждав бурю в каком-нибудь городе, призвал к себе обе палаты, больше половины депутатов и пэров подчинились бы. Казимир Перье, генерал Себастиани и сотня других выжидали, противились власти трехцветной кокарды; последствия народного бунта страшили их; да что там говорить? сам наместник, узнав, что король требует его к себе, и не будучи уверен в победе толпы, ускользнул бы от своих сторонников и покорился королевской воле. Дипломатический корпус, изменивший своему долгу, смог бы искупить вину, вновь приняв сторону монарха. Пускай бы среди всего этого хаоса в Париже была провозглашена республика — она не продержалась бы и месяца, если бы одновременно в другом городе

Франции действовало законное конституционное правительство. Никогда еще никто не проигрывал столь выигрышную партию; но уж тому, кто проиграл, имея на руках такие козыри, не поможет ничто: толкуй, кто хочет, гражданам о свободе, а солдатам о чести после июльских ордонансов и отступления из Сен-Клу!

Быть может, настанут времена, когда на смену нынешнему общественному устройству придет новое общество и война покажется чудовищной, непостижимой бессмыслицей, но нам до этого еще далеко. Некоторые разборчивые филантропы готовы упасть в обморок от одного только словосочетания *гражданская война*: «Сограждане убивают друг друга! Брат идет на брата, сын на отца, отец на сына!» Все это, конечно, весьма прискорбно, однако нациям случалось закалиться и возродиться в междоусобных распрях. Не гражданские войны, а нападения чужестранцев губили народы. Сравните Италию той поры, когда ее раздирали усобицы, с Италией нынешней. Необходимость грабить соседа и опасность погибнуть от его руки прискорбна, но, по чести говоря, намного ли милосерднее истреблять семейство немецких крестьян, которых вы прежде в глаза не видели и которые не сделали вам ничего дурного? — а между тем вы без малейшего раскаяния обираете и убиваете их, вы со спокойной душой насилуете иноплемennых женщин и девушек — ведь *идет война!* Что ни говори, гражданские войны менее несправедливы, менее отвратительны и более естественны, чем войны с чужестранцами, если только эти последние не покушаются на независимость вашего отечества. Во всяком случае, причиною гражданских войн служат личные обиды, откровенные, общепризнанные антипатии; гражданские войны — дуэли в присутствии секундантов, где противники знают, отчего взялись за шпаги. Страсти не оправдывают зло, но извиняют его, объясняют, позволяют понять, как оно возникло. А чем оправдать войну с чужестранцами? Обычно народы убивают друг друга по прихоти скачущего короля, по воле честолюбивого интригана, по приказу министра, стремящегося устранить соперника. Пора покончить с обветшалым сентиментальничаньем, которое более пристало поэтам, чем историкам. Фукидид, Цезарь, Тит Ливий произносят скупые слова скорби и идут дальше.

Несмотря на все бедствия, которые несет с собой гражданская война, страшна она только в одном случае: когда какая-нибудь из партий прибегает к помощи чужеземных держав или когда соседние державы, воспользовавшись расколом внутри страны, нападают на нее; в обоих этих случаях стране грозит утрата независимости. История Великобритании, Иберии, византийской Греции, а в наши дни Польши содержат примеры, о которых не следует забывать. Впрочем, во времена Лиги обе партии поочередно призывали к себе на помощь испанцев и англичан, итальянцев и немцев и тем поддерживали равновесие внутри Франции.

Карл X совершил ошибку, решив подкрепить свои ордонансы силой

штыков; что бы ни двигало его министрами — покорство или своеволие, — им нет оправдания, ибо по их вине пролилась кровь горожан и солдат, не питавших друг к другу никакой ненависти; они уподобились террористам-теоретикам, которые с радостью прибегли бы к террору в стране, где время террора ушло. Но Карл X совершил ошибку и тогда, когда не принял вызова и не оказал сопротивления людям, которые ополчились на него, несмотря на все сделанные им уступки. Он не имел права, передавая венец своему внуку, сказать этому новому Иоасу *: «Я возвел тебя на престол, чтобы ты влачил свои дни на чужбине, чтобы ты, обездоленный изгнанник, нес тяготы моих лет, моей отверженности и моего скипетра». Не стоило разом дарить Генриху V корону и отнимать у него Францию. Тому, кто провозглашен французским королем, подобает жить и умереть на земле, в которой покоится прах Святого Людовика и Генриха IV.

Впрочем, когда пыл мой слегка угасает и я вновь обретаю хладнокровие, я понимаю: в том, что события приняли такой оборот, виден перст судьбы. Если бы двору удалось одержать победу, он лишил бы Францию всех общественных свобод; конечно, рано или поздно народ сокрушил бы его власть, но в течение ряда лет общество стояло бы на месте; возрожденная конгрегация преследовала бы всех, кто трактует понятие монархии чересчур широко. В конечном счете то, что произошло, обусловлено самим развитием цивилизации. На все воля Господня: он наделяет сильных мира сего пороками, которые в назначенный час губят их, дабы эти лжемудрецы, употребляющие свои таланты во зло, покорились вышнему промыслу.

5. *Пале-Руаяль. — Разговоры. — Последнее политическое искушение. —
Господин де Сент-Олер*

После того как королевское семейство отказалось от борьбы, я смог подумать о себе. Теперь меня заботила лишь речь в Палате пэров. Выступать в печати было невозможно: если бы монархию погубили враги короны, если бы Карла X свергли чужеземные войска, я взялся бы за перо и, буде мне позволено было бы свободно излагать свои мысли, сумел бы собрать у обломков трона многочисленных сторонников падшей монархии; однако монархия погубила себя сама; министры отняли у страны две главные свободы; по их вине король сделался клятвopеступником, причем не на словах, а на деле, и перо мое лишилось силы. Что мог я сказать в защиту ордонансов? Разве имел я право по-прежнему восславлять честность, простосердечие, рыцарственность законной монархии? Разве мог утверждать, что в ней — надежнейшая защита наших интересов, законов и независимости? Я всегда был поборником древней династии, но династия эта оставила меня безоружным перед лицом врага.

Поэтому я с бесконечным удивлением узнал, что, несмотря на мою нынешнюю слабость, новый король ищет моей помощи. Карл X презирал мои услуги, Филипп попытался привлечь меня на свою сторону. Вначале господин Араго передал мне немало возвышенных и пылких слов от имени госпожи Аделаиды, затем граф Анатолий де Монтескью явился утром к госпоже Рекамье и сообщил мне, что госпожа герцогиня и господин герцог Орлеанские были бы счастливы видеть меня в Пале-Руаяле. В ту пору во дворце трудились над декларацией, узаконивающей превращение королевского наместника в короля. Быть может, Его Королевское Высочество счел нужным попытаться ослабить мое сопротивление прежде, чем я выскажусь публично. Впрочем, он мог также полагать, что после бегства трех королей я считаю себя свободным от прежних обязательств.

Предложения господина де Монтескью поразили меня. Тем не менее я не отверг их сразу, ибо, не обольщаясь насчет возможного успеха, все же надеялся, что советы мои возымеют некоторое действие. Вместе с посланцем будущей королевы я отправился в Пале-Руаяль. Я вошел во дворец с улицы Валуа; меня провели в скромные покои госпожи герцогини Орлеанской и госпожи Аделаиды. Некогда я имел честь быть им представленным. Госпожа герцогиня Орлеанская усадила меня рядом с собой и сразу призналась:

— Ах, господин де Шатобриан, мы так несчастны. Быть может, единственное наше спасение — в том, чтобы все партии забыли свои распри! Не правда ли?

— Сударыня, — отвечал я, — все складывается на редкость удачно: Карл X и господин дофин отрелись от престола; теперь король — Генрих, а господин герцог Орлеанский — королевский наместник: пусть он станет регентом при несовершеннолетнем Генрихе V, и все проблемы будут решены.

— Но, господин де Шатобриан, народ волнуется; нам грозит анархия.

— Сударыня, осмелюсь спросить, каковы намерения его высочества герцога? Примет он корону, если ему ее предложат?

Принцессы медлили с ответом. Наконец госпожа герцогиня Орлеанская сказала:

— Подумайте, господин де Шатобриан, о несчастьях, которыми чревато нынешнее положение. Все порядочные люди должны объединить усилия, чтобы не дать восторжествовать республике. Вы, господин де Шатобриан, могли бы оказать неоценимые услуги в Риме или даже здесь, если вам не хочется покидать Францию!

— Вам известна, сударыня, моя преданность юному королю и его матери.

— Ах, господин де Шатобриан, хорошо же они обошлись с вами!

— Ваше Королевское Высочество не станет требовать, чтобы я отрекся от всего, чему посвятил свою жизнь.

— Господин де Шатобриан, вы плохо знаете мою племянницу *: она так легкомысленна... бедняжка Каролина!.. Я пошлю за господином герцогом, он скорее сумеет убедить вас.

Принцесса дала приказание слугам, и минут через десять в комнату вошел Луи Филипп. Он был одет небрежно и выглядел чрезвычайно усталым. Я поднялся, и королевский наместник сразу приступил к делу:

— Вы, должно быть, уже услышали от госпожи герцогини о наших несчастьях.

Тут в самых идиллических тонах он поведал мне о блаженстве, каким наслаждался на лоне природы, о покойной жизни в кругу семьи, отвечающей его вкусам. Я воспользовался паузой между двумя тирадами, чтобы почтительно повторить ему все, что сказал принцессам.

— О! — вскричал он. — Я только об этом и мечтаю! Как счастлив был бы я стать опекуном этого ребенка и служить ему опорой! Я совершенно согласен с вами, господин де Шатобриан: сделать герцога Бордоского королем — самый лучший выход из положения. Я боюсь лишь одного: как бы события не оказались сильнее нас.

— Сильнее нас, монсеньор? Но разве вы не обладаете всей полнотой власти? Последуйте за Генрихом V; оставьте Париж, призовите к себе обе палаты и армию. При первом же известии о вашем отъезде все волнения утихнут и народ обратится за помощью к вашей просвещенной и могущественной особе.

Произнося эти слова, я наблюдал за Филиппом. Ему было не по себе: на лице его я прочел желание стать королем. «Господин де Шатобриан,— сказал он, не поднимая на меня глаз,— все гораздо сложнее, чем вы думаете; так дела не делаются. Вы не знаете всех опасностей, какие нам грозят. Разъяренные негодяи могут поднять руку на членов палат, а мы совершенно беззащитны».

Эта вырвавшаяся у господина герцога Орлеанского фраза обрадовала меня, ибо позволила со всей решительностью возразить. «Я разделяю ваши тревоги, монсеньор, но есть верное средство избежать опасности. Если вы полагаете, что не сможете последовать за Генрихом V, как я только что предложил, вы можете поступить иначе. В палате вот-вот начнутся заседания: какое бы предложение ни внесли депутаты, объявите, что нынешняя палата не обладает всеми необходимыми полномочиями (это чистейшая правда), дабы решить вопрос о форме правления; скажите, что следует узнать мнение всей Франции, а для этого — избрать новую палату специально для решения столь важного вопроса. Благодаря этому весь народ примет сторону Вашего Королевского Высочества; республиканцы, которых вы теперь так боитесь, превознесут вас до небес. За те два месяца, что уйдут на выборы, вы создадите национальную гвардию; все ваши друзья и друзья юного короля будут помогать вам в провинциях. Затем созовите депутатов, позвольте им публично обсудить ту форму правления, которую отстаиваю я. Юный принц, если вы втайне поддержите его, соберет огромное большинство голосов. Стране уже не будет грозить анархия, и вы сможете не опасаться насилия республиканцев. Думаю

даже, что не составит большого труда привлечь к вам в союзники генерала Лафайета и господина Лаффита. Какое поприще для вас, Ваше Высочество! Вы сможете полтора десятка лет править от имени юного короля, а спустя пятнадцать лет всем нам придет время удалиться на покой; вы войдете в историю как человек, имевший возможность занять трон, но уступивший его законному наследнику,— случай, единственный в своем роде; что же до вашего подопечного, то вы воспитаете его сообразно с нашим просвещенным веком, дабы он был достоин править Францией; одна из ваших дочерей может стать его женой».

Филипп рассеянно смотрел вдаль поверх моей головы.

— Простите, господин де Шатобриан,— сказал он,— ради беседы с вами я прервал свидание с одной депутацией, и мне пора возвратиться к ней. Госпожа герцогиня Орлеанская подтвердит вам, что я с наслаждением исполнил бы все ваши пожелания, но, поверьте мне, я один сдерживаю натиск разъяренной толпы. Роялисты живы лишь ценою моих усилий.

— Ваше Высочество,— сказал я в ответ на это столь неожиданное и столь далекое от темы нашего разговора заявление,— я не раз видел смерть: те, кто пережил революцию,— люди закаленные. Седоусые бойцы не страшатся того, что пугает новобранцев.

Его Королевское Высочество удалился, а я вернулся к своим друзьям.

— Итак? — воскликнули они.

— Итак, он хочет быть королем.

— А госпожа герцогиня Орлеанская?

— Хочет быть королевой.

— Они так и сказали?

— Он толковал мне о прелестях сельской жизни, она — об опасностях, грозящих Франции, и легкомыслии *бедной Каролины*; оба намекали на то, что я могу быть им полезен, и ни тот, ни другая не смотрели мне в глаза.

Госпожа герцогиня Орлеанская пожелала увидеться со мной еще раз. Госпожа Аделаида вновь присутствовала при нашей беседе, господин же герцог Орлеанский к нам не вышел. На этот раз госпожа герцогиня высказалась гораздо определеннее относительно тех милостей, которых намеревается удостоить меня его высочество герцог. Она была так добра, что упомянула влияние, которое я, по ее словам, оказывал на общественное мнение, жертвы, которые я принес Карлу X и его родным, и неприязнь, которую неизменно выказывали мне они, несмотря на все мои услуги. Она сказала, что, если мне будет угодно вновь сделаться министром иностранных дел, Его Королевское Высочество охотно предоставит мне этот пост, если же мне больше по душе посольство в Риме, она (госпожа герцогиня) примет эту весть с бесконечной радостью, памятуя об интересах нашей священной религии.

«Сударыня,— отпарировал я с некоторой горячностью,— я вижу, что

господин герцог Орлеанский уже принял решение; я полагаю, что он взвесил все возможные последствия, что он сознает, какие тяготы и опасности его подстерегают; в таком случае мне нечего больше вам сказать. Не для того я пришел сюда, чтобы оскорблять непочтительным обхождением тех, в чьих жилах течет кровь Бурбонов; притом вам, сударыня, я признателен за вашу доброту. Оставим поэтому общие соображения, не будем ссылаться на нравственные законы и исторические события; я молю Ваше Королевское Высочество выслушать лишь то, что касается лично меня.

Вы благоволили сказать несколько слов о моем влиянии на общественное мнение. Так вот, если влияние это в самом деле существует, то зиждится оно лишь на уважении соотечественников, которое я немедленно утрачу, если изменю своим убеждениям. Господин герцог Орлеанский полагает, что обретет в моем лице помощника, меж тем, согласившись служить ему, я сделался бы всего-навсего жалким болтуном, клятвопреступником, которого никто бы не стал слушать, предателем, которому всякий имел бы право плюнуть в лицо. Что бы такой человек ни лепетал в защиту Луи Филиппа, ему всегда припоминали бы толстые тома, исписанные им в поддержку свергнутой династии. Разве не мне, сударыня, принадлежат брошюра «О Бонапарте и Бурбонах», статья о «Въезде Людовика XVIII в Компьень», «Доклад королевскому совету в Ген-те», «История жизни и смерти герцога Беррийского?» Не знаю, найдется ли в моих книгах хоть одна страница, на которой бы я не упоминал по какому-либо поводу наш древний королевский род и не клялся ему в любви и преданности; и эта моя привязанность тем более примечательна, что, как Вашему Высочеству известно, я не верю в королей. При одной лишь мысли об измене краска заливает мое лицо; на другой же день я утопился бы в Сене. Я молю вас простить мою горячность; я глубоко тронут вашей добротой, я сохраню о ней самые благодарные воспоминания, но вы ведь не захотите обречь меня на бесчестие: пожалейте меня, Ваше Высочество, пожалейте меня!»

Я произнес эти слова стоя, а затем, откланявшись, направился к выходу. Мадемуазель Орлеанская, не проронившая доселе ни единого слова, поднялась и, прежде чем покинуть нас, сказала: «Не стоит жалеть вас, господин де Шатобриан, не стоит вас жалеть!» Эта короткая фраза и интонация, с которой она была произнесена, удивили меня.

Такова история моего последнего политического искушения; я мог бы счесть себя праведником, если бы поверил святому Иларию, утверждающему, что дьявол искушает только святых: «Victoria ei est magis, exacta de sanctis — Велика его победа, если одержана над святыми». Отказываясь, я вел себя как дурак; кто мог оценить мое благородство? Разве не следовало мне присоединиться к тем праведным мужам, что служат в первую очередь *отечеству*? К несчастью, я человек старого времени и не желаю идти на сделку с фортуной. Я не Цицерон, однако даже великому Цицерону потомки не смогли простить

минутную слабость по отношению к другому великому человеку *, ибо безволие — не оправдание; что же в таком случае сказали бы люди обо мне, узнав, что я пожертвовал единственным сокровищем моей бедной жизни, ее целью, ради Луи Филиппа Орлеанского?

Вечером того самого дня, когда я последний раз побывал в Пале-Руаяле, я встретил у госпожи Рекамье господина де Сент-Олера. Меня ничуть не интересовали его планы, но ему не терпелось выведать мои. Он только что приехал из деревни и бредил событиями, о которых прочел в газетах. «Ах! — воскликнул он, — как я рад вас видеть! Нас ждут великие дела! Надеюсь, уж мы-то в Люксембургском дворце выполним свой долг. Забавно, что перам придется распорядиться короной Генриха V! Я уверен, что вы не оставите меня в одиночестве на трибуне».

Поскольку мой жребий был уже брошен, я держался очень спокойно; ответ мой показался пылкому господину де Сент-Олеру холодным. Он удалился, повидал своих друзей и оставил в одиночестве на трибуне меня *: да здравствуют остроумцы с легким сердцем и пустой головой!

〈Последние попытки республиканцев отвоевать отнятую у них обманом власть〉

7. 7 августа. — Заседание палаты пэров. — Моя речь. — Я навсегда покидаю Люксембургский дворец. — Моя отставка

7 августа — памятный для меня день; в этот день я имел счастье окончить мою деятельность на политическом поприще, исповедуя те же самые убеждения, с какими я ее начинал, — счастье, ныне столь редкое, что им можно гордиться. Палата пэров получила от палаты депутатов декларацию, гласящую, что французский трон свободен. Я занял свое место в самом верхнем ряду, напротив председателя. Пэры выглядели деловитыми и подавленными разом. Если по глазам одних было видно, что они гордятся предательством, которое вот-вот совершат, то другие явственно стыдились измены, хотя и не имели мужества раскаться в ней до конца. Глядя на это унылое собрание, я говорил себе: «Как! неужели те, кто пользовался благодеяниями Карла X в пору его славы, покинут монарха в годину бедствий! Неужели те, кто призван защищать престолонаследие, те, кто жил при дворе и был приближен к трону, предадут короля! Они сторожили двери его покоев в Сен-Клу, они лобызали его в Рамбуйе, он пожимал им руки, прощаясь навеки; неужели же они осмелятся поднять на него руку, еще не остывшую от этого последнего пожатия? Неужели стены этого зала, полтора десятка лет слышавшие их заверения в преданности, услышат, как царедворцы отрекаются от своих прежних клятв? А ведь Карл X погубил себя именно по их вине; ведь именно они уговорили его издать ордонансы, они не помнили себя от радости, когда это свершилось,

и сочли себя победителями в ту минуту затишья, что предшествует раскату грома.

Мысли эти, смутно толпившиеся в моем уме, причиняли мне боль. Палата пэров сделалась вместилищем предателей старинной монархии, республики и Империи. Что касается республиканцев 1793 года, ставших сенаторами, или бонапартовых генералов, я не ждал от них ничего нового: они свергли необыкновенного человека, которому были всем обязаны, теперь им предстояло свергнуть короля, подтвердившего их право на богатство и титулы, полученные от первого благодетеля. Стоит ветру перемениться, и они свергнут узурпатора, которому сейчас готовы швырнуть корону.

Я поднялся на трибуну. Наступила глубокая тишина; на лицах пэров читалось смущение, все они повернулись ко мне вполоборота и потупились. Кроме нескольких человек, решившихся, подобно мне, уйти в отставку, никто не осмеливался поднять глаза. Я приведу мою речь полностью, поскольку в ней содержится итог моей жизни; кроме того, если я чем-нибудь заслужил уважение потомков, то в первую очередь этим своим выступлением.

«Господа,

В отличие от господ пэров, исповедующих иные убеждения, я не вижу ничего мудреного в декларации, представленной в нашу палату. Один факт, заключающийся в ней, заслоняет, а точнее, разрушает в моих глазах все прочие. В обычное время я, без сомнения, тщательно рассмотрел бы все изменения, которые нам предлагают внести в Хартию. Многие из этих изменений предлагал некогда не кто иной, как я сам. Мне удивительно слышать, однако, что с нашей палатой обсуждают репрессивные меры против пэров, назначенных Карлом X *. Меня нельзя обвинить в сочувствии к этим его избранникам; вам известно, что я заблаговременно поднимал против них свой голос, но устраивать судилище над собственными коллегами, вычеркивать из списка пэров, кого нам заблагорассудится, всякий раз, когда сила окажется на нашей стороне,— все это слишком напоминает проскрипцию. В противном случае палате пэров грозит роспуск? Пусть так: лучше потерять жизнь, чем выпрашивать ее.

Впрочем, стоит ли останавливаться на этой детали, вообще немаловажной, но ничтожной на фоне нынешних великих событий? Франция не имеет правителя, корабль лишился штурвала, а я стану решать вопрос, что лучше — удлинить или укоротить его мачты! Итак, я оставляю без внимания все второстепенное в декларации палаты депутатов и займусь лишь истинной или мнимой свободой французского престола.

Начнем вот с чего: если престол свободен, мы вольны выбирать форму правления.

Прежде чем вручить кому бы то ни было корону, не лишне выяснить, какое

политическое устройство выберем мы для нашего общества. Что мы собираемся основать: новую монархию или республику?

Дарует ли новая монархия или республика Франции покой, мощь и долголетие?

Против новой республики говорят воспоминания о республике уже существовавшей. Воспоминания эти отнюдь не изгладились из людской памяти. Никто не забыл то время, когда смерть выступала между свободой и равенством, шествовала рука об руку с ними. Когда на вас снова обрушится анархия, сумеете ли вы разбудить нового Геракла, способного свергнуть шею чудовищу? История знает пять или шесть легендарных героев, которым это было по силам: не пройдет и тысячи лет, как потомки ваши узрят нового Наполеона. Но вам на это рассчитывать не приходится.

Вдобавок, если исходить из состояния наших нравов и наших отношений с соседними державами, установление республики представляется мне сегодня почти неосуществимым. Первая трудность состоит в том, что французам не достанет единодушия. Какое право имеют жители Парижа принуждать жителей Марсея или любого города к приятию республиканского строя? Одна у нас будет республика или двадцать, а то и тридцать? Будут ли они федеративными или независимыми? Обойдем все эти вопросы. Предположим, что республика наша будет единой: верите ли вы, что при нашей природной бесцеремонности даже самый степенный, почтенный и многоопытный президент уже через год не испытает соблазна подать в отставку? Не защищенный толком ни законами, ни преданиями, дни напролет сносящий оскорбления, унижения и козни — дело рук тайных соперников и подлых смутьянов, он не будет внушать достаточного доверия ни торговцам, ни собственникам; он не будет обладать ни достоинством, необходимым для переговоров с правительствами иностранных держав, ни могуществом, необходимым для поддержания порядка внутри страны. Если он прибегнет к революционным мерам, республика сделается предметом всеобщей ненависти; встревоженная Европа извлечет пользу из этих трений, подольет масла в огонь, вмешается, и мы вновь станем участниками ужасной резни. Без сомнения, представительное республиканское правление — это будущее мира, но ныне пора его еще не настала.

Перейдем к монархии.

Если короля назначат палаты или изберет народ, это будет, что ни говори, вещь неслыханной. Я полагаю, мы мечтаем о свободе, прежде всего о свободе печати, с помощью которой и во имя которой народ только что одержал столь удивительную победу. Так вот! всякая новая монархия вынуждена будет рано или поздно отнять у нас эту свободу. Сам Наполеон не мог с нею смириться. Дочь наших бедствий и рабыня нашей славы, свобода печати пребудет вне опасности лишь при таком правительстве, за спиною которого стоит многовековая история. Разве монархии, являющейся незаконным плодом кровавой

ночи, не придется опасаться независимых суждений? Разве, если одни получают право прославлять республику, другие — иной способ правления, правительство, несмотря на все проклятия, которые обрушивает на цензуру добавление к 8-й статье Хартии *, не встанет очень скоро перед необходимостью прибегнуть к чрезвычайным законам?

Что же в таком случае выиграете вы, друзья умеренной свободы, от перемены, которой вас соблазняют? Вас силой склонят либо к республике, либо к узаконенному рабству. Поток демократических законов выйдет из берегов и затопит монархию; вражда политических партий погубит монарха.

Поначалу, опьяненные успехом, люди воображают, что им все по силам; они мнят, что смогут удовлетворить все требования, все прихоти, все запросы; они льстят себя надеждой, что на время всякий позабудет о своей корысти и своем тщеславии, они верят, что свет знаний и мудрость правительства одолеют бесчисленные трудности, но проходит несколько месяцев, и практика опровергает теорию.

Я назвал вам, господа, лишь часть затруднений, связанных с провозглашением республики или новой монархии. И то и другое государственное устройство чревато опасностями, меж тем существует третий путь, и о пути этом следует сказать несколько слов.

Преступные министры опорочили корону, попрали законы и пролили кровь; они надругались над клятвами, принесенными небу, и установлениями, принятыми на земле.

Чужестранцы, дважды беспрепятственно входившие в Париж, узнайте истинную причину ваших успехов: вы действовали от имени законной власти. Неужели вы думаете, что если бы сегодня вы пришли на помощь тирании, ворота столицы цивилизованного мира отворились бы перед вами с такой же легкостью? С той поры, как вы покинули Париж, французская нация взрастала под сенью конституционных законов; дети наши в четырнадцать лет уже великаны; наши рекруты в Алжире, наши школяры в Париже доказали нынче, что они достойны своих отцов — победителей битв при Аустерлице, Маренго и Иене; причем сила их и слава удвоились благодаря завоеваниям свободы.

Никогда еще никто не вел борьбу более справедливую и героическую, чем та, какую ведет сегодня парижский народ. Он не поднимал руку на закон; до тех пор, пока власти не нарушили общественного договора, народ хранил спокойствие; он смиренно сносил оскорбления, подстрекательства, угрозы; ради Хартии он не жалел ни денег, ни жизни.

Но когда власти, главшие до последней минуты, внезапно провозгласили своих подданных рабами, когда глупость вступила в сговор с лицемерием и придворные свнухи возжелали заменить своим насилием террор республики

и железные оковы империи, тогда народ призвал на помощь свой ум и свою отвагу; оказалось, что эти *лавочники* не боятся порохового дыма и что *четырем солдатам и капталу* с ними не совладать. Три дня, воссиявшие над Францией, изменили судьбу народа сильнее, чем целое столетие. Великое преступление повлекло за собою мощный взрыв, но следует ли из-за этого преступления и рожденного им нравственного и политического триумфа противной стороны низвергать старинный порядок вещей? Посмотрим, как обстоят дела:

Карл X и его сын свергнуты, или, если угодно, отреклись от престола, но трон не свободен: у королей остался наследник; должно ли нам обречь невинное дитя на изгнание?

Разве Генрих виновен в чьей-либо смерти? неужели вы осмелитесь сказать, что на его руках — кровь его народа? Если бы этого ребенка-сироту воспитали на родине в любви к конституционному правлению, если бы он усвоил идеи нашего просвещенного столетия, он мог бы сделаться тем самым королем, который пристал Франции будущего. Вам следовало бы ставить на голосование вашу декларацию лишь после того, как на ней присягнул бы опекун юного монарха; принц, достигнув совершеннолетия, повторил бы эту клятву. Покамест нами правил бы господин герцог Орлеанский, регент, человек, близко знающий народ и понимающий, что сегодня монархия может быть основана только на всеобщем согласии и разуме. В этом решении, продиктованном естественным ходом вещей, я вижу средство примирить все партии и, быть может, предохранить Францию от тех смут, которые всегда следуют за насильственными изменениями государственного устройства.

Разве подлежит сомнению, что, став взрослым, этот ребенок забудет сами имена тех наставников, что пестовали его в младенчестве, а длительное воспитание в народном духе и страшный опыт двух ночей, лишивших престола двух королей, изгонит из его ума старинные предрассудки, — дань высокому происхождению?

Если династия, чьи интересы я отстаиваю, победит, я, как уже не раз бывало, снова окажусь в опале; не сентиментальная преданность, не старческое умиление — чувства, какие искони охватывали французов над колыбелью каждого из королей, от Генриха IV до Генриха нынешнего, — движут мною. Я не желаю прослыть ни героем романа, ни рыцарем, ни мучеником; я не верю в божественное происхождение королевской власти; но я верю в могущество революций и фактов. Я даже не беру в свидетели Хартию; я смотрю выше, я заимствую свои идеи из философии той эпохи, на которую приходится финал моей жизни: я предлагаю в короли герцога Бордоского просто потому, что это наилучший выход из всех возможных.

Я знаю, что те, кто ратуют за изгнание этого ребенка, желают утвердить суверенитет народа: старинная глупость, доказывающая, что в политическом отношении наши старые демократы недалеко ушли от ветеранов роялизма.

Абсолютного суверенитета не существует; свобода — порождение не политического права, как думали в XVIII столетии, но права естественного и возможного при всякой форме правления; монархия бывает свободнее, причем свободнее во много раз, чем республика; впрочем, теперь не время и не место вдаваться в политическую философию.

Я ограничусь лишь одним замечанием: едва ли не всякий раз, когда народу предоставлялась возможность распоряжаться престолонаследием, он распоряжался и своей свободой; замечу также, что, как показывает опыт, наследственная монархия, устройство на первый взгляд бессмысленное, предпочтительнее, нежели монархия выборная. Причины такого положения столь очевидны, что мне нет нужды перечислять их. Сегодня вы выбираете себе короля: кто помешает вам завтра заменить его другим? Закон, отвечаете вы. Закон? но ведь его создаете вы сами!

Вы можете подойти к делу еще проще и сказать: мы больше не желаем видеть на французском престоле короля из старшей ветви Бурбонов. Но отчего же вы больше этого не желаете? — Оттого, что мы победили, мы отстаивали священное и правое дело; мы вдвойне законные хозяева своих завоеваний.

Превосходно: вы провозглашаете суверенитет силы. Тогда берегите эту силу как можно более усердно, ибо, если через несколько месяцев вы утратите ее, вам не на кого будет пенять. Такова человеческая природа! Самые просвещенные и справедливые умы не всегда выдерживают испытание успехом. Они, эти умы, первыми противопоставили насилию законность; они отдали служению ей все свои дарования, и вот, в тот самый час, когда хваленая сила самыми отвратительными злоупотреблениями, а затем своим поражением подтвердила их правоту, победители завладевают тем самым оружием, которое только что сломали! Грозные обломки не принесут пользы, но исцарапают руки.

Я веду бой на территории противника; я не стал разбивать лагерь в прошлом, под старым знаменем тех, кого уже нет на свете, знаменем, овсянным славой, но вяло повисшим вдоль дровка, ибо некому вдохнуть в него жизнь. Потревожь я даже прах всех тридцати пяти Капетов, никто не стал бы меня слушать. Ныне никто уже не поклоняется имени; монархия перестала быть религией: теперь это форма правления, покамест более выгодная, чем любая другая, потому что она лучше всего примиряет порядок со свободой.

Никчемная Кассандра, довольно я уже докучал королю и отечеству предостережениями, которым никто не внимал; ныне мне остается лишь воссесть среди обломков многократно предсказанного мною кораблекрушения. Я признаю за всевластным несчастьем любые права, кроме права освободить меня от принесенной мною присяги. Кроме того, мне надлежит блюсти целостность моего существования: после всего, что я сделал, сказал и написал в поддержку

Бурбонов, я был бы презренным ничтожеством, если бы отрекся от них теперь, когда они в третий, и последний, раз отправляются в изгнание.

Пусть страшатся за себя те великодушные роялисты, кто ни разу не пожертвовали трону ни состоянием, ни должностью, те поборники престола и алтаря, кто некогда именовали меня ренегатом, отступником и революционером. Благодетельные писаки, ренегат бросает вам вызов! Вымолвите вместе с ним хоть пару слов, хоть единое словечко в защиту несчастного монарха, осыпавшего вас благодеяниями и погубленного вами! Вдохновители государственных переворотов, провозвестники конституционной власти, где вы? Вы прячетесь в той грязи, откуда храбро поднимали голову, когда требовалось оклеветать истинных слуг короля; ваше нынешнее молчание стоит ваших прошлых речей. Ничего удивительного, что теперь, когда, наслушавшись рассказов о грядущих подвигах этих храбрецов, чернь вилами выгнала из Франции потомков Генриха IV, новоявленные герои трясутся от страха, прикрывшись трехцветной кокардой. Благородные цветы, в которые они рядятся, спасут им жизнь, но не скроют их трусости.

Вдобавок, говоря откровенно, как и подобает говорить с этой трибуны, я вовсе не считаю, что совершаю подвиг. В наше время за убеждения уже не приходится платить жизнью; в противном случае речь моя была бы стократ более резкой. Самый надежный щит — грудь человека, не страшась сразиться с врагом в открытую. Нет, господа, нам нечего бояться ни народа, чей разум равен отваге, ни великодушной молодежи — предмета моего восхищения и бесконечного сочувствия, — молодежи, которой я желаю, как и всей моей стране, сберечь честь, славу и свободу.

Я менее всего стремлюсь посеять во Франции семена раздора и потому постарался сохранить беспристрастие. Если бы я был убежден, что, позволив сироте прозябать в счастливой безвестности, мы даруем покой тридцати трем миллионам человек, я счел бы преступлением отказать веку в том, что ему необходимо: однако я в этом не убежден. Если бы у меня было право распоряжаться короной, я охотно преподнес бы ее господину герцогу Орлеанскому. Но я не вижу пустого трона; пуста лишь гробница в Сен-Дени.

Что бы ни ждало в будущем господина наместника, я никогда не стану его врагом, если он принесет счастье моему отечеству. Я желаю лишь сохранить свободу убеждений и окончить жизнь в любом месте, где смогу обрести независимость и покой.

Я подаю свой голос против проекта декларации».

Начиная говорить, я был почти спокоен, но постепенно мною овладело волнение; дойдя до слов: «Никчемная Кассандра, довольно я уже докучал королю и отечеству предостережениями, которым никто не внимал», я почувствовал, что голос мой дрожит, и вынужден был приложить платок к глазам;

дабы сдержатъ слезы умиления и горечи. На словах: «Благочестивые писаки, ренегат бросает вам вызов! Вымолвите вместе с ним хоть пару слов, хоть единое словечко в защиту несчастного монарха, осыпавшего вас благодеяниями и погубленного вами!» — гнев возвратил мне силы. В этот миг я устремил свой взгляд на тех, к кому обращал эти слова.

Многие пары казались совершенно уничтоженными; они вжались в кресла так глубоко, что я просто не мог разглядеть их за спинами коллег, неподвижно застывших в передних рядах. Речь моя произвела кое-какое впечатление: я задел в ней все партии, но никто ничего не возразил мне, ибо я не только высказал великие истины, но и принес великую жертву. Я спустился с трибуны, вышел из зала и направился в гардеробную, где снял одеяние пары, отстегнул шпагу, обнажил голову, отцепил от шляпы с плюмажем белую кокарду, поцеловал ее и положил эту реликвию в левый кармашек наглухо застегнутого черного редингота, в который вновь облачился. Слуга мой унес ветошь, оставшуюся от бывшего пары, и, отряхнув со своих ног прах этого дворца измен, я покинул его навсегда.

〈Тексты прошений Шатобриана об отставке, обращенные к председателю палаты пэров, министру финансов, пару — хранителю печати и министру юстиции〉

Я остался наг, словно новоявленный Иоанн Креститель, однако я с давних пор привык кормиться диким медом и мог не опасаться, что дочь Иродиады польстится на мою седую голову.

Продав одному еврею шитье, темляки, бахрому, витые шнуры и эполеты, я выручил семьсот франков — чистую прибыль от всей моей ослепительной карьеры.

〈Карл X отплывает из Шербура〉

9. *Грядущие последствия Июльской революции*

Я описал три революционных дня, опираясь на тогдашние свои впечатления, отчего нарисованную мною картину отличает некоторая сиюминутность — картина эта верна для настоящего мгновения, но очень скоро начинает казаться фальшивой. Самая грандиозная революция, будучи описана час за часом, сведется к мелочам. События являются на свет из лона вещей, как дети — из материнского лона, страдая природными несовершенствами. Убожество и величие — близнецы, они рождаются одновременно, но если роженица полна сил, убожество рано или поздно умирает и в живых остается одно величие. Следовательно, дабы беспристрастно судить о событиях и их месте в истории, нужно взглянуть на прошедшее с точки зрения потомков.

Я был прав, когда, отвлекшись от мелочных поступков мелких людишек, которым был свидетелем, и памятуя лишь о тех особенностях июльских дней, которые останутся жить в веках, сказал в палате пэров: «Когда народ призвал на помощь свой ум и свою отвагу, оказалось, что эти лавочники не боятся порохового дыма и что четырем солдатам и капралу с ними не совладать. Три дня, воссиявшие над Францией, изменили судьбу народа сильнее, чем целое столетие».

В самом деле, народ в настоящем смысле слова 28 июля показал себя отважным и великодушным. Более трехсот гвардейцев были убиты или ранены; гвардия по достоинству оценила бедняков, которые в течение этого дня сражались без всякой поддержки; бесчестные люди затесались в их ряды, но не смогли их опорочить. Учащиеся Политехнической школы вышли на улицы поздно и не успели принять участие в сражениях 28 июля; на следующий день народ с восхитительным смирением и простодушием взял их себе в командиры.

Народ сражался, а те, кто присвоили себе его победы, сидели дома; они влились в ряды бойцов лишь 29 июля, когда самая большая опасность уже миновала; были и такие победители, которые явились за своей долей победы только 30 и 31 июля.

То же самое повторилось и в армии: свой долг выполнили прежде всего солдаты и офицеры; высшее командование, которое однажды уже предало Бонапарта в Фонтенбло, расположилось на холмах Сен-Клу и угадывало ход событий по струйкам порохового дыма. При пробуждении Карла X перед его спальней толпой собирались угодники; при отходе ко сну у дверей не оказалось никого.

Выдержка простонародья не уступала его храбрости; смута мгновенно сменилась порядком. Кто видел, как полуобнаженные рабочие, поставленные в караул у ворот городского сада, выполняя приказ, не пускали внутрь других оборванцев, не мог не понять, сколь глубоко сознали свой долг люди, почувствовавшие себя хозяевами положения. Они могли бы потребовать расплаты за пролитую кровь; нищета — великий искушитель. Но 10 августа 1792 года не повторилось; никто не истреблял обратившихся в бегство швейцарцев. Ничьи убеждения не подверглись глумлению, пожалуй, никогда еще победители не были так далеки от того, чтобы злоупотреблять своей победой. Пронеся раненых гвардейцев сквозь толпу, они кричали: «Почтение храбрецам!» Если солдат испускал дух, они говорили: «Мир его праху!» Пятнадцать лет, прожитых в эпоху Реставрации, при конституционном правлении, вселили в наши сердца человеколюбие, уважение к законности и тягу к справедливости, сделали то, чего не смогли сделать двадцать пять лет правления революционного и военного. А ведь право сильного, вкоренившись в наши нравы, готово было, кажется, стать обычным правом.

Последствия Июльской революции не скоро изгладятся из памяти. Революция эта произнесла смертный приговор всем монархиям; отныне короли смогут царствовать только силой оружия, а это средство действует безотказно, но недолго: эпохе наследных янычаров пришел конец.

Ни Фукидид, ни Тацит не сумели бы рассказать о событиях трех дней; различить в случившемся волю Провидения смог бы лишь Боссюэ — гений, который все понимал, но, точно солнце, стремящее свой бег меж двух сверкающих пределов и именуемое на Востоке *рабом* Божиим, не преступал границ, положенных его блистательному разуму.

Не станем искать на поверхности движитель событий, корни которых сокрыты на большой глубине: ничтожество характеров, безумные страхи, непостижимые раздоры, происки врагов, борьба честолюбий, высокомерие одних, предрассудки других, заговоры, тайные общества, к месту или не к месту взятые меры, отвага или недостаток отваги — все это случайные следствия, но не причины свершившегося. Иные утверждают, что народ не желал более повиноваться Бурбонам, что Бурбоны сделались ненавистны французам оттого, что вернулись к власти стараниями иноземцев, однако это гордое презрение мало что объясняет.

Июльские события не связаны с политикой в узком смысле слова, они связаны с социальной революцией, не имеющей конца. В цепи этой всеобщей революции 28 июля 1830 года — не более чем вынужденное следствие того, что произошло 21 января 1793 года. Труды наших первых совещательных собраний были насильственно прерваны и не нашли своего завершения. За двадцать лет французы, подобно англичанам при Кромвеле, привыкли повиноваться властителям, чуждым древней французской монархии. Падение Карла X есть следствие казни Людовика XVI, подобно тому, как низвержение Якова II есть следствие убийства Карла I. Слава, завоеванная Бонапартом, и свободы, дарованные Людовиком XVIII, затмили революцию, но не смогли уничтожить ее зародыша: дремлющий в глубине наших нравов, он пошел в рост вследствие ошибок, допущенных правительством, и очень скоро это привело к катастрофе.

В антимонархических настроениях, постепенно охватывающих общество, являет себя воля Провидения. Недалекие умы, разумеется, видят в Июльской революции просто-напросто ряд уличных стычек; однако люди мыслящие понимают, что в три июльских дня человечество пережило событие огромной важности: принцип королевского суверенитета уступил место принципу суверенитета народного, наследственная монархия — монархии выборной. 21 января французы узнали, что могут распоряжаться жизнью короля; 29 июля — что могут распоряжаться короной. Меж тем всякая истина, хороша она или плоха, будучи однажды открыта, немедленно усваивается толпой. А укоренившись в народе, она утрачивает свой неслыханный, необычайный характер

и больше не кажется безбожной ни уму, ни совести. Франки правили своим государством сообща, затем они отдали власть нескольким вождям, а те — одному вождю; наконец, этот единоличный правитель сделал власть наследственным достоянием своего рода. Нынче мы двинулись вспять от наследственной монархии к выборной, а от выборной постепенно дойдем до республики. Вот история общества; такими путями народ и власть расходятся, а затем соединяются вновь.

Не стоит, следовательно, полагать июльские события происшествием случайным и мимолетным; не стоит ожидать, что законная монархия немедленно вернет себе право наследования престола; не стоит также надеяться, что Июль внезапно умрет своею смертью. Без сомнения, Орлеанская ветвь недолго продержится на троне; ведь не ради же этого в течение полувека проливалось столько крови, свершалось столько бедствий, тратилось столько ума! Однако Июль, если только он не приведет Францию к полному распаду и уничтожению всех свобод, принесет свой собственный плод — демократию. Плод этот, возможно, будет горек и кровав, но монархия — чужеродный привой, который не приживется к республиканскому стволу.

Итак, не следует путать новоявленного короля с революцией, случайно возведшей его на престол: революция, какой мы ее видим в действии, противоречит собственным своим принципам; она кажется нежизнеспособной, ибо происхождение ее нечисто; однако если она продержится хотя бы несколько лет, многое изменится, ибо родится то, что еще не существует, а то, что существует, умрет. Люди зрелые либо уходят из жизни, либо начинают по-иному смотреть на мир; юноши мужают, новые поколения вносят свежие струи в жизнь поколений развращенных; измаранное кровью и гноем больничное белье, попав в широкую реку, пачкает лишь те воды, что струятся прямо под ним; выше и ниже по течению поток хранит или вновь обретает свою прозрачность.

Июль, свободный по природе, произвел на свет лишь поработенную монархию; однако придет время, когда, сбросив венец, он, покорствуя общему закону, переменит свой облик и создаст себе подобающее окружение.

Заблуждения республиканцев и оболъщения роялистов равно достойны сожаления и не идут на пользу ни демократии, ни монархии; республиканцы убеждены, что насилие есть единственный путь к победе; роялисты — что прошлое есть единственный источник спасения. Меж тем обществом правит нравственный закон; существует всеобщая законность, и она выше законности частной. Этот великий закон и эта великая законность состоят в том, что человек пользуется своими естественными правами подчиняясь долгу, ибо не право рождает долг, но долг — право страсти и пороки причисляют вас к сословию рабов. Всеобщая законности

победила бы без всякого труда, если бы сберегла родственную ей законность частную.

Добавлю лишь еще одно: я уже говорил и не устану повторять, что вслед за французской монархией погибнут все монархии мира; одной этой мысли довольно, чтобы сознать, как изумительна и величественна мощь нашего древнего королевского рода.

В самом деле, стоит исчезнуть монарху, как вместе с ним исчезает и монархическая идея; вы внезапно оказываетесь в окружении идей сугубо демократических. Мой юный король унесет с собою королевскую власть. Конец достойный.

Когда я размышлял о возможных плодах революции 1830 года и выводил эти строки, мне трудно было справиться с инстинктом, голос которого противоречил голосу разума. Я объяснял пробуждение этого инстинкта своим недовольством смутами 1830 года; я не доверял самому себе и, заходя слишком далеко в своей беспристрастности, преувеличивал, быть может, грядущие следствия трех дней. Что ж, со времени низвержения Карла X прошло десять лет: твердо ли стоит на ногах июльская власть? Теперь начало декабря 1840 года; как низко пала Франция! Если бы унижение правительства, состоящего из французов, могло доставить мне удовольствие, я ощущал бы некоторую гордость, перечитывая в «Веронском конгрессе» мою переписку с господином Каннингом,— переписку, разумеется, весьма отличную от той, с которой недавно познакомили палату депутатов *. В чем корень зла? в избранном монархе? в неумелости его министров? в самой нации, чей дух и гений, кажется, истощились? Мысли наши прогрессивны, но отвечают ли им наши нравы? Нет ничего удивительного в том, что народ с четырнадцативековой историей, в конце своего длинного пути явивший миру целый фейерверк чудес, выбился из сил. Если вы одолеете эти «Записки» до конца, вы увидите, что, отдавая должное всему прекрасному в нашей истории, я полагаю, что в конечном счете дни старого общества сочтены.

(Примечание. Париж, 3 декабря 1840 года)

10. Окончание моей политической карьеры

Здесь кончается рассказ о моей *политической карьере*. Рассказ этот должен был также завершить и мои «Записки», ибо мне оставалось лишь подвести итоги моего пути. Три предшествующих периода моей жизни отмечены тремя катастрофами: когда я был путешественником и солдатом, погиб Людовик XVI; когда подходила к концу моя деятельность на поприще литературы,

мировую арену покинул Бонапарт; политической моей карьере положило предел падение Карла X.

В словесности я запечатлел переходную эпоху — следствие революции; в политике — изложил основы представительного правления; мои дипломатические донесения не уступают, я полагаю, моим литературным сочинениям. Возможно, ничего не стоят ни те, ни другие, но несомненно, что цена им совершенно одинаковая.

Благодаря моим речам в палате пэров и газетным статьям я приобрел во Франции такое влияние, что вначале помог господину де Виллелю стать министром, а затем, когда мы с ним разошлись во взглядах, своими выступлениями в рядах оппозиции вынудил его просить отставки. Доказательства вы найдете на тех страницах, что уже прочли.

Вершина моей политической деятельности — война в Испании. Она сыграла в моей политической карьере такую же роль, какую «Гений христианства» — в карьере литературной. Судьбе было угодно препоручить мне этот подвиг, который, будучи свершен в эпоху Реставрации, мог упорядочить движение общества вперед. Судьба отлучила меня от мечтаний и обратила к делам. Она заставила меня играть против князя Меттерниха и господина Каннинга — двух славнейших министров той поры; я обыграл их. Все мыслящие люди, которые стояли тогда у кормила власти, соглашались, что в моем лице видят подлинного государственного мужа³⁵. Бонапарт предвидел это раньше них, несмотря на мои книги. Следовательно, я могу, не хвастаясь, утверждать, что как политик стоил не меньше, чем как литератор; впрочем, я не придаю никакого значения славе делового человека — именно поэтому я и позволил себе заговорить о ней.

Если бы после испанских событий недалековидные люди не выключили меня из игры, судьба Франции сложилась бы иначе; она восстановила бы свои прежние границы и возвратила равновесие Европе; Реставрация, покрыв себя славой, не прекратила бы так скоро свое существование, и моя дипломатическая деятельность также вошла бы в нашу историю. Труды мои на двух поприщах разнятся лишь результатом. В литературе я совершил все, что должен был совершить, и прошел свой путь до конца, ибо это зависело от одного меня. В политике же деятельность моя прервалась в самом разгаре, ибо здесь я зависел от других.

Тем не менее, не стану отрицать, политическая моя программа была уместна лишь в эпоху Реставрации. Когда убеждения, общества и характеры претерпевают изменения, то, что вчера было хорошо, сегодня ветшает и теряет

³⁵ Прочтите письма и донесения послов различных держав в «Веронском конгрессе», а также книгу тридцатую этих мемуаров — «Посольство в Риме».

силу. Возьмем Испанию: поскольку отмена салического закона * разорвала те узы, что связывали прежде королевские фамилии, теперь уже нет нужды охранять неприкосновенность пиренейских границ; нужно смириться с тем, что однажды Австрия и Англия предложат нам бой на испанской земле; нужно видеть вещи такими, какими они сделались сегодня, нужно проститься — не без сожаления — с жесткой, но разумной тактикой, которая, впрочем, далеко не сразу принесла бы плоды. Я убежден, что служил законной монархии так, как следовало. Я различал будущее так же ясно, как различаю его сейчас, однако я хотел прийти к нему менее опасной дорогой, дабы законная монархия, необходимая нам для усвоения основ конституционного правления, не споткнулась от излишней поспешности. Теперь планы мои сделались неосуществимы: Россия отвернется от нас. Если бы я нынче отправился на испанский полуостров, где царит теперь иной дух, я судил бы обо всем иначе: я занимался бы только союзом народов, какими бы подозрительными, завистливыми, пристрастными, неверными, переменчивыми они ни были, и не обращал бы внимания на королей. Я сказал бы французам: «Вы покинули торную дорогу и двинулись по горной тропинке, вьющейся над бездной; что ж! извешайте чудеса и опасности, которые она вам готовит. Новшества, предприятия, открытия — все это ждет вас; дерзайте, и если нужно — с оружием в руках. Где отыскать новое? На Востоке? Так поспешим на Восток. Где есть нужда в нашей отваге и нашем уме? Направим туда свои стопы. Возглавим великое пробуждение рода человеческого; не позволим другим народам обогнать нас; пусть в этом крестовом походе французы идут впереди всех, как в давние года, когда они первыми достигли гроба Господня». Да, если бы мне дано было сегодня вершить судьбы моей родины, я помог бы своим соотечественникам следовать тем опасным путем, который они избрали: удерживать их теперь значило бы приговорить Францию к бесславной смерти. Я не ограничился бы одними речами: подкрепляя слово делом, я готовил бы солдат и деньги; подобно Нюю, я снаряжал бы корабли в предвиденье потопа, а если бы меня спросили, отчего я так поступаю, я ответил бы: «Оттого, что так благоугодно Франции». Мои депеши предупредили бы правительства европейских держав, что без нашего соизволения на земном шаре не упадет и волоска и что при переделе мира львиная доля владений отойдет к нам. Мы перестали бы униженно просить у соседей права на существование; Франция дышала бы свободно, и ни одна рука не осмелелась бы прикоснуться к ее груди, дабы узнать, с какой частотой бьется ее сердце; раз уж мы взялись искать новые светила, я устремился бы навстречу их сиянию, не дожидаясь, пока займется наша обычная заря.

Да будет угодно Господу, чтобы промышленность, сулящая нам новое благоденствие, не обманула наших надежд, чтобы она показала себя столь же плодотворной и оказала бы столь же важные услуги просвещению, что

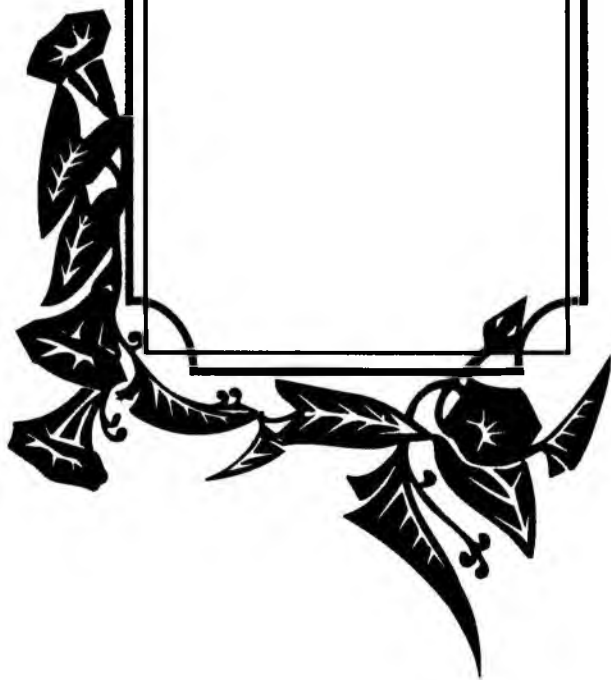
и нравственность, на которой зиждилось старое общество! Время покажет, не является ли она всего лишь безжизненным порождением тех хилых умов, что не способны вырваться за пределы материального мира.

Хотя миссия моя исчерпала себя с концом законной монархии, я всеми силами души желаю триумфа Франции, какому бы правительству ни подчинялась она, следуя своим легкомысленным прихотям.

Что до меня, мне больше ничего не нужно; я хотел бы только одного: не слишком надолго пережить здание, рухнувшее на моих глазах. Годы, однако, подобны Альпам: стоит одолеть один перевал, как впереди вырастает новая горная цепь. Увы! самые высокие, последние горы пустынные, бесплодны и убелены сединами.



ЧАСТЬ
ЧЕТВЕРТАЯ





КНИГА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

1. Введение

〈Шатобриан сравнивает свое положение после 7 августа 1830 года с положением Пьера де Л'Этуаля после гибели Генриха IV〉

Расставаясь с карьерой солдата и путешественника, я ощущал печаль; нынче я, каторжник, покинувший светские и придворные галеры, предаюсь веселью. Верный моим убеждениям и клятвам, я не предал ни свободу, ни короля; я не нажил ни богатств, ни почестей; я ухожу таким же нищим, как пришел. Радуюсь прощанию с ненавистной мне политикой, я с легким сердцем ухожу на покой.

Будь же благословенна, душа моя, родимая, бесценная независимость! Приди, возврати мне мои «Записки», мое второе «я», которому ты служишь наперсницей, кумиром и музой. Досуг вдохновляет рассказы: потерпев кораблекрушение, я стану рассказывать его историю прибрежным рыбакам. Предавшись исконным влечениям моей натуры, я вновь обращаюсь в вольного путника; я кончаю мой путь так же, как его начал. Круг моих дней, замыкаясь, приводит меня в исходную точку. По дороге, которую некогда одолевал беззаботный рекрут, ныне ковыляет многоопытный ветеран: абшид в кивере, нашивки времени на рукаве, ранец, полный лет, за спиной. Кто знает? Быть может, шаг за шагом я приближусь к мечтам моей юности? Я призыву на помощь множество грез, дабы они защитили меня от орды истин, число которых преклонные лета множат, как развалины — злых драконов. В моей власти связать противоположные оконечности моего существования, перемешать отдаленные эпохи, слить воедино обольщения разных возрастов, ибо изгнанный монарх, которого я повстречал, только что покинув родительский кров, снова следует в изгнание теперь, когда я стремлюсь к своему последнему приюту*.

2 <...> Разгром архиепископства

<Суд над министрами Карла X, чьими стараниями были приняты ордоанансы; месса в память о герцоге Беррийском, устроенная роялистами в церкви Сен-Жермен-л'Осерруа; в ответ разъяренная толпа громит архиепископство>

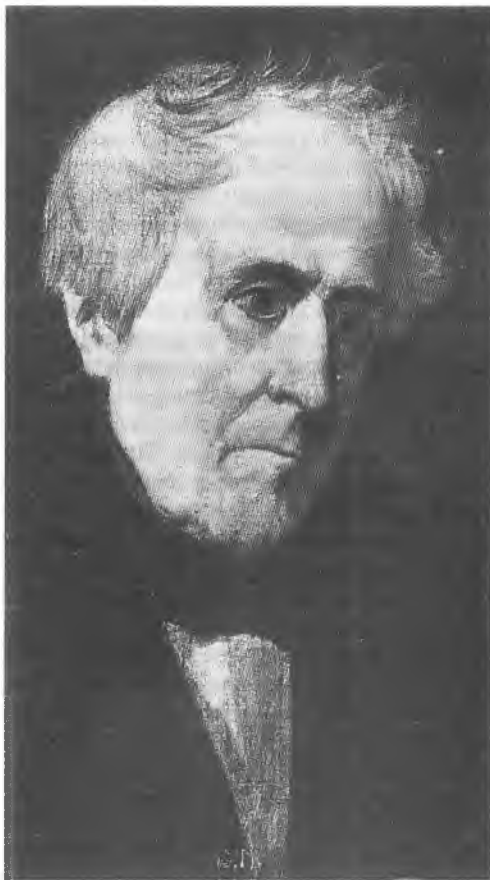
Роялисты, люди достойнейшие, но порой неумные, нередко вздорные, никогда не задумывающиеся о возможных последствиях своих деяний и убежденные, что для восстановления законной монархии довольно повязать галстук определенного цвета или воткнуть в петлицу условленный цветок, явились причиной самых прискорбных сцен. Было совершенно очевидно, что революционная партия воспользуется богослужением в память о герцоге Беррийском и поднимет шум; меж тем легитимисты были недостаточно сильны, чтобы противостоять натиску республиканцев, а правительство недостаточно крепко стояло на ногах, чтобы поддержать порядок; поэтому церковь была разорена. Аптекарь *, верующий в прогресс и Вольтера, отважно расправился с колокольной 1300 года и крестом, который другие варвары * однажды, в конце IX века, уже сбросили наземь.

Следствием этих геройских деяний просвещенного фармацевта явилось разграбление епископского дворца, осквернение святынь и процессии, повторяющие те, что шли некогда по улицам Лиона *: недоставало только палача и жертв, зато в изобилии имелись полишинели, маски и прочие прелести карнавала. Кorteж шутов-святоотатцев двигался по одному берегу Сены, а по другому, делая вид, будто спешит на помощь, шествовала национальная гвардия. Река отделила порядок от анархии. Уверяют, будто один даровитый человек полюбозытствовал взглянуть на эту картину и, увидев, как плывут по Сене ризы и книги, сказал: «Какая досада, что туда не швырнули и архиепископа!» Вещие слова, ибо как в самом деле должно быть забавно утопить в реке архиепископа; ничто так сильно не приближает к свободе и просвещению! Мы, древние свидетели древних событий, почитаем своим долгом сообщить вам, что нынешние происшествия — всего-навсего бледные и жалкие подражания. Инстинкт еще влечет вас к революции, но вам уже недостает мощи; вы способны преступить закон лишь в воображении; вы хотели бы сотворить зло, но в сердце вашем мало отваги, а в руках — мало мощи; вы еще узрите убийства, но не станете братья за них сами. Если вы желаете Июльской революции величия, постарайтесь, чтобы господин Каде де Гассикур не оставался ее реальным героем, а Майе * — героем идеальным.

3. *Моя брошюра «О Реставрации и выборной монархии»*

Париж, конец марта 1831

Я был далек от истины, когда полагал, что по окончании июльских событий заживу спокойно. Свержение трех монархов вынудило меня объяс-



Ф.-Р. де ШАТОБРИАН
Портрет работы Антуана Этекса (1847)

4 сентября мне исполнится семьдесят восемь лет: пришла пора покинуть этот мир, который покидает меня и с которым я расстаюсь без сожаления. <...> Я вижу отблески зари, но восхода солнца я уже не увижу. Мне остается только сесть на край своей могилы; потом, с распятием в руках, я храбро сойду в вечность.

ниться с палатой пэров; не мог я обойти молчанием и изгнание этих трех королей из Франции. С другой стороны, газеты Филиппа спрашивали меня, отчего я отказываюсь служить революции, освятившей принципы, которые я отстаивал и прославлял: мне пришлось взять слово, дабы рассказать и о всеобщих истинах, и о том, что касалось только одного меня. Отрывок из небольшой, обреченной на забвение брошюры «О Реставрации и выборной монархии» продолжит повествование обо мне и моем времени:

«Лишенный настоящего, живущий лишь смутной надеждой на загробное будущее, я не хочу, чтобы мне могли поставить в упрек нынешнее молчание. Я не вправе молчать, когда Реставрацию, в которой я принимал столь горячее участие, ежедневно осыпают оскорблениями и на моих глазах объявляют вне закона. В средние века в годовину великих бедствий монаха заточали в башню, и он сидел там на хлебе и воде ради спасения народа. У меня есть немало общего с этим монахом XII века; из окошка моей искупительной темницы я обратил к прохожим мою последнюю проповедь. В этой последней моей речи, произнесенной в палате пэров, я предсказал: Июльской монархии предстоит выбор между славой и чрезвычайными законами; третьего не дано; эта монархия жива лишь благодаря прессе, но пресса же ее и убивает; если она не завоеует славу, ее поглотит свобода; если же она поднимет руки на эту свободу, ее ждет смерть. Хороши же мы будем, если, поднявшись на баррикады и прогнав трех королей во имя свободы печати, воздвигнем новые баррикады против этой свободы! Как же, однако, быть? Разве смогут трибуналы и законы, даже действуя сообща, сдерживать писателей? Новое правительство — дитя, умеющее ходить только с чужой помощью. Значит, всей нации придется впасть в детство? Но не опрокинет ли свою колыбель этот страшный младенец, вскормленный кровью победы на бесчисленных бивуаках? Лишь древний род, корнями уходящий в прошлое, может бесстрашно подставлять грудь ветрам свободной печати.

.....

Слушая нынешних витий, можно подумать, что эдинбургские изгнанники — ничтожнейшие люди в мире и что их отсутствие среди нас — пустяк! Нынче настоящему недостает только прошлого — какая малость! Как будто каждое предшествующее столетие не лежит в основании последующего, как будто сегодняшний день может парить в воздухе! Сколько бы тщеславие наше ни оскорблялось воспоминаниями, сколько бы мы ни замазывали гербы с лилиями, сколько бы ни объявляли вне закона имена и лица, мы не можем не признать, что без этого семейства, у которого за плечами тысячелетняя история, жизнь наша заметно опустела. Эти люди, ныне кажущиеся столь жалкими, своим падением пошатнули Европу. Если только события будут развиваться естественным путем и увенчаются тем, чем должно по логике вещей, станет ясно, что вместе с Карлом X отреклись от престола представители всех

старинных династий, великие вассалы прошлого, повиновавшиеся сюзеренам Капетам.

Мы движемся ко всеобщей революции. Если общество по-прежнему будет меняться, не встречая препятствий, если разум народа будет по-прежнему совершенствоваться, а средние классы будут непрерывно пополнять свое образование, нации уравниет общая свобода; если же общество остановится в своем развитии, нации уравниет общее рабство. В просвещенный век деспотизм недолговечен, но беспощаден, и следствием его явится длительное разложение общества.

Таковы мои убеждения, объясняющие, отчего лично я должен оставаться верен тому правлению, в котором я видел наилучшую защиту общественных свобод и наиболее безопасный способ увеличить их число.

Я вовсе не желаю прослыть слезливым проповедником сентиментальной политики, разглагольствующим о белом плюмаже Генриха IV и прочих пошлостях. От тюрьмы Тампль до Эдинбургского замка * вы не найдете рода более древнего и более злосчастного, чем наш королевский род. Тягчайшее бремя выпало на долю мужественной страдальицы *, о которой невозможно вспоминать без боли; величественное ее долготерпение вошло в историю революции. Однако страдают не одни короли: Провидение посылает испытания всякому, кому пожелает; испытания эти коротки, ибо жизнь быстротечна, и не им изменить судьбы народов.

Мне говорят, что изгнание королевской фамилии из пределов Франции есть необходимое следствие свержения этой фамилии с престола, — пусть так, но это не заставит меня переменить убеждения. Напрасно стал бы я искать себе место среди людей, связавших свою судьбу с нынешней властью.

Есть люди, которые принесли присягу Единой и Неделимой Республике, Директории в лице пяти человек, Консульству в лице трех, Империи, воплощенной в одном человеке, Людовику XVIII во время первой Реставрации, наполеоновскому Дополнительному акту, Людовику XVIII и Карлу X во время второй Реставрации, и при этом еще находят, что принести Луи Филиппу: я не так богат.

Есть люди, которые в июле бросались словами на Гревской площади, словно те римские пастухи, что играют в *чет* и *нечет* среди развалин: люди эти бранят глупцами и недоумками всех, кто не сводит политику к личной выгоде: я — глупец и недоумок.

Есть люди боязливые, они охотно не стали бы присягать, но им мнилось, что, не пролетав присягу, они лишатся жизни вместе со своими дедами, внуками и вообще всеми собственниками: я еще не испытал недуга, которым страдают они; я подожду, а если беда наступит и меня, приму свои меры.

Есть имперские вельможи, связанные со своими пенсиями неразрывными узами; в их глазах пенсия священна, чья бы рука ее ни отсчитывала; она бессрочна, подобно священству или браку; ни один избранник пенсии не может вынести разлуки с нею: прежде пенсии выплачивала казна, та же казна выплачивает их и теперь; что до меня, то я привык разводиться с Фортунной; я слишком стар и покидаю ее, дабы она не бросила меня первым.

Есть знатные служители трона и алтаря, которые не изменили ордонансам — вовсе нет! — однако их возмутил недостаток рвения при воплощении этих ордонансов в жизнь; разгневанные неудачами деспотической власти, они принялись улаживать другого повелителя: я не способен разделить ни их негодование, ни их заботы.

Есть трезво мыслящие люди, которые изменили просто ради того, чтобы изменить, которые, ратуя за право, уступают силе; они оплакивают бедняжку Карла X, которого сами развратили своими советами, а затем погубили своею присягою; однако если когда-нибудь он или его потомки вернут себе корону, эти же люди будут метать громы и молнии, отстаивая законную монархию: что до меня, то я предан старой монархии до гроба и следую за ее погребальной процессией, словно собака бедняка.

Наконец, есть верноподданные кавалеры, раздобывшие индульгенцию на измену; что до меня, то я таковой не располагаю.

Я служил возможной Реставрации, Реставрации, неотъемлемой от самых разных свобод. Реставрация возненавидела меня; она пала: я должен разделить ее участь. Неужели я посвящу те несколько лет, что мне осталось жить на свете, служению новой власти и уподоблюсь шлейфам дамских платьев, на которые наступает всякий, кому не лень? Встав во главе молодежи, я выглядел бы подозрительно; плестись у нее в хвосте мне не пристало. Я знаю, что по-прежнему способен на многие свершения; лучше, чем когда бы то ни было, я понимаю свой век; яснее, чем кто бы то ни был, я различаю будущее; но судьба моя решена: политик обязан уходить из жизни вовремя.

〈Выход из печати 20 апреля 1831 года книги «Исторические исследования»〉

5. Накануне моего отъезда из Парижа

Париж, май 1831 года

Решение мое, принятое во время июльской катастрофы, остается неизменным. Я занят поисками средств для отъезда за границу: найти их нелегко, ибо я человек небогатый. Издатель, купивший мои сочинения, только что обанкротился *, а из-за моих долгов никто не желает дать мне взаймы.

Как бы там ни было, я отправляюсь в Женеву на деньги, вырученные от

продажи последней моей брошюры («О Реставрации и выборной монархии»). Я оставляю доверенность на продажу дома, где для порядка пишу сейчас эти строки. Если кто-нибудь соблазнится моей кроватью, я смогу на вырученные деньги купить другую в чужой земле. Из-за всех этих волнений и суеты мне придется покамест отложить работу над «Записками», прерванными на полуслове¹. Я ограничусь тем, что буду, как и прежде, описывать происходящее по свежим следам; я воспользуюсь письмами, которые мне случится послать с дороги или из городов, куда забросит меня судьба, и моим *дневником*.

⟨Письма к госпоже Рекамье из Лиона и Женевы. Посещение имения Вольтера Ферне⟩

8. Продолжение дневника.— Бесплезная поездка в Париж

Паки, близ Женевы, 15 сентября 1831 года

О деньги, которые я так сильно презирал и которые никогда не научусь любить! Я вынужден признать, что и у вас есть свои достоинства: вы — источник свободы, позволяющий разрешить тысячу проблем, без вас не разрешимых. Есть ли на свете такая вещь — за исключением славы, — которую нельзя было бы купить за деньги? Благодаря деньгам всякий человек становится прекрасным, юным, обольстительным; уважение и почести, достоинства и добродетели — он обретает все. Вы скажете, что деньги дают лишь видимость всех этих сокровищ: неважно, ведь я могу верить этой лжи, словно истине! Обманите меня как следует, и я все прошу вам: разве вся жизнь — не ложь? Тот, у кого нет денег, зависит от всех и вся. Два существа, чуждые друг другу, могли бы разойтись в разные стороны; увы! из-за нехватки нескольких пистолет им приходится жить бок о бок, дуясь, бранясь, раздражаясь, умирая от скуки, закатывая скандалы, со скрежетом зубным принося друг другу в жертву свои вкусы, склонности и привычки: нищета толкает каждого из них в объятия другого, и, обреченные на эту жалкую близость, они, вместо того чтобы целоваться, кусаются, и отнюдь не так, как Флора кусала Помпея. Нет денег — нет и средства бежать; человек не может отправиться искать счастья под чужими небесами и, смиряя гордую душу, влачит существование в цепях. Счастливы евреи, торговцы распятым, правящие сегодня христианским миром, решающие, быть войне или миру, торгующие старыми шляпами и покупающие на вырученные деньги свинину, вы уродливы и грязны, но вас любят короли и красавицы! ах! если бы вы захотели поменяться местами со мною! если бы по крайней мере я мог взломать ваши сундуки и унести все, что вы украли у дворянских сыновей, я был бы счастливейшим из смертных!

¹ Я имел в виду рассказ о моей литературной и политической карьере, не доведенный в ту пору до конца; за последние два года, 1838 и 1839, я восполнил эти пробелы (Париж, 1839).

Конечно, я мог бы найти средства к существованию, обратившись за помощью к монархам: поскольку я отдал все, что имел, отстаивая их право на корону, было бы справедливо, чтобы они кормили меня. Однако им это столь естественное соображение в голову не приходит, а мне — и подавно. Я скорее согласился бы вернуться к той диете, какую соблюдал в Лондоне вместе с несчастным Энганом, нежели сесть за пиршественный стол бок о бок с королями. Впрочем, счастливая пора чердачной жизни миновала: что ни говори, я чувствовал бы себя на чердаке неловко, пышный шлейф моей славы потребовал бы слишком много места; не то, что прежде, когда у меня была тонкая талия человека, обходящегося без обеда, и я довольствовался одной-единственной рубашкой. Уже нет на свете моего кузена Ла Буэтарде, который, сидя подле моего нищенского ложа, играл на скрипке, облаченный в красную мантию советника Бретонского парламента, а на ночь, за неимением одеяла, съезжился под стулом; нет на свете и Пельтье, кормившего нас на деньги короля Кристофа, а главное — нет волшебницы Юности, которой довольно одной улыбки, чтобы обратить нищету в сокровище, Юности, которая сводит вас со своей младшей сестрой — Надеждой; младшая сестрица такая же обманщица, как и старшая, но, в отличие от нее, убегает не навсегда и иной раз возвращается назад.

Я забыл о горечи, которую испытывал, впервые оказавшись в изгнании; я вообразил, что достаточно покинуть Францию, чтобы сохранить свою честь незапятнанной: жареные голуби сами падают в рот не тем, кто засеял поле, а тем, кто собирает с него урожай: сам я превосходно чувствовал бы себя в богадельне, но дело шло не об одном мне; следовало подумать о госпоже де Шатобриан. Итак, не успел я обосноваться на новом месте, как предался тревожным мыслям о будущем.

Из Парижа мне писали, что за мой заложенный-перезаложенный дом на улице Анфер дают цену, которая не позволяет даже выкупить его из заклада, но что присутствие мое может что-то изменить. Прочтя письмо, я отправился в Париж, и совершенно напрасно: я не нашел ни покупателей, ни благодетелей, однако вновь посетил Аббеи-о-Буа и увиделся с некоторыми из моих новых друзей. Накануне возвращения в Швейцарию я пообедал в «Кафе де Пари» с господами Араго, Пуквилем, Каррелем и Беранже — все они были более или менее недовольны и разочарованы *лучшей из республик* *.

9. Продолжение дневника.— Господа Каррель и Беранже

⟨Портрет республиканца Армана Карреля; его потаенная любовь к замужней женщине, отвечающей ему взаимностью⟩

Господину Беранже, в отличие от господина Карреля, нет нужды скрывать свои любовные похождения; он пел свободу и славил народные добродетели,

не страшась королевских темниц; он слагает куплеты о своей любви — и дарит *Лизетте* * бессмертие.

У подножия Монмартра, там, где кончается улица Мучеников, на короткой, наполовину застроенной и отчасти мощеной улице Овернской башни, в глубине маленького сада прячется скромный, как нынче водится, домик; здесь живет сочинитель прославленных песен. Лысый череп, вид грубоватый, но исполненный лукавства и сладострастия, обличают в этом человеке поэта. Я, выдавший стольких особ королевской крови, отдыхаю душой, глядя на эту мужиковатую физиономию; я сравниваю два столь различных типа: монархическое чело выдавало натуру возвышенную, но увядшую, бессильную, бесцветную; чело демократическое несет на себе отпечаток натуры заурядной в физическом отношении, но блистающей острым умом; чело короля лишилось короны; чело человека из народа достойно увенчаться ею.

Однажды я попросил Беранже (да простит он мне мою бесцеремонность, в которой виновата его слава) — я попросил его показать мне какие-нибудь из его неопубликованных сочинений. «Знаете, — отвечал он, — ведь я, безбожник, был когда-то вашим учеником. Без ума от «Гения христианства», я строчил христианские «Илиады»: сцены из жизни сельского курае, картины богослужений в деревне, во время жатвы».

Господин Огюстен Тьерри сказал мне, что описание битвы франков в «Мучениках» подало ему мысль по-новому рассказать об истории: нет ничего более лестного для меня, чем узнать, что историк Тьерри и поэт Беранже связывают мое имя с воспоминаниями о пробуждении их талантов.

Наш песенник наделен различными талантами, необходимыми, по мнению Вольтера, для сочинения песен. «Дабы преуспеть в этом роде, — говорит автор стольких очаровательных пьес, — потребны ум лукавый и чувствительный, врожденное чувство гармонии, умение не воспарять чересчур высоко, не падать чересчур низко и не быть чересчур многословным». У Беранже есть несколько муз, и все они очаровательны, все они женщины, и всех их он любит. Если они изменяют ему, он не изливает душу в элегиях, и тем не менее за веселостью его кроется грусть; он — серьезный человек, губы которого трогает улыбка, он — безбожник, который молится.

Моя привязанность к Беранже вызвала немало недоумений среди тех, кого называют моей партией: старый кавалер ордена Святого Людовика, с которым я незнаком, написал мне из своей провинциальной глуши: «Ликуйте, сударь: вас славят ныне тот, кто оскорблял вашего Господа и короля в своей гордыне!» Превосходно, доблестный рыцарь! вы тоже поэт.

⟨Возвращение Шатобриана из Швейцарии в Париж и его выступления против нового предложения об изгнании Бурбонов, внесенного депутатом Бриквилем; переписка с поэтом Бартеlemi, который в стихах, посвященных Шатобриану, подверг нападкам династию Бурбонов⟩

13. Заговорщики с улицы Прувер

Париж, улица Анфер, конец марта

Этими странствиями и баталиями окончился для меня год 1831-й; в начале 1832 года потрясла новая беда.

Июльская революция вышвырнула на улицу множество швейцарцев *, королевских гвардейцев и прочих людей разных сословий, кормившихся при дворе; они умирали с голоду, и роялистские умники, безумные седовласые юнцы, замыслили устроить с их помощью государственный переворот.

Среди грозных заговорщиков изобиловали люди степенные, бледные, сухощавые, тощие, согбенные, с благородными лицами, еще живыми глазами и седыми волосами; казалось, будто это воплощенное прошлое, вспомнив об утраченной чести, восстало из гроба и пытается вернуть на трон семейство, которому оно не сумело помочь при жизни. Люди на костылях нередко вызываются поддержать гибнущие монархии, но при нынешнем состоянии общества восстановление средневекового здания невозможно, ибо дух, животворивший его, отлетел: думая, что возрождаем старину, мы производим на свет старье.

С другой стороны, герои Июля, у которых партия умеренных стянула республику, были счастливы взять в союзники карлистов *; соратники готовились вместе отомстить общему врагу, с тем чтобы передуть друг друга сразу после победы. С легкой руки господина Тьера, объявившего теории 1793 года плодом свободы, силы и гения *, юные умы, воспламененные искрами далекого пожара, ищут в Терроре поэзию; жуткая и безумная пародия, отдаляющая триумф свободы. Эти люди не понимают ни времени, ни истории, ни человечества; они вынуждают нас искать спасения от фанатических поборников эшафота под бичом надсмотрщиков.

Чтобы содержать всех этих недовольных, всех этих героев Июля, которых выставили за дверь, и слуг, которым отказали от места, требовались деньги: пришлось пустить шапку по кругу. Тайные сборища карлистов и республиканцев происходили в Париже что ни день, и агенты полиции, для которой тут не было ровно никакой тайны, проповедовали легитимизм в клубах и равенство на чердаках.

Я знал об этих интригах и пытался положить им конец. Обе партии желали на случай своего триумфа заручиться моей поддержкой: один республиканский клуб осведомился, соглашусь ли я стать президентом республики. Я отвечал: «Разумеется, но только после господина де Лафайета». Ответ мой был найден скромным и пристойным. Престарелый генерал Лафайет иногда навещал госпожу Рекамье; я слегка посмеивался над его *лучшей из республик*; я спрашивал, не лучше ли было бы ему провозгласить королем Генриха V и вплоть до

совершеннолетия принца быть истинным президентом Франции. Он не спорил и не обижался на мои шутки, ибо был человеком светским. Всякий раз, когда мы встречались, он говорил: «А! вы опять приметесь за свое». Он не мог не согласиться, что милый друг Филипп надул его сильнее, чем кого бы то ни было.

Сумасброды трудились не покладая рук; подготовка к заговору шла полным ходом, когда ко мне прибыл замаскированный гонец. Он явился, надепив на голову лохматый парик, а на нос — зеленые очки, за которыми скрывались глаза, прекрасно видевшие без очков. Карманы у него были набиты векселями, которые он охотно предъявлял; узнав, что я хочу продать дом и нуждаюсь в деньгах, он немедленно предложил мне воспользоваться его услугами. Я не мог без смеха смотреть на этого господина (впрочем, человека умного и находчивого), который полагал, что законной монархии надобно меня покупать. Когда домогательства его сделались чересчур настойчивы, он заметил на моих губах презрительную усмешку и принужден был удалиться; секретарю моему он прислал письмецо, которое я сохранил:

«Сударь,

Вчера вечером я имел честь видеть господина виконта де Шатобриана; он принял меня со своей обычной добротой, однако мне показалось, что он держится не так открыто, как прежде. Скажите, прошу вас, по какой причине я лишился доверия, которым дорожу более всего на свете; если на мой счет ходят какие-либо *слухи*, я не боюсь выставить свою жизнь на всеобщее обозрение и готов ответить на любые обвинения; господин де Шатобриан слишком хорошо знает, как злы интриганы, чтобы вынести приговор, не выслушав меня. Иной раз клеветуют на нас даже труссы, но надо надеяться, что придет день, когда мы узрим людей истинно преданных. Итак, господин де Шатобриан попросил меня не вмешиваться в его дела: я в отчаянии, ибо льщу себя надеждой, что смог бы уладить их согласно его пожеланиям. Я почти наверно знаю, кто заставил его изменить мнение обо мне; будь я некогда менее откровенен, этому лицу никогда не удалось бы оговорить меня. Но все это ничуть не уменьшает моей преданности вашему превосходному *патрону*; вы можете вновь заверить его в этом, передав ему свидетельство моего глубокого почтения. Надеюсь, что однажды он сможет узнать и оценить меня.

Примите уверения, и проч.».

Я продиктовал Иасенту ответ:

«Мой патрон не имеет ничего против лица, писавшего ко мне, но не желает ни в чем участвовать и не согласен никому служить».

Катастрофа разразилась очень скоро.

Знаете ли вы улицу Прувер, узенькую и грязную улочку в простонародном

квартале, близ церкви Святого Евстахия и рынка? Там-то и состоялся знаменитый ужин поборников Третьей Реставрации. Гости были вооружены пистолетами, кинжалами и ключами; предполагалось, что, покончив с винами, они проникнут в галерею Лувра и, проследовав в полночь между двумя рядами шедевров, заколют злодея-узурпатора прямо на балу. Замысел романтический; всё, как в XVI столетии, в эпоху Борджиа, флорентийских Медичи и Медичи парижских — всё, за исключением людей.

1 февраля в девять вечера я уже собрался было лечь спать, когда в мой дом на улице Анфер ворвался некий ревностный заговорщик вместе с разносчиком векселей; они явились, дабы сообщить мне, что все готово, что через два часа от Филиппа не останется и следа; им требовалось выяснить, можно ли провозгласить меня главою временного правительства и соглашусь ли я вместе с Регентским советом взять на себя временное управление страной от имени Генриха V. Они признавали, что дело чревато опасностями, но уверяли, что слава моя от этого лишь возрастет и что я — единственный человек во всей Франции, кто может справиться с этой ролью — ведь мое имя удовлетворяет все партии. Задача не из легких — за два часа решиться принять корону! за два часа наточить большую мамелюкскую саблю, купленную в Каире в 1806 году! Впрочем, я не стал долго раздумывать и сказал своим гостям: «Господа, вам известно, что я никогда не одобрял это предприятие, полагая его чистым безумством. Если бы я решился принять в нем участие, я разделил бы с вами опасности и не стал бы дожидаться вашей победы, дабы принять награду за ваши подвиги. Вы знаете, что я истово люблю свободу, что же до главарей этого заговора, то им, я убежден, свобода не нужна, и, победив, они немедленно начнут править страной по своему произволу. Покамест они будут питать подобные намерения, они не найдут во мне — да и ни в ком другом — союзника; их победа привела бы к полнейшей анархии, и иноземцы, воспользовавшись нашими распрями, поработили бы Францию. Посему я не могу принять ваши предложения. Я восхищен вашей самоотверженностью, но сам вижу свой долг в ином. Я иду спать и призываю вас последовать моему примеру; я очень боюсь, как бы мне не пришлось завтра утром узнать о горестной участи, постигшей ваших друзей».

Ужин состоялся; хозяин дома, созвавший гостей с ведома полиции, знал, как поступить. Соглядатаи громогласно провозглашали тосты за здоровье Генриха V; подоспевшие без промедления полицейские схватили всех заговорщиков и в очередной раз опрокинули чашу законной монархии. Роялистским Ринальдом * оказался холодный сапожник с улицы Сены, получивший после июльских событий орден за храбрость; во славу Генриха V он опасно ранил полицейского, состоящего на службе у Луи Филиппа, как прежде убивал гвардейцев, дабы изгнать из Франции этого самого Генриха V и двух старых королей.

В то же время я получил от госпожи герцогини Беррийской записку, где она назначала меня членом тайного правительства, учрежденного ею как регентшей. Я воспользовался этим обстоятельством, чтобы написать принцессе следующее письмо:

«Сударыня,

С самой глубокой благодарностью узнал я о доверии и почтении, которых вам было угодно меня удостоить; преданность моя предписывает мне удвоить усердие, продолжая, однако, открыто выносить на суд Вашего Королевского Высочества все, что я почитаю истиной.

Вначале я коснуться так называемых заговоров, слухи о которых, возможно, дошли до Вашего Королевского Высочества. Говорят, что они были подстроены либо спровоцированы полицией. Не входя в подробности и оставляя в стороне решение вопроса о том, насколько любой заговор, будь он подлинный или поддельный, предосудителен, ограничусь тем, что замечу: мы, французы, по характеру слишком легкомысленны и одновременно слишком прямодушны, чтобы пренебречь в подобных предприятиях. Не оттого ли вот уже сорок лет все преступные деяния такого рода неизменно оканчивались неудачами? Нет зрелища более обыденного, чем француз, похваляющийся на людях своим участием в заговоре; он выбалтывает все до мелочей, не исключая дня, места и даже часа переворота, шпиону, которого принимает за единомышленника; он говорит — да что там, кричит прохожим: «У нас целых сорок тысяч человек; у нас шестьдесят тысяч патронов; они хранятся на такой-то улице, в таком-то доме — вон там, на углу». А после новоявленный Катилина отправляется танцевать, играть и веселиться.

Долгая жизнь суждена лишь тайным обществам, ибо они готовят не заговоры, а революции; прежде чем переменить людей и обстоятельства, они стремятся изменить доктрины, идеи и нравы; они действуют медленно, но верно. Гласность мысли разрушит влияние тайных обществ; отныне во Франции общественное мнение возьмет на себя то, чем у менее просвещенных народов заняты тайные конгрегации.

Западные и южные департаменты, чье терпение, как нарочно, истощено произволом и насилием, хранят тот верноподданнический дух, который отличал их издревле, но эта половина Франции никогда не пойдет на заговор в узком смысле слова; они — просто воины запаса. Это превосходный резерв легитимизма, но на роль авангарда они решительно не подходят и никогда не добьются успеха в наступательном бою. Цивилизация ушла слишком далеко вперед, чтобы в наши дни могла развиться одна из тех грандиозных междоусобных войн, что несли с собой избавление и пагубу в эпохи более набожные, но менее просвещенные.

Сегодня Франция — не монархия, а республика, впрочем, самого дурного

толка. Республика эта обряжена в королевскую тогу, принимающую удары на себя и отводящую их от правительства.

Кроме того, если законная монархия — значительная сила, то выборы, пусть даже мнимые, сила не менее могущественная, особенно в стране, где всем правит тщеславие; выборы льстят страсти истинно французской — тяге к равенству.

Деспотизм правительства Луи Филиппа и его раболепство не знают предела; правительство Карла X ни о чем подобном и не помышляло. Отчего же народ терпит эти злоупотребления? Оттого, что ему легче снести незаконные правительства, созданного им самим, нежели строгие, но законные установления, не являющиеся делом его рук.

Сорок лет невзгод сломили даже самые мужественные души; равнодушие и эгоизм владеют едва ли не всеми умами; всякий хочет затаиться, дабы уберечься от опасности, сохранить накопленное, прозябать в покое. Кроме того, любая революция оставляет по себе память в лице людей грязных, которые пачкают все, к чему ни прикоснутся, подобно тому, как трупы, остающиеся на поле боя, отравляют воздух. Если бы Генрих V мог перенестись в Тюильри, никого не потревожив, никому не помешав, не ущемив ничьих интересов, Реставрация была бы не за горами; но если ради воцарения Генриха потребуется не спать хотя бы одну ночь, я не поручусь за благополучный исход дела.

Июльские дни не принесли пользы народу, не покрыли славой армию, не способствовали расцвету словесности, искусства, торговли и промышленности. Государство было отдано на откуп министерской клике и тому сословию, что ценит собственную похлебку дороже отечества, собственное хозяйство дороже общественного блага; вам, сударыня, из вашего далека трудно понять, что представляют собою люди, принадлежащие к партии так называемой *золотой середины* *; Вашему Королевскому Высочеству следует вообразить полное отсутствие величия в душе, благородства в сердце, достоинства в характере; вообразить людей, пыжащихся от сознания собственной важности, души не чающих в своих должностях, помешанных на своих деньгах, готовых перегрызть глотку любому, кто покусится на их пенсии, в которые они вцепились намертво; за пенсии они будут драться до последней капли крови, они преданы пенсиям, как галлы своим мечам, рыцари — орифламм, гугеноты — белому плюмажу Генриха IV, наполеоновские солдаты — трехцветному знамени; они испустят дух, лишь когда иссякнет их запас клятв в верности всем правительствам на свете, когда они выдавят из себя последнюю присягу взамен последней должности. Эти евнухи псевдозаконной монархии разглагольствуют о независимости, расстреливая граждан на улицах и бросая писателей в темницы; они затягивают победные гимны, выводя войска из Бельгии по приказу английского министра, а из Анконы — по команде австрийского капрала *. Устроившись

в свое удовольствие между тюрьмой Сент-Пелажи и прихожими европейских правительств, они бахвалятся свободой и пятнают себя славой».

〈Советы герцогине Беррийской — воспитывать принца Генриха в современном духе и ждать, пока гнилой Июльский режим не рухнет сам собой〉

Наконец, напомнив госпоже герцогине о том, что она благоволила включить мое имя в список членов тайного правительства, я кончаю письмо таким образом:

«В Лиссабоне есть роскошный памятник, на котором высечена следующая эпитафия: «Здесь покоится против воли Баско Фигуэра». Мой мавзолей будет скромным, и я займу в нем место не против воли.

Вам известно, сударыня, на чем основываю я надежды на возможность новой Реставрации; все прочие исходы выше моего разума, и в этом случае мне придется расписаться в собственной беспомощности. От меня будет какой-нибудь толк, лишь если я буду действовать *открыто*, объявив себя вашим доверенным лицом всенародно; быть же полномочным министром тьмы, поверенным в делах, аккредитованным при ночном мраке, — дело не по мне. Если Ваше Королевское Высочество во всеуслышание назовет меня своим посланником при народе *новой Франции*, я прикажу крупными буквами выбить на моей двери: «*Посольство Старой Франции*», и положусь на волю Божию, но тайная преданность — не моя стезя; если я совершаю преступление верноподданства, то лишь для того, чтобы меня поймали с поличным.

Сударыня, не отказывая вам в помощи, которой вы вправе от меня требовать, я молю вас позволить мне окончить свои дни в отставке, как я намеревался прежде. Убеждения мои не могут прийтись по нраву наперсникам благородных холи-роудских изгнанников*: лишь только несчастья минуют, с благоденствием вернется и неприязнь к моим мыслям и моей особе. Я предлагал способы умножить славу моей родины, возвратив ее в те пределы, в каких она могла бы существовать, не опасаясь чужеземных вторжений, и избавив ее от позора, на который обрекли ее Венский и Парижский договоры, — предложения мои были отвергнуты. Меня называли ренегатом, когда я защищал религию, меня называли революционером, когда я стремился положить в основание трона общественные свободы. Я снова навлеку на себя эти упреки, помноженные на ненависть верноподданных придворных, угодников из Парижа и провинции, ибо они не забудут мне урока, преподанного им в час испытаний. Я недостаточно честолюбив и слишком нуждаюсь в отдыхе, чтобы отягощать корону своей преданностью и докучать королям своим присутствием. Я исполнил свой долг, ни секунды не помышляя о том, что это дает мне право на августейшие милости; с меня довольно и того, что королевское семейство позволило мне разделить с ним его несчастья! Я не знаю ничего выше этой чести; король найдет более молодых и ловких слуг, чем я, но не

найдет никого, кто служил бы ему более ревностно. Я не считаю себя человеком необходимым, да и вообще полагаю, что сегодня таковых не существует: бесполезный в настоящем, я удаляюсь от мира, дабы посвятить себя прошлому. Я надеюсь, сударыня, что еще успею добавить к истории Реставрации славную страницу, которую Франция будет обязана вам. Остаюсь с глубочайшим почтением покорнейший и преданнейший слуга Вашего Королевского Высочества

Шатобриан».

〈Эпидемия холеры в Париже〉

КНИГА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

〈Герцогиня Беррийская передает через Шатобриана для раздачи пострадавшим от холеры 12 000 франков, но чиновники Июльской монархии не решаются принять этот дар〉

2. Похороны генерала Ламарка

Париж, улица Анфер, 10 июня 1832 года

Похороны генерала Ламарка вылились в двухдневную кровавую схватку, окончившуюся победой сторонников псевдозаконной монархии над республиканцами. Эта раздираемая противоречиями, лишённая единства партия оказала героическое сопротивление.

В Париже было введено военное положение — эта жесточайшая из цензур, цензура в духе Конвента, с той лишь разницей, что место революционного трибунала занимает военная комиссия. В июне 1832 года правительство расстреливает тех самых людей, которые одержали победу в июле 1830-го; правительство приносит в жертву студентов Политехнической школы и артиллеристов национальной гвардии; те, для кого эти храбрецы завоевали власть, ныне истребляют их, предают и выгоняют на улицу. Республиканцы, безусловно, заблуждались, проповедуя анархию и беспорядок, но отчего не послать этих благородных борцов на бой за расширение наших границ; быть может, они избавили бы нас от постыдного чужеземного ига. Пылкие и великодушные юноши не прозябали бы в Париже и не копили в сердце негодование против нашей внешней политики, обрекающей нас на унижения, и против новой королевской власти, потчующей нас ложью. Вы, которые присвоили себе плоды трех июльских дней, не испытав на собственной шкуре ни одной из их тягот, вы забыли, что такое жалость. Ступайте же теперь вместе с матерями в морг — там лежат тела героев, которые получили ордена за Июль и которым вы обязаны своими должностями, богатством, честью. Юноши, в одном и том же

краю вас ждала разная участь! Те из вас, кто похитил корону, покоятся под колоннами Лувра, а тем, кто уступил ее, уготовано место в морге. Вы, навеки безвестные жрецы и жертвы достопамятной революции, кто знает ваши имена? Кто знает, на какой крови построены здания, вызывающие восхищение потомков? Рабочие, которые возвели огромную пирамиду над могилой ничтожного короля, спят, никому не ведомые, в той бесприютной земле, что некогда кормила их впроголодь.

(Герцогиня Беррийская высаживается в Провансе и добирается до Вандеи с надеждой поднять роялистское восстание; Беррье, посланный роялистами (в том числе Шатобрианом) с письмом к герцогине, арестован на обратном пути)

4. Мой арест

Париж, улица Анфер, конец июля 1832 года

Единственная дочь моего старого друга, англичанина господина Фризела, девушка семнадцати лет, скончалась в Пасси. 19 июня я отправился на похороны бедной Элизы, чей портрет как раз оканчивала очаровательная госпожа Делессер, когда смерть завершила его последним мазком. Вернувшись в свой уединенный уголок на улице Анфер, я лег спать, пребывая во власти тех меланхолических мыслей, которые рождает зрелище юности и красоты, похищенных могилой. 20 июня в четыре часа утра Батист, мой старый слуга, входит ко мне в спальню и говорит, подойдя к моей постели: «Сударь, на дворе полно людей, они заставили Дебресса открыть ворота и стоят у каждой двери, а вот эти три *господина* хотят говорить с вами». Не успел он произнести эти слова, как три *господина* вошли в спальню, а главный из них, весьма учтиво приблизившись к моей постели, объявил, что у него есть приказ арестовать меня и отвезти в префектуру полиции. Я осведомился у него, встало ли солнце, как того требует закон, и есть ли у него ордер на арест; относительно солнца он промолчал, но предъявил следующую бумагу:

«ПРЕФЕКТУРА ПОЛИЦИИ

Волею короля

Мы, государственный советник, префект полиции,

Вследствие поступивших к нам сведений и согласно статье 10 уголовного законодательства предписываем комиссару полиции или, в случае его отсутствия, другому полицейскому чину разыскать дома либо в любом другом месте господина виконта де Шатобриана, обвиняемого в покушении на государственную безопасность, и опечатать все его бумаги, письма, сочинения, подстрекающие к преступлениям против общественного порядка либо подозреваемые

в таком подстрекательстве, а также оружие и все прочие недозволенные предметы, буде таковые обнаружатся».

Пока я читал бумагу, где моя жалкая особа обвинялась в *великом покушении на государственную безопасность*, предводитель сыщиков приказал своим подручным: «Господа, исполняйте наш долг!» Долг этих господ состоял в том, чтобы отворить все шкафы, обыскать все карманы, завладеть всеми бумагами, письмами и документами и по мере сил прочесть таковые, а также, согласно велению вышеупомянутого мандата, обнаружить оружие любого рода.

Прочтя поданную мне бумагу, я обратился к почтенному главарию этих грабителей, крадущих людей и свободу: «Вы знаете, сударь, что я не признаю вашего правительства и протестую против насилия, которому вы меня подвергаете, но поскольку сила не на моей стороне и у меня нет ни малейшего желания драться с вами, я поднимусь и последую за вами; прошу вас, потрудитесь присесть».

Я оделся и, не взяв с собою ровно ничего, сказал досточтимому комиссару: «Сударь, я к вашим услугам: мы пойдем пешком?» — «Нет, сударь, я позабылся о фиакре». — «Вы очень добры, сударь; я готов; позвольте мне, однако, проститься с госпожой де Шатобриан. Могу ли я войти один в спальню моей жены?» — «Сударь, я провожу вас и подожду у дверей». — «Превосходно, сударь», — и мы спустились вниз.

Повсюду я наткнулся на часовых; полицейский стоял даже в глубине сада, у калитки, выходящей на бульвар. Я сказал главарию: «Ваши предосторожности совершенно излишни, у меня нет ни малейшего желания спастись бегством». Эти господа перерыли мои бумаги, но ничего не взяли с собой. Их внимание привлекла большая сабля, принадлежавшая некогда мамелюкам; они пошептались и в конце концов оставили ее валяться под грудой пыльных фолиантов рядом с распятием светлого дерева, которое я привез из Иерусалима.

Наблюдая эту пантомиму, я едва не расхохотался, несмотря на мучившее меня беспокойство за госпожу де Шатобриан. Всякому, кто знаком с моей женой, известно, с какой нежностью она относится ко мне, как она пуглива, какое у нее живое воображение и слабое здоровье: появление в доме полицейских и мой арест могли оказать на нее самое роковое действие. Кое-какой шум уже донесся до ее слуха: когда я вошел, она сидела в постели и испуганно прислушивалась к тому, что происходит в доме.

— О Господи! — вскричала она, увидев меня в своей спальне в столь необычный час. — Что случилось? Вы заболели? Ах, Боже мой, что случилось? что случилось? — и ее начал колотить озноб.

С трудом сдерживая слезы, я обнял ее и сказал: «Ничего страшного, за мной приехали, потому что я должен дать свидетельские показания по делу одной газеты. Это займет несколько часов, к завтраку я уже буду дома».

Сыщик ждал меня у открытой двери; мое прощание с женой происходило на его глазах, и, предавая себя в его руки, я сказал: «Вот, сударь, к чему привел ваш чересчур ранний визит». Вместе с сыщиками я пересек двор, трое из них сели вместе со мной в фиакр, остальные сопровождали добычу своим ходом, и таким манером мы беспрепятственно достигли префектуры полиции.

Тюремщик, который должен был препроводить меня в ловушку, еще спал; его разбудили, грубо забарабанив в дверь, и он отправился готовить мне новое жилье. Покуда он занимался своим делом, я прогуливался по двору в обществе приставленного ко мне сьера Леото; будучи человеком весьма порядочным, он любезно сообщил мне: «Господин виконт, для меня большой почет сопровождать вас; я несколько раз отдавал вам честь, когда вы были министром и приходили к королю; я служил в королевской гвардии: но что поделаешь! жена, дети; жизнь есть жизнь!» — «Вы правы, господин Леото, и сколько же вам платят?» — «Ах, господин виконт, смотря по тому, кого привезешь... когда больше, когда меньше... как на войне».

Пока я прогуливался, переодетые сыщики — точь-в-точь маски, возвращающиеся в первый день поста с улицы Куртиль *, — прибывали в префектуру, чтобы дать отчет о ночных происшествиях. Одни были наряжены зелеными, уличными зазывалами, угольщиками, грузчиками с рынка, старьевщиками, тряпичниками, шарманщиками, другие нацепили на голову парики, из-под которых выбивались волосы совсем другого цвета, на лицах третьих красовались фальшивые бороды, усы и бакенбарды, четвертые волочили ногу, словно почтенные инвалиды, и выставляли напоказ маленькую красную ленточку в петлице. Они пересекали маленький двор, скрывались в доме и вскоре являлись преображенными, без усов, без бород, без бакенбардов, без париков, без заплочных корзин, без деревянных ног и рук на перевязи: все эти ранние полицейские пташки разлетались с первыми лучами восходящего солнца. Когда обиталище для меня было приготовлено, тюремщик вышел к нам, и господин Леото, обнажив голову, проводил меня до дверей почтенного заведения; оставляя меня на попечение тюремщика и его подручных, он сказал: «Честь имею откланяться, господин виконт; буду счастлив увидеться с вами вновь». И дверь за мной закрылась. В сопровождении тюремщика, шедшего с ключами в руках впереди меня, и двух молодых, следовавших позади на случай, если бы мне вздумалось повернуть назад, я по узкой лестнице поднялся на третий этаж. Коротким темным коридором мы дошли до двери, тюремщик открыл ее и ввел меня в мою темницу. Он осведомился, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь; я отвечал, что через часок охотно позавтракал бы. Он сообщил, что владелец соседнего кафе предоставляет пленникам за их деньги все, чего они пожелают. Я попросил моего стража принести мне чаю и, если возможно, горячей и холодной воды, а также салфетки. Я дал ему вперед двадцать франков: он почтительно раскланялся, обещав скоро вернуться.

Оставшись один, я осмотрел свою темницу: она была продолговатой формы и имела семь-восемь футов в высоту. Грязные голые стены были испещрены надписями моих предшественников, исполненными в прозе и стихах, преимущественно же — каракулями некоей дамы, извергавшей потоки брани на партию «золотой середины». Половину конуры занимал топчан, застеленный грязными простынями; над топчаном была приделана к стене доска, служившая шкафом для белья, сапог и башмаков заключенных; убранство довершали стул и предмет подлого назначения.

Мой верный страж принес мне салфетки и два кувшина с водой, о которых я просил; я умолил его снять с топчана грязные простыни и желтое шерстяное покрывало, унести смердящее ведро и подмести мою конуру, предварительно обрызгав пол водой. Когда все наследство «золотой середины» было удалено за дверь, я побрился, умылся, не жалея воды, и переменял рубашку: госпожа де Шатобриан прислала мне небольшой пакет с бельем; свои вещи я разложил на полке над постелью, как в каюте корабля. Лишь только я окончил свой туалет, подоспел завтрак, и я напился чаю за *чисто вымытым* столом, который застелил белой салфеткой. Вскоре после моей трапезы лишнюю утварь унесли, и я остался под замком в полном одиночестве.

Свет в мою темницу проникал только через зарешеченное окошко, находившееся под самым потолком; я поставил стол под окно и встал на него, чтобы подышать воздухом и насладиться солнечным светом. Сквозь решетку я разглядел только двор или, точнее, узкий темный проулок и черные здания, вокруг которых порхали летучие мыши. Я слышал звяканье ключей и цепей, болтовню полицейских и соглядагаев, шаги солдат, звон оружия, крики, смех, бесстыдные песни, которые распевали мои соседи-заключенные, вопли Бенуа, приговоренного к смерти за убийство матери и ее беспутного приятеля. Среди невнятных его выкриков, выражавших тоску и раскаяние, я различал слова: «Ах, мама, бедная мама!» Мне открылась изнанка общества, раны на теле человечества, отвратительные механизмы, приводящие в движение наш мир.

Я благодарен литераторам — защитникам свободы печати за то, что они некогда избрали меня своим предводителем и сражались под моей командой; не будь их, я ушел бы из этой жизни, не узнав, что такое тюрьма, и этого испытания мне бы не доставало. Я признателен этим служивым литераторам за любезность, выдающую гений, доброту, великодушные, порядочность и отвагу. Впрочем, что в конце концов значит это короткое испытание? Тассо провел в темнице годы — мне ли жаловаться? Нет, я не страдаю безумной гордыней и не стану сравнивать мои мимолетные неурядицы с долгими страданиями бессмертных жертв, чьи имена сохранила история.

Кроме того, я вовсе не был несчастен: призрак былого величия и тридцатилетней *славы* покинул меня, но бедная и безвестная муза моей юности влетела в тюремное окно, окруженная сиянием, и подарила мне поцелуй; жилище мое

пришлось ей по нраву и преисполнило ее вдохновения; она посетила меня, как посещала в ту пору, когда я влачил нищенское существование в Лондоне и в уме моем рождались первые грезы о Рене. Чем же занялись мы — я и отшельница с Пинда? Стали сочинять песню на манер тех, какие слагал поэт Ловлас в застенках английской палаты общин, воспевая своего повелителя Карла I? Нет; я почитал дурным знаком воспевать моего юного короля Генриха V в темнице; гимн несчастью следует петь у подножия алтаря. Поэтому я не стал оплакивать венец, низвергнутый с невинного чела; я решил живописать другой, тоже белый венец, возложенный на гроб юной девушки; я вспомнил об Элизе Фризел, похороненной накануне на кладбище в Пасси. Я сложил элегическим дистихом несколько строк латинской эпитафии, но тут выяснилось, что я забыл распределение долгих и кратких слогов в одном из слов: я немедленно спрыгиваю со стола, где устроился, прижавшись к зарешеченному стеклу, и, подбежав к двери, что есть силы колочу в нее кулаком. Мне вторят окрестные своды; в камеру вбегают перепуганный тюремщик в сопровождении двух жандармов, и я, как новый Сантей, воплю ему: «Gradus! Gradus!»² Тюремщик вылупил на меня глаза, жандармы решили, что я открываю имя одного из моих сообщников, и уже приготовились зашелкнуть на мне наручники; я объяснился, дал денег на покупку книги, и они, к изумлению полиции, отправились добывать *Gradus*.

Пока выполнялось мое поручение, я снова взобрался на стол и, поскольку мысли мои на этом треножнике приняли несколько иной оборот, принялся сочинять строфы на смерть Элизы по-французски; однако не успел я отдаться вдохновению, как, около трех часов дня, в камеру мою явились судебные исполнители и прямо с берегов Пермесса повели меня к следователю, который составлял протоколы в темной канцелярии, по другую сторону двора, как раз напротив моей камеры. Следователь, фатоватый и самодовольный крючкотворец, задал мне дежурные вопросы относительно имени, фамилии, возраста, места жительства. Я отказался отвечать и подписывать что бы то ни было по той причине, что не признаю политической власти правительства, не основанного ни на древнем праве наследования, ни на голосе народа, явленном в ходе выборов, ибо никто не спрашивал мнения французов и не собирал представителей нации. Меня отвели обратно в мою конуру.

В шесть вечера мне принесли обед, а затем я снова принялся складывать и переключать в уме строки моих стансов и потихоньку придумал для них мотив, казавшийся мне прелестным. Госпожа де Шатобриан прислала мне матрас, подушку, простыни, хлопчатое одеяло, свечи и книги — я люблю читать по ночам. Я постелил постель, продолжая напевать: «Возложена на гроб, спускается в могилу...» — и в конце концов пришел к выводу, что мой романс о юной розе и юной девушке уже готов:

² Лестница <на Парнас> * (лат.).

Возложена на гроб, спускается в могилу
Отцовской скорби дань — из свежих роз венков.
Земля разверстая! в себе ты ныне скрыла
Девицу и цветок.

Не возвращай вовек их в этот мир: он душит,
Он тягостен и груб, он горек и жесток.
Здесь ветер крушит и гнет, здесь солнце жнет и сушит
Девицу и цветок.

Элиза бедная, мрачна твоя обитель —
Недолгий пробыла ты в этом мире срок!
Прохлады утренней вы больше не вкусите,
Девнца и цветок.

Отца несчастного гнетет печали бремя.
О дряхлый дуб-старик! Суров всесильный рок...
У корня твоего скосило ныне время
Девицу и цветок ³.

5. *Из камеры для воров я перебираюсь в туалетную комнату мадемуазель
Жиске.— Сад.— Ашиль де Арле*

Я уже начинал раздеваться, когда из коридора послышался чей-то голос; дверь отворилась, и на пороге возник господин префект полиции в сопровождении господина Нея. Он принес мне тысячу извинений в связи с продлением моего заключения; он сообщил, что мои друзья, герцог де Фиц-Джеймс и барон Ид де Невиль, также арестованы, а префектура настолько переполнена, что лиц, отбывающих предварительное заключение, содержать решительно негде. «Но вы, господин виконт,— добавил он,— вы отправитесь ко мне домой и выберете себе ту комнату, которая вам больше всего понравится».

Я поблагодарил его и попросил оставить меня в моей норе; я сжилась с нею, как монах со своею кельей. Господин префект не пожелал слушать моих возражений, и мне пришлось перебраться на новое место. Я вновь очутился в доме, где в последний раз побывал при Бонапарте,— в ту пору префект полиции вызвал меня затем, чтобы предложить покинуть Париж. Господин и госпожа Жиске провели меня по всем комнатам, чтобы я мог выбрать ту, которая пригласит меня больше всего. Господин Ней изъявил готовность уступить мне свою. Такая безграничная любезность смутила меня; я выбрал маленькую уединенную комнату, выходящую в сад и служившую, если не ошибаюсь, туалетной комнатой мадемуазель Жиске; мне позволили оставить

³ Пер. М. Гринберга.

при себе слугу, и он улегся на матрасе под дверью, в начале узенькой лесенки, спускающейся в покои госпожи Жиске. Другая лестница вела в сад, но мне было запрещено пользоваться ею; вдобавок внизу, напротив решетки, отделяющей сад от набережной, каждый вечер выставляли часового. Госпожа Жиске — добрейшая женщина в мире, а мадемуазель Жиске очень хороша собой и превосходная музыкантша. Я не могу пожаловаться на своих хозяев: казалось, своей предупредительностью они хотели искупить первый день, проведенный мною в заточении.

Наутро после моего водворения в туалетную комнату мадемуазель Жиске я проснулся в прекрасном расположении духа, вспоминая песню Анакреона о зеркальце юной гречанки; я высунулся в окно и увидел небольшой, очень зеленый сад, высокую стену, покрытую японским лаком, направо, в глубине сада, контору, где, подобно нимфам среди лилий, мелькали милейшие полицейские чиновники, налево — набережную Сены, реку и уголок старого Парижа в приходе Сент-Андре-дез-Ар. Мадемуазель Жиске играла на пианино, и музыка долетала до моего слуха вместе с голосами осведомителей, требовавших какого-нибудь начальника, чтобы доложить о результатах своих трудов.

Как переменчив мир! Этот романтический английский сад, вотчина полиции, — не что иное, как несладкий клочок земли, отрезанный от французского сада с подстриженными грабовыми аллеями, который принадлежал некогда первому президенту Парижского парламента. Этот старинный сад рос в 1580 году на месте той группы домов, что нынче высятся с севера и с запада, и доходил до самого берега Сены. Именно сюда после «дня баррикад» * пришел к Ашилю де Арле герцог де Гиз: «Первого президента застал он проминающимся по саду, и столь мало удивился хозяин его приходу, что не удостоил гостя взглядом и не прервал прогулки, а когда таковая прекратилась, ибо достиг он конца аллеи, то обернулся, а обернувшись, увидел, что близится к нему герцог де Гиз, и тогда сказал, возвысив голос, так: «Жалости достойно, ежели слуга прогоняет господина; впрочем, душа моя принадлежит Господу, сердце — королю, тело же мое в руках злых людей; будь что будет».

Нынче на месте Ашиля Арле *проминается* по этому саду господин Видок, а герцога де Гиза заменяет Коко Лакур: мы поменяли великих людей на великие принципы. Как свободны сделались мы сегодня! а свободнее всех был я у своего окна, свидетелем чему служил старина жандарм, стоявший на посту в самом низу лестницы и готовый подстрелить меня на лету, ежели бы у меня в одночасье выросли крылья! В моем саду не было соловьев, но имелось множество резвых, нахальных и сварливых воробышек, какие водятся повсюду, в деревне, в городах, во дворцах и в тюрьмах и не менее охотно вьют гнездо на верхушке гильотины, чем среди ветвей розового куста: что значат земные страдания для того, кто может взмыть в вышину!

6. Следователь господин Демортье

Улица Анфер, конец июля 1832 года

Госпожа де Шатобриан добилась разрешения увидеться со мной. При Терроре она провела тринадцать месяцев в Реннской тюрьме вместе с моими сестрами Люсиль и Жюли; с тех пор сама мысль о тюремном заключении для нее нестерпима. Когда моя бедная жена вошла в здание префектуры, с ней случился сильнейший нервический припадок — вот еще одно благодеяние, за которое я должен быть признателен «золотой середине». На второй день моего пленения меня посетил в сопровождении секретаря следователь сьер Демортье *.

Господин Гизо назначил главным прокурором Реннского королевского суда некоего господина Элло, литератора, иначе говоря, человека завистливого и раздражительного, как всякий бумагомаратель из победившей партии.

Протеже господина Гизо, обнаружив, что мое имя, а равно имена господина герцога де Фиц-Джеймса и господина Ида де Невилля замешаны в процессе господина Беррье, который должен состояться в Нанте, написал министру юстиции, что, будь его воля, он не замедлил бы арестовать нас и приобщить к делу как сообщников и вещественные доказательства разом. Господин де Монталиве счел необходимым уступить настояниям господина Элло; было время, когда господин де Монталиве, придя ко мне, смиренно просил совета и внимал моим соображениям относительно выборов и свободы печати. Реставрация сделала господина де Монталиве пэром, но не смогла сделать его умным человеком — вероятно, по этой причине она ему нынче так *гадостна*.

Итак, в мою каморку вошел следователь господин Демортье. Жестокое, искаженное гримасой лицо его приняло такое слащавое выражение, словно он только что отведал меда.

Меня зовут Лояль. Нормандец по рождению,
Себя с младых ногтей я посвятил служенью
Законности ⁴.

Некогда господин Демортье был членом конгрегации, большим причастником, большим легитимистом, большим поклонником ордонансов, а нынче стал истовым ревнителем «золотой середины». Я со всей старомодной вежливостью, на какую был способен, пригласил этого зверя сесть, пододвинул ему кресло, поставил секретарю маленький столик, дал перо и чернила; сам я уселся напротив господина Демортье, и он добродушнейшим голосом прочел мне

⁴ Мольер. Тартюф, д. V, явл. 4; пер. М. Донского.

перечень пустяковых обвинений, которые, будь они как следует доказаны, совершенно нечувствительно могли бы привести меня на эшафот, после чего приступил к допросу.

Я вновь заявил, что, не признавая нынешнего политического строя, не стану отвечать ни на какие вопросы, что я ничего не подпишу и полагаю все эти судейские формальности излишними, вследствие чего прошу господина Демортье не тратить время зря и заняться чем-нибудь иным, хотя, впрочем, всегда счастлив буду принять его, если он снова окажет мне честь своим посещением⁵.

Я заметил, что подобное обращение приводит набожного господина в ярость и что ему, некогда разделявшему мои убеждения, мое поведение кажется сатирой на его собственное; к этой обиде примешивалось уязвленное самолюбие судейского чиновника, почитающего себя оскорбленным при исполнении служебных обязанностей. Он принялся спорить со мной; мне так и не удалось втолковать ему различие между *общественным* строем и строем *политическим*: я подчиняюсь первому, говорил я, потому что в его основе — естественное право; я повинуюсь гражданским, военным и финансовым законам, полицейским установлениям и правилам общественного порядка, что же касается власти политической, то ей я обязан подчиняться, лишь если она исходит от освященной веками королевской династии или от народа. Я не так глуп и не так жив, чтобы поверить, что кто-либо созывал народ и спрашивал его мнение и что нынешнее правление есть осуществление народной воли. Если бы меня обвиняли в краже, убийстве, поджоге и прочих проступках или преступлении против *общества*, я ответил бы перед законом, но если меня хотят втянуть в политический процесс, я не считаю себя обязанным отвечать перед властью, никоим образом не являющейся законной и, следовательно, не имеющей права требовать от меня чего бы то ни было.

Таким образом протекли две недели. Хотя господин Демортье был, как я выяснил, в бешенстве (и стремился, чтобы судьи разделили его чувства), он неизменно приступал ко мне с тем же елейным видом, говоря: «Итак, вы по-прежнему не хотите сказать мне ваше прославленное имя?» На одном из допросов он прочел мне письмо Карла X герцогу де Фиц Джеймсу, где содержалась лестная для меня фраза. «Ах, сударь, — отвечал я, — что значит это письмо? Общеизвестно, что я остался верен моему старому королю, что я не принес присягу Филиппу. Впрочем, письмо моего изгнанного монарха трогает меня до глубины души. Пока он был у власти, он не говорил мне ничего подобного, и фраза эта вознаграждает меня за всю мою службу».

⁵ Я первым отказался признать полномочия суда; затем моему примеру последовали некоторые республиканцы (Париж, 1840).

7. *Моя жизнь у господина Жиске. — Я выхожу на свободу*

Париж, улица Анфер, конец июля 1832 года

Госпожа Рекамье, которой обязан утешением и свободой не один пленник, посетила меня в моем новом уединении; господин де Беранже выбрался из Пасси, чтобы в царствование своих друзей спеть мне о том, что происходило в темницах, когда у власти были мои друзья: теперь он уже не мог попрекать меня Реставрацией. Мой старинный друг толстяк господин Бертен явился соборовать меня министерским маслом *; одна восторженная дама прискакала из Бове, дабы *пленяться* моей славой; господин Вильмен совершил героический поступок *; господа Дюбуа, Ампер и Ленорман, мои юные ученые друзья, доказали, что помнят обо мне; господин Ш. Ледрю, адвокат-республиканец, не расставался со мною: в ожидании процесса он преувеличивал серьезность дела и охотно приплатил бы за счастье защищать меня.

Господин Жиске, как я уже сказал, предоставил в мое распоряжение все свои гостиные, но я не злоупотреблял его любезностью. Только однажды вечером я спустился из своей каморки, чтобы, усевшись между хозяйном и хозяйкой, послушать, как мадемуазель Жиске играет на пианино. Отец выбранил ее, утверждая, что соната удалась ей хуже обычного. Этот маленький концерт, который мой хозяин устроил для меня одного, был весьма своеобразен. Пока у семейного очага разыгрывалась эта пастораль, полицейские прикладами и железными палками сгоняли в соседнее здание моих собратьев; меж тем каким покоем и какой гармонией дышало средоточие полицейского мира!

⟨Письмо издателя «Карикатур» Ш. Филипона Шатобриану с просьбой похлопотать за него перед префектом; стихотворение молодого чиновника префектуры Ж. Шопена, посвященное Шатобриану⟩

Мадемуазель Ноэми (так, насколько мне известно, зовут мадемуазель Жиске) часто в одиночестве гуляла по саду с книгой в руках. Украдкой она то и дело бросала взгляд на мое окно. Как сладостно было бы мне уподобиться Сервантесу и получить свободу из рук дочери моего тюремщика! Я уже начал напускать на себя как можно более романтический вид, но тут юный и очаровательный господин Ней разрушил мои надежды. Став свидетелем беседы молодого человека с мадемуазель Жиске, я заметил на его лице выражение, смысл которого яснее ясного нам, обожателям сифид. Я свалился с луны на землю, закрыл окно и простился с мыслью отрастить усы, *посеребренные враждебным ураганом*.

Через две недели, 30 июня, за отсутствием состава преступления я был выпущен на свободу, к великой радости госпожи де Шатобриан, которую

я думаю, убило бы мое пребывание под стражей, продлись оно еще немного. Она приехала за мной в фиакре; я погрузил в него свой скучный багаж, так же быстро покинул дом префекта, как некогда — здание министерства, и возвратился на улицу Анфер, преисполнившись некоего совершенства, сообщаемого добродетели несчастьем.

Если история сохранит имя господина Жиске, он, боюсь, предстанет перед потомками не с лучшей стороны *; надеюсь, что все сказанное здесь поможет опровергнуть недоброхотов. Ко мне господин Жиске был на редкость внимателен и предупредителен; разумеется, если бы мне вынесли приговор, он не дал бы мне сбежать, но, как бы там ни было, и он и его домашние принимали меня, выказывая любезность и хороший вкус, входя в мое положение, уважая мою внешнюю и прошлую роли, — что выгодно отличало их от просвещенных чиновников и законников, которые свирепствовали вдвойне, оттого что имели дело с человеком слабее их, которого можно не бояться.

Из всех правительств, которые сменились во Франции за четыре десятка лет, только правительство Филиппа бросило меня в камеру для разбойников; оно подняло свою подлую руку на меня, которого пощадил даже разгневанный завоеватель: Наполеон собирался покарать меня, но раздумал. И из-за чего весь шум? Сейчас объясню: я осмеливаюсь выступать за право и против данности в стране, где я отстаивал свободу во время Империи и славу во время Реставрации, в стране, где я доживаю свой век в одиночестве, не имея ни братьев, ни сестер, ни детей, ни радостей, ни наслаждений, в окружении одних лишь могил. Перемены, свершившиеся в самое недавнее время в политике, лишили меня последних друзей: одни выбрали благополучие и, в отличие от меня, бедняка, щедро нажились на своем бесчестье; другие, не выдержав оскорблений, покинули родные места. Поколения, так алкавшие независимости, продались власть имущим: их поступки заурядны, их гордыня не ведает жалости, их писания посредственны или безумны; я не жду от них ничего, кроме презрения, и плачу им тем же; они не способны понять меня, они не знают, что такое верность присяге, сочувствие великодушным установлениям, уважение к собственным убеждениям, умение быть выше успеха и богатства, радость, доставляемая самоотвержением, поклонение несчастным и слабым.

(Письмо Шатобриана министру юстиции Барту, где он объявляет себя соратником арестованного Беррье, вместе с которым он заклинал герцогиню Беррийскую покинуть Францию, дабы не разжигать гражданскую войну; обиженная герцогиня присылает Шатобриану записку, где намекает, что более не нуждается в его советах. Чета Шатобрианов хочет снова уехать из Франции, но мешает безденежье. Карл X извещает Шатобриана, что хочет, как прежде, выплачивать ему пенсию пэра. Шатобриан отказывается от постоянной пенсии, чтобы не быть в тягость изгнанному королю, но принимает временное вспомоществование и собирается в путь)

11. *Дневник путешествия из Парижа в Лугано*

Базель, 12 августа 1832 года

Многие люди умирают, так и не повидав ничего, кроме своей родной колокольни; я же, напротив, никак не могу узреть ту колокольню, возле которой меня настигнет смерть. В поисках убежища, где я мог бы завершить мои «Записки», я вновь трогаюсь в путь, таща с собою несметное множество бумаг: дипломатическую переписку, дневниковые заметки, письма министров и королей; роман приторочил к седлу историю.

〈Описание «Пляски смерти» Гольбейна в Базеле; дорога из Базеля в Люцерн; Люцерн, Альпы, озеро Ури〉

Альтдорф. Десять часов вечера

Снова начинается гроза, молнии вьются среди скал, эхо разносит и уможает раскаты грома; Шешенель и Реусс * рвом встречают армориканского барда. Как давно не был я свободен и одинок; комната моя пуста: две постели для одного-единственного бодрствующего путника, забывшего и любовь и грезы. Для меня эти горы, эта буря, эта ночь — утраченные сокровища. Какие силы, однако, чую я в своей душе! Никогда еще, даже когда кровь быстрее струилась в моих жилах, не был я способен говорить языком страстей с такой мощью, с какой мог бы заговорить в этот миг. Мне чудится, будто из-за Сен-Готарда показалась моя сальфида, являвшаяся мне в Комбургских лесах. Неужели ты вернулась, прелестная спутница моей юности? неужели ты сжалилась надо мной? Взгляни: я изменился только внешне; я все тот же мечтатель, снедаемый беспричинным и беспочвенным жаром. Жизнь моя клонится к закату, а когда в порыве восторга и исступления я создал тебя, она только начиналась. В этот час я призывал тебя с вершины моей башни. Я и сейчас могу отворить окно, чтобы впустить тебя. Если тебе мало тех чар, которыми я щедро наделил тебя, я сотворю тебя стократ более обольстительной; палитра моя не стала бедней; я повидал многих красавиц и лучше овладел кистью. Сядь ко мне на колени; не бойся моих седых волос; погладь их своей рукою — рукою феи или тени; верни им прежний цвет своими поцелуями. Эта голова, которой редящие волосы не придали благоразумия, так же безрассудна, как в те времена, когда я дал тебе жизнь, старшая дочь моих иллюзий, сладостный плод моей потаенной связи с первым в моей жизни уединением! Приди ко мне; мы снова, как прежде, воспарим к небесам. Вместе с молниями будем мы бороздить, озарять, воспламенять бездны, где я окажусь завтра. Приди! унеси меня с собою, как прежде, но не возвращай назад!

В дверь стучат: это не ты! Это проводник! Лошади поданы, надо ехать. От грезы остаются только дождь, ветер и я, вечная грёза, бесконечная гроза.

〈Шатобриан пересекает перевал Сен-Готард, чтобы побывать в Лугано, и возвращается в Люцерн, где должен встретиться с женой〉

16. Горы〈...〉

Люцерн, 20, 21 и 22 августа 1832 года

Я не стал ночевать в Лугано и сразу тронулся в обратный путь; я снова пересек Сен-Готард, снова увидел те места, где побывал недавно, и не нашел ошибок в моих набросках. В Альтдорфе за сутки все переменялось: гроза прошла, видение более не посещало мою уединенную келью. Ночь я провел во Флюэленском трактире; мне довелось дважды проделать путь между двумя озерами, принадлежащими двум народам *, которые связаны политическими узами, но разнятся во всех прочих отношениях. Я переплыл Люцернское озеро: оно утратило в моих глазах часть своей притягательности; оно несравнимо с Луганским озером, как несравнимы римские руины с руинами афинскими, сицилийские луга с садами Армиды *.

Вдобавок, сколько я ни тщуся разделить восторги певцов гор, все мои старания пропадают втуне.

Если говорить о физической стороне дела, девственный целебный воздух должен был бы вдыхать в меня живительную бодрость, разрезать мою кровь, проветривать усталый мозг, пробуждать ненасытный голод и навевать дрему без сновидений, но ничего подобного не происходит. Дышится мне ничуть не легче, кровь бежит по моим жилам ничуть не быстрее, голова под альпийским небом так же тяжела, как в Париже. Appetit мой разыгрывается в Монтанвере не сильнее, чем на Елисейских полях, сплю я на улице Сен-Доминик не хуже, чем на перевале Сен-Готард, а если на очаровательной Монружской равнине * мне являются сновидения, то лишь оттого, что таково свойство сна.

Если же перейти к стороне нравственной, сколько бы я ни лазил по скалам, дух мой не становится возвышеннее, а душа чище; земные заботы и бремя человеческой скверны не оставляют меня. Возбужденные мои чувства не проникаются спокойствием, которым дышит подлунное царство сурков. Жалкое создание, я ни на секунду не перестаю прозревать сквозь туман, стелющийся у меня под ногами, цветущий лик мира. Забравшись на тысячу туазов выше, я продолжаю видеть небо таким же, как и прежде; Господь для меня одинаково велик, откуда бы я ни смотрел: с горы или из долины. Если для того, чтобы сделаться силачом, святым, гением, достаточно подняться выше облаков, отчего бесчисленные доходяги, безбожники и глупцы не дают

себе труда вскарабкаться на Симплон? Должно быть, они крепко держатся за свои несовершенства.

Всякий пейзаж — это прежде всего свет; без света пейзажа нет. В лучах восходящего или заходящего солнца песчаная отмель в Карфагене, прибрежные вересковые заросли в Сорренто, поросшая сухим тростником лужайка в римской кампании потрясают куда сильнее, чем вся горная цепь Альп, увиденная с французской стороны. Норы, именуемые долинами, где ровно ничего не видно даже в полдень; высокие ширмы с подпорками, именуемые горами; грязные потоки, ревушие в один голос с теми коровами, что пасутся на их берегах, сизые лица, вздутые шеи и опухшие животы, базедова болезнь и водянка — к черту все это!

Если наши горы и оправдывают когда-нибудь восторги своих поклонников, то лишь тогда, когда они утопают в ночной тьме, довершая ее хаос: их углы, выступы, пики, их величественные силуэты, их громадные тени производят в лунную ночь гораздо большее впечатление. Светила чертят, гравировку на небе пирамиды, конусы, обелиски, алебастровые постройки, то набрасывая на них легкий газовый покров и смягчая контуры размытыми голубоватыми мазками, то отделяя один силуэт от другого четкими, резкими линиями. Каждая долина, каждая лощина с ее озерами, скалами, лесами обращается в храм тишины и уединения. Зимой горы переносят нас на полюс, осенью, когда небо затянуто тучами, они сумрачно нависают над нами, напоминая серые, черные, коричневые литографии: им к лицу гроза, а равно и клубы пара — то ли туман, то ли облака, проплывающие у их подножий или цепляющиеся за их склоны.

Но разве не располагают горы к размышлениям, к независимости, к стихотворству? Разве прекрасные и безлюдные морские просторы не дарят душе новых наслаждений и не обретают с ее помощью нового величия? Разве величественные картины природы не открывают сердце страстям, а страсти не помогают лучше понять величественные картины природы? Разве любовь к единственному избраннику не возрастает благодаря смутной любви ко всем зримым и умопостигаемым красотам, которые окружают человека, подобно тому как тяготеют друг к другу и сливаются воедино сходные убеждения? Разве ощущение бесконечности, проникающее в конечное чувство при виде грандиозного пейзажа, не усиливает это чувство, не распространяет его до тех пределов, где начинается жизнь вечная?

Все это верно, но объяснимся до конца: прекрасны не те горы, что существуют в реальности, а те, что созданы страстями, талантом и музой, очертившими их силуэты, сообщившими нужный цвет небу, снегу, пикам, склонам, радужным водопадам, зыбкому воздуху, легким, нежным теням: красота пейзажа — не в Коровьем лугу *, а в палитре Клода Лоррена. Вселите в мою душу любовь, и вы увидите, как одинокая, клонящаяся под порывами

ветра яблоня, затерянная среди босских пшеничных полей, цветок стрелолиста посреди болота, тоненький ручеек, перебегающий дорогу, пучок мха, кустик папоротника, хвощ на склоне утеса, синица в садике сельского священника, ласточка, в дождливый день проносящаяся низко над землей возле гумна или монастыря, и даже безобразная летучая мышь, мечущаяся вместо ласточки возле деревенской колокольни и парящая на мелко дрожащих полупрозрачных крыльях в последних лучах заходящего солнца, — все эти мелочи исполнятся по воле памяти волшебного смысла, будут хранить тайну моего счастья или печаль моего раскаяния. В конечном счете красота природы зависит от того, кто на нее смотрит, от его молодости. Покрытое льдом море Баффина может радовать глаз, если спутник вам по сердцу; берега Огайо или Ганга могут навеять тоску, если вы взираете на них в мрачном одиночестве или в обществе людей несносных. Поэт сказал:

Отечество — в краю, где рождена душа *.

То же и с красотой.

Довольно о горах: я люблю их за уединенность, я люблю их как раму, фон, задний план прекрасной картины; я люблю их как крепость и прибежище свободы, я люблю их как край, сообщающий страстям душевным оттенок бесконечности: рассуждая справедливо и спокойно, ничего другого сказать в их пользу нельзя. Если мне не суждено обосноваться по ту сторону Альп, моя поездка на Сен-Готард останется разрозненным эпизодом, отдельным видом в панораме моих «Записок»: я погашу свет, и Лугано скроется во мраке.

⟨Жизнь Шатобриана в Швейцарии; приезд в Констанцу и встреча там с госпожой Рекамье; переписка с герцогиней де Сен-Ле, бывшей голландской королевой, женой Луи Бонапарта и ее сыном принцем Луи-Наполеоном, будущим Наполеоном III; ужин в Арененберге у герцогини де Сен-Ле; возвращение в Женеву⟩

21. *Коппе.* — *Могила госпожи де Сталь*

*Женева, конец сентября * 1832 года*

Я снова всерьез взялся за работу: по утрам я пишу, а вечерами совершаю прогулки. Вчера я побывал в Коппе *. Замок теперь пуст; мне открыли ворота и позволили побродить по безлюдным комнатам. Моей спутнице в этом паломничестве, помнившей, каким был замок при жизни ее подруги, постоянно казалось, что та вот-вот войдет, заговорит, сядет за пианино или отворит дверь на галерею. Госпожа Рекамье вновь увидела комнату, где жила когда-то; ушедшее вновь встало перед нею: казалось, повторяется сцена, которую я описал когда-то в «Рене»: «Я прошел по гулким покоем, где тишину нарушал

только звук моих шагов... Обивка со стен была повсюду сорвана, и паук плел в углах свою паутину... Как сладостно, но как мимолетно время, которое братья и сестры проводят в юные годы вместе, под крылом старых родителей! Семья краткодневна: дух Господень развеивает ее, как дым. Сын едва успевает узнать отца, отец сына, брат сестру, сестра брата! Дуб видит, как поднимается вокруг него молодая поросль; не такова участь детей человеческих!»

Я вспомнил также те страницы моих «Записок», где я рассказываю о моем последнем приезде в Комбург перед отплытием в Америку. Два различных, хотя и связанных тайным родством мира волновали меня и госпожу Рекамье: увы! каждый из нас носит в душе эти разрозненные миры, ибо где найти людей, которые прожили бок о бок так долго, что у них не осталось несхожих воспоминаний? Мы вышли из замка в парк; ранняя осень кое-где позолотила, а кое-где сорвала с деревьев листву; ветер постепенно ослабел, и вскоре стал слышен шум ручья, вращающего жернова мельницы. Пройдя по всем аллеям, где она обычно гуляла с госпожой де Сталь, госпожа Рекамье захотела посетить могилу подруги. Неподалеку от парка есть рощица, где старые деревья растут вперемежку с молодняком; ее огораживает сырая, полуразвалившаяся стена. Рощица эта напоминает кучу деревьев посреди равнины, именуемые на языке охотников *островами*: именно туда загнала смерть свою добычу, там заточила свою жертву.

Здесь загодя был выстроен склеп, которому предстояло принять тела господина Неккера, госпожи Неккер и госпожи де Сталь, боготворившей отца: когда дочь воссоединилась с родителями, дверь склепа замуровали. Сын Огюста де Сталя и сам Огюст, умерший раньше своего дитяти *, погребены снаружи, у подножия склепа. На надгробной плите высечены слова Писания: «Что вы ищете живого между мертвыми?» *

Я не стал входить в рощицу; только госпоже Рекамье дозволено было посетить могилы; опустившись на скамью подле ограды и повернувшись спиной к Франции, я смотрел то на вершину Монблана, то на Женевское озеро: золотистые облака затянули горизонт над темной грядой Юры; казалось, то сияет нимб над длинным гробом. На другом берегу озера стоит дом лорда Байрона; луч заходящего солнца освещал его крышу; на свете уже не было Руссо, который наслаждался бы этим зрелищем; не было и Вольтера, который, впрочем, не обратил бы на него никакого внимания. Прославленные тени, некогда населявшие эти берега, недаром пришли мне на память у могилы госпожи де Сталь; казалось, они явились, чтобы стать ночной свитой ее тени, которую почитают себе ровней, и увлечь ее на небеса. В эту минуту госпожа Рекамье, сама бледная как тень, с глазами, полными слез, вышла из-за кладбищенской ограды. Если когда-либо мне довелось ощутить разом всю суетность и всю сущность славы и жизни, то это случилось, когда я стоял у входа в безмолвную, безвестную, неприметную рощицу, где покоится та, что снискала столь блестящую славу, и видел, что такое истинная любовь.

22. Прогулка

Женева, конец сентября 1832 года

Вечор я поклонился праху бывших хозяев Коппе, а нынче, наскучив берегами озера, отправился, снова в обществе госпожи Рекамье, на прогулку по менее проторенным тропам. Ниже по течению Роны мы открыли узкое ущелье, где река, бурля, стремится между каменистыми утесами; среди скал зеленеют лужайки; на берегу выстроено несколько мельниц. Одна из лужаек простирается до подножия холма, на котором среди деревьев виднеется дом.

Мы несколько раз пересекли, беседуя, неширокий лужок, отделяющий бурную реку от безмолвного холма: сколько наберется на свете людей, которым можно без конца докучать рассказами о своем прошлом и увлекать их с собою на много лет назад? Мы говорили о той тягостной и, однако, такой притягательной поре, когда страсти составляют счастье и муку юного существа. Теперь полночь, я пишу эту страницу в тиши, а за окном над Альпами сияют редкие звезды.

Госпожа Рекамье скоро покинет нас; она вернется весной, а я проведу зиму, воскрешая исчезнувшие мгновения, которые одно за другим будут представлять перед судом моего разума. Не уверен, что я сохраню полную беспристрастность и что судья не обойдется с преступниками чересчур мягко. Следующее лето я проведу на родине Жан-Жака. Не дай мне Господь заразиться болезнью мечтателя*! А после, когда снова наступит осень, мы отправимся в Италию. *Italam! Italam!*⁶ — вечный мой припев.

⟨Письмо Шатобриана принцу Луи Наполеону в ответ на его брошюру «Политические мечтания»⟩

24. Письма министру юстиции, председателю совета, госпоже герцогине Беррийской. — Я сочиняю «Записку о пленении принцессы». — Циркулярное письмо главным редакторам газет

Париж, улица Анфер, январь 1833 года

Я предался всей душой мечтам о будущем, которое сам избрал для себя и которое полагал весьма близким. На исходе дня я отправлялся бродить по извилистым берегам Арва, двигаясь в сторону Салева*. Однажды вечером порог моего дома переступил господин Беррье; он возвращался из Лозанны и сообщил мне об аресте госпожи герцогини Беррийской*; подробностей он

⁶ В Италию! В Италию! (лат.)*

не знал. Мои мечты о покойной жизни снова рассыпались в прах. Когда мать Генриха V верила в свою победу, она отказалась от моих услуг; несчастье, постигшее герцогиню, заставило меня забыть ее последнюю записку и поднять голос в ее защиту. Отослав письма министрам, я немедленно покинул Женеву. Прибыв на улицу Анфер, я послал главным редакторам всех газет циркулярное письмо следующего содержания:

«Сударь,

Прибыв в Париж 17-го числа сего месяца, я 18-го числа написал господину министру юстиции письмо, дабы осведомиться, получил ли он письмо, адресованное мною герцогине Беррийской, которое я имел честь отправить ему 12-го числа из Женевы, и благоволил ли он передать его госпоже герцогине.

В то же самое время я попросил у господина министра юстиции позволения посетить принцессу в замке Блай.

Господин министр юстиции благоволил ответить мне 19-го числа, что он передал мои письма господину председателю совета и обращаться мне надлежит именно к нему. Вследствие сего 20 ноября я послал письмо господину военному министру *. Сегодня, 22 ноября, я получил его ответ, датированный 21-м числом. Он с сожалением принужден сообщить мне, что правительство не сочло возможным удовлетворить мою просьбу. Это решение делает излишним прочие ходатайства перед властями.

Сударь, я никогда не был так самоуверен, чтобы полагать себя в силах единолично выступать в защиту обездоленных, в защиту Франции. Если бы меня допустили до августейшей пленницы, я предложил бы ей в нынешних обстоятельствах образовать совет из лиц гораздо более просвещенных, чем я. Кроме почтенных и прославленных государственных мужей, которые уже предлагали ей свои услуги, я осмелился бы обратить внимание принцессы на таких людей, как господин маркиз де Пасторе, господин Лене, господин де Виллель и проч., и проч.

Теперь, сударь, когда власти отказали мне, я вправе действовать как частное лицо. Мои «Записки о жизни и смерти господина герцога Беррийского» вместе с прядью волос вдовы, томящейся ныне в заключении, покоятся на сердце того, чье сходство с Генрихом IV довершил кинжал Лувеля *. Я не забыл эту неслыханную честь, за которую обязан сегодня воздать сторицей, и всецело сознаю свой долг.

Остаюсь, сударь, и проч.

Шатобриан».

Пока я сочинял это циркулярное письмо, мне удалось переправить госпоже герцогине Беррийской следующую записку:

«Париж, 23 ноября 1832 года

Сударыня,

12 ноября в Женеве я имел честь написать вам впервые. Это письмо, где я умолял вас оказать мне честь и избрать меня одним из ваших защитников, было напечатано в газетах.

По делу Вашего Королевского Высочества может выступать всякий частный человек, который, не будучи уполномочен вами, имеет важные сообщения, однако если вам желательно, чтобы защита велась от вашего имени, то столь высокую миссию следует поручить не одному человеку, а совету, составленному из политиков и юристов. В этом случае я просил бы, чтобы вы благоволили назначить моими помощниками (вкуче с лицами, на которых вы уже остановили свой выбор) господина графа де Пасторе, господина Ида де Невилля, господина де Виллеля, господина Лене, господина Руайе-Коллара, господина Пардессю, господина Мандару де Вертами и господина де Вюффрелана.

Я также полагал, сударыня, что следовало бы включить в этот совет нескольких людей, одаренных большим талантом, но придерживающихся убеждений, противоположных нашим; однако это могло бы, пожалуй, поставить их в ложное положение, вынудив их пожертвовать честью и принципами, на что люди высокого ума и неподкупной совести согласиться не могут.

Остаюсь и проч.

Шатобриан».

Итак, я, старый служака, поспешил встать в строй и пойти в атаку под знаменем прежних моих полководцев: власть бросила мне вызов, и я принял его. Кто мог подумать, что от могилы мужа судьба приведет меня к темнице жены?

Пусть даже мне суждено было остаться в одиночестве, пусть даже действия мои шли во вред интересам Франции, я не мог поступить иначе — меня вел голос чести. Ведь если один человек предпочитает благополучному существованию исполнение долга, поступок этот не проходит бесследно для всего человечества; прекрасно, если находится некто, согласный погубить себя ради тех идей, в которые он верит и которые близки самым благородным свойствам его души: подобные простофили являют собою необходимый противовес грубой очевидности; они — жертвы, призванные от лица угнетенных бросать свое veto побеждающей силе. Возьмем поляков: разве их самоотвержение не жертва *? Они ничего не спасли, они не могли ничего спасти: неужели же мои противники откажут их самоотвержению в благотворном воздействии на историю человеческого рода?

Меня упрекают в том, что я одну семью ставлю выше всего отечества: нет,

я верность присяге ставлю выше клятвопреступления, а нравственную чистоту — выше материальной выгоды, вот и все, что же до одной семьи, то я посвящаю себя служению ей лишь оттого, что убежден: она была глубоко необходима Франции; для меня ее благоденствие неотрывно от благоденствия отечества, и, оплакивая беды одной, я оплакиваю злоключения другого; проиграв битву, я взял себе в наставники долг, меж тем как победители поставили на первое место корысть. Я стремлюсь уйти из жизни, не утратив самоуважения: тому, кто проводит остаток дней наедине с самим собой, хочется иметь дело с человеком порядочным.

〈Отрывок из брошюры Шатобриана «Записка о пленении госпожи герцогини Беррийской», кончающийся фрагментом, прославившим Шатобриана среди роялистов:〉

Прославленная пленница замка Блай! Я желаю, чтобы ваше героическое присутствие на земле, знающей, что такое героизм, подвигло всех французов повторить вам то, что мне позволяет сказать моя политическая независимость: «Сударыня, ваш сын — мой король!» Если Провидению будет угодно даровать мне еще несколько часов земного бытия, увижу ли я, разделивший ваши невзгоды, ваше торжество? Получу ли я эту награду за верность? В тот миг, когда вы возвратитесь во Францию покойная и счастливая, я с радостью отправлюсь доживать в отставке век, начатый в изгнании. Увы! я в отчаянии от того, что бессилён помочь вам в нынешних несчастьях! Слова мои сотрясают безо всякой пользы воздух вокруг вашей темницы: шум ветра, волн и стражи у подножия уединенного замка не позволит вам расслышать даже последних слов верного слуги.

26. *Мой процесс*

Париж, март 1833 года

Некоторые газеты повторили фразу: «Сударыня, ваш сын — мой король!» — и этим навлекли на себя судебные преследования; я также оказался замешан в эти процессы *. На сей раз я не мог выразить недоверие суду: я был обязан попытаться спасти своим присутствием людей, пострадавших по моей вине; для меня было делом чести ответить за мои сочинения.

Вдобавок накануне того дня, когда мне надлежало явиться в суд, «Монитор» опубликовал признание госпожи герцогини Беррийской *. Останься я дома, вышло бы, что роялистская партия струсила, что она бросает женщину в несчастье и стыдится принцессы, чей героизм с таким жаром прославляла.

У меня не было недостатка в робких советчиках, умолявших: «Не ходите в суд, вам трудно будет оправдать вашу фразу: «Сударыня, ваш сын — мой король». — «Я прокричу ее что есть мочи», — отвечал я. Я отправился в ту самую залу, где некогда заседал революционный трибунал *; ту самую, где

решилась судьба Марии Антуанетты и где был приговорен к смерти мой брат. После Июльской революции оттуда убрали распятие, чей вид утешал невинных, но смутил судью.

Мое появление произвело благоприятное впечатление на судей; оно на мгновение сгладило действие, произведенное публикацией «Монитёра», и возвратило матери Генриха V ту репутацию, которую она завоевала своим отважным поступком *: увидев, что роялисты презирают слетни и не слагают оружия, противники заколебались.

Я хотел обойтись без адвоката, но господин Ледрю, жаждавший защищать меня еще со времен моего заключения, вызвался произнести речь, запутался и сильно затруднил мое положение. Господин Беррье (он выступил защитником «Котидьен») сказал по ходу своей речи несколько слов в мою защиту. В конце заседания я назвал присяжных «всенародным пэрством», чем немало способствовал общему нашему оправданию.

Процесс, проходивший в страшной зале, слышавшей голоса Фукье-Тенвиля и Дантона, не ознаменовался ничем примечательным; забавно звучали лишь рассуждения господина Персиля: желая доказать мою вину, он приводил фразу из моей брошюры: «Трудно раздавить того, кто пресмыкается у тебя под ногами!» — и вскрикивал: «Чувствуете ли вы, господа, всю оскорбительность этой фразы: «Трудно раздавить того, кто пресмыкается у тебя под ногами?» — и топал ногой, словно хотел кого-то раздавить. После чего вновь затягивал торжествующе: «Подумать только: «Трудно раздавить того, кто пресмыкается у тебя под ногами!» — причем при каждом новом возгласе смех в зале становился все громче. Чудак не замечал ни восторга, в который приводила публику злополучная фраза, ни смехотворности своей собственной фигуры: облаченный в черную мантию, он подпрыгивал, словно в танце, обводя аудиторию блуждающим взглядом вдохновенных глаз, горящих на бледном челе.

Когда судьи возвратились и огласили свое решение: «Невиновен!» — в зале раздались рукоплескания. Ко мне бросились молодые люди, проникшие в зал благодаря адвокатским мантиям; среди них был и господин Каррель. Во дворе меня окружила еще большая толпа; началась драка между моей свитой и полицией. В конце концов я с трудом добрался до дома в окружении толпы, следовавшей за моим фиакром с криками: «Да здравствует Шатобриан!»

В другое время это оправдание означало бы очень много: ведь, объявив человека, сказавшего герцогине Беррийской: «Сударыня, ваш сын — мой король!» — невинным, суд выносил обвинительный приговор Июльской монархии; однако ныне этот оправдательный вердикт не значит ровно ничего, ибо ныне никакое мнение не живет дольше суток; назавтра все меняется: завтра меня могут осудить за то, в чем оправдали сегодня.

Я оставил свою визитную карточку у моих присяжных, в частности у господина Шеве, одного из членов *всенародного пэрства*.

Честному гражданину было легче отыскать в своей душе решение в мою пользу, нежели было бы мне отыскать в своем кошельке деньги на праздничный обед у моего судьи *: господин Шеве высказался относительно *законной монархии, узурпации* и автора «Гения христианства» более справедливо, чем многие публицисты и цензоры.

27. *Популярность*

Париж, апрель 1833 года

«Записка о пленении госпожи герцогини Беррийской» доставила мне огромную популярность в роялистских кругах. Со всех концов страны ко мне прибывали депутации и письма. На Севере и юге Франции соотечественники поддерживали меня, сочиняли письма с тысячами подписей. Авторы всех писем, ссылаясь на мою брошюру, требовали освободить госпожу герцогиню Беррийскую. Сто пятьдесят молодых парижан явились приветствовать меня, причинив тем самым немало беспокойства полиции; я получил в подарок чашу из позолоченного серебра с надписью: «Шатобриану от верноподданных вильневцев (Ло-и-Гаронна)». Жители одного южного города прислали мне отличного вина, которым можно было бы наполнить эту чашу, но я не пью. Наконец, легитимистская Франция избрала слова: «Сударыня, ваш сын — мой король!» — своим девизом, а многие газеты поставили их эпитафией; их гравировали на ожерельях и кольцах. Я первым бросил в лицо узурпатору слова, которые никто не решался произнести; а между тем — странная вещь! — я меньше верю в воцарение Генриха V, чем самый презренный член партии «золотой середины» и самый пылкий республиканец.

Вообще я не вкладываю в слово «узурпация» того узкого смысла, какой придают ему роялисты; об этом понятии, равно как и о понятии законной монархии, можно рассуждать долго; но когда опекун обкрадывает доверенного его заботам ребенка и выгоняет из дома сироту, это самая настоящая узурпация, и притом худшая из всех возможных. Все эти громкие слова о необходимости «спасать отечество» — просто предлоги, которые подсказывает тщеславию безнравственное политиканство. Уж не прикажете ли считать вашу воровскую трусость подвигом добродетели? Уж не Брут ли вы, приносящий сыновей в жертву великому Риму *?

Жизнь моя сложилась так, что я могу сравнивать литературную славу с общественной популярностью: первая несколько часов нравилась мне, но эта любовь быстро прошла. Что же до популярности, то к ней я равнодушен, ибо во время революции видел немало любимцев народа: толпа поднимала их на щит, и та же толпа очень скоро сбрасывала их в помойную яму. Демократ по

природе, аристократ по привычкам, я охотно пожертвовал бы народу состояние и жизнь, лишь бы не иметь никаких отношений с толпой. Тем не менее молодые люди, которые в Июле торжественно несли меня на руках в палату пэров, глубоко взволновали мое сердце, ибо я не был их предводителем и не разделял их убеждений; они знали, что я принадлежу к числу их противников, но отдавали мне должное, видя во мне поборника чести и свободы; такое благородство тронуло меня. Популярность же среди моих собственных единомышленников оставила меня равнодушным; между мною и роялистами давно нет полного согласия: мы мечтаем увидеть на троне одного и того же короля; в остальном желания наши противоположны.

КНИГА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ *

1. *Богадельня Марии Терезы*

Париж, улица Анфер, 9 мая 1833 года

Я дошел в рассказе о последних событиях до нынешнего дня: смогу ли я наконец вернуться к своему труду? Труд этот состоит в том, чтобы довести до конца те части этих «Записок», что еще не завершены. Мне будет нелегко вновь приняться за них *ex abrupto*⁷, ибо голова моя занята происшествиями животрепещущими; я не готов тревожить покойный сон моего прошлого, столь бурного при жизни. Я взял перо, чтобы писать; о чем и о ком? сам не знаю.

Пробегая взглядом дневник, где я уже полгода отчитываюсь перед самим собой в том, что я делаю, и в том, что со мной случается, я вижу, что большая часть страниц помечена улицей Анфер.

Домику у заставы, где я живу, красная цена шестьдесят тысяч франков, однако, будучи куплен в эпоху, когда цены на земельные участки сильно подскочили, он обошелся мне гораздо дороже, и я так и не смог выплатить всю сумму до конца: требовалось спасти богадельню Марии Терезы *, основанную заботами госпожи де Шатобриан и расположенную на соседнем участке; компания предпринимателей задалась целью приобрести наш дом и выстроить на его месте кафе и *русские горы*: столь шумные забавы плохо сочетаются с предсмертными муками.

Приносят ли мне счастье мои жертвы? без сомнения; помогать несчастным — всегда счастье; я охотно разделю с неимущими то небольшое, что имею; не знаю, однако, достойна ли моя благотворительность названия добродетели. Я добр, как смертник, раздающий другим то, что ему самому через час уже не

⁷ Внезапно, сразу (*лат.*).

понадобится. В Лондоне осужденный на смерть продает свою шкуру, чтобы напоследок выпить: я не продаю свою, но отдаю могильщикам даром.

Раз уж я купил дом, то умнее всего было поселиться в нем: я привел его в теперешний вид. Из окон гостиной видно прежде всего то, что англичане зовут *pleasure-ground*⁸ — авансцена, поросшая дерном и обрамленная кустарником. За этой лужайкой по ту сторону земляного вала, над которым высится белая узорчатая решетка, расстилается поле, засеянное разнообразными культурами, предназначенными на корм животным из богадельни. За полем начинается другой участок, который отделяет от поля живая изгородь из калины и шиповника; этот форпост моих владений состоит из рожицы, внутреннего дворика и тополевой аллеи. Этот чрезвычайно уединенный уголок, в отличие от уголка Горация — *angulus ridet*⁹, — не улыбается мне *. Совсем наоборот, я не раз там плакал. Пословица гласит: «Молодость проходит». Шутки, которые шутит с нами поздняя осень, заключаются в том, что и она имеет обыкновение проходить:

А жалость — род любви —
Свое имеет обаянье¹⁰.

Каких только деревьев нет в моем саду! Я посадил двадцать три соломоновых кедра и два друидических дуба: они показывают рожки своему кратковременному хозяину, *brevem dominum*. Аллея для игры в шары, окаймленная двумя рядами каштанов, ведет по отлогому склону из верхнего сада в нижний.

Деревья эти я выбирал не в память о тех местах, где побывал, как в Волчьей долине: тот, кто любит предаваться воспоминаниям, еще хранит надежды. Но если у человека нет ни детей, ни молодости, ни родины, какую привязанность может он питать к деревьям, чьи листья, цветы, плоды уже не тайнопись, всдушая счет эпохам иллюзий? Напрасно мне говорят: «Вы молодеете»; разве можно принять мой зуб мудрости за молочный зуб? вдобавок этот зуб мудрости годен лишь на то, чтобы жевать горький хлеб королевской власти, воцарившейся 7 августа *. Впрочем, моим деревьям нет дела до того, служат ли они календарем моих забав или поминальником моих дней; они тянутся вверх, к небу, так же неотвратимо, как я клонюсь вниз, к земле: они сплетают свои ветви с деревьями, растущими во дворе Сиротского приюта и на бульваре Анфер и окружающими меня со всех сторон. Со своего порога я не вижу ни одного дома; в двухстах лье от Парижа я не был бы так отрезан от мира. Я слышу, как блеют козы, дающие молоко брошенным сиротам. Ах! если бы я, подобно этим детям, был питомцем Святого Венсана де Поля! плод слабости, темный и безвестный, как сама эта слабость, я был бы сегодня никому не

⁸ Площадка для игр (*англ.*).

⁹ Этот уголок мне давно по сердцу (*лат.*; Гораций. Оды, II, 6, 13; пер. Г. Церетели).

¹⁰ Лафонтен. Матрона Эфесская; пер. М. Гринберга.

ведомым работником, не имеющим никаких счетов с людьми, не знающим, ни для чего и как я вступил в жизнь, ни как и для чего должен ее покинуть.

Недавно стену, отделяющую мои владения от богадельни Марии Терезы, разрушили: теперь я живу разом в монастыре, на ферме, в саду и в парке. По утрам я просыпаюсь от звуков «Ангелуса»; лежа в постели, слышу, как поют священники в часовне; из окна вижу распятие на холме между орехом и бузиной; вижу коров, гусей, голубей и пчел; сестры милосердия в черных кисейных платьях и белых бумазейных чепцах, выздоравливающие женщины, старики священнослужители бродят в саду среди сирени, азалий, «помпадуров», рододендронов и роз, в огороде среди смородинных и малиновых кустов и меж овощных грядок. Иные из этих восьмидесятилетних кюре были со мной в изгнании: некогда мы делили нищету на лужайках Кенсингтонского парка; теперь я предоставил их слабеющей поступи газоны моей богадельни; здесь они влачат свою благочестивую старость, словно складки священного покрывала.

Компанию мне составляет большой рыже-серый кот с черными полосками, рожденный в Ватикане в одной из лоджий Рафаэля: папа Лев XII взрастил его в подоле своей сутаны; мне он приглянулся, еще когда я посещал папский дворец в бытность мою послом. Когда наместник Святого Петра умер, я унаследовал бесхозяйного кота, о чем мне уже приходилось упоминать при описании моего посольства в Риме. Зверя зовут Мичетто, а в просторечии *папский кот*. Благодаря своему происхождению он пользуется чрезвычайным почетом среди благочестивых душ. Я стараюсь, чтобы он не чувствовал себя изгнанником, забыл Сикстинскую капеллу и солнечный купол Микеланджело, по которому прогуливался вдалеке от земли.

Стоя рядом, мой дом и различные постройки *богадельни* с ее часовней и готической ризницей напоминают небольшое селение или хутор. В праздничные дни укрывшаяся у меня религия и нашедшая приют в моей богадельне старая монархия приходят в движение. Раздается пение, и процессия наших калек, предводительствуемая окрестными девушками, проходит под деревьями со святым причастием, крестом и хоругвью. Госпожа де Шатобриан идет следом с четками в руках, гордясь опекаемой ею паствой. Поют дрозды, чирикают славки, состязаются с церковными гимнами соловьи. Перед моим взором вновь встают прекрасные картины молитв перед Вознесением в сельской церкви, которые мне однажды уже случилось описывать *: от теории христианства я перешел к практике.

Жилище мое смотрит на запад. По вечерам освещенные сзади верхушки деревьев черным зубчатым силуэтом вырисовываются на золотом горизонте. В этот час ко мне возвращается молодость; она воскрешает ушедшие дни, ставшие от времени бесплотными призраками. Когда созвездия пронзают синий купол, я вспоминаю сверкающий небосвод, которым восхищался в дебрях американских лесов и в лоне океана. Ночь скорее, нежели день, обращает

путешественника к прошлому; она скрывает от него пейзажи, напоминающие об истинном его местонахождении; она являет его взорам лишь светила, одинаковые на разных широтах одного полушария. Он узнает эти звезды, на которые смотрел в иной стране, в иную пору; мысли, посещавшие его в различных уголках земли, чувства, пережитые там, возвращаются к нему и сходятся в одной точке небесного свода.

Светские новости долетают до дома призрения лишь во время сборов пожертвований да иногда по воскресеньям: в эти дни наша богадельня становится чем-то вроде приходской церкви. Старшая сестра утверждает, что прекрасные дамы приходят к мессе в надежде увидеть меня; эта находчивая хозяйка пользуется их любопытством: обещая показать меня, она увлекает их в свои уголья; а если уж гости попались в западню, она, хотят они того или нет, берет с них деньги за сласти. Она использует меня как приманку для продажи шоколада в пользу своих болящих, как Ла Мартиньер приобщал меня к сбыту смородиновой наливки, которую он выпивал за успех своих любовных походов * . Эта чистая душа крадет также исписанные перья из чернильного прибора госпожи де Шатобриан; она торгует ими среди истовых рожалистов, утверждая, что этими драгоценными перьями была написана *несравненная* «Записка о пленении госпожи герцогини Беррийской».

Несколько хороших картин испанской и итальянской школы, «Богоматерь» Герена, «Святая Тереза» — последний шедевр автора «Коринны» * внушают нам почтение к изобразительному искусству. Что до истории, то скоро в нашем приюте поселятся сестра маркиза де Фавраса и дочь госпожи Ролан: монархия и республика доверили мне искупить их неблагодарность и дать кров и пищу их жертвам.

В приют Марии Терезы принимают не всякого. Бедные женщины, принужденные покинуть богадельню после того, как здоровье их поправится, селятся неподалеку, надеясь заболеть снова, чтобы снова туда попасть. Ничто у нас не напоминает больницу; иудейку, протестантку и католичку, иноземку и француженку — всех встречают по-родственному, обо всех заботятся ненавязчиво; болящим кажется, будто они возвратились под материнское крыло. Я видел, как одна испанка, прекрасная, как *жемчужина Севильи* Доротея *, в семнадцать лет умирала от чахотки в общей спальне; на ее бледном, осунувшемся лице была написана радость, большие черные полуугасшие глаза с улыбкой глядели на госпожу супругу дофина, которая спрашивала, как ее здоровье, и уверяла, что она скоро поправится. Девушка умерла в тот же вечер вдали от кордовской мечети и берегов Гвадалквивира, своей родной реки: «Кто ты? — Испанка я. — Испанка здесь, у нас?» (Лопе де Вега).

Многие вдовы, чьи покойные мужья были кавалерами ордена Людовика Святого *, — наши постоянные гости: каждая приносит с собой единственное свое достояние — портрет супруга в мундире капитана пехоты: белая куртка

с розовыми или небесно-голубыми отворотами, «королевский» парик. Портреты отправляются на чердак. Я не могу смотреть на их полк без смеха: если бы старая монархия дождала до наших дней, мой портрет пополнил бы его ряды и пылился в каком-нибудь темном углу на потеху моим внучатым племянникам. «Это ваш двоюродный дедушка Франсуа, капитан Наваррского полка: он был весьма неглуп! Он напечатал в «Меркюр» логотиф *, который начинается словами: «Отрубите мне голову», а в «Альманахе муз» * любовное стихотворение «Вопль души».

⟨Парижские улицы в окрестностях богадельни; Шатобриан получает письмо из крепости Блай от герцогини Беррийской с просьбой отправиться к ее родным в Прагу и сообщить о ее браке с графом Луккези-Палли⟩

3. *Размышления и решения*

Чтение этих строк взволновало меня. Женщина, в чьих жилах течет кровь стольких королей, женщина, упавшая с такой высоты оттого, что не захотела внять моим советам, выказала благородную отвагу, обратившись ко мне, простив мне предсказания касательно неуспеха ее предприятия: это трогательное доверие было лестно для меня. Госпожа герцогиня Беррийская рассудила правильно; меня не мог оттолкнуть ее поступок, в результате которого она лишилась всего, что имела. Поставить на карту трон, славу, будущее, судьбу — поступок незаурядный: свет понимает, что принцесса может быть героической матерью. Омерзительно другое — беспримерная в своей непристойности пытка, которой правительство подвергло женщину слабую, одинокую, беспомощную, обрушившись на нее с такой силой, словно перед ним могучий исполин. Родители, сами отдающие свою дочь на поругание лакеям, держащие ее за руки и за ноги, чтобы она рожала при людях, призывающие местные власти, тюремщиков, шпионов, прохожих посмотреть на явление ребенка из чрева пленницы, как призывали Францию посмотреть, как рождается ее король *! И кто эта пленница? Дочь Генриха IV! И кто эта мать? Мать изгнанного сироты, чей трон занят узурпатором! Найдется ли на каторге семья, у которой достанет низости так надругаться над своим дитятей? Не великодушнее ли было бы убить герцогиню Беррийскую, нежели выказывать такое самовластие и подвергать ее такому унижению? Всей снисходительностью, проявленной в этом подлом деле, правительство обязано нынешней эпохе, всей жестокостью — самому себе.

Письмо и приписка госпожи герцогини Беррийской замечательны во многих отношениях: часть, относящаяся к воссоединению с Бельгией и к женитьбе Генриха V, обличает ум, рождающий серьезные замыслы; часть, касающаяся пражских родичей *, трогательна. Принцесса боится, что ей придется

задержаться в Италии, чтобы «немного оправиться и не слишком испугать детей происшедшей в ней переменной». Что может быть печальнее и безысходнее? Она добавляет: «Прошу вас, о господин де Шатобриан, передайте моим дорогим детям, что я люблю их всем сердцем» — и проч.

О госпожа герцогиня Беррийская! что могу сделать для вас я, слабое существо, почти полная развалина? Но как отказать в чем-либо женщине, написавшей: «Томясь в крепости Блай, я утешаюсь тем, что посланцем моим будет господин де Шатобриан, достойный моей вечной признательности».

Да, впереди у меня — последнее и самое славное из моих посольств: я отправлюсь от имени пленницы Блая в жилище пленницы Тампля*; отправлюсь, чтобы оговорить права госпожи герцогини ввиду перемен в ее семейном положении, чтобы передать детям-изгнанникам поцелуй матери-пленницы и предъявить невинности и добродетели письма, рожденные мужеством и несчастьем.

〈Отъезд из Парижа〉

5. Берега Рейна. 〈...〉

〈Шатобриан минует Базель〉

Уединенная жизнь в Альпах, на которую я обрек себя в прошлом году, казалась мне более счастливым концом, более сладостным уделом, нежели государственная деятельность, которой я снова предался. Питал ли я хоть слабую надежду, что госпожу герцогиню Беррийскую или ее сына ждет удача? Нет; вдобавок я был убежден, что, несмотря на мои недавние успехи, не найду в Праге друзей. Есть люди, которым присяга в верности Луи Филиппу не мешает хвалить роковые ордонансы, — судя по всему, они милее Карлу X, чем я, который никогда не шел на клятвopеступление. Это уж чересчур — быть вдвойне правым перед одним и тем же королем: люди предпочитают льстивое предательство суровой преданности. Итак, на пути в Прагу я напоминал самому себе сицилийского солдата времен Лиги, приговоренного к повешению в Париже; исповедник неаполитанцев, пытаюсь вдохнуть в него силы на пути к виселице, повторял: «Allegramente! Allegramente!»¹¹ Так блуждали мои мысли, куда лошади несли меня вперед; но, вспомнив о несчастьях матери Генриха V, я корил себя за сомнения.

〈Рейнский водопад; переправа через Дунай; Ульм〉

¹¹ Веселее! Веселее! (*ит.*)

8. <...> Угасание общественной жизни по мере удаления от Франции.—
Религиозные чувства немцев

20 и 21 мая 1833 года

<Регенсбург>

Франция — сердце Европы; по мере того как от нее удаляешься, общественная жизнь затухает; по большей или меньшей унылости края можно судить о том, какое расстояние отделяет его от Парижа. В Испании и Италии затишье и оцепенение не так заметны: в Испании вас занимают иной народ, иной мир, арабы-христиане; в Италии вам не оставляет времени скучать прелесть климата и искусств, очарование любовных утех и древних развалин. Но в Англии, несмотря на совершенство материального устройства общества, в Германии, несмотря на высокую нравственность жителей, душу охватывает смертельная тоска. В Австрии и Пруссии военное ярмо тяготее над вашими мыслями, как хмурое небо — над вашей головой; неведомо отчего вы сознаете, что не можете ни писать, ни говорить, ни думать независимо, что вам надобно отсечь от вашего существования все, что было в нем благородного, оставить без применения, словно ненужный дар божества, первейшее из свойств человека. Поскольку изящные искусства и красота природы не скрашивают ваш досуг, вам остается либо предаться грубому разврату, либо погрузиться в рассмотрение тех спекулятивных истин, какими довольствуются немцы. Для француза, во всяком случае для меня, такой образ жизни невозможен; я не понимаю жизни без достоинства, пусть даже она пленяет свободой, славой и молодостью.

И все же есть одна вещь, которая чарует меня в германском народе, — это религиозное чувство. Не ощущай я такой сильной усталости, я не сидел бы на постоялом дворе в Ниттенау над страницами этого дневника, а последовал бы за этими мужчинами, женщинами, детьми в храм, куда призывает их звон колокола. Я опустил бы на колени среди толпы единоверцев и слился с нею. Настанет ли день, когда философы в своем философическом храме благословят заезжего собрата и вознесут вместе с этим чужестранцем молитву Богу, касательно которого они и по сей день не могут прийти к согласию? Четки кюре надежнее: я выбираю их.

<Штабриан приезжает в Вальдмюнхен, на границу с Австрией; поскольку в целях конспирации он отправился в путешествие со своим старым дипломатическим паспортом, не заверенным в посольстве Австрии в Париже, таможенник не пропускает его; Штабриан обращается с письмом к наместнику Богемии графу фон Хотеку и два дня спустя получает от него разрешение на въезд в Австрию>

КНИГА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

⟨24 мая 1833 года Шатобриан прибывает в Прагу и сразу направляется в Градчанский замок, где король дает ему краткую аудиенцию; на завтра он видится в замке с детьми герцогини Беррийской: юным королем и его старшей сестрой — Mademoiselle (непереводимый придворный титул): «Mademoiselle сразу сказала мне: «О! Генрих сегодня утром вел себя так глупо: он испугался. Дедушка сказал нам: «Отгадайте, кого вы увидите завтра — это великий человек!» Мы сказали: «Неужели это император?» — «Нет», — отвечал дедушка. Мы старались угадать, но у нас ничего не выходило. Тогда он говорит: «Это господин виконт де Шатобриан». Я хлопнула себя по лбу — как же я не догадалась!»⟩

3. Беседа с королем

Прага, 25 мая 1833 года

В два часа я вернулся в замок, и господин де Блакас, как давеча, проводил меня к королю. Карл X принял меня с обычной приветливостью и изящной легкостью манер, особенно замечательной в его возрасте. Он снова усадил меня за маленький столик. Вот подробное изложение нашей беседы: «Ваше Величество, госпожа герцогиня прислала меня к вам и поручила передать письмо госпоже супруге дофина. Я не знаю, что содержится в этом письме, хотя оно и не запечатано; как и письмо к детям, оно написано симпатическими чернилами. Но в двух моих верительных грамотах, одной открытой, другой конфиденциальной, Мария Каролина объяснила мне свои намерения. На время своего пленения она, как я уже докладывал вчера Вашему Величеству, вверяет своих детей особому попечению госпожи супруги дофина. Кроме того, госпожа герцогиня Беррийская поручает мне представить ей отчет о воспитании Генриха V, именуемого здесь герцогом Бордоским. Наконец, госпожа герцогиня Беррийская уведомляет, что она вступила в тайный брак с графом Гектором Луккези-Палли, отпрыском знатного рода. Тайные браки не лишают принцесс их прав, тому есть немало примеров. Госпожа герцогиня Беррийская просит сохранить за ней титул французской принцессы, позволить ей остаться регентшей и опекуной сына. Когда она получит свободу, она намеревается приехать в Прагу, дабы обнять своих детей и поклониться Вашему Величеству».

Ответ короля был суров. Я с грехом пополам парировал его упреки.

«Прошу прощения, Ваше Величество, но мне кажется, что вам внушили предубеждение: господин де Блакас, верно, недруг моей августейшей клиентки».

Карл X прервал меня: «Нет; это она невзлюбила его за то, что он мешал ей делать глупости, препятствовал ее безумным затеям». — «Не всякому дано, — отвечал я, — делать глупости такого рода: Генрих IV, подобно госпоже герцогине, сражался за свои права, зачастую, как и она, не имея довольно силы».

«Ваше Величество,— продолжал я,— вы не хотите, чтобы госпожа герцогиня Беррийская оставалась французской принцессой: она останется ею вопреки вашей воле; весь мир всегда будет звать ее *герцогиня Беррийская*, героическая мать Генриха V; ее неустрашимость и страдания перевешивают все; вы не можете встать на сторону ее врагов; вы не можете, уподобившись герцогу Орлеанскому, желать гибели сразу и детям и матери: ужели вам так трудно простить женщине ее славу?»

«Ну что же, *господин посол*,— сказал король, добродушно подчеркнув последние слова,— пусть госпожа герцогиня Беррийская отправится в Палермо, пусть, не таясь, поселится там со своим супругом, тогда детям скажут, что мать их вышла замуж, и она придет их обнять».

Я почувствовал, что немало преуспел; я выполнил три четверти намеченного: добился сохранения титула и права на более или менее скорый приезд в Прагу; уверенный, что в остальном мне поможет госпожа супруга дофина, я переменял тему беседы. Имея дело с людьми упрямыми, не стоит торопиться: желая получить у них все сразу, можно остаться ни с чем.

Я перешел к тому, как следует воспитывать принца в интересах будущего: здесь я не встретил большого понимания. Религия сделала Карла X нелюдким: ум его недоступен свежим веяниям. Я вставил несколько слов об одаренности господина де Барранда и бездарности господина де Дамаса *. Король сказал: «Господин де Барранд человек ученый, но одному ему не справиться; он был приглашен, чтобы учить герцога Бордоского точным наукам, а преподает все: историю, географию, латынь. Я призвал аббата Маккарти, чтобы он взял часть предметов на себя; он умер: я обратил свой взор на другого преподавателя; он скоро прибьет».

Эти слова привели меня в трепет, ибо новый преподаватель наверняка принадлежал к иезуитскому ордену: на место одного иезуита призвали другого. Одно то, что Карлу X явилась мысль приставить сегодня к Генриху V последователя Лойолы, обрекало королевский род на неминуемое поражение.

Когда я пришел в себя от изумления, я сказал: «Не боится ли Ваше Величество, что общественное мнение осудит обращение к ордену прославленному, но оклеветанному?»

Король воскликнул: «Как! неужели они все еще воюют с иезуитами?»

Я рассказал королю о выборах и о желании роялистов узнать его волю. Король отвечал: «Я не могу сказать человеку: «Принесите клятву, противную вашей совести». Те, кто считают своим долгом принести такую клятву, руководствуются, спору нет, благими намерениями. Я, друг мой, отношусь к людям без предубеждения; мне не важно, что они делали в прошлом, если нынче они искренно хотят служить Франции и законной монархии. Республиканцы написали мне в Эдинбург; что до их личных притязаний, я готов был удовлетворить их все до единого, но они хотели навязать мне условия правления — их

я отверг. Я никогда не поступаюсь принципами; я хочу оставить моему внуку трон более прочный, нежели мой собственный. Обрели ли французы сегодня больше счастья и свободы, чем во времена моего правления? Платят ли они меньше налогов? Франция — просто дойная корова! Если бы я позволил себе четверть того, что позволяет себе господин герцог Орлеанский, какой поднялся бы шум! Сколько проклятий обрушилось бы на мою голову! Заговорщики готовились свергнуть меня, они в этом признались: я хотел защитить себя...»

Король остановился, словно запутавшись в одолевающих его мыслях и боясь обидеть меня.

Все это верно, но что понимал Карл X под *принципами*? отдал ли он себе отчет в причине подлинных или мнимых заговоров, имевших целью положить конец его правлению? Он помолчал, потом заговорил вновь: «Как поживают ваши друзья Бертены? У них, сами знаете, нет причин жаловаться на меня: они не щадят изгнанника, не причинившего им никакого зла, по крайней мере, насколько мне известно *. Но, мой дорогой, я ни на кого не сержусь, каждый поступает по своему разумению».

Видя его мягкосердечие, это христианское смирение изгнанного и оклеветанного короля, я не мог сдержать слез. Я хотел сказать несколько слов о Луи Филиппе. «Ах! — отвечал король. — Герцог Орлеанский... он рассудил... чего вы хотите?.. Таковы люди». Ни одного горького слова, ни одного упрека, ни одной жалобы не проронил трижды изгнанный старец. А ведь рука француза отрубила голову его брату и вонзила кинжал в сердце его сына *; как забыть деяния этой руки, не знавшей пощады!

Я от всего сердца и с нескрываемым волнением похвалил короля. Я спросил, не собирается ли он прекратить все тайные сношения, дать отставку всем комиссарам, вот уже сорок лет обманывающим законную монархию. Король заверил меня, что решил положить конец этим беспомощным дрязгам; он уже избрал, сказал он, несколько серьезных людей, в том числе и меня, чтобы составить во Франции своего рода совет, который бы осведомлял его об истинном положении дел. Подробности мне предстояло узнать от господина де Блакаса. Я попросил Карла X, чтобы он собрал своих людей и выслушал меня вместе с ними; он отослал меня к господину де Блакасу.

Я заговорил с королем о совершеннолетию Генриха V; я убеждал его, что в эту пору полезно будет выступить с декларацией. Король, который внутренне противился этому решению, предложил мне сочинить образец таковой. Я отвечал почтительно, но твердо, что никогда не стану составлять декларацию, под которой за именем короля не следовало бы мое собственное имя. Я не хотел принимать на себя ответственность за те изменения, которые могут внести в документ князь фон Меттерних и господин де Блакас.

Я изъяснил королю, что он находится слишком далеко от родины, что

покуда весть о начавшейся в Париже революции дойдет до Праги, во Франции успеют свершиться еще два или три новых переворота. Король возразил, что император дал ему возможность избрать местом своего пребывания любое из австрийских владений, за исключением Ломбардского королевства. «Но,— продолжал Карл X,— все города Австрии, где можно жить, находятся приблизительно на одинаковом расстоянии от Франции: в Праге я не плачу за жилье, а в моем положении приходится быть расчетливым».

Благородный расчет для монарха, который в течение пяти лет получал на свои нужды по двадцать миллионов из государственной казны, не считая тех денег, что шли на содержание королевских резиденций; для монарха, который оставил Франции в наследство колонию Алжир и исконные владения Бурбонов, приносящие от 25 до 30 миллионов дохода!

Я сказал: «Ваше Величество, вашим подданным не раз приходило на ум, что короля, возможно, одолевает нужда; они готовы собрать деньги, кто сколько сможет, дабы вы не зависели от чужестранцев». — «Я полагаю, дорогой мой Шатобриан,— со смехом сказал король,— что вы ненамного богаче меня. Во сколько вам обошлось ваше путешествие?» — «Ваше Величество, я не добрался бы до вас, если бы герцогиня Беррийская не приказала своему банкиру господину Жюу выдать мне шесть тысяч франков». — «Как мало! — воскликнул король.— Не нужно ли вам еще денег?» — «Нет, Ваше Величество, напротив, мне следовало бы приложить все усилия к тому, чтобы возратить бедной пленнице хотя бы часть взятой у нее суммы, но я не мастер набивать карман». — «В Риме вы жили на широкую ногу?» — «Я исправно тратил то, что жаловал мне король; от этих денег у меня не осталось и двух су». — «Как вам известно, я сохранил за вами пенсию пэра, но вы от нее отказались» *. — «Да, потому что у Вашего Величества есть слуги более обездоленные, чем я. Вы выручили меня, заплатив двадцать тысяч франков, которые я задолжал в бытность свою послом в Риме, а также десять тысяч, которые я взял взаймы у вашего большого друга господина Лаффита». — «Это был мой долг вам,— отвечал король,— вы гораздо больше недополучили, когда отказались от должности посла, что, между прочим, меня больно обидело». — «Как бы там ни было, Ваше Величество, должны вы мне или нет, но, придя мне на помощь, вы оказали мне услугу, и я возвращу вам деньги, как только смогу, но не сейчас, ибо я беден, как церковная мышь; я до сих пор не выплатил необходимую сумму за мой дом на улице Анфер. Я живу вместе с теми несчастными, которых опекает госпожа де Шатобриан, дожидаясь той поры, когда я снова попаду во владения господина Жиске, где уже побывал однажды во имя Вашего Величества. Проезжая через город, я прежде всего осведомляюсь, есть ли в нем богадельня; если она есть, я могу спать спокойно: *«Постель, еда и кров, чего желать мне боле? *»*

— О! до этого дело не дойдет. Сколько вам нужно, Шатобриан, чтобы стать богатым?

— Ваше Величество, это пустое дело; дайте мне утром четыре миллиона, к вечеру у меня не останется ни гроша.

Король потрепал меня по плечу: «В добрый час! Но на что, черт возьми, вы тратите деньги?»

— Право, Ваше Величество, я и сам не знаю: у меня нет никаких пристрастий, я ничего не покупаю: это непостижимо! Я так глуп, что, вступив в дипломатическую службу, отказался от двадцати пяти тысяч на обзаведение, а уходя в отставку, не захотел попользоваться секретными фондами! Вы говорите со мной о моем состоянии, чтобы избежать разговора о вашем.

— Вы правы,— сказал король,— вот вам моя исповедь: я рассчитал, сколько должен тратить в год, чтобы прожить до конца своих дней, не прибегая ни к чьей помощи. Окажись я в бедственном положении, я предпочел бы, как вы мне и предлагаете, обратиться к французам, а не к иностранцам. Мне предлагали кредит, в том числе один заем в тридцать миллионов; выплаты по нему должны были производиться в Голландии, однако этот заем понизил бы курс французских акций на главных биржах Европы, и я отверг его: я не могу согласиться на то, что угрожает благосостоянию Франции». Чувство, достойное короля!

В этой беседе заметны великодушный характер, мягкий нрав и здравый смысл Карла X. Занятное было бы зрелище для философа: в замке, принадлежащем властителям Богемии, подданный и король расспрашивают друг друга о положении дел и признаются в том, что оба — нищие.

4. Генрих V

Прага, 25 и 26 мая 1833 года

По окончании беседы с королем я присутствовал на уроке верховой езды Генриха. Он упражнялся на двух лошадях: одну, без стремени, он гонял на корде, на другой, со стременем, скакал по кругу, отпустив поводья; согнутыми в локтях руками он держал за спиной тросточку. Мальчик смел и весьма элегантен — в белых панталонах, курточке, брыжах и каскетке. Господин О'Хежerti-старший, берейтор, кричал ему: «Что у вас за нога! Она же как палка! Работайте ногой! Хорошо! Ужасно! Что это с вами сегодня?» — и проч. и проч. По окончании урока юный паж-король останавливает лошадь посреди манежа, резким движением снимает каскетку, приветствуя меня, сидящего на трибуне вместе с бароном де Дамасом и несколькими французами, после чего спрыгивает на землю, легкий и грациозный, как маленький Жан де Сентре *.

Генрих худ, ловок, хорошо сложен, светловолос, голубоглаз; в левом глазу у него сверкает искорка, что придает ему сходство с матерью. Движения у него

резкие, он смело вступает в разговор, не скрывает любопытства и задает много вопросов; в нет нет ни капли того педантизма, который приписывают ему газетчики; это настоящий двенадцатилетний мальчик, как все мальчики этих лет. Я похвалил его успехи в верховой езде. «Это еще что, — отвечал он, — видели бы вы меня на вороном; он злой, как черт; взбрыкивает, сбрасывает меня на землю, я снова вскакиваю на него, мы берем барьер. На днях он ушибся и у него сильно распухла нога. Последний конь, на котором я ехал, хорош, верно? Но я сегодня не в ударе».

Генрих нынче ненавидит барона де Дамаса, чей облик, нрав, идеи ему неприятны. Он часто сердится на него. За вспышки гнева принца приходится наказывать; иногда его заставляют лежать в постели — глупое наказание. Является некий аббат Молиньи, он исповедует мятежника и пугает его адскими муками. Упрямец ничего не желает слушать и отказывается от еды. Тогда госпожа супруга дофина признает правоту Генриха, он принимается за еду и смеется над бароном. Этим порочным кругом исчерпывается воспитание принца.

Если герцогу Бордоскому что и потребно, так это легкая рука, которая вела бы его, не давая почувствовать узду, гувернер, который был бы ему не столько командиром, сколько другом.

Если бы род Людовика Святого был, подобно роду Стюартов, неким частным семейством, изгнанным революцией, заточенным на острове, новые поколения быстро утратили бы интерес к судьбе Бурбонов. С нашей древней короной дело обстоит совсем по-другому: она — воплощение древней королевской власти, а эта власть — родоначальница и средоточие политического, нравственного и религиозного прошлого народов. Участь рода, столь тесно связанного с прежним общественным порядком, столь сросшегося с порядком грядущим, никогда не будет безразлична людям. Но какая бы участь ни была уготована этому роду в целом, судьба отдельных его представителей, которых злой рок преследует без усталости и без пощады, окажется, по всей вероятности, плачевна. Несчастные эти существа будут идти по жизни в забвении, а рядом вечно будет греметь слава их достопамятных предков.

Нет ничего горестнее судьбы низложенных монархов; дни их — сплошное переплетение реальностей и вымыслов: у себя дома, среди своей челяди и своих воспоминаний, они по-прежнему царствуют, но за дверью, у самого порога, их поджидает ироническая истина: Яков II и Эдуард VII, Карл X и Людовик XIX * превращаются за воротами собственного дома в обыкновенных Карлов или Людовигов, безо всяких цифр, в людей, ничем не отличающихся от соседей-чернорабочих; им тяжело вдвойне, ибо они живут и придворной и частной жизнью: в первой их донимают льстецы, фавориты, интриганы, честолюбцы, во второй — позор, нужда, пересуды; длится нескончаемый маскарад, где слуги и министры то и дело меняются платьем. Такая обстановка

портит настроение, гасит надежды, усугубляет сожаления; в душе просыпаются воспоминания о прошлом; несчастные создания упрекают других и винят себя, причем укоризны их звучат тем более горько, что в них не остается и следа от правил хорошего тона — плода высокого происхождения — и условленных приличий — плода безбедного существования. Заурядные страдания делают заурядными самих страдальцев; хлопоты о возвращении трона вырождаются в семейные склоки: ни Клименту XIV, ни Пию VI так и не удалось восстановить мир в лоне семьи английского претендента *. Весь мир настороженно следит за этими чужаками, лишившимися короны: властители отталкивают их, боясь заразы несчастья, народ глядит на них с подозрением, боясь отравы тиранства.

Я пошел переодеться: меня предупредили, что я вправе явиться на обед к королю в рединготе и сапогах, но несчастье — слишком важная персона, чтобы держаться с ним запанибрата. Я прибыл в замок без четверти шесть; стол был накрыт в одной из приемных. В гостиной я встретил кардинала Латиля. Мы не виделись с тех пор, как я принимал его в Риме, в посольском дворце, когда после смерти Льва XII конклав выбирал нового папу. Как переменялась с той поры моя судьба и судьба мира!

Кардинал остался прежним живчиком с кругленьким брюшком, острым носом, бледным лицом; точно таков же он был, когда на моих глазах в приступе ярости потрясал перед палатой пэров ножом из слоновой кости. Меня уверяли, что он не имеет в Праге никакого веса и кормится подачками вперемежку с тумачами; возможно, но влияние влиянию рознь; то, которым пользуется кардинал, тайно, но от этого ничуть не менее очевидно; он обязан им долголетнему пребыванию при королевской особе и священному сану. Аббат де Латиль был доверенным лицом короля: от стихаря исповедника неотрывно памятование о госпоже де Поластрон *; сердце старого монарха помнит престелье последних человеческих слабостей и сладость первых религиозных чувств.

Постепенно зала заполнилась: прибыли господин де Блакас, господин А. де Дамас, брат барона, господин О'Хежерти-старший, господин и госпожа де Коссе. Ровно в шесть появились король с сыном; все ринулись к столу. Король усадил меня слева от себя; господин дофин сидел справа; господин де Блакас занял место напротив короля, между кардиналом и госпожой де Коссе; остальные гости расселись, как попало. Дети обедают с дедом лишь по воскресеньям: король лишает себя единственной радости, возможной в изгнании, — тепла семейного очага.

Обед был скудный и не слишком вкусный. Король нахваливал рыбу из Влтавы, но она оказалась совсем нехороша. Четверо или пятеро слуг в черном бродили по столовой, словно послушники; дворецкого не было и в помине. Каждый сам брал кушанье с блюда, которое стояло перед ним, и предлагал другим. Король ел с охотой, просил передать ему яства и сам передавал то, что

у него просили. Он был в хорошем расположении духа; страх его передо мной рассеялся. Разговор крутился вокруг избитых тем: говорили о богемском климате, о здоровье госпожи супруги дофина, о моем путешествии, о том, что завтра Троицын день; ни слова о политике. Господин дофин сидел, уткнув нос в тарелку, и лишь изредка вступал в разговор, обращаясь к кардиналу Латилю: «Князь церкви, сегодня утром читали Евангелие от Матфея?» — «Нет, ваша светлость, от Марка». — «Как от Марка?» Тут вышел долгий спор насчет апостола Марка и апостола Матфея, и кардинал потерпел поражение.

Обед продлился около часа; король встал, мы последовали за ним в гостиную. На столе лежали газеты, все расселись и принялись читать, как в кафе.

Пришли дети: герцог Бордоский со своим гувернером, Mademoiselle со своей гувернанткой. Они обняли деда, потом подбежали ко мне; мы пристроились в проеме окна, откуда открывался великолепный вид на город. Я вновь похвалил мастерство наездника. Mademoiselle немедленно повторила мне то, что я слышал утром от ее брата: что я ничего не видел, что пока вороной хромает, судить ни о чем нельзя. К нам подседа госпожа де Гонто; господин де Дамас устроился поодаль, прислушиваясь к нашему разговору в забавной тревоге, словно боясь, что я съем его воспитанника, стану толковать с ним о свободе печати или восхвалять госпожу герцогиню Беррийскую. Я посмеялся бы над его опасениями, если бы пример господина де Полиньяка не отучил меня смеяться над убогими. Генрих вдруг спросил меня: «Вы видели вещей змей?» — «Ваша светлость имеет в виду удавов; ни в Египте, ни в Тунисе их нет, а больше я нигде в Африке не был; но я видел много змей в Америке». — «Да-да,— сказала принцесса Луиза,— я читала в «Гении христианства» про гремучую змею».

Я поклонился, благодаря Mademoiselle. «Но вы видели много других змей? — продолжал Генрих.— Они злые?» — «Встречаются очень опасные, а есть совсем не ядовитые, и их заставляют танцевать». Дети радостно придвинулись поближе, не сводя с меня заблестевших глаз.

«Еще есть стеклянная змея,— сказал я,— она очень красивая и ничуть не опасная; она прозрачная и хрупкая, как стекло; стоит ее коснуться, как она разбивается». — «А куски не могут снова срастись?» — спросил принц.— «Нет, братец»,— ответила за меня Mademoiselle.— «А Ниагарский водопад вы видели? — не унимался Генрих.— Он страшно грохочет? там можно проплыть на корабле?» — «Ваша светлость, один американец забавы ради направил туда большую лодку; другой американец, по слухам, сам бросился в водопад; он уцелел; тогда он попробовал еще раз и убился». Дети вскрикнули и всплеснули руками.

В разговор вступила госпожа де Гонто: «Господин де Шатобриан побывал в Египте и в Иерусалиме». Mademoiselle захлопала в ладоши и придвинулась ко мне еще ближе. «Господин де Шатобриан,— попросила она,— расскажите же моему брату о пирамидах и Гробе Господнем».

Я как мог рассказал о пирамидах, о священном гробе, об Иордане и Святой земле. Дети слушали меня с удивительным вниманием: Mademoiselle сидела, подперев руками свое очаровательное личико и едва не поставив локти мне на колени, а Генрих забрался с ногами в высокое кресло.

После этой прелестной беседы о змеях, водопаде, пирамидах, Гробе Господнем, Mademoiselle сказала мне: «Спросите у меня, пожалуйста, что-нибудь из истории». — «Как из истории?» — «Ну, задайте мне вопрос, что происходило в таком-то году, самом темном во всей истории Франции, только не спрашивайте про семнадцатый и восемнадцатый века, мы их еще не проходили». — «А мне, — воскликнул Генрих, — больше нравятся годы знаменитые: спросите меня о какой-нибудь славной дате». Он был не так уверен в себе, как сестра.

Сначала я выполнил желание принцессы и спросил: «Хорошо, Mademoiselle, не скажете ли вы мне, что происходило во Франции в 1001 году и кто ею правил?» Тут брат с сестрой погружаются в раздумья, Генрих тербит себя за вихор, Mademoiselle закрывает лицо руками — она часто так делает, — словно играет в прятки, потом резко открывает юное веселое личико и с улыбкой глядит на меня своими чистыми глазами. Она ответила первой: «Королем Франции был Робер, папой римским — Григорий V *, византийским императором — Василий III...» — «А императором Священной Римской империи — Оттон III, — закричал Генрих, чтобы не отстать от сестры, и продолжал: — в Испании правил Веремонд II»; Mademoiselle перебила: «А в Англии — Этельред». — «Нет, — возразил ее брат, — там был Эдмунд Железное Ребро». Права была Mademoiselle; Генрих ошибся на несколько лет в пользу своего любимца по прозвищу Железное Ребро, но все равно успехи детей поражали воображение.

«А мой знаменитый год?» — спросил Генрих полусердито. — «Вы правы, ваша светлость: что происходило в 1593 году?» — «Ну, — воскликнул юный принц, — это год отречения Генриха IV» *. Mademoiselle залилась краской оттого, что не успела ответить первой.

Пробило восемь часов, и голос барона де Дамаса резко оборвал нашу беседу, как молоток башенных часов останавливал моего отца, расхаживавшего по большой зале в Кембурге.

Милые дети! старый крестоносец рассказал вам свои приключения в Палестине, но рассказал не в замке королевы Бланки! Чтобы встретиться с вами, он со своим пальмовым посохом, в запыленных сандалиях переступил холодный порог чужбины. Напрасно пел Блондель у подножия башни австрийских герцогов *; голос его не открыл вам пути на родину. Юные изгнанники, путник, видевший дальние страны, утаил от вас часть своей истории; поэт и пророк не сказал вам, что в лесах Флориды и в горах Иудеи познал столько же отчаяния, печалей и страстей, сколько в вас чаяний, веселья и невинности;

что был день, когда, уподобясь Юлиану Отступнику, он швырнул в небо капли своей крови * — крови, которую милосердный Господь сохранил ему, дабы он мог искупить ту кровь, которую посвятил проклятому божеству.

Перед уходом принц пригласил меня на урок истории, назначенный на ближайший понедельник, на одиннадцать утра; госпожа де Гонто удалилась вместе с Mademoiselle.

Тут произошла смена декораций: сначала будущая королевская власть в лице ребенка втянула меня в свои игры; теперь прежняя королевская власть в лице старца заставила меня присутствовать при своих. При свете двух свечей в углу темной залы началась партия в вист между королем и дофином, с одной стороны, и герцогом де Блакасом и кардиналом Латилем — с другой. Мы с берейтором О'Хежerti были единственными зрителями. В окна, ставни которых не были закрыты, просачивались сумерки, смешивая свое бледное свечение с бледным мерцанием свечей. Монархия угасала меж этих двух гаснущих огней. Глубокую тишину нарушали только шелест карт да редкие сердитые возгласы короля. Карты, забавлявшие некогда латинян, воскресли вновь, дабы скрасить невзгоды Карла VI: но у Карла X нет ни Ожье, ни Лаира, способных дать этим спутникам несчастья свои имена.

Когда игра окончилась, король пожелал мне доброй ночи. Я прошел через те же пустынные темные залы, которыми шел накануне, по тем же лестницам, тем же дворам, мимо той же стражи и, спустившись по склону холма, долго блуждал по темным улицам, пока не добрался до постоянного двора. Карл X оставался в заточении среди черных глыб, которые я покинул: невозможно описать, как тосклива его одинокая старость.

〈Визиты и знакомства Шатобриана в Праге〉

9. Троицын день.— Герцог де Блакас

Прага, 27 мая 1833 года

После обеда в семь часов вечера я отправился к королю; я встретил там всех давешних особ, кроме герцога Бордоского, который прихворнул после воскресного посещения церкви. Король полулежал на канале, Mademoiselle сидела на стуле прямо перед ним, и Карл X, глядя внучку по руке, рассказывал ей разные истории. Юная принцесса слушала внимательно: когда я вошел, она взглянула на меня с улыбкой рассудительной особы, как бы говоря: «Ничего не поделаешь, приходится развлекать дедушку».

— Шатобриан, — воскликнул король, — почему вы не пришли вчера?

— Ваше Величество, я слишком поздно узнал, что вы оказываете мне честь,

приглашая меня к обеду; кроме того, в Троицын день мне не дозволено видеть Ваше Величество.

— Отчего это? — спросил король.

— Ваше Величество, ровно девять лет назад в Троицын день я явился засвидетельствовать вам мое почтение, но меня не пустили *.

Карл X, казалось, взволновался:

— Из пражского замка вас не прогонят.

— Да, Ваше Величество, ибо я не вижу здесь тех преданных слуг, которые выпроводили меня во времена процветания.

Вист начался, а день кончился.

После партии я отдал визит герцогу де Блакасу. «Королю, — сказал он, — угодно, чтобы мы побеседовали». Я отвечал, что, поскольку король не счел необходимым созвать совет, перед которым я мог бы изложить свои идеи касательно будущего Франции и совершеннолетия герцога Бордоского, мне сказать нечего. «У Его Величества больше нет совета, — отпарировал господин де Блакас с дребезжающим смешком и самодовольно взглянул на меня, — у него есть только я, один я».

Обер-гофмейстер имеет о себе самое высокое мнение — недуг всех французов. Послушать его, так он всезнающ и всемогущ; он выдал замуж герцогиню Беррийскую *, он распоряжается королями, он водит за нос Меттерниха, он держит за шиворот Нессельроде, он правит Италией, он высек свое имя на обелиске в Риме, у него в кармане ключи от конклавов, три последних папы обязаны ему своим возведением на папский престол; он так хорошо знает общественное мнение, он так хорошо соразмеряет свое честолюбие со своими возможностями, что, сопровождая госпожу герцогиню Беррийскую *, испросил себе грамоту, назначающую его главой регентского совета, премьер-министром и министром иностранных дел! Вот каково понятие этих несчастных о нынешней Франции и нынешнем веке.

А ведь господин де Блакас самый умный и самый умеренный из всей шайки. В беседе он держится рассудительно; он никогда не вступает в спор: «Вы полагаете? Я не далее как вчера говорил то же самое. Мы с вами думаем совершенно одинаково!» Зависимое положение ему опостылело; он устал от дел, он мечтает жить в каком-нибудь забытом Богом уголке и почить там с миром вдали от света. Что до его влияния на Карла X, об этом не стоит и говорить; все думают, будто он подчинил себе короля: заблуждение! Он бессилен чего бы то ни было добиться от короля. Король не слушает его; утром он что-то отвергает, вечером принимает, не объясняя, отчего переменяет мнение, и проч. Когда господин де Блакас рассказывает вам свои байки, он говорит *правду*, ибо он никогда не противоречит королю, но он говорит *не всю правду*, ибо он внушает Карлу X только те волеизъявления, которые отвечают желаниям короля.

Вдобавок господин де Блакас знает, что такое отвага и честь; он не лишен великодушия, его отличают преданность и верность. Вращаясь в высшем свете, он перенял повадки аристократов. Он родовит; он происходит из бедного, но древнего рода, отличавшегося в поэзии и в ратных подвигах. Его чопорные манеры, самоуверенность, строгое следование этикету помогают его господам хранить благородство, которое так легко утратить в несчастье: во всяком случае, в пражском музее негнувшиеся доспехи поддерживают в стоячем положении тело, которое иначе рухнуло бы на землю. Господин де Блакас в меру деятелен, он быстро справляется со своими повседневными обязанностями; он любит порядок и точность. Он — знаток некоторых областей археологии, лишенный воображения любитель искусства и хладнокровный распутник; взволновать его не в силах даже его собственные страсти; такая невозмутимость была бы достоинством для государственного мужа, если бы не проистекала исключительно из веры в собственный гений, гений же этот подобной веры не заслуживает: в его владельце, так же, как в соотечественнике герцога де Блакаса Лавалетте, герцоге д'Эперноне *, чувствуется вельможа-неудачник.

Реставрация либо наступит, либо не наступит; если реставрация произойдет, господин де Блакас обретет должности и почести; если реставрации не произойдет, обер-гофмейстер останется при своем состоянии, хранящемся почти целиком вне пределов Франции; Карл X и Людовик XIX умрут, а он, господин де Блакас, состарится: дети его не покинут принца-изгнанника: им обеспечено звание знатных иностранцев при иностранных дворах: слава Господу и всем делам его!

Таким образом, выходит, что революция, которая возвысила и низвергла Бонапарта, принесла богатство господину де Блакасу: не одно, так другое. Господин де Блакас с его каменным лицом, вытянутым и бесцветным,—могильщик монархии; он хоронил ее в Хартвелле, он хоронил ее в Генте, он еще раз похоронил ее в Эдинбурге и будет хоронить в Праге или в любом другом месте; он вечно караулит останки августейших покойников, как крестьяне, живущие у моря, вечно подбирают обломки потерпевших крушение кораблей, которые море выбрасывает на берег.

〈Описание Праги; прощание Шатобриана с королем〉

13. Что я оставляю в Праге

Прага и в дороге, 29 и 30 мая 1833 года

Я ехал в Прагу в большой тревоге. Я говорил себе: часто для того, чтобы погубить нас, Богу довольно бывает вверить нам наши собственные судьбы; Бог творит ради людей чудеса, но потом предоставляет людям действовать само-

стоятельно, ибо иначе ему пришлось бы править во плоти, люди же портят плоды его чудес. Преступление не всегда карается в этом мире: проступки караются всегда. Преступление имеет ту же бесконечную и общую природу, что и человек; суть его ведома одному небу, оно же порою и вершит над преступником свой суд. Иное дело — мелкие и случайные оплошности; они подлежат рассмотрению недалекого земного правосудия: поэтому нет ничего невозможного в том, чтобы люди строго покарала последние просчеты монархии.

Я говорил себе и другое: королевские семьи не раз совершали непоправимые ошибки, проникнувшись ложными представлениями о своей природе: они то почитают себя особами божественными и исключительными, то видят в себе простых смертных и частных лиц; в зависимости от обстоятельств они ставят себя то выше всеобщего закона, то в его рамки. Если они нарушают политические установления, то утверждают, что имеют на это право, ибо они — источник закона и их никак нельзя судить по общим меркам. Если они заблуждаются в домашнем быту, например, дают наследнику трона опасное воспитание, то на все возражения отвечают: «Частное лицо может обращаться со своими детьми, как ему заблагорассудится, а нам это не позволено?»

Да, вам это не позволено: вы не боги, но вы и не частные лица, вы — люди общественные, вы принадлежите обществу. Промахи короля пагубны не для одной королевской власти, они оборачиваются против страны в целом: король оступается и уходит, но разве может уйти целый народ? А ведь он тоже чувствителен к боли; разве люди, сохранившие верность отсутствующей монархии, жертвы собственной чести, не губят свою карьеру, разве не навлекают преследования на своих близких, разве не утрачивают свободу, разве не рискуют жизнью? Повторяю еще раз: королевская власть — отнюдь не частная собственность, это достояние общее, неделимое; от прочности трона зависит жизнь всех людей. Я боялся, что тревоги, неизбежные в несчастье, заслонят от монарха эти истины и он ничего не делает, чтобы вовремя к ним вернуться.

С другой стороны, признавая огромные достоинства салического закона *, я не закрывал глаза на то, что слишком долгое правление одной и той же династии грозит серьезными неудобствами и народам и королям: народам — потому что оно слишком тесно сплетает их судьбу с судьбой королей; королям — потому что вечная власть пьянит их; они отрываются от жизни; всякий, кто не преклоняет перед ними колен, не приносит им смиренные просьбы, не заверяет их в низжайшем почтении, кажется им святотатцем. Несчастье ничему их не учит; беда в их глазах всего лишь грубая плебейка, обходящаяся с ними без должной почтительности, а катастрофы — не более чем дерзость.

К счастью, я ошибся: Карл X избежал тех возвышенных заблуждений, что рождаются на вершине общества; он, как я увидел, предавался лишь заблуждениям заурядным и пребывал в уверенности, что несчастье обрушилось на него

неожиданно — ошибка более простительная. Все врачует самолюбие брата Людовика XVIII: он видит, как рушится политический мир, и не без оснований приписывает это крушение своей эпохе, а не своей особе: разве Людовик XVI не погиб? разве республика не пала? разве Бонапарту не пришлось дважды покинуть театр своей славы и разве не умер он в плену на далекой скале? Разве европейские троны не находятся под угрозой? Неужели же он, Карл X, мог сделать больше, чем все эти низвергнутые правители? Он искал защиты от врагов; донесения полицейских агентов и настроения, царившие в обществе, служили ему сигналом опасности: он взял инициативу в свои руки; он не стал ждать, пока начнут наступать другие, а пошел в наступление сам. Разве герои трех мятежей не признали, что плели заговор, что в течение пятнадцати лет ломали комедию? Ну что ж! Карл счел своим долгом сделать усилие; он попытался спасти французскую законную монархию, а с нею и монархию европейскую; он вступил в бой и проиграл; он пожертвовал собою во спасение монархий; вот и все: Наполеона настигло Ватерлоо, Карла X — июльские дни.

Так мыслит несчастный монарх; он остается неколебим под шквалом событий, гнетущих и стопорящих его ум. Неподвижность сообщает ему некое величие: наделенный недюжинным воображением, он слушает вас, он ничуть не возмущается вашими мыслями, он делает вид, будто вникает в них, на самом деле нимало их не разделяя. Существуют общие места, которые люди используют как заслон; спрятавшись за эти укрепления, они ведут оттуда стрельбу по умам, движущимся вперед.

Распространенная ошибка — убеждать себя на примере событий, многократно повторявшихся в истории, будто род человеческий топчется на месте; те, кто так полагает, путают страсти с идеями: первые одинаковы во все времена, вторые меняются от эпохи к эпохе. Материальные последствия некоторых поступков в различные эпохи схожи, причины же, их породившие, различны.

Карл X видит в себе воплощенный принцип; в самом деле, есть люди, которые, храня верность неизменным идеям, передаваемым из поколения в поколение, превратились в самые настоящие памятники. Иные люди, благодаря эпохе, на которую пришлась их жизнь, и собственному своему превосходству, становятся *вочеловеченными вещами*; люди эти погибают одновременно с гибелью этих вещей: Брут и Катон были римской республикой во плоти; они не могли пережить ее, как не может сердце биться в обескровленном теле.

(Шатобриан цитирует взятое из его брошюры «Король умер, да здравствует король!» (1824) описание характера Карла X)

Я уже не раз прославлял этого монарха: модель постарела, но сохранила сходство с давним портретом: с годами мы блекнем и утрачиваем некую психическую правду — свет и цвет нашего лица, однако люди питают неволь-

ную симпатию к лицам, которые увяли одновременно с их собственными. Я пел хвалы роду Генриха IV; я охотно повторю их, что не помешает мне бороться с заблуждениями законной монархии и, если ей суждено возродиться, вновь навлечь на себя ее немилость. Все дело в том, что законная конституционная королевская власть всегда казалась мне самым безопасным и верным путем к полной свободе. Я считал и буду считать себя добропорядочным гражданином, ибо прославлял и даже преувеличивал достоинства законной монархии, дабы по мере сил помочь ей просуществовать столько, сколько необходимо для постепенного преобразования общества и нравов.

Я оказываю услугу памяти Карла X, противопоставляя чистую и простую истину тому, что скажут о нем в будущем. Политические противники будут выставять его человеком, нарушившим свои клятвы и посягнувшим на общественные свободы: ничего подобного. Он не кривил душой, нападая на Хартию; он не считал и не должен был считать себя клятвопреступником; он имел твердое намерение восстановить эту Хартию, как он ее понимал, но сначала желал ее спасти. Карл X таков, каким нарисовал его я: мягкий, хотя и вспыльчивый, добрый и нежный с близкими, любезный, легкий, благодушный, наделенный достоинствами подлинного рыцаря: набожностью, благородством, галантностью, но не лишенный слабости, что, впрочем, не исключало пассивной храбрости и умения достойно встретить смерть; неспособный довести до конца ни благое, ни дурное начинание, полный предрассудков своего века и звания; подходящий король для обычной эпохи, в эпоху необычную — человек, несущий не горе, но гибель.

14. Герцог Бордоский

Что же касается до герцога Бордоского, то его в Градчанах хотят воспитать королем-всадником, размахивающим шпагой. Конечно, неплохо, чтобы он вырос отважным, однако было бы ошибкой полагать, что сегодня кто бы то ни было признает право завоевания, что сегодня довольно быть Генрихом IV, дабы возвратить себе трон. Без храбрости править нельзя; но, чтобы править, одной храбрости недостаточно: Бонапарт уничтожил веру в непогрешимость победителя.

⟨Предыстория реставрации Бурбонов⟩

Три завоевания законной монархии неоспоримы: она вошла в Кадис; она победила в Наваринском сражении * и дала независимость Греции; она освободила христианские народы, захватив Алжир: предприятия, в которых потерпели поражение Бонапарт, Россия, Карл V и Европа. Назовите мне власть кратковременную (и притом столь непрочную), которая бы успела свершить так много.

Положа руку на сердце, я считаю, что, говоря о законной монархии, ничего не преувеличил и изложил одни только факты. Несомненно, Бурбоны не хотели бы и не могли бы восстановить монархию дворцовую и замкнуться в кругу знати и священников; несомненно, на трон их возвели не союзники; они были случайным следствием, а не причиной наших несчастий, каковой причиной, бесспорно, явился Наполеон. Но несомненно также и другое: возвращение королевской династии совпало, к несчастью, с успехом чужеземного оружия. Казаки появились в Париже как раз тогда, когда туда вернулся Людовик XVIII: в то время Франция терпела унижения, частные интересы находились в опасности, страсти были накалены до предела; тогда казалось, что Реставрация и вторжение — одно и то же; Бурбоны пали жертвой неразберихи, клеветы, превратившейся, как это много раз случалось, в истину-ложь. Увы! Трудно избежать бедствий, которые производят природа и время; сколько с ними ни борись, правота в этой битве не всегда приводит к победе. Псиллы, народ, обитавший некогда в Африке, с оружием в руках восстали против южного ветра; поднялся вихрь и унес храбрецов: «Покинутой землей,— говорит Геродот,— завладели назамоньены».

Говоря о последнем бедствии, постигшем Бурбонов, я вспоминаю их первые шаги: у колыбели династии звучало некое мрачное предвещание. Не успел Генрих IV стать властелином Парижа, как роковое предчувствие поселилось у него в душе. Постоянно возобновлявшиеся покусения не смуглили его мужество, но лишили его природной веселости. На процессии в честь Святого Духа 5 января 1595 года он появился в черном, с пластырем на верхней губе: Жан Шатель, метивший ему в сердце, промахнулся и задел рот. Король был мрачен; госпожа де Баланьи осведомилась, в чем дело. «Как могу я быть довольным,— отвечал он,— видя в народе толикую неблагодарность: изо дня в день делаю я и делаю для него все, что могу, и с радостью отдал бы за него тысячу жизней, буде Господь наградил бы меня ими, народ же, что ни день, строит мне новые ковы, ибо с тех пор, как я здесь, ни о чем другом никто и не говорит».

А народ тем временем кричал: «Да здравствует король!» — «Ваше Величество,— сказал один из придворных,— поглядите, с какой радостью встречает вас народ». Генрих покачал головой: «Народ есть народ. Будь на моем месте мой злейший враг, народ встречал бы его с такой же радостью и кричал бы еще громче».

Один сторонник Лиги, увидев, что король сидит в глубине кареты, сказал: «Вон он, забился в зад своей повозки». Не кажется ли вам, что этот сторонник Лиги говорит о Людовике XVI, следующем из Тампля на эшафот?

В пятницу 14 мая 1610 года король, возвращаясь вместе с Бассомпьером и герцогом де Гизом из монастыря фельянов, сказал: «Нынче все вы меня не цените, но когда меня не станет, вы поймете, чего я стоил, и узнаете разницу между мной и прочими людьми». — «Бог мой, Ваше Величество,— возразил

Бассомпьер,— прекратите ли вы когда-нибудь смущать нас разговорами о вашей скорой смерти?» Тут маршал принялся толковать Генриху о его славе, процветании, добром здравии, продлевающем молодость. «Друг мой,— отвечал король,— со всем этим придется расстаться». Равальяк уже ждал его у ворот Лувра.

Бассомпьер удалился и в следующий раз увидел короля уже в его покоях.

«Он лежал,— рассказывает маршал,— на постели, и господин де Вик, сидя на ее краю, прижимал святой крест к его губам, дабы напомнить ему о Боге. Вошел господин ле Гран и, пав на колени подле кровати, принялся осыпать поцелуями его руку, я же, горько плача, припал к его ногам».

Таков рассказ Бассомпьера.

Одолеемый этими грустными воспоминаниями, я словно бы воочию видел, как по длинным залам Градчанского замка проходят последние Бурбоны, с видом *грустным и меланхолическим*, как шел первый из Бурбонов по галерее Лувра: я приехал, дабы припасть к ногам испутившей дух королевской власти. Умерла ли она навеки или ей суждено воскреснуть, я буду верен ей до конца: республика для меня начнет существовать лишь после окончательной гибели монархии. Если Парки, которым предстоит издать мои записки, предадут их тиснению не сразу, то по их появлении те, кто прочтут их целиком и все взвесят, смогут судить, насколько ошибался я в своих сожалениях и предположениях. Уважая несчастье, уважая то, чему я служил и буду служить до скончания дней ценою своего вечного покоя, я вывожу эти слова, верны они или ошибочны, на моих закатных часах, этих сухих и легких листьях *, которые вскоре развеет дыхание вечности.

Если королевские династии отмирают (оставим в стороне будущие возможности и живучие надежды, вечно гнездящиеся в душе человеческой), не лучше ли оставить им конец, достойный их величия: пусть они вместе со столетиями отступают во мрак прошлого. Если вы снискали оглушительную славу, не стремитесь пережить ее: мир устает от вас и вашего шума; он сердится, что вы все время маячите перед глазами: Александр, Цезарь, Наполеон ушли из жизни, повинувшись законам известности. Чтобы умереть красивым, надо умереть молодым; не ждите, пока дети весны скажут: «Как! и это тот гений, тот человек, то поколение, которым рукоплескал мир, за чей волосок, улыбку, взгляд люди готовы были отдать жизнь!» Какое грустное зрелище — старый Людовик XIV, которому не с кем поговорить о своем веке, кроме старого герцога де Вильеуа! Последней победой великого Конде была встреча с Боссюэ *, пришедшим к краю его могилы: оратор оживил немые воды Шантийи; он вернул детство старику, воскресил отрочество юноши; в своем бессмертном прощальном слове он возвратил сединам победителя при Рокруа темный цвет. Вы, дорожащие славой, позаботьтесь о вашей могиле; улягтесь в ней поудобнее, постарайтесь принять благообразный вид, ибо здесь вам пребывать вечно.

КНИГА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

1. Госпожа супруга дофина

Дорога из Праги в Карлсбад тянется по унылым равнинам, обогранным кровью во времена Тридцатилетней войны. Проезжая ночью этими полями брани, я склоняю голову перед богом воинств, кому небо служит щитом. Вдалеке виднеются поросшие лесом холмы, у подножия которых раскинулись озера. Остроумцы из числа карлсбадских врачей сравнивают эту дорогу со змеей Эскулапа, которая спускается с холма, дабы испить из чаши Гигии *.

С высоты городской башни *Штадттурм*, башни, увенчанной колокольной, сторожа, завидев путника, трубят в рог. Меня, как всякого умирающего, приветствовал веселый звук, и каждый житель долины мог радостно сказать себе: «Вот едет человек, больной артритом, вот жалующийся на ипохондрию, вот страдающий близорукостью!» Увы! я был куда лучше — я был больной неизлечимый.

В семь часов утра 31 мая я прибыл в «Золотой эю» — постоялый двор, содержащийся на средства знатного, но разорившегося графа Больцони. В этой гостинице уже обосновались граф и графиня де Коссе (они опередили меня) и мой земляк генерал де Трогофф, в недавнем прошлом комендант замка Сен-Клу, некогда рожденный в Ландивизьо в свете луны из города Ландерно * и при всей своей невзрачности ухитрившийся стать капитаном австрийских гренадеров в Праге во время революции. Он посетил своего изгнанного сеньора, преемника святого Клодоальда, который некогда жил отшельником в пустыни Сен-Клу *, и теперь, совершив это паломничество, возвращался в Нижнюю Бретань. Он вез с собою двух соловьев — венгерского и богемского, которые так звонко жаловались на жестокость Теря *, что не давали уснуть никому из постояльцев. Трогофф пичкал соловьев рубленным бычьим сердцем, но не мог утешить птиц в их горе.

Et moestis late loca questibus implet ¹².

Мы с Трогоффом обнялись, как два бретонца. Генерал, маленький и квадратный, как корнуэльский кельт, прячет под прямою лукавство и имеет в запасе немало остроумных историй. Госпожа супруга дофина благоволит к нему и, поскольку он знает немецкий, прогуливается в его обществе. Узнав от графини де Коссе о моем приезде, она пригласила меня посетить ее в половине десятого либо в полдень; я явился в полдень.

Она занимает отдельный дом на краю деревни на правом берегу Теплы,

¹² Знай повторяет, вокруг все жалобой скорбною поля (лат.; Вергилий. Георгики, IV, 515; пер. С. Шервинского).

речушки, которая спускается с горы и пересекает Карлсбад. Я поднимался в покои принцессы, охваченный волнением: меня ждала встреча, едва ли не первая в жизни, с совершенным воплощением человеческих страданий, с христианской Антигоной. Мое знакомство с госпожой супругой дофина было самое поверхностное; в пору своего недолгого благоденствия она едва успела бросить мне два или три слова; она всегда держалась со мною скованно. Хотя я всю жизнь писал и говорил о ней не иначе как с глубоким восхищением, госпожа супруга дофина не могла не разделять по отношению ко мне предрасудков того стада прихлебателей, что окружало ее: королевская семья прозябала, отрезанная от мира, в этой цитадели глупости и зависти, которую безуспешно осаждали новые поколения.

Дверь мне открыл слуга; госпожа супруга дофина сидела в глубине гостиной, меж двух окон, на софе и вышивала. Я был так взволнован, что не знал, достанет ли у меня сил приблизиться к принцессе.

Она уткнулась в рукоделие, словно желала спрятать волнение, охватившее и ее тоже, но при виде меня подняла голову и сказала: «Рада вас видеть, господин де Шатобриан; король известил меня о вашем приезде. Вы хорошо спали ночь? вы, верно, устали».

Я почтительно подал ей письма госпожи герцогини Беррийской; она взяла их, положила подле себя на канапе и сказала мне: «Садитесь, садитесь». Затем быстрым, машинальным, судорожным движением она вернулась к своему вышиванию.

Я молчал; госпожа супруга дофина также хранила молчание: было слышно, как игла протыкает ткань и тянет за собой шерстяную нитку, которую принцесса резким движением накладывает на канву; я заметил несколько слезинок, упавших на рукоделие. Прославленная страдальца вытерла глаза тыльной стороной руки и, не поднимая головы, спросила: «Как чувствует себя моя сестра? Она очень несчастна, очень. Мне ее так жаль, так жаль». Эти короткие повторяющиеся слоги тщетно пытались заменить беседу, для которой у обоих собеседников недоставало слов. У супруги дофина были красные от постоянных слез глаза, придававшие ее лицу сходство с прекрасной Девой Марией Страждущей *.

— Сударыня,— сказал я наконец,— госпожа герцогиня Беррийская и вправду очень несчастна; она поручила мне приехать к вам и на время ее пленения верить ее детей вашим заботам. В ее горестях ей послужит великим утешением мысль, что Генрих V обретет в Вашем Величестве вторую мать.

Паскаль был прав, говоря, что величие и ничтожество нераздельны в человеке: кто бы мог подумать, что госпожа супруга дофина дорожит этими титулами королевы, Величества, столь для нее естественными и уже явившими ей свою суежность? И все же слово «Величество» оказалось волшебным словом; оно озарило лицо принцессы ясным светом, на мгновение прогнав тучи, которые, впрочем, вскоре вернулись и венцом окружили ее чело.

— Ах, нет, нет, господин де Шатобриан,— сказала принцесса, подняв на меня глаза и отложив рукоделие,— я не королева.

— Вы королева, сударыня, королева по законам королевства: его светлость дофин мог отречься лишь потому, что был королем. Франция почитает вас своей королевой, и вы станете матерью Генриху V.

Госпожа супруга дофина больше не спорила: эта маленькая уступка женской природе приглушала блеск многообразного величия принцессы, придавала ему некое очарование и приближала мою прославленную собеседницу к простым смертным.

Я прочел вслух мою верительную грамоту, где госпожа герцогиня Беррийская извещала меня о своем замужестве, приказывала мне отправиться в Прагу, просила не лишать ее титула французской принцессы и поручала своих детей попечению сестры.

Принцесса вновь взялась за вышиванье; когда я дочитал, она сказала: «Госпожа герцогиня Беррийская права, она может на меня положиться. Прекрасно, господин де Шатобриан, прекрасно: мне очень жаль мою невестку, передайте ей это».

Настойчивость, с какой госпожа супруга дофина твердила о своей жалости к госпоже герцогине Беррийской, не идя дальше, показала мне, сколь, в сущности, слабые узы связывали эти две души. Мне показалось также, что в сердце святой шевельнулась ревность. Соперничество в несчастье! А ведь для дочери Марии Антуанетты соперничество это не представляло никакой опасности: пальма первенства осталась бы за ней.

— Если бы вам, сударыня,— продолжал я,— угодно было прочесть письмо, которое госпожа герцогиня Беррийская написала вам, и то, которое она адресовала своим детям, вы, быть может, нашли бы в них дальнейшие уточнения. Я надеюсь, что вы передадите со мной ответное письмо в Блай.

Письма была написаны симпатическими чернилами. «Я ничего в этом не смыслю,— сказала принцесса,— как быть?» Я предложил прибегнуть к жаровне с несколькими щепками; Madame ¹³ потянула за шнурок звонка, свисавший позади софы. Явился слуга, выслушал приказание и поставил жаровню на площадке у дверей гостиной. Madame поднялась, мы подошли к жаровне и водрузили ее на столик у самой лестницы. Я взял одно из писем и поднес к огню. Госпожа супруга дофина смотрела на меня с улыбкой, ибо у меня ничего не получалось. Она сказала: «Дайте-ка я попробую». Она подержала письмо над огнем; на бумаге проступили слова, написанные крупным почерком герцогини Беррийской; то же самое было проделано со вторым письмом. Я поздравил Madame с успехом. Странная сцена: дочь Людовика XVI разгадывает вместе со мною на карлсбадской лестничной

¹³ Непереводимый придворный титул, обозначающий старшую дочь короля.

площадке таинственные письма, которые прислала тампльской узнице узница блайская!

Мы вернулись в гостиную. Супруга дофина прочла обращенное к ней письмо. Госпожа герцогиня Беррийская благодарила сестру за участие, которое та приняла в ее несчастье, поручала ей своих детей, в особенности же вверяла попечению добродетельной тетки своего сына. Письмо к детям представляло собою короткую нежную записку. Герцогиня Беррийская призывала Генриха стать достойным Франции.

Госпожа супруга дофина сказала: «Сестра отдает мне должное. Я и вправду приняла участие в ее горестях. Она, верно, много страдала, много страдала. Скажите ей, что я позабочусь о господине герцоге Бордоском. Я его люблю. Как вы его нашли? Он в добром здравии, не так ли? Натура у него крепкая, хотя и немного нервная».

Я провел наедине с Madame два часа: честь, которая мало кому выпадала; она, казалось, была довольна. Слыша обо мне только дурное, она, несомненно, почитала меня человеком жестоким, раздувающимся от гордости; она была мне благодарна за то, что я оказался добрым малым, похожим на простых смертных. Она сказала мне ласково: «Я отправляюсь на прогулку, мне пора пить воду; мы обедаем в три часа, приходите, если не ляжете отдыхать. Вы можете бывать у меня, когда вам заблагорассудится».

Не знаю, чему я обязан своим успехом, но лед явно был сломан, предубеждение рассеялось; эти глаза, которые были прикованы в Тампле к глазам Людовика XVI и Марии Антуанетты, благожелательно останавливались на бедном слуге.

Но если супругу дофина мне удалось ободрить, то сам я чувствовал себя в высшей степени неуютно: страх переступить некую черту лишил меня даже самых обычных навыков беседы, которых я не терял в присутствии Карла X. Оттого ли, что я не сумел пробудить в душе Madame то, что таилось в ней возвышенного, оттого ли, что почтение препятствовало изъяснению мыслей, но я чувствовал, что держусь с удручающей бездарностью.

В три часа я вернулся к госпоже супруге дофина. У нее я застал госпожу графиню Эстергази с дочерью, госпожу д'Агу, господина О'Хежерти-младшего и господина де Трогоффа; они удостоились чести обедать у принцессы. Графиня Эстергази в молодости блистала красотой, но и сейчас еще хороша собой: в Риме она была в связи с герцогом де Блакасом. Уверяют, что она не чужда политике и доносит господину князю фон Меттерниху обо всем, что слышит. Когда Madame освободили из Тампля и отослали в Вену, она встретила там с графиней Эстергази и подружилась с ней. Я заметил, что графиня внимательно вслушивается в мои речи; на завтра она простодушно обронила в моем присутствии, что всю ночь писала. Она собиралась в Прагу, где у нее было назначено тайное свидание с господином де Блакасом; оттуда

ей предстояло отправиться в Вену. Старые привязанности, помолодевшие благодаря шпионажу! Какие труды и какие забавы! Мадемуазель Эстергази нехороша собой, у нее вид барышни умной и злой.

Ударившаяся нынче в благочестие виконтесса д'Агу — влиятельная особа из тех, что есть при каждой принцессе. Она, как могла, радела своим родным, обращаясь ко всем, в том числе и ко мне: я имел счастье пристраивать ее племянников, которых у нее было не меньше, чем у великого канцлера Камбасереса.

Обед был такой невкусный и скудный, что я встал из-за стола голодным; подан он был в гостиной, ибо столовой у супруги дофина не было. После еды стол унесли; Madame снова села на софу, снова взялась за рукоделье, а мы уселись вокруг нее в кружок. Трогофф рассказывал истории, Madame это любит. Особенно занимают ее женщины. Заговорили о герцогине де Гиш. «Косы ей не идут», — сказала супруга дофина, к моему великому изумлению.

Со своего места она через окно наблюдала за всем, что происходит на улице, называла по имени гуляющих дам и кавалеров. Появились два пони с жокеями, одетыми на шотландский манер; Madame оторвалась от рукоделия, долго всматривалась и наконец произнесла: «Это госпожа (я забыл имя) едет с детьми в горы». Мария Тереза, представшая кумушкой, знающей привычки соседей, принцесса тронов и эшафотов, спустившаяся с высоты своей судьбы до уровня других женщин, особенно занимала меня; я наблюдал за ней с неким философским умилением.

В пять часов супруга дофина отправилась покататься в коляске; в семь я вернулся, чтобы провести у нее вечер. Все та же картина: Madame на софе, давешние сотрапезники да еще пять или шесть молодых и старых любительниц целебных вод вокруг нее. Супруга дофина прилагала трогательные, но заметные усилия, дабы быть любезной; она старалась поговорить с каждым. Несколько раз она обращалась ко мне, с удовольствием произнося мое имя, чтобы все узнали, кто я такой, но после каждой фразы вновь впадала в задумчивость. Игла сновала у нее в руках, лицо склонялось над рукоделием; я видел принцессу в профиль и был поражен зловещим сходством: она стала походить на отца; когда я смотрел на ее голову, словно подставленную мечу страдания, мне казалось, будто я вижу голову Людовика XVI, ожидающего, когда на нее падет роковой булат.

В половине девятого вечер закончился; я вернулся к себе и лег спать, сложенный усталостью.

В пятницу 1 июня я встал в пять утра; в шесть я отправился в Мюленбад (купальня на мельнице): болящие теснились вокруг источника, прогуливались по деревянной галерее с колоннами либо по саду, прилегающему к этой галерее. Госпожа супруга дофина появилась в жалком платье из серого шелка, с потертой шалью на плечах и в старой шляпе. Казалось, она сама чинила свою

одежду, как ее мать в Консьержери *. Господин О'Хежerti, берейтор принцессы, поддерживал ее под руку. Она смешалась с толпой и протянула свою чашку женщинам, черпающим воду из источника. Никто не обратил внимания на госпожу графиню де Марн *. Заведение, именуемое Мюленбад, построила в 1762 году Мария Терезия, ее бабушка; она же пожаловала Карлсбаду колокола, которым было суждено призывать ее внучку к подножию креста.

Когда Madame вошла в сад, я бросился к ней: ее, похоже, удивило это угодничество царедворца. Я редко вставал так рано ради августейших особ, разве что 13 февраля 1820 года *, когда поспешил в Оперу к герцогу Беррийскому. Принцесса позволила мне пять или шесть раз обойти вместе с нею сад, говорила приветливо, обещала принять меня в два часа и дать мне письмо. Я скромно удалился, наскоро позавтракал и все оставшееся время гулял по окрестностям.

⟨Исторические воспоминания, связанные с Карлсбадом⟩

4. Последняя беседа с супругой дофина. — Отъезд

Карлсбад, 1 июня 1833 года

В час пополудни я явился к госпоже супруге дофина.

— Вы хотите уехать сегодня, господин де Шатобриан?

— С позволения Вашего Величества. Я постараюсь застать госпожу герцогиню Беррийскую во Франции, иначе мне придется отправиться на Сицилию, и Ее Королевское Высочество не скоро получит долгожданный ответ.

— Вот письмо. На всякий случай я не называю в нем вашего имени, чтобы не подвергать вас опасности. Прочтите.

Я прочел записку, написанную целиком рукою госпожи супруги дофина; я переписал ее слово в слово.

«Карлсбад, 31 мая 1833 года.

Я испытала истинное удовольствие, дорогая сестра, получив наконец вести от вас. Я от всей души сочувствую вам. Вы всегда можете рассчитывать на мое неизменное участие в вас и особенно в ваших милых детях, которые дороги мне, как никогда. Жизнь моя, сколько бы она ни продлилась, будет принадлежать им. У меня еще не было возможности поговорить с родными о ваших просьбах, ибо здоровье мое требует, чтобы я пожила здесь, на водах. Но я выполняю их, как только вернусь в Прагу; прошу вас поверить, что отношение моих домашних к вам полностью совпадает с моим собственным.

Прощайте, дорогая сестра, я от всего сердца сочувствую вам и нежно вас целую.

М. Т.»

Я поразился сдержанности этого послания: несколько расплывчатых изъяснений привязанности плохо скрывали внутреннюю сухость. Я учтиво заметил это госпоже супруге дофина и вновь принялся отстаивать интересы бедной пленницы. Madame отвечала мне, что все зависит от короля. Она пообещала проявить участие к сестре, но ни в голосе, ни в тоне ее я не услышал сердечности, скорее в них звучало сдержанное раздражение. Я решил, что дело моей клиентки проиграно. Я переменял тему и заговорил о Генрихе V. Поскольку я всегда на свой страх и риск старался просветить Бурбонов и высказывал им то, что думаю, я почел своим долгом быть с принцессой чистосердечным; я без обиняков и без лести завел речь о воспитании господина герцога Бордоского.

— Я знаю, что вы, сударыня, с благосклонным вниманием прочли брошюру, в конце которой я излагаю несколько мыслей касательно воспитания Генриха V. Я опасаясь, не вредит ли делу окружение мальчика: господа де Дамас, де Блакас и Латиль не популярны во Франции.

Madame согласилась со мной; за господина де Дамаса она даже и не думала вступаться и лишь помянула в двух-трех словах его отвагу, неподкупность и благочестие.

— В сентябре Генрих V станет совершеннолетним. Не полагаете ли вы, сударыня, что стоило бы образовать совет и окружить Генриха V людьми, на которых Франция не смотрит с таким предубеждением?

— Господин де Шатобриан, чем больше советников, тем больше мнений; и потом, кого вы могли бы предложить?

— Господина де Виллеля.

Madame, склонившаяся над рукоделием, застыла с иглой в руке; она взглянула на меня с удивлением и, в свою очередь, удивила меня довольно верной оценкой нрава и склада ума господина де Виллеля. Она считала его не более чем ловким чиновником.

— Вы чересчур строги, сударыня,— возразил я,— господин де Виллель любит порядок, учет, он человек умеренный, хладнокровный, возможности его неистощимы; не стремись он стать первым человеком, для чего у него недостает таланта, его стоило бы включить в королевский совет пожизненно; он незаменим. Его присутствие рядом с Генрихом V оказало бы самое благотворное действие.

— Я думала, вы не любите господина де Виллеля?

— Я презирал бы себя, если бы после падения трона хранил в душе чувство мелочного соперничества. Распри среди роялистов принесли столько зла; я всем сердцем сожалею о них и готов просить прощения у тех, кто был несправедлив ко мне. Я умоляю Ваше Величество поверить, что не щеголяю притворным великодушием и не закладываю основу будущего благополучия. Чего мне просить у Карла X в изгнании? А если наступит Реставрация, разве не буду я к тому времени покоиться в могиле?

Madame взглянула на меня приязненно; в доброте своей она похвалила меня скупыми словами: «Прекрасно, господин де Шатобриан!» Казалось, ее не переставало удивлять, что *Шатобриан* вовсе не похож на того человека, какого ей описывали.

— Есть другое подходящее лицо, сударыня, — продолжал я, — мой благородный друг господин Лене. Во Франции было трое людей, которым ни в коем случае не следовало присягать Филиппу: я, господин Лене и господин Руайе-Коллар. Не завися от правительства и стоя на разных позициях, мы образовали бы триумvirат, который пользовался бы некоторым влиянием. Господин Лене принес присягу из слабости, господин Руайе-Коллар — из гордости; одного это сведет в могилу, другой будет этим жить, как живет всем, что делает, ибо все, что он делает, достойно восхищения.

— Вы остались довольны герцогом Бордоским?

— Он очарователен. Говорят, Ваше Величество его слегка балует.

— О нет, нет. Какого вы мнения о его здоровье?

— По-моему, он прекрасно себя чувствует; немного хрупок и бледноват.

— Часто бывает и так, что у него на щеках играет румянец, но он такой нервный. Господина дофина всерьез уважают в армии, не правда ли? всерьез уважают? о нем вспоминают, не правда ли?

Этот неожиданный вопрос, не связанный с тем, о чем мы говорили, открыл мне тайную рану, которую оставили в сердце супруги дофина события в Сен-Клу и Рамбуйе. Она спросила о муже, чтобы успокоить себя; я угадал мысль принцессы и супруги; я заверил ее, и не без оснований, что в армии вспоминают о справедливости, добродетелях, храбрости верховного главнокомандующего.

Видя, что наступает час прогулки, я спросил:

— У Вашего Величества нет больше приказаний? Я не хотел бы вам докучать.

— Передайте вашим друзьям, что я очень люблю Францию. Пусть они не забывают, что я француженка. Я прошу вас обязательно передать им это; вы доставите мне удовольствие, если скажете французам, что я вправду тоскую по Франции; я очень тоскую по Франции.

— Ах, сударыня, что вам до Франции? Вы столько страдали, ужели вы еще можете испытывать *тоску по родине*?

— Нет-нет, господин де Шатобриан, непременно скажите им всем, что я француженка; я — француженка.

Madame оставила меня; я еще долго стоял на лестнице, не решаясь выйти на улицу; я и поныне не могу вспоминать эту сцену без слез.

Вернувшись на постоянный двор, я надел дорожное платье. Покуда закладывали коляску, Трогофф болтал без умолку; он твердил, что госпожа супруга дофина премного мною довольна, что она этого не скрывает и рассказывает об

этом всем и каждому. «Ваше путешествие — великое дело! — вопил Трогофф, стараясь перекрычать своих соловьев. — Вы увидите, какие будут результаты!» Я не верил ни в какие результаты.

И оказался прав: в тот же вечер в Карлсбад должен был приехать герцог Бордоский. Все ждали его, но мне об этом ничего не сказали. Я предусмотрительно сделал вид, будто ничего не знаю.

В шесть часов пополудни я покатил в Париж. Как ни величественно несчастье пражских изгнанников, ничтожность жизни монарха, замкнутой в себе самой, невыносима; чтобы испить эту чашу до дна, следует сжечь свой дворец и одурманить свой ум пламенной верой. Увы! новый Симмах *, я оплакиваю покинутые алтари; я воздеваю руки к Капитолию; я славлю величие Рима! но что, если бог стал истуканом, а Риму уже не восстать из праха?

〈Путь из Карлсбада в Париж〉

7. 〈...〉 Ласточка

2 июня 1833 года

〈Шатобриан проезжает через Бамберг и Вюрцбург〉

В Бишофсгейме, где я обедал, к моему празднично накрытому столу явилась гостья: любопытная красавица ласточка, настоящая Прокна с красноватой грудкой села на железный крюк за моим распахнутым окном, поддерживающий вывеску «Золотое солнце», и вскоре защебетала нежнейшим голосом, глядя на меня с умным видом и не обнаруживая ни малейшего страха. Я никогда не жаловался, если меня будила дочь Пандиона; я никогда не называл ее *болтуньей*, как Анакреонт; напротив, я всегда приветствовал ее возвращение песней родосских детей: «Прилетела ласточка с ясною погодою, с ясною весною. Открой, открой скорее дверцу ласточке, Перед тобой не старики, а деточки»¹⁴.

— Франсуа, — сказала мне моя бишофсгеймская сотрапезница, — моя прапрабабушка жила в Комбурге, под кровлей твоей башенки; каждый год осенью она сопровождала тебя, когда, бороздя заросший тростником пруд, ты мечтал вечерами о своей сильфиде. Она появилась на твоём родном утесе в тот самый день, когда ты отплывал в Америку, и какое-то время летела за твоим парусом. Бабушка моя свила гнездо под окном Шарлотты; восемь лет спустя она вместе с тобой прилетела в Яффу; ты рассказал об этом в «Путешествии». Матушка моя, чирикавая на заре, провалилась однажды в каминную трубу и оказалась в твоём кабинете в министерстве иностранных дел; ты распахнул

¹⁴ Пер. А. Аргюшкова.

перед ней окно. У матушки было много детей; я из последнего выводка; мы уже встречались с тобой в римской кампанье, на старой дороге, ведущей в Тиволи, помнишь? У меня были такие черные, такие блестящие крылья! Ты взглянул на меня так грустно. Хочешь, улетим вместе?

— Увы, милая ласточка, ты так хорошо знаешь мою историю, ты чрезвычайно любезна, но я бедная полинявшая птица, и перья мои уже никогда не вырастут; я не могу улететь с тобой. Тебе не под силу нести меня, отягченного годами и горестями. И потом — куда нам лететь? Весна и теплые края мне уже не по летам. Тебе — воздух и любовь, мне — земля и одиночество. Ты улетаешь; да освежит роса твои крылья! да приютит тебя гостеприимная рея, когда ты устанешь в пути над Ионийским морем! да выпадет тебе покойный октябрь и да убережет он тебя от крушения! Передай мой привет афинским оливам, передай его и розеттским пальмам. Если в ту пору, когда зацветут цветы и ты возвратишься к нам, меня уже не будет среди живых, я приглашаю тебя на мои поминки: прилетай на закате ловить мошек в траве на моей могиле; я, как и ты, любил свободу и довольствовался малым.

8. *Постоялый двор в Визенбахе. — Немец и его жена. — Моя старость. — Гейдельберг. — Паломники. — Развалины. — Мангейм.*

3 и 4 июня 1833 года

Я продолжил свой путь по земле через несколько мгновений после того, как ласточка вспорхнула в небо. Ночь была пасмурная, бледная щербатая луна блуждала среди туч; при виде ее мои полусонные глаза закрывались; я словно умирал в таинственном свете, озаряющем мир теней: «Меня охватило некое тихое изнеможение, предвестие последнего покоя» (Мандзони) *.

Я останавливаюсь в Визенбахе: уединенный постоялый двор, узкая лощина, зажатая меж двух лесистых холмов. Брауншвейгский немец, такой же путешественник, как я, прибегает, услышав мое имя. Он пожимает мне руку, говорит о моих произведениях; жена его, сообщает он, учится читать по-французски по «Гению христианства». Он не устает поражаться моей *молодостью*. «Но, — добавляет он, — это моя ошибка; судя по вашим последним произведениям, я должен был воображать себе вас таким же молодым, каким вы кажетесь».

Жизнь моя переплелась со столькими историческими событиями, что в представлении моих читателей я так же стар, как сами эти события. Я часто поминаю свои седины — в самолюбивой надежде, что, увидев меня, люди воскликнут: «Ах! да он не так уж стар». С седыми волосами чувствуешь себя уютно: ими можно хвалиться; хвастать черными волосами было бы дурным

тоном: велика ли заслуга быть таким, каким родила вас мать! другое дело быть таким, каким сделали вас время, несчастье и мудрость,— это прекрасно! Моя маленькая хитрость несколько раз удавалась. Совсем недавно один священник пожелал со мной познакомиться; увидев меня, он онемел; когда дар речи вернулся к нему, он воскликнул: «Ах, сударь! Вы еще долго сможете бороться за веру!»

Однажды, будучи проездом в Лионе, я получил письмо от одной дамы; она просила меня дать место в моей карете ее дочери и довезти до Парижа. Просьба показалась мне странной, но, выяснив, что просительница — особа весьма почтенная, я написал учтивый ответ. Мать явилась вместе с дочерью, божественным созданием шестнадцати лет от роду. Едва бросив на меня взгляд, дама стала пунцовой; она утратила доверчивость: «Простите, сударь,— бормотала она,— это не уменьшает моего почтения к вам... Но вы понимаете, что приличия... Я ошиблась... Я так удивлена...» Я настаивал, не спуская глаз со своей будущей спутницы, которую спор наш, похоже, смешил; я возражал, обещал всячески опекать юную особу, мать рассыпалась в извинениях и реверансах. Обе дамы удалились. Я был горд, что внушил им столько страха. Казалось, Аврора на несколько часов вернула мне молодость. Дама воображала, что автор «Гения христианства» — почтенный аббат де Шатобриан, старый добряк, высокий и сухопарый, все время нюхающий табак из огромной жестяной табакерки, словом, человек, которому спокойно можно препоручить невинную пансионерку, направляющуюся в монастырь сердца Христова.

В Вене лет десять-пятнадцать назад рассказывали, что я живу один в некоем месте, которое называется Волчья долина. Дом мой стоит на острове: тот, кто хочет меня видеть, трубит в рожок с противоположного берега реки (река в Шатне! *). Тогда я выглядываю из своего убежища: если компания мне нравится (что случается крайне редко), я приплываю за гостями на лодке; если не нравится, то нет. Вечером я вытаскиваю мой челнок на берег, и остров становится недостижим. Право, так мне и следовало бы жить; эта венская байка всегда пленяла меня; вряд ли ее придумал господин фон Меттерних: он не так сильно меня любит.

Не знаю, что сказал немецкий путешественник своей супруге и поспешил ли он вывести ее из заблуждения относительно моей дряхлости. Я боюсь не потрафить ни черными волосами, ни седыми, боюсь не оказаться ни достаточно молодым, ни достаточно мудрым. Впрочем, в Визенбахе мне было не до кокетства: грустный северный ветер стонал под дверями и в коридорах гостиницы; а когда дует ветер, я влюблен только в него.

Дорога из Визенбаха в Гейдельберг идет вдоль по течению Неккара, зажатого меж крутых холмов, с которых леса спускаются на песчаную отмель, усыпанную красным железняком. Сколько рек повидал я на своем веку! Я встретил паломников из Вальтурена: они тянулись двумя параллельными

потоками по обе стороны тракта; экипажи ехали посередине. Женщины шли босиком, с четками в руках, неся на голове узелки с бельем; мужчины с непокрытой головой, также с четками в руках. Лил дождь; кое-где водянистые тучи, казалось, ползли прямо по склонам холмов. Корабли, груженные лесом, плыли вниз по течению, навстречу им двигались другие, под парусом или на буксире. Между холмами виднелись деревушки среди полей и богатых огородов, обрамленных шиповником и всевозможными цветущими кустарниками. Паломники, молитесь за моего бедного юного короля: он живет в изгнании, он ни в чем не повинен, он начинает свое паломничество, когда вы уже приступили к исполнению вашего, а я уже близок к завершению моего. Если Генриху не судьба царствовать, мне все-таки послужит к славе то, что я взял на борт моего утлого суденышка обломок столь грандиозного величия. Только Бог посылает попутный ветер и открывает вход в гавань.

По мере приближения к Гейдельбергу каменистое русло Неккара расширяется. Взорам являются городской порт и сам город, чей вид исполнен спокойствия. Вдали, над сушей, широко раскинулся горизонт: кажется, будто реку перегораживает запруда.

Триумфальная арка из красного камня возвещает о въезде в Гейдельберг. Слева на холме высятся развалины средневекового замка. Конечно, обломки готических построек живописны и воплощают в себе некоторые народные традиции, однако по сути дела интересны они только создавшим их народам. Что французу до всех этих немецких царедворцев, до всех этих дебелых, белотелых, голубоглазых принцесс? Ему куда дороже Святая Женеьевева Брабантская. В этих обломках нового времени нет ничего от народов нового времени, разве что христианская наружность и феодальный характер.

Не так обстоит дело с памятниками Греции и Италии; они принадлежат всем народам, в них — истоки человеческой истории, их письмена вняты всем образованным людям; само солнце в тех краях светит иначе. Даже развалины обновленной Италии интересны всем, ибо отмечены печатью искусств, а искусства принадлежат к сфере общественной. Тускнеющая фреска Доменикино или Тициана, разрушающийся дворец Микеланджело или Палладио вызывают скорбь человеческого духа во все века.

Достопримечательностью Гейдельберга является гигантская бочка — Коллизей пьяниц; впрочем, ни один христианин не расстался с жизнью в этом амфитеатре рейнских Веспасианов; с разумом — да: невелика потеря.

За Гейдельбергом холмы справа и слева от Неккара отступают, и путешественник выезжает на равнину. Дорога вьется по невысокой насыпи над полями пшеницы меж двух рядов побитых ветром вишневым и ореховых деревьев, которые «обиды сносят тут от рук людей прохожих» (Буало).

У въезда в Мангейм растет хмель, длинные сухие подпорки которого в эту пору лишь на треть высоты обвиты гибкими стеблями. Юлиан Отступник

написал замечательную эпиграмму против пива; аббату де Ла Блеттри принадлежит довольно изящное подражание ей:

Ты — ложный Вахх. Мне в том
Вахх истинный порукой...

Пусть галл за неимением грозди спелой
Пить сок колосьев хлебных принужден:
Дитя Цереры славит он,
А я — дитя Семелы ¹⁵.

Несколько садов, осененные ивами прямые бульвары образуют зеленое предместье Мангейма. Домики в городе по большей части двухэтажные. Главная улица широкая, с рядом деревьев посередине: Мангейм — еще одна павшая крепость. Я не люблю подделок: поэтому я никогда не покупал мангеймское золото, но, судя по пережитым мною бедствиям, я, несомненно, владею золотом тулузским *: а ведь я, как никто, почитал храм Аполлона.

(Рейн; путь по Пруссии)

*10. Французская земля.— Арабески.— «В мой картуз, пожалуйста».—
Мец.— Взгляд на мою семью и мою жизнь.— Подарок детей-изгнанников.—
Верден, Вальми.— Шалон.— Долина Марны*

4 и 5 июня 1833 года

Границу я пересек между Саарбрюкеном и Форбаком; Франция встретила меня неприветливо: сначала мне попался безногий калека, потом человек, который передвигался на руках и коленях, волоча за собою ноги, словно два кривых хвоста или двух дохлых змей, затем показалась телега, а в ней — две черные сморщенные старухи — авангард французских женщин. У прусской армии были причины отступить.

Но позже я встретил молодого красивого пехотинца с девушкой; солдат толкал перед собой тачку девушки, а та несла трубку и саблю служивого. Поодаль другая девушка шла за плугом, а пожилой земледелец погонял быков; еще дальше старик просил милостыню для слепого ребенка; еще дальше высился крест. В деревушке дюжина детских головок в окне недостроенного дома походила на ангелов в славе. Вот девчушка сидит на пороге лачуги: непокрытая головка, светлые волосы, чумазое личико, недовольная гримаска из-за холодного ветра; под рваным полотняным платьицем видны белые плечики; обхватив руками колени, она глядит на все, что происходит вокруг,

¹⁵ Пер. М. Гринберга.

с любопытством птички: Рафаэль *присвоил* бы ее облик, сделав набросок, а я с радостью похитил бы у матери ее самое.

При въезде в Форбак вас встречает свора ученых собак: две самые большие запряжены в повозку с цирковыми костюмами, пять или шесть других, самого разного роста и масти, с самыми разными мордами и хвостами, провожают багаж, каждая с куском хлеба в зубах. Два суровых дрессировщика, один с большим барабаном, другой с пустыми руками, следят за сворой. Вперед, друзья мои, обойдите землю кругом, как я, чтобы узнать народы. Вы так же прочно занимаете свое место в мире, как и я; вы стоите собак моей породы. Шляпа набекрень, шпага на боку, хвост трубой; ну-ка, протяните лапу Диане, Мирзе, Мирной, потанцуйте ради косточки или пинка, как это делаем мы, но не вздумайте пускаться в пляс ради короля!

Читатели, стерпите эти арабески; рука, нарисовавшая их, никогда уже не причинит вам зла: она иссохла. Когда вы увидите эти причудливые завитки, помните, что они начертаны живописцем на крышке его собственного гроба.

На таможене старик чиновник сделал вид, будто осматривает мою коляску. Я приготовил монету в сто су; он видел ее у меня в руке, но не решился взять из-за наблюдавших за ним начальников. Он снял картуз словно для того, чтобы исправнее вести обыск, положил его на сиденье передо мной и тихонько сказал: «В мой картуз, пожалуйста». О великие слова! в них заключается вся история рода человеческого; сколько раз свобода, верность, преданность, дружба, любовь говорили: «В мой картуз, пожалуйста». Я подарю это выражение Беранже для припева к песенке.

Въезжая в Мец, я был поражен одной вещью, которой не заметил в 1821 году: укрепления в готическом стиле окружены здесь укреплениями современными: Гиз и Вобан — два эти имени нераздельны.

Наши годы и воспоминания залегли ровными параллельными пластами на разных глубинах нашей жизни, нанесенные волнами времени, которые накатывают на нас одна за другой. Именно из Меца вышла в 1792 году колонна, вступившая под Тионвилем в бой с нашим маленьким эмигрантским отрядом. Я возвращаюсь домой, побывав в убежище изгнанного короля, которому я служил во время его первого изгнания. Тогда я пролил за него кровь, сейчас пролил подле него слезы; в мои лета человек способен только плакать.

В 1821 году господин де Токвиль¹⁶, свойственник моего брата, был префектом Мозеля. Тонкие, как жерди, деревья, которые господин де Токвиль посадил в 1820 году у ворот Меца, теперь дают тень. Вот мера наших дней; но человек — не вино, он не ухудшается с годами. Древние настаивали фалернское вино на розах; когда открывали амфору, дабы отпраздновать сотое консульство, она благоухала на весь пиршественный стол. Но каким бы свежим

¹⁶ Отец Алексиса де Токвиля.

умом ни мог похвастать человек преклонных лет, никто не соблазнится этим зельем.

Не провел я и четверти часа в мецской гостинице, как ко мне в большом волнении явился Батист; он таинственно достал из кармана завернутую в белую бумагу печатку; господин герцог Бордоский и Mademoiselle передали ему эту печатку с просьбой вручить ее мне уже на *французской земле*. Всю ночь накануне моего отъезда они тревожились, что ювелир не успеет закончить работу.

У печатки три стороны: на одной выгравирован якорь, на другой — два слова, сказанные Генрихом при нашей первой встрече: «Да, всегда!», на третьей дата моего прибытия в Прагу. Браг и сестра просили меня носить печатку *в знак любви к ним*. Тайна, которой окружен этот дар, наказ двух детей-изгнанников передать мне свидетельство их доброй памяти только на *французской земле*, наполнили мои глаза слезами. Я никогда не расстанусь с печаткой; я буду носить ее в знак любви к *Луизе и Генриху*.

Я с удовольствием повидал бы в Меце дом Фабера, солдата, ставшего маршалом Франции и отказавшегося от орденской ленты, ибо дворянством своим он был обязан одной лишь шпаге *.

Наши праотцы-варвары перерезали в Меце римлян, захватив их среди праздничной оргии; наши солдаты танцевали в монастыре Алькобаса вальс со скелетом Инес де Кастро: несчастья и забавы, преступления и безумства, четырнадцать веков разделяют вас, но все вы миновали одинаково безвозвратно. Вечность, начавшаяся мгновение назад, не уступит в древности той, что началась с первой смертью — убийством Авеля. Тем не менее люди, едва промелькнув на земле, убеждают себя, что от них останется какой-то след: ах, Боже мой, ведь и любая муха отбрасывает тень.

Покинув Мец, я проехал через Верден, где был так несчастлив и где живет сегодня одинокая подруга Карреля *. Я ехал мимо вальмийских высот; не хочу говорить ни о них, ни о Жеммапе *: я боюсь наткнуться на корону.

Шалон * напомнил мне о великой слабости Бонапарта; он сослал туда самую красоту. Мир Шалону, который подсказывает мне, что у меня еще остались друзья.

Шато-Тьерри — город моего кумира, Лафонтена. Был час вечерней молитвы: жены Жана не было дома *, и Жан вернулся к госпоже де Ла Саблиер.

В Мо *, идя вдоль стены собора, я обратил к Боссюэ его собственные слова: «Человек сходит в могилу, влача за собой длинную цепь несбывшихся надежд».

В Париже я миновал кварталы, где жил в юности вместе с сестрами, затем Дворец правосудия — памятное место, где мне вынесли приговор, затем полицейскую префектуру, бывшую моей тюрьмой. Наконец я вернулся в свою богадельню, размотав таким образом еще один отрезок нити моей жизни. Хрупкое насекомое спускается на шелковой нити к земле, где ему суждено быть раздавленным овечьим копытом.

КНИГА СОРОКОВАЯ

1. *Что предприняла госпожа герцогиня Беррийская. — Совет Карла X во Франции. — Мои мысли о Генрихе V. — Письмо к госпоже супруге дофина*

Париж, улица Анфер, 6 июня 1833 года

Добравшись до дома, я, прежде чем лечь спать, написал госпоже герцогине Беррийской письмо с отчетом о выполнении возложенной на меня миссии. Мое возвращение встревожило полицию; телеграф сообщил о нем бордоскому префекту и коменданту крепости Блай: они получили приказ усилить надзор; если я не ошибаюсь, Madame даже заставили сесть на корабль раньше назначенного срока. Письмо мое опоздало на несколько часов и не застало Ее Светлость; его переправили к ней в Италию. Если бы Madame не сделала никакого заявления*; если бы, даже сделав заявление, она отрицала его последствия; более того, если бы, прибыв на Сицилию, она отказалась от роли, которую принуждена была играть, дабы ускользнуть от своих тюремщиков, Франция и Европа поверили бы ей — так мало доверия вызывало правительство Филиппа. Все Иуды понесли бы наказание за спектакль, разыгранный в Блайской табачне. Но Madame не пожелала отрицать свое замужество ради сохранения своего политического влияния; ложь помогает снискать репутацию человека ловкого, но уж никак не почтенного; пусть даже прежде вы никогда не лгали, былая правдивость едва ли защитит вас. Если всеми уважаемый человек перестает вести себя достойно, он уже не пребывает под сенью своего имени, но плетется у него в хвосте. Благодаря своему признанию Madame ускользнула из своей темницы: орлица, как и орел, рвется к свободе и солнцу.

Господин де Блакас объявил мне в Праге об образовании совета, который мне предлагалось возглавить вместе с господином канцлером* и господином маркизом де Латур-Мобуром: мне предстояло — если верить герцогу — быть главным советником Карла X, отлучившегося по делам. Мне показали план: система не отличалась простотой; господин де Блакас сохранил некоторые положения, выдвинутые герцогиней Беррийской, когда она со своей стороны размышляла о государственном устройстве королевства *in partibus*¹⁷, которое с безрассудной отвагой собиралась основать. Идеи этой храброй женщины были не лишены здравого смысла: она поделила Францию на четыре части, поставила во главе каждой генерал-губернатора, распределила по полкам офицеров и солдат и, не справившись, встанут ли все эти люди под ее знамя, примчалась, чтобы нести это знамя собственноручно; она ничуть не сомнева-

¹⁷ В чужих краях (*лат.*).

лась, что увидит среди полей плащ святого Мартина * или орифламму, Галаора * или Баярда. Удары бердышей и пули мушкетеров, ночлеги в лесу, опасности, подстерегающие в домах нескольких верных друзей, пещеры, замки, лачуги, штурмы — все это подходило и нравилось Madame. В ее характере есть нечто странное, необычное и влекущее, благодаря чему она войдет в историю; в будущем ее оценят по достоинству, наперекор благопристойным ханжам и мудрым трусам.

Если бы Бурбоны обратились ко мне, я поставил бы им на службу популярность, которой пользовался благодаря двойному званию писателя и государственного мужа. У меня не было причин сомневаться в этой популярности, ибо в ней меня заверяли люди самых различных убеждений. Они не ограничивались общими словами; каждый прочил меня на какую-нибудь должность; многие поверяли мне свои склонности и неопровержимо доказывали, что поистине созданы для тех мест, на которые метят. Все (друзья и враги) не сомневались, что мое место — при герцоге Бордоском. История моих взглядов, моих взлетов и падений, уход из жизни едва ли не всех людей моего поколения, — все, казалось, побуждало королевскую семью остановить свой выбор именно на мне.

Отведенная мне роль могла соблазнить меня; моему тщеславию льстила мысль, что я, неведомый и отринутый слуга Бурбонов, стану поддержкой и опорой их рода, протяну руку почившим Филиппу Августу, Людовику Святому, Карлу V, Людовику XIII, Франциску I, Генриху IV, Людовику XIV; что моя хилая слава охранит кровь, корону и тени стольких великих людей, что я один пойду войной против неверной Франции и продажной Европы.

Но что следовало сделать, чтобы всего этого добиться? то, на что способен самый заурядный ум: обхаживать пражский двор, побеждать его неприязнь, скрывать свои планы до тех пор, покуда не появится возможность их осуществить.

Планы эти, конечно, были весьма далеко идущими: будь я наставником юного принца, я постарался бы завоевать его доверие. И если бы он возвратил себе корону, я посоветовал бы ему надеть ее лишь для того, чтобы в назначенный срок по доброй воле расстаться с нею. Я хотел бы, чтобы на моих глазах Капеты ушли достойным их величия образом. Какой прекрасный, какой знаменательный день: утвердив религию, усовершенствовал общественное устройство, расширив права граждан, дав полную свободу прессе, предоставив самостоятельность коммунаам, уничтожив откупа, справедливо распределив доходы в соответствии с трудом, упрочив собственность без злоупотреблений ею, возродив промышленность, уменьшив налоги, восстановив нашу честь среди народов, укрепив и расширив границы государства и тем самым обеспечив нашу независимость, — исполнив все это, мой ученик торжественно созовет народ и скажет ему:

«Французы, воспитание ваше закончилось вместе с моим. Мой пращур Роберт Сильный умер за вас, а отец мой просил пощадить человека, отнявшего у него жизнь. Предки мои вывели Францию из варварства, наставили и образовали ее; теперь ход времени и успехи цивилизации уже не позволяют вам иметь опекуна. Я оставляю трон; продолжая благодеяния моих отцов, я освобождаю вас от присяги, которую вы принесли монархии». Скажите, разве такой конец не превзошел бы самые чудесные свершения этой династии? Скажите, возможен ли достойнейший памятник ее славе? Сравните этот конец с тем, к которому могут привести хилые правнуки Генриха IV, упорно цепляющиеся за трон, захлестываемый волнами демократии, пытающиеся сохранить власть с помощью сыска, насилия, подкупа и из последних сил влачащие жалкое существование? «Пусть королем будет мой брат *, — сказал Людовик XIII, в ту пору еще мальчик, после смерти Генриха IV, — я королем быть не хочу». У Генриха V нет другого брата, кроме народа: пусть же народ и будет королем.

Чтобы прийти к такому решению, каким бы несбыточным оно ни казалось, монарх должен почувствовать свое величие, которым он обязан не древности своего происхождения, но тому, что он является наследником людей, сделавших Францию могущественной, просвещенной и культурной.

Но, как я уже сказал, дабы осуществить этот план, мне следовало потрафлять слабостям пражского двора, кормить сорокопутов вместе с венценосным дитятей по примеру Люина, льстить Кончини на манер Ришелье *. Я положил хорошее начало в Карлсбаде, подобострастные доклады и сплетни продвинули бы мои дела. Впрочем, заживо похоронить себя в Праге мне было бы нелегко, ибо пришлось бы победить не только неприязнь королевской семьи, но и враждебность иностранцев. Идеи мои ненавистны европейским правительствам; они знают, что я ярый противник венских соглашений, что я буду бороться изо всех сил за расширение пределов Франции и восстановление в Европе равновесия сил.

Тем не менее, раскаиваясь, плача, замаливая свою патриотическую гордыню, бия себя в грудь, восхищаясь гением глупцов, которые правят миром, я может статься, дополз бы на брюхе до места барона де Дамаса; тут я внезапно вскочил бы и отбросил костыли *.

Но увы! где мое честолюбие? где моя привычка к притворству? где мое умение терпеливо сносить принуждение и скуку? где моя способность придавать значение пустякам? Я дважды или трижды брался за перо; дважды или трижды пытался вывести лживые строки, дабы исполнить повеление госпожи супруги дофина, ожидающей от меня письма. Наконец, разозлившись на самого себя, я одним духом написал послание, где высказал все, что думаю, и тем подписал себе приговор. Я это прекрасно понимал; я хорошо взвесил последствия: они меня не волновали. Даже сегодня, когда дело сделано, я рад,

что послал все к черту и плюнул с большой высоты на свое *наставничество*. Мне скажут: «Разве вы не могли изложить те же самые истины, изъясняясь с меньшей резкостью?» Да, да, размазывая, вертясь вокруг да около, подслащая пилюлю, бляя дрожащим голосом:

...Из кающихся глаз кропит водой святою *.

Я так не умею.

Вот письмо (впрочем, наполовину сокращенное), от которого у наших салонных дипломатов волосы встанут дыбом. У герцога де Шуазеля был нрав, отчасти схожий с моим; поэтому конец своей жизни он провел в Шантелу *.

ПИСЬМО К ГОСПОЖЕ СУПРУГЕ ДОФИНА

«Париж, улица Анфер, 30 июня 1833 года

Сударыня,

К самым драгоценным мгновениям моей долгой жизни я отношу те, которые госпожа супруга дофина дозволила мне провести подле нее. В неизвестном карлсбадском доме всеми боготворимая принцесса благоволила почтить меня своим доверием. На дне ее души небу было угодно поместить сокровища великодушия и набожности, не оскудевшие от многочисленных скорбей. Я видел перед собой дочь Людовика XVI, осужденную на новое изгнание, сироту из Тампля, которую перед смертью прижимал к сердцу король-мученик. Бог — единственное имя, которое можно произнести, когда погружаешься в созерцание неисповедимых путей Господних.

Можно сомневаться в искренности похвал, обращенных к человеку, находящемуся на вершине власти; тот, кто восхищается супругой дофина, вне подозрений. Я уже сказал, сударыня: ваши несчастья вознеслись так высоко, что стали гордостью революции. Впервые в жизни встретил я людей столь великой, столь исключительной судьбы, что смею высказать, не боясь ранить их или остаться непонятым, мои мысли о будущем общества. С высоты вашей добродетели вы, не дрогнув, взирали бы на крушение всех земных царств, многие из которых уже рухнули на глазах ваших предков, — с вами я могу обсуждать участь империй.

Катастрофы, самым знаменитым свидетелем и самой возвышенной жертвой которых вы стали, при всей своей огромности являются не более чем частными случаями общего преобразования рода человеческого; царствие Наполеона, пошатнувшего целый мир, — всего лишь звено в цепи революций. Надо исходить из этой истины, чтобы понять, возможна ли третья реставрация и как эта реставрация впишется в план общественного переустройства. Если она не войдет туда естественно и плавно, она неизбежно будет отринута порядком вещей, противным ее природе.

Поэтому, сударыня, если бы я сказал вам, что законная монархия возвратится благодаря высшим кругам дворянства и духовенства с их привилегиями, благодаря двору с его титулами, благодаря королевской власти с ее чарами, я бы обманул вас. Законная монархия во Франции давно уже не предмет чувствований, она — основополагающий принцип и пребывает таковым постольку, поскольку обеспечивает собственность и выгоду, права и свободы; но стоит доказать, что она не желает или не может защитить эту собственность и эти выгоды, эти права и эти свободы, и монархия перестанет быть даже принципом. Люди, которые утверждают, что законная монархия возвратится в любом случае, что без нее невозможно обойтись, что достаточно подождать и Франция на коленях приползет просить у нее прощения, — эти люди заблуждаются. Реставрация может не наступить никогда или продлиться единственное мгновение, если законная монархия будет черпать силы там, где их уже нет.

Да, сударыня, мне больно об этом говорить, но Генрих V может остаться монархом-изгнанником, обитающим на чужбине, юным и свежим обломком здания древнего, но рухнувшего. Мы, старые слуги законной монархии, скоро разменяем последние оставшиеся нам годы, мы один за другим сойдем в могилу и будем покоиться там вместе с нашими старыми идеями, словно древние рыцари со своими древними доспехами, изъеденными ржавчиной и временем, доспехами, которые живым людям не к лицу и не по росту.

Все, что в 1789 году поддерживало старый режим: религия, законы, нравы, обычаи, собственность, классы, привилегии, корпорации — более не существует. Происходит общее брожение; Европа отнюдь не в большей безопасности, чем мы; ни одно общество не разрушено полностью, ни одно полностью не построено; все кругом либо обветшало, либо переродилось, либо одряхло, либо лишилось корней; все хило, как хилы старики и младенцы. Королевства, образованные по слову последних конгрессов, — вчерашний день; любовь к родине утратила свою силу, ибо неясно, где начинается и где кончается родина для народов, проданных с торгов, ставших добычей старьевщика, словно вышедшая из употребления мебель; народов, одни из которых были слиты с врагами, а другие достались хозяевам новым и безвестным. Переворотенная, изборожденная, распаханная, почва, таким образом, готова взрастить семя демократии, посеянное в июльские дни.

Короли думают, что, окружив свой трон часовыми, они остановят движение умов; они воображают, что, если разошлют повсюду описание примет, надежные стражи сумеют арестовать новые идеи на границе; они убеждают себя, что засилье таможен, жандармов, полицейских шпионов, военных судов преградит им путь. Но эти идеи не ходят пешком, они носятся в воздухе, они летают, люди дышат ими. Всевластные правительства, которые строят телеграфы, железные дороги, пароходы и в то же время хотят удержать умы на

уровне политических догм четырнадцатого столетия, действуют непоследовательно; остальные и передовые разом, они сбиваются с пути, ибо теория их противоречит практике. Развитие промышленности неотделимо от развития свободы; приходится либо задушить ту и другую, либо допустить их обе. Идеи являются всюду, где слышна французская речь, и предъявляют паспорт, выданный веком.

Вы видите, сударыня, насколько важна отправная точка для правильного выбора. Дитя надежды под вашим призором, невинность, укрытая вашими добродетелями и несчастьями, словно королевским покровом, — зрелище, величественнее которого я не знаю; это — единственный шанс на победу законной монархии. Франция будущего может склониться, не унижая себя, перед своим славным прошлым, остановиться в волнении при виде великого эпизода своей истории: дочь Людовика XVI ведет за руку последнего из Генрихов. Королева, покровительствующая юному принцу, вы оживите в народе бесконечные воспоминания, которые воплощаются в вашей августейшей особе. Видя, что тампльская сирота печется о воспитании сироты из рода Людовика Святого, кто не ощутит, как возвращается в его душу давно забытое доверие?

Желательно, сударыня, чтоб это воспитание, направляемое людьми, чьи имена популярны во Франции, сделалось в какой-то мере гласным. Людовик XIV, избравший своим девизом гордость и следовавший этому девизу, принес своему роду большое зло, замыкая сынов Франции в рамках воспитания восточного.

Юный принц, как я мог заметить, наделен живым умом. Ему должно завершить свое образование путешествиями по странам старого и даже нового континента, дабы узнать, что такое политика, и не пугаться ни установлений, ни учений. Буде ему вздумается пойти солдатом на войну в какой-нибудь чуждальной стране, не надо этого бояться. У него решительный вид; в жилах его течет кровь его отца и матери; но если в минуту опасности ему случится испытать какое-либо чувство, кроме упоения славой, пусть отречется от престола: во Франции тому, кто лишен отваги, не видать короны.

Видя, что я рассуждаю о столь далеком будущем, вы, сударыня, можете предположить, что я не верю, будто Генрих V скоро сядет на трон. Я попытаюсь беспристрастно изложить все доводы за и против.

Рестаuration может произойти сегодня, завтра. Характер французов до того переменчив, до того резок, что переворот может свершиться в любую минуту; во Франции какое установление ни возьми, всегда можно ставить сто против одного, что долго оно не продержится; в тот момент, когда положение правительства, кажется, прочно, как никогда, его свергают. На наших глазах народ обожал и ненавидел Бонапарта, отвернулся от него, снова поднял его на щит, вновь отринул, забыл изгнанника, воздвиг ему алтари после смерти, затем вновь охладел. Этот ветреный народ всегда любил свободу только из прихоти,

но постоянно бредил равенством; этот многоликий народ был фанатичным при Генрихе IV, мятежным при Людовике XIII, революционным при Людовике XVI, угрюмым при республике, воинственным при Бонапарте, конституционным при Реставрации: сегодня он продаст свои свободы монархии, именуемой республиканской, беспрестанно меняя свою сущность по воле вождей. Он стал еще более легок на подъем с тех пор, как разлюбил семейный очаг и сбросил ярмо религии. Поэтому любая случайность может привести к падению правительства 9 августа, но этой случайности, быть может, придется ждать долго: мы произвели на свет недоношенного ребенка, но Франция — крепкая мать; своим грудным молоком она может исправить пороки, унаследованные дитятей от отца.

Хотя нынешняя королевская власть не кажется жизнеспособной, я все же опасаясь, как бы она не просуществовала дольше, чем ей предсказывают. За последние сорок лет все французские правительства лишались власти исключительно по собственной вине. Людовик XVI мог двадцать раз спасти корону и жизнь; республика погибла лишь из-за своих беспримерных злодеяний; Бонапарт мог основать династию, если бы не ринулся вниз с вершины своей славы; не будь июльских ордонансов, законный трон не рухнул бы и поныне. Глава нового правительства не совершит ни одной из этих роковых ошибок; его власть никогда не станет самоубийственной; он пускает в ход всю свою ловкость, дабы ее сохранить: он слишком умен, чтобы погубить себя какой-нибудь глупостью; гениальные ошибки и безрассудства, совершаемые во имя чести и добродетели, также не в его духе. Он почувствовал, что война может повредить ему, — и не будет воевать; пусть Франция упала во мнении иноземцев; велика важность: публицисты докажут, что позор — спутник извора ротливости, а бесчестье — источник влияния.

Псевдозаконная монархия стремится к тому же, к чему и монархия законная, только при другом короле: она хочет порядка; ей легче, чем законной монархии, добиться его путем произвола. Деспотизм, рассуждающий о свободе и так называемых королевских установлениях, — вот предел ее мечтаний; каждый свершившийся факт порождает новое право, которое побеждает право старое; с каждым часом новая монархия делается все законнее. У времени есть две руки; одной рукой оно рушит, другой созидает. Вдобавок время воздействует на умы своим ходом; люди резко выступают против власти, нападают на нее, пренебрегают ею; потом приходит усталость; успехи новой власти примиряют с нею; вскоре в числе противников ее остается лишь горстка возвышенных душ, чье постоянство смущает тех, кто не устоял.

Сударыня, это длинное отступление обязывает меня дать Вашему Королевскому Высочеству несколько разъяснений.

Если бы я не поднимал свободный голос в дни благоденствия, у меня недоставало бы храбрости сказать правду в минуту несчастья. Я отправился

в Прагу отнюдь не по собственной воле; я не посмел бы докучать вам своим присутствием; преданность вашей августейшей особе опасна не в Праге, она опасна во Франции; там я и находился. Начиная с июльских дней я не прекращал борьбы за дело законной монархии. Я первый нашел в себе смелость признать Генриха V своим королем. Французский суд присяжных, оправдав меня, утвердил мое признание. Я чаю лишь покоя, в мои лета он необходим; однако я без колебаний пожертвовал им, когда декреты возобновили и усугубили гонения на королевскую семью. Я получил лестные предложения: правительство Луи Филиппа хотело меня задобрить; я не заслужил такой благосклонности; я доказал, сколь противна она моей природе, потребовав свою долю от невзгод моего старого короля. Увы! не я был причиною этих невзгод; напротив, я пытался предупредить их. Я вспоминаю эти обстоятельства отнюдь не затем, чтобы придать себе веса и расхвалить себя не по заслугам; я всего лишь исполнял свой долг; я просто объясняюсь, дабы оправдать независимость своих высказываний. Вы, сударыня, не можете не простить эту прямоту человеку, который с радостью пошел бы на эшафот, дабы вернуть вам трон.

Когда я предстал перед Вашим Величеством в Карлсбаде, я, можно сказать, не имел счастья быть вам известным. До той поры вы едва удостоили меня нескольких слов. Побеседовав со мной наедине, вы смогли убедиться, что я не тот человек, каким вам меня, быть может, изображали; что независимый склад ума нимало не вредит сдержанности моего нрава и не убавляет моего восхищения прославленной дочерью моих королей и почтения к ней.

Я вновь молю Ваше Величество принять в рассуждение, что если я и обладаю какой-либо силой, то залог ее — в строгие истины, изложенных в этом письме, вернее, в этом докладе; именно эти истины сближают со мной людей, принадлежащих к самым различным партиям, и возвращают их к борьбе за законную монархию. Если бы я презрел нынешние взгляды, я не имел бы никакой власти над своей эпохой. Я пытаюсь объединить вокруг древнего трона современные идеи, превращая их из враждебных в дружественные. Если не направить приток либеральных идей в русло обновленной законной монархии, он погубит монархическую Европу. До тех пор пока два принципа — монархический и республиканский — останутся разделенными непреодолимой преградой, они будут вести войну не на жизнь, а на смерть: честь освятить единственное в своем роде здание, вновь возведенное из камней, оставшихся от двух прежних построек, принадлежала бы вам, сударыня, вам, перенесшей самое высокое и самое таинственное из испытаний — незаслуженное несчастье, вам, отмеченной на алтаре кровью беспорочных жертв, вам, святостью и строгой воздержанностью заслужившей право отворить чистой и благословенной рукою врата нового храма.

Ваши познания, сударыня, и ваш возвышенный ум просветят и исправят все

сомнительное и неверное, что вкралось, быть может, в мои оценки современной Франции.

Я кончаю это письмо, охваченный неопишущим волнением.

Итак, дворец богемских государей стал Лувром для Карла X и его набожного и царственного сына! Градчаны сделались замком в По * для юного Генриха! А вы, сударыня, в каком Версале обитаете вы! с чем сравнить вашу веру, ваше величие, ваши страдания, если не с верой, величием и страданиями тех женщин из колена Давидова, что плакали у подножия креста. Да будет Вашему Величеству дано узреть, как монархия Людовика Святого в славе восстает из могилы. Да будет мне дано воскликнуть, вспоминая век, носящий имя вашего славного предка, — ибо, сударыня, ничто не достойно вас, ничто не современно вам, кроме людей и событий великих и священных:

Творца благодаря,
Признал бы тотчас я законного царя! ¹⁸

С глубочайшим почтением, сударыня, остаюсь Вашего Величества смиреннейший и покорнейший слуга

Шатобриан».

Написав это письмо, я вновь зажил обычной жизнью: я возвратился к моим старым священникам, к уединенному уголку моего сада, показавшегося мне гораздо прекраснее, чем сад графа фон Хотека, к моему бульвару Анфер, моему Западному кладбищу, моим «Запискам», которые воскресят мои ушедшие дни, а главное, к маленькому кружку в Аббей-о-Буа. Благожелательность серьезной дружбы рождает множество размышлений; мне довольно нескольких мгновений среди родственных душ; затем я возмещаю этот расход ума двадцатью двумя часами безделья и сна.

〈Шатобриан получает письмо от герцогини Беррийской, призывающее его к ней в Венецию, и трогается в путь〉

3. Дневник путешествия из Парижа в Венецию. — 〈...〉 Верона. —
Переписка мертвецов. — Брента

7—10 сентября 1833 года, в дороге

〈Горы Юра; Альпы, Милан〉

Я миновал Верону не без волнения: именно здесь я всерьез вступил на политическое поприще *. Уму моему представало то, чем мог бы стать мир если бы жалкие завистники не воспротивились моим усилиям.

¹⁸ Расин, Гофолия, д. I, явл. 1; пер. Ю. Корнесва.

Верона, столь оживленная в 1822 году присутствием государей Европы, в 1833 году погрузилась в безмолвие; конгресс стал для безлюдных улиц таким же далеким прошлым, как двор Скалигери или римский сенат. Арены, ступени которых на моей памяти заполнялись сотней тысяч зрителей, зияя пустотой; прекрасные здания, фасады которых светились огнями, мокли под дождем, серые и голые.

Сколько честолюбцев сошлось в Вероне! судьбы скольких народов они рассматривали, изучали и взвешивали! Проведем переключку призраков, преследующих меня в сновидениях; откроем книгу, какая будет открыта в день гнева: *Liber scriptus proferetur*¹⁹; государи! князья! министры! ваш посол, ваш коллега возвратился на свой пост: где вы? отзовитесь.

Российский император Александр? — Умер.

Австрийский император Франц II? — Умер.

Французский король Людовик XVIII? — Умер.

Французский король Карл X? * — Умер.

Английский король Георг IV? — Умер.

Неаполитанский король Фердинанд I? — Умер.

Герцог Тосканский? — Умер.

Папа Пий VII? — Умер.

Сардинский король Карл Феликс? — Умер.

Герцог де Монморанси, французский министр иностранных дел? — Умер.

Господин Каннинг, английский министр иностранных дел? — Умер.

Господин Бернсторф, прусский министр иностранных дел? — Умер.

Господин Генц, состоящий при австрийском канцлере? — Умер.

Кардинал Консальви, государственный секретарь Его Пресвященства? — Умер.

Господин де Серр, мой коллега по конгрессу? — Умер.

Господин д'Аспремон, секретарь моего посольства? — Умер.

Граф де Нейперг, муж вдовы Наполеона? — Умер.

Графиня Толстая? — Умерла.

Ее старший и младший сыновья? — Умерли.

Мой хозяин, принимавший меня во дворце Лоренци? — Умер.

Если такое множество людей, внесенных вместе со мною в список участников конгресса, перекочевали в книгу записи умерших; если народы и династии исчезли с лица земли; если Польша растоптана, а Испания вновь уничтожена; если я отправился в Прагу затем, чтобы повидать беженцев — обломков того великого рода, какой я представлял в Вероне, — что значат земные дела? Никто не вспоминает о речах, которые мы вели за столом князя фон Меттерниха; но — вот могущество гения! — ни один путник никогда не сможет слушать пень жаворонка в полях Вероны, не вспомнив Шекспира *.

¹⁹ Будет явлена написанная книга (лат.) *.

Каждый из нас, роаясь в глубинах своей памяти, находит все новые и новые ряды мертвецов, все новые и новые замолкнувшие чувства, все новые и новые химеры, которые он тщетно питал, подобно химерам Геркуланума, молоком Надежды. Выехав из Вероны, я был принужден изменить мерку, с какой подходил ко всему, что видел, и погрузиться в прошлое; я отступил назад на двадцать семь лет, ибо последний раз я ехал из Вероны в Венецию в 1806 году. В Брешии, в Висенте, в Падуе я проезжал мимо творений Палладио, Скамоцци, Франческини, Никколо Пизано, Фра Джованни.

Берега Brentы обманули мои ожидания; я запомнил их более приветливыми: дамбы, тянущиеся вдоль канала по болотистой низине, выглядят уныло. Некоторые *виллы* разрушены; но несколько весьма изящных уцелело. В одной из них живет, быть может, сеньор Пококуранте *, которому наскучили высокорожденные любительницы сонетов, который пресытился двумя красотками, которого музыка утомляла через четверть часа, который находил Гомера смертельно скучным, который ненавидел благочестивого Энея, маленького Аскания, сумасшедшего короля Латина, пошлую Амату и несносную Лавинию *; которого ничуть не занимал дурной обед Горация по дороге в Бриндизи; который заявлял, что не имеет ни малейшего желания читать Цицерона, не говоря уже о Мильтоне, этом варваре, изуродовавшем Тассов ад и Тассовых дьяволов. «Увы! — тихо сказал Кандид Мартену, — я очень боюсь, что к нашим германским поэтам этот человек питает величайшее пренебрежение!»

Несмотря на некоторое разочарование и обилие богов в крохотных садиках, я был очарован шелковицами, апельсиновыми деревьями, фиговыми пальмами и мягкостью воздуха — ведь я еще совсем недавно бродил по пихтовым лесам Германии и горам Чехии, где солнце так неласково.

10 сентября на заре я приехал в Фузину, которую Филипп де Коммин и Монтень называют *Шаффузина*. В половине одиннадцатого я ступил на венецианский берег. Первым делом я послал слугу в почтовую контору: но там ничего не оказалось ни для меня, ни для моего посредника Паоло *: никаких вестей от госпожи герцогини Беррийской. Я написал графу Гриффи, неаполитанскому посланнику во Флоренции, прося его сообщить мне планы Ее Королевства.

Исполнив свой долг, я решил терпеливо дожидаться принцессу: Сатана послал мне искушение. По наущению дьявола я восхотел, презрев интересы законной монархии, провести две недели в полном одиночестве под крышей европейской гостиницы. Я желал августейшей путешественнице скверных дорог, нимало не помышляя о том, что это может на целых полмесяца задержать возвращение престола королю Генриху V: я каюсь в этом, как Дантон, перед Богом и людьми.

〈Описание Венеции〉

12. Руссо и Байрон

Венеция, сентябрь 1833 года

Сидя за столиком в своих покоях, я обвожу взглядом все рейды: ветер, дующий с моря, приносит прохладу; начинается прилив; в порт входит трехмачтовое судно. С одной стороны Лидо, с другой — дворец дожа, посередине — лагуны: вот открывающаяся мне картина. Именно из венецианского порта вышло столько славных флотий: отплытие старого Дандоло было обставлено с роскошью, отличавшей всех рыцарей-мореходов; Виллардуэн, родоначальник нашего языка и наших мемуаров, оставил нам описание этого события:

«И переполнились корабли оружием, и припасами, и рыцарями, и слугами, и отнесены были на борт орудия, и ванты, и знамена, а из их числа великое множество столь красивых. Никогда и ниоткуда не плыл красивее флот».

Утро в Венеции привело мне также на память историю о капитане Оливе и Джульетте, мастерски рассказанную Руссо *:

«Гондола причаливает, и из нее выходит молодая женщина — ослепительная, очень кокетливо одетая и очень ловкая; в три прыжка она очутилась в каюте, и я увидел ее рядом с собой за столом, прежде чем для нее поставили прибор. Она была столь же очаровательна, сколь резва, — брюнетка, лет двадцати, не больше. Говорила она только по-итальянски; одного звука ее голоса было достаточно, чтобы вскружить мне голову. Не переставая есть и болтать, она пристально смотрит на меня с минуту, потом, воскликнув: «Пресвятая дева! Ах! мой дорогой Бремон, как давно я тебя не видела!» — бросается ко мне на грудь, прижимает свои губы к моим и душит меня в объятиях. Ее большие черные восточные глаза метали мне в сердце огненные стрелы; и хотя неожиданность сначала сбивала меня с толку, упоение очень быстро овладело мной. <...> Она сказала, что я как две капли похож на господина де Бремона, начальника тосканских таможен; что она была без ума от этого господина де Бремона, что она без ума от него до сих пор, что бросила его, потому что была глупа, что заменяет его мной, что хочет любить меня, потому что ей так нравится, что я должен по той же причине любить ее до тех пор, пока ей это не надоест, и что, когда она меня бросит, я должен буду перенести это терпеливо, как ее дорогой Бремон. Сказано — сделано... Вечером мы проводили ее домой. Во время беседы я увидел у нее на туалетном столике два пистолета. «А! — сказал я, взяв один из них, — вот пудреница нового фасона. Нельзя ли узнать, зачем это вам?»... Она сказала с наивной гордостью, придававшей ей еще больше прелести: «Когда я бываю уступчива с людьми, которых не люблю, я заставляю их платить за то, что они нагоняют на меня скуку. Что может быть справедливой? Я терплю их ласки, но не хочу терпеть их оскорблений и не дам промаха, стреляя в того, кто обидит меня и тем сделает большой промах». Уходя, я условился о свидании на

другой день. Я не заставил себя ждать. Она встретила меня в *vestito di confidenza*²⁰ — более чем легкомысленном наряде, какие известны только в южных странах и какой я не доставляю себе удовольствия описывать, хотя слишком хорошо его помню... У меня и представления не было об ожидавших меня наслаждениях. Я уже рассказывал о госпоже де Л...ж с восторгом, иногда пробуждающимся во мне при воспоминании о ней; но как она была стара, некрасива и холодна по сравнению с моей Джульеттой! Не пытайтесь представить себе прелесть и грацию этой обольстительной особы — вы все равно будете далеки от истины. Юные девы в монастырях менее свежи, красавицы серала менее резвы, райские гуррии менее обольстительны». Окончилось это приключение диким поступком Руссо * и словами Джульетты: «*Lascia le donne et studia matematica*»²¹.

Лорд Байрон также отдавался в руки платных Венер: он наполнил дворец Мочениго венецианскими красотками, укрывавшимися, по его словам, под *fazzoletti*²². Порой, в приливе стыда, он убегал и проводил ночь на воде в своей гондоле. Его любимой наложницей была Маргарита Коньи, прозванная по ремеслу своего мужа *la Fornarina*²³: «Черноволосая, статная (это слова лорда Байрона), с венецианской головкой, дивными черными глазами, двадцати двух лет от роду. Однажды осенью, направляясь на Лидо... я был застигнут сильным штормом... Когда мы с большим трудом добрались до дому, я увидел, что Маргарита стоит на открытой лестнице Палаццо Мочениго, спускающейся к Большому каналу; в ее больших черных глазах сверкали слезы, а длинные темные волосы, намокшие от дождя, падали на плечи и грудь. Она стояла, презирая дождь и бурю; ветер развевал ее волосы и раздувал одежду, вокруг ее высокой стройной фигуры сверкали молнии, у ног ревели волны, делая ее похожей на Медею, сошедшую с колесницы, или Сивиллу, заклинающую бурю; она была единственным живым существом, кроме нас, кто в этот час осмелился выйти из дому. Увидев, что я цел и невредим, она не стала дожидаться меня, чтобы высказать свою радость, но еще издали завопила: «*Ah! can'della Madonna, dungue sta il tempo per andar al Lido!*» Ах ты, пёс Мадонны, нашел время ездить на Лидо!» *

В двух этих рассказах — Руссо и Байрона — заметна разница общественного положения, воспитания и нрава двух мужчин. У автора «Исповеди» сквозь очарование стиля проглядывает нечто вульгарное, циничское, дань дурному тону и дурному вкусу; непристойные выражения, привычные для той эпохи, портят картину. Джульетта превосходит своего любовника возвышенностью чувств и изяществом манер; она ведет себя почти как знатная дама, пленившая-

²⁰ Интимный костюм (*ит.*).

²¹ Оставь в покое женщин и изучай математику (*ит.*).

²² Легкий платок, которым простолюдинки покрывают голову (*ит.*).

²³ Булочница (*ит.*).

ся жалким секретарем ничтожного посла. Тем же пороком страдает эпизод, в котором Руссо уговаривается со своим другом Каррио воспитать вскладчину одиннадцатилетнюю девочку, чьи милости, вернее, слезы, им предстоит поделить меж собой.

Лорд Байрон — человек совсем иного склада: в нем выразились нравы самодовольной аристократии; пэр Великобритании, играя судьбой женщины из народа, которую он оболестил, поднимает ее до себя своими ласками и чарами своего таланта. Байрон приехал в Венецию богатым и известным, Руссо прибыл туда бедным и безвестным; все знают дворец, где грешил не таясь благородный наследник прославленного английского коммодора; ни один чичероне не укажет вам обиталище, где наслаждался втайне плебейский отпрыск безвестного женевского часовщика. Руссо вовсе не описывает Венецию; кажется, будто он жил в городе, не видя его: Байрон же воспел Венецию в пленительных строках *.

Вы читали те страницы моих записок, где я говорю об узах, которыми воображение и судьба связали, как мне кажется, биографа Рене с певцом Чайльд Гарольда *. Упомяну здесь еще об одном совпадении, столь лестном для моего самолюбия. Разве черноволосая Форнарина лорда Байрона не сродни белокурой Велледе из «Мучеников», ее старшей сестре?

«Укрывшись среди скал, я стал ждать; некоторое время никто не появлялся. Внезапно слух мой поражают звуки, которые ветер донес с середины озера. Прислушавшись, я различаю человеческую речь; в тот же миг я замечаю челнок на гребне волны; он опускается, исчезает, затем вновь взмывает на вершину водяного вала; он близится к берегу. Челном правила женщина; она пела, борясь с бурей, и, казалось, резвилась среди ветров; можно было подумать, что они подвластны ей, так мало она их страшилась. Я видел, как она, дабы задобрить озеро жертвами, бросает за борт штуки полотна, овечье руно, бруски воска и маленькие слитки золота и серебра.

Вскоре она причаливает к берегу, сходит на землю, привязывает челнок к стволу ивы и углубляется в лес, опираясь на тополевое весло. Она была высока ростом; черная короткая туника без рукавов едва скрывала ее наготу. На бронзовом поясе висел золотой серп, голову венчала дубовая ветвь. Белизна ее рук и лица, голубые глаза, розовые губы, длинные светлые волосы, разметавшиеся по плечам, обличали в ней дочь галлов и нежностью своей оттеняли гордую и дикую поступь. Мелодичным голосом она пела страшные слова, и ее открытая грудь вздымалась и опускалась, словно пенящиеся волны» *.

Я устыдился бы ставить себя рядом с Байроном и Жан Жаком, не зная наперед, что скажут обо мне потомки, если бы этим «Запискам» предстояло увидеть свет при моей жизни; но когда они выйдут из печати, я уже сгину навсегда, так же, как и мои прославленные предшественники, раньше меня ступившие на эти чужие берега; тень моя попадет во власть общественного

мнения, чьи порывы так же суетны и воздушны, как и горстка праха, которая останется от меня.

В одном Руссо и Байрон повели себя в Венеции схоже: оба остались глухи к изящным искусствам. Руссо, так тонко чувствовавший музыку, словно не замечает, что рядом с Джульеттой существуют картины, статуи, памятники; меж тем как прелестно сочетаются эти шедевры с любовью, обожествляя ее предмет и раздувая ее огонь! Что до лорда Байрона, он *ненавидит адский блеск* Рубensoвых красок *; он *плует* на все изображения святых, которыми переполнены церкви; ни разу в жизни не встретил он картины или статуи, хоть в чем-то отвечающей его мыслям. Лживым искусствам он предпочитает красоту гор, морей и лошадей, некоего морейского льва и тигра, при чьем ужине он присутствовал в Эксетер-Чейндж *. Нет ли во всем этом толики предвзятости?

Вот мастер разводить цветистые рацеи! ²⁴

13. Прекрасные гении, вдохновленные Венецией

Венеция, сентябрь 1833 года

Но что же это за город, где назначили друг другу встречу высочайшие умы? Одни посетили его сами, другие послали туда своих муз. Эти таланты лишились бы части своей славы, если бы не украсили своими картинами сей храм неги и славы. Не говоря уже о великих поэтах Италии, вспомним, что гении всей Европы избирали этот город местом действия своих творений: там родина Шекспировой Дездемоны, вовсе не похожей на Джульетту Руссо и Байронову Маргариту, этой стыдливой венецианки, которая, признаваясь Отелло в любви, говорит: «Если бы у вас Случился друг и он в меня влюбился, Пусть вашу жизнь расскажет с ваших слов — И покорит меня»²⁵. Там Бельвидера Отвея молит Яффе:

Oh smile, as when our loves were in their spring.

O! lead me to some desert wide and wild,
Barren as our misfortunes, where my soul
May have its vent, where I may tell aloud
To the high heavens, and ev'ry list'ning planet,
With what a boundless stock my bosom's fraught:
Where I may throw my eager arms about thee,
Give loose to love, whit kisses kindling joy,
And let off all the fire that's in my heart.

О, улыбнись, как в первый день любви...

²⁴ Мольер. Тартюф, д. III, явл. 2; пер. М. Донского.

²⁵ Шекспир. Отелло, д. I, явл. 3; пер. Б. Пастернака.

Меня в пустыню уведи глухую:
 Там изолью я душу наконец,
 Смогу открыть высоким небесам
 И всем безмолвно внемлющим светилам
 В груди моей таящееся чувство;
 Там заключу в объятия тебя
 И в радостных лобзаниях дам выход
 Огню, что в сердце любящем горит ²⁶.

В наше время Венецию прославил Гете, а милый Маро, который первым подал голос при пробуждении французских муз, нашел приют в доме Тициана. Монтескье писал: «Можно повидать все города мира и удивиться, приехав в Венецию».

Когда автор «Персидских писем» в чересчур откровенной манере изображает мусульманку, отданную в раю двум *божественным мужчинам* *, не узнаете ли вы в ней куртизанку из «Исповеди» Руссо и куртизанку из «Мемуаров» Байрона? Не был ли я среди моих двух индианок подобен Анаиде в окружении ее двух ангелов? Но ни *раскрашенным девкам*, ни мне не было даровано бессмертие.

У госпожи де Сталь Венеция вдохновляет Коринну *: та слышит гром пушки, возвещающий отречение от мира неведомой молодой девушки... Торжественное предостережение, которое «женщина, покорившаяся своей участи, посылает другим женщинам, еще не переставшим бороться с судьбой». Коринна поднимается на колокольню Святого Марка, любитесь городом с его каналами, обращает взор к облакам, за которыми скрывается Греция. «Когда стемнеет, видны лишь отблески фонарей на черных гондолах, которые можно принять за тени, скользящие по воде за маленькой звездочкой». Освальд уезжает; Коринна бросается следом, чтобы вернуть его. «Вскоре хлынул дождь, поднялся яростный ветер». Коринна спускается на берег канала. «Однако в непроглядной тьме не видно было ни одной лодки. В мучительном волнении шагала Коринна по узким каменным плитам набережной. Буря свирепела, и с каждой минутой росла тревога Коринны за Освальда. Она звала наугад лодочников, но они думали, что то молят о помощи горемыки, которые тонут в эту бурную ночь; никто не посмел приблизиться к ней, зная, как опасно плыть в непогоду по бушующим волнам Большого канала».

Вот еще одна *Маргарита* лорда Байрона.

Я испытываю несказанное удовольствие от новой встречи с шедеврами великих мастеров в том самом месте, во славу которого они созданы. Среди бессмертных гениев я дышу полной грудью, подобно скромному путнику у гостеприимного очага богатой и красивой семьи.

²⁶ Отвей. Спасенная Венеция, д. I. явл. 1; пер. М. Гринберга.

КНИГА СОРОК ПЕРВАЯ

〈Шатобриан получает от герцогини Беррийской письмо, призывающее его в Феррару〉

3. *Приезд госпожи герцогини Беррийской*

Феррара, 18 сентября 1833 года

18-го утром я отлучился по делам, а возвратившись, увидел, что улица запружена народом; соседи прилипли к окнам. Почетный караул — сотня солдат австрийских и папских войск — занял постоялый двор. Офицеры гарнизона, городские власти, генералы, пролегат * готовились приветствовать Madame, о чьем прибытии возвестил гонец, прибывший в экипаже с французским гербом. Лестница и гостиные были убраны цветами. Николи изгнанницу не ждал более торжественный прием.

Когда вдали показалась вереница карет, раздалась барабанная дробь, загремела полковая музыка, солдаты взяли на караул. Из-за сутолоки Madame едва могла выйти из кареты, остановившейся у ворот постоялого двора; я поспешил к ней; она разглядела меня в толпе. Через головы конституционных чиновников и нищих, ринувшихся к ней, она протянула мне руку со словами: «*Мой сын — ваш король: помогите же мне выбраться отсюда*». На мой взгляд, она не слишком изменилась, хотя и похудела; в ней было что-то от резвой девчонки.

Я прокладывал дорогу; Madame опиралась на руку господина Луккези; следом за ней шла госпожа де Поденас. Мы поднялись по лестницам и вошли в покои между двумя шеренгами гренадеров, под бряцание оружия, звуки фанфар и крики «виват». Меня принимали за дворецкого; желающие быть представленными матери Генриха V обращались ко мне с просьбами. Мое имя связывалось с этими именами в умах толпы.

Надо сказать, что от Палермо до Феррары Madame везде встречали с почетом, вопреки нотам Луи Филипповых посланников. Когда господин де Брой имел дерзость просить папу о выдаче изгнанницы, кардинал Бернетти отвечал: «Рим искони был прибежищем низвергнутых властителей. Если недавно подле отца всех христиан нашло приют семейство Бонапарта, тем больше оснований оказать такое же гостеприимство представителям христианнейшего королевского рода».

Я не очень верю в правдивость этого эпизода, но я был живо поражен контрастом: во Франции правительство осыпает оскорблениями женщину, которую оно боится; в Италии помнят лишь об имени, отваге и несчастьях госпожи герцогини Беррийской.

К моему удивлению, мне пришлось исполнять роль первого придворного. Принцесса вела себя донельзя чудаковато; одета она была в сероватое полотно-

ное платье, затянутое в талии, на голове носила нечто вроде вдовьего чепца, либо детского чепчика, либо колпака наказанной пансионерки. Она носилась повсюду очертя голову; она ныряла в толпу любопытных с той же решительностью, с какой бросилась в леса Вандеи. Она ни на кого не смотрела и никого не узнавала; мне приходилось либо неучтиво дергать ее за подол, либо преграждать ей дорогу со словами: «Сударыня, вон тот офицер в белом мундире — командующий австрийскими войсками; сударыня, вон тот офицер в голубом мундире — командующий папскими войсками; сударыня, вон тот высокий молодой аббат в черном — пролегат». Она останавливалась, произносила несколько слов по-итальянски или по-французски, не совсем правильно, но без запинки, искренно, любезно, и при всей их раздражающей неправильности речи ее никого не раздражали: манера ее положительно не имела себе подобных. Я, пожалуй, испытывал некоторую неловкость, но нимало не тревожился относительно воздействия, производимого беглянкой, вырвавшейся на свободу из пламени и темницы.

Не обошлось без комического недоразумения. Должен со всей сдержанностью и скромностью признаться в одной вещи: чем глубже жизнь моя погружается в молчание, тем больше вокруг нее шумихи. Сегодня я не могу остановиться ни в одной гостинице ни во Франции, ни за границей, не будучи немедленно подвергнут осаде. Для старой Италии я — поборник религии; для молодой — поборник свободы; для властей я имею честь быть *la Sua Eccellenza già ambasciadore di Francia*²⁷ в Вероне и в Риме. Итальянки, сплошь редкостные красавицы, помогли индианке Атала и мавру Абен-Гамету заговорить на языке Анжелики и Черного Аквилана *. Поэтому ко мне являются школяры, старые аббаты в круглых скуфьях, дамы, которым я признателен за переводы и доброту, затем *mendicanti*²⁸, слишком благовоспитанные, чтобы допустить, что бывший посол так же беден, как и они.

Итак, мои почитатели примчались к гостинице Трех корон вместе с толпой, встречавшей госпожу герцогиню Беррийскую: они загнали меня в угол у окна и завели торжественную речь, конец которой обратили уже к Марии Каролине. В волнении обе толпы порой сбивались с толку: меня именовали Ваше Королевское Высочество, а герцогиню, как она мне рассказала, превозносили за «Гений христианства»: мы обменялись славой. Принцесса была в восторге от того, что ей приписали четырехтомный труд, а я был горд от того, что меня приняли за дочь королей.

Внезапно принцесса исчезла: пешком, в сопровождении графа Луккези, она отправилась взглянуть на темницу, где томился Тассо *; она знала толк в тюрьмах. Мать изгнанного сироты, юного наследника Святого Людовика,

²⁷ Его превосходительство посол Франции (*ит.*).

²⁸ Нищие (*ит.*).

Мария Каролина, вышедшая из крепости Блай, ищет в городе Рене Французской узилище поэта — эпизод в истории человеческой судьбы и славы, не имеющий себе равных. Пражские праведники стократ проехали бы через Феррару, не возмев подобного желания, но госпожа Беррийская — неаполитанка, она соотечественница Тассо, который говорил: «No desiderio di Napoli, come l'anime ben disposte del paradiso — Я алчу Неаполя, как благонамеренные души алчут рая».

Я был в оппозиции и в опале; ордонансы медленно зрели во дворце и покоились в глубинах сердца, доставляя их авторам тайную радость; в ту пору герцогине Беррийской попала на глаза гравюра, изображающая певца Иерусалима в темнице. «Надеюсь,— сказала она,— что такая же участь ждет в скором времени Шатобриана». Слова, сказанные в эпоху благоденствия; теперь в них не больше смысла, чем в речах, сорвавшихся с языка во хмелю. Мне довелось оказаться вместе с Madame в темнице Тассо после того, как, служа ей, я сам побывал в полицейской тюрьме. Какие возвышенные чувства явила благородная принцесса, каким уважением почтила меня, обратившись ко мне за помощью после того, как обронила подобное пожелание. Если она переоценила мои таланты, высказав эту свою мечту, она не ошиблась в моем характере, одарив меня своим доверием.

⟨Герцогиня Беррийская добивается от Шатобриана согласия отвезти в Прагу ее письмо с просьбой предоставить ей декларацию о совершеннолетию сына⟩

КНИГА СОРОК ВТОРАЯ

⟨Путь из Италии в Прагу⟩

3. ⟨...⟩Прага

Прага, 29 сентября 1833 года

⟨Переправа через Дунай; Вальдмюнхен⟩

На третий день после моего приезда в Прагу я вручил Иасенту письмо к госпоже герцогине Беррийской; по моим расчетам, он должен был застать ее в Триесте. В этом письме говорилось, что королевское семейство уехало в Леобен, что на совершеннолетию Генриха * прибыли молодые французы, но король ускользнул от них, что я видел госпожу супругу дофина, и она посоветовала мне немедленно отправиться к Карлу X в Бутширад, что Mademoiselle я толком не видел, потому что ей слегка нездоровилось, что меня проводили к ней в комнату, где царил полумрак, ибо ставни были закрыты, и она протянула мне пылающую руку, умоляя меня спасти их всех;

что я отправился в Бутширад *, видел господина де Блакаса и беседовал

с ним насчет декларации о совершеннолетии Генриха V, что ночью меня проводили в королевскую опочивальню; король дремал и, когда я подал ему письмо от госпожи герцогини Беррийской, показался мне настроенным решительно против моей августейшей клиентки; впрочем, короткая бумага, составленная мною в связи с совершеннолетием Генриха V, похуже, ему понравилась.

Письмо заканчивалось следующим образом:

«Не стану скрывать от вас, сударыня, что дела наши отнюдь не благополучны. Наши враги посмеялись бы, если бы увидели, как мы оспариваем друг у друга королевскую власть без королевства, скипетр, обратившийся в посох паломника, служащий нам в изгнании, которое, быть может, окончится очень не скоро. Камень преткновения заключается единственно в воспитании вашего сына, меж тем я не вижу никакой возможности его изменить. Я возвращаюсь в богадельню, к беднякам, которых опекает госпожа де Шатобриан; там я всегда буду в вашем распоряжении. Если когда-нибудь Генрих окажется всецело в вашей власти и вам по-прежнему будет угодно, чтобы это бесценное сокровище было передано в мои руки, я почту за счастье и честь посвятить ему остаток моих дней, но я мог бы взять на себя такую страшную ответственность, только обретя полную свободу выбора и мыслей и находясь на независимой земле, вне досягаемости абсолютных монархий».

В письмо я вложил копию моего проекта декларации о совершеннолетии:

«Мы, Генрих V, достигнув возраста, когда по законам королевства наступает совершеннолетие наследника престола, желаем, чтобы первым поступком, следующим за этим совершеннолетием, явился официальный протест против узурпации престола Луи Филиппом, герцогом Орлеанским. Посему мы с ведома нашего совета составили настоящий документ в поддержку наших прав и прав французов. Написано тридцатого дня месяца сентября года от Рождества Христова тысяча восемьсот тридцать третьего».

〈Подробности свидания Шатобриана с супругой дофина〉

5. *Бутширад.— Сон Карла X.— Генрих V.— Прием, оказанный молодым роялистам*

Прага, 30 сентября 1833 года

Бутширад — вилла великого герцога Тосканского *, расположенная приблизительно в шести лье от Праги, на пути в Карлсбад. Австрийские князья владеют землями у себя на родине; по ту сторону Альп они всего лишь пожизненные арендаторы: Италия отдана им внаймы. В Бутширад ведет аллея, окаймленная тремя рядами яблоневых деревьев. Вилла не имеет никакого вида;

вместе со службами она походит на богатый хутор и возвышается среди голой равнины близ утопающей в зелени деревушки и колокольни. Внутреннее убранство дома — итальянская бессмыслица на 50-м градусе широты: большие залы без каминов и печей. Грустно видеть убранство покоев — память о Холи-Роуде *. Из прибежища Якова II, вновь обставленного Карлом X, кресла и ковры перекочевали в Бутширад.

У короля был жар, и, когда 27-го числа в восемь вечера я приехал в Бутширад, он лежал в постели. Господин де Блакас, как сказано в моем письме госпоже герцогине Беррийской, проводил меня в спальню Карла X. На камине горел маленький светильник; в тишине и темноте я слышал только дыхание тридцать пятого преемника Гуго Капета. О мой старый король! сон ваш был неспокоен; время и невзгоды тяжелым кошмаром придавили вам грудь. Молодой муж не испытывает столько любви, подходя к ложу своей юной супруги, сколько я испытывал почтения, тихонько приближаясь к вашему одинокому одру. По крайней мере, я не был дурным сном, который разбудил вас перед смертью вашего сына! Я про себя обращал к вам слова, которые не смог бы произнести вслух без слез: «Храни вас Всевышний от грядущих зол! Спите покойно в эти ночи, предвестницы последнего сна! Долгое время ночами вам сопутствовали одни лишь болести. Да станет это ложе изгнания мягче, ибо скоро к вам снизойдет Господь! ему одному по силам сделать для вас чужую землю пухом!»

Да, я с радостью отдал бы всю мою кровь ради того, чтобы во Франции восторжествовала законная монархия. Я воображал, что с древним королевским родом может произойти то, что произошло с жезлом Аарона *: в скинии Иерусалимской он вновь зазеленел и покрылся цветами миндаля, символизирующего возобновление союза. Я не стараюсь заглушить сожаления, сдерживать слезы, следы которых все до единого мне хотелось бы стереть с омраченного королевского чела. Противоречивые чувства по отношению к одним и тем же особам — свидетельство искренности моих записок. Карл X умиляет меня как человек, но оскорбляет как монарх; я отдаюсь обоим этим впечатлениям, то одному, то другому, не пытаюсь их примирить.

28 сентября, после того как Карл X принял меня у края своей постели, за мной прислал Генрих V: я не просил о свидании с ним. Я поговорил с ним, как со взрослым, о совершеннолети и о верноподданных французах, подаривших ему золотые шпоры.

Вообще меня встретили как нельзя лучше. Приезд мой вызвал тревогу; все опасались отчета, который я дам о своем путешествии в Париже. И так, ко мне отнеслись с необычайной предупредительностью, зато на остальных не обратили ни малейшего внимания. Спутники мои разбрелись, умирая от голода и жажды, по коридорам, лестницам, дворам замка и блуждали среди растерян-

ных хозяев, еще не успевших оправиться от стремительного бегства *. В доме слышались то проклятия, то взрывы смеха.

Австрийскую охрану потрясли усатые пришельцы в буржуазных сюртуках; австрийцы подозревали, что это переодетые французские солдаты, замышляющие внезапно захватить Богемию.

Покуда вокруг замка кипели страсти, в замке Карл X толковал мне: «Я внес исправления в состав парижского *правительства*. Вашими коллегами будут господин де Виллель, как вы просили, а также маркиз де Латур-Мобур и канцлер».

Я поблагодарил короля за доброту, восхищаясь силой земных иллюзий. Общество рушится, монархиям приходит конец, лицо земли обновляется, а Карл учреждает в Праге правительство *Франции*, руководствуясь *мнением* своего *сведущего* совета. Не будем чересчур насмешливы: кто из нас не имеет своей химеры? кто из нас не питает надежд? кто не учредил в тайниках души *правительство*, руководствуясь *мнением* своих *сведущих* страстей? Мне, живущему грезами, не к лицу язвительность. Разве эти наспех слагаемые записки — не мое *правительство*, руководствующееся *мнением* моего *сведущего* тщеславия? Разве я не убежден, что говорю с будущим, которое, однако, так же мало подвластно мне, как Франция — Карлу X?

Кардинал Латиль, не желая ввязываться в историю, уехал на несколько дней к герцогу де Рогану. Господин де Фореста таинственно прохаживался по коридорам с портфелем под мышкой; госпожа де Буйе с важным видом делала мне глубокие реверансы, потупив очи, которые, однако, жадно ловили все происходящее; господин Ла Вилатт со дня на день ждал отставки; о господине де Барранде, который тщетно льстил себя надеждой вновь войти в милость и вел уединенную жизнь в Праге, никто и не вспоминал.

Я отправился засвидетельствовать свое почтение дофину. Разговор наш был краток.

— Чем занята Ваша Светлость в Бутшираде?

— Я старею.

— Как все, Ваша Светлость.

— Как здоровье вашей супруги?

— Ваша Светлость, у нее болят зубы.

— Флюс?

— Нет, Ваша Светлость, — время.

— Вы обедаете у короля? Значит, мы увидимся.

На том мы и расстались.

⟨Не желая присутствовать при свидании герцогини Беррийской с семьей, Шатобриан возвращается в Париж⟩

КНИГА СОРОК ТРЕТЬЯ

1. *Нынешнее политическое положение в целом.* — Филипп

Париж, улица Анфер, 1837

Перейдя от размышлений о политике законной монархии к политике в целом, скажу, что, читая написанное мною об этой политике в 1831, 1832 и 1833 годах, я убеждаюсь, что предвидения мои были довольно верными.

Луи Филипп — неглупый человек, чей язык извергает потоки общих мест. Он по нраву Европе, и она пеняет нам за то, что мы его не ценим; Англия радуется, что мы вслед за ней свергли короля; другие государи ненавидят законную монархию, ибо не сумели покорить ее своей воле. Филипп поработил всех своих приближенных; он надул своих министров: назначил их, потом отставил, снова назначил, скомпрометировал, — если сегодня что-нибудь еще может скомпрометировать человека, — и снова отстранил от дел.

Превосходство Филиппа очевидно, но относительно; живи он в эпоху, когда в обществе еще теплилась жизнь, вся его посредственность вышла бы наружу. Две страсти губят его достоинства: чрезмерная любовь к собственным детям и ненасытная жажда богатства; обе они будут беспрестанно помрачать его рассудок.

В отличие от королей из старшей ветви Бурбонов, Филиппа не волнует честь Франции: что для него честь? В отличие от приближенных Людовика XVI, он не боится народных бунтов. Он укрывается под сенью преступления своего отца *: ненависть к добру не тяготее над ним; он сообщник, а не жертва.

Оценив усталость эпохи и подлость сердец, Филипп почувствовал себя вольготно. На смену свободам, как я и предсказывал еще в моей прощальной речи в палате пэров, пришли законы, наводящие страх, но никто не шевельнул и пальцем; в стране царит произвол; власть запятнала себя резней на улице Транснонен, расстрелами в Лионе *, судебными преследованиями прессы, арестами граждан, которых месяцами и даже годами держали в тюрьме в качестве предупредительной меры, но никто не постыдился рукоплескать всему этому. Измученная, ничему не внемлющая страна вынесла все. Едва ли сыщется хотя бы один человек, которого нельзя упрекнуть в том, что он противоречит самому себе. Из года в год, из месяца в месяц мы писали, говорили и делали сначала одно, а потом совсем другое. У нас было слишком много оснований краснеть, и с некоторых пор мы уже не краснеем вовсе; наши противоречия столь многочисленны, что ускользают из нашей памяти. Чтобы покончить с ними, мы принимаемся утверждать, будто никогда не менялись или менялись только постепенно, преображая свои мысли и суждения под

действием времени. Стремительный ход событий так быстро состарил нас, что, когда нам напоминают наши былые деяния, нам кажется, будто с нами говорят о ком-то другом, не о нас: к тому же изменяться — значит поступать, как все.

В отличие от королей из старшей ветви Бурбонов, Филипп не считал, что для того, чтобы царствовать, он должен владычествовать над всеми деревнями; он решил, что ему довольно Парижа: если бы он смог рано или поздно превратить столицу в крепость, охраняемую шестьюдесятью тысячами солдат, он полагал бы себя в безопасности. Европа позволила бы ему это сделать; ибо он убедил бы государей, что его цель — задушить революцию в ее старой колыбели, оставив залогом в руках чужеземцев свободы, независимость и честь Франции. Филипп — полицейский: Европа может плюнуть ему в лицо; он утирается, благодарит и показывает свое королевское удостоверение. Впрочем, это единственный властитель, которого могут вынести французы. Низость избранного монарха составляет его силу; его особа тешит разом нашу привычку к короне и нашу склонность к демократии; мы повинемся власти, почитая себя вправе оскорблять ее; это вся свобода, какая нам нужна: стоя на коленях, мы даем оплеуху нашему повелителю, восстанавливая привилегии у его ног, а равенство на его щеке. Лукавец и хитрец, Людовик XI философической эпохи, избранный нами государь ловко ведет свой челн по жидкой грязи. Старшая ветвь Бурбонов засохла вся, за исключением одного бутона; младшая ветвь сгнила. Монарх, торжественно посаженный на трон решением городской ратуши, никогда не думал ни о ком, кроме себя; он приносит французов в жертву тому, что почитает своей безопасностью. Те, кто рассуждают о способах возвратить отечеству величие, забывают о нраве нашего государя; он убежден, что средства, которые спасли бы Францию, смертельны для него самого; по его мнению, то, что сохранит жизнь королевской власти, убьет короля. Впрочем, никто во Франции не вправе презирать Филиппа, ибо все здесь равно достойно презрения. Но какого бы благоденствия ни мечтал он достичь, благоденствие это ускользнет либо от него, либо от его детей, ибо он пренебрегает народами, давшими ему все, что он имеет. С другой стороны, падут и законные короли, предавшие законных королей: никому не дозволено безнаказанно отрицать основания своего собственного бытия. Пусть даже революции на мгновение отклонились от своего пути, рано или поздно они непременно вольются в поток, подмывающий старое здание: никто не исполнил своего долга, никто не спасется от гибели.

Если ни одна власть у нас не вечна, поскольку за последние тридцать восемь лет наследственный скипетр четырежды выпадал из царственных дланей, если царский венец, скрепленный победой, дважды соскользнул с головы Наполеона, если июльская власть беспрерывно подвергается нападкам, то отсюда следует, что обречена не республика, а монархия.

Франция враждебна престолу: корона, которую вначале признают, затем

попирают, затем поднимают, чтобы вскоре вновь растоптать,— всего лишь ненужное искушение и символ хаоса. Венценосного властелина навязывают людям, которые хранят о нем почтительные воспоминания, но отвергают его всем своим образом жизни; его навязывают поколениям, которые, утратив чувство меры и приличия, только и знают, что оскорблять королевскую особу либо заменять почтительность раболепием.

Филипп может отсрочить приговор судьбы, но он не в силах его отменить. Одна только демократическая партия идет вперед, ибо стремится к будущему; впрочем, она достигнет его, лишь если не распадется по пути. Те, кто не хотят согласиться, что монархии разрушаются под действием обстоятельств всеобщих, напрасно ждут, что от теперешнего ярма их освободят палаты; палаты не пойдут на реформы, ибо реформа принесет им смерть. Со своей стороны, оппозиция, в которую входят нынче одни промышленники, никогда не нанесет королю, которого она сама и посадила на трон, удар в спину, какой она нанесла Карлу X; она домогается должностей, она жалуется, она злится, но, столкнувшись лицом к лицу с Филиппом, она отступает, ибо ей хочется ворочать делами, но не хочется разрушать то, что она создала и на чем держится. Ее удерживают два опасения: она боится и возвращения законной монархии и начала народовластия: она льнет к Филиппу, которого не любит, но в котором видит защитника. Подкупленная должностями и деньгами, отказавшаяся от собственной воли, оппозиция подчиняется тому, что заведомо обречено на смерть, и засыпает в грязной луже; вот перина, изобретенная современной промышленностью; она не такая мягкая, как прежняя, зато стоит дешевле.

Несмотря на все это, верховной власти, у которой за спиной несколько месяцев, если угодно, даже несколько лет, не избежать грозящей ей участи. Сегодня нет почти никого, кто бы не признавал, что законная монархия лучше, нежели узурпированная, охраняет безопасность, свободу, собственность, что она предпочтительнее для отношений с иностранными державами, ибо принцип нашего нынешнего правления противоречит монархическому принципу европейских стран. Сблаговолив принять корону в свое владение, оттого что так было угодно и, пожалуй, удобно демократии, Филипп с самого начала допустил оплошность: ему следовало вскочить на лошадь и скакать до самого Рейна, вернее, ему следовало воспротивиться течению, которое несло его прямо к трону, не позволяя ставить никаких условий; окажи он подобное сопротивление, он положил бы начало установлениям более долговечным и более достойным.

Мы не раз слышали: «Если бы господин герцог Орлеанский отверг корону, началась бы страшная смута»; это — рассуждение трусов, глупцов и мошенников. Обойтись без столкновений, разумеется, не удалось бы, но затем очень скоро все пришло бы в порядок. Что же сделал Филипп для страны? Разве если

бы он отказался от скипетра, в Париже, Лионе, Вандее пролилось бы больше крови — я уж не говорю о той крови, что пролилась по вине нашей выборной монархии в Польше, Италии, Португалии, Испании? В возмещение этих несчастий дал ли нам Филипп свободу? Принес ли он нам славу? Чем он был занят? кланчил у соседних государей подтверждения своей власти, унижал родину, заставляя ее плестись в хвосте у Англии, превращая ее в заложницу; он пытался сделать наш век таким же старым, как его род, не желая сам стать молодым, как этот век.

Отчего он не женил старшего сына на какой-нибудь прекрасной простолюдинке, рожденной в его отечестве *? Это значило бы взять в жены Францию: брачный союз народа и королевской власти заставил бы королей раскаяться; меж тем короли эти, уже злоупотребившие однажды покорностью Филиппа, не остановятся на достигнутом: мощь народа, проглядывающая сквозь нашу муниципальную монархию *, ужасает их. Дабы потрафить абсолютным властителям, властителю баррикадному следовало прежде всего упразднить свободу печати и отменить наши конституционные установления. В глубине души он ненавидит их не меньше, чем они, но ему нужно соблюдать приличия. Все эти проволочки не по душе другим государям; единственный способ заставить их набраться терпения — это пожертвовать ради них всеми нашими внешними интересами: дабы привыкнуть сознать себя ленниками * Филиппа, мы для начала становимся вассалами Европы.

Я говорил сотню раз и повторю снова: старое общество умирает. Я не настолько добродушен, не настолько плутоват и не настолько обманут в своих надеждах, чтобы принять хоть малейшее участие в том, что творится ныне. Франция, самая зрелая из современных наций, отойдет, вероятно, первой. Пожалуй, можно даже утверждать, что старшая ветвь Бурбонов, которой я сохраняю верность до конца дней, сегодня не нашла бы долговечного прибежища в старой монархии. Ни одному из наследников принесенного в жертву монарха не суждено было долго носить его рваную мантию; недоверие обоюдное: монарх уже не решается положиться на народ, народ уже не верит, что вернувшееся на престол семейство простит его. Эшафот, воздвигшийся меж народом и королем, мешает им видеть друг друга: есть могилы, которые вечно остаются разверстыми. Голова Капетов была поднята столь высоко, что, дабы снять корону, пигмеям-палачам пришлось отрубить ее, как караибы рубят пальму, чтобы собрать с нее плоды *. Дерево Бурбонов окружено отростками, ветви которых, склоняя к земле, пустили корни и вновь поднялись кичливыми побегам: похоже, что ныне семейство это, прежде бывшее гордостью других королевских родов, сделалось их роком.

Но разумнее ли было бы предположить, что потомки Филиппа имеют больше шансов сохранить корону, чем юный наследник Людовика Святого — вернуть ее себе? Как ни меняй политические идеи, нравственные истины

остаются незыблемы. Неизбежно наступает развязка — поучительная, мощная, карающая. Если Людовик XVI, монарх, который приобщил нас к свободе, принужден был собственной жизнью искупить деспотизм Людовика XIV и развращенность Людовика XV, может ли быть, чтобы Луи Филипп либо его потомки не поплатились за пороки регентства? Разве не усугубил родовую вину Филипп Эгалите, отдав свой голос за казнь Людовика XVI, и не отягчил ли отцово преступление его сын Филипп, когда предательски низложил своего юного подопечного? Утратив жизнь, Филипп Эгалите ничего не искупил; предсмертные слезы не бывают искупительными; они орошают грудь, но совести не тревожат. Если бы род герцогов Орлеанских мог царствовать по праву пороков и преступлений своих предков, что оставалось бы нам думать о Провидении? То было бы страшнейшее из искушений, являвшихся когда-либо человеку добропорядочному. Заблуждение наше в том, что мы меряем вечный промысел мерками нашей краткой жизни. Век наш так недолог, что кара Божия не всегда успевает нас настигнуть, но однажды приходит час расплаты: прямого виновника уже нет в живых, но существует его род, и Провидению есть где развернуться.

По большому счету, царствование Луи Филиппа, сколько бы оно ни продлилось, будет не более чем аномалией, временным уклонением от вечных законов правосудия: в узком и относительном смысле они, эти законы, нарушаются; в смысле широком и общем они исполняются неукоснительно. Из тягчайшего преступления, совершенного на первый взгляд с соизволения небес, необходимо извлечь следствие более высокое — христианское доказательство отмены королевской власти вообще. Именно эта отмена, а не наказание отдельного человека, стала бы искуплением смерти Людовика XVI; никому не будет дозволено возложить на себя царский венец после этого праведника, чему свидетели Наполеон Великий и Карл X Благочестивый. Вероятно, именно для того, чтобы внушить вечную ненависть к короне, сыну цареубийцы было дозволено самозванно улечься на мгновение в окровавленную постель мученика.

Впрочем, все эти доводы, как бы справедливы они ни были, никогда не поколеблют моей верности юному королю; он неизменно пребудет самой большой надеждой Франции; даже если я останусь единственным, кто ему предан, я всегда буду гордиться, что был последним подданным того, кому, быть может, суждено оказаться последним королем.

2. *Господин Тьер* *

Июльская революция нашла своего короля: нашла ли она своего представителя? В разное время я описал людей, которые с 1789 года и до сего дня выходили на политическую арену. Эти люди в большей или меньшей степени

принадлежали к древнему человеческому роду, у нас была мерка, по которой мы могли их судить. Ныне наступил черед поколений, которые порвали с прошлым; исследуйте их под микроскопом, и вы сочтете их нежизнеспособными, тем не менее они прекрасно чувствуют себя в той среде, какая их окружает; им подходит воздух, которым невозможно дышать. Будущее изобретет, быть может, формулы, чтобы исчислить законы существования этих созданий, но в настоящем нет никакой возможности их постичь.

Итак, не умея объяснить перемену, происшедшую с родом человеческим, можно заняться иными индивидами, которых характеристичные изъяны либо явные достоинства выделяют из толпы. Господин Тьер, к примеру, — единственный, кого породила Июльская революция. Он основал школу, восхищающуюся Террором; принадлежи я к этой школе, я оказался бы в большом затруднении, ибо, если эти люди, отринувшие Бога и отринутые им, были бы такими уж великими, следовало бы считаться с их мнением, меж тем люди эти, понося друг друга, уверяли, что партия, которую они душат, есть партия мошенников. Послушайте, что госпожа Ролан говорит о Кондорсе, что Барбару, главное действующее лицо событий 10 августа *, думает о Марате, в чем Камиль Демулен обвиняет Сен-Жюста. Чему верить: суждению Робеспьера о Дантоне или суждению Дантона о Робеспьере? Коль скоро члены Конвента столь нелестно отзываются друг о друге, то как, не проявив непочтения, осмелиться им противоречить?

Все же я очень опасаясь, что там, где мы видели людей необычайных, действовали грубые твари, являвшиеся не более чем колесами некоего механизма. Не следует путать машину с ее деталями: машина могуча, но сделали ее не колеса. Кто же ее создатель? Бог: он сотворил ее для своих целей, дабы в назначенный час достичь в данном обществе необходимого результата.

Приверженные к материализму, якобинцы не замечают, что Террор потерпел крах оттого, что не сумел обеспечить себе условия долговечного существования. Он не смог достигнуть своей цели, ибо не смог отрубить довольно голов; к уже казненным следовало прибавить еще четыреста или пятьсот тысяч, но для такой долгой резни никогда не хватает времени: остаются только незавершенные преступления, плоды которых невозможно собрать, поскольку буря не дала им созреть.

Секрет противоречий нынешних людей в том, что они лишены нравственного чувства, утратили четкие принципы и поклоняются силе: для них всякий, кто потерпел поражение, преступен и лишен достоинства, во всяком случае того достоинства, что отвечает обстоятельствам. За либеральными фразами сторонников Террора кроется одно — обожествление успеха. Поклоняйтесь Конвенту лишь так, как поклоняются тирану. Когда Конвент падет, забирайте свои свободы и молитесь на Директорию, затем на Бонапарта, и все это не подозревая о своих метаморфозах, не думая о том, что вы переменились.

Заядлые любители драматических эффектов, вы жалеете жирондистов, ибо они *побеждены*, но не превращайте, однако, их смерть в фантастическое зрелище: прекрасные юноши, увенчанные цветами, идут на заклание *.

Жирондисты, горстка трусливых заговорщиков, которые на словах поддерживали Людовика XVI, а на деле голосовали за его казнь, в самом деле мужественно держались на эшафоте; но кто в то время не презирал смерть? Особенным героизмом отличались женщины; юные верденские девы взошли на жертвенник, как новые Ифигении; мастеровых, о которых все предусмотрительно умалчивают, этих плебеев, среди которых Конвент собрал такую богатую жатву, так же не страшил меч палача, как наших гренадеров — меч врага. На каждого священника и дворянина, павших жертвой Конвента, приходится тысячи погибших простолюдинов: об этом никто не вспоминает.

Дорожит ли господин Тьер своими принципами? ни в малейшей степени: он ратовал за резню, но с таким же успехом стал бы проповедовать гуманность; он выдавал себя за страстного поклонника свободы, что не помешало ему подавить Лионское восстание, расстрелять рабочих на улице Гранснонен и отстаивать вопреки всем и вся сентябрьские законы *: если он когда-нибудь прочтет мои слова, он примет их за похвалу.

Став председателем совета и министром иностранных дел, господин Тьер упивается дипломатическими интригами Талейрановой школы; в результате его принимают за паяца, ибо ему недостает степенности, серьезности и умения держать язык за зубами. Можно пренебрегать глубиной и величием души, но не стоит об этом говорить, пока все кругом не подчинится тебе и не сделаются твоими сотрапезниками по оргиям в Гран-Во *.

Впрочем, с низменными нравами господин Тьер сочетает возвышенный инстинкт: в то время как уцелевшие феодалы обеднели и сделались управляющими в собственных имениях, он, господин Тьер, знатный вельможа эпохи Возрождения, путешествует, как новый Атик, скупая по дороге произведения искусства и возрождая щедрость античной аристократии; это превосходно; однако если он сеет с такой же легкостью, с какой пожинает, ему следовало бы расстаться со своими прежними привычками и опасаться кутежей, приятелей и дурного общества.

Подвижный, как ртуть, господин Тьер утверждал, что отправится в Мадрид * истреблять анархию, над которой я одержал победу еще в 1823 году, — план тем более смелый, что Луи Филипп его не одобрял. Господин Тьер может возомнить себя Бонапартом, может думать, что его перочинный ножик не что иное, как продолжение Наполеоновой шпаги, может убедить себя, что он великий генерал, может мечтать о завоевании Европы по той причине, что заделался ее летописцем и весьма неосмотрительно возвратил на родину прах Наполеона *. Я признаю все эти притязания: замечу только, касательно Испании, что, решившись завоевать ее, господин Тьер ошибся в расчетах;

я в 1823 году спас своего короля, но он в 1836 году погубил бы своего. Значит, главное, — делать то, что делаешь, вовремя; на свете существуют две силы: сила людей и сила вещей; когда они противостоят друг другу, ни один замысел не осуществляется. Нынче Мирабо никого бы не смог всколыхнуть, хотя его продажность нимало бы ему не повредила: ведь сегодня пороки никого не позорят; людей бесчестят только их добродетели.

У господина Тьера есть три выхода: либо объявить себя борцом за республиканское будущее, либо оседлать уродливую Июльскую монархию, словно обезьяна — верблюда, либо возродить имперские порядки. Последнее решение вполне в духе господина Тьера, но возможна ли империя без императора, империя в одной упряжке с демократией? Более вероятно, что автор «Истории революции» станет добычей обыкновенного тщеславия: он захочет удержать либо вновь захватить власть; дабы сохранить либо заполучить желанное место, он будет каяться в том, чего потребуют время или выгода; чтобы раздеться на людях, потребна смелость, но так ли молод господин Тьер, чтобы красота его могла служить ему покровом?

Забыв на время о Деце * и Иуде, я готов признать, что господин Тьер обладает умом гибким, быстрым, тонким, податливым, постигающим все, за исключением нравственного величия, умом, за которым, быть может, будущее; чуждый зависти, мелочности, чванства и предрассудков, он выделяется на тусклом и мрачном фоне нынешних посредственностей. Его гордыня пока не вызывает ненависти, ибо не влечет за собою презрения к ближнему. Господин Тьер изобретателен и одарен многообразными талантами; его мало смущают идейные разногласия, он совершенно не злопамятен, не боится скомпрометировать себя, ценит людей не за их честность или их отношение к самому господину Тьеру, но по их достоинствам, что не помешало бы ему в случае нужды передуть нас всех. Господин Тьер еще не стал тем, чем может стать; время покажет, на что он способен, если, конечно, этому не помешает раздутое самомнение. Проявив выдержку и не совершив опрометчивых шагов, он выкажет в делах те свои достоинства или изъяны, что до сих пор оставались незамеченными. Господина Тьера ждет стремительный взлет или столь же стремительное падение; он может стать великим министром, а может остаться пустомелей.

Однажды господин Тьер уже держал в руках судьбы мира, но ему недоставало решимости: отдай он приказ напасть на английский флот *, и при нашем тогдашнем численном превосходстве на Средиземном море победа была бы за нами; турецкий и египетский флоты, стоявшие в Александрийском порту, пришли бы нам на помощь; поражение Англии воодушевило бы Францию. Можно было сразу ввести стопятидесятитысячную армию в Баварию, можно было захватить какой-нибудь итальянский городок, не ожидающий нападения. Лицо всего мира еще раз изменилось бы. Было ли бы наше вторжение

справедливым? Это другой вопрос; но мы могли бы спросить у Европы, справедливо ли поступала она по отношению к нам, когда заключала договоры, согласно которым Россия и Германия, злоупотребляя победой, сверх меры расширили свои владения, меж тем как Франция оказалась втиснута в прежние тесные пределы. Как бы там ни было, господин Тьер не решился пойти ва-банк; оценив свои силы, он счел их недостаточными, а ведь именно оттого, что ему нечего было терять, он мог все поставить на карту. Мы очутились под пятой у Европы: такого случая воспрянуть нам больше не представится.

Последнее достижение господина Тьера состоит в следующем: дабы спасти свою систему, он ограничил Францию пятнадцатью лье, которые окружил крепостной стеной *; скоро мы узнаем, права ли Европа, потешающаяся над этим ребячеством великого мыслителя.

Подумать только: забывшись, я посвятил больше страниц человеку, чье будущее туманно, нежели великим людям, память о которых будет жить в веках. Слишком долгая жизнь имеет свои неудобства: я дожил до эпохи бесплодности, когда во Франции одно захудалое поколение сменяет другое: *Luca carca nella sua magrezza* ²⁹. Записки мои день ото дня делаются все менее увлекательны, ибо мельчают описываемые в них события; боюсь, что их ждет такой же конец, как дочерей Ахелоя *. Римская империя, громко возвестившая о себе устами Тита Ливия, съезживается и гаснет в рассказах Кассиодора. Вы были счастливы, Фукидид и Плутарх, Саллюстий и Тацит, когда рассказывали о противоборстве партий в Афинах и Риме! По крайней мере, вы были уверены в том, что воодушевляете эти партии не только вашим гением, но еще и блеском греческого языка и суровостью языка латинского! А что могли бы мы, вельхи *, рассказать о нашем умирающем обществе на нашем скудном варварском наречии? Если бы эти последние мои страницы я посвятил рассказу о пустословии наших ораторов, о вечных толках насчет наших прав, о наших драках за министерские портфели, разве через пятьдесят лет мою книгу не постигла бы та же участь, что постигает неудобопонятные столбцы старой газеты? Сбудется ли хотя бы одно мое предсказание из тысячи одного? Кто способен предугадать действия французского ума, его странные скачки и повороты? Кто сумеет понять, отчего он внезапно, без всякой видимой причины, сменяет гнев на милость, а проклятия на благословения? Кому удастся объяснить, отчего он отказывается от одной политической системы в пользу другой, отчего, с речами о свободе на устах и рабским трепетом в сердце, он утром верит в одну истину, а вечером поклоняется истине противоположной? Бросьте нам несколько пылинок: мы, как Вергилиевы пчелы *, прекратим драку и улетим прочь.

²⁹ Волчица, чье худое тело, // Казалось, все алчбы в себе несет (Данте. Ад, I, 50; пер. М. Лозинского).

3. *Господин де Лафайет*

Если по случайности в подлунном мире и свершатся еще какие-нибудь великие события, наша родина не воспрянет. У разлагающегося общества оно неплодно; даже преступления, которые оно творит, нежизнеспособны; на них лежит печать вырождения. Завтрашний день — дорога, по которой обреченные поколения волоком тащат старый мир к миру неведомому.

В нынешнем году умер господин де Лафайет. Некогда я, пожалуй, отзывался о нем несправедливо; я изобразил его глупцом, человеком, чей облик и слава двоятся: герой по ту сторону Атлантического океана, балаганный шут по эту. Потребовалось более сорока лет, чтобы современники признали за господином де Лафайетом достоинства, в которых ему упорно отказывали. С трибуны он говорил непринужденно, тоном благовоспитанного человека. Жизнь его ничем не запятнана; любезный и великодушный, он соблюдал безукоризненный порядок в делах, хотя дар американского Конгресса и французский закон о возвращении имущества эмигрантам принесли ему немало богатство. При Империи он проявил благородство и жил вдали от света; во время Реставрации он вел себя не столь безупречно; он пал так низко, что позволил карбонариям и мелким заговорщикам втянуть его в свои дела; в Бельфоре * ему пришлось спасаться от правосудия, точно заурядному авантюристу, и лишь удача помогла ему ускользнуть. В начале революции он держался подальше от душегубов; он боролся против них с оружием в руках; он хотел спасти Людовика XVI, но при всей ненависти к резне, при всем старании избегать ее прославился он благодаря тем эпизодам, в которых толпа несла на пиках головы своих жертв *.

Господин де Лафайет возвысился потому, что жил и жил долго; есть слава, которая приходит сразу, и смерть, настигая талантливого человека в юности, лишь увеличивает ее блеск; есть и другая слава — поздняя дочь времени, она приходит с годами; она велика не сама по себе, а благодаря переворотам, волею случая затронувшим ее носителя. Жизнь его складывается так, что ни одно историческое событие не происходит без его участия; имя его становится символом или знаменем для всех идей: господин де Лафайет вечно пребудет олицетворением *национальной гвардии*. Удивительным образом поступки его часто приводили совсем не к тому, чего он хотел; роялист, он низложил в 1789 году восьмивековую королевскую власть; республиканец, основал в 1830 году царство с баррикадным королем на троне: он ушел, оставив корону, которую похитил у Людовика XVI, Филиппу. Тесто революции замесили на тех же дрожжах, что и его судьбу; когда потоки наших несчастий иссякнут, мы увидим, что именно его образ украшает революционный пирог.

Торжественный прием, устроенный господину де Лафайету в Соединенных Штатах, вознес его на небывалую высоту; пылкая благодарность народа,

стоя приветствовавшего своего освободителя, умножила блеск его имени. Эверетт так заканчивает свою речь 1824 года:

«Добро пожаловать на наши берега, друг наших отцов! такой триумф не выпадал ни одному монарху и завоевателю на земле. Увы, Лафайет! Друг вашей юности, бывший более чем другом своей страны, почил в лоне земли, которой дал свободу. Он покоится с миром и славой на берегах Потوماка *. Вы вновь узрите гостеприимную сень Монт-Вернона, но тот, кого вы боготворили, уже не встретит вас на пороге этого жилища. Вместо него и от его имени вас приветствуют благородные сыны Америки. Повторяю еще и еще раз: добро пожаловать на наши берега. Куда бы вы ни направили стопы на нашем континенте, всякий, кто услышит звук вашего голоса, будет благословлять вас».

В Новом Свете господин де Лафайет споспешествовал образованию нового общества, в Старом Свете — разрушению общества старого: в Вашингтоне имя его — символ свободы, в Париже — анархии.

Господином де Лафайетом владела одна идея, к счастью для него оказавшаяся идеей века: на колебимой верности этой идее зиждилось его могущество; она служила ему шорами, не дающими глядеть ни вправо, ни влево; он шел твердым шагом, никуда не сворачивая, он двигался вперед по краю пропасти и не падал не оттого, что видел бездну, но оттого, что не замечал ее; ослепление заменяло ему гений: все колебимое фатально, а все фатальное могущественно.

Я как сейчас вижу господина де Лафайета в 1790 году: во главе национальной гвардии он идет по бульварам в Сент-Антуанское предместье; 22 мая 1834 года я видел, как по тем же бульварам везли его гроб. В траурной процессии выделялась группа американцев с желтыми цветками в петлицах. Господин де афайет привез из Соединенных Штатов довольно земли, чтобы засыпать его могилу, но желание его не было исполнено *.

Земли Америки попросите тогда вы
Доставить для того, чья не померкла слава,
И приготовите последнюю постель,
Чтоб, опочив на ней, воитель благородный
Хотя б шесть футов мог земли обрести свободной
В стране, томящейся досель...³⁰

В последний час, забыв разом и свои политические мечтания, и романы своей жизни, он пожелал покоиться на кладбище Пикпюс подле своей добродетельной супруги *: смерть все возвращает на круги своя.

В Пикпюсе похоронены жертвы революции, начатой господином де Лафайетом; там стоит часовня, где не смолкают заупокойные молитвы. Я хоронил там господина герцога Матье де Монморанси, товарища господина де Лафайета по Учредительному собранию; когда гроб на веревках опускали в моги-

³⁰ Пер. М. Гринберга.

лу, он повернулся набок, словно покоящийся в нем христианин привстал, чтобы еще раз помолиться.

Когда хоронили господина де Лафайета, я стоял в толпе на углу улицы Гранж-Бательер: бульвар здесь идет в гору; на самой высокой точке катафалк остановился; в свете мимолетного солнечного луча он сверкнул золотом, возвышаясь над касками и оружием, потом снова въехал в тень и скрылся из виду.

Толпа разошлась; снова стало слышно, как торговки *радостями* предлагают свои вафельные трубочки, снова стало видно, как продавцы игрушек расхаживают взад-вперед со своими бумажными мельницами, крутящимися от того же ветра, который качал перья траурной колесницы.

На заседании палаты депутатов 20 мая 1834 года председатель сказал: «Славное имя генерала Лафайета войдет в нашу историю... Выражая вам чувства соболезнования всей палаты, я присоединяю к ним, дорогой собрат (Жорж де Лафайет), уверение в моей личной привязанности». После этих слов писарь добавляет в скобках: (*Смех в зале*) *.

Вот конец одной из самых суровых жизней: «*Смех в зале!*» Что остается после смерти величайших людей? Серый плащ да соломенный крест, как на теле герцога де Гиза, убитого в Блуа.

На моих глазах в двух шагах от глашатая, который за одно су продавал у решетки дворца Тюильри сообщение о смерти Наполеона, два шарлатана расхваливали свое зелье; а в «Монитёре» от 21 января 1793 года я прочел после рассказа о казни Людовика XVI такие слова:

«Через два часа после казни ничто в Париже не напоминало о том, что тот, кто еще недавно был главой нации, обезглавлен как преступник». Дальше красовалось объявление: «„Амбруаз“, комическая опера».

Последний герой драмы, разыгрывавшейся в течение пятидесяти лет, господин де Лафайет все это время не сходил со сцены; в финале греческой трагедии хор оглашает мораль пьесы: «Значит, смертным надо помнить о последнем нашем дне»³¹. И я, зритель, сидящий в пустом зале с покинутыми ложами и погашенными огнями, остаюсь единственным человеком своей эпохи, кто в безмолвии ночи не сводит глаз с опустившегося занавеса.

4. Арман Каррель

Арман Каррель угрожал будущему Филиппа, как генерал де Лафайет преследовал его прошлое. Вы знаете, при каких обстоятельствах я познакомился с господином Каррелем *; с 1832 года я не прерывал отношений с ним вплоть до того дня, когда мне пришлось провожать его на кладбище Сен-Манде.

³¹ Софокл. Эдип-царь, космос, с. 1488; пер. С. Шервинского.

Арман Каррель был печален; он начинал опасаться, что французы не способны к разумному обращению со свободой; в душе его жило некое предчувствие, что долго он не проживет: считая жизнь штукой ненадежной и не дорожа ею, он был всегда готов поставить ее на карту. Погибни он на дуэли с молодым Лабори из-за Генриха V, смерть его имела бы по крайней мере возвышенную причину и стала возвышенным зрелищем; вероятно, похороны его были бы озаглавлены кровавыми игрищами; он ушел от нас из-за ничтожной ссоры, не стоившей даже волоска с его головы *.

〈Переписка Карреля и Шатобриана〉

Господина Карреля посадили в тюрьму Сент-Пелажи *; я навещал его там два или три раза в неделю: я заставал его стоящим у зарешеченного окна. Он напоминал мне своего соседа, молодого африканского льва из Зоологического сада *: замерев перед прутьями клетки, сын пустыни обводил грустным блуждающим взглядом пространство за пределами своей темницы; было видно, что жить ему осталось недолго. Мы с господином Каррелем выходили на прогулку: слуга Генриха V и ненавистник королей меряли шагами сырой, мрачный, тесный двор-колодец, обнесенный высокими стенами. По двору гуляли и другие республиканцы: эти пылкие молодые революционеры в усах и в бородах, длинноволосые, в тевтонских или греческих головных уборах, с бледными лицами, суровыми взорами и грозным видом, были похожи на души, пребывающие в Тартаре прежде, чем явиться на свет; они еще только готовились вступить в жизнь. Платье этих юношей действовало на них, как мундир на солдат, как окровавленный хитон Несса на Геракла: то был мир, скрытый за современным обществом, мстительный мир, приводящий в трепет.

По вечерам они собирались в камере их предводителя Армана Карреля; они говорили о том, что им придется совершить после прихода к власти и о необходимости кровопролития. Они спорили о *великих гражданах Террора*: одни — сторонники Марата — были атеистами и материалистами; другие — почитатели Робеспьера — поклонялись этому новому Христу. Разве святой Робеспьер не сказал в своей речи, посвященной Верховному Существу, что вера в Бога «дает силы не бояться невзгод» и что «невинные жертвы на эшафоте заставляют бледнеть тирана на триумфальной колеснице»? Лицемерие палача, который с умилением рассуждает о Боге, о невзгодах, о тирании, об эшафоте, дабы убедить людей, что сам он убивает лишь преступников, и вдобавок убивает из добродетели; предусмотрительность злодея, который, видя, что час расплаты близок, загадя в позу Сократа перед судьей и пытается устрашить меч, грозя ему своей невинностью.

Пребывание в Сент-Пелажи принесло господину Каррелю вред: заключенный вместе с горячими головами, он боролся с их идеями, распекал их, бранил, благородно отказывался славить 21 января, но в то же время страдания

раздражали его ум, и под действием софизмов, слышанных им от поклонников убийства, рассудок его пошатнулся.

Матери, сестры, жены этих юношей приходили по утрам помочь им по хозяйству. Однажды, проходя по темному коридору, который вел к камере господина Карреля, я услышал из соседней камеры божественный голос: женщина ослепительной красоты, без шляпы, простоволосая, сидя на краю убогого ложа, чинила лохмотья стоящего на коленях узника, который казался пленником не столько Филиппа, сколько женщины, к чьим стопам он был прикован *.

Вырвавшись из плена, господин Каррель не раз навещал меня в свой черед. За несколько дней до рокового часа он принес мне номер «Насьональ» со своей статьей о моем «Опыте об английской литературе», где он с чрезмерными похвалами цитирует страницы, венчающие этот «Опыт». После его смерти мне передали эту статью, целиком написанную его рукой, и я храню ее как залог его дружбы. *После его смерти!* — какие слова я вывел, не дав себе в том отчета!

Несмотря на то что дуэль является непрременным дополнением к закону, которые не учитывают оскорблений, задевающих честь, она ужасна, особенно если кладет конец жизни, полной надежд, и лишает общество одного из тех редких людей, что являются плодом векового развития идей и событий. Пуля сразила Карреля в том лесу, где пал герцог Энгиенский *: тень внука великого Конде стала секундантом прославленного плебея и увела его с собой. Этот зловещий лес дважды исторг у меня слезы; по крайней мере, мне не в чем себя упрекнуть: оплакивая оба эти несчастья, я не предал своих привязанностей и своей скорби.

Господин Каррель, перед другими дуэлями никогда не помышлявший о смерти, на сей раз подумал о ней: всю ночь он писал последние распоряжения, словно заранее знал исход поединка. В восемь часов утра 22 июля 1836 года, живой и легкий, он отправился под ту сень, где в этот час режутся косули.

Став на отмеренном расстоянии, он быстро идет вперед и стреляет, по обыкновению ничего не страшась; ведь он, казалось, почитал всякую опасность недостаточно грозной. Когда друзья проносили его, смертельно раненного, мимо противника, также раненного, он спросил: «Вам очень больно?» Арман Каррель был столь же участлив, сколь и бесстрашен.

Я узнал о несчастье 22-го числа поздно вечером; наутро я отправился в Сен-Манде *: друзья господина Карреля были в чрезвычайной тревоге. Я хотел войти, но хирург сказал, что мое присутствие может слишком взволновать больного и погасить слабый луч надежды. Я удалился, объятый скорбью. На следующий день, 24-го, я собирался вновь отправиться в Сен-Манде, когда Иасент, посланный мною вперед, сообщил, что несчастный юноша скончался в половине шестого в страшных мучениях: юная жизнь отчаянно боролась со смертью.

Похороны состоялись во вторник 26-го. Из Руана приехали отец и брат господина Карреля. Я застал их в маленькой комнатке вместе с тремя или четырьмя близкими друзьями человека, чью смерть мы оплакивали. Они обняли

меня, и отец господина Карреля сказал: «Арман был готов стать христианином, как его отец, мать, братья и сестры: стрелке оставалось пройти всего несколько делений, чтобы вернуться в исходную точку». Я никогда не перестану сожалеть, что не повидал Карреля на смертном одре: я приложил бы все старания к тому, чтобы в последний час *стрелка* пробежала расстояние, отделяющее ее от мига, когда торжествует христианство.

Арман Каррель не был таким безбожником, как принято думать; он колебался; когда твердое неверие сменяется нерешительностью, это означает, что человек готов уверовать. За несколько дней до смерти он говорил: «Я отдал бы всю жизнь в этом мире, чтобы поверить в мир иной». Сообщая о самоубийстве господина Сотле, он написал энергические слова:

«Я мог представить себе, как жизнь моя подходит к этому мгновению, быстрому, как молния, мгновению, когда зрение, движение, голос, чувства покинут меня, когда последние силы моего духа сольются в идею: я умираю; но к той минуте, той секунде, что наступит вслед за этим, я всегда питал неизъяснимое отвращение; воображение мое неизменно отказывалось ее постичь. Глубины ада в тысячу раз менее страшны, чем эта вселенская неуверенность:

Умереть, уснуть. Уснуть!
И видеть сны, быть может? ³²

Я замечал у всех людей, какова бы ни была сила их характера и веры, одинаковую невозможность пойти дальше своего последнего земного впечатления; при этой мысли все они теряли голову, словно в конце пути их ожидала пропасть глубиной в десять тысяч футов. Люди гонят от себя это ужасное видение, когда уходят на дуэль, в бой или в море; можно даже подумать, будто они не дорожат жизнью; они идут вперед с уверенными, покойными, ясными лицами, но это оттого, что воображение рисует им не смерть, а успех; это оттого, что ум занимают не столько опасности, сколько средства их избежать» *.

Слова эти замечательны в устах человека, которому суждено было умереть на дуэли.

В 1800 году, возвращаясь во Францию, я не знал, что на берегу, куда я высадился, у меня родился друг. В 1836 году друг этот на моих глазах сошел в могилу без утешений, даруемых религией, тех утешений, о которых я напомнил отечеству в первый год нынешнего столетия.

Я провожал гроб от дома, где господин Каррель провел последние часы жизни, до могилы; я шел рядом с отцом покойного и держал под руку господина Араго: господин Араго измерил небеса, которые я воспел.

³² Шекспир. Гамлет, д. III, явл. 1; пер. Б. Пастернака.

У ворот маленького сельского кладбища процессия остановилась; друзья сказали несколько слов о погибшем. Отсутствие креста подсказало мне, что я должен похоронить выражение моей скорби на дне души.

Прошло шесть лет с тех пор, как в Июльские дни, проходя мимо разверстой могилы подле колоннады Лувра, я встретил там молодых людей, которые отнесли меня в Люксембургский дворец, где я намеревался поднять голос в защиту королевской власти, которую они только что низвергли; шесть лет спустя, в годовщину июльских празднеств, я разделил сожаления этих молодых республиканцев, как они разделили мою верность. Странная судьба! Арман Каррель испустил последний вздох в доме офицера королевской гвардии, не присягнувшего Филиппу; я, роялист и христианин, имел честь нести один край покрыва, который опустился на благородный прах, но не спрячет его от грядущего.

Я знавал множество королей, принцев, министров, людей, которые мнили себя могущественными: я не снял шляпу перед их гробом и не посвятил их памяти ни строки. В средних слоях общества я встретил больше достойных изучения и описания людей, нежели в тех, где всякий имеет ливрейных слуг; шитый золотом камзол не стоит клочка фланели, который вместе с пулей застрял в животе Карреля.

Каррель, кто вспоминает о вас? посредственности и трусы, которых ваша смерть избавила от вашего превосходства и их страхов, да я, не разделявший ваших взглядов. Кто думает о вас? Кто вспоминает вас? Примите мои поздравления: вы разом завершили странствие, становящееся под конец столь тягостным и одиноким; вы сократили свой путь до расстояния пистолетного выстрела — но и этого вам показалось мало, и вы на бегу уменьшили его до длины шага.

Я завидую тем, кто ушел раньше меня: как солдаты Цезаря в Бриндизи *, я гляжу с вершины береговых скал в сторону Эпира, ожидая, не вернутся ли корабли, увезшие первые легионы, чтобы забрать и меня.

〈Описание визита Шатобриана к возлюбленной Карреля〉

Перечитав все сказанное сегодня, в 1839 году, добавлю, что когда в 1837 году я посетил могилу господина Карреля, я нашел ее в большом запустении, но увидел на ней черный деревянный крест, который поставила его сестра Натали. Я заплатил Водрану, могильщику, восемнадцать франков, которые ему задолжали за решетчатую ограду; я поручил ему заботиться о могиле, посеять кругом траву и ухаживать за цветами. Всякий раз, когда одно время года сменяет другое, я отправляюсь в Сен-Манде, дабы почтить память покойного друга и убедиться, что мои распоряжения неукоснительно выполняются.

〈Портрет повѣстсы госпожи Татю〉

7. *Госпожа Санд*

Когда Жорж Санд, иными словами, госпожа Дюдеван, на страницах «Ревю де Де Монд» посвятила несколько слов «Рене», я поблагодарил ее; она ничего мне не ответила. Некоторое время спустя она послала мне «Лелию» *, и я ей тоже ничего не ответил! Затем у нас состоялось краткое объяснение.

«Смею надеяться, сударь, что вы простите мне мое молчание: ведь я не ответила вам на лестное письмо, которым вы почтили меня после выхода статьи, посвященной «Оберману» *, в которой я попутно высказала мое мнение о «Рене». Я не знала, как благодарить вас за все ваши добрые слова о моих книгах.

Я послала вам «Лелию» и очень хочу, чтобы вы не оставили ее своими милостями. Самая прекрасная привилегия такой общепризнанной славы, как ваша, — привечать и ободрять писателей неопытных, которым не добиться долговечного успеха без вашего покровительства.

Примите уверения в моем величайшем восхищении и считайте меня, сударь, одним из самых верных ваших почитателей.

Жорж Санд».

В конце октября госпожа Санд прислала мне свой новый роман «Жак» *; я принял дар.

«30 октября 1834 года

Спешу выразить вам, сударыня, мою искреннюю благодарность. Я буду читать «Жака» в лесу Фонтенбло или на берегу моря. Будь я моложе, я не выказал бы такой храбрости, но годы защитят меня от одиночества, нимало не уменьшив страстного восхищения, какое я питаю к вашему таланту и ни от кого не скрываю. Вы, сударыня, сообщили новое очарование тому городу грез, откуда я некогда отплыл в Грецию, увозя с собою целый мир иллюзий: возвратившись к началу пути, Рене недавно явился со своими сожалениями и воспоминаниями на Лидо, покинутом Чайльд-Гарольдом и готовом принять Лелию *.

Шатобриан».

Госпожа Санд обладает талантом незаурядным; в описаниях ее столько же неподдельности, сколько в «Прогулках» Руссо и «Этюдах» Бернардена де Сен-Пьера. Ее вольный стиль не грешит ни одним из нынешних недостатков. «Лелия», которую тяжело читать и в которой нет тех упоительных сцен, какие украшают «Индиану» и «Валентину» *, тем не менее является в своем роде шедевром: роман, буйный по своей природе, бесстрастен, но смущает, точно страсть; в нем нет души, однако он гнетет сердце; трудно вообразить большую

извращенность максим, большее оскорбление правильной жизни; но на эту бездну автор опускает покров своего таланта. В долине Гоморры роса падает ночью на Мертвое море.

Быть может, сочинения госпожи Санд отчасти обязаны своим успехом тому, что принадлежат перу женщины; предположите, что их автор — мужчина, и они перестанут возбуждать любопытство.

Романы эти, поэзия материи, — порождение эпохи. Талант госпожи Санд не подлежит сомнению, но самый род ее сочинений может сузить круг ее читателей. Жорж Санд никогда не будет принадлежать всем возрастам. Если из двух равно одаренных людей один проповедует порядок, а другой — беспорядок, большее число слушателей привлечет первый: род человеческий отказывается единодушно рукоплескать тому, что оскорбляет нравственность — опору бедняка и праведника; мы не берем с собою в жизненное странствие воспоминания о книгах, которые впервые вогнали нас в краску и которые мы не учили наизусть с колыбели; о книгах, которые мы читали лишь украдкой, которые не были нашими признанными и любимыми спутниками, которые не охраняли ни непорочности наших чувств, ни чистоту нашей невинности. Провидение заключило успехи, не зиждущиеся на добре, в узкие пределы, а добродетели даровало славу всемирную.

Я знаю, что рассуждаю здесь как человек, чье ограниченное зрение не объемлет широкие *гуманитарные* горизонты, как человек отсталый, приверженный к смехотворной морали — отмирающей морали далекого прошлого, годной разве что для умов непросвещенных, для общества, еще не вышедшего из детства. На наших глазах рождается новое Евангелие, стоящее гораздо выше общих мест этого условленного целомудрия, тормозящего прогресс рода человеческого и восстановление в правах бедного тела, столь жестоко оклеветанного душой *. Когда женщины станут общедоступны; когда для того, чтобы жениться, довольно будет открыть окно и позвать Господа на свадьбу свидетелем, священником и гостем, тогда всякая показная добродетель рухнет; повсюду начнут играть свадьбы, и люди, уподобившись голубкам, сделаются достойны природы. Итак, мои критические замечания касательно того рода, в каком сочиняет романы госпожа Санд, будут иметь вес только при вульгарном, отжившем порядке вещей; поэтому я надеюсь, что она на меня не посетует: мое неизменное восхищение должно побудить ее простить мне нарекания, источник которых — мой неблагодарный возраст. В прежние времена музы тотчас вскружили бы мне голову: некогда эти дщери неба были моими прекрасными возлюбленными; нынче они всего лишь мои старые подруги: по вечерам они сидят со мной у камелька, но быстро покидают меня, ибо я рано ложусь спать, а они отправляются бодрствовать у очага госпожи Санд.

Несомненно, госпожа Санд сможет доказать свое умственное всемогущество, и все же она станет меньше нравиться, ибо утратит часть своей

оригинальности; она будет думать, что умножает свою силу, углубляясь в мечтания, убийственные для всех нас, жалких обывателей, и будет не права, ибо она гораздо выше этой пустоты, этой невнятицы, этой горделивой чепухи. Важно не только уберечь редкостный, но слишком шаткий дар от возвышенных глупостей, важно предупредить сочинительницу, что самобытные писания, интимные картины (как это называется на профессиональном языке) — вещь конечная, что источник их — юность, которая с каждым мгновением медленно, но неотвратимо убывает, что, создав ряд произведений, автор начинает повторяться.

Верно ли, что госпожа Санд всегда будет с нескудеющим наслаждением сочинять то, что она сочиняет сегодня? Не разочаруется ли она в достоинствах и чарах молодых страстей, как охладел я к моим юношеским творениям? Только творениям античной Музы время не страшно, ибо они зиждутся на благородстве нравов, красоте языка и величии чувств, свойственных всему роду человеческому. Четвертая книга «Энеиды» никогда не перестанет восхищать людей, потому что ее место — на небесах. Буря, приносящая к африканским берегам основателя римской империи; Дидона, основательница Карфагена, возвещающая рождение Ганнибала:

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor ³³,—

и вонзающая себе в грудь кинжал; Любовь, разжигающая погребальный костер, чье пламя беглец Эней замечает с корабля, и тем кладущая начало соперничеству Карфагена и Рима,— все это не чета прогулке мечтателя по лесу или гибели распутника в грязной луже *. Надеюсь, настанет пора, когда госпожа Санд будет избирать сюжеты столь же долговечные, сколь и ее гений.

Заставить госпожу Санд переменить веру * может только проповедь того миссионера с лысым челом и седой бородой, что зовется Время. Не столь суровый голос приковывает ныне слух поэта. Впрочем, я убежден, что талант госпожи Санд коренится отчасти в распущенности; скромность сделала бы ее заурядной. Другое дело, если бы она вечно оставалась в святилище, куда нет входа мужчинам; сила любви, сдержанная и спрятанная под покровом невинности, исторгла бы из ее груди благопристойные мелодии, где женское начало слито с ангельским. Как бы то ни было, смелые учения, сладострастные нравы — поле, еще не возделанное дочерьми Адамовыми; отданное в женские руки, оно принесло урожай неведомых цветов. Предоставим госпоже Санд творить опасные чудеса, пока не наступили холода; когда окажется, что «зима катит в глаза» *, ей будет уже не до песен, а пока придется нам смириться

³³ О, приди же, восстань из праха нашего, мститель (Вергилий. Энеида, IV, 625; пер. С. Ошерова).

с тем, что, не такая легкомысленная, как стрекоза, она запасается славой в ожидании того времени, когда иссякнут удовольствия. Мать Мусарии твердила ей: «Тебе не вечно будет шестнадцать. Всегда ли будет помнить Херей о своих клятвах, слезах и поцелуях?» (Лукиан. Разговоры гетер, VII).

Впрочем, не одну женщину обольстили и словно похитили ее юные годы; ближе к осени, вернувшись к материнскому очагу, женщины эти добавляли к своей кифаре струну суровую или жалостливую, дабы дать слово вере либо горю. Старость — ночная странница; земля от нее сокрыта, она различает лишь сверкающее небо над головой.

Я не видел госпожу Санд ни в мужском костюме, ни в блузе горца с дорожной палкой в руке; я не видел, как она пьет из вакхической чаши и курит, лениво развалясь на софе, словно султанша: эти природные либо благоприобретенные странности не сообщили бы ей в моих глазах большей прелести или большего гения.

Испытывает ли она особое вдохновение, когда выдыхает облако дыма, обволакивающее копну ее волос? Вырвалась ли Лелия из мозга своей матери с клубом дыма, как грех, по словам Мильтона, вышел из головы падшего архангела с черным облаком? Не знаю, как обстоит дело на небесах, но здесь, на нашей грешной земле, Немеада, Фила, Лаиса, остроумная Гнатена, не подвластная ни кисти Апеллеса, ни резцу Праксителя Фрина, Леена, бывшая возлюбленной Гармодия, две сестры, прозванные Сардинками за худобу и большие глаза, Дорика, чьи густые волосы и душистый наряд были освящены в храме Венеры, все эти чаровницы, что ни говори, обходились благовониями Аравии *. Впрочем, на стороне госпожи Санд одалиски и молодые мексиканки, танцующие с сигарой во рту.

Что значило для меня знакомство с госпожой Санд после моих встреч с несколькими женщинами высокого ума и столькими женщинами великой красоты, этими дочерьми земли, которые, подобно госпоже Санд, говорили вместе с Сафо: «Приди, Киприда, В чаши золотые, рукою щедрой Пировой гостям разливая нектар, Смешанный тонко»³⁴. Погружая меня то в мир вымысла, то в мир истины, сочинительница «Валентины» производит на меня два совершенно разных впечатления.

О мире вымысла я говорить не стану, ибо, должно быть, уже не понимаю его языка. О мире действительном скажу следующее: я, человек преклонных лет, имеющий свои понятия о порядочности, как христианин выше всего ценящий робкие женские добродетели, был донельзя удручен, видя, что столькие достоинства отданы во власть расточительного и неверного времени, которое разорвет и убегает.

³⁴ Пер. В. Вересаева.

8. *Господин де Талейран*

Париж, 1838

Весною нынешнего, 1838 года я занялся «Веронским конгрессом», который согласно своим литературным обязательствам должен был обнародовать: в свое время я уже упоминал на страницах моих «Записок» об этой книге. Один человек покинул наш мир; аристократический конвойный замыкает череду сошедших в могилу могущественных плебеев *.

Я посвятил господину де Талейрану несколько слов, рассказывая о своих деяниях на политическом поприще, где я с ним столкнулся. Ныне, по прекрасному выражению одного из древних авторов, последний час этого человека прояснил для меня всю его жизнь.

Я имел сношения с господином де Талейраном: будучи человеком чести, я, как можно заметить, хранил ему верность, особенно во время его размолвки с королем в Монсе, когда ради него погубил себя, причем совершенно напрасно. Чересчур простодушный, я принимал участие в его невзгодах и жалел его, когда Мобрей дал ему пощечину *. Было время, когда он изрядно заискивал передо мною; как я уже говорил, он писал мне в Гент, именуя меня «сильным человеком»; когда я жил в особняке на улице Капуцинок *, он с безупречной обходительностью послал мне печать Министерства иностранных дел — резной талисман, изготовленный, несомненно, под его звездой. Быть может, именно оттого, что я не злоупотреблял его великодушием, он сделался моим недругом без всякого повода с моей стороны, если не считать некоторых успехов, которых я добился самостоятельно, не прибегая к его помощи. Речи господина де Талейрана переходили в свете из уст в уста, нимало не оскорбляя меня, ибо господин де Талейран никого оскорбить не мог; однако его невоздержанность развязала мне руки, и, коль скоро он позволил себе судить меня, я вправе ответить ему тем же.

Тщеславие господина де Талейрана обмануло его: свою роль он принял за свой гений; он счел себя пророком, ошибаясь во всем: предсказания его не имели никакого веса: он не умел видеть того, что впереди, ему открывалось лишь то, что позади. Сам лишенный ясного ума и чистой совести, он ничто не ценил так высоко, как незаурядный ум и безукоризненную честность. Задним числом он всегда извлекал большую выгоду из ударов судьбы, но предвидеть эти удары он не умел, да и выгоду извлекал лишь для одного себя. Ему было неизвестно то великое честолюбие, что печется о славе общества как о сокровище, наиболее полезном для славы индивида. Таким образом, господин де Талейран не принадлежал к разряду существ, способных стать фантастическими созданиями, чей облик становится еще фантастичнее по мере того, как им приписывают мнения ошибочные либо искаженные. И все же не подлежит

сомнению, что множество чувств, вызываемых различными причинами, сообща способствуют сотворению вымышленного образа Талейрана.

Во-первых, короли, министры, иностранные посланники и послы, некогда попавшиеся на удочку к этому человеку и не способные разгадать его истинную сущность, стараются доказать, что они подчинялись существу, наделенному подлинным могуществом: они сняли бы шляпу перед поваренком Наполеона.

Во-вторых, родственники господина де Талейрана, принадлежащие к старинной французской аристократии, гордятся своею связью с человеком, со-благоволившим убедить их в своем величии.

Наконец, революционеры и их безнравственные наследники, сколько бы они ни поносили аристократические имена, питают к аристократии тайную слабость: эти удивительные неофиты охотно берут ее в крестные и надеются перенять от нее благородные манеры. Князь с его двойным отступничеством * тешит самолюбие молодых демократов и по другой причине: значит, заключают они, их дело правое, а дворян и священников следует презирать.

Однако, как бы все эти люди ни заблуждались насчет господина де Талейрана, иллюзии эти долго не проживут: ложь не идет господину де Талейрану впрок: для того чтобы вырасти в грандиозную фигуру, ему недостает внутреннего величия. Многие современники успели слишком хорошо рассмотреть его; о нем скоро забудут, ибо он не оставил неразрывно связанной с его личностью национальной идеи, не озаменовал свою жизнь ни выдающимся деянием, ни несравненным талантом, ни полезным открытием, ни эпохальным замыслом. Добродетельное существование — не его стихия; даже опасности обошли его стороною; во время Террора он был за пределами отечества и вернулся на родину лишь тогда, когда форум превратился в приемную дворца.

Деятельность Талейрана на поприще дипломатическом доказывает его относительную посредственность: вы не сможете назвать ни одного сколько-нибудь значительного его достижения. При Бонапарте он только и делал, что исполнял императорские приказы; на его счету нет ни одних важных переговоров, которые бы он провел на свой страх и риск; когда же ему представлялась возможность поступать по собственному усмотрению, он упускал все удобные случаи и губил все, к чему прикасался. Не подлежит сомнению, что он повинен в смерти герцога Энгийенского; это кровавое пятно отмыть невозможно; в своем рассказе о смерти принца я был чересчур мягок к министру и не привел всех улик.

Ггал господин де Талейран с поразительной беззастенчивостью. В «Веронском конгрессе» я ни словом не упомянул о речи, которую он произнес в палате пэров касательно войны в Испании *; речь эта начиналась торжественными словами:

«Шестнадцать лет тому назад человек, правивший тогда миром, спросил у меня, следует ли ему вступать в борьбу с испанским народом, и я имел несчастье прогневить его, приоткрыв ему грядущее, изъяснив всю бездну опасностей, которые сулит это предприятие, столь же дерзкое, сколь и несправедливое. Наградой за мою прямоту стала немилость. По странной прихоти судьбы спустя много лет мне приходится досаждать законному государю теми же стараниями, повторять те же советы!»

Бывают провалы в памяти и измышления, наводящие страх: вы прислушиваетесь, протираете глаза, не понимая, сон это или явь. Когда краснойбай и лжец невозмутимо спускается с трибуны и как ни в чем не бывало возвращается на место, вы провожаете его взглядом, исполненным разом и ужаса и восхищения; вы начинаете гадать, не наделила ли природа этого человека могуществом столь необъятным, что он способен преображать или отменять истину.

Я ничего не ответил господину де Талейрану; мне казалось, будто тень Бонапарта вот-вот попросит слова и вновь, как встарь, гневно опровергнет своего министра. Среди пэров, сидевших в зале, были свидетели той давней сцены, в том числе господин граф де Монтескью; благородный герцог де Дудовиль описал мне ее со слов самого господина де Монтескью, своего родственника; господин граф де Сессак, также присутствовавший при этой сцене, охотно рассказывает о ней всякому, кто пожелает; он не сомневался, что по выходе из кабинета господин де Талейран будет арестован *. Наполеон в ярости вопрошал побледневшего министра: «Как вы смеете возражать против войны в Испании, — ведь это вы меня в нее втянули, это вы твердили мне в каждом письме о том, что этой войны требуют как материальные интересы нашей страны, так и интересы дипломатические». Письма эти пропали из архива Тюильри в 1814 году ³⁵.

Господин де Талейран заявил в своей речи, что он «имел несчастье прогневить» Бонапарта, приоткрыв ему грядущее, изъяснив ему всю бездну опасностей, которые сулит «предприятие, столь же дерзкое, сколь и несправедливое». Господин де Талейран может спокойно спать в могиле: он не имел этого несчастья; не след ему прибавлять ко всем превратностям своей жизни еще и это бедствие.

Главная вина господина де Талейрана перед законной монархией состоит в том, что он отговорил Людовика XVIII от намерения женить герцога Беррийского на русской великой княжне *, непростительная вина перед Францией — в том, что он принял оскорбительные условия Венского конгресса.

Стараниями господина де Талейрана мы вовсе лишились границ: стоит нам проиграть сражение в Монсе или в Кобленсе, и через неделю вражеская

³⁵ Смотрите выше, в рассказе о смерти герцога Энгийского.

кавалерия окажется под стенами Парижа. При старой монархии Францию окружала цепь крепостей; мало того: со стороны Рейна ее защищали независимые германские княжества. Чтобы добраться до нас, противнику требовалось либо захватить их, либо сторговаться с ними. С другой стороны располагалась нейтральная и свободная страна — Швейцария, на территорию которой никто не покушался, да там и не было дорог. Пиренеи, охраняемые испанскими Бурбонами, были непроходимы. Вот чего не понял господин де Талейран; вот ошибки, которые навсегда погубили его как политического деятеля: ошибки, которые в один день уничтожили плоды трудов Людовика XIV и побед Наполеона.

Находились люди, утверждавшие, что как политик господин де Талейран выше Наполеона: во-первых, следует уразуметь, что обладатель министерского портфеля, состоявший при полководце, который каждое утро опускает в этот портфель известие о победе и меняет географию мира, — просто-напросто чиновник. Упоенный славой, Наполеон стал допускать грубейшие, бросающиеся в глаза ошибки: вероятно, господин де Талейран, как и все прочие, заметил их, но для этого не требовалось особенно острого зрения. К тому же он странным образом скомпрометировал себя арестом герцога Энгиенского, а в 1807 году занял неверную позицию касательно Испании, хотя позже отрекался от своих советов и хотел взять назад свои слова.

Однако плох тот актер, который начисто лишен умения заворочить зал: поэтому жизнь князя была нескончаемой цепью обманов. Зная, чего ему недостает, он избегал всех, кто мог его разгадать: постоянной его заботой было не дать себя раскусить; он вовремя уходил в тень; он полюбил вист за возможность провести три часа в молчании. Окружающие восхищались, что такой даровитый человек снисходит до вульгарных забав: кто знает, не делил ли этот даровитый человек империи в тот миг, когда на руках у него были четыре валета? Тасуя карты, он придумывал эффектное словцо, вдохновленное утренней газетой или вечерней беседой. Если он отводил вас в сторону, дабы почтить разговором, то немедленно принимался обольщать вас, осыпая похвалами, именуя надеждой нации, предсказывая блестящую карьеру, выписывая вам переводной вексель на звание великого человека, выданный на его имя и оплачиваемый по предъявлению; если же, однако, он находил, что ваша вера в него недостаточно тверда, если он замечал, что ваше восхищение несколькими его короткими фразами, претендующими на глубину, но не имеющими ровно никакого смысла, не слишком велико, то удалялся, боясь разоблачения. Он был хорошим рассказчиком, когда на язык ему попадался подчиненный или глупец, над которым он мог издеваться без опаски, либо жертва, зависящая от его особы и служащая мишенью для его насмешек. Серьезная беседа ему не давалась; на третьей фразе идеи его испускали дух.

Старинные гравюры изображают *аббата де Перигора* * красавцем;

к старости лицо господина де Талейрана уподобилось черепу: глаза потухли, так что в них ничего нельзя было прочесть, чем он и пользовался; он столько раз навлек на себя презрение, что пропитался им насквозь; особенно красноречивы были опущенные уголки рта.

Внушительная наружность (свидетельство благородного происхождения), строгое соблюдение приличий, холодно-пренебрежительный вид князя Беневентского вводили всех в заблуждение. Манеры его завораживали простолюдинов и членов нового общества, не заставших общества былых времен. Встарь аристократы, повадкой своей походившие на господина де Талейрана, встречались сплошь и рядом, и никто не обращал на них внимания; но, оставшись в почти полном одиночестве среди общества демократического, он стал казаться явлением необыкновенным: репутация забрала над министром такую власть, что из уважения к собственному самолюбию ему приходилось приписывать своему уму те достоинства, какими он на самом деле был обязан воспитанию.

Когда человек, занимающий важный пост, оказывается замешан в невиданный переворот, он обретает случайное величие, которое простой люд принимает за его личную заслугу; затерянный при Бонапарте в лучах его славы, во время Реставрации господин де Талейран сверкал блеском чужих удач. Нечаянное возвышение позволило князю Беневентскому возомнить себя ниспровергателем Наполеона и приписать себе честь возвращения на престол Людовика XVIII; разве и я сам, подобно всем прочим ротозеям, не имел глупости поверить в эту басню! Узнав дело лучше, я убедился, что господин де Талейран вовсе не был политическим Варвиком *: чтобы рушить и воздвигать троны, руке его не доставало силы.

Беспристрастные простаки говорят: «Мы согласны, это был человек весьма безнравственный, но зато какой ловкач!» Увы! нимало. И эту надежду, столь утешительную для людей восторженных, столь желанную для тех, кто верен памяти князя, — надежду выставить господина де Талейрана злым демоном, также следует оставить.

Господину де Талейрану можно было доверить иные заурядные поручения, при исполнении которых у него хватало ловкости соблюдать в первую очередь собственный интерес; ни на что большее он способен не был.

Излюбленные привычки и максимы господина де Талейрана служили предметом подражания для кляузников и негодяев из его окружения. Венцом его дипломатии был костюм, заимствованный у одного венского министра. Он хвалился, что никогда не торопится; он говорил, что время наш враг и его следует убивать: отсюда следовало, что делам надобно посвящать несколько мгновений, не более.

Но поскольку в конечном счете господин де Талейран не сумел обратить свою праздность в шедевр, то, вероятно, он напрасно твердил о необходимости избавиться от времени: над временем торжествуют только те, кто создают

творения бессмертные; трудами без будущего, легкомысленными забавами его не убивают: его транжируют.

Ставший министром по рекомендации госпожи де Сталь, которая хлопотала о его назначении перед Шенье, господин де Талейран, в ту пору весьма нуждавшийся, принялся сколачивать состояние; он пополнял свои капиталы пять или шесть раз: когда получил миллион от Португалии взамен обещания подписать мирный договор — договор, который Директория так и не подписала; когда скупил бельгийские облигации накануне заключения Амьенского мира * — мира, о котором он, господин де Талейран, узнал раньше всех; когда основал эфемерное королевство в Этрурии *; когда нажился на конфискации имущества духовенства в Германии *; когда торговал своими мнениями на Венском конгрессе. Князь был готов продать Австрии все вплоть до старых бумаг из наших архивов: на сей раз господин фон Меттерних оставил его в дураках: сняв копии, он аккуратнейшим образом возвратил оригиналы *.

Неспособный самостоятельно написать ни строки, господин де Талейран нанимал сведущих людей, которые работали на него: когда, зачеркнув и переменяв все, что не нравилось хозяину, его секретарь наконец составлял депешу во вкусе министра, тот переписывал ее своей рукой. Я слышал в исполнении господина де Талейрана начало его мемуаров, включавшее несколько приятных подробностей из времен его молодости. Он без конца менял свои вкусы и сегодня ненавидел то, что любил вчера, так что, если мемуары эти доведены до конца, в чем я сомневаюсь, и если он запечатлел в них различные версии событий, весьма вероятно, что одним и тем же происшествиям, одним и тем же людям будут даны в этих мемуарах совершенно противоположные оценки. Я не верю, что рукописи господина де Талейрана хранятся в Англии; наказ опубликовать их не раньше чем через сорок лет, который он якобы дал, кажется мне посмертным фиглярством *.

Ленивый и невежественный, беспутный по натуре и легкомысленный по духу, князь Беневентский кичился тем, чего ему следовало бы стыдиться, — тем, что он уцелел после падения империй. Выдающиеся умы, которые совершают революции, уходят; умы второстепенные, которые извлекают из революций выгоду, остаются. Эти проходимцы, уверенные в завтрашнем дне, принимают парад поколений: в их обязанности входит ставить визу в паспортах и выступать свидетелями на суде: господин де Талейран был из этого низшего племени; он ставил под событиями свою подпись, но не он вершил их.

Пережить многие правительства, оставаться, когда власть уходит, объявлять, что не покинешь трибунала до тех пор, пока не прозвучит окончательный приговор, хватать тем, что принадлежишь лишь стране, что служишь не лицам, а делу — значит выказывать самодовольство эгоиста, неуклюже сидящего скрывать низменные чувства под высокими словами. Нынче у нас подобных равнодушных характеров, подобных пресмыкающихся граждан хоть

отбавляя: однако для того, чтобы стареть отшельником на развалинах Колизея и не утратить величия, следует жить под сенью креста; господин де Талейран поправил свой крест ногами.

Род человеческий делится на две неравные части: люди смерти, ее любимцы, избранная паства, способная воскреснуть; люди жизни, ее пасынки, толпа, уходящая в небытие, дабы не воскреснуть уже никогда. Недолгое существование этих последних сводится к имени, репутации, должности, богатству; их слава, их власть, их могущество исчезают вместе с ними; не успеют закрыться двери их гостиной и крышка их гроба, как закрывается и книга их судьбы. Так случилось и с господином де Талейраном; мумия его, прежде чем сойти в могилу, мелькнула в Лондоне, как посланница нашей нынешней монархии-группа *.

Господин де Талейран предал все правительства и, повторяю, не привел к власти и не низложил ни одно из них. Он никогда не имел подлинного могущества, если понимать оба эти слова без лукавства. Мелким заурядным успехам, столь обычным в аристократической жизни, не перейти могильной черты. Зло, не сопровождающееся ужасной катастрофой, зло, скупое отмеряемое рабом, который грешит, дабы услужить хозяину, — всего лишь подлость. Лыся преступлению, порок делается его лакеем. Вообразите господина де Талейрана бедным и безвестным плебеем, наделенным впридачу к безнравственности лишь неоспоримым салонным остроумием, — без сомнения, в этом случае никто не обратил бы на него никакого внимания. Не будь господин де Талейран опустившимся вельможей, женатым священником, аббатом-расстригой, стоило ли бы о нем говорить? Репутацией и успехами он обязан этим трем изъянам.

Свою восьмидесятилетнюю жизнь прелат увенчал жалкой комедией: сначала, чтобы показать, на что он способен, он произнес в Институте похвальное слово тупоумному немцу, которого презирал *. Хотя мы нынче и пресыщены зрелищами, поглазеть на явление великого человека собралась целая толпа; вскоре он умер, как Диоклетиан, сделав свою смерть предметом всеобщего обозрения. Зеваки наблюдали за тем, как в смертный час этот на три четверти сгнивший князь, с незаживающей язвой в боку, с головой, падающей на грудь, несмотря на поддерживающую ее повязку, вел нескончаемый торг за свое примирение с небом при посредничестве своей племянницы, которая, играя давно отрепетированную роль, помогала ему морочить простодушного священника и невинную девочку: после упорного сопротивления он, уже утратив дар речи, подписал (а может быть, так и не подписал) отречение от своей давнишней присяги, однако не выказал ни малейшего раскаяния, не исполнил последнего долга христианина, не покаялся в безнравственных и скандальных деяниях, им свершенных *. Никогда еще гордыня не выглядела столь жалко, восхищение — столь глупо, благочестие — столь беспомощно: осторожные римляне никогда не отступались от прежних заблуждений публично — и были правы.

Господин де Талейран был уже давно призван на высший суд и осужден заочно; смерть искала его от имени Господа и наконец настигла. Чтобы тщательно изучить его жизнь, настолько же порочную, насколько жизнь господина де Лафайета была праведна, потребовалось бы преодолеть отвращение, которое я победить не в силах. Люди в болячках напоминают останки проституток: язвы так источили их тело, что невозможно сделать вскрытие. Французская революция — могучий политический ураган, сокрушивший старый мир: убоимся, как бы нас не настиг ураган куда более страшный, убоимся, как бы дурная сторона этой революции не сокрушила нашу нравственность. Что случилось бы с родом человеческим, если бы люди изошлись в оправдании нравов, достойных осуждения, если бы они силились воодушевить нас отвратительными примерами, пытались выдать за успехи века, за воцарение свободы, за глубину гения деяния натур низких и жестоких? Не смея ратовать за зло под его собственным именем, люди прибегают к уверткам: остерегайтесь принять эту тварь за духа тьмы, это ангел света! Всякое уродство красиво, всякий позор почетен, всякая гнусность возвышенна; всякий порок достоин восхищения. Мы вернулись к тому материальному языческому обществу, где всякое извращение имело свой алтарь. Прочь эти трусливые, лживые, преступные хвалы, которые затуманивают общественное сознание, развращают молодежь, отнимают мужество у порядочных людей, оскорбляют добродетель и, словно римский солдат, плюют в лицо Христу!

〈Смерть Карла X〉

КНИГА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

25 сентября 1841 года

Я начал писать эти «Записки» в Волчьей долине 4 октября 1811 года; я кончаю перечитывать и исправлять их в Париже; сегодня 25 сентября 1841 года: значит, уже двадцать девять лет одиннадцать месяцев и двадцать один день я втайне сочиняю их, продолжая выпускать в свет прочие свои книги, становясь свидетелем революций и снося превратности судьбы. Рука моя устала: дай Бог, чтобы она не тяготела над образом моих мыслей, которые, я уверен, так же прямы и пылки, как в начале пути! У меня было намерение присовокупить к моему тридцатилетнему труду общее заключение: как я уже не раз говорил, я собирался описать мир, каким он был, когда я вступил в него, и каким он стал, когда мне пришлось время его покинуть. Но передо мной песочные часы, я вижу руку, которая некогда мерещилась морякам над волнами в час кораблекрушения: рука эта делает мне знак поспешить, поэтому я уменьшу размеры картины, не упуская ничего существенного.

1. *Взгляд в прошлое: от Регентства к 1793 году*

Людовик XIV умер. До совершеннолетия Людовика XV регентом стал герцог Орлеанский. Вспыхнула война с Испанией, следствие заговора Челламаре *; падение Альберони способствовало восстановлению мира. Людовик XV достиг совершеннолетия 15 февраля 1723 года. Регент умер десять месяцев спустя. Он заразил Францию своей гангреной *, посадил Дюбуа на место Фенелона и возвысил Лоу *. Первым министром Людовика XV был назначен герцог де Бурбон, преемником его стал кардинал де Флери, чей гений истощивался преклонными годами. В 1734 году вспыхнула война *, в ходе которой мой отец был ранен под Данцигом. В 1745 году состоялось сражение при Фонтенуа; один из наименее воинственных наших королей * вдохновил нас на победу в единственном крупном регулярном сражении, которое мы выиграли у англичан, а победитель мира добавил к разгромам в Креси, Пуатье и Азенкуре поражение при Ватерлоо. Церковь городка Ватерлоо украшена именами английских офицеров, павших в 1815 году; в церкви городка Фонтенуа остался только один камень с надписью: «Здесь покоится тело его светлости Филиппа де Витри, который двадцати семи лет от роду был убит в сражении при Фонтенуа мая 11 дня 1745 года». Поле брани ничем не отмечено, но в земле находят скелеты со сплюснутыми пулями в черепах. Французы носят печать своих побед на челе.

Позже граф де Жизор, сын маршала де Бель-Иля, пал в Крефельде *.

На нем кончился род и прямое потомство Фуке. Место госпожи де Лавальер заняла госпожа де Шатору. Неизъяснимо грустно видеть, как угасает знатный род из века в век, от красавицы к красавице, от славного имени к славному имени.

В июне 1745 года начались злоключения второго претендента на престол из рода Стюартов *: его невзгоды кружили мне голову, откуда Генрих V не заместил английского претендента в изгнании.

Окончание этих войн возвестило наше крушение в колониях. Лабурдонне * отомстил за французский флаг в Азии; его ссора с Дюплексом после взятия Мадраса все погубила. Мир 1748 года отсрочил роковой финал; в 1755 году военные действия возобновились; начало их совпало с лиссабонским землетрясением, во время которого погиб внук Расина. Воспользовавшись существованием спорных территорий на границе Акадии *, Англия, не объявляя войны, захватила триста наших торговых судов; мы потеряли Канаду; о событиях этих, имевших огромные последствия, мы мало что знаем; на темном фоне ярким пятном выделяется гибель Вольфа и Монкальма. Когда мы лишились владений в Африке и в Индии, лорд Клайв предпринял завоевание Бенгалии. Между тем во Франции в это время янсенисты отстаивали свои доктрины, Дамьен поднял руку на Людовика XV, состоялся раздел Польши, произошло

изгнание иезуитов; двор переселился в Олений парк. Творец «семейного договора» * удалился в Шантелу, а Вольтер довершил переворот в умах. Мопу заменил парламенты придворными советами *, Людовик XV завещал эшафот порочившей его фаворитке *; Людовику же XVI он оставил в наследство Гара * и Сансона — одного, чтобы прочесть, другого — чтобы исполнить приговор.

16 мая 1770 года Людовик XVI обвенчался с дочерью Марии Терезии Австрийской: судьба ее известна. Прошли чередой министры: Машо, старик Морепа, экономист Тюрго, Мальзерб — приверженец древних добродетелей и новых мнений, Сен-Жермен, уничтоживший придворный королевский штат и издавший роковой ордонанс *, наконец, Калонн и Неккер.

Людовик XVI вновь созвал парламенты, отменил барщину, запретил пытки во время дознания, вернул гражданские права протестантам и признал законными их браки. Война 1779 года в Америке, невыгодная для Франции, вечной жертвы собственного великодушия, пошла во благо роду человеческому; к тому же она восстановила в целом мире славу нашего оружия и честь нашего флага.

Революция восстала, готовая породить поколение воителей, которое Франция вынашивала в своем чреве восемь героических веков. Достоинства Людовика XVI, как я уже говорил, не искупили грехов его предков; но удары Судьбы обрушиваются на зло, а не на человека: Господь сокращает земную жизнь добродетели лишь затем, чтобы продлить ей жизнь на небесах. Под звездой 1793 года разверзлись все источники великой бездны *: затем сверкнул последний отблеск нашей былой славы: Наполеон; слава эта возвратилась к нам в его гробу *.

2. Минувшее.— Старый порядок в Европе отмирает

Я родился в эпоху свершения этих событий. Две новые империи, Пруссия и Россия, появились на свет всего на полстолетия раньше меня; Корсика перешла во владение Франции * как раз тогда, когда я родился; я покинул материнское лоно на двадцать дней позже Бонапарта. Он привел меня с собой. Я собирался поступить во флот в 1783 году, когда флот Людовика XVI прибыл в Брест: он вез акты гражданского состояния народа, оперившегося под покровительством Франции *. Мое рождение связано с рождением великого человека и великого народа: я был бледным отблеском ярчайшего огня.

Взглянем на современный мир, и мы увидим, как движение, начатое великой революцией, потрясает его от Востока до Китая, который казался закрытым навсегда: нынче наши прошлые перевороты не значат ровно ничего: в сумятице, объявшей сегодня все народы, был бы едва слышен шум славы Наполеона, заглушивший некогда все голоса нашего исчезнувшего мира.

Император оставил нас в пророческой тревоге. Мы, самое зрелое и передовое государство, обнаруживаем признаки упадка. Как смертельно больной человек озабочен тем, что ждет его в могиле, так вымирающий народ беспокоится о своей грядущей судьбе. Отсюда сменяющие друг друга политические ереси. Старый порядок в Европе близок к смерти; наши нынешние разногласия предстанут в глазах потомков ребяческими ссорами. Не уцелело ровню ничего: авторитет опыта и возраста, рождения и гения, таланта и добродетели — все отринуто; смельчаки, которые, взобравшись на вершину развалин, объявляют себя исполинами, скатываются вниз пигмеями. За исключением двух десятков людей, которые спасутся и которым назначено держать факел над мрачными степями, куда мы вступаем, — за исключением этих немногочисленных людей, поколение, щедро наделенное умом, впитавшее знания, готовое к многообразным победам, потопило все свои задатки в суете, столь же неплодотворной, сколь бесплодна его гордыня. Безымянные толпы волнуются, сами не ведая отчего, как волновались народы в Средние века: изголодавшиеся стада, не знающие пастыря, мечутся с равнины на гору и с горы на равнину, пренебрегают опытом наставников, закаленных ветром и солнцем. В жизни города все преходяще: вера и нравственность отринуты или понимаются всяким по-своему. В вещах менее возвышенных та же неспособность убедить и выжить: сердце славы бьется от силы один час, книга стареет через день, писатели убивают себя в надежде привлечь внимание, но тщетно: никто не слышит даже их последнего вздоха.

При таком расположении умов естественно, что люди не видят иного средства растрогать, кроме как живописать сцены казни и торжество порока: они забывают, что подлинные слезы — те, что исторгает прекрасная поэзия, те, где восхищение смешано с болью; но ныне, когда таланты питаются Регентством и Террором, к чему искать сюжеты для наших языков, обреченных на столь скорую смерть! Человеческий гений больше не обронит ни одной из тех мыслей, что становятся достоянием всего мира.

Вот о чем все думают, вот что все оплакивают, а между тем иллюзии плодятся беспрестанно, и чем ближе подходят люди к своему концу, тем искреннее верят, что им еще жить и жить. Мы окружены монархами, которые воображают себя монархами, министрами, которые мнят себя министрами, депутатами, которые принимают свои речи всерьез, хозяевами, которые, владея состоянием утром, полагают, что будут владеть им и вечером. Частные интересы, честолюбивые помыслы скрывают от черни серьезность момента: как бы ни казались важны насущные хлопоты, они не более чем рябь над пучиной: суете на поверхности вод не уменьшить их глубины. Не отказываясь от мелких, ничтожных лотерей, род человеческий играет по-крупному; короли еще не выпустили карты из рук, но игру они ведут от имени народов: будут ли народы достойнее государей? Это отдельный вопрос, который нимало не отменяет сути

дела. Какую важность имеют детские забавы, тени, скользящие по белому савану? Нашествие варваров сменилось нашествием идей; современная разложившаяся цивилизация гибнет по своей вине; жидкость, содержавшаяся в сосуде, не излилась в другую чашу, ибо самый этот сосуд разбился.

3. Неравенство состояний.— Опасность чрезмерного усиления природы духовной и природы материальной

Когда исчезнет общество? какие случайности могут отсрочить его конец? В Риме на смену царству закона пришло царство человека: римляне перешли от республики к империи; в нашей революции все наоборот: мы склоняемся к тому, чтобы перейти от королевской власти к республике, или, чтобы не уточнять формы правления, к демократии: такой переход не обойдется без трудностей.

Возьмем хотя бы один вопрос из тысячи: останется ли распределение собственности таким же, как сегодня? Королевская власть, рожденная в Реймсе *, могла управлять этой собственностью, смягчая ее суровость распространением нравственных законов, подобно тому, как она склонила человечество к милосердию. Может ли существовать политическое государство, где одни люди имеют миллионные доходы, а другие умирают с голоду, если религия, объясняющая эту жертву надеждами на загробную жизнь, покинула его? Есть дети, которых матери кормят молоком из своих увядших сосцов, потому что у них нет куска хлеба для своих умирающих чад; есть семьи, членам которых приходится спать вповалку, потому что у них нет одеяла, чтобы согреться. Один владеет бескрайними нивами, на которых зреют колосья, а у другого есть только шесть футов родной земли для могилы. Сколько колосьев пшеницы могут принести покойнику шесть футов земли?

Получая образование, низшие сословия познают тайную рану, подтачивающую безбожный общественный порядок. Слишком большое несоответствие условий жизни и величины состояний могло быть терпимо лишь постольку, поскольку пребывало скрытым; стоило этому несоответствию сделаться явным, и общество получило смертельный удар. Возродите, если сумеете, аристократические вымыслы; попытайтесь убедить бедняка, научившегося читать и переставшего верить в Бога, бедняка, сделавшегося таким же образованным, как и вы, — попытайтесь убедить его, что он должен терпеть лишения, меж тем как сосед его имеет доход в тысячу раз больший, чем ему, соседу, требуется: в качестве последнего средства вам придется его убить.

Когда пар будет окончательно поставлен на службу человеку, когда, соединившись с телеграфом и железными дорогами, он уничтожит расстояния, то перевозить можно будет не только товары, но и идеи, которые вновь обретут крылья. Когда налоговые и торговые преграды между различными

государствами будут разрушены, как они уже разрушены между различными провинциями одного и того же государства; когда разные страны в повседневном быту заложат основания единства народов, как воскресите вы прежний способ существования раздельного?

С другой стороны, не меньше, чем расцвет животной природы, обществу угрожает наступление духа; предположите, что многочисленные и разнообразные машины отменили ручной труд; предположите, что материя — единственный и всеобщий наемный работник — пришла на смену земледельцам и челяди: чем займете вы праздный род человеческий? Чем займете страсти, лишившиеся пищи одновременно с умом? Тело поддерживает свои силы физическим трудом; с прекращением тяжелой работы сила исчезает; мы станем похожи на те азиатские народы, что покоряются первому же завоевателю, не умея защититься от руки, вооруженной булатом. Таким образом, только труд — залог свободы, ибо труд дарует силу: снимите с сынов Адамовых древнее проклятие, и они умрут рабами: «In sudore vultus tui, vesceris pane»³⁶. Божье проклятие входит в тайну нашей судьбы: человек раб не столько своего пота, сколько своих мыслей; так, испробовав все формы общественного устройства, познав различные цивилизации, уверовав в неведомые усовершенствования, мы возвращаемся в исходную точку — к истинам Священного писания.

4. Падение монархий.— Оскудение общества и прогресс индивида

Под властью нашей восьмисотлетней монархии Франция была средоточием ума, долговечности и покоя Европы. Лишившись этой монархии, Европа сразу склонилась к демократии. Род человеческий, во благо себе или во зло, обрел независимость; монархи-опекуны получали причитавшиеся им за опеку блага; достигнув совершеннолетия, народы утверждают, что более не нуждаются в поводырях. Со времен царя Давида и по сю пору народы призывали государей: наступает эра, когда призваны будут народы. Мимолетные мелкие исключения: греческие республики, карфагенская, римская республика с ее рабами — не отрицают того факта, что в древности правилом были государства монархические. Сегодня все современное общество, лишившись заслона в лице французских королей, прощается с королевской властью. Господь, дабы ускороить падение монархии, отдал скипетр в разных странах в руки немощных старцев, девчушек, едва покинувших колыбель, невест в подвенечном уборе *: этим-то львам без зубов, львицам без когтей, грудным младенцам и девицам на выданье принуждены повиноваться зрелые люди в нашу эру безверия.

Самые смелые принципы провозглашаются перед лицом монархов, мнящих

³⁶ В поте лица твоего будешь есть хлеб (лат.) *.

себя в безопасности за тройной стеной ненадежной стражи. Демократия затопляет их; они поднимаются все выше и выше, с первого этажа под самую крышу своего дворца, откуда выбросятся через слуховые оконца, надеясь спастись вплавь.

При этом обратите внимание на удивительное противоречие: улучшается материальное благосостояние, происходит духовное развитие, а народы, вместо того чтобы этим пользоваться, хиреют; в чем тут дело?

В упадке нравственности. Во все времена свершались преступления, но свершались отнюдь не хладнокровно, как в наши дни, когда религиозное чувство утрачено. Сегодня преступления уже не вызывают негодования, они кажутся веянием времени; если встарь о них судили иначе, так это оттого, что предки наши, как смеют утверждать наши современники, недостаточно познали человека; теперь же преступления изучают, их испытывают в горниле, дабы увидеть, какую пользу можно из них извлечь,— так химик ищет вещества для опытов на свалке. В развращенности духа, куда более разрушительной, чем развращенность чувств, видят неизбежное зло; она уже не является принадлежностью отдельных людей, она стала достоянием общества. Появились люди, которых унизило бы сознание, что у них есть душа, что за порогом этой жизни их ждет другая; не сумеют они подняться выше малодушия наших отцов, они сочли бы, что им недостает твердости, силы и гения; они принимают небытие, или, если угодно, сомнение, как факт, быть может, досадный, но являющийся, однако ж, неоспоримой истиной. Что и говорить, тупость нашей гордыни достойна восхищения!

Вот чем объясняется оскудение общества и возвышение отдельного человека. Если бы нравственное чувство росло сообразно развитию ума, они уравнивали бы друг друга и человечество совершенствовалось бы, не зная тревог, но выходит совсем наоборот: способность различать добро и зло слабеет по мере того, как набирает силу ум; совесть съеживается по мере того, как расправляют крылья идеи. Да, общество погибнет: свобода, которая могла спасти мир, зачахнет без помощи религии; порядок, который мог обеспечить покойную жизнь, не будет прочным, ибо на него наступают анархия. Царская порфира, которая еще недавно сообщала мощь, отныне станет источником несчастий: никто не спасется, кроме тех, кто, как Христос, рожден на соломе. Когда рожок протрубил возрождение народа и государи были вырыты из могил в Сен-Дени *, когда, вышвырнутые из своих разрушенных гробниц, они ожидали плебейского погребения, на этот страшный суд столетий явились старьевщики: они принялись рыться среди останков, уцелевших после первого грабежа. Королей там уже не было, но королевская власть еще оставалась: они вырвали ее из чрева времени и бросили в корзину с отбросами.

5. *Грядущее.*— *О том, как трудно его постигнуть*

Что касается старой Европы, то жизнь ее кончена. Больше ли надежд у молодой Европы? Современный мир, мир, лишившийся власти, данной от Бога, похоже, находится меж двух невозможностей: невозможностью прошлого и невозможностью будущего. И не воображайте, как делают иные люди, что, если сейчас нам плохо, из этого зла рано или поздно произрастет добро; законы не властны над человеческой природой, поврежденной в своей основе. К примеру, переизбыток свободы ведет к деспотизму; но переизбыток тирании ведет только к тирании, каковая, унижая нас, лишает нас самостоятельности: Тиберий не возвратил Рим к республике, он лишь оставил ему в наследство Калигулу.

Не желая посмотреть правде в глаза, люди просто заявляют, что в лоне времени, возможно, таится политическое устройство, которого мы не замечаем. Разве прекраснейшие гении древности да и все вообще люди той эпохи могли вообразить себе общество без рабов? А оно живет у нас на глазах. Говорят, эта нарождающаяся цивилизация пойдет роду человеческому на пользу; я сам высказывал такое мнение: однако разве нет опасности, что отдельному человеку она пойдет во вред? Мы сможем стать трудолюбивыми пчелами, вместе занятыми изготовлением меда. В *материальном* мире люди объединяются для работы, сообщество тружеников идет разными путями и быстрее приходит к цели; совместными усилиями люди построят пирамиды, изучив каждый свой предмет, сделают открытия в науках, исследуют все уголки физического мироздания. Но точно ли так же обстоит дело в мире *нравственном*? Сколько бы ни объединяли свои усилия тысячи голов, им никогда не сочинить шедевра, который в одиночку создал Гомер.

Было сказано, что город, все обитатели которого будут равно наделены и имуществом и образованностью, явит взглядам Божества картину, превосходящую ту, какую являли города наших отцов. Нынче всеми овладело безумие: люди жаждут привести народы к единообразию и превратить род человеческий в одного-единственного человека; пусть так, но, приобретая всеобщие свойства, не утратят ли люди целую череду частных чувств? Прощай, тихий домашний очаг; прощай, прелесть жизни семейственной; среди всех этих белокожих, желтокожих, чернокожих созданий, нареченных вашими соотечественниками, вы не найдете брата, которому сможете броситься на шею. Неужто не было ничего хорошего в прежней жизни, в том маленьком клочке земли, который вы видели из обрамленного плющом окна? За горизонтом вы угадывали неведомые страны, о которых вам рассказывала перелетная птица, единственный путник, какого вы встретили по осени. Какое счастье было сознать, что холмы, которые вас окружают, вечно пребудут у вас перед глазами, что под их сенью вы встретите друзей и возлюбленных, что ночные

шорохи вокруг вашего приюта будут единственными звуками, под которые вы будете засыпать, что ничто никогда не потревожит уединения вашей души, что вы всегда найдете там мысли, ожидающие вас, чтобы продолжить привычную беседу. Вы знали, где родились, знали, где вас похоронят; входя в лес, вы могли сказать деревьям:

Вы видели мое рождение,
Увидите и смерть мою ³⁷.

Человеку нет нужды путешествовать, чтобы расти; он носит бесконечность в себе. Иной звук, вырвавшийся из вашей груди, не знает преград; он находит отклик в тысяче душ: тот, в ком не звучит эта мелодия, тщетно станет просить ее у мироздания. Сядьте на ствол поваленного дерева в лесной чащобе: если в глубоком забвении самого себя, в неподвижности, в тиши вы не постигнете бесконечности, бесполезно искать ее на берегах Ганга.

Каким будет это вселенское общество, не имеющее национальности, не являющееся ни французским, ни английским, ни немецким, ни испанским, ни португальским, ни итальянским, ни русским, ни татарским, ни турецким, ни персидским, ни индийским, ни китайским, ни американским, а вернее, являющееся всеми этими обществами разом? Как повлияет такое положение дел на нравы, науки, искусства, поэзию? Как проявятся страсти, испытываемые разом по обычаю всех народов, проживающих во всех широтах? Какими словами изъяснить это смешение потребностей и образов, которое возникнет, когда разные солнца станут освещать общую юность, зрелость и старость? И на каком языке? Заговорит ли объединенное общество на едином наречии, или для сношения между народами будет принят особый диалект, а дома каждый народ сохранит верность родному языку, или, может быть, все люди станут разуметь все языки? Какому общему правилу, какому единому закону подчинится это общество? Как найти себе место на земле, которая увеличится из-за вездесущности человека и съжится из-за малости повсеместно исследованного земного шара? Останется только просить у науки средство перебраться на другую планету.

б. Сен-симонисты. — Фаланстеристы. — Фурьеристы. — Оуэнисты. — Социалисты. — Коммунисты. — Юнионисты. — Эгалитаристы

Наскучив частной собственностью, вы желаете сделать правительство единственным собственником, раздающим членам нищей общины их доли дохода сообразно заслугам? Но кто будет судить о заслугах? У кого найдется

³⁷ Шолье. Ода к Фонтене; пер. М. Гринберга.

сила и власть заставлять людей исполнять ваши решения? Кто будет держать этот банк живой недвижимости и получать с нее проценты?

Вы прибегнете к ассоциациям тружеников? * Что может дать слабый, больной, ленивый, недалекий человек коммуне, на чьи плечи его неполноценность ляжет тяжким грузом?

Другая возможность: вы организуете анонимные общества или командитные товарищества * фабрикантов и рабочих, ума и материи, куда одни вкладывают свой капитал и мысль, другие — свою сноровку и труд, а полученную прибыль делите на всех. Отлично, вот самый совершенный способ из всех, доступных людям; отлично, если вас не подстерегают ни ссоры, ни жадность, ни зависть; но стоит хотя бы одному члену общества потребовать назад свой вклад, и все рухнет; начнутся распри и тяжбы. Этот способ, чуть более правдоподобный в теории, столь же неправдоподобен на практике.

Быть может, вы убоитесь резких решений и станете строить города, где каждому жителю будет обеспечена крыша над головой, очаг, платье, сытная пища? Лишь только вам удастся ублажить всех граждан, их достоинства и недостатки внесут разлад в ваши расчеты и, не ровен час, толкнут вас на несправедливость; тому нужна более сытная пища, чем этому; этот не может работать столько, сколько тот; люди экономные и трудолюбивые разбогатеют, лентяи, транжиры, больные впадут в нищету, ибо не в ваших силах наделить всех одинаковым темпераментом: природное неравенство даст себя знать, несмотря на все ваши усилия.

И не подумайте, что мы станем утруждать себя таким крючкотворством, как заключение брака, супружеские права, опека, прямое наследование, право на имущество и проч., и проч.: все это мы упраздним. Если сын убивает отца, нам ничего не стоит доказать, что это не сын совершил отцеубийство, а отец жизнью своей губил сына. К чему ломать голову над лабиринтами здания, раз мы решили сровнять его с землей; какой прок останавливаться на этих вздорных измышлениях наших дедов?

Несмотря на это, среди современных сектантов есть такие, которые, предвидя несбыточность своих теорий, примешивают к ним, дабы сделать их более приемлемыми, слова о нравственности и религии; они думают, что, за неимением лучшего, для начала нам следует принять за образец идеальную посредственность американцев; они забывают о том, что американцы собственники, и собственники рьяные, а это несколько меняет дело.

Другие, еще более любезные, ценящие в цивилизации некоторую изысканность, желали бы видеть нас конституционными китайцами, почти неверующими, просвещенными и свободными старцами, которые веками сидят в желтых халатах среди цветов и проводят дни в уюте, ставшем всеобщим достоянием, которые все изобрели, все открыли и мирно произрастают среди своих достижений, лишь время от времени снимаясь с места, дабы по железной дороге

отправиться из Кантона к Великой стене и порассуждать там с другими промышленниками из Поднебесной Империи об осушении болот или рытье каналов. Меня не прельщает ни та ни другая возможность, и я буду рад уйти из жизни прежде, чем мне выпадет счастье стать американцем или китайцем.

Наконец, остается еще один выход: возможно, по причине полного упадка человеческих нравов народы удовольствуются тем, что имеют: они утратят любовь к независимости и заменят ее любовью к деньгам, меж тем как короли утратят любовь к власти и сменят ее на любовь к государственной казне. Это примирит государей и подданных, ибо с установлением прилюдного политического строя и те и другие будут рады пресмыкаться сообща: они будут всласть выставлять друг перед другом свои язвы, как делали некогда прокаженные в лепрозориях и как делают сегодня больные в грязелечебницах; люди уподобятся мирным рептилиям, барахтающимся в сплошной тине.

Тем не менее при нынешнем положении дел желать заменить духовные радости удовольствиями физическими — задача неблагодарная. Физические наслаждения заполняли жизнь древних аристократов; хозяева мира, они владели дворцами, полчищами рабов; в их личной собственности находились целые районы Африки. Где же тот портик, под которым станете вы проводить ныне свой скудный досуг? Где те просторные, с богатым убранством бани, куда вы поместите благовония, цветы, флейтисток, ионийских куртизанок? Не всякому дано стать Гелиогабалом. Откуда возьмете вы богатства, необходимые для этих материальных усад? Душа экономна, но тело — великий мот.

Теперь несколько более серьезных слов об абсолютном равенстве: равенство это возвратит нас не только к рабству тел, но и к рабству душ; дело пойдет не о чем ином, как о разрушении нравственного и физического неравенства человеческих особей. Если воля наша подчинится всеобщему контролю, способности придут в полный упадок. Возьмем, к примеру, бесконечность: она у нас в крови: запретите себе алкать наслаждений — духовных или даже чувственных — вечных, и жизнь ваша сведется к существованию улитки, вы превратитесь в машину. Ибо не заблуждайтесь: если отнять у человека возможность объять весь мир, отнять идею вечной жизни, все обратится для него в небытие; без личной собственности нет свободы; тот, у кого нет собственности, не может быть независим; он становится пролетарием или наемным рабочим, живет ли он в нынешнюю эпоху частной собственности или в царстве собственности общей. Общая собственность уподобила бы государство монастырю, у ворот которого экономы раздают хлеб. Неприкосновенная наследственная собственность — единственная защита нашей личности; собственность есть не что иное, как *свобода*. *Полное равенство*, предполагающее *полное подчинение*, возвращает к самому жестокому рабству; оно превращает человека во вьючное животное, выполняющее работу из-под палки и принужденное вечно ходить по кругу.

Пока я рассуждал таким образом, господин аббат де Ламенне, сидя в темнице, сокрушал те же самые системы мощью своей логики, подкрепленной блестящим поэтическим даром. Отрывок из брошюры, озаглавленной «О прошлом и будущем народа» *, дополнит мои рассуждения; послушаем господина де Ламенне; пусть прозвучит его голос:

«Из тех, кто ставит своей целью добиться строгого, абсолютного равенства, самые последовательные признают, что для его установления и поддержания придется употребить силу, прибегнуть к деспотизму, диктатуре в той или иной форме.

Сторонники абсолютного равенства принуждены прежде всего нападать на неравенства природные, дабы смягчить их, а если возможно, и вовсе уничтожить. Не в силах ничего изменить в изначальных условиях устройства и развития, они приступают к своим трудам, когда человек рождается, когда ребенок выходит из материнского лона. Тогда этим ребенком завладевает государство: оно становится абсолютным хозяином как духовного существа, так и существа органического. Все, и ум и сознание, зависит от государства, все ему подчиняется. Отныне уже нет семьи, нет отцовства, нет брака; остаются самец, самка, детеныши, которыми распоряжается государство, из которых оно делает все, что хочет, и морально и физически, остается рабство — всеобщее и столь глубокое, что пускает корни даже в самой душе человеческой.

В том, что касается вещей материальных, равенство, достигнутое посредством простого раздела, весьма недолговечно. Если речь идет об одной лишь земле, ясно, что ее можно разделить на столько участков, сколько людей ее населяет, но число людей постоянно изменяется, значит, пришлось бы постоянно менять число наделов. Если упразднить всякую личную собственность, единственным законным владельцем всего останется государство. Этот способ владения, если он добровольен, — способ монаха, давшего обет бедности и послушания; если же он недоброжелен, то это способ раба, чьи тяготы ничто не облегчает. Все узы, связующие людей, приязнь, взаимная преданность, обмен услугами и свободное принесение себя в жертву — все, что составляет прелесть жизни и ее величие, все, все исчезло, исчезло безвозвратно.

Средства, предлагавшиеся до сих пор, чтобы решить вопрос о будущем народа, в конечном счете отрицают все условия, необходимые для существования, разрушают, явно или неявно, долг, право, брак, семью и вместо свободы, к которой ведет всякий подлинный прогресс, привели бы общество только к такому рабству, какому история, как глубоко в нее ни погружайся, не знает равных». На это нечего возразить.

Я посещаю заключенных не для того, чтобы, как Гартюф, раздавать им милостыню, но для того, чтобы обогатить мой ум беседой с людьми, которые достойнее меня. Не страшно, если воззрения их отличны от моих: я убежденный христианин, и величайшим гениям земли не поколебать моей веры; мне

жаль их, и любовь к ближнему хранит меня от соблазна. Если я грешу избытком, то они грешат недостатком; я понимаю то, что понимают они, но они не понимают того, что понимаю я. Сегодня я прихожу в ту тюрьму, где некогда посещал благородного страдальца Карреля, навестить аббата де Ламенне. Июльская революция бросила в темницы редкостных людей высшего ума, чьи заслуги она не способна оценить и чей блеск не в силах снести. В камерке на самом верхнем этаже, под просевшей кровлей, до которой можно достать рукой, мы, двое безумных поборников свободы, Франсуа де Ламенне и Франсуа де Шатобриан, беседуем о серьезных материях. Сколько бы ни противился господин де Ламенне, идеи его были отлиты в религиозной форме; форма осталась христианской, хотя суть отходит до догматов христианства все дальше и дальше; в речах его слышен отзвук голосов неба.

Правоверный христианин, исповедующий ересь, автор «Опыта о равнодушии» * высказывает на моем языке мысли, которых я не разделяю. Если бы, посвятив себя евангелическому образованию народа, он сохранил священный сан, он удержал бы власть, которую разрушило его отступничество. Кюре, священники нового поколения (причем самые прославленные из этих левитов), тянулись к нему: епископы приняли бы его сторону, если бы он встал на защиту галликанских свобод, продолжая почитать наместника святого Петра и защищая единство церкви.

Во Франции молодежь сплотилась бы вокруг миссионера, проповедующего близкие ей идеи и ступившего на пленяющий ее путь; в Европе внимательно следящие за ним иноверцы не стали бы ему перечить; великие католические народы: поляки, ирландцы, испанцы — приветствовали бы явление нового проповедника. Даже Рим в конце концов понял бы, что новый евангелист возрождает власть церкви и дает слабейшему первосвятителю возможность противостоять могуществу абсолютных монархов. Какая жизненная сила! Сколько ума, веры, свободы в лице священника!

Богу не было это угодно; тому, кто сам есть свет, вдруг недостало света; поводырь скрылся и оставил паству во тьме. Общественная деятельность моего земляка прервана, но за ним навсегда останется превосходство частного лица и первенство природных дарований. В цепи времен ему суждено пережить меня; я призываю его к моему смертному одру, дабы разрешить наши великие споры у тех врат, в какие входят лишь единожды. Я рад был бы увидеть, что гений его дает мне отпущение грехов, которое встарь имела право дать мне его рука. Мы родились под плеск одних и тех же волн; да позволят мне моя пылкая вера и мое искреннее восхищение надеяться, что мы встретимся с обретшим успокоение другом на берегу вечности.

7. Христианская идея — будущее мира

В конечном счете мои изыскания приводят меня к мысли, что прежнее общество рухнет само собой, что же до общества будущего, то, на какой бы идее оно ни основывалось — на чисто республиканской или на преображенной монархической, — человек, чуждый христианству, вообразить его не в силах. По какому пути ни пойдешь, желанные усовершенствования можно почерпнуть лишь в Евангелии.

В основе хитросплетений нынешних сектантов всегда обнаруживается плагиат, пародия на Евангелие, апостольский принцип: принцип этот так укоренился в нас, что кажется нашим неотъемлемым свойством, меж тем дело обстоит иначе: он достался нам от нашей прежней веры, от веры, существовавшей два или три поколения назад. Нашим независимым умам, посвятившим себя совершенствованию себе подобных, никогда не пришло бы в голову заняться этим, если бы Сын Человеческий не возвестил миру права народов. Всякий подвиг филантропии, который мы совершаем, всякая система, которую мы замысливаем на благо человечества, — не что иное, как христианская идея навыворот, изменившая имя, а зачастую и подвергшаяся искажениям: это всегда «слово, ставшее плотью!» *.

Вы полагаете, что христианская идея — не что иное, как плод развития идеи человеческой? Я согласен; но раскройте различные космогонии, и вы увидите, что христианство предания опередило на земле христианство откровения. Если бы, по его собственному слову, Мессия *не пришел и не сказал им* *, мысль не была бы явлена миру, истины пребыли бы смутными, каковы они в писаниях древних. Итак, какие взгляды ни исповедуешь, отсчет следует вести от Христа, Спасителя (Salvator), Утешителя (Paracletus): именно от него получили вы семена культуры и философии.

Итак, исход я вижу только в христианстве, причем христианстве католическом; религия Слова есть явление истины, как творение есть зримый образ Господа. Я не утверждаю, что мир возродится полностью, ибо допускаю, что целые народы обречены на уничтожение; допускаю я также, что в иных странах вера иссякнет: но если сохранится хотя бы одно ее зерно, если оно падет в землю, хотя бы вместе с осколками глиняного сосуда, то зерно это взойдет и новое воплощение католического духа одушевит общество.

Христианство — самая философическая и самая разумная оценка Бога и творения; оно объемлет три великих закона вселенной: закон божественный, закон нравственный и закон политический; закон божественный — единство Бога в трех ипостасях; закон нравственный — *милосердие*; закон политический — *свобода, равенство, братство*.

Два первых принципа получили свое развитие; третий, закон политический, не имел продолжения, ибо его расцвет невозможен, покуда разумная вера

бесконечного существа и всеобщая мораль не утвердились в сердцах. Ведь христианству пришлось прежде сразиться с нелепостями и мерзостями — наследием идолопоклонничества и рабства.

Люди просвещенные не понимают, отчего такой католик, как я, упорствует, не покидая сени того, что они именуют развалинами; по мнению этих особ, так может поступать только упрямец, побившийся сам с собою об заклад. Но скажите на милость, где искать семью и Бога в индивидуалистическом и философическом обществе, которое вы мне предлагаете? Скажите, и я последую за вами; в противном случае не осуждайте меня за то, что я умру христианином, ибо могила, осененная крестом, — единственное убежище, какое я могу избрать теперь, когда вы меня покинули.

Нет, я вовсе не бился сам с собой об заклад; я искренен; вот что со мной случилось: от моих планов, штудий, опытов мне осталось только полное разочарование во всем, к чему стремится свет. Мое религиозное чувство разрослось и поглотило все прочие мои чувства; нет на земле более правверного христианина и более недоверчивого человека, чем я. Вере в искупителя далеко до конца, она только-только вступает в свой третий, политический период, период *свободы, равенства, братства*. Евангелие, оправдательный приговор, прочтен еще не всем на земле; пока над головой нашей еще звучат проклятия, произнесенные Христом: «Горе вам, что налагаете на людей бремена неудобноносимые, а сами с одним перстом своим не дотрагиваетесь до них!» *

Христианство, неколебимое в своих догматах, подвижно в своей мудрости; перемены в нем объемлют перемены всемирные. Когда оно достигнет наивысшей точки, мрак рассеется; свобода, распятая на кресте вместе с Мессией, вместе с ним сойдет с креста; она вручит народам тот новый завет, что был составлен в их пользу и поныне не вступил в силу. Правительства уйдут, нравственное зло исчезнет, оправдание человека возвестит конец эпохи смерти и гнета — плода грехопадения.

Когда же наступит этот долгожданный день? Когда в обществе вновь восторжествует животворящий принцип, чье действие покрыто тайной? Никто не может этого сказать; невозможно исчислить силу сопротивления страстей.

Смерть не раз поразит род человеческий, не раз прольет молчание на события, — так снег, выпавший ночью, заглушает скрип колес. Народы не растут так быстро, как отдельные люди, из которых они состоят, и не исчезают так стремительно. Сколько приходится ждать одного-единственного свершения! Агонии Восточно-Римской империи, казалось, не будет конца; христианской эры, длящейся уже так много столетий, недоставало для отмены рабства. Эти подсчеты, я знаю, чужды французам; в наших революциях мы никогда не учитывали элемент времени: поэтому мы всегда изумляемся результатам, разочаровывающим наши нетерпеливые ожидания. Исполненные великодушной

отваги, молодые люди торопятся; они очертя голову устремляются к высотам, которые провидят и которых силятся достигнуть. Нет ничего более достойного восхищения; однако в этих усилиях пройдет вся их жизнь, и, идя от поражения к поражению, они в конце пути завещают бремя долголетних неудач другим обманутым поколениям, которые пронесут его до следующих могил, и так без конца. Вновь наступила эпоха пустынь; христианство вновь зарождается в бесплодной Фиваиде, и со всех сторон ему грозят новые идолопоклонники, чей кумир — сам человек.

История знает двоякие следствия событий: одни немедленные, свершающиеся мгновенно, другие отдаленные, поначалу незаметные. Следствия эти часто противоречат друг другу; одни зиждутся на нашей близорукой мудрости, другие — на мудрости вечной. Деяния божественного промысла обнаруживают себя после деяний человеческих. За спинами людей встает Господь. Сколько бы вы ни отрицали высший суд, сколько бы ни оспаривали его решений, сколько бы ни спорили о словах, сколько бы ни называли силой вещей или разумом то, что обычный человек именует Провидением, взгляните на свершившийся факт, и вы непременно увидите противное тому, чего ожидали, если вашей отправной точкой не были нравственность и справедливость.

Если Небо не произнесло свой последний приговор, если нам суждено будущее — будущее могучее и свободное, то будущее это, бесспорно, скрыто вдали, за горизонтом; добраться до него можно только с помощью христианской надежды, крылья которой растут тем быстрее, чем меньше оснований для этого дает ей неверный мир, надежды более долговечной, чем время, и более сильной, чем несчастье.

8. Повторный взгляд на мою жизнь

Переживет ли меня сочинение, вдохновенное моим прахом и для праха моего предназначенное? Возможно, труд мой плох; возможно, увидев свет, эти «Записки» не привлекут ничего внимания; все же вещи, которые я рассказал сам себе, послужат хотя бы тому, чтобы разогнать тоску последних дней, которые никому не нужны и которым никто не может найти применения. В конце жизни наступает горькая пора: ничто не мило, потому что ты сам ничего не достоин; никому не нужный, ставший обузой для всех, ты стоишь на пороге последней обители, до которой остался всего один шаг: к чему грезить на пустынном берегу? какие любезные сердцу тени разглядишь ты в будущем? Ну их, эти облака, плывущие нынче над головою!

Мне не дает покоя одна навязчивая мысль: так ли невинны мои бдения? я боюсь своего ослепления и снисходительности к собственным ошибкам. Хорошо ли то, что я пишу, если судить по справедливости? Не случилось ли

мне погрешить против нравственности и любви к ближнему? Имел ли я право говорить о других? Что толку в моем раскаянии, если «Записки» мои причинят кому-либо зло? Безвестные, никому не ведомые на земле праведники, вы, жизнью своей, любезной алтарям, творящие чудеса, поклон вашим тайным добродетелям!

Бедняга, лишенный знаний и неспособный привлечь ничьего внимания, единственно своими нравами оказал на товарищей по мукам божественное влияние, достойное того, что исходило от добродетелей Христа. Прекраснейшая книга на земле не стоит незнаемого миром подвига безымянных мучеников, чьи страдания Ирод *омыл кровью*.

Вы видели, как я родился; видели, как прошло мое детство, как я боготворил странное создание моего ума в замке Комбург, как был представлен в Версале королю, как присутствовал в Париже при первом акте революции. В Новом Свете я встречаюсь с Вашингтоном; я удаляюсь в леса; уцелев при кораблекрушении, я ступаю на берег родной Бретани. Меня ждут тяготы солдата, нищета эмигранта. Во Францию я возвращаюсь автором «Гения христианства». В изменившемся обществе я нахожу новых друзей и теряю старых. Бонапарт встает на моем пути с окровавленным телом герцога Энгинского и останавливает меня; я также останавливаюсь в своем рассказе и провожаю великого человека от его колыбели на Корсике до его могилы на острове Святой Елены. Я участвую в Реставрации и вижу ее конец.

Таким образом, мне были ведомы и общественная и частная жизнь. Я четырежды плавал по морям; я двигался вслед за солнцем на Востоке, бродил среди развалин Мемфиса, Карфагена, Спарты и Афин; я молился на могиле святого Петра и поклонялся Господу на Голгофе. Бедный и богатый, могущественный и слабый, счастливый и несчастный, человек действия, человек мысли, я отдал силы своему веку, а ум — уединению: существование практическое явилось мне среди иллюзий, как земля предстает матросам среди туч. Если деяния, укрывающие мои грезы, словно лак, защищающий хрупкую живопись, не исчезнут, они укажут места, где прошла моя жизнь.

На каждом из трех моих поприщ я ставил себе важную цель: будучи путешественником, стремился открыть полярный мир; став литератором, попытался восстановить разрушенную веру; сделавшись государственным мужем, сиделся дать народам здравомыслящую монархию, вернуть Франции ее место в Европе и силу, отнятую у нее венскими соглашениями; во всяком случае, я помог ей завоевать хотя бы ту из наших свобод, которая стоит всех прочих, — свободу печати. В мире божественном религия и свобода; в мире человеческом честь и слава (каковые суть человеческое производное религии и свободы) — вот чего желал я для моей родины.

Из французских авторов моего поколения я едва ли не единственный, кто похож на свои произведения: путешественник, солдат, публицист, министр, я воспевал леса в лесах, живописал Океан на корабле, рассказывал

о сражениях в военных лагерях, познал изгнание в изгнании, изучал властителей при дворе, политику в должности, а законы в собраниях.

Ораторы Греции и Рима влияли на жизнь общества и разделяли его судьбу; в конце средних веков и Возрождения прославленнейшие гении словесности и искусств Италии и Испании принимали участие в общественном движении. Какие бурные и прекрасные жизни прожили Данте, Тассо, Камюэнс, Эрсилья, Сервантес! Во Франции в старину гимны и предания слагались паломниками и воинами, но начиная с царствования Людовика XIV наши писатели слишком часто жили своей частной жизнью, и устами их таланта говорил их собственный дух, но не события их эпохи.

По счастью или везению, мне, ночевавшему в шалаше ирокеза и в шатре араба, надевавшему плащ дикаря и чапан мамелюка, выпало усесться после этого за один стол с королями, чтобы затем снова впасть в нужду. Я приложил руку к миру и войне; я подписывал соглашения и протоколы; присутствовал на заседаниях, конгрессах и конклавах, при восстановлении и свержении королевской власти; я творил историю и мог ее писать: жизнь моя, одинокая и безмолвная, протекала среди смуты и грохота, и все эти годы рядом со мною были дочери моего воображения: Атала, Амели, Бланка, Велледа, не говоря уже о тех красавицах, которых можно было бы назвать реальностью моей жизни, не обладай они обольстительностью химер. Боюсь, я имел душу наподобие той, какую один древний философ назвал священной болезнью.

Жизнь моя прошла на рубеже двух веков, как на слиянии двух великих рек; я погрузился в их мутные воды, с сожалением удаляясь от старого берега, где я родился, с надеждой плывя к берегу неведомому.

*9. Краткое исчисление перемен, происшедших на земном шаре
в течение моей жизни*

Вся география изменилась с тех пор, как я, по старинному выражению, *увидел небо из колыбели*. Сравнив земной шар, каким он был в начале моей жизни, с тем, каким он стал в ее конце, я не нахожу в них ничего общего. За это время была открыта и населена пятая часть света, Австралия; французские мореплаватели разглядели недавно во льдах антарктического полюса шестой континент *, а близ нашего полюса Парри, Россы, Франклины обогнули северные пределы Америки; Африка приоткрыла тайны своих пустынь; одним словом, в подлунном мире не осталось ни одного неизведанного уголка. Люди ведут наступление на все полоски земли, которые разделяют моря; несомненно, скоро корабли станут пересекать Панамский, а может быть, и Суэцкий перешейки.

История также сделала немало открытий, погружаясь в глубь веков; священные языки более не держат в секрете свой утраченный словарь; Шампо-

льон, добравшийся до гранитных скал земли Египетской, расшифровал иероглифы, которые казались печатью, наложенной на вечно молчание уста пустыни³⁸. Новые революции вычеркнули с карты мира Польшу, Голландию, Геную и Венецию — что же с того? другие республики появились на берегах Великого и Атлантического океанов. В этих странах усовершенствованная цивилизация могла бы оказать помощь могучей природе: пароходы поплыли бы вверх по рекам, прежде бывшим непреодолимым препятствием, а ныне превратившимся в удобные пути сообщения; на берегах этих рек выросли бы города и деревни, как из пустынь Кентукки вышли новые американские штаты. Через эти леса, слышущие непроходимыми, двинулись бы повозки без лошадей, перевозящие тяжелые грузы и тысячи путешественников. По этим рекам, по этим дорогам вместе с деревьями для постройки кораблей тронулись бы в путь подземные сокровища, способные их оплатить, и Панамский перешеек перестал бы преграждать дорогу этим кораблям и пропустил бы их из одного моря в другое.

Флот, приводимый в движение огнем, не ограничивается плаванием по рекам, он пересекает океан; расстояния сокращаются; кому теперь страшны течения, муссоны, встречные ветры, блокады, закрытые порты? Какая пропасть пролегла между этими промышленными романами и деревушкой Планкуз: в то время дамы сидели у очага и играли в забытые ныне игры; крестьянки пряли пеньку для своих одежд; тощая сальная свеча освещала эти ночные бдения; химия еще не свершила своих чудес: машины не привели в движение воду и железо, чтобы ткать шерсть и вышивать шелк; газ был принадлежностью метеоров и еще не освещал наши театры и улицы.

Преобразования не ограничились земным миром: предчувствуя свое бессмертие, человек устремил свои взоры ввысь; на каждом шагу, какой он совершал по небосводу, он обнаруживал чудеса, сотворенные неизъяснимой силой. Звезда, казавшаяся простой нашим отцам, на наших глазах предстала двойной и тройной; между солнцами встали, заслоня и тесня друг друга, новые и новые солнца. Из средоточия бесконечности Бог следит за парадом этих великолепных теорий, лишняя доказательств бытия Верховного существа.

Представим себе с помощью новых достижений науки нашу хилую планету, плывущую в океане солнечных вод, в волнах Млечного пути, света-сырца, расплавленного металла миров, которого еще не коснулась рука Создателя. Расстояние до этих звезд столь огромно, что блеск их достигает глаза, смотрящего на них, лишь когда звезды уже потухнут: очаг гаснет раньше его света. Как мал человек на атоме, где он копошится! Но как велик его дух! Он знает наперед, когда лик светил затуманится, в какой час через тысячи лет возвратится комета,— он, живущий всего лишь мгновение! От этого крошечного насекомого, незаметного в складке

³⁸ Господин Ш. Ленорман, многомудрый спутник Шампольона, сберег грамматику обелисков, которую господин Ампер отправился нынче изучать на развалинах Фив и Мемфиса.

небесных одежд, планеты не могут утаить ни единого своего шага в безднах пространств. Какие судьбы осветят эти новые для нас светила? Связано ли их открытие с новой эрой в жизни человечества? Вы, грядущие поколения, узнаете это; мне это неведомо, и я уйду.

Я прожил безмерно долгую жизнь и смог завершить свой памятник. Это большое облегчение: я чувствовал, как кто-то подталкивает меня: хозяин лодки, где мне оставлено место, предупреждал, что не пройдет и мгновения, как наступит мой черед подняться на борт. Будь я правителем Рима, я сказал бы, как Сулла, что кончаю свои записки как раз накануне смерти, но я не заключил бы свой рассказ словами, какими он кончает свой: «Я увидел во сне одного из моих детей, он указывал мне на Метеллу, свою мать, и призывал меня вкусить покой в лоне вечного блаженства» *. Будь я Суллой, слава никогда не принесла бы мне покоя и блаженства.

Разразятся новые бури; кажется, люди предчувствуют несчастья, которые затмят прежние горести; они уже перевязывают старые раны, готовясь вернуться на поле брани. Однако я не думаю, что беда грянет скоро: народы и короли равно изнурены; внезапные катастрофы на Францию не обрушатся: то, что придет после меня, будет всего лишь проявлением общего преобразования мира. Несомненно, людям доведется пережить тягостные эпохи; мир не может измениться безболезненно. Но, повторю еще раз, то не будут отдельные революции, то будет великая революция, идущая к своему концу. Завтрашние сцены меня уже не касаются; они ожидают других художников: ваша очередь, господа.

Сегодня, 16 ноября 1841 года, я пишу эти последние слова перед открытым окном, выходящим на запад, в сад семинарии иностранных миссий *: сейчас шесть часов утра; бледная круглая луна заходит за шпиль собора Инвалидов, едва освещенный с востока первым золотым лучом; кажется, будто старый мир кончается, а новый занимается. Я вижу отблески зари, но восхода солнца я уже не увижу.
 Мне остается только сесть на край своей могилы; потом, с распятием в руках, я храбро сойду в вечность.





ПРИМЕЧАНИЯ *

Перевод «Замогильных записок» выполнен по изд.: Chateaubriand F.-R. de. *Mémoires d'outre-tombe*. Ed. par M. Levaillant et G. Moulinier. Т. 1—2. Р., 1988. (Bibliothèque de la Pléiade).

В этом издании воспроизведен последний вариант, завизированный автором,— рукопись 1847 г. (от которой первое издание 1849—1850 гг. отличается наличием правки, внесенной публикаторами). Деление на части, книги и главы принадлежит Шатобриану (современный публикатор М. Левайан лишь прибавил к рукописи 1847 г. книгу, посвященную госпоже Рекамье, которую Шатобриан выключил из «Замогильных записок», испуганный перспективой их публикации в газете «Пресс», и выделил в отдельную книгу «Заключение»). В рукописи главы имели развернутые названия, но не были пронумерованы: это сделано современным публикатором для облегчения работы с текстом.

При подготовке русского издания были использованы также изд.: Chateaubriand F.-R. de. *Mémoires d'outre-tombe*. Ed. par M. Levaillant. Т. 1—4. Р., 1964 (Edition du centenaire) и Chateaubriand F.-R. de. *Mémoires d'outre-tombe*. Ed. par J.-Cl. Berchet. Т. 1—2. Р., 1989—1992. (Classiques Garnier); к сожалению, это новейшее издание еще не доведено до конца, и мы могли воспользоваться только первым и вторым томами.

Для русского издания, которое по чисто техническим причинам не могло стать полным, мы отбирали главы, во-первых, наиболее характерные для стиля, художественного и политического мышления Шатобриана, а во-вторых, наиболее интересные как исторические свидетельства. В наше издание не вошли те главы, где излагаются детали

* Примечания, указатель имен и хронология жизни и творчества Шатобриана составлены В. А. Мильчиной.

французской политической жизни, малопонятные современному читателю и потребовавшие бы слишком пространных пояснений. Не вошла в наше издание и двухсотстраничная биография Наполеона, написанная Шатобрианом для «Замогильных записок».

Краткое содержание выпущенных глав и отрывков дается в соответствующих местах в угловых скобках петитом.

Там, где это возможно, в переводе сохранена пунктуация Шатобриана, носящая отпечаток его сугубо индивидуальной манеры: прежде всего, обилие двоеточий, связанное с пристрастием к бессоюзным конструкциям.

Цифрами обозначены примечания автора и перевод иноязычных текстов, помещенные под строкой (сквозная нумерация внутри каждой части). Звездочки отсылают к затекстовым примечаниям. Сведения о лицах, упомянутых в тексте, отнесены в именной указатель. Архитектура «Замогильных записок» столь сложна, что развернутый комментарий их поэтики занял бы целый том. Поэтому в примечаниях преимущественное внимание уделено фактическим сведениям, облегчающим понимание текста.

Несколько слов о судьбе «Замогильных записок» в России. Интерес к ним был очень велик, и сразу после начала публикации книги во Франции к ней обратились крупнейшие русские периодические издания. Фрагменты «Замогильных записок» были опубликованы в «Отечественных записках» (1848, т. 61; 1850, т. 71—73), «Литературной газете» (1848, № 32, 33, 40—50; 1849, № 6—10), «Санкт-Петербургских ведомостях» (1848, № 235—271), «Библиотеке для чтения» (1849, т. 93, 94, 96, 97). Переводы из «Отечественных записок» и «Санкт-Петербургских ведомостей» были (соответственно в 1851 и 1849 гг.) изданы отдельными книгами, однако самый полный из них (в «Отечественных записках») покрывает только половину текста. В середине XIX века книга Шатобриана оказалась в России так же не ко времени, как и во Франции. Более того, в сознании иных литераторов она отождествлялась с неприятным журнальным «чтивом»: так, В. Р. Зотов, описывая подозрительность и несговорчивость цензора «Литературной газеты», отмечал с горечью в своих воспоминаниях, что по его вине приходилось «поневоле наполнять» газету «переводами мемуаров Шатобриана да романами Мариетта» (Исторический вестник, 1890. Т. 40. С. 310).

* * *

Предисловие

С. 18. *...акции Общества...* См. во вступительной статье, с. 9.

С. 19. *Решить этот вопрос (...)* военных инженеров.— Окончательно преодолеть сопротивление военного министерства, которое не хотело потерять форпост на острове Гран-Бе, удалось лишь в 1836 году.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Книга первая

С. 23. *Арпан* — старинная единица площади, равная 20—50 арам.

С. 24. *Сегодня — 4 октября 1811 года...* — На самом деле Шатобриан родился 4 сентября, но долгое время считал датой своего рождения, совпадающей с его именинами, праздник святого Франциска Ассизского, 4 октября (ср. ниже, с. 30). В Иерусалим Шатобриан прибыл 4 октября 1806 года, в ходе своего путешествия на Восток (1806—1807).

С. 26. *...носящие его условно...* — Имеется в виду новая аристократия, получившая титулы при Наполеоне.

...евангельского Никодима... — «одного из начальников иудейских» (Иоанн, 3, 1).

...удостоверено указом, приведенным нами выше. — В этом указе от 16 сентября 1669 г., не вошедшем в наше издание, генеральный прокурор Людовика XIV подтверждал благородное происхождение Кристофа де Шатобриана. *Мишель де Шатобриан* приходился Кристофу не сыном, а внуком.

С. 27. *...«сеял золото»...* — Выше Шатобриан описывает герб своего рода, каким изображала его семейная традиция: «Сосновые шишки, а внизу девиз: «Сею золото».

С. 28. *...осажденному русскими в Данциге.* — Во время войны за Польское наследство (1733—1738). Данциг — ныне Гданьск.

...в Страстную пятницу 1810 года. — Описка Шатобриана; следует читать: 1809 года. Ниже (кн. 18, гл. 7) писатель называет правильную дату.

С. 29. *Штаты* — до Великой французской революции собрание представителей всех сословий (дворянства, духовенства, третьего сословия) данной провинции.

«Киф» (1648—1653) — десяти томный авантюрно-галантный роман Мадлены де Скюдери (1607—1701).

С. 30. *...родила третьего мальчика...* — На самом деле Жан Батист был вторым мальчиком и третьим ребенком в семье.

...не Франсуа Огюст. — Шатобриан долгое время считал, что его имя — Франсуа Огюст Рене; 4 октября — праздник святого Франциска Ассизского, его патрона.

За двадцать дней до меня... Бонапарт. — На самом деле Наполеон родился 15 августа следующего, 1769 года (ниже, в главах, посвященных жизнеописанию Наполеона, Шатобриан обсуждает различные версии этой даты, в том числе и ту, которая принята современной наукой, и отвергает ее).

С. 32. *...в деле Ла Шалоте* — генерального прокурора Бретонского парламента, который за неповиновение ненавистному бретонцам правителю этой провинции герцогу Д'Эгийону был арестован в 1765 г.

С. 33. *...грамматическая ошибка...* — В XIX веке эти строки Буало звучали архаично, но по нормам XVII века ошибки в них не было.

Коса — так называли в Сен-Мало полосу земли, связывающую скалу, на которой расположен город, с материком.

С. 34. *Tantum ergo* — начальные слова католического песнопения, исполняемого перед благословением святыми дарами.

С. 35. ...*как святая Моника своему сыну*... — Блаженному Августину (Шатобриан цитирует его «Исповедь», кн. 9, гл. 11).

«Звезда морей» — слова из католического гимна Пресвятой Деве.

Дьепт, сентябрь 1812 года. — Шатобриан получил рекомендацию удалиться из Парижа после того, как в публике стали распространяться рукописные копии его речи, которую он сочинил по случаю своего избрания 20 февраля 1811 г. во Французскую академию, но не смог произнести; она была запрещена после того, как Шатобриан отказался внести в нее требуемые императором исправления (см. подробнее с. 233—243). На самом деле в сентябре 1812 года Шатобриан находился не в Дьеппе, а в городке Верней-сюр-Сен, близ Парижа.

С. 37. *Брешелианский* (или, согласно средневековому написанию, Бресильенский) лес — место действия многочисленных бретонских легенд.

Доммонея, или Домнонея — так армориканские бретонцы обозначали западную часть полуострова Бретань.

«Роман о Ру, или Деяния бретонцев» (ок. 1160) — история Бретани, включающая легенды о короле Артуре.

Пелагические — морские.

Фукусы — бурые морские водоросли.

Книга вторая

С. 38. ...*на киберонском Поле мучеников*... — На Киберонском полуострове в Бретани в июне 1795 г. высадились войска роялистов и были немедленно разбиты генералом Ошем, после чего 700 эмигрантов были расстреляны.

С. 40. *«Отец семейства»* (изд. 1758, пост. 1761) — «буржуазная драма» Д. Дидро.

Матушка Жигонь — традиционный персонаж кукольного театра, великанша.

Книга третья

С. 41. *«Телемак»* — «Приключения Телемака» (1695, изд. 1699) — дидактический роман Фенелона; Евхарис — нимфа с острова богини Калипсо, возлюбленная Телемака.

С. 46. ...*Империя пала*... — Наполеон отрекся от престола дважды: 4 апреля 1814 г. и 22 июня 1815 г., после поражения при Ватерлоо, положившего конец Ста дням его повторного правления.

Монтень заметил... — Опыты, III, IV.

...*щебетанье певчего дрозда... ветке березы.* — Это место «Замогильных записок» сочувственно вспоминает М. Пруст в последнем романе своего цикла «В поисках утраченного времени» — «Возвращенное время». В свою очередь Шатобриан, описывая действие

«аффективной памяти», вспоминал, вероятно, знаменитый эпизод из «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо (кн. 6), где засохший барвинок, найденный между страниц книги, пробуждает в авторе целую череду воспоминаний.

С. 47. ...*гончих не хуже, чем у короля Дагобера*. — Среди легенд и песен, посвященных королю Дагоберу I, часто упоминаются его собаки, которых он так любил, что даже разделял с ними трапезу.

С. 48. ...*захваченной у турок в Венгрии*. — Раскавыченная цитата из «Мемуаров» (1656—1657) Мишеля де Мароля, которую Шатобриан часто вспоминал.

С. 53. *10 августа* 1792 года была низложена королевская власть во Франции, вслед за чем 2 сентября начались массовые убийства аристократов в парижских тюрьмах, в том числе в превращенном в тюрьму кармелитском монастыре и в тюрьме аббатства Сен-Жермен-де-Пре.

Каледония — древнеримское название Шотландии.

...*я вынужден покинуть его... укрытием и наградой*. — Об обстоятельствах, заставивших Шатобриана продать Волчью долину, см. наст. изд., с. 332—333.

Иероним, Цимодоцея, Велледа — отец Церкви, гречанка-христианка и галльская жрица-друидесса, персонажи эпопеи Шатобриана «Мученики», Бланка — испанка, героиня повести Шатобриана «Приключения последнего из Абенсерагов».

С. 55. *Морвен* — расположенное на северо-западе Шотландии государство короля Фингала, главного героя поэм, которые шотландский писатель Дж. Макферсон приписал легендарному кельтскому барду Оссиану.

Энские равнины располагались близ Энны, города в центре древней Сицилии, который считался владением богини плодородия Цереры и ее дочери Прозерпины.

С. 56. ...*подобно Исмену... принесет мне Армиду*. — Реминисценция из «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо (песнь XVIII); *Исмен* — колдун, защищающий Иерусалим от крестоносцев; *Армида* — его пособница, коварная, но прекрасная соблазнительница.

Амбуан (Амбон) и *Тидор* — острова, входящие в Молуккский архипелаг (Индонезия).

С. 59. ...*перенося тягость дня и зной*. — Реминисценция из Нового завета (Матф., 20, 12).

С. 60. *Бенефиций* — доход с церковной должности.

С. 62. *Линия* — старинная мера длины, равная двенадцатой части дюйма (примерно 2 мм).

...*мой земляк Абельяр*... — П. Абельяр родился в Бретани, близ Нанта.

Книга четвертая

С. 63. *Потсдам* — город в Пруссии, где Фридрих II (которого Шатобриан за его сочувственный интерес к идеям просветителей уподобляет древнему противнику христианства императору Юлиану Отступнику) построил дворец и парк Сан-Суси, именуемые «пруским Версалем».

...мельницу... оставил законному владельцу... *Гордячки и Мирной*.— Владелец этой мельницы, находившейся на территории парка Сан-Суси, не захотел уступать ее королю, и гот уважил его требования; это происшествие легло в основу повести в стихах Ф.-Г. Андрие «Мельник из Сан-Суси», финал которой («...Чем королю еще себя пленять? Отдавши мельницу, провинцию отнять») перефразирует Шатобриан.

С. 64. *Расстриженный схизматик* — Лютер; *венценосный софист* — Фридрих II.

Мраморный дворец — построен в 1787—1790 гг. племянником Фридриха II Фридрихом Вильгельмом II.

...*сражения под Росбахом... Торгау и проч.*— Перечислены победы, одержанные Фридрихом II в ходе Семилетней войны, в 1757 и 1760 гг.

Прусский король и Вольтер... устои общества.— В 1750 г. Вольтер, переписывавшийся с Фридрихом II с 1836 г., по его приглашению прибыл в Берлин; однако очень скоро король и философ разочаровались друг в друге, и через три года Вольтер покинул столицу Пруссии.

С. 65. ...*воцарившаяся здесь королева*...— Мария Антуанетта, чьей резиденцией был Малый Трианон близ Версаля.

...*как перигорский дворянин... посмеяться надо мной.*— Реминисценция из Мольера («Господин де Пурсоньяк», д. 1, явл. 3); мольеровский дворянин, однако, был присижим не из Перигора, а из Лиможа.

С. 66. *Открытие Генеральных Штатов* 5 мая 1789 г. послужило первым толчком к началу Великой французской революции.

...*нападающего на гонимую религию*...— Парни был автором ироикомической поэмы «Война старых и новых богов» (1799), созвучной антиклерикальной политике революции.

Элеонора — лирическая героиня знаменитого цикла элегий Парни «Эротические стихотворения» (1778—1784).

Автор «Истории итальянской литературы» — Женгене; этот девяти томный труд вышел много позже описываемых событий, в 1811—1819 гг. (три последних тома — посмертно).

С. 67. *Первый праздник Федерации* состоялся на Марсовом поле в Париже 14 июля 1790 г., в первую годовщину взятия Бастилии.

Лига — конфедерация французских католиков, одна из главных действующих сил в религиозных войнах во Франции (1576—1594); Шатобриан часто черпает цитаты и сравнения из мемуаров об этой эпохе (французской «смуте»), закончившейся восшествием на престол Генриха IV, первого короля династии Бурбонов.

...*об убийствах, замышляемых революционерами.*— См. примеч. к с. 53.

...*в «Синем квадрате» ...на мотив «Я посадил его, взлелеял»*...— «Синий квадрат» — ресторан на бульваре Тампль; упоминаемый романс был очень популярен во время Революции; слова его часто приписывались Ж.-Ж. Руссо, хотя на самом деле принадлежат Александру Делеру.

...*к одному из тех монархов, которых в ту пору лишали короны.*— Имеется в виду

сардинский король Карл Эммануил IV, который в 1798 г. под натиском французских войск лишился своих континентальных владений — Пьемонта.

Господин де л'Эмпирей — прозвище главного героя комедии Пирона «Метромания» (1738), велеречивый графоман.

На античном ужине у господина Водрея... — На самом деле этот ужин, все участники которого оделись на манер древних греков, происходил у художницы Виже-Лебрен, а Водрей был туда приглашен.

С. 68. ...*против гонителя наших свобод.* — Эти стихи стали известны только после смерти Лебрена, при жизни же он публиковал в честь Наполеона произведения дифирамбического свойства.

...*обратил руку... против самого себя.* — Шамфор был близок к жирондистам и после их казни жил в постоянном ожидании ареста; 15 ноября 1793 г. он попытался покончить с собой и умер от ран пять месяцев спустя.

Институт — основанная в 1795 г. совокушность академий (Французской академии, Академии надписей и изящной словесности, Академии наук, Академии художеств, а с 1832 г. еще и Академии нравственных и политических наук). Об избрании Шатобриана во Французскую академию и о его отношениях с М.-Ж. Шенье см. наст. изд., с. 233—243.

С. 68—69. ...*как отвечал Пантагрюэлю лимузинец... номинируемого Лютецийей.* — Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Кн. II, гл. 6.

С. 69. ...*политика принялась ронсардизировать.* — Шатобриан уподобляет разработку метрической системы единиц (1791) с ее почерпнутыми из греческого терминами, деятельности поэтов XVI века (Ронсар, Дю Белле и проч.), стремившихся обогатить французский язык за счет заимствований из греческого.

Книга пятая

С. 70. *Монфокон* — виселица в тогдашнем пригороде Парижа Ла Вилет.

...*возводят пятнадцать новых бастилий... первую Бастилию.* — В 1840 г. по инициативе А. Тьера, тогдашнего председателя кабинета, вокруг Парижа стали возводить укрепления, что вызвало протесты общества (как либералов, так и легитимистов); к решительным противникам укреплений принадлежал и Шатобриан, видевший в них унижение французской гордости (неужели французы допустят возможного противника до стен Парижа!) и угрозу свободе парижан (крепости удобно использовать не только для защиты от «внешнего врага», но и для борьбы с «внутренним»).

С. 71. *Гусман де Альфараче* — герой романа Матео Алемана-и-де-Энеро (1574—ок. 1614) «Жизнеописание плута Гусмана де Альфараче» (1599—1604), известного во Франции по французскому переложению А.-Р. Лесажа (1732); Гусман живет обманом и воровством и кончает жизнь на галерах.

Арригетти — флорентийские предки рода Мирабо.

...*в отца и в дядю.* — Отец Мирабо был известным экономистом, автором многих

книг; дядя — бабьи (генералом) Мальтийского ордена; их обширная переписка была издана в 1834 г.

...Ему поставляли тексты для речей... — Как стало известно после публикации в 1832 г. «Воспоминаний о Мирабо» швейцарского публициста Этьенна Дюмона, речи для Мирабо сочиняли четыре швейцарских политических деятеля, в том числе и сам Дюмон.

Софи — графиня де Монье, возлюбленная Мирабо, которую он выкрал из дома мужа и увез за границу, однако был пойман и заключен в Венсеннский замок; его «Письма к Софи», созданные в тюрьме, вышли в 1792 г.

С. 72. *...назвал его Рикет...* — Рике (Riquet), форма, производная от родового имени Мирабо — Рикети (Riqueti), звучала особенно оскорбительно, так как полностью совпадала с именем главного героя французской литературной сказки XVII века (автором одного из ее вариантов был Ш. Перро) «Рике с хохолком», горбатого уродца. «Монитёр» назвал так Мирабо после отмены дворянских титулов в июне 1790 года.

В другой семье мой братец виконт... человеком почтенным. — Младший брат графа де Мирабо имел прозвище «бочка» из-за полноты и пристрастия к вину; шутка намекает на то, что на фоне ума и пороков старшего брата соответствующие достоинства Мирабо-бочки бледнели.

С. 73. *...продался двору...* — Мирабо, активный участник Революции, с 1790 г. стал вести двойную игру и тайно сообщаться с Людовиком XVI и Марией Антуанеттой.

...низвергнутый из Пантеона... — Останки Мирабо были выброшены из Пантеона в 1794 году, после того, как была обнаружена компрометирующая его переписка с королем, и похоронены на кладбище для казненных в парижском пригороде Клямаре.

С. 74. *...на груду обломков всех веков... Малых августинцев...* — Речь идет о Музее французских памятников, который в 1791–1816 гг. размещался на территории бывшего монастыря Малых августинцев, закрытого в 1790 г. Археолог А. Ленуар собрал здесь памятники искусства из всех монастырей Франции, разоренных во время революции.

...как души, еще не узревшие свет, на берегу Леты. — Реминисценция из Вергилия (Энеида, VI, 713–714): «Собрались тут души, которым / Вновь суждено вселиться в тела...» (пер. С. Ошерова).

Гувьон Сен-Сир стал маршалом во время русской кампании 1812 г., в юности же он пробовал себя на театре.

...из клуба фельянов в клуб якобинцев... — Оба этих революционных клуба получили свои названия от тех монастырей, где собирались их члены.

С. 75. *...называемый в обиходе Кобленцем...* — по названию немецкого города, ставшего центром французской эмиграции (там формировалась контрреволюционная «армия принцев»).

С. 76. «*Деяния апостолов*» — роялистский сатирический журнал; «*Друг народа*» — газета Марата, рупор санкюлотов.

Малле дю Пан ...расходился во взглядах... той же газеты. — Швейцарский публицист, сторонник конституционной монархии Малле дю Пан, занимал более умеренные позиции, чем те, на которых стояли настроенные в эту пору весьма революционно Шамфор и Лагарп.

«Маленький альманах великих людей» — сборник памфлетов против революционеров.

Будущий цареубийца — герцог Орлеанский, отец Луи Филиппа, получивший за сочувствие революционным идеям прозвище «Эгалите» (равенство); голосовал в Конвенте за смерть Людовика XVI, своего кузена. Под *предками*, которым ни в чем не уступал Эгалите, подразумевается прежде всего его дед, герцог Орлеанский, в 1715—1723 г. бывший регентом при малолетнем Людовике XV; правление его отличалось исключительной развращенностью нравов.

С. 77. *Барон де Безанваль*, родившийся в Золотурне (Швейцария), в 1789 г. командовал войсками, стоявшими вокруг Парижа, однако в день взятия Бастилии почел за лучшее не вмешиваться в ход событий и благодаря этому в январе 1790 г. избежал казни; его «Мемуары», опубликованные посмертно (1805), содержали множество скандальных подробностей придворной и светской жизни.

С. 78. *«Синяя борода»* — музыкальная комедия Седена на музыку Гретри (1789), *«Потерянный башмачок»* (1781) — водевиль Пии и Барре на музыку Филидора.

Северо-западный проход — северный морской путь между Атлантическим и Тихим океаном; впервые пройти по нему удалось лишь Р. Амундсену в начале XX века.

С. 79. *Словарь Руссо* — «Словарь ботанических терминов» Ж.-Ж. Руссо (1774).

Война за независимость велась в 1775—1782 г. американскими провинциями, стремившимися освободиться от владычества Англии; американцам помогали французские волонтеры, а с 1780 г. французский экспедиционный корпус во главе с маршалом Франции Рошамбо.

...семейство Дезий. — Глава этого семейства, наперсник Ла Руэри, Марк Дезий де Комбернон, наперсник Ла Руэри и казначей бретонских заговорщиков-роялистов, бежал на английский остров Джерси, родственники же его, в том числе одна из дочерей, были казнены летом 1793 г.

...одним из двенадцати бретонских дворян, заключенных в Бастилию. — Бретонцы протестовали против введения новых налогов и закрытия в мае 1788 г. Бретонского парламента (высшего судебного учреждения провинции). Двенадцать дворян, отправленных в июле 1788 г. с петицией в Париж, к королю, были арестованы и посажены в Бастилию, но через два месяца выпущены. Шатобриан упоминает об этом в кн. 5, гл. 3 «Замогильных записок».

С. 80. *...о смерти Мирабо*. — Мирабо умер 2 апреля 1791 г.

«Снова в море!»... — Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда, III, 2.

Книга шестая

С. 81. *Когда 5 апреля...* — На самом деле вечером 4 апреля 1822 г.

С. 82. *...замещать герцога Деказа... моей жизни*. — Деказ, политический противник Шатобриана в первые годы Реставрации, был предыдущим послом Франции в Лондоне.

С. 83. *...шафрот Карла I ...к статуе Карла II...* — На самом деле на этой лондонской

площади около дворца Уайтхолл, перед которым казнили Карла I, стояла в то время статуя другого английского короля — Иакова II, приходившегося Карлу II братом.

С. 84. *Элмекская зала* в Сент-Джеймском парке предназначалась для аристократических приемов.

С. 91. *Скулжил* — приток Делавэра.

С. 92. ...*генерал Вашингтон был в отлучке*... — Достоверность встречи Шатобриана с Вашингтоном неоднократно ставилась под сомнение; из ответного письма Вашингтона «полковнику Арману» явствует, что Шатобриан передал письмо Ла Руэри Вашингтону, но не был им принят из-за болезни Вашингтона и отбыл к Ниагарскому водопаду, так и не получив аудиенции. Однако на обратном пути, в ноябре 1791 г., Шатобриан провел в Филадельфии три недели и вполне мог увидеться с Вашингтоном в это время, а в «Записках» соединить два визита в его дом в один, чтобы символическая встреча с отцом американской революции открывала его американские странствия.

С. 93. *Арбеллы* — победа Александра Македонского над персидским царем Дарием (331 до н. э.); *Фарсала* — победа Цезаря над Помпеем (48 до н. э.).

Пускай не мешкают... — Корнель. Аттила, д. 1, явл. 1.

Книга седьмая

С. 95. *Северная река* (North-River) — Гудзон.

Эсгилл — английский генерал, взятый в плен во время Войны за независимость и приговоренный к смертной казни, от которой его спасло заступничество Марии Антуанетты.

...*Фонтан... смелые слова об Эсгилле... Марии Антуанетте*. — В «Надгробном слове Вашингтону», произнесенном 9 февраля 1800 г. (опубл. в марте 1800 г.), Фонтан упомянул Эсгилла, помилованного благодаря «всемогущему голосу, долетевшему из-за моря», то есть голосу французской королевы, сочувственно вспоминать которую в 1800 г. было небезопасно.

С. 97. «*Мадлон Фрике*» — старинный контрданс, исполнявшийся на ярмарках.

Сахем — ирокезское слово, означающее «старейшина»; оно вошло во французский язык благодаря Шатобриану и позднее, в «Истории романтизма» Т. Готье (изд. 1874), было применено к самому автору «Замогильных записок» (Готье назвал его «сахемом романтизма»).

Детройт вошел в состав США только в 1824 г.

С. 98. *Разве уступаю я в правдивости историку Велли?* — Упоминание Велли в этом контексте глубоко иронично: в своей «Истории франков» (т. 1—1755) тот допускал множество анахронизмов и приписывал франкам нравы французов XVIII века.

...*умащал себе волосы прогорклым жиром*... — Шатобриан приводит сначала в своем переводе, а затем в оригинале строку из стихотворения Сидония Аполлинария (ок. 430 — ок. 480) «К сенатору Катутлину, жалоба на враждебность варваров».

С. 99. ...*Фемистокл в доме Адмета... юного сына хозяина*... — Фемистокл навлек на себя недовольство афинян и был изгнан из родного города; преследуемый афинянами

и спартанцами, он решил искать прибежища у Адмета, царя молосского, хотя сам однажды ответил Адмету на просьбу презрительным отказом. Чтобы смягчить гнев Адмета, Фемистокл, «держа его маленького сына, припал к домашнему очагу, потому что молоссы считают такое моление самым действенным молением, — почти единственным, которого нельзя отвергнуть» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Фемистокл, XXIV; пер. С. И. Соболевского).

...*при взятии Квебека*. — Этот канадский город был отбит у французов англичанами в сентябре 1759 г.

...*странице нашей древней истории, обретаемой в лондонском Тауэре*. — Крепость Тауэр в Лондоне была построена Вильгельмом Завоевателем — английским королем французского происхождения (до того, как завоевать Англию, он был герцогом нормандским). Если этот эпизод можно (весьма условно) считать триумфом Франции, то англо-французский военный конфликт в середине XVIII в. по поводу Канады закончился не к выгоде Франции: согласно Парижскому договору 1763 г. Франция вынуждена была уступить свои канадские владения Англии.

С. 100. ...*занес их в свою книгу... великим мастером гармонии*. — Это описание лунной американской ночи Шатобриан использовал (с вариациями) в «Опыте о революциях» (1797; ч. 2, гл. 57) и в «Гении христианства» (1802; ч. 1, кн. 5, гл. 12).

«*Путешествие из Парижа в Иерусалим*» (1811) — книга Шатобриана, посвященная его путешествию на Восток в 1806—1807 гг.

С. 101. *Атала и Рене* — заглавные герои двух повестей Шатобриана, американская индианка и европеец, поселившийся в Америке.

С. 102. *Терни и Тиволи* (в древности Тибурн) — города в Италии; Терни расположен на берегу Велино (притока Тибра); в Тиволи, стоящем на берегу другого притока Тибра — Аниене (в древности Анио), находится вилла д'Эсте (построена в 1549 г.), знаменитая садами и фонтанами.

С. 103. *От Акадии и Канады до Луизианы...* — Под *Канадой* Шатобриан в соответствии с тогдашней географией понимает территорию, расположенную между рекой Святого Лаврентия и верховьями Миссисипи, а под *Луизианой* (или Флоридой) — все земли к югу от реки Огайо. *Акадия* — область Канады на востоке провинции Квебек, предмет постоянных конфликтов французов и англичан, в чьих руках она в конце концов оказалась (1763).

Боюсь, как бы Реставрация... какие я излагаю здесь... — В конце 1810-х — начале 1820-х гг. Франция, едва оправившаяся от наполеоновских войн, не вела активной внешней политики (что огорчало Шатобриана); умеренное правительство герцога де Ришелье разрывалось: либералы требовали от него поддержки революционных движений в Европе (в Неаполе, Испании, Португалии), роялисты — полного единения со Священным союзом монархов, намеренным эти движения подавлять; в этих условиях проблема северо-американских владений Франции отходила на второй план.

С. 104. ...*на слиянии рек Кентукки и Огайо...* — На самом деле Питтсбург стоит на слиянии рек Аллегейни и Моногахила. В своей книге «Путешествие в Америку» (1827) Шатобриан указывает местоположение Питтсбурга верно.

С. 105. ...*впадает в Миссисипи*. — Исследователи сомневаются в том, что Шатобриан действительно добрался до этой реки, гораздо более подробно описанной в повести «Атала», чем в автобиографических текстах. Впрочем, упоминание Миссисипи в комментируемом фрагменте достаточно безлично; Шатобриан не говорит прямо, что видел ее сам.

Крики (от англ. creeks — ручейки) — название, данное англичанами одному из североамериканских индейских племен.

Посреди озер виднелись острова. — В черновиках Шатобриан помещает эти острова на Миссисипи, в эпопее «Натчезы» — на реке Огайо.

С. 107. *Паленые* — по объяснению самого Шатобриана, метисы, прозванные так за цвет кожи; благодаря смешанному происхождению, они служили посредниками между белыми и индейцами.

Селота — индианка, одна из героинь эпопеи «Натчезы».

С. 108. ...*в моих «Путешествиях»*. — То есть в «Путешествии в Америку», которое было впервые опубликовано в 1827 г., в шестом и седьмом томах полного собрания сочинений Шатобриана, выходявшего в 1826—1831 гг. у издателя Лавока; в седьмой том, кроме того, вошли «Путешествие в Италию», «Путешествие в Клермон (Овернь)» и «Путешествие на Монблан».

«Романсеро» — цикл испанских народных романсов, в данном случае романсов о герое Реконкисты (освобождения Испании от мавров) Сиде Кампреадоре и его возлюбленной Химене.

Две индианки. — В отличие от других американских эпизодов, имеющих соответствия в других, более ранних произведениях Шатобриана, этот эпизод впервые появился только в «Замогильных записках».

С. 110. ...*морейского восстания 1770 года*. — Морья — средневековое название полуострова Пелопоннес на юге Греции; восстание там было поднято против турецкого владычества.

С. 111. *Бабека* — конь Сида (см. примеч. к с. 108).

С. 112. ...*под длинным и свободным покрывалом*... — строка из той же элегии Ронсара, которую Шатобриан цитирует выше. Называя Ронсара древним поэтом новой школы, Шатобриан имеет в виду «воскрешение» Ронсара французскими романтиками, толчок к которому дала книга Ш. Сент-Бева «Обзор французской поэзии XVI столетия» (1828).

...*подобно Юлии... неверного возлюбленного*. — Реминисценция из романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761; ч. 2, письмо XXVI); герой романа, Сен-Пре, признается возлюбленной, что не смог остаться равнодушным к обольщениям парижанок.

Чилликоте — город в штате Огайо.

Как пчелка... вернулась муза. — Шатобриан цитирует свою собственную оду 1829 г., посвященную Пиренеям; полностью он приводит ее в кн. 32, гл. 1 «Замогильных записок» (в наше издание не вошло).

С. 113. *Бегство короля.* — В июне 1791 г. Людовик XVI с семьей попытался бежать за границу, но в пограничном городе Варенн был опознан и возвращен в Париж.

Ринальд... в зеркале чести... — Реминисценция из «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо (XVI, XXX), где товарищи показывают рыцарю Ринальду алмазный щит, в котором он видит себя трусом, из-за волшебницы Армиды забывшим о достоинстве воина.

С. 114. *...защитнику свободы печати.* — Статьи в защиту свободы печати Шатобриан писал во второй половине 1820-х гг., когда получил отставку с поста министра иностранных дел и оказался в оппозиции к правительству Виллеля; см. наст. изд., с. 347—352.

С. 115. *Отец Обри* — персонаж повести «Атала», католический миссионер. *...превысит 50 миллионов.* — В самом деле, в 1880 г. в США проживало 50155783 человека.

С. 116. *...словесность новой республике неведома.* — В не вошедшем в окончательный текст примечании 1840 г. Шатобриан сообщает, что первые наброски страниц, посвященных анализу американской жизни и прогнозам относительно ее будущего, были сделаны еще в Америке, в 1791 г., но теперь, по прошествии почти полувека, он, естественно, переработал текст, для более же подробного знакомства с Америкой отсылает читателя к ряду книг, называя первой «Демократию в Америке» А. де Токвиля (т. 1 и 2—1835; т. 3 и 4—1840). Очевидно родство многих диагнозов, которые ставит Шатобриан, с размышлениями Токвиля (см., например, о литературе — кн. 2, ч. 1, гл. XI—XV; о фактическом неравенстве, порождаемом декларируемым равенством, — кн. 2, ч. 3, гл. XIII; кн. 2, ч. 4, гл. II—VI, о долговечности американской федерации и об опасностях, какие грозят союзу штатов — кн. 1, ч. 2, гл. X и т. д.), однако если Токвиль пространно анализирует факты, то Шатобриан, в соответствии со своей манерой, резюмирует выводы в броских афоризмах.

С. 117. *Прощальная речь Вашингтона...* — В 1797 г. Вашингтон сложил с себя обязанности президента Соединенных Штатов.

С. 118. «*Калей Вильямс*» (1794) — «готический» роман английского писателя У. Годвина. Роман Ч. Б. Брауна «Виланд, или Превращения» вышел в 1795 г.

«*Ода вечернему ветерку*»... «*Поток*»... — Перечисленные стихотворения принадлежат У.-К. Брайанту (1794—1878; точное название — «Вечерний ветер»), Г. Лонгфелло (1807—1882), Лидии Сигурни (1791—1865).

С. 120. *...любовью к отличиям и страстью к титулам.* — Хотя комментируемая глава в некоторых местах почти дословно повторяет «Заключение» «Путешествия в Америку», выводы Шатобриана здесь гораздо более пессимистичны, чем в книге 1827 г., где он высказывал уверенность в несомненном триумфе «свободы, рожденной просвещением». Пессимизм Шатобриана объясняется не столько его тревогой за судьбу Соединенных Штатов, сколько непосредственными впечатлениями от состояния Франции при Июльской монархии, где «знатные плебеи», нажившие огромное состояние, постепенно занимали в свете при дворе места рядом с «природными» аристократами, а порой и оттесняли их.

С. 122. ...что рассказал я вам сейчас... — Цитата из басни Лафонтена «Старик и трое молодых».

Книга восьмая

С. 123. *Шактас и Атала* — главные герои повести Шатобриана «Атала» (1801).

Остров Джерси — территория Англии.

...вступление в Мальтийский орден... — Об этом Шатобриан рассказывает в пятой главе пятой книги: в 1788 г. мать выхлопотала для него бенефиций; епископ Сен-Мало Куртуа де Прессиньи символически выстриг Шатобриану «гонзуру» (отрезал два-три волоска на макушке); оставалось дожидаться, чтобы доказательства древности его дворянства были приняты руководством духовно-рыцарского Мальтийского ордена (или ордена Иоаннитов, основанного в 1113 г. в Палестине, а с 1530 по 1798 г. владевшего островом Мальта), и тогда он стал бы получать 200 тысяч ливров ренты и сделался богат; революция разрушила эти планы. Шатобриан, однако, специально подчеркивает, что проделанная над ним символическая процедура отнюдь не означала, что он принял постриг.

С. 124. ...священник, не давший присяги... — После конфискации и продажи церковных имуществ в конце 1789 г. государство обязалось выплачивать священникам жалование, они же должны были принести присягу в верности нации, закону и королю; папа римский запретил им присягать, вследствие чего французское духовенство разделилось на священников присягнувших и не присягнувших; вторые подвергались гонениям и нередко эмигрировали.

Дело слушалось в суде... — По-видимому, до суда дело все-таки не дошло, однако родственники Селесты потребовали, чтобы брак был заключен официально (венчание, совершенное не присягнувшим священником, официальным не считалось), поэтому 19 марта, через месяц после первого венчания, состоялась второе, «законное», на сей раз при участии священника, принесшего присягу.

С. 125. ...богадельню Марии Терезы? — См. с. 491 и примеч.

С. 127. *Пандемониум* — столица царства сатаны в «Потерянном рае» Д. Мильтона; сравнение восходит, возможно, к «Рассуждениям о Франции» Ж. де Местра (1797, гл. 4), где с собранием злых духов в Пандемониуме сравнивается Конвент.

С. 128. ...жестокость сочеталась с похотливостью. — В портретах революционных деятелей Шатобриан черпает конкретные факты прежде всего из их жизнеописаний, помещенных в многотомной «Всемирной биографии» Мишо (1810—1826), но, по своему обыкновению, рисует с помощью наиболее ярких деталей, разысканных в пространных чужих текстах, символическую картину эпохи, увиденной как бы с птичьего полета (по определению Пушкина, данному в статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая», создает изображение «быстрое и широкое»).

...гнусность, совершенную в Кармелитском монастыре и в Аббатстве. — См. примеч. к с. 53.

С. 129. «Это я приказал учредить...» — Речь идет об учрежденном 10 марта 1793 г.

Революционном трибунале, одним из инициаторов создания которого был Дантон. Трибунал этот (пять судей, общественный обвинитель и дюжина присяжных, избранных по жребию) судил за покушения на свободу, равенство, неделимость Республики и проч.; приговоры его не подлежали обжалованию и приводились в исполнение немедленно.

С. 130. *Фабр д'Эглантин, автор пьесы...* — комедии «Филинт Мольера, или продолжение «Мизантропа» (1790), где Альцест, которого Мольер высмеивает, показан великодушным и самоотверженным, а Филинт, у Мольера добродетельный резонер, выведен эгоистом и завистником.

С. 131. «*Притесняли меня...*» — Монтень. Опыты, III, XII (Монтень уподобляет современную ему борьбу католиков и гугенотов во Франции борьбе между сторонниками императора и сторонниками папы в средневековой Италии).

...истощили политическую терпимость друга Руссо... — При старом порядке Мальзерб был одним из наиболее либеральных государственных деятелей: защищал свободу печати, покровительствовал энциклопедистам, способствовал возвращению протестантам гражданских прав.

...переговоры, которые начал Сайлас Дин... — Переговоры, которые этот первый посланец американского Конгресса, прибывший во Францию в 1776 г., вел с Людовиком XVI, закончились неудачно, в отличие от тех, которые провел в том же году поспешивший на помощь к Дину Б. Франклин.

С. 132. *Кортесы* — испанский парламент, возглавлявший в 1820—1823 гг. восстание против испанского короля Фердинанда VII, которое удалось подавить весной 1823 года с помощью французского экспедиционного корпуса; Шатобриан, бывший в ту пору министром иностранных дел, выступал активным сторонником ввода войск в Испанию, так как считал, что это упрочит королевскую власть в Европе и укрепит международный авторитет Франции. Напротив, французские либералы приняли сторону восставших и надеялись призвать солдат к неповиновению; случаи, когда французские республиканцы обращали оружие против своей родины, были не очень часты; например, после того как французские войска перешли границу, их встретили 200 человек во французских мундирах и с трехцветным «революционным» знаменем, распевавшие «Марсельезу», однако эти сторонники восставших испанцев были тут же расстреляны картечью.

...конституционные правительства Польши и Италии... португальские хартисты... иезуитских денег и солдат. — В Польше в ноябре 1830 — сентябре 1831 гг. шла борьба за независимость от России; польское революционное правительство очень рассчитывало на вооруженную помощь Франции, однако не получило ничего, кроме моральной поддержки от части депутатов; только что воцарившаяся Июльская монархия нуждалась в нейтралитете России — и получила его в обмен на невмешательство Франции в дела Польши; когда русская армия заняла польскую столицу, министр иностранных дел Себастиани произнес ставшую печально знаменитой фразу: «В Варшаве воцарился порядок». В Италии восстания против австрийцев вспыхнули в 1831 г. в Романье (входившей в Папскую область), герцогствах Пармском и Моденском. *Хартистами*

называли в Португалии сторонников Хартии — конституции, которую дал стране в 1826 г. наследник престола дон Педро, а в 1828 г. отменил его брат дон Мигель, узурпировавший престол. В 1834 г. дон Педро, подготовившись к военным действиям в Париже и в Лондоне и опираясь на португальских либералов-эмигрантов, отобрал трон у узурпатора.

С. 133. ...агентами погубления. — При Терроре эмигранты, вернувшиеся на родину (как, например, брат Шатобриана), или родственники тех, кто остался в эмиграции, подвергались репрессиям в первую очередь.

...говорит Тацит. — См.: О происхождении германцев, 10; 13.

...первый король первой династии... — династии Меровингов, названной по имени короля салических франков Меровея (ум. 458), приходившегося дедом первому королю династии, Хлодвигу.

...принцы третьей династии... — династии Капетингов, основанной в 987 г. Гуго Капетом; к этому королю восходят ветви Валуа и Бурбонов, правившие Францией соответственно в 1328—1589 и 1589—1792 (а затем в 1814—1830) гг.

...в 1814 году, когда последний король французов... — Несколько неточностей: Шатобриан оказался в Турне не в 1814, а в 1815 г.; вслед за королем Людовиком XVIII он был вынужден покинуть Францию, так как в Париж возвратился бежавший с острова Эльба Наполеон (см. наст. изд., с. 284); Людовик XVIII был не последним, а предпоследним французским королем из династии Бурбонов (последним стал его брат Карл X), причем именовался он, как и все его предшественники, королем Франции, а не французов (таковым стал «выборный» конституционный монарх Луи Филипп).

С. 134. ...Гераклы... у ног своих Омфал, послали нам веретена... своими шагами. — Геракл был на год отдан в рабство к лидийской царице Омфале и по ее прихоти носил женские одежды и пряд шерсть; послать мужчине веретено значит унижить его намеком на утрату им мужественности и воинственности.

С. 136. ...Сальвиан говорит... — О промысле Божиим, VI.

...детище Людовика Святого... — то есть королевскую Францию, укреплению которой способствовал король Людовик IX (успешно подавлял сопротивление феодалов; добился, чтобы во всем королевстве имела хождение королевская монета, и пр.).

Беарнец — прозвище Генриха IV (по месту его рождения — провинции на юго-западе Франции).

«О Ричард!...» — ария из комической оперы Гретри «Ричард Львиное сердце» (1784); «Бедный Жак» (1780) — куплеты, посвященные влюбленной в пастуха Жака швейцарской молочнице, благодетельствованной Марией Антуанеттой; обе мелодии служили роялистам своеобразным паролем.

С. 137. Котелочное хлебово — в оригинале неологизм Шатобриана la gamellée (от gamelle — котелок).

...убитого во время Реннских штатов... — Реннские штаты (собрание представителей всех сословий), открылись в декабре 1788 г., но уже 3 января 1789 г. вышло постановление государственного совета об их закрытии; представители дворянства и духовенства,

однако, продолжали заседания. Поскольку одним из главных вопросов, который предстояло решить, был вопрос о числе депутатов от третьего сословия на предстоявших генеральных штатах, между депутатами от бретонского дворянства и духовенства, с одной стороны, и бретонскими буржуа, с другой, начались конфликты, которые и закончились в конце января 1789 г. кровавым столкновением между теми и другими.

С. 138. *Мне случилось стать маленьким Александром...* — См. у Плутарха в жизнеописании Александра Македонского эпизод, когда Александр перед великой битвой с персидским царем Дарием так крепко заснул, что приближенным пришлось его разбудить (Сравнительные жизнеописания. Александр, XXII).

...выдержать огонь аббата Морелле. — Этот литератор сразу после выхода в свет повести «Атала» подверг ее язвительной критике (ср. наст. изд., с. 180).

С. 139. *...моей жене... большая опасность, чем мне.* — На самом деле в это время жена Шатобриана и его сестры Люсиль и Жюли сумели покинуть Париж и укрылись в бретонском городе Фужере.

...сдавшимся союзникам. — Имеются в виду Австрия и Пруссия, воевавшие на стороне эмигрантской армии принцев.

...казнь верденских девушек. — После сдачи Вердена жены и дочери знатных жителей города встретили прусского короля цветами и сладостями, за что и заплатились жизнью после того, как в октябре 1793 г. Верден вновь оказался во власти революционной армии: 26 апреля 1794 г. они были казнены по приговору парижского революционного трибунала.

...и пустила в Маас. — См.: Григорий Турский. История франков, III, 26.

...рифмоплет-царевийца Понс из Вердена... родного города. — Понс, до революции выступавший в основном на поприще сочинения мадригалов, эпиграмм и других стихотворений из разряда «легкой» поэзии, во время революции занялся политикой, был избран депутатом от своего родного департамента Мез и голосовал в Конвенте за смерть короля.

«Альманах муз» — ежегодный сборник легкой поэзии, на страницах которого в качестве авторов элегий и мадригалов выступали накануне Революции многие будущие революционные деятели, включая Робеспьера. Сам Шатобриан тоже опубликовался в этом сборнике — в «Альманахе муз» на 1790 год напечатана его идиллия «Любовь к сельской жизни» (ср. ниже, с. 495, ироническое обыгрывание этой темы).

Книга десятая

С. 140. *...жизнь в пещерах и лесах...* — то есть участвовать в контрреволюционном движении шуанов.

С. 141. «*Боже, спаси короля!*» — роялистский памфлет, названный Пельтье по первым словам молитвы, читавшейся до революции во время мессы во французских храмах.

О «*Деяниях апостолов*» см. примеч. к с. 76.

...посол негритянского короля Кристофа... — Много позже, в 1807—1811 гг. Пельтье вел

переговоры между Англией и Гаити от имени гаитянского генерала Анри Кристофа, президента Гаитянской республики с 1806 г., короля Гаити с 1811 г.

...*графу де Лимонаду*...— гаитянскому министерству иностранных дел (новая гаитянская знать получила имена по названиям плантаций).

...*о замысле своего «Опыта»*...— Имеется в виду книга «Исторический, политический и нравственный опыт о древних и новых революциях, рассмотренных в их отношениях с нынешней французской революцией», которая вышла в Лондоне 18 марта 1797 г. В основе «Опыта» лежала скептическая убежденность автора в том, что исторические события развиваются по одной и той же модели, и выйти из этого круга человечеству не дано. Позднейшее мнение Шатобриана о его первой книге см.: наст. изд., с. 244—245.

...*в своей газете «Амбигю»*...— Эту газету Пельтье начал издавать только в 1802 г; в Лондоне он выпускал газеты «Политическая переписка» (1793—1794), «Картина Европы» (1794—1795), а затем «Париж» (1795—1802).

Жиль Блас— заглавный герой плутовского романа А.-Р. Лесажа (1715—1735), неунывающий авантюрист.

С. 142. *Холборн*— район Лондона.

...*Кромвеля здесь уже не было*...— После восстановления в Англии монархии (1660) тело Кромвеля было удалено из Вестминстерского аббатства и вздернуто на виселицу.

Роберт д'Артуа— французский граф, который, будучи обижен французским королем Филиппом VI, укрылся при дворе английского короля Эдуарда III и уговорил того пойти войной на Францию.

С. 143. ...*«мрачной огромностью христианских церквей»*...— Монтень. Опыты, II, XII. ...*загодя готовился к собственному погребению*.— В 1555 г. Карл V отрекся от престола и удалился в монастырь Святого Юста в Эстрамадуре; выказывая истовое благочестие, он с разрешения своего духовника устроил собственную погребальную церемонию, на которой присутствовал в трауре в качестве зрителя; потрясение оказалось так велико, что он слег и спустя два дня в самом деле скончался.

...*Джейн Грей... Эликс Солсбери*...— Ни та, ни другая не похоронены в Вестминстере; вообще шатобриановское описание собора, сделанное по прошествии многих лет, носит обобщенно-литературный характер.

...*король, выигравший сражение при Креси*...— Эдуард III, английский король, разбивший в 1346 г. французского короля Филиппа VI.

Лагерь при Дра д'Ор— место близ Кале, где в 1520 г. произошла встреча французского короля Франциска I с английским королем Генрихом VIII; короли намеревались заключить союз против императора «Священной Римской империи» Карла V, но намерение это не осуществилось.

С. 145. ...*магнетизм... Сведенборговой галлимастья*...— Названы модные в конце XVIII в. оккультные учения; первое, проповедуемое немецким врачом Ф.-А. Месмером, исходило из того, что живым существам присущи магнетические флюиды, обладающие целебной силой; второе утверждало возможность общения с потусторонним миром. Шатобриан всегда относился к теориям такого рода скептически.

...шиллинг в день — вспомоществование для эмигрантов... — На самом деле Шатобриан все-таки одолел свою щепетильность и (как и Энган) получал «ежедневный шиллинг» с начала октября до декабря 1793 г.

С. 146. ...в сорок тысяч франков.— Цифра завышена, возможно, для «рифмы» с суммой сорок экю (см. следующее примечание); по воспоминаниям графа де Марселюса, который отвечал за хозяйственные дела посольства, этот праздник обошелся в двенадцать тысяч.

С. 147. ...человеком с сорока экю... — Реминисценция названия повести Вольтера (1768), в которой много говорится о финансовых зловключениях героя.

...разобрать французские рукописи... из собрания Кэмдена.— По-видимому, Шатобриан упоминает об этом предложении для того, чтобы избежать рассказа о подлинных своих занятиях в английской провинции, где ему приходилось давать уроки французского языка, а подчас и танцев. Педагогическая деятельность казалась Шатобриану механической, недостойной поэта и не слишком ему удавалась.

С. 149. Третьего флореаля второго года — 22 апреля 1794 г.

С. 150. ...она оставалась в Консьержери.— Мать Шатобриана содержалась под стражей в примыкающей к Консьержери тюрьме Равенства и вела себя гораздо более деятельно, чем описывает Шатобриан; и ее дочери (Люсиль и Жюли), и она сама обязаны освобождением именно ее ходатайствам. Сестры Шатобриана и его жена были выпущены из Реннской тюрьмы 5 ноября 1794 г.

С. 152—153. ...лишь единожды в жизни встретил привязанность... такое же доверие.— Речь идет о госпоже Рекамье.

С. 155. ...уже ступал по збоиной земле Байрон.— Байрон родился в 1788 г. в Лондоне, но в период, о котором говорит Шатобриан, воспитывался в Шотландии; в коллеж, расположенный в пригороде Лондона Харроу, он поступил в 1801 г.

...леди Салтон... — На самом деле фамилия мужа Шарлотты была Саттон.

«Я ношу траур по матушке». — Мать Шарлотты умерла в сентябре 1822 г., уже после этой встречи; по-видимому, в трауре Шарлотта была во время следующего свидания с Шатобрианом, в 1823 г.

С. 155—156. ...за которого я вышла через три года... покинули Англию.— На самом деле в 1806 г.

С. 156. ...назначенный генерал-губернатором обеих Индий... — Каннинг не успел занять эту должность, так как в том же 1822 г. получил новое назначение — на пост министра иностранных дел, освободившийся после самоубийства лорда Лондондерри (Каслри).

Книга одиннадцатая

С. 160. ...замерзшим словам, описанным Рабле... — Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль, кн. IV, гл. 56.

С. 162. ...отвечывали у врага землю Франции.— При Карле VII закончилась Столетняя война и вся территория Франции, за исключением Кале, была отбита у англичан.

С. 165. ...она также умерла... истощила ее силы.— Мать Шатобриана умерла 31 мая 1799 г., а сестра Жюли — 26 июля того же года.

С. 166. ...*лионских республиканских процессов*...— Намек на жестокое подавление войсками Конвента волнений в Лионе в 1793 г.; одним из главных организаторов Террора в Лионе был Фуше, в ту пору яркий республиканец.

«*Короли-атеисты*»— этот отрывок, входивший в главу «Опасность и бесполезность атеизма» (ч. 1, кн. 6, гл. V), был исключен из первого издания цензурой, увидевшей в нем намек на безбожие первого консула; впервые опубликован в 1819 г. в сборнике «Аквитанский улей»; в современных изданиях «Гения христианства» печатается в разделе «Фрагменты первоначального варианта».

Книга двенадцатая

С. 166. *Лорд Лондондерфи*.— О самоубийстве английского министра иностранных дел, происшедшем 12 августа 1822 г., когда Шатобриан был послом в Англии, говорится в кн. 27, гл. 9; в заглавии комментируемой главы это событие упомянуто ошибочно.

С. 167. ...*с моей молодой вдовой*...— Жена Шатобриана в течение тех восьми лет, что он провел в Англии, жила в Бретани сначала одна, а потом вместе с двумя его сестрами.

...*жителя Невшателя*...— Невшательское княжество в это время принадлежало Пруссии; во Франции существовал список эмигрантов, и официально право вернуться на родину имели лишь люди, из него вычеркнутые.

...*отдал на хранение моим лондонским хозяевам*...— Шатобриан вновь получил эти бумаги в свое распоряжение лишь 20 сентября 1816 г., после того как были восстановлены сношения между Францией и Англией и его сундук отыскан в деревне, у родственников его квартирной хозяйки (к тому времени скончавшейся). Хранившаяся в сундуке рукопись «Натчезов», переработанная автором, увидела свет 30 декабря 1826 г. (в 19-м и 20-м томах полного собрания сочинений).

С. 168. ...*я ступил на французскую землю... с новым веком*.— 6 мая 1800 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Книга тринадцатая

С. 171. *Дьепп, 1836*.— На самом деле Шатобриан провел в Дьеппе в обществе г-жи Рекамье июль не 1836, а 1835 г.

...*госпожа де Лонгвиль ускользнула... к маршалу Тюренну*.— Господа же Лонгвиль была деятельной участницей Фронды (дворянской оппозиции XVII в.), в которую она вовлекла на время и влюбленного в нее знаменитого военачальника Тюренна; эпизод с бегством из Дьеппа относится к 1650 г.

...*равно приветаемая в салоне Рамбуйе... и в парижском муниципалитете*...— Литературный салон маркизы де Рамбуйе госпожа де Лонгвиль усердно посещала еще в девицах; тогда же она блистала при дворе; став вдохновительницей Фронды, госпожа де

Лонгвиль во время парижского восстания 1648—1649 гг., дабы внушить доверие народу, поселилась в Ратуше и даже родила там сына.

...*воспылала страстью к автору «Максим»*...— герцогу Франсуа де Ларошфуко.

...*благодаря... стихам Лафонтена*...— Лафонтен посвятил Ларошфуко одну из своих басен (X, 14), которая так и называется: «Речь, обращенная к господину де Ларошфуко»; речь в ней идет о людях, которые, подобно кроликам, очень скоро забывают о миновавшей опасности.

Принцесса де Конде, мать госпожи де Лонгвиль, была в 1609—1610 гг. возлюбленной Генриха IV.

С. 172. «*Старый капрал*» (1829) — песня Беранже, герой которой восторженно вспоминает наполеоновские войны.

...*пересказанные герцогом де Ларошфуко?*— В его «Мемуарах» (1662), посвященных эпохе Фронды.

Пушечные залпы... августейшей вдовы...— Герцогиня Беррийская в последние годы Реставрации часто посещала Дьепп; когда она купалась в море, об этом событии возвещали пушечные залпы.

Анна Женеьева— герцогиня де Лонгвиль; Мария Каролина— герцогиня Беррийская.

С. 174. ...*изгнанником при Бонапарте ...во время июльских событий*.— См. с. 35—36 и 401.

...*доступ в царство теней... золотая ветвь*...— Реминисценция из Вергилия (Энеида, VI, 190—211). Шатобриан видел такую золотую ветвь, наделенную воскрешающей силой, в литературе.

С. 175. ...*из отечественных ларов и пенатов*.— Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Кн. II, гл. 6 («О том, как Пантагрюэль встретил лимузинца, коверкавшего французский язык»).

Карманьола— короткая куртка с узкими отворотами, введенная в моду в начале Революции марсельскими федератами и ставшая своего рода «униформой» революционеров.

Сен-Дени— усыпальница французских королей в одноименном парижском пригороде. 1 августа 1793 г. Конвент постановил уничтожить покоившиеся там останки монархов. Кости их были наспех похоронены в общей могиле, а статуи перевезены в Музей французских памятников (см. примеч. к с. 74). В эпоху Реставрации аббатству вернули его прежнее назначение. 21 января 1815 г., в годовщину казни Людовика XVI, в Сен-Дени были перенесены останки этого короля и его супруги, Марии Антуанетты; Шатобриан описывает эту церемонию в кн. 22, гл. 25 «Замогильных записок».

С. 176. *Площадь Людовика XV* (ныне площадь Согласия) до Революции была украшена статуей этого короля; в 1790 г. ее переименовали в площадь Революции; в 1793—1795 гг. здесь совершались казни.

...*разрешение остаться в Париже... обновлять каждый месяц*.— Шатобриан получил его после того, как прусский посланник вновь подтвердил верность его фальшивого паспорта.

С. 177. ...не слыхала о моем «Опыте о революциях».— В кн. 11, гл. 2 Шатобриан упоминает о письме Лемьера из Парижа (от 15 июля 1797), в котором тот уверял, что книга Шатобриана имеет в Париже большой успех.

...Женгене... чем он был и чем стал.— Женгене, до этого подвизавшийся на дипломатической ниве (см. с. 67), в 1799 г. стал членом трибуната — собрания из ста человек, призванного одобрять или отвергать законодательные инициативы первого консула.

С. 178. ...трубить трубами...— 2 Паралипоменон, 5, 12.

С. 179. ...письмо к госпоже де Сталь.— Письмо это, опубликованное в «Меркюр» 22 декабря 1800 г., было адресовано Фонтану, но посвящено книге госпожи де Сталь «О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями» (1800); и в письме, и в книге рассматривалась (с разных точек зрения — более светской у Сталь и более религиозной у Шатобриана) популярная в тот период проблема совершенствования человеческого рода и человеческой культуры.

С. 180. *Аббат Морелле... усадил свою служанку к себе на колени... ступни юной девы...*— Морелле таким образом желал оспорить правдоподобие эпизода, в котором Шактас, усадив возлюбленную к себе на колени, руками согревает ей ступни.

С. 181. «*Петит Афиш*»— периодическое издание, публиковавшее объявления.

...отставкой после смерти герцога Эгиенского.— См. наст. изд., с 210—213.

...Жан Жак Руссо рассказывает... без труда одержать...— Об этом говорится в XI-й книге «Исповеди» (изд. 1788).

«Соборование»— «Гений христианства» (ч. 1, кн. 1, гл. 11); «*День всех усопших*»— там же, ч. 4, кн. 1, гл. 12 (финал).

С. 182. *Пандит*— в Индии почетное звание ученого брахмана.

С. 184. *В рукописях, найденных после его смерти...*— Жубер, оригинальный мыслитель, при жизни не опубликовал ничего, кроме нескольких юношеских статей; впервые его «Мысли» с предисловием Шатобриана вышли в 1838 г.; русский перевод избранных мыслей см. в кн.: Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982.

...жалости прелестной.— Реминисценция из «Поэтического искусства» Буало (III, 17—20).

С. 185. ...сложили головы за свободу Германии.— По-видимому, имеется в виду прежде всего немецкий философ И.-Г. Фихте (1762—1814), который во время освободительной войны против Наполеона вступил в ряды прусских добровольцев и в 1814 г. умер от тифа.

Новатор, хоть и служивший при Людовике XVI в мушкетерах...— Бональд служил мушкетером в 1773—1776 гг., начав, таким образом, службу еще при Людовике XV. Причисление его к новаторам носит откровенно полемический и парадоксальный характер: основой всех политико-философских сочинений Бональда был последовательный традиционализм; именно эта его безусловная приверженность прошлому отдала его в 1830-е гг. от Шатобриана, с которым на рубеже 1810—1820-х гг. они вместе выпускали газету «Консерватёр».

...ректор Университета... не способен это понять.— Речь идет о Фонтане, назначенном на этот пост Наполеоном 17 марта 1808 г.

...строят ли еще по-прежнему города.— Шатобриан цитирует собственную эпопею в прозе «Мученики» (кн. XI), где этот вопрос задает главному герою Евдору 113-летний отшельник, сто лет проведший вдали от людей и не знающий ничего о мирской жизни.

С. 186. «Я пойду к нему... ко мне».— 2 Царств, 12, 23.

С. 187. ...спасался от когтей Бонапарта.— Лабори, служивший в министерстве иностранных дел под командой Талейрана и обвиненный Фуше, министром полиции, в разглашении государственных тайн, вынужден был на некоторое время покинуть Францию.

С. 188. 30 сентября 1802 года...— Ошибка Шатобриана; следует читать: 1801 года.

...какое настигло Ж.-Ж. Руссо...— Имеется в виду мания преследования.

...но дело кончилось ничем.— Брак не состоялся по той же причине, что и женитьба Шатобриана на Шарлотте Айвз; выяснилось, что в 1796 г. в Гамбурге Шендолле сочетался браком с некоей уроженкой Льежа; сам он, впрочем, считал этот брак недействительным.

С. 189. ...на главу «О девственности»...— В последующих изданиях «Гения христианства» эта глава (ч. 1, кн. 1, гл. 9) стала называться «О таинстве пострижения».

Прошло немного времени... превознес мою книгу до небес.— Рецензия аббата де Буллона на «Гений христианства» была напечатана в 1803 г. в первом выпуске журнала «Литературные и нравственные анналы».

«Золотая легенда», сборник житий, составленный в XIII в. итальянским доминиканцем Иаковом Ворагинским, упомянут как символ наивной религиозной веры, противопоставленный деистской и атеистической философии XVIII века.

С. 190. ...«слабенькие ручки напрягая»...— Цитата из эпиграммы Лебрена на Лагарпа, осмелившегося неуважительно отозваться о Корнеле.

...Женгене, хуля «Гений христианства»...— Женгене напечатал язвительный разнос книги Шатобриана 19, 24, 29 июня и 9 июля 1802 г. в журнале «Философическая декада», органе философов-идеологов (см. примеч. к с. 194), а затем выпустил отдельной брошюрой.

...премий за десятилетие.— См. наст. изд., с 243.

...заключил соглашение с Римским двором...— Конкордат с папой Пием VII, положивший начало официальному восстановлению католической религии во Франции, Наполеон подписал 16 июля 1801 г. Первое издание «Гения христианства» вышло 14 апреля 1802 г.

С. 191. ...смутности страстей...— Шатобриан дал название «О смутности страстей» знаменитой главе «Гения христианства» (ч. 2, кн. 3, гл. 9), где впервые в XIX в. был поставлен диагноз нравственного недуга, мучившего неприкаянных «сыновей века»: «Мы живем с полным сердцем в пустом мире и, ничем не насытившись, уже всем пресыщены». Приложением к этой главе служила повесть «Рене», напечатанная впер-

вые в составе «Гения христианства», но с 1805 г. издававшаяся отдельно. Влияние «Рене» на французскую литературу первой половины XIX в. огромно: следы этого влияния различимы почти во всех психологических романах этого периода, прежде всего в «Исповеди сына века» А. де Мюссе (1836).

...о выгодах моральных и выгодах материальных...— Эта статья, точное название которой — «О морали, основанной на материальных выгодах, и о морали, основанной на долге», была опубликована 5 декабря 1818 г. в газете «Консерватёр», в ходе борьбы, которую Шатобриан вел против министерства Деказа, чересчур, на его взгляд, заигрывавшего с либералами. Отрывки из нее Шатобриан приводит в кн. 25, гл. 10 «Замогильных записок».

Сфюки, где я показываю... я сказал, что персонажи Расина... вот чего никто не понял.— Шатобриан перечисляет темы, затронутые во второй части «Гения христианства», носитель название «Поэтика христианства». Перевод этих глав см. в кн.: Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982. С. 94—176.

С. 192. ...от Отца неизбежно рождается Сын.— Несмотря на действительно огромное воздействие «Гения христианства», многие истинно верующие люди были шокированы логикой автора (христианство велико, потому что оно вдохновило писателей и художников на создание произведений литературы и искусства, превзошедших те, что были порождены язычеством). Один из многочисленных примеров такой негативной реакции на книгу Шатобриана — письмо дочери г-жи де Сталь, герцогини де Брой, П. де Баранту от 22 августа 1820 г., где «Гений христианства» характеризуется как «сочинение самое фривольное, самое легкомысленное, какое только можно вообразить»: «Автор хочет создать религию для светского общества, как другие хотят создать религию для народа. <...> Если нужно доказать, что наш век — век неверия, то доказательством может послужить подобная книга в защиту религии» (Varante P. de Souvenirs. T. 2. P., 1892. P. 461). С другой стороны, многие читатели Шатобриана (в том числе духовные лица) считали, что «вкусы людей своенравнее критического ума» и что, представив религию «в красотах воображения, не уступающего своевольным сочинениям», Шатобриан не только не оскорбил ее, но и оказал ей большую услугу, восторжествовав над вольнодумцами (письмо митрополита Евгения Болховитинова к В. Г. Анастасевичу, 17 ноября 1815 г.; Русский архив. 1889. № 5. С. 57—58).

С. 193. ...гранитные мемуары открывают нам вещи... бенедиктинцев...— Намек на роман В. Гюго «Собор парижской богородицы» (1831; глава «Это убьет то»).

...отдал должное много позже.— В «Опыте об английской литературе» (1836), в главе «Язык Данте».

«Исторические исследования» вышли 20 апреля 1831 г. в последнем томе «Лавокатовского» полного собрания сочинений Шатобриана. Гораздо раньше Шатобриан дополнил «Гений христианства» полемическим сочинением «Защита „Гения христианства“», впервые опубликованным в мае 1803 г. и затем включавшимся во все издания книги. Кроме того, начиная с 4-го издания (декабрь 1803) Шатобриан начал печатать в прило-

жении к собственному труду отрывки из посвященных ему критических сочинений (в собрании сочинений 1826—1831 гг. им отведен отдельный, пятнадцатый, том).

Книга четырнадцатая

С. 193. *Конкордат* (см. примеч. к с. 190) был утвержден Законодательным корпусом 8 апреля 1802 г.

С. 194. *Идеологи*— группа французских философов конца XVIII — начала XIX вв. (Дестют де Траси, Вольней, Кабанис), продолжатели Кондильяка, занятые поисками законов, определяющих происхождение идей из чувственного опыта. В начале Первой империи идеологи пользовались покровительством Бонапарта, но затем возрождавшиеся спиритуалистические течения оттеснили их на задний план. *Астрономические* символы во всех религиях предлагал видеть философ XVIII в., не входивший в число «идеологов», Н.-А. Буланже (1722—1759), чьи сочинения были посмертно опубликованы в 1760-е гг. П. Гольбахом. Полезность и благотворность религиозного чувства постоянно становилась предметом разногласий между «идеологами» и Наполеоном; ср., например, мемуарный эпизод, запечатлевший его реплику в споре с Вольнеем: «Да, сударь, что ни говорите, а народу нужна религия и, главное, вера; да что там народ, я сам, при виде подобного зрелища <природы> чувствую себя взволнованным, увлеченным, убежденным» (Las Cases E. *Mémoires de Sainte-Hélène*. P., 1968. P. 310).

«Гадина» — так Вольтер называл церковь.

...«дух прошел надо мною... слышу голос». — Иов, 4, 15—16.

С. 195. *Кардинал Феш* был назначен послом в Рим 9 апреля 1803 г. Назначения на должность первого секретаря посольства в Риме именно Шатобриана не желали ни сам Феш, ни министр иностранных дел Талейран (не убежденный в политических талантах молодого писателя); инициатива исходила от самого Наполеона, которому важна была символическая сторона дела: направление к папскому двору автора нашумевшей книги о христианстве. Шатобриан же вел себя далеко не так пассивно, как он это изображает: в эпоху опубликования «Гения христианства» он деятельно искал покровительства первого консула и через г-жу Баччоки добился разрешения посвятить ему второе издание «Гения христианства» (апрель 1803).

С. 196. ...она решила бы пересечь Альпы... — На самом деле не Шатобриан согласился на поездку в Рим ради г-жи де Бомон, а она сама настояла на этой поездке, несмотря на уговоры друзей, сознававших, что путешествие может ее погубить. Г-жа де Бомон, которую связывали с Шатобрианом не только дружеские, но и любовные узы, чувствовала его охлаждение (весной 1803 г. у него начался роман с Дельфиной де Кюстин) и, мучаясь ревностью, не хотела отпускать его в Рим одного.

...зывается *Кьярамонте*. — Клермон (франц. clair mont — светлая гора) можно считать калькой итальянского Кьярамонте (фамилии папы Пия VII в миру). С помощью этой «народной этимологии» Клермон стремился доказать свое родство с папой.

С. 197. *Милан был занят нашими войсками...* — Во время итальянской кампании 1800 г.

французская армия освободила Италию от австрийского владычества, после чего почти все итальянские области перешли во владение Наполеона.

...как Моисей для дочерей Маддамского священника...— Бытие, 11, 17.

Авсония — поэтическое название Италии.

С. 198. *Римская кампания* — равнина между Аппенинскими горами и Тирренским морем.

...один из томов «Гения христианства»... лежал на столе.— Ко времени прибытия Шатобриана в Рим вышло два издания «Гения христианства» — первое в 5 томах in-8^о и второе в двух толстых томах, также in-8^о.

С. 199. ...в 1827 году... — Описка Шатобриана: он попал в Рим в 1828 г. (см. наст. изд., с. 371 и след.).

Почерк служит помехой моим талантам... пожимал плечами.— Почерк Шатобриана, угловатый и неразборчивый, был до чрезвычайности похож на почерк его русского современника и поклонника, П. А. Вяземского. Друзья неоднократно упоминали о его «шатобриановском почерке» (П. Б. Козловский), «шатобриановских каракулях» (А. И. Тургенев).

...отрекшемуся от престола королю Сардинии.— Бездетный король Сардинии Карл Эммануил IV в июне 1802 г. отрекся от престола в пользу своего брата Виктора Эммануила I; *оплошность* Шатобриана состояла именно в посещении этого последнего; дело в том, что к этому времени сардинский король утратил свои континентальные владения (Пьемонт), в сентябре 1802 г. захваченные Францией, и остался королем лишь собственно Сардинии; в связи с этим отношения двух держав в тот момент были весьма напряженными.

С. 200. ...пользуясь сходством своего имени... в тюрьме *Ла Форс*.— Аббат Гийон в самом деле был духовником ближайшей подруги Марии Антуанетты принцессы де Ламбаль, убитой в сентябре 1792 г. Марокканским епископом он сделался лишь при Июльской монархии.

Ла Мезонфор, убежденный роялист, был выслан на остров Эльба, откуда сумел бежать.

Изгнанный... человеком, который... вынудил его бежать в Гент...— Имеется в виду Наполеон.

...он, по сути, и теперь не изменил своим принципам...— Шатобриан чересчур снисходителен к старому другу; на самом деле Бертен менял свою политическую позицию не однажды: в 1815—1823 гг. последовательный роялист, в 1823—1830 гг. представитель конституционной оппозиции, он после Июльской революции перешел на сторону Луи Филиппа, и его газета «Журналь де Деба», формально не являясь правительственной, была таковой фактически.

...недолго попирап нашу старую землю.— Сестра Бонапарта принцесса Боргезе умерла в 1825 г. сорока пяти лет от роду.

Книга пятнадцатая

С. 201. ...считала себя обреченной.— У госпожи де Бомон была чахотка.
30 фрюктидора...— 17 сентября 1803 г.

С. 202. ...в том же посольстве состоял и Андре Шенье.— Граф Сезар Гийом де Ла Люзерн, муж старшей сестры Полины де Бомон (умершей в тюрьме в 1794 г.), назван здесь ошибочно вместо его дяди, шевалье Анна Сезара де Ла Люзерна, французского посла в Лондоне в 1787—1791 гг.; Андре Шенье находился при нем в качестве личного секретаря в 1787—1790 гг.

С. 206. ...в моем письме к господину де Фонтану.— Это пространное (около двух десятков страниц печатного текста) письмо было напечатано в журнале «Меркюр де Франс» (т. XV) 3 марта 1804 г. под названием «Письмо г-ну де Фонтану о римской кампании», а затем вошло в «Путешествие в Италию» (1827). Мавзолей «Цецилии Метеллы, дочери Квинта Кретика, жены Красса» — толстая круглая приземистая башня у Аппиевой дороги.

...я не крал ленту... детей в прюот...— Перечислены саморазоблачительные эпизоды из «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо.

С. 207. «Вот Адам стал... жить вечно» — Бытие, 3, 22.

...к великому князю...— Николаю Павловичу, будущему императору Николаю I. Предложение это было сделано генералом-майором Н. Ф. Хитрово (1771—1819), по приказанию Александра I совершавшим путешествие по Европе «для осмотра общественных заведений, в особенности же коллежей, университетов, школ и проч.»; Хитрово находился в Риме в ноябре — декабре 1803 г. Шатобриан со своей стороны также «прощупывал почву» на предмет получения от русского императора членства в Санкт-Петербургской академии наук с соответствующим жалованием или ценного подарка и с этой целью в мае 1803 г. послал членам русского императорского дома экземпляры «Гения христианства». Сделаться воспитателем великого князя он, однако, не решился, так как перспектива «нового восьмилетнего изгнания» страшила его (из письма к Фонтану от 16 ноября 1803 г. — Chateaubriand F.-R. de. Correspondance générale. P., 1977. Т. 1. P. 284).

...посланником в Вале...— Швейцарский кантон Вале в 1802—1810 гг. был самостоятельной республикой под протекторатом Франции. Наполеон подписал приказ о назначении Шатобриана 29 ноября 1803 г., Шатобриан получил официальное уведомление об этом 28 декабря 1803 г.

С. 208. ...нашли бы на прежнем месте.— На самом деле, по свидетельству французского комментатора, эти бумаги уже более ста лет назад исчезли из архива (см.: Chateaubriand F.-R. de. Mémoires d'outre-tombe. P., 1992. Т. 2. P. 754). Талейран уничтожил многие компрометиовавшие его бумаги времен Империи в апреле 1814 г., в самом начале первой Реставрации, когда стал главой Временного правительства (см. ниже, с. 294).

...считал господина Лене «английским шпионом»...— Это обвинение было выдвинуто против Лене, выступавшего за прекращение военных действий, в 1813 г.

С. 209. ...в 1827 году...— Снова (ср. с. 199) описка; следует читать: в 1828 году.

...разыгрывал сцену из «Рене».— Рене предается раздумьям на вершине другого итальянского вулкана — Этны.

В церкви Святого Людовика в Риме похоронена г-жа де Бомон.

...в другой несчастный день...— в годовщину казни Людовика XVI.

Книга шестнадцатая

С. 210. *Моро, Пишегрю и Кадудаль* были арестованы соответственно 15 и 28 февраля и 9 марта 1804 г. по подозрению в подготовке роялистского заговора. Кадудаль был казнен, Пишегрю найден удушенным в тюрьме, Моро выслан в США.

За два дня до 20 марта...— То есть до расстрела герцога Энгийенского, который произошел не 20, а на заре 21 марта. О причинах и обстоятельствах ареста герцога см. подробнее с. 215 и след.

Господин Бурьен... перепутал даты...— В «Мемуарах» (1829—1831) секретаря Наполеона Бурьена, написанных по его наброскам литератором Ш.-М. де Вильмаре, утверждалось, что Шатобриан видел Бонапарта утром того же дня, на заре которого расстреляли герцога Энгийенского.

С. 211. *Выражения... значения не имели... отлично понял.*— Шатобриан ссылаясь на ухудшение здоровья своей жены, но истинную причину его отставки все в самом деле прекрасно поняли. Поступок этот был крайне смелым (Бурьен называет его «единственным мужественным деянием той эпохи»); ни один из друзей и единомышленников Шатобриана его примеру не последовал.

Фонтан... едва не потерял рассудок от страха...— Фонтан был в это время председателем Законодательного корпуса.

С. 212. ...не гонясь за должностями и не стремясь к власти.— Пакье, впоследствии министр юстиции, министр иностранных дел и канцлер Франции, вступил в службу и занялся политикой лишь в 1806 г.

...кинулись обивать его пороги.— 18 мая 1804 г. была провозглашена Империя, отчего образовалось много новых вакансий.

...«глаза гордые»...— Книга Притчей Соломоновых, 6, 17 («Вот шесть, что ненавидит Господь <...> глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству»).

С. 214. *Замок королевы Бланки* — готическая постройка, возведенная в 1826 г. на том месте, где в XIII в. находился замок этой королевы.

...в виду развалин Шантийи...— В 1643—1830 гг. замок и лес Шантийи принадлежали роду де Конде; в Шантийи родился последний представитель этого рода герцог Энгийенский.

С. 215. *Нерон под диктовку Сенеки... убийство Агриппины...*— См.: Тацит. *Анналы*, XIV, 10—11.

...сколько в Европе Бурбонов...— то есть законных претендентов на французский престол.

...написал своему внуку...— описка Шатобриана; следует читать: сыну.

С. 216. ...сохранился короткий дневник... — Этот дневник был опубликован в брошюре Дюпена-старшего «Юридические исторические бумаги, касающиеся процесса герцога Энгийенского» (1823), которую Шатобриан упоминает ниже (см. с. 218).

С. 217. ...о милосердии Августа...— Имеется в виду поступок римского императора Августа, пощадившего заговорщика Цинну, сюжет, использованный Корнелем в трагедии «Цинна» (1640), которую Наполеон очень ценил.

29 вантоза XII года — 20 марта 1804 г.

Капитаном-докладчиком назывался офицер, исполнявший обязанности следователя и общественного обвинителя при рассмотрении дела военной комиссией или военным судом.

С. 218. *Наследница Цезарей* — Мария Луиза, дочь последнего императора «Священной Римской империи» Франца II, с 1810 г. жена Наполеона, 20 марта 1811 г. родившая ему сына, который сразу после появления на свет получил титул *римского короля*.

С. 219. ...Ровиго, выдвинувший обвинения против господина де Талейрана... сам Наполеон возвысил свой голос... *Святой Елены*.— Полемика по поводу убийства герцога Энгийенского разгорелась в 1823 г., после выхода книги Э. де Лас Каза «Записки, всенные на Святой Елене» (*Mémoires de Sainte-Hélène*), где приведены высказывания Наполеона на этот счет (бывший первый консул не снимал с себя ответственности за этот поступок, настаивая, впрочем, на том, что поступил правильно, так как защищал свою жизнь от покушений). Юлен в брошюре «Объяснения для беспристрастных читателей» (1823) и Савари (герцог де Ровиго) в брошюре «О катастрофе, происшедшей с герцогом Энгийенским. Отрывок из мемуаров герцога де Ровиго» (1823) настаивали (не без оснований) на том, что они участвовали в событиях 1804 г. лишь как «солдаты, исполняющие свой долг», причем Савари подчеркивал, что идейным вдохновителем трагедии был Талейран. Тогда Талейран, к этому времени уже окончивший свои «Мемуары», где о гибели герцога Энгийенского не было сказано почти ничего, написал дополнение к ним, где отверг все обвинения, выдвигавшиеся в его адрес, однако поскольку мемуары свои Талейран завещал опубликовать только через 50 лет после своей смерти, его аргументы остались неизвестны публике; защитником Талейрана выступил публицист Ашиль Рош, автор брошюры «Господа герцог де Ровиго и князь де Талейран» (1823). Сам же Талейран предпочел действовать более привычным для него методом придворных интриг: написал Людовику XVIII письмо, полное жалоб на «оклеветавшего» его Савари, потребовал возбудить против того судебное преследование и добился — хотя и не суда, но приказа короля о запрещении герцогу де Ровиго доступа во дворец Тюильри. Современные историки разделяют мнение Шатобриана о том, что главный виновник гибели герцога Энгийенского — Наполеон. Что же касается Талейрана, то биограф министра иностранных дел полагает его вину даже большей, чем

казалось Шатобриану: именно Талейран, судя по всему, внушил Наполеону мысль о необходимости этого убийства, а когда оно уже произошло, сказал своему подчиненному графу д'Отриву: «Из-за чего, собственно, такой шум? Заговорщика арестуют возле границы, привозят в Париж и расстреливают; что тут такого необыкновенного? <...> Что ж поделаешь? Это политика!» (цит. по: Lacour-Gayet G. Talleyrand. P., 1947. P. 515—516).

...*господина де Талейрана, священника и дворянина*...— Шатобриан намекает на отступничество Талейрана, который в 1788 г. стал епископом Отенским, но в первые годы Революции порвал с церковью.

С. 221. ...*письме господина де Лафоре... на потсдамский двор*.— Лафоре, в 1804 г. французский посланник в Берлине, написал Талейрану письмо, в котором осудил убийство герцога Энгийенского; в 1820 г. Шатобриан отыскал это письмо в архиве посольства.

Госпожа де Сталь была в Пруссии...— Ниже Шатобриан цитирует книгу Ж. де Сталь «Десять лет в изгнании» (изд. 1821; ч. I, гл. 15).

30 плювиоза...— Описка Шатобриана; следовало сказать: «вантоза». На самом деле приговор был опубликован 1 жерминаля (22 марта).

...*о сражениях при Лансе и Рокфуа?*— В этих сражениях (соответственно 1648 и 1643 гг.) отличился предок герцога Энгийенского Великий Конде.

...*поплатился жизнью*...— Принц Людвиг Фердинанд был убит 10 октября 1806 г. в Заальфельдском сражении против французской армии.

С. 222. *Статья в «Меркюр»*.— Об этой статье см. ниже, с. 226—227.

...*Тацит... растет близ праха Германика... неподкупное Провидение... владыки мира*.— Б. Г. Реизов считал, что впечатления от чтения этого фрагмента из статьи Шатобриана отразились в пушкинском «Борисе Годунове» в монологе Отрепьева: «А между тем отшельник в темной келье / Здесь на тебя донос ужасный пишет...» (Реизов Б. Г. Из истории европейских литератур. Л., 1970. С. 74—76).

Книга семнадцатая

С. 224. *Людвик Возлюбленный* — прозвище Людовика XV.

Госпожа де Шатору и две ее сестры...— На самом деле их было четверо: графини де Майи и де Вентимиль, герцогини де Лораге и де Шатору. Все эти дамы, дочери маркиза де Неля, были, каждая в свой черед, фаворитками Людовика XV, и об их потомстве в семье говорили шутя: «Бог простит, свет забудет, но нос останется!» — имея в виду характерный «бурбонский» нос.

С. 225. ...*дочь Панкука*...— И литератор Сьюар, член Французской академии с 1774 г., блестящий говорун, и его жена, также не чуждая литературной деятельности, были в XVIII веке фигурами достаточно влиятельными (во всяком случае, среди энциклопедистов), однако для аристократки г-жи де Куален дочь издателя Панкука оставалась в первую очередь представительницей третьего, низшего сословия (хотя Панкук был одним из самых знаменитых издателей второй половины XVIII в.).

Книга восемнадцатая

С. 226. ...увидеть, каково было общество философов.— В кн. 14, гл. 1 Шатобриан описывает свое знакомство в 1803 г. с поэтом Сен-Ламбером и его многолетней возлюбленной (практически гражданской женой) госпожой д'Удето; в начале XIX в. эти восьмидесятилетние «добродетельные супруги, таковыми не являющиеся», представляли собою немногие из уцелевших обломков философических салонов XVIII в.; в отношении к ним Шатобриана интерес к представителям ушедшей эпохи смешивался со скепсисом по отношению к «безбожникам».

...поместил в «Меркюр» статью... гнусную тишину...— Формально эта статья представляла собой рецензию на книгу А. де Лаборда. Журнал вышел 4 июля 1807 г. (хотя в названии главы Шатобриан называет его номер июньским), в самый разгар триумфов Наполеона (14 июня французы одержали победу над русской армией; 7 и 9 июля были подписаны статьи Тильзитского договора с Россией).

С. 227. ...приказ закрыть «Меркюр»...— По приказу министра юстиции Фуше «Меркюр» был слит с журналом «*Revue philosophique*» (бывшая «*Décade philosophique*»), и хотя за ним сохранилось название «Меркюр де Франс», основными его владельцами стали государство и издатели «Декады».

С. 228. ...хоть я и не госпожа де Севинье...— Г-жа де Севинье много рассказывает в своих письмах о том, как она ухаживает за деревьями в своем бретонском поместье.

...несколько пристроек... ложные зубы...— В таком виде дом сохранился до наших дней; в 1987 г. здесь был открыт музей Шатобриана.

...китарис госпожи де Бомон...— См. с. 211.

С. 229. ...борьба двух религий... нарождающейся...— римского политеизма и христианства в конце III в.

С. 230. *Оффман* опубликовал с апреля по июль 1809 г. в газете «Журналь де Деба», в это время носившей название «Журналь де л'Амбир», десять разгромных статей о «Мучениках». Назвав новую книгу «скверным произведением талантливого автора», он упрекал Шатобриана в слабости композиции, в исторических и географических неточностях, в злоупотреблении показом сверхъестественных сил.

...из Тацита... благозвучного имени! — В «Истории» Тацита (IV, 61, 65; V, 22, 24) упоминается Веледа — женщина из германского племени бруктеров, принимавшая участие в антиримском восстании батавов (69—70 до н. э.). Шатобриан заимствовал из «Истории» ее имя (означающее, как указывает Тацит, «провидица»), но превратил ее в галльскую жрицу. Играя в сюжете «Мучеников» роль Вергилиевой Дидоны, она покоряет сердце главного героя, христианина Евдора, но он побеждает искушение, возвращается в Рим и гибнет там на арене Колизея вместе со своей супругой, гречанкой Цимодоцей, также принявшей христианство (ее род считался восходящим к Гомеру, поэтому Шатобриан именует ее дочерью Гомера).

...мученичество папы Пия VII... в Париж пленником...— В ответ на аннексию Наполео-

ном папских владений Пий VII отлучил Наполеона от церкви (1809), после чего император арестовал папу и держал его в заключении до 1814 г., сначала в итальянском городе Савона, а затем в Фонтенбло.

Я счел, что обязан ответить противникам...— В третьем издании (январь 1810) Шатобриан опубликовал свое «Рассмотрение «Мучеников»».

С. 231. *...мог стать Буало...*— Буало защищал своего друга Расина от завистников, бранивших «Федру», в послании «Господину Расину».

...преlestные стансы...— «Стансы господину де Шатобриану после прочтения «Мучеников», напечатанные в конце 25 января 1810 г., а затем еще в нескольких периодических изданиях анонимно (впрочем, авторство Фонтана было всем известно).

...лишь заново выверять их текст.— Первое и второе издание «Мучеников» вышли у Ленормана почти одновременно, в марте 1809 г., а третье — в январе 1810 г. Именно в него Шатобриан, учтя сделанные ему замечания, внес многочисленные исправления. Последующие издания (1822, 1826—1827) повторяли это, третье.

Чудесное — форма присутствия в эпопее сверхъестественных сил; у Шатобриана в полном соответствии с канонами классической эпопеи эти силы (представленные, однако, не богами языческого пантеона, как у Гомера или Вергилия, но христианским Богом с его святыми, с одной стороны, и Сатаной с подвластными ему демонами, с другой) вмешиваются в действие (такой прием назывался «*непосредственное чудесное*»).

...франков и их битвы... — Французский историк О. Тьерри вспоминал в предисловии к своим «Рассказам из времен меровингов» (1840), что «решающим для его будущего призвания» стало знакомство (еще в школьные годы) с «Мучениками» и в особенности со знаменитым «бардитом» (военной песнью) франков, сражающихся с римлянами: «Фарамонд! Фарамонд! Мы бились мечами!» (см. также ниже, с. 461).

С. 232. *...своих знакомств...*— Шутливая реминисценция из «Поэтического искусства» Буало (II, 172); у Буало речь идет о «знакомствах» М. Ренье, который любил посещать злые места.

...английский переводчик... компрометирует меня... внимание читателей.— Английский католик Джозеф Уолтер писал в предисловии к своему переводу «Мучеников» (1812), что в тиране Галерии нетрудно угадать «нынешнего главу Франции».

Об *Институте* см. примеч. к с. 68.

С. 233. *Необходимость наследовать Шенье страшила меня...*— Во время Революции М.-Ж. Шенье был членом Конвента и голосовал за смерть Людовика XVI, так что Шатобриану было трудно говорить о нем в сочувственном тоне, а между тем по правилам Французской академии (той части Института, членом которой Шатобриану предстояло сделаться) вступающий должен был произнести похвальное слово почившему предшественнику.

Камбасерес, великий канцлер в эпоху Империи, голосовал в Конвенте за казнь короля, хотя считал более полезным отсрочить приведение приговора в исполнение, дабы превратить короля в заложника, судьба которого будет зависеть от лояльности роялистов по отношению к новой власти.

«Книдский храм» (1725) — эротическая поэма в прозе Монтескье, далекая от его последующих историко-философских сочинений.

С. 234. ...значительное большинство академиков.— На самом деле 20 февраля 1811 г. Шатобриан был избран в Академию с преимуществом всего в один голос.

«Вторая защита английского народа» (1654) — политическое сочинение Мильтона, написанное в ответ на статьи монархистов, увековечивавшие память казненного английского короля Карла I.

Дарю с 17 апреля 1811 г. занимал пост государственного секретаря.

С. 236. ...не отстать от моего земляка Дюкло...— Этот литератор, уроженец бретонского города Динана, став членом Академии, вел себя очень независимо: в частности, настоял на том, чтобы знатные особы не имели привилегий ни при приеме в Академию, ни на заседаниях.

Разлученный с солнечным светом... — Намек на слепоту Мильтона.

С. 237. ...тому литератору... что председательствует на сегодняшнем собрании...— Шевалье де Буфлеру.

...его отце-маршале... стены Лилля... утешил в несчастье престарелого короля.— Осада Лилля австрийской армией в 1708 г., в ходе войны за Австрийское наследство, длилась четыре месяца; город капитулировал по приказу Людовика XIV, причем австрийцы приняли все условия капитулировавшей стороны.

...о знаменитом стихотворце... воспевшем природу...— Имеется в виду Жак Делиль, автор поэмы «Сады» (1780), переводчик «Потерянного рая» Мильтона (1805), «Георгик» (1769) и «Энеиды» (1804) Вергилия.

С. 238. ...последовал за ними к чужим берегам...— Делиль в 1795—1802 гг. жил вне Франции (причиной тому, впрочем, были не столько политические убеждения, сколько финансовые затруднения поэта).

«Бессмертие, порока страх... бескровной» — цитата из «Дифирамба», который Делиль сочинил в 1794 г. для праздника Верховного существа, учрежденного Конвентом. Перевод В. А. Жуковского.

...о друге, милом моему сердцу...— Имеется в виду Фонтан, с 1805 г. председатель Законодательного корпуса, с 1808 г. министр просвещения.

Одного из вас — Сюара.

Другой — аббат Морелле, во время Революции вступавшийся за жертв Террора.

Третий — граф Луи Филипп де Сегюр; его отец был ранен во время Семилетней войны (1756—1763), а сын — во время испанской кампании Наполеона (1808—1813).

Четвертый — аббат Сикар, разработавший методы воспитания глухонемых детей.

...достойному наследнику канцлера д'Агессо...— Имеется в виду маркиз д'Агессо, адвокат, дед которого был не только канцлером, но и превосходным оратором и стилистом.

...автора «Эдипа»...— Речь идет о Дюсисе.

...другие потомцы Мельпомены...— Имеются в виду драматург Г. Легуве, автор трагедии «Смерть Генриха IV» (1806) и драматург Ф. Рэнуар, автор трагедии «Тамплиеры» (1805).

С. 239. ...о том любезном сочинителе...— Имеется в виду песенник Ложон.
...охранявшийся некогда великаном Адамастором...— Реминисценция из поэмы Камюэнса «Лусиады» (1572); Адамастор — гений бурь.

...смирившийся ныне перед лицом очаровательной Элеоноры и прелестной Виргинии...— Парни, чьи элегии обращены к Элеоноре (см. примеч. к с. 66), родился на острове Бурбон (ныне Реюньон); действие повести Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (1787) происходит на острове Иль-де-Франс (ныне Маврикий). И Парни, и Бернарден также были членами Французской академии.

...воспела ...искусство Нептуна...— В поэме Эсменара «Мореплавание» (1805).

...в отечество святого Амеросия? — Имеется в виду Италия, куда эмигрировал в 1792 г. аббат Мори, защитник старого порядка в Учредительном собрании; впрочем, в 1806 г. он вернулся на родину и в 1810 г. был назначен Наполеоном на должность архиепископа парижского.

«Карл IX, или Урок королям» — пьеса М.-Ж. Шенье, поставленная 4 ноября 1789 г., в разгар Революции, и прозвучавшая ей в унисон; Шенье изобразил события Варфоломеевской ночи и обличил религиозный фанатизм, проповедником которого выступает в пьесе кардинал Лотарингский.

...сам послужил их автору мишенью.— В сатире «Новые святые» (1801) Шенье осмеял повесть Шатобриана «Атала».

С. 240. ...я боюсь погрязть прах... более славный.— Имеется в виду Людовик XVI.

...в сени искупительных алтарей...— Наполеон начал строить в Сен-Дени (см. примеч. к с. 175) памятник Карлу Великому, который предполагалось со временем окружить статуями Наполеона и его пресмников; благодаря этому усыпальница французских королей превратилась бы в усыпальницу французских императоров. Падение Наполеона не позволило этому проекту осуществиться.

...нежно любимого брата.— Имеется в виду Андре Шенье; сборник его стихотворений был впервые издан в 1819 г. Анри де Латушем; до этого опубликованы были всего несколько его стихотворений, причем два из них — в примечаниях к шатобриановскому «Гению христианства».

...в прекрасном отечестве его матери...— Мать Шенье Элизабет Ломака родилась и воспитывалась в Греции; о происхождении ее точных сведений нет, но существует точка зрения, что по матери она действительно была гречанкой.

С. 241. ...готовился опубликовать суждение о моих трудах...— Имеется в виду книга М.-Ж. Шенье «Исторический обзор состояния и успехов французской литературы с 1789 по 1809 год», опубликованная посмертно, в 1816 г.; о Шатобриане там речь идет в главе «Романы» в связи с повестью «Атала», которую Шенье оценивает весьма скептически, замечая, что ее «необычайная поэтика» войдет в норму во Франции лишь тогда, когда французы полностью позабудут язык и сочинения классиков.

С. 242. ...морем, которое бороздили корабли Сципиона... не довелось увидеть Германику.— Имеются в виду Средиземное море (Италия в 1811 г. входила в состав Франции) и море Северное (в 1806 г. шестнадцать германских государств образовали Рейнскую кон-

федерацию, ставшую протекторатом Франции; в 1811 г. в нее входило уже 36 государств).

...заставили Эмилия Павла оплакивать несчастья Персея.— Македонский царь Персей, побежденный римским полководцем Эмилием Павлом, сдался в плен римлянам и, приведенный к Эмилию Павлу, «упал ниц и, касаясь руками его колен, разразился жалостными стонами и криками», Эмилий же «поднял Персея с земли» и обошелся с ним без надменности, а своему окружению пояснил, что никому не следует «гордиться и чваниться», одержав победу, ибо боги воздадут каждому победителю за сегодняшний триумф завтрашней бедой (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Эмилий Павел, XXVI—XXVII; пер. С. П. Маркиша).

Наследница Цезарей — Мария Луиза (см. примеч. к с. 218).

...издание, выпущенное тайком.— Имеется в виду брошюра, выпущенная в 1815 г.

С. 243. ...с премиями за десятилетие.— Шатобриан ошибается в хронологии событий; история с премиями за десятилетие предшествовала его избранию в Академию. Наполеон учредил эти премии, призванные раз в десять лет отмечать годовщину переворота 18 брюмера, в сентябре 1804 г. Первый раз они должны были вручаться 9 ноября 1810 г. Конкурсная комиссия дважды, в июле и ноябре, отвергла кандидатуру Шатобриана, осудив «Гений христианства» за «изъяны содержания и плана».

...один греческий поэт сказал... своей сестры».— См.: Палатинская антология, IX, 22.

...отправился... в Дьепп.— См. примеч. к с. 35.

...перепалкой, которую вызывает моя книга.— Противники Шатобриана предъявили ему упреки в том, что он, критикующий М.-Ж. Шенье за ложную общественную позицию, и сам далеко не всегда был таким правоверным католиком, как нынче, доказательство чему — его ранний «Опыт о революциях» (см. о нем примеч. к с. 141). Первым намекнул на это Ш.-Л. Севеленж 28 августа 1812 г. в газете «Журналь де Пари»; те же тезисы более подробно развил Ш. Ис де Бутенваль в брошюре «Письмо к г-ну графу де Б***, отдыхающему на водах в Ахене», вышедшей в ноябре 1812 г. В декабре 1812 г. Дамаз де Рэмон выпустил пространную брошюру (160 страниц) «Опровержение нападок на г-на де Шатобриана, с приложением оправдательных документов», где оправдывает «Опыт» от обвинения в безбожии и подчеркивает, что у врагов Шатобриана вызывают ненависть не столько его «старые» (якобы атеистические), сколько «новые» (христианские) убеждения. Дамаз де Рэмон с 1812 г. был редактором «Журналь де л'Амбир», служа «по совместительству» полицейским осведомителем. Шатобриан был не слишком доволен защитником с сомнительной репутацией, но выбирать ему не приходилось, и он помог Дамазу в сочинении брошюры, предоставив некоторые необходимые документы и сведения. Нападки на «Опыт», неизменно обыгрывавшие тему переменчивости шатобриановских взглядов, возобновились в начале эпохи Реставрации, когда писатель стал активно заниматься политической деятельностью (так, в 1814 г. вышла брошюра «О священстве, или Фрагмент сочинения, опубликованного в Лондоне г-ном де Шатобрианом», в 1815-м — «Дух, максимы и принципы г-на де Шатобриана, члена Института», и т. д.).

С. 244. ...во втором томе полного собрания моих сочинений.— На самом деле это предисловие открывало первый том «лавокатовского» собрания сочинений (1826), где Шатобриан напечатал «Опыт» в его первоначальном виде, снабдив его новейшими примечаниями, в которых 58-летний писатель либо спорит с собою 29-летним, либо с удовлетворением отмечает, что уже в молодости кое-что понимал правильно. О Поммереле, бретонце, с которым Шатобриан познакомился в 1786 г. в Париже у г-жи де Шастене, он рассказывает в третьей главе четвертой книги «Замогильных записок». Должность главного управляющего типографий и книжных лавок Поммерель занимал с 1810 по 1814 гг. Поммерель ответил Шатобриану, что переиздание «Опыта» было бы не слишком уместно, но что министр внутренних дел позволяет представить его в цензуру, которая, писал Шатобриан в предисловии 1826 г., «непрерывно изъела бы из книги все лестное, что я говорил о Людовике XVI, о Бурбонах, о старой монархии, и все мои гимны свободе».

С. 245. ...рукопись была обнаружена в Англии.— См. примеч. к с. 167.

...превратив роман в эпопею.— Иначе говоря, Шатобриан ввел в повествование сверхъестественных персонажей (Сатану, его дочь Молву и др.). Точнее было бы сказать, что «Нагчезы» представляют собою смешение жанров (философского и «черного») романов, христианской эпопеи и т. д.).

...письмо Рене из второго тома.— Это прощальное письмо героя «Нагчезов», Рене, европейца, поселившегося среди индейцев, Селюте — его жене-индианке, пронизано теми же мотивами вселенской скуки, невозможности вкусить счастье даже в минуты наивысшего наслаждения, какие принесли славу повести «Рене». «Мне в тягость и слава, и гений, и труд и отдых, и достаток и нищета, — пишет Рене из «Нагчезов». — Я наскучил обществом и природой и в Европе, и в Америке. Я добродетелен без радости; будь я преступником, я был бы им без раскаяния».

С. 246. Сады Академа — священная роща в память героя Академа (*греч. миф.*), где беседовал со своими учениками Платон.

С. 247. Древний сын Урана — Сатурн (Крон), то есть Время.

...каменщика, возводившего стены Трои... — Аполлона.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Книга двадцать вторая

С. 252. *Штрабы* — выпуски из стены по четверти кирпича через кирпич для прикладки со временем другой стены.

...память своего ученичества.— В военной школе, расположенной в Бриенне, в 1779—1784 гг. учился Бонапарт.

С. 254. *Шатильонский конгресс* (февраль — март 1814 г.) был посвящен переговорам Наполеона с союзными державами об условиях возможного мира; окончился безрезультатно.

...заеду за своим тестем...— Имеется в виду отец Марии Луизы Франц II, с 1804 г. австрийский император под именем Франца I (Австрия входила в антинаполеоновскую коалицию).

...мучилась его святая жертва...— Имеется в виду папа римский Пий VII (см. примеч. к с. 230).

С. 255. ...принималась вести записки...— Эти записки, над которыми Селеста де Шатобриан работала в 1830-е гг. по просьбе мужа, сохранились; в исследовательской литературе они именуется по цвету тетрадей, в которых велись: «Красная тетрадь» и «Зеленая тетрадь». Ниже Шатобриан приводит фрагмент из «Красной тетради».

С. 256. ...в свою тайну типографа...— Брошюра «О Бонапарте и Бурбонах», в конце концов появившаяся в продаже 4 апреля 1814 г., была напечатана у братьев Мам.

Шварценберг в кампании 1812 г. командовал сопровождавшим французскую армию австрийским корпусом; в 1813 г., когда Австрия присоединилась к антинаполеоновской коалиции, он стал главнокомандующим союзных войск.

Элида — область Греции, считавшаяся священной, так как в ней находилось олимпийское святилище.

С. 257. *Мэрами* назывались люди, возглавлявшие муниципалитеты парижских округов.

...крещение Хлодвига ...ворота Лютеции открылись франкам...— Хлодвиг завоевал Лютецию (древнее название Парижа) и сделал ее своей столицей на десять лет раньше своего крещения, в 486 г.

С. 258. *Норманны* осадили город парижев...— Скандинавские пираты неоднократно нападали на Париж в течение второй половины XI века; в 885--886 гг. их обратил в бегство Эд, граф Парижский.

...на коленях молившего его о мире...— Образное преувеличение Шатобриана; ни в Тильзите, ни в Эрфурте Александр I не унижался перед Наполеоном. В шатобриановской формулировке различим отзвук антинаполеоновских настроений, которые господствовали после Тильзита среди подданных Александра, считавших Тильзитские соглашения унижительными для России.

...оскорбил королеву...— В своих «Бюллетенях» Наполеон обвинял прусскую королеву Луизу в том, что она находится в связи с Александром I, сравнивал ее с фурией, ищущей французской крови.

...говоря словами Монтеня...— Опыты, III, VIII.

С. 259. *Хартия* была дарована Людовиком XVIII французскому народу 4 июня 1814 г. Документ этот был весьма половинчат (заключенные в нем противоречия в конечном счете привели Францию к Июльской революции 1830 г.), и все же Хартия была шагом вперед, ибо узаконивала существование в стране двухпалатного парламента с выборной низшей палатой. Исполнительная и большая часть законодательной власти принадлежали королю, но палаты могли оказывать давление на правительство, голосуя за представленный им ежегодный бюджет или против него. См. подробнее ниже, с 267.

«Я всего лишь счастливая случайность». — Г-жа де Сталь приводит эту фразу в своей книге «Десять лет в изгнании» (ч. 2, гл. 17).

...«страдалицу, потерявших разум от любви». — Намек на популярную комическую оперу Далерака «Нина, или Безумная от любви» (1786).

С. 260. ...о его августейшей жертве... — См. примеч. к с. 230.

...«несчастье не медлит». — Реминисценция из надгробного слова Генриетте Английской (1670), произнесенного Боссюэ.

Бегство брата... вину за все происходящее. — После отречения Наполеона (4 апреля) Жозеф Бонапарт бежал в Швейцарию, но во время Ста дней вернулся и помогал брату, а после окончательного крушения Наполеона эмигрировал в США.

...*Шамбор... наследнику Людовика XIV.* — Шатобриан смешивает в одной фразе две разные эпохи: в 1814 г. Шамбор, эта древняя резиденция французских королей неподалеку от Блуа (особенно любимая Франциском I, выстроившим дворец на месте старого феодального замка), принадлежал отнюдь не Бурбонам, а сподвижнику Наполеона маршалу Бертье, принцу Ваграмскому; во время Реставрации Шамбор был передан в собственность внуку графа д'Артуа (будущего Карла X) герцогу Бордоскому (отсюда другой его титул — граф Шамборский); этого права собственности герцога не лишили и после Июльской революции, отнявшей у него престол.

С. 261. ...*Талейран... опасался Бурбонов...* — Тем не менее именно Талейран, 1 апреля 1814 г. с согласия Пруссии и Австрии назначенный главой временного правительства (состав его определялся 3 апреля), способствовал принятию (6 апреля) документа, гласившего, что «французский народ свободно призывает на престол Франции» Людовика XVIII брата последнего французского короля.

С. 262. *Нынче в ходу восхваления Бонапартых побед...* — Возрождение во французском обществе симпатий к Наполеону началось еще в начале 1820-х гг., сразу после его смерти, когда, по свидетельству мемуариста, «все выжимали из себя оды, дифирамбы, апофеозы <Наполеону>, являвшиеся в свет сотнями» (Rémusat Ch. Mémoires de ma vie. P., 1959. Т. 2. P. 513; письмо П. де Баранту от 30 июля 1821). При Июльской монархии бонапартистские симпатии продолжали возрастать, что и привело в конечном счете к переносу праха Наполеона с острова Святой Елены в Собор Инвалидов (1840). Симпатии эти во многом питались памятью о французских победах, составлявшими разительный контраст со скромной ролью Франции на европейской политической сцене в 1830—1840-е гг. (см. об этом ниже, на с. 278).

С. 264. ...*русские... отступили к Цюриху.* — Речь идет о событиях 1799 г., когда французская армия под командованием Массена разбила под Цюрихом русскую армию под командованием М. И. Римского-Корсакова, отчего принуждена была отступить и армия Суворова, перешедшая через Альпы.

«...откуда римляне не желали брать даже рабов». — Намек на корсиканское происхождение Бонапарта; эту фразу, приписанную здесь Ланжюине, высказал в первом издании «О Бонапарте и Бурбонах» со ссылкой на некоего «сенатора» сам Шатобриан.

...*скотства...* — В оригинале у Шатобриана неологизм: слово *vileté* он употребляет во

множественном числе, хотя принято его употреблять только в единственном числе; на упреки в допущенной здесь погрешности против французского языка писатель возражал: «Как быть? Десятиям, неслыханным по степени раболепства, пристали выражения небывалые» (Marcellus, comte de. Chateaubriand et son temps. P., 1859. P. 213).

С. 265. ...*рисковал столкнуться там с Лувелем...*— Шорник Лувель, который шесть лет спустя заколол в Опере наследника престола герцога Беррийского, в 1814 г. намеревался убить Людовика XVIII и с этой целью поджидал его в Кале.

Я писал...— в статье, опубликованной в «Журналь де Деба» 3 мая 1814 г., а затем выпущенной в виде отдельной брошюры под названием «Компень, апрель 1814 года». Описания Шатобриана были связаны с «негероическим» обликом нового короля: он был немолод (59 лет), склонен к полноте, страдал подагрой и вдобавок был практически неизвестен французам.

С. 267. «*Красная*» королевская гвардия именовалась красной по цвету мундиров.

...*четыре десятка лет...*— На самом деле с 1789 г., когда началась Революция, до начала Реставрации (1814) прошло всего 25 лет.

С. 268. ...*Александр накануне отъезда устроил молебен...*— Молебен состоялся 10 апреля 1814 г., а Александр покинул город 2 июня.

Тебя, Боже, хвалим...— начало и название католической благодарственной молитвы.

С. 269. *Мундкох*— придворный служитель, заведующий кухней; *мундшенк*— заведующий напитками.

...*тайны дворца.*— Реминисценция из Расина (Баязид, д. 4, явл. 7).

...*говорит Фукидид.*— Пелопонесская война, III, 7.

С. 270. ...*вырвавшиеся из темницы господина де Полиньяки...*— Жюль и Арман де Полиньяки с 1804 г. находились в заключении (сначала в тюрьме, затем, с 1810 г., в лечебнице для душевнобольных) за причастность к заговору генерала Моро.

К шее статуи, венчавшей Вандомскую колонну... перед ним во прахе.— 8 апреля 1814 г. с вершины Вандомской колонны была сброшена статуя Наполеона в одеянии римского императора, установленная туда в 1812 г.

С. 271. ...*супруга, которой Бонапарт снабдил господина де Талейрана...*— Супругой Талейрана была Катрин Новэль Ворле, дочь французского чиновника, служившего в Индии (отсюда ее прозвище «Прекрасная индианка»), в 15 лет вышедшая за англичанина Гренда, служащего Ост-Индской компании; она вела весьма вольный образ жизни и, по отзывам современников, была сказочно красива, но на редкость глупа. Любовницей Талейрана она стала в Париже в 1797 г., а в сентябре 1802 г. Наполеон, шокированный постоянным присутствием этой женщины в доме его министра иностранных дел, приказал ему либо расстаться с нею, либо жениться. Талейран, несмотря на свое епископское прошлое, выбрал второе и стал «женатым священником» (см. наст. изд., с. 578).

С. 272. ...*уступит ли французский гарнизон свою территорию?*— Остров Эльба, ныне входящий в состав Италии, в 1802—1815 гг. принадлежал Франции.

Трехцветный флаг был государственным флагом Франции со времен Революции до 1814 г.; *белый флаг* был флагом французской монархии.

Он обзавелся свитой... — С Наполеоном на Эльбе были маршал Бертран (министр внутренних дел и государственный секретарь), Друо (военный министр и военный комендант острова), Камброн (комендант крепости Порто-Феррайо).

С. 273. *Дидона* (рим. миф.) имела право взять у берберского царя Ярба столько земли, сколько покроет бычья шкура; разрезав шкуру на тонкие ремни, она ограничила ими участок, на котором основала Карфаген.

Женщина с ребенком — полячка графиня Валевская и ее четырехлетний сын Александр, рожденный от Наполеона (они побывали на Эльбе в сентябре 1814 г.).

Монтенотте, Арколе, Маренго — места знаменитых итальянских сражений Бонапарты.

С. 274. *Гусман де Альфараче* — см. примеч. к с. 71.

...«Желтый» или «Зеленый» карлики... — Название «Желтый карлик» («Le pain jaune») носила сатирическая газета, выходившая раз в 5 дней с 15 декабря 1814 г. по 15 июля 1815 г. под редакцией Кошуа-Лемера. Главной мишенью ее насмешек были защитники старых монархических порядков, «рыцари ордена Гасильников» и «гении Тьмы». Поскольку она была очень популярна, уже после окончания Ста дней журналисты другой политической ориентации стали обыгрывать в названиях своих газет слово «карлик». Так, «Зеленым карликом» назывался монархический листок, выходивший с 15 июня по 18 сентября 1815 гг.

...множество уток. В оригинале игра слов: название города Канны (Cannes), расположенного близ залива Жуан, на берегу которого должен был высадиться после бегства с Эльбы Наполеон, звучит почти так же, как французское слово *canne* — утка.

Друэ д'Эрлон, генерал, командовавший 16-й дивизией, стоявшей в Лилле, и генерал *Лефевр-Денуэт*, командовавший егерями в Камбре, 7 марта 1815 г. подняли свои отряды, с тем, чтобы идти на Париж. Вдохновителем этого восстания был Фуше, стремившийся предупредить возвращение Наполеона и с помощью военного переворота возвести на престол либо сына Наполеона, либо представителя младшей ветви Бурбонов, герцога Орлеанского (воцарения которого желали также многие либералы). Восстание Друэ и Лефевра потерпело неудачу, так как Сульт (в это время военный министр Людовика XVIII) послал навстречу восставшим маршала Мортье и тот сумел уговорить офицеров остаться верными королю. Заговорщики-генералы бежали.

Сульт был знаменит переменчивостью своих убеждений: при Империи он верно служил Наполеону и даже получил от него титул герцога Далматского, при первой Реставрации стал пэром и военным министром, при Ста днях снова принял сторону Наполеона; по возвращении Бурбонов провел три года в эмиграции, однако затем вернулся на родину и уже в 1827 г. был снова сделан пэром Франции, а после Июльской революции сделал блестящую карьеру при новой власти: был военным министром (1830—1843, 1840—1845), министром иностранных дел (1839—1840) и председателем совета (1832—1834, 1839—1847). Для понимания соли излагаемого ниже анекдота

следует иметь в виду, что через несколько дней Сульт предал того самого короля, чьими деяниями он восхищался, утверждая, что они должны войти в историю.

С. 275. *Хартвелл* — замок в Англии, где Людовик XVIII провел последние восемь лет изгнания.

Книга двадцать третья

С. 275. *...еще не покинувшие Вену...*— В австрийской столице с сентября 1814 г. шли переговоры представителей всех европейских держав об устройстве послевоенной Европы.

С. 276. *Тиберий* последние десять лет жизни провел вне Рима, в том числе на острове Капри, где для него была выстроена вилла; *Диоклетиан* в 305 г. добровольно отказался от власти и последние десять лет жизни провел в Салоне (совр. Сплит), занимаясь преимущественно выращиванием овощей.

С. 277. *...орлы его летели от колокольни к колокольне...*— Формула из прокламации Наполеона от 1 марта.

...отступничество маршала Ней...— Маршал Ней, один из ближайших сподвижников Наполеона, во время первой Реставрации стал служить Людовику XVIII, был сделан пэром Франции, а после бегства императора с Эльбы получил от короля приказ арестовать беглеца и обещал его исполнить, но уже 13 марта перешел на сторону Наполеона (см. подробнее с 282).

С. 279. *...совпадение наших мнений... возвращения Бонапарта.*— Шатобриан имеет в виду фрагмент 5-го тома издания «Мемуары, переписка и рукописи генерала де Лафайета», где Лафайет в самом деле вспоминает о предложении, выдвинутом Шатобрианом: «Собратся всем вокруг короля и дать себя зарезать, дабы кровь наша стала тем семенем, из которого однажды возродится монархия» (Lafayette, général de. Mémoires, correspondance et manuscrits. P., 1838. Т. 5. P. 373), однако в интонации этого пассажа различимо не только сочувствие, но и некоторая доля иронии по отношению к Шатобриану.

С. 281. *Флигель Флоры* — левое крыло дворца Тюильри.

...женщин, которые лишились чувств от гнева и презрения.— Это случилось с госпожой де Дюрас, когда она 18 марта 1815 г. умоляла министра без портфеля Витроля послать Шатобриана с дипломатической миссией на Венский конгресс.

...приказ гнать врага...— Шатобриан цитирует королевский ордонанс от 6 марта 1815 г.

С. 282. *...принц оказывает ему сопротивление.*— Герцог Ангулемский во главе отряда из 400 человек пытался в начале марта оказать вооруженное сопротивление войскам, перешедшим на сторону Наполеона, но попал в окружение и вынужден был капитулировать с условием, что ему будет позволено отплыть в Испанию. Наполеон хотел оставить герцога Ангулемского у себя в качестве заложника, но в конце концов все-таки отпустил его на свободу.

...*Неаполитанским королевством... на Венском конгрессе.*— Неаполь, которым правил зять Наполеона, Мюрат, был по решению Венского конгресса, принятому 9 июня 1815 г., возвращен Бурбонам, и на неаполитанском престоле вновь воцарился Фердинанд IV (с 1816 г. король Обеих Сицилий под именем Фердинанда I). Людовик XVIII в самом деле поручал Талейрану, представлявшему Францию на конгрессе, добиться свержения Мюрата, но погубило «короля Иоахима» не это. После известия о бегстве Наполеона с Эльбы Мюрат ввел свои войска в папские владения, призвал Италию к независимости и был разгромлен австрийской армией.

...*кто внушил ему этот благородный порыв... своей натуры.*— Вдохновительницей была госпожа де Рекамье, в которую Констан в этот период страстно влюбился. Шатобриан рассказывает об этой любви в кн. 29, гл. 19 и 20 «Замогильных записок».

С. 283. *«Встань... и иди».*— Матф., 9, 6.

Канцлер— шевалье Дамбре, министр юстиции с 13 мая 1814 г. по 20 марта 1815 г.

С. 284. *Рокруа*— город в Арденнах, где 19 мая 1643 г. произошло сражение с испанцами, в котором впервые отличился будущий «великий Конде» (1621—1686)— предок принца де Конде.

...*о человеке, обратившемся в осла... сеявших повсюду огонь.*— Шатобриан перечисляет эпизоды из старинных хроник, впервые упомянутые в кн. 9, гл. 8 (в наше издание не вошли).

...*что нас связывало.*— См. с. 200.

С. 285. ...*и уезжает в Россию.*— Ришелье, покинувший Францию во время Революции, в 1803—1814 гг. был одесским губернатором; в 1815 г. он в Россию не уехал и в сентябре 1815 г. был назначен министром иностранных дел и председателем совета.

...*потерять здесь племянницу.*— На самом деле г-жа де Дюрас потеряла мать, г-жу де Керсен.

С. 286. ...*при шведском короле... по праву завоевания.*— Наполеоновский генерал Бернадот, ведший боевые действия против Швеции, но прекративший их в 1808 г., после свержения короля Густава IV, в 1810 г. получил от шведов приглашение занять шведский трон и был избран наследным принцем (на престол он взошел лишь в 1818 г., после смерти усыновившего его короля Карла XIII); Шатобриан иронически применяет к Бернадоту слова, открывающие эпическую поэму «Генриада» (1723), герой которой, французский король, так же, как и Бернадот, родился в городе По.

...*суды над своим отцом...*— Отец Лалли-Толлендаля был казнен по ложному обвинению в государственной измене при Людовике XV и посмертно оправдан благодаря Вольтеру уже в следующее царствование, в 1778 г.

...*в обществе прекрасной дамы...*— Этой дамой была Жюли Шарль, впоследствии (1816—1817) возлюбленная Ламартина, адресат элегий, составивших его первый сборник «Поэтические размышления» (1820).

Улыбка при жизни... слезы после смерти.— Госпожа де Дюрас, была, по-видимому, влюблена в Шатобриана, однако не видела взаимности и довольствовалась ролью верного друга и конфиденстки.

С. 288. «*Записки Клефи*» посвящены последним месяцам жизни Людовика XVI; их автор, камердинер короля, находился при нем в тюрьме Тампль; книга вышла в 1799 г. в Лондоне, во французской же столице одновременно по приказу Директории было выпущено другое издание, с искажениями и вставками.

...возвращении государственных имуществ.— Одна из главных экономически-правовых проблем Реставрации: следует ли отнимать недвижимое имущество, изъятое во время Революции у аристократов и пущенное в продажу, у новых владельцев и возвращать старым. Этот грандиозный передел собственности осуществлен не был.

Бесчестный памфлет... этому офицеру пенсию.— Автором брошюры «Грезы господина де Шатобриана, или Критический анализ пасквиля под названием «О Бонапарте и Бурбонах»» (май 1815) был Шарль-Жозеф Бай. Военным министром, перед которым Шатобриан хлопотал о Баяе в 1816—1817 гг., был Кларк.

С. 290. *Разве не венчает он даже стрелку компаса... торжество лилий.*— В начале XVI в. в компас были внесены некоторые важные усовершенствования, в частности, на его поверхность была нанесена роза ветров, где лилия — центральный элемент герба французских Бурбонов — обозначает север, куда и смотрит стрелка компаса.

Флигель Марсана — правое крыло дворца Тюильри, резиденция графа д'Артуа, вождя ультрароялистов; отсюда переносное значение этого словосочетания — люди ультрароялистских убеждений.

...бывший ораторианец...— в религиозной конгрегации ораторианцев (осн. 1611) до революции учился, а затем преподавал Фуше, после возвращения Наполеона с Эльбы снова занявший пост министра полиции, который в течение шести лет (1804—1810) занимал при Империи. Поскольку Фуше в этот период вел двойную игру, служа не только Наполеону, но и Бурбонам, в окружении графа д'Артуа его всячески превозносили, предпочитая не вспоминать его кровавое революционное прошлое, чем и возмущается Шатобриан.

С. 291. ...спасителю господина де Витроля...— Витроль, принимавший в марте 1815 г. активное участие в сопротивлении наполеоновским войскам на юге Франции, был арестован и заключен в Венсеннский замок; ему грозил расстрел, от которого его спасло заступничество Фуше.

...царевичество — далеко не худшее его деяние.— Фуше голосовал в Конвенте за казнь Людовика XVI.

...сказал о лионской земле...— См. примеч. к с. 166.

С. 292. ...господин Нантский...— Иронизируя над высоким титулом, который Фуше, человек низкого происхождения, получил от Наполеона (герцог Огрантский), Шатобриан именуется его по месту рождения (город Нант) господином Нантским.

...вычеркнуть из списка изгнанников... *Тибодо*...— Хотя в камбрезийской декларации от 28 июня 1815 г. составление проскрипционного списка было названо прерогативой палат, список этот (включавший 57 имен) был составлен Фуше еще до выборов в палату депутатов; Талейран язвительно относился к заслугам Фуше тот факт, что он не забыл

включить в него ни одного из своих друзей — в первую очередь тех, кто, как Тибодо, заседали с ним вместе в Конвенте и голосовали за смерть Людовика XVI. Тибодо, убежденный противник Бурбонов, сразу после окончания Ста дней был изгнан из Франции и возвратился на родину лишь после Июльской революции 1830 г.

С. 293. ...*об аресте господина де Талейрана у заставы Анфер...*— Когда в конце марта 1814 г. Мария Луиза с сыном оставили Париж, Талейран, назначенный Наполеоном в члены Регентского совета, был обязан последовать за ними, но, поскольку он не хотел покидать Париж, а временное правительство было заинтересовано в том, чтобы использовать его в ходе переговоров с союзниками, его «арестовали» у заставы Анфер и препроводили домой. Шатобриан пишет об этом в кн. 22, гл. 11.

Пале-Руаяль — резиденция герцогов Орлеанских.

...*герцога Беррийского на его сестре...*— Имеется в виду Анна Павловна, которую несколько раньше, в 1809 г., прочили в невесты Наполеону. О браке русской великой княжны с герцогом Беррийским шла речь в конце 1814 г. на Венском конгрессе, однако против этого брака в силу секретной договоренности с Англией и Австрией и в надежде на деньги от неаполитанского двора выступил Талейран, сватавший за герцога Беррийского принцессу из рода сицилийских Бурбонов (которая и стала герцогиней Беррийской в 1816 г.).

С. 294. ...*испанских дел.*— Среди «испанских дел» Талейрана было, в частности, следующее: по Базельскому договору 1795 г. Испания была обязана платить Франции 5 миллионов в месяц. В 1800 г. первый консул поручил Талейрану известить испанского короля Карла IV о том, что он больше не требует с Испании этой платы. Талейран предложил Наполеону для начала уменьшить сумму вполтину, однако испанского короля об этом не известил. В течение года два с половиной миллиона поступали ежемесячно во французскую казну, остальные же два с половиной миллиона делили два плута: Талейран и испанский первый министр Годой. См. также примеч. к с. 574.

С. 295. *Дрезденский монарх*— Фридрих Август I; саксонское курфюршество было преобразовано в королевство Наполеоном в 1806 г.

Договор от 30 мая 1814 г. был заключен Францией со всеми четырьмя основными союзными державами: Австрией, Англией, Пруссией и Россией и определял условия, на которых союзники заключали мир с Францией, перешедшей под власть ее старинных королей. 11 апреля 1814 г. был заключен договор в Фонтенбло, назначавший резиденцией Наполеона остров Эльбу.

С. 296. *Арбеллы*— см. примеч. к с. 93.

С. 298. ...*на Майском поле...*— то есть на Марсовом поле в Париже, где состоялось так называемое Майское собрание (в старину, при Каролингах, так называлось собрание воинов, избиравшее короля); см. подробнее ниже, с 300.

Федераты— во время Революции 1789—1794 гг. члены добровольных союзов (федераций), созданных для защиты Республики.

«*Газета патриотов 1789 года*» — республиканский листок, выходивший в 1795—

1796 г. и возрожденный в 1815 г. (выходил с мая по июнь) под названием «Патриот 1789 г.».

С. 299. *Перонна*— город в Пикардии, где в 1468 г. встретились герцог Бургундский Карл Смелый и французский король Людовик XI, два претендента на власть над Пикардией; поскольку Людовик XI тайно разжигал в пикардийских городах восстание против Карла, тот взял его в плен и выпустил лишь после того, как добился выгодных для себя уступок.

С. 301. *...призывали его в другое место.*— Герцог Беррийский возглавлял армию, располагавшуюся возле Алста — городка на юго-востоке от Гента.

...делил его печали.— Реминисценция из Расина (Федра, д. 5, явл. 6), где эти слова относятся к коням, «делящим печали» принца Ипполита.

С. 302. *...разыгрывали когда-то одежды Христа?*— См.: Иоанн, 19, 23—24.

Креси, Пуатье, Азенкур— сражения Столетней войны (соответственно 1346, 1356, 1415), которые французы проиграли англичанам.

...в Булаке... в сторону пирамид.— Булак — квартал Каира. Шатобриану не удалось подъехать к пирамидам, так как вода в Ниле была недостаточно высока для плавания на корабле, но и недостаточно низка, чтобы можно было проделать тот же путь верхом. Об этом он рассказывает в «Путешествии из Парижа в Иерусалим» (ч. 6).

С. 306. *Воды пойдут вам на пользу...*— Талейран снял для себя на лето 1815 г. виллу в Висбадене.

Меровингов... Капетингов.— См. примеч. к с. 133.

...не преминул исполнить предписание.— Талейран в своих воспоминаниях очень кратко упоминает о встрече с Шатобрианом в Монсе и об обращении короля с ним, Талейраном, однако написанное им в те же дни из Монса письмо к герцогине Курляндской подтверждает, что Шатобриан изобразил общую расстановку сил верно: первая встреча с королем Талейрана не удовлетворила; в воспоминаниях Талейран приводит свой тридцатистраничный доклад королю, который он вручил Людовику XVIII в Монсе и где он советовал королю не въезжать в Париж, дабы не предстать перед народом ставленником англичан, а отправиться в Лион, призвать туда обе палаты и осуществлять оттуда правление, независимое от союзников. Король, однако, не внял советам Талейрана и направился в Париж, куда за ним последовал и министр иностранных дел.

С. 307. *...Като-Камбрези... мирный договор 1559 года...*— этот договор положил конец Итальянским войнам (1494—1559).

С. 308. *Камбрезийская декларация* обнародована не 23, а 28 июня. 23 июня — дата описанной выше встречи короля и Талейрана в Монсе.

С. 309. *...ускользнул от тюремщиков... мессы и жены.*— Генрих IV спасся в 1572 г. от резни в Варфоломеевскую ночь лишь благодаря тому, что за неделю до этого женился на Маргарите де Валуа и принял католичество, однако через четыре года он бежал из католического плена, вновь стал гугенотом и возглавил гугенотскую армию.

С. 309—310. *21 января* 1793 г. был казнен Людовик XVI.

С. 310. *«Ты — тот человек!»*— 2 Царств, 12, 7.

Карманьола — см. примеч. к с. 175.

С. 311. ...*расстались со своими портфелями.* — Первое правительство второй Реставрации было назначено 9 июля 1815 г., на следующий день после въезда Людовика XVIII в Париж: министром иностранных дел и председателем Совета в нем был Талейран, министром полиции — Фуше. Следующий кабинет был сформирован 26 сентября того же года, после того как стали известны результаты выборов в палату депутатов, где подавляющее большинство получили не монархисты либерального толка, вроде самого Талейрана, но ультрароялисты (палата эта была прозвана «бесподобной»), что и обусловило отставку его министерства. В новом кабинете место Талейрана занял герцог де Ришелье; место Фуше — Деказ.

...*тюрьма Маделонет...* — Бывший главный контролер финансов Машо был арестован при Терроре и умер в тюрьме.

С. 312. *Коннетабль* (до XVII в. во Франции — главнокомандующий армией) де Монморанси погиб близ Сен-Дени в 1567 г., сражаясь с гугенотами.

Школа Почетного легиона была основана Наполеоном в Сен-Дени для дочерей и сестер кавалеров ордена Почетного легиона, имеющих офицерский чин (дочери и сестры солдат учились в Экуане).

...*мальтийских рыцарей...* — См. примеч. к с. 123. *Бальи* — сан выше командора в Мальтийском ордене.

...*приняли лионского убийцу за Тита.* — Римский император Тит снискал всеобщую любовь заботой о римлянах, добротой и предупредительностью.

С. 313. *Временное правительство... отречения Бонапарта...* — Вторичное отречение Бонапарта состоялось 22 июня 1815 г., тогда же было назначено временное правительство, просуществовавшее меньше месяца, до 7 июля.

Книга двадцать четвертая

С. 315. ...*для обучения английских солдат... народное восстание.* — Во время восстания испанского народа против французских завоевателей (1808—1814) англичане выступали союзниками испанцев; важнейшие победы над французами на территории Испании были одержаны армией под командованием Веллингтона.

Континентальная блокада — торговая блокада, которую Наполеон вместе со своими союзниками объявил Англии в 1806 г.; отменена практически в конце 1812 г., официально — в апреле 1814 г.

Рейнская конфедерация — см. примеч. к с. 242.

С. 316. *Вестфальский договор* — совокупность двух договоров, подписанных в 1648 г., по окончании Тридцатилетней войны, в Мюнстере (католиками) и Оснабрюке (протестантами); закрепил за германскими князьями права суверенных государств.

Ниневия — ассирийский город, гибель которого предсказал библейский пророк Исайя.

...*брошюр, адресованных Буттафуоко...* — Такая брошюра была всего одна — «Письмо

Бонапарта Маттео Бугтафуоко <...> депутату Учредительного собрания» (январь 1790 г.); в ней Бонапарт отстаивал независимость Корсики.

«Ужин в Бокере» — политический диалог, в котором нашли выражение республиканские убеждения молодого Бонапарта.

С. 317. ...сбылось под Лейпцигом.— В Лейпцигском сражении (16—19 октября 1813 г.) Наполеон потерпел сокрушительное поражение от союзных армий.

...«Записки» Цезаря...— Юлий Цезарь оставил два произведения — «Записки о галльской войне» и «Записки о гражданской войне»; комментарий к ним, продиктованный на Святой Елене Наполеоном его камердинеру Маршану, вышел в Париже в 1836 г.

«Памятная книжка, веденная на Святой Елене» (Mémorial da Sainte-Hélène) — подневные записи рассказов Наполеона на острове Святой Елены, сделанные графом Эмманюэлем де Лас Казом в 1815—1816 гг. Первое издание этой книги вышло в 1823 г.

С. 317—318. ...восстанавливал в правах двух-трех комедиантов... оскорблял женщину...— Намек на регламент для театра «Комеди Франсез», над которым Наполеон работал в Москве (об этом Шатобриан упоминает в ч. 21, гл. 4 «Замогильных записок»), и на оскорбления, нанесенные им прусской королеве Луизе (см. примеч. к с. 258).

С. 318. ...поражения при Рамийи...— 23 мая 1706 г. в ходе войны за Испанское наследство англичане под командованием Мальборо разбили французов под командованием Вильруа.

...мнение Консервативного Сената... гласил...— Шатобриан цитирует декрет Сената от 12 апреля 1814 г., отрешающий Наполеона от власти, в ч. 22, гл. 16 «Замогильных записок». Сенат, созданный в 1799 г. для сохранения (conservation) законов и конституции, именовался поэтому консервативным. Никакой реальной властью он при Империи не обладал и был органом сугубо совещательным.

С. 319. ...дух животных?— Иезекиль, 1, 21.

«Бабушка» — стихотворение Беранже «Народные воспоминания» (к «бабушке» обращен рефрен — просьба рассказать о славных деяниях Бонапарта).

С. 320. Революция вскормила Наполеона... сражался с нею.— По-видимому, именно этот пассаж лег в основу первого стихотворения из триптиха Ф. И. Тютчева «Наполеон». «Сын Революции, ты с матерью ужасной Отважно в бой вступил — и изнемог в борьбе...» Комментаторы Тютчева обычно возводят его к исходному пассажи из брошюры Шатобриана «О Бонапарте и Бурбонах», однако представляется психологически гораздо более вероятным, что в стихотворении, опубликованном в «Москвитянине» в 1850 г. и, как считают тютчеведы, написанном незадолго до публикации, отразились впечатления поэта от чтения только что опубликованного (и давно ожидавшегося) сочинения Шатобриана, а не от его брошюры тридцатилетней давности.

С. 323. ...онесет нас крепостными стенами.— См. примеч. к с. 70.

С. 324. «...под этими великими деяниями». — Палатинская антология, VII, 137.

С. 325. «...расступающийся перед ним пучины»...— Тацит. О происхождении германцев, 45.

С. 326. ...в статье, опубликованной в «Консерватёр»...— Помещая цитату из этой статьи

от ноября 1818 г. (Conservateur, t. 1) в «Замогильные записки», Шатобриан внес в нее некоторые добавления.

«Кости сухие... и оживете». — Иезекииль, 37, 4; 37, 14.

...«полюстили сердце, слабому в гордыне». — Расин. Ифигения, д. 1, явл. 1.

Книга двадцать пятая

С. 328—329. «*Монархия согласно Хартии*» вышла в свет около 16 сентября 1816 г.

С. 329. ...*царствует, но не управляет*... — Этот лозунг был выдвинут после Июльской революции Тьером и поддержан депутатами «левого центра»; осуществление его привело бы к укреплению роли министров.

Ордонанс от 5 сентября 1816 г. объявлял о роспуске палаты депутатов, избранной в августе 1815 г. (так называемой «Бесподобной палаты»), в которой большинство составляли ультрароялисты.

...*добавить к брошюре постскрипtum*... — В нем Шатобриан призвал «спасать короля несмотря ни на что» (quand même), и лозунг этот надолго стал своеобразным «паролем» роялистов.

...*боляться господина Деказа*... — Деказ с 24 сентября 1815 г. был министром полиции.

С. 330. ...*унаследованное им от деда*... — Имеется в виду Людовик XV.

...*я не желаю обделять герцога Ангулемского*... — Если бы у Людовика XVIII были дети, то корону после его смерти унаследовали бы они, однако поскольку детей он не имел, престол должен был перейти к графу д'Артуа, а затем к его детям.

...*умирает и тем нарушает королевский сон*... — Лувель заколол герцога Беррийского при выходе из Оперы; короля вызвали к умирающему поздней ночью.

С. 331. ...*в наследство от матери Наполеона*... — В 1811—1814 гг. Деказ был секретарем Летиции Бонапарт.

С. 332. *Король осыпал его милостями и наградами*... — В сентябре 1816 г. Деказ, начавший свою карьеру при Империи простым адвокатом, стал графом и пэром Франции, в декабре 1818 г. сделался министром внутренних дел, а в ноябре 1819 г. — председателем совета (отставлен 17 февраля 1820 г.). В политике Деказ старался придерживаться средней линии, не уступая ни либералам, ни ультрароялистам, к которым в то время был близок Шатобриан.

...*разыскал маршала Нея... в Овернских горах*... — Ней, перешедший во время Ста дней на сторону Наполеона, после Ватерлоо бежал и был арестован лишь в августе 1815 г.; Деказ не разыскивал Нея самолично, но — по слухам, которые он, впрочем, опровергал, — поощрял поиски.

...*заимствованные у другого короля*... — По-видимому, Шатобриан имеет в виду Людовика XIII, который в апреле 1642 г. выпустил указ, согласно которому кардиналы, и в их числе Мазарини — незнатный итальянец! — уравнивались в правах с принцами крови, а в декабре 1642 г., после смерти Ришелье, известил парламенты, наместников провинций и послов, что включает Мазарини в королевский совет, ибо «уверен в нем, как если бы он был рожден нашим подданным».

...«*поскользнулся на крови*»... — «Консерватёр», 3 марта 1820 г.

...*у меня отняли... пенсию*... — 24 тысячи франков, которые составляла эта пенсия, вместе с 12-ю тысячами франков (пенсией пэра) были основным источником существования Шатобриана.

Книга двадцать шестая

С. 333. ...*не высказался в пользу рокового закона... моим стараниям*... — См. с. 345 и примеч.

С. 334. *Антиной* — самый знатный и наглый из женихов, домогавшихся в отсутствие Одиссея руки Пенелопы.

...*уморившие великого старца*... — философа Ламетри, жившего при дворе Фридриха II.

С. 335. ...*с его подозрительными друзьями*... — Младший брат Фридриха II в начале революции 1789—1794 гг. жил в Париже и пользовался дружеским расположением Мирабо.

...*и супругой одного прусского генерала*... в «Тайной истории Берлинского двора»... — Шатобриан приводит анекдот из первого тома книги Мирабо (1789. Р. 168—172) не совсем точно; у Мирабо речь идет о русской великой княгине (иначе говоря, Марии Федоровне, жене Павла Петровича, впоследствии императора Павла I), соблазненной юного француза, который собирался вступить в русскую службу, а затем вынудившей его покинуть Россию; на свидание она явилась в домино и в маске.

«*Веронский конгресс*» — книга Шатобриана (1838), посвященная конгрессу европейских держав, который в октябре — декабре 1822 г. собрался в Вероне для обсуждения испанских дел. Шатобриан представлял там Францию, а сразу по окончании конгресса был назначен министром иностранных дел.

...*накропал в начале революции*... — В 1790 г. Бонне выпустил бурлескную поэму «Взятие Благовещенского монастыря», направленную против левого депутата Учредительного собрания Шарля де Ламета.

...*мерами, принятыми... 4 и 20 сентября*... — Имеются в виду роспуск «Бесподобной палаты» и лишение Шатобриана должности министра без портфеля. Цитируемое Шатобрианом донесение Бонне обращено к герцогу де Ришелье, министру иностранных дел и председателю совета в 1815—1818 гг.

Книга двадцать седьмая

С. 337. ...*носящий вергилианское имя*. — «Буцентавром» называлась в Венеции галера, на которой венецианские дожи ежегодно «обручались» с Адриатическим морем; в «Энеиде» Вергилия (V, 155—157) один из кораблей носит название «Кентавр» («Centaurus») — по резной фигуре, украшающей его нос.

...*как новый Цицион*... — См.: Цицерон. Об ораторе, II, 22.

...*младшего брата Соломона*... — «Лондонского» Ротшильда звали Натаном; он был на два года моложе «парижского» Ротшильда — Соломона.

Авигия — супруга, избранная царем Давидом за прекрасную внешность и голос (I Царств, 25, 1—42).

С. 338. *...приводившая на память Алкивиада.* — По словам Плутарха, Алкивиаду «была на пользу даже картавость, придававшая убедительность и редкое изящество непринужденным речам» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1961. Т. 1. С. 273; пер. С. П. Маркиша).

«Мельничный жернов» — плоский и очень широкий крахмальный воротник.

С. 339. *«Остров гермафродитов»* — памфлет Тома Артю, сьера д'Амбри, направленный против Генриха III и его фаворитов (вышел около 1605 г.); из «Острова» взята только вторая цитата; первая заимствована из «Дневника царствования Генриха III» Пьера де Л'Этуаля (1621).

...похитил целое семейство: отца, мать и детей. — Прибыв в Лондон в июле 1821 г. на коронацию Георга IV, щеголь д'Орсе пленил английскую аристократическую чету: лорда и леди Блессингтон; в 1822—1828 гг. он путешествовал по Европе с ними и с их дочерью Гарриет (на которой в 1826 г. женился); после смерти лорда Блессингтона (1829) д'Орсе бросил жену (которая, в свой черед, стала любовницей старшего сына Луи Филиппа) и почти два десятилетия прожил в Лондоне со своей тещей (связь, делавшая его репутацию еще более скандальной), поражая свет эlegantностью нарядов и богатством обстановки (в конце концов он наделал таких долгов, что в 1849 г. вынужден был, спасаясь от кредиторов, бежать в Париж и там открыл модное ателье скульптурных портретов; это, впрочем, произошло уже после смерти Шатобриана).

У графини Ливен... — Шатобриан ошибается в титуловании: Д. Х. Ливен была по мужу, русскому послу в Англии в 1812—1834 гг., не графиней, а княгиней. Шатобриановская характеристика княгини Ливен пристрастна и решительно несправедлива по отношению к женщине, сумевшей пленить сердца таких незаурядных людей, как Меттерних (с которым у нее был роман в 1820-е гг.) и, позднее, Гизо (см. следующее примечание).

С. 340. *Важный доктринер* — Гизо, которого с 1837 г. связывали любовные узы с княгиней Ливен; Шатобриан, будучи политическим противником Гизо, одного из виднейших деятелей Июльской монархии, иронически уподобляет его Гераклу, отданному в рабство лидийской царице Омфале. Согласно мифу, Геракл по воле царицы нарядился в женские одежды и выполнял домашнюю работу, царица же носила палицу героя; Шатобриан намекает таким образом на политическую несамостоятельность Гизо, который якобы во всем слушался советов княгини Ливен. Иронически звучит и цитата о любви, заимствованная из басни Лафонтена «Два петуха» (VII, 13).

Ник — ироническое прозвище Наполеона, придуманное англичанами.

С. 342. *...я повстречал... юную любовь.* — Имеется в виду возлюбленная Шатобриана Натали де Ноай, назначившая ему свидание в Испании, куда он прибыл в апреле 1807 г., на обратном пути из Иерусалима.

С. 343. *...встречей с этой женщиной в 1822 году.* — См. с. 155—157.

Книга двадцать восьмая

С. 345. ...*при обсуждении закона о рентах он хранил молчание.* — В мае 1824 г. правительство Виллеля предложило закон о конверсии ренты (то есть понижении заемного процента с 5 до 3); сэкономленные деньги Виллель намеревался пустить на выплату компенсации эмигрантам, лишившимся имущества во время революции, однако при этом пострадали бы все рантье. В палате пэров проект не встретил понимания, и председатель кабинета Виллель, равно как и король, ждали от Шатобриана, что он их поддержит и тем спасет положение. Шатобриан, не одобрявший планировавшуюся акцию, промолчал.

Закон о семилетнем сроке, согласно которому члены палаты депутатов сохраняли свои полномочия в течение семи лет после избрания (по прежнему закону следовало ежегодно переизбирать одну пятую парламента), был одним из первых, за который проголосовала выбранная весной 1824 г. палата, где подавляющее большинство составляли ультрароялисты. Хотя закон и не распространялся на палату, его принявшую, роялисты видели в нем гарантию стабильности избранного антилиберального курса.

С. 346. «*Консерватёр*» — газета, которую Шатобриан выпускал с октября 1818 по март 1820 г., здесь сотрудничали многие роялисты, в том числе Виллель и Корбьер, ставшие затем политическими противниками Шатобриана. В отличие от своих тогдашних коллег, Шатобриан отстаивал монархическую форму правления не оттого, что полагал ее безусловной, но оттого, что видел в короле, правящем согласно Хартии, лучшую на данный момент защиту ценностей, представлявшихся ему наиболее важными — индивидуальной свободы и свободы печати (девиз «Консерватёр» гласил: «Король, Хартия и порядочные люди»).

С. 347. ...*господину графу де Монталиве... в темницу господина Жиске.* — Монталиве начал свою политическую карьеру в эпоху Реставрации, унаследовав от скончавшегося в 1823 г. отца звание пэра и став, таким образом, коллегой Шатобриана. Он принадлежал к либеральному крылу палаты пэров и деятельно защищал свободу печати. После Июльской революции он, в отличие от Шатобриана, стал активно сотрудничать с новой властью и в 1830-е гг. четыре раза становился министром внутренних дел, занимал этот пост и в 1832 г., когда Шатобриан был арестован (см. ниже с. 469—479).

Выдержки из моих статей... после отставки. — Шатобриан цитирует свои статьи в «Журналь де Деба» от 28 июня (первые четыре абзаца) и 5 июля 1824 г.

С. 349. «...*орлы еще не покинули его.*» — Напоминание о традициях республиканской армии (трехцветное знамя) и наполеоновской империи (орел входил в герб Империи).

«Мир вокруг нас меняется...» — Отрывок из статьи от 8 августа 1825 г.

С. 350. *Сделка, касающаяся Сан-Доминго...* — На Гаити, половина которого была до 1804 г. французской колонией Сан-Доминго, существовала негритянская республика; парижский договор 1814 г. давал право королю восстановить там свою власть, однако Виллель, будучи реалистом, предпочел военному вторжению полюбовную сделку: гаитянские власти выплачивают французским колонистам, лишившимся своих земель, 150

миллионов франков компенсации и создают благоприятные условия для французских негодяев; против такого решения выступали бывшие колонисты, считавшие компенсацию недостаточной, и представители ультраправой оппозиции.

Кому нынче нужна республика? — Цитируется статья от 24 октября 1825 г.

При другом министерстве... — Имеется в виду министерство Деказа; приведенная фраза была сказана Шатобрианом в статье, опубликованной в «Консеватёр» от 5 декабря 1818 г.

С. 351. *...удивительнее всего подпись.* — Генерал Себастиани, депутат от Корсики, возглавлял в конце эпохи Реставрации крайне левую оппозицию.

С. 352. *...«подающие короне».* — Цитата из стихотворения «Шатобриан», которое Беранже сочинил и опубликовал в сентябре 1831 г.

С. 354. *...о гробнице госпожи Аделаиды и госпожи Виктории...* — Шатобриан посетил гробницу этих двух дочерей Людовика XV, умерших в изгнании, в Триесте, в июле 1806 г., по дороге в Иерусалим, а затем упомянул о «двух святых, покоящихся в чужой земле, которым, возможно, будет приятна молитва христианина», в статье в «Меркюр» от 4 июля 1807 г. (см. с. 222, 226—227). Это сочувственное упоминание о принцессах из рода Бурбонов, естественно, не могло понравиться Наполеону.

С. 355. *...за фразу об отказе от поддержки...* — Речь идет об адресе депутатов королю от 18 марта 1830 г.; в нем палата оповещала о том, что не доверяет министерству Полиньяка (см. подробнее с. 399—400).

С. 356. *...сдабривающие свои богатства присягой... свой вкус...* — Имеется в виду присяга Луи Филиппу, которому Шатобриан, считая его узурпатором, присягать отказался.

...на защиту вдовы и сироты... — Имеются в виду герцогиня Беррийская и ее сын (см. подробнее. с. 487—488).

Книга двадцать девятая

С. 357. *Книга двадцать девятая.* — Испуганный перспективой публикации своих «Записок» на страницах газеты (см. вступительную статью, с. 9), Шатобриан в 1845 г. исключил из текста всю книгу, посвященную г-же Рекамье, оставив лишь четыре небольшие главы, которые присоединил к 28-й книге. Исключенный текст хранился у самой госпожи Рекамье, которая давала его читать людям, пользовавшимся ее доверенностью (в их число входил, между прочим, наш соотечественник А. И. Тургенев — см. подробнее: Вопросы литературы, 1991, № 3. С. 210—212). В 1849 г., после смерти г-жи Рекамье, ее племянница и наследница г-жа Ленорман была вынуждена включить главы, посвященные Рекамье (но без писем г-жи де Сталь и Б. Констан), в первое книжное издание «Замогильных записок», с тем чтобы предупредить появление того же текста на страницах газеты «Пресс», которой его предоставила поэтесса Луиза Коле, в свое время получившая его от самой г-жи Рекамье.

«Коринна» (1807) — роман г-жи де Сталь.

С. 358. *Монтень сказал... на будущее...* — Опыты, I, III.

С. 359. *...в сговоре с папской властью...* — См. примеч. к. с. 230.

С. 360. ...мое письмо... к господину де Фонтану...— См. примеч. к с. 206.

С. 361. *Маллус* — так галлы называли совет и место, где он происходил.

...казненных для потехи... леди Гамильтон.— Имеется в виду роялистский террор 1800 г., когда после возвращения в Неаполь короля Фердинанда IV (под прикрытием английского флота) здесь была разгромлена «Партенопейская республика» (названная по названию древнего полубогородного города, основанного в VI в. до н. э. неподалеку от современного Неаполя).

С. 362. *Дочь Роны* — г-жа Рекамье, родившаяся в Лионе, стоящем на берегу этой реки.

С. 363. «*Валерия*» (1803) — роман г-жи де Крюденер, история замужней дамы и влюбленного в нее юноши, носящая автобиографический характер. Ж.-Ф. Мишо опубликовал в «Меркюре» (10 декабря 1803 г.) восторженный отзыв о «Валерии».

С. 365. *Моей соседкой оказалась госпожа Рекамье*.— Это произошло 28 мая 1817 г. По-видимому, на самом деле истоком «романа» г-жи Рекамье и Шатобриана была не эта случайная встреча, но страстное желание Жюльетты (зародившееся у нее несколькими месяцами раньше) «покорить» знаменитого Шатобриана и переманить его из салона герцогини де Дюрас; однако, начав действовать исключительно из кокетства и тщеславия, Рекамье в конце концов влюбилась в Шатобриана всерьез; больше того, судя по некоторым свидетельствам, он стал первым мужчиной, который пробудил в ней подлинную страсть.

...госпожа Рекамье наняла ее вместе с господином де Монморанси.— На самом деле г-жа Рекамье наняла Волчью долину еще до продажи, 18 марта 1818 г., однако арендный договор стал недействителен после продажи имения, состоявшейся в июле того же года (см. с. 333).

С. 366. ...все более и более стесненным... *Аббей-о-Буа*.— Муж Рекамье (она вышла за него в 1793 г., но очень скоро стала жить отдельно), банкир Жак Роз Рекамье (1751—1830), в конце 1818 г. разорился, и в 1819 г. отец Жюльетты, лионский нотариус Жан Бернар (ум. 1828), нанял ей пожизненно квартиру в парижском женском монастыре Аббей-о-Буа («Лесное аббатство»). Вначале она занимала там крохотное помещение в четвертом этаже, затем переехала в более просторное жилище на втором этаже. В 1830—1840-е гг. Шатобриан ежедневно проводил у г-жи Рекамье всю вторую половину дня, вначале наедине с хозяйкой, а позже, вечером,— вместе с гостями, высоко ценившими присутствие прославленного писателя, тем более что салон в Аббей-о-Буа был единственным, который он посещал.

Герцогиня д'Абрантес так описывает это место...— Цитируется очерк, опубликованный в 1832 г. в первом томе сборника «Хромой бес в Париже, или Книга ста и одного».

...в заговоре Бори.— Кудер был замешан в армейском республиканско-бонапартистском заговоре, центром которого был город Сомюр; заговор был раскрыт в декабре 1821 г., Кудера приговорили к смерти, но в марте 1822 г. заменили эту кару пятью годами тюрьмы. К заговору Бори, иначе называемому заговором четырех сержантов-карбонариев из Ла Рошели (раскрыт по доносу весной 1822 г.), Кудер отношения не имел.

С. 368. *Королева Испании* — Жюли Клари, жена Жозефа Бонапарта, брата Наполеона.

В подобострастии меня не упрекнешь... мною чтим. — Отрывок из трагедии Шатобриана «Моисей» (д. 3, явл. 2). Чтение этой трагедии состоялось в Аббей-о-Буа в июне 1829 г. (поставлена в Версальском театре в 1834 г.; успеха не имела).

С. 369. *...самое отвратительное и самое известное.* — Полковник Карон был участником республиканского заговора в армии в конце 1821 — начале 1822 г.; его арест явился следствием правительственной провокации: ему прислали два эскадрона, где под видом простых кавалеристов находились переодетые офицеры, которые вдохновили Карона и его сторонников на восстание, а потом арестовали «на месте преступления». Карона в октябре 1822 г. казнили, его соучастнику Роже заменили смертный приговор двадцатью годами каторги, а через два года его помиловали.

...натравив Густава Адольфа на Германию... — Имеется в виду вступление Швеции в Тридцатилетнюю войну (1618—1648) на стороне протестантов, происшедшее в 1631 г. и спровоцированное Францией, которую пугало чрезмерное усиление католической империи Габсбургов.

С. 370. «*Angelus*» — молитва, обращенная к Пресвятой деве, и звук колокола, о ней возвещающий.

...«подобный плачу над умершим днем»... — Данте. Чистилище, VIII, 6.

«*Ромео и Джульетта*» Штейбельта — опера, впервые представленная в 1793 г.; Шатобриан очень любил романсы этого композитора.

...куда призывает меня долг. — Намек на госпожу де Шатобриан.

Книга тридцатая

С. 371. *...подобно Гужону...* — Согласно легенде, скульптора Гужона, кальвиниста, в Варфоломеевскую ночь сбросили с лесов в Лувре.

С. 372. *Братство Святого Луки* было организовано в 1809 г. Ф. Овербеком для возрождения «истинно католической», доренессансной живописи.

С. 373. *Вилла Медичи*, выстроенная около 1544 г. для кардинала Монтепульчано, а затем приобретенная кардиналом А. Медичи, была в 1801 г. куплена Наполеоном; там разместилась Римская французская академия, созданная еще Людовиком XIV; здесь по три года жили французские художники, удостоенные «Римской премии».

Вилла Юлия III (вилла Джулиа) была выстроена архитекторами Амманати и Виньолой по планам Микеланджело и украшена фресками Цуккарни.

...прародителя Гупиля-Ренара... волку Изенгрину. — Реминисценция из средневекового животного эпоса «Роман о Лисе».

Аква Феличе — римский фонтан XVI в. на площади Терм.

С. 374. *Царица мира* — Рим, где скончались и Пуссен, и Лоррен.

...взошли на Капитолий... — то есть завоевали всеобщее признание (в Древнем Риме на Капитолийский холм торжественно поднимались триумфаторы).

Английский претендент — здесь: Яков Эдуард Стюарт, сын свергнутого в 1688 г. короля Якова II; в дальнейшем титул «претендента» перешел к его старшему сыну Карлу Эдуарду Стюарту (см. ниже, с. 378 и примеч.). Президент де Бросс описывает свое посещение Претендента (которого он именует английским королем) в письме XL (о его книге см. примеч. к с. 377).

Король Сардинии — Виктор Эммануил I (см. примеч. к с. 199).

Король Вестфалии — Жером Бонапарт.

Монтень был в Италии в 1581 г. и описал эту поездку в «Дневнике путешествия в Италию»; *Рабле* говорит о Риме в пятой книге «Гаргантюа и Пантагрюэля».

С. 375. *...бедному безумцу...* — Имеется в виду Торквато Тассо, который в 1579—1586 гг. содержался в Ферраре в лечебнице для душевнобольных; Монтень рассказывает о своем посещении Тассо в «Опытах» (II, II).

...величайшим протестантским поэтом... той эпохи. — Речь идет о Мильтоне.

Римлянка Леонора вскружила голову Мильтону. — В «Опыте об английской литературе» (глава «Мильтон в Италии») Шатобриан приводит восторженные латинские стихи, которые Мильтон посвятил Леоноре, чье пение услышал у кардинала Барберини.

С. 376. *...отвечает ему из замка Роше... она частенько жаловала вас...* — Шатобриан цитирует письмо г-жи де Севинье от 8 января 1690 г.; Севинье, в свою очередь, цитирует, чуть-чуть перефразировав, стихи ее кузена Куланжа, сочиненные в Риме.

«Катон» (1713) — трагедия Дж. Аддисона, выпустившего описание своего путешествия по Италии в 1705 г.

Отец Лаба в «Новом отчете о Западной Африке» (1728) сообщает, что в архивах Дьеспского адмиралтейства, сгоревшего в конце XVII в., хранились документы, подтверждавшие, что в XIV в. жители Дьеппа имели фактории в Гвинее. «Путешествие по Испании и Италии» отец Лаба выпустил в 1731 г.

С. 377. *Де Бросс* побывал в Италии в 1739—1740 гг., однако его рассказ об этом путешествии был издан лишь посмертно, в 1799 г., под названием «Исторические и критические письма об Италии» (переиздан в 1836 г. под названием «Италия сто лет назад, или Письма друзьям, писанные из Италии в 1739 и 1740 годах»).

...комическая распря из-за клочка земли. — В 1758 г. Вольтер купил у президента де Бросса небольшое имение Турне, расположенное вблизи швейцарской границы, а вступив во владение, использовал для своих нужд часть дров, которые де Бросс еще прежде продал некоему торговцу, но не успел их вывезти. Де Бросс потребовал у Вольтера денег за эти дрова, тот платить отказался, и завязалась долгая тяжба, сопровождавшаяся взаимными оскорблениями. Переписка Вольтера с де Броссом на эту деликатную тему была впервые опубликована в Париже в 1836 г. (русский читатель знает о ней из пушкинской статьи 1836 г. «Вольтер»).

С. 378. *...где бродили мои герои...* — Имеются в виду герои «Мучеников».

Яков III — «претендент» (см. выше примеч. к с. 374); его сыновья — Карл Эдуард, принц Уэльский, и Генри Бенуа, герцог (а затем кардинал) Йоркский.

Брак претендента не был счастливым...— Пьянство и грубость принца вынудили его жену, которая была на 30 лет моложе мужа, оставить его.

С. 379. *...искать иной помощи.*— После смерти Альфьери графиня Альбано полюбила французского художника Франсуа Ксавье Фабра (1766—1837).

...предок которого отказал в убежище потомку Карла I...— После подписания Ахенского договора (1748) Карл Эдуард Стюарт, внук Якова II и сын Претендента (см. примеч. к с. 374), унаследовавший от него этот неофициальный титул, был изгнан из Франции и переселился в Италию. Это произошло в царствование Людовика XV, деда Людовика XVI.

Дюкло был в Италии в 1766 г.; его «Размышления об Италии» увидели свет лишь в 1791 г.

Дюпати был в Италии в 1785 г.; его «Письма об Италии» были опубликованы тремя годами позже.

С. 380. *...на челе «Праматери Венеры» Дюпати.*— Шарль Дюпати, сын писателя, стал скульптором.

Гете пришел в восхищение от Юпитера... в прекрасных словах...— Гете впервые оказался в Италии осенью 1786 г. В «Римских элегиях» (1790, фр. пер. г-жи де Вольфер — 1837), вдохновленных этой поездкой, седьмое стихотворение обращено к Юпитеру. Шатобриан, по всей вероятности, читал это стихотворение в переводе, так как немецкого языка он не знал.

...«Ниобой Наций... рассеянный по ветру».— Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда, IV, 79.

С. 381. *...взойти на Капитолий вместе с Коринной...*— Реминисценция из второй книги романа г-же де Сталь «Коринна», где заглавную героиню венчают лаврами на Капитолии.

Индекс — список книг, запрещенных папской курией.

С. 382. *Монте Марио* — один из двенадцати римских холмов, расположенный на северо-западе города.

С. 383. *...в рассказе об этой поездке...*— Имеется в виду «Письмо к господину де Фонтану о римской кампании» (см. примеч. к с. 206).

С. 384. *Сторта* — местечко в 12 км от Рима по дороге во Флоренцию.

Турнон выпустил свою книгу в 1831 г.

Симон выпустил «Путешествие в Италию и на Сицилию» в 1828 г., а умер три года спустя.

Яникулум — холм близ Рима, на правом берегу Тибра.

Тускулум — город в древней Италии.

Сочинение его преосвященства Николаи о римской кампании вышло в свет в 1803 г.

С. 385. *Трините-дю-Мон*, или, по-итальянски, Santissima Trinita dei Monti (Церковь Святейшей Троицы на холмах), была выстроена в начале XVI в. по приказанию французского короля Карла VIII в память о его пребывании в Риме, куда его войска вторглись в 1494 г.; во время французской революции ее разрушили, а в 1816 г. восстановили по приказу Людовика XVIII.

«Маккавей» (1822) — трагедия А. Гиро.

С. 386. ...ту, другую, из Шекспира... — См. примеч. к с. 370.

...от той остроумной дамы... — Речь идет о госпоже де Каstellан, с которой у Шатобриана в 1823 г. был короткий, но страстный роман.

...достанет на бюст Пуссена. — В бытность свою послом в Риме Шатобриан на собственные деньги установил памятник на могиле этого французского художника, похороненного в Риме.

С. 387. Когда я призывал Леонида... не ответил мне... — Этот эпизод из «Путешествия из Парижа в Иерусалим» был одним из наиболее популярных среди публики; «Окситанка», о которой пойдет речь ниже (с. 393—394), вспоминала, как в детстве разыгрывала с подругами на берегу полувысохшей французской речки эту сцену призывания спартанского героя в Фермопилах.

Книга тридцать первая

С. 387. ...сегодня утром... — 28 апреля 1829 г.

С. 388. Поэтесса — импровизаторша Роза Таддеи.

С. 389. «Семейный договор» был заключен стараниями Шуазеля французскими, испанскими и пармскими Бурбонами в 1761 г., во время Семилетней войны.

...о борьбе Гуго Гроция за свободу морей... — Гроцию принадлежит трактат «О свободе морей» (1608), направленный против английского господства над морями.

...не упускаю из виду ни Решид-пашу, ни господина де Блакаса... — Намек на интерес Шатобриана к франко-турецким отношениям, выразившийся, в частности, в его записке о Восточном вопросе (см. рус. пер.: Москвитянин, 1856. Ч. 4. № 13. С. 67—90) и на его соперничество с Блакасом, в это время французским послом в Неаполе: в 1828 г. переписка с генералом Мэзоном, командующим французскими войсками в Морее, шла через Неаполь; Шатобриан добился, чтобы она велась через Анкону, город в Папской области, и, таким образом, находилась под контролем самого Шатобриана — посла в Риме.

С. 389—390. ...договора, заключенного в Трините-дю-Мон... не имела права заключать. — Речь идет о новом Конкордате между римской церковью и Францией, заключенном в июне 1817 г. На переговорах, предварявших его подписание, Блакас был личным представителем Людовика XVIII. Этот конкордат вызвал во Франции всеобщее неодобрение; в отмене прежнего конкордата и создании папой во Франции новых епархий с новыми, назначенными им епископами сторонники галликанской церкви усмотрели вмешательство иностранного государства во французские законы; король же, вдобавок, подписал его без предварительного согласия палат.

С. 390. ...годы путь мой удлиняют. — Реминисценция из ироикомической поэмы Буало «Налой» (1638; 1, 147).

С. 392. ...рождал Академию и «Большую пастораль»? — Французская академия была создана по инициативе Ришелье в 1634 г.; «Большая пастораль» — одна из пьес,

которую сочиняли вместе с кардиналом и под его руководством пять драматургов, в том числе Буаробер (Мальвиль в их число не входил).

Господин де л'Эмпифей. — См. примеч. к с. 67.

...двум Сципионам... — На самом деле это был один человек — Сципион Эмилиан Младший; по преданию, он вместе со своим другом Лелием помогал Теренцию писать комедии.

Книга тридцать вторая

С. 393. *...таинственной Окситанкой...* — Подлинное имя Окситанки — Леонтина де Вильнев-Отрив, в замужестве (с ноября 1829 г.) графиня де Кастельбажак — стало известно лишь в 1923 г. В 1827 г. двадцатичетырехлетняя Леонтина, поклонница творчества Шатобриана, послала ему из родового замка в Лангедоке восторженное письмо, подписанное «Окситанка»; впрочем, с января 1828 г. писатель уже знал настоящее имя девушки. После свидания в Котре Леонтина виделась с Шатобрианом еще дважды, в 1838 и 1874 гг. Когда «Замогильные записки» вышли в свет, г-жа де Кастельбажак была удивлена и оскорблена многими неточностями (хотя некоторые из них, например, изменение возраста с 26 на 16 лет, были, по-видимому, сделаны для того, чтобы прототип «Окситанки» не был столь очевиден), а главное, фразой о том, что Шатобриану пришлось на руках отнести ее к ней домой. Чувство девушки к великому писателю было целомудренным; Шатобриан, однако, не мог сказать того же о собственном чувстве к ней. Об этом свидетельствует сохранившийся в бумагах Шатобриана фрагмент, известный под названием «Любовь и старость» и вдохновленный, по-видимому, прежде всего Леонтиной: «Знаешь, если даже я решусь на безумство, я не поручусь, что буду любить тебя и завтра. Я не верю себе. Я не знаю себя. Страсть сведает меня, и я готов заколоться или расхохотаться. Я обожаю тебя, но в следующее мгновение шум ветра среди скал, промелькнувшее облако, падающий лист станут мне дороже тебя. Затем я со слезами воззову к Богу, затем обращусь к Небытию. Хочешь доставить мне наслаждение? Сделай вот что: отдайся мне, а после позволь вонзить нож в твое сердце и выпить всю твою кровь. Что ж? осмелишься ли ты последовать за мной? Если ты скажешь, что любишь меня как отца, ты сделаешься мне отвратительна, если станешь уверять, что любишь меня как любовница, я тебе не поверю. В каждом юноше будет мне чудиться счастливый соперник. <...> Прелестное создание, я обожаю тебя, но я же тебя и отвергаю <...>».

«Любовь возвратила бы мне... наружности»... — Монтень. Опыты, III, V.

С. 394. *...о падении министерства...* — Имеется в виду падение либерального министерства Мартиныяка, находившегося у власти с 4 января 1828 г. по 8 августа 1829 г.

...возглавил князь де Полиньяк... — В августе 1829 г. Полиньяк был назначен министром иностранных дел, официально главой кабинета он стал 17 ноября 1829 г., но реально возглавил его уже летом. У Полиньяка была репутация ультрароялиста и притом

человека не слишком умного — и то, и другое подтвердилось в июле 1830 г., когда по его инициативе были подписаны ордонансы, приведшие к революции.

С. 395. *...невесты испанского короля.* — Неаполитанская принцесса Мария Кристина, дочь Франциска I и Марии Изабеллы, стала четвертой женой Фердинанда VII.

...не был бы принят... — См. примеч. к с. 355.

С. 396. *Я служил священным ослом...* — Реминисценция из Лафонтена (Басни, V, 14 — «Осел, несущий мощи»).

С. 397. *...в свою Богадельню...* — См. с. 491 и примеч.

С. 398. *«Поэтические размышления»* (1820) — первый стихотворный сборник Ламартина, принесший ему шумную славу.

Сам господин Гизо снизошел... моего жилища... — Гизо был антиподом Шатобриана и в эпоху Реставрации, когда принадлежал к левой оппозиции, и позже, при Июльской монархии, когда был членом почти всех министерств.

С. 400. *...Гернона де Ранвиля... самым храбрым из всей безвестной компании...* — Граф Гернон де Ранвиль до 1829 г. не занимал министерских должностей, но за неполный год своего пребывания на этом посту выказал себя деятелем умным, честным и верным Хартии; он был против принятия июльских ордонансов, но, когда началась революция, выступал против их отозвания и за сопротивление восставшим в провинциях — ради чести короны.

«Трибюн» была основана на полгода раньше, чем *«Насьональ»*, в июне 1829 г.; *«Насьональ»*, который редактировали А. Тьер, О. Минье и А. Каррель, начал выходить 3 января 1830 г. Это были самые яркие, но далеко не единственные печатные органы, которые в 1829—1830 гг. выражали оппозиционное общественное мнение.

С. 401. *Дева из Музея* — картина фламандского художника Жерара Давида (ок. 1460—1532) «Дева среди дев» (1509), хранящаяся в Руанском музее изящных искусств.

...их автора... — Автором доклада был Шантелоз, министр юстиции.

...алжирскую войну... — Французская эскадра отплыла к берегам Алжира 25 мая 1830 г., и уже 5 июля город Алжир был взят, однако операция в целом не пользовалась популярностью и не изменила отношения французов к королю и правительству.

С. 402. *Статья 14 Хартии* давала королю право изменять закон своими ордонансами; Шатобриан указывал на опасность, которой грозит эта статья, в постскриптуме к «Монархии согласно Хартии».

Второй ордонанс вносит изменения в закон о выборах. — Первый проект ордонансов министр внутренних дел Перонне представил королю еще 10 июля. Изменения в закон о выборах (уменьшение общего числа депутатов, выборы на 5 лет с ежегодным переизбранием одной пятой, новые правила подсчета избирательного ценза, делающие его выше) вносил третий ордонанс, второй же приказывал распустить только что избранную палату, а четвертый — провести новые выборы по новым правилам в сентябре.

Пять человек... бросились в бездну... Францию и Европу. — Под ордонансами стояли подписи шести министров: Полиньяка, Шантелоза, морского министра барона д'Оссе,

министра финансов Монбеля, Гернона-Ранвиля и министра общественных работ Капеля.

С. 403. *Мост Вздохов* — крытый мостик в Венеции, соединяющий Дворец дождей с тюрьмой.

Совет Десяти — венецианский секретный трибунал с неограниченными полномочиями.

...*возвести дворец для римского короля*... — На холме Шайо, опустевшем после взрыва (в 1794 г.) Гренельского порохового склада, Наполеон намеревался построить дворец, где разместились бы он с императрицей и наследником, все члены клана Бонапартов, а также (в отдельном помещении) университет и государственные архивы, однако проект этот не был осуществлен, равно как и намерение Карла X возвести на том же месте архитектурный памятник во славу подвигов французской армии в Испании в 1823 г. (об этом замысле напоминало лишь новое название незастроенной площадки — Трокадеро).

С. 404. ...*10 августа и 2 сентября*... — См. примеч. к с. 53.

Конгрегация — в эпоху Реставрации религиозное и политическое сообщество консервативного характера, ставившее своей целью борьбу против либеральных идей.

Книга тридцать третья

С. 405. ...*герцог попытался убедить Карла I отменить ордонансы*... — Герцог де Мортемар, занимавший пост французского посла в Петербурге, еще до начала июльского переворота пытался его предотвратить: еще в апреле 1830 г. он доносил Полиньяку о своей беседе с Николаем I, который, узнав от своего посла в Париже о желании французского кабинета нарушить Хартию, настоятельно советовал Карлу X не совершать этого противозаконного поступка.

...*воевал с комиссаром полиции в редакции «Тан»*... — Бод, редактор либеральной газеты «Тан» («Temps»), 27 июля отказался открыть дверь типографии полицейским, пришедшим арестовать тираж газеты и типографские станки.

С. 408. *Ганноверская династия с 1714 г. правила Великобританией.*

...*напугали мадемуазель Морне*... в *Варфоломеевскую ночь*. — В мемуарном очерке о жизни Филиппа де Морне, сеньора дю Плесси (1549—1623), гугенота, сподвижника Генриха IV, написанном его супругой и занимающем первый том в издании его записок, вышедшем в 1824 г., рассказывается о том, как самого Морне едва не убили в Варфоломеевскую ночь работники карьеров в парижском предместье; мемуаристка в ту пору еще не вышла за Морне, — возможно, поэтому Шатобриан именует ее «мадемуазель».

С. 412. ...*служил лакеем у... Меттерниха*... — Герцог де Караман с 1816 г. был французским послом в Вене.

С. 414. ...*сражениях при Жеммепе и Вальми*... — В этих двух сражениях 1792 г. отличился воевавший в рядах республиканской армии будущий король Луи Филипп (в ту пору носивший титул герцога Шартрского).

...не из рода Капетов, а из рода Валуа. — И Валуа, и Бурбоны, и герцоги Орлеанские (младшая ветвь Бурбонов) были ветвями рода Капетов (см. примеч. к с. 133).

Нейи — имение Луи Филиппа в окрестностях Парижа.

С. 417. ...*Цезарь, потомок Венеры...* — Цезарь возводил свой род к Юлу, сыну Энея, следовательно, внуку Венеры.

...*герцог Орлеанский чувствовал к трону то влечение... питает к власти.* — Шатобриановская оценка Луи Филиппа во многом пристрастна: с самого начала эпохи Реставрации герцога Орлеанского постоянно прочили во французские короли и подозревали в тайной борьбе за власть, однако сам герцог, хотя и вел открытый образ жизни и не чуждался общения с членами либеральной оппозиции, никаких интриг не затевал и если чего и добивался от Людовика XVIII и Карла X, то это тех почестей и знаков отличия, которые принадлежали ему и его сыновьям по праву, как принцам крови (так, при Карле X он настоял на том, чтобы члены палат и другие государственные служащие являлись свидетельствовать ему свое почтение в том же наряде, что и к королю, и соблюдали при этом те же церемонии).

С. 420. ...*потомком Карла IX и Генриха III...* — королей из династии Валуа.

Завсегдатаи реставрации Луантье — республиканцы.

С. 422. *Герой Старого и Нового Света* — Лафайет (это прозвище было ему дано за участие в американской Войне за независимость и во французской революции).

Гревская политическая фабрика — Ратуша, находившаяся на Гревской площади.

Дворец торгашей — Пале-Руаяль (дословно: Королевский дворец), резиденция Луи Филиппа; в конце XVIII века его отец пристроил к дворцу три галереи, которые сдавал внаем всевозможным торговцам, превратив Пале-Руаяль в один из «коммерческих» центров Парижа.

...*штаты, созданные Лигой, измышляли себе короля...* О Лиге см. примеч. к с. 67. Штаты были созданы ею в Париже в 1593 г., во время осады города Генрихом IV; не желая признавать за этим королем право на корону, члены Лиги хотели видеть на французском престоле либо Карла Лотарингского, герцога де Гиза (сына убитого в 1588 г. главы Лиги Генриха де Гиза), либо его дядю, тогдашнего главу Лиги герцога Майенского, либо испанскую инфанту Изабеллу, дочь Филиппа II, на которой собирались женить Карла де Гиза, однако не могли прийти к единому решению. Эти события описаны в книге Пьера Виктора Пальма *Кайе* «Семилетняя хроника» (1605).

С. 423. *Гугеноту Генриху IV... о королевском престоле...* — Чтобы добиться поддержки подданных-католиков, Генрих IV, женатый на сестре Генриха III и потому претендовавший на королевский престол, в 1593 г. принял католичество.

С. 424. ...*возносили вверх на щитах...* — Франкских королей при вступлении на престол трижды обносили вокруг лагеря стоящими на щитах.

...*монарх... склонил голову на плаху...* — Речь идет о Людовике XVI.

Книга тридцать четвертая

С. 426. *Сильно ли я ошибся?* — Шатобриан намекает прежде всего на утрату Францией главенствующей роли в европейской политике и международную изоляцию, в которой она оказалась в 1840 г. после подписания 15 июля этого года первой Лондонской конвенции (касательно турецко-египетского конфликта) Англией, Австрией, Россией, Пруссией и Турцией без участия Франции.

С. 428. *...говорит Верный Слуга...* — За этой подписью в 1527 г. вышло жизнеописание знаменитого «рыцаря без страха и упрека» Баярда.

С. 431. *Иоас* — отрок, у которого его бабка Гофолия отняла престол (IV Царств, 11, 1—21; этот сюжет лег в основу трагедии Расина «Гофолия»).

С. 432. *...моею племянницу...* — И герцогиня Беррийская, и супруга герцога Орлеанского принадлежали к роду сицилийских Бурбонов; Мария Каролина (герцогиня Беррийская) была дочерью родного брата Марии Амелии (герцогини Орлеанской) — короля (с 1825 г.) Обейх Сицилий Франциска I.

С. 436. *...минутную слабость по отношению к другому великому человеку...* — Цицерон, сочувствовавший республиканской оппозиции, после убийства Цезаря перешел на сторону Октавиана Августа — внучатого племянника Цезаря и будущего императора.

...оставил в одиночестве на трибуне меня... — Сент-Олер сразу же принял сторону Луи Филиппа и верно служил Июльской монархии, занимая важные дипломатические посты: был послом в Риме (1831), Вене (1833—1841), Лондоне (1841—1848).

С. 437. *...против пэров, назначенных Карлом X.* — Новая редакция Хартии лишила всех этих лиц звания пера.

С. 439. *...несмотря на все проклятия... к 8-й статье Хартии...* — Восьмая статья гласила: «Цензура не может быть восстановлена». Шатобриан оказался прав в своих мрачных прогнозах: 9 сентября 1835 г. был принят так называемый «сентябрьский закон», вводивший предварительную цензуру на театральные представления и резко ужесточивший наказания для оппозиционных журналистов и писателей.

С. 447. *...весьма отличную от той... палату депутатов.* — В ноябре — декабре 1840 г. в палате депутатов обсуждался дипломатический конфликт с Англией по поводу восточных дел, в связи с чем была передана гласности переписка Тьера (в марте — октябре 1840 г. председателя совета) и Гизо (в тот период французского посла в Англии, а с октября 1840 г. министра иностранных дел) с английским государственным секретарем лордом Пальмерстоном. Лондонская конвенция от 15 июля 1840 г., подписанная в период, когда у власти находился кабинет Тьера (см. примеч. к с. 426), вызвала у Шатобриана, как и у всего французского общества, резкое неприятие.

С. 449. *...отмена салического закона...* — Салический закон лишал женщин права наследовать престол; благодаря его отмене трехлетняя Изабелла II, дочь Фердинанда VII, стала в 1833 г., после смерти отца, испанской королевой (регентшей при ней была ее мать Мария Кристина), в результате чего семь лет в Испании шла гражданская война

между сторонниками Изабеллы и сторонниками ее дяди дона Карлоса, также претендовавшего на престол. В 1823 г. Шатобриан был сторонником военного вмешательства в дела охваченной революцией Испании, в 1830-е же годы полагал более верным не вмешиваться во внутренние дела этой страны.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Книга тридцать пятая

С. 453. *...изгнанный монарх... последнему приюту.* — Речь идет о Карле X, которого, еще в бытность короля графом д'Артуа, Шатобриан видел во время осады Тионвиля (описанного в книге девятой).

С. 454. *Аптекарь* — Каде де Гассикур, мэр IV округа, активный сторонник новой власти.

Другие варвары — норманны, неоднократно нападавшие на Париж в IX в. (см. примеч. к с. 257).

...или некогда по улицам Лиона... — См. примеч. к с. 166.

Майе — карлик-горбун, национальный гвардеец и смутьян, тип, созданный в начале 1830-х гг. парижским карикатуристом Травессом.

С. 457. *От тюрьмы Тампль до Эдинбургского замка...* — В тюрьме Тампль провел последние месяцы перед казнью Людовик XVI с женой и детьми; в Эдинбурге жил первое время после изгнания Карл X с семейством.

Мужественная страдалца — дочь Людовика XVI и Марии Антуанетты, ставшая женой герцога Ангулемского (дофина); впоследствии Шатобриан везде именуется «госпожа супруга дофина».

С. 458. *Издатель, купивший мои сочинения... обанкротился...* — Имеется в виду парижский издатель Лавока, банкротство которого помешало Шатобриану получить полностью те 550 000 франков, которые причитались ему согласно контракту 1826 г. (когда Лавока начал выпускать полное собрание сочинений Шатобриана).

С. 460. *...лучшей из республик.* — Приписываемое Лафайету определение конституционной монархии, которое он, по некоторым свидетельствам, произнес 31 июля 1830 г. с балкона Ратуши; сам Лафайет в своих мемуарах передаст свою реплику иначе: он сказал Луи Филиппу, что французскому народу в данный момент необходим «народный трон, окруженный установлениями чисто республиканскими» (Lafayette, général de. Mémoires, correspondance et manuscrits. P., 1838. Т. 6. P. 411).

С. 461. *Лизетта* — гризетка, адресат многих песен Беранже.

С. 462. *Швейцарцы* — два полка, входившие с 1815 г. в состав королевской гвардии.

Карлисты — здесь: роялисты, сторонники Карла X.

С легкой руки господина Тьера... силы и гения... — Намек на «Историю Революции» (1823—1827) — первую книгу Тьера, принесшую ему известность. По свидетельству

осведомленной мемуаристики, пересмотр отношения «хорошего общества» к революции 1789—1794 г., в которой стало возможно видеть не только преступные деяния, но и благородные намерения, произошел несколько раньше: толчок к нему дало издание в 1818 г. книги Ж. де Сталь «Размышления о Французской революции», благодаря которой «слово «революционер» из жестокого оскорбления превратилось едва ли не в почетное звание» (Boigne, comtesse de. Mémoires. P. 1986. Т. 1. P. 481).

С. 464. *Ринальд* — отважный воин, персонаж «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо.

С. 466. *Партия золотой середины* — государственные деятели, активно поддерживавшие Луи Филиппа (он сам в январе 1831 г. определил свою политику как «политику золотой середины») и противостоявшие как роялистам, так и республиканцам.

...из Бельгии... английского министра... из Анконы... австрийского капрала. — Речь о двух событиях 1832 года. Бельгия стала независимой от Голландии в результате революции 1830 г., однако голландский король Вильгельм I не хотел смириться с этой утратой, и в августе 1832 г. его войска вторглись в Бельгию; на помощь бельгийцам пришли французы; отряд под командованием маршала Жерара вошел в Брюссель и ввиду подобной демонстрации силы голландцы отступили на свою территорию; Англии, однако, такое усиление Франции не понравилось, и по требованию английского министра иностранных дел Пальмерстона отряду Жерара пришлось покинуть Бельгию. В итальянский город Анкону, находившийся в папских владениях, французский полк вошел 22 февраля 1832 г.; целью французов было помочь папе навести порядок в его государстве, охваченном революционным движением, и не позволить Австрии распорядиться в папских владениях единолично. Этим вторжением были возмущены не только австрийцы, но и римский двор, однако глава французского кабинета Казимир Перье считал, что в данном случае на карту поставлена честь Франции, и не согласился на вывод своего полка из Анконы; в апреле 1832 г. было постановлено, что французы останутся в Анконе до тех пор, пока австрийские войска не будут удалены из других провинций папского государства; в результате они находились там до 1838 г.

С. 467. ...холи-роудских изгнанников... — Холи-Роуд — замок в Шотландии, где в 1830 г. нашел приют Карл с семейством.

Книга тридцать шестая

С. 471. ...с улицы *Куртиль*... — На этой улице находились кабачки, где парижане «провожали» карнавал (масленицу).

С. 473. *«Лестница на Парнас»* — латинско-французский словарь с обозначением долгих и кратких слогов.

С. 475. *«День баррикад»* 12 мая 1588 г. — восстание парижского народа под руководством «Шестнадцати» (по числу кварталов Парижа) против короля Генриха III и в поддержку Генриха де Гиза. Ашиль де Арле во время всех смут хранил верность

Генриху III (за что был заключен «Шестнадцатую» в тюрьму), а затем Генриху IV. Ниже Шатобриан цитирует «Рассуждение о жизни Ашиля де Арле» (1616) Жака де ла Валле.

С. 476. *Демортье* был королевским прокурором суда первой инстанции департамента Сена; к конгрегации он не принадлежал; следователя звали Пультье, и, по свидетельству Ида де Невиля, которого также допрашивали в связи с этим делом, вел он себя вполне деликатно.

С. 478. *...господин де Бертен... министерским маслом...* — Направление газеты «Журналь де Деба», которую редактировал Бертен, было проправительственным; тем не менее 18 июня 1832 г. Бертен опубликовал в ней статью в защиту Шатобриана, в которой содержалось требование освободить его из-под стражи.

...господин Вильмен совершил героический поступок... — Историк литературы Вильмен был в это время пэром (это звание он получил за месяц до описываемых событий) и вице-президентом высшего совета по народному просвещению; посещение опального Шатобриана могло испортить столь успешно начатую карьеру и потребовало от Вильмена некоторого мужества.

С. 479. *...не с лучшей стороны...* — В 1838 г. Жиске оказался замешан в дело о взятках.

С. 480. *Шешель и Реусс* — реки в Швейцарии.

С. 481. *...двумя озерами, принадлежащими двум народам...* — Имеются в виду швейцарцы и итальянцы.

Сады Армиды — заколдованные владения волшебницы из «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо.

Монфужская равнина — равнина в окрестностях Парижа.

С. 482. *Коровий луг* (Campo Formio) — рынок скота, располагавшийся в XVI — начале XIX вв. на римском форуме и изображенный на одноименном полотне К. Лоррена, хранящемся в Лувре.

С. 483. *Отечество — в краю, где рождена душа.* — Вольтер. Магомет. Д. 1, явл. 2.

...конец сентября... — Следует читать: «конец октября».

Коппе — замок, принадлежавший Ж. Неккеру, а затем его дочери, г-же де Сталь; здесь она подолгу жила во время вынужденной (по приказу Наполеона) разлуки с Парижем.

С. 484. *...умерший раньше своего дитяти...* — Сын Огюста де Сталя родился спустя несколько месяцев после его смерти.

«Что вы ищете живого между мертвыми?» — Лука, 24, 5.

С. 485. *...болезнь мечтателя!* — Шатобриан обыгрывает название автобиографической книги Руссо «Прогулки одинокого мечтателя» (изд. 1782).

В Италию! — Реминисценция из Вергилия (Энеида, IV, 345–347).

Салев — гора близ Женевы.

...об аресте госпожи герцогини Беррийской... — Герцогиня была арестована 7 ноября 1832 г. в Нанте.

С. 486. *...председателю совета... военному министру.* — Оба эти поста занимал в тот момент маршал Сульт, министром юстиции был Барт.

...тому, чье сходство с Генрихом IV довершил кинжал Лувеля. — Имеется в виду герцог Беррийский, погибший, как и Генрих IV, от руки убийцы.

С. 487. ...разве их самоотвержение не жертва? — Имеется в виду польское восстание против России в 1830—1831 гг., подавленное в сентябре 1831 г.

С. 488. ...замешан в эти процессы. — Причиной тому была брошюра «О пленении госпожи герцогини Беррийской», на которую 9 января 1833 г. был наложен арест.

...признание госпожи герцогини Беррийской. — 26 февраля 1833 г. была опубликована декларация герцогини от 22 февраля, извещающая о том, что в Италии она тайно вступила в новый брак; меж тем роялисты, ничего об этом не знавшие, уже несколько недель опровергали слухи о ее беременности.

...в ту самую залу... революционный трибунал... — Имеется в виду Дворец Правосудия на острове Сите.

С. 489. ...своим отважным поступком... — Имеется в виду тайный приезд герцогини во Францию ради того, чтобы силой возратить сыну трон.

С. 490. Шеве был владельцем знаменитой продуктовой лавки и ресторана в Пале-Руаяле; на суде он проголосовал за признание Шатобриана невиновным.

Уж не Брут ли вы... великому Риму? — Полулегендарный римский герой Луций Юний Брут бесстрашно позволил казнить двух своих сыновей, замешанных в заговоре против римской республики.

Книга тридцать седьмая

С. 491. Книга тридцать седьмая. О чтении этой и следующей книг в салоне г-жи Рекамье, как оно запомнилось русскому другу Шатобриана А. И. Тургеневу, см. нашу публикацию: Вопросы литературы, 1991. № 3. С. 200—208; к приведенным там свидетельствам добавим еще один штрих, почерпнутый из писем того же Тургенева и позволяющий понять, как воспринимали описание шатобриановского путешествия в Прагу (сюжет сугубо злободневный) современники. Присутствовавший на одном из чтений этой части ультрароялист Л.-Ф.-П. де Керголай разглядел в тексте Шатобриана оскорбительную непочтительность. «О записках Шатобриана, кои слышал Керголай, — заносит А. И. Тургенев 8 июля 1835 г. в дневник. — Смеется над Карлом X, Дофином и даже над герц(огом) Бордо — следов(ательно), над несчастьем и младенцем!» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 305. Л. 89об.).

Богдельня Марии Терезы, основанная в 1819 г., была куплена четой Шатобриана в феврале 1820 г. за 55 тысяч франков.

С. 492. ...не улыбается мне... — Шатобриан обыгрывает два значения латинского *ridet* — «смеется» и «кажется веселым, милым» (в переводе Церетели — «приходится по сердцу»).

...воцарившейся 7 августа. — 7 августа 1830 г. палата депутатов проголосовала за воцарение Луи Филиппа.

С. 493. ...мне однажды уже случилось описывать... — См.: Гений христианства. Ч. 4, кн. 1, гл. 8.

С. 494. *Ла Мартиньер*, товарищ Шатобриана по службе в Наваррском полку, стоявшем в Камбре, делился с однополчанином своими любовными переживаниями, поглощая наливку, платить за которую порой приходилось Шатобриану.

Автор «Коринны» — художник Жерар, автор картины «Коринна на Мизенском мысу», написанной по мотивам романа г-жи де Сталь «Коринна» (1807).

...жемчужина Севильи Доротея... — По-видимому, Шатобриан контаминирует здесь названия двух произведений Лопе де Веги — диалогического романа «Доротея» (1632) и пьесы «Звезда Севильи» (1623).

Орден Людовика Святого был основан в 1693 г. Людовиком XIV; членами его становились офицеры-католики, отличившиеся в сражениях; им выплачивалась значительная пенсия. Отмененный Конвентом, орден был восстановлен в 1814 г. Людовиком XVIII и снова отменен в 1830 г.

С. 495. *Логогриф* — род шарады, жанр, популярный в журналах XVIII в.

...в «Альманахе муз»... — См. примеч. к с. 139.

Родители, отдающие свою дочь на поругание... чтобы она рожала при людях... как рождается ее король! — Обычай требовал, чтобы во избежание подмены королевы Франции рожала при открытых дверях; сходным образом в замке Блай, где герцогиня Беррийская 10 мая 1833 г. родила дочь, в соседней комнате находились свидетели — разумеется, не столь высокого рода, как те, что некогда выполняли сходную миссию при дворе. Герцогиня Беррийская, конечно, не была «дочерью» короля, но приходилась племянницей его жене (см. примеч. к с. 432).

...пражских родичей... — В Праге в это время жили дети герцогини Беррийской, ее свекор Карл X и дедерь герцог Ангулемский с женой. Присоединением Бельгии к Франции герцогиня Беррийская намеревалась ознаменовать воцарение своего сына на французском престоле; женить будущего Генриха V она хотела на российской великой княжне Ольге Николаевне.

С. 496. *Пленища Тампля* — герцогиня Ангулемская (см. примеч. к с. 457).

Книга тридцать восьмая

С. 499. *Барранд* воспитывал принца в либеральном духе, *де Дамас* — в соответствии с устаревшими придворными догмами.

С. 500. *Бертены... не щадят изгнанника... мне известно.* — Намек на проправительственное направление газеты Бергенов «Журнал де Деба» при Июльской монархии.

...голову его брата... сердце его сына... — Имеются в виду Людовик XVI и герцог Беррийский.

С. 501. *...но вы от нее отказались.* — Эту пенсию в 12 тысяч франков Шатобриан согласился принять от герцога Бордоского (Генриха V) лишь в 1843 г.

«Постель, еда и кров, чего желать мне боле?» — Лафонтен. Крыса, удалившаяся от мира (Басни, VII, 3).

С. 502. *Жан де Сентре* — заглавный герой куртуазного романа Антуана де Ла Сала (ок. 1459), паж, становящийся образцовым рыцарем.

С. 503. *Людовик XIX* — этот титул носил бы герцог Ангулемский, если бы стал королем.

С. 504. ...*в лоне семьи английского претендента...* — См. примеч. к с. 374 и 378; здесь речь идет о младшем претенденте.

...*памятование о госпоже де Поластрон...* — В 1804 г. аббат Латиль соборовал эту фаворитку Карла X (в ту пору носившего титул графа д'Артуа).

С. 506. ...*папой римским — Григорий V...* — На самом деле этого папы в 1001 г. уже не было в живых; папой был Сильвестр II.

...*это год отречения Генриха IV...* — Имеется в виду окончательный переход этого короля в католичество (см. примеч. к с. 309 и 423).

Блондель — трувер XII в., персонаж комической оперы Седена и Гретри «Ричард Львиное сердце» (1784), где он поет у подножия башни, куда австрийский герцог заточил Ричарда, романс «О Ричард, о мой король!», по которому тот узнает друга; романс этот служил «паролем» роялистам (см. примеч. к с. 136).

С. 507. ...*был день, когда, уподобясь Юлиану... своей крови...* — Шатобриан имеет в виду свою юношескую попытку самоубийства (см. наст. изд., с. 59—60); противник христианства римский император Юлиан Отступник, смертельно раненный в битве с персами, показал небесам на свою кровь со словами: «Ты победил, галилеянин!»

С. 508. ...*но меня не пустили.* — В Троицын день 6 июня 1824 г. Шатобриан узнал о своей отставке с поста министра иностранных дел.

...*он выдал замуж герцогиню Беррийскую...* — Речь идет о первом браке герцогини, заключенном в ту пору, когда она была неаполитанской принцессой, а Блакас — французским послом в Неаполе.

...*сопровождая госпожу герцогиню Беррийскую...* — В 1831 г. Блакас провожал ее из Шотландии в Италию.

С. 509. ...*так же как... герцоге Эперноне...* — Унизительное сравнение; этот фаворит Генриха III, как пишет Шатобриан в «Исторических этюдах», выдвинулся исключительно благодаря «невозмутимому чванству посредственности».

С. 510. *Салический закон* — см. примеч. к с. 449.

С. 512. *Наваринское сражение* — морской бой 20 октября 1827 г., в котором русско-английский флот разгромил флот турков и египтян.

С. 514. ...*этих сухих и легких листьях...* — Реминисценция из «Энеиды» (III, 444—445), где кумская сивилла «письмена <...> листьям вверяет,/ Все предсказанья свои записав на листьях древесных,/ Дева их в гроте глухом оставляет, сложив по порядку,/ Должной чредой они до тех пор лежат неподвижно,/ Не повернется пока дверная ось и не сдвинет/ Листья с мест ветерок, отворенный поднятой дверью» (пер. С. Ошерова).

...*встреча с Боссюэ...* — Боссюэ произнес надгробную речь Великому Конде.

Книга тридцать девятая

С. 515. *Гигия* — древнегреческая богиня здоровья, дочь Эскулапа; традиционно изображается со змеей, которую она кормит из чаши.

Ландивизьо — город на северо-западе Бретани; древней столицей этого края был город Ландерно, жители которого стали во Франции олицетворением хвастливых провинциалов; так, по преданию, житель Ландерно, побывав в Версале, сказал: «А наша луна лучше!» — имея в виду металлический круг-луну над колокольной в Ландерно.

Святой Клодоальд (по-французски *Сен-Клу*) жил в пустыни, названной в его честь Сен-Клу; с XVI в. здесь находилась резиденция французских королей; именно в Сен-Клу Карл X подписал роковые ордонансы 1830 г.

...на жестокость Терей... — Намек на греческий миф о фракийском царе Терее, который насильно овладел сестрой своей жены Филомелы, а затем вырезал ей язык; Зевс превратил Филомелу в соловья.

С. 516. *Дева Мария Страждущая* (*Santa Maria dello spasimo*) — картина, которую в XIX в. приписывали Рафаэлю, а теперь считают произведением Джулио Романо; написанная для монастыря в Палермо, она затем попала в мадридский музей Прадо, откуда была вывезена во Францию и в 1810–1815 гг. выставлялась в Лувре, а в 1818 г. была возвращена в Мадрид.

С. 520. *Консьержери* — парижская тюрьма, где в августе — октябре 1793 г. ожидала казни Мария Антуанетта.

Графиня де Марн — герцогиня Ангулемская (после революции 1830 г. она и ее супруг именовали себя графом и графиней де Марн).

...13 февраля 1820 года... — Герцог Беррийский был убит в ночь с 13 на 14 февраля.

С. 523. *Симмах* — последний защитник язычества в Древнем Риме, требовавший вновь установить на Капитолии статую богини Победы.

С. 524. *Мандзони*. — Шатобриан цитирует трагедию «Адельгиз» (1822, д. 4, явл. 1).

С. 525. *...река в Шатне!* — Шатне-Малабри, пригород Парижа, где расположена Волчья долина, отстоит довольно далеко от течения Сены; нет там и мелких рек.

С. 527. *Мангеймское золото* — фальшивое золото, из которого в Мангейме делают украшения; *тулузское золото* — сокровище дельфийского храма, выкраденное оттуда вольсками, которые затем осели в Тулузе; по легенде, Аполлон проклял воров, и золото это приносило всем владельцам одни несчастья.

С. 529. *Фабер* отверг предложение Людовика XIV стать кавалером ордена Святого духа, так как по правилам для этого требовалось иметь в роду четыре поколения дворян, Фабер же был происхождения незнатного.

...одинокая подруга Карреля. — Эмилия Антуан, по мужу Будор, уроженка Вердена, жена капитана Будора, с которым она рассталась затем, чтобы вступить в гражданский брак с Каррелем.

...вальмийских высот... о Жеммане... — См. примеч. к с. 414.

Шалон — город, куда в сентябре 1811 г. удалилась г-жа Рекамье, которой Наполеон приказал покинуть Париж.

...жены Жана не было дома... — По преданию, Лафонтен однажды вернулся в родной Шато-Тьерри из Парижа, не застал жену дома и, так и не повидав ее, возвратился назад к своей возлюбленной, госпоже де Ла Саблиер.

Мо — город, где был епископ Боссюэ.

Книга сороковая

С. 530. *Если бы Madame не сделала никакого заявления...* — Имеется в виду декларация о замужестве, благодаря которой герцогиня Беррийская была освобождена из крепости Блай и отправлена в Италию.

Канцлер — Пасторе, назначенный на этот пост в 1829 г. и смещенный за нежелание присягать Луи Филиппу.

С. 531. *Святой Мартин*, по преданию, в юности, в бытность свою воином, уступил свой плащ бедняку.

Галаор — герой испанских рыцарских романов, защитник вдов и сирот.

С. 532. *...будет мой брат...* — Братом Людовика XIII был Гастон Орлеанский.

Кончини — итальянский авантюрист, фаворит и правая рука королевы Марии Медичи, которая после смерти своего мужа Генриха IV стала регентшей при своем малолетнем сыне Людовике XIII; *Ришелье* начинал свою придворную карьеру в пору всеславия Кончини. Коннетабль *де Люин*, заручившись согласием шестнадцатилетнего короля, принял деятельное участие в аресте и убийстве Кончини.

...и отбросил костыли. — Так, по преданию, поступил кардинал Феличе Перетти в ту минуту, когда узнал о своем избрании папой (под именем Сикста V).

С. 533. *Из кающихся глаз кропит водой святою.* — Строка из сатиры XIII Матюрена Ренья (речь идет о лицемерной сводне).

Шантелу — имение герцога де Шуазеля, куда он был сослан после двенадцатилетнего пребывания на посту министра иностранных дел.

С. 538. *...замком в По...* — Там провел детство и юность Генрих IV.

...вступил на политическое поприще. — В Вероне в октябре — декабре 1822 г. проходил конгресс европейских держав, на котором Шатобриан был одним из представителей Франции.

С. 539. *Будет явлена написанная книга.* — Строка из средневекового церковного гимна *Dies irae, dies ille...* (Тот день, день гнева...), входящего в заупокойную мессу.

Карл X умер через три года после того, как Шатобриан проездом оказался в Вероне.

...не вспомнил Шекспира. — В Вероне происходит действие трагедии «Ромео и Джульетта».

С. 540. *Сеньор Пококуранте* — пресыщенный венецианский сенатор, персонаж повести Вольтера «Кандид» (1759; гл. XXV).

...Энея ... Лавинию... — Перечислены персонажи «Энеиды» Вергилия.

Паоло — граф Поль де Шуло, служивший «связным» между герцогиней Беррийской и ее сторонниками.

С. 541. ...*историю... рассказанную Руссо...*— Далее Шатобриан цитирует «Исповедь» Руссо (ч. II, гл. VII).

С. 542. ...*диким поступком Руссо...*— Руссо отверг Джульетту из-за того, что на одной груди у нее был кривой сосок.

«*Черноволосая, статная... ездить на Лидо*».— Отрывок из письма Байрона к Дж. Меррею от 1 августа 1819 г.

С. 543. ...*воспел Венецию в пленительных строках*.— Байрон описал Венецию в четвертой песни «Паломничества Чайльд Гарольда».

...*биографа Рене с певцом Чайльд Гарольда*.— В кн. 12, гл. 4 Шатобриан рассуждает о сходстве некоторых его героев и описаний с байроновскими и о причинах, по которым Байрон ни разу не назвал его имени в своих произведениях (из самолюбия? из высокомерия?).

«*Укрывшись среди скал... словно пенящиеся волны*».— Цитата из песни IX «Мучеников».

С. 544. ...*ненавидит адский блеск Рубensoвых красок...*— См. письмо Байрона к Августе Ли от 1 мая 1816 г.

Экстер-Чейндж — лондонский зверинец; см. запись в дневнике Байрона от 14 ноября 1813 г.

С. 545. ...*отданную в раю двум божественным мужчинам...*— Монтескье. Персидские письма. Письмо 141-е.

...*Венеция вдохновляет Корину...*— Ниже Шатобриан цитирует роман г-жи де Сталь «Коринна» (1807; кн. 15, гл. 7 и 9; кн. 16, гл. 3).

Книга сорок первая

С. 546. *Пролегат* — заместитель легата (уполномоченного папы римского, направляемого в иностранное государство с особой миссией).

С. 547. *Абен-Гамет* — герой повести Шатобриана «Последний из Абенсерагов»; *Анжелика и Черный Аквилан* — персонажи поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд».

...*где томился Тассо...*— См. примеч. к с. 375.

Книга сорок вторая

С. 548. ...*на совершеннолетие Генриха...*— 29 сентября 1833 г. Генриху V (герцогу Бордоскому) пошел четырнадцатый год, и по законам французского королевства он сделался совершеннолетним; по этому поводу к Карлу X прибыла делегация французских легитимистов, которые, как и герцогиня Беррийская, ждали от старого короля торжественной декларации, подтверждающей права Генриха V на престол (декларации о совершеннолетии). Меж тем старый король, желая угодить австрийским властям, стремился избежать политического скандала.

Бутширад — чешский город Бутшеград.

С. 549. *Великим герцогом Тосканским* был в 1833 г. Леопольд II, принадлежавший к австрийской династии Габсбургов.

С. 550. *Холи-Роуд* — см. примеч. к с. 467.

...с жезлом Аарона... — См.: Числа, 17, 8.

С. 551. *...оправиться от стремительного бегства.* — Имеется в виду отъезд королевского семейства из Праги в Бутширад с тем, чтобы избежать встречи с прибывшими из Франции легитимистами (см. примеч. к с. 548).

Книга сорок третья

С. 552. *...под сенью преступления своего отца...* — См. примеч. к с. 76.

...резней на улице Траснонен, расстрелами в Лионе... — Имеется в виду подавление республиканских выступлений в Париже и Лионе в апреле 1834 г.

С. 555. *Отчего он не женил старшего сына... рожденной в его отечестве?* — Наследник престола женился в 1837 г. на принцессе Елене Меклембургской.

...нашу муниципальную монархию... — Шатобриан называет Июльскую монархию муниципальной, так как Луи Филипп первоначально был избран королем в парижской Рагуше.

...караибы рубят пальму, чтобы собрать с нее плоды. — По-видимому, парафраз известного определения Монтескье: «Когда дикари Луизианы хотят поесть плодов, они срубают дерево и срывают плоды. Вот сущность деспотизма» (О духе законов, V, 13).

С. 556. *Господин Тьер.* — Шатобриан рассматривает Тьера как историка (см. примеч. к с. 462) и как государственного деятеля (в 1830-е годы Тьер неоднократно входил в состав разных министерств; в 1836 г. с февраля по сентябрь и в 1840 г. с марта по октябрь возглавлял кабинет). Особенное неодобрение Шатобриана вызывала внешняя политика Тьера в 1840 г. в связи с восточным вопросом (см. примеч. к с. 426 и 447).

С. 557. *...10 августа...* — См. примеч. к с. 53. *Барбару* при штурме королевского дворца Тюильри возглавлял отряд марсельских федератов.

С. 558. *...идут на заклатие.* — Именно такими представлены жирондисты в сочинении Ш. Нодье «Последняя трапеза жирондистов» (1833), с которым, вероятно, и спорит Шатобриан.

Сентябрьские законы были приняты в сентябре 1835 г. после покушения Фиески на Луи Филиппа; они ужесточили репрессивные меры против тех, кто покушается на государственную безопасность, и ограничили свободу печати (ср. примеч. к с. 439).

Гран-Во — замок депутата графа Вижье, где тот в 1834 г. устроил пышное празднество для своих друзей, в том числе и для Тьера.

...утверждал, что отправится в Мадрид... — Под влиянием Луи Филиппа, не желавшего, чтобы Франция вмешивалась в какие бы то ни было войны, Тьер отказался от намерения послать французских волонтеров в Испанию, где в середине 1830-х гг. шла борьба за престол (см. примеч. к с. 449).

Прах Наполеона был перевезен с острова Святой Елены в Париж и торжественно захоронен в соборе Инвалидов 15 декабря 1840 г. В это время Тьер уже не был председателем совета (отставлен 29 октября 1840 г.), но инициатором этой акции был именно он.

С. 559. *Дец* в ноябре 1832 г. за сто тысяч франков указал Тьеру дом в Нанте, где скрывалась герцогиня Беррийская.

...отдай он приказ напасть на английский флот... — Имеется в виду турецко-египетский конфликт 1840 г.; Англия в этот момент поддерживала Турцию, а Франция — Египет.

С. 560. ...окружил крепостной стеной... — См. примеч. к с. 70.

...как дочерей Ахелоя. — Реминисценция из «Науки поэзии» Горация (строка 4), где неудачная картина описывается в виде сирен (в них превратились дочери речного бога Ахелоя): «Лик от красавицы девы, а хвост от чешуйчатой рыбы».

Вельхи — пренебрежительное название французов у Вольтера (по самоназванию древнего кельтского племени).

...как Вергилиевы пчелы... — «Их воинственный пыл и любое такое сражение Пыли ничтожный бросок подавляет, и снова все тихо» (Георгики, IV, 86—87).

С. 561. *Бельфор* — французский город, где в декабре 1821 г. был раскрыт республиканский заговор; Лафайет, который в случае успеха должен был возглавить временное правительство, направлялся в Бельфор, но вовремя успел повернуть назад.

...прославился благодаря тем эпизодам... своих жертв. — В начале революции, когда народ жестоко расправлялся с представителями королевской администрации, Лафайет поддерживал восставших; позже, во время Террора, смерть стала грозить ему самому, и он, чтобы не погибнуть, был вынужден сдаться в плен австрийцам.

С. 562. ...на берегах Потомака. — Речь идет о Вашингтоне.

...но его желание не было исполнено. — Современные биографы Лафайета считают, что желание это было исполнено: американцы прислали горсть их земли, которую смешали с французской землей на кладбище Пиклюс.

...на кладбище Пиклюс... добродетельной супруги... — На кладбище бывшего монастыря августинцев на улице Пиклюс были похоронены во время революции многие аристократы, казненные при Терроре, в том числе и теща Лафайета, герцогиня д'Айен-Ноай; в 1801 г. кладбище это было куплено родственниками покойных. Адриенна де Лафайет не только прощала мужу его интриги с другими женщинами, в частности, продолжительный роман с ослепительной красавицей графиней Дианой де Симиан, но и добровольно разделила с ним тяготы заключения в цитадели австрийского города Ольмюц, куда отправилась в 1795 г., едва выйдя на свободу из парижской тюрьмы.

С. 563. *Смех в зале.* — Лафайет-младший при Июльской монархии был депутатом оппозиции, поэтому личная привязанность к нему председателя палаты депутатов Дюпена, преданного Луи Филиппу, вызывала сомнение и смех.

Вы знаете... познакомился с господином Каррелем... — Шатобриан сочувственно процитировал А. Карреля в книге «Исторические этюды» (1831), и Каррель пришел к нему,

чтобы выразить свою благодарность; об этом рассказано в кн. 35, гл. 9 «Замогильных записок» (в наше издание не вошло).

С. 564. ...из-за ничтожной ссоры... с его головы. — Каррель напечатал в редактируемой им газете «Насьональ» заметку своих друзей-журналистов, порицающую действия Эмиля де Жирардена, редактора новой газеты «Пресс», цена на которую была сильно занижена; Жирарден в своем ответе коснулся обстоятельств личной жизни Карреля, тот счел себя оскорбленным, и дело кончилось дуэлью.

...посадили в тюрьму Сент-Пелажи... — В течение восьми месяцев 1834 г. Карреля трижды приговаривали к двухмесячному тюремному заключению за оппозиционные материалы, напечатанные в редактируемой им газете «Насьональ».

...своего соседа... льва из Зоологического сада... — Тюрьма Сент-Пелажи располагалась на улице Кле, неподалеку от Зоологического сада.

С. 565. ...женщина ослепительной красоты... он был прикован. — О гражданской жене Карреля см. примеч. к с. 529.

...в том лесу, где пал герцог Энгиенский... — В Венсенском лесу.

Сен-Манде — местечко близ Венсенского леса, раненого Карреля принесли туда в дом одного из его друзей.

С. 566. «Я мог представить себе... их избежать». — Отрывок из статьи Карреля «Добровольная смерть» («Ревю де Пари», июнь 1830), посвященной самоубийству книгопродавца Сотле, управляющего газеты «Насьональ».

С. 567. ...как солдаты Цезаря в Бриндизи... — Имеется в виду эпизод, предшествовавший сражению Цезаря с Помпеем при греческом городе Фарсале (48 до н. э.).

С. 568. «Лелия» (1833) — философский роман Жорж Санд, заглавная героиня которого может считаться духовной наследницей Рене.

«Оберман» (1-е изд. — 1804) — роман Э. де Сенанкура, заглавный герой которого — меланхолик и созерцатель; в связи с переизданием романа Ж. Санд посвятила ему статью в «Ревю де Де Монд» (15 июня 1833 г.).

...Рене явился... на Лидо... принять Лелию. — Лидо — полуостров, отделяющий лагуну от моря Венеции; о пребывании в Венеции Шатобриана (Рене) рассказано выше в «Замогильных записках»; Санд (Лелия) побывала там зимой 1833—1834 гг.; в тот момент, когда Шатобриан писал ей благодарственное письмо, она готовилась к отъезду.

«Индюк», «Валентина» (оба 1832) — первые романы Ж. Санд.

С. 569. ...рождается новое Евангелие... оклеветанного души. — Имеются в виду призывы сен-симонистов и фурьеристов к полному равенству полов; ниже Шатобриан в утрированном виде пересказывает их теории.

С. 570. ...гибели распутника в грязной луже. — Имеется в виду герой «Лелии» поэт Стенио, тонущий в озере.

Заставить госпожу Санд переменить веру... — Ср. в передаче А. И. Тургенева рассказ литератора и путешественника В. П. Давыдова (1809—1882) о том, как набожный Состен де Ларошфуко уговаривал Шатобриана побывать у Жорж Санд «и внушить ей правила христианства: Шатобриан послушался, но совет его состоял в противном!

Иначе, полагал он, Sand потеряла бы в своем таланте» (А. И. Тургенев — Н. И. Тургеневу, 23 октября 1839; РО ИРЛИ. Ф. 309. № 706. Л. 69).

...«зима катит в глаза»... — В оригинале цитата из басни Лафонтена «Стрекоза и муравей».

С. 571. ...*все эти чаровницы... благовониями Аравии.* — Перечисление восходит к диалогу Афиней (II—III в.) «Пирующие софисты».

С. 572. *Один человек покинул наш мир... могущественных племев.* — Речь идет о Талейране, умершем 17 мая 1838 г.; «Веронский конгресс» вышел 29 апреля 1838 г.

...*Мобрей дал ему пощечину.* — Авантюрист Мобрей в апреле 1814 г. ограбил карету вестфальской королевы, жены Жерома Бонапарта и похитил у нее брильянты стоимостью в несколько миллионов; арестованный, он показал, что совершил кражу по приказу Талейрана и что Талейран 2 апреля 1814 г. подговаривал его зарезать Наполеона. Выйдя на свободу, Мобрей 20 января 1827 г. в соборе Сен-Дени, сразу после торжественной службы, дал Талейрану пощечину такой силы, что она сбила князя Беневентского с ног; за это суд приговорил Мобрея к двум годам тюрьмы и денежному штрафу.

...*в обоянке на улице Капуцинок...* — Там располагалось министерство иностранных дел.

С. 573. ...*с его двойным отступничеством...* — Талейран сначала предал свое аристократическое происхождение и священнический сан ради революции, а затем предал Империю ради Реставрации.

...*речи, которую он произнес в палате пэров... войны в Испании...* — Талейран произнес эту речь 3 февраля 1823 г. в связи с кредитом, который Виллель попросил выделить ему на войну с Испанией.

С. 574. ...*господин де Талейран будет арестован.* — Имеется в виду сцена, происшедшая в Тюильри 28 января 1809 г.; когда Наполеон, срочно вернувшийся в Париж из Испании, где французская армия тщетно пыталась полностью подавить народное восстание, созвал к себе всех высших сановников и произнес гневный монолог, направленный против Талейрана, которого в глаза назвал «вором, трусом и подлецом». Поводом к этому взрыву гнева послужили дошедшие до императора слухи о том, что под влиянием его неудач в Испании Талейран и Фуше сообща задумали посадить на его место Мюрата.

...*женить герцога Беррийского на русской великой княжне...* — См. примеч. к с. 293.

С. 575. *Перигор* — вторая часть фамилии рода Талейранов, который его представители возводили к графам де Перигор, в X в. боровшимся за власть с королем Иль-де-Франса Гуго Капетом.

С. 576. *Варвик* — английский граф, получивший прозвище «Творец королей»: сначала он помог получить корону Эдуарду IV, который боролся с Генрихом VI, а затем, утратив благосклонность Эдуарда IV, возвел на престол Генриха VI, но в конце концов был убит снова захватившим власть Эдуардом IV.

С. 577. *Амьенский мир* был заключен 25 марта 1802 г. между Францией и Англией.

Королевство в Этрурии было образовано в 1801 г. вместо принадлежавшего Австрии великого герцогства Тосканского.

...*на конфискации имущества духовенства в Германии*... — Имеются в виду конфискации, производившиеся после образования Рейнской конфедерации (см. примеч. к с. 242).

...*возвратил оригиналы*. — Шатобриан не знал, что продажа в самом деле состоялась; выкраденная Талейраном в 1814 г. из архивов переписка Наполеона с самим Талейраном, императором Францем I, французскими министрами иностранных дел Шампаньи и Маре (12 толстых пакетов) была в 1817 г. продана Меттерниху за 500 тысяч франков и обязательство предоставить, если потребуется, Талейрану убежище в Австрии. Документы эти были обнаружены в венских архивах лишь в 1933 г. (см.: *Revue de Paris*. 1933. Т. 6. № 24. Р. 770—782).

...*кажется мне посмертным филляством*. — Шатобриан ошибся: Талейран в самом деле завещал издать свои записи через много лет после своей смерти (но не через сорок, а через тридцать лет); в 1866 г. по настоянию Наполеона III публикация была отложена еще на тридцать лет.

С. 578. ...*мелькнула в Лондоне... монархии-трупа*. — Талейран был французским послом в Лондоне в сентябре 1830 — ноябре 1834 гг.

...*тупоумному немцу, которого презирал*. — 3 марта 1838 г., за два месяца до смерти, Талейран произнес в Академии нравственных политических наук «Похвальное слово графу Рейнгарду», своему бывшему подчиненному-дипломату; особенный восторг публики вызвал тот факт, что восьмидесятичетырехлетний старик читал свою речь сам и даже без очков.

...*нескончаемый торг за свое примирение с небом... морочить простодушного священника... деяниям, им свершенных*. — Талейран, в юности постриженный в священники, а во время Революции самовольно сложивший с себя сан епископа и отлученный за это от церкви, незадолго до смерти написал парижскому архиепископу де Келену письмо с отречением от прежних грехов; архиепископ одобрил письмо, но потребовал уточнения (и ужесточения) некоторых формулировок. За два дня до смерти архиепископ прислал Талейрану уточненный вариант отречения, который Талейран одобрил... — но отказался подписать, сказав, что поразмышляет над ним еще немного. Накануне кончины Талейрана его внучатая племянница Полина де Талейран-Перигор (дочь невестки и многолетней спутницы жизни Талейрана герцогини де Дино, набожная восемнадцатилетняя девушка) упростила деда принять аббата Дюпанлу, который жаждал получить от умирающего искомую бумагу, а затем проделать над ним все подобающие религиозные церемонии; Талейран, в принципе соглашаясь подписать отречение, продолжал говорить, что следует еще немного подождать, и назначил последний срок — раннее утро 17 мая. Именно в этот день, между 6 и 7 часами утра, Талейран, как и обещал, все-таки подписал две бумаги: декларацию с отречением от прежних грехов и покаянное письмо к папе Григорию XVI, причем настояя, чтобы под ними стояло «Составлено 10 марта» — то есть была указана дата, близкая к тому дню, когда он выступал в Академии (он не хотел, чтобы кто-то мог подумать, будто он составил эти

бумаги, впав в детство). В тот же день, в три часа 45 минут пополудни, Талейран скончался.

Книга сорок четвертая

С. 580. *Челламафе*, испанский посол во Франции в 1715 г., действуя по указаниям испанского кардинала Альберони, стремился посадить на французский престол вместо регента Филиппа Орлеанского испанского короля Филиппа V.

...заразил Францию своей гангреной... — Имеются в виду развратные нравы, которыми отличался не только регент, но и кардинал Дюбуа.

Лоу попытался ввести во Франции новую кредитную систему; его банкротство разорило многих французов.

В 1734 году вспыхнула война... — Имеется в виду война за Польское наследство (1733—1738).

Один из наименее воинственных наших королей — Людовик XV.

...пал в Крефельде. — 23 июня 1758 г., во время Семилетней войны.

В июне 1745 года... из рода Стюартов... — В 1745 г. Карл Эдуард Стюарт начал в Шотландии боевые действия против английской армии; сначала он воевал весьма успешно, однако в 1746 г. потерпел поражение при Каллодене и вынужден был возвратиться во Францию.

Лабурдонне в 1744 г. разбил английский флот, заставил Мадрас сдаться и получил от этого индийского города, в 1639 г. покоренного англичанами, богатый выкуп, однако Дюплекс, управляющий всеми французскими владениями в Индии, отказался принять выкуп и сжег город, а своего соперника Лабурдонне обвинил в продажности и измене.

Акадия — см. примеч. к с. 103.

С. 581. *Творец «семейного договора»* — Шуазель (см. примеч. к с. 389).

Мопу заменил парламенты придворными советами... — Мопу, хранитель печати в 1768—1774 гг., вел борьбу с парламентами (высшими судебными учреждениями дореволюционной Франции), стремясь ограничить их права, поскольку они противились королевским реформам.

...порочившей его фаворитке... — Имеется в виду г-жа Дюбарри — женщина низкого происхождения и развратного нрава, во время революции погибшая на эшафоте.

Гара, министр юстиции в 1793 г., поставил Людовика XVI в известность о вынесенном ему приговоре.

...издавший роковой ордонанс... — Этот ордонанс вводил в армии телесные наказания.

...разверзлись все источники великой бездны... — Ср.: Бытие, 7, 11.

...слава его возвратилась к нам в его гробу. — Имеется в виду перенесение останков Наполеона в Париж (см. примеч. к с. 558).

...Корсика перешла во владение Франции... — Это произошло в 1767 г.; о дате рождения Наполеона см. с. 30 и примеч.

...без акты гражданского состояния... под покровительством Франции. — Речь идет об

американцах (в сентябре 1783 г. в Версале был подписан мирный договор, в котором Англия признавала независимость американских колоний).

С. 583. *...власть, рожденная в Реймсе...* — В Реймсе Хлодвиг, основатель первой династии французских королей, принял крещение; здесь короновались все французские короли.

С. 584. *...будешь есть хлеб.* — Бытие, 3, 19.

...отдал скипетр... в руки немощных старцев, девчушек... невест в подвенечном уборе... — Имеются в виду Фридрих Вильгельм III, правивший Пруссией сорок три года (1797—1840), Изабелла — королева испанская, унаследовавшая корону в три года (см. примеч. к с. 449), и английская королева Виктория, взошедшая на престол в 1837 г., когда ей было восемнадцать лет, а в 1840 г. вышедшая замуж за своего кузена Альберта.

С. 585. *...вырыты из могил в Сен-Дени...* — См. примеч. к с. 175.

С. 588. *...к ассоциациям труженников?* — Эта идея была выдвинута Ш. Фурье и пропагандировалась его последователями.

Коммандитные товарищества — организации, где некоторые участники отвечают по обязательствам всем своим имуществом, а остальные — только вкладами; идея принадлежит Р. Оуэну.

С. 590. *Отрывок из брошюры... «О прошлом и будущем народа»...* — Эту брошюру Ламенне написал в 1841 г. в тюрьме Сент-Пелажи, куда был заключен 26 декабря 1840 г. за опубликование другой политической брошюры («Страна и государство»). Шатобриан навещал Ламенне в тюрьме; выразительное свидетельство об этом содержится в письме А. И. Тургенева к Е. А. Свербеевой от 11 марта 1841 г.: «Кстати о сих властелинах языка, кои владеют им, как Геркулес своей дубинкой, как Юпитер громами. Шатобриан продолжает навещать *Сен-Пелагийского затворника* и беседовать с ним под шум буйных и развратных его товарищей» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 2550. Л. 67—67 об.). Аббат Ламенне, в 1810—1820-х г. бывший пламенным защитником официальной католической церкви, в 1830-е гг. порвал с нею и начал отстаивать демократические идеи, стремясь связать христианство с социальным реформаторством. Он не подчинился папским энцикликам, осуждавшим его заблуждения и призывавшим его отказаться от них (1832) и сложил с себя сан священника. Шатобриан познакомился с Ламенне в конце 1810-х гг., когда они вместе выпускали газету «Консерватёр»; общение их возобновилось в 1830-е гг. в салоне г-жи Рекамье Аббей-о-Буа, куда Ламенне привел П.-С. Балланш. Симпатии Шатобриана к Ламенне — «еретику» и реформатору — еще одно свидетельство его открытости новым идеям; не случайно австрийский дипломат Рудольф Аппони называл обоих «великими разрушителями общественного порядка» (цит. по: Durrig M. — J. La vieillesse de Chateaubriand. P., 1933. Т. 1. P. 454).

С. 591. *«Опыт о равнодушии в области религии»* (1817—1823) — первое произведение Ламенне, где он утверждал необходимость подчинять самовольное человеческое «я» воле религии.

С. 592. *...слово, ставшее плотью!* — Иоанн, 1, 14.

...не пришел и не сказал им... — Иоанн, 15, 22.

ПРИМЕЧАНИЯ

С. 593. ...*не затрагиваетесь до них!* — Лука, 11, 46.

С. 596. *Шестой континет* — Антарктида, где в 1837—1840 гг. побывала экспедиция Дюмона-Дюрвиля.

С. 598. ...*я сказал бы, как Сулла... вечного блаженства*». — Реминисценция из Плутарха (Сравнительные жизнеописания. Сулла. XXXVII).

...*перед раскрытым окном... иностранных миссий*... — В июле 1838 г. Шатобриан, продав дом при богадельне Марии Терезы архиепископу парижскому, переехал в дом на улице Бак, где десять лет спустя и скончался; ныне на этом доме висит мемориальная доска.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

- Аббон* (ум. 923) — монах, автор поэмы об осаде Парижа норманнами 258
- Абеляр* Пьер (1079—1142) — философ 62
- Абрамес* (урожд. Пермон) Лора Жюно, герцогиня д' (1784—1838) — жена наполеоновского генерала, губернатора Парижа А. Жюно (1771—1813), мемуаристка 358, 366—369
- Аваре* (урожд. де Майи-Нель) Анжелика Аделаида Софи, маркиза д' (ум. 1823) — сестра г-жи де Куален 226
- Аваре* Антуан Луи Франсуа де Безьяд, граф, с 1799 г. герцог д' (1759—1811) — фаворит Людовика XVIII в годы эмиграции 330
- Аваре* Клод Антуан де Безьяд, маркиз д' (1740—1829) — зять г-жи де Куален 226
- Август Октавиан* (63 до н. э. — 14 н. э.) — римский император с 27 г. до н. э. 43б
- Август Прусский* (1790—1843) — младший брат принца Людвиг Прусского 359
- Августин Аврелий* (354—430) — христианский богослов, отец Церкви 35, 74, 231, 362
- Авре*, герцог д' (1744—1839) — пэр Франции в эпоху Реставрации 269
- Агессо* Анри Карден Жан Батист, маркиз д' (1752—1826) — адвокат, член Французской академии 238
- Агессо* Анри Франсуа д' (1668—1751) — канцлер Франции в 1717—1718, 1720—1722, 1727—1751 гг., дед А.-К.-Ж.-Б. д'Агессо 238
- Агессо* (урожд. Ламуаньон) Мари Катрин, маркиза д' (1759—1849) — сестра О. и К. де Ламуаньонов, жена А.-К.-Ж.-Б. д'Агессо 167, 175
- Агриппина Младшая* (16—59) — мать Нерона, убитая по его приказу 215
- Агу*, виконтесса д' — придворная дама герцогини Ангулемской 518, 519
- Аддисон* Джозеф (1672—1719) — английский писатель, автор «Заметок о некоторых областях Италии» (1705) 376
- Аделаида* (1732—1800) — старшая дочь Людовика XV 354
- Аделаида Орлеанская* («госпожа Аделаида»;

* В указатель не вошли лица, упоминаемые во вступительной статье и примечаниях. Общеизвестные имена не аннотируются; у лиц французской национальности прилагательное «французский» в аннотациях опускается. Однофамильцы расположены по алфавиту имен. Одноименные короли расположены по алфавиту их национальностей.

- 1777—1847) — сестра Луи Филиппа 414, 432, 434—435
- Аделаида Савойская* (ум. ок. 1154) — королева Франции с 1115 г., жена короля Людовика VI Толстого, во втором браке за коннетаблем Матье де Монморанси 367
- Адмет* (нач. V в. до н. э.) — король молоссов 99
- Адриан* (76—138) — римский император со 117 г. 115, 198
- Азиний Поллион* (76 до н. э. — 4 или 5 н. э.) — римский политический деятель и писатель, соратник Цезаря, автор неоконченной «Истории гражданских войн» 317
- Айвз Джон* (1744—1812) — пастор, отец Шарлотты Айвз 150—153, 155, 159
- Айвз* (урожд. Уильямс) Сара (ум. 1822) — мать Шарлотты Айвз 150—153, 155—156, 159
- Айвз Шарлотта* (в замужестве леди Салтон) — английская возлюбленная Шатобриана 150—157, 159—160, 166, 343—344, 523
- Александр Македонский* (356—323 до н. э.) 101—102, 138, 316, 322, 324, 340, 382, 514
- Александр I* (1777—1825) — российский император с 1801 г. 221, 252, 254, 256—260, 267—268, 271, 293, 296, 315, 357, 363, 539
- Александра Федоровна* (1798—1860) — дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III, с 1817 г. жена великого князя Николая Павловича, с 1825 г. российская императрица 64
- Алквивад* (ок. 450—404 до н. э.) — афинский полководец и государственный деятель, «античный денди» 269, 338
- Алле-Котэкан*, маркиз дю (1799—1867) военный, камер-юнкер короля 31
- Альбани Джузеппе*, кардинал (1750—1834) — государственный секретарь при Пие VIII 387, 389
- Альбани* (урожд. Штольберг-Гедерн; 1753—1824) Каролина, графиня — жена К.-Э. Стюарта, возлюбленная В. Альфьери 378—379
- Альбани Франческо* (1578—1660) — итальянский художник 49
- Альберони Джулио* (1664—1752) — кардинал, испанский политический деятель, руководитель испанской политики в 1714—1719 гг. 580
- Альтьери* — знатная римлянка 382
- Альфьери Витторио*, граф (1749—1803) — итальянский писатель 378—379, 391
- Ампер Жан Жак* (1800—1864) — историк и филолог, завсегдатай салона г-жи Рекамье 370, 381, 478, 597
- Анакреонт* (ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт 239, 523
- Ангулемская Мария Тереза*, герцогиня (Madame, «госпожа супруга дофина»; 1778—1851) — дочь Людовика XVI и Марии Антуанетты, с 1799 г. жена герцога Ангулемского 281, 424, 457, 496, 498, 503, 505, 515—522, 532—538, 548, 549
- Ангулемский Луи Антуан де Бурбон*, герцог («дофин»; 1775—1844) — старший сын Карла X 215, 281, 282, 313, 330, 349, 379, 400, 415—417, 425—427, 429, 432, 440, 454, 456, 464, 467, 503—505, 507, 509, 522, 551
- Андийи* — см. *Арно д'Андийи*.
- Анна Австрийская* (1601—1666) — французская королева с 1615 г. 171
- Анна Павловна* (1795—1865) — сестра Александра I, с 1816 г. жена принца Вильгельма Оранского, с 1840 г. голландская королева 293, 574
- Ансильон Жан Пьер Фредерик* (1766—1837) — немецкий историк, философ и дипломат французского происхождения, в 1830 г. заместитель министра иностранных дел Пруссии, с 1831 г. — министр 402
- Антигон* (384—301 до н. э.) — македонский полководец 340

- Антиох* — имя нескольких сирийских царей-полководцев IV—II в. до н. э. 340
- Антипатр* (ок. 397—319 до н. э.) — македонский полководец 340
- Антуан* (в замужестве Будор) Эмилия — возлюбленная А. Карреля 460, 529, 565, 567
- Апеллес* (2-я пол. IV в. до н. э.) — древнегреческий художник 571
- Аполлодор* (ок. 60—129) — римский архитектор, создатель форума Траяна 382
- Араго Доминик Франсуа* (1786—1853) — астроном, левый депутат при Июльской монархии 408, 432, 460, 566
- Ареу Антуан Морис Аполлинер, граф д'* (1782—1858) — советник Карла X в дни Июльской революции; при Июльской монархии — активный сторонник Луи Филиппа, член всех министерств в 1830—1834 гг. 405—407
- Ариосто Лудовико* (1474—1533) 198, 335
- Арье Ашиль де* (1536—1619) — президент парижского парламента 475
- Арно д'Андийи Антуан, аббат* (1616—1698) — автор «Записок о моей жизни» (1734) 375—376, 391
- Арригетти* — флорентийский род, предки Мирабо 71
- Арриги Джузеппе Филиппо* — викарий епископа на острове Эльба 272
- Арто де Монтор* (1772—1849) — дипломат, автор книги «Жизнь и труды графа д'Отрива» (1839) 198, 282
- Артуа, граф д'* — см. *Карл X*
- Артуа Робер, третий граф д'* (1287—1343) — француз, ставший подданным английского короля Эдуарда III 142
- Артю Тома, сьер д'Амбри* — сочинитель книги «Остров гермафродитов» (ок. 1605) 339
- Архилох* (2-я пол. VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик 392
- Аспремон граф д'* (ум. 1825) — дипломат 539
- Аттик Тит Помпоний* (109—32 до н. э.) — друг Цицерона 558
- Аттила* (ок. 395—453) — предводитель гуннов с 434 г. 265
- Афиней* (II—III в.) — греческий писатель, живший в Александрии, а затем в Риме, автор энциклопедической компиляции «Пирующие софисты» 122
- Ашетт* (урожд. Лене) *Жанна* (ок. 1454—?) — защитница Бове от войска Карла Смелого, герцога Бургундского (1472) 311
- Бай Шарль Жозеф* (1777—1824) — автор брошюры «Мечтания г-на де Шатобриана» 288
- Бай, госпожа* — жена Ш.-Ж. Бая 288
- Байрейтская София Вильгельмина, маркграфиня* (1709—1758) — сестра Фридриха II 334
- Байфон Джордж Ноэл Гордон* (1788—1824) 80, 125, 177, 264, 380, 484, 542—544
- Баланьи Диана* — жена маршала Франции Жанна де Монлюка, сьера де Баланьи и сестра Габриэль д'Эстре 513
- Балланш Пьер Симон* (1776—1847) — философ, друг Шатобриана и г-жи Рекамье 201, 358, 366, 370, 401
- Бальби* (урожд. Комон де Ла Форс) *Анна, графиня де* (1753—1832) — фаворитка Людовика XVIII в годы эмиграции 331
- Барантен Шарль Луи Франсуа де* (1738—1819) — канцлер в 1788—1789 гг., в 1789 г. эмигрировал в Лондон 145
- Барба Жан Никола* (1769 — ок. 1848) — книгопродавец 411
- Барбарини* — итальянская танцовщица, фаворитка Фридриха II 334
- Барбару Шарль Жан Мари* (1767—1794) — адвокат, член Конвента, жирондист 557
- Барер де Везак Бертран* (1755—1841) — член Конвента 150
- Барийон д'Амонкур Поль де* (ум. 1691) — фран-

- цузский посол при дворе Карла II в 1677—1689 г. 389
- Баркарола* Нина (XVII в.) — римлянка 376
- Барранд* (1797—1883) — математик, выпускник Политехнической школы, наставник герцога Бордоского до 1833 г. 499, 551
- Барро* Одилон (1791—1873) — адвокат, при Июльской монархии депутат, глава левой оппозиции 278, 406, 415, 428
- Барт* Феликс (1795—1863) — министр юстиции в 1831—1832, 1832—1834 и 1837—1839 гг. 479, 486
- Бартелеми* Жан Жак, аббат (1716—1795) — писатель и историк 126
- Бартелеми* Огюст Марсель (1796—1867) — поэт 461
- Бартрам* Уильям (1699—1777) — американский ботаник и путешественник 105
- Бассано*, герцог де — см. *Маре*
- Бассомьер* Франсуа, барон де (1579—1646) — маршал Франции, мемуарист 513—514
- Бастид* Жюль (1800—1870) — журналист, республиканец 423
- Батист* — слуга Шатобриана 469, 529
- Баччоки* (урожд. Бонапарт) Элиза (наст. имя Мари Анна; 1777—1820) — сестра Наполеона 182, 195, 197, 207, 211, 212, 357
- Баярд* Пьер дю Террай, сеньор де (ок. 1475—1524) — полководец, получивший за отвагу прозвище «Рыцарь без страха и упрека» 161, 228, 428, 531
- Бедэ* Анж Аннибаль де (1696—1761) — дед автора с материнской стороны 29
- Бедэ* Ангуан де (1727—1807) — дядя автора с материнской стороны 31, 123, 140, 145, 148, 166
- Бедэ* (урожд. де Равенель де Буатейель) Мари Анна де (1698—1795) — бабушка автора с материнской стороны 29, 31
- Безанваль* Пьер Виктор, барон де (1722—1791) — военный, мемуарист 77
- Безу* Этьен (1730—1783) — автор учебников по математике 38
- Бейли* — лондонский типограф 141—142, 144, 147, 160
- Беллар* Никола Франсуа (1761—1826) — генеральный прокурор парижского королевского суда в 1815—1826 гг. 329
- Белле* Жан дю (1492—1560) — кардинал и дипломат 374, 389
- Бель-Иль* Огюст Фуке де (1684—1761) — маршал Франции, вник суперинтенданта финансов Фуке 580
- Беньо* Клод, граф (1761—1835) — роялист, член комиссии по составлению текста Хартии, морской министр в 1814—1815 гг. 309
- Беравже* Пьер Жан (1780—1857) 172, 264, 319, 460—461, 478, 528
- Берк* Эдмунд (1729—1797) — английский политический деятель и философ, виг 342, 392
- Бернадот* (урожд. Клари) Дезире (1774—1860) — жена Бернадота, с 1818 г. шведская королева 367
- Бернадот* Жан Багист Жюль (1763—1844) — маршал Франции, шведский наследный принц в 1810—1818 гг., шведский король под именем Карла XIV с 1818 г. 286, 293
- Бернарден* де Сен-Пьер Жак Анри (1734—1814) — писатель 239, 568
- Бернетти* Томмазо, кардинал (1779—1852) — государственный секретарь при папах Льве XII и Григории XVI (до 1836 г.) 389, 546
- Берни* Франсуа Жоашен де Пьер де (1715—1794) — министр иностранных дел в 1757—1764 гг., пользовавшийся покровительством маркизы де Помпадур 334
- Бернсторф* Христиан, граф де (1769—1835) — прусский министр иностранных дел в 1818—1831 гг., представлявший Пруссию на Веронском конгрессе 539
- Беррийская* (урожд. Бурбон-Сицилийская) Мария Каролина (1798—1870) — жена гер-

- цога Беррийского 172, 427—428, 432, 434, 465, 467—469, 479, 485—490, 494—496, 498, 499, 501, 502, 505, 508, 516—518, 520, 521, 530—531, 538, 540, 546—551
- Беррийский* Шарль Фердинанд, герцог (1778—1820) — второй сын графа д'Артуа 63, 175, 215, 280, 285, 300, 302, 313, 330, 332, 333, 435, 454, 486, 487, 500, 520, 574
- Беррье* Антуан (1790—1868) — адвокат, роялист 469, 476, 485, 489
- Бертен* Луи (1766—1841) — основатель и редактор «Журналь де Деба» 200, 201, 229, 284, 345, 478, 500
- Бертен де Во* Пьер Луи (1771—1842) — брат и сотрудник Л. Бертена 200, 284, 345, 500
- Бертуа*, барон де (1787—1870) — адъютант герцога Орлеанского в 1830 г. 419
- Бертье* Луи Александр, князь Ваграмский и Невшательский (1753—1815) — маршал Франции 266, 271
- Бийо де Варени* (правильно: *Бийо-Варени*) Жан Никола (1756—1819) — член Конвента, монтаньяр 128
- Биллинг* — дипломат 81
- Блака* д'Ольп Казимир, герцог де (1770—1839) — фаворит Людовика XVIII, в 1815—1816 и 1823—1830 гг. посол в Неаполе, в 1830-е гг. обер-гофмейстер Карла X в Праге; всю жизнь исповедовал ультраконсервативные взгляды 284, 285, 301, 304—307, 331, 389—390, 498, 500, 504, 507—509, 518, 521, 530, 548, 550
- Блан* Луи (1811—1882) — историк, автор памфлета против Июльской монархии «История десяти лет» (1841—1844) 410, 422
- Блакия* Кастильская (1188—1252) — французская королева, регентша при своем сыне Людовике IX Святом (1226—1242) и во время Седьмого крестового похода (1248—1254) 214, 506
- Блессингтон*, лорд (ум. 1829) — муж М. Блессингтон 339
- Блессингтон* Гарриет (в замужестве д'Орсе) — дочь лорда и леди Блессингтона, жена Альфреда д'Орсе 339
- Блессингтон* Маргарет, леди (1789—1849) — любовница Альфреда д'Орсе 339
- Блитерсдорф* — сержант, участник ареста герцога Энгиенского 216
- Блондель* (XII в.) — трувер 506
- Блюхер* Гебхард Лебрехт (1742—1819) — прусский генерал-фельдмаршал, командующий прусской армией в 1813—1815 гг. 340
- Богге* Дидье (1755—1839) — художник 371
- Богге* — сын Д. Богге 371
- Бод* Жан Жак, барон (1792—1862) — журналист, министр внутренних дел в ноябре — декабре 1830 г. 329, 405—406
- Боккаччо* Джованни (1313—1375) 361
- Боллингброк* Генри, лорд (1678—1751) — английский историк и государственный деятель, идеолог тори 392
- Больцона*, граф — содержатель постоянного двора в Карлсбаде 515
- Бомарше* Пьер Огюстен Карон де (1732—1799) 68, 74
- Бомон* Кристоф де (1703—1781) — архиепископ парижский, осудивший книгу Ж.-Ж. Руссо «Эмиль» 190
- Бомон* (урожд. Монморен-Сент-Эрем) Полина (1768—1803) — возлюбленная Шатобриана 75, 182—183, 186—188, 196, 201—205, 208, 211, 228, 360, 371
- Бонаventura* (наст. имя Джованни Фиданца; 1221—1274) — итальянский теолог, глава францисканского ордена 19
- Бональд* Луи, виконт де (1754—1840) — философ 183, 185, 333
- Бонапарт* — см. *Наполеон I*
- Бонапарт*, госпожа — см. *Жозефина*
- Бонапарт* (урожд. де Богарне) Гортензия, гер-

- цогиня де Сен-Ле (1783—1837) — дочь императрицы Жозефины, жена Луи Бонапарта, голландская королева в 1806—1810 гг. 282, 483
- Бонапарт* Жером (1784—1860) — брат Наполеона, вестфальский король в 1807—1814 гг. 261, 320, 374
- Бонапарт* Жозеф (1768—1844) — брат Наполеона, испанский король в 1808—1813 гг. 260, 261, 274
- Бонапарт* (урожд. Клари) Жюли (1771—1845) — жена Жозефа Бонапарта и сестра Дезире Бернадот, в 1808—1813 гг. испанская королева 368
- Бонапарт* Луи (1778—1846) — брат Наполеона, в 1806—1810 гг. голландский король 483
- Бонапарт* Луи Наполеон (1808—1873) — сын Луи Бонапарта, будущий император Наполеон III 483, 485
- Бонапарт* Люсьен (1775—1840) — брат Наполеона 182, 189, 193, 210, 299, 359
- Бонапарт* (урожд. Рамолино) Мария Летиция (1750—1836) — мать Наполеона 261, 273, 331
- Бонапарт* Полина — см. *Боргезе Полина*
- Бонапарт* (урожд. Патерсон) Элизабет — первая жена Жерома Бонапарта 320
- Бонви* Пьер Этьенн, аббат де (1761—1849) — проповедник, сопровождал кардинала Феша в его посольстве в Рим 196, 199, 203
- Бонди*, графиня де — жена графа П.-М. де Бонди, либерального депутата при Реставрации, префекта и пэра Франции при Июльской монархии 418
- Бонне* Франсуа, маркиз де (1750—1825) — политический деятель и дипломат 76, 208, 335—336
- Боншан* Шарль Мельхиор Артю, маркиз де (1759—1793) — генерал, один из руководителей контрреволюционного движения в Вандее 139, 161
- Боншан*, маркиза де (ум. 1845) — жена маркиза де Боншана 139
- Бонштеген* Шарль Виктор (1745—1832) — швейцарский писатель 383
- Боргезе*, принцесса (XVIII в.) — знатная римлянка, чей дом часто посещал Ш. де Бросс во время своего пребывания в Италии 377
- Боргезе* (урожд. Бонапарт) Полина (наст. имя Мари Полетта; 1780—1825) — сестра Наполеона 200, 273, 276, 361, 377
- Борджиа* — итальянский род 464
- Бордоский* Генрих де Бурбон, герцог, граф де Шамбро (1820—1883) — сын герцога Беррийского, рожденный через семь месяцев после гибели отца, законный претендент на французский престол после отречения в его пользу в 1830 г. его деда Карла X и дяди герцога Ангулемского 207, 333, 356, 379, 426—429, 431—434, 436, 440, 442, 454, 456, 462, 464, 466, 467, 485, 486, 488—491, 495, 496, 498—500, 502—509, 512, 516—518, 520—522, 529, 531—532, 534—538, 540, 548—550, 555, 556, 564, 580
- Бордые* (ум. 1789) — актер, казненный за руководство народными волнениями в Руане в августе 1789 г. 77
- Бори* Жан Франсуа Луи Леклерк (1795—1822) — участник армейского заговора против Бурбонов (так называемое дело «четырёх сержантов из Ла Рошели») 366
- Боссуэ* Жак Бенинь (1627—1704) — теолог и проповедник 241, 351, 445, 514, 529
- Бощарис* Маркос (1790—1823) — герой греческой революции 118
- Браун* Чарлз Брокден (1771—1810) — американский романист 118
- Брауншвейгский* Карл Вильгельм, герцог (1735—1806) — главнокомандующий войсками контрреволюционной коалиции в 1792 г. 135
- Бренвилье* (урожд. д'Обре) Мари Мадлена, мар-

- киза де (1630—1676) — отравительница 180
- Бретей* Луи Огюст Ле Тоннелье, барон де (1730—1807) — дипломат при Людовике XV, министр, преемник Неккера при Людовике XVI 134, 285
- Бриенн* (урожд. Беон) Луиза — жена дипломата, министра иностранных дел А.-О. Ломени де Бриенна (ум. 1666) 171
- Бриквилл* Арман, граф де (1785—1844) — депутат при Июльской монархии 461
- Брио* Пьер Жозеф (1771—1827) — главный комиссар острова Эльба в 1803 г. 200
- Бриссон* Барнабе (1531—1591) — президент Парижского парламента, казненный сторонниками Католической Лиги 130
- Брой* Ашиль Леонс Виктор, герцог де (1785—1870) — министр иностранных дел в 1832—1834 и 1835—1836 гг., председатель совета в 1835—1836 г. 412, 414, 546
- Бросс* Шарль, граф де (1709—1777) — президент Бургундского парламента, историк 374, 377, 383
- Брум* Генри Питер, барон (1778—1868) — английский политический деятель, виг 84
- Брут* Луций Юний (VI в. до н. э.) — полубогородный римский герой, установивший в Риме республику 178, 417, 490
- Брут* Марк Юний (ок. 85—42 до н. э.) — римский политический деятель, убийца Цезаря 417, 511
- Брэкенридж* Генри (1748—1816) — американский публицист, автор «Популярной истории войны 1814 г. против Англии» 117
- Брон* Гийом Мари Анн (1763—1815) — маршал Франции 265
- Буало-Депрео* Никола (1636—1711) 33, 69, 231, 241, 376, 526
- Буаробер* Франсуа Ле Метель, аббат де (1592—1663) — поэт, один из создателей Французской академии 392
- Буасси* Илер Этьенн Октав Руйе, граф, затем маркиз де (1798—1866) — дипломат, секретарь Шатобриана в Лондоне и Вероне 401
- Буассонад* Жан Франсуа (1774—1857) — филолог-классик 229
- Буатейель* Сюзанна Аполлина де Равенель дю (1704—1794) — двоюродная бабушка автора с материнской стороны 31
- Буаю* Жан Батист Рене де Геэннек, граф де — отец Л.-П. де Буаю 137
- Буаю* Луи Пьер де Геэннек де (1768—1789) — товарищ Шатобриана, убитый во время Ренских штатов 137
- Буйе*, графиня де — жена графа Франсуа Мари Мишеля де Буйе (1779—1853), последовавшего за герцогом Бордоским в Прагу 551
- Буйон* Филипп д'Овернь, принц де (1754—1816) — приемный сын герцога де Буйона, эмигрировавший на о. Джерси 140
- Буллонь* Этьенн Антуан, аббат де (1747—1825) — епископ в Труа, затем архиепископ Вьеннский 189
- Бурбон* Луи Анри, герцог де, принц де Конде (1692—1740) — первый министр Людовика XV в 1723—1726 гг., прадедушка герцога Энгийенского 580
- Бурбон* Луи Анри Жозеф, герцог де (1756—1830) — отец герцога Энгийенского 213, 215, 278, 280, 330
- Бурбоны испанские* — ветвь Бурбонов, правившая Испанией в 1700—1931 и правящая с 1975 г. 575
- Бурбоны неаполитанские* — ветвь Бурбонов, правившая Неаполитанским королевством в 1759—1860 гг. 295
- Бурбоны французские* — династия французских королей, правившая Францией в 1589—1792 и 1814—1830 гг. 23, 258, 261, 262, 264, 271, 274, 282, 289, 297, 352, 400, 420,

- 422, 426, 428, 441, 445, 461, 501, 503, 513, 514, 521, 531, 552, 555
- Буркене* Франсуа Адольф, барон, затем граф де (1799—1869) — дипломат, третий секретарь посольства в Лондоне при Шатобриане 81
- Бурьен* Луи Антуан Фовле де (1769—1834) — секретарь Наполеона 210
- Буфлер* Жозеф Мари, герцог де (1706—1747) — сын Л.-Ф. де Буфлера, полководец 237
- Буфлер* Луи де (1534—1552) — воин необычайной силы, по прозвищу «Силач» 237
- Буфлер* Луи Франсуа, герцог де (1644—1711) — маршал Франции 237
- Буфлер* (урожд. де Бово-Краон) Мари Франсуаза Катрин, маркиза де (ум. 1787) — мать шеваляе де Буфлера 237
- Буфлер* Станислас Жан, шеваляе де (1738—1815) — писатель 237
- Бэкон* Френсис (1561—1626) 143, 392
- Бюффон* Жорж Луи Леклерк, граф де (1707—1788) — естествоиспытатель 241
- Бюффон* (урожд. Бувье де Сепуа) Маргарита Франсуаза, графиня де (1767—1808), невестка естествоиспытателя Бюффона и возлюбленная герцога Орлеанского (Эгалите) 75
- Буше* — участник Лиги 422
- Валевская** (урожд. Лончиньская) Мария, графиня (1786—1817) — любовница Наполеона 273
- Валевский* Александр, граф (1810—1868) — сын Наполеона и Марии Валевской 273
- Валуа* — династия французских королей, правившая в 1328—1589 гг. 241, 414, 420
- Вальдек* Христиан Август, князь фон (1744—1798) — австрийский полководец 138—139
- Варвик* Ричард Невил, граф (1428—1471) — английский политический деятель 576
- Вас* Роберт (1112—1183) — англо-нормандский поэт и историограф, автор «Деяний бретонцев, или Романа о Ру» 37
- Василий III* — назван ошибочно вместо Василия II (ок. 958—1025) — византийского императора с 976 г. 506
- Вашингтон* Джордж (1732—1799) 79, 89, 92—95, 117, 119, 195, 314, 406, 595
- Великий курфюрст* — см. *Фридрих Вильгельм*
- Велли* Поль Франсуа (1709—1759) — историк 98
- Веллингтон* Артур Уэлсли, герцог (1769—1852) — английский полководец и государственный деятель, тори 84, 146, 289, 294, 300, 302, 309, 311, 338, 340, 341, 364
- Венсан* Никола Шарль, барон де (1757—1826) — австрийский посол во Франции в 1814—1834 гг. 300
- Венсан де Поль*, святой (1580—1660) — священник, основатель многочисленных благотворительных заведений, в том числе сиротского приюта 492
- Вентадур* Гастон Франсуа Кристоф Леви, герцог де (1794—1863) — сын герцога Г.-П. Леви, пэр Франции, после 1830 г. оставшийся верным Бурбонам 416
- Вентимиль дю Люк* (урожд. де Ла Лив де Жюли) Луиза Анжелика (1763—1831) — приятельница Ж. Жубера, сестра Луизы Жозефины де Монтескью-Фезансак 185—186, 233
- Вергилий* Марон Публий (70—19 до н. э.) 28, 41, 44, 54, 62, 115, 140, 153, 160, 238, 272, 337, 352, 361, 362, 383, 392, 393, 395, 515, 540, 560, 570
- Веремонд II* — король Леона (кон. X в.) 506
- Верне* Жозеф (1714—1789) — художник 224
- Верне* Орас (1789—1863) — художник, друг Ж. Верне 373
- Веспасиан* (9—79) — римский император с 69 г. 526

- Вивье* — сотрудник французской миссии в Риме в 1828—1829 гг. 385
- Виганони* — певец 75
- Вигапу* — врач из Прованса 182
- Видок Франсуа Эжен* (1775—1857) — бывший каторжник, с 1809 г. сыщик, при Реставрации начальник особой бригады сыскной полиции (до 1827 г.); в 1832 г. вернулся на службу, но вскоре был уволен за кражу 475
- Вик Доминик де*, виконт д'Эрменонвиль (ум. 1610) — приближенный Генриха IV 514
- Виктор*, герцог де Беллюн (наст. имя и фам. Виктор Перрен; 1766—1841) — маршал Франции 269
- Виктор Эммануил I* (1759—1824) — король Сардинии в 1802—1821 гг. 199, 374
- Виктория* (1733—1799) — дочь Людовика XV 354
- Виллардуэн Жоффруа де* (ок. 1160—ок. 1213) — полководец, один из вождей четвертого крестового похода (1202—1204), автор хроники «Завоевание Константинополя» (ок. 1207) 541
- Виллель Жан Батист Гийом Жозеф*, граф де (1773—1854) — министр финансов (1821—1827) и председатель совета (1822—1827) 63, 333, 336, 341, 344—346, 349, 352—355, 400, 448, 486, 487, 521, 551
- Виллет* (урожд. Руф де Варикур) Рене Филиберта, маркиза де (ум. 1822) — племянница Вольтера 71
- Вильгельм Завоеватель* (ок. 1027—1087) — английский король с 1066 г. 121
- Вильгельм III Насау* (1650—1702) — штатгальтер Нидерландов с 1674 г., английский король с 1689 г. 342
- Вильмен Абель Франсуа* (1790—1870) — историк литературы, министр народного просвещения в 1839—1845 гг. 385, 478
- Вильнев-Отрив* (в замужестве графиня де Кастельбажак) Леонтина (1803—1897) — «Окситанка», героиня позднего «романа» Шатобриана 393—394
- Вильнев, тетушка* (наст. имя и фам. Клод Модеста Тереза Ле; 1739—?) — бретонская крестьянка, няня автора 32, 34, 35, 61
- Вильфуа Никола де Невиль*, герцог де (1542—1617) — дипломат 389
- Вильфуа Франсуа де Невиль*, герцог де (1643—1730) — маршал Франции 318, 514
- Вильсон Александр* (1766—1813) — ткач, художник и естествоиспытатель, автор книги «Американская орнитология» (1808—1813) 118
- Виньола Джакомо да* (1507—1573) — итальянский архитектор 373
- Виоле* — учитель танцев 97, 141
- Виконти Лодовико* — римский архитектор, инспектор древних памятников в 1828 г. 386
- Вителлий* (15—69) — римский император в 69 г. 69, 373
- Витфи Филипп де* (ум. 1715) — офицер, погибший в битве при Фонтенуа 580
- Витроль* (урожд. де Фольви) Терезия — жена Э.-Ф.-О. де Витроля 291
- Витроль Эжен Франсуа Огюст д'Арно*, барон де (1774—1854) — роялист, деятельно способствовавший в 1814 г. возвращению Бурбонов; в 1815 г. депутат, член ультрароялистской «Бесподобной палаты» 291, 405
- Витт Ян де* (1625—1672) — фактический правитель Голландии в 1650—1672 гг. 389
- Вобан Себастьян Ле Претр де* (1633—1707) — маршал Франции, теоретик военного и фортификационного искусства 139, 528
- Вовер Мишель Боссино де* (1724—1809) — дальний родственник жены автора 124
- Водран* — могильщик 567

- Водрей* Жозеф Франсуа де Поль, граф де (1740—1817) — аристократ, друг графа д'Артуа и Марии Антуанетты 67
- Водрей*, графиня де — жена графа де Водрея 75
- Вольтер* (наст. имя и фам. Франсуа Мари Аруэ; 1694—1778) 23, 63, 64, 68, 71, 82, 189, 239, 241, 334, 377, 380, 454, 459, 461, 484, 540, 581
- Вольф* Джеймс (1727—1759) — английский генерал 99, 161, 580
- Вольфелан* — легитимист 487
- Вьенне* Жан Понс Гийом (1777—1868) — офицер, депутат (при Реставрации) и поэт, пэр Франции с 1839 г. 421—422
- Габриэль* — Габриэль д'Эстре (1573—1599) — любовница Генриха IV 46, 260
- Гайф* Морис, доверенное лицо Фуше в бытность того министром полиции (1804—1810) 290, 292
- Галерий* (242—311) — римский император с 293 г. 232
- Гамильтон* (урожд. Лайон) Эмма, леди (ум. 1815) — любовница Нельсона 361
- Ганнибал* (ок. 247 — 183 до н. э.) — карфагенский полководец 570
- Гара* Доминик Жозеф (1749—1833) — министр юстиции в 1792—1793 гг. 581
- Гарденберг* Карл Август, князь фон (1750—1822) — прусский канцлер с 1810 г. 336
- Гармодий* — афинянин, участник заговора против тиранов Гиппия и Гиппарха в 514 г. до н. э. 571
- Гвидир*, леди — английская аристократка 84, 339
- Гелиогабал* (204—222) — римский император в 218—222 гг., известный страстной любовью к роскоши 589
- Гельвеций* Клод Адриан (1715—1771) — философ-материалист 189
- Генриетта Мария Французская* (1609—1669) — жена Карла I Английского 379
- Генрих VII* (1457—1509) — английский король с 1485 г. 143
- Генрих VIII* (1491—1547) — английский король с 1509 г. 143, 239, 342
- Генрих Прусский*, принц (1726—1802) — брат Фридриха II 335
- Генрих II* (1519—1559) — французский король с 1547 г. 307
- Генрих III* (1551—1589) — французский король с 1574 г. 339, 420
- Генрих IV* (1553—1610) — французский король с 1589 г. 46, 54, 67, 136, 171, 172, 187, 239, 260, 286, 309, 409, 423—424, 431, 440, 442, 453, 457, 466, 486, 495, 498, 506, 512—514, 531, 532, 536
- Генрих V* — см. *Бордоский*, герцог
- Генц* Фридрих фон (1764—1832) — прусский публицист и дипломат 539
- Георг III* (1738—1820) — английский король с 1760 г. 141, 378, 379
- Георг IV* (1762—1830) — английский король с 1820 г. 82, 104, 146, 155, 224, 336, 339, 539
- Георг Вильгельм* (1595—1640) — курфюрст Бранденбургский 334
- Герен* Пьер (1774—1833) — художник 373, 494
- Германих* (15 до н. э. — 19 н. э.) — римский полководец, приемный сын императора Тиберия; погиб в Малой Азии, куда отправил его Тиберий, опасаясь соперничества 222, 242
- Гернон де Ранвиль* (правильно: Гернон-Ранвиль) Марсьяль Ком Аннибал Перпетю Маглюар, граф де (1787—1866) — министр по делам религии в 1829—1830 гг. 400
- Геродот* (между 490 и 480 — ок. 425 до н. э.) 122, 513
- Гете* Иоганн Вольфганг (1749—1832) 380, 545
- Гиз* Генрих I Лотарингский, третий герцог де, второй по прозвищу Меченый (1550—1588) — глава католической Лиги, убитый в Блуа по приказу Генриха III 130, 305,

- 417, 475, 563
- Гиз* Карл Лотаринский, герцог де (1571—1640) — сын Генриха I де Гиза 417, 513
- Гиз* Франциск Лотарингский, герцог де, первый по прозвищу Меченый (1519—1563) — глава обороны Меца от имперской армии Карла V в 1552 г. 528
- Гиз*, герцог де — правнук Генриха I де Гиза 375—376
- Гизо* Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — историк, при Июльской монархии неоднократно член разных министерств и фактический глава кабинета в 1840—1848 гг. 340, 398—399, 420, 476
- Гийон* Мари Никола Сильвестр, аббат (1760—1847) — духовник принцессы Ламбаль, участник посольства кардинала Феша, с 1833 г. епископ марокканский 200, 208
- Гильом* Железная Рука (XI в.) — первый нормандский правитель Апулии в 1043—1046 гг. 361
- Гинар* Огюстен (1799—1874) — республиканец, участник Июльской революции 414, 423
- Гиппократ* (ок. 460 — ок. 370 до н. э.) 229
- Гиро* Александр, барон (1788—1847) — поэт 385
- Гиш* Аженор, герцог де, затем герцог де Грамон (1789—1855) — генерал-лейтенант, служивший под началом герцога Ангулемского и сохранивший после 1830 г. верность Бурбонам 416
- Гиш* (урожд. д'Орсе) Ида, графиня де, герцогиня де Грамон (1802—?) — приятельница Шатобриана 339, 519
- Гнатена* — древнегреческая куртизанка 571
- Говши* Уильям (1756—1836) — английский романист 118
- Гольбейн* Ганс Младший (1497—1543) — немецкий художник, автор «Пляски смерти» (1515) 76, 480
- Гомер* 35, 99, 136, 151, 227, 231, 235, 324, 333, 383, 540, 586
- Гонто* (урожд. де Монто-Навай) Мари Жозефина, герцогиня де (1772—1857) — гувернантка герцога Бордоского и принцессы Луизы 505, 507
- Гораций* (полн. имя Квинт Гораций Флакк; 65—8 до н. э.) 23, 41, 102, 361, 392, 492, 540
- Гордон*, капитан (кон. XVIII в.) — командир форта Ниагара 100
- Гордон* Джон (нач. XIX в.), паломник 100
- Гракс* Гай Семпроний (154—121 до н. э.) — народный трибун 71, 239
- Гракс* Тиберий Семпроний (162—133 до н. э.) — народный трибун, брат Г. Гракха 71
- Граммон*, герцогиня де (ум. 1794) — казнена в один день с братом автора 149
- Гран* де — приближенный Генриха IV 514
- Грей* Джейн (1537—1554) — правнучка Генриха VII, казненная Марией Тюдор 143
- Грей* Томас (1716—1771) — английский поэт, автор элегии «Сельское кладбище» 342
- Грей* Чарльз, граф (1764—1845) — английский государственный деятель, виг, премьер-министр в 1830—1832 гг. 341
- Гретри* Андре Эрнест Модест (1741—1813) — композитор 75
- Григорий V* (наст. имя Брюнон, граф Каринтийский; 973—999) — папа римский с 996 г. 506
- Григорий XVI* (наст. имя и фам. Бартоломео Альберто Капеллари; 1785—1846) — папа римский с 1830 г. 508, 546
- Григорий Турский* (ок. 538 — ок. 594) — историк 139
- Гриффи*, граф — неаполитанский посол во Флоренции в 1833 г. 540
- Гроций* Гуго де Гроот (1583—1645) — голландский юрист, шведский посол во Франции в 1634—1645 гг. 233, 389, 392
- Гроций* Питер (1610—1680) — голландский дипломат, сын Гуго Гроция, голландский

- посол в Дании, Швеции и во Франции 389
- Грю Неэми* (1628—1711) — английский бо-
таник 79
- Грюнштейн* — участник ареста герцога Энгие-
нского 216
- Гуайон* — знатный бретонский род 31
- Гувьон Сен-Сир* Лоран, маркиз де (1764—
1830) — маршал Франции, военный ми-
нистр в 1815 и в 1817—1819 гг. 74, 280
- Гуго Капет* (ок. 941—996) — французский ко-
роль с 987 г., основатель династии Капе-
тингов 290, 330, 550
- Гужон Жан* (1510 — ок. 1566) — скульптор 371
- Гумбольт Вильгельм фон* (1767—1835) — немец-
кий филолог и дипломат 335
- Гундлинг Якоб Пауль*, барон фон (1673—
1731) — прусский историк, педант и пья-
ница, предмет насмешек при дворе короля
Фридриха Вильгельма I 334
- Густав Адольф II* (1594—1632) — шведский ко-
роль с 1611 г. 334, 364
- Густав Адольф IV* (1778—1837) — шведский ко-
роль в 1792—1809 гг., свергнутый с пре-
стола в 1809 г. 214—215
- Гэ* (урожд. Нишо де ла Валетт) Софи (1776—
1852) — писательница, хозяйка литера-
турного салона 243
- Дагобер I*, король франков в 629—639 гг. 47, 312
- Д'Аламбер Жан Лерон* (1717—1783) 189
- Далем Жан Батист* (1763—1832) — генерал, ко-
мандующий французским гарнизоном на
Эльбе 272
- Дамас де Рэмон* (1770—1813) — журналист 243
- Дамас Альфред*, граф де (1794—1840) — брат
М. де Дамаса 504
- Дамас Максанс*, барон де (1785—1862) — воен-
ный министр в 1823—1824 гг., министр
иностраннх дел в 1824—1828 гг., воспи-
татель герцога Бордоского в Праге 398,
- 499, 502—506, 521, 532
- Дамбре Шарль Анри*, певичальс (1760—1829) —
министр юстиции и канцлер в 1814—
1817 гг. 283, 289, 306, 329
- Дамьен Робер Франсуа* (1715—1757) — слуга,
казненный за удар перочинным ножом,
нанесенный Людовику XV 580
- Дандоло Энрико* (1110—1205) — дож Венеции
с 1192 г., один из вождей четвертого крес-
тового похода (1202—1204) 541
- Данжо Филипп де Курсийон*, маркиз де (1638—
1720) — придворный Людовика XIV, ав-
тор «Дневника» (сокращ. изд. 1770
и 1817; полное, но незавершенное при
жизни Шатобриана издание — 1830) 336
- Данмор Джон Меррей*, граф (1732—1809) —
английский государственный деятель, гу-
бернатор Виргинии 118
- Данте Алигьери* (1265—1321) 71, 153, 193, 195,
327, 335, 372, 397, 560, 596
- Дантон Жорж Жак* (1759—1794) 127—130, 317,
489, 540
- Дарий III* — персидский царь в 336—330 гг.
до н. э. 296
- Дарю Пьер Бруно*, граф (1767—1829) — го-
сударственный секретарь (1811—1813),
затем военный министр при Империи
234—235
- Дебофф* — лондонский книгопродавец, изда-
тель первой книги Шатобриана «Опыт
о революциях» 141, 144, 148, 158, 160
- Дебросс* — привратник 469
- Дегузе Мари Анн Жозеф* (1795—1862) — рес-
публиканец 423
- Дежарден* — капитан 79
- Дезий де Комбернон Марк* (ум. 1794) — каз-
начей бретонских заговорщиков 79
- Дейтерия* — жена Теодоберта 139
- Деказ* — отец Эли Деказа 332
- Деказ* (урожд. де Сент-Олер) Эжеди, герцогин-
ня, жена Эли Деказа 332

- Деказ* Эли, герцог (1780—1860) — министр полиции (1815—1818), председатель совета и министр внутренних дел (1819—1820), посол в Лондоне (1820—1821) 82, 329, 331—332
- Деказ* Элизе, барон — второй секретарь посольства в Лондоне про Шатобриане, племянник герцога Деказа 81
- Деларю* — адъютант Мармона в 1830 г. 416
- Делессер* (урожд. де Лаборд) Валентина (1806—1894) — жена крупного чиновника Г. Делессера, художница 469
- Делиль* Жак, аббат (1738—1813) — поэт 68, 237—238, 242
- Делиль де Саль* (наст. имя и фам. Жан Батист Изоар; 1743—1816) — философ 65, 177
- Делоне* Бернар Рене Журдан, маркиз (1740—1789) — комендант Бастилии 69
- Делоне* Матье (XVII в.) — участник Лиги 422
- Дель Драго* — знатная римлянка 382
- Демортье* Луи Анри — прокурор 476—477
- Демосфен* (ок. 384—322 до н. э.) 117, 316, 392
- Демулен* Камиль (1760—1794) — адвокат, во время революции политический деятель и публицист, монتانьяр 66, 128—130, 557
- Дени* — парижский нотариус 333
- Денон* Доминик Виван, барон (1747—1825) — генеральный директор музеев при Империи 229
- Деотерия* (VI в.) — жительница города Безье, затем жена Теодоберта I 139
- Депре*, учитель в Сен-Мало 33
- Деффан* Мари, маркиза дю (1697—1780) — хозяйка литературного салона 186
- Дец* Симон — перешедший в католичество еврей, в 1832 г. выдавший Тьеру местонахождение герцогини Беррийской 559
- Дез* (XVII в.) — дипломат 376
- Джерси* Сара Уэстморленд, леди (1787—1867) — английская аристократка, сторонница вивов 84, 146, 339
- Джефферсон* Томас (1743—1826) 117
- Джонсон* Сэмюэл (1709—1784) — английский критик, автор «Жизнеописаний наиболее выдающихся английских поэтов» (1779—1781) 234
- Джулио Романо* (наст. имя и фам. Джулио Пиппи; 1492 и 1499—1546) — итальянский художник 372
- Джувьетта* — венецианка, возлюбленная Ж.-Ж. Руссо 541—542
- Дидро* Дени (1713—1784) 40, 189
- Диллон* Артур, граф (1750—1794) — генерал ирландского происхождения, принявший во время революции сторону народа 76
- Диоклетиан* (243 — между 313 и 316) — римский император в 284—305 гг. 231, 276, 578
- Дин* Сайлас (ум. 1789) — член американского Конгресса 131
- Дино* (урожд. принцесса Курляндская) Доротея, герцогиня де (1795—1862) — жена Эдмона де Талейрана-Перигора, герцога де Дино (племянника Талейрана), спутница жизни Талейрана в его последние годы 64, 578
- Доменикино* (наст. имя Доменико Цампери; 1581—1641) — итальянский художник 526
- Дорика* — древнегреческая куртизанка 571
- Дорлеан Луи* (1542—1629) — сатирический писатель, участник Лиги 67
- Дрейх* — английский шпион 215
- Друз д'Эрлон* — Жан Батист Друэ, граф д'Эрлон (1765—1844) — маршал Франции 274
- Дудовиль* Амбруаз де Ларошфуко, герцог де (1765—1841) — при Империи не участвовал в политической жизни, при Реставрации министр двора (1824—1827) 574
- Дуранте* Франческо (1684—1755) — итальянский композитор 361
- Дюамель* дю Монсо Анри Луи (1700—1782) — агроном, автор книг о растительном мире 79

- Дюбарри* графиня (наст. имя и фам. Жанна Бекку; 1743—1793) — фаворитка Людовика XV, казненная при Терроре 77, 581
- Дюбуа* Гийом (1656—1723) — кардинал, архиепископ в Камбре, с 1722 г. первый министр 580
- Дюбуа* Поль Франсуа (1793—1874) — филолог, при Реставрации либеральный публицист, основатель газеты «Глоб» (1824), депутат и главный инспектор Университета при Июльской монархии 478
- Дюбур* Фредерик, граф (1778—1850) — член самоназначенного временного правительства во время Июльской революции 311, 405—406, 410, 422
- Довержье де Оран* Проспер (1798—1881) — журналист и историк, при Июльской монархии депутат левой ориентации 347
- Дюгазон* (урожд. Лефевр) Луиза Розалия (1755—1821) — актриса 75
- Дюге-Труэн* Рене (1673—1736) — мореплаватель, уроженец Сен-Мало 34
- Дюкло* Шарль Пино (1704—1772) — литератор 189, 236, 379
- Дюло* Арно (1762—1813) — бенедиктинец, во время революции эмигрант, издатель французских книг в Лондоне 165
- Дюмон* Жан (ум. 1726) — автор «Путешествия по Франции, Италии, Германии, Мальте и Турции» (1699) 376
- Дюмулен* Эварист (1776—1833) — публицист левой ориентации 410
- Дюмурье* Шарль Франсуа (1739—1823) — генерал республиканской армии, в 1793 г. перешедший на сторону австрийцев 216, 218, 322
- Дюпати* Шарль (1771—1825) — сын Ш.-М. Дюпати, скульптор 379—380
- Дюпати* Шарль Маргерит Жан Батист Мерсье (1744—1788) — президент Бордоского парламента, писатель, автор «Писем об Италии» (1785) 379—380
- Дюпен* Старший Андре Мари Жан Жак (1783—1865) — адвокат, либеральный депутат при Реставрации, председатель палаты депутатов при Июльской монархии 218, 563
- Дюперре* (правильно: дю Перре) — секретарь Талейрана 307
- Дюперрон* Жак Дави, кардинал (1556—1618) — богослов, писатель 389
- Дюплекс* Жозеф Франсуа (1697—1763) — управляющий французскими владениями в Индии в 1742—1754 гг. 580
- Дюпон де л'Эр* Жак Шарль (1767—1855) — министр юстиции в авг. — дек. 1830 г. 443
- Дюпюи* Шарль Франсуа (1742—1809) — философ, автор книги «Происхождение всех религий», где боги всех народов названы олицетворениями природных, в том числе астрономических, явлений 189
- Дюран де Марей* — дипломат, французский посол в Голландии в 1823 г. 368
- Дюрас* Амедей Бретань Мало де Дюрфор, маркиз, с 1800 г. герцог де (1771—1838) — обер-камер-юнкер Людовика XVIII и Карла X 285, 286, 306, 407
- Дюрас* (урожд. де Керсен) Клер, герцогиня де (1778—1828) — жена А.-Б.-М. де Дюраса, писательница 255, 285—287, 364, 365
- Дюрас* (урожд. де Ноай-Муши) Луиза Анриетта Шарлотта Филиппина, герцогиня де (1745—?) — мать А.-Б.-М. де Дюраса, придворная дама Марии Лещинской и Марии Антуанетты, при Терроре сидевшая в тюрьме 312
- Дюрас* (урожд. де Ковткан) Макловия, герцогиня де (ум. 1802) — жена маршала де Дюраса 31
- Дюрас* Эмманюэль Фелисите де Дюрфор, герцог де (1715—1789) — маршал Франции 31
- Дюсис* Жан Франсуа (1733—1816) — драматург 238, 264—265

- Дюшатле* (урожд. де Рошешуар; ум. 1794) Диана Аделаида — вдова Луи Мари Флорана, герцога дю Шатле (сына возлюбленной Вольтера Эмилии дю Шатле), казнена в один день с братом автора 149
- Елена** Павловна (урожд. принцесса Вюртембергская; 1806—1873) — русская великая княгиня, жена великого князя Михаила Павловича 387—388
- Елизавета I* Тюдор (1533—1603) — английская королева с 1558 г. 338, 342
- Елизавета Христина* (урожд. фон Брауншвейг-Вольфенбюттель; 1715—1797) — прусская королева с 1740 г., жена Фридриха II 334
- Жакен** — командир эскадрона 217—218
- Жакен* Никола Жозеф (1727—1817) — голландский ботаник 79
- Жакмино*, полковник (1787—1865) — активный участник революции 1830 г., при Июльской монархии генерал-лейтенант 428
- Жанлис* (урожд. дю Крест де Сент-Обен) Стефани Фелисите, графиня де (1746—1830) — писательница, воспитательница детей герцога Орлеанского (Эгалите), меуаристка 358
- Жанна д'Арк* (ок. 1412—1431) 265, 271
- Жаннен* Пьер (1540—1623) — президент Бургундского парламента, дипломат, суперинтендант финансов с 1616 г. 389
- Же*, госпожа — любовница О.-Г. Мирабо, жена его издателя 76
- Женеве* (урожд. Пуле) Мари Анна — жена П.-А. Женгене 67, 78
- Женгене* Пьер Луи (1748—1816) — литератор, уроженец Ренна 66—67, 77, 177, 190
- Женевьева Брабантская* (VIII в.) — легендарная святая, дочь герцога Брабантского и жена пфальцграфа Зигфрида, жертва клеветы 526
- Жерар* Франсуа, барон (1770—1837) — художник 494
- Жерар* Этьенн Морис, граф (1773—1852) — генерал, маршал Франции и военный министр (1830 и 1834) при Июльской монархии 404, 406, 408, 421
- Жериль* дю Папе Жозеф Франсуа Анн (1767—1795) — друг детства автора 35
- Жиафе* Демуссо де — дипломат, подчиненный автора в Лондоне и в Риме 407—408
- Жизор*, граф де (ум. 1756) — сын маршала де Бель-Иля 580
- Жироде-Тризон* (наст. имя и фам. Анн Луи Жироде де Руси; 1767—1824) — художник 229
- Жиске* Анри Жозеф (1792—1866) — префект полиции в 1831—1836 гг. 347, 474—475, 478—479, 501
- Жиске* Ноэми — дочь супругов Жиске 474—475, 478
- Жиске*, г-жа — жена А.-Ж. Жиске 474—475, 478
- Жож* — банкир 501
- Жог* Исаак, отец (1607—1646) — иезуит, миссионер в Канаде, умерший мученической смертью 102
- Жож* — банкир 501
- Жозефина* (урожд. Таше де Ла Пажри; 1763—1814) — первая жена Наполеона, императрица в 1804—1809 гг. 216, 217, 271, 316
- Жокур* Франсуа, маркиз де (1757—1852) — приближенный Талейрана, исполнявший обязанности министра иностранных дел в сентябре 1814 — марте 1815 гг., при Реставрации пэр Франции 304
- Жордан* Камиль (1771—1821) — либеральный депутат в эпоху Реставрации 264—265, 370
- Жорж* — см. *Кадудаль*
- Жоффрен* (урожд. Роде) Мари Тереза (1699—1777) — хозяйка литературного салона, покровительница энциклопедистов 185
- Жубер* — республиканец 423
- Жубер* (урожд. Моро де Бюсси) Аделаида Вик-

- торина Тереза — жена Ж. Жубера 187
- Жубер* Арно (1768—1854) — брат Ж. Жубера, в доме которого Шатобриан поселился по возвращении из эмиграции 176
- Жубер* Бартелеми (1768—1799) — генерал республиканской армии, убитый в сражении при Нови 263
- Жубер* Виктор (1794—1838) — сын Ж. Жубера 187
- Жубер* Жозеф (1754—1824) — литератор 182—184; 186—188, 196, 204, 206, 255, 370
- Журдан* Жан Батист, граф (1762—1833) — маршал Франции; разбил австрийцев при Флерюсе 26 января 1794 г. 322
- Жюнкен*, епископ Дольский (нач. XI в.) 31
- Жюссье* Бернар де (1699—1777) — ботаник 79
- Иасент** — Иасент Пилорж (1795—1861) — секретарь Шатобриана в 1816—1843 гг. 386, 401, 411, 463, 565
- Ид де Невиль* Жан Гийом (1776—1857) — роялист, дипломат, морской министр в кабинете Мартиныяка (1828—1829), друг и душеприказчик автора 309, 354, 412, 474, 476, 487
- Иероним*, святой (ок. 347—420) — отец Церкви 53, 231, 362, 375
- Изор* Клеманса (XIV в.) — легендарная основательница Тулузских Цветочных игр — ежегодного поэтического конкурса 393
- Иларий* (ум. 367) — епископ в Пуатье 435
- Инес де Кастро* (ок. 1320—1355) — возлюбленная португальского инфанта Педро, убитая по приказу его отца Альфонса IV, недовольного тайным браком сына с Инес 529
- Иоани* Безземельный (1167—1216) — английский король с 1119 г. 131
- Иоахим II* — курфюрст Бранденбургский в 1534—1571 гг. 334
- Иогани Сигизмунд* — курфюрст Бранденбургский в 1608—1619 гг. 334
- Ирвинг* Вашингтон (1783—1859) — американский писатель 118
- Йоркский Фридрих**, герцог (1763—1827) — брат английского короля Георга IV 146
- Кавеньяк** Годфруа (1801—1845) — литератор-республиканец 423
- Каде де Гассикур* Шарль Луи Феликс (1789—1861) — аптекарь и администратор 454
- Кадудаль* Жорж (1771—1804) — один из вождей шуанов, затем глава антинаполеоновского роялистского заговора 210, 211, 243
- Кайе* Пьер Виктор Пальма (1525—1610) — гугенот, обратившийся в католичество, автор трудов о религиозных войнах 422
- Како* Франсуа (1743—1805) — дипломат 198
- Калас* Жан (1698—1762) — купец-кальвинист, казненный по недоказанному обвинению в убийстве сына, совершенном якобы для того, чтобы помешать юноше перейти в католичество 239
- Калигула* (12—41) — римский император с 37 г. 586
- Калони* Шарль Александр де (1734—1802) — генеральный контролер финансов в 1783—1787 гг. 581
- Камбасерес* Жан Жак Режи де, герцог Пармский (1753—1824) — член Конвента, затем второй консул, а при Империи великий канцлер 215, 219, 233, 261, 519
- Камбасерес*, герцог де (1798—1881) — племянник Ж.-Ж. де Камбасереса 215
- Камозис* Луиш ди (1524 или 1525—1580) — португальский поэт 109—110, 326, 596
- Камуччини* Винченцо (1773—1844) — итальянский художник 373
- Канж* Шарль дю Френ, сеньер дю (1610—1688) — филолог и лексикограф 283
- Канино*, принц — см. *Бонапарт Люсьен*.
- Капнинг* Джордж (1770—1827) — английский министр иностранных дел в 1807—1809

- и 1822—1827 гг. 84, 156, 341, 351, 392, 447, 448, 539
- Каннинг* (урожд. Скотт) — жена Дж. Каннинга 146
- Канова* Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор 209, 340, 359, 371
- Капелан* (правильно: Каперан) Арно Тома (1754—1826), аббат, уроженец Доля, эмигрировавший в Англию 166
- Капель* Гийом Антуан Бенуа, барон (1775—1843) — префект при Империи, ультра-роялист при Реставрации, министр общественных работ в мае — июле 1830 г. 290, 399
- Капеты* (Капетинги) — короли из династии Капетингов, правившей во Франции с 987 по 1328 г. (по прямой линии); дальнейшие династии — Валуа и Бурбонов — также были ветвями Капетингов 290, 306, 414, 420, 441, 457, 531, 555
- Караман* Виктор Луи Шарль де Рике, герцог де (1762—1839) — дипломат 412
- Караман* Жорж, граф де (1790—1860) — дипломат 81
- Карл I* (1600—1649) — английский король с 1625 г. 128, 142, 286, 379, 408, 445, 473
- Карл II* (1630—1685) — английский король с 1660 г. 268
- Карл V* (1500—1558) — германский император в 1519—1556 гг., испанский король под именем Карла I в 1516—1556 гг. 143, 285, 300, 372, 512, 531
- Карл IV* (1748—1819) — испанский король в 1788—1808 гг. 214
- Карл V* Мудрый (1338—1380) — французский король с 1364 г. 162
- Карл VII* (1403—1461) — французский король с 1422 г. 162
- Карл IX* (1550—1574) — французский король с 1560 г. 128, 239, 241, 420
- Карл X* (1757—1836) — французский король в 1824—1830 гг. 123, 146, 161, 213, 265, 280, 291, 301, 303, 304, 308, 313, 330, 336, 346, 352, 357, 379, 395—397, 399—402, 404—409, 411—416, 418, 420, 424—434, 436, 437, 440, 442—445, 448, 453, 454, 456—458, 464, 466, 467, 477, 479, 496, 498—504, 507—512, 515, 516, 518, 521, 530, 538, 539, 548—551, 554, 556, 579
- Карл Великий* (742—814) — франкский король с 768 г., император с 800 г. 103, 324
- Карл Феликс* (1765—1831) — сардинский король с 1821 г., брат Виктора Эммануила I 539
- Карл Эммануил IV* (ум. 1819) — сардинский король в 1796—1802 гг. 67
- Карлина* (наст. имя и фам. Мари Габриэль Ма-лагрида) — актриса 75
- Карно* Лазар (1753—1823) — политический деятель и математик, член Конвента и Комитета общественного спасения, организатор побед революционной армии в 1793—1794 гг., министр иностранных дел при Ста днях, в это же время удостоенный графского титула 299, 264, 299
- Каролина* — см. *Мюрат Каролина*
- Каролина* (432) — см. *Беррийская Мария Каролина*
- Карон* Огюстен Жозеф, подполковник (1774—1822) — участник армейского заговора против Бурбонов 368
- Каррель* Арман (1800—1836) — журналист-республиканец 264, 460, 489, 529, 563—567, 591
- Каррель* Натали — сестра А. Карреля 567
- Карриво* — друг Ж.-Ж. Руссо 543
- Картуш* Луи Доминик (1693—1721) — разбойник, глава банды, терроризировавшей Париж в начале XVIII в. 292
- Картье* Жак (1494 — ок. 1554) — мореплаватель, уроженец Сен-Мало 34
- Кассидор* (ок. 480 — ок. 575) — римский историк и писатель, автор «Истории готов» 560

- Кастеллан* (урожд. Греффюль) Корделия, графиня де (ум. 1847) — возлюбленная Шатобриана 386
- Кастельно* Мишель де (1520—1592) — дипломат 93
- Кастильони* — см. *Пий VIII*
- Кателино* Жак (1759—1793) — один из руководителей контрреволюционного движения в Вандее 161
- Катиллина* Луций Сергий (108—62 до н. э.) — римский заговорщик 71, 465
- Катон Младший*, или Утический (95—46 до н. э.) — римский республиканец 511
- Катон Старший*, или Цензор (234—149 до н. э.) — консул 195 г. до н. э., поборник патриархальных нравов 91
- Катулл* Гай Валерий (ок. 87 — ок. 54 до н. э.) 163—164
- Кватт* — прусский офицер, друг юности Фридриха II 334
- Кевриак* Жан Франсуа Ксавье, граф де (1742—1783) — первый муж Бенинь де Шатобриана, сестры автора, 41
- Кек* Жак Эдуар (1796—1873) — художник 373
- Кемден* Уильям (1551—1623) — английский эрудит 147, 165
- Керсен* (урожд. д'Алессо д'Эраньи) Клер Луиза Франсуаза (ум. 1815) — мать герцогини де Дюрас 285
- Клавдиан* Клавдий (ок. 360 — после 404) — римский поэт 342
- Клайв* Роберт, лорд (1725—1774) — английский государственный деятель 580
- Кланкарти* Тренч Ричард Поэр, лорд (1767—1837) — английский дипломат, один из уполномоченных Великобритании на Венском конгрессе, в марте 1815 г., после отъезда Велингтона, — первый уполномоченный 294
- Кларендон* Эдуард, граф (1608—1674) — канцлер Англии при Карле I и Карле II 392
- Кларк* Жак Анри Гийом, граф де Юнебург, герцог де Фельтр (1765—1818) — маршал Франции, военный министр в 1807—1814, в марте 1815 и в сентябре 1815 — сентябре 1817 гг. 275
- Клеман* Жак (1567—1589) — доминиканец, участник Лиги, убийца Генриха III 128
- Клери* Жан Батист (1759—1809) — камердинер Людовика XVI 288
- Клермон-Тоннер* Анн Антуан Жюль, герцог де (1749—1830) — епископ Шалонский, затем архиепископ Тулузский и кардинал 196, 200, 208
- Климент XIV* (наст. имя и фам. Джованни Виченцо Ганганелли; 1707—1774) — папа римский с 1769 г. 504
- Клиссон* Оливье IV де (1336—1407) — коннетабль Франции 27
- Клодоальд*, Святой (ум. 560) — монах 515
- Клозель де Куссерг* Жан Клод (1759—1846) — член Законодательного корпуса при Империи, депутат при Реставрации, друг Шатобриана и его жены 211, 230, 255, 283
- Клозель де Монталь* Ипполит де (1769—1857) — епископ Шартрский, брат Ж.-К. Клозеля де Куссерга 230
- Клост*, барон — прусский посланник в Лондоне 167
- Клэмуильям* Ричард Чарлз Френсис Мид, граф (1795—1879) — дипломат, «король денди» 338—339
- Ко* Жак Луи Рене, шевалье де (1727—1797) — муж Люсиль де Шатобриан 188
- Ко* Луи Виктор де Блакто, виконт де (1775—1845) — военный министр в правительстве Мартиньяка (1828—1829) 410
- Колеткур* Арман Огюстен Луи, маркиз де, герцог Вичендский (1773—1827) — министр иностранных дел при Империи (1813—1814) и при Ста Днях (март — июнь 1815) 271, 293

- Коллиньи* Гаспар де Шатийон, сьер де (1519—1572) — адмирал, один из вождей гугенотов 72
- Коллине* — музыкант, дирижер 146, 338
- Колумб* Христофор (1451—1506) 89, 122
- Кольбер* Жан Батист (1619—1683) — министр финансов 104, 351
- Кольбер-Монбуассье* — графиня Шарлотта Полина де Кольбер де Малеврье (урожд. Монбуассье; 1777—1837) — внучка Мальзерб 46
- Коммин* Филипп де (ок. 1447—1511) — историк 540
- Конде* — древний французский род 31, 330
- Конде* Луи II де Бурбон, принц де, по прозвищу «Великий Конде» (1621—1686) — полководец 49, 252, 514, 565
- Конде* Луи Жозеф де Бурбон, принц де (1736—1818) — дед герцога Энгиенского 215, 278, 284
- Конде* (урожд. Монморанси) Шарлотта Маргарита (1594—1650) — мать герцогини де Лонгвиль 171
- Кондорсе* Мари Жан Антуан Никола де Карита, маркиз де (1743—1794) — философ-просветитель 189, 557
- Конингхэм* Френсис, лорд — камергер при дворе Георга IV 104
- Конингхэм* (урожд. Денисон) Элизабет, маркиза (ок. 1766—1861) — невестка Ф. Конингхэма, любовница Георга IV 104, 224, 339
- Консальви* Эрколе, кардинал (1757—1824) — государственный секретарь при папе Пие VII 198, 202, 539
- Констан де Ребек* Бенжамен (1767—1830) — писатель и политический деятель, либеральный депутат в эпоху Реставрации 264—265, 277, 282, 293, 299, 356, 358, 363, 367, 368, 370, 409, 421—422
- Конта* Луиза (1760—1813) — актриса «Комеди Франсез» 75
- Контад* Луи Жорж Эразм, маркиз де (1704—1795) — маршал Франции 30
- Контансен*, чиновник 149
- Кончини* Кончино (1575—1617) — итальянский авантюрист, фаворит Марии Медичи 532
- Коньи* Маргарита — возлюбленная Байрона в Венеции 542—543
- Корбьер* Жак Жозеф Гийом Франсуа Пьер, граф де (1766—1853) — министр внутренних дел в 1821—1828 гг., друг Виллеса 333, 344—345
- Корейф* Давид Фридрих (1783—1851) — немецкий врач 336
- Корнелия* (ок. 189 — ок. 110 до н. э.) — добродетельная римская матрона, мать Т. и Г. Гракхов 387
- Корнель* Пьер (1606—1684) 241
- Коссе-Бриссак* Эмманюэль, граф де — придворный герцогини Беррийской, последовавший за Карлом X в изгнание 504, 515
- Коссе-Бриссак*, графиня де — жена Э. де Коссе-Бриссака 504, 515
- Кошуа-Лемер* Луи Огюстен Франсуа (1789—1861) — либеральный публицист 414
- Красп*, английский полковник 118
- Кристина* (1626—1689) — шведская королева в 1632—1654 гг. 47
- Кристоф* Анри (Анри I; 1767—1820) — король Гаити с 1811 г. 141, 460
- Кромвель* Оливер (1599—1658) 73, 142, 234, 268, 318, 342, 379, 445
- Кромвель* Ричард (1626—1712) — сын О. Кромвеля, «протектор» в 1658—1659 гг. 408
- Крюденер* (урожд. де Витингоф) Юлиана (1764—1824) — писательница, проповедница 225, 363
- Кроссоль* Александр, баляи де (1743—1815) — пэр Франции 312, 314
- Ксенофонт Афинский* (ок. 430—355 или 354 до н. э.) — древнегреческий писатель и историк 392

- Куален* (урожд. де Майи-Нель) Мария Анна Луиза Аделаида, маркиза де (1732—1817) 184, 223—227
- Кудер* Шарль, сержант, участник армейского заговора против Бурбонов 366, 368
- Кук* Джеймс (1728—1779) — английский мореплаватель 88
- Куланж* Эммануэль, маркиз де (1633—1716) — дипломат, мемуарист, кузен г-жи де Севинье 376
- Кумберлендская* (урожд. Мекленбург-Стрелиц) Фредерика, герцогиня (1778—1841) — сестра Луизы, королевы прусской, вдова принца Людвига Прусского, во втором браке за герцогом Кумберлендским, с 1837 г. королем ганноверским 336
- Купер* Фенимор (1789—1851) 118
- Кутар*, сестры — жительницы Сен-Мало, учившие автора читать 32
- Курвуазье* Жан Жозеф Антуан (1775—1835) — министр юстиции в августе 1829 — мае 1830 г. 399
- Курций* — немец, около 1770 г. открывший в Париже музей восковых фигур 180
- Кэла* (урожд. Талон) Зоэ, графиня дю (1784—1850) — фаворитка Людовика XVIII 331
- Кюстин* (урожд. де Сабран) Дельфина, графиня де (1770—1826) — возлюбленная Шатобриана в 1802—1805 гг. 291
- Лаба* Жан Батист, отец (1663—1738) — миссионер-доминиканец, автор «Путешествия по Испании и Италии» (1730) 376—377
- Ла Бернардьер* Жан Батист де Гуи, граф де (1765—1843) — чиновник министерства иностранных дел в 1795—1819 гг., доверенное лицо Талейрана 293
- Ла Блетри* Жан Филипп Рене де, аббат (1696—1772) — писатель и историк, автор «Истории императора Юлиана» (1747) 527
- Лаборд* Александр, граф де (1773—1842) — брат возлюбленной Шатобриана Натали де Ноай, дипломат и литератор, в 1814 полковой адъютант национальной гвардии 226, 256
- Лабори* Антуан Атаназ Ру де (1769—1840) — чиновник министерства иностранных дел, журналист 187, 308
- Лабори* — сын А.-А. Ру де Лабори, легитимист 564
- Лабрюйер* Жан де (1654—1696) 241
- Лабурдонне* Бертран Франсуа Маэ де (1699—1753) — мореплаватель и государственный деятель 580
- Ла Буэтарде* Мари Аннибаль Жозеф де Беде, шевалье, а затем граф де (1758—1809) — кузен автора, сын А. де Беде 146, 147, 338, 460
- Лавалетт* Антуан Мари Шаман, граф де (1769—1830) — генеральный директор почтового ведомства при Империи и во время Ста дней 274
- Лавалетт* Иасент де — хозяин гостиницы на улице Святых отцов, где Шатобриан и его жена жили в 1807 г., а затем останавливались, приезжая из Волчьей долины 227
- Лаваль* — см. *Монморанси Адриан де*
- Лавальер* (урожд. де ла Бом Ле Блан) Луиза, герцогиня де (1644—1710) — фаворитка Людовика XIV 185, 580
- Лавандье*, деревенский аптекарь 45
- Ла Вилатт* — гренадер королевской гвардии, камердинер герцога Бордоского в Праге 551
- Лавишь* Алексис Жак Бюиссон де — тесть автора 123
- Лавишь* Жак Пьер Гийом Бюиссон де (1713—1793) — дедушка жены автора 123—124
- Лавишь* (урожд. Рапъон де ла Пласельер) Селеста Бюиссон де — теща автора 123
- Лавишь* Франсуа Андре Бюиссон де — дядя жены автора 123—124

- Лавока Шарль* (1790—1854) — издатель, выпускавший первое полное собрание сочинений Шатобриана 349, 458
- Лагарп Жан Франсуа* (1739—1803) — литератор и критик 68, 76, 77, 185
- Лазаль* (правильно: Ла Саль; 1759—1833) — член комиссии по делам эмигрантов 176
- Лаур* (наст. имя и фам. Этьенн де Виньоаль; 1390—1443) — полководец, соратник Жанны д'Арк, давший имя карточному валету червей 507
- Лауса* — имя нескольких древнегреческих куртизанок 571
- Лакло Пьер Шодерло де* (1741—1803) — писатель и военный 76
- Лакретель Шарль* (1766—1855) — историк, член Французской академии 398
- Лакур Кокко* — бывший каторжник, помощник Видока и его преемник на посту начальника сысковой полиции (1827) 475
- Лаланд Жозеф Жером Лефрансуа де* (1732—1807) — астроном, автор «Путешествия француза в Италию» (1769) 379, 383
- Лаллеман Жером*, отец (1593—1673) — иезуит, миссионер в Канаде 102
- Лалли-Голлендаль Тома Артюр*, барон де (1702—1766) — сын ирландского полковника, генерал во французской службе, командир экспедиционного корпуса, посланного в Индию 286
- Лалли-Голлендаль Трофим Жерар*, маркиз де (1751—1830) — сын Т.-А. де Лалли-Голлендаля, либеральный пэр Франции в эпоху Реставрации 286
- Ла Люзерн Анн Сезар*, шевалье де (1741—1791) — дипломат, дядя С.-Г. де Ла Люзерна 202
- Ла Люзерн Сезар Гийом*, виконт, а затем граф де — муж сестры Полины де Бомон, Виткуар Мари Франсуазы де Монморен 202
- Ламарк Максимильтен* (1770—1832) — генерал и депутат, либерал 468
- Ламартин Альфонс де* (1790—1869) 392, 398
- Ламартиньер* — однополчанин Шатобриана в 1787 г. 308, 494
- Ламбаль* (урожд. де Савуа-Кариньян) Мари Тереза Луиза, принцесса де (1749—1792) — подруга Марии Антуанетты 200
- Ла Мезонфор Луи Дюбуа Декур*, маркиз де (1763—1827) — эмигрант во время революции, дипломат в эпоху Реставрации 200
- Ламение Фелисите Робер де* (1782—1854) — философ и писатель, аббат, после 1834 г. порвавший с католической церковью 333, 590—591
- Ламет Шарль де* (1757—1832) — либеральный депутат Генеральных штатов в 1789 г. 335
- Ла Моранде Франсуа Пласид Майяр*, сьер де, бретонский дворянин 40
- Ламот* (ум. 1830) — капитан гвардии 415
- Ламот Этьенн Огюст Гурле де* (1772—1836) — роялист, в 1814 г. генерал-лейтенант 308
- Ламуаньон Кристиан*, виконт де (1770—1827) — брат О. де Ламуаньона, товарищ Шатобриана по эмиграции 167, 257, 357
- Ламуаньон Огюст*, маркиз де (1765—1845) — советник парижского парламента, во время революции эмигрировал в Англию 167, 176
- Ланжюине Жан Дени*, граф (1753—1827) — адвокат, в 1814 г. один из организаторов отрешения Наполеона от власти, в эпоху Реставрации пэр Франции 264—265
- Ланте*, герцогиня — знатная римлянка 382
- Ла Ну* — Корделье-Делану (1806—1854), драматург 398
- Ланчелотти*, князь — знатный римлянин 371
- Ланчелотти* (урожд. Массимо), княгиня — жена князя Ланчелотти 199, 371
- Ланеуз Жан Франсуа де Гало*, граф де (1741—1788) — французский мореплаватель 88

- Ларевейер-Лепо* Луи Мари де (1753—1824) — член Конвента и Директории 410
- Ларошжаклен* Анри дю Вержье, граф де (1772—1794) — один из руководителей контрреволюционного движения в Вандее 79, 161—162, 269
- Ларошфуко* Состен, герцог де Дудовиль, виконт де (1785—1864) — роялист 270
- Ларошфуко* Франсуа, герцог де (1613—1680) 171—172
- Ла Руэри* Шарль Арман Тюффен, маркиз де (1751—1793) — уроженец Бретани, участник американской Войны за независимость (под именем «полковника Армана») 60, 79, 92
- Ла Саблиер* (урожд. Эссейн) Маргарита (1636—1693) — покровительница Лафонтена 529
- Лас Каз* Эмманюэль, граф де (1766—1842) — автор «Памятной книжки, веденной на Святой Елене» (1823) 317
- Ла Сюз* Луи Франсуа Шамийяр, маркиз де (1751—1833) — пэр Франции при Реставрации 307
- Латиль* Жан Батист Мари Анн Антуан, герцог де (1761—1839) — кардинал, духовник графа д'Артуа в пору эмиграции 390, 504—505, 507, 521, 551
- Латур-Мобур* Мари Виктор Никола де Фэ, виконт, затем маркиз де (1768—1850) — военный министр в 1819—1821 гг., легитимист 530, 551
- Лаудон* Джон Кэмпбелл, граф (1705—1782) — английский полководец 99
- Лафайет* (урожд. д'Айен-Ноай) Адриенна, маркиза де (1759—1807) — жена Ж. де Лафайета 562
- Лафайет* Джордж Вашингтон де Мотье де (1799—1849) — сын Ж. де Лафайета 563
- Лафайет* Жильбер де Мотье, маркиз де (1757—1834) 79, 131, 264—265, 279, 308, 351, 404, 406, 414, 415, 419, 420, 422, 423, 426, 434, 462—463, 561—563, 579
- Лафайет* (урожд. Пьош де ла Вернь) Мари Мадлена, графиня де (1634—1693) — писательница 286
- Ла Ферроне* Огюст, граф де (1777—1842) — дипломат, министр иностранных дел в 1828—1829 гг. 385, 396
- Лафонтен* Жан де (1621—1695) 171, 177, 184, 492, 529
- Лафонтен* (урожд. Эрикар) Мари (ум. 1709) — жена Ж. де Лафонтена 529
- Лафоре* Антуан, граф де (1756—1846) — дипломат, французский посол в Пруссии в 1804 г. 221
- Лаффит* Жак (1767—1844) — банкир 406—407, 414, 415, 418, 420—423, 434, 501
- Ла Шалоте* Луи Рене де Карадек де (1701—1785) — генеральный прокурор Бретонского парламента 32
- Лебрен* Понс Дени Экушар (1729—1807) — поэт 67—68, 264
- Лебрен* (урожд. Виже) Элизабет (1755—1842) — художница 183
- Лев XII* (наст. имя и фам. Аннибале Серматтен делла Дженга; 1760—1829) — папа римский в 1823—1829 гг. 371, 385, 387, 390, 493, 504, 508
- Леви* Гастон Пьер, герцог де (1755—1830) — эмигрант в годы Революции, пэр Франции при Реставрации, автор «Максим и размышлений о различных предметах» (1808) 289, 306
- Леви* (урожд. Шарпантье д'Энри) Полина Луиза Франсуаза (ум. 1819) — жена Г.-П. де Леви 255, 307
- Ле Говьен* — соученик Шатобриана в дольском коллеже 43
- Легуве* Габриэль (1764—1812) — драматург 238—239
- Ледрю* Шарль — адвокат 478, 489

- Лесна* (VI в. до н. э.) — древнегреческая куртизанка 571
- Лемерсье* Непомюсен (1771—1840) — поэт и драматург 264—265
- Лемьер* д'Аржи Огюст Жак (1762—1815) — книгопродавец 177
- Лене* Луи Жоашен виконт (1767—1835) — при Империи член Законодательного корпуса, при Реставрации министр внутренних дел (1816—1818) и председатель палаты депутатов 208, 279, 333, 486, 487, 522
- Ленорман* — издатель и книгопродавец 288, 329
- Ленорман* Шарль (1802—1860) — археолог и историк, муж племянницы г-жи Рекамье 597
- Леонардо да Винчи* (1452—1519) 372
- Леонид I* (ум. 480 до н. э.) — царь Спарты, погибший при защите Фермопил 387
- Леонора* (XVII в.) — римлянка, чье пение пленило Мильтона 375
- Леопольд II Австрийский* (1795—1870) — великий герцог Тосканский в 1824—1859 гг. 549
- Леото* — полицейский 471
- Лепелетье* — республиканец, участник Июльской революции 414
- Лепренс* Рене Жак Жозеф, аббат — преподаватель дольского коллежа 38, 39, 44
- Лерва* — жандарм 217
- Лесаж* Ален Рене (1668—1747) — писатель 141, 148
- Лескор* Луи Мари де (1766—1793) — один из руководителей контрреволюционного движения в Вандее 161
- Лефевр-Денуэт* Шарль (1773—1822) — генерал 274
- Ливен* Дарья Христофоровна, княгиня (1785—1857) — жена Х. А. Ливена, во второй половине 1830-х гг. возлюбленная Гизо 339—340
- Ливен* Христофор Андреевич, князь (1774—1838) — русский посол в Лондоне в 1812—1834 гг. 339
- Ливерпуль* Роберт Бенкс Дженкинсон, лорд (1770—1828) — премьер-министр Англии в 1812—1827 гг. 82, 341
- Ливий Тит* (59 до н. э. — 17 н. э.) 361, 430, 560
- Лимонад*, граф де — министр иностранных дел при гаитянском короле Кристофе 141
- Линдсей* (наст. фам. О'Двайр) Анна (1764—1820), дочь ирландского трактирщика, воспитанная в Париже в аристократическом семействе герцогини де Фиц-Джеймс; любовница О. де Ламуаньона и Б. Констана, считающаяся прототипом героини романа Констана «Адольф» 167, 175—176, 243
- Линней* Карл (1707—1778) — шведский натуралист 79
- Липпольд* — убийца Иоахима II Бранденбургского 334
- Лобо* Жорж Мутон, граф де (1770—1838) — генерал, маршал Франции с 1831 г. 406
- Ловлас* Ричард (1618—1658) — английский полковник и поэт, пострадавший за свою верность Карлу I 473
- Логан* — индеец-вождь 118
- Лодзано* — знатная римлянка 382
- Ложон* Пьер (1727—1811) — поэт 239
- Лозен* Арман Луи де Гонто-Бирон, герцог де, с 1788 г. герцог де Бирон (1747—1793) — в юности щеголь и волокита, герой многочисленных скандальных историй, во время Революции — генерал революционной армии 76—77, 79
- Лойола* Игнатий (ок. 1491—1556) — основатель ордена иезуитов 499
- Ломбар* Шарль (XVII в.) — паломник 100
- Лонгвиль* (урожд. де Бурбон-Конде) Анна Женеви́ева, герцогиня де (1619—1679) — вдохновительница Фронды 171—172, 185
- Лондондерри* Роберт Стюарт, виконт Каслри, маркиз (1769—1822) — английский министр иностранных дел в 1812—1822 гг. 83, 146, 156, 337, 341

- Лопе де Вега* — Вега Карпью Лопе Феликс де (1562—1635) 137, 494
- Л'Опиталь* Мишель де (ок. 1504—1573) — канцлер Франции в 1560—1568 гг. 388, 392
- Лоржериль* — депутат 399
- Лоррен* (наст. фам. Желе) Клод (1600—1682) 374, 384, 482
- Лотарингский*, кардинал — Людовик II де Гиз (1555—1588) — активный участник Лиги, брат Г. де Гиза («Меченого»), убитый вместе с ним по приказу Генриха III 239
- Лотрек* Оде де Фуа, виконт де (1485—1528) — маршал Франции 197
- Лоу* Джон (1671—1729) — шотландский финансист, суперинтендант финансов Франции 580
- Луантье* — парижский ресторатор, в заведении которого в 1830 г. собирались республиканцы 420
- Лувель* Луи Пьер (1783—1820) — шорник, убийца герцога Беррийского 265, 332, 486
- Луи* Жозеф Доминик, барон (1755—1837) — аббат, во время революции отрекшийся от сана, в эпоху Реставрации и при Июльской монархии министр финансов в нескольких кабинетах (1814, 1815, 1818—1819, 1830, 1831—1832) 304, 305, 443
- Луи Филипп*, герцог Орлеанский (1773—1850) — сын Филиппа Эгалите, французский король в 1830—1848 гг. 274, 275, 280, 284, 292—294, 347, 356, 407, 409, 412, 414, 417—427, 429, 432—436, 440, 442, 457, 463—464, 466, 477, 479, 496, 499, 500, 522, 530, 536, 537, 546, 549, 552—556, 558, 561, 563, 565, 567
- Луиза* (1776—1810) — королева Прусская с 1797 г., жена Фридриха Вильгельма III 258, 318
- Луиза Французская* (Mademoiselle; 1819—1870) — сестра герцога Бордоского 496, 498, 504—507, 518, 529, 548
- Лукиан* (ок. 120 — ок. 190) — древнегреческий писатель 571
- Луккези-Палли* Гектор, граф (1808—1864) — второй муж герцогини Беррийской 495, 498, 499, 546, 547
- Лукреций* (полн. имя Тит Лукреций Кар; ок. 98—55 до н. э.) 41, 107, 133, 239
- Л'Этуаль* Пьер де (1540—1611) — мемуарист, автор «Дневника» (изд. 1825), охватывающего царствования Генриха III и Генриха IV 76, 453
- Людвиг Фердинанд* Прусский, принц (1772—1806) 221
- Людовик VI Толстый* (ок. 1081—1137) — французский король с 1108 г. 367
- Людовик IX Святой* (1214—1270) — французский король с 1226 г. 136, 138, 223, 265, 280, 293, 294, 308, 332, 423—424, 431, 461, 503, 531, 535, 538, 547, 555
- Людовик XI* (1423—1483) — французский король с 1461 г. 299, 553
- Людовик XII* (1462—1515) — французский король с 1498 г. 74
- Людовик XIII* (1601—1643) — французский король с 1610 г. 531, 532, 536
- Людовик XIV* (1638—1715) — французский король с 1643 г. 29, 49, 54, 65, 104, 219, 257, 260, 266, 281, 293, 308, 315, 318, 420, 514, 531, 535, 556, 575, 580, 596
- Людовик XV* (1710—1774) — французский король с 1715 г. 76, 99, 176, 178, 184, 223, 224, 226, 315, 334, 556, 579, 580—581
- Людовик XVI* (1754—1793) — французский король в 1774—1792 гг. 31, 65, 72, 76, 113, 128, 131, 135, 142, 148, 175, 176, 185, 202, 214, 226, 257, 268, 280, 286, 291, 292, 308, 312, 405, 424, 445, 447—448, 500, 511, 513, 517—519, 533, 535, 536, 552, 555, 556, 558, 561, 563, 581, 595
- Людовик XVIII* (1755—1824) — французский король с 1814 г. 46, 82, 133, 146, 175, 214,

- 215, 244, 259, 262, 265—269, 271, 275, 277—295, 297, 300, 303—309, 313, 314, 327, 329—332, 336, 346, 353, 354, 369, 410, 445, 457, 511, 513, 539, 574, 576
- Люин Шарль д'Альбер де* (1578—1621) — коннетабль Франции, фаворит Людовика XIII 532
- Люсьен* — см.: *Бонапарт Люсьен*
- Лютер* Мартин (1483—1546) 64
- Мазарини** Жюль, кардинал (1602—1661) 172, 331, 375, 389
- Майи* (урожд. де Нель) Луиза, графиня де (1710—1751) — фаворитка Людовика XV 224
- Майяр де Лескур* — артиллерийский майор 260
- Макдональд Этьенн Жак Жозеф* Александр, герцог Тарентский (1765—1840) — маршал Франции 266, 309
- Маккарти* Никола, отец (1769—1833) — иезуит, проповедник 499
- Малле дю Пан Жак* (1749—1800) — швейцарский франкоязычный публицист 76
- Мальвиль* Клод де (1597—1647) — поэт, член Французской академии 392
- Мальзерб* Кретьен Гийом де Ламуаньон де (1721—1794) — министр двора в 1775—1776 гг., член Королевского совета в 1787—1788 гг., инициатор либеральных реформ, защитник Людовика XVI 30, 69, 71, 78—79, 100, 130—131, 140, 148—149, 581
- Мальте-Брон* (наст. имя и фам. Мальт Конрад Брон; 1775—1826) — географ 229
- Мальфилатр* Александр Анри де (1757—1803) — советник Бретонского парламента, кузен поэта Ж.-Ш.-Л. де Мальфилатра 188
- Мам* Луи (1775—1839) — типограф 256
- Мам* Шарль — типограф, брат Луи Мама 256
- Мандару де Вертами* — адвокат, легитимист 487
- Мандзони* Алессандро (1785—1873) — итальянский писатель 524
- Мандини* Паоло (1757—1842) — итальянский тенор, в начале революции выступавший в Париже 75
- Мандини*, г-жа — жсна П. Мандини, певица 75
- Марат* Жан Поль (1743—1793) 68, 127—128, 130, 557, 564
- Маргарита де Валуа* (1553—1615) — первая жена Генриха IV 186
- Маре* Бернар Юг, герцог де Бассано (1763—1839) — министр иностранных дел в 1811—1813 гг. 262
- Мариньи Франсуа Жан Жозеф Жефло*, граф де (ум. 1793) — муж сестры автора Мари Анны 41
- Мария* — монахиня из Аббей-о-Буа 366
- Мария Амелия* (1782—1866) — жена Луи Филиппа, французская королева в 1830—1848 гг. 419, 432—434
- Мария Антуанетта* (1755—1793) — французская королева в 1774—1792 гг. 65, 96, 489, 517, 518, 520, 581
- Мария Изабелла* — неаполитанская королева, жена Франциска I 395
- Мария Кристина* (1806—1878) — жена испанского короля Фердинанда VII с 1829 г. 395
- Мария Лещинская* (1703—1768) — жена Людовика XV, французская королева с 1725 г. 225
- Мария Луиза* (1791—1847) — французская императрица в 1810—1814 гг. 218, 242, 260, 261, 273, 293, 315
- Мария Стюарт* (1542—1587) — шотландская королева в 1542 (фактически 1561) — 1567 гг. 112
- Мария Терезия* (1717—1780) — австрийская императрица с 1740 г., мать Марии Антуанетты 520, 581

- Мария Федоровна* (1759—1828) — жена Павла I, мать Александра I 252, 335
- Мармон* Огюст Фредерик Луи Вьесс де, герцог Рагузский (1774—1852) — маршал Франции 254, 257, 279, 404, 415—417
- Мармонтель* Жан Франсуа (1723—1799) — литератор 68
- Маро* Клеман (1496—1544) — поэт 545
- Мароль* Мишель де, аббат (1600—1681) — литератор 48
- Марселлюс* Мари Луи Жан Андре Демартен дю Тирак, граф де (1795—1865) — дипломат, первый секретарь французского посольства в Лондоне при Шатобриане 81
- Марсо* Франсуа (1769—1796) — генерал республиканской армии, убитый в сражении при Альтенкирхене 263
- Мартин*, святой (316—397) — епископ турецкий 531
- Мартиньяк* Жан Батист Сильвер Гэ, граф де (1778—1832) — либеральный адвокат, председатель совета в 1828—1829 гг. 410
- Марше* Андре Луи Огюстен (1800—1857) — карбонарий, республиканец 423
- Массена* Андре, герцог де Риволи, князь Эсслингский (1758—1817) — маршал Франции 281, 322
- Массийон* Жан Батист (1663—1742) — проповедник 41—42, 54
- Массимо*, князь — отец княгини Ланчелотти 371
- Машо* д'Арнувиль Жан Батист (1701—1794) — генеральный контролер финансов при Людовике XV, в опале с 1757 г. 311, 581
- Медичи* — итальянский род, две представительницы которого (Екатерина и Мария Медичи) были французскими королевами 464
- Мезере* Франсуа Эд де (1610—1683) — историк, брат Жана Эда 42
- Мельи* Франческо, герцог (1753—1816) — итальянский сторонник Наполеона, вице-президент Цизальпинской республики 197—198
- Ментенон* (урожд. д'Обинье) Франсуаза де (1635—1719) — фаворитка, затем морганатическая жена Людовика XIV, основательница школы для девочек из небогатых дворянских семей в Сен-Сире 29, 185, 237
- Менье* Луи Март — нотариус 329
- Мерлен* — книгопродавец 333
- Мерлен* Антуан Кристоф (Мерлен из Тионвиля; 1762—1833) — адвокат, член Конвента 162, 299
- Мерлен* Филипп Антуан (Мерлен из Дуэ; 1754—1838) — член Конвента, голосовавший за казнь короля, один из авторов «закона о подозрительных» (сентябрь 1793), по которому практически любой человек подлежал аресту, министр юстиции в 1795—1797 гг. 299
- Меровинги* — династия салических франков (ок. 447—751) 306
- Мерси* Франц фон (ум. 1647) — немецкий полководец 139
- Метелла* — жена Суллы 598
- Меттерних-Винибург* Клеменс фон (1773—1859) 292, 300, 340, 351, 402, 412, 448, 500, 508, 518, 525, 539, 577
- Меченый* — см. Гиз, герцог де.
- Мешен* Александр Эдм, барон (1772—1849) — префект при Империи, либеральный депутат при Реставрации, литератор 421
- Микеланджело* Буонарроти (1475—1564) 71, 198, 372—374, 382, 493, 526
- Мила*, юная индианка 104
- Мильтон* Джон (1608—1674) 71, 143, 156, 198, 223, 234—236, 238, 242, 335, 342, 375, 383, 417, 418, 540, 571
- Миших* Бурхард Кристоф, граф (1683—1767) — русский военачальник 28
- Минье* Огюст (1796—1884) — историк 414

- Мишере* — издатель, выпустивший первое издание «Гения христианства» 176
- Мирабо* Андре Бонифас Луи Рикети, виконт де (1754—1792) — брат О.-Г. де Мирабо, по прозвищу Мирабо-бочка 71—72, 76, 147
- Мирабо* Виктор де Рикети, маркиз де (1715—1789) — экономист, отец О.-Г. и А.-Б. де Мирабо 71—72
- Мирабо* Жан Антуан де Рикети (1717—1794) — дядя О.-Г. де Мирабо, мальтийский рыцарь 71
- Мирабо* Оноре Габриэль Рикети, граф де (1749—1791) 70—73, 76—78, 80, 127, 128, 559
- Миссон* Франсуа Максимильтен (ум. 1722) — литератор, автор «Нового путешествия по Италии» (1691) 376
- Мишо* Жозеф (1767—1839) — историк и журналист, ультрароялист 363
- Мобрей* Мари Арман Герри, маркиз де (1784—1868) — политический авантюрист 572
- Моген* Франсуа (1785—1854) — либеральный адвокат, представитель левой оппозиции в палате депутатов при Июльской монархии 406
- Моле* Луи Матье, граф (1781—1855) — политический деятель 183
- Моле* Франсуа Рене (1734—1802) — актер «Комеди Франсез», блиставший в комедиях 75
- Молен* — командир 18 полка 217
- Молиньи*, аббат — духовник герцога Бордоского в 1833 г. 503
- Мольер* (наст. имя и фам. Жан Батист Поклен; 1622—1673) 40, 184, 327, 476, 544
- Монбюассье* Шарль Филипп Симон, барон де (1750—1802) — родственник жены Ж.-Б. де Шатобриана (женатый на ее тетке) 135
- Монгаскон* — приближенный герцога Ангулемского 416
- Моне* Антуан (1734—1817) — ученый-минералог, главный инспектор копей 78
- Моне*, мадемуазель — дочь А. Моне 78
- Моника*, святая (332—387) — мать Блаженного Августина 35
- Монкальм* (урожд. де Виньеро дю Плесси-Ришелье) Арманда, маркиза де (1777—1832) — сестра герцога А.-Э. де Ришелье 255, 270
- Монкальм* Луи, маркиз де (1712—1759) — генерал 99, 580
- Монлозье* Франсуа Доминик Рено, граф де (1755—1838) — журналист и литератор 141
- Монморанси* Адриан де, герцог де Лаваль (1767—1837) — дипломат, завсегдагатай салона г-жи Рекамье 189, 270, 370, 390, 397
- Монморанси* Анн, герцог де (1492—1567) — коннетабль Франции 312
- Монморанси* (урожд. де Гуйон-Матиньон) Анна Луиза Каролина — внучка барона де Бретейя 134
- Монморанси* Матье, барон де (ум. 1169) — коннетабль Франции, второй муж Аделаиды Савойской 367
- Монморанси* Матье, виконт, с 1822 г. герцог де (1767—1826) — пэр Франции, министр иностранных дел в 1821—1822 гг. 270, 333, 341, 344, 365, 367, 370, 539, 562
- Монморен-Сент-Эрэм* Арман Марк, граф де (1746—1792) — дипломат, министр иностранных дел в 1787—1791 гг., отец Полины де Бомон 75, 182, 211, 360
- Монморен* Каликт де (1772—1794) — младший сын графа де Монморена, брат П. де Бомон 186
- Монсе* Бон Адриен Жанно де, герцог де Конельяно (1754—1842) — маршал Франции 266
- Монталиве* Март Камиль Башассон, граф де (1801—1880) — пэр Франции и либерал в эпоху Реставрации, министр внутренних дел (1830, 1831—1832, 1836, 1837—1839) при Июльской монархии 347, 476

- Монтень* Мишель де (1533—1592) 46, 51, 131, 143, 198, 258, 309, 358, 374—375, 383, 393, 540
- Монтескье* Шарль Луи де Секонда, барон де Ла Бред (1689—1755) 198, 230, 233, 241, 351, 545
- Монтескью-Фезансак* Анатолий, граф, затем маркиз де (1788—1867) — приближенный герцога Орлеанского (будущего Луи Филиппа), при Июльской монархии маршал и пэр Франции 419, 432
- Монтескью-Фезансак* (урожд. де Ла Лив де Жюлли) Луиза Жозефина (1764—1832) — сестра г-жи де Вентимиль 185
- Монтескью-Фезансак* Франсуа Ксавье, герцог де (1757—1832) — аббат, министр внутренних дел в мае 1814 — марте 1815 г. 285
- Монтескью-Фезансак* Элизабет Пьер, барон, затем граф де (1764—1834) — отец Анатолия де Монтескью, при Империи член Законодательного корпуса, с 1810 г. обер-камергер 574
- Мон полон* Шарль де (1783—1853) — генерал, последовавший за Наполеоном на Святую Елену, автор «Записок, служащих к написанию истории Наполеона», написанных совместно с генералом Гурго (1822—1825) 326
- Монтрон* Филипп Франсуа Казимир, граф де (1769—1843) — щеголь и интриган, агент Талейрана 293
- Монуар* Жюльен, отец (1606—1683) — иезуит и филолог, проповедник католицизма в Бретани, сочинявший книги на нижнебретонском языке 34
- Монье* (урожд. Рюффе) Софи, маркиза де (1754—?) — возлюбленная Мирабо 71
- Мопертюи* Пьер Луи Моро де (1698—1759) — геометр, философ и астроном 32
- Мопу* Рене Никола Шарль Огюстен де (1714—1792) — канцлер Франции с 1768 г. 581
- Мор* Томас (1478—1535) 392
- Морелле* Андре, аббат (1727—1819) — литератор 138, 233, 238, 329
- Морена* Жан Фредерик Фелипо, граф де (1701—1781) — первый министр Людовика XVI с 1774 г. 581
- Морне* (урожд. Арбалет) Шарлотта — жена Филиппа де Морне, сеньора дю Плесси (1549—1623) — гугенота, сподвижника Генриха IV 408
- Мори* Жан Сиффрейн, кардинал (1746—1817) — проповедник 239
- Моро* Аннибаль, сьер де ла Мельтьер (1749—?) — кузен автора 229
- Моро* Жан Виктор (1763—1813) — генерал, участник антинаполеоновского роялистского заговора 210, 211, 263, 322, 359
- Мортемар* Виктюрьен Бонавантюр Виктор де Рошешуар, маркиз, затем герцог де (1753—1823) — командир Наваррского полка, где служил Шатобриан 77
- Мортемар* Казимир Луи Викторьен де Рошешуар, принц де Тонне-Шарант, герцог де (1787—1875) — председатель совета и министр иностранных дел с 29 июля по 1 августа 1830 г., либеральный вельможа 405—409, 412, 414
- Мортье* Эдуар Адольф Казимир Жозеф, герцог Тревизский (1768—1835) — маршал Франции 254, 257, 281, 284
- Моттвиль* (урожд. Берто) Франсуаза Ланглау де (1621—1689) — придворная дама Анны Австрийской, автор мемуаров о ее дворе 375
- Мустье* Клод Филипп Эдуар, барон (1784—1843) — интендант королевских владений при Империи и Реставрации 305
- Мурильо* Бартоломе Эстебан (1618—1682) 372
- Муссе* Луи Пьер (ум. 1794) — шлюзовой мастер, казненный в один день с братом автора за «подстрекательство к гражданской войне» 149

- Муши* Луи Филипп Марк Антуан, граф де Ноай, герцог де (1752—1819) — свекор Натали де Ноай 269
- Мьонне* Теодор (1770—1842) — нумизмат 391
- Мэзон* Никола Жозеф (1771—1840) — маршал Франции с 1829 г., военный министр в 1835—1836 гг. 265, 428
- Мэзон-Блани* (XVII в.) — дипломат 376
- Мэнсфилд*, леди — английская аристократка 84
- Мюрат* Иоахим (1767—1815) — муж Каролины Бонапарт, неаполитанский король в 1808—1814 гг. 197, 210, 217, 219, 273, 331, 361, 363
- Мюрат* (урожд. Бонапарт) Каролина (наст. имя Мария Аннунциата; 1782—1839) — сестра Наполеона, неаполитанская королева в 1808—1814 гг. 282, 293, 361, 363
- Наго* Франсуа Шарль, аббат (1734—1816) — настоятель семинарии Святого Сульпиция 79
- Наполеон I* (1769—1821) 24, 28, 30, 46, 64, 73, 78, 93—95, 162, 166, 167, 174, 178, 179, 187, 190, 193—195, 205, 207—208, 210—222, 226—230, 233—235, 242—244, 251—255, 257—285, 290, 294, 296—304, 311, 312, 314—327, 340, 346, 354, 356, 360, 361, 371, 374, 380—383, 390, 398, 401, 403, 406, 411, 438, 444, 445, 448, 474, 479, 511, 512, 514, 529, 533, 535, 536, 539, 546, 553, 556—558, 563, 573—576, 579, 581, 595
- Наполеон II* (1811—1832) — сын Наполеона I, при рождении получивший титул римского короля, после падения Империи — герцог Рейхсгадтский 242, 260, 261, 273, 292, 300, 403
- Нарбонн* Луи, граф де (1755—1813) — военный министр в 1791—1792 гг., затем эмигрировал в Англию и там спасся от гильотины 76
- Невшательский*, князь — см. *Бертье*.
- Ней* Мишель, герцог Эльхингенский, князь Московский (1769—1815) — маршал Франции 266, 277, 282, 332
- Ней* — секретарь префекта полиции Жиске 474, 478
- Нейперг* Адам Альбрехт, граф фон (1775—1829) — австрийский генерал, второй муж (с 1821 г.) Марии Луизы 539
- Нексер* Жак (1732—1804) — генеральный контролер финансов в 1777—1783, 1788—1790 гг., отец г-жи де Сталь 66, 75, 77, 360, 484, 581
- Нексер* (урожд. Кюршо) Сюзанна (1739—1794) — жена Ж. Неккера, мать г-жи де Сталь 484
- Нель*, маркиз де — Адриен Огюст Амальрик граф де Майи-Нель, маркиз д'Окур — сводный брат второго мужа г-жи де Куален, герцога де Майи 224
- Нель* Дрогон де (ум. 1096) — участник первого крестового похода 223
- Нель* Жан II де (XIII в.) — регент Франции 223
- Нель* Рауль де (ум. 1302) — коннетабль Франции 223
- Нельсон* Хорес (1758—1805) — английский адмирал 361
- Немеада* — древнегреческая куртизанка 571
- Нерон* (37—68) — римский император с 54 г. 215, 222, 386
- Нессельроде* Карл Васильевич, граф (1780—1862) — русский министр иностранных дел в 1816—1856 гг. 508
- Николаи* Никола Марио (1756—1833) — итальянский священник; автор книги «Записки о римской кампании» (1803) 384
- Николай* Павлович, великий князь (1796—1855) — с 1825 г. российский император 64, 207
- Ноай* Алексис, граф де (1783—1835) — сын Л.-М. де Ноая, адъютант графа д'Артуа в 1814 г., роялист 270
- Ноай* Луи Мари, виконт де (1756—1804) — депутат Генеральных штатов, один из

- инициаторов отмены дворянских привилегий 76
- Нойй* (урожд. де Лаборд де Меревиль) Натали, графиня де (1774—1835) 342
- Норвине Жак*, барон (1769—1854) — начальник полиции Папской области в 1810—1814 гг., историк 359
- Нуаро* — лейтенант 217—218
- Ньютон* Исаак (1642—1727) 143, 151
- Обиак** — возлюбленный Маргариты де Валуа 186
- Овидий* (Публий Овидий Назон; 43 до н. э. — ок. 18 н. э.) 193
- Овиус* Луи, мэр Сен-Мало с 1830 г. 20
- Одри де Люцраво* Пьер Франсуа (1773—1852) — в 1822—1830 гг. левый депутат 406
- Ожье* Датчанин — рыцарь эпохи Карла Великого, давший имя карточному валету пик 506
- Окар* (урожд. Пурра) Анриетта — приятельница П. де Бомон 185—186
- О'Коннел* Даниэл (1775—1847) — глава ирландской фракции в английском парламенте 341
- Оксеншерна* Аксель, граф (1583—1654) — канцлер с 1612 г., фактический руководитель шведской политики в 1632—1644 гг. 389
- Оксеншерна* Бенуа (1623—1702) — кузен А. Отсеншерны, канцлер Швеции и премьер-министр с 1681 г. 389
- Окситанка* — см. *Вильнев-Отрив Леонтина*
- Олив*, мадемуазель — горничная г-жи де Сталь 358
- Оливарес* Гаспар де Гусман, граф (1587—1643) — испанский министр, фаворит Филиппа IV 389
- Оливье* Жанна Аделаида Жерардина (1765—1787) — актриса (1784) 75
- Оливье* Франсуа (1493—1560) — канцлер Франции с 1545 г. 388
- Орлеанская* (урожд. Бурбон-Пантьевр) Аделаида, герцогиня (1753—1821) — жена герцога Орлеанского (Эгалите), мать Луи Филиппа 333
- Орлеанская, герцогиня* — см. *Мария Амелия*
- Орлеанская, мадемуазель* — см.: *Аделаида Орлеанская* («госпожа Аделаида»)
- Орлеанский* Гастон, герцог (1608—1660) — младший брат Людовика XIII 532
- Орлеанский* Луи Филипп, герцог (1725—1785) — отец Филиппа Эгалите 420
- Орлеанский* Луи Филипп Жозеф, герцог, по прозвищу Эгалите (1747—1793) — отец Луи Филиппа, член Конвента 75, 76, 292, 420, 552, 556
- Орлеанский* Людовик (1703—1752) — сын Регента, дед Филиппа Эгалите 420
- Орлеанский* Фердинанд, герцог (1810—1842) — старший сын Луи Филиппа 555
- Орлеанский* Филипп I, герцог (1640—1701) — брат Людовика XIV 420
- Орлеанский* Филипп II, герцог (1674—1723) — регент Франции в 1715—1723 гг. 420, 580
- Орсе* Альфред, граф д' (1801—1852) — денди 339
- Осмон* (урожд. Диллон) Элеонора, маркиза д' (1753—1831) — жена маркиза д'Осмона, французского посла в Лондоне в 1815—1819 гг. 339
- Осса* Арно, кардинал д' (1536—1604) — дипломат, французский посол в Риме 389, 392
- Отанкур* Пьер, барон д' (1771—1832) — генерал от кавалерии, в 1804 г. капитан-докладчик по делу герцога Энгиенского 217
- Отвей* Томас (1652—1685) — английский драматург, автор трагедии «Спасенная Венеция» (1682) 544—545
- Отенский, епископ* — см. *Талейран*
- Отон* (32—69) — римский император в 69 г. 69
- Отрантский, герцог* — см. *Фуше*
- Отрив* Александр Морис, граф д' (1754—1830) — дипломат, директор архива министерства иностранных дел 282

- Оттон III* (980—1002) — император «Священной Римской империи» с 983 г. 506
- Оффман Франсуа* (1760—1828) — литературный критик и драматург 230
- О'Хежерти-младший* — сын О'Хежерти-старшего 504, 518, 520
- О'Хежерти-старший* — берейтор герцога Бордоского 502, 504, 507
- Ош Лазар* (1768—1797) — генерал республиканской армии 263, 322
- Павел I* (1754—1801) — российский император с 1796 г. 220
- Павел Пустынный* (ум. 342) — христианский отшельник 391
- Пажоль* (наст. фам. Пажо) Пьер Клод, граф (1772—1844) — наполеоновский генерал, бывший при Реставрации в отставке; в 1830 г. активный сторонник Луи Филиппа; при Июльской монархии пэр Франции 421, 428—429
- Пакье Этьенн Дени*, барон, затем герцог (1767—1862) — префект полиции при Империи, министр юстиции (1815, 1817—1818), внутренних дел (1815) и иностранных дел (1819—1821), пэр Франции при Реставрации, председатель палаты пэров, а затем канцлер при Июльской монархии 35—36, 183, 212, 243, 336, 443
- Палестрина* — знатная римлянка 382
- Палиссо де Монтенуа Шарль* (1730—1814) — литератор, известный своими комедиями, направленными против энциклопедистов 68
- Палладио* (наст. имя и фам. Андреа ди Пьетро далла Гондола; 1508—1580) — итальянский архитектор 526, 540
- Пальма-Кайе* — см. *Кайе Пьер Виктор Пальма*
- Пана*, шевалье де (1762—1834) — моряк, во время революции эмигрировал в Англию 166
- Паоло* — граф Поль де Шуло, тайный агент герцогини Беррийской 540
- Пардессо Жан Мари* (1772—1853) — историк и юрист, легитимист, отказавшийся присягнуть Луи Филиппу 487
- Пармантье Пьер* (1765—1794) — казнен в один день с братом автора за пересылку денег эмигрантам 149
- Парни Эварист Дезире Дефорж де* (1753—1814) — поэт 66, 239
- Парри Уильям Эдвард* (1790—1855) — английский полярный исследователь 596
- Паста Джудитта* (1798—1865) — итальянская певица 151
- Пасторе Клод Эмманюэль Жозеф Пьер*, граф, затем маркиз де (1756—1840) — юрист, легитимист, отказавшийся присягать Луи Филиппу 486, 487, 530
- Патерсон* — см. *Бонапарт Элизабет*
- Паула*, святая (347—404) — римлянка-христианка 387
- Пельтье Жан Габриэль* (1765—1825) — журналист, редактор периодических изданий на французском языке, выходивших в середине 1790-х гг. в Лондоне 141, 144, 147, 148, 460
- Пенн Уильям* (у Шатобриана: Вильгельм; 1644—1718) — английский квакер, основатель английской колонии в Северной Америке (Пенсильвании) 89
- Перикл* (ок. 490—429 до н. э.) 117, 269, 392
- Перле Адрисен* (1795—1850) — актер, исполнитель комических и характерных ролей 410
- Перонне Пьер Дени*, граф де (1778—1854) — министр внутренних дел в мае — июле 1830 г. 399
- Персей* (ок. 212 — ок. 165) — македонский царь 242
- Персиль Жан Шарль* (1785—1870) — генеральный прокурор королевского суда 489
- Перуджино* (наст. фам. Вануччи) Пьетро (ок. 1445—1523) — итальянский художник 372

- Перье* Казимир (1777—1832) — глава либеральной оппозиции при Реставрации, председатель совета и министр внутренних дел в 1831—1832 гг. 354, 400, 406, 408, 415, 429
- Петерман* — лейтенант, участник ареста герцога Энгисенского 216
- Петрарка* Франческо (1304—1374) 198
- Пизано* Никколо (ок. 1220 — ок. 1283) — итальянский скульптор и архитектор 540
- Пий VI* (наст. имя и фам. Джананджело Браски; 1717—1799) — папа римский с 1775 г. 504
- Пий VII* (наст. имя и фам. Барнаба Кьярамонти; 1742—1823) — папа римский с 1800 г. 198, 202, 230, 254, 260, 315, 385, 539
- Пий VIII* (наст. имя и фам. Франческо Саверио Кастильони; 1761—1830) — папа римский с 1829 г. 387, 390, 397, 508
- Пикар* Луи Бенуа (1769—1828) — драматург 184
- Пиндар* (518—438 до н. э.) — древнегреческий поэт 67, 212
- Пинелли* Бартоломео (1781—1835) — итальянский художник 373
- Питт* Уильям (1759—1806) — премьер-министр Англии в 1783—1801 гг. 82, 342
- Пифагор* (вторая пол. VI в. — 497 до н. э.) 365
- Пишегрю* Шарль (1761—1804) — генерал, участник антинаполеоновского роялистского заговора 210, 218, 322
- Платон* (428 или 427—348 или 347 до н. э.) 184, 342, 390
- Плело* Луи Робер Ипполит Бреан, граф де (1699—1734) — дипломат и поэт 28
- Плесси-Парско* Эрве Луи Жозеф Мари, граф де (1762—1831) — шурин автора 123
- Плесси-Парско* (урожд. Бюиссон де Лавинь), графиня де (1772—1813) — сестра жены автора, жена графа де Плесси-Парско 123
- Плиний Старший* (ок. 24—79) — римский писатель и ученый, автор «Естественной истории» 37, 383
- Плутарх Херонейский* (ок. 46 — ок. 127) 560
- Плуэр* (урожд. де Контад) Франсуаза Мари Гертруда, графиня де (ум. 1776) — дочь маршала де Контада, крестная мать Шатобриана 30, 32
- Поденас* (урожд. Надайяк), маркиза де — придворная дама герцогини Беррийской 546
- Поластрон* (урожд. де Люссан) Мари Луиза Франсуаза, графиня де (1764—1804) — фаворитка графа д'Артуа 504
- Полиньяк Арман*, граф де (1771—1847) — брат Ж. де Полиньяка, пэр Франции при Реставрации 270
- Полиньяк Жюль*, князь де (1780—1847) — роялист, председатель совета в 1829—1830 гг. 270, 394—397, 399, 403, 405, 505
- Помбаль* Себастьяно Хосе, маркиз (1699—1782) — португальский премьер-министр в 1755—1777 гг. 389
- Поммерель* Франсуа де (1745—1823) — генерал в 1796 г., главный управляющий типографией и книжных лавок при Империи 244
- Помпадур* (урожд. Пуассон) Жанна Антуанетта, маркиза де (1721—1764) 224, 334
- Помпей Великий* Гней (106—48 до н. э.) — римский полководец 459
- Понс из Вердена* Филипп Лоран (1759—1844) — депутат Конвента, поэт 139
- Порталис* Жозеф Мари, граф (1778—1858) — министр иностранных дел в мае — августе 1829 г. 387, 388, 390, 396
- Поццо ди Борго* Шарль Андре (Карл Осипович), граф (1764—1842) — русский дипломат корсиканского происхождения, в 1814—1834 гг. — русский посол в Париже 254, 274, 300, 303, 305
- Пракситель* (IV в. до н. э.) — афинский скульптор 55, 571
- Пренсто* (урожд. Деказ) — сестра Эли Деказа 332

- Претендент* — см. *Стюарт Яков Эдуард* и *Стюарт Карл Эдуард*.
- Проб* (232—282) — римский император с 276 г., упрочивший власть Рима в Галлии 162
- Проперций Секст* (ок. 50 — ок. 15 до н. э.) 377
- Птолемей I* (367—285 до н. э.) — полководец Александра Македонского, с 323 г. до н. э. царь Египта 340
- Пуа* (урожд. де Бово) Анна Луиза Мари, герцогиня де Муши, графиня де Ноай, принцесса де — свекровь возлюбленной Шатобриана Натали де Ноай 75
- Пувиль Франсуа* (1770—1838) — историк и путешественник 460
- Пулен Луи* — слуга Ж.-Б. де Шатобриана по прозвищу Сен-Луи 132
- Пуссен Никола* (1594—1665) — 374, 384, 386
- Пье-Тардиво Жан Пьер* (1763—1848) — при Реставрации депутат, представитель правой оппозиции 333
- Рабле Франсуа* (ок. 1494—1553) 68—69, 160, 175, 374
- Равальяк Франсуа* (1578—1610) — убийца Генриха IV 514
- Рагузский герцог* — см. *Мармон*
- Расин Жан* (1639—1699) 29, 42, 77, 191, 231, 241, 326, 392, 538
- Расин* (ум. 1755) — внук Жана Расина, единственный сын его сына Луи Расина 580
- Рафаэль Санти* (1483—1520) 35, 372, 373, 374, 377—378, 387, 401, 493, 528
- Реаль Пьер Франсуа*, граф (1765—1834) — государственный советник при Империи 215
- Рейнгард* (Рейнар) Карл Фридрих (1761—1837) — французский дипломат немецкого происхождения, посол Франции в разных европейских странах при Директории, Империи, Реставрации и Июльской монархии 578
- Рекамье* (урожд. Бернар) Жюльетта (1777—1849) — возлюбленная Шатобриана, хозяйка литературного салона в Аббей-о-Буа 84, 357—371, 385—388, 401, 403—405, 436, 459, 462, 483—485, 529
- Ремюза Абель* (1788—1832) — востоковед 398
- Рене Французская* (1510—1575) — дочь Людовика XII, герцогиня Феррарская 548
- Реньо де Сен-Жан д'Анжели* (урожд. Генон де Бонней) Лора (ум. 1859) — жена влиятельного государственного деятеля времен Империи, государственного секретаря императорской фамилии 243
- Рец Поль де Гонди*, кардинал де (1613—1679) — политический деятель, участник Фронды 71, 376
- Решид-паша*, Мехмед (1800—1858) — турецкий дипломат, министр иностранных дел 389
- Ривароль Антуан де* (1753—1801) — писатель 76, 134, 147, 285
- Римский король* — см. *Наполеон II*
- Рисе Габриэль Мари*, виконт де (1758—1832) — префект при Империи и Реставрации, приближенный Талейрана 304, 305
- Риц Александр*, граф де ла Марш, сын госпожи Риц 335
- Риц*, графиня фон Лихтенау — любовница Фридриха Вильгельма II 335
- Ричард III* (1452—1485) — английский король с 1483 г. 144
- Ришелье Арман Жан дю Плесси*, кардинал, герцог де (1585—1642) 71, 331, 369, 389, 392, 401, 532
- Ришелье Арман Эмманюэль дю Плесси де Шинон*, герцог де (1766—1822) — председатель совета в 1815—1818 и 1820—1821 гг. 255, 285, 326, 329, 332, 338, 353
- Риэль Святой* — покровитель Санлиса 309
- Робер II Благочестивый* (ок. 970—1031) — французский король с 996 г. 506
- Робер Леопольд* (1794—1835) — художник 373
- Роберт Гвискар* (ок. 1015—1085) — предводи-

- тель норманнов, завоеватель земель в Южной Италии и на Сицилии, герцог Сицилийский с 1059 г. 361
- Роберт Сильный* (ум. 866) — предок Капетингов, отец Эда, графа Парижского 532
- Робеспьер* Максимильен Мари Изидор де (1758—1794) 68, 73, 76, 128, 130, 178, 200, 214, 283, 319, 557, 564
- Роведино*, певец 75
- Ровиго*, герцог де — см. *Савари*
- Роган Рене де* (XVI в. — нач. XVII в.) — жена маркиза де Ковткана, графа де Комбурга (ум. 1608) 48
- Роган-Шабо Луи Франсуа Огюст*, герцог де (1788—1833) — кардинал, архиепископ Безансонский 551
- Роже*, капитан — соучастник Карона, бонапартист 368—369
- Рожер I* (1031—1101) — брат Роберта Гвискара, граф Сицилийский с 1062 г. 361
- Роза* (в замужестве Тодон) — жена реннского торговца 64—65
- Розамбо Луи Ле Пеллетье*, сеньор де — зять Мальзерб, президент Парижского парламента 77, 132
- Розамбо* (урожд. де Ламуаньон де Мальзерб) Мария Тереза Маргарита Ле Пеллетье де (1756—1794) — жена Л. де Розамбо, дочь Мальзерб 148—149
- Розан* (урожд. Дюрас) Клара (1799—1863) — дочь Клер де Дюрас 287
- Розо Жан* (2-я пол. XVI в.) — парижский палач 130
- Рокка Джон* (наст. имя Жан Альбер Мишель, 1788—1818) — второй муж г-жи де Сталь 364—365
- Рокуль*, госпожа — протестантка, бежавшая из Франции после отмены Нантского эдикта, гувернантка прусского короля Фридриха Вильгельма I 334
- Ролан* (урожд. Флипон) Манон Жанна (1754—1793) — жена жирондиста Ролана де ла Платьера, хозяйка политического салона 494, 557
- Ронсар* Пьер де (1524—1585) 69, 112
- Росс Джон* (1777—1856) — английский полярный исследователь 596
- Росс* Кларк (1800—1862) — английский полярный исследователь, племянник Дж. Росса 596
- Россини* Джоаккино (1792—1868) 388
- Ростопчин Федор Васильевич* (1763—1826) — московский генерал-губернатор в 1812 г. 260
- Росций* (I в. до н. э.) — римский актер 319, 369
- Ротшильд Натан* (1777—1836) — лондонский банкир 337
- Ротшильд Соломон* (1774—1855) — парижский банкир 337
- Рошешуар* (урожд. Буше) Мари Виктория (ум. 1794) — вдова бывшего мушкетера де Рошешуара-Понвиля 149
- Руайе-Коллар Пьер Поль* (1763—1845) — философ, депутат 354, 487, 522
- Рубенс Питер Пауль* (1577—1640) 379, 544
- Руссо Жан Батист* (1671—1741) — поэт 68
- Руссо Жан-Жак* (1712—1778) 79, 112, 131, 181, 188, 380, 484, 485, 541—544, 568
- Рэнуар Франсуа* (1761—1836) — драматург и филолог 238—239
- Рюльер Клод Карломан де* (1735—1791) — дипломат и историк 68
- Савари* Анн Жан Мари Рене, герцог де Ровиго (1774—1833) — министр полиции в 1810—1814 г. 216—217, 219
- Сакен* — Остен-Сакен Фабиан Вильгельмович, князь (1752—1838), русский генерал 261
- Саккини Антонио* (1730—1786) — итальянский композитор 77
- Саллюстий* (86 — ок. 35 до н. э.) — римский историк 560

- Салтон* (правильно: Саттон) Сэмюэл (1760—1832) — муж Шарлотты Айвз 156
- Салтон* (правильно: Саттон) Сэмюэл (1807—1850) — сын С. Саттона и Ш. Айвз 156—157, 344
- Сальваж де Фавроль* (урожд. Дюморе) — приятельница г-жи Рекамье 385
- Сальванди* Нарсис Ашиль, граф де (1795—1856) — литератор, при Июльской монархии министр народного просвещения (1837—1839, 1845—1848) 347
- Сальвиан* (ок. 390 — ок. 484) — христианский историк и богослов 136
- Санд* Жорж (наст. имя и фам. Аврора Дюпен, в замужестве Дюдеван; 1804—1876) 568—571
- Саннадзаро* Якопо (ок. 1456—1530) — итальянский поэт 361
- Сансон* Шарль Анри (1739—1806) — палач, казнивший Людовика XVI 581
- Сантей* Жан Батист (1630—1697) — каноник и поэт, писавший на латыни 473
- Сафо* (VII—VI в. до н. э.) 571
- Сведенборг* Эмануэль (1688—1772) — шведский философ-мистик 145
- Свифт*, торговец 96
- Себастиани* Орас, граф (1775—1851) — маршал Франции, при Реставрации либеральный депутат, в 1830—1832 гг. министр иностранных дел 351, 354, 400, 412, 429
- Севинье* (урожд. де Рабютен-Шантель) Мари, маркиза де (1626—1696) — писательница 29, 171, 376
- Сегюр* Луи Филипп, граф де (1753—1830) — дипломат и литератор 238
- Сегюр* Филипп Анри, маркиз де (1724—1801) — отец Л.-Ф. де Сегюра, маршал Франции, военный министр (1780—1787) 238
- Сегюр* Филипп Поль, граф де (1780—1873) — генерал и военный историк, сын Л.-Ф. де Сегюра 238
- Селевк I* (ок. 358—280 до н. э.) — македонский полководец, с 305 г. царь Сирии 340
- Семонвиль* Шарль Луи Юге, маркиз де (1759—1839) — пэр-хранитель печати в 1814—1834 гг. 405—409, 412, 415, 443
- Сенанкур* Этьен Пивер де (1770—1846) — писатель и философ 568
- Сенека Младший* Луций Анней (4 до н. э.—65 н. э.) 215
- Сен-Жермен, г-жа* — служанка г-жи де Бомон 204
- Сен-Жермен* Клод Луи Робер, граф де (1707—1778) — военный министр в 1775—1777 гг. 581
- Сен-Жюст* Луи Антуан де (1767—1794) 317, 557
- Сен-Леон* — агент Фуше 292—293
- Сен-Мартен* Антуан Жан (1791—1832) — востоковед, ультрароялист 398
- Сен-Поль* Антуан Монбетон де (ок. 1550—1594) — маршал католической Лиги, зарезанный вождем Лиги герцогом Гизом в Реймсе за потерю одного из завоеванных городов 417
- Сен-Симон* Луи де Рувруа, герцог де (1675—1755) — мемуарист 71
- Сент-Анж* (наст. имя и фам. Анж Франсуа Фарьё; 1747—1810) — поэт 126
- Сент-Обен* (наст. имя и фам. Жанна Шарлотта Шредер; 1764—1850) — певица, выступавшая в комических операх 75
- Сент-Олер* Луи Клер де Бопуаль, граф де (1778—1854) — тесть Эли Деказа, при Реставрации либеральный депутат, с 1829 г. пэр Франции, при Июльской монархии дипломат 332, 436
- Сервантес* Сааведра Мигель де (1547—1616) 596
- Серийи* Анна Луиза Тома де, кузина Полины де Бомон, с 1795 г. жена Франсуа де Панжа 75
- Серр* Пьер Франсуа Эркуль, граф де (1776—1824) — французский посол в Неаполе

- в 1822 г., один из представителей Франции на Веронском конгрессе 539
- Серторые Жан Матье Филибер*, граф (1742—1819) — маршал Франции 266
- Сессак Жан Жерар Лакюэ*, граф де (1752—1841) — министр военной администрации в 1810—1813 гг., пэр Франции при Июльской монархии 574
- Сикар* (наст. фам. Кюкюррон) Рох Амбруаз, аббат (1742—1822) — педагог, автор работ о воспитании глухонемых 238, 364
- Сикст V* (наст. имя и фам. Феличе Перрети; 1520—1590) — папа римский с 1585 г. 128
- Сильвестр Л.-С.* (1792—1867) — книгопродавец 333
- Симиан* (урожд. Дамас д'Антинья) Диана Аделаида, графиня де 75
- Симмах Квинт Аврелий* (340—410) — римский оратор и политический деятель, защитник язычества 523
- Симон Луи* (1767—1831) — швейцарский путешественник и литератор 384
- Симонд-Сисмонди* — Жан Шарль Леонар Симонд де Сисмонди (1773—1842), швейцарский историк и экономист 299
- Симонид Кеосский* (556—467 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик 392
- Скалигери* — знатный род, правивший Вероной в 1260—1387 гг. 539
- Скамоцци Виченто* (1552—1616) — итальянский архитектор 540
- Скотт Вальтер* (1771—1832) 53
- Смит Уильям* — мэр Саутгемптона в 1793 г. 82
- Сократ* (470 или 469—399 до н. э.) 269
- Солон* (между 640 и 635 — ок. 559) — афинский законодатель, причислявшийся к семи греческим мудрецам 392
- Солсбери Эликс* — фаворитка английского короля Эдуарда III 143
- Сомерсет Эдуард Адольф Сен-Мор*, 11-й герцог (1775—1855) — английский денди 340
- Сотле Филипп Огюст* (1800—1830) — книгопродавец 566
- Собокл* (ок. 496—406 до н. э.) 40, 238, 392, 563
- Спенсер Роберт*, 2-й граф Сандерленд (1641—1702) — английский государственный деятель, придворный Карла II и Якова II 392
- Спон Якоб* (1647—1685) — археолог, автор «Путешествия по Италии, Далмации, Греции и Леванту в 1675—1676 гг.» (1678) 376
- Сталь* (урожд. Неккер) Жермена, баронесса де (1766—1817) — писательница 75, 179, 189, 221, 259, 264—265, 286, 357—359, 362, 364—365, 369, 380, 484, 545, 577
- Сталь Огюст*, барон де (1790—1827) — сын г-жи де Сталь, публицист 484
- Сталь*, барон де (1827—?) — сын О. де Сталья 484
- Станислав I Лещинский* (1677—1766) — польский король в 1704—1709 и 1733—1736 гг., герцог Барский и Лотаринский 28
- Стюарт Генрих Бенуа*, кардинал Йоркский («Генрих IX»; 1725—1807) — младший сын Яакова Стюарта 378—379
- Стюарт Карл Эдуард*, граф Альбани (1720—1788) — старший сын Якова Стюарта, «Претендент» после его смерти 378—379, 504, 580
- Стюарт Яков Эдуард* (Яков III, «Претендент», 1688—1766) — сын Якова II 374, 378
- Сулла* (138—78 до н. э.) — римский полководец 598
- Сульт Никола Жан де Дье* (1769—1851) — маршал Франции и государственный деятель 254, 274—275, 277, 282, 291, 340
- Сцевола Кай Муций* (кон. VI в. до н. э.) — легендарный римский герой 178
- Сципион Африканский Старший* (ок. 235 — ок. 183 до н. э.) — римский полководец, победи-

- тель Ганнибала при Заме (202) 242, 361, 376
- Цицион Эмилиан Африканский Младший* (184—129 до н. э.) — разрушитель Карфагена 337, 392
- Сэ Жан Батист* (1767—1832) — один из редакторов журнала «Философическая декада», затем профессор политической экономики 177
- Сэй Томас* (1787—1834) — американский путешественник и естествоиспытатель 118
- Сюар* (урожд. Панкук) Амели (1750—1830) — жена Ж.-Б. А. Сюара, хозяйка литературного салона, писательница 225
- Сюар Жан Батист Антуан* (1732—1817) — писатель и журналист 225, 235, 238
- Сюлли Максимильтен де Бегюн, барон де Рони, герцог де* (1560—1641) — министр финансов в 1598—1610 гг. 351, 389
- Сюсси Коллен, граф де* (1776—1837) — пэр Франции, сторонник Луи Филиппа 412, 414
- Тавернье Жан Батист** (1605—1689) — путешественник 57
- Таддеи Роза* — итальянская поэтесса-импровизаторша 388
- Талейран-Перигор* (урожд. Ворле, по первому мужу Гренд) Катрин Нозль (1762—1835) — жена Ш.-М. де Талейрана 271
- Талейран-Перигор Полина де* (в замужестве графиня де Каstellан) — дочь герцогини де Дино и графа Эдмона де Талейран-Перигора, племянника Талейрана 578
- Талейран-Перигор Шарль Морис де.* с 1806 г. князь Беневентский (1754—1838) 67, 76, 196, 208, 212—213, 215, 219, 221, 256, 261, 270—271, 274, 282, 292—296, 301, 304—312, 316, 558, 572—579
- Таллеман де Рео Гедеон* (1619—1692) — писатель, автор «Занимательных историй» — сборника анекдотов из придворной жизни (изд. 1834) 336
- Тальма Франсуа Жозеф* (1763—1826) 75, 369
- Танкред* (ум. 1112) — внук Робера Гвискара, король Сицилии, участник первого крестового похода 361
- Тарсис* — жандарм 217
- Тассо Торквато* (1544—1595) 56, 113, 198, 375, 472, 540, 547—548, 596
- Татю* (урожд. Войяр) Сабина Амабль (1798—1885) — поэтесса 567
- Таунсенд Джон* (1809—1851) — американский путешественник и естествоиспытатель 118
- Тацит Корнелий* (ок. 58 — ок. 117) 133, 222, 230, 316, 325, 445, 560
- Тей* — поверенный в делах графа д'Артуа в Лондоне 161
- Тейлор* — английский шпион 215
- Теодоберт I* — король франков в 534—548 гг. 139
- Теренций Публий* (ок. 195—159 до н. э.) 392
- Тест Шарль* — республиканец, участник Июльской революции 414
- Тиберий* (42 до н. э. — 37 н. э.) император с 14 г. 126, 276, 386, 586
- Тибодо Антуан Клер, граф* (1765—1854) — член Конвента, председатель Совета Пятисот, префект при Империи, в 1815 г. изгнанный из Франции за участие в царевубийстве 292
- Тибулл Альбий* (ок. 50—19 до н. э.) — римский поэт 41, 54
- Тит* (40 или 41—81) — римский император с 79 г. 312
- Тициан* (наст. имя Тициано Вечелио; ок. 1477 или 1490—1576) 372, 526, 545
- Токвиль Алексис Клерель де* (1805—1859) — историк 528
- Токвиль Эрве Луи Франсуа Жозеф Клерель, граф де* (1772—1856) — отец А. де Токвиля, женатый на сестре А.-Т. де Шагобриан 528

- Толстая* (урожд. Барятинская) Анна Ивановна, графиня (1774—1826) — придворная дама императрицы Елизаветы Алексеевны; католичка, с 1815 г. жившая в Европе и вышедшая вторым браком за француза Вернега, приятельница Шатобриана, состоявшая с ним в переписке 539
- Толстой* Эмманюэль (1802—1825) — сын А. И. Толстой 539
- Тома* Клеман (1809—1871) — офицер-республиканец 423
- Торвальдсен* Бертель (1768 или 1770—1844) — датский скульптор 373, 385
- Тосканский*, великий герцог — Козимо I Медичи (1519—1574) 372
- Трела* Улисс (1795—1879) — врач, республиканец, участник Июльской революции 414, 423
- Трогофф* Жоашен Симон, граф де (1763—1840) — генерал, легитимист, отказавшийся присягать Луи Филиппу 515, 518, 519, 522—523
- Тробрле* Никола Шарль Жозеф, аббат (1697—1770) — уроженец Бретани, литератор, противник Вольтера и мишень его насмешек 32
- Туллок* Френсис — товарищ Шатобриана по путешествию в Америку 90
- Туре* Жак Гийом (ум. 1794) — адвокат, казненный в один день с братом автора «за участие в заговорах в пользу Капетов» 149
- Турнефор* Жозеф Питгон де (1656—1708) — ботаник и путешественник 79
- Турнон* Камиль, граф де (1778—1833) — римский префект в 1809—1814 г. 384
- Туртон* — офицер национальной гвардии 256
- Тьер* Адольф (1797—1877) 407, 414, 419, 420, 422, 423, 462, 556—560
- Тьерри* Огюстен (1795—1856) — историк 385, 461
- Тюизи* Гужон де — посредник Шатобриана, отыскавший в Англии рукопись «Натчевоз» 245
- Тюмери* маркиз де — эмигрант, находившийся в момент ареста подле герцога Энгийенского 216
- Тюрго* Анн Робер Жак, барон де Л'Ольн (1727—1781) — экономист, генеральный контролер финансов в 1774—1776 гг. 581
- Тюрени* Анри де Латур д'Овернь, виконт де (1611—1675) — французский полководец 44, 49, 171, 237, 252
- Тюрро* (правильно: Тюрро) де Гарамбувиль Луи Мари, барон (1756—1816) — республиканский генерал, подавлявший восстание в Вандее 162
- Увар* Габриэль Жюльен (1770—1846) — финансист, один из банкиров, способствовавших в 1830 г. возведению на престол Луи Филиппа 417
- Удар* — банкир, преданный герцогу Орлеанскому (1830) 419
- Удето* (урожд. де Ла Лив Бельгард) Софи, графиня д' (1730—1813) — возлюбленная Ж.-Ж. Руссо и поэта Сен-Ламбера 226
- Удино* Никола Шарль, герцог де Реджо (1767—1847) — маршал Франции 269
- Умберт I* Белорукий (ок. 985 — ок. 1048) — первый граф Савойский, отец Аделаиды Савойской 367
- Уолтер* Джозеф — английский переводчик «Мучеников» 232
- Уэллер* Джордж (1650—1723) — английский ботаник и путешественник, спутник и соавтор Я. Спона 376
- Фабер* Абраам де (1599—1662) — маршал Франции 529
- Фабр д'Эглантин* Филипп Назер Франсуа (1755—1794) — писатель и деятель революции, монтаньяр 128—130

- Фабриций* (III в. до н. э.) — римский государственный деятель, знаменитый своей непокупностью 240
- Фаврас* Тома де Май, маркиз де (1744—1790) — роялист, агент графа Прованского (будущего Людовика XVIII), казненный за подготовку побега Людовика XVI из Парижа и якобы замышлявшееся им убийство Лафайета, Неккера и мэра Парижа Байи 75, 494
- Фагель*, барон — посол Нидерландов в Париже в 1823 г. 368
- Фальконьери*, принцесса — знатная римлянка 382
- Фельтр*, герцог де — см. *Кларк*
- Фемистокл* (ок. 525 — ок. 460 до н. э.) — афинский полководец 99
- Фенелон* Франсуа де Салиньяк де Ла Мот (1651—1715) — архиепископ в Камбре, писатель 29, 41, 239, 241, 307, 580
- Фердинанд VII* (1784—1833) — испанский король в 1808, а затем в 1814—1833 гг. 395
- Фердинанд I* (1751—1828) — неаполитанский король с 1759 г. (с 1816 г. — король Обеих Сицилий) 539
- Фердинанд III* (1769—1824) — великий герцог Тосканский в 1790—1799 и 1814—1824 гг. 539
- Ферран* Антуан Франсуа Клод, граф (1751—1825) — генеральный директор почтового ведомства в 1815 г., сменивший графа Ш. де Лавалетта 274
- Феш* Жозеф, кардинал (1763—1839) — дядя Наполеона 195—196, 198—200, 202, 207—208, 261, 390
- Фила* — древнегреческая куртизанка 571
- Филипон* Шарль (1800—1862) — художник-карикатурист 478
- Филипп* — см. *Луи Филипп*
- Филипп II* (1527—1598) — испанский король с 1556 г. 307
- Филипп II* Август (1165—1223) — французский король с 1180 г. 186, 309, 531
- Фиц-Джеймс* Эдуар, герцог де (1776—1838) — пэр Франции, легитимист 474, 476, 477
- Флери* Андре Эрколе де (1653—1743) — кардинал, первый министр Людовика XV с 1726 г. 28, 580
- Флери* (наст. имя и фам. Абраам Жозеф Бенар; 1751—1822) — актер «Комеди Франсез» или *Флери* Мари Анна (1761—1818) — актриса «Комеди Франсез» 75
- Флессель* Жак де (1721—1789) — купеческий старшина 69
- Флора* — куртизанка, любовница Помпея 459
- Фокион* (397—317 до н. э.) — афинский полководец 99, 269
- Фолкленд* Луций Кери, виконт (1610—1643) — английский политик, государственный секретарь при Карле I 392
- Фонтан* Луи, маркиз де (1757—1821) — поэт 76, 95, 161, 163—164, 167, 176, 179, 182—185, 195, 206—207, 212, 213, 228, 229, 231, 232, 238, 242, 243, 255, 338, 360, 370, 379, 383—384
- Фонтан*, маркиза де — жена Л. де Фонтана 176
- Фонтан* (1791—1819) — незаконнорожденный сын Л. де Фонтана, выступавший в печати под фамилией Сен-Марселлен; убит на дуэли 163
- Фореста* Мари Жозеф, маркиз де — придворный герцога Бордоского в Праге 551
- Фосс* — фаворитка прусского короля Фридриха Вильгельма II
- Фра Джованни да Фьезоле* (ок. 1400—1455) — итальянский художник, известный под именем Фра Анджелико 540
- Франклин* Бенжамин (1706—1790) 116, 121, 131
- Франклин* Джон (1786—1847) — английский полярный исследователь 596
- Франц II* (1768—1835) — в 1792—1806 гг. император «Священной Римской империи», с 1804 г. австрийский император под именем Франца I 254, 261, 498, 501, 539

- Франциск I* (1777—1830) — неаполитанский король с 1825 г., отец Марии Кристины и герцогини Беррийской 395
- Франциск I* (1494—1547) — французский король с 1515 г. 49, 54, 74, 372, 531
- Франциск II* (1544—1560) — французский король с 1559 г., муж Марии Стюарт 112
- Франческени* (1611—1689) — итальянский художник и архитектор 540
- Фрессину Дени Антуан Люк, граф* (1765—1841) — министр по делам вероисповеданий в 1824—1828 гг. 400
- Фридрих I* (1657—1713) — первый прусский король с 1701 г. 334
- Фридрих II Бранденбургский* (1440—1470) — курфюрст Бранденбургский по прозвищу Железный Зуб 334
- Фридрих II Великий* (1712—1786) — прусский король с 1740 г. 63—64, 295, 334—335, 392
- Фридрих Август I* (1750—1827) — саксонский король с 1806 г. 295
- Фридрих Вильгельм* (1620—1688), курфюрст Бранденбургский по прозвищу Великий Курфюрст, отец Фридриха I 334
- Фридрих Вильгельм I* (1688—1740) — прусский король с 1713 г. по прозвищу Король-сержант, сын Фридриха I, отец Фридриха II 334
- Фридрих Вильгельм II* (1744—1797) — прусский король с 1786 г., племянник Фридриха II 64, 135, 139
- Фридрих Вильгельм III* (1770—1840) — прусский король с 1797 г. 215, 221, 258
- Фризел Джон* (ум. 1846) — друг Шатобриана 469
- Фризел Элиза* (1815—1832) — дочь Д. Фризела 469, 473—474
- Фрина* (IV в. до н. э.) — древнегреческая куртизанка, возлюбленная и модель Праксителя 58, 571
- Фруассар Жан* (ок. 1337 — ок. 1400) — поэт и историк 31
- Фуке Никола* (1615—1680?) — суперинтендант финансов в 1653—1661 гг. 580
- Фукидид* (ок. 470 — ок. 400 до н. э.) — древнегреческий историк 269, 316, 392, 430, 445, 560
- Фукье-Тенвиль Антуан Кантен* (1746—1795) — общественный обвинитель в Революционном трибунале 129, 149, 489
- Фултон Роберт* (1765—1815) — американский изобретатель, создатель первого в мире колесного парохода 116
- Фунхаль, граф* — португальский дипломат, полуофициальный посол Португалии в Риме в 1828 г. 389
- Фуше Жозеф* (1759—1820) 166, 215, 219, 274, 291—293, 298, 300, 308—313, 332
- Халлек Фиц-Грин* (1795—1867) — американский поэт 118
- Хилл Джордж* (1796—1871) — американский поэт и путешественник 118
- Хильперик I* (539—584) — король франков с 561 г. 98
- Хименес де Сиснерос Франсиско* (1436—1517) — испанский кардинал-францисканец, архиепископ Толедский, регент Арагона после смерти Фердинанда II Арагонского (1516) 389
- Хлодвиг I* (ок. 466—511) — король салических франков с 481 г., из рода Меровингов 133, 257, 424
- Хотек, граф фон* — наместник Богемии 497, 538
- Цагарола* — знатная римлянка 382
- Цезарь Гай Юлий* (102 или 100 — 44 до н. э.) 31, 301, 316, 317, 417, 430, 514, 567
- Цецилия Метелла* (I в. до н. э.) — знатная римлянка 206
- Циммер, полковник* — член временного правительства в июле 1830 г. 405—406

- Цинциннат* (V в.) — римский патриций, образец скромности и доблести 92, 384
- Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н. э.) 238, 392, 435—436, 540
- Цуккарни* Тадео (1529—1569) — итальянский художник 373
- Чарторижская** (урожд. Флемминг) Изабелла, княгиня (1743—1835) — возлюбленная де Лозена 76
- Чатам*, лорд — Питт, Уильям (1708—1778) — английский государственный деятель 143
- Челламаре* Антонио дель Джудиче, герцог Жовенацци, князь (1657—1733) — испанский дипломат 580
- Челлини* Бенвенуто (1500—1571) — итальянский ювелир и скульптор 372
- Чимароза* Доменико (1749—1801) — итальянский композитор 361
- Шаброль-Вольвик**, граф де (1773—1843) — префект департамента Сена в 1812—1830 г. 405
- Шаброль* де Крузольт Кристоф Анн Жан, граф (1771—1836) — министр финансов в августе 1829 — мае 1830 г. 399, 405
- Шамиссо* Адальберт фон (1781—1838) — немецкий писатель и естествоиспытатель 335
- Шампольон* Жан Франсуа (1790—1832) — египтолог 597
- Шамфор* Себастьян Рох Никола (1741—1794) — литератор и моралист 66, 68, 76, 77
- Шансенев*, шевалье де (1759—1794) — журналист 76, 147
- Шантелоз* Жан Клод Бальтазар Виктор де (1787—1859) — министр юстиции в мае — июле 1830 г. 399—400
- Шапелле* (Ле Шапелье) Исаак Рене Ги (1754—1794) — член Учредительного собрания, казнен одновременно с братом автора 71, 149
- Шарло* — жандармский полковник 216
- Шарль* (урожд. Бушар дез Эрет) Жюли (1784—1817) — возлюбленная Т.-Ж. де Лалли-Толлендаля 286
- Шаррет* де ла Контри Франсуа Атаназ (1763—1796) — один из руководителей контрреволюционного движения в Вандее 163
- Шатель* Жан (1575—1594) — ревностный католик, 27 декабря 1594 г. пытавшийся убить Генриха IV 513
- Шатийонская* (урожд. де Ланнуа) Полина, герцогиня (1774—1826) — знакомая Шатобриана 228
- Шатне* Викторина де (1771—1855) — писательница 184
- Шатобриан* (урожд. Ле Пеллетье де Розанбо) Алина Тереза, графиня де (ум. 1794) — внучка Мальзерб, жена Жана Батиста де Шатобриана 30, 69, 132, 148—149
- Шатобриан* (урожд. де Бедэ) Аполлина Жанна Сюзанна де (1726—1798) — мать автора 29, 30—36, 41, 47—52, 59—62, 69, 79, 80, 123—124, 140, 149—150, 164—167, 188
- Шатобриан* (в первом браке графиня де Кебриак, во втором — графиня де Шатобур) Бенинь Жанна де (1761—1848) — сестра автора 30, 31, 41
- Шатобриан* Жан Батист Огюст, граф де (1759—1794) — брат автора 30, 31, 40, 60, 62, 69, 71, 77, 79, 80, 131—135, 140, 148—149, 167, 198, 202, 284, 489, 528
- Шатобриан* Жоффруа де (1758—1759) — старший брат автора, умерший в младенчестве 29—30
- Шатобриан* (в замужестве графиня де Фарси) Жюли де (1763—1799) — сестра автора 30, 31, 65, 66, 79, 139, 140, 150, 164—165, 167, 188, 476, 529
- Шатобриан* Кристиан де (1791—1843) — племянник автора, младший сын Ж.-Б. де Шатобриана 285, 393

- Шатобриан* Луи, граф де (1790—1873) — племянник автора, старший сын Ж.-Б. де Шатобриана 149, 285, 429
- Шатобриан* (в замужестве де Ко) Люсиль де (1764—1804) — сестра автора 30—32, 34, 47—50, 52—53, 59, 62, 66, 79, 80, 123—124, 139, 149—150, 167, 187—189, 202, 226, 476, 529
- Шатобриан* (в замужестве графиня де Мариньи) Мари Анна де (1760—1860) — старшая из сестер автора 30, 31, 36, 41, 188
- Шатобриан* Рене Огюст де, граф де Комбург (1718—1786) — отец автора 24, 26, 28—32, 36, 37, 44—45, 47—51, 59, 61, 62, 65, 188, 579
- Шатобриан* (урожд. Бюиссон де Лавинь) Селеста де (1774—1847) — жена Шатобриана 17, 123—126, 139, 149—150, 167, 188, 196, 204, 209—211, 224—229, 233, 255—256, 283—284, 288, 303, 307—309, 312, 349, 385, 396, 403, 404, 460, 470—472, 476, 478—479, 491, 493—494, 501, 549, 551
- Шатобриан* Франсуа Анри, аббат де (1717—1776) — старший сын Ж.-Ф. и П. К. де Шатобриан, дядя автора 27
- Шатобриан* де Бофор Гийом де (XVI в.) — предок автора 38
- Шатобриан* де ла Вильнев Жак Франсуа де (1683—1729) — сын Рене Амори Шатобриана де ла Геранда, дед автора 26—27
- Шатобриан* де ла Вильнев (урожд. Ламур де Ланжею) Петронилла Клод де (1692—1781) — жена Жака Франсуа Шатобриана де ла Вильнева, бабушка автора 26—28
- Шатобриан* де ла Геранд Алексис де, правнук Кристофа Шатобриана де ла Геранда (кон. XVII — нач. XVIII в.) 26
- Шатобриан* де ла Геранд Кристоф де (XVII в.) — потомок де Бофоров, одной из трех ветвей рода баронов де Шатобриан, участвовавших вместе с Людовиком Святым в крестовых походах, основатель той ветви Шатобрианов, к которой принадлежал автор «Замогильных записок» 26
- Шатобриан* де ла Геранд Мишель де (внук Кристофа Шатобриана де ла Геранда (кон. XVII в.) 26
- Шатобриан* де ла Геранд Рене Амори де (внук Кристофа Шатобриана де ла Геранда (кон. XVII в.) 26
- Шатобриан* дю Парк Жозеф Юрбен де (1728—1772) — младший сын Ж.-Ф. и П. К. де Шатобриан, дядя автора 27
- Шатобриан* дю Плесси Арман Луи Мари де (1768—1809) — кузен автора 28, 135, 137, 232, 291
- Шатобриан* дю Плесси Пьер Анн Мари де (1727—1794) — сын Ж.-Ф. и П. К. де Шатобриан, дядя автора 27—28
- Шатофу* (урожд. Майи-Нель) Мари Анна, маркиза де Турнель, затем герцогиня де (1717—1744) — фаворитка Людовика XV 224, 580
- Шварценберг* Карл Филипп, князь фон (1771—1820) — австрийский маршал, главнокомандующий войсками антинаполеоновской коалиции в 1814 г. 256
- Швед*, маркграф — подданный Фридриха II 335
- Шевалье* Мишель (1806—1879) — экономист, сен-симонист 414
- Шеве* — владелец ресторана и продуктовой лавки в Пале-Руаяле 489—490
- Шеврез* (урожд. де Роган-Монбазон) Мари, герцогиня де (1600—1679) — участница Фронды 185
- Шекспир* Уильям (1564—1616) 144, 296, 342, 386, 539, 544, 566
- Шендолье* Шарль Жюльен Лиу де (1769—1833) — поэт 183, 186, 188
- Шенье* Андре (1762—1794) — поэт 202, 240
- Шенье* Мари Жозеф (1764—1811) — писатель 68, 233, 236—242, 264—265, 577

- Шенье* (урожд. Ломака) Элизабет — мать А. и М.-Ж. Шенье 240
- Шефтель*, бретонский врач 60
- Шефтель*, сын врача, участник контрреволюционного заговора Ла Руэри в Бретани, о котором он донес Дантону 60
- Шеффер* Ари (1795—1858) — художник, учитель детей герцога Орлеанского (Луи Филиппа) 414
- Шиллер* Фридрих (1759—1805) 380
- Шнец* Жан-Виктор (1787—1870) — художник 373
- Шопен* Пьер Атаназ (1772—1832) — художник 385
- Шолье* Гийом Амфри, аббат де (1639—1720) — поэт 587
- Шопен* Август Жан Мари, барон де (1782—1849) — депутат при Реставрации, генеральный прокурор при Счетной палате и пэр Франции при Июльской монархии 406, 428
- Шопен* Ж. — чиновник из префектуры полиции 478
- Штейбельт* Даниил (1765—1823) — немецкий композитор 370
- Штольценберг*, баронесса — любовница маркграфа Шведа 335
- Шуазель* Габриэль, герцог де (1762—1839) — племянник Э.-Ф. де Шуазеля, пэр Франции при Реставрации, адъютант Луи Филиппа при Июльской монархии 76, 404, 406
- Шуазель* Этьенн Франсуа, герцог де (1719—1785) — дипломат, министр иностранных дел в 1758—1770 гг. 389, 533, 581
- Шувалов* Андрей Петрович (1774—1823) — русский генерал-лейтенант 261
- Эберкромби* Ральф (1734—1801) — английский полководец 99
- Эгийон*, герцогиня д' — либо Луиза Фелисите (урожд. Плело; ум. 1796), либо Жанна Виктория Анриетта (урожд. де Навай; ум. 1818) 75
- Эмонт* (урожд. Ришелье) Софи, графиня де (1740—1773) — покровительница Рюльера 68
- Эго* Жюльен Жан Мари, аббат (1752—1821) — преподаватель дольского коллежа 38, 39, 41—44
- Эд* (ок. 860—898) — граф Парижский, с 888 г. французский король 258
- Эд Жан*, святой (1601—1680) — французский священник, создатель Общества священников Иисуса и Марии (эдистов) 42
- Эдмунд II Железное Ребро* (ок. 981—1017) — английский король с 1016 г. 506
- Эдуард III* (1312—1377) — английский король с 1327 г. 143
- Эдуард IV* (1442—1483) — английский король в 1461—1470 и 1471—1483 гг. 144
- Эдуард VII* — см. *Стюарт Карл Эдуард*
- Экштейн* Фердинанд, барон (1790—1861) — в 1815 г. губернатор Генга, с середины 1820-х гг. католический публицист и философ 303
- Элеонора* — поэтическое имя, под которым Парни воспевал Эстер Лельевр (1761—1822) 66, 239
- Элло* Шарль Гийом (1787—1850) — прокурор 476
- Эль* Франсуа (ум. 1794) — администратор, казненный в один день с братом автора за роялистские взгляды и карикатуры на якобинцев 149
- Элоиза* (1101—1164) — возлюбленная П. Абеляра 62
- Эльбе* Жиго д' (1752—1794) — один из руководителей контрреволюционного движения в Вандее 161
- Эмес* — полковник, преданный герцогу Орлеанскому (1830) 419
- Эмили* Павел Македонский (227—160 до

- н. э.) — римский полководец 242, 384
- Эмри Жак Андре*, аббат (1732—1811) — теолог, настоятель конгрегации Святого Сульпиция — 195—196
- Энган де ла Тьембле Франсуа Мари Анн Жозеф* (1761—1827) — советник Бретонского парламента, товарищ Шатобриана по эмиграции 141—147, 150, 154, 338, 370, 460
- Энгиенский Луи Антуан Анри де Бурбон*, герцог (1772—1804) — последний представитель рода Конде, расстрелянный по приказу Наполеона 181, 211—223, 226, 233, 252, 258, 278, 294, 314, 315, 354, 356, 565, 573—576, 595
- Энере Шарль* — республиканец, участник Июльской революции 414
- Эндимион* — легендарный царь эолийцев, возлюбленный Луны 55
- Энен* (урожд. Фиц-Джеймс) Лора Августа (1744—1814) — придворная дама Марии Антуанетты 75
- Энен* (правильно: Эннен) Пьер Мишель (1728—1807) — чиновник министерства иностранных дел, литератор 225
- Эпернон* Бернар де Ногаре де Лавалетт, герцог д' (1554—1642) — фаворит Генриха III, затем придворный Генриха IV, крайне непопулярный из-за своего надменного характера 509
- Эпикур* (341—270 до н. э.) 415
- Эпименид* (VII в. до н. э.) — критский жрец и прорицатель, по преданию проспавший 57 лет в зачарованной пещере 343
- Эрсе* Франсуа де, аббат (1733—1795) — брат епископа Дольского и его викарий 38
- Эрсе* Юрбен Рене де (1726—1795) — епископ Дольский 38
- Эрсия-и-Суньига Алонсо де* (1533—1594) — испанский поэт, автор эпической поэмы «Араукана» 93, 596
- Эсгилл* Чарльз (1762—1823) — английский генерал 95
- Эсменар* Жозеф Альфонс (1770—1812) — поэт и журналист 239
- Эспремений Жан Жак Дюваль д'* (1745—1794) — адвокат, казненный в один день с братом автора за роялистские и контрреволюционные взгляды 149
- Эстергази* (урожд. де Руазен) Мари Франдиска Романа, графиня — приближенная герцогини Ангулемской 518—519
- Эстергази* Марианна — дочь графини Эстергази 518—519
- Эстергази фон Галанта Пауль Антон*, князь (1786—1866) — австрийский дипломат 261
- Этельред II* (ок. 965—1016) — английский король с 978 г. 506
- Этьенн* Шарль Гийом (1778—1845) — драматург и публицист 399
- Юлен* Пьер Огюст (1758—1841) — председатель военной комиссии, осудившей герцога Энгиенского 218—219
- Юлиан Отступник* (331—363) — римский император с 361 г. 63, 507, 526—527
- Юлий III* (наст. имя и фам. Джованни Мариа де Чокки дель Монте; 1487—1555) — папа римский с 1550 г. 373
- Юний* — см. *Брут Луций Юний*
- Юрсеи* (урожд. де Ла Тремуй) Анна Мари, принцесса де (1643—1722) — придворная дама испанской королевы Марии Луизы Савойской, первой жены Филиппа V, интриговавшая в пользу Франции 389
- Юрфе* Оноре д' (1567—1625) — писатель 417
- Яков II* (1633—1701) — английский король в 1685—1688 гг. 408, 445, 503, 550
- Яков III* — см. *Стойарт Яков Эдуард*

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ШАТОБРИАНА

- | | |
|-------------------------|--|
| 1768: 4 сентября | — рождение Франсуа Рене де Шатобриана в Сен-Мало |
| 1777—1781 | — учеба в коллеже города Доль |
| 1786 | — Шатобриан вступает в военную службу; Наваррский полк, в котором он служит, расквартирован в Камбре |
| 1787: октябрь — декабрь | — Шатобриан в отпуске; он живет то в Бретани, то в Париже |
| 1789: конец июня | — вместе с сестрами Жюли и Люсиль Шатобриан поселяется в Париже |
| 1791: январь | — Шатобриан покидает Париж и едет в Бретань |
| 7 апреля | — Шатобриан отплывает в Америку на поиски северо-западного прохода |
| 10 декабря | — отплывает из Америки во Францию |
| 1792: 2 января | — приплывает в Гавр |
| 21 февраля | — женится на Селесте Бюиссон де Лавинь |
| 15 июля | — вместе с братом тайно пересекает границу и попадает в Бельгию |
| август | — вступает в контрреволюционную «армию принцев» |
| октябрь | — рота, где сражался Шатобриан, распущена; он отправляется на остров Джерси |
| 1793: январь — май | — тяжело болен на Джерси, в доме своего дяди |
| 17 мая | — прибывает в Англию |
| 1797: 18 марта | — в Лондоне выходит первая книга Шатобриана «Исторический, политический и нравственный опыт о древних и новых революциях, рассмотренных в их отношениях с нынешней французской революцией» |
| 1800: май | — Шатобриан возвращается во Францию |

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ШАТОБРИАНА

- 1801: 2 апреля — выход повести «Атала, или Любовь двух дикарей в пустыне»
- 1802: 14 апреля — выход книги «Гений христианства, или Красоты христианской религии» (в ней в качестве приложения к главе «О смутности страстей» впервые напечатана повесть «Рене»)
- 1803: апрель — второе издание «Гения христианства» с посвящением Бонапарту
- 4 мая — назначение Шатобриана первым секретарем французского посольства в Риме
- 26 мая — отъезд в Рим
- 27 июня — прибытие в Рим
- ноябрь — Шатобриан получает новое назначение — французским поверенным в делах в республике Вале
- 1804: февраль — возвращение в Париж
- 3 марта — публикация в журнале «Меркюр де Франс» очерка «Письмо к г-ну де Фонтану о римской кампании»
- 21 марта — казнь герцога Энгиенского
- 22 марта — Шатобриан подает в отставку
- 1805: июль — выход тома, в который вошли «Атала» и «Рене» (первое издание «Рене» отдельно от «Гения христианства»)
- 1806: июль — Шатобриан отправляется в путешествие на Восток (Греция — Иерусалим — Египет — Тунис — Испания)
- 1807: 5 июня — возвращается в Париж
- 4 июля — публикует в журнале «Меркюр де Франс» статью о «Путешествии в Испанию» А. де Лабурда, полную антинаполеоновских выпадов
- август — покупает Волчью долину — поместье неподалеку от Парижа
- 1809: 27 марта — выход прозаической эпопеи «Мученики»
- 1811: 20 февраля — Шатобриана избирают членом Французской академии (Института)
- 25 февраля — выход «Путешествия из Парижа в Иерусалим»
- 24 апреля — вступительная речь Шатобриана отвергнута Академией по приказу Наполеона
- 1814: 5 апреля — выход антинаполеоновской брошюры «О Бонапарте и Бурбонах»
- 1815: 20 марта — вслед за Людовиком XVIII, бежавшим из Парижа в страхе перед вырвавшимся с Эльбы Наполеоном, Шатобриан покидает Париж
- апрель — июнь — вместе с королем и двором живет в Генте, временно замещая министра внутренних дел
- 9 июля — получает должность министра без портфеля
- 17 августа — получает звание пэра Франции

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ШАТОБРИАНА

- | | |
|-------------------|--|
| 1816: 16 сентября | — публикация брошюры «Монархия согласно Хартии», из-за которой Шатобриана лишают должности министра без портфеля и 24 000 франков в год, которые она приносила |
| 1818: июль | — продажа с торгов Волчьей долины |
| 8 октября | — выход первого номера основанной Шатобрианом газеты «Консерватёр» |
| 1820: февраль | — Шатобриан приобретает участок, где расположена богадельня Марии Терезы |
| 30 марта | — выход последнего номера «Консерватёр» (издание прекращено, так как Шатобриан не хочет подчиняться новому, более жесткому закону о печати) |
| 30 ноября | — Шатобриан получает назначение послом в Берлин |
| 1821: 11 января | — прибывает в Берлин |
| апрель | — возвращается в Париж |
| 30 июля | — подает в отставку из солидарности с ушедшими в отставку Виллелем и Корбьером |
| 1822: 9 января | — получает назначение послом в Лондон |
| 5 апреля | — прибывает в Лондон |
| 12 октября | — прибывает на Веронский конгресс европейских монархов в качестве одного из трех полномочных представителей Франции |
| 13 декабря | — покидает Верону |
| 26 декабря | — получает от Виллеля, главы кабинета, предложение стать министром иностранных дел и принимает его |
| 1823: 1 марта | — при активной поддержке Шатобриана принято решение об отправке французского экспедиционного корпуса под командованием герцога Ангулемского в Испанию |
| 1824: 3 июня | — Шатобриан отказывается поддержать в палате пэров предложенный Виллелем закон о конверсии рент |
| 6 июня | — Шатобриана отставляют с поста министра иностранных дел |
| 1826: 15 июня | — у книгопродавца Лавока начинает выходить Полное собрание сочинений Шатобриана; первым выходит том 16, где впервые публикуется повесть «Приключения последнего из Абенсергагов» |
| 30 декабря | — выходят в свет тома 19 и 20 Полного собрания сочинений, где впервые опубликована прозаическая эпопея «Натчезы» |
| 1827: 29 декабря | — выходят в свет тома 6 и 7 Полного собрания сочинений, где впервые опубликованы «Путешествие в Америку» и «Путешествие в Италию» |
| 1828: 3 июня | — Шатобриан получает назначение послом в Рим |
| 9 октября | — вместе с госпожой де Шатобриан прибывает в Рим |

- 1829: 16 мая — уезжает из Рима в Париж в отпуск
 28 августа — подает в отставку в связи с отставкой либерального министерства Мартиньяка
- 1830: 7 августа — произносит речь в палате пэров, где извещает о своем уходе из политической жизни из-за нежелания сотрудничать с монархией Луи Филиппа
 10—12 августа — извещает Луи Филиппа и министерство финансов об отказе от звания пэра и соответствующей пенсии
- 1831: 24 марта — публикация брошюры-памфлета «О Реставрации и выборной монархии»
 20 апреля — выход последнего тома Полного собрания сочинений, где впервые публикуются «Исторические этюды»
- 1832: 16 июня — Шатобриана арестовывают по обвинению в покушении на государственную безопасность
 30 июня — Шатобриан выпущен из заключения, которое отбывал в доме префекта полиции Жиске
 август — ноябрь — живет в Швейцарии
 29 декабря — выход брошюры «Записка о пленении госпожи герцогини Беррийской»
- 1833: 27 февраля — суд над Шатобрианом в связи с публикацией его «Записки...»; присяжные признают Шатобриана невиновным
 14 мая — по поручению герцогини Беррийской Шатобриан отправляется в Прагу к Карлу X
 24 мая — въезжает в Прагу
 5 июня — возвращается в Париж
 3 сентября — отправляется в Венецию, куда призывает его герцогиня Беррийская
 10 сентября — прибывает в Венецию
 18 сентября — встречается с герцогиней Беррийской в Ферраре
 27 сентября — приезжает к Карлу X в замок Бутширад
 6 октября — возвращается в Париж
- 1834: февраль — март — первые чтения фрагментов «Замогильных записок» в Аббеи-о-Буа
 15 марта — публикация в «Ревю де Де Монд» «Завещательного предисловия» к «Замогильным запискам», которое Шатобриан в 1846 г. заменил более простым и коротким «Предисловием»
 15 апреля — публикация в «Ревю де Де Монд» отрывка из «Замогильных записок» под названием «Будущее мира» (вариант заключительных глав 44-й книги); убежденность автора в том, что эпоха монархий в Европе кончилась и наступает пора

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ШАТОБРИАНА

- потрясений, результатом которых станет возникновение нового общества, шокирует публику
- 1836: 22 марта — Шатобриан получает от книгопродавца Деллуа деньги за право издания «Замогильных записок»
- 21 апреля — Шатобриан подписывает окончательный договор с книгопродавцами Деллуа и Сала, по которому те за 156 000 франков и пожизненную ренту в 12 000 франков (после сдачи рукописи «Веронского конгресса» — 25 000) получают право издать «Замогильные записки» после смерти Шатобриана
- 25 июня — выход в свет Шатобрианова перевода «Потерянного рая» Мильтона и в качестве «предисловия» к нему — двухтомного «Опыта об английской литературе»
- 1838: 28 апреля — выходит в свет «Веронский конгресс»
- июль — г-жа де Шатобриан продает богадельню Марии Терезы архиепископу парижскому; чета Шатобрианов переезжает в дом 120 по улице Бак
- 1841: 16 ноября — Шатобриан дописывает последнюю страницу «Замогильных записок»
- 1844: 18 мая — выходит в свет «Жизнь Рансе» — книга о блестящем красавце аристократе, ставшем монахом-траппистом, написанная Шатобрианом по рекомендации его духовника аббата Сегена
- 27 августа — акционерное общество Деллуа — Сала за 80 000 франков продает Э. де Жирардену право опубликовать «Замогильные записки» в газете «Пресс»
- 1845 (февраль) — 1846 (июль) — Шатобриан перечитывает «Замогильные записки»
- 1847: 8 февраля — смерть г-жи де Шатобриан
- 1848: 4 июля — смерть Шатобриана в Париже, на улице Бак
- 19 июля — Шатобриана хоронят в Сен-Мало, на острове Гран-Бе
- 1849: 11 мая — смерть г-жи Рекамье
- 21 октября 1848 — 5 июля 1850 — публикация «Замогильных записок» в газете «Пресс»
- Январь 1849 — октябрь 1850 — первое книжное издание «Замогильных записок» в 12 томах

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>В. Мильчина</i> . Эпопея человеческого сознания	5
Замогильные записки	
Предисловие	18
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	
КНИГА ПЕРВАЯ	23
1.—23.—2. Рождение моих братьев и сестер.— Я появляюсь на свет — 29.— 3. Планкуэ.— Обет.— Комбург.— План отца касательно моего воспитания.— Тетушка Вильнев.— Люсиль.— Барышни Куппар.— Я — плохой ученик — 30.— 4. <...> Разрешение от обета, данного моей кормилицей — 33.— 6. Письмо господина Пакье.— Дьепп.— Перемены в моем воспитании.— Весна в Бретани.— Исторический лес.— Пелагические равнины.— Закат луны над морем — 35.	
КНИГА ВТОРАЯ	38
1. Дольский коллеж.— Математика и языки.— Особенность моей памяти — 38.— 3. <...> Театр.— Замужество двух моих сестер.— Возвращение в коллеж.— Переворот в моих мыслях — 40.— 4. Случай с сорокой.— Третьи каникулы в Комбурге.— Знахарь.— Возвращение в коллеж — 42.	
КНИГА ТРЕТЬЯ	45
1. Прогулка.— Видение Комбурга — 45.— 3. Жизнь в Комбурге.— Дни и вече- ра — 47.— 4. Моя башня — 50.— 5. Переход от детства к зрелости — 51.— 6. Люсиль — 52.— 9. Последние строки, написанные в Волчьей долине.— Тайна	

моей жизни — 53. — 10. Призрак любви — 54. — 11. Два года в бреду. — Занятия и химеры — 55. — 12. Мои осенние радости — 56. — 13. Заклинание — 57. — 14. Испытание — 58. — 15. Болезнь. — Я боюсь и отказываюсь пойти по духовной части. — План путешествия в Индию — 60. — 16. Проездом в родном городе. — Воспоминание о тетушке Вильнев и невзгодах моего детства. — Меня призывают в Комбург. — Последняя встреча с отцом. — Я вступаю в службу. <...> 61.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ 63

1. Берлин. — Потсдам. — Фридрих — 63. — 12. Литераторы. — Портреты — 66.

КНИГА ПЯТАЯ 69

8. Год 1789. <...> Взятие Бастилии — 69. — 12. Мирабо — 70. — 14. Общество. — Вид Парижа — 74. — 15. Что делал я в это шумное время. — Мои одинокие дни. — Мадемуазель Моне. — Мы с господином де Мальзербом вырабатываем план моего путешествия в Америку. — Бонапарт и я, безвестные младшие лейтенанты. — Маркиз де Ла Руэри. — Я отплываю из Сен-Мало. — Последние мысли при расставании с родиной — 77.

КНИГА ШЕСТАЯ 81

1. Пролог — 81. — 2. Путь через океан — 85. — 6. Берега Виргинии. — Закат. — Опасность. — Я ступаю на американский берег. — Балтимор. <...> — 88. — 7. Филадельфия. — Генерал Вашингтон — 90. — 8. Сравнение Вашингтона и Бонапарта — 93.

КНИГА СЕДЬМАЯ 95

2. Северная река. — Песнь пассажирки. — Олбани. — Господин Свифт. — Отъезд в обществе проводника-голландца к Ниагарскому водопаду. — Господин Виоле — 95. — 5. Ирокез. — Сахем племени онондого. — Велли и франки. — Прием гостя. — Древние греки. — Монкальм и Вольф. — 97. — 7. Индейское семейство. — Ночь в лесах. — Отъезд индейцев. — Дикари с Ниагарского водопада. — Капитан Гордон. — Иерусалим — 99. — 8. Ниагарский водопад. — Гремучая змея. — Я падаю в пропасть — 100. — 11. Бывшие французские владения в Америке. — Сожаления. — Страсть к прошедшему. — Письмо Френсиса Конингхэма — 103.

КНИГА ВОСЬМАЯ 104

2. Течение Огайо — 104. — 3. Источник молодости. — Мускогульги и семинолы. — Наш лагерь — 107. — 2. Две индианки. — Развалины на берегу Огайо — 108. — 5. Кто были мускогульгские барышни. — Арест короля в Варенне. — Я прерываю свое путешествие, дабы возвратиться в Европу — 112. — 6. Опасности, грозящие Соединенным Штатам — 119. — 7. Возвращение в Европу. <...> — 122.

КНИГА ДЕВЯТАЯ	123
1. Я встречаюсь в Сен-Мало с матушкой. — Революция идет вперед. — Моя женитьба — 123. — 3. Перемена в облике Парижа. — Клуб кордельеров. <...> — 126. — 4. Дантон. — Камиль Демулен. — Фабр д'Эглантин — 127. — 5. Мнение господина де Мальзерба об эмиграции — 130. — 7. Мы с братом отправляемся в путь. — Происшествие с Сен-Луи. — Мы пересекаем границу — 132. — 8. Брюссель. — Обед у барона де Бретея. — Ривароль. — Отъезд в армию принцев. — Дорога. — Встреча с прусской армией. — Я приезжаю в Трир — 134. — 9. <...> Римский амфитеатр. — «Атала». — Рубашки Генриха IV — 136. — 10. Солдатская жизнь. — Прощание с прежней французской армией — 136. — 15. <...> Наступление на Тионвиль — 138. — 16. Снятие осады. — Вступление в Верден. <...> — 139.	

КНИГА ДЕСЯТАЯ	140
3. <...> Исчезновение родных и друзей. — Горечь старения. — Я отправляюсь в Англию. <...> — 140. — 5. Пельтье. — Литературные труды. — Дружба с Энганом. — Наши прогулки. — Ночь в Вестминстерском соборе — 141. — 6. Нужда. — Нежданная помощь. — Каморка с видом на кладбище. <...> — 144. — 7. Пышное празднество. — Моим сорока эюк приходит конец. — Снова нужда. — Табльдот. — Епископы. — Обед в «Лондон-Таверн». — Рукопись Кэмдена — 146. — 8. Мои занятия в провинции. — Смерть брата. — Несчастья моих родных. — Две Франции. <...> — 148. — 9. Шарлотта — 150. — 10. Возвращение в Лондон — 153. — 11. Удивительная встреча — 155.	

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ	158
1. Изъян моего характера — 158. — 2. «Исторический опыт о революциях». — Его воздействие. <...> — 160. — 3. <...> Вандейский крестьянин — 161. — 4. Смерть матушки. — Возвращение в лоно религии — 163. — 5. «Гений христианства». <...> — 165.	

КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ	166
6. Возвращение эмигрантов во Францию. — Прусский посланник выдает мне фальшивый паспорт на имя Лассаня, жителя швейцарского города Невшателя. — Смерть лорда Лондондерри. — Конец моей карьеры солдата и путешественника. — Я высаживаюсь в Кале — 166.	

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ	171
1. Жизнь в Дьеппе. — Два общества — 171. — 2. На чем я остановился в своих «Записках» — 174. — 3. 1800 год. — Взгляд на Францию. — Я приезжаю в Па-	

ОГЛАВЛЕНИЕ

риж — 175. — 5. Перемены в обществе — 177. — 6. Год 1801. — «Меркюр». — «Атала» — 179. — 7. Год 1801. — Госпожа де Бомон: ее общество — 182. — 8. Год 1801. — Лето в Савиньи — 186. — 10. Годы 1802 и 1803. — «Гений христианства». — Предвещения неудачи. — Причина конечного успеха — 189. — 11. «Гений христианства», продолжение. — Недостатки книги — 192.

КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 193

4. Годы 1802 и 1803. — Встреча с Бонапартом — 193. — 5. Год 1803. — Я получаю назначение на должность первого секретаря посольства в Риме — 195. — 7. Из Мон-Сени в Рим. — Милан и Рим — 196. — 8. Дворец кардинала Феша. — Мои занятия — 199.

КНИГА ПЯТНАДЦАТАЯ 201

1. Год 1803. <...> 201. — 2. Приезд госпожи де Бомон в Рим <...> — 201. — 4. Смерть госпожи де Бомон — 202. — 6. Год 1803. <...> 205. — 7. Годы 1803 и 1804. — Первая мысль о моих «Записках». — Бонапарт назначает меня французским посланником в Вале. — Отъезд из Рима — 205.

КНИГА ШЕСТНАДЦАТАЯ 209

1. Год 1804. — Республика Вале. — Посещение дворца Тюильри. — Особняк Монморенов. — Я слышу сообщение глашатаев о смерти герцога Энгиенского. — Я ухожу в отставку — 209. — 2. Смерть герцога Энгиенского — 213. — 7. Вина каждого — 219. — 9. О том, что следует из всего сказанного. — Распри, порожденные смертью герцога Энгиенского — 220. — 10. Статья в «Меркюр». — Перемена в жизни Бонапарта — 222.

КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ 223

2. Госпожа де Куален — 223.

КНИГА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 226

5. Годы 1807, 1808, 1809 и 1810. — Статья в июньском номере «Меркюр» за 1807 год. — Я покупаю Волчью долину и поселяюсь там — 226. — 6. «Мученики» — 229. — 8. Годы 1811, 1812, 1813, 1814. — Выход в свет «Путешествия из Парижа в Иерусалим». <...> — Смерть Шенье. — Меня избирают членом Института. — История с моей речью — 232. — 9. Премии за десятилетие. — «Опыт о революциях». — «Натчезы» — 243. — Окончание моей литературной карьеры — 246.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

КНИГА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ 251

9. Заметки, превратившиеся впоследствии в брошюру «О Бонапарте и Бур-

бонах». — Я переселяюсь на улицу Риволи. — Великолепная французская кампания 1814 года — 251. — 10. Я отдаю в печать мою брошюру. — Записки госпожи де Шатобриан — 254. — 12. Прокламация генералиссимуса князя фон Шварценберга. — Речь Александра. — Капитуляция Парижа — 256. — 13. Вступление союзников в Париж — 257. — 14. Бонапарт в Фонтенбло. — Регентский совет в Блуа — 260. — 15. Моя брошюра «О Бонапарте и Бурбонах» выходит в свет — 261. — 21. Людовик XVIII в Компьене. — Его въезд в Париж. — Старая гвардия. — Непоправимая ошибка. — Сент-Уэнская декларация. — Парижский договор. — Хартия. — Уход союзников — 265. — 22. Первый год эпохи Реставрации — 268. — 23. Роялисты ли повинны в Реставрации? — 270. — 26. Остров Эльба — 271.

КНИГА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

275

1. Начало Ста дней. — Возвращение с Эльбы — 275. — 2. Оцепенение монархического правительства. <...> — Королевское заседание. — Прощение Правоведческой школы, поданное палате депутатов — 277. — 3. План защиты Парижа — 279. — 4. Бегство короля. — Мы с госпожой де Шатобриан уезжаем. — Дорожные затруднения. — Герцог Орлеанский и принц де Конде. — Турне, Брюссель. — Воспоминания. — Герцог де Ришелье. — Король, остановившийся в Генте, призывает меня к себе — 283. — 5. СТО ДНЕЙ В ГЕНТЕ: Король и его совет. — Я становлюсь министром внутренних дел *par interim*. — Господин де Лалли-Толлендаль. — Госпожа герцогиня де Дюрас. <...> — 285. — 6. ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА О СТА ДНЯХ В ГЕНТЕ: «Гентский монитёр». — Мой доклад королю: впечатление, произведенное им в Париже. — Подделка — 287. — 8. ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА О СТА ДНЯХ В ГЕНТЕ: Непривычное оживление в Генте. — Герцог Веллингтон. — Monsieur. — Людовик XVIII — 289. — 10. Флигель Марсана в Генте. — Господин Гайяр, придворный королевский советник. — Тайный визит госпожи баронессы де Витроль. — Собственноручная записка графа д'Артуа. — Фуше — 290. — 11. НА ВЕНСКОМ КОНГРЕССЕ: Хлопоты посланца Фуше господина де Сен-Леона. — Предложения касательно герцога Орлеанского. — Господин де Талейран. — Недовольство Александра Людовиком XVIII. — Разные претенденты. — Доклад Ла Бернардьера. — Неожиданное предложение Александра: конгресс не принимает его благодаря лорду Кланкарти. — Господин де Талейран меняет курс: его депеша Людовику XVIII. — Декларация союзников, опубликованная франкфуртской официальной газетой с сокращениями. — Господин де Талейран желает, чтобы король возвратился во Францию с юго-востока. — Интриги князя Беневентского в Вене. — Его письмо ко мне — 292. — 12. СТО ДНЕЙ В ПАРИЖЕ: Действие, произведенное на Францию жизнью при законной монархии. — Изумление Бонапарта. — Он вынужден капитулировать перед идеями, которые почитал уничтоженными. — Его новая система. — Три великих игрока. — Химеры либералов. — Клубы и федераты. —

Ловкий трюк: Дополнительный акт вместо республики.— Созыв палаты представителей.— Бесплодное Майское поле — 296.— 15. Что поделявали мы в Генте.— Господин де Блакас — 300.— 16. Битва при Ватерлоо — 301.— 17. Смятение в Генте.— Как шло сражение при Ватерлоо — 303.— 19. Отъезд из Гента.— Прибытие в Монс.— Я упускаю первую возможность сделать карьеру на политическом поприще.— Господин де Галейран в Монсе.— Объяснение с королем.— Я имею глупость сочувствовать господину де Галейрану — 303.— 20. Путь из Монса в Гонес.— Мы с графом де Беньо противимся назначению Фуше министром; мои доводы.— Герцог Веллингтон берет верх.— Арнувиль.— Сен-Дени.— Последний разговор с королем — 307.

КНИГА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 314

5. Взгляд на Бонапарта — 314.— 6. Характер Бонапарта — 319.— 7. Верно ли, что, отняв у нас силу, Бонапарт умножил нашу славу? — 322.— 8. Бесплодность вышеизложенных истин — 323.— 14. Мои последние сношения с Бонапартом — 325.

КНИГА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ 327

1. Изменившийся мир — 327.— 2. Годы 1815 и 1816.— <...> Мои речи — 328.— 3. «Монархия согласно Хартии» — 328.— 4. Людовик XVIII — 330.— 5. Господин Деказ — 331.— 6. Меня исключают из числа министров без портфеля.— Я продаю библиотеку и Волчью долину — 332.

КНИГА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ 334

2. <...> Исторический очерк прусского двора и прусского общества — 334.— Мои первые депеши.— Господин де Бонне — 335.

КНИГА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 337

2. <...> Заседание парламента — 337.— 3. Английское общество — 337.— 11. Конец старой Англии.— Шарлотта.— Размышления.— Я покидаю Лондон — 341.

КНИГА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 344

2. Оппозиция берет мою сторону — 344.— 7. Мои бывшие противники объединяются вокруг меня.— Перемены в составе моих читателей — 346.— 8. Выдержки из моих полемических статей, написанных после отставки — 347.— 12. Продолжение моей газетной полемики — 349.— 13. Письмо генерала Себастиани — 351.— 17. Рассмотрение одного упрека — 352.

КНИГА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ 357

1. Госпожа Рекамье — 357.— 14. Рыбак из Альбано — 359.— 15. Госпожа Рекамье в Неаполе — 361.— 21. Госпожа де Крюденер.— Герцог Веллингтон — 363.—

22. Моя новая встреча с госпожой Рекамье. — Смерть госпожи де Сталь — 364.	
23. Аббей-о-Буа — 365.	
КНИГА ТРИДЦАТАЯ	371
6. Художники старые и новые — 371. — 7. Римское общество в старое время — 374. — 8. Нынешние римские нравы. — 381. — 9. Местности и пейзажи — 383. — 16. Госпоже Рекамье — 385.	
КНИГА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ	387
7. Праздник в честь великой княгини Елены на вилле Медичи — 387. — 11. Похвальба — 388.	
КНИГА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ	393
1. <...> Пиренеи. — Приключения — 393. — 2. Министерство Полиньяка. — Мое отчаяние. — Я возвращаюсь в Париж — 394. — 3. Свидание с господином де Полиньяком. — Я ухожу в отставку — 396. — 4. Лыстецы-газетчики — 397. — 7. Открытие сессии 1830 года. — Адрес. — Роспуск палаты — 399. — 8. Новая палата. — Я уезжаю в Дьепп. — Ордонансы 25 июля. — Я возвращаюсь в Париж. — Дорожные размышления. — Письмо госпоже Рекамье — 400.	
КНИГА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ	405
6. 29 июля. — Господин Бод, господин де Шуазель, господин де Семонвиль, господин де Витроль, господин Лаффит и господин Тьер — 405. — 7. Я пишу королю в Сен-Клу; его устный ответ. — Аристократы. — Разграбление миссии на улице Анфер — 407. — 8. Палата депутатов. — Господин де Моргемар — 408. — 9. Парижские улицы. — Генерал Дюбур. — Траурная церемония у колоннады Лувра. — Молодежь несет меня на руках в палату пэров — 409. — 10. Собрание пэров — 412. — 11. Республиканцы. — Орлеанисты. — Господин Тьер отправляется в Нейи. — Новое собрание пэров у господина де Семонвиля: посланная мне повестка приходит слишком поздно — 413. — 12. Сен-Клу. — Эпизод: господин дофин и маршал Рагузский — 415. — 13. Нейи. — Господин герцог Орлеанский. — Поместье Ле Рэнси. — Герцог направляется в Париж — 417. — 14. Посланцы палаты депутатов предлагают господину герцогу Орлеанскому титул королевского наместника. — Он соглашается. — Старания республиканцев — 419. — 15. Господин герцог Орлеанский направляется в Ратушу — 421. — 16. Республиканцы в Пале-Руаяле — 422.	
КНИГА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	424
1. <...> — Дипломатический корпус — 424. — 2. Рамбуйе — 425. — 3. Открытие сессии 3 августа. — Письмо Карла X господину герцогу Орлеанскому — 425. — 4. Народ направляется в Рамбуйе. — Бегство короля. — Размышления — 428. —	

5. Пале-Руаяль. — Разговоры. — Последнее политическое искушение. — Господин де Сент-Олер — 431. — 7. 7 августа. — Заседание палаты пэров. — Моя речь. — Я навсегда покидаю Люксембургский дворец. — Моя отставка — 436. — 9. Грядущие последствия Июльской революции — 443. — 10. Окончание моей политической карьеры — 447.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

КНИГА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ	453
1. Введение — 453. — 2. <...> Разгром архиепископства — 454. — 3. Моя брошюра «О Реставрации и выборной монархии» — 454. — 5. Накануне моего отъезда из Парижа — 458. — 8. Продолжение дневника. — Бесполезная поездка в Париж — 459. — 9. Продолжение дневника. — Господа Каррель и Беранже — 460. — 13. Заговорщики с улицы Прувер — 462.	
КНИГА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ	468
2. Похороны генерала Ламарка — 468. — 4. Мой арест — 469. — 5. Из камеры для воров я перебираюсь в туалетную комнату мадмуазель Жиске. — Сад. — Ашиль де Арле — 474. — 6. Следователь господин Демортье — 476. — 7. Моя жизнь у господина Жиске. — Я выхожу на свободу — 478. — 11. Дневник путешествия из Парижа в Лугано — 480. — 16. Горы. <...> — 481. — 21. Коппе. — Могила госпожи де Сталь — 483. — 22. Прогулка — 485. — 24. Письма министру юстиции, председателю совета, госпоже герцогине Беррийской. — Я сочиняю «Записку о пленении принцессь». — Циркулярное письмо главным редакторам газет — 485. — 26. Мой процесс — 488. — 27. Популярность — 490.	
КНИГА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ	491
1. Богадельня Марии Терезы — 491. — 3. Размышления и решения — 495. — 5. Берега Рейна. <...> — 496. — 8. <...> Угасание общественной жизни по мере удаления от Франции. — Религиозные чувства немцев — 497.	
КНИГА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ	498
3. Беседа с королем — 498. — 4. Генрих V — 502. — 9. Троицын день. — Герцог де Блакас — 507. — 13. Что я оставляю в Праге — 509. — 14. Герцог Бордоский — 512.	
КНИГА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ	515
1. Госпожа супруга дофина — 515. — 4. Последняя беседа с супругой дофина. — Отъезд — 520. — 7. <...> Ласточка — 523. — 8. Постоялый двор в Визенбахе. — Немец и его жена. — Моя старость. — Гейдельберг. — Паломники. — Развалины. — Мангейм — 524. — 10. Французская земля. — Арабески. — «В мой	

ОГЛАВЛЕНИЕ

картуз, пожалуйста». — Мец. — Взгляд на мою семью и на мою жизнь. — Подарок детей-изгнанников. — Верден, Вальми. — Шалон. — Долина Марны — 527.

КНИГА Сороковая	530
1. Что предприняла госпожа герцогиня Беррийская. — Совет Карла X во Франции. — Мои мысли о Генрихе V. — Письмо к госпоже супруге дофина — 530. — 3. Дневник путешествия из Парижа в Венецию. <...> Верона. — Переключка мертвецов. — Брента — 538. — 12. Руссо и Байрон — 541. — 13. Прекрасные гении, вдохновленные Венецией — 544.	
КНИГА Сорок первая	546
3. Приезд госпожи герцогини Беррийской — 546.	
КНИГА Сорок вторая	548
3. <...> Прага — 548. — 5. Бутширад. — Сон Карла X. — Генрих V. — Прием, оказанный молодым роялистам — 549.	
КНИГА Сорок третья	552
1. Нынешнее положение в целом. — Филипп — 552. — 2. Господин Тьер — 556. — 3. Господин де Лафайет — 561. — 4. Арман Каррель — 563. — 7. Госпожа Санд — 568. — 8. Господин де Талейран — 572.	
КНИГА Сорок четвертая. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	579
1. Взгляд в прошлое: от Регентства к 1793 году — 580. — 2. Минувшее. — Старый порядок в Европе отмирает — 581. — 3. Неравенство состояний. — Опасность чрезмерного усиления природы духовной и природы материальной — 583. — 4. Падение монархий. — Оскудение общества и прогресс индивида — 584. — 5. Грядущее. — О том, как трудно его постигнуть — 586. — 6. Сен-симонисты. — Фаланстеристы. — Фурьеристы. — Оуэнисты. — Социалисты. — Коммунисты. — Юнионисты. — Эгалитаристы — 587. — 7. Христианская идея — будущее мира — 592. — 8. Повторный взгляд на мою жизнь — 594. — 9. Краткое исчисление перемен, происшедших на земном шаре в течение моей жизни — 596.	
Примечания	599
Указатель имен	678
Хронология жизни и творчества Шатобриана	722

Шатобриан Ф.-Р. де

Ш28 **Замогильные записки.** / Пер. с фр. О. Э. Гринберг и В. А. Мильчиной. Вступ. ст. и примеч. В. А. Мильчиной. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1995.— 736 с.: ил. (Памятники мировой литературы).

ISBN 5-8242-0036-X

«Замогильные записки» — один из шедевров западноевропейской литературы, французский аналог «Былого и дум». Шатобриан изображает как очевидец французскую революцию 1789—1794 гг., Империю, Реставрацию, Сто дней, рисует портреты Мирабо и Лафайета, Талейрана и Наполеона, описывает Ниагарский водопад и швейцарские Альпы, Лондон 1794-го, Рим 1829-го и Париж 1830 года...

Впервые на русском языке.

Ш 4804010100-09 Без объявл.
Б94(03)-1995

ББК 84.(4Фр)

Шатобриан Франсуа Рене де

ЗАМОГИЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ

Редактор *В. Сагалова*
Технический редактор *З. Теплякова*
Корректор *Б. Тумян*

В оформлении суперобложки
использованы фрагменты орнамента
Уильяма Морриса

Лицензия № 060446 от 3.12.91 г.

Сдано в набор 21.04.95. Подписано в печать 09.11.95. Формат 70 × 90 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «Баскервиль». Печать офсетная. Усл. печ. л. 53,82. Уч.-изд. л. 56,58.

Тираж 15 000. Заказ 695

Издательство имени Сабашниковых
119270 Москва, Фрунзенская наб., 38/1

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»
103473 Москва, Краснопролетарская, 16

